

8Р  
ПЗ4

Сочинения  
Д. И. Писарева  
т. 4  
1894

№ 544

8Р

734

(Plus)

СОЧИНЕНІЯ

Д. И. ПИСАРЕВА.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ.

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Цѣна каждаго тома 1 рубль.

Портретъ автора и статья о его литературной дѣятельности  
помѣщены при шестомъ томѣ

Изданіе Ф. Павленкова.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія В. Г. Авѣенко. Троицкая ул., д. № 22.

1894.

10-236

# ОГЛАВЛЕНІЕ

## ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.

---

1864 г.

|                                                        | СТР. |
|--------------------------------------------------------|------|
| 1) Реалисты . . . . .                                  | 1    |
| 2) Кукольная трагедія съ букетомъ гражданской скорби . | 147  |
| 3) Промахи незрѣлой мысли. . . . .                     | 197  |

1865 г.

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 4) Романъ кисейной дѣвушки . . . . .                  | 247 |
| 5) Сердитое безсиліе . . . . .                        | 281 |
| 6) Прогулка по садамъ російской словесности . . . . . | 317 |
| 7) Переломъ въ умственной жизни средневѣковой Европы. | 377 |
| 8) Мысли Вирхова о воспитаніи женщинъ . . . . .       | 445 |
| 9) Педагогическіе софизмы . . . . .                   | 461 |
| 10) Разрушеніе эстетики . . . . .                     | 497 |
| 11) Школа и жизнь . . . . .                           | 515 |

---

1864.

## РЕАЛИСТЫ \*).

(Посвящается моему лучшему другу — моей матери  
В. Д. Писаревой.)

### I.

Мнѣ кажется, что въ русскомъ обществѣ начинается вырабатываться въ настоящее время совершенно самостоятельное направленіе мысли. Я не думаю, чтобы это направленіе было совершенно ново и вполне оригинально: оно непременно обусловливается тѣмъ, что было до него, и тѣмъ, что его окружаетъ; оно непременно заимствуетъ съ различныхъ сторонъ то, что соответствуетъ его потребностямъ; въ этомъ отношеніи оно, разумѣется, подходитъ вполне подъ тотъ общій естественный законъ, что въ природѣ ничто не возникаетъ изъ ничего. Но самостоятельность этого возникающаго направленія заключается въ томъ, что оно находится въ самой неразрывной связи съ дѣйствительными потребностями нашего общества. Это направленіе создано этими потребностями и, только благодаря имъ, существуетъ и понемногу развивается. Когда наши дѣдушки забавлялись картинизмомъ, массонствомъ или волтерьянствомъ, когда наши папеньки утѣшались романтизмомъ, байронизмомъ или гегелизмомъ, тогда они были похожи на очень юныхъ гимназистовъ, которые, во что-бы то ни стало, стараются себя увѣрить, что чувствуютъ неодолимую потребность затушиться послѣ обѣда крѣпкой папироской. У юныхъ гимназистовъ существуетъ на самомъ дѣлѣ потребность казаться взрослыми людьми, и эта потребность вполне естественна и законна, но все-таки самый процессъ курения не имѣетъ ни ма-

лѣйшей связи съ дѣйствительными требованіями ихъ организма. Такъ было и съ нашими ближайшими предками. Имъ было очень скучно, и у нихъ существовала дѣйствительная потребность занять мозги какими-нибудь размышленіями, но почему выписывался изъ за-границы мартинизмъ, или байронизмъ, или гегелизмъ — на этотъ вопросъ не ищите отвѣта въ органическихъ потребностяхъ русскихъ людей. Всѣ эти *измы* выписывались единственно потому, что они были въ ходу у европейцевъ, и всѣ они не имѣли ни малѣйшаго отношенія къ тому, что происходило въ нашемъ обществѣ. Теперь по-видимому дѣло пошло иначе. Мы теперь выписываемъ больше, чѣмъ когда-бы то ни было; мы переводимъ столько книгъ, сколько не переводили никогда; но мы теперь знаемъ, что дѣлаемъ, и можемъ дать себѣ отчетъ, почему мы беремъ именно это, а не другое.

Послѣ окончанія крымской войны родилась и быстро выросла наша обличительная литература. Она была очень слаба и ничтожна, и даже очень близорука, но ея рожденіе было явленіемъ совершенно естественнымъ и вполне органическимъ. Ударъ вызвалъ ощущеніе боли, и вслѣдъ затѣмъ явилось желаніе отдѣлаться отъ этой боли. Обличеніе направилось конечно на тѣ стороны нашей жизни, которыя всѣмъ мозолили глаза, и между прочимъ наше негодованіе обрушилось на мелкое чиновничество; но такіе обличительные подвиги конечно не могли насъ удовлетворить, и мы скоро поняли, что они во-первыхъ безплодны, а во-вторыхъ несправедливы и даже бессмысленны. Прежде всего явилось въ отпоръ обличительному бѣшенству то простое соображеніе, что мелкому чиновнику хочется ѣсть, и что за это естественное желаніе не со-всѣмъ основательно считать его извергомъ рода человеческого. — Это точно. Пускай ѣдятъ мел-

\* Хотя настоящая статья, написанная Д. И. Писаревымъ въ концѣ 1864 года, носила заглавіе «Реалисты», но почему-то ей дали названіе «Нерѣшенный вопросъ», подъ которымъ она изпестала на себѣ, по словамъ Писарева, «нѣчто вроде геологическаго переворота». Большая часть имѣнней восстановлены при жизни Писарева въ 1866 г.



кіе чиновники. Значить, надо увеличить оклады жалованья, заговорили тѣ мыслители, которые любятъ находить въ одну минуту универсальныя лекарства для всякихъ неудобствъ частной и общественной жизни. — Это само собою, отвѣчали другіе; но этого мало. Когда чиновникъ будетъ обеспеченъ, тогда онъ встанетъ за роскошью. Надо сдѣлать такъ, чтобы онъ не тянулся. — Ну да, конечно, заговорили опять любители универсальныхъ лекарствъ. Дать чиновнику твердыя нравственныя убѣжденія. Дать ему солидное образованіе. Пускай кандидаты университета идутъ въ квартальные и въ станочные. — И это хорошо, замѣтили другіе. Образованіе — дѣло превосходное, но у каждаго чиновника есть семейство или кружокъ близкихъ знакомыхъ. Каждый чиновникъ, получившій солидное образованіе, прямо съ университетской скамейки входитъ въ одинъ изъ такихъ кружковъ и проводитъ всю свою жизнь въ одномъ кружкѣ, или въ нѣсколькихъ кружкахъ, которые впрочемъ все похожи другъ на друга. Преданія университетской скамейки говорятъ ему одно, а вліяніе жены, сестеръ, матери, отца и тотъ безконечный гуль и говоръ, который все такъ, какъ ни вертись, составляетъ общественное мнѣніе, — говорятъ совершенно другое. Преданія и воспоминанія всегда бываютъ слабѣе живыхъ впечатлѣній, повторяющихся каждый день, и выходить изъ этого тотъ результатъ, что чиновникъ начинаетъ тянуться за роскошью, хотя и знаетъ, что тянуться за нею дозволенными средствами невозможно, а недозволенными негодится. Значить какъ-же? — Ахъ, чортъ побери, думаютъ любители универсальныхъ лекарствъ, подобные Каткову, Павлову, Громеку и К°. Въ самомъ дѣлѣ, какъ же? Шутка сказать. Вѣдь это надо реформировать среду. — Впрочемъ раздумье этихъ мыслителей продолжается недолго, и они непременно что-нибудь придумываютъ или по крайней мѣрѣ о чемъ-нибудь начинаютъ говорить: ну да, реформировать; ну да, обновить. Ну да, распространить грамотность, устроить сельскія школы, завести женскія гимназіи, проложить желѣзныя дороги, открыть земскіе банки и т. д. — Но мы видѣли и до сихъ поръ видимъ передъ собою два громадные факта, изъ которыхъ вытекаютъ все наши отдѣльныя непріятности и огорченія. Во-первыхъ, мы бѣдны, а во-вторыхъ — глупы. Эти слова нуждаются конечно въ дальнѣйшихъ поясненіяхъ. *Мы бѣдны*. — это значитъ, что у насъ, сравнительно съ общимъ числомъ жителей, мало хлѣба, мало мяса, мало сукна, мало полотна, мало платья, обуви, бѣлья, человѣческихъ жилищъ, удобной мебели, хорошихъ земледѣльческихъ орудій, словомъ — всѣхъ продуктовъ труда, необходимыхъ для поддержанія жизни и для продолженія производительной дѣятельности. *Мы глупы*, — это значитъ, что огром-

ное большинство нашихъ мозговъ находится почти въ полномъ бездѣйствіи, и что можетъ-быть одна десяти тысячная часть наличныхъ мозговъ работаетъ кое-какъ и вырабатываетъ въ двадцать разъ меньше дѣльныхъ мыслей, чѣмъ сколько она могла-бы выработать при нормальной и нисколько не изнурительной дѣятельности. Обижаться тутъ конечно нечѣмъ; когда человѣкъ спитъ, онъ не можетъ работать умомъ; когда Иванъ Сидоровичъ ремизитъ Степана Парамоновича за зеленымъ сукномъ, онъ не можетъ работать умомъ. Словомъ, только тѣ и не работаютъ, кто, по своему теперешнему положенію, не въ состояніи работать. Кто можетъ, тотъ работаетъ, по кое-какъ, потому что потребность на эту работу слаба, и потому самый страстный актеръ будетъ холоденъ и вялъ, когда ему придется играть передъ пустымъ партеромъ. Само собою разумѣется, что наша умственная бѣдность не составляетъ неизлечимой болѣзни. Мы — не идіоты и не обезьяны по тѣлосложенію, но мы — люди кавказской расы, сидѣвшіе виднемъ, подобно нашему милому Ильѣ Муромцу, и наконецъ ослабившіе свой мозгъ этимъ продолжительнымъ и вреднымъ бездѣйствіемъ. Надо его зашевелить, и онъ очень быстро войдетъ въ свою настоящую силу. Оно конечно надо, но вѣдь вотъ въ чемъ бѣда: мы бѣдны, потому что глупы, и мы глупы, потому что бѣдны. Змѣя кусаетъ свой хвостъ и изображаетъ собою эмблему вѣчности, изъ которой нѣтъ выхода. Шарль Фурье говоритъ совершенно справедливо, что главная сила всѣхъ бѣдствій современной цивилизаціи заключается въ этомъ проклятомъ *cercle vicieux*. Чтобы разбогатѣть, надо, хоть немного, улучшить допотопные способы нашего земледѣльческаго, фабричнаго и ремесленного производства, то-есть надо поумнѣть а поумнѣть некогда, потому что окружающая бѣдность не даетъ вздохнуть. Вотъ тутъ и вертись, какъ знаешь. Есть однако возможность пробить этотъ заколдованный кругъ въ двухъ мѣстахъ. *Во-первыхъ*, извѣстно, что значительная часть продуктовъ труда переходитъ изъ рукъ рабочаго населенія въ руки непродвигавшихъ потребителей. Увеличить количество продуктовъ, остающихся въ рукахъ производителя, значитъ уменьшить его нищету и дать ему средства къ дальнѣйшему развитію. Къ этой цѣли были направлены законодательныя распоряженія правительства по крестьянскому вопросу. Въ этомъ мѣстѣ заколдованный кругъ можетъ быть пробитъ только дѣйствіемъ законодательной власти, и поэтому мы объ этой сторонѣ дѣла распространяться не будемъ. — *Во-вторыхъ*, можно дѣйствовать на непродвигавшихъ потребителей, но конечно надо дѣйствовать на нихъ не моральною болтовней, а живыми идеями, и поэтому надо обращаться только къ тѣмъ потребителямъ, которые желаютъ взяться за по-

лезный и увлекательный трудъ, но не знаютъ, какъ приступить къ дѣлу и къ чему приспособить свои силы. Тѣ люди, которые, по своему положенію, могутъ и, по своему личному характеру, желаютъ работать умомъ, должны расходовать свои силы съ крайнею осмотрительностью и расчетливостью; то-есть, они должны браться только за тѣ работы, которыя могутъ принести обществу дѣйствительную пользу.—Такая экономія умственныхъ силъ необходима вездѣ и всегда, потому что человѣчество еще нигдѣ и никогда не было настолько богато дѣятельными умственными силами, чтобы позволить себѣ въ расходованіи этихъ силъ малѣйшую расточительность. Между тѣмъ расточительность всегда и вездѣ была страшная, и оттого результаты до сихъ поръ получались самые жалкіе. У насъ расточительность также очень велика, хотя и расточать-то намъ нечего. У насъ до сихъ поръ всего какой-нибудь двугривенный умственного капитала, но мы, по нашему извѣстному молодечеству, и этотъ несчастный двугривенный ставимъ ребромъ и расходуемъ безобразно. Намъ строгая экономія еще необходимѣе, чѣмъ другимъ, дѣйствительно образованнымъ народамъ, потому что мы въ сравненіи съ ними—нищіе. Но, чтобы соблюдать такую экономію, надо прежде всего, уяснить себѣ до послѣдней степени ясности, что полезно обществу и что бесполезно. Вотъ тутъ-то, надъ этимъ уясняемъ и должна работать литература. Миѣ кажется, что мы начинаемъ чувствовать необходимость умственной экономіи и стремимся уяснить себѣ понятие настоящей выгоды или пользы. Въ этомъ и заключается то самостоятельное направленіе мысли, которое, по моему миѣнію, вырабатывается въ современномъ русскомъ обществѣ. Если это направленіе разовьется, то заколдованный кругъ будетъ пробитъ. Экономія умственныхъ силъ увеличить нашъ умственный капиталъ, а этотъ увеличенный капиталъ, приложенный къ полезному производству, увеличитъ количество хлѣба, мяса, одежды, обуви, орудій и всѣхъ остальныхъ вещественныхъ продуктовъ труда. Обязанность развивать это направленіе и пробивать съ этой стороны заколдованный кругъ лежитъ цѣликомъ на нашей литературѣ, потому что въ этой сферѣ литература можетъ дѣйствовать самостоятельно.

## II.

Экономія умственныхъ силъ есть не что иное, какъ строгій и послѣдовательный реализмъ. «Попрода—не храмъ, а мастерская,—говоритъ Базаровъ,—и человѣкъ въ ней работникъ». Рахметовъ видится только съ тѣми людьми, съ которыми ему «нужно» видѣться; онъ читаетъ только тѣ книжки, которыя ему «нужно» прочесть; онъ даже ѣстъ только ту пищу, которую ему «нужно» ѣсть, для того чтобы поддерживать въ себѣ физиче-

скую силу; а поддерживаетъ онъ эту силу также потому, что это кажется ему «нужнымъ», то-есть потому, что это находится въ связи съ общей цѣлью его жизни. Особенность Рахметова состоитъ исключительно въ томъ, что онъ мѣне другихъ честныхъ и умныхъ людей нуждается въ отдыхѣ; можно сказать, что онъ отдыхаетъ только тогда, когда спитъ. Вся остальная часть его жизни проходитъ за работой, и вся эта работа клонится только къ одной цѣли: уменьшить массу человѣческихъ страданій и увеличить массу человѣческихъ наслажденій. Къ этой цѣли клонились всегда, сознательно и безсознательно, прямо или косвенно, всѣ усилія всѣхъ умныхъ и честныхъ людей, всѣхъ мыслителей и изобрѣтателей. Чѣмъ сознательнѣе и прямѣе дѣятельность человѣка направлялась къ этой цѣли, тѣмъ значительнѣе была масса принесенной имъ пользы; но къ сожалѣнію нервная система человѣка такъ устроена, что она не можетъ долго сосредоточивать свои силы на одной точкѣ. Если мы захотимъ долго держать руку или ногу въ одномъ и томъ-же положеніи, то мы почувствуемъ въ этой ногѣ или рукѣ утомленіе и наконецъ настоящую боль. Если мы будемъ долго смотрѣть на одинъ предметъ, то у насъ зарыбитъ въ глазахъ. Если мы будемъ долго вдумываться въ одну и ту-же мысль, то умъ нашъ на нѣсколько времени откажется работать. Если мы будемъ проводить эту мысль во всѣ наши поступки, то наконецъ эта мысль начнетъ насъ тяготить, и мы почувствуемъ непреодолимую потребность отложить ее на время всторону и пожить хоть нѣсколько часовъ безцѣльной жизнью. У Рахметова эта потребность возникаетъ очень рѣдко, и поэтому онъ стоитъ выше обыкновенныхъ людей, то-есть, можетъ втеченіи своей жизни сдѣлать больше работы; а всякій согласится, что мы можемъ мѣрять умственные силы людей только количествомъ сдѣланной ими полезной работы. Рахметовъ можетъ обходиться безъ того, что называется личнымъ счастьемъ; ему нѣтъ надобности освѣжать свои силы любовью женщины, или хорошей музыкой, или смотрѣніемъ шекспировской драмы, или просто веселымъ обѣдомъ съ добрыми друзьями. У него есть только одна слабость: хорошая сигара, безъ которой онъ не можетъ вполне успѣшно размышлять. Но и это наслажденіе служить ему только средствомъ: онъ куритъ не потому, что это доставляетъ ему удовольствіе, а потому, что куреніе возбуждаетъ его мозговую дѣятельность. Еслибы онъ не замѣчалъ въ этомъ куреніи осязательной пользы, онъ-бы отъ него отказался, не ради идеальнаго совершенства, а ради того, что не слѣдуетъ отвлекаться отъ настоящей цѣли. Ставить такого титана въ примѣръ читателю совершенно бесполезно. Это все равно, что совѣтовать читателю связать желѣзную ночергу въ узелъ или

открыть какой-нибудь мировой законъ, вроде ньютоновскаго тяготѣнія или дарвиновской теоріи естественнаго выбора. Мы—люди обыкновенные, и еслибы мы захотѣли выбросить изъ нашей жизни отдыхъ и чисто-личное наслажденіе, то мы сдѣлали-бы себя мучениками и кромѣ того повредили-бы даже общему дѣлу; мы-бы надорвались, мы-бы отняли у себя возможность принести ту малую долю пользы, которая соотвѣтствуетъ размѣрамъ нашихъ силъ; поэтому намъ не слѣдуетъ надуваться, потому что до вола мы все-таки не доростемъ, а если лошмъ, то вмѣсто экономіи окажется чистый убытокъ. Когда вы отдыхаете и наслаждаетесь, тогда никто не имѣетъ права посылать васъ на работу; общее дѣло человѣчества подвигается впередъ не барщинной работой, и сгонять на этотъ трудъ лѣнливыхъ или угоняемыхъ людей значитъ изображать суетливую муху, помогавшую лошадамъ вытаскивать въ гору тяжелый рыдванъ. Но когда вы, отдохнувши и насладившись вдоволь, сами, по собственной охотѣ, принимаетесь за работу, тогда общество, въ лицѣ каждаго изъ своихъ членовъ, тотчасъ получаетъ надъ вами право контроля и критики; оно произноситъ свой приговоръ надъ вашей дѣятельностью, и имѣетъ полное право выражать свое желаніе, чтобы тѣ силы, которые добровольно отдаются на общепользное дѣло, дѣйствительно тратились тамъ, гдѣ онѣ необходимы. Когда вы отдыхаете, вы принадлежите самому себѣ; когда вы работаете, вы принадлежите обществу. Если-же вы никогда не хотите принадлежать обществу, если ваша работа не имѣетъ никакого значенія для него, тогда вы можете быть вполне увѣрены, что вы совсѣмъ никогда не работаете, и что вы проводите всю вашу жизнь подобно мотыльку, порхающему съ цвѣтка на цвѣтокъ. Мартышкинъ трудъ не есть работа. Если такой мартышкинъ трудъ производится вполне сознательно, то-есть, если трудящаяся личность сама понимаетъ свою бесполезность и сама говоритъ себѣ и другимъ: я трутень и хочу быть трутнемъ, потому что это мнѣ пріятно, тогда, разумѣется, не о чемъ и толковать, потому что неизлечимые больные не нуждаются ни въ дружескихъ совѣтахъ, ни въ медицинской помощи. Но можно сказать навѣрное, что большая часть мартышкина труда производится въ каждомъ человѣческомъ обществѣ по чистому недоразумѣнію. Трудящаяся личность въ большей части случаевъ добросовѣстно и искренно убѣждена въ томъ, что она трудится для человѣчества и для общества; это обаятельное убѣжденіе придаетъ ей бодрость и вдохновляетъ ее во время труда; если вы поколеблетесь въ ней это убѣжденіе, у нея опустятся руки, и для нея настанетъ очень тяжелая минута разочарованія и унынія; но за этой минутой явится сильное стремленіе къ настоящей

пользѣ и крутой поворотъ къ какой-нибудь другой дѣятельности, достойной мыслящаго чловѣка и добросовѣстнаго гражданина. Въ результатѣ получится такимъ образомъ экономія умственныхъ силъ, и эта экономія будетъ гораздо болѣе значительна, чѣмъ это можетъ показаться читателю съ перваго взгляда. Каждая личность дѣйствуетъ болѣе или менѣе на все, что ее окружаетъ; поворотъ къ реализму, происшедшій въ одной личности, даетъ себя чувствовать многимъ другимъ, и та-же самая особа, которая до своего обращенія могла своимъ примѣромъ и своими совѣтами сбить съ толку двухъ или трехъ молодыхъ людей, будетъ послѣ своего обращенія дѣйствовать на этихъ-же молодыхъ людей самымъ благотворнымъ образомъ, какъ покаившійся грѣшникъ можетъ дѣйствовать на чловѣка, порывающагося согрѣшить и, главное, убѣжденнаго въ похвальности грѣха. Поэтому, я думаю, что наша литература могла-бы принести очень много пользы, еслибы она тщательно подмѣтила и основательно разоблачила различныя проявленія мартышкина труда, свирѣпствующаго въ нашемъ обществѣ и отравляющаго нашу умственную жизнь. Кое-что въ этомъ направленіи уже сдѣлано; но вся задача, во всей своей цѣлости, чрезвычайно обширна, многія ея стороны совсѣмъ не затронуты, и вѣроятно пройдетъ еще много лѣтъ и потратится много усиленнаго труда, прежде чѣмъ общество начнетъ ясно сознавать свою собственную пользу. Пока не наступитъ это блаженное время русскаго благоразумія, литература должна постоянно держать ухо востро и выводить на свѣжую воду мартышкинъ трудъ, надѣвающий на себя самыя разнообразныя личины и ежедневно сбивающій съ толку самыхъ добросовѣстныхъ людей, очень неглупыхъ и вполне способныхъ горячо полюбить полезную работу.

### III.

Нашихъ реалистовъ упрекаютъ давно, и часто, и сильно въ томъ, что они не понимаютъ и не уважаютъ искусства. Упрекъ въ непониманіи несправедливъ; а что они не уважаютъ искусства—это вѣрно. Наши реалисты, какъ люди молодые и не вполне установившіеся, до сихъ поръ еще не опредѣлили съ достаточной ясностью свои отношенія къ искусству. Реальное направленіе нашей литературы вообще находится теперь въ переходной порѣ: оно перестало быть смутнымъ инстинктомъ, но не сдѣлалось еще строгимъ и отчетливо-сознательнымъ убѣжденіемъ. Многіе упреки противной стороны заставляютъ нашихъ реалистовъ врасплохъ. Когда противники представляютъ имъ крайніе выводы, составляющіе естественный и логическій результатъ ихъ собственныхъ положеній, тогда наши реалисты часто конфузятся, дѣлаютъ шагъ назадъ и стараются оправдаться.

Само собою разумѣется, что такіа колебанія вредятъ реальному направленію литературы, ободряютъ его противниковъ и даютъ имъ поводъ говорить поучительнымъ и покровительственнымъ тономъ разныя «жалкія слова» на ту печальную тему, что «молодо-зелено», и что всѣ нападки мальчишекъ на искусство и на науку происходятъ только отъ нежеланія учиться и отъ ребяческой наклонности ко всякому озорству. Всѣ уступки реалистовъ обращаются такимъ образомъ не только противъ ихъ общаго дѣла, но даже противъ ихъ отдѣльныхъ личностей. Эти уступки и колебанія безусловно вредны; но они въ то-же время могутъ служить намъ превосходнымъ доказательствомъ той истины, что нашъ теперешній литературный реализмъ не выписанъ изъ за-границы въ готовомъ видѣ, а формируется у насъ дома. У насъ нѣтъ готовой системы, изъ которой мы могли-бы брать для нашей защиты сильныя аргументы, придуманные какимъ-нибудь заграничнымъ учителемъ; мы въ этомъ отношеніи не похожи на гегелистовъ прошлаго поколѣнія; намъ приходится готовить каждый аргументъ своими домашними средствами; оттого дѣло идетъ у насъ не очень прытко, оттого мы иногда пятаемся и провираемся, но это еще ничего не значитъ. Но коффузиться все-таки не годится, а уже сдѣланные ошибки въ подобномъ родѣ слѣдуетъ исправлять для того, чтобы на будущее время обнаруживать, при столкновеніяхъ съ литературными противниками, больше достоинства, стойкости и сознательности. Года два тому назадъ наши литературные реалисты сильно опростоволосились, и этотъ случай такъ интересенъ и поучителенъ, что о немъ стоитъ поговорить подробно, для того чтобы опредѣлить разумныя отношенія настоящаго литературнаго реализма къ вопросу объ искусствѣ.

Дѣйствіе происходитъ въ 1862 году. Въ февральской книжкѣ «Русскаго Вѣстника» появляется романъ Тургенева: «Отцы и Дѣти». Романъ этотъ очевидно составляетъ вопросъ и вызовъ, обращенный къ молодому поколѣнію старшей частью общества. Одинъ изъ лучшихъ людей старшаго поколѣнія, Тургеневъ, писатель честный, написавшій и напечатавшій «Записки Охотника» задолго до уничтоженія крѣпостного права, Тургеневъ, говорю я, обращается къ молодому поколѣнію и громко предлагаетъ ему вопросъ: «Что вы за люди? Я васъ не понимаю, я вамъ не могу и не умѣю сочувствовать. Вотъ что я успѣлъ подмѣтить. Объясните мнѣ это явленіе». Таковъ настоящій смыслъ романа. Этотъ откровенный и честный вопросъ пришелся какъ нельзя болѣе во-время. Его предлагала вмѣстѣ съ Тургеневымъ вся старшая половина читающей Россіи. Этотъ вызовъ на объясненіе невозможно было отвергнуть. Отвѣчать на него литературѣ было необходимо. — Это было-бы

превосходно, еслибы каждая идея, проводимая мыслящими людьми, проникала въ общество, перерабатывалась въ немъ и потомъ возвращалась-бы назадъ къ литераторамъ въ отраженномъ видѣ для повѣрки и поправки. Тогда умственная работа закипѣла-бы очень быстро, и всякія недоразумѣнія между литературой и обществомъ оканчивались-бы вполне удовлетворительными объясненіями. Дурна или хороша была тенденція тургеневскаго романа — это все равно; для литературныхъ реалистовъ этотъ романъ былъ во всякомъ случаѣ драгоценнымъ извѣстіемъ о судьбѣ ихъ идеи, и еще болѣе драгоценнымъ поводомъ къ обстоятельному объясненію съ читающей публикой. Но надо было именно говорить со всѣмъ русскимъ обществомъ, а не съ личностью Тургенева и ужъ во всякомъ случаѣ не съ литературной партіей «Русскаго Вѣстника». Надо было совершенно отодвинуть въ сторону оцѣнку романа и сосредоточиться на разборѣ базаровскихъ идей даже въ томъ случаѣ, еслибы самъ Базаровъ былъ карикатурой. Но «Современникъ» поступилъ какъ разъ наоборотъ. Совершенно измѣняя добролюбовскимъ преданіямъ, онъ далъ своимъ читателямъ чисто эстетическую рецензію. Антоновичъ употребилъ всѣ силы своей діалектики на то, чтобы доказать, что романъ Тургенева плохъ, хотя публикѣ не было никакого дѣла ни до Тургенева, ни до его романа. Она хотѣла знать, что такое Базаровъ, и этотъ вопросъ имѣлъ для нея самое жизненное значеніе, потому что большая часть матерей, отцовъ и сестеръ видѣли въ своихъ дѣтяхъ и братьяхъ частицы или зародыши тѣхъ типическихъ особенностей, которыя сосредоточились и воплотились съ полной силой въ фигурѣ тургеневскаго нигилиста. «Если Базаровъ — карикатура, — разсуждала публика, — то объясните и представьте намъ въ настоящемъ свѣтѣ то явленіе жизни, которое вызвало эту карикатуру, и покажите намъ еще разъ ту идею, которая породила это явленіе. Если Базаровъ — живой человѣкъ, то растолкуйте намъ его, мы не понимаемъ, онъ насъ пугаетъ, и пугаетъ именно потому, что мы видимъ что-то непонятое и базаровское въ чертахъ характера многихъ изъ тѣхъ людей, которыхъ мы любимъ, отъ которыхъ намъ больно отрываться и съ которыми мы не умѣемъ свыкнуться». Но этотъ животрепещущій вопросъ, поставленный жизнью, не дошелъ до слуха критика, углубившагося въ проведеніе остроумной параллели между Тургеневымъ и Викторомъ Ипатьевичемъ Аскоченскимъ. Критикъ «Современника» не хотѣлъ объяснить публикѣ и даже самому молодому поколѣнію, какой смыслъ заключается для него въ Базаровѣ, изъ какой общей идеи выходятъ тенденція его. Задача дѣйствительно была очень обширная, и для удовлетворительнаго ея разрѣшенія требовалось очень много ос-

торожности, хладнокровія и технической ловкости; надо было отказаться отъ всякихъ стремленийъ къ пафосу и къ полемической декламации. Надо было уяснить себѣ свою собственную мысль во всѣхъ ея мельчайшихъ подробностяхъ и затѣмъ изложить ее въ полной ясности самыми холодными, безстрастными и пожалуй даже безцвѣтными словами. Но критикъ написалъ статью чрезвычайно рѣзкую, напалъ на Тургенева съ неслыханнымъ ожесточеніемъ, уличилъ его въ такихъ мысляхъ и стремленіяхъ, о которыхъ Тургеневъ никогда и не думалъ, выдержалъ самую упорную борьбу съ несуществующими заблужденіями автора и затѣмъ, наполнивъ этимъ воинственнымъ шумомъ пятьдесятъ страницъ, оставилъ существенный вопросъ совершенно нетронутымъ. Съ Тургеневымъ критикъ расправляется очень бойко, но при встрѣчѣ съ тѣми людьми, которые считаютъ Базарова уродомъ и злодѣемъ, онъ совершенно умолкаетъ. Эти люди говорятъ, что Базаровъ дѣйствительно существуетъ, и что онъ—лютое животное, подобное тѣмъ эгоистамъ, для которыхъ Станицкій рекомендуетъ желѣзные кольца, продѣтые въ ноздри. А критикъ Тургенева говоритъ, что Базаровъ — карикатура, что Базаровъ не существуетъ, но что, еслибы онъ существовалъ, то конечно его надо было-бы признать лютымъ животнымъ. Это значитъ, что дама просто пріятная говоритъ о ланкахъ да о глазкахъ: «ахъ, пестро!», а дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ возражаетъ: «ахъ, не пестро!», но въ сущности обѣ дамы вполне согласны между собою въ томъ, что пестрое платье унижаетъ достоинство благовоспитанной губернской аристократки. Они спорятъ о фактѣ, и только объ одномъ фактѣ, и при этомъ критикъ тщательно скрываетъ то обстоятельство, что онъ совершенно расхотѣлся съ Дудышкинымъ, Зарипымъ и Катковымъ въ самомъ принципѣ, на основаніи котораго произносится сужденіе о достоинствѣ факта. И онъ даже не останавливается на одномъ молчаніи; онъ робко и неясно произноситъ такіе слова, которые совершенно не вяжутся съ основными идеями «Современника»; словомъ, онъ конфузится, терается и доходитъ въ своей скромности или въ тонкости своей литературной дипломатіи до очевиднаго молчалинства, но все это благополучно сходитъ съ рукъ по милости воинственнаго экстаза, который составляетъ декорацию и направляется противъ личности Тургенева, какъ мыслителя, художника и гражданина. Базарова критикъ выдаетъ головой, и при этомъ онъ даже не осмѣливается отстаивать то живое явленіе, по поводу котораго былъ созданъ Базаровъ. Причина, которой онъ оправдываетъ свою робость, въ высшей степени любопытна: «пожалуй,—говоритъ онъ,—обличать въ пристрастіи къ молодому поколѣнію, а что еще хуже—стануть укорять въ недостаткѣ самообличенія. Поэтому пу-

скай кто хочетъ защищать молодое поколѣніе, только не мы» (стр. 93). Вотъ это очаровательно! Вѣдь защищать молодое поколѣніе значитъ, по настоящему, защищать тѣ идеи, которыя составляютъ содержание его умственной жизни и которыя управляютъ его поступками. Одно изъ двухъ: или критикъ самъ проникнуть этими идеями, или онъ ихъ отрицаетъ. Въ первомъ случаѣ защищать молодое поколѣніе значитъ защищать свои собственные убѣжденія. Во второмъ случаѣ защищать его невозможно, потому что человѣкъ не можетъ поддерживать ту идею, которую онъ отрицаетъ. Но критикъ, видите-ли, и радъ-бы защитить, да боится, что «его обличатъ въ пристрастіи». — Къ нему? — Къ собственнымъ убѣжденіямъ. Удивительное обличеніе! Умень долженъ быть тотъ господинъ, который выступить съ подобнымъ обличеніемъ, да и тотъ тоже недурень, кто боится такихъ обличителей. И зачѣмъ приводить такіе неестественные резоны? Просто не хватило умѣнья, и ничего тутъ нѣтъ постыднаго въ этомъ недостаткѣ наличныхъ силъ. Мы, люди молодые: поживемъ, поучимся, подумаемъ и черезъ нѣсколько лѣтъ рѣшимъ тѣ вопросы, которые теперь быть-можетъ заставляютъ насъ становиться въ тупикъ. Но валить съ больной головы на здоровую все-таки не годится: Тургеневъ и Базаровъ во всякомъ случаѣ невиноваты въ томъ, что критикъ не умѣетъ защищать молодое поколѣніе и что роль перваго критика въ «Современникѣ» не соответствуетъ теперешнимъ размѣрамъ его силъ. А между тѣмъ за все, про все отдуваются именно Тургеневъ да Базаровъ. Чтобы доказать, что Базаровъ—гнусная карикатура и что Тургеневъ написалъ презрѣнный насквиль, критикъ «Современника» рассуждаетъ такъ неестественно и пускаетъ въ ходъ такіе удивительныя натяжки, что читателю, знакомому съ романомъ «Отцы и Дѣти», приходится на каждомъ шагѣ обвинять и уличать критика или въ непонятливости, или въ нежеланіи понимать. Какъ объяснить себѣ напримѣръ такой пассажъ: «Главный герой романа съ гордостью и заносчивостью говорить о своемъ искусствѣ въ картежной игрѣ» (стр. 68). Это Базаровъ-то! Съ гордостью и заносчивостью! О преферансѣ и ералашѣ! Мнѣ даже совѣстно становится за критика. «Потомъ г. Тургеневъ старается выставить главнаго героя обжорой, который только и думаетъ о томъ, какъ-бы поѣсть и попить» (стр. 69). Подумаешь, право, что этотъ г. Тургеневъ есть нѣчто вродѣ г. Бориса Федорова, пишущаго для какихъ-то воображаемыхъ дѣтей поучительные рассказы о жадномъ Васенькѣ и о воздержной Парашѣ. «Даже смотрѣть глупо», какъ говоритъ Щедринъ въ своемъ рассказѣ «Развеселое житіе». Но еще глупѣе смотрѣть на то, какъ критикъ «Современника», умышленно или нечаянно, уро-

дуетъ сцену, происходящую передъ смертью Базарова. Вотъ это изумительное мѣсто: «герой, какъ медикъ, очень хорошо знаетъ, что ему остается до смерти нѣсколько часовъ; онъ призываетъ къ себѣ женщину, къ которой онъ ниталъ не любовь, а что то другое, непохожее на настоящую возвышенную любовь. Она пришла, герой и говоритъ ей: «Старая штука смерть, а каждому вновь. До сихъ поръ не трушу... а тамъ придетъ безпамятство, и фюитъ! Ну, что-жъ мнѣ сказать вамъ. Что я любилъ васъ? Это и прежде не имѣло никакого смысла, а теперь и подавно. Любовь—форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что такая вы славная! И теперь вотъ вы стоите, такая красивая»... (Читатель дальше ясенѣ увидитъ, какой гадкій смыслъ заключается въ этихъ словахъ.) Она подошла къ нему поближе, и онъ опять заговорилъ: «Ахъ, какъ близко, и какая молодая, свѣжая, чистая... въ этой гадкой комнатѣ!»... (стр. 657). Отъ этого рѣзкаго и дикаго диссонанса теряетъ всякое поэтическое значеніе эффектно написанная картина смерти героя». Читатель конечно недоумѣваетъ и начинаетъ думать, что критикъ «Современника»—прекраснѣйшій критикъ, но только «ужъ очень строгъ на счетъ манеръ», подобно Матренѣ Марковнѣ, супругѣ Егора Канитоныча, изъ повѣсти Тургенева—«Затишье». Читатель никакъ не можетъ понять, гдѣ-же тутъ «гадкій смыслъ», и въ чемъ именно чуткое ухо эстетика уловило «рѣзкій и дикій диссонансъ»? Оказывается дальше, что критикъ оскорбленъ не какъ эстетикъ, а какъ моралистъ. «И у автора,—восплачивается онъ на стр. 73,—поворачивается языкъ говорить о всепримиряющей любви, о безконечной жизни послѣ того, какъ его самого эта любовь и мысль о безконечной жизни не могли удержать отъ безчеловѣчнаго обращенія съ своимъ умирающимъ героемъ, который, лежа на смертномъ одрѣ, призываетъ свою возлюбленную для того, чтобы видомъ ея прелестей въ послѣдній разъ пощекотать свою потухающую страсть. Очень мило!» Да ужъ такъ мило, что милѣ этого мѣста не выдумалъ бы ни Заринъ, ни Щегловъ. Всякій обыкновенный читатель видитъ ясно, что Базаровъ хочетъ въ послѣдній разъ взглянуть на любимую женщину и въ послѣдній разъ сказать ей какое-нибудь ласковое слово. Можетъ-быть со стороны Базарова очень непохвально занимать свои мысли передъ самою смертью такими существенными привязанностями. Что-жъ, думаетъ онъ, пускай посмотритъ. Пусть она ему улыбнется, пусть онъ увидитъ въ этой улыбкѣ тѣнь тихой грусти, пусть онъ выскажетъ ей словами или взглядами хоть что-нибудь изъ той горячей любви, которую переполнена была его молодая душа.

Такъ подумаетъ самый обыкновенный и са-

мый безхитростный читатель, тотъ самый читатель, который быть-можетъ на здороваго Базарова смотрѣлъ, какъ на злобнаго и опаснаго разрушителя. Такъ подумали навѣрное даже многие изъ мудреныхъ русскихъ писателей, подобныхъ Каткову, Павлову, Скарятину и другимъ блкстителямъ литературнаго благочинія. Но критикъ «Современника» такъ переполненъ воинственнымъ жаромъ, что онъ ни на одну минуту не желаетъ сдѣлаться обыкновеннымъ и безхитростнымъ читателемъ. Онъ надѣваетъ на себя неестественную маску; онъ старается быть неумолимо строгимъ. Онъ проникаетъ въ мысли Базарова и усматриваетъ въ нихъ грѣховную нечистоту. Прежде всего онъ выпускаетъ въ свой разсказъ нѣкоторыя невѣрности, которыя я, изъ вѣжливости, назову ошибками. Во-первыхъ, Базаровъ не призываетъ Одинцову, а только посылаетъ ей сказать, что онъ умираетъ. Одинцова прѣзжаетъ къ нему безъ всякаго зова. Базаровъ не ожидалъ ея; онъ едва могъ надѣяться на то, что она прѣдетъ, и вслѣдствіе этого онъ, увидя ее передъ собою, чувствуетъ такой избытокъ радости и благодати, что не находитъ даже, какъ и о чемъ говорить съ нею. Сверхъ того онъ уже такъ плохъ, что въ присутствіи Одинцовой начинаетъ бредить и вообще съ трудомъ можетъ связывать мысли. Онъ, какъ больной ребенокъ, смотритъ на нее и видитъ, что она хорошая, и бормочетъ: «славная, красивая, молодая, свѣжая, чистая, въ гадкой комнатѣ». При этомъ онъ только съ мучительной ясностью чувствуетъ поразительный контрастъ между ея цвѣтущей жизнью и своимъ собственнымъ разложениемъ. И тутъ, при всей его слабости, въ немъ не видно ни зависти, ни боязни. Какъ только Одинцова переступаетъ черезъ порогъ его комнаты, онъ говоритъ ей: «Не подходите; моя болѣзнь можетъ быть заразительна»; но Одинцова тотчасъ, по естественному движенію нѣжности и неустрашимости, подходитъ къ самой его постели. Тогда онъ и говоритъ: «Ахъ, какъ близко!» Этими словами онъ хочетъ сказать: я—кусочекъ чилого мяса. Мнѣ больно за васъ. За чѣмъ вы, молодая, свѣжая, чистая, дышите зараженнымъ воздухомъ этой гадкой комнаты. И въ то-же время ему конечно въ высшей степени пріятно, что она его не боится, что она смотритъ на него ласково и безъ отвращенія, что она не бѣжитъ вонъ изъ гадкой комнаты, а особенно пріятно для него то, что она въ самомъ дѣлѣ хорошая и милая женщина, а не только вдова души возвышенной, благородной и аристократической», какъ называетъ ее критикъ. Базаровъ мучительно счастливъ ея присутствіемъ и съ грустнымъ удовольствіемъ наслаждается ея простой и естественной гуманностью, потому что въ немъ шевелятся до самой послѣдней минуты высоко-человѣчныя и



строго-разумныя мысли. И по поводу этого - то человѣка критикъ говоритъ о какомъ-то щекотаніи. Я даже не понимаю хорошенько, что именно онъ называетъ этимъ карательнымъ терминомъ. Во всякомъ случаѣ я нахожу, что мнѣ давно пора прекратить разговоръ объ этомъ предметѣ. Да, опростоволосились наши реалисты, опростоволосились до такой степени, что сочли нужнымъ поддерживать свое дѣло крикотворной аргументаціей.

#### IV.

Наши умственные силы расходуются нерасчетливо—это не подлежитъ сомнѣнію, и въ признаніи этого факта сходятся между собою всѣ наши литературные органы самыхъ разнообразныхъ оттѣнковъ. Гдѣ причина нерасчетливости? Когда приходится отвѣчать на этотъ вопросъ, тогда всѣ органы бросаются въ разсыпную и другъ друга побиваютъ величіемъ своей ерунды. Все это очевидно доказываетъ, что ясныхъ и неопровержимыхъ аргументовъ не представляетъ никто, что въ корень дѣла не заглядываютъ ни одинъ писатель, и что настоящая причина нашей умственной слепоты остается неизвѣстной всѣмъ ея искателямъ и обличителямъ. Еслибы кто-нибудь растолковалъ публикѣ, какъ дважды два—четыре, въ чемъ состоятъ важныя интересы ея умственной жизни, то противники этого «кто-нибудь» были-бы радикально побѣждены, потому что публика себѣ не врагъ и, стало быть, не будетъ обольщаться тѣмъ, что она разъ-на-всегда признала для себя вреднымъ и невыгоднымъ. Поэтому указать на эти интересы и доказать, что они дѣйствительно существующія,—это, разумѣется, самая важная задача современной литературы. Пока эта задача не будетъ рѣшена вполне, до тѣхъ поръ и писателямъ придется работать ощупью, и публикѣ выбирать себѣ кусочки изъ груды ихъ произведеній—также ощупью. Ни одинъ писатель не рѣшится сказать, что онъ работаетъ для нанесенія вреда читающему обществу; ни одинъ не рѣшится также сказать, что онъ своей работой не приноситъ обществу ни малѣйшей пользы; стало быть, всѣ стремятся принести своимъ читателямъ пользу; между тѣмъ одни изъ нихъ дѣйствуютъ прямо наперекоръ другимъ. Еслибы читатели «однихъ» были моллюсками, а читатели «другихъ»—тараканами, то, разумѣется, можно было-бы думать, что и «одни», и «другіе» говорятъ дѣло, потому что организація таракана не похожа на организацію моллюска, и слѣдовательно умственные интересы этихъ двухъ породъ могутъ быть діаметрально противоположными. Но, къ сожалѣнію, и однихъ, и другихъ читаютъ все-таки несчастные люди, стало быть очевидно, или одни, или другіе врутъ и вредятъ, а легко можетъ быть и то, что врутъ и вредятъ какъ одни, такъ и другіе, потому что способы вранья

неисчислимы, между тѣмъ какъ истина двоится не можетъ. Стало быть, есть писатели, приносящіе чистый вредъ или по медвѣжьей услужливости, или по узкой корыстности \*); первые ошибаются, вторые лицемерятъ. Нервыхъ надо урезонить, вторыхъ надо разоблачить для того, чтобы они сдѣлались безвредными и неопасными. Чтобы произвести эти двѣ операціи, то-есть, чтобы радикально вычистить литературу, надо именно указать существенную пользу. Вополнѣ послѣдовательное стремленіе къ пользѣ называется реализмомъ и непременно обуславливаетъ собою строгую экономію умственныхъ силъ, то-есть постоянное отрицаніе всѣхъ умственныхъ занятій, не приносящихъ никому пользы. Реалистъ постоянно стремится къ пользѣ и постоянно отрицаетъ въ себѣ и другихъ такую дѣятельность, которая не даетъ полезныхъ результатовъ. Стало быть, строгій реалистъ соблюдаетъ въ самомъ себѣ и уважаетъ въ другихъ людяхъ строгую экономію умственныхъ силъ. Стало быть, разъяснить вполне значеніе реализма въ литературѣ—значитъ рѣшить самую важную задачу современной идеи и радикально очистить эту идею отъ пенужнаго сора и отъ бесплодныхъ полемическихъ волненій.—Но различныя недоразумѣнія могутъ укрыться въ самомъ словѣ «польза», и поэтому прежде всего необходимо разъяснить эти недоразумѣнія.—Человѣкъ одаренъ чувствомъ самосохраненія. Онъ невольно и безсознательно любитъ свою жизнь и старается сохранить ее въ себѣ, какъ можно дольше. Такія крайности, какъ мотовство и скряжничество,—одинаково нерасчетливы, потому что при обоихъ способахъ дѣйствія жизнь даетъ меньше наслажденій, чѣмъ сколько она могла-бы дать при рациональномъ пользованіи. Дѣти такъ радикально предпочитаютъ пріятное полезному, то-есть непосредственное наслажденіе отсроченному, что, если посыпать сахаромъ ихъ молочную кашу и не размѣшать ее начальственной рукой, они непременно истребятъ сначала элементъ *пріятнаго*, то-есть чистый сахаръ, а потомъ уже, по необходимости и съ тяжелымъ вздохомъ, примутся за голую *пользу*, то-есть за кашу, которая однако была-бы гораздо вкуснѣе въ соединеніи съ *пріятностью*. Взрослые называютъ этихъ юныхъ эпикурейцевъ глупыми ребятами и сами дѣлаютъ глупости гораздо болѣе крупныя. Напримѣръ, далеко не всякій чиновникъ умѣетъ такъ распорядиться съ своимъ третнимъ жалованьемъ, чтобы въ началѣ трети не задавать неестественнаго форсу и въ концѣ трети не созерцать свои зубы, положенные на полку. Это значитъ—сначала облизать весь сахаръ, а потомъ лишить себя даже молочной каши. У кого хватаетъ предусмотрительности на четыре мѣ-

\*) Въ концѣ концовъ и то, и другое сводится къ тупоумію.

сяца, у того может не хватить ей на два года. Сколько бывало примѣровъ, что на литературное поприще выступаетъ вдругъ блестящее молодое дарованіе; два-три успѣха быстро слѣдуютъ одинъ за другимъ; опытные люди смотрятъ на него и радуются, но въ то-же время совѣтуютъ ему потихоньку: почитайте книжку; поучитесь, голубчикъ. Ей Богу, лучше будетъ. — Еще успѣю, говоритъ онъ, еще успѣю. — Успѣю, да успѣю, какъ вдругъ неожиданное фіаско постигаетъ юное дарованіе, которое, какъ падающая звѣзда, мгновенно скатывается съ неба и скрывается на заднемъ дворѣ какого-нибудь «Сына Отечества» или «Развлеченія», куда впрочемъ настоящія надающія звѣзды, сколько мнѣ извѣстно, не заглядываютъ...

### V.

Базаровъ съ первой минуты своего появленія приковалъ къ себѣ всѣмъ симпатіи, и онъ продолжаетъ быть моимъ любимцемъ даже теперь. Я долго не могъ себѣ объяснить причину этой исключительной привязанности, но теперь я ее вполне понимаю. Ни одинъ изъ подобныхъ ему героев не находится въ такомъ трагическомъ положеніи, въ какомъ мы видимъ Базарова. Трагизмъ базаровскаго положенія заключается въ его полномъ уединеніи среди всѣхъ живыхъ людей, которые его окружаютъ. Онъ вездѣ производитъ своей особой рѣзкій диссонансъ, онъ всѣхъ заставляетъ страдать своимъ присутствіемъ и существованіемъ, онъ самъ это видитъ и понимаетъ, и понимаетъ кромѣ того съ мучительною ясностью роковыя причины и абсолютную неизбѣжность этихъ страданій. Люди, окружающіе Базарова, страдают не отъ того, что онъ поступаетъ съ ними дурно, и не отъ того, что они сами дурные люди; напротивъ того, онъ не дѣлаетъ въ отношеніи къ нимъ ни одного дурного поступка, и они, съ своей стороны, также очень добродушные и честные люди. И тѣмъ хуже, тѣмъ мучительнѣе и безвыходнѣе ихъ положеніе. Нѣтъ причинъ для разрыва и нѣтъ возможности сблизиться. Нѣтъ возможности потому, что нѣтъ ни одного общаго интереса, ни одного такого предмета, который съ одинаковой силой затронулъ-бы умственные способности Базарова и его собесѣдниковъ. Ему приходится слушать ихъ, какъ пяти-лѣтнихъ дѣтей, рассказывающихъ, что вотъ они гулять ходили и вдругъ видятъ большую такую корову, и вдругъ эта корова подошла туда, знаете, къ рѣкѣ, и вдругъ начала пить. — Ну, такъ что-же? спрашиваете вы. — Ну вотъ, напилась и пошла. — А потомъ? — Потомъ мы домой вернулись. — Вотъ вамъ и весь анекдотъ. И, выслушивая его, вы, изъ чувства естественной гуманности, должны тщательно наблюдать за вашей фізіономіей, чтобы на ней не выразилось изумленіе, чтобы ваши губы не сложились невольно въ улыбку сострадательнаго

недоумѣнія, и чтобы кромѣ того черты вашего лица изображали хоть малѣйшее участіе къ тому, что вамъ рассказывается съ чисто дѣтскимъ увлеченіемъ. Чуть только какой-нибудь мускулъ вашей фізіономіи утомился отъ этого неестественнаго напряженія и подернулся не въ тактъ этой усыпительной музыкѣ, и вся гармонія нарушена, и весь плодъ вашихъ долговременныхъ усилій пропалъ безвозвратно, и рассказчикъ, человѣкъ добрый и честный, искренно желающій васъ утѣшить и развлечь, оказывается глубоко и смиренно опечаленнымъ своей немощностью и своей неспособностью дать вамъ то, чего-бы вы желали. Еслибы онъ васъ обругалъ въ эту минуту, вы бы этому обрадовались; но онъ тихо опечалится и замолчитъ; въ его душѣ будетъ только грусть, безъ малѣйшей горечи, но эту грусть вы въ немъ видите совершенно ясно, и совершенно независимо отъ его воли и его усилій скрыть отъ васъ эту грусть, то-есть не огорчить васъ, человѣка, огорчившаго его, — эти усилія, говорю я, дѣлаютъ его еще болѣе трогательнымъ въ вашихъ глазахъ; и вамъ больно было, и ему больно, и обоимъ грустно, что развѣредили другъ друга, и все-таки ничѣмъ, да вѣдь рѣшительно ничѣмъ, нельзя этому дѣлу помочь. Вотъ оно, дьявольское-то положеніе; вотъ что можетъ душу вытянуть изъ каждаго человѣка, способнаго мыслить и чувствовать. Я совѣтую читателямъ, получавшимъ «Русское Слово» 1863 годъ, перечитать въ немъ повѣсть «Женитьба отъ скуки». Тамъ именно такой разладъ между мужемъ и женой приводитъ къ сумасшествію и къ самоубійству. Результатъ все не преувеличенъ, и развитіе трагической дисгармоніи прослѣжено тамъ очень удовлетворительно. Но молодой мужъ и молодая жена по крайней мѣрѣ имѣютъ хоть какую-нибудь возможность разойтись; конечно этотъ образъ дѣйствій тягостенъ и сопряженъ со многими неудобствами; конечно трудно предположить, чтобы обоимъ разошедшимся супругамъ удалось устроить себѣ новое счастье; но все-таки есть выходъ, и во всякомъ случаѣ лучше одинокое и безцвѣтное существованіе, чѣмъ мучительное сожитіе. Но когда между родственниками и дѣтьми появился такой разладъ, какой мы видимъ между старыми Базаровыми и ихъ сыномъ, тогда и выхода-то никакого нельзя придумать. Евгений Базаровъ, разумѣется, можетъ отшатнуться отъ своихъ родителей, и его жизнь все-таки будетъ полна, потому что ее наполняютъ умственный трудъ. Но ихъ жизнь? И какой-же настоящій Базаровъ, какой мыслящій человѣкъ рѣшится оттолкнуть отъ себя своихъ стариковъ, которые только имъ живутъ и дышатъ и которые сдѣлали все, что могли, для его образованія. Эти старики буквально подсадили его на своихъ плечахъ, чтобы онъ могъ ухватиться своими отроческими руками за нижнюю вѣтку дерева позна-

нія; онъ ухватился и полѣзъ, и залѣзъ высоко, и ходу нѣтъ назадъ, и спуститься невозможно, а имъ также невозможно подняться кверху, потому что они слабы и дряхлы, и приходится имъ аукаться издали, и приходится имъ страдать отъ того, что нѣтъ возможности разслышать и понять другъ друга; а между тѣмъ старики и тому рады, что слышать по крайней мѣрѣ неясные звуки родного голоса. Скажите, Бога ради, кто-же рѣшится, находясь въ положеніи Базарова, замолчать совершенно и не отвѣчать ни однимъ звукомъ на кроткія и ласковыя рѣчи, поднимающіяся къ нему изъ подъ дерева? И Базаровъ откликается. — И странно, и мучительно волнуются и борются въ широкой груди Базарова ненависть и любовь, беспощадный, стальной и холодный, судорожно улыбающійся, демоническій скептицизмъ и горячее, тоскливое, порою радостное и ликующее романтическое стремленіе вдаль, вдаль, но не прочь отъ земли, а впередъ, въ манящую, ласкающую, глубокую синеву необозримого лучезарнаго будущаго. Почитайте Гейне, и вы поймете, вы увидите въ образахъ эту ужасную смѣсь мучительныхъ ощущений, которыми наградили всѣхъ мыслящихъ людей Европы наше общее историческое прошлое. А покуда прочтите этотъ небольшой разговоръ Базарова съ Аркадіемъ.

«— Нѣтъ, говорилъ онъ на слѣдующій день Аркадію, — уѣду отсюда завтра. Скучно, работать хочется, а здѣсь нельзя. Отправляюсь опять къ намъ въ деревню; я-же тамъ всѣ свои препараты оставилъ. У насъ по крайней мѣрѣ запереться можно. А здѣсь отецъ мнѣ все твердитъ: „мой кабинетъ къ твоимъ услугамъ, никто тебѣ мѣшать не будетъ“, а самъ отъ меня ни на шагъ. Да и совѣстно какъ-то отъ него запирается. Ну, и мать тоже. Я слышу, какъ она вздыхаетъ за стѣной, а выйдешь къ ней и сказать ей нечего.

— Очень она огорчится, промолвилъ Аркадій, — да и онъ тоже.

— Я къ нимъ еще вернусь.

— Когда?

— Да вотъ какъ въ Петербургъ поѣду.

— Мнѣ твою мать особенно жалко.

— Что такъ? Ягодами что-ли она тебѣ угодила?

Аркадій опустилъ глаза.»

Такъ тебѣ и надо поступать, Аркашенька. Больше ты, другъ мой разлюбезный, ничего и дѣлать не умѣешь, какъ только глазки опускать. Заговорилъ было съ тобою Базаровъ сначала какъ съ путнымъ человѣкомъ, а ты только, какъ старушка божія, охами да вздохами отвѣчать ухитрился. Въ самомъ дѣлѣ, взгляните въ этотъ разговоръ. Базарову тяжело и душно; онъ видитъ, что и работать нельзя, да и для стариковъ-то удовольствія мало, потому что «выйдешь къ ней—и сказать ей нечего». Такъ ему приходится скверно, что онъ чувствуетъ потребность высказаться хоть кому-нибудь, хоть младенчеству кандидату Аркадію. И начинаетъ онъ высказываться отрывочными предложеніями, такъ, какъ всегда выска-

зываются люди сильные и сильно измученные: «Совѣстно какъ-то», «ну, и мать тоже», «вздыхаетъ за стѣной», «сказать ей нечего». Кажется, не хитро понять изъ этихъ словъ, что не гаерствуетъ онъ надъ своими стариками, что не весело ему смотрѣть на нихъ сверху внизъ, и что самъ онъ видитъ съ поразительной ясностью, какъ мало даетъ имъ его присутствіе и какъ мучительна будетъ для нихъ необходимая разлука. Я думаю, умный человѣкъ, будучи на мѣстѣ Аркадія, понялъ-бы, что Базаровъ особенно заслуживаетъ въ эту минуту сочувствія, потому что быть мучителемъ, и мучителемъ роковымъ, для каждаго разумнаго существа гораздо тяжелѣе, чѣмъ быть жертвой. Умный человѣкъ хоть однимъ добрымъ словомъ даль-бы замѣтить огорченному другу, что онъ понимаетъ его положеніе, и что въ самомъ дѣлѣ ничѣмъ нельзя помочь бѣдѣ, и что, стало быть, дѣйствительно слѣдуетъ залить тяжелое впечатлѣніе свѣжими волнами живительнаго труда. А Аркадій? Онъ ничего не нашелъ лучшаго, какъ ухватить Базарова за самое больное мѣсто: — «Очень она огорчится». Точно будто Базаровъ этого не знаетъ. И точно будто эта мысль даетъ какое-нибудь средство поправить дѣло. На это старушечье размышленіе Базаровъ могъ отвѣчать сокрушительнымъ вопросомъ: — Ну, а что-жъ мнѣ дѣлать, чтобы она не огорчалась? И тутъ Аркадій, какъ настоящая старуха, повторилъ-бы опять ту-же минорную гамму съ легкой перестановкой нотъ: «она очень огорчится». И такъ какъ изъ трехъ словъ можно сдѣлать шесть перестановокъ, то юный мудрецъ, повторивъ ту-же фразу шесть разъ, замолчалъ-бы, находя, что онъ подальше своему другу шесть практическихъ совѣтовъ, и шесть цѣлительныхъ бальзамовъ. Къ счастью, Базарову было не до диспутовъ съ этимъ пискливымъ цыпленкомъ. Онъ тотчасъ спохватился, вспомнилъ, что юный другъ его не созданъ для пониманія трагическихъ положеній, и сталъ продолжать разговоръ безъ всякихъ изліяній, въ самомъ лаконическомъ тонѣ. Но это плоское животное, Аркадій, не утерпѣлъ и произвелъ новое визжаніе, и опять еще грубѣе ухватилъ Базарова за больное мѣсто. «Мнѣ твою мать особенно жалко». Въ сущности, это изреченіе есть не что иное, какъ одна изъ шести возможныхъ перестановокъ. Но такъ какъ Аркадій взялся за перестановки очень хитро, то-есть сталъ выражать ту-же мысль *другими* словами, то надо было опасаться, что перестановокъ будетъ не шестъ, а даже гораздо больше. Базарову предстояло утонуть въ волнахъ цѣлительнаго бальзама, и очевидно, было необходимо сразу заморозить потоки кандидатскаго сердоболія. Ну, а Базаровъ на эти дѣла мастеръ. Какъ сказалъ объ ягодахъ, такъ и закрылись хляби сердечныя. Аркадій опустилъ глаза, что ему необходимо было сдѣлать въ самомъ началѣ разговора. — А

наша критика?! А наша глубокая, проникательная критика?! — Она съумела только за этот разговор укорить Базарова въ жестокости характера и въ непочтительности къ родителямъ. — Ахъ ты, Коробочка доброжелательная! — Ахъ ты, обличительница кофѣчная! Ахъ ты, лукашко россійскаго глубокомыслія!

# VI.

Взглядъ Базарова на отца Аркадія, Николая Петровича, доказываетъ самымъ неопровержимымъ образомъ, что Базаровъ желаетъ и старается сблизиться съ тѣми людьми старшаго поколѣнія, которые еще способны подвинуться впередъ. Но какъ сблизиться? Такъ-ли, чтобы Базаровъ сдѣлалъ пѣсколько шаговъ въ ихъ сторону, или такъ, чтобы люди старшаго поколѣнія сами подошли къ Базарову и къ его идеямъ? То-есть, другими словами, готовъ-ли Базаровъ сдѣлать рядъ уступокъ, или, напротивъ того, онъ желаетъ переубѣдить другихъ? Я думаю, достаточно поставить этотъ вопросъ для того, чтобы считать его рѣшеннымъ. Человѣкъ, дѣйствительно имѣющій какія-нибудь убѣжденія, только отъ того и держится этихъ убѣждений, что считаетъ ихъ истинными. Онъ быть-можетъ ошибается; быть-можетъ онъ замѣтитъ со временемъ свою ошибку, и тогда, разумѣется, тотчасъ перемѣнитъ въ своихъ убѣжденіяхъ то, что окажется несогласнымъ съ истинной; но покуда онъ не увидитъ ясно несостоятельности своихъ мнѣній, пока эти мнѣнія не разбиты ни фактами дѣйствительной жизни, ни очевидными доказательствами противниковъ, до тѣхъ поръ онъ думаетъ по своему, считаетъ свои идеи вѣрными, держится за нихъ твердо и, изъ чистой любви къ своимъ ближнимъ, чувствуетъ желаніе избавить ихъ отъ того, что онъ, справедливо или несправедливо, считаетъ заблужденіемъ. Когда сходятся между собою два человѣка различныхъ убѣждений, оба искренно преданные своимъ идеямъ, оба добросовѣстно стремящіеся къ истинѣ и оба настолько просвѣщенные, чтобы понимать возмутительную пошлость нетерпимости, тогда каждый изъ нихъ, видя въ своемъ собесѣдникѣ честнаго человѣка и не имѣя причины ненавидѣть его, желаетъ открыть своему ближнему ту истину, которую онъ самъ обладаетъ. Одна изъ этихъ истинъ непременно оказывается заблужденіемъ; но тотъ, кто обладалъ этимъ заблужденіемъ, старался доставить ему побѣду, потому что видѣлъ въ немъ несомнѣнную истину. Можетъ-быть — мало-ли что бываетъ на свѣтѣ? — можетъ-быть, говорю я, Базарову и пришлось-бы въ чемъ-нибудь сдѣлать искреннюю уступку идеямъ старшаго поколѣнія, но все-таки Базаровъ не могъ подходить къ старшему поколѣнію съ желаніемъ сдѣлать ему эту уступку и съ той мыслью, что такая уступка возможна. Подобная мысль и по-

добное желаніе составляютъ уже дѣйствительную уступку и могутъ возникнуть въ человѣкѣ, искренно убѣжденномъ только вслѣдствіе фактическихъ доказательствъ, а никакъ не вслѣдствіе мягкости характера. Когда у человѣка есть дѣйствительно какія-нибудь убѣжденія, тогда ни состраданіе, ни уваженіе, ни дружба, ни любовь, ничто, кромѣ осязательныхъ доказательствъ, не можетъ поколебать или измѣнить въ этихъ убѣжденіяхъ ни одной мельчайшей подробности.

# VII.

Еслибы отцомъ Базарова былъ Николай Петровичъ, крѣпкій и довольно образованный сорока-четырехъ-лѣтній мужичина, то Базаровъ можетъ-быть увлекъ-бы своего отца въ область реалистическаго труда, и представители двухъ поколѣній съ любовью и съ взаимнымъ довѣріемъ стали-бы поддерживать и ободрять другъ друга. Молодой работалъ бы больше пожилого, но пожилой понималъ-бы его вполне и совершенно сознательно радовался-бы каждому отдѣльному успѣху своего младшаго товарища, на котораго это сочувствіе дѣйствовало-бы самымъ живительнымъ образомъ. О разладѣ не могло-бы быть и рѣчи, потому что, вполне понимая другъ друга, эти люди видѣли-бы, что между ихъ интересами нѣтъ и не можетъ быть ни малѣйшей противоположности. Одинъ ищетъ истины, и другой также ищетъ истины, и эта истина для обоихъ одна и та-же, и эта истина не такое благо, которое, доставшись одному, не могло-бы въ то-же время принадлежать и другому. Стало быть, и дуться другъ на друга не зачѣмъ, и надо только договориться до взаимнаго пониманія. Базаровъ очень хорошо знаетъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ всякая попытка договориться до какаго-нибудь удовлетворительнаго результата совершенно бесплодна. Онъ никогда не пробуетъ серьезно разговаривать съ Ситниковымъ или съ Кукшиною, потому что эти господа очевидно изображаютъ своими особами бездонную бочку Данаидъ. Сколько въ нихъ не вали дѣльныхъ мыслей, хоть весь британскій музеумъ опрокинь въ ихъ головы, все будетъ пусто и все будетъ проходить насквозь съ величайшей легкостью. Базаровъ не пробуетъ также вступать въ серьезные разговоры съ своими родителями, хотя эти родители вовсе не глупы отъ природы. Но договориться и съ ними невозможно: отецъ Базарова — славный и добрый старикъ, еще бодрійшійся, но уже начинающій впадать въ дѣтство; а мать его даже никогда не переставала быть ребенкомъ, хотя и была постоянно примѣрной супругой, отличной хозяйкой и до самозабвенія нѣжной матерью. Такія личности, обладающія здоровымъ и нормальнымъ мозгомъ, по живущія и умирающія безъ пособія этого органа, встрѣчаются у насъ на каж-

домъ шагу и доказываютъ своимъ существованіемъ ту несомнѣнную истину, что время полного господства головного мозга надъ явленіями человѣческой жизни наступитъ еще очень скоро. Такія личности живутъ такъ называемымъ чувствомъ, то-есть каждое впечатлѣніе не задерживаясь и не перерабатываясь въ ихъ мозгу ни одной минуты, немедленно переходить въ какой-нибудь поступокъ, въ которомъ эта поступающая личность никогда не спрашиваетъ у себя и никогда не можетъ дать себѣ ни малѣйшаго отчета. Такія личности приходится по душѣ нашему обществу и нашимъ художникамъ, которые дѣйствительно имѣютъ съ ними довольно много точекъ соприкосновенія; но я сильно сомнѣваюсь въ томъ, чтобы такія личности могли имѣть особенно живительное вліяніе на медленно, страшно-медленное движеніе человѣчества къ свѣтлому будущему. Личности, подобныя старушкѣ Базаровой,—это ходячіе пуховики, часто очень привлекательные, и всегда приглашающіе своей симпатичностью полезныхъ работниковъ опочить до конца жизни отъ несодѣланныхъ подвиговъ и разумнаго труда. Съ этимъ милымъ, добродушнымъ, трогательно любящимъ и уже состарѣвшимся пуховикомъ Базаровъ конечно ни о чемъ не разсуждаетъ, потому что «и сказать ей нечего». Такимъ образомъ Базаровъ разговариваетъ только съ Аркадіемъ, съ Николаемъ и Павломъ Петровичами и съ Одинцовой. Самое серьезное значеніе для Базарова и самый серьезный результатъ во всѣхъ отношеніяхъ могли имѣть разговоры съ Одинцовой; они могли доставить Базарову счастье взаимной любви, и они-же могли дать обществу мыслящую женщину. Наслаждаясь разумнымъ счастьемъ, Базаровъ удесятерилъ-бы свои рабочія силы, и это приращеніе пошло-бы цѣликомъ на пользу общему умственному капиталу всего человѣчества. Одинцова, съ своей стороны, возвратила-бы всѣ силы своего здороваго ума. Но такіе счастливые результаты получаются очень рѣдко. Почти всегда кака-нибудь ничтожная оплошность нарушаетъ процессъ развитія въ самомъ его началѣ, и он-же могъ дать обществу легкое движеніе воздуха разстраиваетъ всѣ расчеты химика и искажаетъ весь процессъ медленной и нормальной кристаллизаци. Такъ случилось и въ исторіи Одинцовой. Ее испугала страстность Базарова, но еслибы та-же страстность проявилась съ такой-же силой двумя или тремя мѣсяцами позднѣе, то Одинцова увлеклась-бы ею сама до полнѣйшаго самозабвенія. Впрочемъ объ отношеніяхъ реалистовъ къ женщинамъ я буду говорить внослѣдствіи очень подробно.

Аркадій, мнѣ кажется, во всѣхъ отношеніяхъ похожъ на кусокъ очень чистаго и очень мягкаго воска. Вы можете сдѣлать изъ него все, что хотите, но зато, послѣ васъ, всякій дру-

гой точно также можетъ сдѣлать съ нимъ все, что этому другому будетъ угодно. Вы можете натереть имъ мебель и паркетный полъ: Аркадій исполнитъ это назначеніе въ совершенствѣ. Вы можете превратить его въ свѣчку: Аркадій будетъ таять и уничтожаться въ порывахъ самопожертвованія, и можетъ уничтожиться безъ остатка, если никто не догадается дунуть на свѣтильникъ; но этотъ процессъ самоистребленія будетъ постоянно совершаться только въ непосредственной близости самаго огня и во время этого процесса вся свѣча будетъ совершенно холодна и равнодушна. Какъ только погаснетъ свѣтильникъ неимѣющая по своему составу ничего общаго съ воскомъ, такъ въ ту-же минуту прекратится всякое таяніе и изнываніе. Если вы—искусный скульпторъ, вы можете сдѣлать изъ этого воскового Аркадія изящнѣйшую статуэтку и даже можете вложить въ складки его чела выраженіе глубокой задумчивости и міровой печали; но эту художественную бездѣлку вы непременно должны держать подъ стекляннымъ колпакомъ, чтобы ея не засидѣли мухи; кромѣ того вы должны тщательно наблюдать, чтобы она не подвергалась вліяніямъ измѣнчивой температуры; попробуйте оставить ее на полчаса подъ лучами лѣтняго солнца, и она расплывется такъ удивительно, что ея творецъ, искусный скульпторъ, не будетъ въ состояніи узнать свое любимое произведеніе. Не только глубокая задумчивость, не только міровая печаль изгладятся безъ слѣда, но даже обыкновенныя черты человѣческаго образа ступаются до полного безличія. Но это ничего не значитъ. Если скульпторъ терпѣливъ, онъ можетъ немедленно взять свою отекающую креатуру въ свои искусныя руки и снова можетъ возстановить утраченное достоинство ея выраженія. Впрочемъ надо сказать правду, что такой терпѣливый скульпторъ окажется чистымъ художникомъ, то-есть человѣкомъ, работающимъ изъ любви къ искусству, безъ малѣйшаго стремленія къ практической пользѣ, потому что такая восковая статуэтка можетъ быть только очень бесполезнымъ и очень непрочнымъ украшеніемъ дамскаго будуара. Въ концѣ концовъ мухи засидятъ ее непременно до полного помраченія, и воскъ утратитъ всю свою первобытную чистоту, такъ-что статуэтку все-таки придется отдать въ распоряженіе полотеровъ для украшенія паркета. Говоря проще, подъ старость Аркадій все-таки сдѣлается бесполезнѣйшимъ, а можетъ-быть и дряннѣйшимъ тунеядцемъ. А старость, то-есть житы въ брюхо, для этихъ восковыхъ господъ начинается ровно черезъ годъ послѣ выхода изъ университета. Базаровъ разговариваетъ съ Аркадіемъ именно въ то время, когда послѣдній находится въ переходномъ состояніи изъ отрочества въ старость. Базаровъ видитъ своего такъ называемаго друга насквозь и ни-

сколько его не уважаетъ. Но иногда, какъ мыслящій человѣкъ и какъ страстный скульпторъ, онъ увлекается тѣмъ разумнымъ выраженіемъ, которое его-же собственное вліяніе накладываетъ порою на мягкія черты его восточнаго друга. Еслибы вы спросили у Базарова: «Выйдетъ-ли что-нибудь путное изъ вашего друга?» Базаровъ отвѣчалъ-бы вамъ съ полнымъ убѣжденіемъ: «Ничего путнаго не выйдетъ; будетъ рафинированнымъ Маниловымъ и больше ничего». Но на практикѣ Базаровъ не всегда послѣдовательно выдерживаетъ эту идею; онъ иногда обращается къ Аркадію такъ, какъ будто-бы онъ видѣлъ въ немъ какіе-нибудь задатки сильнаго ума и твердаго характера.

Это понятно и извѣстно. Базаровъ такъ одинокъ, всѣ окружающіе его люди смотрятъ на него такими изумленными глазами, что поневолѣ одолеваетъ его иногда потребность хоть кому-нибудь сказать человѣческое слово, хоть кому-нибудь помочь добрымъ совѣтомъ. Николай Пеговичъ положительно умѣе своего сына, и съ нимъ Базаровъ могъ-бы сблизиться, если-бы была какая-нибудь возможность завязать это сближеніе, то-есть сдѣлать первый шагъ. Но вѣдь неловко-же, неудобно подойти къ постороннему человѣку пожилыхъ лѣтъ и, безъ малѣйшаго вызова съ его стороны, подарить ему нѣсколько непрошенныхъ совѣтовъ касательно направленія его умственной дѣятельности. Аркадіи могъ-бы явиться посредникомъ между отцомъ и Базаровымъ, но Аркадіи не умѣетъ сдѣлать ни одного активнаго шага, а, какъ неоперившійся птенецъ, производитъ ежеминутно разныя плоскости и безтактности. Братъ Николая Петровича, Павелъ, положительно мѣшаетъ всякому сближенію, постоянно вызываетъ Базарова на безплоднѣйшіе діалектическіе поединки, жестоко надѣдаетъ ему и наконецъ завершаетъ всѣ свои подвиги глупѣйшей дуэлью, уже не на словахъ, а на пистолетахъ.

Павелъ Петровичъ—человѣкъ очень неглубинный, и его фигура чрезвычайно любопытна и поучительна, какъ отживающая тѣнь печоринскаго типа. Эта тѣнь не хочетъ и не можетъ признать себя тѣнью, и, встрѣчаясь съ тѣмъ типомъ, который живетъ въ настоящемъ, она, эта представительница прошедшаго, отрицаетъ его всѣми силами своего ума и ненавидитъ его такъ, какъ слупой рыцарь ненавидитъ своихъ наслѣдниковъ. Печоринскій и Базаровскій типы ненавидятъ и отталкиваютъ другъ друга. Печорины и Базаровы рѣшительно не могутъ существовать вмѣстѣ въ одномъ обществѣ, потому что и Печорины, и Базаровы выдѣляются изъ одного матеріала: стало быть, чѣмъ больше Печориныхъ, тѣмъ меньше Базаровыхъ, и наоборотъ. Вторая четверть XIX столѣтія особенно благоприятствовала производству Печориныхъ; новыхъ Печориныхъ жизнь уже не отчекани-

ваетъ, а старые, потускнѣлые и поблекшіе, никакъ не желаютъ понять, что ихъ время прошло. Прошло-ли оно невозвратно, этого никто не рѣшится сказать, но что Печорины въ настоящую минуту не стоятъ на первомъ планѣ—это несомнѣнно. Печорины и Базаровы совершенно непохожи другъ на друга по характеру своей дѣятельности; но они совершенно сходны между собою по типическимъ особенностямъ натуры: и тѣ, и другіе—очень умные и вполне послѣдовательные эгоисты; и тѣ, и другіе выбираютъ себѣ изъ жизни все, что въ данную минуту можно выбрать самаго лучшаго, и, набравши себѣ столько наслажденій, сколько возможно добыть и сколько способенъ вмѣстить человѣческій организмъ, оба остаются неудовлетворенными, потому что жадность ихъ непоколебима, а также и потому, что современная жизнь вообще не очень богата наслажденіями.

Очень умный человѣкъ можетъ наслаждаться мыслью только тогда, когда дѣятельность мысли клонится къ какой-нибудь великой и немыслимой цѣли. Великія цѣли бываютъ безконечно разнообразны въ своихъ внѣшнихъ проявленіяхъ; но всѣ онѣ въ сущности могутъ заключаться только въ томъ, чтобы улучшить, какъ или иначе, положеніе той или другой группы человѣческихъ существъ. Переберите всѣ сферы человѣческой дѣятельности, и вы увидите, что всѣ онѣ порождены и поддерживаются исключительно стремленіемъ людей къ нравственному или матеріальному благосостоянію. Не всѣ эти сферы, далеко не всѣ, удовлетворяютъ своему назначенію; многія, очень многія изъ нихъ бесполезны для людей, и слѣдовательно наносятъ уже тѣмъ, что поглощаютъ силы; многія вредятъ даже положительно, не только отвлекая силы, но и парализуя или извращая другія полезныя проявленія человѣческой дѣятельности; но все-таки всѣ эти сферы существуютъ для блага человѣчества. Такимъ образомъ можно сказать рѣшительно, что для человѣческой мысли главная цѣль есть стремленіе къ человѣческому благополучію. Но въ исторіи бываютъ такія эпохи, когда враждебныя интересы мѣшаютъ людямъ стремиться къ благополучію и рѣшаютъ задачи, вытекающія изъ этого стремленія.

Мысль, работающая для блага человѣчества, дѣйствуетъ обыкновенно по одному изъ двухъ главныхъ путей: или она прилагаетъ къ современной жизни людей тѣ результаты, которые уже добыты передовыми дѣятелями посредствомъ георетическихъ изслѣдованій и научныхъ наблюденій, или-же она добываетъ для будущаго времени новые результаты, то-есть производитъ изслѣдованія, наблюденія и опыты. Тѣ науки, которыя, подобно исторіи и политической экономіи, живутъ только безпристрастнымъ анализомъ между-человѣческихъ отношеній,—въ эпо-



хи застоя теряютъ значительную долю своей занимательности. Этимъ наукамъ предаются въ такое время люди двухъ сортовъ: одни пишутъ казенные учебники, другіе честно и добросовѣстно убѣждены въ томъ, что людямъ слѣдуетъ вѣчно спать, но спать обогороженнымъ спомъ, то-есть видѣть во снѣ великія идеи. Она восхищаютъ своихъ слушателей одушевленными бесѣдами, отъ которыхъ однако никогда, ни при какихъ условіяхъ, ничего, кромѣ испаряющагося восхищенія, не можетъ произойти.

Въ эту категорию я включаю всѣхъ честныхъ и умныхъ людей, подобныхъ Грановскому и Кудряцеву. Эти имена пользуются у насъ уваженіемъ, и я называю ихъ для того, чтобы не оставить въ моей мысли ни малѣйшей неясности. Эти два профессора жили и умерли вполне честными людьми, но надо сказать правду, что имъ въ этомъ отношеніи сильно посчастливилось: ихъ выручила своевременная смерть, которую ихъ почитатели совершенно неосновательно называютъ преждевременной. Между такимъ историкомъ, какъ Грановскій, и такимъ, какъ Костомаровъ, лежитъ дистанція огромнаго размѣра, а извѣстно, что даже Костомарова заставляютъ иногда въ раслохъ и ставить въ тупикъ запросы пробуждающейся жизни. Любопытно замѣтить, какъ тонко и вѣрно Тургеневъ выразилъ свое мнѣніе о дѣятельности Грановскаго. Пусть читатели припомнятъ личность Берсенева въ романѣ «Наканунъ» и пусть подумаютъ, могъ-ли Грановскій сформировать что-нибудь выше и лучше Берсенева. Еслибы сѣмь всѣхъ сѣятелей всегда падало на такую добрую почву, какъ душа Берсенева, то и желать ничего болѣе не оставалось-бы. Берсенева въ высокой степени честенъ и настолько уменъ, чтобы быть очень полезнымъ работникомъ. Если-же общій результатъ берсеновской дѣятельности оказывается совершенно ничтожнымъ, то виновато исключительно плохое качество того сѣмени, которое было принято и взлелѣяно этимъ честнымъ и искреннимъ человѣкомъ съ полифѣйшимъ благоговѣніемъ и съ безкорыстѣйшей любовью. А, какъ-то, Тургеневу въ этомъ отношеніи можно повѣрить, во-первыхъ, потому, что онъ зналъ вполне всѣ задуманные стремленія московскихъ кружковъ, а во-вторыхъ — потому, что его можно заподозрить скорѣе въ пристрастіи къ симпатичному Грановскому, чѣмъ въ преувеличенной вѣжливости къ угловатымъ реалистамъ нашего времени.

Мнѣ возразятъ, что на поприщѣ Грановскаго никто-бы не могъ дѣйствовать лучше и плодотворнѣе. Я знаю, что не могъ. Но это доказываетъ только, что не надо ему было становиться на такое поприще. На это скажутъ, что лучше что-нибудь, чѣмъ совсѣмъ ничего. Съ этимъ я опять-таки совершенно согласенъ, но только надо условиться въ пониманіи термина — «что-

нибудь». Если мнѣ очень хочется ѣсть, то я прошу: дайте мнѣ, ради Бога, хоть что-нибудь! То-есть, дайте мнѣ хоть сухую корку хлѣба. Но если мнѣ дадутъ палисандровую дощечку или атласный лоскутокъ, то я никакъ не скажу, что это — «что-нибудь», а скажу, что это — «совсѣмъ ничего». При совершенно рациональномъ преподаваніи, исторія есть «что-нибудь», и можетъ служить обществу очень питательной пищей. Но при художественной манерѣ преподаванія исторія превращается въ галерею рембрандтовскихъ портретовъ. И хорошо, и весело, и глаза разбѣгаются, а въ результатѣ выходитъ все-таки совсѣмъ ничего. Вѣдь какъ хотите толкуйте: Грановскому до Макоlea очень далеко, а между тѣмъ я бы покорнѣе попросилъ кого-нибудь изъ многочисленныхъ обожателей великаго Макоlea доказать мнѣ ясно и вразумительно, что вся дѣятельность этого великаго человѣка принесла Англіи или условно-человѣку хоть одну крупицу дѣйствительной пользы. А что дѣятельность всѣхъ ученыхъ и писателей, подобныхъ Макоleю, принесла чрезвычайно много вреда, это вовсе не трудно доказать. Всѣ э и господа, сознательно или безсознательно, постоянно морочили граціозностью.

Молодые люди, подобные Берсенева, входя въ храмъ науки и прежде всего попадаютъ въ преддверіе, изъ котораго расходятся въ двѣ противоположныя стороны — въ два корридора. Пойдешь налево — тебѣ покажутъ тысячи палисандровыхъ дощечекъ и атласныхъ лоскутковъ, которые тебѣ придется жевать для утоленія умышленнаго голода. А пойдешь направо — тебя накормятъ, одѣнутъ, обуютъ, обмоютъ и покажутъ кромѣ того, какъ кормить, одѣвать и обмывать другихъ людей. Въ лѣвомъ, атласно-палисандровомъ отдѣленіи храма наукъ господствуютъ: исторіографія Макоlea и его безчисленныхъ, даровитыхъ и бездарныхъ, послѣдователей, политическая экономія не менѣе безчисленныхъ учениковъ Мальгуса и Рикардо и сверхъ того пестрѣйшая толпа различныхъ «правъ»: рамское, гражданское, государственное, уголовное и множество другихъ. И всѣ атласно-палисандровыя подобія наукъ тщательно приведены, посредствомъ усѣченій и пришиваній, въ строгую гармонію какъ между собою, такъ въ особенности и съ общими современными требованіями. Въ правомъ отдѣленіи, напротивъ того, помѣщается изученіе природы.

Еслибы молодымъ людямъ, вступающимъ въ храмъ науки, ставили вопросъ о двухъ корридорахъ такъ откровенно, какъ онъ поставленъ здѣсь, то, разумеется, кому-же была-бы охота идти налево и жевать атласъ? Но къ несчастью, къ большому несчастью для молодыхъ людей и для всего человѣчества — все лѣвое отдѣленіе биткомъ набито сладкогласными спинами, вродѣ Макоlea и Грановскаго, кото-

рия только тѣмъ и занимаются, что очаровываютъ и завлекаютъ своимъ мелодическимъ пѣніемъ неопытныхъ посѣтителей великаго храма. Въ правомъ отдѣленіи совсѣмъ нѣтъ сиренъ; во-первыхъ потому, что тамъ вообще до сихъ поръ мало обитателей, а во-вторыхъ и потому, что наличнымъ обитателямъ рѣшительно некогда заниматься нѣспопѣніями: одинъ добываетъ какую-нибудь кислоту, другой анатомируетъ пузырчатую глисту, третій изслѣдуетъ химическія свойства гуано, четвертый возится съ кореннымъ зубомъ какого-нибудь *Elephas meridionalis*, пятый прилаживаетъ отрѣзанную лапку лягушки къ гальванической батарее, шестой анализируетъ мочу помѣшанныхъ людей, и такъ далѣе, и такъ далѣе, все въ томъ-же прозаическомъ направленіи. Ну, скажите, Бога ради, такія-ли это занятія, чтобы можно было запыть по поводу ихъ мелодическую серенаду, способную очаровать и привлечь молодыхъ посѣтителей, только-что поступившихъ въ храмъ науки и не умѣющихъ ясно отличать область чистой фантазіи отъ области строгаго знанія?

Неудивительно, что почти вся масса свѣжихъ умственныхъ силъ, не находившихъ себѣ никакого приложенія къ жизни, тратилась прежде или на строго научное веденіе правильныхъ атакъ противъ женскихъ сердецъ, или на писаніе и чтеніе сочиненій и статей въ маколеевскомъ родѣ, только гораздо пожиже. Грановскіе и ихъ ученики Берсенева почти совершенно удовлетворялись этой послѣдней дѣятельностью и были глубоко убѣждены въ томъ, что они дѣлаютъ дѣло, и что Россія, только по своей крайней неразвитости, не считаетъ ихъ великими гражданами; но люди болѣе умные, люди, подобные Лермонтову и его герою Печорину, рѣшительно отвертывались отъ русскаго маколейства и искали себѣ наслажденій въ любви, страдали исключительно отъ любовныхъ неудачъ, порхали съ цвѣтка на цвѣтокъ, довели русское донъ-жуанство до замѣчательной виртуозности и все-таки скучали, какъ ни были разнообразны и очаровательны отдѣльные эпизоды этой многотрудной дѣятельности.

Выбрать себѣ донъ-жуанство, когда общество живетъ или начинаетъ жить полной жизнью, значить, во-первыхъ, обнаружить замѣчательное скудоуміе, а во-вторыхъ—обиять мечту вмѣсто дѣйствительности, потому что въ живущемъ или пробуждающемся обществѣ субъектъ, не имѣющій за собою никакихъ достоинствъ, кромѣ стремленія къ любви, одержитъ весьма слабое количество очень неблестящихъ побѣдъ. Въ такомъ обществѣ женщины всегда требуютъ отъ своихъ поклонниковъ хотя какихъ-нибудь виѣшнихъ признаковъ дѣльности и умственной энергіи; тутъ ужъ невозможно колотить себя въ грудь и божиться, что въ этой груди заключены исполнскія силы, которыя тщетно стре-

мятся найти себѣ исходъ; тутъ самая простодушная женщина скажетъ этому колотителю: «Что-жъ вы не проявляете вашихъ силъ? Вѣдь вотъ М и N проявляютъ. И вы проявите.» И останется на это сказать только: «Слушаю-сь, сударыня; завтра-же проявлять начну.» По въ цвѣтущее время печоринства постоянная праздность, хроническое скучаніе и полный разгулъ страстей дѣйствительно составляютъ неизбѣжную и естественную принадлежность самыхъ умныхъ людей. Конечно маску вѣчной скуки надѣвали на себя такіе люди, которые просто были глупы, которые во всякое время были-бы праздными и которые старались только протрѣлить женское сердце разочарованными взорами. Грушницкіе носили тогда обноски Печориныхъ такъ точно, какъ теперь Ситниковы носятъ обноски Базаровыхъ. Конечно и настоящіе Печорины часто интересничали своимъ скучаніемъ, когда это интересничаніе могло остаться незамѣченнымъ, сойти за чистую монету и ускорить желанную развязку любовной интриги. Но, несмотря на то, скука настоящихъ Печориныхъ вовсе не была маской; она ихъ дѣйствительно тяготила, и еслибы какой-нибудь благодѣтельный гений предложилъ имъ снять съ нихъ эту проклятую обузу, то они съ большимъ удовольствіемъ дали-бы клятвенное обязательство никогда не надѣвать на себя личину этой скуки «для пущаго трагизма», какъ выражается Зайцевъ. Печорины были во всѣхъ отношеніяхъ умнѣе Берсенева, и поэтому-то именно имъ и не оставалось никакого выхода изъ скуки и изъ міра любовныхъ похожденій. Конечно ихъ силы могли-бы найти себѣ удовлетвореніе въ глубокомъ изученіи природы, но вѣдь надо-же помнить, что въ нашемъ любезномъ отечествѣ только что на этихъ дняхъ сдѣлано то великое открытіе, что естественныя науки дѣйствительно существуютъ, что онѣ способны принести людямъ нѣкоторую пользу, и что не мѣшало бы, вмѣсто «розъ Теоокрита», возрастить на русскіихъ сибѣгахъ нѣчто вроде химіи, фізіологіи и анатоміи. Для Печориныхъ естествознаніе было тѣмъ, что будетъ вѣроятно во всякое время интегральное исчисленіе для огромнаго большинства людей. Стало быть, Печоринымъ не было никакого выбора, и постоянная ихъ праздность не можетъ служить доказательствомъ ихъ умственной хлосты. Даже на-противъ того.

### VIII.

Германія, классическая страна «здороваго растительнаго сна», настоящая родина чистѣйшаго фидистерства, совершенно недоступна въ своей полной чистотѣ для всѣхъ остальныхъ частей нашей планеты; Германія, говоря я, сумѣла однако устроить такъ, что ея многолѣтній сонъ не пропалъ даромъ ни для нея

самой, ни для человѣчества. Первые шестьдесятъ четыре года XIX столѣтія останутся навсегда незабвенной эпохой, какъ колыбель новѣйшаго естествознанія. Либихъ, Леманъ, Мульдеръ, Молешотъ, Дюбуа-Реймонъ, Пфлюгеръ, Вирховъ, Фирордтъ, Валентинъ, Гельмгольцъ, братья Веберы, Карлъ Фохтъ, Гиртль, Броннъ, Келликеръ, Фульротъ, Шахтъ, Александръ Гумбольдтъ, Шваннъ, Функе, Эрценбергъ, Зибольдъ, и другіе болѣе или менѣе замѣчательные натуралисты сдѣлали изъ этой эпохи незыблемый фундаментъ для будущаго развитія естествознанія. «Химическія письма» Либиха, «Круговоротъ жизни» Молешота, «Исслѣдованія о животномъ электричествѣ» Дюбуа-Реймона, «Целлюлярная патологія» Вирхова, «Анатомія» Гиртля, «Гистологія» Келликера, «Дерево» Шахта, «Космосъ» Гумбольдта навсегда останутся драгоценнѣйшимъ достояніемъ всѣхъ вѣковъ и всѣхъ народовъ. Эти труды не только кладутъ фундаментъ будущаго благосостоянія, но кромѣ того даже въ настоящемъ увеличиваютъ богатство массъ; подобные люди счастливы въ двухъ отношеніяхъ: во-первыхъ, они прежде другихъ созерцаютъ тѣ великія тайны природы, съ которыхъ они срываютъ завѣсу; и во-вторыхъ, они видятъ счастье тѣхъ людей, которые имъ однимъ обязаны своимъ благосостояніемъ. Конечно многія тайны остаются для нихъ недоступными; но я не говорю, что истинные ученые естествоиспытатели наслаждаются безоблачнымъ блаженствомъ. Они часто и страдаютъ, и волнуются, но они не отдадутъ этихъ великихъ минутъ страданія и волненія за милліоны невозмутимыхъ филистерскихъ благополучій. Вы любите женщину, васъ волнуетъ и терзаетъ и ея присутствіе, и ея отсутствіе, и ея слова, и ея взгляды, и ея холодность, и ея страстность; въ самыя счастливыя минуты вы не знаете сами, весело-ли вамъ, или больно; а между тѣмъ всѣ эти мучительныя ощущенія безконечно дороги для васъ, и дороги даже тогда, когда весь вашъ романъ цѣликомъ ушелъ въ прошлое и когда у васъ не осталось для настоящаго ровно ничего, кромѣ грустно-радужныхъ воспоминаній; какъ только прошлое выступаетъ ярко передъ вашей памятью, такъ вамъ становится положительно больно, и никакого изъ этой боли не можетъ выйти толку; а между тѣмъ вы любите даже эти томительныя минуты, и вы ни за что не согласились-бы взять себѣ забвеніе, если-бы даже оно было возможно.

Если вы когда-нибудь любили, то вы найдете эти замѣчанія вѣрными, и вы получите тогда легкое понятіе о томъ, какимъ образомъ знающіе естествоиспытатели относятся ко всѣмъ трудамъ, непріятностямъ и страданіямъ той дѣятельности, которая наполняетъ всю ихъ жизнь. Когда типъ скупающихъ Печориныхъ

процвѣталъ въ нашемъ отечествѣ, тогда все-таки никакія обстоятельства не мѣшали и не хотѣли мѣшать развитію физическихъ и физиологическихъ изслѣдованій. Конечно идеи Фейербаха и Бюхнера считались и тогда очень предосудительными. Но совсѣмъ не въ этихъ идеяхъ и заключается сила современнаго естествознанія. Если до сихъ поръ мы относимся къ этимъ идеямъ съ особенной нѣжностью и накидываемся на нихъ съ особенной жадностью, то это доказываетъ только, что мы стоимъ еще на самомъ порогѣ настоящей науки и что мы до сихъ поръ никакъ не можемъ отказаться отъ ребяческой замахки строить системы міра изъ двухъ десятковъ собранныхъ кирпичей. Кромѣ того запрещенный плодъ всегда привлекателенъ. Но настоящіе натуралисты, тѣ, которымъ нѣтъ причины нѣжничать съ запрещенными плодами, и тѣ, которые находятъ скучнымъ полемизировать съ подобными созданіями человѣческой глупости, тѣ, говорю я, относятся съ глубочайшимъ равнодушіемъ къ такимъ системамъ, начиная съ необузданнаго идеализма Платона и кончая простымъ материализмомъ Бюхнера. Они даже перестали удивляться тому, что люди спорятъ о такихъ предметахъ. Мы желаемъ работать, говорятъ естествоиспытатели, а не фантазировать. Работа-же наша состоитъ въ изученіи тѣхъ сторонъ природы, которая можно видѣть, изобрѣтать и вычислять. Такъ разсуждаютъ величайшіе изъ современныхъ натуралистовъ, и простота, и разумность такихъ разсужденій такъ очевидны, такъ неотразимо дѣйствуютъ на всѣ человѣческіе умы, даже на самыя неразвитыя, что передъ трудами натуралиста преклоняются съ невольнымъ уваженіемъ люди всѣхъ политическихъ партій.

На основаніи всѣхъ предыдущихъ соображеній, я рѣшаюсь высказать ту мысль, что наши Печорины могли проникнуть въ область труда, недоступную атмосферическимъ вліяніямъ, и проникли-бы въ нее непременно, если-бы они только имѣли ясное понятіе о ея существованіи. Мнѣ кажется, что имъ всего болѣе мѣшали открыть эту область три вещи: во-первыхъ — наше общее невѣжество, во-вторыхъ — поэзія и эстетика, и въ-третьихъ — ученое фразерство нашихъ добродѣтельныхъ и недобродѣтельныхъ Маколеевъ. Нослѣднія двѣ причины мѣшали преимущественно тѣмъ, что возбуждали въ сильныхъ и естественно-скептическихъ умахъ нашихъ Печориныхъ презрѣніе къ умственной дѣятельности вообще. Они думали, по своей необразованности, что видятъ передъ собою образчики всей человѣческой науки, и, замѣчая тотчасъ дряблость и практическое убожество гѣхъ занятій, которымъ съ кобно-преклоненіями и съ священнымъ ужасомъ предавались наши Берсеневы, они, Печорины, рѣшили сразу, что все это чепуха, и что надо жить,

пока живетъ, и что скука составляетъ неизбѣжную неприятность въ жизни каждаго умнаго человѣка. Я увѣренъ, что, читая даже статьи Бѣлинскаго, многіе Печорины разсуждали про себя: «Да. Славно писать. И умно, и честно. Но къ чему все это?» И если они разсуждали такимъ образомъ, то нельзя сказать, чтобы они были совершенно неправы. Еслибы Бѣлинскій и Добролюбовъ поговорили между собою съ глаза на глаза, съ полной откровенностью, то они разошлись-бы между собою на очень многихъ пунктахъ. А еслибы мы<sup>1</sup> поговорили такимъ же образомъ съ Добролюбовымъ, то мы не сошлись-бы съ нимъ почти ни на одномъ пунктѣ. Читатели «Русскаго Слова» знаютъ уже, какъ радикально мы разошлись съ Добролюбовымъ во взглядѣ на Катерину, то-есть—въ такомъ основномъ вопросѣ, какъ оцѣнка свѣтлыхъ явленій въ нашей народной жизни. Слѣдовательно, самыя идеи Бѣлинскаго уже не годятся для нашего времени. Въ свое время онѣ были очень полезны, но основательно-ли было-бы утверждать, что въ его время невозможны были такія другія идеи, которыя принесли-бы въдесятеро больше пользы.

Мнѣ кажется, что такія идеи были возможны даже тогда. Бѣлинскій, усвоившій себѣ полулитературное, полупилософское образованіе, не могъ сдѣлаться проводникомъ этихъ другихъ идей; но тотъ-же Бѣлинскій, получившій математическое и строго реальное образованіе, тотъ-же Бѣлинскій, съ тѣмъ-же сильнымъ умомъ, съ тѣмъ-же блестящимъ талантомъ, съ тѣми-же честными убѣжденіями, но только Бѣлинскій-на-туралистъ, а не эстетикъ и не гегельянецъ, принесъ-бы въ десять разъ больше пользы, и послѣ дѣятельности такого атлета мнѣ конечно не было-бы ни надобности, ни даже возможности писать въ 1864 году настоящія строки. Но многіе уцѣлѣвшіе и состарѣвшіеся Печорины никакъ не хотятъ и не могутъ повѣрить тому, что они при всемъ своемъ умѣ были круглыми невѣждами и втеченіи всей своей жизни скукачили не по возвышенности своей натуры, а только потому, что не знали, какъ взяться за дѣло. Потому, при встрѣчѣ съ молодыми Печоринными, они стараются ихъ разразить аргументами, какъ разражали въ былые годы гегелистовъ и маколеевъ россійской фабрикаціи. Но тутъ коса находитъ на камень, и старые Печорины замѣчаютъ въ молодыхъ ту-же холодную яность взгляда, ту-же умственную требовательность, ту-же безпощадность ироніи, словомъ, всѣ тѣ-же свойства, которыми они сами наводили трепетъ на Максима Максимовича и благоговѣйную любовь на княжну Мери. И ко всему этому присоединяется знаніе, котораго у пятигорскаго демона не было. Да еще вдобавокъ не скукаютъ, каналы, и даже отрицаютъ скуку, то-есть ухитряются такимъ образомъ перещего-

лять демона даже въ отрицаніи, которое, какъ извѣстно, составляетъ его нарочитую специальность. Разумѣется, все это неимоვნно бѣситъ посѣдѣвшихъ Печоринныхъ, и имъ, чтобы не видѣть молодыхъ чертенятъ, которые оказываются шустрѣе старыхъ,—остается только взять примѣръ съ Павла Петровича Кирсанова, то-есть уѣхать въ Дрезденъ и показывать себя публикѣ на брюлевской террасѣ.

## IX.

Базаровъ говоритъ Аркадію: «Твой отецъ—добрый малый, но онъ человѣкъ отставной, его цѣсенька спѣта. Онъ читаетъ Пушкина. Растолкуй ему, что это никуда не годится. Вѣдь онъ не мальчикъ: пора бросить эту ерунду. Дай ему что-нибудь дѣльное, хоть Вюхнерова «Stoff und Kraft» на первый случай.»

Въ писавъ эти слова, Антоновичъ прибавляетъ отъ себя замѣчаніе: «Сынъ внолиѣ согласился съ словами друга и почувствовалъ къ отцу сожалѣніе и презрѣніе».

Но, во-первыхъ, это неправда, ни сожалѣнія, ни презрѣнія Аркадіи не чувствовалъ къ своему отцу, ни до этого разговора, ни послѣ. А во-вторыхъ, еслибы даже глушость Аркадія дошла до такихъ колоссальныхъ размѣровъ, то, разумѣе<sup>ся</sup>, *сожалѣніе и презрѣніе* родились-бы въ немъ не отъ того, что онъ *согласился съ словами друга*, а отъ того, что онъ понялъ эти слова совершенно навыворотъ. Базаровъ нисколько не желаетъ разъединять сына съ отцомъ; напротивъ того, Базаровъ своимъ совѣтомъ указываетъ на тотъ единственный путь, по которому Аркадіи можетъ приблизиться къ Николаю Петровичу, не измѣняя идеямъ своего поколѣнія. Но прежде всего необходимо правильно понимать Базарова; онъ выражается всегда очень сильно и довольно небрежно; поэтому, если мы захотимъ придираться къ отдѣльнымъ словамъ, намъ будетъ вовсе нетрудно извратить ихъ смыслъ, обвинить Базарова въ различныхъ намѣреніяхъ и даже отыскать въ каждой его фразѣ по нѣскольку противорѣчій. Напримѣръ, онъ говоритъ, что Николай Петровичъ — человѣкъ отставной, и въ то-же время совѣтуетъ дать ему что-нибудь дѣльное. Явное противорѣчіе! Если отставной, такъ и пускай читаетъ Пушкина; не зачѣмъ его и отрывать отъ этого безвреднаго занятія. Далѣе: противъ чтенія Пушкина приводится тотъ аргументъ, что «вѣдь онъ (т.-е. Николай Петровичъ) не мальчикъ». Это опять похоже на бессмыслицу. Значитъ, еслибы Базаровъ увидалъ сочиненія Пушкина въ рукахъ семнадцатилѣтняго мальчика, то онъ этого мальчика похвалилъ-бы за прилежаніе и нашелъ-бы, что этому мальчику дѣйствительно слѣдуетъ тратить время на чтеніе «Кавказскаго плѣнника» и «Бахчисарайскаго фонтана». Уличивши такимъ образомъ Базарова въ противорѣчіяхъ, доказавши ему, что

онъ самъ не понимаетъ своихъ собственныхъ словъ, мы конечно безъ малѣйшаго труда придемъ къ тому заключенію, что Базарову, какъ самолюбивому мальчишкѣ, хочется только поумничать надъ почтеннымъ отцомъ семейства, и что вся тирада противъ Пупкина должна быть приписана этому мелкому предосудительному побужденію. Это заключеніе чрезвычайно печально, потому что оно доказываетъ намъ удивительную непрочность той гармоніи, которая господствуетъ въ самыхъ лучшихъ и просвѣщенныхъ русскихъ семействахъ.

Когда Базаровъ говоритъ съ Аркадіемъ о Николаѣ Петровичѣ, то слова могутъ подать поводъ къ ложнымъ истолкованіямъ; въ этихъ словахъ можно отыскать безсвязность и нелѣпость; но стоитъ только взглянуть на эти слова безъ предубѣжденія, чтобы увидать и понять немедленно честныя, чистыя и вполне сознательныя стремленія Базарова. — Зачѣмъ онъ говоритъ Аркадію, что его отецъ — человѣкъ отставной? — Очень понятно, зачѣмъ. — Аркадій — юноша впечатлительный. Пріѣхавъ въ деревню, онъ подчиняется вліянію развѣживающей обстановки и увлекается симпатичной личностью своего добраго отца. Любить отца очень похвально, по всякій читатель вѣроятно согласится со мною въ томъ, что двадцатилѣтнему юношѣ не слѣдуетъ относиться къ требованіямъ современной дѣйствительности такъ, какъ относится къ нимъ сорокачеловѣкъ — мужчина. Если пожилой человѣкъ отдыхаетъ и благодушествуетъ, если онъ занимается полезнымъ трудомъ отъ нечего дѣлать, если этотъ трудъ составляетъ для него не цѣль и смыслъ всего существованія, а только пріятное развлеченіе вродѣ прогулки для мотона, если, говорю я, все это дѣлается пожилымъ человѣкомъ, то мы отъ всей души говоримъ ему спасибо за то, что онъ не мѣшаетъ работѣ другихъ людей, и еще за то, что онъ способенъ находить удовольствіе въ такихъ занятіяхъ, которыя не могутъ быть названы совершенно бесполезными. Мы всегда должны помнить, что человѣкъ зрѣлыхъ лѣтъ провелъ всю свою молодость въ печоринскомъ періодѣ, и что вынужденная неподвижность дѣйствуетъ на человѣческія силы гораздо разрушительнѣе, чѣмъ самый тяжелый и изнурительный трудъ. Поэтому реалисты никогда не потребуютъ отъ Николая Петровича, чтобы онъ съ юношеской энергіей и съ горячимъ усердіемъ принялся за работу нашего времени. Но по этой же самой причинѣ реалисты отнесутся съ полнымъ и совершенно справедливымъ презрѣніемъ къ тому двадцатилѣтнему празднующему, который вздумаетъ отдыхать, благодушествовать и дилетантствовать подобно Николаю Петровичу. Или работай серьезно, или совсѣмъ не принимайся за работу. — Они скажутъ это каждому изъ своихъ сверстниковъ, потому что отъ нихъ, отъ нашихъ

сверстниковъ, мы имѣемъ полное право настоятельно требовать непреклонной энергіи, желѣзнаго терпѣнія и неутомимаго трудолюбія. У кого нѣтъ этихъ свойствъ и кто, будучи двадцатилѣтнимъ здоровымъ парнемъ, не въ состояніи выработать въ себѣ эти свойства, тотъ не можетъ пользоваться уваженіемъ нашимъ, того ошаниаютъ и осмѣютъ, если онъ осмѣлится пуститься въ добродѣтельные фразы о своемъ пламенномъ сочувствіи общему дѣлу отечественнаго прогресса. Намъ нужна полезная работа, и нѣтъ никакого дѣла до пламенныхъ сочувствій. Сочувствіе-же мы съ полной признательностью принимаемъ только отъ тѣхъ людей, которые уже не въ силахъ быть дѣятельными работниками.

Теперь понятно, что значать слова Базарова: «твой отецъ — человѣкъ отставной». Это значить: помни, другъ мой, Аркадій Николаевичъ, что съ твоей стороны будетъ совершенно неприлично вести тотъ образъ жизни, который дѣлаетъ твоему пожилому отцу большую честь. Онъ поступаетъ хорошо, потому что онъ отставной, но тебѣ рано выходить въ отставку. Смотри-же, держи ухо востро, если не желаешь къ двадцати-пяти годамъ сдѣлаться Афанасіемъ Ивановичемъ. Когда Аркадій женился на Катеринѣ Сергѣевнѣ, онъ дѣйствительно превратился въ Афанасія Ивановича, и можно было сказать заранѣе, что всѣ предостереженія Базарова пропадутъ даромъ, потому что воскъ ни при какихъ условіяхъ не перестанетъ быть воскомъ и не сдѣлается ни сталью, ни алмазомъ. Но вѣдь Базаровъ не виноватъ въ томъ, что его разумныя слова попадали въ ослѣнное ухо. Слова все-таки разумны, намѣреніе все-таки честно, а если успѣхъ не великъ, такъ что-же съ этимъ дѣлать. Намъ пришлось-бы наложить на себя инаггорейскій обѣтъ молчанія, еслибы мы стали высказывать наши мысли только въ тѣхъ случаяхъ, когда онѣ навѣрное должны попасть въ цѣль и произвести осязательный практическій результатъ.

Это напоминаетъ мнѣ, что фельетонистъ «Современника» называетъ Базарова болтуномъ. О, Господи! Ужъ не нашимъ-бы литераторамъ высказывать этотъ упрекъ. Намъ, пишущимъ людямъ, приходится болтать десятки лѣтъ, прежде чѣмъ наша болтовня дойдетъ до назначенія. Или можетъ-быть Щедринъ думаетъ, что каждое его слово творитъ чудеса и извлекаетъ изъ камня нашей закосности живую воду плодотворныхъ идей и высокихъ стремленій? Ну, и пускай думаетъ! Вѣдь, кто вѣруеть, тепло тому на свѣтъ! — Но Базаровъ даже и говоритъ-то совсѣмъ немного, и выражаетъ свои мысли такъ коротко и отрывисто, что почти каждое его слово требуетъ дополнительныхъ и пояснительныхъ комментариевъ. Такъ не говорятъ болтуны, то есть люди, наслаждающіеся звукомъ собственныхъ рѣчей. Такъ говорятъ только дѣловые люди, чувствующие непримиримую ненависть ко

всякому риторству. Сказавши Аркадію, что его отец—отставной человѣкъ, Базаровъ на этомъ не останавливается. Онъ не хочетъ махнуть рукой на отставного человѣка и отвернуться отъ него. Онъ говоритъ Аркадію: «Растолкуй ему, что это куда не годится... Дай ему что-нибудь дѣльное».—Зачѣмъ онъ это говоритъ? Конечно не затѣмъ, чтобы сдѣлать Николая Петровича великимъ естествоиспытателемъ. И конечно не затѣмъ, чтобы покуражиться надъ этимъ добродушнымъ и смирнымъ человѣкомъ. Еслибы онъ хотѣлъ куражиться, то онъ самъ полѣзъ-бы съ совѣтами къ Николаю Петровичу, вмѣсто того, чтобы разговаривать съ его сыномъ. Базаровъ просто желаетъ подѣлиться тѣмъ, что онъ считаетъ высшими человѣческими наслажденіями, со всякимъ, кто только способенъ воспринять и почувствовать эти наслажденія. Если вы любите ѣсть устрицы, то очень естественно, что вы при случаѣ будете угощать устрицами каждаго изъ вашихъ знакомыхъ; и вы даже съ особеннымъ удовольствіемъ будете вовлекать въ любовь къ устрицамъ тѣхъ людей, которые никогда не брали ихъ въ ротъ и смотреть на нихъ съ невольнымъ ужасомъ. Ваше удовольствіе будетъ совершенно безкорыстно, и оно будетъ вытекать изъ самаго чистаго источника. Вамъ хочется, чтобы вмѣстѣ съ вами наслаждались и другіе. На этомъ желаніи основано убійственное хлѣбосоольство гоголевскаго Пѣтуха, и хлѣбосоольство это, проявляющееся въ самыхъ скотскихъ размѣрахъ, все-таки остается очень симпатичнымъ, именно потому, что въ немъ нѣтъ ни малѣйшаго тщеславія, а только одно добродушіе: пользуйся, молъ, всякая душа человѣческая!—Пѣтухъ кормитъ своихъ гостей на убой, а Базаровъ хочетъ усадить Николая Петровича за книгу, которую онъ считаетъ дѣльной; оба дѣйствуютъ по одинаковому побужденію. «Мнѣ хорошо, хочу, чтобъ и другому было хорошо»,—это размышленіе такъ просто, такъ естественно, такъ неистребимо въ каждомъ здоровомъ человѣческомъ организмѣ, что и Пѣтухъ способенъ размышлять такимъ образомъ. А между тѣмъ все величайшіе подвиги чистѣйшаго человѣческаго героизма совершались и будутъ совершаться всегда именно на основаніи этого простого размышленія. — А критика наша по обыкновенію смотритъ въ книгу и видитъ фигу, и на основаніи этой фиги изобличаетъ Базарова въ непочтительности, въ жестокости и во всякомъ озорствѣ. Долго придется Антоновичу раскисаться въ его статьѣ объ «Асмодеѣ нашего времени». Много вреда надѣлала эта статья. Сильно перепутала она понятія нашего общества о молодомъ поколѣніи. Такъ напакостить могъ именно только одинъ «Современникъ».

А что же значатъ слова Базарова: «вѣдь онъ не мальчишій»?—Это значитъ: «Когда твой отецъ былъ мальчикомъ, тогда позволительно было чи-

тать Пушкина, потому что лучше наслаждаться четырёхстопными ямбами, чѣмъ «ромомъ и аракомъ» или воронными рысакими. Теперь онъ не мальчишій, и теперь настали другія времена, и теперь люди выучились создавать себѣ болѣе прочныя, болѣе разумныя и болѣе сильныя наслажденія. Пусть твой отецъ отвѣдаетъ этихъ наслаждений, и онъ, какъ человѣкъ неглупый, навѣрное полюбитъ ихъ и броситъ ямбы и хоры. Помоги твоему отцу; тебѣ самому будетъ чрезвычайно пріятно сознавать, что ты принесъ ему пользу, и что ты открылъ ему доступъ къ великимъ наслажденіямъ мысли. И еще пріятнѣе будетъ для тебя то обстоятельство, что отецъ сдѣлается твоимъ другомъ и помощникомъ во всѣхъ твоихъ дальнѣйшихъ работахъ». Вотъ мысль Базарова, развитая во всѣхъ подробностяхъ. Если смотрѣть на его слова безъ предвзятой идеи, безъ недоброжелательнаго предубѣжденія, то невозможно даже предположить, чтобы эти слова были произнесены вслѣдствіе какого-нибудь другого процесса мысли.

Я обращаюсь теперь къ каждому безпристрастному читателю съ вопросомъ: есть-ли малѣйшая возможность заподозрить Базарова въ желаніи поглумиться надъ Николаемъ Петровичемъ и унижить въ его лицѣ лучшую часть старшаго поколѣнія? Я убѣжденъ въ томъ, что каждый безпристрастный читатель, взглядывшій въ мои доводы, совершенно очиститъ Базарова отъ тѣхъ нелѣпныхъ обвиненій, которыя взведены на него близорукой критикой. Слова Базарова, вмѣсто большой пользы, принесли крошечный вредъ, то-есть огорчили на нѣсколько дней Николая Петровича и поселили между отцомъ и сыномъ легкое неудовольствіе, которое однако скоро исчезло. Случилось-же это во-первыхъ потому, что Николай Петровичъ нечаянно подслушалъ эти слова, которыхъ ему вовсе не слѣдовало слышать; а во-вторыхъ потому, что Аркадій оказался набитымъ дуракомъ и превзошелъ въ этомъ отношеніи все ожиданія или опасенія Базарова. Однажды, когда Николай Петровичъ читалъ Пушкина (а читалъ онъ его по-видимому часто и усердно), Аркадій подошелъ къ нему, съ ласковой улыбкой взявъ у него изъ рукъ книгу и вмѣсто Пушкина положилъ передъ нимъ «Kraft und Stoff». Ну, и оправдалась пословица: услужливый дуракъ и т. д. Базаровъ сказалъ: «дай ему на первый случай хоть Бюхнерово «Kraft und Stoff»—Аркадій буквально исполнилъ этотъ совѣтъ. Но Базаровъ сказалъ кромѣ того: «растолкуй ему, что это (т.-е. Пушкинъ) куда не годится»—а сообразительный Аркадій пропустилъ эти слова мимо ушей и не понялъ, что въ нихъ заключается весь смыслъ дѣла. Само собою разумѣется, что школьническая, нелѣпая и дерзкая выходка Аркадія, смягченная и украшенная ласковой улыбкой, не могла рѣзко нанести Николаю Петровичу значе-



естествознанія для исторической жизни массъ и для міросозерцанія отдѣльнаго человѣка. Читатель имѣетъ полное право назвать Аркадія самонадѣяннымъ пошлякомъ, и Николаю Петровичу остается только вздохнуть, пожать плечами и пожалѣть о томъ, что сынъ его такъ плохъ въ умственномъ отношеніи. Но зачѣмъ-же валить съ больной головы на здоровую? Въ чемъ тутъ виноватъ Базаровъ? И что общаго имѣетъ глупость Аркадія съ идеями, которыми проникнуты наши реалисты? Шекспиръ—очень замѣчательный писатель, но и шекспировскую драму можно такъ искусно перевести и такъ восхитительно разыграть на сценѣ, что она покажется гораздо хуже драмы Нестора Кукольника или Николая Полевого. Еслибы Аркадій былъ дѣйствительно пропитанъ сознательной любовью къ наукѣ, еслибы онъ разумно и убѣдительно говорилъ съ своимъ отцомъ объ умственныхъ интересахъ естествоиспытателей нашего времени, еслибы онъ возбудилъ и направилъ любознательность Николая Петровича, еслибы онъ такимъ образомъ доставилъ ему много чистыхъ наслажденій и еслибы онъ посредствомъ этихъ наслажденій сблизился съ своимъ отцомъ тѣснѣе, чѣмъ когда-либо, — то навѣрное никому изъ читателей не пришло-бы въ голову обвинять Аркадія въ непочтительности къ родителямъ или въ недостаткѣ сыновней любви. А поступая такимъ образомъ, Аркадій исполнилъ-бы съ самой добросовѣстной точностью дружескій совѣтъ Базарова, — тотъ самый совѣтъ, который онъ, по своей глупости, совершенно изуродовалъ. — Изъ всего, что было говорено выше, я вывожу то заключеніе, что взаимному пониманію этихъ двухъ поколѣній, старшаго и молодого, мѣшаютъ съ одной стороны старые Печорины, подобные Павлу Петровичу, а съ другой стороны—глупые юноши, подобные Ситникову и Аркадію. То-есть, другими словами, мѣшаютъ непониманіе и тупоуміе.

## Х.

«Базаровъ—циникъ; взглядъ Базарова на женщину проникнутъ самымъ грубымъ цинизмомъ». Такое сужденіе вы услышите отъ каждаго русскаго человѣка, прочитавшаго романъ Тургенева и умѣющаго произнести слова «циникъ» и «цинизмъ». Въ устахъ русскаго человѣка эти слова имѣютъ конечно ругательное значеніе; такъ какъ мы сами до сихъ поръ не были причастны ни къ одной философской школѣ, то мы ухватились все дошедшіе до насъ философскіе термины осмыслить по своему, сообразно съ уровнемъ нашихъ умственныхъ отпаиваній. Вслѣдствіе этого получились самые неожиданные результаты: —кто ѣлъ, пилъ и спалъ за четырехъ, тотъ былъ произведенъ въ матеріалисты; а набитые дураки, не умѣющие приняться ни за одно практическое дѣло, помучили титулъ романтиковъ или идеалистовъ.

Въ этомъ всеобщемъ маскарадѣ, въ которомъ наши пошлости прикрылись иностранными словами, циническая хламида старика Діогена досталась тѣмъ людямъ, которые въ дамскомъ обществѣ проносятъ непечатныя слова и украшаютъ свою вседневную жизнь разными неприличными поступками. Такихъ людей у насъ не мало; понятія о томъ, что прилично и что неприлично, очень измѣнчивы и растяжимы; вслѣдствіе этого и слово «цинизмъ» стало прикладываться, безъ дальнѣйшаго разбора, къ такимъ вещамъ, которыя сами по себѣ очень хороши, и къ такимъ, которыя во всѣхъ отношеніяхъ отвратительны. Циникомъ называютъ у насъ съ одной стороны человѣка прямодушнаго и откровеннаго, презирающаго всякое фразерство и безпощадно разоблачающаго радости, которыя мы любимъ облекать въ граціозныя формы и смягчать благозвучными словами; съ другой стороны—я напому читателю Іону-циника, выведеннаго въ послѣднемъ романѣ Писемскаго. Кто говоритъ рѣзкую правду, тотъ, по нашему, циникъ; и кто оскорбляетъ или тиранитъ беззащитнаго человѣка, тотъ, по нашему, также циникъ. Понятно, что послѣднія черты циническаго образа бросаютъ грязную тѣнь на первыя, и получается въ общей суммѣ неопредѣленное представленіе о чемъ-то дикомъ, неумолимомъ и зѣброподобномъ. Если какой-нибудь ловеласъ стремится насильно поцѣловать женщину, путешествующую съ нимъ въ мальпостѣ, мы называемъ его любезности циническими; если какой-нибудь тупоумный господинъ глумится и куражится надъ своей женой, мы называемъ его обращеніе циническимъ. И то-же самое загрязненное слово мы прикладываемъ не только къ характеру людей совершенно другого закала, но даже къ умственной дѣятельности тѣхъ великихъ мыслителей, которые спокойно и разсудительно анализируютъ съ фیزیологической точки зрѣнія чувство чистой дѣвственной любви, и процессы поэтического творчества, и порывы возвышеннаго героизма. Все это, по нашей терминологіи,—циники, и все ихъ разсужденія вытекаютъ изъ гнуснаго желанія унижить человѣческую личность и измѣять грубыми руками нѣжныя чувства и розовыя надежды довѣрчиваго читателя.

Принимая слово «цинизмъ» въ такомъ широкомъ и разнохарактерномъ значеніи, я пожалуй готовъ допустить, что Базаровъ—дѣйствительно циникъ; но въ такомъ случаѣ я надѣюсь доказать моимъ читателямъ, что въ базаровскомъ цинизмѣ нѣтъ рѣшительно ничего дурнаго, т.-е. ничего оскорбительнаго для человѣческаго достоинства и несовмѣстнаго съ разумнымъ уваженіемъ къ женщинѣ. Я намѣренъ разобрать довольно подробно все отношенія Базарова къ Одинцовой, и я имѣю причины думать, что этотъ этюдъ въ настоящее время будетъ не совсѣмъ безполезенъ; онъ до нѣкоторой степени облегчитъ намъ пониманіе того сфинкса, который называется моло-

дымъ поколѣніемъ и который подъ этимъ названіемъ наводитъ недоумѣніе и ужасъ на очень многихъ добрыхъ людей обоего пола.

Увидавши Одинцову на балѣ у губернатора, Базаровъ прежде всего обращаетъ вниманіе на ея наружность. «Кто-бы она была, — говоритъ онъ Аркадію, — просто-ли губернская львица, или «эманципация», вродѣ Кукшиной, только у ней такіа плечи, какихъ я не видывалъ давно. — Аркадія покорило отъ цинизма Базарова». — Вотъ и чудесно! Слово «цинизмъ» сразу вырвалось у самого Тургенева. Это даетъ самый удобный случай проанализировать, какого рода штука этотъ цинизмъ. Что молодой человѣкъ равнодушенъ къ красотѣ молодой женщины, — въ этомъ, кажется, самый строгій моралистъ и самый восторженный поэтъ, каждый съ своей точки зрѣнія, не найдутъ ровно ничего предосудительнаго. Ужъ на томъ свѣтѣ стоитъ, что молодые люди правятся другъ другу, и что любовь начинается преимущественно съ того пріятнаго впечатлѣнія, которое производитъ привлекательная наружность. Когда человѣкъ почувствовалъ это пріятное впечатлѣніе, то почему-же его и не высказать третьему лицу, которому это сообщеніе нисколько не можетъ быть оскорбительно? — Да, — конечно скажетъ мой изящный читатель, — но *какъ* высказать? — О, я знаю; въ этомъ *какъ* и заключается настоящая загвоздка. Молодому человѣку позволяется говорить о красотѣ женщины, даже о ея бюстѣ, даже о ея роскошныхъ формахъ, но при этомъ онъ, во-первыхъ, долженъ выражаться отборными словами, специально оточенными для подобныхъ живописаній, а во-вторыхъ, — онъ долженъ во время такого разговора млѣть и благоговѣть, прищуривать глаза и изображать на своихъ губахъ блаженную улыбку небеснаго созерцанія. Тогда никому въ голову не придетъ произнести слово «цинизмъ»; тогда скажутъ напротивъ того, что молодой человѣкъ — художникъ, способный увлекаться высшими идеалами, и что онъ въ конечной формѣ усматриваетъ безпечную идею прекраснаго. — Но такъ какъ Базаровъ говоритъ спокойно и называетъ плечи — плечами, а не формами, и о безконечной идеѣ прекрасно не заикается, то сейчасъ является на сцену «цинизмъ» и начинаетъ коробить благонаправнаго Аркадія, который однако способенъ, подобно болшей части юныхъ итенцовъ, выслушивать съ величайшимъ наслажденіемъ самыя нескромныя описанія, если только эти описанія производятся по всѣмъ правиламъ эстетики. Куда ни поини, вездѣ на эстетику натыкаешься.

Любопытно замѣтить, что самъ Добролюбовъ съ этой стороны заплатилъ дань эстетикѣ. Защищая какой-то характеръ, кажется характеръ Катерины, онъ говоритъ, что его могутъ извратить и опошлить въ своемъ пониманіи только тѣ грязные люди, которые все мараютъ своимъ прикосновеніемъ, которые на какую-нибудь Венеру Ми-

лосскую смотрятъ съ пріанической улыбкой и съ низкими чувственными помысленіями. Я совершенно согласенъ съ Добролюбовымъ, что скалить зубы передъ мраморной статуей — занятіе очень глупое, бесплодное и неблагодарное; но, наперекоръ всѣмъ художникамъ и эстетикамъ въ мірѣ, я осмѣлюсь утверждать, что всѣ экстазы самыхъ просвѣщенныхъ и рафинированныхъ поклонниковъ древней скульптуры въ сущности ничѣмъ не отличаются отъ пріаническихъ улыбокъ и чувственныхъ поползновеній. Последнія только проще, непосредственнѣе и откровеннѣе, вслѣдствіе чего и пелѣность послѣднихъ обрисовывается гораздо рѣзче. Именно эта очевидная пелѣность дѣлаетъ ихъ менѣе вредными, сравнительно съ утонченными восторгами. Человѣкъ нехитрый взглянетъ на статую, ослабитъ своей незящной улыбкой, постоитъ минуты двѣ-три передъ чудомъ искусства, да и пройдетъ мимо. А люди, посвященные въ таинства экстазовъ, поступаютъ совершенно иначе: они часто всѣ свои силы и всю свою жизнь ухлопываютъ на то, чтобы доставлять эти экстазы себѣ и другимъ; два класса людей, — эстетики и художники, — только этимъ и занимаются, и при этомъ они находятъ, что дѣлаютъ дѣло. Такую трату свѣжихъ умственныхъ силъ и драгоценнаго времени слѣдуетъ называть по меньшей мѣрѣ непроизводительной и убыточной. Смотрѣть съ пріанической улыбкой на живую женщину не только глупо, но даже дерзко и совершенно не позволительно по той простой причинѣ, что такая улыбка можетъ оскорбить или по крайней мѣрѣ привести въ замѣшательство ту личность, къ которой она адресуется. Но Базаровъ говоритъ съ постороннимъ лицомъ, такъ что объ оскорбленіи тутъ не можетъ быть и рѣчи. Стало быть, остается только разрѣшить вопросъ, какимъ языкомъ лучше говорить о красотѣ женщины: высокимъ и восторженнымъ или простымъ и естественнымъ. Можно было-бы сказать, что ужъ это дѣло личнаго вкуса, по я намѣренъ пойти далѣе, и осмѣлюсь выразить то мнѣніе, что говорить въ этихъ случаяхъ простымъ базаровскимъ языкомъ гораздо благоразумнѣе и достойнѣе мыслящаго человѣка.

Въ другомъ мѣстѣ того-же романа Базаровъ умоляетъ своего друга, Аркадія Николаевича, «не говорить красиво», но по своему обыкновенію Базаровъ не пускается въ дальнѣйшія діалектическія тонкости и не объясняетъ причины, почему красивыя рѣчи возбуждаютъ въ немъ непобѣдимое отвращеніе. Между тѣмъ такая причина дѣйствительно существуетъ, и ее никакъ нельзя назвать неосновательной. Люди, пробудившіе въ себѣ способность размышлять, ежедневно и ежечасно играютъ сами съ собой въ очень странную и смѣшную игру. Придетъ-ли ему въ голову какая-нибудь мысль, шевельнется-ли въ его нервной системѣ какое-нибудь ощущеніе, — человѣкъ тотчасъ ухватывается-за

это душевное движение и начинает его осматривать съ различныхъ сторонъ: Чтò, молъ, это за штука? И какъ ее сформулировать? И подъ какую категорію подвести? И изъ какихъ основныхъ свойствъ моей личности она вытекаетъ? Конечно процессъ анализа почти никогда не поднимается до настоящихъ физиологическихъ причинъ даннаго явленія; останавливаясь на половинѣ или, еще чаще, въ самомъ началѣ пути, этотъ процессъ обыкновенно заканчивается тѣмъ, что данная мысль или данное ощущение получаетъ себѣ то или другое названіе. Если нашему аналитику удастся подобрать названіе красивое, то онъ немедленно почувствуетъ удовольствіе и даже проникнется нѣкоторымъ уваженіемъ къ своей особѣ: однако, подумаетъ, я—молодецъ. Вотъ какія тонкія мысли и высокія ощущенія я способенъ въ себѣ вынашивать. Но вѣдь прискивать красивыя названія и пригонять къ этимъ названіямъ психическіе анализы—дѣло совсѣмъ немудреное; если только приобрести въ этомъ занятіи нѣкоторый навыкъ, то можно дѣйствовать безъ промаха, и въ каждой плоской выдумкѣ своего я, въ каждомъ естественномъ отправленіи своего организма усматривать бездну граціи, изящества, мягкости, великодушія и всякихъ другихъ благоухающихъ атрибутовъ. Тутъ конечно удовольствію и самоуваженію не будетъ конца. Когда человѣкъ покупаетъ себѣ самоуваженіе дорогой цѣной полезнаго и неустрашимаго труда, когда онъ поддерживаетъ въ себѣ это чувство ежедневными усиліями ума и воли, направленныхъ къ великимъ, обще-человѣческимъ цѣлямъ,—тогда самоуваженіе облагораживаетъ его, то-есть постоянно укрѣпляетъ его на новые подвиги труда и борьбы. Но когда человѣкъ платитъ себѣ за самоуваженіе фальшивой монетой красивыхъ выраженій и плоскихъ софизмовъ, когда онъ такимъ образомъ безсознательно выучивается шулерничать съ самимъ собой,—тогда онъ быстро поплѣзетъ и опускается, продолжая попрежнему воскуривать себѣ свой затхлый фимиамъ. Чѣмъ мельче становятся мысли и чувства, тѣмъ вычурнѣе и красивѣе подбираются для нихъ названія, потому что навыкъ съ каждымъ днемъ усиливается въ этомъ ремеслѣ, какъ и во всѣхъ остальныхъ. Такимъ-то именно путемъ и вырабатываются отъявленные тунеядцы, считающіе себя русскими лириками. Такимъ-же точно путемъ многіе великіе умы парализировали и осклопили свою дѣятельность. Гёте, а вмѣстѣ съ нимъ и добрякъ Шиллеръ совершенно чистосердечно убѣдили сами себя и другъ друга, что имъ стоитъ только потоньше ощущать, да повозвышеннѣе мыслить, да помудренѣе выражаться, — и они тогда окажутъ всему человечеству неизмѣримыя благодѣянія. Утвердившись на этой позиціи, великія свѣтила нѣмецкой поэзіи вскорѣ сдѣлали открытіе, что ощущенія ихъ достаточно тонки, мысли достаточно

возвышены и выраженія достаточно замысловаты. Тогда осталось только любоваться своими совершенствами и продовольствовать простое человечество не грубыми плодами полезнаго умственного труда, а тонкимъ изяществомъ просвѣтленныхъ личностей. Восхищайтесь, молъ, нами и благодарите Бога за то, что мы живемъ среди васъ, и что вы можете созерцать такую невиданную красоту души и ума. А увѣривъ себя въ этомъ, Гёте самъ себя считалъ великимъ. Какъ могъ онъ, при своемъ громадномъ умѣ, предпочитать узкій міръ своихъ личныхъ ощущеній широкому міру волнующейся жизни человечества? Какъ могъ онъ ставить субъективную мечту, отправление единичнаго организма, выше той дѣйствительной драмы, которая ежеминутно, на каждомъ шагу, съ учрежденія первыхъ человѣческихъ обществъ, разыгрывается передъ глазами каждаго мыслящаго наблюдателя? Филистерская трусость Гёте не разъяснитъ намъ этой загадки. Елибы тутъ была одна трусость, Гёте не могъ-бы такъ чистосердечно уважать и обожать себя. Нѣтъ, міръ личныхъ ощущеній былъ для него не убѣжищемъ, а храмомъ, въ которомъ онъ поселился съ полнымъ убѣжденіемъ, что прекраснѣе и священнѣе этого мѣста нѣтъ ничего на свѣтѣ. Чтобы увидать въ самомъ себѣ свѣтлый храмъ, а въ окружающей жизни грязную базарную площадь, чтобы забыть такимъ образомъ естественную солидарность своего я съ окружающими глупостями и страданіями остальныхъ людей, надо было систематически подкупить и усыпить свой критическій смыслъ красотой отборныхъ выраженій. Мелкія мысли и мелкія чувства надо было возвести въ перлъ созданія; Гёте выполнялъ этотъ фокусъ, и подобные фокусы считались до сихъ поръ величайшимъ тожествомъ искусства; но производятся такія штуки не только въ сферѣ искусства, а также и во всѣхъ остальныхъ сферахъ человѣческой жизни.

Маленькій, но поучительный примѣръ такого фокуса представляется намъ въ романѣ Тургенева въ лицѣ Павла Петровича. — «Я очень хорошо знаю», —напримѣръ говоритъ этотъ perfect gentleman,—что вы изволите находить смѣшными мои привычки, мой туалетъ, мою опрятность наконецъ, но это все происходитъ изъ чувства самоуваженія, изъ чувства долга, да-съ, да-съ, долга. Я живу въ деревнѣ, въ глуши, но я не роняю себя, я уважаю въ себѣ человѣка».

Я сомнѣваюсь въ томъ, чтобы магическая сила красивыхъ словъ могла обрисоваться когда-нибудь и гдѣ-нибудь ярче и нагляднѣе, чѣмъ она обрисована въ этомъ мѣстѣ. Циникъ, подобный Газарову, скажетъ: я умываю лицо и руки, стригу ногти, причесываю волосы, хожу въ баню, мѣняю бѣлье—и только. И эти простыя слова не возбудятъ въ говорящей личности

никакого пріятнаго чувства удовлетворенной гордости. А эстетикъ, подобный Павлу Петровичу, скажетъ: я повинуюсь чувству долга и поддерживаю свое достоинство, я уважаю въ себѣ чловѣка, значитъ, я—развитая личность, значитъ, я себя по головъ поглажу, значитъ, я дѣло дѣлаю, значитъ, я могу съ спокойной совѣстью почитать на лаврахъ. И мужикъ ходитъ въ баню, но онъ ходитъ по грубой животной потребности, а я хожу съ размыслиеніемъ, я одухотворяю процессъ физическаго омовенія высшимъ процессомъ мыслительной дѣятельности. Такимъ образомъ будетъ постоянно возрастать дешевое самоуваженіе, и съ каждымъ днемъ неизлечимѣе и безнадежнѣе будутъ становиться пустота, пошлость и праздность фразерствующей личности. Если чловѣкъ не сумасшедшій можетъ ставить себѣ въ заслугу то, что онъ умывается душистымъ мыломъ и носить туго накрахмаленныя воротнички, и если даже эта незамысловатая вещь можетъ уложиться въ опрятную и красивую фразу, то понятно, какой неистощимый матеріалъ самовосхваленія могутъ доставить такому чловѣку самыя простыя отношенія къ женщинамъ. Полюбоваться красотой женщины, кажется, не велика мудрость и не важный подвигъ; но эстетикъ самъ себѣ представить свои ощущенія въ такомъ ээирно-облагороженномъ видѣ, что при семъ удобномъ случаѣ непременно умилится надъ нѣжностью, мягкостью, чуткостью, воспримчивостью и утонченной страстностью своей натуры. Результатъ извѣстенъ: циники, подобныя Базарову, уважаютъ себя только за то, что крѣпко трудятся; а эстетики уважаютъ себя за то, что красиво ѣдятъ, красиво пьютъ, красиво умываются и красиво глядятъ на красивыхъ женщинъ. Вслѣдствіе этого реалисты, чтобы сохранить себѣ свое собственное уваженіе, продолжаютъ крѣпко трудиться; а эстетики, для достиженія той-же самой цѣли, продолжаютъ красиво ѣсть, красиво пить, красиво умываться и красиво глядѣть на красивыхъ женщинъ. Чтò лучше и чтò общепользѣе — объ этомъ я предоставляю судить благосклонному читателю. — Кажется мнѣ только, что плечи слѣдуетъ называть плечами, и что, любуясь красотой живой женщины или мраморной Венеры, мы не оказываемъ особенно великаго одолженія ни отечеству, ни чловѣчеству. Ощущеніе очень обыкновенное; стало быть, и выраженіе должно быть просто и положительно. Энтузіазмъ не мѣшаетъ приберегать на другіе случаи, болѣе торжественныя, о которыхъ травоядные эстетики не имѣютъ понятія.

## ХІ.

Въ жизни Базарова трудъ стоитъ на первомъ планѣ, но Базаревъ совсѣмъ не ригористъ и вовсе не прочь отъ того, чтобы доставлять себѣ особѣ удовольствія. Одинцова понравилась ему

съ перваго взгляда, и ему пришло въ голову привлечь къ ней. Мысль безнравственная, но какъ вы уберегетесь отъ подобныхъ мыслей при настоящихъ условіяхъ воспитанія, жизни и общественныхъ отношеній?

Увѣрять женщину въ любви, когда любви этой въ самомъ дѣлѣ не имѣется,—значитъ лгать, а лгать во всякомъ случаѣ скверно, тѣмъ болѣе тогда, когда ложь такъ близко затрогиваетъ личные интересы того чловѣка, съ которымъ мы имѣемъ дѣло. Еслибы Базаровъ разыгралъ съ Одинцовой систематическую и хладнокровно рассчитанную комедію любви, то поступокъ этотъ былъ-бы очень предосудителенъ, и вся личность Базарова явилась-бы передъ нами въ сомнительномъ свѣтѣ. Но мнѣ кажется, что Базаровъ ни въ какомъ случаѣ не сталъ-бы актерствовать; еслибы даже онъ принялся за это утомительное занятіе, то у него не хватило-бы терпѣнія дотянуть дѣло до развязки, и онъ, послѣ первыхъ двухъ-трехъ приступовъ, убѣдился-бы въ томъ, что игра не стоитъ свѣчей. Съ молодыми людьми случается часто, что они строятъ въ умѣ своемъ какой-нибудь отчаянно-макиавелевскій планъ; все такъ хорошо обдумано, и ложь, и притворство поставлены на свое мѣсто, расчетъ произведенъ блистательно, и теоретическая сторона дѣла оказывается безукоризненной; это значитъ, что мысль работаетъ исправно и отличается надлежащей смѣлостью полета; но такъ на одномъ смѣломъ полетѣ мысли дѣло и останавливается, потому что, при первой встрѣчѣ съ практической стороной задуманной дьявольщины, юный макиавелистъ оказывается добродушнымъ и чистосердечнымъ чловѣкомъ, который немедленно махнетъ рукой и скажетъ про себя:—А ну ихъ къ чорту! Съ какой стати я ихъ надувать буду! — Такъ могло случиться, и до нѣкоторой степени такъ случилось и съ самимъ Базаровымъ. Онъ оказался гораздо моложе и нѣжнѣе, чѣмъ онъ воображаетъ себя. Съ кабинетными работниками, у которыхъ теоретическій умъ далеко обгоняетъ опытъ жизни, сплошь и рядомъ случаются такія иллюзіи. Справляясь съ идеями, мы думаемъ, что намъ такъ же легко справляться и съ живыми явленіями, а вдругъ оказывается, что живое явленіе затрогиваетъ насъ съ такой стороны, которую мы и не подозрѣвали въ своей особѣ, когда производили наши теоретическія комбинаціи.

Я думаю однако, что Базаровъ даже въ чистой теоріи не задавалъ себѣ задачи актерствовать и лицемерить предъ красивой обладательницей «богатаго тѣла». Онъ просто думалъ, что Одинцова — нѣчто вродѣ Евдокіи Кукшиной, а въ такомъ случаѣ комедія была-бы излишней роскошью. Стоило только сказать нѣсколько красивыхъ любезностей на счетъ наружности, да наговорить побольше вздору о Либихѣ и Жоржъ Зандѣ, о Мишле и Прудонѣ, о Вунзенѣ и о жен-

скомъ вопросъ — и дѣло было-бы улажено къ обоюдному удовольствію. Тутъ дѣло съ самаго начала велось-бы на чистоту, безъ всякихъ хитростей, и женщина даже не требовала-бы отъ мужчины серьезнаго чувства, потому что не была-бы даже способна насладиться такимъ чувствомъ и отплатить за него той-же монетой. Тутъ не было-бы ничего, кромѣ болтовни и облытій, и, разумеется, Базарову очень скоро пошло-бы такое препровожденіе времени. Но Базаровъ съ перваго разговора своего съ Одинцовой замѣтилъ, что эта женщина умѣетъ уважать свое достоинство и смотреть на жизнь серьезными глазами мыслящаго человѣка. Шутить съ такой женщиной было невозможно; обманывать ее было трудно и опасно; можно было попасть въ просякъ и поставить самого себя въ самое глупое и безвыходно-позорное положеніе; наконецъ если-бы, паче чаянія, обманъ удался, то онъ оказался-бы капитальной подлостью, потому что возбудить въ такой женщины чувство и потомъ, рано или поздно, обнаружить свою полную неискренность, значило-бы оскорбить и огорчить эту женщину самымъ жестокимъ, незаслуженнымъ и мошенническимъ образомъ. Все это Базаровъ сообразилъ или, вѣрнѣе, почувствовать почти мгновенно, и все его поведеніе съ Одинцовой проникнуто съ начала до конца самой глубокой, искренней и серьезной почтительностью. «Какой я смиренный!» сталъ», думалъ онъ про себя въ первые минуты своего пребыванія въ деревнѣ Одинцовой, и потомъ онъ сдѣлался еще болѣе «смирненнымъ», потому что отъ *полюбилъ* Одинцову; о, когда такой «циникъ» любить женщину, тогда онъ ее уважаетъ дѣйствительно, то-есть тогда ему становится невозможно схитрить передъ ней словомъ, взглядомъ или движеніемъ. Искренность Базарова доходить до крайнихъ предѣловъ, и мнѣ кажется, что именно эта искренность, эта полнѣйшая честность, неподдѣльность приводятъ за собой его неудачу и разрывъ только-что зарождавшихся отношеній. Эта неподдѣльность показала-ся некрасивой, а женщины наши повидимому очень крѣпко держатся за эстетику и въ смыслъ психическихъ явленій не заглядываютъ почти никогда.

### XLII.

Самые искренніе люди бываютъ часто самыми сдержанными людьми, и самыя сильныя чувства этихъ людей никогда не выражаются ими, а вырываются изъ нихъ только тогда, когда уже не хватаетъ силъ ихъ задерживать. Въ строгомъ смыслѣ, только такія вырвавшіяся чувства и могутъ быть названы совершенно неподкрашенными. Когда-же человѣкъ сознательно выпускаетъ изъ себя чувство, то-есть говорить о немъ и описываетъ его, то мы уже тутъ имѣемъ дѣло не съ сырымъ матеріаломъ, а съ умышленнымъ

трудомъ, построеннымъ на основаніи этого матеріала. Чѣмъ изящнѣе и граціознѣе эта постройка, тѣмъ больше на нее положено искусства, то-есть, другими словами, тѣмъ спокойнѣе и сознательнѣе произведена первобытнаго матеріала. Чѣмъ красивѣе выраженіе, тѣмъ слабѣе чувство, а такъ какъ женщины дорожатъ преимущественно красотой, въ чемъ-бы она ни проявлялась, то и оказывается въ результатѣ, что онѣ обыкновенно отвертываются отъ искреннихъ людей и бросаются на шею фразерамъ или красивымъ кукламъ. Чѣмъ сильнѣе человѣкъ любить, тѣмъ невыгоднѣе его положеніе и тѣмъ вѣрнѣе онъ можетъ рассчитывать на полную неудачу.

Истину этого неутѣшительнаго изреченія въ совершенствѣ испыталъ на себѣ Базаровъ. Онъ полюбилъ Одинцову очень скоро; серьезная любовь началась въ немъ вѣроятно послѣ первой ботанической экскурсіи, которую они предприняли вдвоемъ послѣ завтрака и которая продолжалась до обѣда. Это было на другой день послѣ пріѣзда молодыхъ людей въ деревню Одинцовой. Что любовь возникла такъ быстро, этому удивляться нечего. Физическая красота бросается въ глаза съ перваго взгляда; умъ обнаруживается въ первомъ-же разговорѣ; а когда такимъ образомъ вся фигура женщины и каждое слово производятъ на человѣка стройное и пріятное впечатлѣніе, то чего-же вамъ больше? И кровь волнуется, и мозгъ раздражается, и все это такъ обаятельно — ну вотъ, и любовь готова. Чѣмъ больше такихъ пріятныхъ впечатлѣній ляжетъ безъ перерыва одно на другое, тѣмъ сильнѣе будетъ становиться любовь; но фундаментъ, незамѣтный зародышъ этого чувства, заложенъ уже самымъ первымъ впечатлѣніемъ.

Полюбивши Одинцову, Базаровъ проводитъ вмѣстѣ съ ней, подъ одной кровлей и въ постоянныхъ дружескихъ разговорахъ, больше двухъ недѣль. Во все это время онъ говоритъ съ ней, какъ съ умнымъ мужчиной, о предметахъ, имѣющихъ дѣйствительный интересъ: о химіи, о ботаникѣ, о новѣйшихъ открытіяхъ натуралистовъ, о различныхъ взглядахъ передовыхъ умовъ на жизнь природы, на личность человѣка и на потребности общества. Если уважать женщину значить обращаться съ ней какъ съ мыслящимъ существомъ, то съ этой стороны поведеніе «циника» Базарова надо признать совершенно безукоризненнымъ: онъ старался удовлетворять умственнымъ требованіямъ своей собесѣдницы и не проронилъ ни одного слова о томъ, что мучило и волновало его самого. Ни слова не было сказано о томъ, что могло возвыситься въ глазахъ любимой женщины личность самого Базарова; ни о своемъ прошедшемъ, ни о своихъ стремленіяхъ и планахъ въ будущемъ Базаровъ не заикнулся; а между тѣмъ въ его прошедшемъ было много унорнаго труда и необходимого тер-

пѣнія, а въ его взглядѣ на будущее широко и обаятельно развѣртывались свѣтлое могущество его мысли и неудержимая страстность его сознательной любви къ людямъ. И онъ все-таки молчалъ объ этомъ, потому что ему было отвратительно подумать, что онъ способенъ рисоваться, интересничать и говорить красивыя слова передъ любимой женщиной. Это честное и глубокое отвращеніе къ ложной эффектности постоянно обливало его холодной водой, когда онъ начиналъ увлекаться и когда въ этомъ увлеченіи начинали проблескивать высшія и симпатичныя стороны его ума, его характера и его дѣятельности. Онъ не хотѣлъ становиться на ходули и поэтому оставался постоянно ниже своего настоящаго роста. Чтѣ дѣлать? Человѣкъ почти всегда пересаливаетъ въ ту или въ другую сторону; но кто пересолитъ подобно Базарову, тотъ по крайней мѣрѣ не продастъ гнилого товара за свѣжія и не залѣзетъ обманомъ ни въ кошелекъ, ни въ душу своихъ собесѣдниковъ.

Дѣльные разговоры Базарова занимаютъ Одинцова, какъ женщину умную и любознательную; но именно, какъ умная женщина, она понимаетъ, что, говоря обо всемъ, Базаровъ не высказываетъ бездѣлицы—самого себя; а какъ женщина любознательная и даже любопытная, она желаетъ вырвать у Базарова эту тайну, она хочетъ объяснить себѣ настоящій смыслъ этой сильной и замѣчательной личности. Она старается перевести разговоръ съ общаго поля великихъ умственныхъ интересовъ на болѣе притимный тонъ личныхъ признаній и изліяній. Базарову, какъ влюбленному человѣку, такой поворотъ разговора былъ-бы чрезвычайно выгоденъ, а между тѣмъ Базаровъ упирается и выдерживаетъ свое упорство до самаго конца. Одинцова все къ чему-то подходитъ; ей повидимому хотѣлось-бы, чтобы оба они понемногу разнѣжились, и чтобы слово любви было произнесено какъ-то незамѣтно для обоихъ, во время нѣжнаго и мечтательнаго разговора; она-бы желала увлечься нечувствительно, безъ страстныхъ порывовъ и безъ рѣзкихъ ощущеній. Базарову всѣ эти тонкости непонятны. Какъ это, думаетъ онъ, готовить и настраивать себя къ любви? Когда человѣкъ дѣйствительно любить, развѣ онъ можетъ граціозничать и думать о мелочахъ вишняго изящества? Развѣ настоящая любовь колеблется? Развѣ она нуждается въ какихъ-нибудь вишнихъ пособіяхъ мѣста, времени и минутнаго расположенія, вызваннаго разговоромъ? Базаровъ мѣрится на свой аршинъ психическія отравленія другихъ людей, и поэтому онъ относится сурово и враждебно ко всемъ попыткамъ Одинцовой придать ихъ отношеніямъ ласкающій и нѣжный колоритъ. Ему всѣ эти попытки кажутся искусственными маневрами кокетки или по меньшей мѣрѣ невольными капризами избалованной аристократки. Еслибы она мечя любила, думаетъ онъ, она-бы

давно поняла, какъ сильно я ее люблю, и тогда все между нами было-бы ясно, просто и разумно, и тогда къ чему всѣ ухищренія? Но вѣдь она меня не любить, и въ такомъ случаѣ какъ-же она смѣетъ забавляться со мной задушевными разговорами? Дикарь этотъ Базаровъ! Первобытный человѣкъ! Онъ упускаетъ изъ виду то обстоятельство, что ея любовь можетъ явиться, какъ результатъ многихъ мелкихъ причинъ, многихъ вишнихъ, случайныхъ и неважныхъ впечатлѣній. Онъ совсѣмъ не заботится о томъ, чтобы доставить ей эти впечатлѣнія и потомъ эксплуатировать ихъ въ свою пользу. Онъ хочетъ, чтобы ея любовь была сильна, естественна и самородна, чтобы эта любовь свалилась на нее, какъ свѣтъ на голову, такъ, какъ его любовь обрушилась на него, Базарова. А любовь, высиженная, вымученная, тепличная, воспитанная изысканными словами, эффектными взглядами, пустотой деревенской жизни, тишиной и полумракомъ лѣтняго вечера,—такая любовь очень поправилась-бы Базарову, еслибы онъ хотѣлъ завести интригу съ красивой барыней, но притворной и отвратительной показала-бы она ему тогда, когда онъ самъ полюбилъ серьезно. Дикарь этотъ Базаровъ! Его уваженіе къ женщинѣ выражается въ томъ, что онъ ничѣмъ не хочетъ и по натурѣ своей ничѣмъ не способенъ насиловать чувство этой женщины.

Выше этого уваженія ничего нельзя себѣ представить, но для нашихъ дрессированныхъ, обезсиленныхъ и обезцвѣченныхъ женщинъ такое уваженіе оказывается совершенно неумѣстнымъ и непонятнымъ. Женщина сама, всѣмъ направленіемъ своихъ поступковъ и рѣчей, упрямится, чтобы ее *заставили* полюбить, чтобы ее «увлекли», чтобы ей «вскружили» голову, то-есть, короче, чтобы ее лишили воли и сознанія и чтобы тогда дѣлали съ ней, что хотятъ. Тогда, думаетъ она, пожалуй я полюблю и потомъ спасибо скажу тому добродушному человѣку, который отнял у меня способность и печальную необходимость обдумывать мои поступки. А иначе какъ-же? Какъ-же-бы я сама,—какъ-бы я, пахоясь въ здоровомъ умѣ, сама распорядилась своей особой? Никогда и ни за что-бы я сама не распорядилась. Я-бы постоянно стремилась и постоянно робѣла-бы. На то я и женщина! А дикарь стоитъ себѣ, сложа руки, и говорить: рѣшайся сама. Думай за себя. Люби самостоятельно. Ни увлекать, ни убѣждать, ни умолять тебя я не намѣренъ, да и не умѣю. Я—равный тебѣ человѣкъ. Я—не опекунъ тебѣ. И хоть-бы у меня аневризмъ сдѣлался, и хоть-бы у меня сердце лопнуло отъ любовнаго волненія, все-таки я не съумѣю и не захочу кружить тебѣ голову и опавать тебя дурманомъ граціозныхъ нѣжностей и эффектной жестикуляціи. Я говорю съ тобой, какъ съ разумнымъ существомъ, и не умѣю говорить иначе ни съ кѣмъ изъ тѣхъ лю-



дей, которые раз навсегда заслужили мое уважение. Если бы я не уважал тебя, то я-бы тебя и не любил; а так как я тебя люблю, то я и не могу, абсолютно не могу, посягать словами или поступками на твою умственную самостоятельность. — Какой дикарь; но какой хороший дикарь! Жаль только, что не въ коня кормъ.

### XIII.

Читателю может показаться, что я самъ сочинилъ себя Базарова и Одинцову, вовсе непохожихъ на героевъ Тургеневскаго романа, — до такой степени мои размышленія и заключенія рѣзко противорѣчатъ тому понятію, которое, по милости нашей образцовой тупости, установилось въ читающемъ обществѣ на счетъ базаровскаго типа и преимущественно на счетъ его *циническихъ* отношеній къ женщинамъ. Мнѣ теперь надо доказать, что я не сочиняю, и что каждое мое слово основывается исключительно на правильномъ пониманіи тѣхъ матеріаловъ, которые даетъ Тургеневъ и которые, мнѣ кажется, самъ Тургеневъ не всегда разсматриваетъ съ надлежащей точки зрѣнія, хотя фактическія подробности всегда поразительно вѣрны.

Я приведу длинный рядъ доказательствъ изъ двухъ рѣшительныхъ сценъ Базарова съ Одинцовою. Базаровъ сказалъ, что онъ скоро уѣзжаетъ къ своему отцу; это было сказано безъ всякаго дипломатическаго умысла, и Тургеневъ при этомъ замѣчаетъ, что Базаровъ «никогда не сочинялъ». Одинцова, по поводу этого близкаго отъѣзда, находится въ полу-грустномъ, полунѣжномъ настроеніи. Сидятъ они вдвоемъ, поздно вечеромъ, въ комнатѣ Одинцовой. — Одинцова два раза подъ рядъ говоритъ ему: «Мнѣ будетъ скучно». — На первый разъ онъ отвѣчаетъ: — «Аркадій останется», а на второй: — «во всякомъ случаѣ долго вы скучать не будете». — Вслѣдъ затѣмъ онъ говоритъ ей, что она непогрѣшительно-правильно устроила свою жизнь, такъ что въ ней не можетъ быть мѣста никакимъ тяжелымъ чувствамъ. — «Черезъ нѣсколько минутъ, — прибавляетъ онъ, — пробьетъ десять часовъ, и я уже напередъ знаю, что вы меня прогоните.» — «Нѣтъ, не прогоню, Евгений Васильевичъ, — отвѣчаетъ она, — вы можете остаться.» — Онъ остается. — «Расскажите мнѣ что-нибудь о самомъ себѣ, — говоритъ она, — вы никогда о себѣ не говорите.» — «Я стараюсь бесѣдовать съ вами о предметахъ полезныхъ, Анна Сергѣевна.» — Она настаиваетъ съ особенной ласковостью. — Базаровъ думаетъ про себя: «Зачѣмъ она говоритъ такіа слова?» и отвѣчаетъ ей: «Мы — люди темные.» — «А я, по вашему, аристократка?» — «Да, — промолвилъ онъ *преувеличенно рѣзко*.» — Одинцова защищается: — «Я, — говоритъ она, — вамъ когда-нибудь расскажу свою жизнь... но вы мнѣ прежде расскажите свою.» Базаровъ

это третье приглашеніе пропускаетъ мимо ушей и переводить разговоръ на личность Одинцовой. — «Зачѣмъ вы, съ вашимъ умомъ, съ вашей красотой, живете въ деревнѣ?» — «Какъ? Какъ вы это сказали? — съ живостью подхватила Одинцова. — Съ моею... красотой?» — Бѣдная женщина! Какъ она обрадовалась! Должно быть, Базаровъ не избаловалъ ее комплиментами. А Базаровъ-то! О, дикарь! О, бурлакъ! Вотъ онъ затушевываетъ свою нечаянную любезность: «*Базаровъ нахмурился.* — *Это все равно,* — пробормоталъ онъ. — *Я хотѣлъ сказать, что не понимаю хорошенько, зачѣмъ вы поселились въ деревнѣ.*» — Его очевидно покорило и смутило то, что онъ сказалъ. Говорить съ любимой и уважаемой женщиной о ея красотѣ кажется ему плоскостью и слѣдовательно дерзостью. И это — тотъ самый Базаровъ, который говорилъ съ Аркадіемъ о плечахъ и о богатомъ тѣлѣ этой самой Одинцовой? И тутъ нѣтъ никакого противорѣчія. Тогда онъ ее не зналъ и, стало быть, для него существовали только линіи и краски ея фигуры; по этимъ извѣстнымъ ему даннымъ онъ и высказывалъ о ней свое сужденіе. Кромѣ того онъ говорилъ съ третьимъ лицомъ, и тогда эти слова имѣли свой смыслъ, какъ всякое другое сужденіе о какомъ-нибудь предметѣ, остановившемъ на себѣ вниманіе человѣка. Но говорить самой женщинѣ, что она хороша собой, — это безсмыслица, годная только на то, чтобы наскучить ей, если она умна, или польстить ей, если она глупа. Къ сожалѣнію надо замѣтить, что очень многимъ женщинамъ такіе разговоры не надоедаютъ, и — увы! — кажется, даже Одинцова не прочь послушать такіа рѣчи изрѣдка. Чтѣ дѣлать? Сильна наша глупость и безчисленны ея убѣжища; и у самыхъ умныхъ людей еще отведены для нея уютные толки, и нѣтъ быть-можетъ того мыслителя, который подчасъ не оказывался-бы простофілей. Но Базаровъ, въ своей дикой суровости, не хочетъ принимать въ соображеніе слабости своей собесѣдницы. Потворствовать этимъ слабостямъ и пользоваться ими онъ очевидно считаетъ не только пошлымъ, но и безчестнымъ дѣломъ. — Черезъ нѣсколько минутъ Базаровъ встаетъ. — «Куда вы? — медленно проговорила она. — Онъ ничего не отвѣчалъ и опустился на стулъ». Разговоръ, не смотря на безконечную свирѣпость Базарова, становится конфиденціальнымъ и почти нѣжнымъ. «Кажется, — говоритъ она, — еслибъ я могла сильно привязаться къ чему-нибудь...» — «Вамъ хочется полюбить, — перебилъ ее Базаровъ, — а полюбить вы не можете: вотъ въ чемъ ваше несчастье.» — «Развѣ я не могу полюбить?» — «Едва-ли! Только я напрасно называлъ это несчастьемъ. Напротивъ, тотъ кто ѣе достоинъ сожалѣнія, съ кѣмъ эта штука случается.» — «Случается чтѣ?» — «Полюбить.» — «А вы почему это знаете?» — «По

Ты кокетничаешь, — подумалъ онъ, — ты скусаешь и дразнишь меня отъ нечего дѣлать, а мнѣ... Сердце у него дѣйствительно такъ и рвалось». «По моему, — продолжаетъ Одинцова, — или все, или ничего. Жизнь за жизнь. Взять мою — отдай свою, и тогда уже безъ сожалѣнія и безъ возврата. А то лучше и не надо.» — «Что-жъ, — замѣтилъ Базаровъ, — это условіе справедливое, и я удивляюсь, какъ вы до сихъ поръ... не нашли, чего желали.» — «Но вы-бы съумѣли отдаться?» — спрашиваетъ она.» — «Не знаю, хватитъ ли *хочу*» — Базаровъ опять встаетъ. Она еще разъ его удерживаетъ: «Погодите, куда-же вы спѣшите?.. мнѣ нужно сказать вамъ одно слово.» — «Какое?» — «Погодите, — шепнула Одинцова. Ея глаза остановились на Базаровѣ; казалось, она внимательно его разсматривала. — Онъ прошель по комнатѣ, потомъ вдругъ приблизился къ ней и торопливо сказалъ: «прощайте», стиснулъ ей руку такъ, что она чуть не вскрикнула, и вышелъ вонъ».

На другой день Одинцова сама зоветъ его къ себѣ въ кабинетъ и, пришедши туда, прямо говоритъ ему, что хочетъ возобновить вчерашній разговоръ. Опять начинаются съ ея стороны вызовы на откровенность, а со стороны Базарова упорное отиживанье. Онъ говоритъ: «*между вами и мною такое разстояніе*». Она говоритъ на это: «Какое разстояніе? Полноте, Евгений Васильевичъ; я вамъ, кажется, доказала. Или можетъ-быть — продолжаетъ она — вы меня, какъ женщину, не считаете достойной вашего довѣрія? *Вѣдь вы насъ всѣхъ презираете?*» — «Васъ я не презираю, Анна Сергѣевна, и вы это знаете.» — «Нѣтъ, я ничего не знаю», — отвѣчаетъ она и затѣмъ требуетъ, чтобы Базаровъ сказалъ ей, что въ немъ происходитъ, и какая причина его сдержанности и напряженности. Что-же остается дѣлать этому несчастному Базарову? Вѣдь наконецъ всякія человѣческія силы должны истощиться и всякое ослиное терпѣніе должно лопнуть, когда любимая женщина два дня подъ рядъ умоляетъ объ одномъ и томъ-же, когда она васъ упрекаетъ въ томъ, что вы ее презираете, и когда всѣ ея просьбы, всѣ ея ласковыя слова клонятся исключительно къ той самой цѣли, къ которой вы сами стремитесь всѣми силами своего существа. Поневолѣ надо было высказать самую глубокую тайну, и Базаровъ ее высказалъ, только совершенно по-базаровски. «Такъ знайте-же, — говоритъ онъ, — что я васъ люблю глупо, безумно... *Вотъ чего вы добились*» — И эти сердитыя слова онъ произноситъ, не глядя на Одинцову, отошедши отъ нея къ окну и стоя къ ней спиной. Онъ задыхался; все тѣло его видимо трепетало. Но это было не трепетаніе юношеской робости, не сладкій ужасъ перваго признанія овладѣлъ имъ; это страсть въ немъ билась, сильная и тяжелая, — *страсть по-*

*хвоя на злобу и быть-можетъ сродни ей*... Одинцовой стало и страшно, и жалко его. — «Евгеній Васильевичъ, — проговорила она, — и невольная нѣжность зазвенѣла въ ея *голосъ*».

Ну, тутъ, разумѣется, онъ бросился къ ней и обнялъ ее. Еще-бы онъ не бросился. Еще-бы онъ не обнялъ! Эта невольная нѣжность въ *голосъ* была для него послѣднимъ и рѣшительнымъ ударомъ, передъ которымъ уже не могла устоять никакая сдержанность, никакая напряженность, никакая искусственная суровость. Онъ ее обнялъ, — гдѣ-же тутъ дерзость, гдѣ оскорбленіе? Развѣ, обнимая *любящую* женщину, любящій мужчина наноситъ ей оскорбленіе? И развѣ Базаровъ могъ и развѣ онъ смѣлъ сомнѣваться въ томъ, что Одинцова его любитъ? Все было высказано, высказано просто, грубо и угрюмо, высказано съ глубокимъ, тяжело-выстраданнымъ упрекомъ: «*вотъ чего вы добились*» и послѣ этого «*нѣжность въ голосъ*»! Какое-же тутъ можетъ быть сомнѣніе. И выразить подобное сомнѣніе, колебаться послѣ этой проклятой «*нѣжности*» еще одну секунду — вѣдь это значило-бы глубоко огорчить и оскорбить любящую женщину, значило-бы требовать отъ нея, чтобы она вымаливала вашу любовь, подобно тому, какъ она уже вымолила ваше признаніе. И вдругъ она отъ него отскакиваетъ, и вдругъ она говоритъ ему: «Вы меня не поняли!» А что-же дѣлаетъ Базаровъ? Ничего. Онъ: акуськаетъ губы и выходитъ изъ комнаты. А потомъ, вечеромъ, онъ извиняется передъ Одинцовой: — «Я долженъ извиниться передъ вами, Анна Сергѣевна. Вы не можете не гнѣваться на меня». — А она ему отвѣчаетъ: — «Нѣтъ, я на васъ не сержусь, Евгений Васильевичъ, но я огорчена».

О, Анна Сергѣевна, замѣчу я отъ себя, какъ вы бзмѣрно великодушны! Неужели вы можете не сердиться на этого ужаснаго преступника, котораго неслыханное преступленіе состоитъ въ томъ, что вы поджаривали его на медленномъ огнѣ въ продолженіи двухъ дней? Преклоняюсь передъ вашей женственной кротостью и говорю вамъ безъ всякой ироніи, что вы въ этомъ отношеніи стоите выше многихъ очаровательныхъ, умныхъ и безукоризненныхъ женщинъ. Тѣ также терзаютъ людей, мажутъ ихъ по губамъ, разбиваютъ ихъ счастье, говорятъ имъ: «вы меня не поняли» — и сверхъ всего этого ненавидятъ ихъ самой упорной и холодной ненавистью. Бываютъ конечно и мужчины въ такомъ-же родѣ, потому что когда дѣло зайдетъ о глупостяхъ, тогда ни одинъ полъ не уступаетъ другому. Не исторія Базарова поучительна; онъ измученъ, онъ-же извиняется, онъ-же получаетъ великодушное полу-прощеніе, онъ самъ во все время своего знакомства съ Одинцовой не говоритъ ей ни одного непріятнаго или непочтительнаго сло-

ва, онъ обходится съ ней, какъ съ святыней, и при всемъ томъ его-же вся читающая публика обвиняетъ въ нахальствѣ, въ дерзости, въ цинизмѣ, въ неуваженіи къ достоинству женщины, и чортъ знаетъ еще въ какихъ неправдоподобныхъ гадостяхъ.

Но вотъ о чемъ не мѣшаетъ подумать нашей добрѣйшей и почтеннѣйшей публикѣ: — дали ей въ руки печатную книгу; въ этой книгѣ была написана яснымъ русскимъ языкомъ исторія Базарова и Одинцовой; прочитали эту исторію и опытные критики, и простые, непредубѣжденные читатели; и изъ всего этого прилежнаго чтенія, изъ всѣхъ критическихъ разсужденій произошло, по неисповѣдимымъ законамъ судебъ, самое удивительное пониманіе навыворотъ, или еще вѣрнѣе совершенное непониманіе. Я спрашиваю у каждаго безпристрастнаго читателя моей статьи, есть-ли какая-нибудь возможность понять и объяснить факты, собранные мной въ этой главѣ, по какому-нибудь другому способу, несходному съ моимъ объясненіемъ? Я увѣренъ, что каждый читатель скажетъ: «нѣтъ, невозможно», и даже назоветъ мое объясненіе ненужной болтовней, потому что факты ясны, какъ день, и сами за себя говорятъ. Ну да, ясны, какъ день, а вѣдь однако ухитрились-же люди ихъ не понять и исказить, и для многихъ легковѣрныхъ господъ судьба Базарова, какъ литературнаго типа, рѣшена безапелляционно. Ихъ теперь и не вытаскивать изъ заколдованнаго круга ихъ затверженныхъ сужденій.

И это случилось съ печатной книгой, которую стоитъ только раскрыть и прочитать внимательно для того, чтобы уничтожить всякое заблужденіе и возстановить настоящее значеніе разсказанныхъ событій. Поставьте-же теперь на мѣсто книги живое явленіе, которое никогда не бываетъ такъ ясно и такъ удобно для изученія, какъ литературное произведеніе. Подумайте, какая тутъ произойдетъ катавасія! Если наша публика ни съ того, ни съ сего совершенно несправедливо оплевала тургеневскаго Базарова, то какowo-же поступаютъ она съ живыми Базаровыми, которыхъ понять гораздо труднѣе и которымъ однако больно и досадно, когда на нихъ сыпятся незаслуженныя оскорбленія отъ отцовъ, матерей, сестеръ и особенно отъ любимыхъ женщинъ? Подумайте, сударыня-публика, не пора-ли вамъ заподозрить неогрѣшимость вашихъ разсужденій о такихъ явленіяхъ, которыхъ вы не сумѣли понять даже по печатной книгѣ? Я нарочно выбралъ для примѣра «любовную» исторію Базарова, потому что это именно такой предметъ, въ которомъ каждый человѣкъ считаетъ себя компетентнымъ судьей. Ну и что-же, компетентные судьи, много вы разсудили?

Нравоученье изъ этого извлекается только то, что обругать человѣка недолго, но что и пользы изъ этого выходитъ немного.

## XIV.

Вамъ можетъ-быть угодно знать теперь, почему Одинцова не полюбила Базарова или, точнѣе, почему ея зарождавшаяся любовь къ этому человѣку не повела за собой никакихъ счастливыхъ послѣдствій. А потому-же самому, почему король Лиръ оттолкнулъ отъ себя ту единственную дочь, которая дѣйствительно была къ нему привязана; потому что чувство Базарова, подобно чувству Корделии, выразилось некрасиво, то-есть несогласно съ эстетическими требованіями того лица, къ которому это чувство адресовалось. Я говорю это безъ всякихъ предположеній, основываясь на словахъ самого Тургенева. «Она задумывалась и краснѣла, вспоминая почти *звѣрское* лицо Базарова, когда онъ бросился къ ней». Она даже не рѣшила хорошенько, какъ ей поступать, то-есть отдаться-ли Базарову, или разойтись съ нимъ. «*Или?*» произнесла она вдругъ и остановилась, и тряхнула кудрями».

Неподражаемымъ комментариемъ къ этому забубенному *или* можетъ служить слѣдующая цитата изъ того-же романа: «Ямщикъ ему попался лихой, онъ останавливался передъ каждымъ кабакомъ. приговаривая: «чкнуть?» или: «аль чкнуть?». но зато, *чкнувши*, не жалѣлъ лошадей». Въ сожалѣнію, Одинцова въ дѣлѣ лихости, далеко уступала ямщику, и на первый разъ она рѣшила, что лучше не надо «*или?*» Но это рѣшеніе никакъ нельзя считать окончательнымъ; нельзя по той простой причинѣ, что она его нѣсколько разъ подтверждала впоследствии, а это значитъ, что передъ каждымъ подтвержденіемъ въ ея умѣ шевелился болѣе или менѣе явственно-обозначенный вопросъ: «аль чкнуть?» И подтвержденіе являлось постоянно по случаю неэстетичности. «Одинцова раза два — прямо, не украдкой — посмотрѣла на его лицо, строгое и желчное, съ опущенными глазами, съ отпечаткомъ презрительной рѣшимости въ каждой чертѣ, и подумала: «нѣтъ... нѣтъ... лѣтъ». — «Вѣдь вы, — извините мою откровенность, говорить ей Базаровъ вечеромъ того-же дня, — не любите меня и не полюбите никогда. — Глаза Базарова сверкнули на мгновеніе изъ-подъ темныхъ его бровей. Анна Сергѣевна не отвѣчала ему; «я боюсь этого человѣка», мелькнуло у нея въ головѣ».

Одинцова прѣзжаетъ къ умирающему Базарову, и вотъ первое ея ощущеніе при взглядѣ на больного: «она просто испугалась какимъ-то холоднымъ и томительнымъ испугомъ; мысль, что она не то-бы почувствовала, еслибы точно его любила, мгновенно сверкнула у ней въ головѣ». Вотъ видите: до самой послѣдней минуты вопросы: «любила-ли она его» и «точно-ли любила» оставались для нея вопросами. А полюбила-ли бы она его, еслибы онъ не умеръ, и могла-ли она вообще полюбить его — это та-

кіе вопросы, какіе навсегда остались для нея неразрѣшимыми. Базаровъ поставилъ вопросъ слишкомъ ясно: или отдаться, или разойтись. Одинцовой еще не хотѣлось рѣшиться ни въ ту, ни въ другую сторону; ей хотѣлось еще поговорить, и она не разъ выражала это желаніе, и у нея были на то очень законныя причины. Для того, чтобы стать въ уровень съ Базаровымъ, чтобы понять его и взглянуть на его личность свѣтлымъ взглядомъ мыслящаго человѣка, сбросившаго съ своего ума оковы эстетической рутины, для этого Одинцовой дѣйствительно необходимо было поумнѣть, а она, какъ даровитая женщина, умнѣла довольно быстро подѣ живительнымъ вліяніемъ дѣлныхъ разговоровъ съ Базаровымъ. Но Базаровъ, при всей своей «сатанинской» гордости, не сознавалъ, что онъ въ умственномъ отношеніи стоитъ выше ея; онъ не замѣчалъ, что его вліяніе производитъ въ ней перемѣну; поэтому онъ и думалъ, что если она не любитъ его теперь, то и не полюбитъ никогда. Значитъ, онъ уважалъ ее слишкомъ много, и было бы гораздо—о, гораздо лучше,—если-бы онъ уважалъ ее поменьше. Но замѣчательно, что вѣдь Базарова-то принято упрекать какъ разъ въ противоположной погрѣшности. Желаніе Одинцовой «еще поговорить» выражается въ двухъ случаяхъ самымъ очевиднымъ образомъ. Во-первыхъ, тотчасъ послѣ неудавшаго поцѣлуя Базаровъ присылаетъ ей записку слѣдующаго содержания: «Долженъ-ли я сегодня уѣхать—или могу остаться до завтра?» Она ему отвѣчаетъ: «Зачѣмъ уѣзжать? Я васъ не понимала—вы меня не поняли». Выводъ ясенъ: «поговоримъ еще и можетъ-быть договоримся до взаимнаго пониманія». Во-вторыхъ—когда Базаровъ, спустя нѣсколько недѣль, заѣзжаетъ въ послѣдній разъ на короткое время въ деревню Одинцовой, она упрашиваетъ его остаться и еще наивнѣе выражаетъ свое желаніе «поговорить». — «Развѣ,—говоритъ она,—вы уѣзжаете? Отчего-же вамъ теперь не остаться? Останьтесь... съ вами говорить весело... точно по краю пропасти ходишь. Сперва робѣешь, а потомъ откуда смѣлость возьмется. Останьтесь». Тутъ опять ясно сквозитъ такая мысль: «дайте мнѣ понабраться смѣлости, и тогда я, чего добраго, брошусь въ самую пропасть, которая перестанетъ меня пугать»... Но Базаровъ не видитъ этой сквозящей мысли, или же у него не хватаетъ силъ дожидаться, пока Одинцова поумнѣетъ и перестанетъ робѣть. — «Спасибо за предложеніе, Анна Сергѣевна,—отвѣчаетъ онъ ей,—и за лестное мнѣніе о моихъ разговорныхъ талантахъ. Но я нахожу, что я и такъ слишкомъ долго вращался въ чужой для меня сферѣ».

Нелюбезно и почти дерзко отвѣчаетъ онъ на ея приглашеніе, но ее этотъ отвѣтъ не оскорбляетъ. Взглянувши на его блѣдное лицо, подчернутое горькой усмѣшкой, она подумала: «этотъ

меня любить!» и съ участіемъ протянула ему руку. Но онъ не взялъ эту руку и оттолкнулъ прочь ея непрощенное участіе, потому что люди, подобные Базарову, берутъ себѣ любовь женщины или ровно ничего не берутъ. — «Нѣтъ,—сказалъ онъ и отступилъ на шагъ назадъ.—Человѣкъ я бѣдный, но милостыни до сихъ поръ не принималъ. Прощайте-ся и будьте здоровы.» — Она опять рванулась къ нему. — «Я убѣждена, что мы не въ послѣдній разъ видимся,—произнесла Анна Сергѣевна съ невольнымъ движеніемъ.» (это опять то-же самое, что «невольная нѣжность въ голосѣ» и знаменательный вопросъ «или?»). Но Базаровъ неприступенъ и опять осаживаетъ ее назадъ. — «Чего на свѣтѣ не бываетъ! — отвѣчалъ Базаровъ, поклонился и вышелъ.

Женщина сама всего лучше можетъ судить о томъ, оскорблена-ли она, или нѣтъ; а Одинцова, тотчасъ послѣ Базаровскаго объятія, не чувствовала себя оскорбленной: «она скорѣе чувствовала себя виноватой». Она никогда, ни прежде, ни послѣ рѣшительной сцены, не смотрѣла на Базарова, какъ на нахальнаго циника. Ей, въ самый день поцѣлуя, «хотѣлось сказать ему какое-нибудь доброе слово, но она не знала, какъ заговорить съ нимъ». — «Вы знаете,—говоритъ она ему во время ихъ предпоследняго свиданія,—что я васъ боюсь... и въ то-же время я вамъ довѣряю, потому что въ сущности вы очень добры».

Что за удивительная смѣсь различныхъ чувствъ! И боязнь, и довѣріе, и уваженіе, и желаніе дружбы, и неудовлетворенное любопытство. Боязнь тутъ не что иное, какъ неполное пониманіе, потому что мы всегда боимся того, что кажется намъ страннымъ, незнакомымъ или необъяснимымъ. Но отчего-же изъ всей этой смѣси чувствъ не составляется та своеобразная кристаллизанія, которая называется любовью? Всѣ составные элементы любви даны, и даже нѣтъ того *физическаго* отвращенія, которое иногда бываетъ въ такомъ дѣлѣ необходимомъ преніи чувствъ; отчего-же не образуется любовь? Оттого, что эстетика мѣшаетъ; оттого, что въ чувствѣ Базарова нѣтъ той виѣшней милосердности, *joli à voir*, которыя Одинцова совершенно безсознательно считаетъ необходимыми атрибутами всякаго любовнаго паэоса. Читатель подумаетъ вѣроятно, что эстетика—мой кошмаръ, и читатель въ этомъ случаѣ не ошибется. Эстетика и реализмъ дѣйствительно находятся въ непримиримой враждѣ между собой, а реализмъ долженъ радикально истребить эстетику, которая въ настоящее время отравляетъ и обезсмысливаетъ всѣ отрасли нашей научной дѣятельности, начиная отъ высшихъ сферъ научнаго труда и кончая самыми обыкновенными отношеніями между мужчиной и женщиной. Я немедленно приступаю доказать читателю, что эстетика есть

самый прочный элемент умственного застоя и самый надежный враг разумного прогресса.

## ХУ.

Въ томъ-то и состоитъ пошлость всякихъ эстетическихъ приговоровъ, что они произносятся не въ слѣдствіе размышленья, а по вдохновенію, по внушенію того, что называется голосомъ инстинкта или чувства. Взглянулъ, понравилось — ну, значитъ, хорошо, прекрасно, изящно. Взглянулъ, не понравилось — кончено дѣло: скверно, отвратительно, безобразно. А почему понравилось или не понравилось — этого вамъ не объяснить ни одинъ эстетикъ. Все объясненіе ограничится только ссылкой на внутренний голосъ непосредственного чувства. Эстетикъ выставитъ вамъ конечно цѣлую систему второстепенныхъ правилъ, но чтобы поставить весь этотъ затѣйливый эшафодажъ на какой-нибудь фундаментъ, онъ все-таки сошлется подъ конецъ на непосредственное чувство. Но эти ссылки непременно должны имѣть опредѣленный физиологическій смыслъ, или-же въ противномъ случаѣ онъ не имѣютъ ровно никакого смысла. Напримѣръ, нѣкоторые люди не могутъ ѣсть никакой рыбы и занемогаютъ, какъ только въ ихъ пищеварительный каналъ попадетъ малѣйшій кусочекъ этого нестерпимаго для нихъ вещества, которое у большей части людей считается однако лакомой и здоровой пищей. Въ этомъ случаѣ отвращеніе совершенно законопно. Значитъ, въ устройствѣ желудка или кишечнаго канала есть какая-нибудь индивидуальная особенность, отрицающая рыбу. Всякій дѣльный физиологъ скажетъ, подобно Льюису, что надо повиноваться голосу желудка, потому что урезонить его невозможно, амелирировать на него некуда, а бороться съ нимъ значитъ только вызывать тошноту и разныя другія болѣзненные явленія. Другой примѣръ: рѣзкій свистъ локомотива абсолютно непріятенъ или, выражаясь другими словами, неизященъ, отвратителенъ, безобразенъ, потому что отъ этого пронзительнаго звука страдаетъ слуховой нервъ. Физиологическая причина существуетъ, и, стало быть, дѣло опять-таки рѣшается окончательно. Третій примѣръ: женщина А чувствуетъ непобѣдимое физическое отвращеніе къ мужчине Б. Ей противно прикоснуться къ его рукѣ, а поцѣловать этого человѣка было-бы для нея настоящей пыткой. Такія явленія дѣйствительно существуютъ въ природѣ и, разумѣется, имѣютъ какое-нибудь физиологическое основаніе, хотя можетъ-быть современная наука и не въ состояніи въ точности опредѣлить ихъ причину. И въ этомъ случаѣ не слѣдуетъ насиловать природу. И госпожа А поступитъ очень неблагоразумно, если, вопреки этому физическому отвращенію, разсудочными доводами заставить себя выйти замужъ за господина Б.

Нашъ организмъ имѣетъ свои безспорныя пра-

ва и предъявляетъ ихъ, и не терпитъ ихъ нарушенія. Но скажите пожалуйста, какія права своего организма заявляла напримѣръ французская публика временъ Вольтера, когда она систематически осивистывала всякую трагедію, въ которой не было *un amoureux et une amoureuse*? Или какія права организма выражались въ томъ, что нашимъ уѣзднымъ барышнямъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ нравились почти исключительно блестящіе мундиры и разочарованные герои? Согласитесь, что тутъ не можетъ быть допущено даже легкое предположеніе объ особенномъ устройствѣ какихъ-нибудь зрительныхъ, слуховыхъ, желудочныхъ или другихъ нервовъ. И барышни, и французская публика очень горячо ссылались на голосъ непосредственного чувства и были готовы божиться въ томъ, что ужъ такъ устроена ихъ природа, что онѣ иначе не могутъ чувствовать и разсуждать, что у нихъ есть врожденное стремленіе къ однимъ предметамъ и такое-же врожденное отвращеніе къ другимъ. Странное дѣло! Уѣздные барышни считаются тысячами, и во французскіе театры ходили, при Вольтерѣ, также тысячи людей. Эти тысячи отдѣльныхъ организмовъ представляли самое пестрое индивидуальное разнообразіе; тутъ были умные и глупые, полнокровные ихудосочные, раздражительные и апатичные, и такъ далѣе, до безконечности. И у всѣхъ этихъ различныхъ организмовъ оказывается вдругъ одна общая черта, самая тонкая и неуловимая, — та, въ слѣдствіе которой французамъ нравились только любовныя трагедіи, а барышнямъ — только разочарованные воины. Воля ваша, такое предположеніе еще болѣе неправдоподобно, чѣмъ еслибы мы предположили, что всѣ наши барышни родились съ крошечнымъ темнымъ пятномъ надъ лѣвымъ глазомъ. Само по себѣ такое пятно вовсе не удивительно и оно такъ-же удобно можетъ помѣститься надъ лѣвымъ глазомъ, какъ и во всякомъ другомъ мѣстѣ, но чтобы оно появилось разомъ у всѣхъ новорожденныхъ дѣвочекъ цѣлой обширной мѣстности — это невозможно. Чтобы такое *врожденное* свойство держалось постоянно втеченіи двухъ десятилѣтій и потомъ исчезло бы безъ слѣда, замѣняясь для слѣдующихъ поколѣній другимъ *врожденнымъ* свойствомъ, — это уже ни съ чѣмъ не сообразно.

Ясно, стало быть, что природа тутъ не причемъ, и что внутренний голосъ непосредственного чувства повторяетъ только, какъ попугай, то, что намушжали намъ въ уши съ самой ранней молодости. Французъ XVIII вѣка видѣлъ постоянно трагедіи съ любовнымъ пламенемъ и слыша къ постоянно, что такія трагедіи считаются превосходными, — онъ и требуетъ себѣ такихъ трагедій и дѣйствительно чувствуетъ къ нимъ особенную симпатію. Барышни съ трехъ лѣтъ до пятинадцати видятъ постоянно, что старшія родственницы ея любезничаютъ съ офицерами

печоринского типа, и слышать постоянно, что взрослые дѣвцы находятъ такихъ офицеровъ очаровательными; очень естественно, что, найдши длинное платье, эта барышня сама стремится любовничать съ такими-же офицерами и въ самомъ дѣлѣ чувствуетъ какое-то особенное замираніе сердца при одномъ взглядѣ на восхитительный мундиръ. Пассивная привычка—считать какой-нибудь предметъ хорошимъ и желательнымъ—становится дотакъ степени сильной, что превращается наконецъ въ дѣйствительное чувство и въ активное желаніе.

Такія превращенія происходятъ въ нашемъ внутреннемъ мірѣ на каждомъ шагѣ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ конечно привычка—дѣло очень хорошее, но не потому, что она—привычка, а потому, что она ведетъ за собой общепользныя послѣдствія, необходимыя для благосостоянія человѣчества. Допуская и поощряя результаты привычки, когда они приносятъ намъ пользу, мы не имѣемъ въ то-же время никакого основанія преклоняться передъ нашими привычками вообще и считать ихъ неприкосновенными даже въ томъ случаѣ, когда онѣ вредны, безразсудны, стѣснительны или неудобны. Поэтому, когда внутренній голосъ непосредственнаго чувства начинаетъ намъ что-нибудь докладывать, мы можемъ его выслушать, но вовсе не обязаны принимать его совѣты на вѣру, безъ дальнѣйшихъ критическихъ изслѣдованій. Вѣрить этому чревоушанію на слово—значить обрѣкать себя на вѣчную умственную неподвижность.

Наши инстинкты, наши безсознательныя влеченія, наши безпричинныя симпатіи и антипатіи, словомъ—всѣ движенія нашего внутренняго міра, въ которыхъ мы не можемъ дать себѣ яснаго и строгаго отчета и которыя мы не можемъ свести къ нашимъ потребностямъ или къ понятіямъ вреда и пользы,—всѣ эти движенія, говорю я, захвачены нами изъ прошлаго, изъ той почвы, которая насъ выкормила, изъ понятій того общества, среди котораго мы развились и жили. Это послѣдство и составляетъ силу и основаніе всѣхъ нашихъ эстетическихъ понятій. Что правится намъ безотчетно, то правится намъ только потому, что мы къ нему привыкли. Если эта безотчетная симпатія не оправдывается сужденіемъ нашей критической мысли, то очевидно, эта симпатія тормозитъ наше умственное развитіе. Если въ этомъ столкновеніи побѣдитъ трезвый умъ,—мы подвинемся впередъ, къ болѣе здоровому, то-есть къ болѣе общепользному взгляду на вещи. Если побѣдитъ эстетическое чувство,—мы сдѣлаемъ шагъ назадъ, къ царству рутины, умственной безсилія, вреда и мрака.

Эстетика, безотчетность, рутина, привычка—это все совершенно равносильныя понятія. Реализмъ, сознательность, анализъ, критика и умственный прогрессъ—это также равносильныя

понятія, диаметрально-противоположныя первымъ. Чѣмъ больше мы даемъ простора нашимъ безотчетнымъ влеченіямъ, чѣмъ сильнѣе разыгрывается наше эстетическое чувство, тѣмъ пассивнѣе становится наши отношенія къ окружающимъ условіямъ жизни, тѣмъ окончательнѣе и безвозвратнѣе наша умственная самостоятельность поглощается и порабощается безсмысленными вліяніями нашей обстановки. Люди, обожающіе красоту и эстетику, разсуждаютъ обыкновенно такъ: мнѣ это правится, слѣдовательно это хорошо. Утвердившись на той позиціи, что *это* хорошо, они начинаютъ подбирать второстепенныя условія, при которыхъ можетъ и должна развиваться полная красота данного предмета, и этимъ подбирanjemъ ограничивается то скромное шевеленіе мозговъ, которое называется эстетическимъ анализомъ. Мысль при этомъ вертится въ предѣлахъ того крошечнаго кружка, который очерченъ вокругъ нея заранѣе. Повертись, передвинись съ мѣста на мѣсто кое-какія пылинки, да на томъ и успокойся. Современники Вольтера убѣдили себя разъ навсегда въ томъ, что прекрасная трагедія непременно должна заключать въ себѣ любовную интригу. Такая трагедія прекрасна, потому что она намъ правится—это была ихъ основная аксіома. Отъ этой аксіомы отпирался ихъ анализъ и клонился къ тому, чтобы разъяснить, при какихъ условіяхъ *такая* трагедія можетъ быть особенно прекрасна. Этотъ робкій и жалкій анализъ, разумѣется, оканчивался шлифованьемъ мельчайшихъ подробностей, составлявшихъ безполезный, хотя и логическій выводъ изъ совершенно пустой и ложной основной идеи. Вольтеръ осмѣиваетъ рутинную узкость этихъ ходячихъ эстетическихъ теорій, и при этомъ самъ также вертится въ совершенно замкнутомъ кругу, который только чуть-чуть пошире перваго. Вольтеръ приходитъ въ эстетическій ужасъ, когда одинъ изъ его современниковъ, Ламоть-Ударъ (la Motte-Houdart), начинаетъ доказывать, что трагедіи могутъ быть прекрасны даже въ томъ случаѣ, если въ нихъ не соблюдены три единства (времени, мѣста и дѣйствія) и если даже онѣ написаны прозой. Вольтеръ допускаетъ, что трагедія можетъ быть прекрасна безъ любви, по ереси Ламота онъ допустить не можетъ, и драматическія произведенія Шекспира все-таки ужасаютъ его своими варварскими неправильностями. Но и Ламоть-Ударъ, при всей своей смѣлости, пришелъ-бы въ ужасъ, еслибы Бѣлинскій сталъ ему доказывать, что трагедіи Корнеля и Расина ничуда не годится, и что ихъ даже смѣшно сравнивать съ Шекспиромъ. Но и Бѣлинскій, при всей своей гениальности, пришелъ-бы въ ужасъ, еслибы Базаровъ сказалъ ему, что «Рафаэль гроша мѣднаго не стоитъ», и что слѣдовательно люди очень удобно могутъ жить на свѣтѣ даже совсѣмъ безъ трагедій.



И французы, обожавшие любовную трагедию, и Вольтеръ, и Ламотъ, и Бѣлинскій, при всемъ различіи своихъ взглядовъ, были все-таки эстетиками, и это обстоятельство проводитъ ясную и неизгладимую границу между этими людьми и представителями чистаго реализма. Существенная разница заключается не въ томъ, что одни признають, а другіе отрицають искусство; это только второстепенные выводы. Можно быть эстетикомъ, не выходя изъ сферы чисто-практическихъ интересовъ; и можно быть реалистомъ, съ любовью изучая Шекспира и Гейне, какъ гениальныхъ и великихъ людей. Существенная разница лежитъ гораздо глубже; эстетики всегда останавливаются на аргументѣ: «*потому что это мнѣ нравится*», и чаще всего даже не доходятъ до этого послѣдняго аргумента. Реалисты, напротивъ того, и этотъ послѣдній аргументъ подвергаютъ анализу. «Это мнѣ нравится», — думаетъ реалистъ. — Хорошо. Но, чтобы узнать цѣну моихъ симпатій, не мѣшаетъ сначала узнать, чтѣ за штука это я, такъ отважно произносящее свои рѣшительные приговоры. Между моими сверстниками было много дураковъ и негодяевъ; мои наставники пороли меня по вдохновенію и заставляли меня лгать и подличать; мои родственники жили и живутъ безгрѣшными доходами; мои родственницы смѣшиваютъ Гоголя съ Поль-де-Кокомъ и говорятъ, что писателя, какъ вреднаго сплетника, опасно пустить на порогъ порядочнаго дома. Посреди всѣхъ этихъ и многихъ другихъ подобныхъ вліяній слагалась и развивалась моя личность. Были конечно и другія впечатлѣнія, совсѣмъ другого сорта, — впечатлѣнія, по милости которыхъ мнѣ удалось бросить критическій взглядъ на разнообразный соръ моей родной избы. Были разговоры немногихъ умныхъ людей и чтеніе многихъ умныхъ книгъ. Не дерзко-ли и не глупо-ли было-бы принять за непреложную истину, что благотворное вліяніе этихъ людей и книгъ совершенно очистило мою личность отъ всѣхъ грязныхъ ингредиентовъ, вошедшихъ въ нее изъ почвы?»

Ясно теперь, что именно существованіе этой высшей руководящей идеи у послѣдовательнаго реалиста и отсутствіе такой идеи у эстетика составляетъ основное различіе между этими двумя группами людей. Какая-же это идея? Это — идея общей пользы или общечеловѣческой солидарности. Какъ всѣ люди и даже всѣ животныя вообще, эстетикъ и реалистъ — оба вполне эгоисты. Но эгоизмъ эстетика похожъ на безмысленный эгоизмъ ребенка, готоваго ежеминутно облопаться сквернѣйшими леденцами и коврижками. А эгоизмъ реалиста есть сознательный и глубоко-разсчитливый эгоизмъ зрѣлаго человѣка, заготавливающаго себѣ на цѣлую жизнь неистощимые запасы свѣжаго наслажденія.

Идея общечеловѣческой солидарности известна

очень многимъ эстетикамъ, но они относятся къ ней, какъ напримѣръ къ какому-нибудь мексиканскому вопросу. — Да, молъ, хорошая идея и интересные вещи объ ней пишутся. Отчего не почитать на счетъ этой идеи? Отчего даже, при удобномъ случаѣ, не заявить печатно, что homo sum et nihil humani?.. Саовомъ, отчего-же намъ, эстетикамъ, не коболовать себя этой идеей, какъ мы балуемъ себя всѣми цвѣточками этого лучшаго изъ возможныхъ міровъ? — Такимъ образомъ эстетики, нисколько не содѣйствуя выясненію и практическому торжеству этой идеи, овладѣваютъ ею, утѣшаются ею, по своему обыкновенію, весьма миловидно, искусно и тонко вводя ея въ замкнутый кружокъ своихъ неподвижныхъ симпатій и безусловно подчиняють ея своему высшему, хотя и затаенному, принципу, великому аргументу: *потому что мнѣ нравится*. При такой обстановкѣ великая идея, господствовавшая деспотически надъ умами мировыхъ гениевъ, становится милой бездѣлкой, которую пріятно поставить на письменный столъ, въ видѣ легкаго пресспапье, для того, чтобы она напоминала пишущему барину, что и онъ тоже работаетъ для человѣчества. Да и какъ-же иначе? Какую-бы глупость онъ ни написалъ, все-таки его будутъ читать не лошади, а люди.

Всѣ мои насмѣшки могутъ относиться вполнѣ только къ эстетикамъ нашего времени. У эстетиковъ *прежнихъ* временъ, у людей, подобныхъ Вольтеру или Бѣлинскому, идея общечеловѣческой солидарности медленно созрѣвала подъ эстетической скорлупкой. Теперь эта идея созрѣла и проявляется въ самыхъ разнообразныхъ формахъ, по всѣмъ отраслямъ человѣческой дѣятельности. Стало быть, кто теперь отворачивается отъ этой идеи и самодовольно возится съ ея разбитой скорлупой, тотъ или слѣпъ, или умышленно зажмуриваетъ глаза. А смѣяться надъ умственной слѣпотой людей, считающихъ себя квинт-эссенціей человѣчности, это не только позволительно, но даже необходимо для выясненія и очищенія великой идеи, превращенной въ будуарное украшеніе.

## XVI.

Для реалиста идея общечеловѣческой солидарности есть просто одинъ изъ основныхъ законовъ человѣческой природы, — одинъ изъ тѣхъ законовъ, которые ежеминутно нарушаются нашимъ невѣдѣніемъ и которые своимъ нарушеніемъ порождаютъ почти всѣ хроническія страданія нашей породы. Человѣческій организмъ, разсуждаетъ реалистъ, устроенъ такъ, что онъ можетъ развиваться по человѣчески и удовлетворять всѣмъ своимъ потребностямъ только въ томъ случаѣ, если онъ находится въ постоянныхъ и разнообразныхъ сношеніяхъ съ другими подобными себѣ организмами. Выражаясь короче и проще, человеку, для его собственнаго благосостоянія, не-

обходимо общество других людей. На земномъ шарѣ существуетъ множество отдѣльныхъ человѣческихъ обществъ; между этими обществами могутъ существовать или дружескія, или враждебныя отношенія. Первые несравненно выгоднѣе послѣднихъ. Чѣмъ больше дружескихъ отношеній и чѣмъ меньше вражды, тѣмъ лучше для каждаго изъ отдѣльныхъ обществъ; а чѣмъ успешнѣе развивается общество, тѣмъ пріятнѣе живется каждому изъ его членовъ, то-есть каждому отдѣльному человѣческому организму. Такимъ образомъ и выходитъ, что участь одного зависитъ отъ участи всѣхъ. И наоборотъ, когда отдѣльная личность вполне расчетливо пользуется своими естественными способностями, тогда она неизбежно, сама того не сознавая увеличиваетъ сумму общечеловѣческаго благосостоянія. Еслибы эта личность создала значеніе своей дѣятельности для общаго блага, то ей все-таки не было-бы надобности измѣнять въ своей дѣятельности какую-бы то ни было мелочную подробность. Вполнѣ расчетливый эгоизмъ совершенно совпадаетъ съ результатами само сознательнаго человѣколюбія. Но, сознавая важное и высокое значеніе своего личнаго труда, видя въ этомъ трудѣ свою неразрывную связь съ миллионами другихъ мыслящихъ существъ, трубящаяся личность еще сильнѣе привязывается къ своей дѣятельности, еще смѣлѣе развѣтываетъ свои способности и, ясно понимая законность своихъ стремленій, становится болѣе счастливой, то-есть болѣе независимой отъ тѣхъ тяжелыхъ ощущеній, которыя порождаются мелкими неудачами. Я не ошибаюсь въ общемъ направленіи моей жизни, думаетъ такая личность; я повинуюсь основному закону природы. Если мнѣ приходится пережить кое-какія непріятности, то я все-таки знаю, что я изъ многихъ золъ выбираю меньшее. Если я пойду въ разрѣзъ съ естественнымъ закономъ, если я уклонюсь отъ него въ сторону, то въ общемъ результатъ жизнь моя пойдетъ еще хуже.

Эстетики вообще восторгаются, умиляются и человѣколюбствуютъ гораздо чаще и шумнѣе, чѣмъ реалисты, которые обыкновенно обнаруживаютъ упорную антипатію ко всякому порывистому энтузиазму. Но эстетики считаютъ совершенно невозможнымъ дѣломъ провести идею дѣятельной любви во все мельчайшіе поступки собственной жизни. Для нихъ эта идея—блестящій мундиръ, который можно и даже слышать надѣвать по табельнымъ днямъ, но который, при всей своей красотѣ, превратится въ орудіе пытки, если вы станете таскать его каждый день, съ ранняго утра до поздней ночи. Когда имъ говорить, что это даже не мундиръ, а очень просторное домашнее пальто, то они этому рѣшигелно не вѣрятъ, и людей, высказывающихъ подобныя мысли, называютъ или фантазерами, или лицемѣрами. Помилуйте, вопіютъ эстетики эти

сухіе, черствые люди, эти угловатыя фигуры, толкующія постоянно о выгодахъ и убыткахъ; хотѣть увѣрить насъ, что имъ удалось рѣшить такую задачу общечеловѣческой любви, которая оказалась не по силамъ даже намъ, людямъ мягкимъ, нѣжнымъ и высоко-развитымъ въ дѣлѣ пониманія самыхъ изящныхъ сторонъ природы и человѣческой души. Не есть-ли это съ ихъ стороны дерзкая и возмутительная ложь?

Конечно, еслибы реалисты къ каждому своему шагу приплетали высокія разсужденія о человѣколюбіи и глубокіе вздохи о человѣческихъ страданіяхъ, то это было-бы и глупо, и скучно, и наконецъ сдѣлалось-бы невыносимымъ, какъ для самого реалиста, такъ и для всѣхъ его знакомыхъ. Но идея любви проводится въ жизнь гораздо проще и гораздо дѣйствительнѣе. Къ этой высшей идеѣ реалистъ обращается чрезвычайно рѣдко. Обыкновенно онъ имѣетъ дѣло только съ ея практическими выводами и частными приложеніями. Доживши до тѣхъ лѣтъ, когда приходится выбирать себѣ опредѣленный родъ занятій, молодой человѣкъ, неиспорченный богатствомъ и барственной лѣнью, начинаетъ всматриваться въ свои способности и дѣлаетъ попытки по разнымъ направленіямъ до тѣхъ поръ, пока не отыщетъ себѣ такой трудъ, который ему пріятенъ и который притомъ можетъ его прокормить. Разсматривая различныя сферы занятій, молодой человѣкъ, сколько-нибудь способный размышлять, непременно ставитъ себѣ нѣкоторые вопросы, на которые ему необходимо получить отъ себя отвѣты. Не безцельно-ли это занятіе, то-есть, не вредитъ-ли оно естественнымъ интересамъ большинства? Не подѣйствуетъ-ли оно подавляющимъ образомъ на мои умственные способности? Обезпечитъ-ли оно мою нравственную самостоятельность, то-есть, буду-ли я моимъ трудомъ удовлетворять дѣйствительнымъ потребностямъ общества? Чтобы поставить и рѣшить въ ту или въ другую сторону нѣсколько подобныхъ вопросовъ, не надо быть ни гениальнымъ мыслителемъ, ни героемъ или фанатикомъ человѣколюбія. Надо просто быть неглупымъ человѣкомъ и получить въ какомъ-нибудь университетѣ довольно ясное понятіе о томъ, что такое общество и что такое умственный трудъ.

Конечно, выбирая то или другое поприще, надо взглянуть на дѣло широко и серьезно, надо обратиться къ высшей руководящей идеѣ, и ей надо безусловно подчинить разныя второстепенныя соображенія, которыя обыкновенно называются практическими, а на самомъ дѣлѣ всегда оказываются ложными и близорукими. Если на примѣръ лѣтъ пять тому назадъ молодому человѣку, вышедшему изъ университета, предложили бы *выгодное* мѣсто по откупамъ, то, разумѣется, онъ, во имя идеи, обязанъ былъ безусловно отказаться отъ этого мѣста, несмотря ни на какія выгоды. Идея требуетъ отъ него этой жертвы;

но намъ стоитъ только взглянуть внимательно на дѣло, чтобы немедленно убѣдиться въ томъ, что тутъ жертва чисто вышняя, и что требованія высшей идеи здѣсь, какъ и вездѣ, совпадаютъ вполне съ внушеніями эгоистическаго расчета. Молодой человѣкъ стоитъ на распутьѣ: направо—дорога въ откупъ, налево—грошковые уроки и неизвѣстное будущее. Еслибы какой-нибудь волшебникъ могъ показать ему его самого, какимъ онъ будетъ лѣтъ черезъ пятнадцать, пошедши направо, и потомъ опять-таки его самого, пошедшаго налево и пережившаго такой промежутокъ времени, то конечно молодому человѣку захотѣлось-бы выбрать тотъ путь, который приводитъ къ наиболѣе благообразному результату. Я не думаю, чтобы молодому человѣку понравилась та личность, которую онъ увидѣлъ-бы въ первомъ случаѣ. Жизнь въ брюхо, грязные друзья и сослуживцы, равнодушіе ко всякимъ высшимъ интересамъ, извращеніе умственныхъ способностей, тупая и боязливая ненависть ко всему, что можетъ нарушить выгодное спокойствіе мутнаго болота, рѣзкій разрывъ съ честными университетскими товарищами, словомъ,—всѣ признаки безнадежнаго паденія—результатъ непривлекательный!—Къ этому результату *приводятъ* тѣмъ или другимъ путемъ многіе пламенные юноши, по *идутъ* они не къ этому результату, и еслибы они могли видѣть его заранѣе, то изъ этихъ многихъ почти всѣ повернули-бы куда-нибудь въ другую сторону. Значитъ, тутъ происходитъ ошибка въ расчетѣ, и отъ такихъ ошибокъ, неизбѣжныхъ при нашей юношеской неопытности и самонадѣянности, насъ всего лучше можетъ предохранить та кажущаяся жертва, которую мы приносимъ требованіямъ высшей идеи.

Очень многія отрасли труда находятся въ полномъ согласіи съ самыми строгими требованіями идеи. Которую-же изъ этихъ отраслей долженъ выбрать себѣ молодой человѣкъ? И здѣсь интересы общества сходятся съ интересами личности. Пусть молодой человѣкъ выбираетъ себѣ то, что ему всего пріятнѣе. Тогда, и именно только тогда, онъ, наслаждаясь процессомъ своего труда, принесетъ обществу такое количество пользы, которое вполне соотвѣтствуетъ размѣрамъ его личныхъ способностей.

Положимъ теперь, что требованія идеи соблюдаются, дѣятельность молодого человѣка вошла въ свою ровную колею и, удовлетворяя его умственнымъ потребностямъ, съ каждымъ годомъ становится болѣе драгоценной и необходимой частью его существованія. Каждый не глухой человѣкъ можетъ найти себѣ такую дѣятельность; а какъ только жизнь наполнена осмысленнымъ трудомъ, такъ задача можетъ считаться рѣшенной: идея общечеловѣческой любви проведена во всѣ поступки жизни. Вашъ трудъ полезенъ, вы его любите, вы посвящаете ему всѣ ваши силы, вы ни

за что не согласитесь дѣлать его кое-какъ, вы готовы бороться съ затрудненіями и переносить неспріятности, чтобы довести его до возможной степени совершенства, вы понимаете и стараетесь расширить практическое значеніе вашей работы—кажется, этого довольно, и, кажется, вы, поступая такимъ образомъ, ни на одну минуту не забываете вашей солидарности съ остальными людьми и ни однимъ вашимъ движеніемъ не уклоняетесь въ сторону отъ самыхъ неумолимыхъ требованій высшей идеи.

Итоги всѣхъ этихъ разсужденій можно подвести такъ: эстетикъ—великодушный баринъ, способный, въ минуту героическаго порыва, бросить бѣдному человѣчеству даже трехъ-рублевую бумажку, которая немного поздиѣ, вмѣстѣ со всѣми остальными деньгами и симпатіями этого барина, непременно полетѣла-бы въ руки поющей цыганки; а реалистъ—разсчетливый акціонеръ, пустившій въ оборотъ все свое состояніе и всѣми силами служащій дѣлу компаніи, для увеличенія собственнаго дивиденда. Иной акціонеръ, ради собственной поживы, вздумаетъ пожалуй обокрасть компанію, но въдѣ это расчетъ, не столько вѣрный, сколько отважный. На такихъ избобрѣтательныхъ акціонеровъ есть уголовный судъ, а на мошенниковъ въ общемъ дѣлѣ человѣчества—презрѣніе честныхъ людей, надъ которымъ не во всякое время можно смѣяться безнаказанно. Поверхностному наблюдателю эстетикъ можетъ показаться симпатичнѣе реалиста, потому что реалистъ понятенъ только тому, кто разглядитъ общее направленіе его поступковъ и разгадаетъ высшее значеніе идеи, составляющей внутренней смыслъ его существованія. А эстетикъ весь какъ на ладони, и внутреннего смысла гдѣ его жизни вы не найдете.

## XVII.

Реалистъ—мыслящій работникъ, съ любовью занимающійся трудомъ. Изъ этого опредѣленія читатель видитъ ясно, что реалистами могутъ быть въ настоящее время только представители умственнаго труда. Конечно трудъ тѣхъ людей, которые кормятъ и одѣваютъ насъ, въ высшей степени полезенъ, но эти люди совсѣмъ не реалисты. При теперешнемъ устройствѣ матеріальнаго труда, при теперешнемъ положеніи черно-рабочаго класса во всемъ образованномъ мірѣ, эти люди не что иное, какъ машины, отличающіяся отъ деревянныхъ и желѣзныхъ машинъ невыгодными способностями чувствовать утомленіе, голодъ и боль. Въ настоящее время эти люди совершенно справедливо ненавидятъ свой трудъ и совсѣмъ не занимаются размышленіями. Они составляютъ пассивный матеріалъ, надъ которымъ друзьямъ человѣчества приходится много работать, но который самъ помогаетъ имъ очень мало и не принимаетъ до сихъ поръ никакой опредѣленной формы. Это—туманное пятно, изъ кото-

раго выработаются новые міры, но о котором до сихъ поръ рѣшительно нечего говорить. Заниматься съ любовью матеріальнымъ трудомъ— это въ настоящее время почти немыслимо, а въ Россіи, при нашихъ допотопныхъ приемахъ и орудіяхъ работы, еще болѣе немыслимо, чѣмъ во всякомъ другомъ цивилизованномъ обществѣ. Такимъ образомъ самый реальный трудъ, приносящій самую осязательную и неоспоримую пользу, остается внѣ области реализма, внѣ области практическаго разума, въ тѣхъ подвалахъ общественнаго зданія, куда не проникаетъ ни одинъ лучъ общечеловѣческой мысли. Что-жъ намъ дѣлать съ этими подвалами? Покуда приходится оставить ихъ въ покоѣ и обратиться къ явленіямъ умственнаго труда, который только въ томъ случаѣ можетъ считаться позволительнымъ и полезнымъ, когда, прямо или косвенно, клонится къ созиданію новыхъ міровъ изъ первобытнаго тумана, наполняющаго грязные подвалы.

Изъ всѣхъ реалистовъ только одни естественныя испытатели, раздвигающіе предѣлы науки новыми открытіями, работаютъ для человѣчества *вообще*, безъ отношенія къ отдѣльнымъ національностямъ и къ различнымъ условіямъ мѣста и времени. Остальные реалисты работаютъ также для человѣчества, но задачи и приемы ихъ дѣятельности должны измѣняться сообразно съ обстоятельствамъ и приспособляться къ потребностямъ отдѣльных, человѣческихъ обществъ. Мѣстные и временныя условія нашей русской жизни заявляютъ свои опредѣленные требованія, и русскій реалистъ не можетъ оставлять ихъ безъ вниманія. Этимъ требованіямъ онъ непременно долженъ подчинить свою дѣятельность, если только онъ не посвятилъ себя исключительно изученію природы.

Мнѣ кажется, вліяніе нашихъ мѣстныхъ обстоятельствъ выражается преимущественно въ томъ, что отдѣльныя направленія реалистическаго труда до сихъ поръ не выяснились и не опредѣлились. Наша мысль только-что пробуждается въ немногихъ головахъ; въ дѣлѣ умственнаго труда одному и тому-же человѣку приходится, силовъ и рядомъ, и землю пахать, и сапоги шить, и пироги печь, и дрова колоть. Рациональное раздѣленіе труда до сихъ поръ еще невозможно; взятыя основательно за специальную задачу — значить уйдти далеко впередъ отъ пониманія общества, съюзить, безъ малѣйшей пользы, сферу своего вліянія и не встрѣтить въ соотечественникахъ ничего, кромѣ равнодушія и недоумѣнія. За какое-бы общепольное предпріятіе вы ни взялись, вамъ во всякомъ случаѣ придется вить веревку изъ песку, то-есть собирать и склеивать искусственными средствами такія разсыпавшіяся частицы, которыя не имѣютъ, не хотятъ и не могутъ имѣть ни малѣйшей связи ни между собой, ни съ вашей идеей. Каждого соотечественника придется уговаривать поодиночкѣ и каждого придется при этомъ удоб-

номъ случаѣ обучать тѣмъ элементарнымъ истинамъ, которыя человѣкъ непремѣнно долженъ знать для того, чтобы имѣть какое-нибудь мнѣніе о вашемъ предпріятіи. Это значитъ, вамъ нуженъ строевой лѣсъ, а подъ руками у васъ мѣра желудей; конечно, если положить эти желуди въ землю, то лѣсъ вырастетъ, но, рассчитывая на этотъ лѣсъ, подражать плотниковъ — это было-бы съ вашей стороны опрометчиво. А кстати подражать-то некого, потому что плотники, подобно строевому лѣсу, также находятся въ зачаточномъ состояніи. Какъ-же тутъ прикажете поступить мыслящему реалисту? Если онъ придетъ въ уныніе и опуститъ руки, то онъ очень скоро сдѣлается жирнымъ филистеромъ, и его уныніе перейдетъ въ хроническую улыбку тупого самодовольства. Если онъ будетъ съециваться и метаться изъ угла въ уголъ, не требуя отъ своихъ условій осязательнаго результата и не задавая себѣ даже вопроса о томъ, возможенъ-ли такой результатъ, то онъ окажется Репетиловымъ или трудящейся мартышкой. Въ томъ и въ другомъ случаѣ онъ перестанетъ быть реалистомъ; горизонтъ его мысли быстро съузится, и вся личность его завянетъ и сморщится, потому что и бездѣйствіе, и бессмысленная съетня дѣйствуютъ на человѣка самымъ опошляющимъ образомъ.

Чтобы подкрѣплять и возвышать человѣческую личность, умственный трудъ непремѣнно долженъ быть полезнымъ, то-есть онъ не только долженъ быть направленъ къ извѣстной разумной цѣли, но онъ кромѣ того долженъ достигать этой цѣли. Реалистъ не можетъ успокоить себя той отговоркой, что я, молъ, исполнилъ свой долгъ, старался, говорилъ, убѣждалъ, а если не послушали, такъ, стало быть, и нечего дѣлать. Такія отговорки полезны только для эстетика, для дилетанта умственной работы, для человѣка, которому надо, во что-бы то ни стало, получить отъ самого себя квитанцію въ исправномъ платежѣ какого-то невещественнаго долга. А въ глазахъ реалиста такая квитанція не имѣетъ никакого смысла; для него трудъ есть необходимое лекарство противъ заразительной пошлости; онъ ищетъ себѣ полезнаго труда съ тѣмъ неутомимымъ упорствомъ, съ какимъ голодное животное ищетъ себѣ добычи; онъ ищетъ и находитъ, потому что нѣтъ такихъ условій жизни, при которыхъ полезный умственный трудъ былъ-бы рѣшительно невозможнымъ. Реалистъ убѣждается въ томъ, что намъ прежде всего необходимы знанія. Это—великая истина, превратившаяся даже въ избитую фразу, благодаря тѣмъ мудрецамъ, которые, произнося невозможныя слова, не поняли во всю свою жизнь ни одной мысли. Но реалистъ не останавливается на голой фразѣ и немедленно выводитъ изъ основной идеи всѣ ея практическія послѣдствія. Общество нуждается въ знаніяхъ, но оно само почти со-

всѣмъ не сознаеть и не чувствуетъ, до какой степени оно бѣдно въ умственномъ отношеніи, и до какой степени эта умственная бѣдность мучительно отзывается во всѣхъ подробностяхъ его вседневной жизни. Завалите такое общество превосходнѣйшими учебниками, переведите для него всѣ лучшія научныя сочиненія величайшихъ европейскихъ мыслителей—и все это принесетъ ему очень мало пользы. Обставьте больного всевозможными микстурами и декоктами — и онъ все-таки не выздоровѣетъ, если не будетъ принимать вашихъ лекарствъ и не захочетъ исполнять ваши гигиеническія предписанія. Когда больной считаетъ себя здоровымъ, тогда ему прежде всего необходимо доказать, что онъ жестоко ошибается. Именно такимъ образомъ слѣдуетъ поступить и съ нашимъ обществомъ. Оно не только мало размышляетъ, но оно даже не имѣетъ никакого понятія о томъ, что такое дѣятельность мысли. Лексиконъ мудреныхъ словъ, цѣлые сборники готовыхъ изреченій, цѣлыя библиотеки игрушечныхъ произведеній празднофантазій, — вотъ весь умственный капиталъ, обращающійся въ нашемъ обществѣ, и обладаніе такими спровищаніями во всѣхъ отношеніяхъ должно считаться болѣе тягостнымъ бѣдствомъ, чѣмъ самая голая умственная нищета. Мы изъ каждой дѣльной мысли выхватываемъ только ея формальное выраженіе и къ обширному сборнику нашихъ затверженныхъ изреченій прибавляемъ такимъ образомъ еще новую фразу, изъ которой улетучивается весь ея жизненный смыслъ.

Имѣемъ-ли мы какое-нибудь понятіе о животныхъ и растеніяхъ, о физическихъ и химическихъ законахъ, о свойствахъ воды, воздуха, металловъ и различныхъ составныхъ частей почвы?—Ровно никакого.—Знаемъ-ли мы что-нибудь о жизни европейскихъ обществъ?—Совсѣмъ ничего.—Понимаемъ-ли мы ихъ исторію?—Нисколько.—Извѣстно-ли намъ положеніе Россіи?—Рѣшительно неизвѣстно.—И въ то-же время, при этомъ кругломъ невѣжествѣ, мы все знаемъ, мы знаемъ ужасно много, мы все читаемъ и обо всемъ пишемъ.—Мы знаемъ, что есть телескопъ, микроскопъ, химическій анализъ, жираффа, Александръ Гумбольдтъ, хлѣбное дерево, анатомія, кокосовые орѣхи, эмбриология, коралловые рифы и многія другія естественныя произведенія, интересныя съ той или съ другой стороны для изслѣдователей природы. Познанія нани по части европейской политики еще болѣе обширны и разнообразны. Мы знаемъ, что въ англійскомъ парламентѣ сидитъ мистеръ Геннеси; что Гарибальди сначала подстрѣлили при Аспро-Монте, а потомъ вылечили и простили; что Викторъ Гюго живетъ въ Брюсселѣ и написалъ новый романъ: «Les Misérables»; что черногорцы—наши братья и дерутся съ турками; что фабриканты, машинисты и работники

совокупными силами создали чудеса новѣйшей промышленности, но что къ сожалѣнію тутъ поднялся антагонизмъ сословіи, породился пауперизмъ, а потомъ явились коммунисты и социалисты, которые еще болѣе перепутали дѣло; всего-же основательнѣе мы знаемъ, по рассказамъ нашихъ путешествовавшихъ соотечественниковъ, что поѣзды и дебаркадеры желѣзныхъ дорогъ устроены удобно, что лоретки—женщины пикантныя и рулетка—препровожденіе времени очаровательное, но во многихъ отношеніяхъ изурительное.

Мы, какъ видите, знаемъ чрезвычайно много; всякія собственныя имена, всякія спеціальныя слова и техническія выраженія,—все это намъ доподлинно извѣстно. Не знаемъ мы только бездѣлицы, — не знаемъ тѣхъ живыхъ явленій, которыя обозначаются этими словами, и не знаемъ кромѣ того, какимъ образомъ эти неизвѣстныя намъ явленія связываются одно съ другимъ. Мы скажемъ вамъ на примѣръ, что пауперизмъ значить бѣдность, но каковы размѣры этого явленія, въ какихъ формахъ оно выражается, откуда оно произошло, почему оно въ одной сторонѣ разлилось сильнѣе, чѣмъ въ другой,—этого мы не знаемъ, и мы-бы даже очень удивились, еслибы кто-нибудь заподозрѣлъ насъ въ способности когда-нибудь задать себѣ такіе вопросы и узнать такія запутанныя исторіи.—Что такое Литва?—спрашиваетъ одинъ изъ обывателей города Калинова въ драмѣ «Гроза».—А эта Литва къ намъ съ неба свалилась,—отвѣчаетъ другой, и любознательность перваго гражданина немедленно удовлетворяется этимъ отвѣтомъ. — Литва — это народъ такой,—отвѣтитъ себѣ образованный человекъ и также удовлетворится. А вѣдь въ сущности узнать, что неизвѣстный мнѣ народъ называется Литвой, а не Капустой и не Самоваромъ,—это значить только прибавить къ своему лексикону новое двусложное слово.

И точно такое-же значеніе имѣетъ каждый голый фактъ, вырванный изъ общей картины жизни и поднесенный невыскальзывающему читателю затѣйливымъ составителемъ журнальнаго или газетнаго обозрѣнія. А такъ какъ наша публика, кромѣ такихъ голыхъ реляцій, не получаетъ отъ своихъ обыкновенныхъ просвѣтителей рѣшительно ничего, и такъ какъ она даже не знаетъ, чего-бы она могла отъ нихъ потребовать, такъ какъ она читаетъ отъ нечего дѣлать и даже не обращаетъ вниманія на свою полную умственную пассивность, то реалистъ, пристально взглянувшій въ эти спеціально-россійскія отношенія между писателями и читателями, говоритъ рѣшительно и просто, что общество не знаетъ ровню ничего и не умѣетъ даже отличить живую дѣятельность мысли отъ безсознательной игры словъ и оборотовъ. Но реалистъ долженъ не только высказать такое сужденіе, а еще кромѣ того! доказать его строгую вѣрность и

сдѣлать такъ, чтобы общество увидѣло и почувствовало справедливость его словъ.

На чемъ же спать наши соотечественники или, выражаясь яснѣе, что ихъ утѣшаетъ и успокоиваетъ, что маскируетъ пустоту ихъ жизни и избавляетъ ихъ отъ необходимости умирать со скуки или заниматься полезной работой? Водка, табакъ, карты, рысаки, донъ-жуанство, гончія собаки—все это предметы, играющіе самыя почетныя роли въ жизни нашего общества, и противъ нихъ конечно современный реализмъ безсиленъ. Эти тюфяки будутъ отодвигнуты въ сторону только тогда, когда реализмъ войдетъ въ дѣйствительную жизнь, то-есть когда реалистовъ будетъ уже очень много и когда общество, вслѣдствіе ихъ вліянія, начнетъ въ самомъ дѣлѣ проникаться тѣмъ сознаніемъ, что трудиться гораздо полезнѣе и пріятнѣе, чѣмъ искать сильныхъ ощущеній въ игрѣ, въ пьянствѣ или въ псовой охотѣ. Эти времена лежатъ еще далеко впереди, и поэтому реалистъ не долженъ въ настоящее время тратить свою энергію на бесплодныя проповѣди. Реалистъ долженъ думать только о тѣхъ людяхъ, которые могутъ проснуться и превратиться въ реалистовъ. Такіе люди въ нашемъ обществѣ существуютъ. Чтеніе составляетъ для нихъ дѣйствительную потребность, и они читаютъ много и, не смотря на то, все-таки спать. Эти любители умѣютъ читать даже серьезные статьи и понимаютъ въ нихъ каждое слово (напримѣръ науперизмъ—бѣдность, ботаника—наука о растеніяхъ, Либихъ—нѣмецкій химикъ). Но такъ какъ настоящіе задумчивыя симпатіи этихъ людей влекутъ къ беллетристичѣ и къ поэзіи, то они и серьезные статьи, и книги читаютъ, какъ повѣсти и какъ поэмы. Они говорятъ для собственного назиданія. Что серьезные вещи читать полезно, и они даже всякій разъ, одолѣвши что-нибудь серьезное, утѣшаютъ себя тѣмъ пріятнымъ размышленіемъ, что они исполнили священный долгъ и что теперь, уснокоивъ свою требовательную совѣсть, можно побаловать свою грѣшную душу романчикомъ или стихами. Но при всемъ томъ, даже исполняя священный долгъ, они ищутъ во всякомъ серьезномъ чтеніи все той-же, любозной имъ, беллетристической занимательности. Когда же они этого сладкаго ингредиента не находятъ, тогда они стараются только какъ можно скорѣе прожевать и проглотить сухую матерію, для того чтобы умиротворить свою совѣсть. Надо отдать имъ справедливость, что совѣсть ихъ очень требовательна; она все шепчетъ имъ самымъ озлобленнымъ шопотомъ: «слѣди-же за вѣкомъ! читай-же дѣльныя книги! Будь-же мыслящимъ существомъ!»

И, повинувшись этому повелительному голосу, спящіе читатели совершаютъ дѣйствительно чудеса храбрости. Читать серьезные сочиненія безъ общаго плана, узнавать отдѣльныя подробности,

не видя въ нихъ общаго смысла, проводить черезъ свою голову чужія мысли, не имѣя понятія о живыхъ явленіяхъ, породившихъ эти идеи, напрягать свое вниманіе, не отыскивая никакого отвѣта на вопросы и сомнѣнія своей собственной жизни и мысли—это занятіе умственно-скудное. Это—все равно, что читать лексиконъ или приходо-расходную книгу совершенно неизвѣстнаго вамъ человѣка. И что выходитъ изъ этого чтенія? Запоминаются слова и факты, но въ тѣхъ мысляхъ, которыя управляютъ жизнью самого читателя, не происходитъ ни малѣйшаго передвиженія. Наши русскіе читатели даже твердо убѣждены въ томъ, что между книгой и жизнью не можетъ быть никакого взаимнаго дѣйствія. И все это оттого, что они выучились читать и полюбили чтеніе исключительно по романамъ и поэмамъ. У нихъ установился взглядъ на чтеніе, какъ на препровожденіе времени, то-есть какъ на средство *убить время*, потому что время, это драгоцѣннѣйшее достояніе мыслящаго человѣка, есть смертный врагъ нашихъ соотечественниковъ,—врагъ, котораго слѣдуетъ гнать и истреблять всѣми возможными орудіями, начиная отъ желудочной водки и кончая статьями «Русскаго Вѣстника».

Чтеніе нашихъ соотечественниковъ не имѣетъ цѣли; русскій человѣкъ ничего не ищетъ въ книгѣ, ни о чемъ не спрашиваетъ, ни къ чему не желаетъ придти. Онъ просто хочетъ, чтобы писатель повеселилъ его душу. Если писатель веселитъ его утонченными ощущеніями, и если увеселяемый читатель понимаетъ всѣ утонченности, то онъ считаетъ себя развитымъ человекомъ и, любуясь на свою развитость, называетъ тонкаго увеселителя великимъ гениемъ, и, вмѣняя себѣ въ заслугу то, что онъ ихъ понимаетъ, русскій читатель вноситъ и во всякое дѣльное чтеніе тѣ пріемы мышленія, которые онъ приобрѣлъ въ обществѣ тонкихъ увеселителей. Хоть русскій читатель и увѣряетъ себя, что онъ читаетъ серьезную книгу *для пользы*, но вѣдь это только такъ говорится. О настоящей пользѣ онъ и понятія не имѣетъ. Слово *польза* не вызываетъ въ его умѣ никакого опредѣленнаго представленія, и въ общемъ результатѣ всякое чтеніе все-таки приводитъ за собой только истребленіе времени; а запоминается изъ прочитанной книги и нравится въ ней исключительно то, что повеселило душу.

Еслибы безобразіе и пошлость такого занятія выступили передъ пониманіемъ читателя во всей своей отвратительной наготѣ, то ему сдѣлалось бы очень совѣстно. Онъ встревожился бы и сталъ-бы искать чего-нибудь менѣе нелѣпаго. Онъ именно попалъ бы съ постели на полъ и открылъ-бы свои отяжелѣвшія очи. Къ этой цѣли и направляются усилія нашихъ реалистовъ; сдѣлать такъ, чтобы русскій человѣкъ, собирающийся вздремнуть или помечтать, постоянно



слышалъ въ ухахъ своихъ звуки рѣзкаго смѣха, сдѣлать такъ, чтобы русскій человѣкъ самъ принужденъ былъ смѣяться надъ своими воззрѣнными пигмеями, — это одна изъ самыхъ важныхъ задачъ современнаго реализма. — Вамъ нравится Пушкинъ? — Извольте, полюбуйтеся на вашего Пушкина. — Вы восхищаетесь «Демономъ» Лермонтова? — Посмотрите, что это за безсмыслица. — Вы благоговѣете передъ Гегелемъ? — Попробуйте сначала понять его изреченія. — Вамъ хочется уснуть подъ сѣнью «общихъ авторитетовъ поэзіи и философіи»? — Докажите сначала, что эти авторитеты существуютъ и на что-нибудь годятся. — Вотъ какъ надо поступать съ русскимъ человѣкомъ. Не давайте ему уснуть, какъ - бы онъ ни закутывалъ себѣ голову теплыми иллюзіями и темными фразами.

Реалисты наши такъ и дѣлаютъ: они смѣются, и ихъ звонкій смѣхъ прорѣзываетъ такіе туманы, которые не поддаются серьезной аргументаціи. Русскіе писатели смѣются уже давно, но смѣхъ сатириковъ нашихъ, отъ Канниста до Щедрина, тратился постоянно на такія явленія, которыя на сатиру не обращаютъ никакого вниманія. Искоренять сатирой взяточничество — что можетъ быть невиннѣе и безплоднѣе этого занятія? Реалисты конечно неспособны тратить свой смѣхъ на такія упражненія. Они очень хорошо понимаютъ, что взятка никогда не будетъ казаться смѣшной тому человѣку, котораго она кормитъ и одѣваетъ. Если идеи и чувства лириковъ, эстетиковъ, романтиковъ, педантовъ, фразеровъ сдѣлаются смѣшными для общества, то общество перестанетъ ими увлекаться и направитъ свои симпатіи въ другую сторону. Результатъ получится осязательный, и я смѣю думать, что такимъ образомъ рѣшится очень серьезная задача, потому что въ настоящее время всего необходимѣе превращать чувствительныхъ тунеядцевъ въ мыслящихъ работниковъ.

### XVIII.

Началь я съ общечеловѣческой солидарности, а кончилъ тѣмъ практическимъ заключеніемъ, что намъ, русскимъ реалистамъ, можно только осмѣивать потихоньку наши мелкія глупости и медленно учиться вмѣстѣ съ нашей лѣнливой публикой самымъ элементарнымъ истинамъ строгой науки. Какое торжественное начало и какой мизерный конецъ! Гора мышь родила, подумаетъ читатель, и я никакъ не осмѣлюсь ему противорѣчить. Я уже говорилъ въ первой части этой статьи, что мы бѣдны и глупы; теперь намъ пришлось убѣдиться въ томъ, что наша бѣдность и наша глупость доходятъ дѣйствительно до самыхъ почтенныхъ размѣровъ, — до такихъ размѣровъ, что глупость мѣшаетъ намъ понимать пользу необходимаго лекарства, а бѣдность мѣшаетъ намъ пріобрѣсти себѣ заразъ достаточную дозу этого лекарства. Вслѣдствіе этого и

приходится употреблять это лекарство самымъ поверхностнымъ образомъ и въ самыхъ микроскопическихъ пріемахъ. Великая и плодотворная идея должна пристроиться къ самому мелкому практическому примѣненію, и только при этомъ условіи она можетъ съ грѣхомъ пополамъ проникнуть въ сознаніе лучшаго меньшинства нашей читающей публики.

Въ этомъ печальномъ обстоятельствѣ певинотаты, разумѣется, ни основныя особенности реалистической идеи, ни личныя свойства нашихъ реалистовъ. Представьте себѣ, что вы превосходно изучили рациональную агрономію, и что вамъ приходится прикладывать ваши знанія къ обыкновенному мужицкому хозяйству, и всего оборотнаго капитала у васъ рублей сорокъ или пятьдесятъ. Если вы — не пустой фантазеръ, то вы, разумѣется, оставите покуда въ сторонѣ всякіе помыслы о паровыхъ плугахъ, о молотилкахъ, объ искусственномъ травосѣяніи и о химическомъ анализѣ почвы. Вы ограничитесь тѣмъ, что на первый годъ купите напримѣръ желѣзную борону и для удобренія корову. Значитъ и здѣсь гора мышь родила, но вѣдь это обстоятельство нисколько не доказываетъ, что приложеніе химіи къ земледѣлію — чепуха, или что вы сами ничему не выучились. Ничуть не бывало. Если вы одарены яснымъ практическимъ умомъ и твердымъ характеромъ, если вы способны равнымъ шагомъ идти къ далекой цѣли, не спуская съ нея глазъ ни на одну минуту, постоянно соразмѣряя ваши собственныя силы съ тѣмъ разстояніемъ, которое вы должны пройти, то вы непременно докажете на дѣлѣ вашимъ деревенскимъ сосѣдямъ, что рациональная агрономія — не пустяки, и что вы сами не даромъ потратили время на ея изученіе. За бороною и коровою будутъ слѣдовать ежегодно новыя улучшенія, которыя, постоянно увеличивая вашу доходъ, постоянно будутъ расширять кругъ вашей преобразовательной дѣятельности. Каждое новое улучшеніе будетъ вытекать изъ прошлагодняго, и такимъ образомъ корова и борона сдѣлаются фундаментомъ всего вашего послѣдующаго благосостоянія. Еслибы корова и борона остались безъ дальнѣйшихъ послѣдствій, тогда конечно можно было-бы сказать, что гора родила мышъ; но вѣдь тутъ дѣло идетъ, какъ говорятъ французы: *de fil en aiguille*; стало-быть, гора родитъ цѣлую цѣпь явленій, которыя могутъ вылиться изъ горы не иначе, какъ одно за другимъ.

Я хотѣлъ говорить о русскомъ реализмѣ и свелъ разговоръ на отрицательное направленіе въ русской литературѣ. Читатель можетъ подумать, что я дѣлалъ это по цеховому самолюбію, по пристрастію къ моему муравейнику и къ моимъ собственнымъ муравьинымъ занятіямъ. Въ этомъ случаѣ читатель рѣшительно ошибется. Я съ самымъ напряженнымъ вниманіемъ отыскивалъ въ общественныхъ явленіяхъ нашей всенедней

жизни каких-нибудь признаков здорового реализма и не нашелъ въ нихъ ничего похожего не только на реализмъ, но даже на какое-нибудь сознательное движеніе мысли. Въдъ въ самомъ дѣлѣ, только въ одной литературѣ и проявлялось до сихъ поръ хоть что-нибудь самостоятельное и дѣятельное. Гоголь, Вѣлинскій, Добролюбовъ — вотъ вамъ въ трехъ именахъ полный отчетъ о всей нашей умственной жизни за цѣлое тридцатилѣтіе; къ этимъ именамъ можно было-бы прибавить еще два-три имени, но и эти послѣдніе также принадлежатъ къ литературѣ и по направленію своей дѣятельности примыкаютъ или къ Бѣлинскому, или къ Добролюбову.

А гдѣ-же наши изслѣдователи, гдѣ наши практическіе работники? Были, есть и будутъ и ты, и другіе. Соловьевъ, Срезневскій, Боданскій, Буслаевъ—вотъ какія громкія имена мы можемъ выдвинуть въ параллель нѣмецкимъ именамъ: Либихъ, Дюбуа-Реймонъ, Фохтъ, Гельмгольцъ, или французскимъ: Блодъ-Бернаръ, Дю-Кандолль, Эли де-Бомонъ, Мильль-Эдвардъ, или англійскимъ: Дарвинъ, Ляйелль, Форбесъ, Боулъ. Что же касается до практическихъ работниковъ, то ихъ не зачѣмъ и пересчитывать.

Нѣкоторые *настоящіе* изслѣдователи, приносящіе *дѣйствительную* пользу общечеловѣческой наукѣ, живутъ, правда, въ русскихъ городахъ и даже иногда носятъ русскія фамиліи, но ихъ труды остаются для нашего общества мертвымъ и даже неизвѣстнымъ капиталомъ. Нашъ академикъ Карлъ-Эрнестъ фонъ-Бэръ считается во всей Европѣ однимъ изъ величайшихъ эмбриологовъ нашего времени. Дарвинъ, Карлъ Фохтъ, Гексли всегда цитируютъ его мнѣнія съ особеннымъ уваженіемъ. Льюисъ въ своей «Физиологіи обыденной жизни» ссылается на изслѣдованіе Овсянникова о спинномъ мозгѣ и Якубовича — о нервныхъ клѣточкахъ. Французскій ученый Бекларъ упоминаетъ въ своей физиологіи о нѣкоторыхъ экспериментальныхъ работахъ Боткина и Сѣченова. Ну, а мы? Мы, я чай, и понятія не имѣемъ о томъ, что у насъ могутъ существовать такіе люди, которые въ самомъ дѣлѣ, не шутя, занимаются эмбриологіей, нервными клѣточками и физиологическими опытами. Мы узнаемъ объ этихъ людяхъ изъ иностранныхъ книгъ и чувствуемъ себя польщенными, точно будто мы сами не спимъ, а занимаемся дѣломъ. И вдругъ, узнавши такимъ случайнымъ образомъ о подвигахъ русскихъ людей, какой-нибудь мыслитель изъ «Сына Отечества» или изъ «Сѣверной Пчелы» вламывается въ амбіцію и заявляетъ жалобнымъ голосомъ свою патріотическую претензію. «На что-же, молъ, это похоже? Въ Россіи есть умные люди, а я, русскій мыслитель и образованный человѣкъ, объ этомъ ничего не знаю. Какъ-же вамъ не грухъ такъ поступать, родимые специалисты? Зачѣмъ-же вы пишете по-латини или по-нѣмецки? Вы должны писать по-русски, тогда-бы

и васъ зналъ и мнѣ было-бы пріятно, а русское общество получило-бы отъ васъ назиданіе и пользу. Смотрите-же, родимые специалисты, не прѣмѣнно пишите по-русски.»

Такія жалобы и такія увѣщанія слышатся очень часто, и читатель имъ обыкновенно сочувствуетъ тѣмъ дряблымъ и ни на что негоднымъ сочувствіемъ, которымъ мы вообще чрезвычайно богаты и которое никогда не можетъ повести насъ дальше какихъ-нибудь обѣдовъ по подпискѣ или спектаклей съ благотворительными предлогами. Но эти жалобы и увѣщанія такъ-же пусты и праздны, какъ и большая часть тѣхъ мыслей, съ которыми сочувственно соглашаются русскіе читатели. Какая-бы въ самомъ дѣлѣ вышла польза, еслибы Овсянниковъ написалъ свое изслѣдованіе по-русски? Пользы—никакой, а вредъ очевидный: въдъ Льюисъ не сталъ-бы учиться русскому языку ради одной диссертациі о спинномъ мозгѣ; ну, стало-быть, у Льюиса однимъ полезнымъ пособіемъ было-бы меньше, а мыслитель «Сына Отечества» или «Сѣверной Пчелы» все-таки не прочелъ-бы диссертациі родимаго специалиста; а еслибы и прочелъ, то ничего-бы изъ нея не понялъ и не извлекъ, потому что выучиться нѣмецкому или латинскому языку гораздо легче, чѣмъ понять специально ученый трудъ, написанный даже по-русски. Еслибы мыслитель былъ способенъ заниматься серьезнымъ дѣломъ, то нѣмецкій или латинскій языкъ не составилъ-бы для него непреодолимаго препятствія. А если онъ, отъ лица публики, жалуется на трудность иностраннаго языка, то онъ еще пуще того будетъ жаловаться на непонятность научнаго изложенія. Ему что надо? Ему надо, чтобы Бэръ явился передъ русской публикой и сказалъ ей съ подобающей любезностью: «честь имѣю рекомендовать: я—Карлъ-Эрнестъ фонъ-Бэръ. Я занимаюсь эмбриологіей. Эмбриологія есть наука о развитіи живыхъ существъ. Эта наука составляетъ часть естествознанія, а естествознаніе—вещь очень полезная, вотъ почему, и вотъ почему. Я сдѣлалъ нѣсколько новыхъ открытій и объясню вамъ значеніе этихъ открытій, примѣняясь къ вашему убогому пониманію и стараясь растолковать вамъ самыя элементарныя истины, извѣстныя каждому нѣмецкому школьнику, но совершенно новыя для мыслителей нашихъ газетъ и журналовъ».

Ахъ, какъ-бы это было хорошо и благородно! На это галантерейное расшаркиваніе Бэра передъ русской публикой ушло-бы очень много времени, а время Бэра очень дорого, потому что великій натуралистъ могъ-бы употребить его на новыя изслѣдованія. Бэръ — невосходный специалистъ, раздвигавшій предѣлы науки, а мы, по нашей глупости, хотимъ кромѣ того, чтобы онъ сдѣлался для насъ школьнымъ учителемъ; и еслибы наше глупое желаніе исполнилось, то однимъ великимъ изслѣдователемъ

сдѣлалось-бы меньше и однимъ плохимъ писателемъ больше.

И такіе-же требованія, вмѣстѣ съ такими-же нелѣпыми упреками, сыпятся на нашихъ остальныхъ дѣльных специалистовъ. Эти требованія и упреки очень поучительны, потому что въ нихъ выражается самымъ наивнымъ образомъ изумительная пассивность нашихъ умственныхъ привычекъ. Чуть только появится у насъ какой-нибудь дѣльный человѣкъ, мы сейчасъ наравѣмъ пристроиться къ нему нодъ крылышко. Мы уже ждемъ отъ него какой-то манны небесной, и намъ даже въ голову не приходитъ та мысль, что намъ слѣдуетъ быть дѣтельными помощниками, а не убогими приживалками этого полезнаго человѣка. Мы говоримъ дѣльному человѣку: благодѣтель, отецъ родной! Просвѣти насъ, научи насъ, поставь на путь истины! Мы тебя будемъ слушать и вѣкъ за тебя будемъ Бога молить.

Написано напримѣръ дѣльное научное сочиненіе, открывающее какія-нибудь новыя истины. Значитъ, нашелся въ обществѣ мыслительный человѣкъ, который сдѣлалъ свое дѣло, какъ слѣдуетъ. Если общество живетъ полной и здоровой жизнью, то этотъ утѣшительный фактъ никакъ не останется одинокимъ и случайнымъ явленіемъ; немедленно найдется другой дѣльный человѣкъ, который объяснитъ открытіе перваго; потомъ какой-нибудь третій человѣкъ придумаетъ для этихъ открытій практическое примѣненіе, — словомъ, дѣло изслѣдователя будетъ проведено въ сознаніе и въ жизнь общества разными популяризаторами и техниками. А у насъ, напротивъ того, десятки людей будутъ жаловаться на то, что изслѣдователь пишетъ неясно, и ни одинъ изъ этихъ поющихъ десятковъ не потрудится разъяснить и переработать собственными силами то, что онъ находитъ неудовлетворительнымъ. Да онъ и не находитъ ничего неудовлетворительнымъ; онъ просто хочетъ сидѣть на одномъ мѣстѣ, сибаритствовать, заниматься пріятнымъ чтеніемъ и, отдавшись безусловно въ руки специалиста, приобрѣтать отъ него знанія безъ малѣйшаго напряженія мысли.

При такой полной пассивности нашего общества, русскіе специалисты поставлены въ необходимость писать свои изслѣдованія на иностранныхъ языкахъ. Это даже выгодно для нашего общества, не говоря уже объ интересахъ общечеловѣческой науки. Положимъ напримѣръ, что докторъ Воткинъ произвелъ какія-нибудь новыя изслѣдованія надъ леченіемъ нервныхъ болѣзней. Напечатай онъ эти изслѣдованія на русскомъ языкѣ, они точно въ воду канутъ. Но какъ только они попадутся въ руки европейскихъ ученыхъ, такъ тотчасъ сотни дѣятельныхъ умовъ догонять и перерабатывать ихъ своими собственными наблюденіями, и открытіе нашего доктора вернется къ намъ въ Россію въ усовершенствованномъ видѣ, и больные наши испытаютъ на

собственномъ тѣлѣ благодѣтельныя послѣдствія того факта, что русскій ученый написалъ свое изслѣдованіе на нѣмецкомъ языкѣ. Еслибы умственная жизнь нашего общества отличалась силой и энергіей, тогда специалисты наши написали-бы по-русски, тогда у насъ было-бы много специалистовъ, и тогда европейскіе ученые находили-бы для себя полезнымъ учиться русскому языку, подобно тому, какъ они въ настоящее время учатся англійскому, французскому и нѣмецкому. Специалиста съ непобѣдимой силой притягиваетъ та сфера, въ которой его специальный трудъ будетъ всего лучше понятъ и оцѣненъ, и въ которой онъ слѣдовательно произведетъ самое плодотворное и живительное впечатлѣніе. И специалистъ поступаетъ совершенно благоразумно и добросовѣстно, подчиняясь безусловно дѣйствію этой притягательной силы.

Мы даже не имѣемъ никакого права говорить, что русскіе ученые не думаютъ о потребностяхъ русскаго общества. Какіе русскіе ученые? Русскіе ученые не существуютъ. Развѣ тѣ-же ученые, которыхъ мы называемъ русскими, порождены умственнымъ движеніемъ и умственными потребностями нашего общества? Ни чуть не бывало. Мы даже до сихъ поръ не имѣемъ понятія о томъ, что такое умственное движеніе или умственная потребность. Все это я говорю не для того, чтобы обидѣть такихъ специалистовъ, какъ Баръ, Овсянниковъ, Якубовичъ и другіе, а только для того, чтобы доказать, что специалисты, переезженные изъ Европы въ Россію или, точнѣе, порожденные обще-европейскимъ движеніемъ мысли, всегда будутъ и должны тянуться къ своей умственной родинѣ. Они въ нашемъ обществѣ такъ-же одиноки, какъ еслибы они находились въ аравійской пустынѣ. Они не могутъ создать въ обществѣ умственное движеніе. Не специалисты создаютъ то или другое общественное настроеніе, а наоборотъ общество, настроившись такъ или иначе дѣйствіемъ общихъ причинъ, испытываетъ тѣ или другія потребности и выдвигаетъ, для удовлетворенія этимъ потребностямъ, георетическихъ изслѣдователей или практическихъ дѣателей. Общество должно само работать надъ своимъ образованіемъ, и только оно одно, совокупными усиліями всѣхъ своихъ членовъ, можетъ выполнить надъ собой это дѣло умственного перерожденія. А пока оно будетъ сидѣть сложа руки и ждать себѣ манны небесной отъ отдѣльныхъ личностей, до тѣхъ поръ манны къ нему не сойдеть, хотя-бы эти личности и были европейскими знаменитостями, подобными Бару.

Что европейская наука насаждена и поддерживается у насъ искусственными средствами, это очень хорошо, потому что безъ искусственныхъ средствъ она-бы не поддержалась, но если общество думаетъ, что оно имѣетъ какое-нибудь право контроля надъ такой наукой, которая возникла

и держится помимо его содѣйствія, то общество сильно ошибается. Пусть оно сначала поработаетъ, пусть выдѣлитъ изъ себя научныхъ дѣятелей, и тогда ему не на что будетъ жаловаться: эти новые дѣятели, обязанные ему своимъ происхожденіемъ, будутъ безусловно преданы его умственнымъ интересамъ. До сихъ поръ наше общество создало своими собственными силами только одну журналистику, которая дѣйствительно возникла, развилась и держится независимо отъ всякихъ постороннихъ вліяній. И въ самомъ дѣлѣ, журналистика, въ лицѣ своихъ даровитѣйшихъ представителей, всегда служила самымъ добросовѣстнымъ образомъ умственнымъ потребностямъ общества. Такая предварительная дѣятельность совершенно необходима. Базаровъ замѣчаетъ совершенно справедливо, что всѣ наши акціонерныя компаніи лопаются отъ недостатка честныхъ и дѣльных людей. Стало-быть, надо сначала сформировать честныхъ и дѣльных людей, а потомъ уже приниматься за составленіе акціонерныхъ компаній или за какія-нибудь другія столь-же общественныя предпріятія. Къ этой цѣли и направляются наши реалисты, отчасти осмѣивая мѣшающія глупости, отчасти распространяя научныя свѣдѣнія. — Дѣятельность очень скромная, но мы за блескомъ и не гонимся. Намъ нужна польза для себя и для всѣхъ.

### XIX.

Трудъ современныхъ реалистовъ такъ-же доступенъ самой слабой женщинѣ, какъ и самому сильному мужчине. Въ этомъ трудѣ нѣтъ ничего грубаго, рѣзкаго и воинственнаго. Надо только понимать и любить общую пользу, надо распространять правильныя понятія объ этой пользѣ, надо уничтожать смѣшныя и вредныя заблужденія, и вообще надо вести всю свою жизнь такъ, чтобы личное благосостояніе не было устроено въ ущербъ естественнымъ интересамъ большинства. Надо смотрѣть на жизнь серьезно; надо внимательно вглядываться въ фзіономію окружающихъ явленій, надо читать и размышлять, не для того, чтобы убить время, а для того, чтобы выработать себѣ ясный взглядъ на свои отношенія къ другимъ людямъ и на ту неразрывную связь, которая существуетъ между судьбой каждой отдѣльной личности и общимъ уровнемъ человѣческаго благосостоянія. Словомъ: *надо думать*.

Въ этихъ двухъ словахъ выражается самая насущная, самая неотразимая потребность нашего времени и нашего общества. Эти слова могутъ показаться фразой, но что-же съ этимъ дѣлать? Нѣтъ того слова, которое мы не сумѣли-бы обезумелить и превратить въ пустой звукъ тѣми безцѣльными и безсознательными повтореніями, которыя наводятъ нашу литературу. А между тѣмъ дѣйствительно намъ надо думать, и нѣтъ

другого слова, которое яснѣе и проще выражало-бы то, въ чемъ мы нуждаемся въ настоящую минуту. Есть такіе люди, есть такіа книги, которые выучиваютъ насъ думать. Надо, чтобы такихъ людей и книгъ у насъ было какъ можно больше; тогда всякая пробуждающаяся мысль будетъ находить себѣ поддержку и здоровую пищу. Надо думать и надо размножать тѣ предметы, которые пробуждаютъ человѣческую мысль и содѣйствуютъ успѣху ея работы.

Женщина можетъ думать и можетъ дѣлаться своими мыслями съ другими людьми; поэтому я и говорю, что трудъ современныхъ реалистовъ совершенно доступенъ женщинамъ. Въ *природѣ* женщины нѣтъ ничего такого, что отстраняло-бы женщину отъ дѣятельнаго участія въ ршеніи насущныхъ задачъ нашего времени; но въ воспитаніи женщины, въ ея общественномъ положеніи, словомъ, въ тѣхъ условіяхъ, которыя составляютъ *искусственную* сторону ея теперешней жизни, въ этихъ условіяхъ, говорю я, есть очень много препятствій, которыя въ настоящее время преодолеваются только самыми умными женщинами при содѣйствіи исключительно счастливыхъ обстоятельствъ. Подъ именемъ «счастливыхъ обстоятельствъ» я, разумѣется, понимаю не то, что понимаетъ большинство нашего общества. Счастливой называютъ у насъ обыкновенно ту женщину, которая богата, хороша собой, выходитъ замужъ по любви, веселится и блещетъ въ свѣтѣ, потомъ пристроивается благополучно своихъ дѣтей и наконецъ умираетъ окруженная внучатами, приживалками и домашними животными. По моему мнѣнію, такая счастливая жизнь, проведенная въ полномъ спокойствіи, то-есть въ полномъ подчиненіи господствующей рутинѣ, оставляетъ мысль женщины совершенно непробужденной. Можетъ-быть такая умственная дремота чрезвычайно пріятна, но я знаю навѣрное, что ни одинъ человѣкъ, пробудившійся отъ подобнаго усыпленія, не захочетъ ни за какія блага въ мірѣ возвратиться къ этому состоянію первобытной невинности. Поэтому я называю счастливыми тѣ обстоятельства, которыя, даже причиняя женщинамъ тяжелыя страданія, насильно заставляютъ ее браться за умъ и задумываться надъ рѣшми нелѣпностями, которыя она видитъ и слышитъ вокругъ себя. За размышленіемъ слѣдуетъ отвращеніе, а такъ какъ природа не терпитъ пустоты, то женщина старается замѣнить въ своемъ умѣ выброшенныя нелѣпости какимъ-нибудь живымъ и осмысленнымъ содержаніемъ. Если женщина въ эту кригическую минуту своей жизни встрѣтитъ умнаго человѣка или умную книгу, тогда она устроитъ у себя въ головѣ порядокъ и чистоту, и тогда она будетъ совершенно застрахована противъ тѣхъ безпідныхъ восторговъ, которыми увлеклась напимѣръ госпожа Свѣчина. Именно такіа обстоятельства я и называю вполне счастливыми; какой-нибудь рѣзкій

толчекъ долженъ пробудить мысль, а встрѣча съ умнымъ руководителемъ должна направить эту мысль туда, гдѣ она можетъ найти себѣ удовлетвореніе, то-есть реальныя знанія и полезный трудъ.

Такъ случилось съ Вѣрой Павловной Лопуховой, но такъ случается рѣдко, и огромное большинство нашихъ и даже европейскихъ женщинъ проводить свою жизнь безъ размышленія, безъ знаній и безъ труда. Онѣ живутъ въ общихъ интересахъ человѣчества. Онѣ задавлены мелочами кухни, спальни и моднаго магазина, подобно тому, какъ масса чернорабочихъ задавлена физическимъ утомленіемъ и голодной нищетой. Имъ некогда думать; жизнь ежеминутно задаетъ имъ множество мельчайшихъ вопросовъ, которые волнуютъ и раздражаютъ ихъ, но которые всѣ могутъ быть разрѣшены безъ помощи размышленія; у нихъ нѣтъ ни спокойствія, ни дѣятельности, а есть только безконечная суета, которая утомляетъ человѣка и мѣшаетъ его мысли сосредоточиться на какомъ-нибудь отдѣльномъ и важномъ вопросѣ жизни. Это суетливое движеніе начинается у нашихъ женщинъ съ самаго ранняго дѣтства.

Ты, другъ мой, должна быть образованной дѣвицей, говорятъ опытыя воспитательницы маленькому существу, одѣтому въ короткое платье, и маленькое существо по ихъ командѣ суетливо кидается отъ географіи къ фортепьяно, отъ фортепьяно—къ циническимъ войнамъ, отъ подвиговъ Анибала и Циціона—къ пасса вправо, пасса назадъ, потомъ къ естественной исторіи Горизонта, потомъ къ рисованію цвѣтовъ и носовъ, и разныя лохмотья знаній, разныя упражненія по части пріятныхъ искусствъ проходятъ, какъ китайскія тѣни, черезъ несчастный мозгъ ошеломленнаго маленькаго существа. И чуть только въ дѣвочкѣ шевельнется любознательность, чуть только она пожелаетъ посмотрѣть повнимательнѣе на одну изъ промелькнувшихъ тѣней, ее тотчасъ останавливаютъ, потому что такое неестественное желаніе нарушаетъ заведенный порядокъ систематической суеты. Въ день надо непременно продѣлать семь или восемь различныхъ штукъ по части наукъ и искусствъ, стало-быть, если одна штука разрастется въ ущербъ остальнымъ, то изъ этого произойдетъ безпорядокъ, который въ благоустроенномъ педагогическомъ хозяйствѣ не можетъ быть допущенъ. Кромѣ того извѣстно всѣмъ и каждому, что дѣвушка прежде всего должна быть пріятной въ обществѣ, а пріятность эта заключается между прочимъ въ разнообразіи ея талантовъ и знаній; поэтому любознательность можетъ быть терпима въ дѣвочкѣ настолько, насколько она содѣйствуетъ исправному изученію обязательныхъ уроковъ; когда-же любознательность стремится выйти изъ этихъ естественныхъ границъ, тогда она можетъ повредить будущей пріятности; слѣдовательно, она идетъ тогда наперекоръ основному

тенденціямъ воспитанія, и ее необходимо подавлять и искоренять мѣрами кротости и, въ случаѣ упорства, мѣрами строгости.

Впрочемъ любознательность дѣвочки очень рѣдко вызываетъ противъ себя отпоръ со стороны воспитательницъ. Вся система преподаванія, всѣ объясненія учителей и весь комплектъ учебниковъ тщательно подобраны такимъ образомъ, что любознательность рѣшительно не можетъ возникнуть, и мысли дѣвочки постоянно стремятся вонъ изъ классной комнаты, прочь отъ книгъ и уроковъ, къ міру дѣйствительной жизни, то-есть къ балу, къ театру, къ модному магазину и къ другимъ очаровательнымъ предметамъ, въ которыхъ каждая благовоспитанная дѣвочка видитъ весь смыслъ и весь интересъ жизни и дѣятельности. За суетой уроковъ въ жизни дѣвушки слѣдуетъ суета свѣтскихъ удовольствій, которая въ большей части случаевъ усложняется кислой суетой домашней бѣдности. Поѣхать на балъ необходимо, но и побѣдять тоже не мѣшастъ; нанять карету необходимо, но и купить сажень дровъ слѣдуетъ; надо заказать новое платье—и надо въ то-же время заплатить долгъ въ овощную лавку; нельзя-же быть одѣтой хуже какой-нибудь Сидоровой или Антоновой,—но какъ-же распорядиться, когда папешка бранится за излишніе расходы «на тряпки»? Не поѣхать на балъ,—но на балѣ будетъ *онъ*. При такихъ непримиримыхъ требованіяхъ дѣйствительной жизни, драма слѣдуетъ за драмой; каждая грошовая ленточка смачивается горькими слезами; каждое пошлое слово дурака или негодяя, встрѣченнаго на балѣ и поставившаго себѣ задачей жизни ухаживать за всѣми красивыми барышнями,—вызываетъ живыя надежды, за которыми слѣдуютъ быстро и непремѣнно мучительныя разочарованія.

Все это—бури въ стаканѣ воды; все это смѣшно и глупо, новѣды тутъ льются человѣческія слезы, тутъ проводятся безсонныя ночи, и то существо, которое мечется по постели и обливаема слезами свою подушку, это существо, говорю я, страдаетъ дѣйствительно, страдаетъ такъ, какъ будто-бы причина страданія была велика и серьезна. И это-же самое существо, съ тѣмъ-же тѣлосложеніемъ, съ тѣмъ-же темпераментомъ и устроениемъ черепа, могло-бы, при другихъ условіяхъ развитія и жизни, стать на ту нормальную высоту человѣческаго пониманія, на которую никогда не забирался грязныя и мучительныя волненія о новомъ платьѣ Сидоровой или о пятой кадрили, протанцованной вѣроломнымъ Ивановымъ съ легкомысленной Антоновой. Для большинства нашихъ тѣперешнихъ женщинъ эта нормальная высота недостижима, и препятствія, отбрасывающія имъ путь къ человѣческому благоразумію, вытекаютъ естественнымъ образомъ изъ того основнаго принципа, которому подчинены воспитаніе и вся жизнь женщины.

## XX.

Реалисты, построившие всю свою жизнь на идеѣ общей пользы и разумнаго труда, относятся презрительно и враждебно ко всему, что раздѣляетъ человѣческіе интересы, и ко всему, что отвлекаетъ человѣка отъ общепользной дѣятельности. Поэтому они строго осуждаютъ ту мелкость понятій и узкость симпатій, которыя прииваются къ женщинамъ всѣмъ направленіемъ ихъ воспитанія. Это враждебное отношеніе реалистовъ къ искусственной ограниченности женщинъ послужило поводомъ къ безсмысленной клеветѣ. Хорошіе люди пустили слухъ, что реалисты отрицаютъ семейство, осмѣиваютъ бракъ и стараются поставить развратъ на степенъ общественной добродѣтели.

Эта выдумка столько-же остроумна, сколько доброжелательна. Она могла показаться правдоподобной только нашему невинному обществу, совершенно не привыкшему контролировать распускаемые слухи самостоятельнымъ наблюдениемъ дѣйствительныхъ фактовъ. Общество знаетъ нашихъ реалистовъ по роману «Отцы и Дѣти». Какіе-же факты сообщаются въ этомъ романѣ?—А вотъ какіе. Базаровъ разговариваетъ съ Одинцовой. Она говоритъ ему: «По моему или все, или ничего. Жизнь за жизнь. Взявъ мою, отдай свою, и тогда уже безъ сожалѣнія и безъ возврата. А то лучше и не надо».—Онъ отвѣчаетъ ей: «Что-жь? это условіе справедливое, и я удивляюсь, какъ вы до сихъ поръ не нашли, чего желали».—Эти слова нельзя принять иначе, какъ за самое искреннее выраженіе его взгляда на отношенія между мужчиной и женщиной. Базарова нельзя заподозрить въ желаніи соблазнить Одинцову этимъ косвеннымъ обѣщаніемъ вѣрности, потому что, когда она вслѣдъ затѣмъ спрашиваетъ у него прямо: «ио вы-бы сдѣлали отдаться?»—тогда онъ отвѣчаетъ ей: «не знаю, хвастаться не хочу». Забудьте слово «хвастаться». Въ этомъ словѣ Базаровъ опять невольно проговаривается: значить, онъ считаетъ способность отдаться на всю жизнь великимъ достоинствомъ. И онъ понимаетъ въ то-же время, что не всякій обладаетъ этой способностью, и не всякому представляется въ жизни счастливый случай приложить эту способность къ дѣлу, и не всякій умѣетъ воспользоваться счастливимъ случаемъ, когда онъ ему представляется.

Гдѣ-же, въ комъ-же изъ настоящихъ реалистовъ добрые люди подмѣтили наклонность къ разврату? Каждый настоящій реалистъ прежде всего—работникъ. Хороша-ли, дурна-ли его работа, объ этомъ онъ самъ знаетъ, и объ этомъ онъ не будетъ давать отчета тѣмъ добрымъ людямъ, которые изобрѣтаютъ и распускаютъ ложные слухи. Хороша-ли, дурна-ли его работа, но во всякомъ случаѣ онъ трудится какъ вольно, а кто не трудится, тотъ и не можетъ называться

реалистомъ, какъ-бы краснорѣчиво онъ ни разсуждалъ о человѣчествѣ и объ общей пользѣ. Кто не трудится, а только разсуждаетъ, тотъ или пустой болтунъ, или вредный шарлатанъ, но ужъ ни въ какомъ случаѣ не реалистъ. Стало-быть, настоящимъ реалистамъ нѣтъ никакой надобности ратовать противъ цѣломудрія и противъ супружеской вѣрности. У реалиста трудъ стоитъ на первомъ планѣ. Что помогаетъ успѣху его труда, то онъ любитъ. Что мѣшаетъ его труду, то онъ ненавидитъ. Когда женщина является мыслящимъ существомъ, способнымъ помогать его работѣ и ободрять его своимъ сочувствіемъ, тогда онъ любитъ и уважаетъ женщину. Когда женщина является капризнымъ ребенкомъ, требующимъ себѣ не участія въ полезной работѣ, а пестрыхъ игрушекъ, тогда онъ отворачивается отъ нея, чтобы она не мѣшала ему трудиться и не надѣдала ему безсмысленной болтовней. Такой бракъ, который увеличиваетъ силу и энергію работника, называется на языкѣ реалиста полезнымъ, благоразумнымъ и счастливимъ. Такой бракъ, который уменьшаетъ или извращаетъ рабочую силу, называется вреднымъ, безразсуднымъ и несчастнымъ. Для прочной связи между мужчиной и женщиной необходимо, по мнѣнію реалиста, общій трудъ. Мужчина долженъ трудиться, и женщина также должна трудиться. Если они трудятся въ одинаковомъ направленіи, если они оба любятъ свою работу, если оба способны понять ея цѣль, то они начинаютъ чувствовать другъ къ другу симпатію и уваженіе, и наконецъ мужчина и женщина объявляютъ свое рѣшеніе передъ обществомъ и призываютъ на свой союзъ благословеніе любви.

Все это, по мнѣнію реалиста, очень естественно и благоразумно. Если бракъ заключенъ при такихъ условіяхъ, то, по мнѣнію реалиста, счастье обоихъ супруговъ съ каждымъ годомъ должно увеличиваться, и вмѣстѣ съ ихъ счастьемъ должна постоянно увеличиваться ихъ взаимная привязанность. Реалистъ улыбнется самой презрительной улыбкой, если вы попытаете сказать ему, что за обладаніемъ должно слѣдовать охлажденіе.

— Да, отвѣтитъ онъ вамъ на это, такъ всегда бываетъ съ тѣми людьми, которые, отъ нечего дѣлать, раздражаютъ свою чувствительность и горячатъ свое воображеніе въ то время, когда начинаютъ сближаться съ красивой женщиной и обладаніе представляется ихъ праздному уму высшей цѣлью жизни. Когда эта цѣль достигнута, является разочарованіе, является чувство внутренней пустоты; а чтобы наполнить эту пустоту, они ставятъ себѣ новую цѣль въ такомъ-же родѣ, то-есть они направляютъ всѣ усилія къ тому, чтобы соблазнить другую женщину. И потомъ опять пустота, и опять стремленіе къ новымъ побѣдамъ. Все это въ порядкѣ вещей, но у меня,



продолжаетъ реалистъ, такіе переходы отъ безумной любви къ безумному разочарованію совершенно невозможны. Цѣль моя въ жизни была всегда одна и та-же, и эта цѣль поставлена такъ далеко и такъ высоко, что сотни поколѣній будутъ къ ней стремиться, и сотни поколѣній умрутъ прежде, чѣмъ она будетъ достигнута, не смотря на то, что каждое новое поколѣніе будетъ стоять къ ней ближе всѣхъ предыдущихъ. Съ этой настоящей цѣлью моей жизни обладаніе любимой женщиной никогда не имѣло ничего общаго. Я всегда видѣлъ въ счастливой любви очень большое наслажденіе, помогающее намъ переносить трудности и непріятности утомительной работы и упорной борьбы съ человѣческими глупостями. Я всегда смотрѣлъ на любовь не какъ на самостоятельную цѣль, а какъ на превосходное и незамѣнимое вспомогательное средство. Поэтому я никогда не составлялъ себѣ преувѣличеннаго понятія о наслажденіяхъ любви, и слѣдовательно я былъ совершенно застрахованъ противъ всякихъ разочарованій и охлажденій. Мнѣ правится наружность моей жены, но я-бы никогда не рѣшился сдѣлаться ея мужемъ, если-бы я не былъ вполнѣ убѣжденъ въ томъ, что она во всѣхъ отношеніяхъ способна быть для меня самымъ лучшимъ другомъ. Я зналъ всю ея жизнь и всѣ ея наклонности, прежде чѣмъ я рѣшился сдѣлать ей предложеніе. Она знала всю мою жизнь и всѣ мои наклонности, прежде чѣмъ она рѣшилась принять мое предложеніе. Съ тѣхъ поръ, какъ мы сошлись, мы ведемъ трудъ нашъ общими силами. Она понимаетъ, чего я хочу, и я тоже понимаю, чего она хочетъ, потому что мы оба хотимъ одного и того-же, хотимъ того, чего хотятъ и будутъ хотѣть всѣ честные люди на свѣтѣ. Она знаетъ, какимъ образомъ моя работа связывается съ общей цѣлью; она знаетъ, зачѣмъ я читаю ту или другую книгу, зачѣмъ я пишу ту или другую статью, зачѣмъ я принимаю одно занятіе и отказываюсь отъ другого; и она тоже читаетъ, пишетъ, занимается тѣми или другими работами; и я также знаю, какъ нельзя лучше, почему она поступаетъ такъ, а не иначе. Мы часто читаемъ вмѣстѣ, часто читаемъ врознь, часто споримъ объ отдаленныхъ подробностяхъ и часто измѣняемъ эти подробности, когда споръ кончается торжествомъ прогивоположныхъ аргументовъ. Всѣ силы ея ума и ея начитанности постоянно находятся въ моемъ распоряженіи, когда я нуждаюсь въ ея содѣйствіи; всѣ силы моего ума и моей начитанности постоянно подоспѣваютъ къ ней на помощь, когда она чѣмъ-нибудь затрудняется. Этотъ ежеминутный обмѣнъ услугъ превращаетъ самую сухую работу въ живое наслажденіе и оставляетъ за собой неизгладимый рядъ самыхъ обаятельныхъ воспоминаній. Чѣмъ больше такихъ воспоминаній, чѣмъ больше взаимныхъ услугъ, чѣмъ больше работъ, улаженныхъ общими силами,

тѣмъ тѣснѣе наша дружба, тѣмъ полнѣе наше взаимное довѣріе, тѣмъ непоколебимѣе наше взаимное уваженіе. А тутъ еще присоединяется ощущеніе любви, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, тутъ еще дѣти, какъ новая живая связь между мною и ею; а тутъ еще ея неизбѣжныя страданія, которыя дѣлаютъ женщину священной въ глазахъ каждаго мыслящаго человѣка. Я этихъ страданій не могу раздѣлить съ ней, поневолѣ-же я долженъ вознаградить ее за нихъ удвоенной пѣжностью и безграничнымъ уваженіемъ; а тутъ еще воспитаніе дѣтей, какъ новый видъ общей работы, которую мы оба съумѣемъ вести сообразно съ далекой и высокой цѣлью всего нашего существованія. Одна и та-же личность является такимъ образомъ для меня товарищемъ по работѣ, другомъ, женой, страдальцей, матерью и воспитательницей моихъ дѣтей,—и вдругъ выдумывать что я не способенъ любить эту личность. И вдругъ произносить тутъ слова: охлажденіе, разочарованіе, супружеская ревность или супружеская невѣрность. Чортъ знаетъ, что за чепуха! Охлаждѣть къ другу потому, что онъ десять лѣтъ былъ другомъ. Разочароваться въ этомъ другѣ потому, что мы вмѣстѣ съ нимъ постарѣли на десять лѣтъ. Подозрѣвать этого друга въ томъ, что онъ будетъ со мной лицемерить. Искать себѣ новой привязанности, когда старый другъ живетъ со мной въ одномъ домѣ. Скажите пожалуйста, есть-ли человѣческій смыслъ въ подобныхъ предположеніяхъ? А вѣдь для эстетиковъ и романтиковъ эти самыя предположенія оказываются непреложными истинами. Почему? Очень просто. Потому что жена никогда не бываетъ для нихъ другомъ. И мужчины, и женщины, одержимые эстетическими стремленіями, постоянно, втеченіи всей своей жизни, играютъ въ игрушки. У нихъ и мужъ—игрушка, и жена—игрушка. Пока игрушка блестяща, пока она имѣетъ прелесть новизны, до тѣхъ поръ ею потѣшаются. А чуть только блескъ и новизна пропали, является горькое сожалѣніе о томъ, что игрушку нельзя бросить въ помойную яму.

Соотечественники! Кто сложилъ поговорку: «жена не башмакъ, съ ноги не сбросишь»? Кажется мнѣ, что эта поговорка была въ полномъ ходу въ то время, когда еще прадѣды современныхъ реалистовъ не рождались на бѣлый свѣтъ. И кто или что мѣшаетъ вамъ сбросить жену, какъ башмакъ, не заботясь о томъ, куда она упадетъ? Неужели вамъ мѣшаетъ ваша собственная добросовѣстность? Нѣтъ, друзья мои, вамъ мѣшаетъ только законъ, а то-бы тысячи утонченныхъ эстетиковъ, повторяющихъ наивную поговорку съ тяжелымъ вздохомъ, пустили-бы на всѣ четыре стороны своихъ женъ вмѣстѣ съ малолѣтними дѣтьми, и безъ копѣйки денегъ. И эти-же самыя рѣзвые ребятишки, обожающіе всякія новыя игрушки, смѣютъ распускать безсмысленные слухи о развратныхъ стремленіяхъ

такихъ людей, которые всю свою жизнь проводятъ въ рабочихъ кабинетахъ, за книгами или за письменнымъ столомъ! Только наша русская безтолковость и способна переваривать такія вопиющія нелѣпости.

### XXI

Во всѣхъ двадцати главахъ, которыя я до сихъ поръ написалъ о нашихъ реалистахъ, я старался доказать, что наше общество не понимало и оклеветало этихъ людей съ чужого голоса. Чтобы сдѣлать доказательства мои какъ можно болѣе убѣдительными, являлъ за представителя нашего реализма Базарова, — того самого Базарова, котораго одна часть нашей критики считала карикатурой, а другая — правдивымъ, но строжайшимъ обличеніемъ, направленнымъ противъ тенденціи молодого поколѣнія. Вы находите, господа, сказалъ я, что это — карикатура или обличеніе. Положимъ, что это дѣйствительно такъ. Карикатура или обличеніе, какъ вамъ угодно. Вовсякомъ случаѣ, вы согласитесь, что этотъ образъ написанъ безъ малѣйшаго желанія польстить нашимъ реалистамъ. Этотъ образъ написанъ человекомъ правдивымъ, но уже вовсе неспособнымъ увлекаться юношескими стремленіями къ новымъ идеямъ и къ новымъ людямъ. Хорошо. Я беру именно этотъ образъ, именно то, что вы считаете карикатурой или обличеніемъ. Я анализирую каждую черту этого образа, я принимаю каждое слово Тургенева за наличную монету, я выслушиваю такимъ образомъ сильнѣйшаго и умнѣйшаго врага современнаго реализма, — такого врага, который «все-таки неспособенъ лгать», и изъ всѣхъ показаній этого врага я не могу извлечь ни одной черты, которая дѣйствительно превращала-бы реалистовъ въ людей глупыхъ, безчестныхъ, безразвѣстныхъ и вредныхъ для общества и для благосостоянія отдѣльных личностей.

Говорятъ, что реалисты непочтительны къ своимъ родителямъ — неправда! Они только разрознены съ ними роковымъ вліяніемъ общихъ историческихъ причинъ. Реалисты возстановляютъ дѣтей противъ родителей — неправда! Они стараются сблизить старшее поколѣніе съ младшимъ. Реалисты не уважаютъ женщинъ — неправда! Они уважаютъ ихъ гораздо сильнѣе, чѣмъ ихъ уважали поэты и эстетика. Реалисты отрицаютъ бракъ — и это неправда! Они хотятъ только, чтобы благосостояніе отдѣльных семействъ было въ строгомъ согласіи съ великими интересами общества.

Откуда-же вы, милые русскіе журналисты, взяли всѣ ваши обвиненія противъ реалистовъ? Изъ романа Тургенева? Нѣтъ, врите, тамъ нѣтъ этихъ обвиненій. Тамъ даются голые факты, которые надо только понять. А если вы извратили эти факты сообразно съ вашими закулисными выгодами, то вы напрасно прикрываетесь име-

немъ честнаго, хотя и отсталаго, русскаго писателя. Имя Тургенева надѣлало быть-можетъ много путаницы, но Тургеневъ не виноватъ въ томъ, что его именемъ пользуются Хлестаковы и Держиморды нашей журналистики. И всѣ идеи Базарова остаются вѣрными и честными идеями, несмотря на тотъ толстый слой грязи, которымъ завалили ихъ. Конечно Тургеневъ могъ — бы быть менѣе пассивнымъ въ то время, когда его имя марали Катковы и Скарятины, но вѣдь извѣстно дѣло, старость — нерадость, и шумъ журнальной полемики ему уже не по лѣтамъ. Отношенія реалистовъ къ живымъ людямъ такимъ образомъ очерчены, хотя и не вполне выяснены. Теперь мнѣ остается поговорить объ отношеніяхъ ихъ къ искусству и къ наукѣ.

### XXII.

Лѣтъ двадцать тому назадъ извѣстный мыслитель и фантазеръ, Пьеръ Леру, написалъ одну очень странную книгу «О человечествѣ» («De l'humanité»). Въ этой странной книгѣ имѣется достаточное количество самой вопиющей галиматіи; до того человѣкъ закирается, что горячо и серьезно доказываетъ и объясняетъ, какимъ манеромъ человѣческія души переселяются изъ одного тѣла въ другое. По его метафизическимъ выкладкамъ выходитъ, что у насъ нѣтъ предковъ и что у насъ не будетъ потомковъ, а что мы, во время Адама, всегда жили и всегда будемъ жить постоянно обновляющейся жизнью въ томъ громадномъ организмѣ, который называется на языкѣ Леру «человѣкъ - человечество» («l'homme-humanité»). Читаете вы эту книгу и только плечами пожимаете. «Ахъ, какъ врать! — думаете вы. — Боже мой, какъ неистово врать!» А между тѣмъ — странное дѣло! — вы все-таки дочитываете сумасбродную книгу до конца; и потому, дочитавши ее, вы сохраняете объ ея авторѣ очень свѣтлое воспоминаніе; вы невольно относитесь къ Пьеру Леру съ любовью и даже съ уваженіемъ. У Пьера Леру были послѣдователи и горячіе поклонники. Жоржъ Зандъ подчинялась чарующему вліянію его фантазій и написала два превосходные романа: «Consuelo» и «la Comtesse de Rudolstadt» подъ роесподствомъ обаятельно-мистической идеи о переселеніи человѣческихъ душъ.

И все это очень понятно. Пьеръ Леру принадлежитъ къ числу тѣхъ страстно-честныхъ людей, которые много возлюбили и которымъ за это многое прощается, даже вся неисчерпаемая бессмыслица ихъ беспредѣльнаго вранья. Тѣмъ это вранье и обаятельно, что все въ немъ совершенно искренно; нѣтъ въ немъ ни малѣйшей декламации. Леру страстно влюбленъ въ человечество, страстно вѣрить въ его безконечное совершенствованіе, страстно стремится къ далекому будущему, и всѣхъ этихъ страстностей оказывается черезъ — чуръ достаточно, чтобы совер-

шенно заглушить въ его умѣ голосъ простого здраваго смысла, который потихоньку напентываетъ ему очень начальные истины. — Ты, братъ Леру, — говоритъ ему здравый смысл, — не очень восхищайся. Ты все-таки умрешь лѣтъ черезъ тридцать или черезъ сорокъ, и обо всякихъ грядущихъ великолѣпныхъ человѣческаго прогресса ты не получишь никогда ни малѣйшаго понятія. — Вздоръ! — отвѣчаетъ Леру въ порывѣ прогрессивнаго восторга. — Я люблю человѣчество, я живу съ нимъ одной жизнью и буду вѣчно жить, любить и мыслить на той самой землѣ, на которой совершается безпредѣльное историческое развитіе громаднаго организма *homme-humanité*.

Любовь къ людямъ и къ жизни доходитъ очевидно до галлюцинаціи; мы ясно видимъ въ признаки бреда, но мы понимаемъ также причины этого явления и никогда не рѣшимся оскорбить насмѣшкой или презрѣніемъ такую личность, у которой любовь къ человѣчеству развилась до пожирающей страсти, до фанатизма и наконецъ до сумасшествія. Эта любовь, доводящая всѣ умственные силы Леру до неестественнаго и слѣдовательно болѣзненнаго напряженія, все-таки облагораживаетъ, очищаетъ его личность и возводитъ ее на такую высоту, съ которой онъ окидываетъ широкимъ и проницательнымъ взглядомъ всю исторію человѣческой мысли. Онъ понимаетъ и эпикуреизмъ, и стоицизмъ, и Платона, и Аристотеля, и мистиковъ, и рационалистовъ, и скептиковъ, и аскетовъ. Отдавая всѣмъ имъ должную справедливость, отмѣчая яркими и вѣрными чертами ихъ историческое значеніе, онъ понимаетъ и глубоко чувствуетъ, что человѣчество вырастаетъ изъ своихъ цепеныхъ и что въ его сильномъ коллективномъ умѣ медленно созрѣваетъ что-то новое и громадное, что-то такое, въ чемъ совмѣстятся всѣ истины отжившихъ и отживающихъ философскихъ системъ. Когда Леру слѣзаетъ съ своего любимаго конька, то-есть, когда онъ перестаетъ городить чепуху о переселеніи душъ, тогда у него почти на каждой страницѣ сыпятся, какъ крупныя искры, свѣтлыя и превосходныя мысли, выраженные тѣмъ яркимъ и могучимъ языкомъ, которымъ владѣютъ Гюго, Кине, Мишле, Прудонъ, Жоржъ Зандъ. Одна изъ подобныхъ мыслей особенно сильно припала мнѣ по душѣ, такъ что я рѣшился положить ее въ основаніе моихъ реалистическихъ размышленій о наукѣ и искусствѣ. Чтобы эта мысль сдѣлалась вполне понятной моимъ читателямъ и чтобы она освѣтилась для нихъ со всѣхъ сторонъ, я счелъ нелишнимъ сказать нѣсколько словъ о томъ источникѣ, изъ котораго она заимствована. «*A un point de vue élevé, — говоритъ Леру, — les poètes sont ceux qui, d'époque en époque, signalent les maux de l'humanité, de même que les philosophes sont*

*ceux, qui s'occupent de sa guérison et de son salut*» \*).

Мнѣ кажется тому человѣку, который такъ высоко и такъ просто понимаетъ и опредѣляетъ призваніе истиннаго поэта и истиннаго мыслителя, тому человѣку, говорю я, можно простить даже печальную наклонность къ переселенію человѣческихъ душъ.

### XVIII.

Люди издавна стремились создать вокругъ себя искусственную атмосферу тепла, аромата и роскоши. Они удовлетворяли всѣмъ естественнымъ потребностямъ своего организма, но этого было мало; они придумывали себѣ новыя потребности, создавали себѣ новыя, чисто искусственные страсти, нѣжили, лелѣли, воспитывали и доводили ихъ до высокой степени чуткости, впечатлительности и утонченности. Человѣкъ развивалъ въ своей личности чувства и страсти для того, чтобы извлекать себѣ изъ жизни какъ можно больше разнообразнаго и безмятежнаго наслажденія. Но расчетъ оказался не совсѣмъ вѣренъ. Тѣ самыя страсти и чувства, которыя должны были служить приправой утонченнаго обѣда или очаровательнаго любовнаго свиданія, сдѣлались, напротивъ того, злѣйшими врагами этой теплой жизни. Постоянно ѣсть, постоянно пить, постоянно любезничать, проводить жизнь между столомъ и постелью — это показалось невыносимымъ наказаніемъ именно для тѣхъ тонко развитыхъ и страстныхъ эпикурейцевъ, которые лучше всѣхъ другихъ людей умѣли разнообразить свои наслажденія. Никакіе соусы изъ соловьиныхъ язычковъ, никакія неестественныя проявленія састололюбія не могли заглушить въ нихъ неукротимаго стремленія дѣйствовать, мыслить, пожалуй даже страдать, но только, во что-бы то ни стало, вырваться изъ одуряющаго воздуха теплицы въ суровую, холодную, но естественную среду дѣйствительной жизни. Дѣйствовать? — Какимъ образомъ? — Мыслить? — О чемъ и за чѣмъ? — Страдать и бороться? — Съ чѣмъ и за что? — Какимъ образомъ дѣйствовать? Ну конечно, прежде всего воевать. Эта отрасль дѣятельности первая бросается въ глаза страстному эпикурейцу, воспитанному въ теплой атмосферѣ и утомленному безконечными оргіями. Такъ и рѣшается вопросъ въ дѣйствительности. Аквиладъ бросается съ войскомъ въ Сицилію, Цезарь — въ Галлію, Александръ — въ Персію. А потомъ? Потомъ и война надобѣдаетъ. Сильный умъ ищетъ себѣ новой пищи. Начинаются серьезные размышленія о сдѣланныхъ завоеваніяхъ.

\*) Стъ высшей точки зрѣнія, поэтамъ можно назвати тѣхъ людей, которые, изъ эпохи въ эпоху, раскрываютъ передъ нами страдающаго человѣчества, а мыслителями — тѣхъ людей, которые отыскивають средства облегчить и исцѣлить эти болѣзни».

Отставной завоеватель становится рачительным хозяиномъ.

Не всё, далеко не всё блестящіе дѣятели всемирной исторіи прошли черезъ указанныя мною фазы развитія. Очень многіе споткнулись и погибли въ началѣ или на половинѣ пути, но, не смотря на то, можно сказать навѣрное, что каждый дѣйствительно замѣчательный умъ утомляется рано или поздно тѣми наслажденіями, которыя достаются ему на долю безъ труда и безъ борьбы; утомившись и пресытившись, онъ тревожно начинаетъ искать выхода своимъ силамъ и наконецъ или погибаетъ во время безуспѣшныхъ поисковъ, или успокаивается патакой дѣятельности, которая самымъ тѣснымъ образомъ связана съ интересами страждущаго большинства. А между тѣмъ въѣдъ и у частныхъ людей бывають и сильныя страсти, и тонкія чувства, и свѣтлые умы. Имъ-то чѣмъ-же забавляться? Какимъ образомъ они-то могутъ вырваться изъ теплицы?

Одни изъ этихъ страстныхъ и даровитыхъ тунеядцевъ начинаютъ искать вокругъ себя сильныхъ ощущеній; другіе задумываются надъ различными явленіями изъ жизни природы, ставятъ себя на каждомъ шагѣ мудреные вопросы и ломаютъ себя головою надъ сотнями и тысячами вѣчныхъ загадокъ. Первые дѣлаются поэтами или художниками; вторые—учеными или мыслителями. Но гдѣ-же поэтъ или художникъ, человѣкъ дѣйствительно воспримчивый, умный и страстный до гениальности, гдѣ-же, спрашиваю я, онъ найдетъ себя тѣ сильныя ощущенія, которыя удовлетворяютъ вполне его ищущую, жаждущую и томящуюся природу? — Какимъ образомъ онъ ухитрится во время своихъ поисковъ миновать тотъ громадный міръ неподдѣльнаго человѣческаго страданія, который со всѣхъ сторонъ окружаетъ насъ сплошной, темной стѣной? — Развѣ есть возможность не замѣтить того, что на каждомъ шагѣ рѣжетъ глазъ самому невнимательному наблюдателю? Можно конечно приглядѣться къ этимъ будничнымъ картинкамъ, можно притупить въ себѣ умъ и чувство, можно довести себя совершенно незамѣтнымъ образомъ до самаго невозмутимаго равнодушія къ чужому голоду и холоду. Съ этимъ я согласенъ, и мы встречаемся въ жизни ежеминутно съ великолѣпнѣйшими экземплярами такой философской невозмутимости. Но вы не забывайте, что въѣдъ мы ведемъ здѣсь рѣчь о поэтѣ, о художникѣ, о человѣкѣ, въ высшей степени впечатлительномъ, страстнымъ и отзывчивомъ. Какой-же истинный поэтъ можетъ довести себя до чурбаннаго равнодушія? Если человѣческія страданія не производятъ на него впечатлѣнія, то гдѣ-же его впечатлительность? Если онъ, отворачиваясь съ самодовольнымъ презрѣніемъ отъ картинъ грязной нищеты и невольнаго порока, отзывается пѣвучими погами на трепетаніе влюбленнаго соловья и на

благоуханіе расцвѣтающей розы, и на каждый грошовой вздохъ смазливой барышни, то въѣдъ эта отзывчивость такъ-же приторна и отвратительна, какъ нѣжная привязанность старой дѣвки къ кошкамъ, попугаймъ и москкамъ. Въ такомъ человѣкѣ нѣтъ ни ума, ни впечатлительности, ни страсти, ни отзывчивости. Что это за художникъ? Это просто мышиный жеребчикъ, одержимый самымъ мелчайшимъ тщеславіемъ, самымъ копѣчнымъ желаніемъ порисоваться передъ почтеннѣйшей публикой и заработать себѣ отъ разныхъ глупыхъ тунеядцевъ нѣсколько лестныхъ комплиментовъ и нѣсколько еще болѣе лестныхъ рублей.

Мнѣ возразятъ быть-можетъ, что художникъ можетъ увлечься поклоненіемъ чистой красотѣ и что въ такомъ случаѣ онъ посвятитъ всѣ свои силы на воплощеніе своего идеала въ художественномъ созданіи, въ статуѣ, въ картинѣ, въ романѣ или въ какой-нибудь другой формѣ творчества. Скульптура цѣликомъ основана на этомъ поклоненіи физической красотѣ. Знаю. Но это возраженіе устраняется само собой. Я предположилъ выше, что самымъ умнымъ и даровитымъ людямъ становится непременно душно въ искусственной атмосферѣ эникурейской теплицы. Мнѣ кажется, что предположеніе вѣрно въ психологическомъ отношеніи и можетъ быть доказано сотнями примѣровъ изъ всѣхъ эпохъ всемирной исторіи. Кому сдѣлалось душно въ теплицѣ, тотъ, разумеется, выходитъ на открытой воздухъ, то есть такъ или иначе вмѣшивається въ жизнь большинства. Кому пріѣлись разныя сладости, вино и поцѣлуи, тотъ ищетъ себѣ труда и борьбы, тотъ летитъ отъ пресыщенія суровыми столкновеніями съ неподкрашенной дѣйствительностью. Гейне превосходно выразилъ это настроеніе въ своей пѣснѣ о Тангейзерѣ. Венера угощаетъ Тангейзера сладкимъ виномъ, хочетъ надѣть ему на голову вѣнокъ изъ свѣжихъ розъ, наконецъ зоветъ его къ себѣ въ спальню; но Тангейзеръ даже смотрѣть на нее не хочетъ; его уже просто тошнитъ отъ всѣхъ этихъ миндальностей; ему хочется труда, горечи, терноваго вѣнка; онъ говоритъ ласковой любовницѣ своей крупныя дерзости и уходитъ отъ нея чортъ знаетъ куда и чортъ знаетъ зачѣмъ. Понятно, что человѣкъ, находящійся въ настроеніи свирѣпаго Тангейзера, рѣшительно неспособенъ заниматься поклоненіемъ чистой или идеальной красотѣ. Не за тѣмъ-же въ самомъ дѣлѣ онъ такъ сурово отвернулся отъ живой красавицы, чтобы писать къ ней пламенные сонеты или падать на колѣни передъ ея изображеніемъ, вырваннымъ изъ бѣлаго мрамора или написаннымъ масляными красками на холстѣ. Пигмаліонъ молилъ боговъ, чтобы они превратили его мраморную Галатею въ живую женщину, и это понятно; но промѣнять живую, любящую женщину на кусокъ полотна или мрамора—это такая нелѣпость, на которую

не покушался до сихъ поръ ни одинъ изъ самыхъ необузданныхъ идеалистовъ. Очень многіе пламенные любовники пробавляются чистымъ платонизмомъ, но они всегда дѣлаютъ это только вслѣдствіе печальной необходимости; когда же они имѣютъ возможность дѣлать выборъ, тогда они съ парочитымъ удовольствіемъ промѣниваютъ свои отвлеченныя восторги на болѣе существенныя и менѣе невинныя наслажденія.

Что-же изъ всего этого слѣдуетъ? Да очевидно то, что поклонники чистой красоты никогда не испытывали мученій Тангейзера; напротивъ того, они чрезвычайно довольны тепличной жизнью и, въ наивности души, принимаютъ свой крошечный теплый уголокъ за великій, богатый и разнообразный міръ, въ которомъ всѣ высшія человѣческія потребности находятъ и должны находить себѣ полное и всестороннее удовлетвореніе. Эти пигмеи, занимающіеся скульптурой, живописью, эротическимъ стиходѣланіемъ или томными руладами, эти пигмеи, говорю я, или не знаютъ великихъ вопросовъ широкой, дѣйствительной, міровой жизни, или же не хотятъ ихъ знать, прикидываются глухими и слѣпыми, чтобы оправдывать въ своемъ собственномъ мнѣніи свою канареечную жизнь и дѣятельность. Въ первомъ случаѣ—если не знаютъ—мы имѣемъ несомнѣнное право заподозрить ихъ въ тупоуміи или въ полной неразвитости. Во второмъ случаѣ—если напускаютъ на себя поддѣльную глухоту и слѣпоту—мы имѣемъ право назвать ихъ безчестными и трусливыми людьми, которые стараются обмануть даже собственную совѣсть.—Въ томъ и въ другомъ случаѣ было-бы странно и нецѣлесообразно требовать отъ насъ, чтобы мы признали въ этихъ мелкихъ сибаритахъ передовыхъ представителей человѣчества; дѣятельность такихъ людей не даетъ намъ ровно ничего, и слѣдовательно, встрѣчаясь съ ихъ произведеніями, намъ остается только посмѣяться надъ довѣрчивостью того общества, которое видитъ въ нихъ лучшее свое украшеніе.

### XXIV.

Послѣдовательный реализмъ безусловно презираетъ все, что не приноситъ существенной пользы; но слово «польза» мы принимаемъ совсѣмъ не въ томъ узкомъ смыслѣ, въ какомъ его навязываютъ намъ наши литературные антагонисты. Мы вовсе не говоримъ поэту: «пей сапоги», или историкъ: «пеки кулебяки», но мы требуемъ непременно, чтобы поэтъ, какъ поэтъ, и историкъ, какъ историкъ, приписали, каждый въ своей специальности, *дѣйствительную* пользу. Мы хотимъ, чтобы созданія поэта ясно и ярко рисовали передъ нами тѣ стороны человѣческой жизни, которыя намъ необходимо знать для того, чтобы основательно размышлять и дѣйствовать. Мы хотимъ, чтобы изслѣдованіе историка раскрывало намъ настоящія причины про-

цвѣтанія и упадка отжившихъ цивилизацій. Мы читаемъ книги единственно для того, чтобы посредствомъ чтенія расширить предѣлы нашего личнаго опыта. Если книга въ этомъ отношеніи не даетъ намъ ровно ничего, ни одного новаго факта, ни одного оригинальнаго взгляда, ни одной самостоятельной идеи, если она ничѣмъ не повелитъ и не оживляетъ нашей мысли, то мы называемъ такую книгу пустой и дрянной книгой, не обращая вниманія на то, писана-ли она прозой или стихами: и автору такой книги мы всегда, съ искреннимъ доброжелательствомъ, готовы посовѣтовать, чтобы онъ принялся шить сапоги или печь кулебяки.

Постараемся-же теперь обсудить вопросъ: какимъ образомъ поэтъ, не переставая быть поэтомъ, можетъ принести обществу и человечеству дѣйствительную и несомнѣнную пользу? Само собою разумѣется, что названіе «поэтъ» прилагается зрѣсь не къ однимъ стихотворцамъ, а вообще ко всѣмъ художникамъ, создающимъ образы посредствомъ слова. Прежде всего скажу откровенно, я рѣшительно не признаю такъ-называемаго безсознательнаго и безцѣльнаго творчества. Я подозреваю, что это—просто мифъ, созданный эстетической критикой для пущей таинственности. Въ древности, когда поэтъ былъ пѣвцомъ и импровизаторомъ, тогда пожалуй еще можно было допустить, что его оебняло вдохновеніе и что онъ самъ не отдавалъ себѣ яснаго отчета въ томъ, какъ и зачѣмъ слагалась его пѣсня. Но теперь, когда поэтъ носитъ не хламиду и лавровый вѣнокъ, а сюртукъ и круглую шляпу, теперь, когда онъ не поетъ, а пишетъ и печатаетъ, теперь, говорю я, уже поздно видѣть въ поэтѣ близкаго родственника изступленной дельфійской пивіи. Поэтъ прежде всего такой-же членъ гражданскаго общества, какъ и каждый изъ насъ. Встрѣчаясь съ поэтомъ въ гостиной, мы имѣемъ полное право требовать отъ него, чтобы онъ не клалъ ноги на столъ и не плескалъ въ потолокъ; вступая съ поэтомъ въ разговоръ, мы имѣемъ полное право требовать, чтобы онъ разсуждалъ дѣльно и логично; если онъ не исполнитъ этого требованія, мы замѣтимъ про себя, что онъ несетъ чепуху, быть-можетъ и вдохновенную, но все-таки невыносимую. Чтобы пользоваться любовью и уваженіемъ своихъ знакомыхъ, поэтъ непремѣнно долженъ обладать тѣми-же самыми качествами, которыя упрочиваютъ любовь и уваженіе окружающихъ людей за каждымъ изъ простыхъ смертныхъ. Для этого необходима извѣстная доза ума, добродѣли, честности и т. д. Такса, по которой покупаются въ обществѣ любовь и уваженіе, повышается и понижается вмѣстѣ съ общимъ уровнемъ умственнаго и нравственнаго развитія. Кто въ Англіи считается дуракомъ, тотъ въ Турціи могъ-бы прослыть за очень порядочнаго человека. Когда общество доходитъ до извѣстной

высоты развитія, тогда оно начинает требовать отъ своихъ членовъ, чтобы у нихъ были опредѣленные и сознательныя убѣжденія и чтобы они держались за свои убѣжденія. Кромѣ обыкновенной честности является тогда еще высшая честность, честность политическая. Воспитавши въ самомъ себѣ великое чувство политической честности, общество начинаетъ вмѣнять его въ обязанность каждому изъ своихъ членовъ, и тѣмъ болѣе такимъ людямъ, которые, опираясь на свои умственные дарованія, присвоиваютъ себѣ право дѣйствовать словомъ или перомъ на развитие общественныхъ убѣждений. Но эта снисходительная зрѣлость и строгость требованій даются обществу не вдругъ. Нравственная чуткость вырабатывается туго и медленно. Байронъ прямо называетъ Роберта Соути ренегатомъ, а Робертъ Соути въ свое время считался знаменитымъ поэтомъ, и англичане даже до сихъ поръ читаютъ и издаютъ его произведенія. Но настоящие поэты не могутъ быть продажными мазуриками; самъ Байронъ, заклеившій Роберта Соути, ни разу не покривилъ душой, именно потому, что его умъ и талантъ стояли неизмѣримо выше всякихъ искушеній. Такие умы и таланты творятъ чудеса, но творческая сила тотчасъ измѣняется имъ, какъ только они осмѣливаются нустить ее въ продажу.

Но одной голый честности и великаго самороднаго таланта еще недостаточно, чтобы быть мировымъ поэтомъ. Самородки, подобные Бёрнеу или Кольцову, остаются навсегда блестящими, но безплодными явлениями. Истинный, «полезный» поэтъ долженъ знать и понимать все, что въ данную минуту интересуетъ самыхъ лучшихъ, самыхъ умныхъ и самыхъ просвѣщенныхъ представителей его вѣка и его народа. Понимая вполне глубокий смыслъ каждой пульсации общественной жизни, поэтъ, какъ человѣкъ страстный и впечатлительный, непременно долженъ всѣми силами своего существа любить то, что кажется ему добрымъ, истиннымъ и прекраснымъ, и ненавидѣть святой и великой ненавистью ту огромную массу мелкихъ и дрянныхъ глупостей, которая мѣшаетъ идеямъ истины, добра и красоты облечься въ плоть и кровь и превратиться въ живую дѣйствительность. Эта любовь, неразрывно связанная съ этой ненавистью, составляетъ и непременно должна составлять для истиннаго поэта душу его души, единственный и священный смыслъ всего его существованія и всей его дѣятельности. «Я пишу не чернилами, какъ другіе, — говоритъ Берне: я пишу кровью моего сердца и сокомъ моихъ нервовъ». Такъ, и только такъ долженъ писать каждый писатель. Кто пишетъ иначе, тому слѣдуетъ шить сапоги и печь кулебяки.

Поэтъ, самый страстный и впечатлительный изъ всѣхъ писателей, конечно не можетъ составлять исключеніе изъ этого правила. А чтобы

дѣйствительно писать кровью сердца и сокомъ нервовъ, необходимо безпредѣльно и глубоко-сознательно любить и ненавидѣть. А чтобы любить и ненавидѣть и чтобы эта любовь и эта ненависть были чисты отъ всякихъ примѣсей личной корысти и мелкаго тщеславія, необходимо много передумать и многое узнать. А когда все это сдѣлано, когда поэтъ охватилъ своимъ сильнымъ умомъ весь великій смыслъ человѣческой жизни, человѣческой борьбы и человѣческаго горя, когда онъ вдумался въ причины, когда онъ уловилъ крѣпкую связь между отдѣльными явлениями, когда онъ понялъ, что надо и что можно сдѣлать, въ какомъ направленіи и какими пружинами слѣдуетъ дѣйствовать на умы читающихъ людей, тогда безсознательное и безцѣльное творчество дѣлается для него безусловно невозможнымъ. Общая цѣль его жизни и дѣятельности не даетъ ему ни минуты покоя; эта цѣль манитъ и тянетъ его къ себѣ; онъ счастливъ, когда видитъ ее передъ собой яснѣе и какъ будто ближе; онъ приходитъ въ восхищеніе, когда видитъ, что другіе люди понимаютъ его пожирющую страсть и сами съ трепетомъ томительной надежды смотрятъ въ даль, на ту-же великую цѣль; онъ страдаетъ и злится, когда цѣль исчезаетъ въ туманѣ человѣческихъ глупостей и когда окружающіе его люди бродятъ оцупью, сбивая другъ друга съ прямого пути.

И вы, господа эстетики, хотите, чтобы такой человѣкъ, принимаясь за перо, превращался въ болтливаго младенца, который самъ не вѣдаетъ, что и зачѣмъ лепечуть его розовыя губы! Вы хотите, чтобы онъ безцѣльно тѣшился пестрыми картинками своей фантазіи именно въ тѣ великія и священные минуты, когда его могучій умъ, развертываясь въ процессѣ творчества, льетъ въ умы простыхъ и темныхъ людей цѣлые потоки свѣта и теплоты! Никогда этого не бываетъ и быть не можетъ. Человѣкъ, прикоснувшійся рукою къ древу познанія добра и зла, никогда не съумѣетъ и, что всего важнѣе, никогда не захочетъ возвратиться въ растительное состояніе первобытной невинности. Кто понялъ и прочувствовалъ до самой глубины взволнованной души различіе между истиной и заблужденіемъ, тотъ, волей и неволей, въ каждое изъ своихъ созданій будетъ вкладывать идеи, чувства и стремленія вѣчной борьбы за правду.

Итакъ, по моему мнѣнію, истинный поэтъ, принимаясь за перо, отдастъ себѣ строгій и ясный отчетъ въ томъ, къ какой общей цѣли будетъ направлено его новое созданіе, какое впечатлѣніе оно должно будетъ произвести на умы читателей, какую святую истину оно докажетъ имъ своими яркими картинками, какое вредное заблужденіе оно подроеетъ подъ самый корень. Поэтъ — или великій боецъ мысли, безстрашный и безукоризненный «рыцарь духа», какъ говоритъ Генрихъ Гейне, или-же ничтожный паразитъ, потѣ-



шающий других ничтожных паразитов мелкими фокусами безплодного фиглярства. Середины нѣтъ. Поэтъ—или титанъ, потрясающий горы вѣкового зла, или-же козявка, копающаяся въ цвѣточной пыли. И это не фраза. Это—строгая психологическая истина. Дѣйствительно, каждый эстетикъ конечно согласится со мною, что искренность есть необходимѣйшее качество поэта. Драма, романъ, поэма, лирическое стихотвореніе, въ которыхъ хоть сколько-нибудь проглядываютъ патинутыя и обязательныя отношенія автора къ его предмету,—ни подъ какимъ видомъ не могутъ быть названы поэтическими произведеніями. Это—риторическія упражненія на заданныя темы, а риторъ и поэтъ, разумѣется, не имѣютъ между собой ничего общаго. Припомните напримѣръ оды Ломоносова, «Паращу-Сибирячку» Полевого, романъ Ключникова «Марево» и тому подобныя прелести.

Искренность необходима; но поэтъ можетъ быть искреннимъ или въ полномъ величій разумнаго міросозерцанія, или въ полной ограниченности мыслей, знаній, чувствъ и стремленій. Въ первомъ случаѣ онъ—Шекспиръ, Дантъ, Байронъ, Гёте, Гейне. Во второмъ случаѣ онъ—Фетъ.—Въ первомъ случаѣ онъ носитъ въ себѣ думы и печали всего современнаго міра. Во второмъ—онъ поетъ тоненькой фистулой о душистыхъ доконахъ и еще болѣе трогательнымъ голосомъ жалуется печатно на работника Семена. Вы не думайте, господа, что свистящая журналистика ухватила такъ крѣпко за работника Семена по ребяческому пристрастію къ безплодному зубоскальству. Работникъ Семень—лицо замѣчательное. Онъ непременно войдетъ въ исторію русской литературы, потому что ему назначено было Провидѣніемъ показать намъ обратную сторону медали въ самомъ яркомъ представителѣ томной лирики. Благодаря работнику Семену, мы увидѣли въ пѣжномъ поэтѣ, порхающемъ съ цвѣтка на цвѣтокъ, расчетливаго хозяина, солиднаго bourgeois и мелкаго человѣка. Тогда мы задумались надъ этимъ фактомъ и быстро убѣдились въ томъ, что тутъ нѣтъ ничего случайнаго. Такова должна быть непременно изнанка каждаго поэта, воспѣвающего «шопотъ, робкое дыханіе, трели соловья».

Кто способенъ вполне удовлетворяться микроскопическими пылинками мысли и чувства, кто умѣетъ составить себѣ громкую извѣстность собиравшемъ этихъ пылинокъ, тотъ долженъ быть мелокъ насвозь, въ каждой отдѣльной чертѣ своей частной и общественной жизни. Заглядывать въ область частной жизни мы не имѣемъ никакого права и никакой возможности; но если самому поэту угодно было прогуляться передъ публикой въ домашнемъ халатѣ, то мы должны сказать за это большое спасибо, во-первыхъ, разыгравшемуся поэту, а во-вторыхъ—великому Семену, ухитрившемуся привести своего хозяина

въ такой навозъ лирическаго негодованія. Мы всматриваемся въ интересный халатъ и выводимъ то плодотворное заключеніе, что подобные халаты носить и должны носить всѣ поэты, не имѣющіе понятія о великихъ, истинныхъ и серьезныхъ сторонахъ общечеловѣческой жизни. Какъ были они дѣтьми, такъ и останутся навсегда дѣтьми, мелочными, капризными и сварливыми существами, утратившими только дѣтскую грацію и лишившимися уже всякой надежды сдѣлаться со временемъ сильными, здоровыми, добродушными и мыслящими людьми. Отвернемся отъ этихъ явленій плюговой старости и посмотримъ въ другую сторону, на вѣчно-юныхъ титановъ умственнаго міра.

### XXV.

Въ числѣ титановъ я называлъ Гёте и Гейне. Легко можетъ случиться, что наши литературные противники ухватятся за эти два имени и докажутъ мнѣ, какъ дважды-два четыре, что Гёте втеченіи всей своей жизни былъ самымъ неискреннимъ человѣкомъ и что Гейне очень часто является въ своихъ произведеніяхъ пустѣйшимъ балагуромъ или безпечнѣйшимъ пѣвцомъ луны, дѣвы, любви и вздоховъ.—Вотъ видите, скажутъ они мнѣ, значитъ, вамъ надо или вычеркнуть имена Гёте и Гейне изъ списка міровыхъ поэтовъ, или-же радикально измѣнить вашъ взглядъ на поэзію и вообще на искусство.

А вотъ посмотримъ на дѣло поближе. Что Гёте обладалъ въ высшей степени способностью извиваться и блюдолизничать, это конечно не можетъ подлежать сомнѣнію. Что онъ страпалъ разныя стихотворныя миндальности и салонныя оперетки, это также составляетъ неопровержимую истину. Ну, а какъ вы думаете, стали-бы мы теперь разсуждать съ вами о Гёте, еслибы полное собраніе его сочиненій состояло цѣликомъ изъ сотни чистенькихъ оперетокъ и изъ нѣсколькихъ тысячъ миндально-лакейственныхъ мадригаловъ? И какъ вы думаете, посвятилъ-ли-бы такому Гёте гордый и безукоризненный Байронъ своего «Сарданапала»? Да еще какъ посвятилъ-то! Съ трепетомъ робости и благоговѣнія. Вотъ длинные слова этого посвященія: «Знаменитому Гёте иностранецъ осмѣливается предложить дань литературнаго вассала своему сюзерену, первому изъ существующихъ писателей, создавшему литературу своей родины и прославившему литературу Европы. Недостойное произведеніе, которое авторъ дерзаетъ посвятить ему, носить заглавіе «Сарданапалъ».

Ясное дѣло, что въ глазахъ Байрона умственное величіе Гёте съ избыткомъ заглаживается или выкупаегъ тѣ низкія слабости его характера, которыя конечно были хорошо извѣстны Байрону, какъ современнику Гёте, и которымъ Байронъ, какъ человѣкъ въ высшей степени незаисимый, разумѣется, не могъ сочувствовать.

Но когда Гёте спускался въ міръ живыхъ людей, въ міръ золоченаго нѣмецкаго мѣщанства, когда онъ превращалъ свой талантъ въ дойную корову и начиналъ гоняться за благосклонными взглядами и покровительственными улыбками, тогда онъ сразу дѣлался мельче всякой козявки, ниже, гаже и безсильнѣе самаго ничтожнаго изъ нашихъ современныхъ лириковъ, потому что эти поютъ отъ избытка своей ограниченности, а тотъ долженъ былъ насильно ѣжиться и прикидываться невинной канарейкой.

Примѣръ Гёте доказываетъ какъ нельзя очевидно, что всякая умственная дѣятельность велика и плодотворна только до тѣхъ поръ, пока она остается неразлучной съ искренностью и твердостью глубокаго убѣжденія. Гёте великъ именно въ той сферѣ, въ которой онъ дѣйствовалъ съ полнымъ и естественнымъ воодушевленіемъ, не стѣняясь никакими житейскими расчетами, и этотъ Гёте, великій Гёте, совершенно подходитъ подъ мое опредѣленіе поэта и съ полной справедливостью можетъ быть названъ «полезнымъ» поэтомъ, хотя конечно не въ томъ смыслѣ, въ какомъ могутъ быть названы полезными поэтами: Барбье, Веранже, Леопарди, Джустини, Шелли, Томасъ Гудъ и другіе двигатели общественнаго сознанія. Эти люди были поэтами текущей минуты; они будили въ людяхъ ощущеніе и сознаніе настоятельныхъ потребностей современной гражданской жизни; они любили живыхъ людей и возились постоянно съ ихъ дѣйствительными глупостями и страданіями. А Гёте никого не любилъ, кромѣ самого себя и своихъ собственныхъ идей; онъ нисколько не заботился объ интересахъ человѣческихъ обществъ и, несмотря на то, онъ все-таки принесъ и еще долго будетъ приносить своими произведеніями много пользы тѣмъ самымъ человѣческимъ обществамъ, къ которымъ онъ былъ совершенно равнодушенъ. Только пустые и мелкіе люди могутъ оставаться безполезными, а великія умственные силы непремѣнно приносятъ пользу даже своими ошибками. Гёте никогда не былъ и не будетъ любимымъ поэтомъ читающихъ массъ; вслѣдствіе этого онъ никогда не будетъ дѣйствовать прямо и непосредственно на умственную жизнь массы, потому что на эту жизнь дѣйствуетъ только тотъ, кто любитъ массу. Но эти наставники и руководители массъ, люди различные между собой по своимъ дарованіямъ, но тѣсно связанные другъ съ другомъ единствомъ святой любви и честныхъ стремленій, эти люди, питающіе другихъ своими идеями, часто нуждаются сами въ умственномъ подкрѣпленіи и обновленіи. Эти люди—мыслящіе и просвѣщенные работники, но совсѣмъ не міровые гении. Они, по своему уму и развитію, способны понимать Гёте, но у нихъ, разумѣется, не достало-бы силъ произвести то, что онъ произвелъ. Для нихъ-то его сочиненія составляютъ огромную гальваническую

батарею, которая постоянно снабжаетъ ихъ утомляющіеся мозги новыми электрическими силами. Они читаютъ Гёте и глубоко задумываются надъ его страницами, и умъ ихъ растетъ и крѣпнѣетъ въ этой живительной работѣ. А приобретенный такимъ образомъ запасъ свѣжей энергіи и новыхъ умственныхъ силъ отправляется все-таки внизъ по теченію, въ то живое море, которое называется массой и въ которое, тѣмъ или другимъ путемъ, рано или поздно, вливаются, подобно скромнымъ ручьямъ или бурнымъ потокамъ, или величественнымъ рѣкамъ, всѣ наши мысли, всѣ наши труды и стремленія. И холодный тайный совѣтникъ и кавалеръ фонъ-Гёте дѣйствуетъ такимъ образомъ, и сильно дѣйствуетъ на пользу бѣдныхъ и простыхъ ближнихъ посредствомъ тѣхъ идей и ощущеній, которыя онъ возбуждаетъ своими произведеніями въ тѣсномъ кругу своихъ избранныхъ и высокоразвитыхъ читателей.

Приведу одинъ очень любопытный и оригинальный примѣръ. Бёрне ненавидитъ Гёте отчасти за дѣло, по своему горячему демократическому чувству, отчасти несправедливо. Эту ненависть Бёрне высказываетъ не разъ въ своихъ «Парижскихъ письмахъ» и въ нѣкоторыхъ критическихъ статьяхъ. Высказываетъ онъ ее всегда съ необыкновеннымъ воодушевленіемъ, и изъ подъ его пера выливаются по этому поводу превосходнѣйшія страницы, сверкающія изумительнымъ остроуміемъ и ипылающія самымъ чистымъ огнемъ любви къ людямъ и уваженія къ человѣческому достоинству. И эти страницы прочтешь съ увлеченіемъ, поймешь и запомнишь чуть не наизусть рѣшительно каждый человѣкъ, стоящій по своему развитію немного выше чичиковскаго Петрушки. Эти страницы, писанныя слишкомъ тридцать лѣтъ тому назадъ, до сихъ поръ такъ свѣжи и горячи, какъ будто онѣ только сегодня выпли изъ подъ типографскаго станка. А кому-же мы обязаны этими страницами, какъ не тому самому Гёте, который на нихъ осыпается справедливыми насмѣшками и громовыми проклятіями критика? Чтобы возбудить въ такомъ умномъ человѣкѣ, какъ Бёрне, такую пылкую и упорную ненависть, чтобы взволновать всю его желчь, когда онъ только вспомнитъ ненавистное имя или взглянетъ на проклятыя строки, и наконецъ чтобы каждый разъ заставляя своего разяреннаго антагониста облекаться во всесоружіе саркастическаго ума и страстной діалектики, для всего этого, говорю я, необходимо быть такимъ титаномъ умственнаго міра, какимъ и былъ на самомъ дѣлѣ тайный совѣтникъ и кавалеръ фонъ-Гёте. Да и самъ Бёрне всегда признаетъ его титаномъ и за то именно бѣсится на него, что этотъ титанъ съ такимъ удовольствіемъ зарывалъ свой талантъ въ землю. Съ этой стороны Бёрне, разумѣется, правъ: еслибы у Гёте кромѣ колоссальныхъ силъ было еще стремленіе при-

лагать эти силы, какъ слѣдуетъ, то безъ сомнѣнія онъ сдѣлалъ-бы въ своѣй жизни неизмѣримо больше прочнаго и существеннаго добра. Но дѣло теперь не въ томъ. Важно и любопытно для всего хода моей аргументаціи то обстоятельство, что Гёте электризуетъ своей дѣятельностью даже такого человѣка, который по своему чисто фанатическому складу ума рѣшительно неспособенъ отнестись съ любовью къ тому, что дѣйствительно превосходно въ произведеніяхъ «великаго язычника». Это и значить, что великое явленіе никогда не можетъ остаться безплоднымъ; оно освѣжаетъ и обновляетъ жизнь и тѣмъ, что въ немъ хорошо, и тѣмъ, что въ немъ дурно. Оно приносить людямъ пользу и той любовью, и той ненавистью, которую оно въ нихъ возбуждаетъ. Скверно только безсиліе, губительна только анагія; а столкновение и борьба враждебныхъ силъ въ области мысли всегда приводятъ за собой со временемъ плодотворное примиреніе въ высшей сферѣ болѣе широкаго синтеза. Поэтому давай намъ Богъ побольше великихъ умовъ, и пусть они куралесятъ въ области мысли, какъ души ихъ будетъ угодно. Мы, простые люди, вслѣдствіе этого во всякомъ случаѣ останемся въ чистыхъ барышахъ. По геометріи выходитъ конечно, что прямая линія есть кратчайшее разстояніе между двумя точками. Но многовѣковой опытъ дѣйствительной жизни доказываетъ неопровержимо, что люди въ исторической практикѣ не признаютъ этой математической истины и ухѣбютъ подвигаться впередъ не иначе, какъ зигзагами, то-есть кидаясь изъ одной крайности въ другую. *Идраву* всего человѣчества преслѣдствовать невозможно, и поэтому приходится махнута рукой на неизбѣжные зигзаги и только радоваться тому, когда крайности начинаютъ быстро и порывисто смѣняться одна другой. Значить, пульсъ хорошъ и человѣческая мысль не порождается плѣсенью.

### XXVI.

А теперь потолкуемъ о Гейне. Миѣ кажется, этого писателя каждый истинный сынъ XIX вѣка долженъ любить совсѣмъ особенной, нѣжной, исключительной любовью. Миѣ кажется, все умственное развитіе человѣка можно сразу измѣрить и обсудить, смотря по тому, какъ и насколько онъ понимаетъ поэтическую дѣятельность Генриха Гейне. Этотъ писатель — самый новѣйшій изъ міровыхъ поэтовъ; онъ всѣхъ ближе къ намъ по времени и по всему складу своихъ чувствъ и понятій. Онъ цѣлкомъ принадлежитъ нашему вѣку; онъ воплотилъ въ себѣ даже всѣ его слабости и смѣшныя стороны; даже разстроенные и разбитые нервы Гейне указываютъ ясно на его кровное родство съ тѣмъ великимъ и просвѣщеннымъ вѣкомъ, въ которомъ средневѣковые костры и плахи смѣнились пенсильванскими общепольными учрежденіями для

производства умалишенныхъ и въ которомъ феодальныя права уступили мѣсто мануфактурному пауперизму. Гейне — поэтъ капризнаго, раздражительнаго, нетерпѣливаго и непоследовательнаго вѣка. Онъ самъ весь состоитъ изъ противорѣчій и самъ себя дразнитъ этими противорѣчійми, и даже не пробуетъ помирить ихъ между собой, и самъ то плачетъ, то смѣется надъ своими ощущеніями, то вдругъ кидается въ борьбу жизни и съ полной силой юношеской горячности и мужественнаго убѣжденія объясняетъ людямъ различіе между остатками прошедшаго и живыми проблесками будущаго. И этой послѣдней, живительной стороной своей дѣятельности Гейне также цѣлкомъ принадлежитъ къ нашему вѣку, который все-таки лучше всѣхъ прошедшихъ вѣковъ и въ которомъ все-таки, несмотря ни на какія глупости и подлости, химія и физиологія подняли человѣческой умъ на безпримѣрную и для нашихъ предшественниковъ неистижимую высоту самостоятельнаго знанія.

Вотъ и соображайте, какого рода результатъ долженъ получиться, когда человѣку приходится жить при ежеминутномъ столкновеніи такихъ несовмѣстимыхъ крайностей. Разумѣется, долженъ получиться нѣчто вроде горячаго льда и сухой воды; и въ человѣческомъ характерѣ дѣйствительно встрѣчаются ежеминутно такія вопіющія внутреннія противорѣчія, которыя сильно смахиваютъ на сухую воду и горячій ледъ. Намъ эти противорѣчія, порожденные всѣмъ складомъ европейской жизни, должны быть особенно дороги и интересны; намъ необходимо внимательно изучать эту патологию нашего ума и характера, потому что только внимательное изученіе болѣзни даетъ намъ возможность отыскать лекарство. Вотъ тутъ-то именно никто не можетъ заглохнуть обществу великаго поэта. Никакое научное изслѣдованіе не опредѣлитъ вамъ душевную болѣзнь цѣлой эпохи съ такой ясностью, съ какой нарисуетъ ее великій художникъ. Тутъ вполне оправдывается глубокая мысль Пьера Леру о томъ, что поэты изъ вѣка въ вѣкъ возвѣщаютъ человечеству его страданія. Потому, когда поэтъ собралъ въ одинъ фокусъ, въ одну ярко освѣщенную картину всѣ разрозненные симптомы господствующей болѣзни вѣка, тогда начинается работа мыслителей, которые анализируютъ вопросъ во всѣхъ его отдѣльных подробностяхъ и выводятъ явленія настоящей минуты изъ отдаленныхъ и глубоко затаявшихся историческихъ, бытовыхъ и экономическихъ причинъ. Лирика Гейне есть не что иное, какъ неподражаемо-полная и правдивая картина тѣхъ чувствъ и мыслей, тѣхъ тревогъ и огорченій, тѣхъ чередующихся припадковъ энергіи и анагіи, среди которыхъ тратятъ свою жизнь лучшие люди XIX вѣка. Гейне не захотѣлъ или не могъ наблюдать и изображать сво-

ихъ современниковъ со стороны; съ естественной самонадеянностью истиннаго гения онъ понималъ, что носить въ самомъ себѣ всѣ завѣтные чувства и мысли своей эпохи; онъ принялъ самого себя за чистѣйшій типъ современнаго челоѣка и посвятилъ всю свою жизнь на то, чтобы высказаться со всѣхъ сторонъ, со всей искренностью и непосредственностью, какая только доступна челоѣку XIX столѣтія. Поэтому всѣ двадцать томовъ сочиненій Гейне составляютъ одно неразрывное цѣлое. И проза, и стихи, и любовь, и политика, и дурачества, и серьезные разсужденія, — все это только въ общей связи получаетъ свой полный смыслъ и свое настоящее значеніе. Если вы развинтите Гейне на части и будете разсматривать каждый кусочекъ отдѣльно, то, разумѣется, вы получите много великолѣпныхъ алмазовъ и большую кучу негоднѣйшихъ черепковъ, перемѣшанныхъ съ глиной и съ грязью. Тогда вы скажете, что алмазы надо сохранить и оправить въ золото, а всю кучу примѣси спустить въ помойную яму. И такимъ приговоромъ вы докажете несомнѣнно, что, читая Гейне, вы смотрѣли въ книгу и видѣли фигу. Гейне именно тѣмъ и неоцѣнимъ, что онъ даетъ мыслителямъ нашего времени цѣлые рудники матеріаловъ для самыхъ глубокихъ психологическихъ наблюденій и изслѣдованій. Читая Гейне, вдумывайтесь именно въ то, какимъ образомъ грязь перемѣшана въ челоѣкѣ съ алмазами, старайтесь понять, почему одинъ и тотъ же гениальный умъ волновался высшими сомнѣніями, порывами и страстями, доступными челоѣческой личности, и въ то-же время тратился на то, чтобы воспѣвать съ искреннимъ воодушевленіемъ голубыя или черныя глазенки вертявыхъ парижскихъ лоретокъ. Посмотрите на примѣръ письма Гейне съ Гельголанда, помѣщеннаго въ его книгѣ о Берне и написаннаго послѣ польскихъ событій 1830 г., и потомъ вдругъ прочтите въ его-же книгѣ «Neue Gedichte» — стихотворенія подъ рубриками: «Ангелика», «Серафима», «Катарина». На Гейне очень часто находить блажь; онъ вдругъ воображаетъ себѣ, что онъ можетъ забыть все, что мѣшаетъ мыслящему челоѣку предаваться тѣлѣчимъ восторгамъ; начинается бѣганіе и прыганіе на одной ножкѣ; — ахъ, Боже мой, какое благополучіе! воздухъ теплый, птички поютъ, роза цвѣтетъ, барышня улыбається; давайте бѣгать, давайте любовничать, давайте дѣлать вѣнки и букеты изъ васильковъ и ландышей! — Да вдругъ ему самому сдѣлается уже черезъ-чуръ смѣшно, глядя на собственную прыткость и веселость; а потомъ досадно; а потомъ опять смѣшно; а потомъ и смѣшно, и досадно въ одно и то-же время. Оплошаетъ онъ вдругъ и барышню, и цвѣты, и природу. Все скверно, все никуда не годится. И желать нечего, и плакать не о чемъ, потому что все это пустяки и ни на что не слѣ-

дуетъ обращать вниманія. Къ выдѣлыванію такихъ руладъ неизбежно долженъ придти гениальнымъ умъ, не имѣющій возможности найти себѣ такое дѣло, которое соотвѣтствовало-бы его силамъ. А что люди, одаренные силами Гейне, остаются внѣ практической дѣятельности, — это конечно составляетъ одну изъ самыхъ крупныхъ болячекъ нашего времени и одно изъ самыхъ капитальныхъ препятствій къ выздоровленію. Рисовать картину страданій — это безъ сомнѣнія тоже дѣятельность, и даже, при данныхъ условіяхъ мѣста и времени, дѣятельность очень полезная. По вѣроятію самый зачатый эстетикъ согласится со мною, что было-бы не въ примѣръ лучше, еслибы такая дѣятельность была совершенно не нужна и даже невозможна. Еслибы Гейне былъ вполнѣ удовлетворенъ жизнью, еслибы онъ чувствовалъ себя счастливымъ, то по всей вѣроятности онъ не сдѣлался-бы поэтомъ, потому что его поэзія была-бы странной аномаліей въ такой средѣ, въ которой люди, подобные ему, могли-бы устраивать свою жизнь сообразно съ требованіями своего чувства и своего разсудка. Развѣ можетъ возникнуть и развиться патологія тамъ, гдѣ не бываетъ болѣзней? А вѣрнѣйшимъ симптомомъ такого отсутствія болѣзней было-бы то обстоятельство, что умные люди, подобные Гейне, не состояли-бы въ разрядъ людей лишннихъ, непрактичныхъ, безпокоящихъ и вредныхъ.

Если такимъ образомъ мы примемъ всю литературную дѣятельность Гейне за цѣльное выраженіе того невольнаго и неизбежнаго различія, именуемаго трагическаго, полу-комическаго, который существуетъ между нашими завѣтными желаніями и нашими всеневными поступками, если мы взглянемъ на Генриха Гейне, какъ на гениальнаго челоѣка, который в теченіи всей своей жизни стучится головой въ толстую стѣну челоѣческихъ глупостей и наконецъ по временамъ самъ глупѣетъ отъ этого невыносимаго занятія, — то, разумѣется, всѣ балагурства Гейне, всѣ фривольности и тривіальности примутъ въ нашихъ глазахъ значеніе драгоцѣннѣйшихъ фактовъ изъ психологической исторіи современнаго челоѣка. Да, подумаемъ мы, вотъ какъ къ это приходится иногда умнымъ людямъ! Вотъ какими минутами пошлости и пустоты обща безсмысленность исторической жизни награждаетъ иногда первоклассныхъ гениевъ! Подобныя размышленія никакъ нельзя назвать безполезными, и мы должны будемъ сказать большое спасибо Генриху Гейне за то, что онъ не утаилъ отъ насъ тѣхъ печально-комическихъ минутъ своей жизни, когда онъ, отчаяваясь въ торжествѣ разума, пробовалъ сдѣлаться шаловливымъ ребенкомъ и начиналъ то изнывать у ногъ какой-нибудь Ангелики, то съ простодушіемъ пансіонерки умилаться надъ зеленой травой и надъ голубыми фіалками.

Гейне вызвалъ цѣлыя легіоны подражателей, и этотъ фактъ служить еще новымъ подтвержденіемъ той ужасно старой и печальной истины, что глупыхъ людей очень много. Гейне можно и должно изучать, но подражать ему нѣтъ, — первыхъ, никакой надобности, а во-вторыхъ — никакой возможности. Когда очень замѣчательный человѣкъ рассказываетъ намъ откровенно о своихъ заблужденіяхъ, о глупостяхъ и проступкахъ своей жизни, о позорныхъ минутахъ унынія, праздности, апатіи и безнечности, тогда мы слушаемъ этотъ рассказъ съ жаднымъ вниманіемъ и съ глубокимъ уваженіемъ. Ошибки и страданія великаго ума всегда поучительны, потому что въ нихъ всегда чувствуется вліяніе общихъ причинъ, повертывающихъ въ ту или въ другую сторону жизнь цѣлой исторической эпохи. На этомъ основаніи мы читаемъ и признаемъ полезными книгами и лирику Гейне, и «Confessions» Жанъ-Жака Руссо. Но когда какой-нибудь Лягушкинъ или Козявкинъ начинаетъ повѣствовать намъ стихами или прозой о томъ, какъ онъ кутилъ и опять желаетъ кутить, какъ онъ любилъ и какъ ему рога наставили, какъ онъ проигрался въ карты и желаетъ получить реваншикъ, а подлецъ Михрюшкинъ забастовалъ не въ-время, — тогда мы говоримъ ему: уймись, любезный! помажь свои душевные парывы деревяннымъ масломъ и прикрой ихъ тряпичкой! у насъ этого добра и безъ тебя достаточно.

Любопытно замѣтить, до какого полного извращенія естественныхъ понятій дошла эстетика, то-есть та критика, которая предпочитаетъ форму содержанію. Эстетикъ скажетъ вамъ, не задумываясь, что у такого-то поэта хватаетъ силъ на лирическое стихотвореніе, но что онъ непременно опростоволосится, если примется писать романъ или драму. Вы, мой читатель, навѣрное такъ привыкли къ такимъ сужденіямъ, что въ недоумѣніи спросите у меня: «а что-же въ этомъ мѣстѣ эстетика есть такого уродливаго и бессмысленнаго? Это чистая правда. Вотъ напримѣръ — Полонскій. Кропаетъ онъ лирическіе стишки — и ничего: концы съ концами сводить. А попробовалъ написать романъ «Свѣжее преданіе» — вышло убійственно. Сунулся соорудить драму «Разладъ» — вышло еще того хуже, такъ что Несторъ Васильевичъ Кукольникъ можетъ сказать, потирая руки: «нашего полку прибыло!» — Справедливо изволите разсуждать, господнинъ читатель. Но вы подумайте все-таки, чтѣ такое лирика? Вѣдь это просто публичная исповѣдь человѣка? Прекрасно. А на чтѣ-же намъ нужна публичная исповѣдь такого человѣка, который рѣшительно ничѣмъ, кромѣ своего желанія исповѣдываться, не можетъ привлечь къ себѣ наше вниманіе? Чѣмъ его огорченія или радости интереснѣе моихъ или вашихъ? Тѣмъ, что онъ умѣетъ укладывать ихъ

въ рѣчованные ямбы и хорей? Кажется мнѣ, что эта причина неудовлетворительна. Лирика, по самой сущности своей, гораздо некренинѣе и непосредственнѣе эпической и драматической поэзии. Драму или романъ надо долго обдумывать; при этомъ надо изучать жизнь; плоды этого изученія могутъ быть интересны и поучительны даже въ томъ случаѣ, если автору не удастся придать характерамъ ту яркость, которая создается только силой таланта. Лирическій поэтъ, напрогивъ того, только ловить и фиксировать мимолетныя настроенія своей собственной особы, и достоинство лирическаго произведенія заключается именно въ томъ, чтобъ оно было какъ можно безыскусственнѣе, чтобы чувство или мысль поэта были схвачены и показаны читателю во всей своей непосредственности и неподкрашенности. Но вѣдь показываться въ такой первобытной наготѣ имѣетъ право только то, чтѣ замѣчательно само по себѣ и чтѣ вслѣдствіе этого можетъ пробудить въ другихъ людяхъ дѣятельности чувства и мысли. Поэтому ясно, что лирика есть самое высокое и самое трудное проявленіе искусства. Лириками имѣютъ право быть только первоклассные гении, потому что только колоссальная личность можетъ приносить обществу пользу, обращая его вниманіе на свою собственную частную и психическую жизнь.

Отчего-же у насъ лирики плодятся, какъ дождевые грибы? Да просто оттого, что журналисты привыкли наполнять стишками тѣ бѣлыя страницы или, выражаясь типографскимъ языкомъ, бѣлая полоса, которые случайно остаются между отдѣльными статьями. И до сихъ поръ не могутъ сообразить почтенные журналисты, что бѣлая полоса гораздо лучше лирическаго стихотворенія, во-первыхъ потому, что читатель не тратитъ на бѣлую полосу ни одной минуты времени, во-вторыхъ потому, что редакция за бѣлую полосу не платитъ ни копѣйки денегъ, въ-третьихъ потому, что существованіе бѣлыхъ полосъ не поощряетъ ни одной отрасли предосудительнаго тунеядства. Къ крайнему моему огорченію, даже «Русское Слово» не возмыслило еще до пониманія этихъ высокихъ и мудрыхъ истинъ.

## XXVII.

Литературные противники нашего реализма простодушны убѣждены въ томъ, что мы затвердили нѣсколько филантропическихъ фразъ и во имя этихъ афоризмовъ отрицаемъ сплошь все то, изъ чего нельзя изготовить обѣдъ, сшить платье или построить жилище голоднымъ и прозябшимъ людямъ. Понимая насъ такимъ образомъ, они конечно должны были ожидать, что мои размысленія о наукѣ и искусствѣ будутъ заключать къ себѣ безконечныя упреки Шекспиру, Гёте, Гейне и другимъ подобнымъ негодяямъ за трату драгоценнаго времени на непроизводительныя занятія. Они ожидали вѣ-

роятно, что я такъ и пойду косить безъ разбору: Шекспиръ—не Шекспиръ, Гёте—не Гёте чортъ мнѣ не братъ, всѣ дураки и знать никого не хочу. Такому направленію моихъ умозрѣній они были-бы несказанно рады, потому что, разумѣется, подобная премудрость не поколебала-бы въ умахъ читателей ни одной буквы изъ стараго эстетическаго кодекса. Теперь, ко да они увидятъ, что я взялся за дѣло совсѣмъ не такимъ косолапымъ манеромъ,—имъ сдѣлается очень досадно, и они начнутъ звонить въ своихъ журналахъ, что реалисты доврались до чортиковъ и теперь поневолѣ поворачиваютъ оглобли назадъ.

И все это будетъ съ ихъ стороны голая выдумка. Всѣ мысли, высказанныя мною въ этой статьѣ, совершенно послѣдовательно вытекаютъ изъ того, что я говорилъ во всѣхъ моихъ предыдущихъ статьяхъ. Ни малѣйшаго поворота назадъ не случилось, и мнѣ не приходится раскаиваться ни въ одномъ словѣ, сказанномъ мною прежде. Я совѣтовалъ Щедрина заняться компиляціями по естественнымъ наукамъ и говорилъ по этому поводу, что меня радуетъ увяданіе нашей беллетристики, какъ симптомъ возрастающей зрѣлости нашего ума. Я и теперь повторяю то-же самое, и изъ этого сужденія о нашихъ домашнихъ дѣлахъ все-таки никакъ не вытекаетъ для меня обязанность ругать Шекспира, Гёте, Гейне и другихъ подобныхъ негодяевъ. Эти негодяи были прежде всего чрезвычайно умные люди, а я и теперь, и прежде, и всегда былъ глубоко убѣжденъ въ томъ, что мысль, и только мысль можетъ передѣлать и обновить весь строй человѣческой жизни. Все то безусловно полезно, что заставляетъ насъ задумываться и что помогаетъ намъ мыслить. Конечная цѣль всего нашего мысленія и всей дѣятельности каждаго честнаго человѣка все-таки состоитъ въ томъ, чтобы разрѣшить навсегда неизбѣжный вопросъ о голодныхъ и раздѣтыхъ людяхъ; въѣ этого вопроса нѣтъ рѣшительно ничего, о чемъ-бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать; но вопросъ этотъ и самъ по себѣ такъ громаденъ и такъ сложенъ, что на его разрѣшеніе требуется вся наличная сила и зрѣлость человѣческой мысли, все напряженіе человѣческой энергии и любви и весь запасъ собранныхъ человѣческихъ знаній; излишню оказаться не можетъ, а напротивъ оказывается до сихъ поръ громадный недочетъ, который поневолѣ будутъ пополнять рабочія силы сгѣдующихъ столѣтій.

Стало-быть, мы вовсе не расположены откидывать годный матеріалъ изъ любви къ процессу откидыванія. Это былъ-бы съ нашей стороны нелѣпѣйшій ригоризмъ и формализмъ, еслибы мы вздумали браковать гениальную мысль на томъ основаніи, что она проведена въ поэмѣ или въ романѣ, а не въ теоретическомъ разсужденіи. Еслибы мы разсуждали такимъ

образомъ, то намъ пришлось-бы поставить критическія статьи Эдельсона выше романа «Отцы и Дѣти». Но мы разсуждаемъ совершенно иначе. Мы твердо убѣждены въ томъ, что каждому человѣку, желающему сдѣлаться полезнымъ работнику мысли, необходимо широкое и всестороннее образованіе, въ которомъ Гейне, Гёте, Шекспиръ должны занять свое мѣсто на ряду съ Либихомъ, Дарвиномъ и Лийеллемъ.—Ничто такъ сильно не расширяетъ весь горизонтъ нашихъ понятій о природѣ и о человѣческой жизни, какъ близкое знакомство съ величайшими умами человѣчества, къ какой-бы отдѣльной области знанія или творчества ни относилась дѣятельность этихъ первоклассныхъ представителей нашей породы. Но, во-первыхъ, знакомясь съ этими титанами, надо непременно сохранять въ отношеніи къ нимъ полную самостоятельность своей собственной мысли, а иначе придется принимать за чистое золото даже то, что составляетъ грязное пятно въ произведеніи титана. Во-вторыхъ, и это главное, надо знакомиться только съ настоящими титанами и преспокойно проходить, не кивая головой, мимо многихъ и премногихъ кумировъ, выставляемыхъ на поклоненіе толпы усердными историками различныхъ литературъ. Посоветуйтесь напримѣръ съ какимъ-нибудь записнымъ гуманистомъ: онъ вамъ будетъ доказывать, что не прочитать Горация, Овидія, Виргилія, Цицерона значитъ остаться круглымъ невѣждой. Заговорите съ французомъ: онъ вамъ поклонится съ честью, что вамъ совершенно необходимо прочитать всѣ трагедіи Корнеля, всѣ трагедіи Расина, всѣ сатиры Буало, всѣ сладости Фенелона и всѣ проповѣди Боссюэта, котораго французы до сихъ поръ считаютъ великимъ гениемъ и даже глубокомъ, хотя и одно-стороннимъ историкомъ. Обратитесь къ Лонгинову, и онъ вамъ, какъ русскому человѣку, поставитъ въ непремѣнную обязанность прочитать цѣлкомъ Ломоносова, Державина, Барамзина и Жуковского. Счастливы вашъ Богъ, если онъ еще позволитъ вамъ не читать Кантемира, Тредьяковского, Сумарокова, Аблесимова, Хераскова, Озерова и князя Шаликова. Да нѣтъ! Врядъ-ли онъ окажетъ вамъ эту великую милость. Нельзя, скажетъ. Эти писатели имѣютъ историческое значеніе. А что-же вы въ самомъ дѣлѣ, будете за человѣкъ, если не будете знать исторіи нашей великой и прекрасной литературы?

Если вы одарены отъ природы чувствомъ благоразумнаго самосохраненія, то вы, разумѣется, не послушаете ни Лонгинова, ни гуманиста, ни француза. Вы читаете Шекспира, Байрона, Гёте, Шиллера, Гейне, Мольера и очень немногихъ другихъ поэтовъ, замѣчательныхъ не тѣмъ, что они когда-то жили и что-то написали, а тѣмъ, что они дѣйствительно высказали людямъ нѣсколько дѣльныхъ и умныхъ



мыслей. Изъ нашихъ-же писателей вы возьмете Грибоѣдова, Крылова, Пушкина, Гоголя, отнесетесь къ нимъ съ самой строгой критикой и увидите тогда, что ваше чисто-литературное образование совершенно окончено. Я не говорю о новѣйшихъ писателяхъ, напимѣръ о Жоржъ Зандѣ, Викторѣ Гюго, Диккенсѣ, Теккереѣ и о лучшихъ представителяхъ нашей собственной беллетристики. Эгихъ писателей вы уже непременно прочтете, даже не для литературнаго образования, а просто для того, чтобы слѣдить за современнымъ развитіемъ европейской мысли. Тутъ, разумѣется, вамъ придется прочитаты много пустяковъ, напимѣръ: «Фанни» — Фейдо, «Саламбо» — Флобера и такія повѣсти Тургенева, какъ «Первая любовь» и «Призраки». Противъ этого не поможетъ ужъ никакой послѣдовательный реализмъ. Чтобы приносить людямъ пользу, надо знать, что ихъ интересуетъ и о чемъ они въ данную минуту толкуютъ, а для этого приходится очень часто просматривать ничтожнѣйшіе романы, пробѣгать пустѣйшіе номера журналовъ и газетъ и выслушивать отъ разныхъ добродушныхъ личностей еще болѣе пустыя разсужденія. Кто хочетъ заниматься психіатріей, тотъ поневолѣ долженъ выслушивать разсказы всякихъ Поприщинныхъ о пишкѣ алжирскаго дѣя. Но и психіатру нѣтъ особенной надобности читать въ пыльныхъ архивахъ и библіотекахъ умозрѣнія вѣхъ тѣхъ Поприщинныхъ, которые жили раньше насъ и которыхъ бредни, на бѣду нашу, не затерялись.

Изъ всего, что я говорилъ съ самаго начала этой статьи, читатель видитъ ясно, что я отношусь съ глубокимъ и совершенно искреннимъ уваженіемъ къ первокласснымъ поэтамъ вѣхъ и народовъ. Задача реалистической критики въ отношеніи ко всей массѣ литературныхъ памятниковъ, оставленныхъ намъ отжившими поколѣніями, состоитъ именно въ томъ, чтобы выбрать изъ этой массы то, что можетъ содѣйствовать нашему умственному развитію и объяснить, какимъ образомъ мы должны распоряжаться съ этимъ отборнымъ матеріаломъ. Такая обширная задача не по силамъ одному человѣку, но я, съ своей стороны, постараюсь все-таки со временемъ подвинуть это дѣло впередъ, представляя моимъ читателямъ рядъ критическихъ статей о тѣхъ писателяхъ, которыхъ чтеніе я считаю необходимымъ для общаго литературнаго образования каждаго мыслящаго человѣка.

Въ этой статьѣ я, разумѣется, могу только указать на эту задачу и ограничиться неопредѣленнымъ обѣщаніемъ. — Но у реалистической критики есть и другая задача, можетъ-быть еще болѣе серьезная. Дѣлая строгую оцѣнку литературнымъ трудамъ прошедшаго, она должна еще внимательнѣе и строже слѣдить за развитіемъ литературы въ настоящемъ. Здѣсь на ней

лежитъ обязанность быть несравненно болѣе разборчивой и требовательной. Когда мы говоримъ напимѣръ о Шекспирѣ, мы просто беремъ у него то, что находимъ въ наличности. Что есть — за то спасибо; чего нѣтъ — не взыщите; на нѣтъ и суда нѣтъ. Наряжать надъ Шекспиромъ слѣдствіе по тому вопросу, былъ ли онъ прогрессистомъ или ретроградомъ, — смѣшно, нелѣпо и несправедливо, по той простой причинѣ, что люди XVI вѣка еще не имѣли понятія о такомъ прогрессѣ, который охватываетъ всѣ оглавленія общественной жизни и всѣ отрасли человѣческаго мышленія. Но если бы въ наше время появился поэтъ съ громаднымъ талантомъ и если бы онъ, подобно Шекспиру, посвятилъ лучшія силы своего таланта на создаваніе историческихъ драмъ, то реалистическая критика имѣла-бы полное право отнестись очень сурово къ тому обстоятельству, что колоссальный талантъ отвергивается отъ интересовъ живой дѣйствительности и уходитъ въ область «безпечальнаго созерцанія», избрѣтеннаго «Отечественными Записками» или «Петербургскими Вѣдомостями».

Я твердо убѣжденъ въ томъ, что настоящій поэтъ, родившійся въ XIX вѣкѣ и получившій здоровое человѣческое образованіе, не можетъ быть ни ретроградомъ, ни индифферентистомъ. Стало бытъ, если въ произведеніяхъ даровитаго человѣка будутъ проглядывать допотопныя тенденціи или холодное равнодушіе къ живымъ потребностямъ современности, — реалистическая критика обязана внимательно разобрать причины такого ненормальнаго и вреднаго явленія. При ближайшемъ разсмотрѣніи дѣла непременно окажется или полное невѣжество даннаго субъекта, или односторонность развитія, или слабуміе, или молчаливость, или вообще что-нибудь способное испортить и сбить съ пути самые лучшіе задатки литературнаго дарованія. Эти результаты ближайшаго изслѣдованія реалистическая критика должна выставить на показъ въ самыхъ яркихъ краскахъ, для того, чтобы публика перестала обольщаться такимъ оракуломъ, которымъ говоритъ ей вредную галиматью или по крайней мѣрѣ отвлекаетъ ея вниманіе отъ полезнаго дѣла. Въ наше время можно быть реалистомъ и слѣдовательно полезнымъ работникомъ, не будучи поэтомъ; но быть поэтомъ и въ то-же время не быть глубокимъ и сознательнымъ реалистомъ — это совершенно невозможно. Кто не реалистъ, тотъ не поэтъ, а просто даровитый неучъ, или ловкій шарлатанъ, или мелкая, но самолюбивая козявка. Отъ всей этой назойливой твари реалистическая критика должна тщательно оберегать умы и карманы читающей публики.

XXXVIII.

Если вы предложите мнѣ вопросъ: есть-ли у

нашъ въ Россіи замѣчательные поэты? — то я вамъ отвѣчу безъ всякихъ обиняковъ, что у насъ ихъ нѣтъ, никогда не было, никогда не могло быть — и по всей вѣроятности очень долго еще не будетъ. У насъ были или зародыши поэтовъ, или пародіи на поэта. Зародышами можно назвать Лермонтова, Гоголя, Полежаева, Крылова, Грибоѣдова; а къ числу пародій я отношу Пушкина и Жуковского. Первые остались на всю жизнь въ положеніи зародышей, потому что имъ нечѣмъ было питаться и некуда было развиваться. Силы-то у нихъ были, но не было ни впечатлѣній, ни простора. Поэтому ничего и не вышло, кромѣ одностороннихъ попытокъ и недодуманныхъ зачатковъ разумнаго міросозерцанія.

Въ самомъ дѣлѣ, что такое «Мертвыя Души»? Изображалъ человѣкъ «бѣдность, да бѣдность, да несовершенства нашей жизни», и все шло хорошо и умно; а потомъ вдругъ, въ самомъ концѣ, пустил безсмысленнѣйшее воззваніе къ Россіи, которая будто-бы куда-то мчится, какъ бѣшеная тройка, да такъ шибко мчится, что остальные народы только ротъ развѣваютъ и диву даются. И кто тянулъ изъ него эту дифирамбическую тираду? Рѣшительно никто. Такъ сама собой вылилась, отъ полноты невѣжества и отъ непривычки къ широкому обобщенію фактовъ. И вышла чепуха: съ одной стороны «бѣдность», а съ другой — такая быстротаразвитія, что любодорого. Ничего цѣльнаго и не оказалось. И уже въ этомъ лирическомъ порывѣ сидятъ зачатки второй части «Мертвыхъ Душъ» и знаменитой «Переписки съ друзьями».

А что такое басни Крылова? Робкіе намеки на сильный умъ, который никогда не можетъ и не осмѣлится развернуться во всю свою ширину.

Но эти зародыши все-таки заслуживаютъ наше уваженіе, заслуживаютъ именно тѣмъ, что не могли развернуться. Значитъ, при благоприятныхъ обстоятельствахъ изъ этихъ элементовъ могло выработаться что-нибудь порядочное. Но о людяхъ второй категоріи, о пародіяхъ на поэта, намъ приходится высказать совершенно противоположное мнѣніе. Эти люди процвѣтали «яко крикъ», щебетали, какъ птицы нѣвѣія, и совершили «въ предѣлѣхъ земномъ все земное», то-есть все, что они были способны совершить. Въ произведеніяхъ этихъ людей нѣтъ никакихъ признаковъ болѣзненности или изуродованности. Имъ было весело, легко и хорошо жить на свѣтѣ, и это обстоятельство конечно останется вѣчнымъ пятномъ на ихъ православныхъ именахъ. Впрочемъ нѣтъ, — не *стѣнныя*. Такъ какъ эти господа уже теперь нигдѣ не связаны съ современнымъ развитіемъ нашей умственной жизни, то мы можемъ налѣяться, что ихъ прославленные имена скоро забудутся или по крайней мѣрѣ превратятся для русскихъ людей въ такіе

же пустые звуки, въ какіе уже давно превратились имена Ломоносова, Сумарокова, Державина и всякихъ другихъ бардовъ прошлаго столѣтія. Съ именемъ Жуковского уже совершилось это превращеніе, но Пушкина мы все еще не рѣшаемся забыть, или, вѣришь, мы боимся признаться самимъ себѣ, что мы его почти совсѣмъ забыли. О Пушкинѣ до сихъ поръ бродятъ въ обществѣ разные недѣльные слухи, пущенные въ ходъ эстетическими критиками; общество не сличаетъ этихъ слуховъ съ существующими фактами, но повторять ихъ съ чужого голоса и, по старой привычкѣ къ этимъ слухамъ, считаетъ ихъ за непереложную истину, не требующую никакихъ доказательствъ. Говорятъ напримѣръ, что Пушкинъ — великій поэтъ, и всѣ этому вѣрятъ. А на повѣрку выходитъ, что Пушкинъ, просто великій стилистъ, и больше ничего. Говорятъ далѣе, что Пушкинъ основалъ нашу новѣйшую литературу, и этому тоже вѣрятъ. И это тоже вздоръ. Новѣйшую литературу основалъ не Пушкинъ, а Гоголь. Пушкину мы обязаны только нашими милыми лириками, а подъ вліяніемъ Гоголя сформировались Тургеневъ, Нисемскій, Некрасовъ, Островскій, Достоевскій; да кромѣ того произведенія Гоголя дали рѣшительнымъ толчокъ нашей реальной критикѣ.

Многимъ читателямъ мои размышленія о Пушкинѣ покажутся возмутительно дерзкими. Я самъ съ своей стороны признаю за читателемъ полное право требовать отъ меня серьезныхъ и подробныхъ фактическихъ доказательствъ, но теперь, въ этой статьѣ, я все-таки не буду распространяться о литературной дѣятельности великаго Пушкина. Объ этомъ мы поговоримъ впоследствии. Тогда я представлю моимъ читателямъ рядъ статей подъ заглавіемъ «Пушкинъ и Вѣлинскій». Въ этихъ будущихъ статьяхъ я разберу дѣятельность прославленнаго поэта и постараюсь, съ точки зрѣнія послѣдовательнаго реализма, перерѣшить тѣ вопросы, которые Вѣлинскій рѣшалъ на основаніи эстетическихъ догматовъ, потерявшихъ для насъ всю свою обязательную силу.

Въ настоящее время у насъ также нѣтъ поэтовъ; наше общество все еще слишкомъ неподвижно, чтобы содѣйствовать развитію тѣхъ высшихъ силъ ума и чувства, которыми долженъ обладать гениальный поэтъ. Но между нашими литераторами есть нѣсколько умныхъ и доросовѣстныхъ работниковъ, помѣщающихъ въ различныхъ журналахъ романы, повѣсти и драматическія произведенія. Дѣятельность этихъ людей никакъ нельзя назвать безплодной. Они заставляютъ своихъ читателей задумываться надъ различными вопросами всендневной жизни; они даютъ реальной критикѣ удобный случай разъяснить эти вопросы. Публика прислушивается къ этимъ разъясненіямъ, и смыслъ поэмного начинается шевелиться, медленно проса-

чиваясь въ такіе темные углы, которые съ поконъ вѣку были совершенно незнакомы съ подобной роскошью.

При самомъ бѣгломъ взглядѣ на современныя литературы всѣхъ цивилизованныхъ народовъ вы тотчасъ замѣтите тотъ общій фактъ, что надъ всѣми отраслями поэтическаго творчества далеко преобладаетъ такъ-называемый *гражданскій эпосъ* или, проще, — романы, повѣсти и рассказы. Романъ втянулъ въ себя всю область поэзіи, а для лирики и для драмы остались только кое-какіе крошечные уголки. Если на примѣръ въ годъ будетъ напечатано *сто* листовъ драматическихъ произведеній и лирическихъ стиховъ, то можно сказать навѣрное, что въ тотъ-же промежутокъ времени появится по крайней мѣрѣ *тысяча* листовъ романовъ, повѣстей и рассказовъ. А еслибы мы могли сравнить цифры читателей, то перевѣсъ *гражданскаго эпоса* безъ сомнѣнія оказался-бы еще поразительнѣе. Далеко не мѣшаетъ замѣтить, что романы въ стихахъ или эпическихъ поэмахъ въ наше время сдѣлались невозможными и что эту невозможность признали наконецъ сами эстетики.

Это рѣшительное преобладаніе романа, и притомъ романа въ прозѣ, показываетъ очевидно, что въ отношеніяхъ читающаго общества къ поэзіи совершился глубокой и радикальный переворотъ. Въ былое время на первомъ планѣ стояла *форма*; читатели восхищались совершенствомъ внѣшней техники и вслѣдствіе этого безусловно предпочитали стихи прозѣ. Еще во второй половинѣ прошлаго столѣтія Вольтеръ, превознося Фенелона «Телемака», говоритъ въ то-же время, что все-таки «Телемака» невозможно сравнить съ эпическими поэмами, потому что самая посредственная поэма, написанная стихами, стоитъ неизмѣримо выше превосходнѣйшаго романа въ прозѣ. Теперь, напротивъ того, вниманіе читателей безраздѣльно направляется на *содержаніе*, то есть на мысль. Отъ *формы* требуютъ только, чтобы она не мѣшала содержанію, то-есть, чтобы тяжелые и запутанные обороты рѣчи не затрудняли собой развитіе мысли. По нашимъ теперешнимъ понятіямъ, красота языка заключается единственно въ его ясности и выразительности, то-есть исключительно въ тѣхъ качествахъ, которые ускоряютъ и облегчаютъ переходъ мысли изъ головы писателя въ голову читателя. Достоинство телеграфа заключается въ томъ, чтобы онъ передавалъ извѣстія быстро и вѣрно, а никакъ не въ томъ, чтобы телеграфная проволока изображала собой разныя извилины и арабески. Эту простую истину нашъ практическій вѣкъ понемногу, самъ того не замѣчая, приложилъ къ области поэтическаго творчества. Языкъ сдѣлался тѣмъ, чѣмъ онъ долженъ быть, именно средствомъ для передачи мысли. Форма подчинилась содержанію, и съ этого времени укладываніе мысли въ раз-

мѣренные и рѣмованные строчки стало казаться всѣмъ здравомыслящимъ людямъ ребяческой забавой и напрасной тратой времени. По привычкѣ къ старицѣ, мы еще не рѣшаемся громко сознаться въ томъ, что мы дѣйствительно такъ смотримъ на это дѣло, но живые факты сами говорятъ за себя. Общее число писателей и читателей увеличивается, и въ то же время число стихотворцевъ и стихолюбителей уменьшается. Стихотворцы отходятъ на второй планъ. Кто на примѣръ стоитъ во главѣ современной англійской литературы? Ужъ конечно не Теннисонъ, а Диккенсъ, Теккерей, Тrollopъ, Эллиотъ, Булверъ, то-есть все прозаики и все романисты. Какія сочиненія Виктора Гюго извѣстны всей читающей Европѣ? Не лирика и не трагедія, а «Notre Dame de Paris» и «Les Misérables» — два романа, написанные прозой.

Романъ настолько-же удобнѣе всѣхъ остальныхъ видовъ поэческаго творчества, насколько современныи сюртукъ и прическа удобнѣе костюмовъ и париковъ, бывшихъ въ модѣ при Людовикѣ XIV. Романистъ распоряжается своимъ матеріаломъ, какъ ему угодно; описанія, размышленія, психологическіе анализы, историческія бытовія и экономическія подробности, — все это съ величайшимъ удобствомъ входитъ въ романъ и все это почти совсѣмъ не можетъ войти въ драму. О лирикѣ ужъ и говорить нечего. Кромѣ того романъ оказывается самой *полезной* формой поэческаго творчества. Когда писатель хочетъ предложить на обсужденіе общества какую-нибудь психологическую задачу, тогда романъ оказывается необходимымъ и незамѣнимымъ средствомъ. Въ обществѣ и въ семействѣ ежеминутно случаются между различными типами и характерами болѣе или менѣе рѣзкія и болѣзненные столкновенія. При подобныхъ столкновеніяхъ обѣ стороны очень часто считаютъ себя правыми. Когда дѣло идетъ о денежномъ интересѣ, тогда начинается разорительный судебный процессъ. Когда-же затронутъ вопросъ, входящій въ область чувства или мысли, тогда (сводъ законовъ, разумѣется, молчать, и дѣло можетъ быть рѣшено только приговоромъ или, вѣрнѣе, вліяніемъ общественнаго мнѣнія. Но въ неразвитомъ обществѣ общественное мнѣние чрезвычайно слабо; это мнѣніе складается изъ толковъ сосѣдей и знакомыхъ, которые проносятъ свои сужденія ошунью, на авось, подъ вліяніемъ своихъ мельчайшихъ симпатій и антипатій. При каждомъ огласившемся столкновеніи между отцомъ и сыномъ, братомъ и сестрой, мужемъ и женой обѣ вѣяющія стороны непременно находятъ себѣ между сосѣдами и знакомыми усердныхъ утѣшителей и краснорѣчивыхъ защитниковъ. Эти господа своимъ участіемъ всегда разстраиваютъ ссору и увеличиваютъ упорство враждующихъ личностей. Иной добродушный человекъ, обдумавши на досугъ свой поступокъ, могъ-бы

почувствовать, что онъ въ самомъ дѣлѣ ошибся и обидѣлъ ни за грошъ своего ближняго, но когда этотъ человѣкъ встрѣчаетъ въ своихъ знакомыхъ полное сочувствіе, когда посторонніе люди совершенно искренно доказываютъ ему, что онъ-то самъ и есть угнетенная невинность, тогда очевидно безпристрастное обсужденіе собственныхъ ошибокъ становится чрезвычайно затруднительнымъ и глупѣйшая ссора отравляется вслѣдствіе этого двѣ человѣческія жизни, которыя могли бы протекать рядомъ въ вожделѣнномъ согласіи. Множество неприятностей и мелкихъ страданій, истощающихъ человѣческія силы и опешляющихъ человѣческую личность, происходитъ такимъ образомъ отъ слѣпоты или неразвитости общественнаго мнѣнія, отъ поголовнаго неумѣнія опредѣлять тѣ границы, внутри которыхъ отдѣльная личность можетъ развертывать свои силы, не посягая на свободу и на человѣческое достоинство другихъ личностей.

Самымъ могущественнымъ средствомъ для правильнаго развитія общественнаго мнѣнія является конечно общественная жизнь. Когда общество заботится о собственныхъ интересахъ, тогда оно быстро выучивается контролировать поступки и убѣждения своихъ отдѣльныхъ членовъ. Но такъ какъ развитіе общественной жизни зависитъ не отъ литературы, а отъ историческихъ обстоятельствъ, то мнѣ не зачѣмъ и распространяться объ этомъ щекотливомъ предметѣ.

Вторымъ средствомъ, гораздо менѣе могущественнымъ, но все-таки не совсемъ ничтожнымъ, является вліяніе литературы. Задавать обществу психологическія задачи, показывать ему столкновенія между различными страстями, характерами и положеніями, наводить его на размышленія о причинахъ этихъ столкновений и о средствахъ устранить подобныя испріятности, заставлять его сочувствовать въ книгѣ тому лицу или поступку, противъ котораго оно (общество) вооружилось бы въ дѣйствительной жизни вслѣдствіе своихъ закоренѣлыхъ предубѣжденій, — все это значитъ формировать общественное мнѣніе, значить — говорить обществу: взглядывайся, вдумывайся въ свою собственную жизнь, выметай изъ нея, хотя понемногу, тотъ мусоръ ложныхъ понятій, на которомъ живые люди, твои-же собственные члены, спотыкаются и ломаютъ себѣ ноги!

Въ рѣшеніи чисто-психологическихъ вопросовъ романъ незамѣнимъ; напротивъ того, въ рѣшеніи чисто-соціальнахъ вопросовъ романъ долженъ уступить первое мѣсто серьезному изслѣдованію. Но такъ какъ чисто-соціальныя интересы почти всегда сплетаются съ интересомъ чисто-психологическимъ, то романъ можетъ принести очень много пользы даже для разъясненія соціальнаго вопроса. Представьте себѣ напримѣръ что васъ поразили вседневныя явленія во-

пьющей человѣческой бѣдности. Если вы съ своей стороны хотите сдѣлать вашимъ умственнымъ трудомъ что-нибудь для облегченія этого зла, то вы, разумеется, должны изучить причины и видоизмѣненія бѣдности, собрать какъ можно больше сырыхъ фактовъ и достовѣрныхъ статистическихъ цифръ, привести все эти матеріалы въ порядокъ и вывести ваши послынные практическія заключенія. Трудъ вашъ окажется такимъ образомъ серьезнымъ изслѣдованіемъ и дѣловымъ проэктомъ. Его прочитаютъ и обдумаютъ тѣ люди, которые имѣютъ возможность и желаніе осуществлять въ дѣйствительной жизни общепользныя идеи кабинетныхъ мыслителей. Такъ напримѣръ, въ 1860 году Эмиль Лоранъ издалъ очень дѣльную книгу о французскомъ пауперизмѣ и объ обществахъ взаимнаго вспоможенія. Эту книгу прочитали навѣрное все президенты подобныхъ обществъ, и нѣкоторыми изъ совѣтовъ Лорана воспользовались быть-можетъ тѣ префекты и мэры, которыхъ мысли не сосредоточены исключительно на прискиваніи средствъ для полученія ордена Почетнаго Легиона. Для такихъ читателей, разумеется, необходимы факты и цифры, а не картины трудовой жизни и душевной борьбы. — Но бѣдность порождаетъ развратъ и преступленіе, а общество обрушивается всей тяжестью своего гнѣва и презрѣнія на тѣхъ людей, которые споткнулись на трудномъ пути и которые могли бы снова подняться на ноги, еслибы ихъ не давило въ грязь все, что ихъ окружаетъ, и все, что, благодаря болѣе благоприятнымъ случайностямъ, успѣло сохранить наружный видъ чистоты и безукоризненности.

Если васъ поразила эта чисто-психологическая сторона бѣдности, то вы напишете романъ, и созданныя вами картины заставятъ многихъ изъ вашихъ читателей задуматься надъ той кровавой несправедливостью или, проще, надъ той поразительной тупостью, которую мы, люди добродѣтельные, обнаруживаемъ ежедневно въ нашихъ отношеніяхъ къ умственнымъ и нравственнымъ болѣзнямъ голоднаго и раздѣтаго человѣка. Романы Диккенса и Виктора Гюго направляются вовсе не къ тому, чтобы разжалобить толстыхъ филистеровъ и выпросить у нихъ копѣечку на пропитаніе вдовъ и сиротъ; эти романы доказываютъ намъ съ разныхъ сторонъ полную логическую несостоятельность всѣхъ нашихъ обычныхъ понятій о порокахъ и преступленіяхъ. Капля долбитъ камень *non vi, sed saepe cadendo* (не силой, но часто повторяющимся паденіемъ), и романы незамѣтно произведутъ въ нравахъ общества и въ убѣжденіяхъ каждаго отдѣльнаго лица такой радикальный переворотъ, какого не произвели-бы безъ ихъ содѣйствія никакіе философскіе трактаты и никакія ученыя изслѣдованія. — Поэтому каждый послѣдовательный реалистъ видитъ въ Диккенсѣ, Теккерѣ,

Троллопъ, Джоржъ Зандъ, Гюго замѣчательныхъ поэтовъ и чрезвычайно полезныхъ работниковъ нашего вѣка. Эти писатели составляютъ своими произведениями живую связь между передовыми мыслителями и полубразованной толпой всякаго пола, возраста и состоянія. Они — популяризаторы разумныхъ идей по части психологии и физиологии общества, а въ настоящую минуту добросовѣстные и даровитые популяризаторы по крайней мѣрѣ такъ-же необходимы, какъ оригинальные мыслители и самостоятельные изслѣдователи.

Мы вовсе не требуемъ отъ романистовъ, чтобы всѣ они непременно описывали страданія бѣдняковъ или показывали намъ человѣка въ преступникѣ. По нашему мнѣнію, каждый романистъ, разрѣшающій какую-нибудь психологическую задачу, поставленную естественнымъ теченіемъ дѣйствительной жизни, — приноситъ обществу существенную пользу и по мѣрѣ силъ своихъ исполняетъ обязанность честнаго гражданина и развитого человѣка. Частная жизнь и семейный бытъ, наравнѣ съ экономическими и общественными условиями нашей жизни, должны обращать на себя постоянное вниманіе мыслящихъ людей и даровитыхъ писателей. Чтобы упрочить за собой глубочайшее уваженіе реалистовъ, романистъ или поэтъ долженъ только постоянно, такъ или иначе, служить живому дѣлу дѣйствительной, современной жизни. Онъ не долженъ только превращать свою дѣятельность въ безцѣльную забаву праздной фантазіи. Я надѣюсь, что даже эстетика не станутъ заступаться за Дюма, за Феваля, за Поль-де-Кока. Но очень правдоподобно, что они уважаютъ Вальтеръ Скотта и Купера. А мы ихъ нисколько не уважаемъ и вообще считаемъ историческимъ романъ за одно изъ самыхъ бесполезныхъ проявленій поэтического творчества. Вальтеръ Скоттъ и Куперъ — усыпители человѣчества. Что они люди очень даровитые — противъ этого я не спорю. Но тѣмъ хуже. Тѣмъ-то они и вредны, что ихъ произведения читаются съ удовольствіемъ и создаютъ цѣлыя школы подражателей. А что выносить читатель изъ этихъ романовъ? Ничего, ни одной новой идеи. Рядъ картинъ и арабесковъ. То-же самое, что ребенокъ выносить изъ волшебной сказки. Въ наше время, когда надо смотрѣть въ оба глаза и работать обѣими руками, стыдно и предосудительно уходить мыслью въ мертвое прошлое, съ которымъ всѣмъ порядочнымъ людямъ давно пора разорвать всякія связи.

### XXIX.

Съ самаго начала этой статьи я все говорилъ только о поэзи. Обо всѣхъ другихъ искусствахъ: пластическихъ, тоническихъ и мимическихъ, я выскажусь очень коротко и совершенно ясно. Я чувствую къ нимъ глубочайшее

равнодушіе. Я рѣшительно не вѣрю тому, чтобы эти искусства какимъ-бы то ни было образомъ содѣйствовали умственному или нравственному совершенствованію человѣчества. Вкусы человѣческіе безконечно разнообразны: одному желательно выпить передъ обѣдомъ рюмку очищенной водки; другому — выкурить послѣ обѣда трубку махорки; третьему — побаловаться вечеромъ на скрипкѣ или на флейтѣ; четвертому — придти въ восторгъ и въ ужасъ отъ взвизгиваній Ольриджа въ роли Отелло. Ну, и безподобно. Пускай угѣшаются. Все это я понимаю. Понимаю я также, что двумъ любителямъ очищенной водки, или Ольриджа, или виолончели пріятно побесѣдовать между собой о совершенствахъ любимаго предмета и о тѣхъ средствахъ, которыя слѣдуетъ употребить для того, чтобы придать любимому предмету еще болѣе высокія совершенства. Изъ такихъ специальныхъ бесѣдъ могутъ образоваться спеціальныя общества. Напримѣръ «общество любителей водки», «общество любителей неовой охоты», «общество театраловъ», «общество любителей слоеныхъ пирожковъ», «общество любителей музыки» и такъ далѣе, впродъ до безконечности. У такихъ обществъ могутъ быть свои уставы, свои выборы, свои парламентскіе дебаты, свои убѣжденія, свои журналы. Такія общества могутъ раздавать патенты на гениальность. Вслѣдствіе этого могутъ появиться на свѣтъ великіе люди самыхъ различныхъ сортовъ: великій Бетховенъ, великій Рафаэль, великій Кацова, великій шахматный игрокъ Морфи, великій поваръ Дюссо, великій маркеръ Тюря. Мы можемъ только радоваться этому обилію человѣческой гениальности и осторожно проходить мимо всѣхъ этихъ «обществъ любителей», тщательно скрывая улыбку, которая невольно напрашивается на наши губы и которая можетъ раздражить очень многихъ гусей. Впрочемъ отрицать совершенно практическую пользу живописи мы конечно не рѣшимся. Черченіе плановъ необходимо для архитектуры. Почти во всѣхъ сочиненіяхъ по естественнымъ наукамъ требуются рисунки. Въ настоящую минуту передо мной лежитъ великолѣпная книга Брема: «Illustrirtes Thierleben» («Иллюстрированная жизнь животныхъ»), и эта книга показываетъ мнѣ самымъ нагляднымъ образомъ, до какой степени даровитый и образованный художникъ можетъ своимъ карандашомъ помогать натуралисту въ распространеніи полезныхъ знаній. Но вѣдь ни Рембрандтъ, ни Тицианъ не стали-бы рисовать картинки для популярнаго сочиненія по зоологій или по ботаникѣ. А ужъ какимъ образомъ Моцартъ и Фанни Эльслеръ, Тальма и Рубини ухитрились-бы пристроить свои великія дарованія къ какому-нибудь разумному дѣлу, этого я даже и представить себѣ не умѣю. Пусть помогутъ мнѣ въ этомъ за-

трудолюбивомъ обстоятельствѣ эстетики «Эпохи» и «Библиотеки для Чтенія».

Любители всяческихъ искусствъ не должны гнѣваться на меня за легкомысленный тонъ этой главы. Свобода и терпимость прежде всего! Имъ нравится дуть въ флейту или изображать своей особой Гамлета, принца датскаго, или пестрить полотно масляными красками, а мнѣ нравится доказывать пасмысливымъ тономъ, что они никому не приносятъ пользы и что ихъ не за что ставить на пьедесталы. А забавамъ ихъ никто мѣшать не намѣренъ. За шиворотъ ихъ никто не тянетъ на полезную работу. Весело вамъ — ну, и веселитесь, милые дѣти!

### XXX.

Припомните вмѣстѣ со мной, мой читатель, какимъ образомъ васъ воспитывали и учили. Предположимъ на первый случай, что вы—сынъ богатаго помѣщика и живете вмѣстѣ съ вашими родителями въ какой-нибудь Тамбовской или Рязанской деревнѣ. Вамъ лѣтъ десять, вы безжалостно рвете и пачкаете ваши рубашечки, курточки и панталоны; вы лазаете по горамъ и подеревьямъ и сокрушаете каждый день вашу мамашу новыми синяками и царапинами, которые она постоянно усматриваетъ на вашемъ лицѣ и на вашихъ рукахъ. Наконецъ мамаша говоритъ папашѣ, что мальчикъ шибко балуется и что давно пора выписать для него строгаго гувернера, который серьезно присадилъ-бы его за умныя книжки. Папаша отѣчаетъ: хорошо! Вотъ продамъ обозъ пшеницы, съѣзжу недѣли на три въ Москву и отыщу тамъ подходящаго пѣмца или француза. Какъ сказано, такъ и сдѣлано. Получаючи деньги за пшеницу и часть этихъ денегъ употребляется на приобретіе того неизвѣстнаго господина, которымъ уже давно страшила васъ ваша мамаша. Незвѣстный господинъ объявляетъ папашѣ, что надо выписать такую-то ариметику, такую-то грамматику, такую-то географію и такъ далѣе. Папаша отириаетъ ту шкатулку, въ которой у него сыпана пшеница, превращенная въ кредитные билеты, и выдаетъ рублей 20 или 30 на покупку учебныхъ книгъ. Каждый годъ продаются обозы пшеницы, и каждый годъ часть вырученныхъ денегъ вручается вашему ментору, а другая часть превращается въ книги, глобусы, ландарты, аспидныя доски, писчую бумагу, стальные перья. Все это вы, какъ не насытная пучина, поглощаете съ той-же быстротой, съ какой вы въ былое время истребляли штаны и куртки. Положимъ, что все это идетъ вамъ впрокъ. Ваша любознательность пробуждается; вашъ умъ растетъ и укрѣпляется; вы всей душой привязываетесь къ вашему воспитателю; онъ рассказываетъ вамъ о своемъ студенчествѣ, и васъ самихъ начинаетъ тянуть въ университетъ, въ обѣтованную землю

труда и знанія. Родители ваши съ удовольствіемъ уступаютъ вашему желанію; несмотря на вашу юношескую робость, вы превосходно выдерживаете вступительный экзамень и съ замѣраніемъ сердца входите въ обѣтованную землю. Съ этой минуты часть пшеницы, превращенная въ деньги, поступаетъ въ ваше собственное распоряженіе; вы сами заботитесь о своемъ костюмѣ, сами покупаете себѣ книги, сами позволяете себѣ удовольствія. Допустимъ, что все это вы дѣлаете вполне благоразумно; въ одеждѣ нѣтъ роскоши, въ чтеніи вашемъ господствуетъ строгая послѣдовательность, удовольствія выбираются такіе, которые дѣйствительно оовѣщаютъ ваши силы для новаго труда; все эо превосходно; но въдѣ все это до сихъ норъ было только поглощеніемъ пшеницы, превращенной въ сукно, въ голландское полотно, въ дѣльные книги, въ театральные и концертные билеты, въ профессорскія лекціи, въ умныя мысли и въ высокія стремленія. Всякій человѣкъ, собирающийся работать, долженъ непременно поглотить сначала извѣстное количество продукта, уже выработаннаго другими людьми; онъ можетъ поглотить его глупо, то-есть разстроить себѣ желудокъ этимъ поглощеніемъ; можетъ поглотить умно, то-есть дѣйствительно подкрѣпить свои силы; по за то, что человѣкъ подкрѣпилъ свои силы, мы еще ничуть не обязаны говорить ему спасибо; надо посмотреть, что будетъ дальше. Дальше вы оказываетесь кандидатомъ, и передъ вами раскрывается жизнь. У васъ есть все, что нужно человѣку для счастья: здоровая молодость, развитой умъ, приличная наружность, обезпеченное состояніе; вамъ хочется жить, любить, мыслить и дѣйствовать. Чѣмъ захочу, думаете вы, тѣмъ и займусь; куда захочу, туда и поѣду; что захочу, то и сдѣлаю. Я самъ себѣ баринъ и никому не намѣренъ отдавать отчетъ въ своемъ образѣ жизни. Мое образованіе изощрило во мнѣ способность наслаждаться воѣмъ, что затрогиваетъ мысль и ласкаетъ чувство; поэтому я намѣренъ извлекать себѣ наслажденія изъ любви, изъ науки, изъ искусства, изъ живой природы; все—мое, а самъ я не принадлежу рѣшительно никому.

Такой взрывъ юношеской самостоятельности составляетъ очень обыкновенное, быть-можетъ даже неизбѣжное явленіе въ жизни каждой мыслящей и развивающейся личности. Но первый трезвый взглядъ на экономическую прозу жизни кладетъ конецъ этому взрыву. Вы начинаете соображать, что вы поглотили цѣлыя сотни четвертей видоизмѣненной пшеницы, и что каждая четверть соотвѣтствуетъ извѣстному количеству рабочихъ дней, конныхъ и пѣшихъ, мужскихъ и женскихъ. А я - то, думаете вы, какъ радовался обилію моихъ знаній; а я - то какъ гордился силой моего ума и тонкостью моего эстетическаго вкуса! Въдѣ смѣшно даже



подумать, къ чему приводится эта радость и эта гордость. Какой я въ самомъ дѣлѣ молодецъ! Какую гору пшеницы я съѣлъ и переварилъ! А что — же я теперь собираюсь дѣлать? Наслаждаться прелестями молодой жизни, то-есть опять ѣсть и опять переваривать? Вѣдь надо же и честь знать. А если не честь, то надо-же знать по крайней мѣрѣ простыя правила ариеметики. Если постоянно вычитать изъ общественнаго капитала, то наконецъ весь капиталъ уничтожится и общество придетъ къ банкротству. Я взялъ въ займы чужой трудъ; теперь надо же уплачивать этотъ долгъ. А чѣмъ его уплачивать? Деньгами, что-ли? Очевидная невозможность. Эго значить занимать у Ивана, чтобы отдавать Петру. За трудъ можно платить только трудомъ. Сначала другіе люди работали для меня, а теперь я долженъ работать для другихъ людей. Я весь принадлежу тому обществу, которое меня сформировало; всѣ силы моего ума составляютъ результатъ чужого труда, и если я буду разбрасывать эти силы на разныя пріятныя глупости, то я окажусь несостоятельнымъ должникомъ и злостнымъ банкротомъ, хотя можетъ — быть никто не назоветъ меня этимъ позорнымъ именемъ и даже не замѣтитъ, что я поступаю безчестно, то-есть становлюсь врагомъ того самаго общества, которому я обязанъ рѣшительно всѣмъ.

Когда вы придете къ такимъ серьезнымъ заключеніямъ, тогда безцѣльное наслажденіе жизнью, наукой, искусствомъ окажется для васъ невозможнымъ. Останется только одно наслажденіе, — то, которое выходитъ изъяснаго сознанія, что вы приносите людямъ дѣйствительную пользу, что вы уплачиваете понемногу накопившуюся массу вашихъ долговъ и что вы твердыми шагами, не сворачивая ни вправо, ни влѣво, идете впередъ, къ общей цѣли всей вашей жизни. Да, жизнь есть постоянный трудъ, и только тотъ понимаетъ ее вполнѣ по человѣчески, кто смотритъ на нее съ этой точки зрѣнія. И любовь къ женщинамъ, и искусство, и наука, — все это или вспомогательныя средства въ общемъ механизмѣ жизненнаго труда, или минуты отдыха въ антрактахъ между оконченной работой и началомъ новаго дѣла. О любви къ женщинамъ и объ искусствѣ я уже говорилъ выше. Теперь будемъ говорить о наукѣ. Но сначала надо сдѣлать еще нѣсколько общихъ замѣчаній.

Для большей простоты анализа я предположилъ въ первыхъ строкахъ этой главы, что вы, мой читатель, — сынъ богатаго помѣщика и что вы воспитывались на деньги вашихъ родителей. При этомъ условіи отношенія вашего воспитанія къ пшеницѣ и къ рабочимъ днямъ обрисовываются такъ ясно, что о нихъ больше не зачѣмъ и распространяться. Но еслибы я предположилъ, что вы — плебей и пролетарій, и

что вы сами тяжелымъ трудомъ завоевали себѣ каждую отдѣльную частицу вашего широкаго образованія, то даже и въ этомъ случаѣ настоящая сущность дѣла осталась — бы неизмѣнной. Все-таки окажется при внимательномъ разсмотрѣніи, что вы всѣмъ обязаны обществу, и что всѣ силы вашего развитого и укрѣпленнаго ума должны быть употреблены на постоянное служеніе дѣйствительнымъ интересамъ этого общества. Природа дала вамъ живой умъ и сильную любознательность. Но самыя превосходныя дары природы остаются мертвымъ капиталомъ, если вы живете въ такомъ обществѣ, въ которомъ еще не зародилась умственная дѣятельность. Тѣ вопросы, которые на каждомъ шагу задаютъ себѣ вашъ пытливый умъ, остаются безъ отвѣта; энергія ваша истрачивается на множество мелкихъ и бесплодныхъ попытокъ проникнуть въ затворенную область знанія; вы понемногу слабѣете, тупѣете, мельчаете и наконецъ миритесь съ вашимъ невѣжествомъ, какъ съ неизбѣжнымъ зломъ, которое наконецъ перестаетъ даже тяготить васъ. Въ нашемъ обширномъ отечествѣ было очень много гениальныхъ самородковъ, прожившихъ жпзнь безъ труда и безъ знанія по той простой причинѣ, что негдѣ, не у кого и некогда было учиться уму — разуму. Вѣроятно такіе печальные случаи повторяются довольно часто и въ наше время, потому что Россія велика, а свѣтильниковъ въ ней немного. Стало-быть, если вы — пролетарій и если вамъ постиглось наткнуться и или удалось отыскать такой свѣтильникъ, который уяснилъ вамъ смыслъ и цѣль человѣческаго существованія, то вы должны задать себѣ вопросъ: какими средствами зажечь этотъ спасительный свѣтильникъ? и какими матеріалами поддерживается его горѣніе? — Каковъ-бы ни былъ этотъ свѣтильникъ, университетъ, академія, образованный чловѣкъ, хорошій журналъ, умная книга, — все равно; во всякомъ случаѣ онъ стоитъ денегъ, а мы уже знаемъ, что деньги — не что иное, какъ пшеница, рожь, овесъ, ленъ, пенька или, еще проще, рабочіе дни, конные и пѣшіе, мужскіе и женскіе. Все богатство общества безъ исключенія заключается въ его трудѣ. Часть этого труда, тѣми или другими средствами, отдѣляется на то, чтобы создавать въ обществѣ умственный капиталъ. Ясное дѣло, что этотъ умственный капиталъ долженъ приносить обществу хорошіе проценты, иначе общество будетъ постоянно терпѣть убытки и постоянно приближаться къ окончательному разоренію. Примѣры такихъ разореній уже бывали въ исторіи. Такое разореніе называется надѣшемъ цивилизаціи, и каждый ученикъ уѣзднаго училища долженъ знать, что уже нѣсколько цивилизацій, повидимому сильныхъ и цвѣтущихъ, упало и уничтожилось безъ остатка.

## XXXI.

Человѣческій трудъ весь цѣликомъ основанъ на наукѣ. Мужикъ *знаетъ*, когда надо сѣять хлѣбъ, когда жать или косить, на какой землѣ можетъ родиться хлѣбъ и какого снадобя надо подбавить въ землю, чтобы урожай былъ обильнѣе. Все это онъ знаетъ очень смутно и въ самыхъ общихъ чертахъ, но тѣмъ не менѣе это — зародыши науки, первыя попытки человѣка уловить тайны живой природы. Въ свое время эти простыя наблюденія человѣка надъ особенностями земли, воздуха и растений были великими и чрезвычайно важными открытіями; именно по своей важности они сдѣлались общимъ достоинствомъ трудящейся массы; они навсегда слились съ жизнью, и въ этомъ отношеніи они оставили далеко за собой всѣ послѣдующія открытія, болѣе замысловатыя и до сихъ поръ еще не успѣвшія пробить себѣ дорогу въ трудовую жизнь простого и бѣднаго человѣка. Въ настоящее время физическій трудъ и наука на всемъ пространствѣ земного шара находятся между собой въ полномъ разрывѣ. Физическій трудъ преобладаетъ до сихъ поръ тѣми жалкими начатками науки, которые выработаны человѣческимъ умомъ въ до- историческія времена; а наука въ это время накапливаетъ груды великихъ истинъ, которыя остаются почти безплодными, потому что масса не умѣетъ ни понимать ихъ, ни пользоваться ими.

Читатель мой вѣроятно привыкъ читать и слышать, что девятнадцатый вѣкъ есть вѣкъ промышленныхъ чудесъ; вслѣдствіе этого читателю покажутся странными мои слова о разрывѣ между физическимъ трудомъ и наукой. Да, точно. Люди понемногу начинаютъ браться за умъ, но они берутся за него такъ вяло и такъ плохо, что мои слова о разрывѣ никакъ не могутъ считаться анахронизмомъ. Промышленными чудесами рѣшительно не слѣдуетъ обольщаться. Паровозъ, пароходъ, телеграфъ — все это штуки очень хорошія и очень полезныя, но существованіе этихъ штукъ доказываетъ только, что есть на свѣтѣ правительства и акціонерныя компаніи, которыя понимаютъ пользу и важное значеніе подобныхъ открытій. Русский мужикъ ѣдетъ по желѣзной дорогѣ; купецъ телеграфируетъ другому купцу о какой-нибудь перемѣнѣ цѣны. Мужикъ размышляетъ, что славная эта штука чугунокъ; купецъ тоже философствуетъ, что очень хитро устроена эта проволока. Но скажите на милость: пробуждаютъ-ли эти промышленныя чудеса самодѣятельность мысли въ головахъ мужика и купца? Проѣхалъ мужикъ по чугункѣ, воротился въ свою курную избу и попрежнему ведетъ дружбу съ тараканами, попрежнему лечится нашептываніями знахарки и попрежнему обрабатываетъ допотопными орудіями свою землю,

которая попрежнему остается раздѣленной на три кліна — озимый, яровой и паръ. А купецъ, отпавивъ телеграфическую депешу, попрежнему отбѣраетъ силой у своихъ дѣтей всякія кнѣжки и попрежнему твердо убѣжденъ въ томъ, что торговать безъ обмана значитъ быть сумасшедшимъ; человѣкомъ и стремиться къ неизбежному разоренію. Паровозъ и телеграфъ пришиты снаружи къ жизни мужика и купца, но они нисколько не срослись съ ихъ полудикой жизнью.

Когда простой человѣкъ, оставаясь простымъ и темнымъ человѣкомъ, входитъ въ близкія и ежедневныя сношенія съ промышленными чудесами, тогда его положеніе становится уже изъ рукъ вонъ плохо. Посмотрите, въ какихъ отношеніяхъ находятся между собой фабричная машина и фабричный работникъ. Чѣмъ сложнѣе и великолѣпнѣе машина, тѣмъ тупѣе и бѣднѣе работникъ. На фабрикѣ являются два совершенно различные вида человѣческой породы: одинъ видъ господствуетъ надъ природой и силой своего ума подчиняетъ себѣ стихіи; другой видъ находится въ услуженіи у машины, не умѣетъ понять ея сложное устройство и даже не задаетъ себѣ никакихъ вопросовъ о ея пользѣ, о ея цѣли, о ея вліяніи на экономическую жизнь общества. До вопросовъ-ли тутъ, когда надо подкладывать уголь подъ котелъ или ежеминутно открывать и закрывать какой-нибудь клапанъ? И такимъ образомъ машина, изобрѣтенная знающимъ человѣкомъ, подавляетъ незнающаго человѣка, подавляетъ потому, что между наукой съ одной стороны и трудящейся массой съ другой стороны лежитъ широкая бездна, которую долго еще не ухитрятся завалить самые великіе и самые человѣколюбивые мыслители. Если работникъ такъ мало развитъ, что у него нѣтъ сознательнаго чувства самосохраненія, то машина закабалитъ этого работника въ самое безвыходное рабство, — въ то рабство, которое основано на умственной и вещественной бѣдности порабащаемой личности. Машины должны составлять для человѣчества источникъ довольства и счастья, а на повѣрку выходитъ совсѣмъ другая исторія: машины родятъ пауперизмъ, то есть хроническую и неизлечимую бѣдность. А почему это происходитъ? Потому что машины, какъ снѣгъ на голову, сваливаются изъ высшихъ сферъ умственного труда въ такую темную и жалкую среду, которая рѣшительно ничѣмъ не приготовлена къ ихъ принятію. Простой работникъ слишкомъ необразованъ, чтобы сдѣлаться сознательнымъ повелителемъ машины; поэтому онъ немедленно становится ея работн. Видите такимъ образомъ, что промышленныя чудеса превосходно уживаются съ тѣмъ печальнымъ и страшнымъ разрывомъ, который существуетъ между наукой и физическимъ трудомъ.

Вѣкъ машинъ требуетъ непремѣнно добровольныхъ ассоціацій между работниками, а такіе разумныя ассоціаціи возможны только тогда, когда работники находятся уже на довольно высокой степени умственного развитія. Если же работники, сталкиваясь съ машинами, продолжаютъ дѣйствовать въ разсыпную, то въ рабочемъ населеніи развиваются немедленно съ изумительной силой и быстротой бѣдность, тупость и деморализація. Представьте себѣ, что въ какомъ-нибудь округѣ пятьсотъ семействъ добываютъ себѣ насущный хлѣбъ производствомъ полотентъ. Заработки ихъ не очень богаты, но всё они по крайней мѣрѣ сыты, одѣты и даже откладываютъ кое-какіе гроши про черный день. Вдругъ какой-нибудь механикъ придумываетъ превосходный ткацкій станокъ, который приводится въ движеніе силой пара и производитъ въ одинъ день столько полотна, сколько простой работникъ сдѣлаетъ въ мѣсяцъ. Дай Богъ здоровья механику за его превосходное изобрѣтеніе, но для нашихъ пятисотъ семействъ новый ткацкій станокъ равняется страшному неурожаю, громадному пожару, наводненію или вообще какому-нибудь жестокому естественному бѣдствію. Новая машина такъ дорога, что ни одно семейство не въ силахъ купить ее на свои собственные сбереженные деньги, а работать по старому уже невозможно, потому что изобрѣтеніе механика произвело очень сильное пониженіе цѣнъ на полотно, и ручной трудъ уже не окупается. Еслибы двадцать или тридцать семействъ сложили вмѣстѣ свои крошечныя капиталы, то они могли-бы купить машину, устроить небольшую фабрику и потомъ дѣлить между собой барыши соразмѣрно съ внесенными суммами. Но можно сказать навѣрное, что они этого не сдѣлаютъ; во-первыхъ, никому изъ нихъ эта простая мысль не придетъ въ голову; во-вторыхъ—еслибы даже она пришла въ голову одному изъ этихъ работниковъ, то она не нашла-бы себѣ сочувствія въ другихъ работникахъ; сейчасъ явилось-бы на сцену то тупое и безпричинное недовѣріе, которымъ обыкновенно страдаютъ люди, не привыкшіе думать, и которое такъ превосходно воплощено Гоголемъ въ личности помѣщицы Коробочки; въ-третьихъ—еслибы даже компанія дѣйствительно составила, то она черезъ два-три мѣсяца распозлалась-бы врозь, потому что акціонеры, непривычные къ коллективной дѣятельности, перессорились-бы между собой, завели-бы кляузы и процессы или погубили-бы свое общее дѣло небрежностью. На основаніи всѣхъ этихъ и многихъ другихъ причинъ, компанія не составляется, и ткачи, задавленные превосходствомъ новой машины, прекращаютъ свое производство, отправляются на сосѣднюю фабрику и поступаютъ туда въ поденщики. Такимъ образомъ кладется краеугольный камень того прочнаго зданія, которое

называется пауперизмомъ. Какъ вамъ это правится? Практическое приложение научнаго открытія увеличиваетъ массу человѣческихъ страданій!

И такіа грагическія недоразумѣнія между наукой и жизнью будутъ повторяться до тѣхъ поръ, пока не прекратится гибельный разрывъ между трудомъ мозга и трудомъ мускуловъ. Пока наука не перестанетъ быть барской роскошью, пока она не сдѣлается насущнымъ хлѣбомъ каждаго здороваго человѣка, пока она не проникнетъ въ голову ремесленника, фабричнаго работника и простого мужика, до тѣхъ поръ бѣдность и безнравственность трудящейся массы будутъ постоянно усиливаться, несмотря ни на проповѣди моралистовъ, ни на подаянія филантроповъ, ни на выкладки экономистовъ, ни на теоріи социалистовъ. Есть въ человѣчествѣ только одно зло—невѣжество; противъ этого зла есть только одно лекарство—наука; но это лекарство надо принимать не гомеопатическими дозами, а ведрами и сороковыми бочками. Слабый пріемъ этого лекарства увеличиваетъ страданія больного организма. Сильный пріемъ ведетъ за собой радикальное исцѣленіе. Но трусость человѣческая такъ велика, что спасительное лекарство считается ядовитымъ.

### XXXII.

Надо распространять знанія—это ясно и несомнѣнно. Но *какъ* распространять?—вотъ вопросъ, который, заключая въ себѣ всю сущность дѣла, никакъ не можетъ считаться окончательно рѣшеннымъ. Взять въ руки азбуку и пойти учить грамотѣ мѣщанъ и мужиковъ—это конечно дѣло доброе; но не думаю я, чтобы эта филантропическая дѣятельность могла привести за собой то сліяніе науки съ жизнью, которое можетъ и должно спасти людей отъ бѣдности, отъ предрасудковъ и отъ пороковъ. Во-первыхъ, всѣ труды частныхъ лицъ по дѣлу народнаго образованія до сихъ поръ носятъ на себѣ или чисто-филантропическій, или нагло-спекулятивный характеръ. Во-вторыхъ, всякая школа, а народная тѣмъ болѣе, имѣетъ замѣчательную способность превращать самую живую науку въ самый мертвый учебникъ или въ самую приторную христоматию. Чистая филантропія проявлялась у насъ въ тѣхъ школахъ, въ которыхъ преподаватели занимались своимъ дѣломъ бесплатно. Наглая спекуляція свирѣпствуетъ до сихъ поръ въ тѣхъ книжкахъ для народа, которыя продаются по пятачку и по три копейки. Объ этомъ послѣднемъ явленіи распространяться не стоитъ, потому что каждая изъ подобныхъ книжекъ собственной наружностью кричитъ достаточно громко о своей непереносимой глупости. Но о филантропіи поговорить не мѣшаетъ, потому что филантропическая дѣятельность притягиваетъ къ себѣ силы очень хо-

роших людей, которые могли бы принести общему дѣлу гораздо больше пользы, еслибы принимались за работу иначе.

Итъ того добраго дѣла, за которое, въ разныхъ мѣстахъ и въ разные времена, не хватывалась-бы филантропія; и итъ того предпріятія, въ которомъ филантропія не потеряла бы самаго полного пораженія. Характеристическій признакъ филантропіи заключается въ томъ, что, встрѣчаясь съ какимъ-нибудь видомъ страданія, она старается поскорѣй укротить боль, вмѣсто того чтобы дѣйствовать противъ причины болѣзни. Мать слышитъ наиримѣрь плачь своего ребенка, у котораго болитъ животъ. — На, батюшка, на, говоритъ она ему, пососи конфетку. — Пріятное ощущеніе во рту дѣйствительно перевѣшиваетъ на минуту боль въ желудкѣ, которая еще не успѣла развиться до слишкомъ большихъ размѣровъ. Ребенокъ затихаетъ, но болѣзнь, не остановленная во-время, усиливается, и тогда уже не помогаетъ никакое сосаніе конфетокъ. Такая любящая, но недалновидная мать представляетъ собой чистѣйшій типъ искренняго филантропа. Что филантропія русскаго купечества плодитъ нищихъ, которыхъ содержаніе лежитъ тяжелымъ бременемъ на трудящейся массѣ, это всѣмъ извѣстно. А что бросить грошъ нищему гораздо легче, чѣмъ задумываться надъ причинами нищеты, это тоже не подлежитъ сомнѣнію.

Люди, посвящавшіе свои силы и свое время преподаванію въ народныхъ школахъ, по чистотѣ стремленій и по высотѣ умственнаго развитія стояли конечно неизмѣримо выше нищелюбивыхъ купцовъ. Но, надо сказать правду, они были такъ-же недалновидны, какъ и всѣ остальные филантропы. Они видѣли зло — невѣжество. Не вглядываясь въ глубокія причины этого зла, они сейчасъ при первой возможности схватились за лекарство. Народъ ничего не знаетъ; ну, значитъ, надо учить народъ. Разсужденіе повидимому такъ-вѣрнѣе такъ просто, что оно должно придти въ голову всякому ребенку и что съ нимъ долженъ согласиться всякій мыслитель. А между тѣмъ разсужденіе это поверхностно и ошибочно. Почему народъ ничего не знаетъ? Во-первыхъ потому, что ему неудобно было учиться; мѣшало крѣпостное право. Допустимъ, что въ настоящее время обстоятельства измѣнились; явилась *возможность* учиться. Но одной возможности еще недостаточно. Ученіе есть все-таки трудъ, а человекъ никогда не принимается за трудъ безъ вѣншей или внутренней побудительной причины. Если нѣтъ побудительной причины, то и филантропическое преподаваніе останется безплоднымъ; а если есть побудительная причина, то народъ самъ выучится всему, что ему дѣйствительно необходимо знать, то-есть всему, что можетъ доставить ему въ жизни какія-нибудь

осязательныя выгоды. Онъ выучится урывками, самоучкой, помимо школы, и такое знаніе, взлѣбленное каждымъ отдѣльнымъ ученикомъ съ страстной и сознательной любовью, будетъ, разумѣется, неизмѣримо прочнѣе, живучѣе и способнѣе къ дальнѣйшему развитію, чѣмъ то знаніе, которое методически и систематически вливается учителемъ въ пассивныя головы равнодушныхъ школьниковъ. Какъ вы думаете: кто богаче, тотъ-ли человекъ, который самъ выработалъ тысячу рублей, или тотъ, которому вы подарили двѣ тысячи? Что касается до меня, то я, въ обиду всѣмъ правиламъ ариѳметики, скажу смѣло, что первый гораздо богаче второго. — Стало-быть, чтобы дать простымъ людямъ тѣ выгоды, которыя доставляются образованіемъ, надо создать ту побудительную причину, о которой я говорилъ выше. То-есть надо сдѣлать такъ, чтобы во всей русской жизни усилился запросъ на умственную дѣятельность. Другими словами, надо увеличить число мыслящихъ людей въ тѣхъ классахъ общества, которые называются образованными. Въ этомъ вся задача. Въ этомъ альфа и омега общественнаго прогресса. Если вы хотите образоватъ народъ, возвышайте уровень образованія въ цивилизованномъ обществѣ.

Итакъ, повторяю вопросъ, поставленный въ началѣ этой главы: какимъ-же образомъ надо распространять знанія? А вотъ отвѣтъ на этотъ вопросъ: пусть каждый человекъ, способный мыслить и желающій служить обществу, дѣйствуетъ собственнымъ примѣромъ и своимъ непосредственнымъ вліяніемъ въ томъ самомъ кружкѣ, въ которомъ онъ живетъ постоянно, и на тѣхъ самыхъ людей, съ которыми онъ находится въ ежедневныхъ сношеніяхъ. Учитесь сами и вовлекайте въ сферу вашихъ умственныхъ занятій вашихъ братьевъ, сестеръ, родственниковъ, товарищей, всѣхъ тѣхъ людей, которыхъ вы знаете лично и которые питаютъ къ вашей особѣ довѣріе, сочувствіе и уваженіе. Если умѣете писать — пишите о предметѣ вашихъ занятій; если не чувствуете расположенія къ литературной дѣятельности, говорите о немъ съ тѣми людьми, у которыхъ уже пробудилась любознательность и на которыхъ вы можете имѣть прочное вліяніе. Эта дѣятельность внутри собственнаго кружка многими нетерпимыми людямъ покажется чрезвычайно скромной и даже мизерной; я согласенъ съ тѣмъ, что въ такой дѣятельности нѣтъ ничего эффектнаго и блестящаго. Но именно поэтому-то она и хороша. Всякій разсудительный читатель, вдумавшись въ настоящую сущность дѣла, придетъ къ тому заключенію, что только дѣятельность, лишенная всякаго блеска и эффекта, можетъ повести за собой прочные результаты. Такая дѣятельность, по своей наружной мизерности, не возбуждаетъ противъ себя филистерскихъ стѣнаний, а подъ конецъ и окажется, что младшіе

братья и дѣти самыхъ заклятыхъ филистеровъ сдѣлались реалистами и прогрессистами.

Весь ходъ историческихъ событій всегда и вездѣ опредѣлялся до сихъ поръ количествомъ и качествомъ умственныхъ силъ, заключающихся въ тѣхъ классахъ общества, которые не задавлены нищетою и физическимъ трудомъ. Когда общественное мнѣніе пробудилось, тогда уже очень крупныя эксцентричности въ исторической жизни становятся крайне неудобными и даже невозможными, хотя-бы общественное мнѣніе и не имѣло еще никакого опредѣленного органа для заявленія своихъ требованій. Общественное мнѣніе, если оно дѣйствительно сильно и разумно, просачивается даже въ тѣ закрытыя лабораторіи, въ которыхъ готовятся историческія событія. Искусные химики, работающіе въ этихъ лабораторіяхъ, сами живутъ все-таки въ обществѣ и незамѣтно для самихъ себя пропитываются тѣми идеями, которыя витаютъ въ воздухѣ. Нѣтъ той личности и той замкнутой корпораціи, которыя могли-бы считать себя вполне застрахованными противъ незамѣтнаго и нечувствительнаго вліянія общественнаго мнѣнія. Иногда общественное мнѣніе дѣйствуетъ на исторію открыто, механическимъ путемъ. Но кроме того оно дѣйствуетъ еще химическимъ образомъ, давая незамѣтно то или другое направленіе мыслямъ самихъ руководителей. Такимъ образомъ даже историческія событія подчиняются до нѣкоторой степени общественному мнѣнію. А внутренняя сторона исторіи, то-есть экономическая дѣятельность, почти всяцѣлкомъ находится въ рукахъ общества. Оживить народный трудъ, дать ему здоровое и разумное направленіе, внести въ него необходимое разнообразіе, увеличить его производительность примѣненіемъ дознанныхъ научныхъ истинъ, — все это дѣло образованныхъ и достаточныхъ классовъ общества, и никто кроме этихъ классовъ не можетъ ни взяться за это дѣло, ни привести его въ исполненіе. Въ какой-бы экономической или социальной доктринѣ ни примыкалъ тотъ или другой писатель, во всякомъ случаѣ осязательные историческіе и бытовые факты для всѣхъ писателей остаются неизмѣнными. И что-же говорятъ намъ эти факты? То, что до сихъ поръ, всегда и вездѣ, въ той или другой формѣ, физическій трудъ былъ управляемъ капиталомъ. А накопленіе капитала всегда основано на физическомъ или умственномъ превосходствѣ того лица, которое накапливаетъ. Кто сильнѣе или умнѣе другихъ, тотъ и богаче. Впослѣдствіи, разумеется, капиталъ самъ получаетъ притягательную силу: «деньга деньгу родитъ», какъ говоритъ русская поговорка. Но первое начало этой «денеги» заключается въ физическомъ или умственномъ неравенствѣ между людьми. А это неравенство, какъ явленіе живой природы, не подлежитъ конечно формирующему вліянію человека.

Переворотовъ въ исторіи было очень много; падали и политическія, и религіозныя формы; но господство капитала надъ трудомъ вышло изъ всѣхъ переворотовъ въ политическій неприкосновенности. Историческій опытъ и простая логика говорятъ намъ съ одинаковой убѣдительною, что умные и сильные люди всегда будутъ одерживать перевѣсъ надъ слабыми и тупыми или притупленными. Поэтому возмущаться противъ того факта, что образованные и достаточные классы преобладаютъ надъ трудящейся массой, значило-бы стучаться головою въ несокрушимую и непоколебимую стѣну естественнаго закона. Одинъ классъ можетъ смѣняться другимъ классомъ, какъ на примѣръ во Франціи родовая аристократія смѣнилась богатой буржуазіей, но законъ остается ненарушимымъ. Значитъ, при встрѣчѣ съ такимъ неотразимымъ проявленіемъ естественнаго закона, надо не возмущаться противъ него, а напротивъ того дѣйствовать такъ, чтобы этотъ неизбежный фактъ обратился на пользу самого народа. У капиталиста есть умъ и богатство. Эти два преимущества упрощаютъ за нимъ господство надъ трудомъ. Но господство это, смотря по обстоятельствамъ, можетъ быть вредно или полезно для народа. Если вы дадите этому капиталисту кое-какое смутное полубразованіе, — онъ сдѣлается пивкомъ. А дайте ему толное, прочное, чисто-человѣческое образованіе — и тотъ-же самый капиталистъ сдѣлается не благотѣльнымъ филантропомъ, а мыслящимъ и расчетливымъ руководителемъ народнаго труда, то-есть такимъ человѣкомъ, который во сто разъ полезнѣе всякаго филантропа. Откройте умному человѣку доступъ къ тѣмъ сильнѣйшимъ наслажденіямъ, которыя мы находимъ въ умственномъ трудѣ и въ полезной дѣятельности, и этотъ человѣкъ, кто-бы онъ ни былъ, миллионеръ или пролетарій, непременно пристрастится къ этимъ наслажденіямъ и непременно пойметъ, что быть превосходнымъ общественнымъ дѣятелемъ пріятнѣе, чѣмъ извлекать изъ своего капитала какіе-бы то ни было жидовскіе проценты. Разбудить общественное мнѣніе и сформировать мыслящихъ руководителей народнаго труда — значить открыть трудящемуся большинству дорогу къ широкому и плодотворному умственному развитію. А чтобы выполнить эти двѣ задачи, отъ разрѣшенія которыхъ зависитъ вся будущность народа, надо дѣйствовать исключительно на образованные классы общества. Судьба народа рѣшается не въ народныхъ школахъ, а въ университетахъ. Распространеніе грамотности конечно ничему не мѣшаетъ, но жаль, если на этотъ трудъ употребляются такія силы, которыя могли-бы дѣйствовать въ высшихъ сферахъ мысли и въ болѣе обширномъ кругу. — У насъ такихъ силъ еще очень немного, и люди, одаренные ими, должны имѣть любви къ дѣлу своей жизни рас-

ходовать ихъ съ величайшей осмотрительностью. Филантропическими вспышками увлекаться не слѣдуетъ. Надо дѣлать то, что цѣлесообразно, а не то, что красиво, трогательно и похвально съ точки зрѣнія сердечной мягкости.

Вотъ меня опять обвинять въ пристрастіи къ парадоксамъ за мое откровенное мнѣніе о пространствѣ грамотности. Но я долго и упорно размышлялъ объ этомъ предметѣ и старался высказать свою мысль какъ можно проще, серьезнѣе и скромнѣе. Поэтому я-бы желалъ, чтобы мнѣ возражали на эту мысль основательными доводами, а не восклицаніями о моемъ неискреннемъ чудачествѣ. Мнѣ кажется, оно и для дѣла было-бы полезнѣе.

### XXXIII.

Въ наукѣ, и только въ ней одной, заключается та сила, которая, независимо отъ историческихъ событій, можетъ разбудить общественное мнѣніе и сформировать мыслящихъ руководителей народнаго труда. Если наука въ лицѣ своихъ лучшихъ представителей примется за рѣшеніе этихъ двухъ задачъ и сосредоточить на нихъ всѣ свои силы, то губительный разрывъ между наукой и физическимъ трудомъ прекратится очень скоро, и наука втеченіи какихъ-нибудь десяти или пятнадцати лѣтъ подчинитъ всѣ отрасли физическаго труда своему прочному, разумному и благотворительному вліянію. Но я уже замѣтилъ въ предыдущей главѣ, что всякая школа обыкновенно превращаетъ живую науку въ мертвый учебникъ. Ученикъ является въ школѣ пассивнымъ лицомъ. Научныя истины лежатъ въ его головѣ безъ движенія, въ томъ самомъ видѣ, въ которомъ онѣ положены туда преподавателемъ или руководствомъ. Если въ головѣ ученика состоялось до начала ученія какое-нибудь ошибочное понятіе, то это понятіе очень часто продолжаетъ жить самымъ дружелюбнымъ образомъ рядомъ съ такой научной истиной, которая находится съ нимъ въ очевидномъ и непримиримомъ противорѣчій. Урокъ самъ по себѣ, а жизнь сама по себѣ. Можетъ-быть это происходитъ отъ молодости лѣтъ, а можетъ-быть и отъ общепринятой манеры преподаванія. Последнее предположеніе кажется мнѣ болѣе правдоподобнымъ. У дѣтей нѣтъ недостатка въ живости и логичности мышленія, но у нихъ нѣтъ той умственной настойчивости, которая необходима для того, чтобы процессъ мышленія дошелъ до какого-нибудь окончательнаго результата. Дѣти по поводу своихъ уроковъ часто предлагаютъ учителю очень мѣткіе и остроумные вопросы; иногда эти вопросы приводятъ учителя въ немалое смущеніе своимъ неожиданнымъ и непозволительнымъ радикализмомъ; но учитель — человѣкъ ловкій и политичный; онъ быстро производитъ искусную диверсію, принимаетъ на себя внушительную

осанку или произноситъ съ важнымъ видомъ глубокомысленную чепуху, и умственная самодѣятельность, только что зашевелившаяся въ живой головѣ ученика, опять усыпляется на долго, а можетъ быть и навсегда.

Былъ у меня въ университетѣ одинъ товарищъ, человѣкъ неглупый, студентъ работающій и дѣльный. Онъ ухитрился дойти до третьяго курса безъ всякаго міросозерцанія. Даже вопросовъ и сомнѣній никакихъ не являлось. Но однажды ему пришлось переводить по заказу какую-то астрономическую статью Бабинѣ или Араго, или какого-то другого французскаго ученаго. Эта статья поставила въ его головѣ все вверхъ дномъ, и началась та умственная перестройка, которую непременно приходится переживать каждому человѣку, прикоснувшемуся къ живому знанію. Въ этомъ простомъ случаѣ любопытно слѣдующее обстоятельство: статья французскаго астронома не заключала въ себѣ никакихъ полемическихъ тенденцій; она излагала яснымъ и живымъ языкомъ тѣ самыя старыя научныя истины, которыя мой товарищъ уже два раза усваивалъ себѣ въ гимназій, въ первыхъ, по введенію въ географію Ободовскаго, а во-вторыхъ — по математической географіи Талызина. Но таковы уже спеціальныя достоинства учебниковъ и школьнаго преподаванія: книга, не тронутая школьнымъ педантизмомъ, вызываетъ живую дѣятельность мысли и провоцируетъ насквозь всѣ убѣжденія читателя тѣми самыми истинами, которыя, красуясь на страницахъ учебника, не возбуждаютъ въ мальчикѣ или въ юношѣ ничего, кромѣ истерической зѣвоты и лѣнливаго отвращенія.

Кто дорожитъ жизнью мысли, тотъ знаетъ очень хорошо, что настоящее образованіе есть только самообразованіе и что оно начинается только съ той минуты, когда человѣкъ, распроставшись навсегда со всѣми школами, дѣлается полнымъ хозяиномъ своего времени и своихъ занятій. Университетъ только въ томъ отношеніи и лучше другихъ школъ, что онъ предоставляетъ учащемуся гораздо больше самостоятельности. Но если вы, окончивши курсъ въ университетѣ, отложите всякое попеченіе о вашемъ дѣльнѣйшемъ образованіи, то вы по гробъ жизни останетесь очень необразованнымъ человѣкомъ. Кто разъ полюбилъ науку, тотъ любитъ ее на всю жизнь и никогда не разстанется съ ней добровольно. А кто знаетъ науку такъ мало, что еще не успѣлъ привязаться къ ней всѣми силами своего существа, тотъ не имѣетъ ни малѣйшей причины считать себя образованнымъ человѣкомъ. Надо учиться въ школѣ, но еще гораздо больше надо учиться по выходѣ изъ школы, и это второе ученіе, по своимъ послѣдствіямъ, по своему вліянію на человѣка и на общество, неизмѣримо важнѣе перваго. Стало-быть, кто хочетъ содѣйствовать успѣхамъ обра-



зованія, тотъ долженъ прежде всего обращать вниманіе на то ученіе, которое производится послѣ школы и помимо школы. Что читаетъ общество и какъ оно относится къ своему чтенію, то-есть видятъ-ли оно въ немъ препровожденіе времени или живое и серьезное дѣло, — вотъ вопросы, которые прежде всего должны себѣ поставить человѣкъ, желающій внести науку въ жизнь. Господствующій вкусъ общества и его взглядъ на чтеніе зависятъ отчасти отъ общихъ историческихъ причинъ; но отчасти, и притомъ въ очень значительной степени, они зависятъ также отъ личныхъ свойствъ тѣхъ людей, которые пишутъ для общества. Слабые, дряхлые, безцвѣтные и бездарные писатели подчиняютъ свою дѣятельность прихотямъ общественнаго вкуса и капризамъ умственной моды. Но писатели, сильные талантомъ, знаніемъ и любовью къ идеѣ, идутъ своей дорогой, не обращая никакого вниманія на мимолетныя фантазіи общества. Умственная энергія такихъ писателей сама по себѣ дѣлается иногда такимъ событіемъ, которое обращаетъ на себя вниманіе общества и даже создаетъ новую моду. Яркость таланта и сила убѣжденія могутъ сдѣлать то, что въ обществѣ, всегда смотрѣвшемъ на книгу какъ на нѣкоторую игру облагороженнаго вкуса, зародится серьезный взглядъ на чтеніе и возникнуть законная потребность прикидывать мѣрку чистой и свѣтлой идеи къ сдѣлкамъ и продѣлкамъ дѣйствительной жизни. Общество начнетъ понемногу понимать, что умныя мысли кладутся на бумагу не для того, чтобы оставаться въ хорошихъ книжкахъ. — Умилнешся, другъ любезный, надъ хорошей книжкой, такъ не слишкомъ пакости-же и въ жизни!

Благодаря Гоголю, Бѣлинскому, Некрасову, Тургеневу, Достоевскому, Добролюбову и немногимъ другимъ, очень замѣчательнымъ и добросовѣстнымъ писателямъ, наше общество уже додумалось до этого умозаключенія. Стѣна между книжной мыслью и дѣйствительной жизнью пробита навсегда. Мысль писателя смотритъ на дѣйствительную жизнь, а жизнь понемногу всасываетъ въ себя питательные элементы теоретической мысли. То, что сдѣлано на этомъ пути нашими предшественниками, значительно облегчаетъ собой задачу современныхъ писателей. Дайте обществу, что хотите — научный трактатъ, газетный очеркъ какихъ-нибудь новѣйшихъ событий, критическую статью по литературѣ, романъ, стихотвореніе — все равно: вамъ ужъ не будетъ надобности пробивать ледяную кору равнодушія, невниманія и непониманія; если есть въ вашемъ трудѣ что-нибудь полезное, общество посмотритъ и пойметъ, и подумаетъ; и мысль ваша западетъ въ ту глубину, въ которой вырабатываются и созрѣваютъ общественныя убѣжденія. При такихъ условіяхъ и жить стоитъ, и работать можно. Есть уже точка опоры,

съ которой можно начать дѣло сближенія между теоретическимъ знаніемъ и всенедней жизнью. Общество уже не прочь отъ того, чтобы видѣть въ чтеніи путь къ самообразованію, а въ самообразованіи — путь къ практическому благоумію и совершеннѣйшему. Давайте обществу матеріалы — оно ихъ возьметъ и воспользуется ими, и скажетъ вамъ спасибо; но *давайте* непременно Само-собой, безъ содѣйствія литературныхъ посредниковъ общество не въ силахъ пойти за матеріалами, разрыть ихъ громаду, выбрать и усвоить себѣ именно то, что ему необходимо. Общество уже любитъ и уважаетъ науку, но эту науку все-таки надобно *популяризировать*, и популяризовать съ очень большимъ умѣньемъ. Можно сказать безъ малѣйшаго преувеличенія, что популяризованіе науки составляетъ самую важную всемірную задачу нашего вѣка. Хорошій популяризаторъ, особенно у насъ въ Россіи, можетъ принести обществу гораздо больше пользы, чѣмъ даровитый изслѣдователь. Изслѣдованій и открытій въ европейской наукѣ набралось уже очень много. Въ высшихъ сферахъ умственной аристократіи лежитъ огромная масса идей; надо теперь всѣ эти идеи сдвинуть съ мѣста, надо размѣнять ихъ на мелкую монету и пустить ихъ въ общее обращеніе. Тогда только и можно будетъ оцѣнить въ полномъ объемѣ, съ одной стороны, глубину, красоту и практическую силу научныхъ идей, а съ другой стороны — гибкость и плодovitость человѣческаго ума, который тогда впервые отдастъ себѣ отчетъ въ своихъ собственныхъ подвигахъ. Это сближеніе мыслителей съ обществомъ непременно поведетъ за собой сближеніе общества съ народомъ, — то сближеніе, которое при всякомъ другомъ образѣ дѣйствій конечно останется навсегда маниловской фантазіей «Эпохи» и «Дня».

Необходимость популяризовать науку до такой степени очевидна, что, кажется, и распространяться объ этомъ не слѣдуетъ. Не значить-ли это унижать великую истину риторическими декларациями? Нѣтъ, совсѣмъ не значитъ. У насъ и великія истины еще требуютъ доказательствъ. — У насъ одинъ писатель, и притомъ изъ молодыхъ, и притомъ бывший студентъ естественнаго факультета, доказывалъ недавно очень горячо и даже съ нѣкоторымъ озлобленіемъ, что науку не зачѣмъ популяризовать и что такимъ дѣломъ могутъ заниматься только шарлатаны и верхоглядцы. Этого писателя зовутъ Аверкіевъ, а горячится онъ въ «Эпохѣ», во второй части своей статьи: «Университетскіе отцы и дѣти». Этотъ Аверкіевъ, пламенный поклонникъ и неудавшійся подражатель покойнаго Аполлона Григорьева, очень сердится за что-то на Барла Фохта повидимому за то, что Фохтъ не похожъ на Григорьева. Разсердившись на Фохта собственно съ этой спеціальной стороны, Авер-

кіевъ утверждаетъ, что популярныя сочиненія этого ученаго по естественнымъ наукамъ нигуда не годятся; а вслѣдъ затѣмъ, разгуливался все шире да шире, Аверкіевъ возмущаетъ намъ, что популяризовать науку даже очень глупо. А доказательства предлагаются вотъ какія: во-первыхъ, всякая научная истина сама по себѣ совершенно ясна, потому что она—истина; во-вторыхъ, философскія сочиненія Канта гораздо удобопонятнѣе, чѣмъ популярныя статьи о философіи Лаврова; въ-третьихъ, Льюисъ написалъ свою «Физиологію обыденной жизни» безъ всякихъ претензій на популярность, и книга эта оказалась гораздо лучше популярныхъ физиологическихъ писемъ Карла Фохта.—Ахъ, какія неподобныя доказательства! Во-первыхъ, всякая научная истина ясна только тогда, когда она изложена ясно. Что ясно для ученаго, то можетъ быть совершенно неясно для образованнаго человѣка въ общепринятомъ разговорномъ значеніи этого слова. И всякую научную истину можно изложить такъ, что у васъ отъ этой истины затрепещетъ голова и потемнѣетъ въ глазахъ. Сотруднику эстетическаго журнала не мѣшало-бы, кажется, понимать, что внутреннее достоинство идеи и внѣшняя форма изложенія—двѣ вещи совершенно различныя. Во-вторыхъ, примѣръ о Кантѣ и о Лавровѣ замѣчателенъ по своей неудачности. Что Кантъ писалъ ясно, это—личное открытіе, или вѣрнѣе, изобрѣтеніе Аверкіева. Впрочемъ, по его мнѣнію, чего добраго и Григорьевъ, которому онъ старается подражать, пишетъ ясно. Нѣмцы, народъ совершенно привычный къ варварской туманности изложенія, все-таки жалуются на Канта, что онъ писалъ самое капитальное изъ своихъ сочиненій «Критику чистаго разума» самымъ тяжелымъ, деревяннымъ, непонятнымъ и даже схоластическимъ языкомъ. Лучшее доказательство кантовской неясности заключается въ томъ, что нѣмцы раскусили «Критику чистаго разума» черезъ восемь лѣтъ послѣ ея выхода въ свѣтъ. А своимъ обширнымъ господствомъ надъ умами всѣхъ образованныхъ людей тогдашней Германіи философія Канта обязана преимущественно философскимъ статьямъ Шиллера, сочиненіямъ Рейнгольда и усерднымъ трудамъ многихъ другихъ болѣе мелкихъ популяризаторовъ. Еслибы ясно было, такъ и не зачѣмъ было-бы такъ много разъяснять. Что Кантъ яснѣе Лаврова, объ этомъ я не спорю. Но это доказываетъ только, что Лавровъ—прекрасный математикъ и очень ученый человѣкъ, но очень плохой популяризаторъ. Плохихъ популяризаторовъ на свѣтѣ очень много, но вывести изъ этого простого факта заключеніе противъ популяризованія вообще способенъ только сотрудникъ «Эпохи». Въ-третьихъ, что Льюисъ писалъ свою «Физиологію» безъ стремленія къ популярности, это опять произвольная выдумка Аверкіева. А что

«Физиологія» Льюиса написана гораздо понятнѣе и занимательнѣе, чѣмъ «Физиологическія письма» Фохта, это чистая правда. Но опять-таки что-же изъ этого слѣдуетъ? То, что Льюисъ популяризируетъ лучше Фохта. Это песомынно. И Бюхнеръ также, какъ популяризаторъ, стоитъ выше Фохта. Я подразумеваю здѣсь «Физиологическія картины», которыя по ясности и увлекательности изложенія далеко оставляютъ за собою «Физиологическія письма». Я видѣлъ собственными глазами, что двадцатилѣтняя дѣвушка, не имѣвшая никакого понятія о физиологіи, съ величайшимъ увлеченіемъ, почти не отрываясь отъ книги, прочитала три большія статьи изъ «Физиологическихъ картинъ» Бюхнера. Эти три статьи были: «Сердце и кровь», «Воздухъ и легкія» и «Жизнь и теплота». Кто читалъ эту книгу Бюхнера, тотъ знаетъ очень хорошо, что къ ней нѣтъ и намека на тѣ скандальныя принасти, которыми занимаютъ своихъ читателей французскіе негодяи, подобные Дебе и Жуванслю. Стало-быть, дѣвушка, незнакомая съ физиологіей, была завлечена исключительно интересомъ предмета и мастерствомъ изложенія. Мнѣ кажется, этотъ опытъ говоритъ громче всякихъ умозрѣній, и писатель, достигающій такихъ блестящихъ результатовъ, имѣетъ полное право считаться образцовымъ популяризаторомъ. Такимъ популяризаторомъ можетъ сдѣлаться далеко не всякій желающій. При всемъ своемъ умѣ, при своемъ блестящемъ литературномъ талантѣ, при своихъ обширныхъ занятіяхъ, Карлъ Фохтъ въ этомъ отношеніи все-таки стоитъ ниже Бюхнера, котораго онъ превосходитъ во всѣхъ другихъ отношеніяхъ. Оно и понятно. Но своему образованію Фохтъ—дѣльный натуралистъ. Но по всему складу своего ума и характера онъ—политическій дѣятель. Его настоящее мѣсто не на профессорской кафедрѣ, а на парламентской трибунѣ. Но когда надо просто рассказывать, излагать факты, тогда Фохтъ ясенъ. Спокоенъ, точенъ и часто сухъ. Нѣтъ у него той ровной пластичности изложенія, которая составляетъ одно изъ главныхъ достоинствъ первокласснаго популяризатора.

Популяризаторъ непремѣнно долженъ быть художникомъ слова, и высшая, прекраснѣйшая, самая человѣческая задача искусства состоитъ именно въ томъ, чтобы слиться съ наукой и посредствомъ этого сліянія дать наукѣ такое практическое могущество, котораго она не могла-бы пріобрѣсти исключительно своими собственными средствами. Наука даетъ матеріалъ художественному произведенію, въ которомъ все—правда, и все—красота; самая смѣлая фантазія не можетъ ничего придумать. Такія художественныя произведенія человѣкъ создаетъ еще въ послѣдствіи, когда онъ много поумнѣетъ и еще многому научится; но робкія попытки, превосходныя для нашего времени, существуютъ въ этомъ родѣ и

теперь. Я могу указать на огромную книгу Брема: «Иллюстрированная жизнь животных», о которой мы впрочем будем еще говорить съ нашими читателями довольно подробно. Эта книга задумана въ громаднѣхъ размѣрахъ, написана самымъ простымъ и увлекательнымъ языкомъ, съ удивительнымъ знаніемъ дѣла, съ удивительнымъ пониманіемъ характера и ума различныхъ животныхъ и съ самой здоровой, неподкрашенной любовью къ природѣ и къ жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ. Весь рассказъ проникнутъ ровнымъ, спокойнымъ - веселымъ и постоянно - естественнымъ юморомъ. Читаешь и оторваться не хочется. Такъ читалъ я только въ дѣтствѣ романы Купера и «Трехъ Мушкетеровъ». И къ этому-то изложенію, представьте себѣ, почти на каждой страницѣ картины, рисованныя съ натуры превосходными художниками, сдѣлавшими кругосвѣтное путешествіе, посѣтившими нѣсколько зоологическихъ садовъ въ Европѣ и пользовавшимися совѣтами первоклассныхъ натуралистовъ. Читаешь характеристику какого-нибудь четвероногого чудака, помотришь на его портретъ и дѣйствительно видишь и по рождѣ, и по глазамъ, и по всей его фигурѣ, что онъ способенъ на всѣ тѣ штуки, которыя приписываетъ ему Бремъ. Когда я приобрѣлъ себѣ эту книгу, которая впрочемъ далеко еще не доведена до конца, то я втеченіи нѣсколькихъ дней ни о чемъ не могъ думать, кромѣ Брема. Просто ошалѣлъ отъ радости. И эту великую, именно великую, книгу переводить на русскій языкъ. И картины въ ней будутъ совершенно такія-же, какъ въ нѣмецкомъ изданіи. Но—горе переводчикамъ, если они хоть сколько нибудь обезцвѣтятъ рассказъ Брема. Это будетъ одно изъ тѣхъ литературныхъ преступленій, которыхъ не должно прощать обществу. Если издатели догадуются послѣ богатаго изданія съ картинами выпустить другое, дешевое, на сърой бумагѣ, безъ картинъ, то Бремъ проникнетъ въ каждое грамотное семейство. Такая книга есть историческое событіе въ полномъ и буквальномъ смыслѣ этого слова. Если Бремъ успеетъ описать всѣ классы животнаго царства такъ, какъ онъ теперь описываетъ млекопитающихъ, то его книга останется на вѣчныя времена не только въ исторіи науки и литературы (это уже само собою разумѣется), но и въ исторіи обще-европейской пародной жизни. Невозможно представить себѣ, какое море живой мысли и свѣжаго чувства хлынетъ вмѣстѣ съ этой книгой въ умы всего читающаго человѣчества.

Если неразвитость общества требуетъ, чтобы наука являлась передъ нимъ въ арлекинскомъ костюмѣ, съ погремушками и съ бубенчиками,—это не бѣда. Такой маскарадъ нисколько не унижаетъ науку. Дѣльная и вѣрная мысль все-таки остается дѣльной и вѣрной. А если этой мысли, чтобы проникнуть въ сознание общества, надо

украситься прибаутками и подернуться щедринской игривостью, пускай украшается и подергивается. Главное дѣло—проникнуть, а черезъ какую дверь и какой походкой—это рѣшительно все равно. Арлекиновство можно и должно, если только арлекиновство ведетъ къ цѣли.

Иные читатели скажутъ, что все это вздоръ, что русская публика можетъ читать серьезныя книги и статьи безъ малѣйшей приправы арлекинства. Но я отвѣчу на это: господа, говорите за себя! Есть люди, стоящіе ниже васъ по развитію, и эти люди читаютъ только то, что ихъ забавляетъ, и они составляютъ въ читающей массѣ большинство. Это видно напримѣръ по тому, что публика выписываетъ журналы чисто ошупью. Лучшій журналъ, когда-либо существовавшій въ Россіи, добродушевскій «Современникъ», имѣлъ блестящій успѣхъ; прекрасно! Но вслѣдъ затѣмъ одинъ изъ самыхъ плоскихъ русскихъ журналовъ, «Время», имѣлъ также блестящій успѣхъ. Что за притча! Да и притчи никакой нѣтъ. Увидало дитя малое червонецъ: давай его сюда! цаца!—Увидало золоченый орѣхъ: и къ орѣху потянулось. Тоже цаца!—Ну вотъ и надо, чтобы научныя идеи всегда были размаеваны, какъ цацы. Пускай дитя малое играетъ этими цацами. Онѣ помогутъ ему расти; а вырастетъ, такъ и увидитъ, что эта цаца—штука самая отмынная. Но само собою разумѣется, что арлекиновствовать надо съ большимъ, съ очень большимъ умѣньемъ. Играть и кувираться, какъ хочешь, въ своемъ изложеніи, но держи ухо востро, и на одну секунду не теряй равновѣсія и не подь какимъ видомъ не допускай ни малѣйшаго посягательства на то, что составляетъ жизнь и смыслъ твоей идеи. Шутя, но такъ, чтобы каждая твоя шутка была строго рассчитана и чтобы совокупность твоихъ шутокъ выражала всю научную идею, которую ты хочешь провести въ сознание твоихъ читателей, всю, какъ есть, безъ искаженій и утаекъ. Если ты соблюдаешь постоянно это условіе,—ты честный и полезный популяризаторъ. Въ противномъ случаѣ, ты поступаешь въ категорію тѣхъ господъ, которые, пуская въ свѣтъ «Физиологію брака», «Тайныя явленія природы» и разныя другія гнусности, прикрываютъ себя тѣмъ благовиднымъ предлогомъ, что мы, дескать, просвѣщаемъ общество.

При недостаткѣ осмотрительности, умѣнья и серьезности во взглядѣ на великую цѣль своей дѣятельности, популяризаторъ очень легко можетъ протвориться въ литературнаго промышленника и унижить науку до проституціи. Но эта проституція заключается не въ смѣхѣ, не въ игривости, не въ юморѣ, а въ безцѣльности, въ безтактности и въ неразборчивости этого смѣха, этой игривости и этого юмора. Когда смѣхъ, игривость и юморъ служатъ средствомъ, тогда все обстоитъ благополучно. Когда они дѣлаются цѣлью -- тогда начинается умственное распут-

ство. Для художника, для ученаго, для публициста, для фельетониста, для кого угодно, для всѣхъ существуетъ одно великое и общее правило: *идея прежде всего!* Кто забываетъ это правило, тотъ немедленно теряетъ способность приносить людямъ пользу и превращается въ презрѣннаго паразита. Стоитъ только сравнить «Свистокъ» Добролюбова съ полемическими статьями теперешняго «Современника», чтобы тотчасъ понять на живомъ примѣрѣ, что значитъ *«идея прежде всего»* и что значитъ *«все прежде идеи»*. Конечно шутиливый тонъ въ популярно-научныхъ сочиненіяхъ составляетъ только временное явленіе. Когда все читающее общество сдѣлается серьезнѣе въ своемъ взглядѣ на чтеніе, тогда и тонъ измѣнится; но не слѣдуетъ измѣнять его слишкомъ рано. Если двѣ-три шутки на страницѣ могутъ дать вашей статьѣ двухъ-трехъ лишнихъ читателей, то было-бы очень негуманно и неслого разумно съ вашей стороны отталкивать отъ себя этихъ читателей серьезностью изложения ради того, чтобы соблюсти въ неприкосновенности какое-то отвѣщенное и совершенно фантастическое понятіе о величій и достоинствѣ науки. Величіе и достоинство науки состоитъ исключительно въ той пользѣ, которую она приноситъ людямъ, увеличивая производительность ихъ труда и укрѣпляя природныя силы ихъ умовъ. Значеніе науки можетъ только возвыситься, если о ней получать нѣкоторое понятіе даже тѣ неразвитые два-три читателя, которые будутъ привлечены къ вашей статьѣ содержащимися въ ней шутками. Но, кромѣ художественности, кромѣ шутливаго тона, популярное изложеніе должно отличаться еще и другими свойствами, которыми останутся необходимыми даже и тогда, когда смѣхъ, ипривость и юморъ потеряютъ для общества свою теперешнюю обаятельность.

Я укажу здѣсь на двѣ главныя особенности, которыми популярное изложеніе всегда должно отличаться отъ строго-научнаго.

*Во-первыхъ*, популярное изложеніе не допускаетъ въ теченіи мыслей той быстроты, которая совершенно умѣстна въ чисто-научномъ трудѣ. Записные ученые, привыкшіе ко всѣмъ приемамъ строгаго мышленія, ко всевозможнымъ упражненіямъ умственныхъ силъ, могутъ слѣдить безъ малѣйшаго напряженія за мыслью изслѣдователя, когда она, какъ бѣлка, прыгаетъ съ одного предмета на другой, бросая читателямъ только легкіе намеки на то, зачѣмъ и почему производятся эти быстрые переходы. Слѣдя за этими эволюціями, ученый видитъ и понимаетъ, что все это одна длинная цѣль доказательствъ, связанная единствомъ общей идеи и общей цѣли; онъ видитъ, что одна мысль логично развивается изъ другой; но простой читатель этого не увидитъ и станетъ втупикъ. Писатель высказалъ одно положеніе, вывелъ изъ него другое, на этихъ двухъ построилъ третье и пошелъ шагать, а про-

стой читатель только недоумѣваетъ: какимъ-же образомъ второе вытекаетъ изъ перваго и почему возможенъ переходъ къ третьему? Второе дѣйствительно не вытекаетъ *непосредственно* изъ перваго; эти два положенія связываются между собой двумя или тремя промежуточными умозаключеніями; но ученый писатель, увѣренный въ сообразительности своихъ товарищей по наукѣ, выкидываетъ вонъ эти мостики мысли, которые дѣйствительно не прибавляютъ къ ученому труду ничего новаго и существеннаго. Но для читателя, не выучившагося прыгать, такое отсутствіе мостиковъ составляетъ непреодолимое препятствіе. На первой-же страницѣ онъ спотыкается, а ужъ на какой-нибудь пятой или шестой онъ рѣшительно не знаетъ, о чемъ это тутъ идетъ рѣчь и зачѣмъ это все написано. При этихъ условіяхъ серьезное чтеніе ведетъ за собой только головную боль и одурѣніе. Популяризаторъ, разумѣется, обязанъ избавить мысль своего читателя отъ всякихъ подобныхъ прыжковъ. Въ популярномъ сочиненіи каждая отдѣльная мысль должна быть развита подробно, такъ, чтобы умъ читателя успѣлъ прочно утвердиться на ней, прежде чѣмъ онъ пустится въ дальнѣйшій путь, къ логическимъ слѣдствіямъ, вытекающимъ изъ этой мысли. Если вы будете утомлять умъ нашего читателя слишкомъ быстрыми переходами, то получится тотъ-же результатъ, который произвело-бы отсутствіе мостиковъ: читатель ошалѣетъ и совершенно потеряетъ изъ виду общую связь вашихъ мыслей.

*Во-вторыхъ*, популярное изложеніе должно тщательно избѣгать всякой отвлеченности. Каждое общее положеніе должно быть подтверждено осязательными фактами и пояснено частными примѣрами. Вотъ и я, повинаясь этому правилу, покажу на отдѣльномъ примѣрѣ, какимъ образомъ популярное изложеніе должно смягчать быстроту и отвлеченность строга-научнаго языка. Представьте себѣ, что въ научномъ сочиненіи находится слѣдующая фраза: «Такъ какъ всѣ математическія сужденія отличаются совершенно аналитическимъ характеромъ, то, разумѣется, чистая математика меньше всѣхъ остальныхъ наукъ опирается на свидѣтельство опыта». И затѣмъ авторъ начинаетъ уже выводиться дальнѣйшія заключенія изъ той мысли, что «математика меньше всѣхъ остальныхъ наукъ опирается на свидѣтельство опыта». Но простой читатель сталъ втупикъ. Чорта съ два тутъ *«разумѣется»!* Почему-же *аналитическій характеръ* позволяетъ чистой математикѣ *опираться на свидѣтельство опыта* меньше *всѣхъ остальныхъ наукъ*? Ясное дѣло, что въ нашей фразѣ заключаются два положенія, связанные между собой союзами *такъ какъ* и *то*. Между этими двумя положеніями долженъ существовать мостикъ, но мостикъ этотъ, для болѣе быстрой движенія, выброшенъ вонъ, а

вмѣсто него вставлено проклятое слово «разумѣется», означающее собой смѣлый и ловкій прыжокъ возмужалой мысли. Популяризаторъ долженъ здѣсь прежде всего напомнить читателю, что такое *анализъ* и въ чемъ состоитъ его существенное отличіе отъ *синтеза*. Потомъ онъ долженъ взять два или три математическихъ сужденія—чѣмъ проще, тѣмъ лучше—и показать на этихъ примѣрахъ, въ чемъ состоитъ типическая особенность всякаго математическаго сужденія и чѣмъ эти сужденія отличаются на примѣръ отъ истинъ химіи или фізіологіи. Такимъ образомъ выяснится *аналитическій характеръ* математическихъ сужденій. Вмѣстѣ съ тѣмъ выяснится и отношеніе математики къ опыту. Читатель пойметъ, что при *анализѣ* только исходная точка берется изъ опыта, а при *синтезѣ* напротивъ того весь процессъ мысли постоянно опирается на опытъ. Ясно, стало-быть, что чѣмъ исключительнѣе преобладаетъ въ какой-нибудь наукѣ элементъ анализа, тѣмъ значительнѣе становится въ ней участіе опыта.

Популяризаторъ долженъ постоянно предвидѣть всѣ вопросы, сомнѣнія и возраженія своего читателя; онъ самъ долженъ ставить и разрѣшать ихъ; такая тактика имѣетъ двоякую выгоду: во-первыхъ, предметъ освѣщается со всѣхъ сторонъ; во-вторыхъ—вопросы и возраженія прерываютъ собой монотонное теченіе рѣчи, поддерживаютъ и напрягаютъ постоянно вниманіе читателя, который въ противномъ случаѣ легко можетъ вдаться въ полу-машинальное чтеніе, то-есть пропускать черезъ свою голову отдѣльныя мысли, не вдумываясь въ ихъ отношеніе къ цѣлому. Не только группировка мыслей и общій тонъ изложенія, но даже самый языкъ, выборъ словъ и оборотовъ имѣютъ очень значительное вліяніе на успѣхъ или неуспѣхъ популярно-научнаго сочиненія. Удачное выраженіе, мѣлкій эпитетъ, картинное сравненіе чрезвычайно много прибавляютъ къ тому удовольствію, которое доставляется читателю самымъ содержаніемъ книги или статьи. А такъ какъ просвѣщать читателя помимо его собственной воли нѣтъ ни малѣйшей возможности, то и не слѣдуетъ ни подъ какимъ видомъ пренебрегать тѣми техническими средствами языка, которыя могутъ увеличить удовольствіе читателя, не вредя основной идѣ вашего труда. Бенхамъ доказываетъ очень подробно и чрезвычайно убѣдительно, что законы должны быть написаны не только совершенно яснымъ и простымъ, но еще кромѣ того изящнымъ языкомъ. Съ этимъ мнѣніемъ трудно не согласиться. Въ самомъ дѣлѣ, въ настоящее время нѣтъ на свѣтѣ ни одной страны, въ которой большинство грамотныхъ людей имѣло-бы совершенно ясное понятіе о законахъ своего отечества. Отъ этихъ законовъ зависятъ жизнь, честь, собственность, гражданское положеніе и семейное спокойствіе, словомъ—все земное бла-

гополучіе каждой отдѣльной личности, а между тѣмъ ихъ все-таки почти никто не знаетъ, кромѣ судей и адвокатовъ. Можно себя представить, сколько невольныхъ преступленій, сколько безтолковыхъ процессовъ, какая трата времени, силъ, денегъ происходитъ отъ этого незнанія. А чѣмъ-же объясняется самый фактъ этого удивительнаго незнанія? Да просто тѣмъ, что сводъ законовъ совершенно справедливо считается у всѣхъ народовъ земного шара, имѣющихъ какой-нибудь сводъ, самой скучной книгой, какую только можно было выдумать и написать. А происходитъ-ли эта невыносимая скучность свода законовъ отъ самаго содержанія этой книги? Составляетъ-ли она необходимую принадлежность самаго предмета. Ничуть не бывало. Законъ опредѣляетъ отношенія между людьми, устанавливаетъ изъ права и обязанности. Трудно даже придумать что-нибудь интереснѣе этого предмета. Но этотъ предметъ превращенъ въ сухой скелетъ педантизмомъ средневѣковыхъ юристовъ и остался въ своемъ засушенномъ положеніи по милости современныхъ законовѣдовъ, робѣющихъ до сихъ поръ передъ призраками старыхъ авторитетовъ. Бенхамъ доказалъ теоретически и, что еще гораздо важнѣе, показалъ на практикѣ своимъ собственнымъ примѣромъ, что можно писать живо и увлекательно не только изслѣдованія по философіи права, но даже текстъ кодекса, статьи свода законовъ. По мнѣнію Бенхама, самый текстъ закона долженъ быть написанъ коротко и ясно; законъ приказываетъ или запрещаетъ, но не разсуждаетъ. Но вслѣдъ за этой канонической частью каждой отдѣльной статьи долженъ слѣдовать комментарий, въ которомъ объясняется значеніе, необходимость, цѣлесообразность и причина даннаго закона. Совокупность этихъ комментариевъ составитъ, по мнѣнію Бенхама, полный и чрезвычайно интересный кодексъ нравственной философіи. И книга, вмѣщающая въ себя такой кодексъ, слѣдается настольной книгой въ каждомъ грамотномъ семействѣ; по этой книгѣ отецъ самъ будетъ объяснять своимъ дѣтямъ законы той страны, въ которой имъ суждено жить и дѣйствовать; благодаря такимъ комментаріямъ, законъ ляжетъ въ основаніе самаго обыкновеннаго воспитанія. Вслѣдствіе этого большая часть непроизводительныхъ юристовъ принуждена будетъ заняться полезнымъ трудомъ. Но все это возможно только въ томъ случаѣ, если законы будутъ изложены легкимъ, простымъ и изящнымъ языкомъ. Иначе никакая философская глубина комментариевъ не принудитъ общество читать и изучать сводъ законовъ. Въ общей массѣ люди чрезвычайно легкомысленны; они всегда дѣлаютъ то, что имъ пріятно, и очень рѣдко дѣлаютъ то, что имъ полезно. Всѣ понимаютъ какъ нельзя лучше, что знаніе законовъ необходимо; всѣ знаютъ, что незнаніемъ законовъ никто отговариваться не можетъ; и однако

почти никому въ голову не приходитъ почитать въ часы досуга и отдохновенія сводъ законовъ. Послѣ этого есть-ли хоть малѣйшая возможность ожидать, что люди примутся читать популярно-научныя сочиненія, если эти сочиненія не будутъ доставлять имъ пріятнаго препровожденія времени. Въдѣ какъ ни велика польза научныхъ знаній, а все-таки эта польза далеко не такъ очевидна, какъ польза заповѣдній. Противъ науки вы услышите много голосовъ даже въ печати, а ужъ противъ изученія законовъ не возразятъ ни слова ни купчиха Кабанова, ни Викторъ Ипатьевичъ, ни даже Катковъ.—Ясно, стало-быть, что виѣшняя форма популярнаго изложенія имѣетъ громадную важность.

### XXXIV.

Послѣ всего, что я говорилъ о популяризироваши науки, у читателя по всей вѣроятности зародился въ умѣ естественный вопросъ: какія-же именно науки необходимо популяризовать? Въ общихъ чертахъ читатель, разумѣется, уже знаетъ мой образъ мыслей; онъ знаетъ, что я не укажу ни на санскритскую грамматику, ни на египетскую археологію, ни на теорію музыки, ни на исторію живописи. Но если читатель полагаетъ, что я буду рекомендовать ему преимущественно технологию, практическую механику, геогнозію или медицину, то онъ ошибается. Наука, слившаяся уже съ ремесломъ, наука прикладная конечно приносить обществу громадную и неоспоримую пользу, но популяризовать ее нѣтъ ни надобности, ни возможности. Технологи, геогности, механики необходимы для общества, но люди, имѣющіе общее понятіе о технологіи, геогнозіи и механикѣ никому и ни на что не нужны. Словомъ, прикладныя науки должны изучать совершенно основательно каждый человѣкъ, желающій обратить ихъ въ свое хлѣбное ремесло. Кто изучаетъ науку основательно, тотъ конечно обращается къ самымъ источникамъ науки, а не къ популярнымъ сочиненіямъ. Стало-быть, нуждаются въ популярной обработкѣ только тѣ отрасли знаній, которыя, не слившись съ спеціальнымъ ремесломъ, даютъ каждому человѣку вообще, безъ отношенія къ его частнымъ занятіямъ вѣрный, разумный и широкій взглядъ на природу, на человѣка и на общество. Разумѣется, здѣсь, какъ и вездѣ, на первомъ планѣ стоятъ тѣ науки, которыя занимаются изученіемъ всѣхъ видимыхъ явленій: астрономія, физика, химія, физиологія, ботаника, зоологія, географія и геологія.

Превосходство естественныхъ наукъ надъ всѣми остальными накопленіями знаній, присвоивающими себѣ также титулъ науки, до такой сте-

пени очевидно, и мы уже такъ часто и съ такимъ горячимъ убѣжденіемъ говорили о значеніи этихъ наукъ, что теперь мнѣ не зачѣмъ о нихъ распространяться. Замѣчу только, что подъ именемъ *географіи* я понимаю, разумѣется, не перечисленіе государствъ, а общую картину земного шара и опредѣленіе той связи, которая существуетъ между землей и ея обитателями.—Но естественныя науки при всемъ своемъ великомъ значеніи не исчерпываютъ собой всего круга предметовъ, о которыхъ человѣку необходимо составить себѣ понятіе. Человѣкъ долженъ знать человека и общество. Физиологія показываетъ намъ различныя отравленія человѣческаго организма; сравнительная анатомія показываетъ намъ различія между человѣческими расами; но обѣ эти науки не даютъ намъ никакого понятія о томъ, какъ человѣкъ устраиваетъ свою жизнь и какъ онъ постепенно подчиняетъ себѣ силы природы силой своего ума. Оба эти вопроса имѣютъ для насъ капитальную важность; но тѣ отрасли знаній, отъ которыхъ мы должны ожидать себѣ на нихъ отвѣта — исторія и статистика,—до сихъ поръ еще не достигли научной твердости и опредѣленности. Исторія до сихъ поръ не что иное, какъ огромный арсеналъ, изъ котораго каждая литературная партія выбираетъ себѣ годныя аргументы для пораженія своихъ противниковъ. Превратится-ли исторія когда-нибудь въ настоящую науку,—это неизвѣстно и даже сомнительно. Научная исторія была-бы возможна только въ томъ случаѣ, еслибы сохранились всѣ матеріалы для составленія подробныхъ статистическихъ таблицъ за всѣ прошедшія столѣтія. Но о такомъ бо атствѣ матеріаловъ нечего и думать. Поэтому для изученія человѣка въ обществѣ остается только внимательно вглядываться въ современную жизнь и обмѣниваться съ другими людьми запасомъ собранныхъ опытовъ и наблюденій. Статистика уже дала намъ множество драгоценныхъ фактовъ; она подрываетъ вѣру въ пригодность пенитенціарной системы; она цифрами доказываетъ связь между бѣдностью и преступленіемъ; но статистика только что начинаетъ развиваться, и мы имѣемъ полное основаніе ожидать отъ нея въ ближайшемъ будущемъ въ тысячу разъ больше самыхъ важныхъ практическихъ услугъ, чѣмъ сколько она оказала ихъ намъ до сихъ поръ.

Статья моя кончена. Читатель видитъ изъ нея, что всѣ стремленія нашихъ реалистовъ, всѣ ихъ радости и надежды, весь смыслъ и все содержаніе ихъ жизни пока исчерпываются тремя словами: *«любовь, знаніе и трудъ»*. Послѣ всего, что я говорилъ выше, эти слова не нуждаются въ комментаріяхъ.



## КУКОЛЬНАЯ ТРАГЕДІЯ СЪ БУКЕТОМЪ ГРАЖДАНСКОЙ СКОРБИ.

### I.

Въ каждой изъ нашихъ журнальныхъ партій есть неисправимые фразеры, которымъ никогда въ жизни не случалось произвести на свѣтъ ни одной самостоятельной мысли. Эти господа въ своихъ произведеніяхъ самымъ усерднымъ и добросовѣстнымъ образомъ обезцвѣчиваютъ ту идею, которая даетъ имъ насущный хлѣбъ, но этимъ не ограничивается ихъ дѣятельность. Но самолюбю, свойственному всякой бездарности, они непремѣнно желаютъ высказывать руководящую идею «своими словами», изобрѣтаютъ сами различные приставки и украшенія, воплощаютъ идею въ карикатурные образы и наконецъ доводятъ ее до такого жалкаго безсилія, что всѣмъ мыслящимъ защитникамъ этой идеи приходится или краснѣть за своихъ непрошенныхъ союзниковъ, или отталкивать ихъ отъ себя съ тѣмъ суровымъ презрѣніемъ, съ которымъ Базаровъ относится къ своему обожателю Ситникову. Большая часть нашихъ второстепенныхъ беллетристовъ, нашедшихъ себѣ пріютъ въ различныхъ журналахъ, принадлежитъ къ числу самыхъ отъявленныхъ карикатуристовъ идеи. Ихъ романы и повѣсти списываются обыкновенно на живую нитку по выкройкамъ послѣдней моды, а модной выкройкой служить для нихъ критическій отдѣлъ того журнала, для котораго они работаютъ. Люди, событія, положенія—все это задумывается по данной программѣ, и кромѣ того самая программа понимается изъ пятого въ десятое или, вѣрнѣе, отражается въ творческомъ умѣ беллетриста съ той неподражаемой ясностью и отчетливостью, съ какой человѣческая фizioномія можетъ отразиться въ дешевомъ зеркалѣ, покрытомъ пузырями. Много у насъ такихъ беллетристовъ, и велики труды ихъ, но, мнѣ кажется, въ этомъ отношеніи никто не можетъ сравниться съ Н. Станицкимъ, по милости котораго почтенный «Современникъ» такъ часто нагружается раздражительными романами. Бываютъ бездарности тихія, скромныя, почти пріятныя по своей безобидности; но бываютъ и другія бездарности: лютыя, буйныя, изысканно притязаніе на смѣлость мысли, на пылкость чувства, на ширину умственного развитія, на свѣжесть и ѣдкость юмора и на разныя другія хорошія вещи, которыя навсегда остаются для нихъ недоступными. Но произведеніямъ Станицкаго намъ будетъ очень удобно изучить типъ фразера, маскирующаго свою умственную бѣдность крикомъ и жестигуляцией. Изученіе Станицкаго особенно интересно для насъ потому, что этотъ писатель постоянно ра-

ботаетъ для «Современника» и постоянно урокуетъ своимъ фразерствомъ свѣтлыя и широкія идеи, которыя развивали въ этомъ журналѣ дѣйствительно мыслящіе и дѣльные люди. Еслибы какой-нибудь усердный писатель уродовалъ идеи «Отечественныхъ Записокъ» или «Русскаго Вѣстника», то подобное занятіе можно было-бы называть безвреднымъ толченіемъ воды, потому что въ этихъ наипочтеннѣйшихъ журналахъ, по нашему крайнему разумѣнію, нечего уродовать и еще потому, что ихъ изуродованную идею могутъ отличить отъ неизуродованной только самые опытные эксперты. Но искажать идеи Добролюбова и людей близкихъ къ нему, обезцвѣчивать эти идеи невинной болтовней, или опоплять ихъ мелодраматическимъ риторетствомъ—это уже выходитъ изъ границъ позволительной шутки, и противъ такихъ упражненій критика должна принимать болѣе серьезныя мѣры. Она должна подвергнуть произведенія свирѣпствующаго фразера строгому и тщательному изученію, чтобы показать и доказать публикѣ, что между фразерами и настоящими мыслителями, стоящими повидимому подъ однимъ знаменемъ, нѣтъ и не можетъ быть ни малѣйшей умственной солидарности. Такого рода операцію я намѣренъ произвести надъ авторскою личностью Станицкаго, и я твердо убѣжденъ въ томъ, что лучшіе мыслящіе сотрудники «Современника» въ душѣ скажутъ мнѣ спасибо за эту дружескую услугу. Имъ самимъ конечно неловко говорить горькія истины своему старому и постоянному сподвижнику, но когда эти истины будутъ высказаны постороннимъ человѣкомъ, тогда это навѣрное доставитъ имъ большое удовольствіе, потому что они, разумѣется, понимаютъ очень хорошо, что дубовый трагизмъ Станицкаго, подобно невинному юмору Щедрина, только сбиваетъ съ толку читателей и вредитъ уясненію настоящей идеи журнала. Итакъ, пускаюсь въ путь и принимаюсь за разборъ романа «Женская доля». Я буду слѣдить за каждымъ шагомъ нашего романиста, потому что въ развитіи подробностей Станицкій еще болѣе прелестенъ, чѣмъ въ общей концепціи своихъ произведеній.

### II.

Въ селѣ Григорьевкѣ живетъ помѣщица Анна Антоновна, женщина пожилая и болѣзненная: у нея шестнадцатьлѣтняя дочь, Софья Григорьевна. Мужъ Анны Антоновны, Григорій Андреевичъ, живетъ въ Петербургѣ и пользуется безпредѣльной ненавистью Станицкаго. Впрочемъ эту ненависть раздѣляютъ съ Григоріемъ Андреевичемъ почти все остальные дѣйствующія лица

романа. Почти всѣ они—гнусные люди и выведены на сцену особенно для того, чтобы ихъ пороки давали обильную пищу великодушному негодованію и ювеналовскому краснорѣчію нылкого романиста. Предо мной лежитъ въ настоящую минуту мартовская книжка «Современника» за 1862 годъ; она раскрыта на стр. 48 первого отдѣла, и я усматриваю въ этомъ мѣстѣ пылкую ненависть Станицкаго къ одному изъ дѣйствующихъ лицъ его романа.

Вслѣдъ затѣмъ я отправляюсь въ «Современное Обозрѣніе» той-же книжки и на стр. 68 читаю слѣдующія строки: «Онъ питаетъ какую-то личную ненависть и неприязнь, какъ будто они лично сдѣлали ему какую-нибудь обиду и пакость, и онъ старается отмстить имъ на каждомъ шагѣ, какъ человѣкъ лично оскорбленный; онъ съ внутреннимъ удовольствіемъ отыскиваетъ въ нихъ слабости и недостатки, о которыхъ и говорить съ дурно-скрываемымъ злорадствомъ, и только для того, чтобы унижить героя въ глазахъ читателей: «посмотрите, дескать, какіе негодяи мои враги и противники». Онъ дѣтски радуется, когда ему удастся уколотъ чѣмъ-нибудь недоброжелателя героя, съострить надъ нимъ, представить его въ смѣшномъ или пошломъ и мерзкомъ видѣ; каждый промахъ, каждый необдуманый шагъ героя пріятно щекочетъ его самолюбіе, вызываетъ улыбку самодовольствія, обнаруживающую гордое, но мелкое и негуманное сознание собственного превосходства». Все это говорить Антоновичъ въ той статьѣ, въ которой онъ провелъ очень неудачно параллель между Тургеневымъ и Асканиемъ; все это онъ говоритъ по поводу отношеній Тургенева къ Базарову, и все это разсужденіе, совершенно не подходящее къ роману «Отцы и Дѣти», обрисовываетъ чрезвычайно вѣрно отношенія, существующія между Станицкимъ и его героями.

Изъ приведенной цитаты мы видимъ, что первый критикъ «Современника» рѣшительно осуждаетъ личную вражду автора къ его героямъ, а такъ какъ романъ Станицкаго весь построенъ на такой враждѣ, то ясно, что этотъ романъ не можетъ нравиться Антоновичу, и что между беллетристикой и критикой «Современника» происходитъ очевидный разладъ. Слѣдовательно нападая на Станицкаго, я буду постоянно нападать не на идеи «Современника», а на такія уклоненія и нелѣпости, къ которымъ каждый дѣльный сотрудникъ этого журнала долженъ относиться съ насмѣшкой и съ презрѣніемъ. Что хорошо въ «Современникѣ», то мы всегда будемъ считать хорошимъ, несмотря ни на какія полемическія столкновенія между нашими журналами; но что составляетъ въ «Современникѣ» гнилой хламъ и вредный балластъ, того навѣрно не рѣшится защищать ни одинъ изъ мыслящихъ дѣятелей этого журнала.

Возвращаясь къ Станицкому. Григорій Ан-

деевичъ ведетъ въ Петербургѣ самую безнравственную жизнь, содержитъ лоретку, играетъ и нынствуетъ. Добравшись до этого порочнаго человѣка, авторъ немедленно пускаетъ въ ходъ свое краснорѣчіе и цитеронствуетъ слишкомъ на четырехъ страницахъ. На этихъ краснорѣчивыхъ страницахъ есть и психологическій анализъ, и разсужденія о междучеловѣческихъ отношеніяхъ. Мысли какъ-то плохо вяжутся между собой, но зато пылкости очень много, и всѣ сужденія выражаются преимущественно въ восклицательной формѣ, причемъ производится весьма затѣйливые переливы изъ прощическаго тона въ тонъ завывающаго негодованія. Но части психологическаго анализа особенно любопытно то соображеніе, «что эгоистическія природы неспособны ни къ какимъ привязанностямъ, если ими не руководитъ чувственная страсть, для удовлетворенія которой онѣ могутъ пожалуй на время прикинуться порядочными людьми, но какъ только эта страсть миновалась, онѣ снова начинаютъ питать непримиримую вражду къ тѣмъ, кто ждалъ отъ нихъ человѣческихъ чувствъ». Ясно, кажется, что эгоистъ есть мерзкое и лютое животное. Дальше оказывается даже, что «грязные, развратные эгоисты готовы побить камнями каждого отца, если онъ захочетъ воспитать свою дочь не куклой, а матерью будущихъ гражданъ». А еще дальше—по пословицѣ, чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ—авторъ заявляетъ даже, что эгоистовъ могутъ усмирить только «железные кольца, продѣтые въ ихъ ноздри: только тогда они безсильны проявлять свою звѣрскую силу надъ слабыми».

Все это читатель «Современника» усваиваетъ себѣ въ мартѣ 1862 года. Вдругъ въ мартѣ 1863 года происходитъ перемѣна декораціи: появляется романъ «Что дѣлать?», и читатель съ удивленіемъ усматриваетъ, что бывають и такіе эгоисты, съ которыми можно вступать въ сношенія безъ помощи желѣзнаго кольца. Оказывается, что эти эгоисты никого не стремятся побить камнями, непримиримой вражды не питають и даже порядочными людьми никогда не прикидываются. Читатель недоумѣваетъ, и наконецъ склоняется на сторону романа «Что дѣлать?», потому что дѣйствіе сильнаго и свѣтлаго ума почти всегда бываетъ неотразимо. Но вѣдь безхитростный читатель не привыкъ вдумываться въ то, что онъ читаетъ; онъ не умѣетъ сразу усваивать себѣ навсегда вѣрныя мысли. Романъ «Что дѣлать?» оставилъ быть-можетъ въ его умѣ болѣе глубокий слѣдъ, чѣмъ другіе романы, но все-таки этотъ слѣдъ изгладится очень быстро, если его никто не будетъ подновлять дальѣйшими впечатлѣніями изъ того-же міросозерцанія. А ужъ какое тутъ можетъ быть подновленіе, когда черезъ годъ Станицкій, того и глядя, разразится новымъ романомъ, въ которомъ опять соединить семинар-

скую психологію съ звѣринцемъ Крейцберга! Спрашивается теперь, какое - же право имѣютъ мыслящіе представители нашей литературы требовать отъ нашего общества нравственной и умственной стойкости, сознательной инициативы и послѣдовательности въ мысляхъ и поступкахъ? Если лучшій изъ нашихъ журналовъ шатается изъ стороны въ сторону, безо всякой надобности тормозить свое собственное вліяніе и самого себя сбиваетъ съ ногъ, если такимъ образомъ въ самую лабораторію русской мысли забираются разныя умственные нечистоты, если «солъ земли» сама себя пакоститъ, то можемъ-ли мы ожидать какихъ-нибудь болѣе утѣшительныхъ результатовъ отъ той пестрой и разнокалиберной массы, которая называется русской публикой?

Я знаю, что мнѣ на это могутъ возразить. Мнѣ скажутъ, что вѣдь это—беллетристика, и что въ отношеніи къ этому отдѣлу слѣдуетъ быть болѣе снисходительнымъ, чѣмъ въ отношеніи къ критикѣ, къ политикѣ и къ прочимъ серьезнымъ отдѣламъ журнала. Почти всѣ журналисты на практикѣ придерживаются этой metody, но мнѣ кажется, что такой взглядъ на дѣло сильно отзывался самымъ близорукимъ рутинерствомъ. Если повѣсти и романы не имѣютъ для публики важнаго значенія, то-есть, если они читаются мало и неохотно, тогда незачѣмъ набивать бесполезнымъ балластомъ половину книжки. Если - же они читаются большинствомъ, тогда они важнѣе всѣхъ остальныхъ отдѣловъ и сохранять свое значеніе до тѣхъ поръ, пока большинство не доростетъ до серьезнаго чтенія. Стало-быть, надо или сократить размѣры этого отдѣла, или смотрѣть на него во всѣ глаза, чтобы въ него не залѣзало всякое безобразіе. Но дѣлать то, что мы теперь дѣлаемъ, то-есть держать при журналахъ огромныя беллетристическіе отдѣлы и въ то-же время вести эти отдѣлы спустя рукава, устраивать въ нихъ богадѣльни для разныхъ умственныхъ убогостей,—это ужъ просто ни на что не похоже. Это нерасчетливо въ отношеніи къ интересамъ издателя, это вредно для литературы, и это чрезвычайно недобросовѣстно и невѣжливо въ отношеніи къ читающей публикѣ. Если плохо пишутъ отечественные художники—помѣщай переводы, но не поощряй бездарности и не развивай этого умственного тупеядства. Кромѣ того сильный и любимый журналъ можетъ понемногу совершенно перевоспитать вкусъ публики и приучить ее къ дѣльному и серьезному чтенію, такъ что беллетристическій отдѣлъ можно будетъ довести до самыхъ крошечныхъ размѣровъ. Во всякомъ случаѣ, вмѣсто того, чтобы продѣлывать эгоистамъ желѣзные кольца въ ноздри, было-бы гораздо лучше заняться чѣмъ-нибудь менѣе лютымъ, но болѣе полезнымъ для читателей.

### III.

Карая безнравственность Григорія Андреевича и его торетки, Станицкій при семъ удобномъ случаѣ прохаживается на счетъ эманципаціи женщинъ, и все это въ восклицательномъ и афористическомъ тонѣ. «Чего - же, —звываетъ нашъ Цицеронъ, —вы можете ждать, бѣдныя, честныя женщины въ жизни? Вы развѣ не видите, какъ нагло покровительствуется сознательный развратъ и какъ позорно наказываютъ вашъ проступокъ, вынужденный страхомъ и стыдомъ, а также и неопытностью? И не ждите ничего пока отъ эманципаціи женщинъ! Это проповѣдываніе такъ - же безплодно, какъ и состраданіе къ человѣчеству, о которомъ такъ давно и много толкуютъ. И развѣ вы не видите, что женщина, увлекавшаяся эманципаціей и отдавшаяся мужичиѣ безъ всякихъ гражданскихъ условій, развѣ она не гибнетъ также въ унижительномъ рабствѣ, — и въ придачу еще опозоренная?»

Дальше идетъ все въ томъ-же возвышенномъ направленіи, но съ насъ довольно и этого образчика, тѣмъ болѣе, что намъ придется еще потрудиться довольно долго надъ распутываніемъ нагроможденной здѣсь чепухи. Подъ названіемъ *проступки* Станицкій разумѣетъ *дѣтоубійство*. Онъ противопоставляетъ позорное наказаніе этого *проступка* тому *наглому покровительству*, которымъ пользуется *сознательный развратъ* соблазнитель. Какъ ораторская рулада, это противоложеніе можетъ-быть очень красиво и эффектно, но смысла въ немъ нѣтъ ни малѣйшаго. Станицкій желаетъ повидимому чтобы, въ случаѣ *дѣтоубійства* вмѣстѣ съ матерью ребенка наказывался и его отецъ; или онъ желаетъ, чтобы въ этомъ случаѣ наказывался одинъ отецъ; или-же наконецъ онъ желаетъ, чтобы всякій отецъ незаконнорожденнаго ребенка подлежалъ уголовному наказанію, хотя и не произошло никакого *дѣтоубійства*. Всѣ эти три желанія очень великодушны и еще болѣе остроумны. Разные французскіе романисты и моралисты, очень добродѣтельные и очень пустоголовые, постоянно экзеклюатируютъ въ своихъ произведеніяхъ извѣстную тему на счетъ *infame séducteur* и *innocente victime* и постоянно призываютъ на голову перваго небесный громъ и уголовную кару; но еслибы составить изъ всѣхъ этихъ призывателей комитетъ и предоставить этому комитету полную законодательную власть по дѣламъ между *séducteur* 'ами и *victime* 'ами, то всѣ эти добродѣтельные люди убились-бы очень скоро, что они говорили совершенные пустяки. Во-первыхъ, не можетъ быть никакихъ ясныхъ и неопровержимыхъ доказательствъ на то, что именно Иванъ, а не Петръ долженъ считаться отцомъ ребенка. Римскіе юрисконсульты говорятъ совершенно основательно, что *mater semper est certa* (мать всегда достоверно извѣстна); но объ отцѣ этого никакъ нельзя сказать, а осуждать человѣка по

догадкамъ—это было-бы ужъ чересчуръ игриво. Во-вторыхъ, женщина наказывается не за безараственность, а за истребленіе живого человѣческаго существа, и если любовникъ этой женщины не принимаетъ прямого участія въ этомъ послѣднемъ поступкѣ, то его и наказывать не за что. Станицкій скажетъ на это, что коварный любовникъ есть прямая причина дѣтубійства, но это возраженіе никуда не годится. Если судъ долженъ такимъ образомъ восходить къ причинамъ, то ему придется наказывать за дѣтубійство не только отца и мать убитого ребенка, а еще и многихъ другихъ людей. Придется наказывать родителей и воспитателей матери за то, что они сдѣлали ее легкомысленной, за то, что она не познакомили ее съ дѣйствительной жизнью и скрыли отъ нея даже тѣ естественныя послѣдствія, которыя ведетъ за собой взаимная и ненадатоическая любовь. Придется наказывать также всѣхъ тѣхъ людей, по милости которыхъ отецъ ребенка сдѣлался коварнымъ обольстителемъ угнетенной невинности.

Можно себѣ представить, насколько подобное восхождение къ причинамъ благоразумно и приложимо къ условіямъ дѣйствительной жизни. Или же Станицкій негодуетъ только противъ жестокости и несправедливости тѣхъ позорныхъ наказаній, которыя обрушиваются на женщину, обезумѣвшую отъ стыда, горя, страха и физической боли, то я конечно не буду съ нимъ спорить, потому что моя аргументація приводитъ меня именно къ этому результату. Но тогда не зачѣмъ кричать о *наиломъ покровительства*, потому что тутъ нѣтъ ни наглости, ни покровительства, а есть только невмѣстательство закона въ такія дѣла, въ которыя онъ не можетъ вмѣшаться и въ которыя ни одинъ здравомыслящій человѣкъ не пожелаетъ его вникать. Стало-быть, эффектная антитеза Станицкаго оказывается или бессмысленной фразой, или совершенно превратнымъ разсужденіемъ, клонящимся къ тому общему выводу, что общественные пороки должны излечиваться уголовными наказаніями. Это выходитъ опять вродѣ продѣванія желѣзныхъ колецъ для облагораживанія эгоистическихъ натуръ. Что подразумѣваетъ Станицкій подъ терминомъ: «эманципація женщинъ» — это вопросъ очень мудреный, но кажется мнѣ, что его понятія объ этомъ предметѣ такъ-же ясны и основательны, какъ и всѣ остальные его воззрѣнія. Честныя женщины, по его мнѣнію, не должны ничего ждать отъ эманципаціи, потому что «женщина, увлекавшаяся эманципаціей и отдававшаяся мужчинѣ безъ всякихъ гражданскихъ условій, позорится и гибнетъ въ унизительномъ рабствѣ». Ну вотъ, скажите пожалуйста: постоянный сотрудникъ «Современника» разсуждаетъ такимъ образомъ объ эманципаціи женщинъ, и въ это самое время Антоновичъ дѣлаетъ Тургеневу строжайшій выговоръ за Евдокію Кукшину. Нельзя сказать, что

бы Кукшина была одарена гениальнымъ умомъ, но объ эманципаціи женщинъ эта барыня разсуждаетъ гораздо основательнѣе Станицкаго.

Нечего дѣлать: давайте распутывать чепуху, прикрытую почтенной фирмой. Во-первыхъ, осмѣлюсь замѣтить, что когда женщина отдается мужчинѣ безъ условій, тогда она обыкновенно увлекается любовью къ этому мужчинѣ, а не эманципаціей. Если-же женщина отдается мужчинѣ во имя идеи и по теоріи, то мнѣ кажется, что такая женщина дура набитая, глупѣе всякой Кукшиной, а дурѣ конечно никакая эманципація не можетъ пойти впрокъ. Станицкій очевидно понимаетъ эманципацію исключительно съ точки зрѣнія половыхъ отношеній. Честная женщина, по мнѣнію его, гибнетъ, когда отдается «грязному, развратному эгоисту». Прекрасно. Но зачѣмъ-же она отдается такому недостойному человѣку? Зачѣмъ она въ него влюбляется? Зачѣмъ она суется въ воду, не спросивъ броду? Что ее приворотнымъ зельемъ что-ли приколдовываютъ? Влюбляется она потому, что неопытна, неразвита, не умѣетъ размышлять, не имѣетъ понятія о настоящемъ достоинствѣ человѣка, не можетъ поставить при встрѣчѣ съ мужчиной ни одного разумнаго требованія. Женщина отдается мужчинѣ и ошибается въ немъ: что-же это значить? Значить, что она не знала ни его характера, ни склада его ума, ни уровня его развитія. Спрашивается, что же она знала, и чему-же она отдавалась? Ясно что, и ясно чему: знала мужчину, — и отдавалась тоже мужчинѣ, и въ этомъ отношеніи ошибки не произошло. А что можетъ избавить будущія поколѣнія женщинъ отъ подобныхъ пошлостей? Мнѣ кажется, отвѣтъ на этотъ вопросъ можетъ быть только одинъ: широкое развитіе умственныхъ способностей и экономическая самостоятельность, то-есть именно эманципація женщины, проведенная въ ея воспитаніе и въ сферу женскаго труда. Но Станицкій думаетъ совсѣмъ по своему. «Пока, — глаголетъ онъ, — сами мужчины не сдѣлаются нравственнѣе, никакая эманципація женщинъ невозможна». Это «пока» равняется совершенному отрицанію эманципаціи. На это «пока» можно отвѣчать другимъ «пока». Пока женщины не перестанутъ быть невинными и легкомысленными жертвами, до тѣхъ поръ мужчины не перестанутъ быть коварными обольстителями, потому что — извѣстное дѣло — не клади плохо, не води вора въ грѣхъ. Положимъ, что Іосифъ прекрасный убѣждалъ отъ жены Пентефрія. Но вѣдь всякому извѣстно, что такія добродѣтели даже въ древности были рѣдки, а ужъ въ наше время было-бы чересчуръ неосторожно воздвигать на такихъ исключительныхъ добродѣтеляхъ будущее зданіе женской эманципаціи. Кромѣ того мужчины уже и теперь стоятъ далеко впереди женщинъ по своему умственному развитію; всякій

нравственный прогрессъ возможенъ только подъ условіемъ дальнѣйшаго умственнаго прогресса, и если Станицкій не знаетъ этой простой истины, то мнѣ остается только пожалѣть о его невѣдѣніи. Стало-быть, если мужчины должны сдѣлаться нравственнѣе, то это значить, что они должны сдѣлаться умнѣе, и что вслѣдствіе этого разстояніе между мужчинами и женщинами должно еще болѣе увеличиться. Но мы видимъ, что разладъ между мужчинами и женщинами уже и теперь очень силенъ; мы видимъ, что матери, сестры, жены, невинныя дѣвушки и *наши лоретки*,—словомъ, женщины вообще чрезвычайно сильно тормозятъ развитіе мужчинъ и по своей умственной несостоятельности постоянно тянутъ назадъ въ застой и въ рутину тѣхъ мужчинъ, которые не одарены желѣзной твердостью характера. Можно сказать безошибочно, что *филлистество* родилось у семейнаго очага, и что холостякъ никогда неспособенъ сдѣлаться такимъ чистокровнымъ филистеромъ, какимъ становится рано или поздно почти каждый добродѣтельный отецъ семейства. Поэтому нетрудно понять, что дальнѣйшій прогрессъ мужчины связанъ самымъ тѣснымъ образомъ съ вопросомъ объ умственномъ развитіи женщины. И всякій разсужденіи о томъ, кому надо умнѣть сначала, мужчинамъ или женщинамъ, напоминаютъ только старинный натурфилософскій вопросъ о томъ, что раньше произошло на свѣтъ, яйцо или курица? Съ одной стороны, если—яйцо, то кѣмъ-же это первое яйцо было снесено? А съ другой стороны, если курица, то откуда-же эта первая курица взялась? Выходить, стало-быть, что по настоящему не могли произойти на свѣтъ ни курица, ни яйцо, и что слѣдовательно на свѣтъ не можетъ быть ни куръ, ни яицъ, что повидимому противорѣчить прямымъ указаніямъ всенеднежнаго опыта. Такъ точно и въ дѣлѣ прогресса. Еслибы прогрессъ не совершался самъ собой, помимо всякихъ теоретическихъ выкладокъ, то, разумѣется, вопросъ о томъ, кому слѣдуетъ двинуться впередъ, мужчинамъ или женщинамъ, на практикѣ оказался-бы неразрѣшимымъ. Мужчины стали-бы говорить: „*place aux dames!*“, а женщины стали-бы говорить: „*messieurs*, мы—слабый полъ; ступайте впередъ и тащите насъ за собой“; и всѣ вмѣстѣ остановились-бы въ полной неподвижности, и начали-бы упрекать другъ друга за неудачу поступательнаго движенія. Все это непременно случилось-бы, еслибы прогрессъ зависѣлъ отъ нашихъ разсужденій; мы постоянно вертѣлись-бы въ заколдованномъ кругу, въ которомъ одно неудобство поддерживается всѣми остальными и въ которомъ надо непременно или все разомъ двинуть впередъ, или все оставить на вѣчныя времена въ первобытномъ положеніи. Въ теоріи мы и не знаемъ, какъ-же это все разомъ двинуть, но на практикѣ все дви-

гается разомъ, потому что каждый отдѣльный кусочекъ этого всего, то-есть каждая отдѣльная личность, мужского или женскаго пола, во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ руководствуется эгоизмомъ, то-есть старается устроить свою жизнь какъ можно пріятнѣе. Подчиняясь этому общему двигателю всего органическаго міра, каждый отдѣльный кусочекъ шевелится въ томъ или въ другомъ направленіи, и сумма всѣхъ этихъ частичныхъ шевеленій создаетъ общій прогрессъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ общій регрессъ или упадокъ, потому что все зависитъ отъ того, въ какую сторону направляется большинство индивидуальныхъ стремленій.

Но, разумѣется, для Станицкаго, считающаго наглость лоретокъ и жестокость развратныхъ эгоистовъ самыми серьезными препятствіями на пути истечественнаго преуспѣянія, для Станицкаго, говоря о я, правильное пониманіе прогресса останется навсегда недоступнымъ, и онъ постоянно будетъ утруждать свою творческую мысль разными многозначительными «пока». Всего интереснѣе то, что этотъ Кифа Мокіевичъ, составляющій для «Современника» чистое божеское наказаніе, принимаетъ самого себя за серьезное явленіе и чувствуетъ поползновеніе сдѣлаться наставникомъ молодого поколѣнія. «Я долженъ оговориться, — замѣчаетъ онъ, — что я пишу этотъ романъ для юношей, которые вступаютъ только въ общество, а потому, по неопытности, часто увлекаются рутинными, вредными понятіями о многихъ вещахъ,—тѣмъ болѣе вредными, что эти понятія усвоены большинствомъ.»

Неопытные юноши! Что вы на это скажете? Молодое поколѣніе! Какъ вамъ правится такой глубокомысленный просвѣтитель? Такимъ образомъ мы познакомились до нѣкоторой степени съ краснорѣчіемъ Станицкаго, съ его претензіями, и вообще съ тѣмъ элементомъ фразерства, который я назвалъ въ заглавіи этой статьи «букемомъ гражданской скорби». Намъ можетъ-быть придется еще встрѣтиться съ различными проявленіями этого элемента, но теперь мы обратимъ наши взоры на «кукольную трагедію» и начнемъ серьезно и добросовѣстно изучать страданія, размышленія и злодѣянія различныхъ добродѣтельныхъ и порочныхъ, и притомъ сплошь деревянныхъ маріонетокъ.

#### IV.

Анна Антоновна скрываетъ отъ своей дочери неудовлетворительное поведеніе ея отца; по дочь, придя въ возрастъ, догадывается, что между родителями все обстоитъ не весьма благополучно. Она желаетъ примирить Григорія Андреевича съ супругой и говорить матери: «почему ты не напишешь отцу, чтобъ онъ ѣхалъ къ намъ?» Аннѣ Антоновнѣ на этотъ вопросъ отвѣчать неудобно, и потому она рѣшается писать къ своему беззаконному сожителю пригласительное письмо.

Софья Григорьевна также пишетъ, и безпутный глава семейства возвращается къ своимъ пенатамъ, по возвращаетъ не одинъ, а привозитъ съ собой молодого человѣка, Петра Васильевича, также очень безпутнаго и чрезвычайно ненавистнаго Станицкому. Вотъ тутъ-то и начинается трагическое раздражительность.

Въщее сердце матери угадываетъ въ молодомъ гостѣ коварнаго обольстителя, и Анна Антоновна очень возмущается его прибытіемъ и его долговременнымъ присутствіемъ въ селѣ Григорьевкѣ, по злокачественный супругъ ея *на зло ей* удерживаетъ опаснаго юношу и даже старается сблизить его съ дочерью. Впрочемъ у молодыхъ людей это дѣло идетъ на ладъ помимо всякихъ постороннихъ вліяній. Все это вмѣстѣ очень безнокоитъ Станицкаго. «Да и чѣмъ было возмущаться Аниѣ Антоновнѣ?» восклицаетъ онъ съ явными претензіями на самую горькую и язвительную пропію. «Развѣ тѣмъ, что молодой человѣкъ говорилъ съ ея дочерью все о поэзіи и объ идеальныхъ предметахъ; или тѣмъ, что онъ по цѣлымъ ночамъ игралъ въ карты и нилъ множество вина съ ея мужемъ; или тѣмъ наконецъ, что онъ вздыхалъ, какъ страстно влюбленный, въ присутствіи барышни и въ то-же время искалъ случая соблазнить молоденькую и хорошенькую горничную этой-же самой барышни?»

Читатель видитъ, что молодой человѣкъ дѣйствительно ведетъ себя неблагонравно. Сблизить молодыхъ горничныхъ вовсе неохвально, а пить *множество* вина изъ рукъ вонъ не дорожно, потому что это послѣднее занятіе не только унижаетъ человѣческое достоинство, но даже противорѣчить духу и требованіямъ русскаго языка. Впрочемъ я полагаю, что молодой человѣкъ пилъ вино не множествомъ, а рюмками или стаканами, и поэтому мнѣ кажется, что по крайней мѣрѣ половина грѣха должна упасть на авторскую совѣсть Станицкаго. Петръ Васильевичъ во всякомъ случаѣ рекомендуетъ себя плохо, по я хорошо не понимаю, почему его порочныя наклонности огорчаютъ Анну Антоновну. Вѣдь она вовсе не желаетъ, чтобы онъ женился на ея дочери. Стало-быть, чего-же лучше? Позвала-бы она къ себѣ свою дочь, да и рассказала-бы ей по порядку, что вотъ онъ вчера выпилъ «множество вина», а третьяго дня строилъ куры какой-нибудь Наталья или Палагеѣ. Можно было-бы представить на лицо самыя убѣдительныя доказательства, напримѣръ свидѣтельство буфетчика и обольщаемой горничной. Тогда Софья Григорьевна поняла-бы настоящую цѣну любовныхъ вздоховъ и поэтическихъ разговоровъ, и такимъ образомъ обольстительный ядъ потерялъ-бы всю свою роковую силу. Но маріонеткамъ кукольной трагедіи подобноеразрывіе практическихъ вопросовъ не нравится, потому что оно слишкомъ просто и благоразумно

Анна Антоновна воспитывала свою дочь въ счастливомъ невѣдѣніи дѣйствительной жизни; послѣ приѣзда молодого гостя она «сознала вполне страшную ошибку», но отъ этого сознанія дѣло нисколько не поправилось, и эта остроумная барыня вмѣсто того, чтобы сразу открыть глаза своей наивной дочери, начала предаваться какимъ-то неяснымъ размысленіямъ, которыя я могу сообщить читателю не иначе, какъ собственными словами Станицкаго. «Анна Антоновна сама находила, что было-бы гораздо лучше, еслибы ея дочь теоретически ознакомилась съ развратомъ общества, съ его лицемѣрствомъ и эгоизмомъ, чѣмъ переиспытала все это на практикѣ, рискуя самой попасть въ этотъ грязный потокъ дѣйствительной жизни, который умчитъ ее и обезобразитъ въ водоворотъ всевозможныхъ пороковъ». Это, я вамъ скажу, чудесная метода знакомиться съ жизнью, и я удивляюсь, какъ до сихъ поръ никто не догадался учредить при нашихъ университетахъ кафедры для *теоретическаго* преподаванія «разврата, лицемѣрства и эгоизма». Неудурно было-бы также примѣнить эту *теоретическую* методику къ изученію плаванія, верховой ѣзды, фехтованія и стрѣльбы въ цѣль. Результаты получились-бы блистательные. Хотя Анна Антоновна *сама* находила, что теоретическая метода очень хороша, однако она опять-таки *сама* начала дѣйствовать противъ Петра Васильевича практическимъ путемъ и потерпѣла совершенное пораженіе. Она обратилась къ супругу съ требованіемъ, чтобы онъ вынудилъ своего гостя изъ дому. Супругъ конечно обругалъ ее за такое глупое требованіе; тогда она въ свою очередь обругала Петра Васильевича; Григорій Андреевичъ послѣ отъѣзда обруганнаго гостя сугубо обругалъ Анну Антоновну и даже пожелалъ увести отъ нея дочь, но дочь не поѣхала, и военныя дѣйствія на нѣсколько времени приостановились. Какимъ образомъ ругалась Анна Антоновна, этого намъ Станицкій не сообщаетъ, потому что Анну Антоновну онъ любитъ и всячески выгораживаетъ. Но о Григоріи Андреевичѣ мы доподлинно знаемъ, что онъ ругается шибко, кричитъ «неистово», кричитъ «ужасающимъ голосомъ», стучитъ «изо всей силы кулакомъ по столу» и держитъ «кулаки надъ головой несчастной женщины». Резюмировать всѣхъ этихъ усилій оказывается въ высшей степени удивлительнымъ, потому что Анна Антоновна остается безъ чувствъ на полѣ сраженія, хотя сраженіе ограничивалось только краснорѣчіемъ и мимикой, и слѣдовательно могло по всей справедливости называться *теоретическимъ* изученіемъ семейнаго боксерства. Когда наступила тишина и когда Анна Антоновна стала поправляться отъ болѣзни, причиненной ей всѣми *теоретическими* и практическими трудностями, тогда она замѣтила, что дочь ея тоскуетъ объ



уѣхавшемъ гостѣ. Тутъ она «дала себѣ слово понемногу начать, въ разговорахъ, знакомить свою дочь съ дѣйствительной жизнью».

Видно, теоретическая метода очень глубоко за- сѣла въ голову этой барыни, и намъ было-бы куда какъ лестно послушать эти поучительные разговоры, но къ сожалѣнію Аннѣ Антоновнѣ побесѣдовать о жизни не удалось, потому что въ это самое время открылось, что барышня изучаетъ жизнь по другой методѣ, подѣ непосредственнымъ руководствомъ Петра Васильевича и при содѣйствіи добродушнаго папеньки. — Въ одну прекрасную ночь Аннѣ Антоновнѣ пришлось увидать, что ея дочь цѣлуется въ саду съ тѣмъ самымъ гостемъ, котораго она, Анна Антоновна, такъ храбро и рѣшительно выпроводила изъ дому. «Несчастная мать тотчасъ узнала голосъ дочери, — говоритъ Станицкій; — силы ей измѣнились, и она схватилась за дерево, чтобъ устоять на ногахъ, но тотчасъ-же, оглушенная точно громомъ, опустилась на сырую траву, прислонивъ свою нылающую голову къ дереву. Анна Антоновна не чувствовала холодной осенней ночи; напротивъ, мучительный огонь жегъ ее, она хотѣла кричать, но у ней не хватало голоса, хотѣла схватить за платье дочь, когда та прошла мимо съ Петромъ Васильевичемъ, но руки были безсильны; одинъ только слухъ, какъ-бы нарочно, не былъ парализованъ, и она ясно слышала и циническія шуточки Григорія Андреевича, совѣтовавшаго влюбленнымъ разойтись по домамъ, и звонкій прощальный поцѣлуй.»

Однако, думаетъ хладнокровный читатель, какая-же эта Анна Антоновна воинственная и притомъ какая преглупая! Какое она питаетъ страстное влеченіе къ бесполезнымъ скандаламъ! И какъ это хорошо устроено, что бодливой коровѣ Богъ рога не даетъ. Ну, посудите вы сами, зачѣмъ она хотѣла кричать и хватать дочь свою за платье? — Вѣдь изъ этого кричанія и хватанія ровно ничего не могло выйдти, кромѣ смертельнаго испуга для Софьи Григорьевны. Представьте себѣ въ самомъ дѣлѣ, что дѣвушку, взволнованную любовнымъ свиданіемъ, окликаетъ въ темномъ саду отчаянный и неестественный голосъ; или еще лучше, ее ухватываетъ въ темнотѣ за платье съ судорожной силой какая-то невѣдомая рука. Ну, разумѣется, обморокъ, нервная горячка и смерть, — вотъ все, что можно ожидать отъ такой родительской шалости. И потомъ та-же самая Анна Антоновна стала-бы раздирать свои ризы и стала-бы обвинять въ смерти дочери весь свѣтъ, кромѣ самой себя, потому что услужливые медвѣди всегда поступаютъ такимъ образомъ. Вѣдь вотъ и въ этомъ случаѣ, размышляя о почной сценѣ въ саду, Анна Антоновна никакъ не умѣетъ сообразить, что это любовное свиданіе вполнѣ можетъ быть названо дѣломъ ея собственныхъ рукъ. Пересчитаемъ всѣ ея капиталныя глупости, и мы увидимъ, что романъ ея до-

чери составляетъ прямой, естественный и необходимый результатъ родительской тактики самой Анны Антоновны. *Во-первыхъ*, она воспиты- вается свою дочь въ глубокомъ уединеніи и въ такомъ оранжерейномъ мірѣ, въ которомъ нѣтъ рѣшительно ничего похожаго на дѣйствительную жизнь. *Во-вторыхъ*, она самымъ тщательнымъ образомъ лжетъ передъ дочерью на счетъ своей собственной семейной жизни, но сама требуетъ отъ дочери полной откровенности и въ то-же время брюзжитъ на эту дочь, когда замѣчаетъ или подозрѣваетъ въ ней какіи-нибудь неподходящія мысли. Это впрочемъ самая обыкновенная метода старшихъ при сношеніяхъ съ младшими. Я, говоритъ старшій, — твой другъ, и ты открывай мнѣ всѣ твои мысли, а я тебя буду распекаеть за твои глупости и буду тебя обманывать для твоей-же пользы. И послѣ этого старшій удивляется, какъ это у младшаго достало безсовѣстности нарушить такой выгодный и удобный контрактъ. Но, разумѣется, контракты эти всегда нарушаются, потому что въ самомъ дѣлѣ трудно найдти такого олуза, который удовлетворялся-бы подобной дружбой и вообразилъ-бы себѣ, что онъ дѣйстви- тельно видитъ передъ собой настоящаго друга, а не благодѣтельное начальство. Поэтому система обязательной откровенности непремѣнно учить младшаго хитрить и притворяться, потому что хитрость и притворство составляютъ въ этомъ случаѣ естественное и необходимое орудіе личной обороны. Если-же эта система располагаетъ огромными, разнообразными и утонченными средствами угнетенія, то она приводитъ младшаго къ искусственному идиотизму, что и дѣлалось съ полнымъ уснѣхомъ въ іезуитскихъ коллегіяхъ. Но такъ какъ Аннѣ Антоновнѣ было далеко во вѣхъ отношеніяхъ до іезуитовъ, то ея педагогическія глупости привели только къ тому, что отношенія ея съ дочерью, оставаясь нѣжны- ми и чувствительными, сдѣлались неестествен- ными и натянутыми съ той самой минуты, какъ только въ головѣ молодой дѣвушки шевель- нулась первая самородная мысль. Еслибы Софья Григорьевна встрѣтилась съ подругой, то она-бы ей отдала всю свою довѣренность, и стала-бы ей высказывать такія вещи, которыя она не находила удобнымъ говорить любящей, но скрипящей, матери. Случилось ей встрѣтити- ся на первый разъ не съ подругой, а съ молодымъ мужчиной; очень естественно, что она бро- силась къ нему на шею, потому что увидала въ немъ своего перваго друга и кромѣ того перваго близкаго знакомаго мужескаго пола. *Въ-третьихъ* Анна Антоновна по просьбѣ дочери пишетъ своему мужу, чтобы онъ ѣхалъ къ нимъ въ деревню. Этотъ поступокъ составляетъ очень большую глупость, которая, именно съ точки зрѣнія самой Анны Антоновны и Станицкаго, оказывается совершенно непростительной. Анна Антоновна знаетъ давно, что ея мужъ — человекъ

отпѣтый; зачѣмъ-же она сама напрашивается на то, чтобы этотъ человѣкъ забралъ въ руки вліяніе надъ ея дочерью? Зачѣмъ она рѣшается приблизить къ своей взрослой дочери этого человѣка, который по ея-же собственному убѣжденію не можетъ принести ровно ничего, кромѣ вреда и горя?—Развѣ она не понимаетъ, что Григорій Андреевичъ навѣрное навяжетъ ей и дочери какое-нибудь знакомство, вовсе непоучительное для молодой дѣвушки? Что онъ привезетъ съ собой такого знакомаго изъ Петербурга, этого она, положимъ, не могла предвидѣть. Но вѣдь какого-нибудь молодого кутилу и веселаго собутыльника не трудно отыскать и въ провинціи, а что Григорій Андреевичъ будетъ искать и найдетъ такую драгоценность, это было въ высшей степени вѣроятно, во-первыхъ потому, что человѣкъ созданъ для общества, а во-вторыхъ потому, что на ловца и звѣрь бѣжитъ. Если даже оставить въ сторонѣ это частное неудобство, то вообще слѣдовало ожидать, что Григорій Андреевичъ такъ или иначе обнаружитъ свои достоинства, и что дочь именно вслѣдствіе сближенія съ отцомъ испытаетъ въ отношеніи къ нему самое полное и самое тяжелое разочарованіе. Зачѣмъ-же любящая и заботливая мать сама не взяла на себя труда разочаровать свою дочь и убѣдить ее въ томъ, что сближеніе съ кутящимъ родителемъ неудобно и неосуществимо во всѣхъ отношеніяхъ? Вотъ тутъ дѣйствительно не мѣшало пустить въ ходъ *теоретическую* методику, потому что, когда мать говоритъ дочери: «твой отецъ — пьяница», то дочери для того, чтобы повѣрить этимъ словамъ, нѣтъ никакой особенной надобности видѣть собственными глазами, какъ родитель пишетъ мыслете. Въ этомъ случаѣ показаніе матери замѣняетъ вполнѣ непосредственное созерцаніе сырого факта. Спрашивается, почему-же Анна Антоновна сдѣлала эту третью, капитальную глупость? Станицкій по своему пристрастію къ этой рыдающей марionеткѣ не останавливается надъ этимъ вопросомъ и глухо даетъ почувствовать читателю, что Анна Антоновна выписала своего супруга по своему мягкосердію. Но я думаю, что она сдѣлала это по русской пословицѣ: громъ не грянетъ, мужикъ не перекрестится. Когда дочь задала ей вопросъ: «отчего ты не пишешь къ отцу?», то ей предстояло или отвѣчать на этотъ вопросъ: «вотъ отчего», или сказать: «сейчасъ напишу». Въ первомъ случаѣ надо было тотчасъ, немедленно высказать всю правду, а во второмъ случаѣ опасность отсрочивалась на нѣсколько недѣль. Этой отсрочки было совершенно достаточно, чтобы прельстить Анну Антоновну и направить ее на второй путь. Громъ непремѣнно грянетъ, и креститься все-таки придется, но такіа отдаленныя соображенія не укладываются въ слабую голову заботливой матери. А можетъ и не грянетъ, авось, Богъ милостивъ, да когда еще это будетъ,

ну, тогда увидимъ—вотъ тѣ обыкновенныя умозрѣнія, которыми пробавляется огромное большинство нашихъ соотечественниковъ, и эта близорукость пониманія, эта неповоротливость мысли составляютъ самое существенное основаніе нашего рутиннаго добродушія и мягкосердія. Мы обыкновенно не принимаемъ никакихъ рациональных мѣръ противъ возможныхъ и вѣроятныхъ столкновеній съ различными шероховатостями дѣйствительной жизни: но мы дѣлаемъ это не потому, что сознательно уважаемъ нашихъ близкихъ и не хотимъ оскорбить ихъ недобрымъ, а просто потому, что мы не умѣемъ вглядываться въ жизнь и ведемъ всѣ наши дѣла кое-какъ и спустя рукава. Это совсѣмъ не мягкость, а просто тупоуміе, и симпатизировать этому прелестному свойству могутъ только психологи, подобные Станицкому. Въ *четвертой*, Анна Антоновна не сдѣлала рѣшительно ничего, чтобы открыть дочери глаза на крупные недостатки Петра Васильевича. Въ *пятой*, она выгнала этого молодого человѣка изъ дому и этимъ крутымъ поступкомъ превратила любовь Софьи Григорьевны въ бѣшеную страсть.

Изъ этого длиннаго перечня глупостей видно, что всю кашу заварила Анна Антоновна, а Станицкій, напротивъ того, сваливаетъ всю вину на гнусныхъ развратниковъ, которые въ этомъ случаѣ являются совершенно второстепенными дѣятелями. Софья Григорьевна конечно выходитъ замужъ за Петра Васильевича, и жизнь ея складывается самымъ уродливымъ образомъ. Станицкій усиливается доказать, что виновниками ея несчастія были ея отецъ и ея мужъ, и весь романъ готовится такимъ образомъ къ тому заключенію, что женщины терпятъ горькую муку отъ безправственности грязныхъ эгоистовъ, не вразумленныхъ желѣзными кольцами. Романъ составляетъ такимъ образомъ длинную проповѣдь противъ разврата и эгоизма. Станицкій, какъ авторъ, волею конечно къ однимъ изъ своихъ марionетокъ питать нѣжную привязанность, а къ другимъ—лютую ненависть; мы ему препятствовать не можемъ и не желаемъ, но если мы осторожно соскочимъ съ его картины тотъ ложный колоритъ, который кладутъ на нихъ его пылкія симпатіи и антипатіи, если мы такимъ образомъ восстановимъ факты разсказа въ ихъ настоящемъ свѣтѣ и покажемъ дѣйствительныя пружины, управляющія ходомъ этихъ событій, то весь романъ приведетъ насъ къ совершенно противоположному заключенію. Что женщины терпятъ часто горькую муку—это правда; но главная и почти единственная причина ихъ страданій заключается въ ихъ собственной неразвитости и въ томъ искусственномъ тупоуміи, которое напускается на нихъ воспитаніемъ и ведемъ складомъ нашей образцовой семейной жизни. Развратъ и эгоизмъ тутъ ни въ чемъ не виноваты, и вся основная тенденція ро-

мана оказывается такимъ образомъ совершенно ложной. Станицій кричитъ людямъ: «старайтесь, подлецы вы этакіе, исправить вашу нравственность», и весь этотъ крикъ, растянутый на сотни страницъ, по всей справедливости долженъ быть названъ бесплоднымъ наборомъ рѣзкихъ звуковъ. Людямъ надо говорить очень кротко и доказывать какъ можно убѣдительноѣе, что они въ сущности совсѣмъ не подлецы, и что имъ вовсе не слѣдуетъ исправляться, но что имъ было-бы очень пріятно и не бесполезно побольше и почаще пользоваться содѣйствіемъ головного мозга. «Вы-бы, сударики мои, почитали книжку; вы-бы, голубчики, подумали о вашихъ потребностяхъ; вы-бы взглянули на такой-то вопросъ съ такой-то точки зрѣнія.»—Вотъ какъ слѣдуетъ объясняться съ нашими милыми соотечественниками, и только такіе дружелюбныя объясненія и могутъ принести хоть какую-нибудь пользу, потому что все человеческое благосостояніе условно зависитъ отъ высоты умственного развитія.

Мы увидимъ, что даже творческій умъ Станицкаго не въ состояніи былъ изобрѣсти такіе факты, которые-бы противорѣчили этой основной и неопровержимой истинѣ. Станицкому постоянно хочется свернуть на нравственную проповѣдь, а факты его романа, вопреки его авторскому всемогуществу, говорятъ ясно и громко, что вся бѣда происходитъ исключительно отъ недостатка умственного развитія.

#### У.

Мы видѣли въ предыдущей главѣ, что добродѣтельная женщина надѣлала кучу глупостей и, воплотивъ обезоруживъ свою дочь пѣлѣнымъ воспитаніемъ, сама отдала ее въ безотчетное распоряженіе первому встрѣчному, который оказался неблагонадежнымъ во всѣхъ отношеніяхъ. Посмотримъ теперь, какую роль играли здѣсь «грязные и развратные эгоисты», ненавистные Аниѣ Антоновнѣ и Станицкому. Что эта роль была совершенно второстепенной, это уже ясно изъ предыдущаго. Но теперь надо посмотрѣть, какая побудительная причина заставляла ихъ играть эту второстепенную роль. По соображеніямъ Станицкаго тутъ полагаться невозможно, потому что онъ самъ рѣшительно не понимаетъ и упорно отказывается понимать тѣ факты, которые самъ изобрѣтаетъ и рассказываетъ. Добродѣтельная ненависть къ эгоизму и разврату помрачаетъ всѣ его помыслы. Онъ думаетъ, что Григорій Андреевичъ устроилъ сближеніе дочери съ Петромъ Васильевичемъ «на зло» Аниѣ Антоновнѣ, потому, извольте-ли видѣть, что «чествыя души не могутъ выносить самопожертвованій и чистыхъ привязанностей», и еще потому, что «у людей самолюбивыхъ нѣтъ пощады никому». Сильно сказано, но по обыкновенію неосновательно. Что Григорій Андреевичъ питаетъ непріязненное чув-

ство къ Аниѣ Антоновнѣ—этому я охотно вѣрю, потому что это больное, слезливое и раздражительное существо способно навести тоску и уныніе даже на такого пламеннаго и постоянного обожателя, какимъ былъ добрый рыцарь Тоггенбургъ или его близкій родственникъ, полоумный Донъ-Кихотъ. Но губить дочь для того, чтобы насолить женѣ, это слишкомъ замысловато и не совсѣмъ правдоподобно, особенно, если еще сообразить, что эта дочь любить и ласкаетъ своего отца и что собственно противъ дочери у этого отца нѣтъ ни малѣйшей непріязни. Но «у людей самолюбивыхъ нѣтъ пощады никому»; примемъ эти слова за святую истину и допустимъ, что Григорій Андреевичъ способенъ испортить жизнь дочери для того, чтобы доѣхать любезную супругу. Прекрасно, но вѣдь невозможно сомнѣваться въ томъ, что люди самолюбивые соблюдаютъ свои собственные интересы; дѣлать зло они могутъ, но если это для нихъ самихъ невыгодно, то они навѣрное не будутъ увлекаться, въ ущербъ собственному интересу, идеальнымъ удовольствіемъ напакостить ближнему. Село Григорьевна, заключающее въ себѣ пятьсотъ душъ, принадлежитъ Аниѣ Антоновнѣ—и послѣ ея смерти должно перейти во владѣніе Софьи Григорьевны; Анна Антоновна—женщина и можетъ умереть чрезъ два-три года; тогда Софья Григорьевна, какъ молодая и неопытная дѣвушка, доверитъ все управленіе отцу даже и въ томъ случаѣ, если она въ то время будетъ совершеннолѣтней. Спрашивается, выгодно-ли Григорію Андреевичу выдавать дочь свою замужъ, то-есть вводить между собой и дочерью третье лицо, съ которымъ во всей вѣроятности будетъ гораздо труднѣе ладить, чѣмъ съ одинокой и неопытной дѣвушкой? Кажется, невыгодно. А если невыгодно, то невозможно допустить, чтобы его участіе въ романѣ Софьи Григорьевны было обдуманной и злонамеренной интригой. Лютый эгоистъ и нравственная испорченность остаются совершенно въ сторонѣ, а вмѣсто этихъ фантастическихъ свойствъ является на сцену то-же самое дряблѣе мягкосердечіе, которое мы уже нашли въ Аниѣ Антоновнѣ и которое обыкновенно управляетъ почти всѣми поступками пустыхъ и ничтожныхъ людей. Привезъ онъ съ собой Петра Васильевича итѣ нечего дѣлать, потому что съ «хорошими чело-вѣками» пріятно компанію вести; молодые люди понравились другъ другу; ихъ одушевленіе разсѣяло однообразіе деревенской жизни, и Григорію Андреевичу это обстоятельство доставило особенно много удовольствія потому, что онъ видѣлъ тутъ дѣло рукъ своихъ, и потому, что это обстоятельство льстило его родительскому самолюбію. Вотъ, молъ, Соня, думаетъ онъ, сколько лѣтъ ты жила вмѣстѣ съ мамашей и все удовольствія никакого не видала; а пріѣхалъ отецъ—и все разомъ пошло по новому. Отецъ-то сразу догадался привезти тебѣ такую игрушку,

которая должна тебѣ поправиться больше всего на свѣтѣ.

Когда Анна Антоновна стала косо поглядывать на петербургскую игрушку, тогда Григорію Андреевичу сдѣлалось досадно по многимъ причинамъ. Во-первыхъ — что за чортъ! ничѣмъ не угодишь. Всякая заслуга обращается въ преступленіе. Во-вторыхъ — чѣмъ-же Петръ Васильевичъ не женихъ? Молодъ, нравится дѣвушкѣ, имѣетъ состояніе, и главное — душа-человѣкъ. Въ-третьихъ — зачѣмъ-же огорчать Соню? Въ-четвертыхъ — пріятно защитить дочь отъ капризовъ большой и раздраженной матери. Именно такого рода мысли и ощущенія должны были зашнелиться въ оскорбленномъ родителѣ, когда Анна Антоновна начала войну противъ развратныхъ эгоистовъ. При этомъ надо замѣтить, что Анна Антоновна съ своей стороны сдѣлала все, что могла сдѣлать, для того, чтобы довести почтеннаго супруга до послѣднихъ предѣловъ бѣшенства. Объясненія свои она начинаетъ обыкновенно самымъ надменнымъ и кисло-враждебнымъ тономъ; потомъ, когда видитъ, что этотъ тонъ никого не можетъ удивить и запугать, она вдругъ превращается въ казанскую сироту и начинаетъ визжать и плакать, но сквозь слезы все-таки продолжаетъ дѣлать оскорбительные попреки. Вотъ вамъ образчики: «я считаю неблагодарнымъ, — сказала она, — долѣе терпѣть присутствіе вашего гостя: я его не знаю и не желаю знать коротче. Прошу васъ сдѣлать ему намекъ, что его посѣщеніе слишкомъ продолжительно, и что я утомилась имъ.»

Мнѣ кажется, что порядочные люди съ своими лакеями никогда не говорятъ такимъ сухимъ и повелительнымъ тономъ. Григорій Андреевичъ отвѣчаетъ ей «грубыми словами», «оскорбительнымъ и озлобленнымъ крикомъ», и это конечно съ его стороны непохвально, но надо-же войти и въ его положеніе. Слова Анны Антоновны сразу уничтожаютъ возможность всякихъ дальнѣйшихъ переговоровъ. На эти слова надо отвѣчать или самымъ полнымъ изъясненіемъ покорности, то есть немедленнымъ изгнаніемъ невиннаго гостя, или самымъ рѣшительнымъ отказомъ, а такой отказъ, въ какую-бы мягкую форму онъ ни былъ облеченъ, все-таки долженъ произвести на Анну Антоновну самое потрясающее впечатлѣніе. Станищій очевидно желаетъ, чтобы «грязный эгоистъ» собственноручно продѣлъ себѣ въ ноздри желѣзное кольцо, и малѣйшее уклоненіе этого лютаго животнаго отъ этой священной обязанности вмѣняется ему въ позорное преступленіе. Анна Антоновна между тѣмъ немедленно переходитъ въ минорный тонъ: «я прошу васъ не отрываться отъ меня моедита. Пожалѣйте меня хоть разъ въ жизни! Развѣ вы не видите, что вся моя жизнь въ ней?», и такъ далѣе, и все это произносится «умоляющимъ голосомъ». А вслѣдъ затѣмъ начинаются попреки, которые, какъ извѣстно, ни-

когда не могутъ принести ни малѣйшей пользы. «Развѣ я плакала, когда вы прикидывались влюбленнымъ въ меня. Я вѣрила вамъ, вашей любви, и потому не могла перенести все ваши унижительные поступки со мной»... и такъ далѣе.

Все эти рѣчи очевидно не имѣютъ никакого прямого отношенія къ Петру Васильевичу и насколько не могутъ расположить Григорія Андреевича къ мягкости и уступчивости. Я не думаю также, чтобы все эти переходы отъ величаваго презрѣнія къ покорнѣйшей просьбѣ и отъ обильныхъ слезъ къ обильной брани могли внушить кому-бы то ни было уваженіе къ личному характеру и къ желаніямъ Анны Антоновны. Поэтому, мнѣ кажется, нѣтъ основанія противопоставлять Анну Антоновну, какъ добродѣтельную мученицу, Григорію Андреевичу, какъ свирѣпому злодѣю. Анна Антоновна сама себѣ причиняетъ огорченія своими собственными ошибками, а Григорій Андреевичъ въ настоящемъ случаѣ является даже вовсе не злодѣемъ, а, напротивъ того, защитникомъ естественныхъ правъ своей дочери. Анна Антоновна шестнадцать лѣтъ воспитывала эту дочь и не умѣла даже настолько развить ея умъ, чтобы она не увлекалась первымъ ибжнымъ взглядомъ перваго встрѣчнаго фата. А потомъ, когда это воспитаніе начинается приносить свои плоды, Анна Антоновна думаетъ поправить все дѣло крутыми мѣрами родительской власти. Отецъ предлагаетъ дочери прогулку, а мать говоритъ: «не надо прогулки, ступай въ свою комнату и займись чѣмъ-нибудь.» Сонѣ нравится молодой человѣкъ, а мать дѣлаетъ этому молодому человѣку дерзости и выгоняетъ его изъ дому. Памфленія матери превосходятъ, но дѣйствія нелѣпы, и нѣтъ надобности быть эгоистомъ, развратникомъ или злодѣемъ для того, чтобы принять сторону дочери и сдѣлаться покровителемъ ея молодой любви. Жаль, что эта любовь возникла, но объ этомъ надо было думать гораздо раньше; дѣвушка не виновата въ томъ, что она полюбила, и подавлять ея любовь родительскими приказаніями значитъ только причинять ей безплезную боль. Эта дѣвушка по всей вѣроятности будетъ несчастлива, но все-таки не потому, что у нея дурной отецъ, и не потому, что она влюбилась въ дурного человѣка, а потому, что она родилась, выросла и будетъ жить при такихъ условіяхъ, при которыхъ не могли развиваться и окрѣпнуть силы ея ума.

Представьте себѣ, что Ноздревъ женился на помѣщицѣ Коробочкѣ и что у нихъ родилась дочь; много бесполезныхъ слезъ прольетъ она на своемъ вѣку; подобно своей матери, она будетъ оплакивать каждую околѣвшую телушку и ужасаться при видѣ каждой градовой тучи; каждый копѣечный проигрышъ ея мужа будетъ дарить ее бессонными ночами; каждый убійственный взоръ, брошенный этимъ-же самымъ мужемъ на какую-нибудь казначейшу, будетъ по-

вергать ее въ бездну отчаянія. Спрашивается, кто былъ виновать во всѣхъ ея страданіяхъ? Пянька-ли ея, Ноздревъ, или маменька, Коробочка, или супругъ ея, подпоручикъ Кувшинниковъ, или всѣ они вмѣстѣ, или никто изъ нихъ? И каждый, и всѣ, и никто, и самъ чортъ ихъ разберетъ, кто изъ нихъ правъ, кто виноватъ. Причина всѣхъ страданій этой подпоручицы Кувшинниковой заключается и въ ней самой, и во всемъ, что ея окружаетъ, и во всей исторіи ея развитія. Ея личный характеръ, ея всеневная жизнь и ея воспитаніе — это такая мозаика, въ которую самыя разнокалиберныя личности положили и ежедневно кладутъ по крошечному камушку: тутъ и маменька, тутъ и пянька, и супругъ, и соперница-казначейша, и скотница Авдотья, и лакей Филимонъ, и странница Евпраксія, и юродивый Гришутка, и всѣ, ихъ-же имена богъ вѣсть, всѣ, всѣ вложили по лептѣ; и составилось изъ всѣхъ этихъ добровольныхъ приношеній нѣчто болѣе похожее на тѣстообразный осадокъ, чѣмъ на мозаику, построенную по опредѣленному рисунку. И совершаются въ этомъ осадкѣ разные химическіе процессы броженія: осадокъ дуетъ и плачетъ, осадокъ волнуется и страдает, осадокъ лѣзетъ на стѣны и проклинаетъ свою жизнь, то-есть свой химическій составъ. — Кто тебя, осадочекъ, обижаетъ? спрашиваетъ сердобольный человекъ, подобный Станицкому. — А, вотъ кто! отвѣчаетъ себѣ этотъ человекъ. — Хорошо, я-жъ его отдѣлаю! — Кто тебя, осадочекъ, замѣсилъ! спрашиваетъ другой человекъ, также очень сердобольный и также очень похожій на Станицкаго. — А, вотъ кто! отвѣчаетъ онъ себѣ, я-жъ ему покажу. И распространяются, по милости этихъ сердобольныхъ людей, зловѣщіе слухи, что всѣ страданія тѣстообразнаго осадка напущены на него и выдуманы специально для него лютыми злодѣями, подлецомъ Кувшинниковымъ и мерзавцемъ Ноздревымъ. Кувшинниковъ обижаетъ, а Ноздревъ замѣсилъ. Ясное дѣло, что они виноваты. Они выдумали рецептъ тѣстообразнаго осадка, они привели этотъ рецептъ въ исполненіе и они-же теперь производятъ надъ осадкомъ разные химическіе опыты, которые для осадка мучительны, а для нихъ, для этихъ злобныхъ алхимиковъ, пріятны и занимательны.

О, могущественные чародѣи, Ноздревъ и Кувшинниковъ, о великіе извѣдователи осадочныхъ формаций! Какъ-же это вы злодѣйствуете такъ сознательно, а между тѣмъ сами не умѣете приложить вашу сознательность къ устройству вашей собственной жизни! Неужели тебѣ, чародѣй Ноздревъ, пріятно, когда взыскательные партнеры истребляютъ твои бакейбарды? И неужели тебѣ, алхимикъ Кувшинниковъ, весело, когда ты примѣриваешь цѣлое утро новыя сапоги и осматриваешь со всѣхъ сторонъ «на-диво сточенный каблукъ»? — Скучно и скверно живется вамъ

обоимъ, друзья мои, и оба вы точно такъ-же волнуетесь и страдаете, какъ тотъ несчастный осадокъ, на которомъ вы такъ часто срываеете вашу нелѣпую злобу, и который въ свою очередь немедленно вымѣщаетъ полученныя отъ васъ огорченія на какой-нибудь безотвѣтной кухаркѣ или на своемъ собственномъ пиялѣтнемъ ребенкѣ. — Какіе-жъ вы послѣ этого чародѣи и алхимики? Какіе-жъ вы сознательные злодѣи? Вы сами — тѣстообразные осадки, никакого вы рецепта не выдумали и никакого рецепта не существуетъ. Существуетъ только поголовное неумѣнье жить, существуетъ повсемѣстная темнота и безсознательность, и въ этомъ отношеніи вы, Ноздревъ и Кувшинниковы, нисколько не лучше, но и нисколько не хуже вашихъ добродѣтельныхъ женъ и вашихъ невинныхъ дочерей. Это неумѣнье жить, эта толкотня и это разнообразное мордобитіе существуютъ съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ существуетъ земля. Когда мы смотримъ въ самую глубокую древность, тогда мы называемъ это неумѣнье жить дикостью или варварствомъ; потомъ, когда это неумѣнье организуется, мы замѣчаемъ въ немъ различныя стороны или грани, а теперь это неумѣнье жить раздробилось на такое множество отдѣльныхъ и мелкихъ явленій и получило столько благозвучныхъ названій, что всякое разсужденіе объ этомъ предметѣ сдѣлалось въ высшей степени неудобнымъ и щекотливымъ. Всякая отдѣльная форма этого неумѣнья приобрѣла себѣ солидную осанку, укрѣпилась на фундаментѣ исторической давности, выработала себѣ самое щепетильное чувство собственнаго достоинства и вооружилась, въ лицѣ своихъ передовыхъ представителей, всѣми утонченными аргументами схоластической логики. А лекарство все-таки остается одно и то-же: не умѣешь жить, такъ учись; а не умѣешь учиться, такъ живи, какъ знаешь, и не жди себѣ никакого чудодѣйственнаго облегченія ни отъ де-кламаціи Станицкаго, ни отъ игривости Щедрина, ни даже отъ романоной сатиры Розенгейма.

## VI.

Романъ Станицкаго очень длиненъ (239 страницъ), и поэтому я нахожу невозможнымъ вести далѣе мое критическое изслѣдованіе о его достоинствахъ въ томъ объемѣ, въ которомъ я его началъ. Разнообразныя красоты этого романа такъ неисчислимы, что приходится сдѣлать самый строгій выборъ и остановиться только на самыхъ яркихъ и крупныхъ алмазахъ поэтической діадемы Станицкаго. Такими алмазами будутъ для насъ: *во-первыхъ*, идеальный конецъ, придѣланный къ земному существованію Анны Антоновны; *во-вторыхъ*, страданія Софьи Григорьевны; *въ-третьихъ*, дѣдушка Петра Васильевича; и *въ-четвертыхъ*, добродѣтельные люди молодого поколѣнія. Но, прежде нежели я приступлю къ изученію этихъ блестящихъ дра-

гоцѣнностей, я желаю еще разъ позабавить моего читателя «букетомъ гражданской скорби» и высокаго негодованія. Я полагаю, что Станицкій есть именно тотъ князь Григорій, о которомъ говоритъ Репетиловъ, что у него

«Глаза въ крови, лицо горитъ,  
Самъ плачетъ, а мы всѣ рыдаемъ!..»

По крайней мѣрѣ мнѣ никогда неслучалось встрѣчать другого писателя, который такъ упорно и добросовѣстно придирался-бы ко всякому удобному и неудобному случаю для того, чтобы вмѣстѣ съ своими читателями порыдать надъ несовершенствами нашей жизни и надъ испорченностью человѣческаго рода. На каждомъ шагу нить рассказа прерывается, романистъ восклицаетъ: «но восплачемъ-же, братья мои!», и начинается немедленно скрежетаніе зубовъ и пошпаніе главы пепломъ и соромъ разныхъ безплодныхъ выкриканій. А потомъ ничего, выплачетъ свое обязательное горе и опять начнетъ рассказывать. И никакъ невозможно предусмотрѣть, какое именно слово затронетъ чувствительную струну въ душѣ пылающаго гражданина. Иногда буря краснорѣчиваго огорченія разыгрывается по поводу самой ничтожной причины, подобно тому, какъ лавина сваливается часто отъ того, что какой-нибудь пастухъ громко высморкается или какой-нибудь дикій козелъ сдѣлаетъ неосторожный прыжокъ. Вотъ вамъ очень любопытный примѣръ. Станицкій приводитъ отрывокъ изъ письма влюбленнаго Петра Васильевича къ влюбленной Софѣ Григорьевнѣ. «И ничего. На небѣ ясно. Бури не придвидится». «Я нахожу,—говоритъ Станицкій,—этотъ отрывокъ изъ переписки достаточнымъ, какъ образчикъ краснорѣчія влюбленнаго Петра Васильевича, которому Софья Григорьевна безусловно вѣрила, какъ она нѣкогда вѣрила, бывши ребенкомъ, волшебнымъ сказкамъ, которыя ей рассказывала ея няня.»—Кажется, спокойно рассуждаетъ человѣкъ; но вообразите себѣ, въ этихъ спокойныхъ словахъ уже заключается гибельный зародышъ неистойвой бури. Гдѣ-же буря? спрашиваете вы съ безпокойствомъ. Должно быть, на счетъ довѣрчивости дѣвухекъ и коварства мужичицъ?—Нѣтъ-съ, это было-бы слишкомъ просто.—Такъ можетъ-быть по части педагогики: о томъ, что, молъ, не слѣдуетъ дѣтямъ рассказывать волшебныя сказки?—Нѣтъ, все не то. Извольте слушать дальше; сами не догадаетесь. «Рассказы о чудесномъ такъ плѣняли ее, что мать должна была долго и настойчиво разувѣрять, что въ дѣйствительной жизни вовсе не существуетъ людей въ видѣ звѣря или рыбы, что нѣтъ ни мертвой, ни живой воды, и нѣтъ такой волшебной палочки, но взмаху которой воздвигались-бы дворцы, а всѣ люди при этомъ рабѣнно преклонялись-бы предъ владѣтелемъ палочки; что нѣтъ также тѣхъ столбавыхъ чудовищъ, которыхъ-бы ни огонь, ни сталь и ни-

какая сила человѣческая не могла уничтожить.» Буря надвинулась со всѣхъ сторонъ. Вы и сами чувствуете, что дѣло неладно. Не даромъ-же авторъ такъ разгулялся на счетъ волшебныхъ сказокъ. Охъ, не даромъ! Но вы все-таки еще не знаете, съ которой-же стороны на васъ посыпятся стрѣлы краснорѣчія, и отъ этой неизвѣстности вамъ становится еще болѣе жутко. Но вотъ раздается первый громовой ударъ, и передъ вами открывается мгновенно вся бездна приготовленнаго для васъ несчастья. «Но я такъ думаю,—продолжаетъ Станицкій,—что Анна Антоновна скорѣе ошибалась, разувѣряя ребенка, въ томъ, что сказочныя нелѣпости не существуютъ въ дѣйствительной жизни. Неужели читатель не встрѣчалъ въ своей жизни людей, которые только носятъ человѣческій образъ, а по вѣсѣмъ своимъ наклонностямъ дикіе звѣри? Мало-ли мы видимъ людей, пѣмыхъ, какъ рыба, при видѣ какихъ угодно ужасовъ»... Ну, и такъ далѣе.

Вотъ она, буря-то! Поняли теперь, какой зловѣщій смыслъ имѣло перечисленіе тѣхъ предметовъ, которые встрѣчаются, а можетъ-быть даже и не встрѣчаются въ русскихъ волшебныхъ сказкахъ. Теперь вамъ Станицкій будетъ доказывать, не убѣдительно, но очень горячо, что въ жизни есть и живая вода, и мертвая вода, столбавыя чудовища и волшебныя палочки. За ходомъ его доказательствъ я слѣдить не буду, потому что кому-же охота лѣзть подъ проливной дождь, когда можно пребывать въ сухости и безопасности?—Но результаты получаются такіе, что тщеславіе въ обществѣ—это живая и мертвая вода, что столбавыя чудовища доподлинно существуютъ и что волшебную палочку составляютъ деньги. Ну, думаете вы, буря окончилась, потому что параллель проведена самымъ блистательнымъ образомъ. Но у Станицкаго буря родитъ бурю, бѣда влечетъ за собой новую бѣду. Деньги родятъ роскошныя обѣды, роскошныя обѣды родятъ обжоръ, въ числѣ обжоръ оказываются «ученые мужи» и «патентованные либералы и демократы». И тутъ, при этомъ роковомъ словѣ, въ одну минуту поднимается такой ураганъ, который сваливаетъ съ ногъ самого Станицкаго и отшибаетъ у него послѣдніе остатки здраваго смысла. Дѣло доходитъ вотъ до чего: «Да, ученые мужи и патентованные либералы, вѣдъ, сознайтесь, что не будь у этихъ плутовъ дворцовъ и роскошныхъ обѣдовъ, вы-бы, съ вашими строгими убѣжденіями, возмущились отъ одной дерзости ихъ, еслибы они протянули вамъ гордо руку и пригласили-бы васъ на роскошный обѣдъ.»

Что-же это такое? Въ первой половинѣ фразы роскошный обѣдъ рѣшительно отрицается, а во второй половинѣ той-же фразы это условіе уже забыто и роскошный обѣдъ опять явился на сцену. У плута нѣтъ роскошнаго обѣда, и плутъ приглашаетъ на роскошный обѣдъ. Ай, да плутъ!



Именно плутъ! Тонкая шельма! Вотъ что значить разсуждать во время урагана. Вотъ до какой премудрости можно договориться. Но почему-же это Станицкій такъ горячо заботится о желудкахъ «патентованныхъ либераловъ» и почему знакомство этихъ господъ съ богатыми плутами принимается въ его глазахъ размѣры общественнаго бѣдствія? Мнѣ кажется, отвѣтить на этотъ вопросъ не трудно. Люди, подобные Станицкому, обыкновенно слышатъ звонъ, да не знаютъ, откуда онъ. Станицкій слышалъ, а можетъ-быть и читалъ, что есть на свѣтѣ доктринеры и ложные либералы, которые своей дѣятельностью тормозятъ развитие общества. Какъ и чѣмъ они тормозятъ, этого Станицкій не сумѣлъ разобрать; сказали ему, что тормозятъ, — онъ и давай ихъ ненавидѣть безъ всякихъ дальнѣйшихъ справокъ. Слышалъ онъ вѣроятно, что и у насъ расплодился ложные либералы и доктринеры, но чѣмъ эти господа отличаются отъ истинныхъ либераловъ, — этого онъ по своему обыкновенію не дослѣдывалъ и не понималъ. И пачалъ онъ отличать истинныхъ либераловъ отъ ложныхъ не по идеямъ, а по поведенію. И поэтому явилась настоятельная необходимость разузнавать, гдѣ либераль обѣдаетъ, гдѣ чай пьетъ, гдѣ ужинаетъ и какъ проводить ночь. А тутъ подоспѣла на помощь французская поговорка: «dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es» (Скажи мнѣ, съ кѣмъ ты знакомъ, я тебѣ скажу, кто ты такой). И такимъ образомъ составилось въ творческомъ умѣ Станицкаго непоколебимое убѣжденіе, что кромѣ лоретокъ и эгоизма существуетъ въ Россіи еще одно общественное зло, именно привычка «патентованныхъ либераловъ и демократовъ» обжираться роскошными обѣдами у богатыхъ плутовъ. Только не страдай эти господа чревоугодіемъ, многое пошло-бы совсѣмъ иначе. Обѣдай они въ трактирѣ, а не у богатаго плута — и Станицкій съ удовольствіемъ призналъ-бы ихъ настоящими либералами. Если-же ихъ чревоугодіе составляетъ общественное зло, то надо разразить это чревоугодіе обличительнымъ громомъ. Ну вотъ, онъ и разражается.

Привожу здѣсь послѣдніе и самые сильные порывы урагана, который постоянно вертится на роскошныхъ обѣдахъ и патентованныхъ либералахъ.

«А вы, господа, вы свою продажность души прикрываете честными убѣждениями, и къ вамъ доверчиво идетъ пылкій юноша поучиться тому, какъ надо твердо отстаивать честныя убѣждения, какъ строго надо слѣдить за своими слабостями и страшиться вреднаго тщеславія. И чему-же вы научаете юношу? — торговать честью, приносить все въ жертву пустому тщеславію, карать пороки на словахъ, а на дѣлѣ принимать участие въ нихъ съ иезуитской осмотрительностью, чтобы сухимъ выйти изъ воды. Вы — Луды предатели! (Я вамъ говорилъ, что разразить, вотъ и разразилъ.) Вамъ мало показалось зла человечеству отъ процвѣтанія горговы, вы завели биржу либераловъ

и демократовъ, гдѣ идетъ торгъ честными убѣждениями, посредствомъ которыхъ ловкие торгаши обогащаются популярностью и дѣлаются либеральными Ротшильдами, и также эксплуатируютъ бѣднымъ человечествомъ, какъ банкиры и фабриканты на своихъ биржахъ!..»

Такъ какъ ураганъ при самомъ своемъ началѣ подрѣзаетъ логику Станицкаго, то въ этой тирѣдѣ совершенно бесполезно будетъ искать какого-нибудь опредѣленнаго смысла. Мнѣ остается только замѣтить, что послѣдній порывъ урагана спихиваетъ даже грамматику, и вслѣдствіе этого «либеральные Ротшильды» начинаютъ «эксплуатировать» не бѣдное человечество, а «бѣднымъ человечествомъ», что во время тихой погоды, то-есть при ненарушенномъ господствѣ русской грамматики, оказывается совершенно невозможнымъ.

На стр. 130 Станицкій говоритъ о страданіяхъ трехъ добродѣтельныхъ женщинъ и произноситъ между прочимъ слѣдующія слова: «въ этихъ случаяхъ у меня умъ за разумъ заходитъ». Вотъ, что правда, то правда. Съ этимъ я совершенно согласенъ, и мнѣ даже кажется, что этого феномена совершается надъ Станицкимъ гораздо чаще, чѣмъ онъ самъ предполагаетъ. Теперь мы можемъ проститься съ «букетомъ гражданской скорби». Много остается петронутыхъ сокровищъ, но кто-же можетъ выловить изъ Персидскаго залива весь заключающійся въ немъ жемчугъ? Или изъ Сѣвернаго океана — всю плавающую въ немъ селедку? — «Ты можешь-ли лѣваана на удѣ вытащить на берегъ?» — Пьетъ, не могу. — Ну, стало-быть, не рошица на судьбу, будь малымъ доволенъ и благословляй свою скромную долю.

## VII.

Идеальный конецъ, придѣланный къ земному существованію Анны Антоновны.

Станицкій употребляетъ всѣ усилія, чтобы внушить читателю величайшее уваженіе къ характеру Анны Антоновны, и побудительная причина этихъ усилій очень понятна, потому что Анна Антоновна составляетъ, такъ сказать, краеугольный камень всего строенія. Если окажется, что эта барыня смахиваетъ на помѣщицу Коробочку, тогда Григорій Андреевичъ перестанетъ быть свирѣпымъ мучителемъ добродѣтельной мученицы, а сдѣлается просто ничтожнымъ супругомъ ничтожной женщины; тогда печальная участь Софьи Григорьевны перестанетъ быть преступнымъ дѣломъ недостойнаго отца, а сдѣлается просто естественнымъ результатомъ дурнаго воспитанія и очень обыкновенныхъ условий жизни. Тогда читатель не будетъ думать, что все зло дѣйствительной жизни выдуманно и напущено на добродѣтельныхъ людей «грязными эгоистами», «наглыми лоретками» и «либеральными Ротшильдами». Тогда читатель можетъ подумать, что добродѣтельные люди часто бываютъ

людьми очень глупыми, и что ихъ глупость составляетъ крѣпкую почву, на которой растутъ и процвѣтаютъ всякіе Ротшильды, лореты и такъ называемые эгоисты. Словомъ, тогда читатель нарушитъ въ отношеніи къ Станицкіму всякую дисциплину и осмѣетъ его нравственную проповѣдь, какъ плоскую шутку. Очевидно, что такое безчинство допущено быть не можетъ и что слѣдовательно Анну Антоновну необходимо утвердить на пьедесталѣ несокрушимой прочности и недостижимой высоты. Станицкій усердно принимается за эту работу и съ свойственной ему смѣлостью въ одно мгновенье ока превращаетъ Анну Антоновну въ благотѣлницу крестьянъ села Григорьевки. Послѣ свадьбы Петръ Васильевичъ увозитъ свою молодую жену къ своимъ роднымъ, а Анна Антоновна переноситъ продолжительную болѣзнь и потомъ, послѣ выдворенія, проводитъ нѣсколько мѣсяцевъ въ бездѣйственномъ состояніи». Она сидитъ въ комнатѣ дочери, перебираетъ ея дѣтскія вещи и только иногда соглашается вынуть чашку чаю или бульону. Потомъ, надумавшись, она отъѣзжаетъ на деревню, обходить всѣ крестьянскія избы, вникаетъ въ потребности каждаго семейства и общается возвратитъ дѣтей, отданныхъ въ ученіе, тѣмъ отцамъ и матерямъ, которые желаютъ воспитывать ихъ при себѣ. Въ тотъ же вечеръ она пишетъ къ дочери письмо, въ которомъ сообщаетъ ей свои замѣренія. «Мнѣ страшно будетъ теперь умирать, — говоритъ она, — если я не исполню хотя чѣмъ-нибудь жертвы, какія я требовала отъ людей. Мнѣ стыдно: у меня не повернется языкъ требовать отъ этихъ по моей милости пищихъ еще новыхъ жертвъ...» «Свой домъ я превращу въ больницу и дѣтскую школу. Безъ тебя это наполнить мою жизнь...» «Всѣ земли, принадлежащія мнѣ, будутъ принадлежать обществу; изъ нихъ часть будетъ идти на больницу и школу, другая часть — на уплату податей, а остатки будутъ составлять капиталъ, безъ котораго нельзя обходиться отнямъ людей. Мало-ли что можетъ случиться: пожаръ, голодъ, имъ будетъ чѣмъ извернуться».

Все это очень похвально, но только неграмотно, чтобы именно Анна Антоновна могла распорядиться такимъ образомъ. Въ такомъ образѣ дѣйствій нѣтъ никакого особеннаго героизма или самоотверженія; напротивъ того, въ положеніи Анны Антоновны только такой образъ дѣйствій можетъ избавить человѣка отъ невыносимой апаіи и снова помирить его съ жизнью живыхъ людей. Еслибы Анна Антоновна могла вполне благоразумно обсудить свое положеніе, то она конечно выбрала-бы именно этотъ путь, и ее не остановили-бы какія-нибудь корыстолюбивыя или, какъ ихъ называлъ - бы Станицкій, «эгоистическія» соображенія. Но я осмѣливаюсь думать, что Анна Антоновна не могла разсуждать такъ здраво, и что Станицкій навязываетъ ей

свои собственные мысли; а мысли сотрудника «Современника», даже такого какъ Станицкій, все-таки должны быть несравненно благообразнѣе, чѣмъ тѣ умозрѣнія, которыми руководствуются наши добродѣтельные барыни. Станицкій совершенно упускаетъ изъ виду одно чрезвычайно важное обстоятельство. Спрашивается: была-ли Анна Антоновна сколько-нибудь расположена къ ханжеству? Существовалъ-ли по крайней мѣрѣ въ ея умѣ тотъ микроскопическій зародышъ этихъ стремленій, который существуетъ почти у всѣхъ нашихъ женщинъ и который, часто оставаясь незамѣтнымъ во время веселой и беззаботной молодости, развертывается съ полной силой и доходитъ иногда до мономаніи подъ старость или послѣ сильныхъ огорченій? Если на эти два вопроса Станицкій отвѣтитъ *да*, то благородная дѣятельность Анны Антоновны должна будетъ измѣниться существеннымъ образомъ отъ примѣси этихъ постороннихъ элементовъ. Тогда начнутся благочестивыя пожертвованія, поѣздки по монастырямъ, безтолковое раздаваніе милостыни, учрежденіе какого-нибудь пріюта или богадѣльни для убогихъ странницъ. Выѣстъ съ этимъ пойдутъ пожалуй и какія-нибудь милостивыя льготы для мужиковъ, но это будетъ великодушное копѣечное подаваніе, а совсѣмъ не такое широкое и полное возстановленіе нарушенной справедливости, какое изображаетъ Станицкій. Кормить пищихъ и поддерживать такимъ образомъ нищенство — это подвигъ очень не головокружительный, и поэтому совершенно доступный для нашихъ благотворительныхъ господъ и барынь. Но подрѣзывать нищенство подъ самый корень, дѣйствовать противъ первыхъ причинъ нищенства, пересоздавать всѣ свои отношенія къ трудящемуся населенію — это работа въ высшей степени *сознательная*, и для того, чтобы понять настоящую необходимость такой работы, недостаточно выдать дочь за «грязнаго эгоиста» и посадить нѣсколько мѣсяцевъ въ опустѣвшей комнатѣ этой дочери. Если-же на мои вопросы Станицкій отвѣтитъ *нѣтъ*, то намъ представится затрудненіе другого рода; если не было даже микроскопическаго зародыша, то, значитъ, были такіе убѣжденія, которые совершенно его искоренили. Стало-быть, было широкое, свѣтлое и основательное развитіе ума; но въ такомъ случаѣ все воспитаніе Софьи Григорьевны было-бы направлено совершенно иначе. Въ такомъ случаѣ Анна Антоновна не стала-бы пускаться въ ходъ систему педагогическаго обмана, и въ шестнадцать лѣтъ Софья Григорьевна была-бы дѣвчушкой серьезно образованной и неспособной увлечься безцвѣтнымъ и плоскимъ фразерствомъ такого ничтожнаго господина, какъ Петръ Васильевичъ. Да и никакого Петра Васильевича не было-бы на сценѣ, потому что Соня понимала-бы, что папашѣ очень весело въ Петербургѣ, и что папашу вовсе не слѣдуетъ отрывать отъ удо-

вольствій столичной жизни. Но—увы!—такая Соня не могла-бы сдѣлаться героиней трагическаго романа, и Станицкому пришлось-бы искать добродѣтельныхъ маіонетокъ въ какомъ-нибудь другомъ мѣстѣ, за предѣлами села Григорьевки. Поэтому я думаю, что попытка Станицкаго возвысить Анну Антоновну въ глазахъ читателя должна считаться совершенно неудачной. Эта попытка показываетъ намъ, какъ мало Станицкій понимаетъ настоящее значеніе тѣхъ явленій дѣйствительной жизни, которыя онъ рѣшается изображать. Читатель согласится конечно, что предложенные мною вопросы имѣютъ очень важное значеніе, а между тѣмъ эти вопросы не только не разрѣшены, но даже не поставлены Станицкимъ.

## VII.

### Страданія Софьи Григорьевны.

Анна Антоновна внезапно умираетъ отъ огорченія, не исполнивъ ни одного изъ своихъ плановъ. Замѣчательно, что ее убиваетъ Софья Григорьевна, и еще замѣчательнѣе то, что нашъ удивительный романистъ не обращаетъ на это обстоятельство почти никакого вниманія. Узнавъ о намѣреніяхъ своей жены, Григорій Андреевичъ подаетъ, куда слѣдуетъ, бумагу о томъ, что Анна Антоновна страдаетъ припадками помѣшательства, и на этой бумагѣ красуется подлинная подпись Софьи Григорьевны. «Но требованію отца, — говоритъ Станицкій, — Софья Григорьевна подписала просьбу, которая и была причиной смерти Анны Антоновны. Но дочь и не воображала, чтобы отецъ могъ ее заставить подписать такое гнусное обвиненіе», и такъ далѣе.

Этотъ интересный случай доказываетъ только ту простую истину, что совсѣмъ не надо *воображать*, а надо *читать* тѣ бумаги, которыя подписываешь, и кромѣ того надо *понимать* то, что читаешь. Я очень хорошо знаю, что огромное большинство нашихъ дамъ подписываетъ, не читая; а еслибы онѣ и рѣшились прочесть, то ничего не поняли-бы и все-таки подписали-бы на-авось. Но когда женщина погружена въ такую счастливую невпниность, что она подписываетъ бумаги *нечаянно*, — когда она своей подписью пришибаетъ до смерти родную мать и когда она *по невпидиію* принимаетъ *дѣятельное* участіе въ подлости, тогда можно сказать навѣрное, что каждый шагъ въ жизни будетъ приносить ей разочарованія, оскорбленія и страданія. По своей ребяческой неопытности, она будетъ наткаться лбомъ на такія препятствія, которыя легко можно было устранить или обойти. По своей ребяческой раздражительности и впечатлительности, она будетъ чувствовать сильную боль отъ такихъ ничтожныхъ ушибовъ, на которые взрослый и мыслящій человѣкъ не обращаетъ никакого вниманія. Вдвое чаще унижаться, да вдвое сильнѣе чувствовать каждый

ушибъ—это значитъ вчетверо больше страдать, но въдъ масса страданій учетверяется только благодаря личнымъ свойствамъ женщины. Будь она позрѣлѣе, она страдала-бы вчетверо меньше, и тогда масса страданій была-бы можетъ-быть такъ незначительна, что въ общемъ итогѣ женщина чувствовала-бы себя счастливой. Для Вѣры Павловны изъ романа «Что дѣлать?» даже немислимые огорченія, отъ которыхъ зачахла Софья Григорьевна. Вѣра Павловна можетъ быть счастливой, потому что она сама знаетъ, въ чемъ она нуждается, сама умѣетъ контролировать свои желанія и сама отыскиваетъ средства для удовлетворенія этимъ желаніямъ. Но для Софьи Григорьевны счастье было-бы возможно только при одномъ условіи. Надо было-бы, чтобы нашелся какой-нибудь господинъ очень ограниченнаго ума, ко орый прочиталъ-бы книги Мишле о женщинахъ и о любви и принялъ-бы эти книги за величайшее произведеніе гениальнаго мыслителя. Проникнувшись идеями Мишле, убѣдившись въ томъ, что женщина есть существо вѣчно больное, что женщина есть цвѣтокъ, что женщина есть ребенокъ и что мужъ долженъ быть вѣчнымъ садовникомъ, вѣчнымъ воспитателемъ и вѣчной сидѣлкой, ухитрившись согласить въ своемъ убогомъ умѣ все эти и многія другія обязанности мужа по Мишле, этотъ господинъ долженъ предложить Софьѣ Григорьевнѣ руку и сердце, и затѣй должна начаться такая маниловщина, которая даже самому Манилову показала-бы невыносимой по своей утонченности. Вотъ тогда Софья Григорьевна почувствовала-бы себя счастливой, но такъ какъ человѣкъ, имѣющій хоть каплю практическаго ума, неспособенъ проникнуться идеями Мишле и не пожелаетъ посвятить свою жизнь на воздѣлываніе Софьи Григорьевны, то мужъ цвѣтка будетъ также цвѣткомъ; и поэтому для охраненія этихъ невинныхъ растений отъ коровъ и ословъ потребуется специальный садовникъ или опекунъ.

Такимъ образомъ для счастья каждой женщины, подобной Софьѣ Григорьевнѣ, необходимы по меньшей мѣрѣ два должностныя лица: во-первыхъ—глупый мужъ, а во-вторыхъ—идеальный опекунъ. Но изъ этого ясно, что счастье породныхъ созданій не только невозможно, но даже и нежелательно, потому что въ самомъ дѣлѣ, за что-же одну половину наличныхъ мужчинъ погружать въ красивый идиотизмъ, а другую осуждать на безправіе и на вѣчное ухаживаніе за плодящимися идиотами. Я знаю, что очень многія женщины похожи на Софью Григорьевну. Очень жаль, что онѣ несчастливы, но не приведи Богъ, чтобы онѣ когда-нибудь сдѣлались счастливыми, потому что тогда земной шаръ еще сильнѣе, чѣмъ въ настоящую минуту, сдѣлался-бы похожъ на психіатрическую лечебницу. Бо- бымы надо выздоравливать, а неизлечимымъ больнымъ надо умирать, но никакъ не слѣдуетъ

желать такого измѣненія въ условіяхъ жизни, въслѣдствіе котораго больные, не переставая *быть* больными, *чувствовали*-бы себя легко и весело. Если-бы такое измѣненіе и было возможно, то оно очевидно было-бы гибельно для здоровыхъ. Музыкантъ не виноватъ въ томъ, что глухъ и не слышитъ музыки; лечите глухого, но не заставляйте музыкантовъ играть такъ, чтобы глѣхъ невылеченный паціентъ могъ слышать всѣ переливы звуковъ; такой музыкой вы разгоните всѣхъ здоровыхъ слушателей. Можетъ-быть, оркестръ играетъ плохо, можетъ-быть музыка находится въ младенческомъ состояніи, но и оркестръ, и музыка должны совершенствоваться для того, чтобы доставлять наслажденіе здоровымъ, а не для того, чтобы принимать глухихъ. Какъ-бы музыка ни усовершенствовалась, глухому отъ этого не сдѣлается легче, потому что ему можетъ помочь только такая перемѣна, которая произойдетъ не въ окружающемъ мірѣ, а въ его собственной личности.

Страданія Софьи Григорьевны начинаются съ первыхъ недѣль ея замужества и принимаютъ очень крупныя размѣры, хотя повидимому никакихъ особенныхъ несчастій не происходитъ. — «Ничего-де такой дѣлался; я его никогда въ жизни не забуду: страшнѣе этого дня не можетъ быть ни въ чьей жизни,—замѣтила съ увѣренностью Софья Григорьевна.» Что-же такое случилось въ этотъ страшный день? Умеръ кто-нибудь, или съ-ума сошелъ, или преступленіе какое-нибудь ужасное совершилось, или развратные эгоисты прибили Софью Григорьевну? Нѣтъ, ничего этого не случилось, да и вообще въ этотъ день не произошло никакого событія, а только Софья Григорьевна узнала нѣкоторыя подробности изъ холостой жизни Петра Васильевича, и всѣ эти подробности относятся исключительно къ различнымъ проявленіямъ русскаго донъ-жуанства. Узнала она, что Петръ Васильевичъ принялъ сына съ дворовой дѣвушкой Лизаветой, и увидѣла она этого сына, и убѣдилась въ томъ, что ребенокъ дѣйствительно похожъ на своего отца; узнала она кромѣ того, что Петръ Васильевичъ велъ любовную переписку съ бѣдной дѣвушкой, Олимпіадой Федоровной. И узнала она наконецъ, что Петръ Васильевичъ находился въ интригѣ съ камеліей Катей. Вотъ и всѣ ужасы. Надо сказать правду: было-бы очень весело жить на свѣтѣ, еслибы «страшнѣе этого дня» не могло быть «ни въ чьей жизни». Ясно, что всѣ страданія Софьи Григорьевны происходятъ отъ ревности, и притомъ отъ самой глупой ревности, то-есть отъ такой, которая обращена на прошедшее.

Замѣчательно, что Станицкій горячо оуждастъ ревность въ Григорѣ Андреевичѣ и въ то-же время относится съ полнымъ сочувствіемъ къ ревности его дочери; «и если грубость иногда и проглядывала въ его дѣйствіяхъ,—говорятъ

онъ о Григорѣ Андреевичѣ,—то это, какъ догадывались, была ревность,—а вѣдь ревность-то и есть любовь, какъ доказываютъ всѣ влюбленные эгоисты, чтобъ оправдаться чѣмъ-нибудь въ своихъ дурныхъ поступкахъ въ то время, когда власть ихъ надъ женщиной еще колеблется.» Положимъ, что не влюбленные эгоисты, а влюбленные пошляки доказываютъ, что «ревность-то и есть любовь». Но это все равно; мы уже знаемъ, что слово «эгоистъ» на языкѣ Станицкаго имѣетъ ругательное значеніе; стало-быть, не придираясь къ словамъ, замѣтимъ только, что Станицкій считаетъ ревность чувствомъ вполне достойнымъ грязныхъ эгоистовъ, а потому все мученичество Софьи Григорьевны основывается почти исключительно на этомъ оплеванномъ чувствѣ, и однако сама мученица не считается ни эгоисткой, ни грязной, ни даже глупой. Софья Григорьевна бросаетъ на полъ медальонъ Петра Васильевича и кричитъ «раздирающимъ голосомъ»: «поѣдьте къ нему! я хочу его видѣть и сказать ему въ глаза, что онъ...» Здѣсь вырываются изъ груди ея вопли, которые мѣшаютъ ей «досказать фразу», и она падаетъ безъ чувствъ.—Можно сказать, что вопли и обморокъ подоспѣли очень кстати, потому что Софья Григорьевна вѣроятно произнесла-бы какую-нибудь «грубость», и тогда Станицкому пришлось-бы доказывать, что грубости Григорья Андреевича были предосудительны и вытекали изъ грязнаго эгоизма, а грубости Софьи Григорьевны напротивъ того похвальны и вытекаютъ изъ самой чистой любви.

Но ни вопли, ни обморокъ не могутъ замаскировать ту печальную неурядицу, которая господствуетъ въ идеяхъ Станицкаго. Какъ ни поворачивай дѣло, а все-таки выходитъ, что мужчина не смѣй ревновать, а женщина ревнуй, сколько душей угодно. Само собой разумѣется, что это мнѣніе Станицкаго въ высшей степени оскорбительно для женщинъ. Если мы допустимъ, что ощущеніе ревности есть необходимое и нормальное отпаиваніе женскаго организма, то мы этимъ самымъ сужденіемъ обречемъ женщину на вѣчную, самую унизительную и самую тягостную зависимость. Въ самомъ дѣлѣ, если вы ревнуете, и если это чувство принимаетъ у васъ размѣры серьезнаго страданія, то это значитъ, что все счастье вашей жизни находится въ чужихъ рукахъ, и что эти чужія руки во всякую данную минуту могутъ измѣять и изуродовать ваше счастье, не прикасаясь къ вашей собственной личности. Когда намъ говорятъ: «эта женщина счастлива», то мы обыкновенно понимаемъ эти слова въ томъ смыслѣ, что эта женщина любима тѣмъ человѣкомъ, котораго она сама любить; чуть только этотъ человѣкъ отвернулся отъ нея, вотъ она и несчастлива, вотъ и начинаются мученія ревности; мы такъ привыкли къ такимъ явленіямъ, что даже не замѣчаемъ ихъ

уродливости, а вѣдь между тѣмъ не трудно, кажется, понять, что эти явленія указываютъ на страшную внутреннюю пустоту тѣхъ личностей, для которыхъ любовь Петра или Ивана составляетъ такимъ образомъ высшее благо и единственную цѣль существованія. У этихъ несчастныхъ личностей нѣтъ своего внутренняго содержанія; у нихъ нѣтъ никакой любимой дѣятельности; онѣ не принимаютъ никакого участія въ общей работѣ человечества; онѣ даже не имѣютъ понятія о существованіи такой работы; всѣ величайшія усилія человѣческой мысли, всѣ колоссальныя событія новѣйшей исторіи, всѣ живо трепещущія надежды и стремленія лучшихъ людей—все это или совершенно неизвѣстно ревнивымъ обожателямъ Петра и Ивана, или, еще хуже, извѣстно имъ, какъ вызубренный параграфъ учебника или какъ мертвый столбецъ газеты. Взаимная любовь конечно даетъ много наслажденій, больше, чѣмъ хорошій обѣдъ, больше, чѣмъ роскошная квартира, больше, чѣмъ оперная музыка, но наполняетъ всю жизнь взаимной любовью, не видѣть въ жизни ничего выше и обаятельнѣе взаимной любви, не умѣть, въ случаѣ надобности, отказаться отъ этого наслажденія—это значить не имѣть понятія о настоящей жизни, это значить не подозрѣвать, какъ великъ и силенъ человѣческій умъ, и какія неисчерпаемыя сокровища неотъемлемыхъ наслажденій скрыты въ сѣромъ веществѣ нашего головного мозга. Когда любовь дается вамъ въ руки, пользуйтесь ею, какъ вы пользуетесь напирѣмъ свѣтлымъ и теплымъ лѣтнимъ днемъ. Но если набѣгутъ тучи и польется дождь, не станете-же вы плакать о томъ, что разстроилась ваша прогулка. Велика бѣда! — сегодня дождь, а завтра будетъ опять солнечный день. А семилѣтній ребенокъ все-таки заплачетъ: завтрашній день далекъ, ему надо сегодня. Печальная была-бы штука, еслибы этому семилѣтнему ребенку пришлось оставаться ребенкомъ втеченіи семидесяти лѣтъ и еслибы существовала цѣлая порода такихъ человѣкообразныхъ созданий, которыя проливали-бы горькія слезы по поводу каждаго лѣтняго дождя, разстроившаго пріятную прогулку. А вѣдь недалеко уѣхали отъ этихъ плаксивыхъ созданій тѣ убогія и нищія личности, для которыхъ невѣрность Ивана и Петра составляетъ громадное несчастье, наполняющее цѣлую жизнь слезами и отчаяніемъ. И эту плаксивость, эту убогость, эту поразительную нищету романисты и критики ежедневно возводятъ въ великое достоинство человѣческой природы. Вотъ она, говорятъ, истинная любовь, вотъ она, сила любви. А вся эта сила и истинность не что иное, какъ результатъ внутренней пустоты. Личность такъ слаба и несостоятельна сама по себѣ, что поневолѣ должна прислониться къ другой личности, и когда эта опора измѣняется, тогда прислонившаяся личность падаетъ, ушибается и начинаетъ охать.

Вотъ именно противъ этой-то мучительной и позорной зависимости должна быть направлена эманципация женщинъ. Женщина должна стоять на своихъ собственныхъ ногахъ; женщина, какъ человѣческая личность, должна постоянно носить въ себѣ самый главный источникъ своего счастья, и ни мужчина, ни женщина никогда не должны отдавать этотъ основной капиталъ своей жизни въ чужія руки. Удастся-ли женщинѣ стать такимъ образомъ въ совершенно независимое положеніе—этого никто не рѣшится утверждать заранее, но объ этомъ еще не время разсуждать; удастся или нѣтъ—это все равно; во всякомъ случаѣ каждая женщина, уважающая свою человѣческую личность и желающая упрочить свое собственное счастье, должна употреблять всѣ усилія, чтобы какъ можно ближе подойти къ полному самоосвобожденію. А подойти къ этой цѣли можно только однимъ путемъ, путемъ серьезнаго, послѣдовательнаго и общепользнаго умственнаго труда. Въ медицинѣ нѣтъ универсальнаго лекарства, но есть общія правила гігіены, и соблюденіе этихъ правилъ предотвращаетъ большую часть болѣзней. Противъ различныхъ нравственныхъ и общественныхъ страданій человечества также нѣтъ универсальнаго лекарства; но если мы хотимъ, чтобы будущія поколѣнія страдали меньше насъ, то мы должны стараться, чтобы умственный капиталъ обращался въ ошествѣ какъ можно быстрѣе. Въ этомъ заключается главное правило общественной гігіены, и если это правило будетъ соблюдаться, то можно сказать навѣрное, что несчастная любовь, мучительная ревность и подвиги донжуанства скоро будутъ сданы въ общій архивъ забытыхъ человѣческихъ глупостей. —Но къ сожалѣнію въ умственный капиталъ введено много фальшивой монеты, и множество человѣческихъ глупостей пользуются полнымъ сочувствіемъ и уваженіемъ глѣхъ самыхъ людей, которые считаютъ себя проповѣдниками истины и карателями заблужденій.

Любопытно и даже умилительно замѣтить, какъ чистосердечно Станицкій, неутомимый проповѣдникъ и пламенный каратель, восхищается ребяческимъ слабоуміемъ своихъ любимыхъ маріонетокъ. Идетъ Софія Григорьевна встрѣчать Петра Васильевича, уѣхавшаго въ городъ къ Катѣ и общаваго воротиться въ назначенный день. Она отходитъ отъ дому довольно далеко и вмѣсто Петра Васильевича встрѣчаетъ его молодого родственника, Сережу, который считается съумасшедшимъ и живетъ отшельникомъ въ уединенномъ флигелѣ; на самомъ дѣлѣ этотъ Сережа—благороднѣйшій человѣкъ, вовсе не съумасшедшій, но ведущій созерцательную жизнь среди книгъ, нотъ и цвѣтовъ; выбралъ-же онъ эту жизнь, достойную рыцаря Тоггенбурга, потому, что мать его—дурная женщина, а еще потому, что сестра его умерла отъ отчаянія и во-

спадения въ легкихъ, и наконецъ еще потому, что самъ онъ, Сережа, не въ состояніи смотрѣть на человѣческія гнусности. Встрѣтившись съ Софьей Григорьевной, Сережа спрашиваетъ у нея между прочимъ, давно-ли уѣхалъ ея мужъ?

— «Вотъ уже теперь ровно двое сутокъ. — Софья Григорьевна произнесла это такимъ тономъ, точно богъ-знаетъ сколько лѣтъ прошло съ минуты ихъ разлуки.» Эта наивность очень трогательна и похвальна, но еще трогательнѣе и похвальнѣе то, что Софья Григорьевна принимаетъ предложеніе Сережи, вызвавагося поѣхать ночью верхомъ въ городъ для того, чтобы къ утру доложить Софьѣ Григорьевнѣ, какая причина задержала ея супруга. Сережа, слабый и болѣзненный юноша, путешествуетъ всю ночь и, воротившись домой, конечно занемогаетъ. На другой день, узнавши, что Сережа боленъ, Софья Григорьевна говоритъ *«о досадой»*: «Такъ онъ не былъ въ городѣ? А я такъ надѣялась на него.» И этими словами ограничивается все ея участіе къ положенію больного, даже тогда, когда ей говорить, что его свалила съ ногъ поѣздка въ городъ. Вы не забудьте, что все это происходитъ черезъ два дня послѣ швырнута медальона на полъ. Посудите сами, есть-ли какая-нибудь разница между этой женщиной и тѣмъ семилѣтнимъ ребенкомъ, который плачетъ и капризничаетъ по поводу лѣтняго дождя? И есть-ли какая-нибудь возможность серьезно сочувствовать воплямъ и обморокамъ такого пустого и ничтожнаго существа?

Дальше наивность Софьи Григорьевны становится еще обаятельнѣе, а сочувствіе Станицкаго дѣлается еще очевиднѣе и умильнѣе. Софья Григорьевна сближается съ Сережей и посѣщаетъ иногда его уединенный флигель. «Они, какъ дѣти, — говоритъ Станицкій, — долго болтали и смѣялись: ихъ взгляды такъ были чисты, ихъ разговоръ такъ искрененъ, что невольно думалось: вотъ что нужно для супружескаго счастья, — нужно, чтобъ равно обоимъ пугала грязь жизни, а не такъ, какъ это бываетъ всегда: одинъ пропитанъ развратомъ, безстрашенъ ко всѣмъ низостямъ и равнодушенъ ко всякому горю и страданію ближняго, другой — слабая, неопытная женщина.» А вотъ чѣмъ занимались невинные молодые люди: «Они читали вмѣстѣ и даже иногда, какъ дѣти, бѣгали по саду, стараясь каждый сдѣлать возможно большее число круговъ. Послѣ этой бѣготни они, безъ всякой натянутости, вели серьезный разговоръ объ умершей сестрѣ молодого человѣка, о страданіяхъ двухъ бѣдныхъ женщинъ и оканчивали всегда надеждой, что добро восторжествуетъ наконецъ надъ зломъ, — въ это они дѣтски вѣровали.»

Да! Вотъ что нужно для супружескаго счастья! Договорился наконецъ Станицкій до послѣднихъ результатовъ своей нравственной философіи. Рас-

крылись передъ нашими изумленными очами самыя глубокіе тайники его міросозерцанія. Когда я предлагалъ для Софьи Григорьевны счастье по рецепту Мишле, то недовѣрчивые читатели думали быть-можетъ, что я преувеличиваю и что я слишкомъ недоброжелательно отношусь къ тому типу, который выражается въ возлюбленной героинѣ Станицкаго. Теперь эти недовѣрчивые читатели видятъ желанія самого Станицкаго, благоговѣющаго передъ этимъ типомъ; кажется, эти желанія по своей смѣлости превосходятъ всѣ мои предположенія, потому что я никакъ не думалъ, чтобы для полноты супружескаго счастья, даже по Мишле и даже для Софьи Григорьевны, было необходимо или полезно дѣлать по саду «возможно большее число круговъ.» Впрочемъ мнѣ кажется, что это дѣланіе круговъ составляетъ самое благоразумное изъ всѣхъ занятій, наполнявшихъ безконечные досуги Сережи и Софьи Григорьевны. Тутъ получаютъ осязательные результаты: укрѣпляются мускулы, развиваются легкія и приобретается аппетитъ. Но какую пользу приносило ихъ чтеніе и къ чему вели ихъ возвышенные бесѣды о торжествѣ добра, чѣмъ отличалось ихъ чтеніе отъ унраженій чичиковскаго Петрушки и чѣмъ отличались ихъ бесѣды отъ умозрѣній судьи Ляпкина-Тяпкина о сотвореніи міра — это вопросы очень мудреные, если Станицкій попробуетъ ихъ разрѣшить, то его умъ немедленно зайдетъ за его разумъ. Всѣ эти серьезныя или игривыя забавы Сережи и Софьи Григорьевны оправдаются вполне извѣстной поговоркой, — чѣмъ-бы дитя ни тѣшилось, лишь-бы не плакало; но при этомъ не мѣшаетъ замѣтить, что добро врядъ-ли когда-нибудь восторжествуетъ надъ зломъ, если всѣ люди, желающіе этого торжества, сдѣлаются похожими на Софью Григорьевну и на ея невиннаго собесѣдника.

Это конечно очень красиво и трогательно, когда *грязь жизни равно пугаетъ обоихъ*, но для того, чтобы эта боязнь грязи воспиталась въ одной человѣческой личности, необходимо, чтобы десятки или сотни другихъ человѣческихъ личностей вертѣли за кулисами очень грязныя колеса большой и тяжелой машины. Окружить себя цвѣтами, книгами и нотами, бѣгать по саду съ хорошенькой женщиной и воодушевлять себя и ее пріятными разговорами о торжествѣ добра — все это конечно очень изящно и пропитано ароматомъ чистѣйшей поэзіи и самой возвышенной нравственности, но все это было-бы совершенно невозможно, еслибы въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ ристалища невинныхъ отроковъ не копошились съ ранняго утра до поздней ночи грязныя лапы тѣхъ милыхъ младшихъ братьевъ, которые обращаются съ своими супругами очень невѣжливо, о торжествѣ добра никогда не бесѣдуютъ и вообще погрязаютъ упорно въ самомъ грубомъ и предосудительномъ матеріализмѣ. Еслибы у Сережи не было денегъ, заработанныхъ руками ми-



лыхъ мужичковъ, то невинному Сережѣ пришлось-бы замѣнить боязнъ передъ житейской грязью разными другими, болѣе производительными свойствами ума и характера. Боязнъ житейской грязи это — самое барское качество, и люди, обладающіе этой добродѣтелью, всегда будутъ годны только на то, чтобы дѣлать «возможно большее число круговъ», читать для процесса чтенія и бесѣдовать о борьбѣ между добромъ и зломъ. Уважать этихъ людей нѣтъ ни малѣйшей возможности, и въ этихъ людяхъ особенно противно именно то, что они бесѣдуютъ о торжествѣ добра и заявляютъ свои благія желанія: ахъ, молъ, кабы восторжествовало! Заявлять эти желанія, вѣрвать въ полную искренность своихъ заявленій, считать самого себя за чистаго и честнаго человѣка, имѣющаго право гнушаться житейской грязью, и въ то-же время сидѣть сложа руки и коптить небо, и при этомъ не чувствовать невыносимо мучительной бессмысленности своего положенія и всего своего существованія — это великолѣпный фокусъ человѣческой глупости. Хороша честность и чистота, которая ѣстъ чужой хлѣбъ, на чужой счетъ доставляетъ себѣ умственную роскошь и взамѣнъ этихъ поглощаемыхъ продуктовъ чужого труда не производитъ и не хочетъ производить ровно ничего, кромѣ супружескаго счастья. Отчего-жъ ты, голубчикъ, не хочешь? — Да я боюсь замарать мою честность и чистоту. Меня пугаетъ грязь жизни. Я ненавижу пороки и не желаю подходить къ нимъ близко. — О, другъ любезный! Ты можешь совершенно успокоиться на счетъ твоей честности и чистоты. Эти пріятныя свойства существуютъ только въ твоемъ собственномъ воображеніи. На самомъ-же дѣлѣ твоя честность и чистота насквозь пропитаны той грязью, которая тебя пугаетъ. Твои родители купили для тебя эти свойства вмѣстѣ съ твоимъ тонкимъ бѣльемъ и учебными книжками. Добываніе твоей честности и чистоты принесло такимъ образомъ препорядочную массу зла. Теперь эти свойства тщательно сохраняются тобою подъ стекляннымъ колпакомъ. Ты боишься ихъ замарать, и вслѣдствіе этого они не приносятъ ни малѣйшаго добра. Изъ этого выходитъ то печальное заключеніе, что ты, о другъ мой, — чистый минусъ и что твое существованіе вредно для общества. Разсуждая о торжествѣ добра, ты всякій разъ долженъ краснѣть за самого себя; если-же ты не краснѣешь, а, напротивъ того, радуешься и воодушевляешься, то это доказываетъ только, о другъ мой, что ты замѣчательно тупоуменъ, что ты дѣйствительно можешь составить счастье Софьи Григорьевны, и что на тебѣ съ любовью и съ благоволеніемъ могутъ и должны останавливаться взоры твоего великаго создателя, Станицкаго.

Однако пора оставить въ покоѣ Софью Григорьевну. Пускай швыряетъ на полъ медальоны, пускай падаетъ въ обмороки, пускай дѣлаетъ воз-

можно большее число круговъ — всѣ эти упражненія представляютъ очень мало интереснаго, и всѣ они объясняются очень удовлетворительно краткой и невѣжливой поговоркой: съ жиру собаки бѣсятя. — Я самъ чувствую, что поговорка невѣжлива, но что-же съ этимъ дѣлать? — Ее сложили младшіе братья, одаренные грязными лапами и лишенные эстетическаго пониманія.

## IX.

### Дѣдушка Петра Васильевича.

Романъ Станицкаго переполненъ гнусными людьми, но даже въ этомъ мрачномъ романѣ дѣдушка Петра Васильевича приводитъ читателя въ изумленіе размѣрами своей гнусности. Еслибы творческая сила Станицкаго равнялась его добродѣтельному азарту, то фигура этого дѣдушки оказалась-бы пораздо ужаснѣе титанической фигуры шекспировскаго Ричарда III, а извѣстно, что въ сравненіи съ Ричардомъ III Сатана Мильтона можетъ быть названъ кроткимъ и привлекательнымъ юношей. Но такъ какъ силы Станицкаго далеко не соответствуютъ обширности его замысловъ и претензій, то ужасный дѣдушка оказывается похожимъ на полишинеля: онъ дѣйствительно очень некрасивъ, но въ его безобразіи нѣтъ ничего ужаснаго, и вообще это безобразіе не производитъ на читателя никакого впечатлѣнія, потому что оно — совершенно неправдоподобно. Эта фигура была-бы вполне уместна въ «Парижскихъ Тайнахъ», а если она появилась на страницахъ «Современника», то это обстоятельство доказываетъ только, что пересоленный реализмъ легко превращается въ мелодраму и что редакція, заваленная серьезной работой, не въ силахъ постоянно оберегать свой беллетристическій отдѣлъ отъ различныхъ нелѣпостей.

При первомъ знакомствѣ вашемъ съ безобразнымъ дѣдушкой вы тотчасъ чувствуете, что это очень дурной человѣкъ и что Станицкій приказываетъ вамъ возненавидѣть его всѣми силами вашей добродѣтельной души. Вотъ описаніе его наружности: «Лицо старика было длинно и желто; сверхъ того дрябло и покрыто крупными морщинами; подбородокъ острый; носъ формой походить на клювъ хищной птицы, а губы то какъ-бы жевали, то складывались въ непріятную, злобную улыбку; маленькіе глаза, съ какимъ-то желтымъ блескомъ, такъ и сверкали изъ-подъ ключевъ полусѣдыхъ бровей и невольно поражали противорѣчіемъ съ аптечной обстановкой комнаты и съ натянутымъ, болѣзненно нлачевнымъ выраженіемъ лица, которое однако то и дѣло измѣнялось въ самое ехидное.» Ясное дѣло, что дѣдушка — ужасный «моветонъ», то-есть; «хорошо, если мошенникъ, а можетъ и еще того хуже». Чего и ожидать отъ человѣка, у котораго носъ подобенъ клюву хищной птицы, глаза сверкаютъ желтымъ блескомъ, а на лицѣ выра-

жається всякое ехидство? «Впрочемъ,—говоритъ далѣ Станицкій, — этотъ почтенный дѣдушка была такая гнусная личность, что ей по настоящему падо было вмѣстѣ съ гадами скрываться гдѣ-нибудь въ подземельи, но ужъ никакъ не жить при дневномъ свѣтѣ и пользоваться уваженіемъ людей независимыхъ и образованныхъ.»

Не знаю, кто тутъ нануталъ, Станицкій или корректоръ, но во всякомъ случаѣ меня безконечно увеселяетъ то обстоятельство, что «дѣдушка *была*» такая большая мерзавка. Лирическое мѣсто само по себѣ неподобно, но грамматическая ошибка возводитъ его въ перлъ созданія, потому что она порождаетъ тотъ примиряющій смѣхъ, котораго эстетика требуютъ отъ каждаго комическаго произведенія. «Его лицемерство и эгоизмъ, — продолжаетъ нашъ романистъ, — доходили до ужасающихъ размѣровъ: онъ мучилъ и притѣснялъ съ какимъ-то страстнымъ наслажденіемъ.» Я вамъ говорилъ, что *подлая* дѣдушка выйдетъ хуже Ричарда III, если только мы будемъ вѣрить на слово Станицкому. У Ричарда по крайней мѣрѣ была какая-нибудь цѣль: онъ добивался англійской короны. А у дѣдушки и цѣли никакой нѣтъ: голая ядовитость, безъ малѣйшей примѣси. «Можно-ли было свободно дышать тамъ, гдѣ до того развито было шпионство между дворней, что даже шефъ инквизиціи позавидовалъ бы дѣдушкѣ, такъ глубоко развратившему людей». — Ну, шефъ-то инквизиціи не позавидовалъ-бы, глубококомысленно замѣтитъ здѣсь зять Ноздрева, скептикъ Мижуевъ. И оказывается, что дѣйствительно нечему завидовать, и что инквизиція приплетена тутъ для болѣйшей мрачности колорита и для пущаго посрамленія недостойнаго дѣдушки.

На стр. 170 и 171 повѣствуется о томъ, что двѣ женщины, жившія въ домѣ дѣдушки, надули всѣхъ шпионовъ, и не только надули, но даже надували ихъ впродолженіи нѣсколькихъ дней; онѣ перенесли умирающаго Сережу изъ его уединеннаго флигеля въ домъ дѣдушки, въ комнату Софьи Григорьевны, которая въ то время уже уѣхала вмѣстѣ съ мужемъ. «Но надо было обманывать шпионовъ,—говоритъ Станицкій,—и Марья Васильевна носила въ пустой домъ пищу и питье, чтобъ только не потревожили умирающаго.» Все это открылось только тогда, когда Сережа умеръ. Нечего сказать, хороши шпионы и хороша была-бы инквизиція, опирающаяся на услуги такихъ болвановъ. «Очень понятно, что и новая внучка не была избавлена отъ подобнаго шпионства, и онъ, что называется, ловилъ рыбу въ мутной водѣ, упиваясь слезами и отчаяніемъ молодой женщины, противъ которой составилось чуть не ополченіе.» Эту новую внучку, то-есть Софью Григорьевну, онъ старается даже сдѣлать своей любовницей. «Будьте умненькая,—говоритъ онъ, — не огорчайте меня; что

вамъ стоитъ поласкать старика? Право, старики еще честнѣе: молодой-то разомъ ласкаетъ трехъ-четырехъ и всѣхъ обманывается, а ужъ старикъ такого предательства не сдѣлаетъ.»

Все это и многое другое въ томъ-же эротическомъ направленіи несчастный дѣдушка говоритъ очевидно по приказанію Станицкаго, и только для того, чтобъ обнаружить передъ читателемъ всю глубину своей гнусности. Для самого дѣдушки отъ этихъ разговоровъ не можетъ произойти ни малѣйшаго удовольствія, и онъ, какъ опытный старикъ и отставной Донъ-Жуанъ, самъ очень хорошо долженъ понимать, что эти разговоры ни къ чему не поведутъ, потому что, въ самомъ дѣлѣ, кто-же обращается съ подобными предложеніями къ женщинѣ, только что вышедшей замужъ и страстно влюбленной въ своего мужа. Само собою разумѣется, что Софья Григорьевна даже не догадывается, къ чему дѣдушка кловить свою рѣчь, а дѣдушка съ своей стороны, заявивъ публикѣ, что онъ — развратникъ, считаетъ дѣло оконченнымъ и оставляетъ всякія дальнѣйшія домогательства. Въ домѣ дѣдушки живетъ его бывшая любовница, старуха Марья Васильевна, которую дѣдушка конечно терзаетъ всякими попреками. У дѣдушки есть незаконнорожденная дочь, Олимпіада Федоровна, которую онъ, на глазахъ читателя, доводитъ до чохотки и укладываетъ въ могилу, также попреками. Въ концѣ первой части романа происходитъ генеральное вымираніе различныхъ замученныхъ жертвъ. Прежде всѣхъ умираетъ великодушный Сережа. За нимъ слѣдуетъ, черезъ страницу, Марья Васильевна. На слѣдующей страницѣ умираетъ Олимпіада Федоровна. Это называется черезъ часть по ложкѣ. Дѣдушка переживаетъ ихъ всѣхъ и избираетъ себѣ жертву изъ новаго поколѣнія. Онъ держитъ при себѣ, въ видѣ казачка, сына Петра Васильевича и Лизаветы: «Старикъ тѣшилъ надъ бѣднымъ мальчикомъ безобразно: всякій день ему приготовляли въ коробкѣ паучковъ, и дѣдушка тихонько выпускалъ ихъ на мальчика, который страшно боялся этихъ насѣкомыхъ (мимоходомъ замѣчу, что это даже и не насѣкомыя), плакалъ, дрожалъ, и умолялъ снять съ него пауча, но старикъ притворялся, что онъ тоже боится и такимъ образомъ доводилъ ребенка до истерики.» «А уже испуская дыханіе, онъ выкинулъ слѣдующую штуку. Измученный мальчикъ обыкновенно засыпалъ стоя и потомъ уже, скользя по стѣнѣ, тихо опускался на коверъ, гдѣ и спалъ. Но умирающій, не желая, чтобы ребенокъ спалъ, велѣлъ привязать его къ спинкѣ стула и повесить противъ себя.»

Однако дѣдушкѣ не удалось замучить казачка до смерти. Время взяло свое, и старикъ умеръ прежде мальчика. Станицкій не сообщаетъ намъ, какую эпитафію изобразили на памятникѣ лютого дѣдушки, но по всей справедливости эпита-

фію слѣдовало-бы составить такъ: «здѣсь лежитъ несчастная жертва неудавшагося реалиста».

## Х.

### Добродѣтельные люди молодого поколѣнія.

Сережа очень добродѣтеленъ и не разгромить порока очень пламенными рѣчами. «Вы увидите,—говоритъ онъ Софѣ Григорьевнѣ *утѣшительнымъ тономъ*,—что я заставлю всѣхъ пресмыкающихся и ползающихъ около васъ гадъ сиротаться по своимъ мрачнымъ норамъ.» Но этотъ добродѣтельный Сережа, выражающій свои мысли такимъ сильнымъ и въ то-же время книжнымъ языкомъ, не вполне удовлетворяетъ нравственнымъ требованіямъ Станицкаго. Въ лицѣ Сережи мы видимъ плачущую и страждущую добродѣтель, и поэтому необходимо, чтобы на сцену явились новыя марионетки, изображающія добродѣтель веселую, твердую и побѣдоносную. Такія марионетки дѣйствительно являются во второй части романа и конечно причисляются къ тому молодому поколѣнію, о которомъ наши писатели разсуждаютъ такъ много и о которомъ они на самомъ дѣлѣ не имѣютъ почти никакого понятія. Станицкій знаетъ это молодое поколѣніе такъ-же хорошо, какъ онъ знаетъ вообще природу человѣка, потребности нашей современной жизни и причины семейныхъ несогласій. Его добродѣтельный юноша, Александръ Егоровичъ Снѣговъ, составленъ по очень извѣстному рецепту, и по этому-же самому рецепту составленъ другой добродѣтельный юноша, Дмитрій Степановичъ Карсановъ, украшающій своимъ присутствіемъ «Романъ въ петербургскомъ полусвѣтѣ». Личнаго характера не имѣютъ ни тотъ, ни другой, и вслѣдствіе этого я буду анализировать ихъ общій рецептъ, выбирая факты изъ обоихъ романовъ, принадлежащихъ одному автору. Бѣдные родители, природная любознательность, блестящія способности, борьба съ бѣдностью, кружокъ университетскихъ товарищей, однимъ словомъ—все, какъ слѣдуетъ, все такъ, какъ обыкновенно бываетъ написано въ книжкахъ, и все это, разумѣется, безъ малѣйшихъ слѣдовъ самостоятельнаго наблюденія. Вотъ напримѣръ какія подробности сообщаются изъ исторіи общественной жизни героев: «вмѣсто пошлыхъ французскихъ романчиковъ, какіе читаются единственно завитыми и расчесанными головами, Снѣговъ читалъ дѣльные книги да изучалъ русскую литературу». — «Пріѣхавъ въ Петербургъ застѣнчивымъ мальчикомъ, онъ не имѣлъ случая завести себѣ знакомствъ и сдѣлался очень разборчивъ, мѣтко угадывая и понимая все дурное въ людяхъ.» Что застѣнчивость и отсутствие знакомствъ развиваютъ въ мальчикѣ способность мѣтко угадывать и понимать въ людяхъ все дурное—это очевидно субъективное соображеніе Станицкаго, потому что до сихъ поръ по всей вѣроятности никому не при-

ходило въ голову связывать такія причины съ такими послѣдствіями. «Снѣговъ и его товарищи постоянно разсуждали объ обязанностяхъ честнаго челоѣка и оставались твердыми въ своихъ убѣжденіяхъ, несмотря ни на какіе соблазны.» Снѣговъ и его товарищи могли-бы найти болѣе полезный предметъ для разсужденій. Съ какими соблазнами имъ приходилось бороться—это остается неизвѣстнымъ, тѣмъ болѣе, что Снѣговъ «выжилъ почти весь курсъ въ четырехъ стѣнахъ института». О Карсановѣ мы узнаемъ то-же самое. «Его студенческая, труженическая жизнь не убила въ немъ юношеской свѣтлой вѣры въ достоинство челоѣка и въ торжество истины въ мірѣ. Около Карсанова составилъ кружокъ подобныхъ ему честныхъ, пылкихъ душой товарищей, и въ скоромъ времени въ этомъ кружкѣ закипѣла дѣятельная жизнь мысли. Европейскіе мыслители были ихъ заочными наставниками, такъ что этотъ маленькій кружокъ молодыхъ людей сдѣлался какимъ-то изолированнымъ міркомъ въ русскомъ обществѣ.» — «Они въ своей экзальтаціи очень походили на людей, которые усѣлись на берегу моря въ лодку, распустили паруса и, любуясь величественной картиной безбрежной дали, закатомъ солнца, убавляемые мѣрными волнами, плывутъ все дальше, не замѣчая, что ихъ уже раздѣлило страшное пространство и что ихъ голоса не достигнутъ до берега.»

Изъ всего этого явствуется, что Карсановъ и Снѣговъ сдѣлались очень добродѣтельными людьми. Но изъ всего этого явствуется еще болѣе, что Станицкій не имѣетъ никакого понятія о томъ, что онъ описываетъ. Еслибы я умѣлъ писать одну фразу за другой, не вкладывая въ эти фразы никакого осязательнаго смысла, то я-бы могъ тотчасъ изобразить вамъ, какъ развиваются японскіе юноши, и мое изображеніе было-бы такъ-же вѣрно и наглядно, какъ разсказы Станицкаго о студенческихъ занятіяхъ Снѣгова и Карсанова. Что читали эти молодые люди?—«Дѣльные книги». — Какія книги? Сочиненія «европейскихъ мыслителей». — Какихъ европейскихъ мыслителей? Такихъ, которые превратили «этотъ маленькій кружокъ молодыхъ людей» въ «какой-то изолированный мірокъ». А если даже этотъ отвѣтъ покажется вамъ недостаточно определеннымъ, то вамъ представить лодку, плывущую при закатѣ солнца, и людей, любующихся величественной картиной безбрежной дали. Этимъ поясненіемъ вы уже непремѣнно обязаны удовлетвориться, потому что всякая челоѣческая любознательность должна-же имѣть какіе-нибудь предѣлы. Да и чего вамъ еще надо? Книги были дѣльными, мыслители—европейскіе, кружокъ—маленькій, мірокъ—изолированный, даль—безбрежная, картина—величественная. При каждомъ существительномъ особое прилагательное. Какой-же вы еще желаете ясности и определен-

ности? Вамъ можетъ-быть любопытно знать, что изучалъ Снѣговъ? Извольте; Станицкій какъ великодушень, что даже на этотъ вопросъ онъ готовъ вамъ отвѣтить: Снѣговъ изучалъ русскую литературу. Вы спросите пожалуй, о чемъ разсуждалъ Снѣговъ съ своими товарищами? Объ обязанностяхъ честнаго человѣка.

Теперь довольно. Прекратите ваши нескромные вопросы и рассмотрите внимательно данный вамъ отвѣтъ на счетъ русской литературы. Снѣговъ конечно можетъ изучать русскую литературу; если ему угодно, онъ можетъ даже изучать сіамскія древности или алеутскую грамматику; все эти занятія не представляютъ физической невозможности и не воспрещены закономъ; но если Снѣговъ изображаетъ своей особой представителя молодого поколѣнія, если въ немъ должны воплощаться преобладающія стремленія теперешней молодежи, и если онъ дѣйствительно одаренъ блестящими способностями, то изученіе русской литературы навязано ему совершенно некстати. Теперешніе молодые люди относятся къ русской литературѣ очень равнодушно, и врядъ-ли можно ожидать, чтобы Понгиновъ, Галаховъ, Тихонравовъ, Буслаевъ, Сухомлиновъ и другіе нашли-бы себѣ въ рядахъ нашей молодежи восторженныхъ цѣнителей и усердныхъ продолжателей. Конечно каедры русской словесности въ университетахъ и въ гимназіяхъ не опустѣютъ; всегда найдутся молодые люди, желающіе ихъ занять; но трудно себѣ вообразить, чтобы къ этимъ каедрамъ устремились самыя блестящія дарованія трудящейся молодежи. Русскую литературу изучаютъ въ настоящее время юноши очень трудолюбивые, очень кроткіе, очень добросовѣстные, пововсе не даровитые и совершенно неспособные привязываться къ значительной и страстной любовью къ предмету своихъ занятій. Эти юноши превосходно выдерживаютъ кандидатскій экзаменъ, также превосходно выдерживаютъ экзамены на магистра и на доктора и защищаютъ свои диссертации съ скромной основательностью; потомъ они получаютъ каедру; затѣмъ, лѣтъ черезъ пятнадцать, они сдѣлаются ординарными профессорамъ; они будутъ читать лекціи и, ради приличія, писать маленькія изслѣдованія до тѣхъ поръ, пока не выслужатъ себѣ въ пенсіонъ полный окладъ жалованья, и наконецъ, достигнувъ этой послѣдней цѣли, они сойдутъ со сцены для того, чтобы, подобно императору Діоклитіану, дожить свои дни въ спокойной и обезпеченной неизвѣстности.

Почему именно *эти* юноши устремляются къ изученію русской литературы, это понять не трудно. Стоитъ только подумать о томъ, что можно изучать въ русской литературѣ и какая сторона этого изученія можетъ завлечь даровитаго представителя молодого поколѣнія? Страшивается прежде всего, какой періодъ русской

литературы затронетъ любознательность молодого человѣка? Тотъ-ли, который тянется отъ начала русской письменности до петровской реформы, или тотъ, который продолжается со временъ Петра до Гоголя? Или наконецъ новѣйшій періодъ, получившій свою теперешнюю физиономію послѣ Гоголя? Необходимо, чтобы одинъ изъ этихъ отдѣловъ чѣмъ-нибудь заинтересовалъ молодого человѣка, потому что иначе молодой человѣкъ не будетъ изучать русской литературы. Посмотримъ, заинтересуетъ-ли его древній періодъ нашей литературы. Есть у насъ въ этомъ древнемъ періодѣ пѣсни, сказки, былины, легенды, лѣтописи и юридическіе памятники. Пѣсни, сказки, былины и легенды—все это по-видимому очень интересно; все это, какъ толковали намъ въ различныхъ учебныхъ заведеніяхъ и въ различныхъ ученыхъ сочиненіяхъ, знакомить съ народной жизнью и открываетъ передъ нашими глазамиглубокіе тайникинароднаго міросозерцанія. Не знаю, такими-ли именно словами выражались и выражаются преподаватели и составители ученыхъ книгъ, но знаю навѣрное, что только этими мыслями оправдывается и объясняется появленіе такихъ тяжеловѣсныхъ изданій, каковы напримѣръ «Очерки» Буслаева или «Памятники» Костомарова и Пыпина.

Итакъ, молодому человѣку представляется возможность проникнуть въ тайники народнаго міросозерцанія. Но, прежде чѣмъ проникнуть, не поставитъ-ли себѣ молодой человѣкъ вопроса: зачѣмъ я буду забираться въ эти тущобы? Кому я своими трудами на этомъ поприщѣ принесу дѣйствительную пользу: народу или себѣ? Народу? Странное дѣло! Какая выгода можетъ быть народу отъ того, что я, Александръ Егоровичъ Снѣговъ, узнаю все примѣты домового, все варианты былины о Микудушѣ Селяниновичѣ и все столкновенія Иванушки съ Бабой-Ягой? А какая отъ этого произойдетъ польза для моего собственнаго развитія? Я узнаю нѣсколько новыхъ подробностей о сказочныхъ личностяхъ, я отпечатаю въ своей памяти нѣсколько сотенъ лубочныхъ картинъ, но общее понятіе мое о народѣ останется совершенно такое-же, какое образовалось въ моемъ умѣ изъ впечатлѣній дѣтства и какое поддерживается всеми ежедневными столкновеніями моими съ дѣйствительной жизнью и съ милой «почвой». Бѣдность та-же самая, и невѣжество то-же самое, и та-же зачѣмъ-то пѣсни съ тѣми-же проблесками забубенной удалы. Что въ этомъ народѣ есть много ума, и много юмора, и много хорошихъ силъ, и много задатковъ здороваго развитія, это я знаю очень хорошо безо всякихъ былинь и пѣсенъ. Во-первыхъ, я знаю это по моимъ собственнымъ столкновеніямъ съ простыми людьми, а во-вторыхъ, это иначе и быть не можетъ, потому что человѣкъ кавказской расы есть самое понятливое изъ всехъ существующихъ позвоночныхъ живот-

ныхъ. Могу-ли я взять, лично для себя, хоть какую-нибудь частицу изъ того народнаго міросозерцанія, съ которымъ меня познакомятъ легенды, былины и пѣсни? Мудрено, очень мудрено, даже совсѣмъ невозможно, потому что всѣ эти идеи и мотивы этого міросозерцанія находятся въ самой непримиримой враждѣ со всѣми элементарными учебниками физики и географіи. Есть-ли надобность знать эти идеи и мотивы народнаго міросозерцанія для того, чтобы работать на пользу этого народа? Нѣтъ. Ну, стало-быть, скажетъ въ заключеніе Александръ Егоровичъ Снѣговъ, я вовсе не намѣренъ углубляться въ былины и сказки, а древній періодъ русской литературы можетъ оставаться для меня недоступнымъ сокровищемъ.

Такія размышленія моего Снѣгова (а не того, который изображенъ у Станицкаго) могутъ вызвать противъ себя много насмѣшекъ и много горячихъ возраженій. Молодой человекъ, скажутъ ему специалисты, вы не знаете того предмета, о которомъ разсуждаете такъ смѣло. Если вы не изучали нашей древней литературы, то почему-же вы знаете, что ее не стоитъ изучать и что она не можетъ принести вамъ ни малѣйшей пользы? На это мой скромный Снѣговъ отвѣтитъ такъ: я прочиталъ отъ доски до доски два тома «Очерковъ» Буслаева. Я знаю, что Буславъ трудится на своемъ поприщѣ гораздо больше десяти лѣтъ, и что эти «Очерки» составляютъ сборникъ его статей за все время его ученой дѣятельности. Я знаю кромѣ того, что Буславъ считается за одного изъ самыхъ дѣятельныхъ и талантливыхъ изслѣдователей нашей литературной старины. Я вовсе не смѣю думать, что я умнѣе, даровитѣе и трудолюбивѣе Буслаева. Я не имѣю также особенныхъ основаній надѣяться, что нападу на такіе сокровища, которыя укрылись отъ пытливаго взора этого изслѣдователя. Стало-быть, если я пойду по слѣдамъ Буслаева, то я можетъ-быть лѣтъ черезъ пятнадцать подарю русской публикѣ два тома «Очерковъ» Александра Снѣгова. Я не думаю, чтобы этотъ подарокъ принесъ русской публикѣ значительную пользу, и меня вовсе не обольщаетъ перспектива обогатить со временемъ нашу книжную торговлю такимъ произведеніемъ. Книга Буслаева навѣрное представляетъ очень удовлетворительный образчикъ нашихъ литературныхъ сокровищъ. Будущіе изслѣдователи могутъ отыскать много новыхъ подробностей, но невозможно предположить, что они вдругъ найдутъ подъ хламомъ былинъ, пѣсенъ и легендъ цѣлый міръ самородной мысли, — такой міръ, котораго существованіе было совершенно неизвѣстно Буслаеву и его сподвижникамъ; невозможно предположить, что въ этомъ исключительномъ мірѣ русскихъ идей вдругъ окажутся такіе драгоценности, которыя придется предпочесть непоколебимымъ истинамъ европейской или, вѣрнѣе, общечеловѣческой науки. Вѣроят-

но самые усердные специалисты не рѣшатся утверждать, что такой удивительный случай возможенъ; а если онъ невозможенъ, то я и не желаю тратить свое время и свои силы на изученіе былинъ, пѣсенъ, легендъ и разныхъ другихъ памятниковъ нашей письменной и изушной литературы. — Стало-быть, возразятъ любители древности, вы отвергаете заслуги такихъ дѣятелей, каковы напимѣръ братья Гриммы, великіе собиратели нѣмецкихъ сказокъ, пѣсенъ, пословицъ и преданій? — Братья Гриммы, отвѣтитъ Снѣговъ съ своей обыкновенной кротостью, — люди очень умные, трудолюбивые и честные. Я очень уважаю ихъ усердіе и добросовѣстность, но мнѣ кажется, что ихъ превосходныя качества могли-бы принести несравненно больше пользы, еслибы они были прииспособлены къ другому занію. Гриммы искали вдоль и поперекъ всю Германію, чтобы собрать остатки старины, сохранившейся въ обычаяхъ, въ языкѣ и въ народной поэзіи. Путешествуя пѣшкомъ по Германіи, они конечно превосходно усвоили себѣ всѣ обороты народной рѣчи; они приобрѣли драгоценное умѣніе объясняться съ самыми простыми и необразованными людьми. Еслибы они примѣнили это умѣніе къ обобщенію научныхъ истинъ, еслибы они своими простымъ и понятнымъ языкомъ провели знаніе природы въ низшіе слои рабочаго населенія, то они принесли-бы дѣйствительно громадную пользу, хотя бытъ-можетъ ихъ и не считали-бы великими свѣтилами ученаго міра. Ученныя работы Гриммовъ громадны, но приносятъ-ли онѣ какую-нибудь дѣйствительную пользу хоть одному живому человѣку въ мірѣ? Мнѣ кажется, что на этотъ вопросъ можно смѣло и рѣшительно отвѣчать: нѣтъ — Гриммы то-же самое, что Рафаэль, за котораго Базаровъ гроша мѣднаго не хочетъ дать. Базаровъ выражается рѣзко, но мысль его вполне справедлива. Еслибы въ Италіи было десять тысячъ живущихъ, равныхъ Рафаэлю, то это нисколько не подвинуло-бы впередъ итальянскую націю ни въ экономическомъ, ни въ политическомъ, ни въ социальномъ, ни въ умственномъ отношеніи. И еслибы въ Германіи было десять тысячъ археологовъ, подобныхъ Якову Гримму, то Германія отъ этого не сдѣлалась-бы ни богаче, ни счастливѣе. Безобразіе ея политическаго устройства, пошлость ея юнкерства и немовѣрное филистерство всякихъ патріотическихъ обществъ при десяти тысячахъ Гриммовъ продолжали-бы существовать точь въ точь въ такомъ-же видѣ, въ какомъ они существуютъ теперь. Поэтому я говорю совершенно искренно, что желалъ-бы лучше быть русскимъ сапожникомъ или булочникомъ, чѣмъ русскимъ Рафаэлемъ или Гриммомъ. Каждый Рафаэль обожаетъ свое искусство, и каждый Гриммъ обожаетъ свою науку, но ни тотъ, ни другой не задаютъ себѣ убійственнаго вопроса: *зачѣмъ?* Я имѣю несчастье задавать себѣ этотъ вопросъ, и когда я

прикладываю его къ дѣятельности Рафаэлей и Гриммовъ, то не нахожу на него отвѣта. Поэтому я не могу, не хочу и не долженъ быть ни Рафаэлемъ, ни Гриммомъ, ни въ малыхъ, ни въ большихъ размѣрахъ. Поэтому я могу, хочу и долженъ браться только за такую работу, которой результаты давали-бы громкій и совершенно опредѣленный отвѣтъ на вопросъ: *зачѣмъ?* — Поэтому проходи мимо, древній періодъ русской литературы!

Специалисты конечно не согласятся съ размышлениями моего Сибгова, но по крайней мѣрѣ они махнутъ на него рукой и оставятъ его въ покоѣ; въ самомъ дѣлѣ, можно-ли разговаривать съ такимъ человѣкомъ, который даже дѣятельность Гриммовъ считаетъ бесполезной? Когда специалисты умолкнутъ и отойдутъ въ сторону, тогда самъ читатель сдѣлаетъ Сибгову слѣдующее возраженіе: вы задаете себѣ вопросъ, скажетъ онъ, есть-ли надобность знать идеи и мотивы народнаго міросозерцанія для того, чтобы работать на пользу этого народа? и потомъ на этотъ вопросъ вы отвѣчаете: «нѣтъ». Какъ же это возможно? Какъ-же вы принесете пользу такому народу, о которомъ вы не имѣете никакого понятія? — Во-первыхъ, отвѣтитъ на это Сибговъ, можно приносить пользу народу, не находясь въ непосредственныхъ отношеніяхъ съ тѣми слоями населенія, которые преимущественно называются народомъ и которые дѣйствительно составляютъ огромное большинство всей націи. Бѣлинскій и Добролюбовъ принесли много пользы русскому народу, а между тѣмъ ни грамотный мужикъ, ни грамотный мѣщанинъ не могутъ понимать ихъ сочиненія. Во-вторыхъ, я думаю, что даже учителю народной школы нѣтъ никакой надобности изучать ту народную поэзію, на которой основано народное міросозерцаніе. Учитель долженъ говорить съ своими учениками простымъ и понятнымъ языкомъ и кромѣ того долженъ обращаться съ ними такъ кротко и добродушно, чтобы ученики не робѣли передъ нимъ и откровенно предлагали ему свои вопросы и возраженія, если его рассказы кажутся имъ непонятными или несогласными съ тѣми идеями, которыя составились въ ихъ головахъ до прихода въ школу. Учителю необходимы кромѣ того умѣнье и навыкъ; но эти вещи пріобрѣтаются чисто практическимъ путемъ, и ихъ нельзя вычитать ни въ сборникѣ былинъ, ни въ «Очеркахъ» Буслаева. Когда учитель передаетъ ученикамъ элементарныя основанія географіи, то ему нѣтъ никакой надобности говорить, что земля не стоитъ на трехъ китахъ, что Царь-градъ не есть пунъ земли и что *нѣтъ* такой страны, въ которой живутъ люди съ несмыслимыми головами. Пусть онъ рассказываетъ только то, что *есть*; если ученикъ слышалъ о китахъ и о пунѣ земли, то онъ самъ спроситъ у учителя на счетъ этихъ очаровательныхъ созданій народной мудрости, и

соч. д. л. писарева, т. iv.

тогда учитель объяснитъ ему, что все это невозможно и чепуха. Поэтому я говорю еще разъ, что изучать народное міросозерцаніе или, проще, народное суевѣріе нѣтъ никакой надобности.

Управившись такимъ образомъ съ древнимъ періодомъ нашей литературы, Сибговъ, разумеется, не почувствуетъ особеннаго расположенія остановиться съ уваженіемъ и съ любовью на созерцаніи XVIII вѣка. Сибговъ знаетъ, что въ это время сформировались нашъ литературный языкъ и нашъ стихъ. Но Сибговъ находитъ, что гораздо благоумиѣе пользоваться сформированнымъ языкомъ для распространенія въ обществѣ полезныхъ знаній и здравыхъ идей, чѣмъ любоваться на колыбель этого языка и перечислять всѣ забытыя шалости этого милаго ребенка, постоянно ходившаго и до сихъ поръ продолжающаго ходить на спасительныхъ помочахъ. Что-же касается до стиховъ, то въ этомъ отношеніи Сибговъ можетъ быть настоящимъ варваромъ; онъ, каналья, равнодушенъ къ ихъ гармоніи; онъ думаетъ, что время дорого и что его не слѣдуетъ тратить ни на сочиненіе новыхъ стиховъ, ни на чтеніе напечатанныхъ произведеній нашей современной поэзіи, ни на изслѣдованіе того вопроса, кто ввелъ у насъ тоническое стихотвореніе, кто его усовершенствовалъ, и чрезъ какія фазы развитія оно перешло со временъ Тредьяковского до временъ Майкова.

Такимъ образомъ передъ моимъ Сибговымъ остается только третій періодъ, или современная литература. Къ этому періоду онъ относится съ сочувствіемъ и уваженіемъ, потому что въ это время многіе честные и умные люди бросили смѣлый и безпристрастный взглядъ на «бѣдность, да несовершенство нашей жизни».

Если мы не будемъ знать того, что пережили и передумали эти люди, если мы по ихъ сочиненіямъ не будемъ догадываться о томъ, что составляло смыслъ и безмыслицу ихъ существованія, то для насъ во многихъ отношеніяхъ останутся непонятными настоятельныя потребности и накопившіяся со всѣхъ сторонъ задачи нашей собственной эпохи. Грибоедовъ, Крыловъ въ нѣкоторыхъ изъ его лучшихъ басенъ, Пушкинъ въ «Онегинѣ», Лермонтовъ въ Печоринѣ, Гоголь въ первой части «Мертвыхъ Душъ», въ «Ревизорѣ» и во многихъ мелкихъ повѣстяхъ, Нисемскій, Тургеневъ, Гончаровъ, Достоевскій, Некрасовъ, Осгровскій, и особенно Бѣлинскій и Добролюбовъ, и въ заключеніе, какъ фактъ вчерашняго дня, романъ «Что дѣлать?» — это все сырые матеріалы, которые каждый изъ нашихъ образованныхъ соотечественниковъ долженъ непременно переработать въ своемъ умѣ, чтобы знать, чего мы хотимъ, о чемъ мы думаемъ и съ какихъ различныхъ точекъ зрѣнія мы разсматриваемъ наше собственное положеніе. Но изучать тутъ все-таки нечего; надо только прочесть, какъ мы читаемъ журнальную статью, какъ пробѣгаемъ отдѣлы иностранныхъ извѣстій въ газетѣ. Въ каждомъ



литературномъ произведеніи и въ каждой критической статьѣ Бѣлинскаго и Добролюбова надо видѣть только то явленіе жизни, которымъ они вызваны, а вѣдаться въ эстетику, подмѣчать индивидуальныя особенности того или другого таланта, вглядываться въ языкъ и въ манеру повѣствованія — это значитъ терять изъ виду требованія живой дѣйствительности и уходить отъ этихъ требованій въ темныя тѣни семинарской и гимназической пѣни.

Часто случается однако, что личность автора и его литературныя пріемы составляютъ сами по себѣ очень знаменательный фактъ въ исторіи нашей умственной жизни, и этотъ фактъ можетъ быть для насъ важнѣе и интереснѣе, чѣмъ явленіе, которое описываетъ намъ авторъ. Возьмемъ на примѣръ сочиненія Бѣлинскаго. На каждой страницѣ мы видимъ передъ собой человѣка умнаго, горячаго, непоколебимо честнаго, совершенно неспособнаго продать кому-бы то ни было дѣйствительныя интересы человѣческой личности и вполне способнаго увидать и понять, въ чемъ именно заключаются эти великіе интересы. И въ то же время мы видимъ, что всѣ умственныя силы этого превосходнаго человѣка и вся его кипучая энергія тратятся на то, чтобы разсматривать и оцѣнивать игрушечныя издѣлія разныхъ пустѣйшихъ господъ, наполнившихъ свои досуги писаніемъ русскихъ стиховъ и русскихъ повѣстей. Пушкинъ былъ безъ сомнѣнія человѣкъ очень умный, и стихъ его былъ очень легокъ, и образы очень картинны, но когда вы видите, что весь восьмой томъ сочиненія Бѣлинскаго посвященъ оцѣнкѣ Пушкина, то вамъ становится обидно за Бѣлинскаго и вамъ невольно приходится въ голову, что эта честь слишкомъ велика для Пушкина и что силамъ великаго и серьезнаго критика негдѣ развернуться въ эстетическомъ разборѣ красивыхъ произведеній остроумнаго русскаго барина. Никакой отдѣльный поэтъ, ни Гёте, ни Гейне, ни даже Шекспиръ, не можетъ быть достаточно обширенъ для того, чтобы приковать къ себѣ и поглотить въ своихъ произведеніяхъ всѣ силы такого мыслящаго и такого живого человѣка, какимъ былъ Бѣлинскій. Эти люди не могутъ и не должны возиться съ индивидуальными мыслями, чувствами и фантазіями. Для нихъ достаточно широка только одна сфера, — та, которая шире всѣхъ остальныхъ и которая вмѣщаетъ въ себѣ и Шекспира, и Станищкаго, и нѣмецкаго филистера, и безграмотнаго мужика, и всѣ усилія человѣческой геніальности, и всѣ безчисленныя проявленія человѣческаго тупоумія. Для мыслителей, подобныхъ Бѣлинскому, необходима живая и непрерывная умственная связь съ настоящими страданіями и радостями настоящихъ людей. Для нихъ необходимо размышлять о дѣйствительной жизни и откровенно пе-

редавать свои размышленія всѣмъ тѣмъ людямъ, которые могутъ и желаютъ ихъ понимать. Эти мыслители только тѣмъ и счастливы, только тѣмъ и живутъ, что пробуждаютъ въ человѣческихъ умахъ дѣятельность мысли и сознательное стремленіе къ разумному, свѣтлому и далекому, очень далекому будущему. Бѣлинскій былъ современникомъ Людвигъ Берне; по силѣ своего ума и по честности своего характера Бѣлинскій былъ вполне способенъ сдѣлаться русскимъ Берне; а между тѣмъ Бѣлинскій жилъ и умеръ эстетикомъ, и, разумеется, этотъ фактъ, по своему печальному и грозному значенію, гораздо важнѣе и интереснѣе для насъ, чѣмъ тѣ поэмы Пушкина, которые такъ превосходно оцѣниваетъ Бѣлинскій. Въ своей статьѣ «Бѣлинскій и Добролюбовъ» Зайцевъ показалъ значеніе этого факта въ исторіи нашей умственной жизни; но этотъ предметъ до такой степени важенъ, Бѣлинскій, какъ эстетикъ, представляетъ явленіе до такой степени замѣчательное по своей колоссальной уродливости, что, мнѣ кажется, было-бы полезно разработать и освѣтить этотъ фактъ въ отдѣльномъ, чисто психологическомъ этюдѣ. Бѣлинскій былъ настоящимъ Прометеемъ нашего времени, и въ глубинѣ, искренности и законности своихъ страданій онъ навѣрное можетъ поспорить съ самимъ Байрономъ, — съ тѣмъ великимъ и несчастнымъ Байрономъ, котораго, для увеселенія русскихъ барышень, такъ обкарнали и обезсмыслили наши милые байронисты, начиная отъ самого Лермонтова и кончая Полонскимъ.

Итакъ, въ концѣ концовъ, мы пришли къ тому общему результату, что наше молодое поколѣніе, въ лицѣ своихъ даровитѣйшихъ представителей, не изучаетъ русской литературы, а только читаетъ тѣ книги, русскія или иностранныя, которыя даютъ человѣку основательное знаніе дѣйствительной жизни.

Теперь, мой читатель, вы мнѣ позволите сдѣлать вамъ откровенное признаніе. Мнѣ ужасно надоѣло возиться съ романами Станищкаго и со всѣми его породѣтельными и порочными фигурами изъ *parier-maché*. Честью васъ могу увѣрить, что въ Снѣговѣ и въ Карсановѣ явѣтъ даже ничего похожаго на какое-бы то ни было поколѣніе, старое или молодое. Поэтому будьте великодушны, позвольте мнѣ совершенно оставить ихъ въ сторонѣ и передать вамъ въ отдѣльной статьѣ тѣ мысли, на которыя навелъ меня вопросъ объ изученіи или, вѣрнѣе, о неизученіи русской литературы. Эта отдѣльная статья пойдетъ въ свѣтъ подъ заглавіемъ «Реалисты» \*).

\*) Эта статья, какъ центральная, поставлена нами въ главѣ тома, т.е. помѣщена *передъ* «Кукольной трагедіей».

## ПРОМАХИ НЕЗРѢЛОЙ МЫСЛИ.

### I.

Прежде чѣмъ я приступлю къ настоящему предмету моей статьи, я долженъ поправить одинъ *промах* моей собственной мысли, которую я во многихъ отношеніяхъ считаю очень незрѣлой. Лѣтъ пять-шесть тому назадъ я прочиталъ раза два или три повѣсти и рассказы графа Л. Н. Толстого, печатавшіеся тогда въ «Современникѣ». Читалъ я ихъ съ увлеченіемъ; они мнѣ очень нравились, но я былъ еще до такой степени молодъ, что рѣшительно не въ силахъ былъ бросить на нихъ общій взглядъ и вдуматься въ настоящій смыслъ тѣхъ типовъ, которые изучилъ и воспроизвелъ графъ Толстой. Вниманіе мое останавливалось на удивительно тонкой отдѣлкѣ мелкихъ подробностей, ландшафтныхъ, бытовыхъ и преимущественно психологическихъ. Въ эти дни моей самой ранней юности я былъ помѣшанъ съ одной стороны на величій паукъ, о которой не имѣлъ никакого понятія, а съ другой—на красотахъ поэзіи, которой представителями я считалъ между прочими Фета и моего университетскаго товарища Крестовскаго. Прочитавши повѣсти Толстого, я, разумеется, рѣшилъ, что Толстой—поэтъ, и что я долженъ быть ему очень благодаренъ за доставленное мнѣ эстетическое наслажденіе. Въ 1860 году въ моемъ развитіи произошелъ довольно крутой поворотъ. Гейне сдѣлался моимъ любимымъ поэтомъ, а въ сочиненіяхъ Гейне мнѣ всего больше стали нравиться самыя рѣзкія ноты его смѣха. Отъ Гейне понятенъ переходъ къ Моленшоту и вообще къ естествознанію, а далѣе идетъ уже прямая дорога къ послѣдовательному реализму и къ строжайшей утилитарности. Когда эти переходы совершились, тогда конечно всякую чистую художественность я съ величайшимъ наслажденіемъ выбросилъ за бортъ. Мнѣ такъ много надо было читать, учиться и работать, что рѣшительно не было возможности пересматривать отдѣльно каждую изъ тѣхъ бездѣлушекъ, которыя составляли въ совокупности пеструю кучу поэзіи, возбуждавшей недавно мои юношескіе восторги. Я осудилъ и осмѣялъ въ своемъ умѣ всю эту кучу гуртомъ, не боясь ошибиться, потому что общее впечатлѣніе было еще очень свѣжо въ моей памяти. Память меня не обманула, но вѣдь память сохраняетъ только то, что вы сами даёте ей на сохраненіе. Если вы въ сумеркахъ разсматривали какую-нибудь матерію, которая тогда показалась вамъ прочной и красивой, то памяте такъ и отгнѣтитъ у себя, что молъ, въ такомъ-то магазинѣ есть такая-то ма-

терія, прочная и красивая. Но будетъ-ли замѣченная матерія дѣйствительно соответствовать вашимъ ожиданіямъ, не разочаруетесь-ли вы въ ея достоинствахъ, когда увидите ее днемъ?—это уже такіе вопросы, на которые никакъ не можетъ отвѣчать ваша память. Память моя говорила мнѣ, что пестрая куча правилась мнѣ своей чистой художественностью. Умъ мой отвѣчалъ на это: значить, никуда не годится!—Но не было-ли въ этой кучѣ, кромѣ чистой художественности, какихъ-нибудь золотыхъ крупинокъ мысли, незамѣченныхъ и неоцѣненныхъ мною въ то время, когда я способенъ былъ восхищаться только сладкими звуками?—это такой вопросъ, котораго не могли рѣшить ни память, ни умъ, произносившій свой приговоръ на основаніи общихъ воспоминаній. Вотъ тутъ-то и случился промахъ. Въ статьѣ моей «Цвѣты невиннаго юмора» я, мелькомъ упоминая о литературной дѣятельности графа Толстого, замѣчаю, что публика отнеслась къ ней довольно равнодушно, и объясняю это равнодушіе тѣмъ обстоятельствомъ, что въ произведеніяхъ графа Толстого нѣтъ ничего, кромѣ чистой художественности. Это объясненіе никуда не годится. Въ нынѣшнемъ году вышли сочиненія Толстого, въ изданіи Стелловскаго. Я прочиталъ «Дѣтство», «Отрочество», «Юность», «Утро помѣщика» и «Люцернъ». На этомъ я покуда остановился. Меня изумили обиліе, глубина, сила и свѣжесть мыслей. Мнѣ пришло въ голову, что критика наша молчала о Толстомъ или, еще того хуже, говорила о немъ ласкательные пустячки единственно по своему признанію не безсилію и скудоумію. Добролюбову неловко было черезчуръ много говорить о постоянномъ сотрудникѣ «Современника», ну, а кромѣ Добролюбова,—известное дѣло,—хоть шаромъ покати! Аполлонъ Григорьевъ, у котораго, при всей его безалаберности, были очень живые проблески мысли и чувства,—Аполлонъ Григорьевъ, говорю я, понималъ, что произведенія Толстого затрогиваютъ что-то очень большое и очень важное; понималъ онъ, что тутъ хорошо было-бы пошевелить мозгами и кое-что разъяснить; и началъ онъ во «Времени» статью о Толстомъ и, разумеется, ничего не разъяснилъ. Всѣмъ статьямъ этого критика постоянно суждено было оставаться размашистыми вступленіями во что-то такое, о чемъ ни Григорьевъ, ни его читатели не имѣли, не имѣютъ и никогда не будутъ имѣть никакого понятія. Толстой остался попрежнему въ тѣни. Его читаютъ, его любятъ, его знаютъ, какъ тонкаго психолога и граціознаго художни-

ка, его уважаютъ, какъ почтеннаго работника въ ясно-полянскоѣ школѣ; но до сихъ поръ никто не подхватилъ, не разработалъ и не подвергнулъ тщательному анализу то сокровище наблюденій и мыслей, которое заключается въ превосходныхъ повѣстяхъ этого писателя. О каждомъ романѣ Тургенева кричать и спорить по крайней мѣрѣ по полугоду. Толстого прочитаютъ, задумаются, ни до чего не додумаются, да такъ и покончатъ дѣло благоразумнымъ молчаніемъ. Это молчаніе я попробую нарушить. Въ моей статьѣ читатель не найдетъ, разумѣется, ни похвалъ, ни порицаній писателю. Онъ найдетъ только анализъ тѣхъ живыхъ явленій, надъ которыми работала творческая мысль графа Толстого.

## II.

Читатели мои знаютъ конечно, что повѣсти «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность» составляютъ три отдѣльныя части воспоминаній Николая Иртеньева. Эти воспоминанія начинаются съ одиннадцатаго и доходятъ до восемнадцатаго года его жизни. Въ концѣ своего «Отрочества», за пѣсколько мѣсяцевъ до вступленія въ университетъ, Иртеньевъ сближается съ княземъ Нехлюдовымъ, котораго характеръ, набросанный довольно яркими чертами въ «Юности», дорисовывается вполне въ отдѣльныхъ разсказахъ: «Утро помѣщика» и «Люцернъ». — Иртеньевъ и Нехлюдовъ принадлежатъ оба къ тому поколѣнію, которому во время крымской войны было около тридцати лѣтъ. Это поколѣніе лѣтъ на десять моложе Рудиныхъ и Печориныхъ и лѣтъ на десять или на пятнадцать старше Базаровыхъ. Въ настоящую минуту людямъ базаровскаго типа можно положить возрастъ отъ двадцати до тридцати лѣтъ; Иртеньевымъ и Нехлюдовымъ — около сорока, а Рудинымъ и Печоринымъ — слишкомъ пятьдесятъ. Впрочемъ границы базаровскаго типа еще не могутъ быть обозначены, потому что въ настоящую минуту мы не видимъ его конца. Трудно сдѣлаться раньше двадцати лѣтъ зрѣлымъ, то-есть вполне сознательнымъ и непоколебимымъ Базаровымъ, но изъ этого обстоятельства никакъ нельзя выводить то заключеніе, что молодые люди, еще не достигшіе двадцатилѣтняго возраста, составляютъ крайній предѣлъ базаровскаго типа; пятнадцатилѣтній мальчикъ конечно не можетъ быть Базаровымъ, потому что въ эти лѣта характеръ и образъ мыслей едва начинаютъ формироваться; но утверждать, что этотъ мальчикъ никогда не будетъ Базаровымъ, было-бы очень опрометчиво. Напротивъ, можно сказать почти навѣрное, что черезъ нѣсколько лѣтъ умный пятнадцатилѣтній мальчикъ сдѣлается непременно Базаровымъ.

Въ настоящую минуту въ умственной жизни нашего общества нѣтъ еще рѣшительно ни одного признака, на основаніи котораго мы могли

бы предположить, что на смѣну Базаровыхъ выработывается какой-нибудь новый типъ. — Иртеньевы и Рудины находятся въ совершенно другомъ положеніи. Это — типы прошедшаго, скромно доживающіе свой вѣкъ и уже не обновляющіеся пригокомъ новыхъ представителей. Иртеньевы и Нехлюдовы, какъ по своему возрасту, такъ и по характеру, занимаютъ середину между Рудиными съ одной стороны и Базаровыми съ другой. Рудины — чистые говоруны, неимѣющие даже понятія о возможности какой-нибудь дѣятельности, кромѣ дѣятельности языка. Базаровы — чистые работники, допускающіе дѣятельность языка, только въ томъ случаѣ, когда она содѣйствуетъ успѣху работы. А Иртеньевы и Нехлюдовы — ни рыба, ни мясо. Они за все хватаются, вездѣ хотятъ произвести что-нибудь изумительно хорошее и въ то-же время совсѣмъ ничего не знаютъ и рѣшительно ничего не умѣютъ сдѣлать какъ слѣдуетъ. Рудины берутся за какую-нибудь работу только въ самомъ крайнемъ случаѣ, то-есть, когда имъ ѣсть нечего. Да и тутъ работа идетъ у нихъ такъ нескладно, что они сидятъ впроголодь и ходятъ съ разодранными локтями. У Иртеньевыхъ жажда дѣятельности гораздо сильнѣе, чѣмъ у Рудиныхъ, а на счетъ практической смѣтливости они другъ друга стоятъ. Настоящее назначеніе Иртеньевыхъ и Нехлюдовыхъ заключается въ томъ, чтобы сидѣть на мягкомъ креслѣ и кушать страсбургскіе пироги. Это — единственное занятіе, которому они могутъ предаваться съ полнымъ успѣхомъ. Но ихъ неугомонная добродѣтель никакъ не позволяетъ имъ удовлетвориться такой безмятежной отраслью дѣятельности. Ихъ все подмываетъ сотворить какое-нибудь удивительно мудреное добро. Они всакиваютъ съ мягкаго кресла, хлопочутъ до обморока и кончаютъ свои добродѣтельные упражненія тѣмъ, что разоряются вухъ. Впрочемъ этотъ результатъ самъ по себѣ очень недуренъ, потому что нѣкоторые обломки нехлюдовскаго или иртеньевскаго состоянія попадаютъ иногда въ руки такихъ людей, которые, во-первыхъ, нуждаются въ деньгахъ, а во-вторыхъ — умѣютъ съ ними обращаться. Такимъ образомъ Нехлюдовы и Иртеньевы приносятъ иногда пользу совершенно произвольно подобно тому, какъ многіе люди оказываютъ обществу незамѣнимую услугу своей мирной кончиной. А между тѣмъ Иртеньевы и Нехлюдовы — люди очень неглупые и совсѣмъ не подлые. Тѣ изъ нихъ, которые родились и выросли въ знатныхъ семействахъ, готовы даже для совершения великихъ подвиговъ добра переломить свои привычки къ роскошной жизни и разорвать свои связи съ аристократическимъ обществомъ. Стало-быть, въ недостаткѣ утердія ихъ упрекнуть нельзя и объяснить ихъ бесполезность исключительно разслабляющимъ вліяніемъ барственнаго воспитанія было-бы такъ же не совсѣмъ основательно. Причины

ихъ практической непригодности и ихъ безплодныхъ страданій оказываются гораздо сложнѣе и лежатъ гораздо глубже, чѣмъ можно было-бы подумать при бѣгломъ взглядѣ на общій очеркъ ихъ неудачной дѣятельности. Причины эти показаны графомъ Толстымъ такъ ясно, такъ подробно и такъ убѣдительно, что мнѣ остается только сгруппировать для общихъ выводовъ тѣ бытовые и психологическіе факты, которые разбросаны въ отдѣльных сценахъ и отрывочныхъ эпизодахъ «Дѣтства», «Отрочества» и «Юности».

### III.

Съ самаго ранняго возраста Иртенъевъ чувствовалъ мучительный разладъ между мечтой и дѣйствительностью. Вотъ короткий отрывокъ изъ воспоминаній о классной комнатѣ. «Изъ огна направо видна часть террасы, на которой сжиживали обыкновенно большіе до обѣда. Бывало, покуда поправляетъ Карлъ Ивановичъ листъ съ диктовкой, выглянешь въ ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говоръ и смѣхъ; такъ сдѣлается досадно, что нельзя тамъ быть, и думаешь: когда же я буду большою, перестану учиться и всегда буду сидѣть не за діалогами, а съ тѣми, кого я люблю? Досада перейдетъ въ грусть и, Богъ знаетъ отчего и о чемъ, такъ задумаешься, что и не слышишь, какъ Карлъ Ивановичъ сердится за ошибки.»

Мальчишкѣ лѣнь, мальчишкѣ учиться не хочется, скажутъ эксперты по части педагогики. Мы къ этому давно привыкли, и ничего удивительнаго. — Знаю, господа. Но именно это-то и скверно, что вы давно къ этому привыкли и не видите тутъ ничего особеннаго. Это-то и скверно, что подобныя исторіи повторяются аккуратно каждый день, въ каждомъ семействѣ, въ которомъ есть учащіеся дѣти. Это-то и скверно, что мы всегда принимаемъ господствующій обычай за законъ природы. Присмотримся къ тому отдѣльному случаю, который представляется намъ въ воспоминаніяхъ Иртенъева. Ребенку хочется быть вмѣстѣ съ матерью и съ большими. — Зачѣмъ его туда не пускаютъ?—Ребенку не хочется сидѣть за диктовкой и за діалогами. — Зачѣмъ его къ этому приневоливаютъ? — Чтѣ за глупые вопросы? заговорятъ хоромъ всѣ читатели, эксперты и не эксперты, мужчины и женщины, старики и молодые. — Зачѣмъ? Надо-жъ ребенку учиться! Нельзя-же ему баблунничать. — А я опять свое: зачѣмъ-же надо? И отчего-же нельзя?—Ну! часть отъ часу не легче! Надо ребенку учиться напимѣръ хоть-бы для того, чтобы по достиженіи извѣстнаго возраста поступить въ учебное заведеніе. — А зачѣмъ-же ему по достиженіи извѣстнаго возраста надо поступить въ учебное заведеніе? — Фу, какія глупыя шулки! Затѣмъ, чтобы учиться, чтобы сдѣлаться образо-

ваннымъ человѣкомъ, чтобы составить себѣ какую-нибудь карьеру. — (Слова «учиться» и «сдѣлаться образованнымъ человѣкомъ» приведены здѣсь для украшенія рѣчи. Поэтому я пропущу ихъ мимо ушей и задамъ еще одинъ вопросъ, который уже окончательно выведетъ изъ терпѣнія всѣхъ моихъ собесѣдниковъ.) — А зачѣмъ-же ему надо составить себѣ какую-нибудь карьеру? — Чтѣ-жъ ему, по вашему, собакъ гонять въ деревнѣ, или въ свинопасы опредѣлиться? Или пить, ѣсть, спать и баловаться съ горничными? Чтѣ это вы у г-жи Простаковой, урожденной Скотининой, что-ли, заимствовали педагогическую философію?

Напрасно вы, волнующіеся читатели, думаете застращать меня именемъ госпожи Простаковой, урожденной Скотининой. Не въ обиду вамъ будь сказано, госпожа Простакова, урожденная Скотинина, окажется геніальной мыслительницей, если мы сравнимъ ея идеи о воспитаніи съ тѣмъ жалкимъ наборомъ перепутанныхъ и непонятыхъ полу-правиль и полу-фразъ, который считается обязательнымъ кодексомъ общепринятой домашней педагогики. У Простаковой есть одно драгоценное свойство: у нея есть послѣдовательность, а у васъ, господа эксперты, ея нѣтъ; и вы даже инстинктивно боитесь ея и ненавидите эту проклятую послѣдовательность въ другихъ людяхъ. Простакова говоритъ напимѣръ, что географія совсѣмъ не дворянская наука, потому что нато есть кучеръ, чтобы везти, куда ему прикажутъ безо всякаго описанія земли. Превосходная мысль! Изумительная логика! Самый прямой и необходимый выводъ изъ крѣпостного права! Когда нодъ моей властью находятся люди, обязанные удовлетворять всѣмъ моимъ потребностямъ и исполнять всѣ мои прихоти, тогда я смѣло отрицаю всякую науку, въ томъ числѣ и географію. Такъ всегда было и того требуетъ сила вещей или логика исторіи. А просвѣщенные педагоги рассуждаютъ о географіи совсѣмъ иначе. Они говорятъ, что географія есть одна изъ отраслей знанія и что знаніе вообще расширяетъ умъ человѣка и умягчаетъ его душу И, говоря эти хорошія слова, они въ то-же время понимаютъ какъ нельзя лучше, что ни учебникъ Арсеньева, ни учебникъ Ободовскаго, ни учебникъ Павловскаго не расширили до сихъ поръ ничьего ума и не умягчили ничьей души. Хорошія слова произносятся такимъ образомъ даже безъ малѣйшей надежды обмануть ими кого-бы то ни было. Сужденія Простаковой гораздо разумнѣе этихъ хорошихъ словъ, потому что Простакова по крайней мѣрѣ сама крѣпко вѣритъ въ истину того, что она говоритъ. — Когда Митрофанушка объявляетъ: «не хочу учиться, хочу жениться!» — тогда Простакова начинаетъ его ублажать: «ты, говоритъ, хоть для виду поучись! А тамъ мы тебя сейчасъ и женимъ.» — Здѣсь опять Простакова оказывается правдивѣе и благоразумнѣе про-

свѣщенныхъ педагоговъ. Она понимаетъ, что когда человѣкъ не хочетъ учиться, тогда онъ можетъ учиться только для виду. Понимая это дѣло такъ просто и разумно, она и высказываетъ свое желаніе совершенно прямо и откровенно. Просвѣщенные педагоги повидимому знаютъ натуру дѣтей гораздо глубже, чѣмъ знала ее госпожа Простакова; они пишутъ дѣльныя статьи о томъ, что ребенка слѣдуетъ приохотить къ ученію. Кромѣ того они такъ глубоко уважаютъ науку, что ни за что не рѣшится сказать воспитаннику: поучись только для виду! Но такъ какъ писать статьи и уважать науку гораздо легче, чѣмъ возиться съ шаловливыми ребятами, — то при первомъ-же столкновеніи съ дѣйствительностью, то-есть съ живымъ, а не съ воображаемымъ воспитанникомъ, просвѣщенные педагоги тотчасъ замѣняютъ слово «приохотить» словомъ «приневоливать». — Хорошія слова вставляются непремѣнно въ книжки и въ разсужденія, а ребенокъ все-таки учится для виду, и педагогъ, изучившій дѣтскую натуру и уважающій науку, видитъ это очень хорошо, но смотритъ на дѣло сквозь пальцы или утѣшаетъ себя тѣмъ извѣстнымъ разсужденіемъ, что самая вѣрная теорія непремѣнно должна пускаться на уступки при столкновеніяхъ съ практикой. Значитъ, и въ этомъ случаѣ господжа Простакова, урожденная Скотинина, можетъ дать нашимъ экспертамъ хорошій урокъ по части послѣдовательности и прямодушія.

*Приохотить* гораздо труднѣе, чѣмъ *приневоливать*. Это несомнѣнно. Еслибы отъ каждаго воспитателя требовалось непремѣнно умѣнье приохотить ребенка къ ученію, то навѣрное девяносто-десять сотыхъ тѣхъ людей, которые въ настоящее время называютъ себя гувернерами и гувернантками, были-бы принуждены отказаться отъ своего ремесла. Отцы и матери ужаснулись-бы, увидѣвъ такое запустѣніе, отнимающее у ихъ дѣтей всякую надежду сдѣлаться когда-нибудь образованными людьми, но сами дѣти не потеряли-бы ровно ничего, потому что все, что изучается по принужденію, забывается при первомъ удобномъ случаѣ. Десятилѣтнему мальчику, Колѣ Иртеневу, хочется сидѣть на террасѣ, возлѣ матери, вмѣстѣ съ большими; ему хочется слушать ихъ разговоры и участвовать въ ихъ смѣхѣ. Ребенокъ понимаетъ инстинктивно свою собственную пользу гораздо вѣрнѣе, чѣмъ ее понимаютъ взрослые. Онъ своими ребяческими желаніями тянется именно въ то мѣсто, гдѣ ему слѣдуетъ быть, гдѣ онъ можетъ приглядываться къ дѣйствительной жизни и гдѣ умныя рѣчи взрослыхъ должны будить и шевелить его любознательность. Но взрослые гонятъ его прочь отъ себя, по извѣстной пословицѣ: «знаетъ кошка, чье мясо съѣла». Взрослые чувствуютъ очень хорошо, что ихъ рѣчи совсѣмъ не умныя, а, на-

противъ того, постоянно вздорныя и подчасъ очень грязныя. Присутствіе ребенка стыдитъ и стѣсняетъ ихъ, и они загоняютъ его куда-нибудь подальше, въ классную, не только затѣмъ, чтобы онъ зубрилъ діалоги, но преимущественно затѣмъ, чтобы онъ не мозолилъ имъ глаза и не мѣшалъ имъ врать пошлости. Съ одной стороны, въ этомъ желаніи удалить ребенка можно видѣть смиренное сознание собственной замаранности; мы, дескать, — пустые и дрянные люди, и мы это чувствуемъ, и поэтому мы боимся загрязнить собой нашего чистаго ребенка. Съ другой стороны, въ этомъ — же самомъ желаніи можно видѣть полную умственную пустоту и безнадежную нравственную распущенность. Мы, дескать, любимъ нашего ребенка, но и для его пользы, и для удовольствія быть съ нимъ вмѣстѣ не оставимъ ни одной изъ нашихъ глухихъ или предосудительныхъ привычекъ. Значитъ, съ одной стороны выходитъ трогательно, а съ другой стороны — скверно; но кромѣ того съ обѣихъ сторонъ глупо, потому что въ большей части случаевъ это систематическое удаленіе ребенка изъ общества взрослыхъ рѣшительно ни къ чему не ведетъ. Рано или поздно, тѣмъ или другимъ путемъ, черезъ лакейскую или черезъ дѣвчьи, ребенокъ непремѣнно узнаетъ всѣ тайны, семейныя или фізіологическія, которыя скрывались отъ него самымъ тщательнымъ образомъ. Если ребенокъ считалъ папеньку и маменьку полубожественными существами, то онъ въ нихъ непремѣнно разочаруется и будетъ въ душѣ своей относиться къ нимъ тѣмъ суровѣе, чѣмъ больше они съ нимъ лукавили. Онъ будетъ понимать ихъ слабости, да еще кромѣ того будетъ презирать ихъ за систематическій обманъ. Туда-же, скажете, на пьедесталъ лѣзутъ! Если ребенокъ полагалъ, что дѣти рождаются въ капустѣ, то онъ и тутъ разочаруется и сверхъ того узнаетъ настоящую сущность вещей отъ какого-нибудь смышленнаго сверстника съ такими заманчивыми украшеніями, которыхъ не придумаешь ни одинъ взрослый и которыя могутъ сдѣлать это открытіе дѣйствительно опаснымъ для юнаго слушателя. Какъ хотите разсуждайте, а вѣдь все-таки не было на свѣтѣ ни одного человѣка, который втеченіи всей своей жизни считалъ — бы своихъ родителей полубогами и который дожился-бы до сѣдыхъ волосъ въ томъ пріятномъ убѣжденіи, что дѣти рождаются въ капустѣ. Изъ чего-же мы такъ хлопочемъ о той чистотѣ ребенка, которая непремѣнно должна исчезнуть безъ остатка при первомъ проблескѣ его умственной самостоятельности? Или можетъ-быть мы дѣлаемъ это для симметріи? — Природа даетъ дѣтямъ молочные зубы, которые потомъ выпадаютъ и замѣняются настоящими. Ну, а мы — должно быть, для симметріи — вкладываемъ имъ въ голову молочныя идеи, которыя потомъ такъ

же выпадаютъ и также замѣняются настоящими. И для этого мы удаляемъ дѣтей изъ нашего общества, которое все-таки, несмотря на все наши пошлости, могло-бы принести имъ гораздо больше пользы, чѣмъ заучиваніе діалоговъ въ ненавистной классной комнатѣ.

#### IV.

Если старшіе члены семейства—люди дѣльные, умные и образованные, то лучшей первоначальной школой для дѣтей будетъ та комната, въ которой отецъ и мать работаютъ, читаютъ или разговариваютъ. Ребенокъ всегда интересуется тѣмъ, что дѣлаютъ взрослые. И прекрасно. Пусть присматривается къ ихъ работѣ, пусть вслушивается въ ихъ чтеніе, пусть старается понимать смыслъ ихъ разговоровъ. Онъ будетъ предлагать свои вопросы; ему будутъ отвѣчать какъ можно проще и яснѣе; но въ самыхъ простыхъ и ясныхъ отвѣтахъ ему будутъ попадаться нѣкоторыя вещи, превышающія его ребяческое пониманіе. Ему захочется поработать вмѣстѣ съ взрослыми; все мы знаемъ по вседневному опыту, съ какими усердіемъ и съ какой радостной гордостью дѣти будутъ помогать взрослымъ, когда они видятъ, что помощь ихъ приноситъ дѣйствительную пользу. Но при первой попыткѣ поработать вмѣстѣ съ взрослыми ребенокъ нашъ увидитъ, что работа только съ виду кажется легкой и простой штукой, а что на самомъ дѣлѣ тутъ необходима такая сноровка, которая сразу никому не дается. Любознательность ребенка будетъ такимъ образомъ затронута тѣмъ, что осталось для него неяснымъ въ разговорахъ и отвѣтахъ старшихъ. Самолюбіе и стремленіе къ дѣятельности будутъ постоянно возбуждаться въ немъ тѣмъ зрѣлищемъ, что вотъ, молъ, большіе работаютъ, а я то ни за что не умѣю приняться. И ребенокъ самъ начнетъ приставать къ отцу и къ матери, чтобы они его чему-нибудь поучили; и когда, уступая этимъ слезнымъ мольбамъ, отецъ или мать возьмется за книгу или начнутъ показывать ребенку основныя начала какого-нибудь рукодѣлія, тогда ребенокъ будетъ смотрѣть на нихъ во все глаза и слушать, разиня ротъ, боясь проронить что-нибудь изъ тѣхъ наставленій, которыхъ онъ самъ добивался. Каждый наблюдательный человекъ можетъ навѣрное припомнить множество случаевъ, въ которыхъ восьми или десятилѣтній ребенокъ выучился читать и писать почти самоучкой. А всякій конечно согласится съ тѣмъ, что механизмъ чтенія и писанія составляетъ самую скучную и быть-можетъ даже самую трудную часть всей человѣческой науки. Извѣстна русская поговорка: «первая колода, вторая соломъ, а тамъ полетѣли мелкія птички». Эта поговорка, весьма любезная всѣмъ кутиламъ, можетъ быть приложена съ полнымъ успѣхомъ не только къ поглощенію вина и водки, но и ко

всякому другому болѣе полезному занятію. Вездѣ первый шагъ труднѣе и страшнѣе всѣхъ остальныхъ. Стало-быть, если даже этотъ первый шагъ въ дѣлѣ книжнаго ученія можетъ быть сдѣланъ ребенкомъ по собственному влеченію, то о другихъ шагахъ нечего и толковать. Надо только, чтобы взрослые до самаго конца не измѣняли великому принципу невмѣшательства, то-есть, чтобы всегда и во всякомъ случаѣ ученикъ приставалъ къ учителю, а не наоборотъ. Что ученіе можетъ идти совершенно успѣшно не только безъ розогъ, но даже—что неравнѣнно важнѣе—безо всякаго правдиваго принужденія, это доказано на вѣчныя времена практическимъ опытомъ самого-же графа Толстого въ яснополянской школѣ. Но-если вы никогда не задумывались надъ этимъ вопросомъ, то вы даже и представить себѣ не можете, какое громадное вліяніе будетъ имѣть на весь характеръ ребенка, на весь складъ его ума и на весь ходъ его дальнѣйшаго развитія то обстоятельство, что онъ съ самаго начала не дѣлалъ въ книжномъ ученіи ни одного шага безъ собственного желанія и безъ внутренняго убѣжденія въ разумности и необходимости этого шага.

Вглядитесь въ развитіе Николая Иртеньева и на этомъ превосходномъ примѣрѣ вы увидите, до какой степени важны и вредны могутъ быть первыя тяжелыя впечатлѣнія, вынесенныя ребенкомъ изъ классной комнаты. Я замѣтилъ выше, что Иртеньевъ рано почувствовалъ разладъ между мечтой и дѣйствительностью. Вы скажете можетъ-быть, что все мы рано или поздно начинаемъ чувствовать этотъ разладъ, и что самое превосходное воспитаніе не можетъ исполнить, предохранить человека отъ этого тягостнаго ощущенія. Я съ вами согласенъ, но не совсѣмъ. Разладъ разладу рознь. Моя мечта можетъ обогнать естественный ходъ событій, или-же она можетъ хватать совершенно въ сторону, туда, куда никакой естественный ходъ событій никогда не можетъ придти. Въ первомъ случаѣ мечта не приноситъ никакого вреда; она можетъ даже поддерживать и усиливать энергію трудящагося человека. Представьте себѣ, что вы занимаетесь какой-нибудь ученой работой; вы читали, идете гулять и начинаете мечтать о томъ, что вы сдѣлаете, когда трудъ вашъ будетъ оконченъ. Вотъ, думаете вы, заплатятъ мнѣ хорошія деньги, заговорятъ обо мнѣ въ журналахъ, дадутъ кафедру, поѣду за-границу, женюсь на такой-то, буду жить такъ и такъ. --Потомъ, когда прогулка ваша приходитъ къ концу и когда наступаетъ время спѣшить куда-нибудь въ лабораторію, въ клинику или въ публичную бібліотеку, вы тотчасъ соображаете, что для осуществленія всѣхъ вашихъ привлекательныхъ мечтаній вамъ прежде всего слѣдуетъ поработать. --Ну, что-жь, думаете вы, развѣ я отъ этого прочь? И поработаю. Согласитесь, что



въ подобныхъ мечтахъ нѣтъ ничего такого, что извращало или парализовало бы вашу рабочую силу. Даже совсѣмъ напротивъ. Еслибы человѣкъ былъ совершенно лишенъ способности мечтать такимъ образомъ, еслибы онъ не могъ изрѣдка забѣгать впередъ и созерцать воображеніемъ своимъ въ цѣльной и законченной красотѣ то самое твореніе, которое только что начинается складываться подъ его руками, — тогда я рѣшительно не могу представить, какая побудительная причина заставляла-бы человѣка предпринимать и доводить до конца обширныя и утомительныя работы въ области искусства, науки и практической жизни. Мечта какого-нибудь утописта, стремящагося пересоздать всю жизнь человѣческихъ обществъ, хватаетъ впередъ въ такую даль, о которой мы не можемъ даже имѣть никакого понятія. Осуществима-ли, не осуществима-ли мечта—этого мы рѣшительно не знаемъ. Видимъ только то, что эта мечта находится въ величайшемъ разладѣ съ той дѣйствительностью, которая находится передъ нашими глазами. Существованіе разлада не подлежитъ сомнѣнію, но этотъ разладъ все-таки нисколько не вреденъ и не опасенъ ни для самого мечтателя, ни для тѣхъ людей, на которыхъ онъ старается подѣйствовать. Самъ мечтатель видитъ въ своей мечтѣ святую и великую истину, и онъ работаетъ, сильно и добросовѣстно работаетъ, чтобы мечта его перестала быть мечтой. Вся жизнь расположена по одной руководящей идеѣ и наполнена самой напряженной дѣятельностью. Онъ счастливъ, несмотря на лишения и неурядицы, несмотря на насмѣшки невѣрующихъ и на трудности борьбы съ укоренившимися понятіями. Онъ счастливъ, потому что величайшее счастье, доступное человѣку, состоитъ въ томъ, чтобы влюбиться въ такую идею, которой можно посвятить безраздѣльно все свои силы и всю свою жизнь. Если такой мечтатель или, вѣрнѣе, теоретикъ дѣйствительно открылъ великую и новую истину, тогда уже само-собой разумѣется, что разладъ между его мечтой и нашей практикой не можетъ принести намъ, то-есть людямъ вообще, ничего, кромѣ существенной пользы. Если-же мечтатель ошибался, то даже и въ такомъ случаѣ онъ принесъ пользу своей дѣятельностью. Его мечта была односторонней и незрѣлой попыткой исправить такое неудобство, которое чувствуется болѣе или менѣе ясно всеми остальными людьми. Значитъ, во-первыхъ, мечтатель заговорилъ о такомъ предметѣ, о которомъ полезно говорить и думать. Во-вторыхъ, онъ собралъ кое-какія наблюденія, которыя могутъ пригодиться другимъ мыслителямъ, болѣе образованнымъ, болѣе осмотрительнымъ и болѣе даровитымъ. Въ-третьихъ, онъ вывелъ изъ своихъ наблюденій ошибочныя заключенія. Если эти заключенія своей внѣшней логичностью поразили слушате-

лей и читателей, то эти-же самыя заключенія побудили навѣрное болѣе основательныхъ мыслителей заняться серьезной разработкой даннаго вопроса для того, чтобы опровергнуть въ умахъ читающаго общества соблазнительныя заблужденія нашего мечтателя. Экономисты на примѣръ очень не любятъ социалистовъ. Мы съ читателями твердо знаемъ по «Русскому Вѣстнику», что экономисты—люди почтенные, а социалисты—прошалаги и сумасброды. Но все-таки совершенно невозможно отрицать, что экономисты давнымъ давно обратились-бы въ стадо барановъ и волковъ, пережевывающихъ старую жвачку Адама Смита, еслибы социалисты своими предосудительными глупостями не заставляли ихъ ежеминутно бросаться въ полемику и отражать новыя нападенія новыми аргументами. Стало-быть, разладъ между мечтой и дѣйствительностью не приноситъ никакого вреда, если только мечтающая личность серьезно вѣритъ въ свою мечту, внимательно вглядываясь въ жизнь, сравниваетъ свои наблюденія съ своими воздушными замками и вообще добросовѣстно работаетъ надъ осуществленіемъ своей фантазіи. Когда есть какое-нибудь соприкосновеніе между мечтой и жизнью, тогда все обстоитъ благополучно. Тогда или жизнь уступитъ мечтѣ, или мечта исчезнетъ передъ фактическими доводами жизни, и въ концѣ концовъ все-таки получится примиреніе между мечтой и жизнью. То-есть или мечтателю рѣшительно удастся завоевать себѣ то счастье, къ которому онъ стремится, или мечтатель убѣдится въ томъ, что такое счастье невозможно и что надо выбрать себѣ что-нибудь попроще.

Но есть мечты совсѣмъ другого рода,—мечты, расслабляющія человѣка,—мечты, рождающіяся во время праздности и безсилія и поддерживающія своимъ вліаніемъ ту праздность и то безсиліе, среди которыхъ онѣ родились. Это—маниловскія мечты о лавкахъ на каменномъ мосту. Мечтая такимъ образомъ, человѣкъ самъ знаетъ очень хорошо, что онъ не въ состояніи пошевелить пальцемъ для того, чтобы мечта перешла въ дѣйствительность. Представьте себѣ, что вы бѣдный человѣкъ, и что только самый усиленный трудъ можетъ поддерживать вашу жизнь и вашу нравственную самостоятельность. Въ томъ-же усиленномъ трудѣ заключаются и все ваши далекія надежды на нѣкоторое улучшеніе вашей незавидной участи. Лѣтъ черезъ пять вашъ хозяйникъ прибавитъ вамъ жалованья, потомъ дастъ вамъ какое-нибудь болѣе важное порученіе, потомъ еще прибавитъ—вотъ все, на что вы можете рассчитывать; но во-первыхъ, все это далеко, очень далеко, а во-вторыхъ, все это надо взять упорнымъ трудомъ. И нынче, и завтра, и послѣ-завтра надо работать пристально, и—что гораздо труднѣе—надо тянуть ножки по одежкѣ и отмирать себѣ по золотникамъ все

то, что люди зажиточные считают безусловно необходимымъ. И вдругъ вы въ этомъ-то полѣйшемъ положеніи начинаете мечтать о томъ, что какъ-бы это было хорошо, кабы у васъ было тысячъ десять годового дохода: съпили-бы вы себѣ теплую шубу; купили-бы себѣ хорошихъ книгъ; заказали-бы вашему повару обѣдъ, отъ котораго васъ не стало-бы тошнить; поѣхали-сы на лѣто за-границу; а то хорошо было бы и въ деревню поѣхать, чистымъ степнымъ и лѣснымъ воздухомъ подышать, за вальшне-нами по болоту поплотаться; потомъ не мѣшало-бы сдѣлать предложеніе той барыни, которую вы видѣли въ зеленомъ бархатномъ салонѣ на англійской набережной. Въ вашей молодой головѣ складываются обаятельныя подробности простого и невиннаго романа съ самой добротѣльной развязкой, и вы—герой этого романа; но вдругъ герой слышитъ, что за сосѣдней деревянной перегородкой охаетъ и ворчитъ старуха-хозяйка на тѣхъ шаромыжниковъ-жильцовъ, которые вотъ уже два мѣсяца не платятъ денегъ ни за квартиру, ни за столъ. Васъ этотъ ворчливый голосъ поражаетъ въ самое сердце, потому что завтра первое число, а за квартиру вы заплатить не можете, потому что почти все ваше жалованье ушло на обмундированье вашего младшаго брата, только что поступившаго въ гимназію и живущаго подъ вашимъ покровительствомъ. Голосъ хозяйки совершенно разсѣялъ ваши мечты, и вы видите, что передъ вами на покривившемся деревянномъ столѣ лежитъ какой-то глупѣйшій конторскій счетъ, который къ завтрашнему утру необходимо провѣрить. И знаете вы, что вамъ приходится провѣрять въ мѣсяцъ сотни подобныхъ счетовъ, такъ что даже трудно сообразить, какое незначительное число копѣекъ вамъ достается за провѣрку каждаго отдѣльнаго счета. И у васъ опускаются руки и является вопросъ: зачѣмъ работать? зачѣмъ юрить себя медленной смертью? И что-жъ это въ самомъ дѣлѣ за жизнь? И является безплоднѣйшее размысленіе: «tant pour les uns, et si peu pour les autres!»—безплоднѣйшее потому, что въдъ вы все-таки не пошевеливаете мизинцемъ для того, чтобы устроить дѣло какъ-нибудь иначе. А такъ только: пофилософствуете, потоскуете, повздыхаете да и приметесь за провѣрку конторскаго счета, и эта работа идетъ у васъ гораздо хуже и внушаетъ вамъ гораздо болѣе сильное отвращеніе послѣ того, какъ вы побаловали себя ребяческими мечтами о теплой шубѣ, о сносномъ обѣдѣ и о барыни въ зеленомъ бархатномъ салонѣ. Вотъ такія мечты я называю вредными и губительными во всѣхъ отношеніяхъ. Мечты перваго рода можно сравнить съ глоткомъ хорошаго вина, которое бодритъ и подкрѣпляетъ человѣка во время утомительнаго труда. Но послѣднія мечты похожи на приемъ опиума, который доставляетъ человѣку

обаятельныя видѣнія и вмѣстѣ съ тѣмъ безвозвратно разстраиваетъ всю нервную систему. Люди бѣдные, лишенные всѣхъ дѣйствительныхъ наслажденій, легче другихъ могутъ пристраститься къ опиуму и также больше другихъ людей способны баловать себя тѣми *завѣдомо* несбыточными мечтами, которыя я сравнилъ съ вреднымъ наркотическимъ веществомъ. Но и зажиточные люди ухитряются иногда губить свою жизнь, какъ опиумомъ, такъ и вредными мечтами. То воспитаніе, которое мы обыкновенно даемъ нашимъ дѣтямъ, ведетъ ихъ самымъ прямымъ и вѣрнымъ путемъ въ безвыходную область *наркотической* мечты.

В.

Для десятилѣтняго Коли Иртеньева діалоги и диктовка составляютъ презрѣнную и ненавистную дѣйствительность, а пребываніе на террасѣ вмѣстѣ съ большими—любимую, но неосуществимую мечту. Дѣйствительность ничѣмъ не связана съ мечтой. Какъ-бы усердно мальчикъ ни зубрилъ свои діалоги и какъ-бы успешно онъ ни избѣгалъ ореографическихъ ошибокъ, все-таки онъ ни на одну секунду не приблизитъ къ себѣ то желанное время, когда всѣ будутъ признавать его большимъ, постоянно принимать его въ свое общество и разсуждать и смѣяться съ нимъ, какъ съ равнымъ. Онъ самъ очень хорошо понимаетъ все это и возится съ діалогами и съ диктовками только потому, что такъ приказано и что его непременно заставляютъ учиться, если онъ обнаружитъ слишкомъ очевидный недостатокъ усердія. За діалогами и диктовками послѣдуютъ болѣе серьезные уроки; за серьезными уроками послѣдуютъ университетскія лекціи. За послѣднимъ университетскимъ экзаменомъ начнется мелкая толкотня практической жизни, и молодой человѣкъ, снимая студенческіи мундиръ, скажетъ себѣ съ самодовольной улыбкой, что его научное образованіе окончено самымъ блистательнымъ образомъ и что теперь надо смотрѣть на вещи глазами зрѣлаго мужчины, то-есть заботиться о хорошемъ мѣстѣ, о связяхъ, о повышеніи, о протекціи, о выгодныхъ акціяхъ, о богатой невѣстѣ, вообще о прочномъ и комфортабельномъ положеніи въ обществѣ. Переходы отъ діалоговъ къ серьезнымъ урокамъ и отъ серьезныхъ уроковъ къ университетскимъ лекціямъ и экзаменамъ совершаются обыкновенно такъ постепенно и незамѣтно, что мальчикъ, превращающійся понемногу въ юношу, въ большей части случаевъ переноситъ на серьезные уроки тотъ взглядъ, которымъ онъ смотрѣлъ на діалоги, а потомъ относится и къ университетскимъ занятіямъ такъ, какъ онъ относился къ серьезнымъ урокамъ. Все научное образованіе, отъ азбуки до кандидатской диссертации, оказывается для нашего юноши длиннымъ и утомительнымъ обрядомъ, который не-

премѣнно долженъ быть исполненъ изъ уваженія къ установившимся привычкамъ общества, но который все-таки не имѣетъ никакого вліянія на умственную жизнь исполняющаго субъекта. Бываютъ конечно въ жизни нѣкоторыхъ молодыхъ людей счастливыя встрѣчи съ мыслящимъ человѣкомъ или съ очень дѣльной книгой; эти встрѣчи открываютъ молодымъ людямъ глаза и вдругъ бросаютъ имъ въ голову ту поразительно-новую для нихъ мысль, что наука совсѣмъ непохожа на діалоги и на диктовку, что въ научныхъ занятіяхъ можно находить себѣ постоянно возрастающее наслажденіе, что университетъ только отворяетъ человѣку двери въ область знанія, что эта область безпредѣльна и необозрима, что умственное образованіе человѣка должно оканчиваться только съ его жизнью и что умственное образованіе пересоздаетъ весь характеръ отдѣльной личности и даже всѣ понятія, обычаи и учрежденія громаднѣйшихъ человѣческихъ обществъ. Послѣ такой встрѣчи наука перестаетъ казаться молодому человѣку презрѣнной и ненавистной прозой жизни. Научныя занятія перестаютъ быть для него мертвымъ обрядомъ, проза и поэзія, мечта и дѣйствительность заключаютъ между собой вѣчный миръ и неразрывный союзъ. Умственный трудъ дѣлается для него живѣйшимъ наслажденіемъ, потому что онъ видитъ въ этомъ трудѣ самое вѣрное средство ловить и осуществлять ту любимую мечту, которая постоянно носится передъ его воображеніемъ и постоянно увлекаетъ его за собой все дальше и дальше, впередъ и впередъ, въ область новыхъ размышлений, изслѣдованій и открытій. Такія счастливыя встрѣчи бываютъ точно; но, во-первыхъ, не всѣмъ онѣ выпадаютъ на долю, а во-вторыхъ, далеко не всѣ умѣютъ ими воспользоваться, то-есть не на всѣхъ такія встрѣчи производятъ сразу достаточно глубокое и прочное впечатлѣніе. Шевеленется въ головѣ какой-то зародышъ плодотворнаго сомнѣнія, блеснетъ какая-то молнія новой мысли, да тѣмъ дѣло и покончится, за недостаткомъ такихъ матеріаловъ, которые могли-бы поддержать и направить работу неопытнаго ума.

Такимъ образомъ множество молодыхъ людей остаются совершенно нетронутыми въ научномъ отношеніи и выходятъ изъ университетовъ большими двадцатилѣтними школьниками, выучившими громадное количество скучныхъ и мудреныхъ уроковъ, которые послѣ выпускнаго экзамена непременно должны быть забыты, и чѣмъ скорѣе—тѣмъ лучше. Природный умъ этихъ молодыхъ людей, часто очень живой и сильный, и притомъ, разумѣется, совершенно неудовлетворенный холодными, формальными и обязательными отношеніями своими къ наукѣ, совершенно отвергается отъ книжныхъ премудростей, проникается глубокимъ недовѣріемъ ко всякой научной теоріи,

о которой онъ въ сущности не имѣетъ никакого понятія, старается проложить себѣ свою собственную, совсѣмъ особенную дорогу, производитъ какіе-то курьезнѣйшіе эксперименты надъ собой и надъ жизнью, терпитъ на всѣхъ пунктахъ очень естественныя пораженія и наконецъ приходитъ къ полнѣйшему банкротству, то-есть къ самому безвыходному унынію и къ самой гупой апатіи. Такія траги-комическія кувырканія неразвитого и голоднаго ума проявляются напримѣръ въ добросовѣстныхъ усиліяхъ какого-нибудь деревенскаго механика открыть *perpetuum mobile*. И такія-же точно кувырканія слышатся намъ ежеминутно въ разсужденіяхъ сантиментальныхъ, но необразованныхъ журналистовъ о почвѣ, о народности, о недосигаемыхъ и непостижимыхъ совершенствахъ русскаго человѣка, о необходимости смириться умомъ передъ народной правдой. У кого умъ наполненъ только смутными воспоминаніями объ учебникахъ Устрялова, Кайданова и Ободовскаго, тотъ конечно можетъ смирить гордыню своей мысли передъ мудростью любой деревенской кликуши; но кто не ограничился такой легкой умственной пищей, тотъ уже навсегда потерялъ возможность снижать свой умъ до уровня вопіющей нелѣпости.

Очень многіе читающіе и даже пишущіе люди серьезно и добросовѣстно убѣждены въ томъ, что можно сдѣлаться превосходнымъ человѣкомъ и чрезвычайно полезнымъ гражданиномъ помимо всякаго научнаго образованія. Не всѣмъ же быть учеными, толкуютъ они. Давайте намъ только добросовѣстныхъ практическихъ дѣятелей. Давайте намъ людей непосредственнаго чувства, не засушенныхъ книжными теоріями, не пріучившихъ себя вносить всюду разлагающее начало холоднаго сомнѣнія и дерзновеннаго анализа. Давайте намъ людей строго-нравственныхъ, преданныхъ своему долгу, проникнутыхъ желаніемъ добра, способныхъ жертвовать собой для пользы общества, и такъ далѣе. Такими восклицаніями «давайте» можно наполнить цѣлыя страницы, но къ счастью все это давно уже было высказано на сценѣ Александринскаго театра, когда Самойловъ, въ роли солдогоубовскаго чиновника Надимова, приглашалъ всю почтенную публику кликнуть кличъ на всю Россію и вырвать взятка или, какъ говорилось тогда, «зла» съ самымъ корнемъ. Въ сущности всѣ добрые люди, восклицающіе: «давайте намъ того-то и того-то», требуютъ невозможнаго, потому что въ ихъ требованіи заключается внутреннее противорѣчіе. Они говорятъ: «не нужно топтать въ кухнѣ нечку. Давайте намъ только горячаго супу и жареныхъ рябчиковъ».—Они относятся холодно и почти враждебно къ научному образованію и въ то-же время требуютъ себѣ та-

ких предметовъ, которые не могутъ быть изготавлены рѣшительно ничѣмъ, кромѣ того же самаго научнаго образованія. Особенно печально то обстоятельство, что дѣло очень часто не ограничивается нелѣпыми словами. Многие люди не только кричатъ: «давайте, давайте», но еще кромѣ того насилуютъ и ломаютъ свой собственный умъ и характеръ, стараясь домашними средствами выработать изъ своей личности что-то очень возвышенное и прекрасное, что-то такое, о чемъ они сами не могутъ составить себѣ яснаго понятія и что вырабатывается изъ человѣческой личности единственно и исключительно вліяніемъ широкаго и глубокаго научнаго образованія.

Не вѣмъ надо быть изслѣдователями — съ этимъ я совершенно согласенъ. Не вѣмъ надо быть популяризаторами науки — съ этимъ я также согласенъ; но всякому, кто хочетъ быть въ жизни дѣятельной личностью, а не страдательнымъ матеріаломъ, всякому, говорю я, совершенно необходимо твердо усвоить себѣ и основательно передумать всѣ тѣ результаты общечеловѣческой науки, которые могутъ имѣть хоть какое-нибудь вліяніе на развитіе нашихъ житейскихъ понятій и убѣжденій. И это еще не все. Надо укрѣпить свою мысль чтеніемъ гениальнѣйшихъ мыслителей, изучавшихъ природу вообще, и человѣка въ особенности, не тѣхъ мыслителей, которые старались выдумать изъ себя весь міръ, а тѣхъ, которые подмѣчали и открывали путемъ наблюденія и опыта вѣчные законы живыхъ явленій. И надо кромѣ того постоянно поддерживать серьезнымъ чтеніемъ живую связь между своей собственною мыслью и тѣми великими умами, которые изъ года въ годъ своими постоянными трудами расширяютъ по разнымъ направленіямъ всемірную область человѣческаго знанія. Только при соблюденіи этихъ условій можно быть превосходнымъ человѣкомъ, превосходнымъ семьяниномъ и превосходнымъ общественнымъ дѣятелемъ. Только такимъ путемъ постоянного умственнаго труда можно выработать въ себѣ ту высшую гуманность и ту ширину пониманія, безъ которыхъ человѣку не дается въ руки ни разумное наслажденіе жизнью, ни великая способность приносить дѣйствительную пользу самому себѣ, своему семейству и своему народу. *Превосходными* я называю только тѣхъ людей, которые развернули вполне и постоянно употребляютъ на полезную работу всѣ способности, полученные отъ природы. Такихъ людей очень немного, и, вдумавшись въ мое опредѣленіе слова «превосходный», читатель вѣроятно согласится съ тѣмъ, что человѣкъ дѣйствительно можетъ сдѣлаться превосходнымъ только по тому рецепту, который я представилъ въ предыдущихъ строкахъ. Всякая другая метода умственнаго и нравственнаго совершенствованія про-

изводитъ только глупости, ошибки, самообольщенія и разочарованія, разбиваетъ разными утомительными волненіями всю нервную систему человѣка и наконецъ доводитъ его до безсилія и до апатіи. Подробный, правдивый и чрезвычайно почтительный перечень такихъ безплодныхъ попытокъ и такихъ печальныхъ *промаховъ незрѣлой мысли* представляется намъ въ воспоминаніяхъ Николая Иртеньева о его юности.

## VI.

Во время своего отрочества Иртеньевъ мечтаетъ точь въ точь такимъ-же образомъ, какъ онъ мечталъ въ дѣтствѣ. Краски и очертанія мечты измѣняются вмѣстѣ съ окружающей обстановкой, но основной характеръ остается въ полной неприкосновенности: Иртеньевъ забавляется процессомъ мечтанія, сознавая совершенно ясно, что онъ не можетъ сдѣлать ни одного шага для того, чтобы приблизиться къ своей мечтѣ и захватить ее въ руки. Наконецъ ему однако надоедаетъ эта пассивность. Его пробуждающіеся умъ начинаетъ изобрѣтать разные средства, которыми можно было-бы сблизить міръ мечты съ міромъ вседневной жизни. Этими стремленіями — перейти отъ мечтательной праздности къ энергической дѣятельности — начинается и характеризуется первая половина юности нашего героя. А вторая половина этой юности общана, но до сихъ поръ еще не написана графомъ Толстымъ. Я очень жалѣю объ этомъ послѣднемъ обстоятельстве, но нисколько не нахожу его удивительнымъ. Первые три части воспоминаній Иртеньева были такъ смутно понаты критикой и публикой, что авторъ могъ считать продолженіе своего труда несвоевременнымъ и бесполезнымъ. Очень жаль, что у насъ до сихъ поръ нѣтъ второй части «Юности»; но за неимѣніемъ ея мы и въ первой части найдемъ огромный запасъ психологическаго матеріала, о которомъ придется потолковать довольно подробно.

Сближеніе съ Нехлюдовымъ составляетъ для Иртеньева ту эпоху, съ которой онъ самъ считаетъ начало своей юности. Сближеніе это начинается неопредѣленно-страстными разсужденіями о жизни, о добродѣтели и объ обязанностяхъ человѣка, — тѣми милыми бреднями, къ которымъ всѣ очень молодые люди питаютъ непреодолимое влеченіе и изъ которыхъ никогда не выходитъ ничего, кромѣ горячпхъ и очень непрочныхъ привязанностей. Послѣ многихъ продолжительныхъ бесѣдъ о высокихъ матеріяхъ, — бесѣдъ, которыя къ счастью только подразумѣваются, а не выписываются въ полномъ своемъ объемѣ въ повѣсти графа Толстого, послѣ многихъ изліаній Нехлюдовъ и Иртеньевъ заключаютъ между собой контрактъ, которымъ они обязываются помогать другъ другу въ процессѣ постоянного нравственнаго совершенствованія.

«Знаете,какаяпришламиѣ мысль,Nicolas,—говорить Нехлюдовъ;—*сдѣлаемте* это, и вы увидите, какъ это будетъ полезно для насъ обоихъ: дадимъ себѣ слово признаваться во всемъ другъ другу. Мы будемъ контролировать другъ друга и намъ не будетъ совѣстно; а для того, чтобы не бояться постороннихъ, дадимъ себѣ слово *никогда, ни съ кѣмъ и ничего* не говорить другъ о другѣ. Сдѣлаемъ это.—И мы дѣйствительно *сдѣлали это*», прибавляетъ Иртеньевъ.

Трудно было придумать что-нибудь нелѣпѣе и вреднѣе этого взаимнаго обязательства. Начать съ того, что оно неисполнимо. «*Признаваться во всемъ*»—значить признаваться въ каждой мысли, которая остановила на себѣ ваше вниманіе. И наши юные друзья дѣйствительно понимаютъ свой контрактъ въ этомъ смыслѣ; они считаютъ этотъ контрактъ надежнымъ громовымъ отводомъ противъ гадкихъ и подлыхъ мыслей. «Такія подлые мысли,—говоритъ Нехлюдовъ,—что ежели-бы мы знали, что должны признаваться въ нихъ, онѣ никогда не смѣли-бы заходить къ намъ въ голову.» Неестественный контрактъ, разумѣется, ежеминутно нарушается. Иртеньевъ почти на каждой страницѣ «Юности» признается въ томъ, что даже во время самаго разгара своей дружбы съ Нехлюдовымъ онъ совершенно невольно то умалчивалъ, то искажалъ въ разговорахъ съ нимъ разные тонкіе оттѣнки своихъ мыслей или побудительныя причины своихъ поступковъ. Иногда дѣло доходило до настоящаго актерства. Въ первый день своего студенчества Иртеньевъ затѣваетъ преглущую ссору съ своимъ добрымъ знакомымъ Дубковымъ. Ссора эта, начатая изъ-за пустяковъ, кончается также пустяками. «И я тотчасъ-же успокоился, — рассказываетъ Иртеньевъ, — притворяясь только передъ Дмитріемъ (Нехлюдовымъ) разсерженнымъ настолько, насколько это было необходимо, чтобъ мгновенное успокоеніе не показалось страннымъ.» Это наивное признаніе, повидимому даже не замѣченное самимъ Иртеньевымъ, доказываетъ лучше всякихъ аргументацій, что полная откровенность совершенно невозможна. Каждый долженъ быть самъ полнымъ хозяиномъ въ своемъ внутреннемъ мірѣ, и другого полного хозяина тутъ не можетъ и не должно быть. Но, заключивши свой контрактъ совершенно добровольно и считая его дѣйствительно очень полезнымъ, наши молодые люди все-таки стараются соблюдать его по возможности добросовѣстно и постоянно осматриваютъ другъ друга разными интимными признаніями.

Въ этомъ обстоятельствѣ и заключается именно настоящій вредъ. Читатель уже замѣтилъ вѣроятно, что Нехлюдовъ и Иртеньевъ оба страдаютъ какой-то странной мыслебоязнью: контрактъ ихъ направленъ почти исключительно

но противъ *гадкихъ и подлыхъ* мыслей. Какія это такія бываютъ *гадки и подлыя* мысли? Я этого не понимаю. Когда я обдумываю какой-нибудь вопросъ или обсуживаю характеръ какой-нибудь личности, то я дѣлаю въ умѣ своемъ разныя предположенія, рассматриваю ихъ съ разныхъ сторонъ, одни изъ нихъ нахожу правдоподобными, другія несостоятельными, сближаю одно предположеніе съ другимъ, подтверждаю или опровергаю ихъ различными аргументами, и наконецъ результатомъ всѣхъ моихъ размышленій является то или другое убѣжденіе, которое опредѣляетъ собой дальнѣйшій ходъ моихъ поступковъ. Многія изъ предположеній, сдѣланныхъ мною во время размышленія, могутъ оказаться совершенно нелѣпыми или даже оскорбительными для той особы, о которой я думаю, и все-таки въ этихъ предположеніяхъ нѣтъ ничего дурного. Если-бы я остановился на такомъ предположеніи и принялъ его за норму для моихъ поступковъ, тогда конечно я обнаружилъ-бы несостоятельность моихъ умственныхъ способностей, и оскорбленная мною особа имѣла-бы полное право отвернуться отъ меня, какъ отъ пошлаго дурака. Но вѣдь нелѣпое предположеніе не есть окончательный результатъ моего мышленія. Это только одна изъ первыхъ или низшихъ фазъ въ развитіи моей мысли. Это одна изъ ступенекъ той длинной и крутой лѣстницы, по которой той умъ идетъ вверхъ къ познанію настоящей истины. Это одинъ изъ тѣхъ ипредѣентовъ, которые, въ своей совокупности, послѣ долгой и сложной химической переработки даютъ мнѣ готовый продуктъ, имѣющій уже практическое значеніе для меня и для другихъ людей. Въ природѣ ничто не возникаетъ мгновенно и ничто не появляется на свѣтъ въ совершенно готовомъ видѣ. Самая красивая женщина и самый гениальный мужчина были все-таки въ свое время очень безобразными и бессмысленными зародышами, а потомъ очень плансивыми и сопливыми ребятишками. Но никому-же не приходится въ голову вырѣзывать зародышъ изъ утробы матери для того, чтобы глумиться надъ безобразіемъ и тупоуміемъ этого куска органической матеріи. И ни одному здравомыслящему человѣку не приходится также въ голову ненавидѣть и презирать трехлѣтняго пузыря за то, что онъ часто плачетъ и плохо сморкается. Надъ картиной, надъ статуйей, надъ научной теоріей мы также произносимъ нашъ приговоръ только тогда, когда произведеніе окончено, то-есть доведено до той степени совершенства, какую только способны

придать ему его творецъ. Когда вы пообѣдали, то вы очень хорошо знаете, что въ вашемъ желудкѣ находится пережованная пища въ видѣ такъ называемой кашицы; вы знаете, что эта кашлица имѣетъ очень

некрасивый видъ и довольно непріятный запахъ; но васъ это обстоятельство нисколько не смущаетъ; вы преспокойно оставляете неблагообразную кашицу тамъ, гдѣ она должна быть, и изъ этой кашицы вырабатываются понемногу ваша кровь, ваши мускулы и ваши нервы, то-есть все, что даетъ вамъ возможность жить въ свое удовольствіе и дѣйствовать на пользу вашихъ ближнихъ. Значитъ, некрасивая кашица—вещь очень хорошая, но еслибы вы стали вытаскивать ее изъ вашего желудка, показывать ее вашимъ друзьямъ и горевать вмѣстѣ съ ними надъ ея непохвальнымъ цвѣтомъ и запахомъ, то вы доставили-бы только себѣ и друзьямъ нѣсколько непріятныхъ минутъ, а въ случаѣ частаго повторенія подобныхъ проделокъ вы-бы даже очень серьезно разстроили свое здоровье, что все-таки не обратило-бы на путь истины закиснящую мерзавку-кашицу. А возмущаться противъ тѣхъ законовъ, по которымъ совершается процессъ нашего мышленія, это въ своемъ родѣ точно такая-же нецѣлѣсть, какъ убиваться надъ совершенствами трехмѣсячнаго зародыша или желудочной кашицы.

Мысли не могутъ быть ни гадкими, ни подлыми, пока онѣ остаются въ головѣ мыслящаго субъекта, который пользуется ими, какъ сырыми матеріалами. Но такое первобытное сарье совсѣмъ не должно показываться на свѣтъ, во-первыхъ потому, что оно часто бываетъ очень уродливо и безсмысленно, а во-вторыхъ потому, что такое заглядываніе въ лабораторію мысли вредитъ процессу умственной работы. Когда вы знаете, что вамъ придется представлять другому лицу докладъ о томъ, что происходитъ въ вашемъ умѣ, тогда вы стараетесь сами смотреть на вашу умственную работу со стороны и замечать, въ какомъ порядкѣ одна мысль развивалась изъ другой. На этотъ совершенно лишний трудъ заглядыванія и запоминанія тратятся тѣ силы, которыя гораздо полезнѣе было-бы употребить на болѣе быстрое или болѣе основательное разрѣшеніе затронутыхъ вами вопросовъ, имѣющихъ для васъ живое практическое значеніе. Подглядывая за собой, вы сами раздваиваете свой умъ и ослабляете или извращаете его дѣятельность. Стало-быть, и подглядываніе ваше даетъ вамъ совершенно искусственные результаты. Вы подглядѣли работу вашей ослабленной и извращенной мысли, а не ту естественную работу, которую вы старались опредѣлить. Можетъ-быть всѣ гадости, въ которыхъ вы кааетесь вашему другу, произошли именно отъ того, что вы начали подглядывать. Извѣстное дѣло, ничто такъ не раздражаетъ мысль, какъ близость мысли и инквизиторскій контроль надъ мыслью. Вы отъ нея отталкиваетесь, вы ее преслѣдуете, — тутъ-то именно она и лѣзетъ къ вамъ въ голову, тутъ-то она и становится для васъ неотвязнымъ контролемъ.—Говорятъ, одинъ алхи-

микъ открылъ какому-то благодѣтелю своему вѣрнѣйшій способъ дѣлать золото. Возьмите, говоритъ, того-то и того-то по столько-то золотниковъ и долей, всыпьте въ такую-то посуду, поставьте на такой-то огонь, мѣшайте вотъ этой палочкой и произносите такіа-то слова. Разказалъ и ушелъ. — Благодѣтель сейчасъ принялся за работу, но на бѣду его добросовѣстный алхимикъ воротился назадъ. — Ахъ, говоритъ, самое-то главное условіе я и забылъ. Когда будете варить золото, ни подъ какимъ видомъ не думайте о бѣлыхъ медвѣдяхъ, а то ничего не выйдетъ. — Ну, это пустяки, отвѣчаетъ благодѣтель. Я объ нихъ и безъ того никогда не думаю. Однако вышло не пустяки. Благодѣтель, никогда не думавшій о бѣлыхъ медвѣдяхъ, сталъ думать о нихъ аккуратно каждый день и притомъ именно въ тѣ великія минуты, когда эта проклятая мысль должна была помѣшать процессу волшебнаго броженія. Поэтому золота не получилось, но предсказаніе алхимика о томъ, что ничего не выйдетъ, оказалось все-таки не совсѣмъ вѣрнымъ. Вышло то, что благодѣтель сошелъ съума и началъ съ крикомъ и со слезами умолять своихъ докторовъ вырѣзать изъ его головы бѣлаго медвѣда, который будто-бы съѣлъ у него весь мозгъ и всякій разъ плюетъ и чихаетъ въ ту посуду, гдѣ варится самое чистое золото.

Если съ Нехлюдовымъ и съ Иртеньевымъ не случилось такой пакости, они обязаны своимъ спасеніемъ единственно тому обстоятельству, что ихъ желаніе раздавить въ себѣ *гадки* и *подлые* мысли были гораздо менѣе сильно и серьезно, чѣмъ желаніе благодѣтели пріобрѣсти себѣ золотыя горы. Для нашихъ юныхъ моралистовъ борьба съ предосудительными мыслями была только пріятной потѣхой. Оно и въ самомъ дѣлѣ увеселительно. То маленько погрѣшишь, то маленько пораскаешься, да легонько постегнешь самого себя невещественными розгами. Вотъ тебѣ и покажется, что ты точно какое-то дѣло дѣлаешь, умомъ своимъ работаешь, нравственность свою исправляешь, полезнаго дѣятеля изъ своей особы приговариваешь. Если даже и крѣпко грѣшишь и часто падаешь на пути добродѣтели — все это для тебя не велика бѣда. У тебя сейчасъ фарисейскія утѣшенія найдутся, потому что весь твой умъ постоянно устремленъ на казуистическія тонкости и посредствомъ навыка пріобрѣлъ себѣ замѣчательное мастерство по части іезуитской изворотливости. Умъ твой тоненькимъ голоскомъ станетъ шептать тебѣ: успокойся! другіе грѣшатъ вдесятеро больше тебя, но и ухомъ не ведутъ, потому что у нихъ нѣтъ твоей чуткости. Ты неизмѣримо выше ихъ, потому что ты замѣчаешь за собой каждую малѣйшую слабость. — Ты человекъ высокой нравственности, потому что ты строгъ къ самому себѣ. — Ты будешь слушать эти льстивыя рѣчи съ глу-



пѣйшей улыбкой самодовольнаго блаженства: но такъ какъ ты уже измощенничался насквозь, благодаря твоимъ любезнымъ подглядываніямъ, то ты тотчасъ состроилъ постную рожу и прикрикнешь на самого себя: молчи, мерзавецъ! Какъ ты смѣешь гордиться твоими совершенствами, когда тебѣ слѣдуетъ оплакивать твои беззаконія! — И вслѣдъ затѣмъ тебя еще пріятнѣе охватитъ сознаніе, что ты ни въ чемъ не даешь себѣ спуску и даже умственную гордость свою подавлять умѣешь. — Да. Точно. Нотѣха весьма увеселительная, но еще болѣе вредная. Во-первыхъ — вся штука основана на глупой мыслелюбви. Во-вторыхъ — происходитъ громадная трата времени. Кто дѣйствительно хочетъ уберечься по возможности отъ тяжелыхъ практическихъ ошибокъ, тотъ долженъ не бояться *гидкихъ* и *подлыхъ* мыслей, а, напротивъ того, смѣло подходить ко всякой мысли и совершенно спокойно разсматривать ее со всѣхъ сторонъ. Не мѣшаешь еще при этомъ принимать въ расчетъ ту старую истину, что тратить свои молодые годы на какія-бы то ни было увеселительныя нотѣхи — значитъ навѣрняка готовить изъ себя въ будущемъ дряннаго, тяжелаго и несчастнаго человѣка. Но, разумѣется, Нехлюдовъ и Иртенъевъ не виноваты въ томъ, что они надъ собой творятъ. Въ нихъ дѣйствуетъ то обращеніе къ научнымъ занятіямъ, которое включено въ ихъ головы прежнимъ приневоливаніемъ къ діалогамъ и диктовкамъ. Болѣзненная мечтательность ребенка при переходѣ въ юношескій возрастъ породила изъ себя уродливую и вредную кривлянію нравственной гимнастики.

## VII.

Настоящимъ специалистомъ по части нравственной гимнастики оказывается князь Дмитрій Нехлюдовъ, а Иртенъевъ является въ этомъ отношеніи только его подражателемъ и къ счастью своему останавливается на степени диллетанта. У Нехлюдова заведены какія-то распisanія пороковъ и прегрѣшеній; онъ каждый вечеръ пишетъ подробно свой дневникъ и еще кромѣ того записываетъ въ особую тетрадь свои будущія и прошедшія занятія. Впрочемъ собственно о его занятіяхъ мы не имѣемъ рѣшительно никакихъ свѣдѣній. Можетъ-быть у него и времени не хватало на занятія, потому что ему было необходимо постоянно держать въ порядкѣ свою душевную бухгалтерію и подводить различные итоги въ приходо-расходной книгѣ грѣховъ и добродѣтелей. Нехлюдовъ по университету былъ однимъ курсомъ старше Иртенъева, но повидимому во взглядахъ своихъ на науку они оба были совершенными школьниками. Нехлюдовъ придавалъ большое значеніе тому, чтобы Иртенъевъ блистательно выдержалъ свой вступительный экзаменъ въ университетъ и чтобы ему поста-

вили очень хорошіе баллы; а потомъ, когда Иртенъевъ сдѣлался студентомъ и когда дружба между юными моралистами находилась въ самомъ цвѣтущемъ состояніи, Нехлюдовъ не умѣлъ возбуждать въ своемъ другѣ ни малѣйшей любви къ серьезнымъ занятіямъ, такъ что Иртенъевъ цѣлый годъ проболтался глупѣйшимъ образомъ и, разумѣется, провалился или *срызался* на переходномъ экзаменѣ самымъ постыднымъ манеромъ. Вообще Нехлюдовъ и Иртенъевъ совершенно не похожи на тотъ типъ студента, который каждому изъ насъ хорошо знакомъ и дорогъ по нашимъ собственнымъ недавнимъ студенческимъ воспоминаніямъ.

Когда мы были студентами, мы всюду вти-свивали науку, кстати и некстати, съ умысломъ и безъ умысла, искусно и неискусно. Мы очень много врани о наукѣ, мы часто сами себя не понимали, но наука дѣйствительно владѣла всѣми нашими помыслами; мы ее любили чрезвычайно горячо и чистосердечно; мы готовы были работать и дѣйствительно работали; для насъ жизнь была немислима безъ науки, и гдѣ, бывало, сойдутся два-три студента, тамъ уже черезъ пять минутъ непременно свирѣпствуетъ научный споръ, въ которомъ воюющія особы наперерывъ другъ передъ другомъ съ восторгомъ обнаруживаютъ крайнюю слабость своихъ фактическихъ знаній и столь-же крайнее могущество своихъ молодыхъ и здоровыхъ голосовъ. Много у насъ было безтолковщины, но это было именно то «мутное броженіе» молодой мысли, изъ котораго «творится свѣтлое вино» разумныхъ убѣжденій и сознательнаго трудолюбія. Смѣшно было смотрѣть на насъ со стороны, но ужъ совѣтъ не грустно. И тѣ самые пожилые и опытные люди, которые смѣялись надъ нами, какъ надъ преуморительными мальчишками, — они сами не могли отказать намъ ни въ своемъ сочувствіи, ни въ своемъ уваженіи, ни даже въ своей *зависти*. Имъ становилось завидно, глядя на насъ. Вспоминая свою собственную молодость, они признавались съ глубокимъ вздохомъ намъ, «преуморительнымъ мальчишкамъ», что наше развитіе идетъ болѣе здоровымъ и разумнымъ путемъ, что мы живемъ болѣе полной жизнью, что у насъ есть мысли, чувства и желанія, которыя имъ были совершенно неизвѣстны и которыя послужили намъ надежной опорой во время житейскихъ испытаній и въ «минуту душевной невгоды».

И рѣшительно ничего подобнаго нѣтъ у Нехлюдова и Иртенъева. Они оба, и особенно Нехлюдовъ, не возбуждаютъ въ постороннемъ наблюдателѣ никакого другаго чувства, кромѣ глубочайшаго и совершенно безнадежнаго сожалѣнія о погибающихъ человѣческихъ способностяхъ. Въ ихъ жизни наука не играетъ никакой роли. Объ умѣ они рѣшительно не заботятся. Имъ нужна только добродѣтель. И въ то-же

время они насквозь пропитаны пошлостями своего общества и со всѣхъ сторонъ опутаны разными свѣтскими и великосвѣтскими связями и предразсудками. Добродѣтельный Иртеньевъ никакъ не можетъ удержаться, чтобы не заявлять всѣмъ и каждому о своемъ родствѣ съ княземъ Иваномъ Ивановичемъ, и для этого онъ даже однажды въ семействѣ Нехлюдова и въ присутствіи самого Дмитрія сплетаетъ экспромптомъ невозвѣрчивѣйшую ложь о дачѣ этого князя и о какой-то удивительной решеткѣ, цѣной въ триста рублей. А еще белѣе добродѣтельный Нехлюдовъ всѣми своими бухгалтерскими упражненіями никакъ не можетъ побѣдить въ себѣ странную пахлошность бить своего крѣпостного мальчика Ваську кулаками по головѣ. Но все это еще не очень большая бѣда. Родиться во время полного господства крѣпостныхъ понятій и весать въ себя съ молокомъ матери фамусовскую слабость къ вельможному родству—это конечно нечестіе, но тутъ еще пѣтъ ничего неисправимаго. Шестнадцатилѣтній Фамусовъ можетъ сдѣлаться черезъ годъ семнадцатилѣтнимъ громителемъ московского чванства; и даже колотить Ваську не значить еще быть отпѣтымъ негодяемъ. Очень можетъ-быть, что и Базаровъ во времена своего дѣтства и отрочества показывалъ свою барскую прыткость надъ ребятами своей крѣпостной дворни. А потомъ выросъ, поумѣлъ и прекратилъ свои подвиги.

Главная бѣда Нехлюдова и Иртеньева заключается въ безнадежности ихъ умственного положенія. Въ головахъ ихъ царствуетъ глубочайшее непочатое невѣжество и сношенія ихъ съ университетомъ скользятъ по этому невѣжеству, не производя въ немъ ни малѣйшаго измѣненія. Нехлюдовъ оказывается еще гораздо безнадежнѣе Иртеньева. Иртеньевъ за все хватается, всѣмъ интересуется и увлекается, дурчится и важничаетъ, какъ настоящій шестнадцатилѣтній ребенокъ; поэтому онъ еще двадцать разъ можетъ переѣзжиться и выскочить на прямую дорогу, лишь - бы только напился въ его жизни сначала отрезвляющіе толчки, а потомъ умные товарищи и руководители. Впрочемъ и на Иртеньева нравственная гимнастика положила свою проклятую печать; отъ привычки постоянно копаться въ своихъ душевныхъ ощущеніяхъ, у него выработалась чудовищная мнительность и подозрительность, ежеминутно отвлекающая ему всѣ его сношенія съ другими людьми. Въ каждомъ словѣ и въ каждомъ взглядѣ онъ угадываетъ какую-нибудь особенную, затаенную и обыкновенно пакостную или оскорбительную мысль своего собесѣдника. Такъ какъ Иртеньевъ отъ природы очень не глухъ — гораздо умнѣе Нехлюдова, — то онъ очень часто угадываетъ совершенно вѣрно, и все-таки для него было-бы несравненно лучше вовсе не обладать этимъ даромъ ясновидѣнія. Излишняя

восприимчивость какого-бы то ни было чувства, зрѣнія, слуха, обонянія, и такъ далѣе, всегда ведетъ за собой очень много неприятностей. Сова не можетъ видѣть днемъ именно оттого, что зрѣніе ея слишкомъ остро и чувствительно; то количество лучей, которое намъ необходимо для того, чтобы мы могли ясно различать предметы, дѣйствуетъ на сову такъ сильно, что рѣжетъ ей глаза и заставляетъ ее задвигать наглухо отверстіе зрачка. Та музыка, которая намъ доставляетъ удовольствіе, оказывается мучительною для тонкаго слуха кошки или собаки.

То-же самое можно сказать и объ иртеньевскомъ ясновидѣніи. Заглядывать въ душу другихъ людей—такое-же пустое и неприятное занятіе, какъ выносить другимъ людямъ на показъ свои собственные душевные тайны. Что вамъ за удовольствіе подиѣчать въ каждомъ изъ вашихъ знакомыхъ каждое движеніе мелкой досады, или зависти, или скарденности, или трусости, каждое изъ тѣхъ мимолетныхъ движеній, которыя рождаются и умираютъ въ душѣ, не дѣйствуя на общее направленіе поступковъ и выражаясь только изрѣдка въ какомъ-нибудь подергиваніи губъ или въ какой-нибудь дребезжащей нотѣ голоса?! Всѣ ваши отношенія къ людямъ сдѣлаются только болѣе шероховатыми, а въ сущности все останется по старому, потому что нельзя-же удалиться отъ людей въ пустыню на томъ основаніи, что люди не всегда могутъ и умѣютъ быть или вполне искренними друзьями, или вполне непроницаемыми актерами. А главное дѣло, какъ у васъ достаетъ времени и охоты возиться съ этой психологической дрянью? Надо быть бесконечно празднымъ человѣкомъ, чтобы по губамъ Семена Пафнutyча или по бровямъ Неладенъ Сидоровны читать тайные оттѣнки ихъ душевныхъ волненій. И замѣчательно, что это чтеніе *поддерживаетъ* въ человѣкѣ праздность, потому что служить ему источникомъ неисчерпаемыхъ изслѣдованій, которыхъ привлекательность, разумѣется, совершенно неостижима для того, кто занимается какимъ-нибудь полезнымъ дѣломъ. Но, несмотря на губительную страсть Иртеньева къ ясновидѣнію, Нехлюдовъ все-таки гораздо безнадежнѣе своего друга. Нехлюдовъ при своемъ кругломъ невѣжествѣ серьезенъ и настойчивъ. У него есть принципы, которые онъ очеркнулъ чортъ знаетъ изъ какой лужи, но за которые онъ держится очень крѣпко. Быть онъ Ваську конечно не по принципу, а по увлеченію, и принципы его осуждаютъ эту баталію, и онъ совершенно убѣжденъ въ томъ, что принципы переработаютъ всю его природу и даже осчастливятъ со временемъ всѣхъ его Васекъ. По своимъ принципамъ онъ влюбился или, точнѣе, *влюбилъ себя* въ рыжую, старую, кривобокую, да добавокъ еще и глучую барышню, Любовь Сергѣевну, которая все бесѣдуетъ съ

нимъ о правилахъ, о сердцахъ и о добродѣтеляхъ. Графъ Толстой этихъ бесѣдъ не выписываетъ, и прекрасно дѣлаетъ. Въдѣ тутъ ужъ дѣйствительно «мухи умрутъ отъ рѣчей ихъ», когда они начнутъ разводить свою психологію сладкими вздохами и любовнымъ жеманствомъ. Также по своимъ принципамъ Нехлюдовъ, подъ руководствомъ Любви Сергѣевны, ѣдетъ къ московскому прорицателю, Ивану Яковлевичу; и также по принципамъ студентъ второго курса Нехлюдовъ находитъ, что Иванъ Яковлевичъ—очень замѣчательный человекъ и что только самые легкомысленные люди могутъ считать его сѣумасшедшимъ или мошенникомъ. А Любовь Сергѣевна, по словамъ самого Нехлюдова, понимаетъ совершенно Ивана Яковлевича (видите, какая умница!), часто ѣздитъ къ нему, бесѣдуетъ съ нимъ и даетъ ему для бѣдныхъ деньги, которыя сама зарабатываетъ. Изъ всѣхъ этихъ доблестныхъ подвиговъ рыжей барыни Нехлюдовъ выводитъ то заключеніе, что она—удивительная женщина, что она необходима для его совершенствованія и что въ нее никакъ нельзя не влюбиться.

Познакомившись съ этими любопытными подробностями, читатель вѣроятно согласится, что голова Нехлюдова, какъ сплошная чугунная масса, совершенно обезпечена противъ вторженія какихъ-бы то ни было современныхъ идей. Человѣколюбствовать онъ можетъ, потому что на это способна даже усердная собесѣдница Ивана Яковлевича, но ужъ дальше московскаго сердца болѣя онъ не пойдетъ. А въдѣ могло-бы быть совершенно иначе, еслибы любознательность его была затронута въ дѣтствѣ и еслибы живая струя свѣта и знанія попала въ его голову, когда надъ нею еще не успѣли воцариться мертвыя принципы нравственной гимнастики и Ивана Яковлевича. Эти принципы такъ безнадежно мрачны и такъ безвыходно-губительны для ума, для чувства и для дѣятельности, что въ сравненіи съ ними даже общій колоритъ московской великосвѣтскости представляется какой-то небесной лазурью.

### VIII.

Исторія объ избіеніи Васьки бросаетъ такой яркій свѣтъ на спеціальныя достоинства нравственной гимнастики, что я считаю очень полезнымъ разсказать и разобрать этотъ любопытный эпизодъ довольно подробно. Иртеньевъ, только что поступившій въ университетъ, предъ отъѣздомъ своимъ въ деревню на лѣто пріѣзжаетъ на дачу къ Нехлюдовымъ знакомиться съ семействомъ своего друга, проводить у нихъ вечеръ и остается ночевать въ комнатѣ Дмитрія. У Нехлюдова въ этотъ вечеръ разбаливаются зубы; кромѣ того онъ взволнованъ споромъ съ своей сестрой Варинькой; дѣло идетъ въ этомъ спорѣ объ Иванѣ Яковлевичѣ. Варинька отзы-

вается о немъ съ презрѣніемъ, и ея непочтительные отзывы о московскомъ предсказателѣ очень сильно возмущаютъ Дмитрія, тѣмъ болѣе, что они косвеннымъ образомъ бросаютъ тѣнь на великія достоинства самой Любви Сергѣевны, которая живетъ въ семействѣ Нехлюдовыхъ и присутствуетъ при этомъ горячемъ спорѣ. Кромѣ того старая княгиня Нехлюдова, мать Дмитрія и Вариньки, очевидно держитъ сторону своей дочери, и это обстоятельство еще болѣе усиливаетъ волненіе юнаго моралиста. Пораженный въ своемъ обожаніи къ Ивану Яковлевичу и разоблаченный зубною болью, Нехлюдовъ уходитъ въ свою комнату и садится за свои вычисленія погрѣшностей и обязанностей. Въ это время Васька спрашиваетъ у него, гдѣ будетъ спать Иртеньевъ. Нехлюдовъ въ отвѣтъ на этотъ неумѣстный вопросъ топаетъ ногой и кричитъ: «убирайся къ чорту!» Васька ступешивается. Тогда Нехлюдовъ начинаетъ *тотчасъ-же* кричать: «Васька, Васька, Васька!» Васька входитъ. — «Стели мнѣ на полу!» — командуетъ Нехлюдовъ. — «Нѣтъ, лучше я лягу на полу», — говоритъ Иртеньевъ. — «Ну, всеравно, стели гдѣ-нибудь», — ворчитъ Нехлюдовъ. Васька рѣшительно не знаетъ, за что ему взятыя: «убирайся къ чорту! Стели на полу! Стели гдѣ-нибудь», три противорѣчивыя приказанія въ три минуты, и наконецъ послѣднее приказаніе совершенно неопредѣленное; что значить «гдѣ-нибудь»? Гдѣ-жъ ему слать постель? Васька останавливается въ недоумѣніи и ждетъ, чтобы ему приказали толкомъ. А въ распросы пускается онъ боится, потому что его только что отправили къ чорту за неумѣстную любознательность, Васька стоитъ и ждетъ, но Нехлюдовъ начинаетъ бѣсноваться. «Васька, Васька! Стели, стели!» И все это съ крикомъ и съ неистовствомъ. Васька окончательно теряется. Тогда Нехлюдовъ подбѣгаетъ къ нему и бьетъ его кулаками по головѣ «изо всѣхъ силъ». Васька куда-то убѣгаетъ, и Нехлюдовъ заноситъ въ свою тетрадку новый грѣхъ.

Уже достаточно поучительно то, что Нехлюдовъ послалъ мальчика къ чорту и потомъ обработалъ ему голову кулаками *въ то самое время*, когда совершались упражненія нравственной гимнастики. Размышлять о неописанной красотѣ нравственнаго идеала и тутъ-же, не сходя съ мѣста, нарушать самыя простыя обязанности человека самымъ постыднымъ и скотскимъ образомъ, — это фактъ въ высшей степени краснорѣчивый. Не трудно, кажется, сообразить, что всѣ эти ежедневныя разглядыванія своего поведенія не даютъ человѣку ровно ничего, кромѣ педантическаго высокомерія и фарисейской нетерпимости. Но дальше пойдетъ еще интереснѣе.

Вы вѣроятно съ нетерпѣніемъ желаете узнать, какую-же физиономію строилъ добродѣтельный Иртеньевъ, когда на его глазахъ другъ и руко-

водитель его разыгрался, какъ пьяный дикарь. А вотъ, полюбуйтеcя. Вотъ что произошло въ ту самую минуту, когда избитый Васька выбѣжалъ изъ комнаты. «Остановившись у двери, Дмитрій оглянулся на меня, и выраженіе бѣшенства и жестокости, которое за секунду было на его лицѣ, замѣнилось такимъ кроткимъ, притыженнымъ и любящимъ дѣтскимъ выраженіемъ, что мнѣ стало жалко его, и, какъ ни хотѣлось отвернуться, я не рѣшился этого сдѣлать.»

Еслибы на мѣстѣ Пртеньева находился чело-вѣкъ дѣйствительно развитый и гуманный, и еслибы этотъ чело-вѣкъ могъ чувствовать хоть малѣйшее состраданіе къ негодяю, толкующему о добродѣтели и въ то-же время поднимающему руку на беззащитнаго и безотвѣтнаго ребенка, то этотъ развитый и гуманный чело-вѣкъ отвернулся-бы въ сторону пмменно изъ состраданія къ Нехлюдову, чтобы не показать ему во всемъ выраженіи своего лица того подавляющаго презрѣнія, которое возбуждено въ немъ этимъ безсовѣстнымъ поруганіемъ чело-вѣческой личности. Я вовсе не думаю утверждать, что безобразный поступокъ Нехлюдова долженъ навсегда огнять у него уваженіе всѣхъ честныхъ людей. Напротивъ. По моему мнѣнію, и-бѣ того злодѣянія, которое могло-бы положить на чело-вѣка вѣчное и неизгладимое пятно безчестія. Самый грязный преступникъ можетъ снова сдѣлаться мыслящимъ и любящимъ существомъ; и дѣйствительно развитое общество нигде не должно отнимать у ожесточеннаго и загнубленнаго чело-вѣка надежду на самую полную реабилитацію. Но въ ту минуту, когда совершается грязное и безчестное насиліе, порядочный чело-вѣкъ невольно отвернется отъ мерзавца для того, чтобы не плюнуть ему въ лицо. Но Пртеневъ повидимому такъ мало пораженъ избіеніемъ Васьки, что въ самую минуту этого событія все его вниманіе обращено исключительно на игру лицевыхъ мускуловъ въ фizioноміи Нехлюдова. За-мѣчая въ этихъ мускулахъ быстрое передвиженіе, влѣдствіе котораго скотское выраженіе бѣшенства переходитъ въ гримасу раскаянія, Пртеневъ совершенно забываетъ объ участи Васьки, у котораго въ это время по всей вѣроятности лицевые мускулы тоже находятся въ сильномъ движеніи и у котораго кромѣ того созрѣваютъ на черепѣ шишки и кровавыя шишки. Пртеневъ начинаетъ соболѣзновать не о томъ, кого избили, а о томъ, —кто билъ. Того и гледи, что онъ подойдетъ къ своему Дмитрію и, взявъ его за руку, спросить у него со слезами въ голосъ: о, мой кроткій другъ! о, мой сизенькой голубчикъ! Не зашибъ-ли ты свою и-зжнюю ручку о поганую головушку этого грубаго не-вѣжи? У него, у подлеца, такая твердая голова. И не поранилъ ли ты свое любвеобильное сердце припадкомъ негодования, возбужденнаго въ тебѣ закоснѣлостью этого пакостника. И зачѣмъ ты самъ утруждаешь

себя? Развѣ нельзя было отправить сквернаго мальчишку въ ближайшую полицейскую часть для надлежащаго вразумленія?

Въ подобныхъ изліяніяхъ дружественнаго чувства не было-бы ничего особенно удивительнаго. Этого совсѣмъ неумудрено ожидать отъ Пртеньева, который совершенно откровенно признается, что еще сильнѣе прежняго любилъ Дмитрія, увидѣвъ на его лицѣ выраженіе стыда и кротости. Значитъ, вся исторія съ Васькой показалаcя Пртеневу и-бкоторымъ легкимъ проявленіемъ юношеской рѣзвости, —такимъ проявленіемъ, которое выкушается съ избыткомъ и-бкоторой игрой лицевыхъ мускуловъ. Окончивъ потасовку, Нехлюдовъ начинаетъ съ-бъ себя невещественными розгами. «Дмитрій легъ ко мнѣ на постель, —разсказываетъ Пртеневъ, —и, облокотясь на руку, долго, молча, ласковымъ и пристыженнымъ взглядомъ смотрѣлъ на меня. Ему видимо было тяжело это, но онъ какъ будто наказывалъ себя. И улыбнулся, глядя на него. Онъ улыбнулся тоже.»

Скажите, пожалуйста, какіе милые младенцы! Лежать рядомъ на одной постелькѣ и улыбаются, глядя другъ на друга. Чему-жъ это они такъ чистосердечно радуются? Оно и видно, что Дмитрій наказывалъ себя не въ самомъ дѣлѣ, а только какъ будто. Прелюбезное дѣло—эти невещественныя розги, когда можно ими съ-бъ себя съ улыбкой наслажденія. Вотъ Васька такъ ужъ навѣрное не улыбался, потому что кулакъ—штука вещественная и съ улыбками несовѣстимая. Глядя на улыбающихся младенцевъ, мы съ читателемъ можемъ ожидать, что они немедленно заговорятъ о Васькиной головѣ даже съ и-бкоторымъ юморомъ. Однако, братъ Дмитрій, —скажетъ Пртеневъ;—ты ловко распорядился. И и оглянуться не успѣлъ, а ужъ онъ ему четыре шишки наставилъ. Теперь Васька-то, я чаю, почесывается. Долго не забудетъ, мошеникъ. Ну, что за важность?—отвѣчаетъ Нехлюдовъ съ и-бкоторой скромностью.—Онъ у меня къ этому давно привыкъ. Ему не впервой!—Да вѣдь и не въ послѣдній!—подхватить съ пріятной усмѣшкой Пртеневъ. —Еще-бы!—закончить Нехлюдовъ, влагая въ этотъ лапониическій отвѣтъ самое солидное выраженіе барственной величавости. И знаете-ли, господа читатели, подобный разговоръ не такъ противно было-бы слушать, какъ тотъ, который дѣйствительно завязался между нашими улыбающимися друзьями. Въ томъ разговорѣ, который я самъ сочинилъ, есть по крайней мѣрѣ та прямота и простота взглядовъ, которыми я восхищался въ госпожѣ Простаковой. Грязь, такъ ужъ грязь на-голо, безъ малѣйшей примѣси солодковаго корня и розовой водицы. Хочу, дескать, сокрушить морду и сокрушаю, и ни у кого на этотъ счетъ совѣта и позволенія просить не намѣренъ. Въ такой нетронутой чистотѣ часто не бываетъ даже никакой силы и

никаких задатковъ развитія. Но иногда въ ней есть и силы, и задатки. Есть или нѣтъ—этого большей частью и разобрать невозможно. Темно, хоть глазъ выколи. Ничего не видать. Но именно эта-то темнота и оставляетъ еще нѣкоторую надежду. Кто его знаетъ, можетъ-быть тамъ и есть что-нибудь. Поэтому мерзости, совершаемыя чистымъ дикаремъ, совсѣмъ не такъ отвратительны, какъ тѣ мерзости, которыя творитъ полуцивилизованная особа. И всего хуже не то, что она дѣлаетъ мерзости, а то, что она относится къ нимъ чрезвычайно хитро и деликатно. Каждая мерзость представляетъ ей удобный случай погладить себя-же по головкѣ. Дикарь ничего не знаетъ и вслѣдствіе своего незнанія не слушаетъ никакихъ резоновъ. А деликатная особа клаязничаетъ, то-есть пользуется своимъ неполнымъ знаніемъ, чтобы отуманивать себя и своихъ собесѣдниковъ и чтобы во всякомъ случаѣ ставить свою деликатность выше всякаго сомнѣнія, даже послѣ совершенія мерзостей. Впрочемъ это уже очень старая и однако очень мало сознающая истина, что полуобразование совмѣщаетъ въ себѣ всѣ пороки варварства и цивилизаціи. Всѣ успія мыслящихъ людей всѣхъ человѣческихъ обществъ уже съ давнихъ поръ направлены на борьбу съ полуобразованиемъ. Нашему обществу варварство уже теперь неопасно. Я могу смѣло хвалить Простакову, нисколько не опасаясь, чтобы кто-нибудь изъ моихъ читателей прельстился ея идеями. Но полуобразование со всѣми своими фокусами и клаязами должно внушать намъ самыя серьезныя опасенія, и типъ милѣйшихъ джентльменовъ, совмѣстившихъ въ себѣ чувствительность Манилова съ остроуміемъ Хлестакова,—еще очень долго будетъ тормозить или извращать умственное развитіе нашего общества. Ощутивъ на своихъ губахъ присутствіе улыбки, Нехлюдовъ подумалъ вѣроятно, что вещественныя розги истрепались и что не мѣшаетъ взять въ руки новый пучокъ или, еще того лучше, предоставить все дѣло сѣченія добродѣтельному и улыбающемуся другу. И начинается вслѣдствіе этого поучительная бесѣда.

— «А отчего-же ты мнѣ не скажешь,—сказалъ онъ,—что я гадко поступилъ? Вѣдь ты объ этомъ сейчасъ думалъ?» — Этотъ пошлый вопросъ могъ быть предложенъ только Нехлюдовымъ и рисуетъ чрезвычайно ярко подлѣйшую притворность отношеній, существующихъ между юными друзьями. Порядочный человѣкъ, сдѣлавши гадость, даже гораздо поменьше Нехлюдовской штуки, конечно не осмѣлился бы фамильярничать съ своимъ другомъ, валяться на его постели, тарашить изъ него глаза и скалить вмѣстѣ съ нимъ зубы. Порядочный человѣкъ понималъ и почувствовалъ-бы, что его другу, также человѣку порядочному, неприятно, тяжело и даже больно смотрѣть на него въ ту минуту,

когда впечатлѣніе сдѣланнаго безобразія еще совершенно свѣжо. Тотъ стыдъ, который мы невольно чувствуемъ послѣ очень глупой выходки, у человѣка искренняго и неизломаннаго бываетъ всегда очень цѣломудреннымъ и глубоко затаеннымъ ощущеніемъ. Пристыженный человѣкъ стѣшывается, хочетъ, чтобы его въ эту минуту всѣ забыли, чувствуетъ, что онъ тяготитъ другихъ своей замаранной особой; такого пристыженнаго человѣка вамъ дѣйствительно становится жалко; вы подходите къ нему осторожно, какъ къ больному, и стараетесь подкрѣпить, ободрить и утѣшить его, и при томъ такъ, чтобы ваше приближеніе и ваши слова не оскорбили въ немъ то цѣломудріе стыда, которое неразлучно со всякимъ искреннимъ, естественнымъ раскаяніемъ, то-есть съ томительнымъ сознаніемъ важной и вредной ошибки. Но когда некуралесившій нахалъ самъ лѣзетъ къ вамъ съ своимъ раскаяніемъ, когда онъ преслѣдуетъ васъ своимъ присутствіемъ и пристальными взглядами, когда онъ приглашаетъ васъ любоваться его стыдомъ, когда онъ обращается къ вамъ съ безтолковѣйшими вопросами о такомъ дѣлѣ, которое не требуетъ ни малѣйшаго разъясненія,—тогда вамъ остается только сказать: убирайся ты къ чорту, скотина, съ твоими глупыми подвигами самобичеванія! Ты хочешь погеройствовать, силу воли своей обнаружить, а я вовсе не расположенъ быть для тебя ни плетью, ни пудовой гирей, которыми ты выдѣлываешь свои дурацкіе фокусы. Нельзя-ли для гимнастическихъ прогулокъ подалѣе выбрать закоулочекъ? — Затѣмъ надо было повернуться на другой бокъ и оставить милѣйшаго Нехлюдова наединѣ съ его растрепанными чувствами.

Такой неожиданный отпоръ могъ положить рѣзкій конецъ всякимъ дружескимъ отношеніямъ; но о такой дружбѣ, которая не выдерживаетъ прикосновенія голой правды, не стоитъ и жалѣть. Туда ей и дорога. Дружба должна быть прочной штукой, способной пережить всѣ перемѣны температуры и всѣ толчки той ухабистой дороги, по которой совершаютъ свое жизненное путешествіе дѣльные и порядочные люди. При такой прочности, дружба — вещь драгоценная, потому что она лучше всякой другой ассоціаціи утѣшаетъ и учетверяетъ рабочія силы и мужественную энергію друзей. Но Иртеньевъ и Нехлюдовъ, какъ по молодости своихъ лѣтъ, такъ и по неразвитости своего ума, такъ и въ особенности по своему незнакомству съ серьезной работой жизни,—способны только къ той комнатной или тепличной дружбѣ, которая вслѣдствіе своей капризности и неоснованности на капризныхъ симпатіяхъ и распадается въ прахъ также подъ вліяніемъ минутнаго каприза. Нѣтъ въ этой дружбѣ никакой серьезной причины существованія, а поэтому нѣтъ и ни малѣйшей серьезности въ отношеніяхъ между друзьями.

Послѣ исторіи о Васькѣ, когда надо было дѣйствительно сказать другу очень жесткое слово или, еще лучше, не говорить совсѣмъ ничего, Иртеневъ мямлитъ, миндальничаетъ и говоритъ безцвѣтныя плоскости; а потомъ черезъ годъ, когда дружба утратила прелесть новизны, тотъ-же кроткій Иртеневъ въ минуго чисто личнаго и совершенно безпричиннаго раздраженія высказываетъ Нехлюдову, безъ малѣйшей надобности, самыя рѣзкія и оскорбительныя истинны. Между тѣмъ можно сказать навѣрное, что два-три безжалостно правдивыя слова, произнесенныя Иртеневымъ по поводу Васькиной головы, подѣйствовали-бы на Нехлюдова гораздо сильнѣе и неизмѣримо глубже, чѣмъ цѣлыя десятилѣтія нравственной гимнастики. Но, чтобы сказать человѣку такое слово, которое вывернуло-бы наизнанку всю его душу и не забылось-бы имъ до сѣдыхъ волосъ, надо быть не Иртеневымъ, а чѣмъ-нибудь почище и покрѣпче. У Иртенева-же выходитъ вотъ что:— «Да, это очень нехорошо, я даже и не ожидаю отъ тебя этого. Ну, что зубы твои?»—Хотя невозможно выдумать что-нибудь безцвѣтнѣе этого скромнаго порицанія, однако крутой поворотъ къ зубамъ показывается ясно, насколько Иртеневъ стоитъ выше Нехлюдова. Видно, что Иртеневу все-таки тяжело говорить пустячки о такой крупной гадости, а говорить о ней серьезно онъ или не умѣетъ, или совѣтитесь, вотъ онъ и сворачиваетъ въ сторону при первомъ удобномъ случаѣ. Но Нехлюдовъ не понимаетъ, что его другу тяжело этотъ разговоръ, и пускается въ длинныя и совершенно безплодныя размышленія на ту-же начальную тему. Вотъ его слова:— «Прошли. Ахъ, Николинъка, мой другъ! —заговорилъ Дмитрій такъ ласково, что слезы, казалось, стояли въ его блестящихъ глазахъ. (Удивительная логика! поколотилъ Ваську, а подлащивается къ Николинъкѣ, точно будто именно передъ Николинъкой внивать.)—Я знаю и чувствую, какъ я дурень, и Богъ видѣть, какъ я желаю и прошу Его, чтобъ Онъ сдѣлалъ меня лучше, но что-жъ мнѣ дѣлать, ежели у меня такой несчастный, отвратительный характеръ? Что-же мнѣ дѣлать?»

О, милѣйшій моралистъ, какъ-же вы плохи по части опытной психологіи! Вы спрашиваете, что вамъ дѣлать, чтобъ не колотить Ваську? А вотъ что. Объясните мнѣ, почему вы не поколотили вашу сестру, Вариньку, которая очень разогорчила васъ во время спора, а поколотилъ Ваську, который ничѣмъ васъ не обидѣлъ и не могъ обидѣть? Главная причина та, что въ спокойныя минуты вашей жизни вы обращаетесь съ вашей сестрой совсѣмъ не такъ, какъ съ Васькой. Переходъ отъ почтительнаго и дружескаго обращенія къ ударамъ почти невозможенъ. Поэтому вы сестрѣ вашей сказали только вѣжливую колкость; горничной, пришедшей узнать

о вашихъ зубахъ, крикнули: «ахъ, оставьте меня въ покоѣ!», а мальчика, котораго вы зовете «Васькой», послали къ чорту, а потомъ прибили кулаками. Градація соблюдена вполне. Значить, если вы дѣйствительно желаете, чтобы Васькина голова была въ безопасности, обращайтесь съ нимъ въ спокойныя минуты вѣжливо и даже почтительно. Называйте его не только полнымъ именемъ, но даже по имени и отчеству, и говорите ему «вы». Это конечно очень смѣшно—называть крѣпостнаго мальчика Василіемъ Степановичемъ или Василіемъ Антоновичемъ, по вы, какъ великій моралистъ, должны находить, что лучше быть посмѣшищемъ для дураковъ всей Москвы и даже цѣлаго міра, чѣмъ быть грязнымъ и подлымъ злодѣемъ. Если вы, не боясь насмѣшекъ умныхъ людей, преклоняетесь передъ Иваномъ Яковлевичемъ, то въ дѣлѣ Васьки вы и подавно должны поставить себя выше зубоскальства вашихъ пустоголовыхъ знакомыхъ, которые сначала поблотають и посмѣются, а потомъ и привыкнутъ къ вашей необыкновенной почтительности.

Послушаемъ теперь вашу дальнѣйшую іереміаду. «Я стараюсь удерживаться, исправляться, но вѣдь это невозможно вдругъ и невозможно одному. (Вы были не одинъ, когда колотили Ваську.) Надо, чтобы кто-нибудь поддерживалъ, помогаль мнѣ. (Выражаясь яснѣе, вамъ необходимы люди, которые хвалили-бы васъ за красоту души и твердость воли. Невещественныя розги и невещественныя пряники—безъ эгихъ пособій вы не можете быть порядочнымъ человѣкомъ.) Вотъ Любовь Сергѣевна, она понимаетъ меня и много помогла мнѣ въ этомъ. (Оно и замѣтно по всему?) Я знаю по своимъ запискамъ, что я въ продолженіи года уже много исправился. (Приятно слышать. Значить, по скольку-же синяковъ въ день ложилось прежде на Васькину голову? До исправленія, его голова была въ своемъ родѣ очень любопытной лѣтописью. Примѣчайте кромѣ того, какъ уже въ послѣдней фразѣ тонъ слезливаго раскаянія переходитъ въ тонъ тихаго самовосхваленія. Это значитъ, милое дитя уже потянулось за невещественнымъ пряникомъ.) Ахъ, Николинъка, душа моя!—продолжалъ онъ съ особенной непривычной нѣжностью и ужъ болѣе спокойнымъ тономъ послѣ этого признанія—какъ это много значитъ вліяніе такой женщины, какъ она! Боже мой, какъ можетъ быть хорошо, когда я буду самостоятеленъ, съ такимъ другомъ, какъ она! Я съ ней совершенно другой человѣкъ.» (Что значитъ эта послѣдняя фраза? Значить-ли это: «я ея не бью, какъ прибилъ Ваську», или-же это значитъ: «я никого не бью, когда нахожусь подъ ея вліяніемъ»? Въ первомъ случаѣ—это бессмыслица. Во второмъ—это сладкая ложь. Вы, господинъ Нехлюдовъ, ходили къ Любови Сергѣевнѣ и бесѣдовали съ нею какъ-разъ не-



редь той минутой, когда Васяка предложилъ вамъ первый вопросъ о постеляхъ. Или можетъ-быть вы хотите сказать, что только «въ ея присутствіи» вы совсѣмъ не безчинствуете. Это безъ сомнѣнія дѣлаетъ вамъ много чести, но вѣдь отъ этого мало пользы. Стало-быть, когда вы женитесь на ней, вы будете находиться безотлучно при ея особѣ; а чуть она на минуту отвернулась—тутъ сейчасъ и пойдетъ крупное фізіономіи? Вѣриѣ-же всего, что вы просто сказали одну изъ тѣхъ совершенно безмысленныхъ фразъ, безъ которыхъ жить не могутъ всѣ моралисты, подобные вамъ и вашей Любви Сергѣевнѣ.) Затѣмъ друзья наши забываютъ совершенно презрѣнную прозу жизни, и Дмитрій начинаетъ «развивать свои планы женитьбы, деревенской жизни и постоянной работы надъ самимъ собой». Оба совершенно веселы и болтають «до вторыхъ пѣтуховъ». Пріятная и полезная бесѣда заканчивается слѣдующими словами:—«Ну, теперь спать—сказалъ онъ.—Да, отвѣчалъ я:—только одно слово.—Ну?—Отлично жить на свѣтѣ!—сказалъ я.—Отлично жить на свѣтѣ,—отвѣчалъ онъ такимъ голосомъ, что я въ темнотѣ, казалось, видѣлъ выраженіе его веселыхъ ласкающихся глазъ и дѣтской улыбки.»

О, прелестные малютки! что за «атлассность сердечная», какъ говорить Щедринъ о своихъ глуповцахъ! «Отлично жить на свѣтѣ!» Какъ вамъ это нравится? Это—заключительный выводъ изъ того ряда размысленій, который былъ вызванъ актомъ подлѣйнаго насилія. Претупленіе и раскаяніе не оставили послѣ себя рѣшительно ничего, кромѣ безпричиннаго восторга и подлѣйнаго самодовольства, и все это втеченіи одной короткой лѣтней ночи. Это стоить матери Гамлета, съ ея неизношенной парой банниковъ. И ни одинъ изъ юныхъ моралистовъ не оглянулся назадъ на исходную точку разговора. Трехъ или четырехъ часовъ, посвященныхъ глупѣйшимъ мечтамъ, было совершенно достаточно, чтобы рѣшительно сбить ихъ съ толку и отшибить у нихъ всякую память. Вѣдь они-бы поблѣднѣли и вскрикнули отъ ужаса, у нихъ выступилъ-бы холодный потъ на лбу и дыбомъ поднялись-бы волосы, еслибы одинъ изъ нихъ догадался задать другому вопросъ: съ чего мы начали и къ чему мы пришли? И что-же это значитъ, что такое начало привело насъ къ такому заключенію? И какъ-же это мы ухитрились извлечь для себя превеликое удовольствіе изъ.. изъ.. стыдно и страшно сказать, изъ чего? Гдѣ-же наше нравственное чувство, гдѣ наша любовь къ людямъ, гдѣ-же наконецъ нашъ умъ? Любовь къ людямъ! Подумалъ-ли въ самомъ дѣлѣ Нехлюдовъ на минуту о томъ, какъ-бы утѣшить избитаго ребенка? Даже намекъ не было на подобную мысль. Нехлюдовъ и не помышляегъ о томъ, чтобы лаской, добрымъ словомъ и доб-

рымъ дѣломъ уменьшить то впечатлѣніе боли, которое онъ нанесъ живому существу; онъ старается только соскоблить какъ нибудь то отвѣченное пятно, которое онъ положилъ на свою собственную опрятную личность и щекогливую совѣсть. Бездушный фарисей остается вѣрнѣйшій себѣ въ мелчайшихъ подробностяхъ. Да и совѣсть-то совершенно по фарисейски засыпаетъ очень быстро во время пріятнаго разговора. И эти-то дрябленькіе человѣчки, съ такимъ неразвитымъ умомъ, который втеченіи трехъ или четырехъ часовъ уже теряетъ изъ виду руководящую идею разговора, эти-то маленькія и жалкія созданыица берутся тоже разсуждать о высшихъ вопросахъ жизни, нравственности и общаго міросозерцанія. Точно пятилѣтнія дѣти, толкующіе о томъ, какъ они пойдутъ въ гусары или въ кирасиры! Поучиться надо сначала, милые малютки. Тогда авось и поумнѣете, и въ гусары поступите. А до тѣхъ поръ играйте въ куклы или, иначе, размышляйте о трюфеляхъ и пулякахъ.

## IX.

Доживши до девятнадцати лѣтъ и дойдя до третьяго курса университета, князь Дмитрій Нехлюдовъ бѣждается въ томъ, что онъ достаточно образованъ и что ему давно пора приниматься за практическую дѣятельность. Онъ прѣзжаетъ на лѣто въ свое имѣніе, видитъ тамъ, что мужики его разорены до тла, и, рѣшившись посвятить свою жизнь на улучшеніе ихъ участи, выходитъ изъ университета съ тѣмъ, чтобы навсегда поселиться въ деревнѣ. Очеркъ его сельско-хозяйственной дѣятельности представленъ графомъ Толстымъ въ отдѣльной повѣсти: «Утро помѣщика». Нехлюдовъ занимается своимъ дѣломъ безкорыстно, добросовѣстно и очень усердно. По воскресеньямъ напримѣръ онъ обходитъ утромъ дворъ тѣхъ крестьянъ, которые обращались къ нему съ просьбами о какомъ-нибудь вспомошествованіи; тутъ онъ внимательно вникаетъ въ ихъ нужды, присматривается къ ихъ быту, помогаетъ имъ хлѣбомъ, лѣсомъ, деньгами и старается посредствомъ увѣщаній внушать имъ любовь къ труду или искоренять ихъ пороки.

Одинъ изъ такихъ обходовъ составляетъ сюжетъ нашей повѣсти. Приходитъ Нехлюдовъ къ Ивану Чуриленку, просившему себѣ какихъ-то кольевъ или сошекъ для того, чтобы подпереть свой развалившійся дворъ. Видитъ Нехлюдовъ, что все строеніе дѣйствительно никуда не годится, и Чуриленокъ рассказываетъ ему совершенно равнодушно, что у него въ избѣ накатина съ потолка его бабу пришибла. «По спишь, какъ колыхаетъ ее, такъ она до ночи замертво пролежала.» Нехлюдовъ, думая облагодѣтельствовать Чуриленку, предлагаетъ ему переселиться на новый хуторъ, въ новую каменную

избу, только что выстроенную по герардовской системѣ. «Я,—говорить,—се, пожалуй, тебѣ отдамъ въ долгъ за свою цѣну; ты когда-нибудь отдашь.» Но Чурисенокъ говоритъ: «воля вашего сятельства», и въ то же время прибавляетъ, что на новомъ мѣстѣ имъ жить не придется; а баба, та самая, что замертво лежала, бросается въ ноги къ молодому помѣщику, начинаетъ выть и умолять барина оставить ихъ на старомъ мѣстѣ, въ старой развалившейся и опасной избѣ. Чурисенокъ, тихій и неговоряливый, какъ большая часть нашихъ крестьянъ, придавленныхъ бѣдностью и непосильнымъ трудомъ, становится даже краснорѣчивымъ, когда начинается описывать прелесть старого мѣста. «Здѣсь на міру мѣсто, мѣсто веселое, обычное; и дорога, и прудъ тебѣ, бѣлье, что-ли, бабѣ стирать, скотину-ли поить—и все наше заведеніе мужицкое, тутъ искони заведенное, и гумно, и огородишка, и ветлы—вотъ, что мои родители садили; и дѣдъ, и батюшка наши здѣсь Богущу отдали, и мнѣ только-бы въѣхъ тутъ свои кончить, ваше сятельство, больше ничего не прошу.» Что тутъ будешь дѣлать? Нельзя же благодѣтельствовать насильно. Нехлюдовъ отказывается отъ своего намѣренія и совѣтуетъ Чурисенку обратиться къ крестьянскому міру съ просьбой о лѣсѣ, необходимомъ для починки двора. Къ міру, а не къ помѣщику приходится обращаться въ этомъ случаѣ потому, что Нехлюдовъ отдалъ въ полное распоряженіе самихъ мужиковъ тотъ участокъ лѣса, который онъ опредѣлилъ на починку крестьянскаго строенія.—Но у Чурисенка на всякое дѣло есть свои собственные взгляды, и онъ говоритъ очень спокойно, что у міра просить не станеть.—Нехлюдовъ даетъ ему денегъ на покупку коровы и идетъ дальше. Входитъ онъ во дворъ къ Епифану или Юхванкѣ-Мудреному. Нехлюдову извѣстно, что этотъ мужикъ любить по-своему сибаритствовать, курить трубку, обременяетъ свою старуху-мать тяжелой работой и часто продаетъ для кутежа необходимые принадлежности своего хозяйства. Теперь Нехлюдовъ узналъ, что Юхванка хочетъ продать лошадь; помѣщикъ хочетъ посмотреть, возможна-ли эта продажа безъ разстройства необходимыхъ работъ. Оказывается, что продавать не слѣдуетъ, и Нехлюдовъ рѣшительно запрещаетъ Юхванкѣ эту коммерческую операцію. Юхванка въ разговорѣ съ барининомъ лжетъ ему въ глаза самымъ наглѣйшимъ образомъ и нисколько не смущается, когда Нехлюдовъ на каждомъ шагѣ выводитъ его на свѣжую воду. Нехлюдовъ, какъ юноша и моралистъ, старается растрогать Юхванкину душу увѣщаніями и упреками, а Юхванка, продажная бестія, каждымъ своимъ словомъ показываетъ своему барину совершенно ясно, что онъ непремѣнно расхотался-бы надѣть его сапожки, еслибы его не удерживало тонкое по-

пиманіе галантерейнаго обращенія.—Пороть меня ты не будешь,—думаетъ Юхванка,—потому что совѣмъ никого не порежешь; на поселеніе тоже не сошлешь—пожалѣешь; а въ солдаты я не похужу, спереди двухъ зубовъ нѣту. Значитъ, ничѣмъ ты меня не озадачишь, и на всѣ твои разговоры я вѣжливымъ манеромъ плевать не имѣю.—И Нехлюдовъ, совершенно отмѣнившій въ своемъ хозяйствѣ тѣлесныя наказанія, до такой степени живо чувствуетъ свое безсиліе передъ сорванцомъ Юхванкой, что принужденъ по временамъ умолкать и стискивать зубы для того, чтобы не распалакаться тутъ-же на Юхванкиномъ дворѣ передъ глазами нераскайяннаго грѣшника. Кончается визитъ тѣмъ, что баринъ, строго запретивъ продавать лошадь, тайкомъ отъ безпутнаго Юхванки, даетъ денегъ его матери на покупку хлѣба.

Затѣмъ слѣдуетъ картина другого безпутства. У Давыдки Бѣлаго нѣтъ въ избѣ ни крошки хлѣба; весь дворъ представляетъ собой мерзость запустѣнія, а самъ Давыдка цѣлые дни и ночи лежитъ на печкѣ подъ тулупомъ, даже весь отекъ и распухъ отъ сна. Баринъ будитъ «лѣниваго раба» и начинаетъ аргументировать, очень убѣдительно доказывая необходимость труда. «Лѣнивый рабъ слушаетъ тупо и покорно». Онъ молчалъ; но выраженіе его лица и положеніе всего тѣла говорило: «знаю, знаю, ужъ мнѣ не первый разъ это слышать. Ну, бейте-же, коли такъ надо—я снесу. Онъ, казалось, желалъ, чтобы баринъ пересталъ говорить, а поскорѣе прибилъ его, даже больно прибилъ по пухлымъ щекамъ, но оставилъ скорѣе въ покоѣ.» Приходитъ въ эту минуту мать Давыдки, дѣятельная и бойкая женщина, которая одна работаетъ за весь свой дворъ. Она начинаетъ жаловаться на своего лядачаго сына, ругаетъ и дразнитъ его, рассказываетъ, что жена Давыдки извела себя тяжелой работой, а потомъ умоляетъ барина, чтобы онъ во второй разъ женилъ безпутнаго лѣнтяя. Нехлюдовъ говоритъ съ Богомъ! но штука заключается въ томъ, что за Давыдку ни одна дѣвка по своей волѣ не пойдетъ и что мать просить у барина не позволенія для Давыдки, а приказанія для дѣвки. Баринъ отвѣчаетъ ей, что это невозможно, что хлѣба онъ имъ дастъ, а невѣсту сватать не беретъ. Потомъ Нехлюдовъ пошелъ къ богатому мужику Дутлову, предложилъ ему очень выгодное помѣщеніе для его денегъ, но мужикъ, разумѣется, съѣжился и тщательно затаилъ свой капиталъ отъ помѣщика, и баринъ извлекъ изъ этого посѣщенія только тотъ результатъ, что его маленько покусали дутловскія пчелы, потому что онъ забрался на пчельникъ и по юношеской храбрости не пожелалъ надѣть предохранительную сѣтку. Нехлюдовъ отправляется домой и по дорогѣ задумывается. «Развѣ богаче стали мои мужики, думаетъ онъ:—образовались

или развились нравственно? Нисколько. Имъ стало не лучше, а мнѣ съ каждымъ днемъ становится тяжеле. Еслибъ я видѣлъ успѣхъ въ своемъ предпріятіи, еслибъ я видѣлъ благодарность... но нѣтъ, я вижу ложную рутину, пороки, недоверіе, беспомощность. Я даромъ трачу лучшие годы жизни, — подумалъ онъ, и ему почему-то вспоминалось, что сосѣди, какъ онъ слышалъ отъ няни, называли его недорослемъ; что денегъ у него въ конторѣ ничего уже не оставалось; что выдуманная имъ новая молотильная машина къ общему смѣху мужиковъ только свистѣла, а ничего не молотила, когда ее въ первый разъ при многочисленной публикѣ пустили въ ходъ въ молотильномъ сараѣ; что со дня на день надо было ожидать пріѣзда земскаго суда для описи имѣнія, которое онъ просрочилъ, увлекшись различными новыми хозяйственными предпріятіями.»

Странная и печальная исторія! Умъ, молодость, энергія, стойкость, человѣколюбіе, — все, что дѣлаетъ человѣка сильнымъ и полезнымъ, все это есть у Нехлюдова, все это проявляется въ его отношеніяхъ къ крестьянамъ и все это приводитъ за собой только неудачи и разочарованіе и въ концѣ концовъ безотрадное сознаніе той несомнѣнной истины, что «имъ стало не лучше, а мнѣ съ каждымъ днемъ становится тяжеле». Причина всей нескладницы заключается въ томъ, что Нехлюдовъ — ни рыба, ни мясо, и что онъ, вслѣдствіе этой двусмысленности и неопредѣленности своего положенія и своего развитія, самымъ добросовѣстнымъ образомъ старается влить вино новое въ мѣха старыя. Задача неисполнимая: мѣха ползутъ врозь, и вино проливается на полъ, или, говоря безъ метафоръ, новая гуманность пропадаетъ безъ пользы и даже приноситъ вредъ, когда приходится въ соприкосновеніи съ старыми формами крѣпостного быта. Еслибы дѣдушка или можетъ быть и папенька Нехлюдова пріѣхалъ въ свое имѣніе съ цѣлью поправить разстроенное хозяйство мужиковъ, то по всей вѣроятности онъ въ первую-же недѣлю послѣ своего пріѣзда переполомъ-бы половину деревни, начиная, разумѣется, съ крѣпостныхъ прикащиковъ, бурмистровъ, старостъ и всякихъ другихъ деревенскихъ властей. Съ такимъ помѣщикомъ Юханка пересталъ-бы быть «мудренымъ», и Чурисенокъ переселился-бы на новый хуторъ безъ малѣйшаго краснорѣчія. Еслибы кроме неумолимой строгости у этого помѣщика была малая толика практическаго ума и хоть какое-нибудь, даже самое рутинное знаніе сельскаго хозяйства, то въ пять-шесть лѣтъ мужики дѣйствительно поправили-бы свои дѣлянки и дошли-бы до той степеніи сытаго довольства, которой пользуются быки и бараны благоустроеннаго скотнаго двора и которая въ крѣпостномъ быту составляетъ предѣлъ, его-же не преидеши. И грозный по-

мѣщикъ, съ своей точки зрѣнія, могъ-бы сказать, что онъ свято исполнилъ свою гражданскую обязанность, потому что, разумѣется, онъ стоитъ неизмѣримо выше тѣхъ современниковъ своихъ, которые прожигаютъ свои доходы въ столицахъ, предоставляя своихъ мужиковъ въ безконтрольное распоряженіе управляющихъ и бурмистровъ. Да этого еще мало. Грозный помѣщикъ стоитъ даже выше такого почти идеальнаго помѣщика, какимъ является намъ Нехлюдовъ.

Для помѣщика не было середины. Онъ могъ быть или суровымъ властелиномъ, или дойной коровой. На первый взглядъ можетъ показаться, что второй типъ лучше, отрадиѣе и полезнѣе перваго, но это — только на первый взглядъ. Дойная корова побалуеетъ мужиковъ три-четыре года, а потомъ и протянетъ ноги тѣмъ или другимъ манеромъ. Самый простой и естественный результатъ этого сантиментальнаго баловства обнаруживается намъ въ исторіи Нехлюдова: въ конторѣ ни копѣйки денегъ; имѣніе просрочено; его опишутъ, возьмутъ въ опеку, разорятъ еще хуже, а потомъ продадутъ съ аукціоннаго торга и мужикамъ, привыкшимъ къ доенію коровы, придется какъ скверно при перемѣнѣ системы, что хоть въ петлю полѣзай. Ясно, кажется, что новое вино пролилось на полъ. Но, разумѣется, типъ суроваго властелина въ свою очередь хорошъ только въ той мѣрѣ, въ какой могло быть что-нибудь хорошее при существованіи крѣпостной зависимости. Сытое довольство скотнаго двора очевидно не благопріятствуетъ развитію высшихъ способностей человѣческаго ума и не можетъ создавать людей съ сильными и самостоятельными характерами. Вамъ случалось вѣроятно видѣть, какъ быстро спиваются съ кругу и затягиваются въ тину самаго оподляющаго разврата именно тѣ юноши, которые при жизни своихъ строгихъ родителей порожали вась своимъ безуоризненнымъ и даже неестественнымъ благоураженіемъ. «Эхъ, кабы старики-то были живы!» говорятъ обыкновенно въ этихъ случаяхъ старые друзья покойниковъ, совершенно упуская изъ виду то, что именно сами-то покойники приготовили втеченіи всей своей жизни всю ту кутерьму, которая разыгралась на другой день послѣ ихъ строгости. Ежевыя рукавицы отняли у подвластнаго человѣка возможность приобрести себѣ самостоятельный житейскій опытъ, а неопытность оказалась той широкой дорогой, по которой поѣхали на человѣка всякія искушенія и всякія ошибки. Такая-то участь и постигаетъ обыкновенно мужиковъ грознаго помѣщика, какъ только ослабѣваетъ или прекращается давленіе его тяжелой руки.

Нехлюдову слѣдовало все это сообразить прежде, чѣмъ онъ пріѣхалъ въ деревню и предпринялъ свои благотворительныя нововведенія. Надо было указать себѣ: грознымъ помѣщикомъ я

быть не могу, еслибы даже и желалъ имъ сдѣлаться. Дойной коровой я не хочу быть, потому что это глупо и бесполезно. Значитъ, если я чувствую потребность расположить мои отношенія къ крестьянамъ сообразно съ моими гуманными стремленіями и убѣжденіями, то мнѣ остается только одна дорога: надо осторожно развязать и потомъ совершенно уничтожить всѣ обязательныя отношенія, существующія между мной и этими людьми. Приступая разумнымъ образомъ къ освобожденію своихъ крестьянъ, Нехлюдовъ долженъ былъ прежде всего освободить самого себя отъ крѣпостной зависимости. Онъ живетъ трудами своихъ мужиковъ или, другими словами, доходами съ своего имѣнія. А человѣкъ, который серьезно желаетъ сдѣлать въ своей жизни что-нибудь дѣйствительно полезное, долженъ непремѣнно жить своими собственными трудами. Кто не въ состояніи безъ посторонней помощи прокормить самого себя, тому нечего и думать о какой-бы то ни было дѣятельности на пользу другихъ. Поэтому Нехлюдову надо было прежде всего узнать свои собственные способности и выучиться какому-нибудь хлѣбному ремеслу. Сдѣлался-ли-бы онъ сапожникомъ или писателемъ, профессоромъ или кузнецомъ, машинистомъ или медикомъ, это уже совершенно все равно, и это вполнѣ зависать отъ особенной его умственной и вообще физической организаціи. Важно только то, чтобы онъ сталъ въ совершенно независимыя отношенія къ своему собственному капиталу, въ чемъ бы этотъ капиталъ ни заключался, въ крѣпостныхъ-ли мужикахъ, или въ землѣ, или въ деньгахъ.

Весь смыслъ вещей, весь міръ неодушевленной природы и живыхъ людей совершенно измѣняются въ глазахъ человѣка, когда этотъ человекъ чувствуетъ и сознаетъ, что онъ самъ—рабочая сила и что въ немъ самомъ, въ его головѣ и въ его рукахъ, заключается совершенно достаточное обезпеченіе его существованія, является смѣлость и предпримчивость, непостижимыя для капиталиста, который знаетъ очень хорошо, что капиталъ его лежитъ внѣ его личности, что этотъ капиталъ можетъ быть утраченъ и что личность капиталиста, послѣ разлуки съ своимъ капиталомъ, должна превратиться въ нуль или, еще вѣрнѣе, въ минусъ. Работникъ, владѣющій капиталомъ, можетъ позволять себѣ такую роскошь, на которую никакъ не можетъ отважиться простой капиталистъ; онъ можетъ рисковать своимъ капиталомъ изъ любви къ своей идѣ; напримѣръ онъ можетъ тратить его на научныя опыты, на ученыя экспедиціи на проведеніе въ жизнь своихъ гуманныхъ тенденцій. Онъ можетъ ставить послѣднюю копейку ребромъ, а такая способность выдерживать не басуга и не уменьшая ставки до самаго конца игры, бываетъ часто совершенно необходима для

успѣха всего предпріятія. Кромѣ того кормить себя собственнымъ трудомъ—значитъ относиться къ какому-нибудь практическому дѣлу совершенно серьезно и добросовѣстно, безъ всякой прихвисти шарлатанства или диллетантизма. Чтобы относиться такимъ образомъ къ какому-бы то ни было дѣлу, надо уже кое-что знать, надо предварительно присмотрѣться и къ самому себѣ, и къ разнымъ особенностямъ житейской практики. Вслѣдствіе этого, кромѣ смѣлости и предпримчивости, у работника есть опытность и смѣтливость, недоступныя очень многимъ изъ тѣхъ людей, которые спокойно питаются процентами съ своихъ капиталовъ. Значитъ, работникъ будетъ дѣйствовать смѣло, но расчетливо, то-есть рисковать только тамъ, гдѣ дѣйствительно надо рисковать и гдѣ важность успѣха совершенно окунаетъ собой невѣрность предпріятія. Итакъ:

Нехлюдовъ долженъ прежде всего сдѣлать изъ себя работника и испытать силы своего ума и характера надъ рѣшеніемъ той задачи, которая задается въ жизни огромному большинству людей, то-есть надъ самостоятельнымъ прокормленіемъ собственной osoby. Для этого ему надо было-бы непремѣнно кончить курсъ въ университетѣ, а потомъ еще поучиться очень серьезно въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, во-первыхъ для того, чтобы найти себѣ специальность, а во-вторыхъ для того, чтобы достаточно усовершенствоваться въ этой специальности. Еслибы Нехлюдовъ послѣ такого приготовленія рѣшился поселиться въ деревнѣ, то онъ вѣроятно придумалъ-бы тамъ не свистѣлку, а настоящую молотилку. Дальнѣйшій-же ходъ эмансипаціонной работы не представляетъ никакихъ особенныхъ затрудненій. Если имѣніе заложено и еслибы вслѣдствіе этого нельзя было отпустить на волю крестьянъ, то надо сначала выкупить имѣніе, а для человѣка, который живетъ собственнымъ трудомъ и, стало-быть, не пуждается въ доходахъ, это дѣло окажется совершенно исполнимымъ. Выкупилъ, отдалъ крестьянамъ полный надѣлъ земли, остальную землю продалъ въ другія руки для того, чтобы крестьяне видѣли возлѣ себѣ просто богатаго сосѣда, а не своего бывшаго барина, связаннаго съ ними патріархальными преданіями и обязаннаго оказывать имъ разныя щедроты; совершилъ всѣ формальности, отпуская, дарственные, купчія, да и уѣхалъ съ вырученными деньгами заниматься своимъ ремесломъ. Вотъ самое простое и единственно возможное рѣшеніе той задачи, надъ которой такъ усердно и такъ безуспѣшно трудится Нехлюдовъ. Посвящать всю свою жизнь крестьянамъ нѣтъ рѣшительно никакой надобности. Пожалуй-ста, не посвящайте! Вѣдь изъ этого посвященія выйдетъ только то, что вы будете тратить деньги, заработанныя крестьянами, или на безтолковыя благодѣянія, или на сооруженіе свистѣльныхъ машинъ. Почему вы знаете, что вы способны быть помѣщикомъ, т.-е. агрономомъ, ско-

товодомъ и отчасти администраторомъ? Потому что вамъ досталось отъ отца имѣніе въ семьдесятъ душъ? Это—причина неудовлетворительная; тогда, значить, сынъ сапожника долженъ быть сапожникомъ, потому что отецъ оставляетъ ему въ наследство колодку и шило. Такимъ путемъ мы приходимъ къ пидѣйспимъ кастамъ, то-есть къ систематическому подавленію всякой личной оригинальности. Такого результата не можетъ желать ни одинъ здравомыслящій человекъ, и, стало-быть, вы, господинъ Нехлюдовъ, должны быть не помѣщикомъ, а можетъ-быть учителемъ математики, или архитекторомъ, или чѣмъ-нибудь другимъ, смотря по тому, каковы ваши личные способности. А чтобы узнать свои способности, вы должны учиться, читать, размышлять, говорить съ умными людьми, а не закупоривать себя въ деревнѣ и не аргументировать съ Юхванкой и съ Давыдой.

Значить, съ какого конца не возьми дѣло, всездѣ оказывается все та-же самая бѣда: незнаніе и опять-таки незнаніе. Гдѣ нѣтъ прочнаго знанія, тамъ вы не замѣните его ни усердіемъ, ни добродушіемъ, ни чистотой сердца, ни цѣломудріемъ, ни даже Иваномъ Яковлевичемъ. Все будетъ скверно, и все постоянно будетъ становиться хуже да хуже.

Собственно для того, чтобы освѣтить съ разныхъ сторонъ эту очень старую истину, я оставился такъ долго на разборѣ повѣсти: «Утро помѣщика». Иначе не зачѣмъ было-бы говорить о ней такъ подробно, потому что крѣпостныя отношенія, изображенныя въ этой повѣсти, уже давно укатились въ вѣчность «hinaus in's Meer der Ewigkeit», какъ говоритъ Шиллеръ въ своихъ «Идеалахъ». Но вопросъ о знаніи и познаніи стоитъ постоянно на очереди.

### X.

Въ послѣдній разъ мы встрѣчаемъ нашего стараго знакомаго, князя Нехлюдова, въ небольшомъ разсказѣ «Люцернъ». Онъ, то-есть не разсказъ, а Нехлюдовъ, путешествуетъ по Швейцаріи и записываетъ свои путевыя впечатлѣнія. Разсказъ «Люцернъ» составляетъ маленькій отрывокъ изъ этихъ записокъ. Дѣйствіе происходитъ въ Люцернѣ и относится къ 7 іюля 1857 года. Князю Нехлюдову въ это время, по моимъ хронологическимъ соображеніямъ, должно быть около 35 лѣтъ. Его характеръ надо считать уже окончательно сложившимся. Вотъ мы теперь и посмотримъ, какой результатъ выработался изъ тѣхъ задатковъ, съ которыми мы познакомились выше. Остановившись въ лучшей люцернской гостинницѣ Швейцергофъ, Нехлюдовъ изъ окна своей комнаты начинаеть очень сильно восхищаться видомъ озера, горъ и вообще всякой другой природы. «Мнѣ захотѣлось,—говоритъ онъ,—въ эту минуту обнять кого-нибудь, крѣпко обнять, защекотать, ущипнуть его, вообще сдѣ-

лать съ нимъ и съ собою что-нибудь необыкновенное.» Однако онъ ничего не обнялъ, не защекоталъ и не ущипнулъ, вѣроятно потому, что его восторги въ значительной степени охлаждались видомъ набережной, «прямой какъ палка», и возбуждавшей въ немъ съ самой первой минуты непримиримую ненависть. «Безпрестанно,—жалуется онъ,—невольно мой взглядъ сталкивался съ этой ужасно-прямой линіей набережной и мысленно хотѣлъ оттолкнуть, уничтожить ее, какъ черное пятно, которое сидитъ на носу подлѣ глазомъ; но набережная съ гуляющими англичанами оставалась на мѣстѣ, и я невольно старался найти точку зрѣнія, съ которой-бы мнѣ ее было не видно.» Война Нехлюдова съ бѣлой палкой набережной прерывается тѣмъ, что его зовутъ обѣдать за общій столъ. За обѣдомъ для Нехлюдова начинаются новыя огорченія. Его чрезвычайно волнуетъ то обстоятельство, что страстующіе англичане, которымъ переполненъ Швейцергофъ, сидятъ слишкомъ чинно и занимаются во-время обѣда процессомъ ѣды, а не веселыми разговорами. Во время обѣда онъ размышляетъ объ англійской холодности, а потомъ, разогорченный ею до глубины души, идетъ шляться по городу въ самомъ невеселомъ расположеніи духа. Тутъ ему становится еще грустнѣе. «Мнѣ становилось ужасно душевно холодно, одиноко и тяжело, какъ это случается иногда безъ видимой причины при переѣздахъ на новое мѣсто.» Но въ это время какой-то уличный музыкантъ заигралъ на гитарѣ и началъ пѣти пѣсни, и Нехлюдову вдругъ сдѣлалось ужасно хорошо и даже очень пріятно жить на свѣтѣ. «Всѣ воспоминанія, невольныя впечатлѣнія жизни вдругъ получили для меня значеніе и прелесть. Въ душѣ моей какъ будто распустился свѣжій, благоухающій цвѣтокъ. Вышесто усталости, разейанія, равнодушія ко всему на свѣтѣ, которыя я испытывалъ за минуту передъ этимъ, я вдругъ почувствовалъ потребность любви, полноту надежды и безпричинную радость жизни. Чего хотѣть, чего желать? казалось мнѣ невольно,—вогъ она совсѣхъ сторонъ обступать тебя красота и поэзія. Вдыхай ее въ себя широкими, полными глотками, насколько у тебя есть силы, наслаждаясь, чего тебѣ еще надо! Все твое, все благо...»

Набережная передъ глазами—досади! Англичане молчатъ—грустно! На гитарѣ заиграли—ужасно весело! Какъ вамъ правится такой человекъ, у котораго вся нервная система постоянно скрипитъ и ноетъ такъ или иначе въ отвѣтъ на каждый ничтожный и мимолетный звукъ окружающаго міра. Такихъ людей называютъ многіе впечатлительными, отзывчивыми, тонко-чувствительными, художественными натурами; извѣстное дѣло, нѣтъ той драги, которую нельзя было-бы украсить какимъ-нибудь ласкательнымъ эпитетомъ; но мнѣ кажется, что такіе тонко-организованные субъекты очень похожи на тѣхъ

несчастныхъ больныхъ, которые, напившись бутылныхъ лекарствъ, превращаются въ ходячіе барометры, то-есть чувствуютъ лемету въ костяхъ передъ каждой малѣйшей переменной погоды. Эта тонкость организаціи есть не что иное, какъ совершенное разстройство нервной системы, — разстройство, порожденное праздною и безтолковой суетливостію. За немѣнѣемъ серьезной цѣли и полезной работы, умъ кидается на пустяки, гоняется за призраками, раздражается своими тщетными попытками поймать то, что никому не дается въ руки, и наконецъ, благодаря такимъ утраченіямъ, человѣкъ доходитъ до какого-то полусъумасшествія: постоянно волнуется, постоянно о чемъ-то хлопочетъ, самъ не только не можетъ, но даже и не пробуетъ объяснить себѣ, чего ему надо и о чемъ онъ груститъ, чему радуется и какой смыслъ имѣютъ все его пошлыя бури въ стаканѣ воды. Когда человѣкъ дошелъ до такого безнадежнаго положенія, тогда, разумѣется, смѣшно и ожидать отъ него какой-нибудь дѣятельности; тогда надо его просить объ одномъ: сядь ты, голубчикъ, на мѣсто и постарайся поменьше кричать и кривляться. Но онъ и этой просьбы исполнить не въ состояніи; онъ все поетъ и все прыгаетъ, и ежеминутно откалываетъ такія удивительныя штуки, какихъ ни одинъ здравомыслящій человѣкъ нарочно не съумѣлъ бы придумать.

Князь Нехлюдовъ находится именно въ этомъ положеніи совершеннаго умственного банкротства. Мысль и чувство его истрепались и измелъчали до послѣдней крайности и дѣлаютъ ежеминутно нелѣпѣйшіе скачки, не имѣя уже силъ остановиться и сосредоточиться на какомъ-бы то ни было отдѣльномъ впечатлѣніи. Когда звуки гитары и пѣсни открыли Нехлюдову смыслъ всѣхъ тайнъ и загадокъ міровой жизни, тогда онъ подошелъ къ тому мѣсту, откуда слышались эти волшебные звуки. Онъ увидѣлъ, что пѣвецъ поетъ передъ балкономъ Швейцергофа; его слушаетъ вся блестящая публика, живущая въ этой гостиницѣ, но ни одинъ изъ слушателей не даетъ ему ни копѣйки, когда онъ по окончаніи пѣсни снимаетъ шляпу и произноситъ просительную фразу. Нехлюдовъ пользуется этимъ удобнымъ случаемъ, чтобы немедленно вознегодовать. Я совершенно согласенъ съ тѣмъ, что въ этомъ фактѣ дѣйствительно нѣтъ ничего хорошаго, но я рѣшительно не могу объяснить, какимъ образомъ мужчина зрѣлыхъ лѣтъ можетъ находить подобные факты сколько-нибудь для себя удивительными. Мальчику позволительно кипятишься при видѣ каждаго перазумнаго или безчестнаго дѣла. Для мальчика это кипяченіе даже необходимо; оно пробуждаетъ его силы и внушаетъ ему желаніе бороться за то, что онъ считаетъ разумнымъ и справедливымъ. Но мальчикъ замѣтитъ очень скоро, что бороться разомъ противъ всего — значитъ тратить свои силы навѣ-

теръ. Въ результатъ можетъ получиться только крайнее утомленіе слишкомъ ретиваго бойца. Чтобы успѣть хоть въ чемъ-нибудь, надо непременно взять себѣ какую-нибудь отдѣльную задачу и заняться добросовѣстно ея разрѣшеніемъ, не кидаясь по сторонамъ и не хватаясь съ безразсудной жадностію за все мелкія проявленія зла, которыя ежеминутно попадаются на встрѣчу каждому цивилизованному европейцу. Когда мальчикъ такимъ образомъ окончательно выяснилъ себѣ свою отдѣльную задачу и когда онъ серьезно принялся за свою специальную работу, тогда мы можемъ сказать о немъ, что онъ сдѣлался зрѣлымъ мужчиной. Этотъ зрѣлый мужчина, встрѣчаясь съ какимъ-нибудь проявленіемъ нелѣпости, говоритъ самому себѣ совершенно спокойно: знаю я эту штуку, и корень ея знаю, и работаю я противъ нея такъ и такъ. А негодовать я не намѣренъ, да и разучился я заниматься этимъ пустымъ дѣломъ. Негодованіе есть мимолетный взрывъ чувства, а я вовсе не намѣренъ тратить мое чувство на пусканіе такихъ мыльныхъ пузырей. Мое чувство есть сила, приводящая въ движеніе весь мой организмъ, и эта сила приложена навсегда къ той работѣ, которую я себя выбралъ. Чувство негодующихъ людей есть то крошечное количество пара, которое, чортъ знаетъ зачѣмъ, поднимаетъ вверхъ крышку кипящаго самовара. А мое чувство есть тотъ-же паръ, но только проведенный въ такую благоустроенную машину, которая поднимаетъ тяжести и вертитъ колеса.

Нехлюдовъ, разумѣется, остановился навсегда въ положеніи самовара, фыркающаго очень громко и совершенно безтолково. Ему сдѣлалось очень досадно, зачѣмъ обитатели Швейцергофа не дали денегъ странствующему пѣвцу. Ну, что-жь съ ними дѣлать? Вѣдь подъ судъ ихъ отдать за это нельзя? Значить, надо было только наградить обиженнаго пѣвца, то-есть заплатить ему разомъ столько, сколько онъ могъ ожидать отъ всѣхъ своихъ слушателей. Нарушенная справедливость была-бы совершенно восстановлена, но Нехлюдовъ не можетъ поступить такимъ образомъ, потому что это было-бы слишкомъ просто. Онъ догоняетъ уходящаго пѣвца и приглашаетъ его выпить вмѣстѣ съ нимъ бутылку вина. Что-жь? И это не дурно. Но дурно то, что Нехлюдову тотчасъ приходится въ голову устроить, посредствомъ этой выпивки, какую-то демонстрацію въ пику и въ назиданіе жестокосердымъ и скупымъ обитателямъ Швейцергофа. Вотъ это ужъ нигде не годится, потому что такая демонстрація вовсе не пріятна для пѣвца и не полезна ни для кого на свѣтѣ. Пѣвецъ предлагаетъ Нехлюдову войти въ простую распивочную лавочку, но Нехлюдовъ, по своей дурацкой фантазіи, тащитъ смущеннаго пѣвца въ настоящій Швейцергофъ. Это значитъ: пляши по моему дудкѣ, потому что я — русскій баринъ и потому что я тебя



холю, угощаю. Это какъ нельзя больше напоми-  
наетъ мнѣ Ситникова, который кричитъ на му-  
жиковъ: «надѣньте шапки, дураки!». Шапки  
они должны надѣвать потому, что Ситниковъ—  
прогрессистъ; а дураками они оказались потому,  
что Ситниковъ—баринъ. — Приходятъ въ Швей-  
цергофъ. Ихъ отводятъ въ залу для простого на-  
рода, и тутъ начинается геройская борьба Нехлю-  
дова противъ аристократизма, воплотившагося на  
этотъ вечеръ въ лакеяхъ блестящей гостиницы.  
Нехлюдову предлагаютъ простого вина, но онъ,  
«стараясь принять самый гордый и величествен-  
ный видъ», требуетъ «шампанскаго и самаго  
лучшаго». Подаютъ шампанское, и вмѣстѣ съ  
шампанскимъ приходятъ два лакея посмотреть  
на потѣшное представленіе, которое даромъ разы-  
грываетъ нашъ полоумный соотечественникъ.  
«Два изъ нихъ сѣли около судомойки и, съ ве-  
селой внимательностью и кроткой улыбкой на  
лицахъ, любовались на насъ, какъ любятъ  
родители на милыхъ дѣтей, когда они мило иг-  
раютъ». Соотечественникъ нашъ чувствуетъ се-  
бя смущеннымъ, но утѣшаетъ себя той мыслью,  
что путь добродѣтели всегда усыянъ колючими  
терниями. «Хотя,—говоритъ онъ,—мнѣ было и  
очень тяжело и неловко подъ огнемъ этихъ ла-  
кейскихъ глазъ бесѣдовать съ цѣвцомъ и уго-  
щать его, я старался дѣлать свое дѣло сколь воз-  
можно независимо.» Это признаніе доказываетъ  
намъ, что наши соотечественники тратятъ за-гра-  
ницей на бесполезные подвиги не только свои  
деньги, но и свою энергію. Враги нашего соотеч-  
ественника сдвигаютъ свои силы. «Швейцаръ,  
не снимая фуражки, вошелъ въ комнату и, обло-  
котившись на столъ, сѣлъ подлѣ меня. Это  
последнее обстоятельство, задѣвъ мое самолю-  
біе и тщеславіе, окончательно взорвало меня и  
дало исходъ той давившей злобѣ, которая весь  
вечеръ собиралась во мнѣ... Я совсѣмъ озлился  
той кипящей злобой негодованія, которую я люблю  
въ себѣ (странный вкусъ!), возбуждаю даже,  
когда на меня находятъ (самъ сознается, что  
*на него находитъ*), потому что она успоко-  
ительно дѣйствуетъ на меня и даетъ мнѣ хоть  
на короткое время какую-то необыкновенную гиб-  
кость, энергію и силу всѣхъ физическихъ и мо-  
ральныхъ способностей.» (На счетъ *моральныхъ*  
*способностей* позволю себѣ выразить сомнѣ-  
ніе, потому что, какъ мы увидимъ дальше, онъ  
совершенно подавляются и помрачаются той *ки-  
пящей злобой негодованія*, которую онъ *лю-  
битъ и даже возбуждаетъ въ себѣ*.) Вски-  
пѣвшій самоваръ-Нехлюдовъ тотчасъ изливаетъ  
на преступныхъ лакеевъ потоки глупой, но яз-  
вительной рѣчи. — «Какое вы имѣете право смѣ-  
яться на этомъ господиномъ сидѣть съ нимъ ря-  
домъ, когда онъ—гость, а вы—лакей? Отчего вы  
не смѣялись надо мной нынче за обѣдомъ (лакей  
могъ-бы на это отвѣчать: я тогда еще не зналъ,  
что вы—такой шутъ гороховой) и не сажались со

мною рядомъ? Оттого, что онъ бѣдно одѣтъ и  
поетъ на улицѣ, а на мнѣ хорошее платье? Отъ  
этого? Онъ бѣденъ, но въ тысячу разъ лучше  
васъ, въ этомъ я увѣренъ; потому что онъ ни-  
кого не оскорбитъ, а вы оскорбляете его. — Да  
я ничего, что вы,—робко отвѣчалъ мой врагъ-  
лакей. — Развѣ я имѣю ему сидѣть? — Лакей не  
понималъ меня, и моя нѣмецкая рѣчь пропадала  
даромъ.» Последнее предложеніе Нехлюдова со-  
вершенно несправедливо. Судя по отвѣту лакея,  
можно утверждать, напротивъ того, что онъ пре-  
восходно понималъ и даже разбилъ на голову на-  
шего свирѣпаго оратора. Вѣдь въ самомъ дѣлѣ  
вся рѣчь Нехлюдова имѣла-бы хоть какой-ни-  
будь смыслъ только въ томъ случаѣ, когда-бы  
лакей имѣлъ пѣвцу сидѣть. А иначе Нехлю-  
довъ попадаетъ въ безвыходное противорѣчіе.  
Ставъ уличнаго пѣвца на ряду съ блестящими  
гостями Швейцергофа, онъ уничтожаетъ сослов-  
ныя перегородки, а потомъ онъ тотчасъ во имя  
этихъ уничтоженныхъ перегородокъ кричать на  
лакеевъ и приказываетъ имъ встать. Это еще  
гораздо глупѣе ситниковскаго восклицанія: «на-  
дѣньте шапки, дураки!» — Кромѣ того само со-  
бой разумѣется, что эта сцена испортила пѣвцу  
все удовольствіе выпивки. Онъ самымъ жалоб-  
нымъ образомъ начинаетъ проситься домой, но  
Нехлюдовъ только что вошелъ въ настоящій вкусъ  
той кипящей злобы негодованія, которой онъ  
любитъ угощать самого себя. Онъ съ сильнымъ  
нахальствомъ гаситъ бѣднаго пѣвца на новыя  
мытарства. Выпилъ, дескать, каналья, такъ утѣ-  
шай барина до самаго конца. Соотечественникъ  
нашъ требуетъ, чтобы его вмѣстѣ съ пѣвцомъ  
вели въ парадную залу. Въ рѣчи, которую онъ  
произноситъ по этому поводу, есть и политика,  
и нравственная философія, и поэтическіе обра-  
зы, и арифметическія соображенія. «И отчего  
вы привели меня съ этимъ господиномъ въ эту,  
а не въ ту залу? А? — допрашивалъ я швейцара,  
ухвативъ его за руку съ тѣмъ, чтобы онъ не  
ушелъ отъ меня. — Какое вы имѣли право по виду  
рѣшать, что этотъ господинъ долженъ быть въ  
этой, а не въ той залѣ? Развѣ, кто платитъ, не  
все равны въ гостиницахъ? Не только въ рес-  
публикѣ, но во всемъ мірѣ. Паршивая ваша рес-  
публика!.. Вотъ оно равенство. Англичанъ вы-  
бы не смѣли провести въ эту комнату, тѣхъ са-  
мыхъ англичанъ, которые даромъ слушали этого  
господина, то-есть украли у него каждый по нѣ-  
сколько сантимовъ, которые должно были дать  
ему. Какъ вы смѣли указать эту залу?»

Если вы представите себѣ, что вся эта бурда  
хорошихъ словъ была вылита на голову не-  
счастливаго швейцара, котораго держать за руку,  
чтобы онъ не ушелъ, то вы вѣроятно согла-  
ситесь, что можетъ быть никогда еще типъ  
неисправимаго фразера или безтолковаго идеа-  
листа не являлся передъ вами въ болѣе смѣш-  
номъ и печальномъ положеніи. — Не забудьте,

что это положеніе вытекает самымъ естественнымъ образомъ изъ всѣхъ, уже извѣстныхъ намъ подробностей о воспитаніи и изъ прежней дѣятельности Нехлюдова, не забудьте, что мы, по повѣстямъ Толстого, можемъ прослѣдить шагъ за шагомъ формированіе этого страшно-болѣзненного характера, не забудьте всего этого, говорю я, и тогда только вы убѣдитесь въ томъ, что повѣсти Толстого дѣйствительно заслуживаютъ самаго внимательнаго изученія. — Нехлюдовъ одерживаетъ побѣду надъ лакеями и входитъ триумфаторомъ въ парадную залу. «Зала была дѣйствительно отперта, освѣщена и за однимъ изъ столовъ сидѣли, ужиная, англичанки съ дамой. Несмотря на то, что намъ указывали особый столъ, я съ грязнымъ пѣвцомъ подсѣлъ къ самому англичанину и велѣлъ сюда подать намъ неконченную бутылку.» Нехлюдовъ злится на англичанъ за ихъ чванство и за то, что они ничего не дали пѣвцу. Онъ хочетъ имъ сдѣлать какую-нибудь непріятность и для этого пускаетъ въ ходъ своего пѣвца, какъ комокъ грязи, который онъ кладетъ чуть-чуть не на тарелку ужинающихъ англичанъ. Англичане очень неправы; съ ихъ стороны очень не похвально брезгать человѣкомъ, потому что этотъ человѣкъ бѣденъ. Но Нехлюдовъ, вступающійся за этого бѣднаго человѣка, унижаетъ и тиранитъ его еще гораздо сильнѣе; вы представьте себѣ только, каково должно быть положеніе пѣвца, котораго превратили такимъ образомъ въ пассивное орудіе, и притомъ — въ орудіе наказанія. Его присутствіемъ наказываютъ другихъ людей; согласитесь, что трудно вообразить себѣ что-нибудь глупѣе и мучительнѣе его роли, и Нехлюдовъ самъ сознается, что бѣдный пѣвецъ сидѣлъ въ парадной залѣ «ни живъ, ни мертвъ» и торопливо допилъ все, что оставалось въ бутылкѣ, лишь-бы только поскорѣе выбраться вонъ. А тѣ англичане, которыхъ Нехлюдовъ хотѣлъ наказывать, разумѣется, тотчасъ-же ушли изъ залы, такъ что вся мучительная непріятность положенія обрушилась исключительно на несчастную причину торжества, то-есть на бѣднаго пѣвца, которому Нехлюдовъ хотѣлъ сначала доставить удовольствіе.

Вѣдь есть-же въ самомъ дѣлѣ такіе люди, у которыхъ мысль не можетъ ни на минуту остановиться на одномъ предметѣ и которые вслѣдствіе этихъ изумительныхъ скачковъ своей мысли не могутъ довести до конца самаго простаго дѣла. И всего замѣчательнѣе въ психологическомъ отношеніи то обстоятельство, что многіе изъ этихъ полупомѣшанныхъ людей, дѣлая поразительныя глупости каждый божій день, съ ранняго утра до поздней ночи, въ то-же время никакъ не могутъ быть названы глупыми людьми. Надѣлавъ множество нелѣпостей, эти господа сами начинаютъ разбирать свое диковинное дѣло и обнаруживать въ своемъ анализѣ такъ много наблюдательности, тонкаго юмора и безпощад-

ной ироніи надъ своими собственными ошибками, что вы будете вслушиваться въ ихъ рѣчи съ самымъ напряженнымъ вниманіемъ и съ самымъ сознательнымъ сочувствіемъ. Тотъ самый Нехлюдовъ, который держалъ швейцара за руку, чтобы пожаловаться на паршивость люцернской республики, — тотъ самый Нехлюдовъ, говорю я, черезъ нѣсколько минутъ послѣ ухода несчастнаго пѣвца называетъ свою *княжцую злобу и нелюдованія* — дѣтской и глупой. Тотъ самый Нехлюдовъ описываетъ весь этотъ эпизодъ съ неподражаемымъ отбѣнкомъ грустнаго и задумчиваго юмора. И тотъ-же самый Нехлюдовъ на другой день навѣрное ухитрится сочинить новую нелѣпость, которая опять заставитъ его смѣяться и грустить надъ своей собственной изломанной и искривлявшейся особой.

Глупить и размышлять надъ сдѣланными глупостями, размышлять и потомъ опять глупить — вотъ все внутреннее содержаніе въ жизни людей, подобныхъ Нехлюдову. И нѣтъ такого сильнаго ума, который не пришелъ-бы къ тому-же самому безнадежному положенію, если онъ не воспитаетъ самого себя въ строгой школѣ положительной науки и полезнаго труда. Всѣ мы знаемъ давно, что человѣкъ — существо слабое, безпомощное и несчастное, пока онъ своими единичными силами пробуетъ бороться противъ силъ физической и органической природы, то-есть противъ стихій и противъ дикихъ животныхъ. И тотъ-же самый человѣкъ, соединяя свои силы съ силами другихъ людей, подчиняетъ себѣ воду и вѣтеръ, паръ и электричество, міръ растений и міръ животныхъ. Тотъ-же самый законъ, въ полномъ своемъ объемѣ, прилагается какъ нельзя лучше къ развитію и совершенствованію отдѣльнаго человѣческаго ума. Умъ нашъ не можетъ развернуться правильно, онъ не можетъ даже оставаться крѣпкимъ и здоровымъ, если мы не будемъ соединять силу нашего ума съ умственными силами другихъ людей. Въ общечеловѣческой наукѣ соединяются всѣ умственные силы всѣхъ отжившихъ и всѣхъ живущихъ поколѣній, и поэтому искать себѣ умственнаго развитія *одинъ* науки — значитъ обречь свой умъ на уродливое, мучительное и неизлечимое безсиліе. Въ этой мысли нѣтъ рѣшительно ничего новаго, но повторять и даже доказывать ее все еще необходимо. Мы были-бы очень умными и очень счастливыми людьми, еслибы многія старыя истины, обратившіяся уже въ пословицы или украшающія собой наши азбуки и прописи, перестали быть для насъ мертвыми и избитыми фразами. Слова наши часто бываютъ очень хорошими словами, но въ томъ-то и горе наше великое, что они навсегда остаются словами, и что мы сами уже давно къ нимъ прислушались и, потерявши всякое довѣріе къ пустому звуку, забыли въ то-же время и основную мысль, вѣчно живую и вѣчно плодотворную.

1865.

## РОМАНЪ КИСЕЙНОЙ ДѢВУШКИ.

(Повѣсти, рассказы и очерки Н. Г. Помяловскаго. Два тома. Спб. 1865 г.)

## I.

Двѣ главныя повѣсти Помяловскаго: «Мѣщанское Счастье» и «Молотовъ», связаны между собой личностью героя, Егора Ивановича Молотова.

Въ первой повѣсти Молотовъ является 22-хлѣтнимъ юношей, только что окончившимъ курсъ въ университетѣ. Во второй—33-хлѣтнимъ мужчиной, достаточно ознакомившимся съ практической жизнью. По своему характеру и по общему складу своей дѣятельности, Молотовъ очень похожъ на Штольца. Существенная разница между ними заключается въ томъ, что ихъ авторы смотрятъ на нихъ съ разныхъ точекъ зрѣнія. Гончаровъ смотритъ на Штольца снизу вверхъ, а Помяловскій на Молотова—сверху внизъ. Гончаровъ относится къ Штольцу съ восторженнымъ благоговѣніемъ, а Помяловскій къ Молотову—съ дружескимъ и нескорбительнымъ состраданіемъ. Гончаровъ говоритъ: «давай намъ Богъ такихъ людей, какъ Штолецъ», а Помяловскій говоритъ: «какъ жаль, что большинство хорошихъ людей принуждено оставаться въ положеніи Молотова!» Для Гончарова Штолецъ есть идеалъ, о которомъ едва позволительно мечтать. Для Помяловскаго Молотовъ есть *типичит*, на которомъ едва-ли позволительно останавливаться. Сами герои смотрятъ на себя такъ, какъ смотрятъ на нихъ ихъ творцы. Штолецъ сіяетъ самодовольствомъ: «Я-ли, дескать, не уменъ, я-ли не великъ, я-ли не полезенъ. Я—солъ земли и спаситель отечества.» Молотовъ, окончательно сформировавшійся, напротивъ того, тихъ, скромнъ, утомленъ и грустенъ. Онъ самъ говоритъ, что его жизнь—честная чичиковщина. О солениіи земли и о спасеніи отечества онъ конечно и не заикается. Именно поэтому Штолецъ—деревянная кукла, а Молотовъ—живой человѣкъ. Деревянность Штольца происходитъ именно оттого, что Гончаровъ нечаянно вложилъ въ него внутреннее противорѣчіе. Штолецъ въ одно и то-же время и уменъ, и глупъ. Уменъ, потому что лихо устраиваетъ свои дѣла и нѣкантино разсуждаетъ о разныхъ психологическихъ тонкостяхъ. Глупъ, потому что усматриваетъ въ себѣ героя и лѣзетъ на пьедесталъ. И получается поэтому въ общемъ результатъ глупо-умная, то-есть невозможная

и деревянная фигура. А Молотовъ постоянно уменъ, и въ практическихъ дѣлахъ, и въ теоретическихъ разсужденіяхъ, и во взглядѣ на свою собственную личность. «Подлости я никакой не сдѣлалъ, — думаетъ онъ, — но мнѣ все-таки грустно и совѣстно быть только не мошенникомъ. Упрекать я себя ни въ чемъ не могу, но и радоваться, и гордиться мнѣ нечѣмъ. Молодымъ дѣтелямъ, которымъ быть-можетъ удастся совершить подвиги *положительной* честности и активной любви, я скажу только: друзья мои, не судите меня строго. Не считайте меня тупеядцемъ и рабомъ лѣнивымъ, зарывшимъ свой талантъ въ землю. Разсмотрите внимательно мою жизнь, поставьте себя на мое мѣсто, взвѣсьте все—и размѣры моихъ силъ, и обстоятельства, и понятія моихъ современниковъ — и тогда вы чего добраго скажете, что я сдѣлалъ все, что могъ сдѣлать. И тогда вы можете-быть съ дружескиаъ чувствомъ пожмете мою руку за то, что я всегда ѣлъ хлѣбъ, заработанный собственнымъ трудомъ. Трудъ мой рѣдко приносилъ пользу обществу, да вѣдь что-же съ этимъ дѣлать? Откуда взять такой трудъ, который былъ-бы дѣйствительно полезенъ? Стоитъ напримѣръ на улицѣ извозчикъ. Каждая копѣйка достается ему тяжелымъ и честнымъ трудомъ. Чтобы привезти вечеромъ домой какихъ-нибудь два цѣлковыхъ, сколько онъ въ день натерпится и отъ снѣга, и отъ пыли, и отъ дождя, и отъ вѣтра, и отъ мороза! А развѣ трудъ его дѣйствительно полезенъ для общества? Развѣ все концы, сдѣланные извозникомъ, дѣйствительно были необходимы? Развѣ силы лошади и человѣка не тратились большей частью на то, чтобы возить праздношатающихся шалопаевъ къ другимъ праздношатающимся шалопаемъ, которые вовсе не желаютъ ихъ видѣть и которые тѣмъ не менѣе считаютъ своей обязанностью выражать въ подобныаъ случаяхъ притворную радость, неспособную обмануть даже маленькихъ дѣтей? — А вѣдь извозчикъ тутъ все-таки ничѣмъ не виновать. — Вотъ и я,—продолжаетъ Молотовъ,—былъ постоянно точно такимъ-же извозникомъ. Титанъ, гений, сильный талантъ пробилъ-бы себѣ дорогу къ общепользному труду. Но я — не гений, не титанъ, даже не сильный талантъ. Я не могу и никогда не могъ сказать людямъ та-

кое слово, которое заставило - бы ихъ глубоко задуматься или очнуться отъ глубокаго сна. Я просто неглупый и вслѣдствіе этого не подлый человѣкъ. И прошу я васъ, молодые дѣтели, только объ одномъ: поставьте меня въ вашемъ мнѣніи не выше и не ниже того извощика, который возить шалопаевъ, но, несмотря на то, обращается совершенно честно и съ хозяиномъ, и съ сѣдоками, и съ лошадыю. Героемъ я себя не считаю, на пьедесталъ не лѣзу, но уваженіемъ умныхъ и честныхъ людей дорожю.»

И дѣйствительно, никакіе молодые дѣтели будущаго времени, никакіе титаны въ мірѣ не имѣютъ возможности смотрѣть съ презрѣніемъ на того обыкновеннаго человѣка, который, подобно Молотову, скромно сознавая свою обыкновенность и понимая невозможность передѣлать обстоятельства обыкновенными и изолпрованными силами, сосредоточилъ все свое вниманіе на той простой задачѣ, чтобы совершенно честно прокормить свою собственную личность. Еслибы Штольцъ былъ возможенъ, то онъ былъ-бы смѣшонъ и гадокъ. Ему надо было-бы дать челочекъ въ носъ, чтобы онъ слетѣлъ съ пьедестала, на который его суконное рыло не даетъ ему ни малѣйшаго права. Молотовъ, напротивъ того, совершенно возможенъ и очень симпатиченъ своей свѣтлой и тихой грустью. Причина его грусти очень понятна. Онъ сознаетъ, что трудъ его безплозенъ для общества. Онъ чувствуетъ, что при другихъ условіяхъ онъ могъ-бы приносить людямъ дѣйствительную пользу. Но создать эти условія онъ не въ состоянъ. Для этого нужно, чтобы общество, глубоко проникнутое инстинктивнымъ стремленіемъ къ новой жизни, воплотило эти стремленія въ гениальной личности; чтобы эта личность своей дѣятельностью сгруппировала и осмыслила разрозненные силы многихъ честныхъ и не глупыхъ людей, подобныхъ Молотову; чтобы эти соединенныя силы дружно взялись за работу и превратили инстинктивное стремленіе общества въ разумный планъ и въ живое дѣло. Тогда Молотовъ былъ-бы веселъ и счастливъ. Онъ бы могъ все-таки остаться-бы чернорабочимъ; но какое счастье быть чернорабочимъ въ томъ дѣлѣ, которое любишь, уважаешь и понимаешь во всѣхъ его подробностяхъ и послѣдствіяхъ! Кто читалъ превосходный романъ Шпилягагена «Два поколѣнія», тотъ, разумѣется, помнигъ чернорабочаго Кауса, который, сломавши себѣ правую руку, продержалъ лѣвой рукой корректуру длинной передовой статьи «in praesidentem». Въ каждомъ дѣлѣ такіе чернорабочіе дѣйствительно возможны. И каждому дѣлу такіе чернорабочіе безусловно необходимы.

## II.

Помяловскій въ своихъ двухъ повѣстяхъ хотѣлъ показать, какимъ образомъ жизнь легоньку щупаетъ ребра умному и развитому про-

летарію и какимъ образомъ пролетарій, опираясь исключительно на силы своего развитого ума, можетъ, несмотря на всѣ медвѣжьи лапки жизни, остаться свѣжимъ, неискалеченнымъ и неразвращеннымъ человѣкомъ. «Среда заѣла», «жизнь изломала», «обстоятельства погубили!»—все это мы слышали много разъ, все это повторялось и кстати, и некстати такъ часто, что все это превратилось наконецъ въ совершенно вывѣтрившуюся и очень вредную фразу. Сначала слова эти произносились умными людьми, размысливавшими объ участи другихъ умныхъ людей, потрудившихся на своемъ вѣку и сошедшихъ въ преждевременную могилу, не сдѣлавъ въ жизни того, что они хотѣли и могли-бы сдѣлать при болѣе благоприятныхъ условіяхъ. Тогда эти слова имѣли смыслъ. Тогда человѣкъ, произносившій эти слова, зналъ очень досконально, путемъ наблюденія и даже личнаго опыта, что это за штука *среда*, и *жизнь*, и *обстоятельства*, и по какимъ причинамъ, и какими средствами, и для какой цѣли производятся разныя *заѣданія*, *ломанія* и *погубленія* людей умныхъ и много потрудившихся на своемъ вѣку. Умные люди, произносившіе слова, всегда прилагали ихъ къ какому-нибудь третьему лицу, сошедшему со сцены. Но слова эти спустились въ низшіе слои умственнаго міра, и тогда — «пошла писать губернія». Определенный смыслъ словъ выдохся, и дриблѣе людишки стали этими словами заживо читать себѣ отходную. «Меня заѣла среда» — говорилъ какой-нибудь Поздrevъ, воротившись съ ярмарки съ опустошеннымъ карманомъ и съ ошпаннанными бакенбардами. «Меня изломала жизнь» — тоскливо произносилъ Тряпичкинъ, когда какая-нибудь редакція возвращала ему въ цѣлости толстыя книжки его безграмотныхъ повѣстей и стихотвореній. «Меня погубили обстоятельства» — сладко и тожно твердилъ лейтенантъ Миевакинъ, которому какая-нибудь Милицтриса Кпрбитьевна наплевала за излишнюю предприимчивость въ его тусклые, бараньи глаза. И уѣздные города, и резиденціи сельскихъ джентльменовъ на всемъ пространствѣ нашего обширнаго отечества переполнились людьми заѣденными, погубленными и изломанными, которые однако, несмотря на весь трагизмъ своего положенія, ѣли, пили, спали, жирѣли и тупѣли во всю свою волю.

О, достойные сограждане! О, филейныя части человѣчества! Развѣ вы чѣмъ-нибудь отличаетесь отъ среды, жизни и обстоятельствъ, на которые вы такъ бессмысленно жалуетесь? И развѣ можетъ какая-нибудь сила въ мірѣ заѣсть, изломать или погубить то, что рыхло, мягко, дрябло и жирно, подобно вамъ? И какой-же человѣкъ, дѣйствительно способный почувствовать на своей особѣ медвѣжью лапу жизни, среды и обстоятельствъ, скажетъ когда-нибудь: *меня заѣли*, *изломали* или *погубили*? Самому признать себя заѣденнымъ, изломаннымъ и погубленнымъ — зна-

читъ заживо лечь въ могилу, значить бѣжать съ пашни на лежанку въ то время, когда работают сохи и бороны честныхъ и умныхъ сосѣдей, друзей и родственниковъ. Пока человѣкъ живъ, до тѣхъ поръ онъ борется и не признаетъ себя побѣжденнымъ; если онъ бѣденъ—онъ трудится, то-есть борется съ своей бѣдностью; если онъ неучъ—онъ учится, то-есть борется съ своимъ невѣжествомъ; если онъ боленъ—онъ лечится, то-есть борется съ своей болѣзнию. Борьба продолжается до тѣхъ поръ, пока человѣкъ не одерживаетъ побѣды надъ своимъ врагомъ, или до тѣхъ поръ, пока онъ самъ не падаетъ замертво на полѣ сраженія. Въ первомъ случаѣ человѣку не зачѣмъ говорить о своей изломанности или заѣденности; тутъ онъ самъ, напротивъ того, погубилъ, заѣлъ и изломалъ то, что мѣшало ему быть счастливымъ. А во второмъ случаѣ человѣку, упавшему замертво, уже некогда осыпать свою могилу цвѣтами сочувственнаго краснорѣчія; надгробное слово произнесутъ надъ нимъ другіе люди. Такимъ образомъ люди умные и энергическіе борются до конца, а люди пустые и никуда негодные подчиняются безъ малѣйшей борьбы всѣмъ мелкимъ случайностямъ своего бессмысленнаго существованія.

Надо сказать правду: люди вполне умные и люди безнадежно пустые во всѣхъ человѣческихъ обществахъ почти одинаково рѣдки. Огромное большинство состоитъ вездѣ изъ людей посредственныхъ, которые съ одной стороны пороку не выдумаютъ, но съ другой стороны, по выраженію Щедрина, салныхъ свѣч не ѣдятъ, стекломъ не утираются. Эти люди могутъ быть дѣльными или праздными, гуманными или жестокими, полезными или вредными, смотря по тому, въ какую сторону направляется въ данную эпоху господствующее теченіе идей. Ходячія фразы имѣютъ значительное вліяніе на это человѣческое стадо, и важнѣйшая задача здоровой и честной литературы заключается именно въ томъ, чтобы всегда пускать въ обращеніе такіе фразы, которыя въ данную минуту могутъ дѣйствовать благотворно на умъ и на волю безцвѣтныхъ и несамостоятельныхъ людей, составляющихъ большинство. При этомъ надо умѣть въ-время мѣнять эти фразы, чтобы онѣ не застывали и не покрывались плѣсенью. Это производствіе и передвиженіе общепользовныхъ фразъ составляетъ прямую обязанность беллетристики и часто литературной критики, то-есть тѣхъ отраслей словесности, которыя всего ближе прикасаются къ чувствамъ, интересамъ и условіямъ частной нравственности и будничной жизни.

Читатель не долженъ смущаться словомъ *фраза*. Каждая фраза появляется на свѣтъ, какъ форхуда или вывѣска какой-нибудь идеи, имѣющей болѣе или менѣе серьезное значеніе; только впоследствии, подъ руками безцвѣтныхъ личностей, фраза опомляется и превращается въ гряз-

ную и вредную тряпку, подъ которой скрывается пустота или нелѣзность. Даровитые писатели чувствуютъ тотчасъ, что формула выдохлась и что пора выдвинуть на ея мѣсто новый пароль.

Я показалъ въ началѣ этой главы, какимъ образомъ фразы о средѣ, о жизни и объ обстоятельствахъ, имѣвшія сначала глубокой смыслъ, превратились понемногу въ нелѣзность, прикрывающую собой лѣнь и негодность дряблыхъ тунеядцевъ. Помяловскій своимъ здоровымъ чувствомъ и свѣтлымъ умомъ понималъ какъ нельзя лучше, что пора поворотить потокъ фразъ въ другую сторону. До Помяловскаго эта потребность чувствовалась многими изъ нашихъ лучшихъ беллетристовъ. Самая полезная сторона въ дѣятельности Тургенева клонилась именно къ тому, чтобы изобразить внутреннее ничтожество нашихъ домашнихъ Гамлетовъ, праздно толкующихъ о вредномъ вліяніи жизни, среды и обстоятельствъ. Большая часть тургеневскихъ повѣстей говорить ясно и выразительно: тѣ люди, которые жалуются на свое безсиліе, никуда не годятся. Къ этому сужденію Помяловскій своимъ двумя повѣстями прибавлялъ естественное продолженіе: а тѣ люди, которые на что-нибудь годятся, борются съ неблагоприятными обстоятельствами и по меньшей мѣрѣ умѣютъ отстоять противъ нихъ свое собственное нравственное достоинство.—И каждый здоровый и неглупый человѣкъ скажетъ на это съ полнымъ убѣжденіемъ: правда твоя, честный и даровитый труженикъ; правда твоя, бѣдный и забитый бурсакъ, умѣвший счесть съ своего ума и съ своего чувства всю грязь, наложенную на нихъ бурсацкими розгами! И спасибо тебѣ, Помяловскій, за то, что ты сильнымъ и убѣдительнымъ своимъ словомъ заступился рѣшительно за святыню челоѣческой личности, въ силѣ которой усомнились слабые и охотники оплакивать несовершенство жизни, среды и обстоятельствъ!

Человѣкъ—продуктъ среды и жизни, но жизнь въ то-же время вкладываетъ въ него активную силу, которая не можетъ быть мертвымъ капиталомъ для существа дѣятельнаго. Жизнь—дѣло въ высшей степени прогрессивное, и главныя двигательныя пружины ея прогресса сосредоточиваются въ мысляхъ и стремленіяхъ лучшихъ, то-есть самыхъ здоровыхъ и нормально организованныхъ представителей нашей породы. Поэтому, склоняясь передъ неизбежными законами вѣчной природы, современный мыслитель продолжаетъ сознательно вѣрять въ преобразующія и обновляющія силы челоѣческаго ума. Все должно быть такъ, какъ есть въ дѣйствительности. Согласенъ. Но если я недоволенъ тѣмъ, что я вижу вокругъ себя, то и недовольство мое также должно быть и не можетъ не существовать. Если мое недовольство наводитъ меня на рядъ размышленій и поступковъ, то и размышленія, и поступки входятъ также въ об-

щій планъ природы. Стало-быть, сознавать необходимость всѣхъ явленій, совершающихся въ природѣ, совсѣмъ не значить складывать руки и погружаться въ факирское созерцаніе. Я—также явленіе: и если я чего-нибудь хочу, ищеть, домогаюсь, то зачѣмъ-же стѣснять его естественныя стремленія?

### III.

Помяловскій хотѣлъ представить въ Молотовѣ умнаго и развитога пролетарія безъ всякой примѣси сословныхъ элементовъ или предразсудковъ. Молотовъ—человѣкъ, совершенно оторванный отъ всякой почвы, у него—никогда, ни двора, ни родныхъ, ни покровителей, совсѣмъ ничего нѣтъ, кромѣ умной головы и двухъ здоровыхъ рукъ. «А гдѣ-же тѣ липы,—спрашиваетъ у себя Молотовъ,—подъ которыми прошло мое дѣтство? Нѣтъ тѣхъ липъ, да и не было никогда.» Молотовъ—сынъ бѣднаго мѣщанина, слесаря, одного изъ тѣхъ одинокихъ бобылей, которые очень нерѣдки въ сословіи ремесленниковъ. Жизнь его съ отцомъ шла не очень дурно. Отецъ былъ малый добрый, и маленький Егорка не чувствовалъ передъ нимъ никакого рабскаго страха. «Мальчишъ свободно относился къ отцу, точно взрослый, да и живетъ онъ дома не безъ пользы: онъ и въ лавочку сбѣгаетъ, и заказъ отнесетъ, съумѣетъ и кашу сварить, и инструментъ отточить, и пьянаго отца раздѣнетъ, спяща уложить, да еще приговариваетъ:

«— Ну, ложись!... ишь ты нарѣзался...

«— Молчи, Егорка!

«— Ладно, не разговаривай, лежи себѣ.

«Вотъ въ подобныхъ случаяхъ выпадали гяже-лыя минуты въ жизни Егорки. Иногда придетъ отецъ сильно пьяный, злой, непокладный, и ни съ того, ни съ другого поколотитъ сына.

«— Не озорничай, тятка!.. чортъ этакой!.. право чортъ!—отвѣчаетъ ему сынъ.

«— Врешь, каналья, врешь!.. Я тебѣ овчину-то натреплю...

«При этомъ отецъ ловитъ Егорку за вилоръ и бьетъ его. На другой день отецъ все припомнитъ: ему совѣстно, онъ не знаетъ, какъ и взглянуть на Егорку, какъ приступить къ нему. Отецъ молчитъ и сынъ молчитъ; у обоихъ лица пасмурныя. Подъ вечеръ, взглянувъ изъ подлѣбя, отецъ сказалъ:

«— Полно, Егорка; ну, тебя...

«— А! теперь и рожу въ сторону!... стыдно, небось, стало?.. а ты не дерись!...

«— Да ну, тебя...

«— Ишь нарѣзался, на стѣны лѣзеть!

«Отецъ замолчалъ. Прошло нѣсколько мучительныхъ минутъ. Отецъ тяжело вздохнулъ на всю комнату. Егорка взглянулъ сердито и сказалъ:

«— Въ лавочку, что-ли, надо? давай! Чего молчишь-то? тутъ нечего молчать!

«Такая уступка со стороны Егорки служила шагомъ къ примиренію, и у отца отлегло отъ

сердца.» «Дѣтская жизнь Егора Ивановича,—говоритъ Помяловскій въ другомъ мѣстѣ,—совершалась въ грязи, въ бѣдности, а вотъ и теперь онъ вспоминаетъ ее съ добрымъ чувствомъ.» И не мудрено. Каждый читатель, непритупленный фразами грошоваго либерализма, согласится, что отношенія между Егоркой и его отцомъ были такъ просты, естественны и здоровы, что они должны были дѣйствовать самымъ живительнымъ образомъ на первоначальное развитіе физическихъ и даже умственныхъ силъ дѣтскаго организма. Трепаніе овчины, разумѣется, не заключаетъ въ себѣ ничего прелестнаго и душе-спасительнаго, но вѣдь это нѣчто вродѣ лѣтнаго дождя, совершенно неспособнаго превратить ясную погоду въ пасмурную. А общій колоритъ отношеній совершенно ясенъ и свѣтелъ. Хорошо въ нихъ именно отсутствіе педагогическихъ тенденцій. Отецъ совсѣмъ не воспитываетъ своего Егорку, не муштруетъ его, ничего ему не внушаетъ; онъ просто живетъ съ нимъ, кормитъ, одѣваетъ и защищаетъ его; а затѣмъ молодому организму, укрытому отъ слишкомъ тяжелыхъ столкновеній съ голодомъ, съ холодомъ, съ грубостью постороннихъ людей,—предоставляется полная свобода жить дѣйствительной жизнью, воспринимая «всѣ впечатлѣнія бытія», доступныя людямъ его соціальнаго положенія. Между жизнью и ребенкомъ нѣтъ той нелѣпой стѣны, которой тщательно обносятся со всѣхъ сторонъ благосчитываемыя дѣти. Егорка собственными глазами смотритъ на подробности своего быта, собственными ушами слушаетъ разные толки, умные и глупые, и собственнымъ, неспорченнымъ ребяческимъ разсудкомъ составляетъ себѣ понятія о томъ, что хорошо и что дурно, что полезно и что вредно, что правда и что вранье. Ошибается онъ часто, но ошибается самъ. Никакой мудрый педагогъ не завязываетъ ему глазъ и не ведетъ его съ благими цѣлями къ такимъ ошибкамъ, которыя питомецъ рано или поздно непременно долженъ осмѣять и отвергнуть. Въ сердитую или пьяную минуту отецъ задаетъ Егоркѣ выволочку, но онъ никогда не унижаетъ его нравственнаго достоинства и не извращаетъ его самостоятельнаго сужденія непрошеннымъ и насильственнымъ вмѣшательствомъ въ процессы его мысли. Онъ не требуетъ отъ Егорки, чтобы тотъ считалъ его образцовымъ человѣкомъ и непогрѣшимымъ авторитетомъ. Онъ самъ смиренно кается Егоркѣ въ своихъ грѣхахъ. «Отецъ бесѣдовалъ съ Егоркой, какъ со взрослымъ, разговаривалъ обо всемъ, что занимало его: побранился-ли съ кѣмъ, получить-ли новый заказъ, болить-ли у него съ похмелья голова—все разскажетъ сыну.

«— Башка трещитъ, Егорка: вчера хватилъ лишнее. Выростешь, не пей много.

«— Я, тятка, пиво буду пить...

«— И молодецъ!... ты у меня молодецъ вѣдь?



«— Еще-бы? отвѣчаетъ сынъ.»

Откоптивши сына ни за что, ни про что, Иванъ Молотовъ не считаетъ себя правымъ и не требуетъ отъ Егорки, чтобы тотъ лобызалъ карающую десницу. Такіе поношья не унизительны. Когда ребенокъ имѣетъ право дуться на своего отца и когда ему позволено открыто выражать свое неодобреніе и неудовольствіе, тогда ребенокъ не озлобляется и не оподляется. Тяжка его за вихорь, а онъ тятку въ глаза чортомъ выругаетъ: вотъ они и квиты; и къ вечеру опять начинается у нихъ дружелюбіе и глубокомысленныя бесѣды. Отецъ не смотритъ на себя, какъ на деспота *de jure*. Сынъ не смотритъ на себя, какъ на существо безправное и безгласное. Да и вообще, ни отецъ, ни сынъ никакъ не смотрятъ на себя. У нихъ нѣтъ никакой теоріи взаимныхъ правъ, обязанностей и отношеній. Они живутъ въ первобытномъ состояніи, безъ кодекса, и прекрасно дѣлаютъ, потому что кодексъ они при своей незрелости составили-бы прескверный, а по натурѣ оба они—ребята добродушные и, стало-быть, неспособные постоянно нилить и обижать другъ друга. Хорошую теорію правъ, обязанностей и отношеній составить очень трудно, а плохая теорія гораздо хуже, чѣмъ полное отсутствіе всякой теоріи. А сынъ совершеннаго неуча, Ивана Молотова, несравненно свѣжѣе и счастливѣе, чѣмъ семейства богатыхъ и полуграмотныхъ кушцовъ, куралесящихъ въ драматическихъ произведеніяхъ Островскаго. Всѣ нищіе духомъ, всѣ алчущіе и жаждущіе грязи, извѣстной подъ названіемъ почвы, возрадуются и начнутъ уличать насъ, озорниковъ и отрицателей, въ непослѣдовательности. «Вотъ видите, — скажутъ они, — вотъ и вы-же признаете въ русской жизни свѣтлыя явленія. Вотъ и вы-же находите, что воспитаніе Егорки, совершавшееся въ русской бѣдности и въ русской грязи, было здорово и полезно для мальчика.»

Торжество нашихъ близорукихъ противниковъ будетъ очень непродолжительно и повернется точь-въ-точь противъ ихъ-же собственныхъ идей. Я нахожу воспитаніе Егорки здоровымъ и полезнымъ именно потому, что въ немъ нѣтъ никакихъ специально-почвенныхъ элементовъ. Что такое отецъ Егорки? Это — человѣкъ, который трудится цѣлый день, чтобы подъ вечеръ съѣсть горшокъ гречневой каши, и ѣсть онъ горшокъ гречневой каши, чтобы нотомъ опять, проспавши на голыхъ доскахъ нѣсколько часовъ, трудиться цѣлый день. — Если забыть горшокъ каши блюдомъ варенаго картофеля, да если кромѣ того дать въ руки Ивану Молотову менѣе допотопные инструменты, то жизнь Молотова окажется похожей, какъ двѣ капли воды, на жизнь бѣднаго прландца или бѣднаго пѣвца. Трудиться—чтобы ѣсть, ѣсть—чтобы трудиться, та-же исторія и завтра, и послѣ-завтра, и десятки лѣтъ подъ рядъ — съ этимъ, воля ваша, не разгу-

ляешься, и о созданіи какихъ-нибудь чисто-національных теорій и бытовыхъ формъ не станешь задумываться по той простой причинѣ, что некогда и что національными теоріями нисколько не помогаю челоуѣку ни во время труда, ни во время пицеваренія. Человѣкъ начинаетъ систематизировать свои отношенія къ другимъ людямъ только тогда, когда у него является досугъ и когда его умственные силы не поглощаются безраздѣльно заботами о кускѣ хлѣба. Первые попытки систематизированія бываютъ обыкновенно такъ же уродливы, какъ вообще всякія первыя попытки. Голый фактъ, самъ по себѣ очень безобразный, возводится безъ дальнѣйшаго анализа въ теоретическій принципъ и черезъ это становится еще безобразнѣе. Взрослый мужчина сильнѣе всѣхъ другихъ членовъ своего семейства и вслѣдствіе этого тузитъ ихъ кулакомъ или плетью. Когда начинается систематизированіе отношеній, тогда мужчина говоритъ: я имѣю право и на мнѣ лежатъ даже священныя обязанности учить васъ, дураковъ. — Когда поношья перестаютъ такимъ образомъ быть дѣломъ свободной фантазіи и принимаютъ на себя догматически-обязательный характеръ, тогда положеніе подначальныхъ членовъ семейства становится гораздо хуже прежняго, потому что малѣйшее возраженіе съ ихъ стороны и малѣйшая попытка защищаться встрѣчается имъ по теоріи въ преступленіе, заслуживающее усугубленнаго наказанія.

И—не такой знатокъ русскаго быта, чтобы я могъ выдавать мои соображенія за достовѣрные факты, но мнѣ кажется, что систематическое порабощеніе женщинъ и дѣтей гораздо значителнѣе въ семейной жизни достаточнаго купечества, чѣмъ въ семейной жизни бѣдныхъ крестьянъ и мѣщанъ, принужденныхъ постоянно работать изъ-за куска насущнаго хлѣба. Въ бѣдномъ семействѣ главная задача состоитъ постоянно въ томъ, чтобы общими силами бороться противъ голода и холода; жизнью бѣднаго семейства управляютъ не принципы, а ежедневныя толчки суроной необходимости. И мужъ, и жена, и дѣти—всѣ должны работать, и работать часто врознь; каждый членъ семейства является такимъ образомъ до нѣкоторой степени самостоятельнымъ производителемъ; онъ самъ высматриваетъ свои выгоды, самъ принаровняется къ обстоятельствамъ, самъ отвѣчаетъ за свои поступки. Трудъ иногда изнуряетъ его силы, но тотъ-же трудъ обезпечиваетъ за нимъ нѣкоторую долю неотъемлемой самостоятельности. Въ семействѣ русскаго капиталиста, крупнаго или мелкаго, еще нетронутаго общечеловѣческимъ образованіемъ, жизнь складывается иначе. Отецъ семейства кормитъ всѣхъ своихъ домохозяевъ процентами съ своего капитала и держитъ ихъ въ самой полной экономической зависимости. Кромѣ того кусокъ хлѣба всегда обезпеченъ, и

потому живутъ эти люди не такъ, какъ велятъ жить обстоятельства, а — такъ, какъ сами они считаютъ должнымъ и приличнымъ, то-есть — такъ, какъ жили отцы и дѣды. Поэтому жизнь достаточнаго русскаго человѣка, не увлекшагося грѣховными прелестями лукаваго Запада, представляетъ собой самый грязный и самый мрачный уголокъ нашего отечественнаго быта. Тутъ нѣтъ ни физическаго труда, ни знанія, то-есть нѣтъ именно тѣхъ двухъ элементовъ, которые одни только и могутъ сохранить человѣческую природу отъ полнѣйшей деморализаціи.

Тотъ слой нашего общества, который выведенъ на свѣжую воду комедіями Островскаго, составляетъ дѣйствительно самое темное пятно среди множества темныхъ явленій нашей народной жизни. Это — темное пятно именно потому, что въ немъ могли сохраниться въ полнѣйшей неприкосновенности принципы, выработанные русской жизнью и нашедшіе себѣ превосходное выраженіе въ извѣстномъ Домостроѣ попа Сильвестра. Съ этимъ темнымъ пятномъ цѣлуются и обнимаются славянофилы и почвенники; но, увы и ахъ! Это темное пятно съ каждымъ десятилѣтіемъ становится меньше. Сверху на него давить европейская или общечеловѣческая наука; снизу его тормошатъ и подтачиваютъ запросы физическаго труда; то-есть, говоря проще, очень богатые капиталисты посылаютъ своихъ дѣтей въ университеты, а очень бѣдные поневолѣ берутся за ремесло и начинаютъ жить со дня на день, заботясь не столько о неприкосновенности дѣдовскихъ нравовъ, сколько о насыщеніи вопіющихъ желудковъ. Съ этимъ темнымъ пятномъ русской жизни совсѣмъ спеціально-скверными особенностями почвы воспитаніе Егора Молотова не имѣло ничего общаго. По смерти своего отца маленькаго Егорку взялъ къ себѣ на воспитаніе старый холостякъ, отставной профессоръ. Молотовъ прошелъ черезъ гимназію и черезъ университетъ и такимъ образомъ присоединился къ той небольшой горсти мыслящихъ пролетаріевъ, которые ничѣмъ не связаны съ почвой и которые по своему положенію и образованію могутъ относиться совершенно безпристрастно ко всему въ нашей общественной жизни.

#### IV.

Слишкомъ двадцать лѣтъ жизнь обращалась съ Молотовымъ довольно милостиво. Она не баловала его излишней роскошью, но и не томила его суровой нуждой. Помяловскому было необходимо обогатить первую молодость своего героя такими благопріятными условиями. Но размѣрамъ своихъ умственныхъ силъ, Молотовъ — человѣкъ обыкновенный. Еслибы такой человѣкъ съ дѣтства былъ поставленъ въ необходимость страдать и бороться за свою нравственную самостоятель-

ность, то онъ не выдержалъ бы такой ранней и тяжелой борьбы; онъ превратился-бы въ чело-вѣка забитаго, притупленнаго и развращеннаго. Самъ Помяловскій вышелъ побѣдителемъ изъ своей четырнадцатилѣтней борьбы съ бурсой, но для этого надо быть Помяловскимъ, да и Помяловскій, несмотря на атлетическое сложеніе своего тѣла и своего ума, вынесъ съ собой изъ бурсы роковое наслѣдство — ѣдкую и неизлечимую печаль о потерянномъ времени и, что еще того хуже, несчастную привычку топить эти невыносимо-тяжелыя ощущенія въ простомъ винѣ. Но Помяловскій не хотѣлъ и не могъ мѣрять людей и жизнь на свой аршинъ. Что могъ сдѣлать Помяловскій, то оказалось-бы по силамъ только немногимъ избраннымъ личностямъ. Еслибы Помяловскій въ лицѣ Молотова вздумалъ изобразить самого себя, то его произведеніе не имѣло-бы того практическаго смысла, который оно имѣетъ теперь. Тогда обыкновенные люди имѣли-бы право сказать, что жизнь Молотова ни въ какомъ отношеніи не можетъ служить имъ урокомъ и примѣромъ. Мы — люди маленькіе, сказали-бы они, а Молотовъ — вонъ какой большой. Надо было непременно, чтобы Молотовъ былъ человѣкомъ обыкновеннаго роста. Надо было, чтобы борьба съ жизнью началась для него только тогда, когда физическія и нравственныя его силы были уже совершенно сформированы.

Повѣсть «Мѣщанское Счастье» представляетъ именно первое суровое столкновеніе юнаго Молотова съ шероховатостями вседневной дѣйствительности. Въ «Мѣщанскомъ Счастьѣ» онъ узнаетъ на практикѣ двѣ житейскія истины: во-первыхъ, что поступками людей управляютъ въ общій сложности не чувства, а интересы, и, во-вторыхъ, что очень мягкій и любящій человѣкъ можетъ иногда грубо и безжалостно наступить ногой на живое человѣческое тѣло, способное чувствовать самую жгучую боль. — Первую истину выясняютъ ему помѣщикъ Обросимовъ и его супруга. Вторую — почерпаетъ онъ изъ своихъ отношеній къ кисейной дѣвушкѣ, Лепочкѣ. Дѣло Молотова съ семействомъ Обросимовыхъ чрезвычайно просто, и только на мягкаго двадцатилѣтняго юношу, совершенно непотертаго жизнью, оно могло произвести прочное впечатлѣніе. Молотовъ поступилъ къ Обросимову домашнимъ секретаремъ; его хозяева, люди вовсе не грубые и не злые, обращались съ нимъ вѣжливо и ласково; Молотовъ съ искренностью, свойственной его лѣтамъ, привязался къ нимъ очень скоро и вообразилъ себѣ, что они тоже ужасно какъ любятъ его и видятъ въ немъ задушевнаго друга и почти родственника. На повѣрку-же выходитъ то, чего всегда слѣдовало ожидать. Обросимовы смотрятъ на него, какъ на наемника, изучаютъ внимательно и хладнокровно выгодныя и невыгодныя сто-

роны его характера, критикуютъ въ своемъ кругу его привычки, держать съ нимъ ухо востро и тщательно наблюдаютъ за тѣмъ, чтобы онъ исполнялъ за свое ничтожное жалованье какъ можно болѣе разнообразнѣйшихъ порученій, за которыя Молотовъ, по своей юношеской наивности, берется даже съ особеннымъ удовольствіемъ, усматривая въ этихъ порученіяхъ доказательства дружеской безцеремонности и откровенности. — Одинъ простой разговоръ между помѣщикомъ и помѣщицей, нечаянно услышанный Молотовымъ, разрушилъ совершенно въ его глазахъ фантастическую идиллію обросимовскаго дружелюбія. Выписывая отрывокъ изъ этого очень безобиднаго діалога.

«— Они, я говорю, — образованный народъ, продолжала жена: — но все-таки народъ чернорабочій, и все какъ будто подачки ждутъ...

— Что-же? можно сдѣлать ему подарокъ какой-нибудь. Онъ стоитъ того.

— Я думаю, часы подарить...

— Это привяжетъ его.. А что ни говори, жена, — эти плебеи, такъ или иначе пробивающіе себѣ дорогу, вотъ сколько я ни встрѣчалъ ихъ, удивительно дѣльный и умный народъ... Семинаристы, мѣщане, весь этотъ мелкій людъ — всегда способные, ловкіе господа.

— Ахъ, душенька, всѣ голодные люди умные... Ты — дворянинъ, тебѣ не нужно было правдой и неправдой насущный хлѣбъ добывать; а этотъ народецъ изъ всего долженъ выжимать копѣйку. И посмотри, какъ онъ ѣстъ много. Намъ, разумеется, не жалъ этого добра; но... постоянный его аппетитъ обнаруживаетъ въ немъ плебея, чело-вѣка, воспитаннаго въ черномъ тѣлѣ и невиданнаго порядочнаго блюда... Не худо-бы подарить ему, душенька, голландскаго полотна, а то, представь себѣ, по буднямъ манишки носить, — вѣдь неприлично!...

— Я не замѣчалъ этого...

— Гдѣ-жъ вамъ, мужчинамъ, замѣтить...

— О бѣдность, бѣдность! — сказалъ со вздохомъ Обросимовъ.»

Разговоръ этотъ замѣчателенъ во многихъ отношеніяхъ. Но прежде чѣмъ я буду разсматривать его въ подробностяхъ, я замѣчу мимоходомъ, что не только Молотовъ, но даже самъ Помяловскій смотритъ на этотъ разговоръ не совсемъ вѣрно. Юный Молотовъ обидѣлся, захандрилъ, укротилъ свой демократическій аппетитъ и даже вскорѣ послѣ того уѣхалъ отъ Обросимовыхъ. Это все понятно. Молотовъ пылалъ любовью и уваженіемъ къ Обросимову и вдругъ вмѣсто взаимности увидѣлъ въ перспективѣ кусокъ голландскаго полотна и часы. И пришлось юношѣ, влюбленному въ добродѣтельнаго помѣщика, сказать вмѣстѣ съ Шиллеромъ:

«Er ist dahin, der süsse Glaube  
An Wesen, die mein Traum gebär,  
Der rauhen Wirklichkeit zum Raube,  
Was einst so schön, so göttlich war.»

(Она погибла, сладкая вѣра въ существа, порожденныя моей мечтой, и добычей суровой дѣйствительности сдѣлалось то, что было такъ прекрасно, такъ божественно.) Все это понятно. Но странно то, что слишкомъ десять лѣтъ спустя

опытный и разсудительный мужчина Молотовъ, припоминая этотъ случай, говорить: помѣщикъ оскорбилъ меня, приходилось оставить мѣсто. Въ сущности оскорбленія не произошло ни малѣйшаго; помѣщикъ оказался только не «прекраснымъ» и не «божественнымъ», и добродѣтели этого помѣщика, сочиненныя самимъ Молотовымъ, сдѣлались, подобно шиллеровскимъ идеаламъ, «добычей суровой дѣйствительности». А вѣдь разочарованіе и оскорбленіе — двѣ вещи совершенно различныя. Изъ нѣкоторыхъ очень умныхъ разсужденій Помяловскаго видно, что онъ выводитъ слова Обросимовыхъ изъ аристократизма, барственной сѣбис, неразвитости и слабоумія. Но мнѣ кажется, что причины ихъ страннаго взгляда на Молотова лежатъ глубже. Такой взглядъ неизбѣженъ вездѣ, гдѣ одинъ чело-вѣкъ нанимаетъ или, другими словами, *покупаетъ на время* другого чело-вѣка.

Весь разговоръ между Обросимовымъ и его женой вытекаетъ естественно и неизбѣжно изъ того обстоятельства, что Обросимовъ — наниматель, а Молотовъ — наемникъ. И будь Обросимовъ умнѣе перваго финансиста въ мірѣ, милсера Глэдстона, все-таки онъ могъ-бы говорить съ своей женой о Молотовѣ такъ, какъ онъ говорилъ въ повѣсти Помяловскаго. Обросимовъ долженъ непремѣнно думать о Молотовѣ такъ: «Я тебя, другъ любезный, купилъ и въ извѣстные сроки аккуратно плачу тебѣ деньги за твою же собственную особу. Ты — малый ловкій; съ одной стороны это хорошо, но съ другой стороны это опасно. Хорошо потому, что купленный мною товаръ вслѣдствіе этого оказывается годнымъ на всякую подѣлку. Опасно потому, что этотъ ловкій и юркій товаръ можетъ ежеминутно выскользнуть у меня изъ рукъ. Ты, о товаръ, можешь надуть меня, ты можешь слишкомъ много отдыхать, отлынивать отъ работы и въ то-же время отводить мнѣ глаза твоей зло-вредной ловкостью. Ты, о товаръ, повидимому чувствуешь ко мнѣ симпатію. Но я — не дуракъ. Я знаю, зачѣмъ ты обнаруживаешь это чувство. Ты собираешься ускользнуть у меня изъ рукъ, ты начинаешь отводить мнѣ глаза, ты хочешь подвести подковы подъ мое чувствительное сердце, чтобы я, распустивши нюни, не мѣшалъ тебѣ бить баклуши и произвелъ тебя изъ купленныхъ товаровъ въ полноправные чело-вѣки. О, шельма ты, шельма! Ловкость твоя мнѣ нравится. На тебѣ привеникъ на водку и ступай, бестія, работать!»

Мы знаемъ уже, что въ исторіи Молотова *привеникъ на водку* принялъ на себя облагороженный видъ голландскаго полотна и часовъ. И все-таки я утверждаю, что во всѣхъ размышленіяхъ Обросимова нѣтъ ничего оскорбительнаго для Молотова. Тутъ нѣтъ столкновенія личностей; тутъ сталкиваются только двѣ отвлеченныя величины — наниматель и наемникъ. Имѣ-

еть-ли Молотовъ какое-нибудь разумное основаніе чувствовать себя, именно *себя*, обиженнымъ, когда съ нимъ обращаются не хуже, чѣмъ со всѣми остальными честными и умными людьми, поставленными въ его положеніе? По моему мнѣнію, — неимѣетъ. Онъ обидѣлся, потому что былъ юнъ; доживши-же до зрѣлага возраста, онъ-бы долженъ былъ осудить безусловно строй отношеній и оправдать также безусловно личность Обросимова.

Въ разговорѣ Обросимова съ женой любопытны двѣ слѣдующія черты: во-первыхъ, замѣчаніе помѣщицы о сильномъ аппетитѣ плебея; во-вторыхъ — восклицаніе помѣщика: «о бѣдность, бѣдность!», вырвавшееся у него по поводу молодоскихъ манишекъ. Есть на свѣтѣ люди, для которыхъ неимѣніе цѣльныхъ голландскихъ рубашекъ составляетъ симптомъ вопиющей бѣдности. Каково, думаютъ такіе люди, этотъ господинъ ѣсть со мной за однимъ столомъ, разговариваетъ со мной, какъ съ равнымъ, и вдругъ — у него нѣтъ голландскаго бѣлья. О, бѣдный, о, несчастный человѣкъ! И какъ близко мы, на ловни судьбы, сталкиваемся въ жизни съ непокрытой нищетою!

Эта тротательная филантропія по поводу манишки показываетъ очень наглядно, до какой степени праздный богачъ можетъ одурѣть и избаловаться и до какой замѣчательной искусственности онъ можетъ довести весь свой образъ жизни. Но закопы природы никогда не нарушаются безпаказанно. Замѣчаніе помѣщицы о плебейскомъ аппетитѣ даетъ намъ понятіе о неизбѣжномъ наказаніи. Аппетитъ убавляется, силы убываютъ, здоровье слабѣетъ, порода мельчаегъ и тунѣетъ въ тѣхъ людяхъ, которые постоянно потребляютъ, не производя ровно ничего и не освѣжаясь никогда живительными волнами физическаго и умственнаго труда. Это — явленіе повсемѣстное.

#### V.

У одной небогатой сосѣдки Обросимовыхъ есть дочь, молодая дѣвушка, Леночка. Эта барышня простодушно заигрываетъ съ Молотовымъ и безъ всякой задней мысли пишетъ къ нему нѣжное письмо, въ которомъ ни съ того, ни съ сего назначаетъ ему любовное свиданіе. Письмо написано такъ: «Егоръ Ивановичъ! У васъ есть чувство, и вы завтра въ 6 часовъ придите на рѣку къ мельницѣ вечеромъ и здѣсь встрѣтите даму и, если любите, узнаете ее; а если нѣтъ, я озабочусь по гробъ вѣрная вамъ и любящая.» Подписи нѣтъ. Молотовъ, юный и застѣнчивый, повергается этимъ письмомъ въ величайшее недоумѣніе. Молодое воображеніе разыгрывается, хотя милая безтолковость письма и фатальная слова: «по гробъ вѣрная и любящая» значительно умѣряютъ его порывы. Онъ приходитъ къ названному мѣсту очень сконфуженный и конфу-

зится еще сильнѣе, увидѣвъ Леночку, которая съ своей стороны уже и сама не рада собственной смѣлости. Выходитъ уморительная сцена. Невинные любовники ведутъ между собой солидный разговоръ о достоинствахъ погоды и затѣмъ расходятся по домамъ, не сказавши другъ другу ни слова о письмѣ и о томъ, зачѣмъ они встрѣтились.

«Странно было смотрѣть на молодыхъ людей. Леночка не менѣе Молотова боялась разговора о письмѣ. Она лишь только увидала Егора Ивановича. ей страшно стало за свой легкомысленный поступокъ, который она, кажется, сдѣлала такъ просто, по штичи»... «Леночка теперь сама поняла, что слѣдовало-бы надрать ей хорошенькое ея ушко»... «Она чуть не плакала и въ первую минуту едва не сказала:

— Егоръ Ивановичъ, не говорите мамашѣ... я больше не буду.» Но увидѣвъ, что Молотовъ едва-ли не больше ея струсилъ, она сказала себѣ: «онъ не страшный, онъ такой добрый», и рада была, что Молотовъ не говоритъ ничего о письмѣ. Теперь она была спокойна.

Егоръ Ивановичъ наклонился и сорвалъ цвѣтокъ.

— Дайте мнѣ цвѣтокъ, — сказала Леночка.

— Извольте.

— Это мнѣ на память.

— Развѣ нельзя помнить безъ цвѣтка?

Молотовъ сорвалъ другой цвѣтокъ. Леночка опять:

— Дайте мнѣ цвѣтокъ.

— И этотъ на память?

— Дайте-же, — сказала Леночка строго, вырвала неожиданно цвѣтокъ и ударила имъ по руцѣ Молотова. Все это сдѣлалось какъ-то ужъ очень наивно. Оба засмѣялись.»

Славная дѣвчонка эта Леночка! Она не ловитъ себѣ жениха, она не кокетничаетъ съ Молотовымъ. Она именно заигрываетъ съ нимъ, какъ здоровая дѣвушка, въ которой близость здороваго и красиваго мужчины возбуждаетъ радостное волненіе. Совершенная непосредственность и неподкрашенность простаго физиологическаго влеченія составляетъ весь секретъ ея граціи. Въ изображеніи этой женской фигуры Помяловскій является чистымъ натуралистомъ. Базаровъ говоритъ о Феничкѣ: «чего ей стыдиться? Она — мать, стало-быть, и права.» Помяловскій смотритъ на Леночку совершенно такъ, какъ Базаровъ на Феничку. Леночка и не развита, и не умна, и не сіяетъ никакими особенными добродѣтелями. Это просто живой и здоровый организмъ, и Помяловскій откровенно любитъ этимъ превосходнымъ произведеніемъ природы; и нельзя не любоваться. Здоровому человѣку свойственно любить жизнь во всѣхъ ея неизуродованныхъ проявленіяхъ. А когда здоровый человѣкъ становится мыслящимъ человѣкомъ, тогда любовь къ міровой жизни дѣлается еще сильнѣе, потому что онъ получаетъ возможность изучать то, чѣмъ онъ прежде безсознательно любовался. Тургеневъ любитъ свою Асю. Помяловскій любитъ свою Леночку. Но Тургеневу, чтобы полюбить Асю, было необходимо сдѣлать изъ нея какое-то особен-

ное, странное, оригинальное и, мнѣ кажется, полу-фантастическое существо. Ему необходимо было окружить ее развалинами прирейнских замковъ, сдѣлать изъ нея эффектную дикарку и показать читателю, что въ ея нетронутомъ умѣ таятся богатые задатки будущаго развитія. Словомъ, мы имѣемъ тутъ дѣло «съ высшей натурой» (*une nature d'élite*), и Тургеневъ ни подъ какимъ видомъ не позволялъ-бы своей Асѣ написать безграмотное *billet-doux* съ подписью «по гробъ вѣрная и любящая». Его покорило-бы отъ этой тривиальности, похожей на поэзію конфектныхъ билетиковъ. Помяловскій, напротивъ того, какъ реалистъ по складу своихъ убѣжденій и какъ совершенно послѣдовательный нлебей, не дѣлитъ людей на высшія и низшія натуры, на дюжинныя и недюжинныя, на пошлыя и изящныя. Онъ совершенно безстрашно подходитъ къ самой мелкой, самой будничной прозѣ жизни, даже не къ сермяжнымъ ея явлениямъ, — сермяга имѣетъ въ себѣ своего рода эффектность, — а къ ситцевымъ и къ кисейнымъ; и даже тутъ его неисчерпаемая любовь къ жизни вообще и къ человѣку въ особенности не измѣняетъ себѣ ни на минуту. Леночка вовсе не дикарка. Она — чисто одѣтая и гладко причесанная барышня. Она нисколько непохожа на пушкинскую Татьяну. Это не тихій омутъ, въ которомъ черти водятся. Она совсѣмъ не отличается тишиной, и нѣтъ ни малѣйшаго основанія подозревать въ ней присутствіе какихъ-нибудь чертъ. Она вся какъ на ладони, и ее чрезвычайно легко понять съ перваго взгляда. Такіе характеры обыкновенно рисуются художниками на второмъ планѣ только для того, чтобы отгнать контрастомъ натуру высокую, изящную, глубокую, тихую и наполненную скрытыми чертами. Леночка похожа на сестру Татьяны, Ольгу, о которой говорить Онѣгинъ:

Бѣла, кругла лицомъ она,  
Какъ эта глупая луна  
На этомъ глупомъ небосклонѣ.

Похожа она также на ту Агафью Матвѣвну, которая прельщала Обломова толстыми локтями. И кажется мнѣ еще, что мать Базарова, Арина Власѣвна, въ молодости своей сильно смахивала на *кисейную двушку*, Леночку. Но Пушкинская Ольга поставлена на второмъ планѣ, и авторъ относится къ ней такъ-же насмѣшливо, какъ самъ Онѣгинъ. Агафья Матвѣвна выведена на сцену единственно для того, чтобы сдѣлаться живой эмблемой того паденія, которое постигло Обломова за его предосудительную лѣность. Если она такимъ образомъ представляетъ собой воплощенное пугало, то, разумѣется, объ искреннемъ и непокровительственномъ сочувствіи автора къ ней не можетъ быть и рѣчи. Объ Аринѣ Власѣвнѣ нечего и говорить; мы видимъ ее въ той порѣ жизни, когда она уже давно перестала

быть женщиной. Сына любить, пороку не выдумаетъ, вотъ все, что можно о ней сказать.

Поэтому надо согласиться, что Помяловскій выбрать себѣ и разрѣшилъ совершенно новую задачу, нетронутую до него ни однимъ изъ замѣчательныхъ русскихъ писателей. Онъ взялъ совершенно обыкновенную двушку, — такую, отъ которой даже и въ будущемъ ничего нельзя ожидать, кромѣ дюжины толстомордыхъ ребятъ, и къ этой простѣйшей изъ простыхъ смертныхъ онъ отнесся съ безпримѣрной кротостью и нѣжностью. Онъ самъ знаетъ очень хорошо, что вся Леночка не что иное, какъ здоровое и красивое тѣло, но это его нисколько не смущаетъ и не отталкиваетъ. Онъ отъ нея и не требуетъ ни сильнаго ума, ни глубокаго чувства. Онъ говоритъ себѣ: этотъ молодой организмъ ищетъ и проситъ себѣ любви, счастья, наслажденія, того, что для него необходимо, какъ теплота, свѣтъ, воздухъ и сырость необходимы для растенія: Что мнѣ за дѣло до того, что этотъ глуповатый организмъ понимаетъ любовь, счастье и наслаждение не такъ, какъ понимаютъ ихъ мыслящіе люди? Неужели я буду осуждать кисейную двушку за то, что она не умѣетъ и не можетъ быть счастлива *по моему*? Напротивъ того, я отъ души желаю, чтобы она была счастлива *по своему*. Я горячо сочувствую ея радости, ея горю, ея тревогѣ и ея томленіямъ не потому, что я самъ способенъ такимъ-же образомъ и по такимъ-же причинамъ радоваться, горевать, тревожиться и томиться, а потому, что въ ней-то, именно въ ней, всѣ эти ощущенія совершенно естественны, неизбѣжны и неподдѣльны. — Вы скажете, что ея ощущенія слабы и мелки. Для васъ — да. Но для *нея* они не мелки и не слабы. Они соответствуютъ размѣрамъ ея силъ и широтѣ ея пониманія. Для самого себя каждое живое существо есть центръ и смыслъ всего мірозданія; для самаго ничтожнаго субъекта его собственныя радости, огорченія, усилія и заботы важнѣе и крупнѣе міровыхъ переворотовъ, совершающихся безъ его участія и не имѣющихъ вліянія на судьбу его личности.

Я до сихъ поръ ниразу не встрѣчалъ писателя, у котораго было-бы такъ много самородной гуманности, какъ у Помяловскаго. Тургенева называютъ *симпатичнымъ* художникомъ, и я ничего противъ этого названія не имѣю. Но даже Тургеневъ улыбнется тонкой саркастической улыбкой при встрѣчѣ съ такими явлениями, на которыхъ Помяловскій съ неутомимой, пантеистиче кой любовью останавливаетъ свой кроткій, задумчивый, безгранично-нѣжный и, несмотря на то, глубоко-умный взоръ. А между тѣмъ Помяловскій прослылъ и до сихъ поръ слыветъ у нашихъ журнальных кланунъ грубымъ и грязнымъ обличителемъ, человѣкомъ черствымъ и безчувственнымъ. — Одинъ изъ новѣйшихъ мурдецовъ «Эпохи», попавшій въ эту журнальную

богадѣльню изъ губерніи, догадывается даже, что Помяловскаго сгубило именно его циническое отвращеніе ко всему нѣжному и изящному. Онъ требуетъ отъ Помяловскаго, чтобы тотъ выводилъ на сцену облагороженныхъ бурсаковъ, а не такихъ, которые говорятъ: *отчехвостить, стилибонить, смазъ вселенская* и т. д. Кроме того онъ въ ноябрьской книжкѣ той-же грязной богадѣльни выражаетъ уморительную надежду, что реалисты, и преимущественно авторъ «Нерѣшennaго Вoпpoca», откажутся отъ солидарности съ безнравственными повѣстями Помяловскаго. Истинно можно сказать: велика и обильна наша матушка Россія. Какія въ ней, подумаешь, бываютъ удивительныя губерніи, и какія въ этихъ неспитимыхъ губерніяхъ появляются иногда невиданныя свѣтила! И какъ въ самомъ дѣлѣ не употребить выразительное слово *loucocheko* въ разговорѣ отомъ источникѣ, изъ котораго льются мысли, подобныя вышеупомянутымъ хитросплетеніямъ. Помяловскій всегда говоритъ рѣзкими и грубыми словами о томъ, что рѣзко и грубо въ дѣйствительности; но подъ твердой оболочкой рѣзкихъ и грубыхъ выраженій таится такая женственная нѣжность чувства, которая ошутительно и понятна для всякаго, мало-мальски неглупаго и не бездушнаго человѣка. О Помяловскомъ можно вполне справедливо сказать то, что Верне говоритъ о Байронѣ: «Его сердце было окружено сплошной стѣной твердыхъ и острыхъ колючекъ, *damit das Vieh nicht daran nage* (чтобы его не глодала скотина). И дѣйствительно, какъ только къ подобному сердцу сунется какая-нибудь тупая скотина, такъ она сейчасъ и отскочитъ назадъ съ окровавленной мордой и съ выраженіемъ комическаго негодованія въ своихъ оловянныхъ глазахъ. — *Dixi et animam laevaui!*» По-русски эти латинскія слова можно пере-сти такъ: «выругался во все свое удовольствіе!»

## VI.

Помяловскій съ такой глубокой гуманностью относится къ своей кисейной Леночкѣ, что онъ даже не осмѣливается рѣшить окончательно вопросъ: дѣйствительно-ли изъ нея никогда не можетъ сформироваться мыслящее существо? Да и въ самомъ дѣлѣ, какое мы имѣемъ право, глядя на живого и шаловливаго ребенка, произнести надъ нимъ рѣшительный приговоръ вродѣ не-красовской колыбельной пѣсни:

Ты чиновникъ будешь съ виду  
И подлецъ душой.

Чтобы произносить такіе приговоры, надо читать безошибочно характеръ и будущее людей по выпуклостямъ ихъ черепа и по чертамъ ихъ лица. Но подобнымъ умѣніемъ еще не обладаетъ никто, и слѣдовательно приговоръ отверженія можетъ иногда обрушиться на такихъ людей, которые способны подняться, окрѣпнуть и развиться. Въ самыхъ дюжинныхъ личностяхъ, постав-

ленныхъ въ самую безцвѣтную среду, бываютъ иногда такіе взрывы мысли и чувства, которые вдругъ какой-то молніей освѣщаютъ передъ глазами обыкновеннаго человѣка и безграничное величіе всего живого міра, и неизвѣданную глубину собственной потрясенной души. Есть такіе взрывы и у кисейной Леночки, и кто-же осмѣлится утверждать, что они совершенно безплодны, что они исчезнутъ безъ всякаго слѣда и что врожденная пошлость возьметъ непременно верхъ надъ лучшими впечатлѣніями, если даже эти лучшія впечатлѣнія будутъ повторяться часто и послѣдовательно? Одинъ разъ Леночка рѣзвилась и шалилась Молотовымъ и потому вдругъ затосковала, да такъ, что даже слезы досады и непонятной грусти выступили на ея живые, черные глаза. Объяснить, чего ей хотѣлось, она, разумеется, не умѣла. Но понятно, что ее тяготила пустота, отсутствіе любимой мысли, дорогого чувства, отсутствіе всего, что даетъ цвѣтъ и смыслъ человѣческому существованію. Молотовъ старается ее утѣшить, но при этомъ говоритъ только бесполезныя слова; въ подобныхъ случаяхъ требуется не краснорѣчіе, а серьезная и дѣятельная помощь, — такая помощь, которая-бы перевернула всю жизнь тоскующаго человѣка. А когда не хочешь или не можешь оказать такой помощи, тогда ужъ просто молчи и пропускай мимо ушей всѣ жалобы твоего собесѣдника.

— «Читайте, учитесь, — продолжалъ Молотовъ и вдругъ остановился, вспомнивъ, что юноши наши всегда предлагаютъ это универсальное лекарство отъ всѣхъ дамскихъ болѣзней.» Эти слова могутъ навести читателя на мысль, что самъ Помяловскій сомнѣвается въ дѣйствительности «универсальнаго лекарства». Сомнѣвается-ли онъ или нѣтъ, во всякомъ случаѣ надо замѣтить, что лекарство ни въ чемъ не виновато. Недѣйствительность его происходитъ оттого, что «наши юноши», въ томъ числѣ и Молотовъ, предлагаютъ это лекарство чрезвычайно безтолково. «Читайте, учитесь!» Легко сказать! Скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается. Эти слова: «читайте, учитесь!» напоминаютъ мнѣ очаровательный куплетъ изъ стихотворенія Гейне:

Въ морозы, прибавлялъ онъ, надо всегда  
Въ постели какъ можно плотнѣй укрываться,  
И тутъ-же совѣтъ разсудительный далъ  
Здоровую пиццу питаться.

Въ жалкой конурѣ подъ крышей два человѣка, мужчина и женщина, умерли въ морозную ночь отъ холода и отъ истощенія силъ. Пришелъ докторъ свидѣтельствовать ихъ трупы, и вотъ онъ-то именно и даетъ при семъ удобномъ случаѣ разсудительные совѣты на счетъ здоровой пищи и теплаго одѣяла. Еще болѣе разсудительные совѣты даютъ «наши юноши», когда они произносятъ слова: «читайте, учитесь!» Бѣдняку не-откуда взять теплое одѣяло и кусокъ ростбифа; но если вы ему дадите то и



другое, то онъ управится съ этими предметами безъ всякихъ дальнѣйшихъ разъясненій. Но если вы дадите десятки умнѣйшихъ книгъ такому человѣку, который никогда не читалъ, не учился и не размышлялъ и который кромѣ того живетъ въ совершенно неподвижномъ обществѣ, то вы не принесете ему рѣшительно никакой пользы. Надо сдѣлать такъ, чтобъ онъ самъ потянулся къ книгѣ и чтобы онъ собственной энергіей побѣдилъ скуку и трудности перваго начала. Тогда все пойдетъ хорошо и не зачѣмъ будетъ произносить безполезныя слова: «читайте, учитесь!» Но для того, чтобы возбудить въ человѣкѣ желаніе и дать ему возможность читать и учиться, надо постоянно дѣйствовать на него словомъ и примѣромъ; надо много, долго, откровенно и задушевно говорить съ нимъ обо всемъ, что расширяетъ нашъ умственный горизонтъ; надо ловить въ немъ каждую минуту его раздумья и его одушевленія; надо однимъ словомъ сдѣлаться его лучшимъ другомъ и неутомимымъ руководителемъ.

Когда дѣло происходитъ между мужчиной и женщиной, тогда вопросъ ставится еще проще. Если вы любите или расположены полюбить данную особу, тогда смѣло и серьезно принимайтесь за великую дѣятельность просвѣтителя; если же нѣтъ, — тогда оставьте въ покоѣ тоскующую женщину и уходите отъ нея подальше, потому что ваши безсильныя утѣшенія и непримѣнимые совѣты не дадутъ ей ровно ничего, кромѣ лишняго горя. Брошенные на вѣтеръ слова: «читайте, учитесь!» составляють двойное кощунство; во-первыхъ, — надъ безпомощнымъ положеніемъ огорченной женщины, живущей въ такомъ обществѣ, гдѣ все мѣшаетъ читать и учиться; а во-вторыхъ — надъ святыней «универсальнаго лекарства», которое дѣйствительно оказывается безсильнымъ только тогда и тамъ, когда и гдѣ его безтолково сыпать на полъ вмѣсто того, чтобы подавать его въ руки пациенту. Поэтому «нашимъ юношамъ» дѣйствительные не помѣшаютъ намотать себѣ на усь, что проповѣдывать о величій науки въ пустынь или въ конюшни значить превращать святую и великую истину въ бессмысленную фразу, надъ которой съ особеннымъ наслажденіемъ стануть хохотать всѣ многочисленные подлецы и идіоты. Возбуждать такой хохотъ вредно, и слѣдовательно надо говорить о наукѣ и о разумномъ чтеніи только тѣмъ лицамъ, которыхъ вы намѣрены серьезно просвѣщать и руководить. Да и вообще *говорить о наукѣ* не зачѣмъ, а надо постоянно употреблять науку въ дѣло, какъ орудіе, разбивающее нелѣпость и расширяющее умственный горизонтъ всякаго человѣка, безъ различія пола и общественнаго положенія.

Заигрыванія Леночки съ Молотовымъ доходятъ до того, что она его цѣлуетъ. Онъ держитъ себя совершенно пассивно, то-есть не отталкиваетъ ее прочь и не говорить ей ни слова о люб-

ви. Она ему правится, ея ласки волнуютъ его, но онъ постоянно смотритъ на нее сверху внизъ, такъ что ему и въ голову не приходитъ мысль о возможности посвятить всю жизнь этой кисейной дѣвушкѣ. Дѣйствительно-ли правъ Молотовъ въ своемъ высокомѣрномъ взглядѣ на Леночку? Дать на этотъ вопросъ прямой отвѣтъ очень трудно. Молотовъ, какъ человѣкъ обыкновенный по размѣрамъ своего ума, не можетъ смотрѣть на Леночку иначе. У Молотова нѣтъ той сильной и горячей вѣры въ человѣческую природу, которая дается только очень даровитымъ и глубокимъ натурамъ и которой обладалъ въ такой значительной степени самъ Помяловскій. Плебей Молотовъ былъ бариномъ въ отношеніи къ Леночкѣ, — бариномъ очень снисходительнымъ и милостивымъ, но тѣмъ болѣе неспособнымъ поставить кисейную дѣвушку съ собой на одну доску. Ему бросались въ глаза тривиальныя выраженія Леночки, какъ и жѣ Обросимовой бросались въ глаза тривиальныя манірки и тривиальный аппетитъ Молотова. — Нокируясь выраженіями, онъ забывалъ о томъ, что вызывало эти выраженія, о томъ, что искало и не умѣло найти себѣ выхода изъ души искренней, простой, честной и любящей дѣвушки. Она бросилась къ нему на шею безъ расчета, безъ условій, безъ кокетливыхъ уловокъ, именно по птичь, — такъ какъ Богъ на душу положилъ.

## VII.

Въ прощальной сценѣ Молотова съ Леночкой бухгалтерская безукоризненность юнаго Егора Иваныча доходитъ просто до комизма, и кисейная дѣвушка, на которую Молотовъ взираетъ съ величественной снисходительностью, оказывается, по энергіи и задушевности чувства, неизмѣримо выше, прекраснѣе и сильнѣе умнаго и развитого мужчины, только что соскочившаго съ университетской скамейки. Являясь рядомъ съ Леночкой, Молотовъ убождается какому-то пещеному яблоку, и Помяловскій превосходно понимаетъ его безсиліе и несостоятельность. Прощальная сцена до такой степени замѣчательна, что я разберу ее очень подробно, хоть-бы мнѣ пришлось написать о ней страницъ десять. Критикѣ не часто приходится встрѣчаться съ такими явленіями, какъ повѣсти Помяловскаго, и когда встрѣтишься съ ними, тогда ужъ не хочется и разставаться. — Молотовъ приходитъ къ Леночкѣ черезъ недѣлю послѣ того, какъ онъ услышалъ убійственный разговоръ о манішкахъ и объ аппетитѣ. Онъ до такой степени разстроенъ этимъ разговоромъ, что отношенія къ Леночкѣ представляются ему только докучливой прибавкой къ обуревающимъ его заботамъ. «Еще Леночка! еще Леночка па моихъ рукахъ!» повторяетъ онъ про себя и отправляется къ ней съ твердымъ намѣреніемъ все покончить.

Я напомины здѣсь читателю то величественное

равнодушіе и невозмутимое хладнокровіе, съ которыми Базаровъ выслушиваетъ и отражаетъ дерзости Павла Петровича. Будь Базаровъ на мѣстѣ Молотова, онъ-бы и вниманія не обратилъ на обросимовскія разсужденія и не подумалъ-бы изъ за такой ничтожной причины отказываться отъ удобнаго мѣста. Вѣдь-бы онъ попрежнему за четверыхъ, потому что при заключеніи условій ему не было поставлено въ обязанность сидѣть впроголодь; и манишки носилъ-бы онъ, нисколько не смущаясь, а когда-бы ему поднесли кусокъ голландскаго полотна и часы, тогда-бы онъ спокойно замѣтилъ,—это лишнее, потому что, заключая условія, помѣщикъ не выговорилъ себѣ права дѣлать Базарову какіе-бы то ни было подарки. И тогда Обросимовы уразумѣли-бы, что Базарова нельзя ласкать по произволу, а надо сначала пріобрѣсти его уваженіе для того, чтобы онъ позволилъ любить и ласкать себя. Базаровъ не сталъ-бы говорить: «*Еще Леночка!*» Отношенія къ любящей женщинѣ стояли-бы въ его глазахъ постоянно на первомъ планѣ, и для него было даже просто непостижимо, какимъ образомъ можно, хотя на минуту, поставить рядомъ съ этими серьезными и обаятельными отношеніями какую-нибудь дурацкую болтовню о неприличіи манишекъ и здороваго аппетита? Но мелочное самолюбіе Молотова оскорблено такъ сильно, что подъ вліяніемъ обросимовскаго разговора въ его умѣ поднимается безтолковѣйшая буря безсвязныхъ размышленій о жизни, о призваніи, о дѣятельности, о назначеніи человѣка. Ни къ чему эти размышленія не приводятъ, но Молотовъ о такой степени занять ими, что, придя къ Леночкѣ съ намѣреніемъ объясниться и проститься навсегда, онъ прежде всего начинаетъ гамлетствовать, что очевидно нисколько не относится къ главному предмету. Леночка по обыкновенію встрѣчаетъ его нѣжными, веселыми и довѣрчивыми ласками. Видя его торжественную мрачность, она тревожно и заботливо спрашиваетъ его о здоровьѣ; въ голосѣ ея слышатся слезы; она старается развеселить его шуткой.—«Ишь какой!—сказала Леночка:—что дуться-то! муху, что-ли, проглотилъ?» Но лучъ веселости не проникаетъ въ мрачную душу Молотова, наполняемую манишками, аппетитомъ и «*еще Леночкой*». И вдругъ Молотовъ начинаетъ задавать своей собесѣдницѣ міровые вопросы.—«Что-бы вы сказали,—говоритъ онъ,—когда-бы привели къ вамъ кого-нибудь и спросили: дайте этому человѣку дѣло на всю жизнь, но такое, чтобы онъ былъ счастливъ отъ него?—Зачѣмъ это вамъ?—Ну конечно.—Да этого никогда не бываетъ.—Бываетъ.»

И вретъ. Дѣйствительно никогда не бываетъ, чтобы приводили одного человѣка къ другому и чтобы этотъ другой на всю жизнь пристроивалъ первого и доставлялъ ему полное счастье, на которое первый рѣшительно ничѣмъ не пріобрѣтаетъ себѣ разумнаго права. Счастье завоевывается и

вырабатывается, а не получается въ готовомъ видѣ изъ рукъ благодѣтеля. И самая трудная часть задачи состоитъ именно въ томъ, чтобы составить себѣ понятіе о счастья и отыскать себѣ ту дорогу, которая должна къ нему привести. Когда жизненная борьба уже превратилась въ сознательное стремленіе къ опредѣленной цѣли, тогда человѣкъ можетъ уже считать себя счастливымъ, хотя бы ему пришлось упасть и умереть на дорогѣ, не вступивши въ ту обѣтованную землю, которую покойный А. Григорьевъ такъ игриво называетъ *бѣлой Арапей*. Но сознательность стремленій также вырабатывается трудомъ и борьбой, и ни одинъ благодѣтельнымъ мудрецъ въ мірѣ не можетъ переложить эту сознательность изъ собственной головы въ неокрѣпшія головы своихъ учениковъ и прозелитовъ.

«—Леночка задумалась, наклонила голову и затихла. Хорошо выражение лица дѣвушки, когда она занята серьезной мыслью, а Леночка почувствовала женскимъ инстинктомъ, что ей не пустой вопросъ задать. Она, ей Богу, отъ всей души желала-бы развѣстать его, но ничего не смыслила тутъ.—Не знаю, сказала она и посмотрѣла на Молотова,—что съ нимъ будетъ.—Онъ усмѣхнулся.»

Молотовъ, дождающій Леночку глупо возвышенными вопросами, чрезвычайно похожъ на двѣнадцатилѣтняго гимназиста, щеголющего на каникулахъ передъ сестрами логиметріей, планиметріей, логарифмами и всякими другими мудреными вещами. Молотовъ очевидно спрашиваетъ не затѣмъ, чтобы получить удовлетворительный отвѣтъ, а затѣмъ именно, чтобы усмѣхнуться и чтобы въ эту усмѣшку влить малую толику своей клокочущей желчи. Вотъ, дескать, они мои манишки осмѣяли, и я имъ за это ничего не могу сдѣлать, а теперь я твое невѣжество осмѣю и ты со мной тоже ничего не сдѣлаешь. Молотовъ сгорѣлъ-бы отъ стыда, еслибы онъ совершенно ясно отдалъ себѣ отчетъ въ этомъ движеніи мелкой и дрянной злости, и бѣдная, простодушная Леночка, разумѣется, не стала-бы такъ добросовѣстно ломать свою нехитрую голову надъ неразрѣшимымъ вопросомъ, еслибы она знала, что ея ненаглядный Егорюшка ищетъ только случая поважничать и поломаться. Но въ этомъ-то и бѣда Леночкина, что она чересчуръ благоговѣетъ передъ умомъ и образованностью своего кумирчика; еслибы она благоговѣла поменьше, тогда можетъ-быть и кумирчикъ не оттолкнулъ-бы отъ себя прочь ея чистую и нерасчетливую любовь.—Послѣ своей усмѣшки надъ незнаемъ Леночки Молотовъ продолжаетъ пускать мрачныя и глубокомысленныя рулады. Напримѣръ, вотъ такія:

«—Неужели моя жизнь принадлежитъ даромъ? Гдѣ моя дорога?.. Неужели такъ я и неужели никому на свѣтѣ?.. Онъ крѣпко задумался. Елена все смотрѣла на него, ожидая признаній: но при послѣднихъ словахъ Молотова она неожиданно обвила его шею руками и осыпала все лицо поцѣ-

луями крѣпкими и жаркими, какими еще никогда не цѣловала его.—Егоръ Ивановичъ!.. душка!.. ты—герой!..—Молотовъ пожалъ плечами и чуть вслухъ не сказалъ: «Душка!.. герой!..—вонъ куда хватила!..» Поцѣлуй не разогрѣли его, несмотря на то, что Леночка первый разъ охватила его такъ страстно. Молотовъ ничего не замѣтилъ. Онъ смотрѣлъ угрюмо въ землю...

Я замѣтилъ въ предыдущей главѣ, что бываютъ и у кисейной дѣвушки такіе великолѣпные взрывы чистаго и могучаго чувства, которые хотя на минуту поднимаютъ ее неизмѣримо выше мелкой и копѣчной пошлости ея будничной жизни. Читатель видитъ теперь, что замѣчаніе мое не было брошено на вѣтеръ. Взрывъ описанъ у Помяловскаго такъ превосходно, что первый художникъ въ мірѣ не прибавилъ-бы ни одной черточки къ выписаннымъ мною строкамъ. Но что же значить этотъ взрывъ, который такъ естественно сдѣланъ кисейной дѣвушкой, «по гробъ вѣрной и любящей»?—И почему Молотовъ для нея «душка» именно въ ту минуту, когда онъ хмурится и грубянитъ? И почему она видитъ въ немъ «героя» именно тогда, когда онъ слабѣетъ и унываетъ? И то, и другое совершенно понятно. Ты чувствуешь себя одинокимъ и никому не нужнымъ, думаетъ она. Тѣмъ лучше. Я для тебя все въ эту минуту. Никто и ничто не становится между мной и тобой. Хоть-бы ты никому на свѣтѣ не былъ нуженъ,—ты мнѣ нуженъ. И жизнь твоя не можетъ пропасть даромъ, потому что я возьму ее себѣ, и она дастъ мнѣ полное счастье. Когда все на свѣтѣ смотреть на тебя холодно и равнодушно, тогда я одна вырастаю въ твоихъ глазахъ, ты сильнѣе обыкновеннаго привязываешься ко мнѣ, и я то-же особенно сильно люблю тебя, потому что понимаю, какъ полезна тебѣ моя помощь въ эти тяжелыя минуты. И кромѣ того ты самъ ошибаешься. Человѣкъ, котораго можно любить такъ, какъ я тебя люблю, никогда не сдѣлается на свѣтѣ лишнимъ и ненужнымъ человѣкомъ. Если тебя дѣйствительно стоитъ любить, то ты непременно найдешь себѣ въ жизни хорошее дѣло. Ты унываешь не оттого, что ты слабъ и негоденъ, а оттого, что ты неудовлетворяешься тѣми гнилыми крупицами, которыя подбираютъ съ такимъ успѣхомъ мелкіе и дрянные людишки. Твое уныніе не можетъ быть продолжительнымъ. Явится спокойное размышленіе, вспыхнетъ съ новой силой твоя мужественная энергія, и опять закипитъ у тебя подъ руками честное и полезное дѣло. И я въ то время буду смотрѣть на тебя и радоваться, и гордиться тобой, и гордиться тѣмъ, что въ твоей бодрости есть частица моего живительнаго и утѣшающаго вліянія. И вездѣ, и всегда я буду рядомъ съ тобой. И трудъ, и лишенія, и опасности, и тревогу, и сомнѣнія, и горе—все пополамъ. Я на все готова, и эта готовность удесетеряетъ мои силы.

Слившись въ неопредѣленный, но чрезвычай-

но сильный порывъ страстной любви, весь этотъ рядъ мыслей промелькнулъ съ неуволимой быстротой въ головѣ Леночки, когда она бросилась на шею къ Молотову и когда вся фигура ея выросла и просіяла подъ вліяніемъ нахлынувшихъ на нее новыхъ и непонятныхъ для нея ощущеній. Молотовъ ничего этого не понималъ по той простой причинѣ, что все его раздумье вытекало изъ очень мелкаго и мутнаго источника. Всѣ безсвязные возгласы о дорогѣ, о жизни, о собственной ненужности выражали собой въ сущности только плачъ и скрежетъ зубовъ надъ посрамленными манишками. Когда его называли героемъ, то ему сдѣлалось совѣстно, что его манишки залетѣли въ такія высокія хоромы. Но вмѣсто того чтобы откровенно назвать самого себя дуракомъ за мелочность своего огорченія, онъ въ душѣ обругалъ душой Леночку за наивную преувеличенность выраженій, которыя впрочемъ вовсе не были-бы преувеличенными, еслибы слова Молотова о разныхъ высокихъ матеріяхъ были дѣйствительно глубоко продуманы и прочувствованы, а не напущены со стороны глупымъ разговоромъ Обросимовыхъ.

Значитъ, Леночка провинилась только тѣмъ, что повѣрила на слово любимому человѣку, то-есть, выражаясь яснѣе,—тѣмъ, что любила глубоко и сильно. Въ ту минуту, когда она осыпала своимъ «горячими и бѣшенными» поцѣлуями постыдную фигуру Молотова, проглотившаго муху и не умѣющаго съ ней справиться, въ умѣ ея возлюбленнаго шевелились по всей вѣроятности очень мелкія и буржуазныя мысленки. «Да, думалъ онъ о себѣ съ подавленной злобой, ѣсть много, неприличныя манишки носить, и ко всему-бы этому великолѣпнѣе еще жену пріобрѣсти, «по гробъ вѣрную и любящую», которая при всѣхъ будетъ на шею вѣшаться и ни къ селу, ни къ городу визжать: «душка» и «герой». Куда какъ интересно!»—Опять тривиальность выраженій загрозила собой въ глазахъ честнаго Чичикова величіе искренняго чувства.—Красота Леночки, просвѣтленной своимъ порывомъ, осталась незамѣченной для ея собесѣдника, погруженнаго въ мучительное созерцаніе манишекъ и собственной ненужности.

#### VI Цѣ.

Молотовъ пришелъ къ Леночкѣ затѣмъ, чтобы сбить ее съ рукъ. Но онъ до такой степени углубленъ въ свое собственное копѣчное раздумье, что повидимому совершенно забываетъ настоящую цѣль своего прихода. Еслибы онъ нарочно хотѣлъ причинить Леночкѣ какъ можно больше страданій, то онъ не могъ-бы придумать нравственную пытку утонченнѣе той, которую онъ заставилъ ее выдержать по своей непрости-тельной невнимательности.

Если онъ пришелъ съ твердымъ намѣреніемъ все покончить, то съ какой стати онъ задастъ ей

мудреные вопросы, интересные только для него и неимѣющие для нея ровно никакого значенія? Деликатно-ли, позволительно-ли искать себѣ утѣшенія и совѣта у той самой дѣвушки, которую рѣшился и собираешься оттолкнуть? Вѣдь это въ сущности хуже, чѣмъ еслибы Молотовъ на прощаніе выпросилъ у нея денегъ займы. И какъ онъ осмѣлился принимать ея поцѣлуи, съ какого права называлъ ее до послѣдней минуты Леночкой, когда въ головѣ его участь этой Леночки была уже окончательно рѣшена? Значитъ, онъ до послѣдней минуты воровалъ ея поцѣлуи и ласки. Онъ разбудилъ въ ея головѣ совершенно непривычную для нея работу мысли, онъ расшаталъ всю ея нервную систему красивой наружностью своего дряннаго горя, онъ далъ ей полное право думать, что пришелъ къ ней подѣлиться заботами и сомнѣніями, онъ раздражилъ ее чуть не до истерики, — и все это для того, чтобы сказать ей вѣжливо-бухгалтерскимъ тономъ: сударыня, честь имѣю съ вами раскланяться!

Не напоминаетъ-ли это вамъ, господа, того-левскаго Ивана Ивановича, который бесѣдуетъ съ голоднымъ нищимъ о говядинѣ, о галушкѣ, о горѣлкѣ, и потомъ, наболтавшись досыта, поворитъ съ замѣчательной кротостью: «ну, ступай-же, любезный, вѣдь я тебя не бью!» — Теперь мнѣ придется сдѣлать очень большую выписку.

— «Елена Ильинишна, — сказалъ онъ серьезно.

«— Что?

«— Намъ жора объясниться...

«У Леночки сжалось сердце. Она предчувствовала какое-то горе; никогда Егоръ Ивановичъ не говорилъ такъ съ ней.

«— Развѣ мы не объяснились? — спросила она. (Совершенно справедливое замѣчаніе. Какое тутъ еще требуется объясненіе, когда люди давно цѣлуются?)

«— Нѣтъ, не объяснились; все у насъ было кромѣ объясненій. (Аккуратному Егору Ивановичу желательно, чтобы все дѣлалось по формѣ, но безалаберная Леночка врядъ-ли способна понять, чтобы объясненія были еще необходимы тогда, когда уже было «все». Впрочемъ это «все» не должно пугать читателя. Это «все» ограничилось невиннымъ обмѣномъ поцѣлуевъ. Собственно поэтому формалистъ Молотовъ и не считаетъ себя связаннымъ.)

«— Ну, скажите, — отвѣтила Леночка, боязливо глядя на собесѣдника.

«— Вы меня любите? (Какой дурацкій вопросъ!)

«Леночка хотѣла обнять его. Онъ уклонился. (Леночка очевидно предпочитаетъ мимическія объясненія словеснымъ, но Молотову уже становится совѣстно продолжать кражу поцѣлуевъ.)

«— Я васъ очень люблю... (Какъ много дѣло подвинулось впередъ отъ этого отвѣта!)

«— Но, разумѣется, можете привыкнуть къ той мысли, что мы не всегда будемъ поддерживать наши отношенія? (Представьте себѣ, что въ уголовную палату призываютъ преступника и говорятъ ему: «вы, разумѣется, можете привыкнуть къ той мысли, что васъ будутъ драть плетью на площади?» — Преступникъ на это отвѣчаетъ: «воля ваша, а привыкнуть къ такой мысли никакъ не могу.» — «Что-жъ дѣлать, mon cher, говорятъ ему, постарайтесь привыкнуть.» — Что-бы вы, читатель мой, подумали о такихъ судьяхъ, которые позволили-бы себѣ подобныя шутки? Вы-бы вѣроятно назвали ихъ большими негодяями? А вѣдь Молотовъ, по своей деревянной неловкости, поступаетъ точно такимъ-же образомъ, только не съ преступникомъ, а съ доброй и милой дѣвушкой, которая его любитъ. Къ чему клонится его вопросъ? Скажетъ-ли она да, скажетъ-ли нѣтъ, не все-ли равно? Развѣ ей отвѣтъ измѣнитъ хоть въ чемъ-нибудь его рѣшеніе? Она это предчувствуетъ и уклоняется отъ отвѣта.)

«— Къ чему-же объ этомъ говорить? (Вотъ это правда.)

«— Подумайте, пожалуйста, и выскажитесь откровенно. (Скажите на милость, чего этотъ анаема отъ нея добивается? За чѣмъ онъ изъ нея душу тянетъ?)

«Ей никогда на приходилъ такой вопросъ на умъ, и она съ замѣчательствомъ отвѣчала: — Да, я васъ люблю... (Ничего больше она и сказать не можетъ. Отвѣчаетъ она такъ не потому, что «ей никогда не приходилъ такой вопросъ на умъ», а потому, что вопросъ Молотова изъ рукъ вонъ глупъ и оскорбителенъ. Ей надо было или пропустить это вопросъ безъ вниманія, или отвѣчать на него рѣзкимъ упрекомъ. Если сформулировать вопросъ Молотова яснѣе, то получится слѣдующій результатъ: «вѣдь вамъ, разумѣется, все равно, кого не цѣловать, меня-ли, другого-ли мужчину?» — Бѣдной, добродушной Леночкѣ въ голову не приходило, чтобы Егорушка рѣшился нанести ей такое незаслуженное оскорбленіе. Потому, если даже она разобрала въ вопросѣ Молотова этотъ гнусный смыслъ, то она немедленно отбросила прочь это предположеніе, увѣрила себя, что она поняла невѣрно, и вслѣдствіе этого сѣмъ-то только повторить съ замѣчательствомъ свою незатѣйливую пѣсенку: «да, я васъ люблю». Тутъ Молотовъ находить, что онъ уже достаточно приготовилъ преступницу къ принятію плетей и начинается дѣйствовать.)

«— Простите-же меня, Елена Ильинишна, я вамъ не могу отвѣчать тѣмъ-же... (Какъ вамъ правится эта перемѣна декораций! «Да плюй-же, плюй ему прямо въ лохань!», какъ выражаются «хорошіе люди» города Глухова.) — Леночка взглянула на него испуганнымъ взглядомъ и вскрикнула. (Подумаетъ, какъ это странно. Преступница кричитъ, точно будто ее не пригото-

вляли заранѣе къ сильному ощущенію.) Болѣзненно отзывался этотъ крикъ въ душѣ Молотова. — «Вотъ она такъ любила!» подумалъ онъ.

— Елена Ильинична, кто-жъ виноватъ? кто виноватъ? вы должны помнить, что не я первый... Молотовъ оборвался на полуфразѣ, потому что невольно почувствовалъ угрызёніе совѣсти. «Что-жъ такое, что не я первый?» шевельнулось у него въ душѣ, и онъ кончилъ иначе, нежели началъ: — Боже мой, что-же это на меня напало!...» (Здѣсь опытный авторъ съ изумительной твердостью выдержалъ характеръ своего героя. Это не мерзавецъ, хладнокровно играющій чужимъ счастьемъ; это — милая и добрая размазня, способная только отсиживаться отъ всякой напасти. Для него немалымъ крупнымъ активнымъ поступкомъ: вмѣсто того, чтобы съ самаго начала, съ перваго свиданія спугнуть глупую бабочку, которая летитъ прямо на свѣчку, онъ умѣетъ только отмалчиваться; вмѣсто того, чтобы теперь, когда бабочка уже обожгла себѣ крылья, махнуть на все рукой и смѣло повести ее подъ вѣнецъ, не забывая о дальнѣйшихъ послѣдствіяхъ, онъ умѣетъ только сидѣть и добродушно сокрушаться. Подлецомъ его, пожалуй, и нельзя назвать: онъ не заклевалъ, онъ не обѣщалъ, онъ и теперь страдаетъ искренно; но вѣдь вотъ въ чемъ штука: бываютъ въ жизни такіе случаи, когда мямля можетъ насолить ближнему не хуже отъявленнаго негодяя.) «...Послышалось всхлипываніе и тихое, ровное мучительное рыданіе; запрется въ груди звукъ, надтреснетъ, переломится и разрѣшится долгой нотой плача; слезы катились градомъ...»

«— Никому мы не нужны... кому любить такихъ?»

«Она зарыдала сильнѣе...» «Жаль, невыносимо жаль стало ему этой бѣдной дѣвушки... глупенькой, кисейной дѣвушки... Она такъ жить хотѣла, такъ любить хотѣла и доживала послѣднюю лучшую минуту жизни. Впереди ея пошлое, позади тоже пошлость. Теперь она могла-бы воскреснуть и развиться, но... суждено уже такъ, что изъ нея выйдетъ не человѣкъ-женщина, а баба-женщина. Молотовъ чувствовалъ это. Страшно ему было за Леночку. «Пронадеетъ она!» думалъ онъ.» И, думая такимъ образомъ, онъ все-таки отталкивалъ ее прочь отъ себя, назадъ въ ту трясицу пошлости, изъ которой бѣдная дѣвушка старалась высвободиться съ такими судорожными усиліями, съ такими горькими и мучительными рыданіями. И все это оттого, что онъ, изволите видѣть, не любилъ ея. Точно будто нужно любить человѣка какой-нибудь особенной любовью для того, чтобы протянуть ему руку, когда онъ зоветъ васъ къ себѣ на помощь. Точно будто, доставляя другому человѣку счастливое и разумное существованіе, мы не наслаждаемся вмѣстѣ съ нимъ, и даже гораздо больше его самого, той свѣтлой жизнью, которую мы ему доставили.

Осчастливить ту женщину, которую мы сами любимъ страстно — это, разумѣется, очень пріятно. Но подарить счастье той женщинѣ, которая любитъ насъ, — это также очень недурно, тѣмъ болѣе, что человѣку свойственно привязываться очень сильно къ тѣмъ людямъ, которымъ онъ сдѣлалъ добро. Счастье мыслящаго человѣка состоитъ не въ томъ, чтобы играть въ жизни милыми игрушками, а въ томъ, чтобы вносить какъ можно больше свѣта и теплоты въ существованіе всѣхъ окружающихъ людей. Молотовъ еще плохо понимаетъ эту простую истину, и это обстоятельство показываетъ ясно, что онъ подходитъ гораздо ближе къ тщедушному идеалу Гончарова, чѣмъ къ сильнымъ и мужественнымъ реалистамъ новѣйшаго времени. Молотовъ такъ наивно невеликастенъ, что онъ, уже измучивъ бѣдную Леночку, все еще эксплуатируетъ въ свою пользу ея безпредѣльную доброту. Послѣ ея рыданія, когда ему надо было уйдти прочь безъ оглядки, чтобы не мозолить ей глаза, онъ все сидитъ, да не только сидитъ, а открываетъ ей свою душу, то-есть рассказываетъ ей, какъ его обидѣли Обросимовы. «Она слушала его съ увлеченіемъ, положивъ на его плечо свою хорошенькую головку. Тогда она не сказала ему свое оригинальное: «да этого не бываетъ»...

«— Я ихъ не люблю, — сказала она горячо...

Молотовъ поцѣловалъ ее, но это былъ не страстный, а добрый поцѣлуй. (И даже глупый.)

«— Богъ съ ними, — сказалъ онъ... (Какое великодушіе!)

«— Никогда ихъ не буду любить... Я тебя люблю; я не сержусь на тебя...» (Вотъ тутъ дѣйствительно кротость и доброта доходятъ до величественныхъ и, пожалуй, даже до безобразныхъ размѣровъ. Онъ ее оскорбилъ, онъ оттолкнулъ прочь ея святую любовь, онъ осудилъ ее на безвыходно-пошлое существованіе, и она-же утѣшаетъ и успокаиваетъ его, и она-же принимаетъ горячо къ сердцу трагическую участь его манишекъ. Это наконецъ глупо и отвратительно. Любить и прощать — прекрасное занятіе, но много осла не мѣшаетъ и по мордѣ треснуть, чтобы заставить его одуматься.)

«Они разстались добрыми друзьями, но Леночка всю ночь проплакала и все понять не могла, «отчего-же насъ любить нельзя?... отчего?» — Э, Леночка, Леночка! Охота тебѣ изъ за одного дурака задавать себѣ такіе радикальные вопросы! Васъ можно любить и васъ будутъ любить, и вы сдѣаетесь умными, мыслящими и полезными людьми. Никакого въ васъ органическаго порока неказывается. Но, чтобы увидеть и развернуть тѣ задатки здороваго ума, которые въ васъ таятся, надо обладать не такими силами, какими располагалъ твой ненаглядный Егорюшка. Дрянной народъ тѣ мужчины, съ которыми вамъ приходится имѣть дѣло. Оттого вы такъ часто и плачете. — Каждая слеза, которую проливаетъ въ

современныхъ обществахъ любящая женщина, есть тяжелое обвиненіе противъ мужчины. Взялъ женщину подъ свою опеку, отнялъ у ней самостоятельность, ослабилъ ея умъ и ея физическія силы,—такъ умѣй-же по крайней мѣрѣ дать ей за это счастье. А не умѣешь,—такъ на что-же годится твоя дурацкая опека?

### IX.

«Насъ много такихъ дѣвушекъ», замѣчаетъ сама Леночка. «У насъ не мало встрѣчаются такихъ женщинъ, какъ Леночка», прибавляетъ отъ себя Помяловскій. И это правда. Къ типу добродушной кисейной дѣвушки подходятъ всѣ женщины, неотличающіяся сильнымъ и блестящимъ умомъ, не получившія порядочнаго образованія и въ то-же время еще не испорченныя и не сбитыя съ толку шумомъ и суетой такъ называемой свѣтской жизни. У этихъ женщинъ развита только одна способность, о которой заботится уже сама природа,—именно способность любить. Вся судьба такой женщины рѣшается безусловно тѣмъ, кого она полюбитъ. Попадется хорошій и умный человѣкъ,—и она сама тоже сдѣлается хорошей, даже умной женщиной, потому что отъ природы она не глупа, а только никогда не имѣла ни возможности, ни надобности упражнять и укрѣплять свой умъ. Попадется дуракъ и негодный—тогда въ ней замретъ даже способность любить, и превратится она въ автомата, который будетъ рожать, кормить, нянчить и обивать слезами дѣтей, не умѣя ни вразумить, ни защитить ихъ противъ самодурства супруга.

Женщина, подобная Леночкѣ, быть-можетъ ни при какихъ условіяхъ не сдѣлается совершенно самостоятельной и сильной личностью; она всегда, болѣе или менѣе, будетъ искать себѣ опоры и руководителя въ любимомъ мужчинѣ; но, несмотря на это врожденное стремленіе къ нѣкоторой зависимости, такая женщина не была-бы тягостной и вредной обузой даже для очень умнаго и развитого мужчины. Она была-бы способна увлекаться совершенно искренно широкими планами и титаническими стремленіями любимаго человѣка; можетъ-быть она довольно смутно понимала-бы необходимую связь между отдѣльными мыслями; можетъ-быть строгая теорія или дѣловой проэктъ представлялись ей въ неопредѣленныхъ и распадающихся очертаніяхъ, свойственныхъ воздушнымъ замкамъ. Но зато воодушевленіе, овладѣвающее любимымъ человѣкомъ, находило-бы во всемъ ея существѣ ясный, полный и совершенно безъ искусственный отголосокъ. Она не стала-бы шипитъ любимаго человѣка безтолковымъ ворчаніемъ или мелкими жалобами въ то время, когда онъ чувствуетъ потребность подѣлиться съ нею результатами своихъ размышленій, набросанными планами и смѣлыми надеждами. Этого конечно мало, но вѣдь гдѣ-же и взять теперь

много такихъ женщинъ, которыя были-бы способны серьезно работать вмѣстѣ съ своими мужьями? Ужъ и то было-бы хорошо, еслибы женщины не мѣшали работать. А какимъ образомъ онѣ могутъ мѣшать, это всего лучше будетъ видно изъ самаго простаго и скромнаго примѣра. Представьте себѣ, что вамъ предлагаютъ два мѣста. Одно совершенно соотвѣтствуетъ вашимъ убѣжденіямъ и наклонностямъ. Другое—совсѣмъ напротивъ. Первое даетъ вамъ 60 рублей въ мѣсяцъ, второе—80. Вы приходите домой, рассказываете все, какъ есть, вашей женѣ и объявляете ей, что вы хотите взять мѣсто въ 60 рублей. Жена таращитъ на васъ глаза и говоритъ, что вы съ ума сошли, что 20 рублей на улицѣ не валяются и что такіе напризы вамъ совсѣмъ не по состоянію.—Да пойми-же ты, другъ мой, убѣждаетъ вы,—что на томъ мѣстѣ я буду просто мученикомъ. Оно мнѣ противно. Мнѣ гадко будетъ смотрѣть на самого себя.—Скажите, пожалуйста, какія нѣжности,—отвѣчаетъ супруга.—А это, небоюсь, не гадко смотрѣть, что жена въ стонанныхъ башмакахъ ходитъ!—И много другихъ варіацій разыгрывается на ту-же самую, вовсе не интересную для васъ, тему. Если вы человѣкъ твердый, то вы остаетесь непоколебимы и берете все-таки 60-ти рублевое мѣсто; но зато ваша семейная жизнь втеченіи нѣсколькихъ недѣль скрипитъ, какъ намазанная телега. Если же вы такой размазня, какъ огромное большинство русскихъ людей, то вы уступаете, жена даетъ вамъ за вашу разсудительность несчетное число «безешекъ», и черезъ нѣсколько времени ваше отвращеніе къ подлой должности исчезаетъ, потому что подъ вліяніемъ развращающей обстановки весь строй вашихъ понятій медленно понижается. Такимъ образомъ общество, по милости вашей супруги, потеряло въ вашей особѣ полезнаго работника и приобрѣло лишняго эксплуататора. Но такія супруги формируются только изъ тѣхъ женщинъ, которыя совершенно сбиты съ толку кринолинами, гуляньями, шляпками и трипками. Женщины-же, подобныя Леночкѣ, понимаютъ очень хорошо, что шелковое платье и счастье жизни—двѣ вещи разныя; и эти послѣднія женщины не промѣняютъ любимаго человѣка не только на шляпку, но даже и на цѣлый бурнусъ. Если вы станете объяснять Леночкѣ, почему вы не хотите или не можете взять мѣсто въ 80 рублей, она можетъ-быть и не совсѣмъ успѣшно пойметъ ваши доводы, но она во всякомъ случаѣ повѣритъ вамъ. Она увидитъ, что вамъ было-бы тяжело на томъ мѣстѣ, и этого будетъ для нея совершенно достаточно. Словомъ, простыя женщины, подобныя Леночкѣ, умѣютъ по крайней мѣрѣ любить, а это умѣнье совсѣмъ не такая ничтожная вещь, которой при нашей непокрытой бѣдности было-бы позволительно пренебрегать. Разумѣется, змѣиная мудрость лучше голубиной кротости, но на нѣтъ и



суда нѣтъ. За немнѣишемъ лучшаго, умѣйте и голубиную кротость обращать себѣ въ пользу. А извлекать изъ нея пользу очень возможно, потому что человѣку, измученному и утомленному ежедневной борьбой съ глупостью и подлостью, не только приятно, но даже необходимо имѣть возлѣ себя честное, кроткое и любящее существо, у котораго всегда можно найти неподдѣльную ласку и безкорыстное участіе.

Теперь читатель понимаетъ, что типъ кисейной дѣвушки имѣетъ очень важное значеніе, тѣмъ болѣе, что такихъ женщинъ много. Надо объяснить обществу, что эти силы, хорошия и здоровыя, хотя и не блестящія, не должны пропадать даромъ. Надо объяснить преимущественно умнымъ и образованнымъ юношамъ, что на этихъ простыхъ женщинъ они должны смотрѣть не только безъ высокомернаго предубѣжденія, но даже съ глубокимъ сочувствіемъ и уваженіемъ. Путь жизни длиненъ и труденъ. Работа утомительна. Отдыхъ для обыкновенныхъ людей необходимъ. Умныхъ женщинъ мало. Поэтому, если вамъ встрѣтится Леночка, и если она съ ребяческой довѣрчивостью бросится къ вамъ на шею, подумайте, серьезно подумайте, существуетъ ли дѣйствительно такая — нибудь необходимость отворачиваться отъ союза съ этимъ милымъ ребенкомъ. — Леночка не дастъ вамъ того великаго, безмѣрнаго счастья, которое даетъ только мыслящая женщина, но по крайней мѣрѣ она не превратитъ васъ ни въ подлца, ни въ филистера, ни въ закабаленнаго баграка. Она не будетъ васъ эксплуатировать; у нея есть искренность, а это — свойство очень драгоценное. Но какъ-бы вы ни рѣшили вопросъ о вашихъ дальнѣйшихъ отношеніяхъ къ той или другой Леночкѣ, не смѣйте ни въ какомъ случаѣ смотрѣть свысока на этихъ женщинъ и обращаться легкомысленно съ ихъ чувствами.

Существуетъ на Руси поговорка, что женскія слезы — вода; эта поговорка, подобно многимъ другимъ, доказываетъ только весьма наглядно, что на Руси во всякое время было достаточное количество дураковъ и подлецовъ. Вы умнѣе, вы образованнѣе, вы крѣпче Леночки; вы не заплачете о томъ, о чемъ она заплачетъ; всѣ ваши доблести и преимущества при васъ и остаются; но все это не даетъ вамъ никакого права думать, что вы чувствуете глубже ея и что всѣ ея маленькія огорченія скользятъ съ нея, какъ съ гусиной воды. Абсолютной мѣрки для глубины чувства не существуетъ. Всякому свои слезы солони, и кто своимъ легкомысліемъ заставляетъ плакать безотвѣтное существо, подобное Леночкѣ, тотъ постыжается глупо и подло, хотя быть — можетъ онъ и не дуракъ, и не подлецъ. Важнѣйшее житейское искусство состоитъ именно въ томъ, чтобы пробираться бережно и осмотрительно въ путаницѣ личностей и интересовъ, не наступая никогда нечаянно на живое человѣческое тѣло. —

Мудреное искусство жить и дѣйствовать, не обижая безвредныхъ людей, пріобрѣтается не вдругъ. Молодымъ людямъ случается часто наступать на живое тѣло безъ всякаго злого или подлаго умысла, по неопытности, по неловкости, по неумѣнно ясно разсмотрѣть ту пограничную черту, гдѣ кончаются естественныя права собственной личности и гдѣ начинаются естественныя права сосѣда. Это наступаніе на живое тѣло производитъ съ одной стороны боль, съ другой — стыдъ и угроженіе совѣсти. Такіе уроки не проходятъ даромъ. Кто наступилъ одинъ разъ и кто пережилъ всѣ тяжелыя ощущенія, развивающіяся изъ такого событія, тотъ постарается на будущее время вести свои дѣла внимательнѣе и осторожнѣе. Опытъ здѣсь, какъ и вездѣ, дѣйствуетъ сильнѣе всякаго кабинетнаго размышленія.

Но подобныя опыты обходятся слишкомъ дорого, и было-бы очень полезно замѣнить ихъ, насколько это возможно, плодами теоретическихъ размышленій. Польза беллетристики и литературной критики состоитъ преимущественно въ томъ, что онѣ заставляютъ читателя размышлять о такихъ житейскихъ вопросахъ и формировать себѣ взгляды на такія стороны и явленія вѣднейшей жизни, которые незнакомы читателю по собственному опыту. Читая напримѣръ простую исторію Молотова съ Леночкой, неопытныи молодой человѣкъ задумывается надъ нею, вглядывается въ слова и поступки обѣихъ личностей и произноситъ надъ ними свое сужденіе; было-бы очень неосновательно думать, что такое упражненіе мысли остается совершенно безплоднымъ и не имѣетъ никакого вліянія, прямого или косвеннаго, на собственные поступки юнаго читателя. Литературная критика должна поддерживать, усиливать и направлять ту работу мысли, которую пробуждаетъ въ головѣ читателя беллетристическое произведеніе. Разбирая романъ или повѣсть, я постоянно имѣю въ виду не литературное достоинство даннаго произведенія, а ту пользу, которую изъ него можно извлечь для міросозерцанія моихъ читателей.

Легко можетъ быть, что читателя утомляютъ иногда мои длинныя микроскопическія изслѣдованія надъ такими мелкими явленіями, какъ любовныя радости и огорченія какой-нибудь ничтожной Леночки. Читателю досадно, зачѣмъ я анализирую почти каждое движеніе и комментирую почти каждое слово Молотова и кисейной дѣвушки. Но мнѣ кажется, что досада читателя неосновательна. Я глубоко убѣжденъ въ томъ, что эти микроскопическія явленія, эти будничныя мелочи наполняютъ собой цѣлую жизнь цѣлыхъ милліоновъ людей. Изъ необдуманныхъ ловъ, изъ мелкихъ непоследовательностей, изъ дезамѣтныхъ оплошностей складывается малю-ю-малу большая часть человѣческихъ страданій и человѣческихъ подлостей. Вѣдь Молотовъ по-

ступилъ съ Леночкой очень подло; онъ и самъ сознается себѣ въ этомъ; а между тѣмъ скажите по совѣсти, мои двадцатилѣтніе читатели, многіе-ли изъ васъ сдумѣли-бы или рѣшились-бы на мѣстѣ Молотова поступить такъ, чтобы не вышло подлости? Вотъ и надо было показать подробнѣйшимъ анализомъ, какимъ образомъ отвратительный ядъ подлости слагается изъ самыхъ невинныхъ и безвредныхъ элементовъ. Подлость Молотова именно тѣмъ и поучительна, что Молотовъ самъ нисколько не подлецъ. Я относился къ нему очень жестко, когда я разбираю его отношенія къ Леночкѣ, тамъ я смотрѣлъ только на одну сторону дѣла: я констатировалъ вредъ и боль, нанесенные кисейной дѣвушкѣ, — существу совершенно невинному и беззащитному. Теперь мнѣ надо возстановить въ глазахъ читателя репутацію Молотова, на которого мы можемъ сердиться за его неукротимость, но которого было-бы несправедливо презирать. Собственно полная реабилитация Молотова возможна только тогда, когда мы познакоимся съ дальнѣйшимъ ходомъ его жизни. Молотовъ принадлежитъ къ числу тѣхъ людей, которымъ все въ жизни дается довольно туго. Поэтому тридцатилѣтній Молотовъ гораздо лучше двадцатилѣтняго. Толчки и удары жизни шлифуютъ и закаляютъ его. Онъ превосходно пользуется опытомъ. Что пережито имъ, то уже составляетъ неизгладимую черту въ его умѣ и въ его характерѣ. Но у Молотова нѣтъ того, чѣмъ обладаютъ очень даровитыя личности, подобныя Базарову. У него нѣтъ умѣнья угадывать жизнь; онъ не можетъ силой творческой и анализирующей мысли забѣгать впередъ и рѣшать зранѣе, совершенно безошибочно, такіе задачи, которыхъ еще не задавала ему дѣйствительная жизнь. Молотовъ выходитъ изъ университета розовымъ птенцомъ, простирающимъ во все стороны свои объятія, тоскующимъ, когда ему приходится об-

нимать пустое пространство, и робѣющимъ, когда въ его объятія попадаетъ живая дѣвушка, принявшая его безпредметное доброжелательство за опредѣлившееся чувство. Базаровъ входитъ въ жизнь сильнымъ, страстнымъ, смѣлымъ и энергическимъ мужчиной, уже выработавшимъ себѣ въ мірѣ книжныхъ занятій драгоценное умѣнье кое-что ненавидѣть, многое презирать, къ очень многому относиться равнодушно и все на свѣтѣ подвергать анализу. Базаровъ на видъ гораздо страшнѣе и свирѣпѣе Молотова. Та женщина, которая съ радостной довѣрчивостью подходитъ къ Молотову, едва осмѣлилась-бы заговорить съ Базаровымъ, или даже при Базаровѣ. Одинъ взглядъ Базарова, быстрый и небрежный, совершенно смутилъ сестру Одинцовой, Катю. А между тѣмъ Молотовъ гораздо опаснѣе Базарова. Базаровъ только смутитъ или испугаетъ, а Молотовъ безъ всякаго злого умысла истерзаётъ женщину и изуродуетъ ее жизнь. Еслибы Базаровъ получилъ письмо Леночки, «по гробъ вѣрной и любящей», то онъ тотчасъ рѣшился-бы, какъ ему дѣйствовать, вести-ли дѣло впередъ, или оборвать его въ самомъ началѣ. Въ первомъ случаѣ Леночка сдѣлалась-бы счастливѣйшей женщиной. А во второмъ случаѣ Базаровъ сразу такъ обжогъ-бы ее насмѣшливымъ взглядомъ и правдивымъ словомъ, что Леночка тотчасъ убѣжала-бы со свиданія домой и навсегда закаялась-бы писать нѣжныя цыдулки къ молодымъ людямъ. Леночка стала-бы говорить о Базаровѣ, что онъ и злой, и гордый, и страшный. Но Леночкѣ не пришлось-бы рыдать надерновой скамейкѣ, не пришлось-бы плакать напролѣтъ цѣлыя ночи и не пришлось-бы повторять съ безвыходнымъ отчаяніемъ ужасныя слова: «никому мы не нужны!.. Кому любить такихъ?..» И злой, гордый, демоническій Базаровъ оказался-бы здѣсь, какъ и вездѣ, гораздо лучше добраго, пѣжнаго, ласковаго Молотова.

## СЕРДИТОЕ БЕЗСИЛІЕ.

### I.

Я знаю очень хорошо, что наша публика безконечно добра и простодушна; но иногда эти похвальные свойства ея характера проявляются въ такихъ колоссальныхъ размѣрахъ, что меня разбрасываетъ охота повторить съ нѣкоторыми измѣненіями непочтительныя слова Бёрне: «Каждый человѣкъ, — говоритъ этотъ писатель въ своихъ «Парижскихъ письмахъ», — имѣетъ полное право быть глупымъ, но нѣмцы злоупотребляютъ этимъ правомъ.» Мнѣ кажется, что наша читающая публика въ прошломъ году злоупотребила пра-

вомъ быть доброй и простодушной. Она не только прочитала, но даже превознесла до небесъ романъ Ключникова «Марево». Еслибы этотъ романъ могъ попасть лѣтъ двадцать тому назадъ въ руки покойнаго барона Брамбеуса, то Брамбеусъ бросилъ-бы его подъ столъ и написалъ-бы о немъ всего полстроки: «Ванька, это твоя литература!» Еслибы наша публика въ общей массѣ своей дѣйствительно поумнѣла со времени Брамбеуса, то мнѣ, разумѣется, и въ голову не могла-бы придти дикая мысль писать критическую статью о такомъ произведеніи, какъ романъ Ключникова.

ва. Даже теперь, принимаясь за такую постыдную работу, я чувствую потребность извиниться передъ мыслящей частью нашей читающей публики. Разбирать романъ Ключникова — занятіе крайне неприличное. Невозможно говорить просто: «Ключниковъ», «романъ «Марево». Надо непременно говорить такъ: «съ позволенія сказать Ключниковъ», «съ позволенія сказать романъ Марево». Чтѣ-бы вы сказали напримѣръ, господа мыслящіе читатели, еслибы я осмѣлился поднести критическую статью о драматическихъ произведеніяхъ Дьяченко, или о романахъ Воскресенскаго, или о философіи Асоченскаго, или о какомъ-нибудь преісъ-курантѣ винъ и колоніальныхъ товаровъ? Вы-бы сказали вѣроятно, что я съ ума сошелъ и что я начинаю шутить съ вами совершенно неприличныя шутки; вы-бы замѣтили совершенно основательно, что во всѣ эти вещи можно, пожалуй, завертывать мыло, сыръ или копченую рыбу, но что о нихъ нѣтъ никакой возможности размышлять и писать критическія статьи, потому что всѣ эти вещи совсѣмъ не литература, а только печатная бумага.

И все это вы имѣете полное право сказать мнѣ теперь, когда вы видите, что я имѣю дерзость говорить съ вами о романѣ «Марево». И въ то же время я васъ могу увѣрить честью, что я не сошелъ съ ума и вовсе не намѣренъ позволять себѣ въ отношеніи къ вамъ неприличныя шутки. Чтѣ-же прикажете дѣлать, какъ прикажете не говорить объ этомъ произведеніи російскаго гения, когда наша публика уже успѣла забыть все, что толковалъ ей великій эстетикъ Вѣлинскій? Подумаешь въ самомъ дѣлѣ, что наша публика любить и уважаетъ Вѣлинскаго: издано 12 томовъ его сочиненій; томы эти раскупаются, разрѣзываются и даже читаются; самые убогіе писакки называютъ Вѣлинскаго своимъ учителемъ, великимъ бойцомъ, основателемъ русской критики, законодателемъ въ области эстетики. Подумаешь въ самомъ дѣлѣ, что всѣ истины, высказанныя и доказанныя великимъ критикомъ, вошли уже въ плоть и кровь читающихъ людей и сдѣлались навсегда тѣмъ общимъ капиталомъ, которымъ непременно долженъ обладать каждый образованный русскій человѣкъ. Подумаешь, что теперь уже не зачѣмъ твердить зады и что теперь можно уже смѣло строгить дальше на томъ прочномъ фундаментѣ, который заложенъ Вѣлинскимъ. Подумаешь — и жестоко ошибешься! Публика читаетъ Вѣлинскаго и похваливаетъ: какъ, дескать, у него складно все выходитъ! — Публика читаетъ «Марево» и замираетъ отъ восторга: «ухъ! какъ интересно! страсть, какъ интересно!» Чему-же научилась масса публики у Вѣлинскаго, когда она до сихъ поръ не умѣетъ отличать въ литературныхъ произведеніяхъ жизненную правду отъ риторической жи? Чѣмъ подвинулась публика впередъ въ своемъ взглядѣ на литературу съ тѣхъ баснословныхъ временъ, когда она трепе-

тала отъ волненій надъ переводными романами Поля Феваля и заливалась то смѣхомъ, то слезами надъ такими-же переводными романами Поль-де-Кока? — Ни у Феваля, ни у Поль-де-Кока вы никогда не найдете ничего подобнаго тому, что создалъ Ключниковъ. Не о тенденціяхъ этого начинающаго романиста я намѣренъ здѣсь говорить. Я слишкомъ уважаю самого себя, чтобы вступать съ Ключниковымъ въ какія-бы то ни было теоретическія препирательства: это совсѣмъ не стоило ума дѣло. Противъ моего всегдашняго убѣжденія, я посмотрю на романъ Ключникова съ чисто эстетической точки зрѣнія, потому что ни въ какой другой точки зрѣнія на него не стоитъ смотрѣть. Я поставлю и рѣшу только вопросъ: поддается-ли на что-нибудь этотъ романъ? То-есть можно-ли въ немъ найти хоть малѣйшую искру ума или таланта? Есть-ли въ немъ по крайней мѣрѣ хоть капля здраваго смысла и знанія дѣйствительной жизни? Похожи-ли его дѣйствующія лица хоть немного на живыхъ людей? Если нѣтъ на всѣ эти вопросы придется отвѣчать отрицательно, то никакихъ дальнѣйшихъ изслѣдованій о романѣ «Марево» и быть не можетъ. Развѣ есть въ самомъ дѣлѣ возможность разсуждать о жизненныхъ явленіяхъ, затронутыхъ въ романѣ, когда окажется, что романъ не затронулъ совсѣмъ никакихъ явленій.

Въ клеветѣ, въ карикатурѣ можетъ всетаки проявиться умъ, талантъ, своеобразный взглядъ на то или другое явленіе дѣйствительной жизни. Но въ каракулькахъ, написанныхъ или нарисованныхъ пятилѣтнимъ ребенкомъ, которому подарили листъ бѣлой бумаги и очиненный карандашъ, нельзя усмотрѣть рѣшительно ничего, кромѣ неумѣнья рисовать и ребяческой нетвердости руки. Обыкновенно художественныя произведенія пятилѣтнихъ Рубенсовъ оставляются всѣмъ здравомыслящими людьми безъ вниманія; всякій видитъ, что это — каракульки, и всякій понимаетъ, что не за чѣмъ и разсуждать о ихъ безсмысленности. Обыкновенно также литературныя произведенія бездарныхъ писателей оставляются безъ вниманія здравомыслящими критиками. Всякій видитъ, что это — хламъ, и всякій понимаетъ, что безъ хлама не обходится ни одна литература, и что отъ хлама не отобьешься никакой критикой, потому что на свѣтѣ всегда будетъ очень много людей, совмѣщающихъ въ себѣ гениальность шестинедѣльнаго ягненка съ честолюбіемъ Александра Македонскаго. Но когда честолюбивый ягненокъ приобретаетъ себѣ своими каракульками всероссійскую извѣстность, тогда критика поневолѣ должна нарушить свое презрительное молчаніе. Критика должна во всякомъ случаѣ удовлетворять умственнымъ потребностямъ публики. Если публика еще способна обольщаться каракульками, значитъ, она нуждается въ томъ, чтобы ей объяснили негодность такихъ художественныхъ произведеній.

Нечего дѣлать! Давайте разбирать каракульки и обсуживать претензіи честолюбивыхъ янть. Это—очень печальная обязанность, но дѣлать нечего. Не публика существуетъ для удовольствія критиковъ, а критика существуетъ для того, чтобы приносить пользу публикѣ.

## II.

Бездарный, но честолюбивый писатель Ключниковъ силится изобразить въ своемъ умерительномъ романѣ борьбу двухъ міровыхъ силъ, доброй и злой. Добрая сила воплощена въ кандидата Владиміръ Русановъ, а злая—въ графъ Владиславъ Бронскій. Между этими двумя силами качается, какъ маятникъ, «святая женская душа», которую Ключниковъ называетъ Иной и которую онъ старается сдѣлать весьма интересной. Ключниковъ увѣряетъ насъ, что эта интересная Инна влюблена въ добродѣтельнаго Русанова. Мы ему, разумѣется, охотно вѣримъ и желаемъ молодымъ людямъ всякаго благополучія, тѣмъ болѣе, что и Русановъ полагаетъ ибжній, но цѣломудренной страстью. Но авторъ никакъ не можетъ согласиться на ихъ бракъ, потому что тогда не произошло бы никакого «Марева». На сцену является злое начало, и «святая женская душа», продолжая любить Русанова, обольщается демоническими рѣчами Бронскаго и вовлекается въ его злые умыслы. Вслѣдствіе такихъ предосудительныхъ поступковъ «періи молодая» изгоняется изъ эдема, такъ что послѣдняя часть романа переноситъ насъ уже за границу.

Коварная фантазмагорія, разлучившая пару родственныхъ душъ, напоминаетъ Ключникову то явленіе природы, которое называется въ степяхъ южной Россіи «маревомъ», а въ обыкновенномъ литературномъ языкѣ—миражемъ. Роману, какъ видите, дано заглавіе эмблематическое, пелишенное значительныхъ претензій на глубокомысліе. Дѣйствующихъ лицъ въ романѣ очень много, и всѣ они выведены отчасти для большаго посрамленія злого начала, отчасти же, и даже преимущественно потому, что надо же чѣмъ-нибудь наполнять страницы, благо есть еще на Руси добродушные люди, покупающіе печатную бумагу не пудами, а въ видѣ книжекъ. Весь романъ есть неисчерпаемое море безсмысленной болтовни, посредствомъ которой Ключниковъ старается показать публикѣ, что онъ слыхалъ въ своей жизни всякіе разговоры, читалъ всякія статьи и умѣетъ изобразить на бумагѣ безъ орфографическихъ ошибокъ, всякое мудреное слово. Эти старанія увѣнчиваются полнымъ успѣхомъ, и добродушная публика узнаетъ съ особеннымъ удовольствіемъ, что въ Россіи народился еще одинъ литераторъ, еще одинъ двигатель общественнаго прогресса, еще одинъ просвѣтитель общественнаго сознанія. Если Петръ Ивановичъ Бобчинскій живъ и здоровъ до настоящаго ми-

нуты,—онъ, разумѣется, уже не станетъ обращаться къ Хлестакову съ просьбой довести до свѣдѣнія важныхъ особъ, что въ такомъ-то городѣ живетъ Петръ Ивановичъ Бобчинскій. Онъ просто напишетъ романъ для «Русскаго Вѣстника» или критическую статью для «Эпохи». Редакція примутъ его трудъ съ благодарностью, и честолюбивый идиотъ не только увидитъ свою фамилію въ печати, но даже получитъ за это удовольствіе денежное вознагражденіе, потому что, какъ говорятъ французы: *chaque sot trouve toujours un plus sot qu'il admire*.—Вотъ вамъ на примѣръ одинъ изъ тѣхъ разговоровъ, посредствомъ которыхъ Ключниковъ двигаетъ отечественный прогрессъ и просвѣщаетъ общественное сознаніе. Дѣйствіе происходитъ въ одномъ уѣздномъ городѣ, на балѣ у мѣстнаго предводителя дворянства.

«— Ахъ!»—крикнула одна дама, заматавшись.—Русановъ подхватилъ ее, думая, что съ нею обморокъ. Она глядѣла черезъ плечо: весь задъ платья, оторванный отъ лифа, спустился и открылъ бѣлыя юбки. (Послѣ такого событія, дамъ повидимому слѣдовало-бы бѣжать въ уборную и поправлять разстроенный туалетъ. Въ дѣйствительности такъ всегда и бываетъ, но въ романѣ Ключникова такъ случиться не можетъ, потому что тогда трудно было-бы понять, зачѣмъ разсказанъ эпизодъ о разорванномъ платьѣ. Дама остается въ залѣ и начинается поучительная сцена, клонящаяся къ посрамленію какихъ-то представителей злого начала.)

«— Извините,—бормоталъ сконфуженный Коля (пятнадцатилѣтній гимназистъ, рано развращенный вліяніемъ злыхъ элементовъ.)

«— Медвѣжонокъ! (Дама продолжаетъ показывать танцующему обществу свои бѣлыя юбки, единственно для того, чтобы поругаться съ развращеннымъ мальчишкой, который при этомъ случаѣ долженъ обнаружить передъ смущенными читателями всю гнусность и закоснѣлость заблуждающейся молодежи.)

«Тотъ проворчалъ что-то и пошелъ было. (Но она все-таки не пошла въ уборную.)

«— Что такое?—сказала та, поднявъ носикъ.

«— Я говорю: вольно-жъ вамъ такіе шлейфы отращивать, что ходить нельзя.

«— Да какъ вы смѣете? дерзкій мальчишка! (Да уведите-же вы ее, ради Бога, въ уборную и вразумите ее тамъ, что въ порядочномъ обществѣ дамы не ругаются за случайную неосторожность. Наступивши ей на платье, Коля сконфузился и сказалъ: «извините!» Чего-же ей еще отъ него хочется? Называя его медвѣжонокъ, она сама напрашивается на дерзость.)

«— А вы—спица долгохвостая! (Ну вотъ, раздразнила ребенка, онъ и обругалъ ее.)

«— Г. Горобецъ (это фамилія Коли), извольте отправиться въ гимназію и объявить дежурному надзирателю, что вы мною арестованы въ кар-

церъ, — сказалъ подошедшій инспекторъ губернской гимназіи. (Этотъ инспекторъ, увлекшись рыцарскимъ желаніемъ поддержать обиженную даму, совершенно забываетъ, вмѣстѣ съ Ключниковымъ, условія времени и мѣста. Дѣйствіе происходитъ лѣтомъ, во время каникулъ, и балъ дается не въ губернскомъ, а въ уѣздномъ городѣ. Коля живетъ на хуторѣ у своего дяди и пріѣхалъ на балъ безъ всякихъ пожитковъ, такъ, какъ люди обыкновенно ѣздить въ гости. И дядя вовсе не уполномочилъ его скакать, сломя голову, въ ночь въ губерпскій городъ, до котораго, какъ видно изъ другихъ мѣстъ романа, надо считать по меньшей мѣрѣ верстъ сорокъ или пятьдесятъ. Куда-же это пастыръ добрый посылаетъ своего буйнаго питомца? И зачѣмъ-же этотъ пастыръ добрый такъ глупъ, что даетъ ему неисполнимое приказаніе?)

« — Позвольте вамъ замѣтить, г. Егоровъ, — отвѣтилъ, нисколько не смутившись, юноша, — что вы мой начальникъ только въ зданіи гимназіи, а здѣсь — такой-же гражданинъ, какъ и я. (Къ кому или къ чему Ключниковъ хочетъ обратить такое поученіе — я рѣшительно не знаю, но ясное дѣло, что мудреное слово «гражданинъ» употреблено не просто. Миѣ часто случалось слышать, какъ гимназисты грубятъ начальству, но никогда въ подобныхъ случаяхъ не произносилось ни слова о гражданскихъ правахъ, потому что это было-бы ужъ чересчуръ глупо. Значить, тутъ говорить не гимназистъ; тутъ говорить какая-то эмблема какого-то таинственнаго зла. Коля Горобецъ есть лицо аллегорическое или символическое, но подъ этой многозначительной каракулькой слѣдуетъ непременно подписать, что она направлена противъ такихъ-то и такихъ-то явленій дѣйствительной жизни; а то безъ этой подписи никто не угадаетъ тайныхъ ползновеній автора. Ключниковъ кого-то или что-то обличаетъ, но его обличительное кряхтѣнье вызываетъ въ читателѣ только сострадательный смѣхъ надъ *сердитымъ безсильемъ* честолюбиваго ягненка.)

«Разстроившійся *round* собрался вокругъ спорившихъ. (А что - же даму увели въ уборную? Или Русановъ все еще продолжаетъ ее поддерживать и созерцать вмѣстѣ съ нею развалины ея платья? — Ключниковъ такъ увлекается гимназической теоріей гражданского равенства, что, занявшись изложеніемъ этого спорнаго вопроса, навсегда забываетъ о существованіи дамы и ея платья. Такъ до самаго конца романа мы ничего больше о нихъ и не узнаемъ.)

« — Что такое? Что такое? — раздавались голоса.

« — Ну, всѣ на одного, — кричалъ разгорячившійся питомецъ гимназіи: — милости просимъ, я давно до васъ добирался. (До кого добирался? И что значить «добирался»? И съ какой цѣлью добирался? Всѣ эти вопросы на вѣчныя времена остаются нерѣшенными.)

« — А вотъ я тебѣ уши выдеру, — не стерпѣлъ инспекторъ. (Молодецъ мужчина! Хвалю за энергію! Тутъ по крайней мѣрѣ ясно видно, до чего человекъ добирается. Но если взглянуть на дѣло не съ воинственной, а съ педагогической стороны, то окажется, что инспекторъ глупъ, какъ пробка. Онъ начинаетъ съ того, что даетъ своему питомцу неисполнимое приказаніе; питомецъ отвѣчаетъ ему поразительной глупостью, а инспекторъ оставляетъ эту глупость безъ вниманія и лѣзетъ драться. Развѣ такъ надо учить юношество уму - разуму? Инспекторъ, подобно дамѣ съ оборванными платьемъ, самъ напрашивается на дерзость и съѣдаетъ весьма невкусный грибу.)

« — Прошу рукавъ воли не давать, — отвѣтилъ тотъ, взявшись за стулъ; — вы сами прозвали меня нигилистомъ! (Послѣ этого отвѣта, подкрѣпленнаго выразительной мимикой, инспекторъ умолкаетъ и ступшевается. Ключниковъ, которому подвернулось подъ руку новое мудреное слово, совершенно забываетъ о существованіи инспектора, такъ какъ онъ уже забылъ о существованіи дамы, заварившей всю кашу своими стремленіемъ поругаться. Чтò-же это наконецъ такое? Коля рѣшительно держитъ въ ежовыхъ рукавицахъ весь провинціальный *beau-monde*. Назвалъ даму долгохвостой синицей — та замолчала. Погрозилъ инспектору стуломъ — тотъ поджалъ хвостъ. А чтò-же дѣлаетъ во все это время хозяинъ дома? Чтò-же это за колпакъ, если онъ не умѣетъ встать за даму и усмирить двумя-тремя спокойными сказанными словами буйную страсти пятинадцатилѣтняго нигилиста?... Нигилиста!.. Вотъ оно — роковое слово! Вотъ вамъ надлежащая подпись къ обличительной каракулькѣ, измышленной сердитымъ, но безсильнымъ писателемъ. Коля Горобецъ есть символъ или эмблема нигилизма. Весь задъ дамскаго платья оторванъ отъ лифа, дама ругается, инспекторъ говоритъ глупости — единственно для того, чтобы обрисовать съ разныхъ сторонъ чудовище, пожирающее умственные способности русскаго общества. Обрисовываніе, начатое съ такимъ успѣхомъ, продолжается въ слѣдующихъ строкахъ.)

« — Вотъ они, вредоносные-то плоды литературы. — вмѣшался старый чиновникъ. (Не на радость себѣ онъ вмѣшался! И читатель рѣшительно не знаетъ, зачѣмъ Ключниковъ вложилъ въ его уста это глупое изреченіе? Затѣмъ-ли, чтобы ущипнуть старыхъ чиновниковъ и заявить такимъ манеромъ свой собственный тихенькій либерализмъ, или затѣмъ, чтобы изъ за угла пустить противъ литературы то невинное замѣчаніе, что она развращаетъ гимназистовъ.)

« — Это вы говорите потому, что я васъ въ вѣдомостяхъ обличилъ, да еще въ воровствѣ? (Старый чиновникъ тотчасъ исчезаетъ со сцены и присоединяется къ лицамъ, навсегда забытымъ авторомъ. А въ отвѣтъ Коли заключается такой-

же обоюдоострый мечъ, какой мы видѣли въ изреченіи стараго чиновника. Съ одной стороны Ключниковъ повидимому выражаетъ ту смѣлую и новую мысль, что въ Россіи есть стареичины, способные нарушать правила строгой честности. Но съ другой стороны Ключниковъ также повидимому усиливается доказать, что обличать старыхъ чиновниковъ «въ вѣдомостяхъ, да еще въ воровствѣ», способны только такіе развращенные пошляки, какъ Коля Горобецъ. — Легко можетъ быть, что Ключниковъ писалъ свои діалоги безъ малѣйшаго умысла, по избытку своего простодушія, по непосредственному влеченію своей природы, такъ, какъ соловей поетъ и роза благоухаетъ. Но что дѣлать? Бываютъ ужъ такіа избранная организациа, у которыхъ «перы и алмазны» такъ и сыпятся изо рта, даже помимо ихъ собственнаго желанія. Что ни скажетъ, что ни напишетъ—все, каждое слово выходитъ непременно или глупо, или пошло. Въ этомъ отношеніи только одинъ изъ извѣстныхъ мнѣ русскихъ писателей можетъ сравниться съ Ключниковымъ. Это—Николай Соловьевъ, начавшій съ недавняго времени украшать своими статьями критическій отдѣлъ «Эпохи». Невинность и простодушіе этого писателя сквозятъ въ каждой его строкѣ. А между тѣмъ въ каждой изъ этихъ невинныхъ и безсвязныхъ строкъ притаилась—незамѣтная для простодушнаго автора, но очевидная для внимательнаго читателя,—зловещественная инсинуація. Николай Соловьевъ имѣетъ привычку читать всѣ мои статьи; чтобы мои неслестныя для него слова не показались ему бездоказательной бранью, я напомню ему только то мѣсто изъ ноябрьской книжки «Эпохи» въ которомъ, онъ на основаніи повѣстей Помяловскаго, старается уличить нигилистовъ и религиозовъ въ систематическую ненависть къ родителямъ. Пусть наивный критикъ задумается надъ этимъ мѣстомъ и посыплетъ пепломъ свою убогую голову. — Однако все это въ скобкахъ; пора воротиться къ свирѣпому гимназисту, (нагнавшему страхъ на провинціальное общество.)

« — *Pest poli, ce petit bonhomme*—нечего сказать!—слышались женскіе голоса.

« — Это вы говорите оттого, что я не хочу съ вами ногъ вывергивать, какъ ученая собачка, или оттого, что у васъ подъ шляпками вмѣсто мозговъ цвѣты на сажень торчатъ. (Эта рѣчь буйнаго юноши не обращена ни къ кому въ частности. Это—отвѣтъ на возгласы «женскихъ голосовъ». Это—возваніе ко всему женскому полу вообще. Въ дѣйствительной жизни такіа возванія совершенно невозможны, потому что разонженный человѣкъ всегда привязывается съ своей бранью къ тѣмъ отдѣльнымъ личностямъ, которыя его оскорбили, но въ романѣ «Марево» человѣческія страсти разыгрываются иначе. Здѣсь тщедушное воплощеніе нигилизма, стараясь заявить свою собственную глупость и гнусность,

оскорбляетъ все общество и всѣхъ женщинъ, не разбирая правыхъ и виноватыхъ. Слово *мозги* употреблено съ очевидной цѣлью попрекнуть нигилистовъ Мошешотомъ. Не мѣшаетъ также замѣтить, что южно-русскіе нигилисты, какъ видно изъ словъ Коли Горобца, предписываютъ дамамъ носить *мозги* не внутри черепа, а снаружи, подъ шляпками, — тамъ, гдѣ въ настоящее время, по изысному выраженію того-же Коли, «торчатъ на сажень цвѣты». Такъ какъ ни одна дама не носитъ подъ шляпкой цвѣтовъ «на сажень» и такъ какъ съ другой стороны носить *мозги* на головѣ неопратно и бесполезно, то читатель долженъ согласиться, что нигилизмъ совершенно несостоятеленъ, ибо нигилисты лгутъ безсовѣстнымъ образомъ и для своихъ преступнымъ цѣлей извращаютъ основныя истины анатоміи и фізіологіи.)

« — Позвольте васъ спросить, милостивый государь, гдѣ вы воспитывались?—сказалъ Бронскій, подходя въ свою очередь. (*Самъ демонъ* выступаетъ на сцену, чтобы защитить несчастное общество отъ неукротимаго пятнадцатилѣтняго злодѣя. Однако, надо сказать правду, первый вопросъ демона поразительно глупъ. Къ чему этотъ разговоръ о воспитаніи, когда забывшійся мальчикъ обругалъ всѣхъ дамъ дурами? Его просто надо было увести изъ комнаты и надо было предложить ему стаканъ холодной воды для успокоенія взволнованныхъ его страстей. Но, разумѣется, демонъ и не можетъ быть умнымъ, потому что онъ созданъ Ключниковымъ, а, извѣстное дѣло, творецъ можетъ дать своему творенію только тѣ свойства, которыми онъ самъ обладаетъ.)

« — Оставьте его, — шеннулъ Доминовъ:—это забавно. (Доминовъ—молодой, но уже очень солидный чиновникъ, товарищъ предсѣдателя гражданской палаты. По какому случаю и съ какой точки зрѣнія этотъ господинъ можетъ находить забавными глупыя и неприличныя выходки Коли Горобца—это остается для читателя непроницаемой тайной.)

« — Нѣтъ, онъ можетъ повредить...—также полу-шопотомъ отвѣчалъ Бронскій. (Кому повредить, чѣмъ повредить—это опять неразгаданная шарада. Авторъ очевидно старается напустить какъ можно больше таинственности; простодушные читатели ловятся на эту балаганную шутку и быстро поглощаютъ одну страничку за другой, въ надеждѣ найти наконецъ желанное объясненіе. Никакого объясненія они не находятъ, но они не злонамерены; имъ надо было только убить время. Если авторъ усыпляетъ свой рассказъ глухими намеками на какую-то интригу, то читатели, по своему добродушію, не требуютъ отъ него, чтобы онъ имъ показалъ всѣ нити и весь смыслъ интриги; они до самаго конца романа будутъ чего-то ждать, а потомъ, ничего не дождавшись, смиренно поблагодарятъ дюжиннаго писака за доставленное имъ удовольствіе.)



« — Пашепоколёніе само себя воспитывало, — продолжалъ Коля. (Вотъ вамъ третье мудреное слово, — «гражданинъ», «нигилистъ», «наше поколёніе» — все это слова весьма предосудительныя, которыя могутъ произносить только неблагодарныя гимназисты.)

« — И съ перваго разу поретъ дичь, — спокойно возразилъ Бронскій. — Что это за ваше поколёніе? Развѣ не каждую минуту люди рождаются?

« — Bravo! bravo! — раздалось вокругъ. (Ахъ, какой умный Бронскій и какое умное общество! Чему-жъ они такъ обрадовались и съ какой стати закричали «bravo»? По словамъ Бронскаго выходитъ, что столѣтній старикъ и грудной ребенокъ принадлежать къ одному поколёнію. Ихъ раздѣляетъ, правда, промежутокъ времени въ девяносто-девять лѣтъ, но вѣдь это ровно ничего не значить. Годъ состоитъ изъ двѣнадцати мѣсяцевъ, мѣсяць — изъ тридцати дней, день — изъ 24 часовъ, часъ — изъ 60 минутъ, а люди рождаются каждую минуту. Столѣтній старикъ принадлежитъ къ одному поколёнію съ тѣмъ человѣкомъ, который родился минутой поздиѣ его, и съ тѣмъ также, который родился двумя минутами поздиѣ, и тремя, и четырьмя, и пятью, и такъ далѣе; если продолжать такой расчетъ очень долго, то и окажется, что столѣтній старикъ и грудной ребенокъ принадлежать къ одному поколёнію. Это — вариация на извѣстный софизмъ старой схоластической логики — о плѣшивомъ. Вамъ предлагаютъ вопросъ: «если вырвать у васъ одинъ волосъ, сдѣлаетесь-ли вы плѣшивымъ?» — Вы разумѣетесь, отвѣтите: «нѣтъ.» — «А если вырвать еще одинъ?» — «Нѣтъ.» — «А еще одинъ?» — «Нѣтъ.» Но наконецъ вамъ придется-же сказать: «да», и тогда вашъ собесѣдникъ объявитъ вамъ, что вы сдѣлались плѣшивымъ отъ потери *одного* волоса, или-же — что между плѣшивымъ и не плѣшивымъ человѣкомъ нѣтъ никакой разницы. Тотъ, кто первый выдумалъ эту штуку, былъ конечно очень остроуменъ, но прилагать эту старую выдумку къ различнымъ частнымъ случаямъ — совсѣмъ не трудно. Но даже въ частномъ приложеніи стараго софизма Ключниковъ ползетъ по чужимъ слѣдамъ. «Русскій Вѣстникъ», питающій нѣжную страсть ко всякой схоластической дребедени, уже давно старался доказать схоластическими ухищреніями, что молодое поколёніе есть мизъ, сочиненный двумя-тремя злонамѣренными журналистами.)

« — Что тутъ значать лѣта? Тутъ важны одинаковыя убѣжденія. (Четвертое мудреное слово, вложенное въ уста Коли для опошленія! Толковать объ убѣжденіяхъ могутъ только малолѣтніе грубіяны.)

« — Значить, ничего не признавая, признаемъ классификаціи, признаемъ убѣжденія... (Тутъ я даже втупикъ становлюсь передъ величіемъ этой пошлости. Откуда это почерпнулъ Бронскій то свѣдѣніе, что Коля Горобецъ ничего не при-

знаетъ? И что это значить — ничего не признавать? И кто это ухитрился не признавать классификацій и убѣжденій? Если я не признаю классификацій, то, значить я смѣло могу утверждать, что орангъ-утангъ есть металлъ, что дубъ есть млекопитающее, а желѣзо — растение. Такъ, что-ли? — Но въ сущности это все равно. Дѣло не въ томъ. Ключниковъ очевидно полагаетъ, что есть та свѣтъ люди, непризнающіе ничего, непризнающіе классификацій и убѣжденій. Въ этомъ мифѣ Ключникова нѣтъ ничего особенно изумительнаго. Вѣдь полагаетъ-же странница Феклуша, появляющаяся на сценѣ въ «Грозѣ» Островскаго, что есть люди съ песьими головами. Я не вижу ни малѣйшаго резона, почему и Ключникову не имѣть столь-же оригинальныхъ понятій о землѣ и о тваряхъ, на ней живущихъ. Что позволительно Феклушѣ, то вовсе не должно составлять запретный плодъ и для Ключникова. Но вѣдь вы вотъ что возьмете въ расчетъ: Бронскій видитъ Колю Горобца въ первый разъ въ жизни; въ словахъ Коли не было высказано еще ни одного намека на какія-бы то ни было признанія или отрицанія. Спрашивается, какимъ-же процессомъ мысли Бронскій могъ добратъ до той непостижимой нелѣпости, которую онъ произноситъ? Ключниковъ, какъ кліентъ «Русскаго Вѣстника», очень сердится на какихъ-то людей съ песьими головами. Мысль объ этихъ чудовищахъ не даетъ покоя Ключникову, но зачѣмъ-же онъ навязываетъ свою собственную галлюцинацію тѣмъ дѣйствующимъ лицамъ романа, которыя никакъ не могутъ думать, чувствовать и говорить такъ, какъ думалъ, чувствовалъ и говорилъ-бы на ихъ мѣстѣ самъ Ключниковъ?)

« — А, да чортъ васъ побралъ бы, — крикнулъ гимназистъ и улизнулъ изъ залы.

« — Молодецъ графъ, не нынѣшнимъ — чета! замѣтилъ солидный господинъ, съ большимъ интересомъ слѣдившій за этимъ объясненіемъ.»

Вы видите, что солидные господа принимаютъ Колю Горобца за одного изъ «нынѣшнихъ». Какъ легко должно быть графу, что его называютъ «молдцомъ» такіе умные люди! И какъ пріятно должно быть графу то сознаніе, что онъ передъ лицомъ всего уѣзднаго общества съумѣлъ побѣдить въ словесномъ турнирѣ даже пятнадцатилѣтняго гимназиста! Да и мудро было не побѣдить! Какъ ни глупы были выходки Коли, однако фразы Бронскаго еще неизмѣримо глупѣе, а глупость, доведенная до колоссальныхъ размѣровъ, можетъ ослабить, оглушить, ошеломить и окончательно сбить съ толку самого искуснаго діалектика. Спорить можно только съ тѣмъ человѣкомъ, который дѣйствительно работаетъ умомъ во время спора. Побѣдить въ спорѣ можно только того человѣка, у котораго есть въ головѣ здоровая, естественная логика. Говоря съ такимъ человѣкомъ, вы можете прослѣдить весь процессъ его мысли и отыскать ту точку, въ которой кроется сеновая причина ва-

шого разногласія. Но что-же вы станете дѣлать съ такимъ собесѣдникомъ, который неспособенъ связать въ своей головѣ двухъ мыслей? Скажете онъ вамъ напримѣръ фразу; вы увидите въ этой фразѣ нелѣпость; начнете вы доказывать ему, что онъ ошибся, онъ сейчасъ отпуститъ вамъ вторую фразу, опять съ нелѣпостью, неимѣющей даже никакой логической связи съ первой; вы вынетесь къ этой второй фразѣ и начнете ее распутывать, онъ вамъ—третью, такого-же достоинства и такъ-же совершенно независимую отъ двухъ первыхъ. И такимъ образомъ онъ отчепитъ десятки фразъ, безъ малѣйшаго утомленія, потому что онъ не думаетъ, а только говоритъ. Но вы разумѣетесь, очень скоро совершенно опалѣете отъ бесплодныхъ усилій отыскать между его фразами какую-нибудь логическую связь. Вы попросите пощады или, подобно Горобцу, улизнете изъ комнаты, а вашъ глупый собесѣдникъ будетъ считаться въ солидномъ обществѣ такимъ молодцомъ, который «ненынѣшнимъ чета». Бронскій спрашиваетъ у Горобца, гдѣ онъ воспитывался; тотъ ему отвѣчаетъ, Бронскій, не продолжая своей прежней мысли, ухватывается за одно слово въ отвѣтѣ Горобца и на этомъ словѣ строить фразу; Горобецъ отвѣчаетъ на эту фразу; Бронскій опять выхватываетъ одно слово изъ отвѣта и опять на этомъ словѣ строить новую фразу. Такая забава можетъ продолжаться до безконечности.—Клюшниковъ заставляетъ Бронскаго говорить глупости не потому, что желаетъ представить его безтолковымъ человѣкомъ. Напротивъ того, Бронскій—по замыслу Клюшникова—продувная шельма, демонъ, хитрый и опасный чевѣкъ; Клюшниковъ стремится увѣрить насъ, что Бронскій опуталъ своими интригами цѣлый край; Клюшниковъ напрягаетъ все свои силы, чтобы въ каждое слово Бронскаго вложить нѣчто многозначительное и молніеносное; но Клюшниковъ все-таки остается Клюшниковымъ, и поэтому Бронскій оказывается пигалицей вмѣстѣ того, чтобы быть лукавымъ демономъ. И читатель напоминаетъ съ сострадательной улыбкой ту неосновательную лягушку, которая старалась уснуть себѣ тучность вола. Клюшникову было-бы очень выгодно, еслибы мы повѣрили ему на слово; тогда-бы онъ намъ просто сказалъ: «Бронскій и Русановъ—умные люди»; мы-бы этимъ увѣреніемъ тотчасъ удовлетворились; но мы—тоже люди хитрые и неговорчивые; мы на это возражаемъ Клюшникову: «а вы намъ парисуйте умныхъ людей! Вы намъ покажите, какъ умные люди говорить дѣйствуютъ. Ну-ка, попробуйте!»—Клюшниковъ пробуетъ, но тучность вола остается для него недостижимымъ идеаломъ. И Бронскій, и Русановъ, и всякіе Горобцы мужескаго и женскаго пола наводятъ на читателя уныніе и отчепняніе, потому что на всѣхъ этихъ особахъ сидитъ неизгладимая печать ихъ общаго фабриканта.

## III.

Разобранная мною сцена занимаетъ въ романѣ Клюшникова двѣ небольшія странички. Когда-же я взялъ на себя печальный трудъ отмѣтить и распутать все безумныя, укрощающія эту сцену, тогда мнѣ пришлось написать слишкомъ десять страницъ большого формата. Вы у меня вѣроятно спросите: ради чего-же я такъ усердствовалъ?—А вотъ видите-ли: мнѣ хотѣлось показать публикѣ, какимъ образомъ слѣдуетъ читать русскія книги. Если вы прочтете сцену безъ вниманія, то вы не увидите въ ней ничего особеннаго: гимназистъ оторвалъ платье, поругался съ почтенными людьми, убѣжалъ изъ комнаты—все это вещи возможные, нисколько не нарушающія законовъ природы. Но прочтите ту-же сцену со вниманіемъ, и вы увидите въ ней поразительную безтолковщину. Все дѣйствующія лица—какія-то куколочки на пружинкахъ; все говорятъ совсѣмъ не то, что они могутъ и должны говорить по своему положенію и характеру; отвѣты не вяжутся съ вопросами; каждый горудитъ свою собственную чепуху, и вы никакъ не можете понять, какая побудительная причина выталкиваетъ изъ него столь неожиданные и неправдоподобные звуки.

Еслибы наша публика выучилась читать внимательно романы и журнальныя статьи, еслибы она постоянно требовала отъ писателя строгаго отчета въ каждомъ написанномъ имъ словѣ, еслибы она проникнулась тѣмъ убѣжденіемъ, что каждое слово должно непременно выражать собой мысль, совершенно понятную для того, кто пишетъ это слово,—тогда литература наша навсегда очистилась-бы отъ такихъ худосочныхъ прыщей, какъ романъ «Марево» или журналъ «Эпоха». Весь романъ «Марево», съ первой страницы до послѣдней, написанъ совершенно такъ, какъ разобранная мною сцена. Попробуйте, господа читатели, раскрыть его на удачу въ разныхъ мѣстахъ и разобрать попавшіяся вамъ двѣтри странички съ той тщательностью, съ какой я разобралъ 54-ю и 55-ю страницы перваго тома. У васъ просто голова кругомъ пойдетъ отъ этого убійственнаго чтенія; а между тѣмъ въ прошломъ году этотъ романъ читался на-расхватъ. Что-же дѣлать критикѣ противъ этого скандальнаго торжества бездарности? Публикѣ были даны еще со временъ Бѣлинскаго превосходные руководящіе принципы. Но что-же дѣлать, если она сама еще не умѣетъ прикладывать ихъ къ частнымъ случаямъ? Остается только одно послѣднее средство: надо въ критическихъ статьяхъ, кромѣ теорій, давать еще и практику. Надо не только дать публикѣ въ руки букварь, но надо еще читать вмѣстѣ съ нею нараспѣвъ: буки-азъ — ба, вѣди-азъ—ва и такъ далѣе. Мой разборъ клюшниковской сцены есть именно такое чтеніе нараспѣвъ. Это очень скучно

и утомительно, но больше вы ничѣмъ не остановите наплыва бездарностей, позорящихъ нашу литературу во всѣхъ ея отрасляхъ. Чего добраго, мнѣ скоро придется возиться со статьями Николая Соловьева такъ, какъ я вожусь теперь съ романомъ Ключниковъ. Бездарность душитъ насъ со всѣхъ сторонъ.

Мы видѣли, какъ прелестно Ключниковъ рисуетъ мельчайшія подробности всенедней жизни. Посмотримъ теперь, искусенъ-ли онъ въ группированіи и освѣщеніи крупныхъ событій, на которыхъ лежитъ весь психологическій интересъ его романа. Посмотримъ, каково задуманы и обрисованы главные характеры. Разумѣется, важнѣе всѣхъ остальныхъ дѣйствующихъ лицъ кандидатъ Русановъ, добродѣтельный юноша, которому авторъ вполне сочувствуетъ и который даже, по словамъ одного эстетика, Эдельсона, представляетъ собой лицо идеальное. Намъ очень пріятно познакомиться съ такимъ прекраснымъ молодымъ человѣкомъ. Посмотримъ-же теперь, какими глазами лицо идеальное созерцаетъ міръ запутанныхъ человѣческихъ отношеній?

Русановъ, только-что кончившій курсъ въ московскомъ университетѣ, пріѣзжаетъ въ одну изъ украинскихъ губерній, на хуторъ къ своему дядѣ, и, заинтересовавшись одной барышней, Инной Горобецъ, рѣшается поселиться въ тихомъ уголѣ и занять тамъ должность мирового посредника. Онъ въ одно прекрасное утро отправляется по сосѣднимъ хуторамъ знакомиться съ помѣщиками и, объявляя имъ свое желаніе, проситъ ихъ содѣйствія на предстоящихъ выборахъ. Странное дѣло! Лицо идеальное сразу ставитъ себя въ самое смѣшное положеніе. Представьте себѣ, что вы—помѣщикъ. Къ вамъ пріѣзжаетъ незнакомый вамъ юноша и говоритъ: «честь имѣю рекомендоваться. Я—кандидатъ Русановъ. Потрудитесь подать за меня голосъ, когда вамъ придется выбирать мирового посредника.» — Если вы человѣкъ благоразумный, то вы вѣроятно посмотрите на вашего гостя съ нѣкоторымъ изумленіемъ. Онъ только-что успѣлъ показать вамъ свою фizioномію и произнести свою фамилію, и онъ уже думаетъ, что имѣетъ нѣкоторыя права на ваше довѣріе и уваженіе. Онъ полагаетъ, что вы сами добровольно отдадите въ его руки заботы о такомъ важномъ для васъ вопросѣ, какъ полюбовное размежеваніе вашихъ интересовъ съ интересами крестьянъ. Изъ любезности вы спросите у вашего гостя: «давно-ли вы изволили пріѣхать въ наши края?—Онъ вамъ отвѣтитъ: «три недѣли. — «А прежде гдѣ вы изволили жить?—«Въ Москвѣ. Я учился въ тамошнемъ университетѣ.» — Изъ этихъ двухъ краткихъ отвѣтовъ вы уразумѣете, что вашъ собесѣдникъ никогда не былъ деревенскимъ жителемъ и слѣдовательно не имѣетъ ни малѣйшаго понятія о тѣхъ людяхъ, съ которыми ему придется имѣть дѣло, ни о тѣхъ матеріальныхъ интересахъ, ко-

торые онъ такъ отважно берется размежевывать. Такъ какъ вашъ юный гость стремится къ звонію мирового посредника, не обращая никакого вниманія на свою очевидную неопытность и некомпетентность, то вы имѣете полное право видѣть въ немъ или заносчиваго и пустооголаго вѣтрогона, хватающагося за всякую работу и неимѣющаго даже понятія о тѣхъ серьезныхъ трудностяхъ, которыя сопряжены съ добросовѣстнымъ отправленіемъ каждой общественной должности,—или-же молодого пройдоху, пошлаго искателя приключеній, которому хочется только сорвать съ зомства полторы тысячи рублей на канцелярскіе расходы и потомъ вести дѣло на-авось, спустя рукава, безъ всякихъ расходовъ и трудовъ. Въ томъ и въ другомъ случаѣ вы принуждены будете отнестись къ вашему новому знакомому съ сострадательнымъ презрѣніемъ, которое по всей вѣроятности нисколько не продвинетъ его впередъ къ желанной цѣли. Идеальное лицо — Русановъ повидимому долженъ былъ все это предвидѣть заранее. Но Русановъ о такихъ пустякахъ не думаетъ. Онъ рѣшается быть мировымъ посредникомъ совершенно неожиданно для себя и для читателя, такъ, какъ онъ рѣшился-бы выкупаться въ рѣкѣ или пойти на охоту, или сыграть съ добрымъ пріятелемъ партію на билліардѣ. Неужто въ самомъ дѣлѣ идеальныя лица должны приниматься за общественную дѣятельность съ такой младенческой беззаботностью?

Вы можете-быть попробуете сказать въ оправданіе Русанова, что онъ еще очень молодъ, не знаетъ жизни, видитъ вещи въ розовомъ свѣтѣ, слишкомъ много надѣется на свои юношескія силы и влѣдствіе этого слишкомъ смѣло и необдуманно хватается за такую дѣятельность, о которой онъ имѣетъ самое поверхностное понятіе. Нѣтъ. Ваше оправданіе не идетъ къ дѣлу. Въ студенческіе годы мы не знаемъ дѣйствительной жизни, но мы живемъ въ области мысли; мы въ это время долго, упорно и серьезно думаемъ о нашей будущей дѣятельности: мы подходимъ къ явленіямъ дѣйствительности съ очень строгими, быть-можетъ даже неосуществимыми требованіями; въглядъ нашъ на человѣческія отношенія и на предстоящій трудъ отличается въ молодости скорѣе излишней торжественностью, чѣмъ излишнимъ легкомысліемъ. Вѣтренными юношами выходятъ изъ университета только тѣ личности, которыя во все время своего студенчества не переставали быть прилежными учениками или рѣзвыми малютками. Молодые люди, мало-мальски умные и даровитые, переживаютъ обыкновенно во время своего студенчества, при столкновеніи съ живой струей науки, много тяжелыхъ и незабвенныхъ минутъ внутренней борьбы и умственного броженія. Молодой человѣкъ углубляется въ самого себя и съ замираніемъ сердца задаетъ себѣ рѣшительные вопросы:

«что я такое? Какъ я проживу на свѣтѣ? Каковъ складъ моего ума? Каковы размѣры моихъ силъ? На что я годенъ? Къ чему я себя пристрою? Чѣмъ я обезпечу за собой право подавать руку честнымъ людямъ и смотрѣть имъ прямо въ глаза?» Рѣшеніе этихъ вопросовъ тѣмъ болѣе мучительно, что молодость всегда нетерпѣлива. Молодость тратитъ нерасчетливо все, начиная отъ своего двугривеннаго и кончая своей величайшей драгоценностью—живыми силами организма. Но когда нерасчетливый юноша схватываетъ себя за голову и, потрясенный какимъ-нибудь новымъ впечатлѣніемъ, вдругъ съ поразительной ясностью чувствуетъ потребность рѣшить вопросы жизни,—тогда юношѣ кажется, что время не терпитъ, что каждая минута драгоценна, что надо тотчасъ сдѣлать рѣшительный выборъ, тотчасъ готовить себя къ извѣстной дѣятельности, что малѣйшее промедленіе вредно и преступно, какъ медленное самоубійство или какъ позорное отступничество. Въ умѣ молодого человѣка поднимается буря; вопросы рѣшаются сегодня такъ, завтра—иначе, черезъ недѣлю—на третій манеръ. Молодой человѣкъ злится, бранитъ себя за безхарактерность, выбивается изъ силъ, увываетъ, потомъ принимается за работу хладнокровнѣе, потомъ опять горячится, опять изнемогается, и понемногу въ этихъ необходимыхъ и спасительныхъ буряхъ нашей молодости созрѣваетъ и складывается сильный и мужественный характеръ, который будетъ встрѣчать и переносить съ невозмутимымъ спокойствіемъ и съ добродушной веселостью все то, что пугаетъ, давитъ, развращаетъ и уродуетъ мелкихъ людшекъ, незакаленныхъ въ суровой школѣ внутренней борьбы и умственныхъ страданій. Если молодой человѣкъ по нѣскольку разъ въ мѣсяцъ дѣлаетъ рѣшеніе важнѣйшихъ вопросовъ жизни, то эта подвижность вовсе не доказываетъ, что рѣшенія даются ему дешево и что онъ относится легкомысленно къ своей будущей дѣятельности. Мѣняетъ онъ свои рѣшенія совсѣмъ не для того, чтобы увеселять себя разнообразіемъ; онъ худѣетъ и блѣднѣетъ, онъ ночей не спитъ отъ этого увеселенія; чѣмъ чаще приходится мѣнять, тѣмъ сильнѣе онъ страдаетъ; да вѣдь что же дѣлать? Такие вопросы не рѣшаются кое какъ, и невозможно-же, изъ любви къ умственному комфорту, оставлять неизмѣннымъ такое рѣшеніе, которое уже перестало казаться удовлетворительнымъ.

Юношамъ приписываютъ обыкновенно способность мечтать о будущемъ; *юность и мечты*—два понятія неразлучныя; нѣтъ того рюмоплета, нѣтъ того бездарнаго писаки, который-бы не отпустилъ нѣсколько казенныхъ пошлостей о золотыхъ или о розовыхъ мечтахъ юности. Рюмоплетъ или бездарный беллетристъ въ своей юности дѣйствительно только на то и были годны, чтобы мечтать о розовомъ предметѣ, напри-

мѣръ о какой-нибудь барышнѣ, или о золотомъ предметѣ, напримѣръ объ офицерскихъ эполетахъ. Можетъ-быть у этихъ господъ были кроме того и караковые мечты, направлявшіяся къ верховой лошади такой масти, и сѣдые мечты, клонившіяся къ брововому воротнику, который въ свое время будетъ весьма картинно серебриться морозной пылью, по незабвенному выраженію Пушкина, величайшаго специалиста по части всякихъ юношескихъ мечтаній, пѣгихъ и буланыхъ, о маленькихъ ножкахъ и объ издѣляхъ вдовы Кликко. Всѣ подобныя мечтанія чрезвычайно усладительны; но то юношество, которое понесетъ на своихъ плечахъ судьбу общества въ ближайшія десятилѣтія, то юношество, въ которомъ лежатъ задатки мужественной зрѣлости,—мечтаетъ мало. Оно думаетъ, и его думы награждаютъ его ранними морщинами и преждевременными лысынами. Объ этой крѣпкой, страстной и серьезной дѣятельности юношеской мысли Ключниковъ не имѣетъ ни малѣйшаго понятія. Его идеальное лицо—Русановъ мечталъ въ университетѣ объ общественной дѣятельности такъ, какъ современники Пушкина мечтали о шампанскомъ и о балетѣ. Возвышеннѣе такого идеала Ключниковъ, разумѣется, и не можетъ ничего создать. Безсиліемъ автора и узкостью его пониманія только и объясняется то хлестаковское нахальство, съ которымъ лицо идеальное пытается сунуть свой носъ въ совершенно неизвѣстную ему отрасль серьезной практической дѣятельности. Зрѣлице выходитъ умильное и уморительное. Герой дѣлаетъ пошлѣйшую изъ пошлостей, а романистъ одобрительно и даже почтительно киваетъ головой. Это напоминаетъ мнѣ ту сцену изъ «Мертвыхъ Душъ», когда Маниловъ съ радостнымъ умиленіемъ, свойственнымъ глупому отцу, превозноситъ гениальныя способности своего вислоухаго Фемистоклеса, котораго въ эту самую минуту насильственно сморкаетъ лакей.

Плохія газеты, стараясь заявить свой либерализмъ, подтруниваютъ обыкновенно надъ какой-нибудь несчастной Турціей или упрекаютъ въ ретроградствѣ какого нибудь шанхайскаго мандарина. Плохіе беллетристы, подобные Ключникову, стремясь обнаружить свою образованность и тонкость своего юмора, рисуютъ обыкновенно съ великосвѣтской насмѣшливостью картины дикихъ провинціальныхъ нравовъ. Ироническіе отзывы о закоснѣлости Турціи и о провинціальномъ *mauvais-genre* питаютъ и грѣютъ многихъ либеральныхъ каплуновъ, которымъ барская спѣсь и непобѣдимая лѣнь мѣшаютъ взяться за пиленіе дровъ или за тасканіе воды.—Описывая путешествіе Русанова по сосѣднимъ хуторамъ, Ключниковъ, разумѣется, разрезываетъ сокровища своего юмора и бросаетъ насмѣшливые взгляды на обитателей украинскаго захолустя. Но просвѣщенный либералъ не за-

мѣчаетъ того, что чѣмъ больше онъ издѣвается надъ смиренными провинціалами, тѣмъ глупѣе и смѣшнѣе становится фигура его любимаго героя, сунувшагося въ воду, не спросивъ броду. — «Ну, будетъ по съумасшедшимъ домамъ шляться! — восклицаетъ Русановъ, объѣхавъ около десятка хуторовъ.» — О, милѣйшій господинъ Русановъ, какъ жестоко вы поражаете этимъ возгласомъ вашу собственную особу! Вы сами напращивали на такую должность, которая приподила-бы васъ въ ежедневныя соприкосновенія съ самыми допотопными типами провинціальной жизни. Вы называете вашихъ сосѣдей съумасшедшими? Прекрасно! Но, къ счастью для васъ, у этихъ съумасшедшихъ все-таки хватило здраваго смысла на то, чтобы отклонить вашу просьбу о мировомъ посредничествѣ. А что-бы вы заплѣли въ томъ случаѣ, еслибы съумасшедшіе не оказались благоразумнѣе васъ и еслибы они исполнили ваше жаланіе? Въѣдъ вамъ, мой неразсудительный другъ, пришлось-бы тогда каждый день бывать въ какомъ-нибудь съумасшедшемъ домѣ и каждый день по нѣскольку часовъ подрядъ вести юридическія или экономическія бесѣды то съ помѣщицей Коробочкой, то съ Собакевичемъ, то съ Ноздревымъ. У васъ голова закружилась отъ нѣсколькихъ легкихъ разговоровъ о погодѣ и объ урожаѣ, а каково-бы вамъ пришлось тогда, когда надо было-бы толковать обитателямъ съумасшедшихъ домовъ положеніе 19-го февраля, объяснять имъ, что такое уставная грамота, выкупная сдѣлка, разверстаніе угодій? Какъ-же вы осмѣлились просить себѣ званія мирового посредника, когда вы даже приблизительно не знали умственной и нравственной фizioноміи того общества, въ которомъ вамъ пришлось-бы судить и рядить? Если вы называете съумасшедшими вашихъ сосѣдей, смиренно сидящихъ въ своихъ медвѣжьихъ углахъ, то какъ прикажете назвать Владиміра Ивановича Русанова, образованнаго юношу, врывающагося въ міръ съумасшедшихъ домовъ для полученія тысячи пятисотъ рублей за такую работу, которую онъ никакъ не можетъ выполнить добросовѣстно и удовлетворительно?

На одномъ изъ хуторовъ Русановъ бесѣдуетъ съ сантиментальной помѣщицей, которая послѣ первыхъ двухъ словъ наводитъ разговоръ на амурныя дѣла. Русановъ цѣлостно уклоняется отъ этого щекотливаго предмета и выдвигаетъ впередъ свое желаніе быть мировымъ посредникомъ. Происходитъ маленькое недоразумѣніе, созданное Ключниковымъ для того, чтобы уязвить и осмѣять провинціалку, которую онъ называетъ «дебелой красавицей». Но несчастный Русановъ при этомъ недоразумѣніи оказывается несравненно смѣшнѣе «дебелой красавицы».

— Я желалъ-бы переговорить съ вашимъ супругомъ, — говоритъ Русановъ... я желалъ-бы быть посредникомъ.

— О, шалунъ! Вы знаете, какъ это опасно!

Вы хотите быть посредникомъ между жертвой и тираномъ.

— Какъ-съ?

— Между замужней женщиной...

— Нѣтъ-съ, мировымъ посредникомъ...

— А-а-а! Я въѣдъ сказала вамъ, мужа нѣтъ дома. Это не по моей части...

«Дебелая красавица» желаетъ пошалить съ молодымъ человѣкомъ. Это конечно очень безнравственно, но совсѣмъ не глупо, потому что многіе молодые люди — большіе охотники до шалостей; стало-быть, красавица не могла знать заранее, что ея желаніе не осуществится. Молодой человѣкъ заговариваетъ съ дебелой красавицей о мировомъ посредничествѣ. Это конечно нисколько не безнравственно, но зато очень глупо, потому что молодой человѣкъ долженъ былъ сразу увидѣть и понять, что «дебелая красавица» способна заниматься только тѣмъ, что «по ея части». Стало-быть, бесѣдовать съ нею о дѣлахъ государственной или общественной службы было совершенно неумѣстно.

#### IV.

Потерпѣвши неудачу въ исканіи мирового посредничества, Русановъ поступаетъ на службу въ гражданскую палату и получаетъ мѣсто столоначальника. Когда ему уже было обѣщано это мѣсто, онъ ведетъ слѣдующій разговоръ съ своимъ бывшимъ университетскимъ товарищемъ, Бронскимъ.

« — Вы все-таки-же, Владиславъ, — говоритъ Русановъ. — Вотъ вы опять утонули въ мечтахъ; когда-то вы ихъ приложите?

« — А вы свои приложите?

« — Да, помните, какъ мы, разставаясь на станціи, или наше вступленіе въ жизнь? (*Пить вступленіе въ жизнь* запрещено законами русскаго синтаксиса. Еслибы можно было пить вступленіе въ жизнь, то было-бы также совершенно позволительно пить день рожденія или свадьбу. Но до сихъ поръ никому не приходила въ голову такая преступная мысль.) Съ завтрашняго дня я — столоначальникъ гражданской палаты.

« — Съ чѣмъ васъ и поздравляю! — сказалъ графъ, отодвигаясь.

Разумѣется, трудно повѣрить тому, чтобы идеальное лицо — Русановъ мечталъ, при выхлѣдѣ изъ университета, именно о мѣстѣ столоначальника гражданской палаты. Молодые люди, одержимые демономъ честолюбія, мечтаютъ обыкновенно о болѣе возвышенномъ положеніи въ служебной іерархіи, напримѣръ о министерскомъ портфельѣ или по меньшей мѣрѣ о превосходительномъ титулѣ, о звѣздѣ, о лентѣ, о золотомъ ключѣ. Но я думаю, что даже Ключниковъ постыдится официально заявлять свое сочувствіе къ тѣмъ молодымъ людямъ, которые смотрятъ на государственную службу исключительно какъ на средство удовлетворять прихотямъ мелочнаго

тщеславія. Поэтому я готовъ допустить, что Русановъ при выходѣ изъ университета мечталъ не о чинахъ и знакахъ отличія, а о той пользѣ, которую онъ будетъ приносить обществу, занимая въ государственной службѣ какую-нибудь скромную должность. Словомъ, Русановъ мечталъ въ университетѣ такъ, какъ Надимовъ и великодушный становой Львова мечтали на сценѣ Александринскаго театра. Можно было-бы замѣтить, что эти мечты составляютъ уже для русскаго общества разогрѣтое кушанье, но я буду снисходителенъ до конца, постараюсь забыть несвоевременность русановскихъ мечтаній и произнесу надъ ними приговоръ только на основаніи тѣхъ фактовъ, которые изобрѣтаетъ самъ Ключниковъ. — Черезъ нѣсколько времени послѣ поступленія Русанова на службу помощникъ новаго столоначальника, Чижиговъ, приглашаетъ его къ себѣ пообѣдать запросто. Послѣ очень скромнаго обѣда Чижиговъ пускается съ своимъ начальникомъ въ откровенный разговоръ.

« — По правдѣ сказать, Владиміръ Ивановичъ, я не безъ задней мысли и пригласилъ васъ поглядѣть на наше жигье-бытье... Я васъ побаивался...

— Меня-то?

— Вы вѣдь того-с... изъ нынѣшнихъ, — сказалъ Чижиговъ, лосмиваясь: — а... лучше ужъ разомъ покаяться... Я беру взятки... А вы погодите, вы не сразу казните... Я и уроки даю, получаю рублей пятнадцать въ мѣсяцъ; ну, везо-интъ доставляетъ пятьдесятъ ежегодно. Этимъ-бы можно и жить, да вы возьмите то: начальство требуетъ, чтобъ являться въ своемъ видѣ, не оборвышемъ, ну, и сапоги... Хотя съ высшей точки зрѣнія, казалось-бы, что такое сапоги! А тутъ благодарятъ двумя-тремя рублѣнками... Не бралъ-съ, ей Богу не бралъ, пока оставалось кой-что у жены; все надѣялся на повышение, а вышло вотъ что!..

Чижиговъ пустилъ густое, бѣлое кольцо дыму; оно плыло, расширилось въ темную ленту и пропало въ воздухъ.

— Скажите пожалуйста, — началъ Русановъ, желая прекратить тяжелое объясненіе: — неужели Ишимовъ ничего не далъ за сестрой?»

Вмѣсто того, чтобы описывать весьма картинно, какимъ образомъ бѣлое кольцо дыму плыло, плыло и пропадало въ воздухъ, Ключникову не мыслалось задуматься надъ тѣмъ двусмысленнымъ положеніемъ, въ которое попалъ Русановъ вълѣдствіе «тяжелаго объясненія» съ своимъ подчиненнымъ. Но Ключниковъ даже не замѣтилъ никакой двусмысленности и никакого положенія. Русановъ, который, разумѣется, не можетъ быть дальновидѣе своего творца, также отнесся ко всему этому разговору очень легко и игриво. Онъ только своротилъ въ сторону отъ «тяжелаго объясненія» и затѣмъ счелъ все дѣло оконченнымъ. Этого мало. Онъ даже въ домъ своихъ добрыхъ знакомыхъ, Горобцовъ, «началъ описывать чиновный міръ и пошелъ по своей колесѣ съ своимъ собственнымъ ему добродушнымъ юморомъ». По какой колесѣ ходитъ обыкновенно Русановъ въ своихъ разговорахъ — этого я не знаю, потому что

всѣ его разговоры, приведенные въ романѣ, совершенно безсвязны, безалаберны, наполнены внутренними противорѣчіями и нивъ какую определенную колею не могутъ быть втиснуты. Что Русанову свойственъ какой-то юморъ, этому я также не могу повѣрить, потому что во всѣхъ его разговорахъ нѣтъ никакихъ слѣдовъ юмора. Въ добродушіи-же я, пожалуй, не откажу Русанову, если только подъ этимъ именемъ мнѣ позволено будетъ подразумѣвать его абсолютную неспособность отнестись серьезно къ какому-бы то ни было явленію жизни и довести послѣдовательно до конца какую-бы то ни было дѣльную мысль. — На добродушные рассказы Русанова о чиновномъ мірѣ, злобный Бронскій дѣлаетъ слѣдующее возраженіе. — «Какъ не пожалѣть, въ самомъ дѣлѣ! Жена, дѣти et caetera et caetera... О, благодѣтели! Неужели это оправданіе? — И затѣмъ онъ принялся говорить въ духѣ такой нетерпимости, что Русановъ рѣшился уступить поле противнику и удалился въ уголокъ.

Возраженіе Бронскаго показываетъ ясно, что Русановъ изощрялъ свой добродушный юморъ надъ чѣмъ-нибудь вродѣ *тяжелаго объясненія*, происходившаго въ квартирѣ Чижикова. Я вовсе не хочу заподозрить Русанова въ томъ, что онъ зубоскакалъ на счетъ горемычнаго житія бѣдныхъ чиновниковъ. Нѣтъ. Тутъ дѣло совсѣмъ не въ томъ. Тутъ важно то обстоятельство, что Русановъ относился весело и добродушно къ такому явленію, которое радикально подрываетъ для него всякую возможность остаться на службѣ. Основная тема русановскихъ рассказовъ о чиновномъ мірѣ состоитъ очевидно въ томъ, что, молъ, никакъ нельзя — жена, дѣти, поневолѣ беретъ. — Хорошо! Русановъ, какъ мы видѣли, узналъ, что его подчиненный беретъ взятки. Это *тяжелое объясненіе* каждому мыслящему человеку, находящемуся на мѣстѣ Русанова, дало-бы почувствовать, что онъ попалъ въ такіе страшные тиски, изъ которыхъ нѣтъ другого выхода, кромѣ чистой отставки. Къ чему обязываютъ Русанова его присяга, его совѣсть, требованія высшей идеи общественного блага? Очевидно къ тому, чтобы безпощадно искоренять взяточничество. Какъ ближайшій начальникъ Чижикова, онъ долженъ донести о его противозаконныхъ поступкахъ и употребить всѣ свои усилія на то, чтобы врагъ общественного блага былъ отданъ подъ судъ. Если у Русанова не дрогнетъ рука задать Чижикова и пустить по міру его жену, если Русановъ твердо рѣшился давить точно такимъ-же образомъ во все продолженіе своей службы всѣхъ бѣдныхъ чиновниковъ, подобныхъ Чижикову, если Русановъ глубоко убѣжденъ въ томъ, что, производя въ своемъ вѣдомствѣ это постоянное избіеніе младенцевъ, онъ дѣйствительно искореняетъ взяточничество и оказываетъ великія благодѣянія своему отечеству, — тогда Русановъ смѣло можетъ оставаться на службѣ и утвер-



ждать во всеуслышаніе, что его студенческая мечта о полезной общественной дѣятельности осуществилась блистательно. Но Русановъ поступаетъ совсѣмъ не такъ. Онъ не давить Чижикова и даже остается съ нимъ въ пріятельскихъ отношеніяхъ. *И въ то-же время Русановъ не выходитъ въ отставку.* Вотъ это уже верхъ непоследовательности, той жалкой, старушечьей непоследовательности, которая происходитъ не отъ пылкости страстей, а отъ слабости разсудка. Если Русановъ помиловалъ Чижикова, тогда онъ очевидно долженъ миловать постоянно всѣхъ чиновниковъ, находящихся подъ его начальствомъ. Какъ-бы широко ни шла служба Русанова, какъ-бы быстро ни подвигалась впередъ его карьера, какъ-бы широко ни раздвигались разшѣры его власти и дѣятельности—все равно: Русановъ все-таки не можетъ сдѣлать ни шагу для прекращенія чиновническихъ злоупотребленій. Чижиковъ—хорошій человекъ, и у него на рукахъ жена; но вѣдь какой-нибудь Степановъ—тоже чудесный человекъ и у него на рукахъ старуха-мать; а чѣмъ-же дуренъ Фадѣевъ, у котораго на рукахъ двѣ сестры? И за что-же обижать вдовца Тиханова, у котораго на рукахъ пятеро малолѣтнихъ дѣтей?—Всѣ берутъ по необходимости, всякому деньги не бесполезны и у всякаго есть что-нибудь на рукахъ. Значить, къ чему-же сводится, при такихъ условіяхъ задачи, студенческая мечта Русанова о полезной общественной дѣятельности? И чѣмъ-же будетъ отличаться идеальный чиновникъ Русановъ отъ всѣхъ матеріальныхъ чиновниковъ, служившихъ еще во времена Очакова и покоренія Крыма? Развѣ только тѣмъ, что тѣ воровали, а Русановъ *самъ* не будетъ воровать?—Значить, Русановъ служить не для того, чтобы приносить положительную пользу, не для того, чтобы искоренять зло, а для того, чтобы *не участвовать* во злѣ. На вопросъ: «что выдѣлаете въ гражданской палатѣ?»—Русановъ долженъ отвѣчать: «я не *ворую*». Но тогда можно ему замѣтить, что этому отрицательному занятію онъ можетъ съ величайшимъ успѣхомъ предаться и у себя на хуторѣ, и въ Петербургѣ, и за-границей, и гдѣ угодно. Для того, чтобы *не воровать*, нѣтъ абсолютной необходимости носить вицмундиръ и ходить каждое утро въ гражданскую палату. Поступать на службу для того, чтобы со временемъ своимъ вліяніемъ реформировать и обновить цѣлыя обширныя части канцелярскаго механизма,—это еще куда ни шло; объ этомъ пожалуй могутъ мечтать юноши, созерцающіе жизнь изъ прекраснаго далека; но мечтать о томъ, чтобы быть въ своей жизни только безвреднымъ, готовить себя совершенно сознательно къ тому, чтобы сдѣлаться навсегда пассивнымъ винтомъ въ ветхомъ механизмѣ,—уже явный симптомъ такой вялости и хилости, такой собачьей старости, которая во всякомъ энергическомъ человекѣ возбуждаетъ

полнѣйшее отвращеніе. О, великій романистъ, Ключниковъ! О, великій редакторъ Катковъ! О, великій эстетикъ, Эдельсонъ! Такъ это воплощеніе собачьей старости есть, по вашему мнѣнію, лицо идеальное?

Но позволяте! Это еще не все. Внутреннія противорѣчія въ поведеніи Русанова какъ-будто нарочно доводятся авторомъ до послѣднихъ предѣловъ комическаго безобразія. И авторъ такъ сѣбѣ, что даже не замѣчаетъ этихъ противорѣчій. На страницѣ 109 Русановъ, придя въ первый разъ на службу, безъ малѣйшей надобности вступаетъ съ однимъ старымъ столоначальникомъ въ ожесточенный споръ по вопросу о взяткахъ. Вотъ вамъ эта поучительная бесѣда, въ которой Русановъ сіяетъ чисто-надимовскимъ благородствомъ души и безкорыстіемъ помысловъ.

«— Горячо вы очень къ сердцу принимаете, но обтерпѣлись еще, не настоящій чиновникъ!—уѣзжалъ старичокъ.

— Съ такимъ, какъ вы говорите, терпѣньемъ и довязно къ недалеко,—рѣзко замѣтилъ Русановъ.

— Хе-хе!... Молода еще...

— Что?

— Въ Саксоніи не была... Эхъ, молодой человекъ! кто беретъ взятки? Это запрещено закономъ, за это лишаютъ чиновъ, дворянства...

— А все-таки берутъ...

— Да не взятки-же: благодарности за труды! Если вы примѣрно ночь просидите за какимъ-нибудь дѣломъ, изготовите къ докладу, какая-же это взятка? Развѣ вы обязаны сидѣть ночь? Въ Судѣ Законовъ полагается присутствовать только до двухъ часовъ...

И старичокъ досталъ красный фуляръ, выморгался съ полнымъ сознаніемъ неотразимаго аргумента.

— Да, почтеннѣйшій collega,—перебилъ Русановъ,—если предлагаютъ деньги, такъ вѣрно и за очередное: то и безъ того доложится... Стало-быть, взятка!

— Погодите, послужите, попривыкнете къ нашему порядку...

— Ну, ужъ это дудки! Это вамъ придется къ нашему порядку-то приглядываться. »

На страницѣ 110 Русановъ горячится и говорить, что «это дудки», а на слѣдующей, 111-й страницѣ, Чижиковъ приглашаетъ его къ себѣ обѣдать и послѣ обѣда—на страницѣ 114—начинаетъ «тяжелое объясненіе», которое Русановъ прекращаетъ на страницѣ 115.—Спрашивается теперь, съ умысломъ-ли или безъ умысла Ключниковъ поставилъ рядомъ двѣ сцены, одну между Русановымъ и старичкомъ, развивающимъ теорію благодарности, а другую между тѣмъ-же Русановымъ и Чижиковымъ, развивающимъ теорію необходимости? Если это сопоставленіе двухъ сценъ произошло нечаянно, тогда вопіющее слабоуміе автора не можетъ уже подлежать никакому сомнѣнію. Тогда, значить, Ключниковъ пишетъ одну сцену за другой по какой-то силѣ инерціи, совершенно машинально: безъ всякаго общаго плана, не умѣя даже понимать смыслъ собственныхъ своихъ фразъ. Онъ пишетъ такъ, какъ деревенскіе дьячки читаютъ

псалтырь. И это толкованіе чрезвычайно выгодно для Ключникова, потому что, если я предположу, что обѣ сцены написаны сознательно, съ умысломъ, тогда выйдетъ результатъ изъ рукъ вонъ пакостный, — такой результатъ, который покажется пакостнымъ всѣмъ пишущимъ и читающимъ людямъ, безъ различія литературныхъ партій. — Старичокъ говоритъ Русанову: «попривыкнете къ нашему порядку», и Русановъ дѣйствительно втеченіи какихъ-нибудь двухъ недѣль привыкаетъ. Старичокъ говоритъ: «благодарность за труды», и Русановъ горячится; Чижиковъ говоритъ: «благодарятъ двумя-тремя рублями», и Русановъ отваливается отъ этого разговора, какъ человекъ, старающійся заглушить въ себѣ голосъ совѣсти. Значитъ, что же это такое? Значитъ, старичокъ былъ правъ и слова его были пророчествомъ. Значитъ, человекъ возмущается взятками только тогда, когда «молода еще, въ Саксоніи не была», а какъ только побываетъ «въ Саксоніи», такъ сейчасъ и увидитъ, что взяточничество освящено законами природы, на вѣки нерушимыми, противъ которыхъ ратуютъ только по своей безтолковости безпокойные вольтеріанцы и фармазоны. Значитъ, даже и противъ взяточничества ратовать не слѣдуетъ. Значитъ, самые умные, самые честные, самые крѣпкіе молодые люди должны съ тупымъ спокойствіемъ травоядныхъ животныхъ тянуть старую канитель, завѣщанную прадедами, потому что извѣстное дѣло, яйца курицу не учатъ, и все это не нами началось и не нами должно кончиться.

Множество романовъ и повѣстей посвящались и посвящаются до сихъ поръ описанію того, какимъ образомъ молодые люди понемногу мирятся со всѣми мерзостями дѣйствительной жизни; но авторы этихъ романовъ и повѣстей никогда не осмѣливались оправдывать это примиреніе; они относились къ примирившимся юношамъ болѣе и менѣе сурово, иногда съ сострадательнымъ презрѣніемъ, можетъ-быть съ тихой грустью, но ужъ во всякомъ случаѣ безъ восторженного сочувствія. Эти романы и повѣсти были всегда вариациями на знаменитыя слова Гоголя въ главѣ о Плюшкинѣ, — на тѣ слова, которыми Гоголь свѣтуетъ юношамъ забирать съ собой смолоду свѣжія чувства, потому что потомъ не подымешь на дорогѣ. — А въ романѣ Ключникова дѣло идетъ совсѣмъ на выворотъ. Русановъ, примирившійся съ взяточничествомъ, остается для автора идеаломъ и героемъ. Этотъ самый Русановъ, участвующій своимъ молчаніемъ въ мелкихъ плутняхъ Чижикова, стремится пролить и дѣйствительно проливаетъ за отечество нѣкоторую часть своей благодѣтельной крови. Значитъ, тутъ и рѣчи быть не можетъ о нравственнымъ паденіи героя и о сострадательномъ презрѣніи автора. Еслибы Ключниковъ относился къ Русанову неодобрительно, то, разумѣется, Ключ-

никовъ не поставилъ-бы этого опозореннаго человека въ картинную позу Курція, бросающагося въ зияющую пропасть для спасенія отечества. Всякій истинный патріотъ долженъ понимать, что только *чистые* люди имѣютъ право совершать чистые подвиги патріотизма. Отдавать въ литературномъ произведеніи эти подвиги въ руки замаранныхъ и оподлѣнныхъ личностей, — значитъ prostituировать идею патріотизма и усыплять въ обществѣ ту чуткость нравственныхъ требованій, которая составляетъ самое прочное и разумное основаніе любви къ отечеству и къ согражданамъ.

Итакъ, Ключниковъ поставленъ въ необходимость выбрать одно изъ двухъ предложенныхъ мною объясненій: или онъ пишетъ безсознательно, въ припадкахъ хроническаго сомнамбулизма, не понимая того, что выходитъ изъ подъ его пера; или-же онъ умышленно проводитъ въ своемъ романѣ тенденціи старичика и старается реабилитировать взяточничество. Пусть попробуетъ кто-нибудь изъ защитниковъ романа «Марево» объяснить какъ-нибудь иначе смыслъ тѣхъ сценъ, которыя я разобралъ въ этой главѣ. Передъ такой задачей станетъ вступникъ даже такой неустрашимый софистъ, какъ Катковъ. А между тѣмъ въ этомъ вопросѣ прямо заинтересована честь Каткова, если только она еще можетъ чѣмъ-нибудь интересоваться. Романъ «Марево» былъ напечатанъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Пускай-же «Русскій Вѣстникъ» торжественно проситъ у публики прощенія въ томъ, что она впадаетъ ее такимъ дурманомъ. Или-же пускай онъ прямо объявитъ себя адвокатомъ взяточничества и торжественно проклинаетъ даже «Губернскіе очерки» Щедрина, положившіе основаніе всему величію Каткова и Леонтьева. Систематическая апологія взяточничества будетъ дѣломъ безпримѣрнымъ даже въ нашей журналистикѣ, опозорившей себя всякими нелѣпостями и гнусостями. Наши литературныя партіи расходятся между собой очень сильно по всѣмъ возможнымъ вопросамъ; даже въ вопросѣ о взяточничествѣ онѣ несогласны на счетъ тѣхъ средствъ, которыя должны привести за собой искорененіе этого общественнаго зла. Но до сихъ поръ я былъ твердо убѣжденъ въ томъ, что вѣтъ и не можетъ быть даже у насъ такой литературной партіи, которая рѣшилась-бы публично провозгласить взяточничество явленіемъ нормальнымъ и не требующимъ искорененія. Я даже и теперь осмѣливаюсь думать, что «Русскій Вѣстникъ» не рѣшится защищать ужестованія Ключникова и скромно промолчать, чувствуя себя въ безвыходномъ положеніи.

У.

Мы любовались на Русанова, какъ на гражданскаго дѣятеля. Посмотримъ теперь на его отношенія къ любимой женщинѣ. Здѣсь безси-

ліе автора выражається вполнѣ въ безцвѣтной вялости героя. Ключниковъ готовъ намъ побожиться, что Инна любитъ и уважаетъ Русанова, но мы не повѣримъ никакой божбѣ; мы скажемъ автору: покажите намъ такого Русанова, котораго женщина могла - бы любить и уважать; передайте намъ тѣ разговоры или поступки Русанова, которые могли-бы произвести на женщину глубокое впечатлѣніе; сѣмуйте создать сильную, умную, мужественную личность, и тогда мы вамъ повѣримъ безъ всякой божбы.

«Помилуйте, господа читатели, — отвѣтитъ авторъ, — чего вы отъ меня требуете? Развѣ можетъ Пульхерія Ивановна изобрѣсти какую-нибудь машину? Развѣ можетъ странница Феклуша написать изслѣдованіе по сравнительной анатоміи? И когда-же это видано, и когда-же это слышано, чтобы курочка бычка родила, поросеночекъ яичко снесъ? Послѣ этого какъ-же вы отъ меня требуете, чтобы я создалъ сильную, умную, мужественную личность? Какъ-же вы хотите, чтобы я сочинилъ для моего Русанова умныя разговоры или поступки?» — «Ну, такъ не зачѣмъ вамъ и божиться въ томъ, что Русанова любитъ и уважаетъ женщина, — отвѣтитъ читатель. Сказали - бы просто, что онъ произвелъ сильное впечатлѣніе на деревенскую барышню своимъ атлетическимъ тѣлосложеніемъ и своей румяной фізіономіей. Этому мы, пожалуй, повѣримъ, тѣмъ болѣе, что мы уже видѣли, какъ заигрывала съ вашимъ героемъ «дебелая красавица». Но Ключниковъ пропускаетъ этотъ отвѣтъ мимо ушей и продолжаетъ божиться. Божится - же онъ преуморительно. Такъ напримѣръ, мы видѣли уже, что онъ приписалъ Русанову добродушный юморъ. Но еслибы читатели спросили: «а гдѣ-жъ онъ, юморъ-то? подавайте его сюда!», то Ключникову осталось-бы только сказать: «былъ, да весь вышелъ. Ей-Богу былъ. У меня, господа, Русановъ — самый настоящій юмористъ, да только я этого выразить никакъ не умѣю.» Въ другомъ мѣстѣ, на страницѣ 30, авторъ увѣряетъ читателя, что Русановъ говоритъ иногда «горячія тирады о значеніи современнаго движенія». Читатель сейчасъ входитъ во вкусъ и требуетъ: «давайте мнѣ сюда горячую тираду. Чтѣ въ печи, то на столъ мечи.» Но горячія тирады такъ и остаются въ печи, и читатель рѣшительно не знаетъ, чтѣ именно Русановъ называетъ *современнымъ движеніемъ* и какое онъ въ немъ усматриваетъ значеніе. Автору опять приходится божиться, что *горячія тирады* — не мифъ. вмѣсто горячихъ тирадъ и добродушнаго юмора, авторъ представляетъ намъ напримѣръ слѣдующій эпизодъ изъ его бесѣдъ съ Инной. «Русановъ ходилъ за ней, раздвигая вѣтви, жевалъ листья и все собирался говорить о чемъ-то. Одинъ разъ онъ будто и рѣшился, кашлянулъ. — Славный

нынче день! — сказалъ онъ и опустилъ глаза подъ пристальнымъ взглядомъ Инны». Впрочемъ можетъ-быть именно въ этомъ эпизодѣ сидятъ и горячіе, и тирады, и добродушіе, и юморъ. Но читатель не знаетъ навѣрное, куда пристроить эти слова. Тираду мы нашли: «славный нынче день!» Разговоръ о свойствахъ *нынѣшняго* дня есть безъ сомнѣнія самый *современный* изъ всѣхъ возможныхъ разговоровъ. Но какъ-же мы поступимъ дальше? Съ одной стороны, легко можетъ быть, что Русановъ «*ходилъ за ней*» съ добродушіемъ, *раздвигалъ вѣтви* съ юморомъ и *жевалъ листья* съ горячіестью; но, съ другой стороны, весьма правдоподобно и то предположеніе, что онъ *рѣшился* съ горячіестью, *кашлялъ* съ юморомъ и *опустилъ глаза* съ добродушіемъ. Просимъ Ключникова вывести насъ изъ тѣстнаго недоумѣнія.

На 30-й страницѣ, на той самой, на которой Ключниковъ приписываетъ своему герою способность произносить горячія тирады, авторъ объявляетъ намъ, что «вмѣстѣ съ наступавшей темнотой Русановъ становился смѣлѣе». У читателя, разумѣется, бьется сердце и замираетъ духъ. Даже тогда, когда было свѣтло, Русановъ рисковалъ заговорить о такомъ современномъ вопросѣ, какъ свойства нынѣшняго дня; даже тогда онъ уже жевалъ листья съ горячіестью. Чтѣ-же способенъ онъ сдѣлать теперь, при наступленіи темноты, когда онъ становится даже *еще* смѣлѣе? Теперь онъ будетъ жевать и глотать дубовыя вѣтви и кирпичи. А ужъ о чемъ онъ заговорилъ — этого я и представить себѣ не могу, потому что современнѣе нынѣшняго дня быть ничего не можетъ. Но какова-же будетъ горячіесть его тирадъ! Онъ просто испепелитъ ими сердце несчастной дѣвушки, и Инна умретъ на мѣстѣ, какъ умерла Тамара, поцѣловавшись съ шаловливымъ кавказскимъ демономъ, котораго на старости лѣтъ разобрала охота влюбляться. Сдѣлавшись *еще* смѣлѣе, Русановъ дѣйствительно царпанулъ слѣдующую тираду: — «Инна Николаевна, хотѣлось-бы вамъ побывать въ Москвѣ?» Послѣ этого вопроса разговоръ становится уже менѣе замѣчательнымъ. Иннѣ какимъ-то непостижимымъ чудомъ удалось спастись отъ испепеленія; но читатель конечно согласится, что Русановъ достаточно обнаружилъ свою увеличившуюся смѣлость. Ключниковъ до такой степени внимателенъ къ своему герою, что даже считаетъ священнымъ долгомъ сообщать читателю подробности о тѣлѣ движеніяхъ его лошади. На стр. 140 мы узнаемъ, что «лошадь Русанова кашлянула и попробовала укусить его шенкель». Это замѣчательное покушеніе произошло во время одной кавалькады, когда Русановъ ѣхалъ рядомъ съ Инной. Къ Иннѣ-же Ключниковъ къ сожалѣнію менѣе внимателенъ, и поэтому не сообщаетъ намъ никакихъ подробностей о поведеніи ея ло-

шади. Но, несмотря на постоянную внимательность автора къ герою, мы все-таки не узнаемъ рѣшительно ничего изъ разговоровъ Русанова съ Инной.

Чтобы Ключниковъ или его защитники не могли обвинить меня въ произвольномъ искаженіи фактовъ, я передамъ тотчасъ съ педантической точностью содержаніе всѣхъ бесѣдъ, происходившихъ между героемъ и героиней, до той самой минуты, когда Инна убѣжала съ Бронскимъ, не какъ любовница, а какъ сообщница. На стр. 29 Русановъ, искавшій въ это время мирового посредничества, жалуется Иннѣ на необразованность провинціаловъ и прибавляетъ слѣдующія слова: «а я-то думалъ, что это Аркадія какая-то». Эти слова доказываютъ, что Русановъ не только ничего въ своей жизни не видалъ, до даже ничего не читалъ; еслибы онъ зналъ дѣйствительную жизнь только по русскимъ романамъ и повѣстямъ гоголевской школы, то и тогда-бы онъ пересталъ мечтать объ Аркадіи. Впрочемъ мы не знаемъ, какъ Русановъ жаловался на провинціаловъ. У Ключникова приведена только одна фраза Русанова: «Ну, люди въ здѣшней сторонѣ!» А затѣмъ сказано глухо, что «онъ началъ описывать ей свои странствованія». И описывалъ, должно быть, прескучно, потому что она сказала ему: «будетъ!»—На стр. 30 Русановъ задаетъ свой смѣлый вопросъ на счетъ Москвы, а Инна за это говоритъ ему, что онъ «точно Подколесинъ»; Русановъ, развивая далѣе свою мысль, спрашиваетъ у нея, желала-ли-бы она насладиться развлеченіями, театромъ, обществомъ? Инна отвѣчаетъ на это, что она не любитъ «вообще многолюдства, а въ частности—того, что называется обществомъ».—Русановъ случайно услышалъ нѣсколько словъ, произнесенныхъ Инной въ то время, когда она думала, что она одна въ саду; слова эти были обращены къ водолазу Ларѣ. «Ты думаешь, онъ придетъ?»—говорила Инна.—Ихъ нѣтъ больше на свѣтѣ... Ни одного...» Потерпѣвши неудачу въ разговорѣ о московскихъ развлеченіяхъ, Русановъ спрашиваетъ: «кто это они, кого нѣтъ больше на свѣтѣ?» Послѣ нѣкоторыхъ отнѣкиваній Инна отвѣчаетъ: «Они—тѣ, которые сжигали стать выше земли».—«Романтики? идеалисты?»—спрашиваетъ Русановъ.—«Они—тѣ,—говоритъ Инна,—чья душа и темъ на, и свѣтла, какъ эта ночь; они—тѣ, что не продадутъ своей совѣсти ни за какія...коврижки.»—«Только-то?—сказалъ онъ, чтобы что-нибудь сказать». Въ этомъ діалогѣ ясно выражается желаніе Ключникова сдѣлать изъ Инны весьма интересное, глубокомысленное и загадочное существо. Но на всякое хотѣніе есть терпѣніе. Въмѣсто глубокомыслія, фразы Инны заключаютъ въ себѣ только пустоту и напыщенность. А Русановъ здѣсь, какъ и вездѣ, говоритъ только для того, «чтобы что-нибудь сказать».—На стр. 63

Инна приглашаетъ Русанова сдѣлать съ нею обходъ по деревнѣ; Русановъ, видя ея приготовленія, спрашиваетъ съ улыбкой: «посѣщеніе болящихъ?» Улыбка, должно быть, выходитъ у него приторная и глупая; по крайней мѣрѣ Иннѣ она не нравится. «Да чему-же улыбаться-то?—строго спросила она.»—Въ употребленіи слова «болящихъ», вмѣсто «больныхъ», авторъ повидимому старается проявить «добродушный юморъ» Русанова. Выходитъ плоскость. —Побывавши въ одной мужицкой хатѣ, Русановъ утврждаетъ, что «надо, во что бы то ни стало, развить эстетическія наклонности въ народѣ». Инна осмѣиваетъ и освистываетъ эту новую пошлость, сказанную Русановымъ по всей вѣроятности для того, «чтобы что-нибудь сказать». На стр. 67 Русановъ продолжаетъ пошлѣть: «увидавъ на грязномъ тѣлѣ красную рану обжога», онъ изображаетъ на своемъ лицѣ «конвульсивную гримасу». Инна говоритъ ему: «дайте мазь, да не падайте въ обморокъ.» На слѣдующей страницѣ Русановъ произноситъ слова: «Какъ вы должны быть счастливы въ такіе минуты!» Такъ какъ эта фраза произносится «восторженно», то читатель можетъ принять ее за «горячую тираду о современномъ движеніи» дамскихъ чувствъ. Но дама русановскаго сердца понимаетъ вещи не такъ, какъ ея кавалеръ; на «восторженную» тираду о счастіи посѣщать «болящихъ» Инна отвѣчаетъ почти съ отчаяніемъ: «все бесполезно! все напрасно! ни къ чему не ведетъ!» Иной кавалеръ полюбопытствовалъ-бы узнать причину этого отчаянія и вступилъ-бы съ своей дамой въ разговоръ, вызывающій на размышленіе. Если дамское отчаяніе указываетъ на расположеніе Инны къ нигилизму или къ какой-нибудь другой зловерной пакости, то повидимому прямая обязанность Русанова, постигнувшаго несостоятельность всякаго зла, заключалась въ томъ, чтобы разумнымъ словомъ отвлечь тоскующую душу отъ бездны заблужденій. Но Русановъ чувствуетъ свою умственную убогость и не спрашиваетъ о причинахъ отчаянія, смутно сознавая, что разговоръ на эту тему можетъ принять очень головоломный характеръ и что въ такомъ трансцендентальномъ разговорѣ не выйдешь ни на добродушномъ юморѣ, ни на горячемъ тирадѣ, ни даже на раздвиганіи вѣтвей и на жеваніи листьевъ. Русановъ поспѣшно переводитъ бесѣду на реальную почву и рассказываетъ Иннѣ, что онъ вчера подслушалъ заговоръ, направленный противъ нея; Инна совсѣмъ не хотѣла слушать, въ чемъ состоитъ заговоръ, и намъ тоже нѣтъ никакой надобности заниматься имъ, потому что самъ Ключниковъ по своему обыкновенію тотчасъ-же совершенно забываетъ о его существованіи. На дальнѣйшій ходъ романа заговоръ не имѣетъ никакого вліянія; значить—ясное дѣло,—онъ былъ измышленъ для наполненія страницъ при-

ятыми пустяками. Бесѣда снова принимаетъ направление психологическое и головоломное. «Развѣ у меня не можетъ быть привязанности?— вопрошаетъ Русановъ.— У васъ? Полноте!— отвѣтствуетъ Инна». Тогда Русановъ не на шутку приходитъ въ азартъ и пускаетъ «горячую тираду». Вотъ она вся цѣликомъ:— «Инна Николаевна! Вы вотъ смотрите на меня, да только и говорите, что полноте, а есть-ли какая-нибудь возможность выдаваться такъ, чтобы вы этого не сказали? Чѣмъ-же я виноватъ, что это случается только въ романахъ, да еще въ тѣхъ, что Бѣлинскій велитъ Ванькѣ по субботамъ читать». — Кажется, Русановъ приписалъ тутъ Бѣлинскому фразу барона Брамбеуса, но это еще не велика бѣда. Но вотъ что очень плохо: Русановъ думаетъ, что выдаваться изъ толпы пошляковъ можно только какими-нибудь подвигами во вкусѣ Еруслана Лазаревича; онъ не имѣетъ никакого понятія о томъ, что въ XIX столѣтіи людей выдвигаетъ впередъ не ломаніе казенныхъ стульевъ по случаю Александра Мабедонскаго, а умственная оригинальность и нравственная самостоятельность. Умные люди и честные работники встрѣчаются въ дѣйствительной жизни, а совсѣмъ не въ пошлыхъ романахъ. Всѣ изобрѣтатели, всѣ замѣчательные изслѣдователи, всѣ даровитые писатели, всѣ добросовѣстные преподаватели, наконецъ всѣ люди, умѣющие мыслить и трудиться, выдаются изъ толпы такъ, что ни одна умная женщина не скажетъ имъ: «полноте!» А развѣ эти люди встрѣчались когда-нибудь въ романахъ Загоскина, Рафаила Зотова или Воскресенскаго? Значить, «горячая тирада» Русанова оказалась безцвѣтной глупостью, неудачно направленной къ тому, чтобы оправдать собственное, безцвѣтно-глупое прозябаніе говорящей личности.—Русановъ объявляетъ далѣе Иннѣ, что онъ завтра ѣдетъ въ губернский городъ на службу. Инна говоритъ ему: «я все-таки лучше объ васъ думала», и спрашиваетъ потомъ: «неужели нельзя пробить свою тропинку?» Русановъ тотчасъ отхватываетъ новую тираду; въ первой онъ цитировалъ Бѣлинскаго, въ этой—ссылается на Лермонтова. Я опять привожу его краснорѣчіе безъ утайки. «Вотъ что! Ну, это точно, какъ вамъ сказать вѣрнѣе, выше или ниже силъ... Помните, Лермонтовъ говоритъ, что онъ живетъ, точно читаетъ дурной переводъ книги послѣ оригинала? Да, горько, когда жизнь разбиваетъ всѣ мечты, а намъ и того хуже, мы опытные.»

Оно и замѣтно, что *опытные*. Опытные люди всегда ожидаютъ найти Аркадію въ захолустьѣ, наполненномъ всѣми миловидными продуктами и остатками крѣпостного права. Опытные люди всегда суются въ мировые посредники, не имѣя понятія о крестьянскомъ бытѣ и о помѣщичьихъ правахъ. Опытные люди всегда толкуютъ о томъ, что надо развивать эстетическія наклонности въ

народѣ, у котораго нѣтъ ни школъ, ни больницъ, ни повивальныхъ бабокъ. «То-есть,—продолжаетъ *опытный* человѣкъ Русановъ,—у насъ и мечты-то никакой нѣтъ, нечѣмъ и въ молодости-то было скрасить дѣйствительность.»

Опять пустословіе и вранье! Изъ разговора Русанова съ Бронскимъ, выписаннаго мною въ началѣ моей IV главы, мы уже знаемъ, что у обоихъ товарищей были мечты, когда они на станціи вмѣсто вина «пили вступленіе въ жизнь». Русановъ даже упрекаетъ Бронскаго въ томъ, что онъ опять утонулъ въ мечтахъ. А Бронскій принадлежитъ къ одному поколѣнію съ Русановымъ. Значить, какой-же смыслъ имѣютъ слова Русанова—*у насъ*? Какіхъ это *насъ* онъ противопоставляетъ поколѣнію Лермонтова? И зачѣмъ-же Русановъ намекаетъ на существованіе *поколѣній*, когда Ключниковъ уже доказалъ посредствомъ Бронскаго заблуждающемуся гимназисту, Колѣ Горобцу, что никакихъ поволеній быть не можетъ, ибо люди рождаются каждою минутою? А кстати можно замѣтить, что на стр. 27 Ключниковъ самъ, отъ своего авторскаго лица, употребляетъ слово «поколѣніе», которое онъ потомъ на стр. 56 побѣдоносно осмѣиваетъ. Значить, какъ-же мы рѣшимъ мудреный вопросъ: существуютъ-ли дѣйствительно поколѣнія, или-же они изобрѣтены журнальными систунами? Русановъ ставитъ себѣ въ заслугу то, что у него были такіа мечты, которыя не могли скрасить дѣйствительность; онъ драпируется въ тогу гордаго страданія и говоритъ: «намъ и того хуже». Но слова «намъ и того хуже», которыя онъ произноситъ съ тайной гордостью, должны быть, напротивъ того, произнесены съ глубочайшимъ смиреніемъ. Въ нихъ заключается по настоящему слѣдующій смыслъ: «я очень глупъ въ сравненіи съ Лермонтовымъ: у меня нѣтъ ни ума, ни чувства, ни фантазіи, и поэтому даже мои юношескія мечты были тусклы, какъ старый, стертый четвертакъ.»

Одинъ мужикъ мечталъ такимъ образомъ: кабы я, говоритъ, былъ царемъ, я-бы каждый день свинное сало ѣлъ! Одна кухарка аккуратно каждую ночь видѣла во снѣ, что она стоитъ передъ плитой и ворочаетъ разныя кастрюли. Мечты мужика и сновидѣнія кухарки очень мало способны «скрасить дѣйствительность», потому что они почти совсѣмъ не отдѣляются отъ ихъ дѣйствительности, но этотъ трезвый характеръ ихъ грезъ вовсе не доказываетъ намъ, что этотъ мужикъ и эта кухарка—мыслящіе реалисты и отличные работники. Это доказываютъ только, что они задавлены и притуплены до крайности безцвѣтнымъ однообразіемъ своего существованія. Ихъ умственный горизонтъ такъ узокъ, ихъ жизнь такъ бѣдна впечатлѣніями, что имъ не откуда взять красокъ для разрисовыванія фантастическихъ картинъ. Если русановскія мечты проникнуты ароматомъ свиного сала и

кухонной посуды, если, вступая въ жизнь, онъ не требовалъ отъ нея почти ничего и готовъ былъ удовлетвориться самыми мизерными размѣрами дѣятельности, то это доказываетъ не то, что Русановъ *опытенъ* и годенъ на какое-нибудь практическое дѣло, а только то, что Русановъ — бездарный, вялый, тряпичный человекъ, перешедшій прямо изъ дѣтства въ старость. Мыслящіе юноши — лучше юношей мечтающихъ; но мечтающіе юноши все-таки лучше юношей «умѣренныхъ и аккуратныхъ». Безтолковый идеалистъ Рудинъ стоитъ все-таки неизмѣримо выше искуснаго практика Молчалина. Но Русановъ стоитъ даже ниже Молчалина, потому что Молчалинъ по крайней мѣрѣ дѣйствительно опытенъ, а у Ключниковскаго героя даже и этого достоинства не имѣется. — «Инна Николаевна, — говоритъ Русановъ далѣе, — да кто-жъ мнѣ мѣшалъ жить въ Москвѣ, сложа руки? Тамъ у меня и домъ есть, и доходъ порядочный. Нѣтъ, это мое убѣжденіе, только такъ и можно что-нибудь сдѣлать; все остальное безсильно...» Что именно *хотѣлъ* сдѣлать Русановъ и что подразумѣваетъ онъ въ словѣ «что-нибудь» — этого я не знаю. Но что онъ *сдѣлалъ* — это намъ доподлинно извѣстно. Онъ посмотрѣлъ на бѣлое кольцо дыма, пущенное Чижиковымъ, и уклонился отъ «*тяжелаго объясненія*». И какой, подумаешь, всезнающій человекъ этотъ Русановъ! «*Все остальное безсильно...*» значитъ, все извѣдано Русановымъ, все обдумано и взвѣшено. Каковъ мудрецъ! Сущій Гете!

«Была ему звѣздная книга ясна,  
И съ нимъ говорила морская волна.»

Но позвольте, господинъ столоначальникъ Гете! «Все остальное»? Все, кромѣ чего? Все, кромѣ гражданской палаты? Значитъ, теперь, когда гражданская палата будетъ совершенно передѣлана судебной реформой, теперь все безъ исключенія сдѣлается безсильнымъ. Ахъ, милѣйшій господинъ Русановъ, Гете тожъ, зачѣмъ вы издаете звуки, въ которыхъ вы сами не можете усмотрѣть никакого опредѣленнаго смысла? Зачѣмъ вы говорите *обо всемъ остальномъ*, когда вы совсѣмъ ни о чемъ, да вѣдь рѣшительно ни о чемъ не имѣете никакого понятія? — «Ахъ, оставьте меня въ покоѣ, — отвѣчаетъ разобиженный Русановъ. — Я-то чѣмъ виновать? Это все Ключниковъ подсказываетъ мнѣ такіа глупости. И охота-же вамъ обращаться ко мнѣ, какъ къ живому человекъ, когда я просто «кипа печатной бумаги.» — Это я, господинъ Русановъ, знаю, а обращаюсь къ вамъ только по игривости моего характера. — По окончаніи разговора Инна, глядя вслѣдъ Русанову, подумала: «*nxe!*» (Sic).

# VI.

На стр. 135 Русановъ говоритъ Иннѣ: «я

боюсь, что вы попадетесь подъ вліяніе Бронскаго.» — «Ачѣ? — возражаетъ Инна. — Развѣ онъ брыкается?» — Русановъ боится за Инну, а между тѣмъ наканунѣ, когда Бронскій при Иннѣ заговорилъ въ духѣ страшной нетерпимости, тотъ-же самый Русановъ «рѣшился уступить поле противнику и удалился въ уголокъ». Да, конечно, «удаляясь въ уголокъ», мудрено противоdѣйствовать вліянію такого человека, который говоритъ смѣло и горячо. Отступая отъ честной и открытой борьбы съ идеями Бронскаго, Русановъ, какъ старая соловьица, старается пошептать кое-что противъ Бронскаго во время его отсутствія. Зачѣмъ-же Русановъ наканунѣ «рѣшился уступить поле противнику»? Или онъ не хотѣлъ, или не могъ спорить съ Бронскимъ. Не хотѣлъ? Страшное предположеніе! Любящій мужчина видитъ, что любимая женщина находится въ опасности, и для ея спасенія *не хочетъ* шевельнуть мозгомъ и возвысить голосъ. Хороша любовь и хорошъ мужчина! — Оказывается, что не могъ. Инна спрашиваетъ прямо: «развѣ не правду говорилъ онъ вчера?» — Русановъ отвѣчаетъ «правду!». Иначе онъ и не можетъ отвѣтить, потому что тогда Инна тотчасъ задала-бы ему вопросъ: зачѣмъ-же вы его вчера не опровергали, и на это Русанову пришлось-бы отвѣтить: потому, Инна Николаевна, что я еще гораздо глупѣе Бронскаго, хотя и Бронскій глупъ весьма достаточно. Но, сознавши въ томъ, что Бронскій говоритъ правду, Русановъ прибавляетъ тотчасъ: «да вѣдь это все одни слова». Русанову хотѣлось повидимому, чтобы изо рта Бронскаго выпались вмѣсто словъ червонцы и алмазы. Къ сожалѣнію этого не бываетъ. Когда человекъ говоритъ, онъ всегда произноситъ только слова, и весь вопросъ состоитъ въ томъ, правдивы-ли эти слова, или нѣтъ. Еслибы Инна увлекалась *правдивыми* словами Бронскаго, то она очевидно поддавалась-бы не вліянію Бронскаго, а вліянію истины. Признавая слова Бронскаго за выраженіе истины, Русановъ отнимаетъ у себя всякую возможность противоdѣйствовать его вліянію. Впрочемъ я крѣпко сомнѣваюсь въ томъ, чтобы Бронскій дѣйствительно былъ способенъ высказывать такіа истины, которыя могутъ увлечь умную женщину. Изъ сцены Бронскаго съ Коллежъ мы уже видѣли, что Бронскій несетъ чепуху страшную. А что онъ говорилъ, когда Русановъ удалился въ уголокъ, — этого мы не знаемъ, потому что Ключниковъ не мастеръ сочинять для своихъ героевъ рѣчи, вызывающія на размышленіе. У Ключникова сказано очень глупо, что «Бронскій громилъ все съ плеча, говорилъ съ жаромъ... отъ чиновничества перешелъ къ обществу... досталось и литературѣ.» Обо всемъ этомъ можно говорить очень умно, но можно также говорить и очень глупо. Я полагаю, что Бронскій говорилъ очень глупо, по



той простой причинѣ, что онъ есть дѣйствующее лицо въ романѣ «Марево», сочиненномъ Ключниковымъ. А Инна и Русановъ слушали его, развѣсивъ уши, потому что они оба нисколько не уступаютъ Бронскому въ слабоуміи. Продолжая разговоръ о вліяніи Бронскаго, Инна задаетъ Русанову вопросъ: «какой-же вашъ-то идеалъ? Обрисуйте»... Русановъ на это отвѣчаетъ, что у нихъ въ гражданской палатѣ товарищъ председателя Доминовъ — очень хорошій человекъ, и что этотъ Доминовъ однажды въ городскомъ саду объяснилъ ему, Русанову, какимъ образомъ муравьи сосутъ сладкій сокъ, выдѣляемый тлями. Если читатель не вѣритъ мнѣ на слово, что таковой отвѣтъ дѣйствительно былъ данъ Русинковымъ на вопросъ объ идеалѣ, то я убѣдительно прошу читателя взглянуть на 137 страницу I-го тома романа «Марево». На стр. 160 Русановъ рассказываетъ Иннѣ «грустные извѣстія, полученные имъ изъ Петербурга». Эти «грустные извѣстія» такъ глупы, несвязны и неправдоподобны, что я о нихъ по всегдашней моей скромности умолчу. «Ну-съ, — перебила Инна, — наговорили вы много; къ какому результату вы пришли?» Этотъ вопросъ застаётъ Русанова врасплохъ и ставитъ его втупикъ. Онъ спрашиваетъ простоудшно: «какой-же тутъ результатъ?» Онъ рассказывалъ слухи такъ, какъ словоохотливыя кухарки рассказываютъ другъ другу всякія сплетни, и вдругъ отъ него потребовали какого-то результата. Разумѣется, онъ вытаращилъ глаза и немедленно стушевался. Не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что Русановъ — любимецъ Ключникова. Именно по этой причинѣ Русановъ глупѣе всѣхъ остальныхъ дѣйствующихъ лицъ. Онъ отъ всѣхъ получаетъ щелчки по носу и на всѣ эти ласки отвѣчаетъ только оханьемъ и соболизнованіями о человѣческой испорченности. — На стр. 167 Русановъ объявляетъ, что ему не нравится ореографія Кулиша. На стр. 168 онъ спрашиваетъ, «что такое духъ времени?» Изъ этого вопроса мы можемъ заключить, что у Русанова память очень коротка; на стр. 147 онъ упрекалъ Бронскаго въ томъ, что Бронскій кланяется «духу времени», потому что ему уже совѣстно кланяться генераламъ. Значитъ, на 147 страницѣ Русановъ зналъ, что такое духъ времени, но съ тѣхъ поръ успѣлъ позабыть. А впрочемъ можетъ-быть и то, что Русановъ на 147 стр. употреблялъ такое слово, котораго смыслъ для него не понятенъ. Такіе случаи вовсе не рѣдки. Еслибы всякій дуракъ непременно желалъ понимать все, что онъ самъ говоритъ, то многимъ дуракамъ пришлось бы обречь себя на вѣчное безмолвіе. У насъ-же дураки не только говорятъ неутоимо, но еще кромѣ того пишутъ, печатаютъ и издаютъ журналы, газеты и книги. — На стр. 168 Русановъ порицаетъ идеалы Шевченка; но я осмѣ-

люсь замѣтить, что Русановъ быть — можетъ судить Шевченка слишкомъ строго; вѣдь легко можетъ быть, что Шевченко не былъ знакомъ съ товарищемъ председателя Доминовымъ, не гулялъ съ нимъ по городскому саду и не слышалъ отъ него рассказовъ объ отношеніяхъ между муравьями и тлями. Послѣ этого, несудите сами, есть-ли возможность требовать отъ несчастнаго поэта, чтобы онъ выработалъ себѣ тотъ высокій идеалъ, который обрисованъ Русановымъ на стр. 137? Когда мы судимъ о человекѣ, надо всегда принимать въ соображеніе обстоятельства, облегчающія его вину. — На стр. 170 Русановъ объявляетъ, что у него «отъ этой литературы ужъ голова трещитъ». — «Такъ и порѣшили ничего не читать, чтобы голова всегда свѣжа была?» спрашиваетъ Инна. — «Такъ и порѣшили,» — отвѣчаетъ «съ неудовольствіемъ» любимецъ Ключникова, расписываясь этимъ отвѣтомъ въ полученіи полномѣснаго щелчка по носу. — На стр. 180 Русановъ, разговаривая съ Инной въ саду, днемъ, обнаруживаетъ внезапно такую предприимчивость, что Инна кричитъ въ испугѣ: «Владимиръ!» и потомъ, чтобы успокоить разгулявшагося шалуна, говоритъ ему: «ужо! ужо!» Такъ какъ Ключникову угодно, чтобы Инна любила Русанова, то оказывается, что она сама дрожитъ отъ страсти въ русановскихъ объятіяхъ и вырывается изъ нихъ только изъ уваженія къ условіямъ времени и мѣста. Однако Русанову не пришлось дожидаться никакого «ужо!». Вскорѣ послѣ нескромныхъ объятій Инна убѣгаетъ съ Бронскимъ за-границу. Русановъ, узнавши о ея побѣгѣ, гонится за ней верхомъ по большой дорогѣ, куда-то пропадающей въ продолженіи двухъ дней, никого не успѣваетъ догнать и приобрѣтаетъ себѣ горячку. Изъ этого подвига можно заключить, что Русановъ — неустрашимый всадникъ, но весьма плохой мыслитель и діалектикъ; ему надо было дѣйствовать на Инну силой убѣжденія тогда, когда она еще была способна слушать совѣты. Когда же молодая двѣвушка опалѣла настолько, что рѣшилась бѣжать, тогда уже поздно и глупо лупить за ней во всѣ лопатки по большой дорогѣ. Чѣмъ именно Бронскій околдовалъ Инну — то остается для насъ тайной. Побѣгъ ея составляетъ для читателя совершенный сюрпризъ. Убѣгая вмѣстѣ съ Бронскимъ, Инна оставляетъ Русанову, по приказанію Ключникова, разные похвальные аттестаты. Въ письмѣ, написанномъ ею передъ самымъ побѣгомъ, изображены слѣдующія слова: «едва вы сказали первое слово любви, едва я поглядѣла вамъ въ глаза, я узнала одну изъ тѣхъ страстныхъ, упорныхъ привязанностей, которыя часто дѣлается цѣлую жизнь...» «Чѣмъ больше мы съ вами сходились, тѣмъ больше убѣждалась я, что вы — превосходный человекъ и такъ далѣе». Бумага все терпитъ; написать на ней

можно, что угодно; но какъ — бы ни расхваливать Ключниковъ свое любимое созданіе, какъ бы онъ ни божился въ томъ, что Русановъ — самый первый сортъ, отъѣннѣйшей доброты, мыслящій читатель все-таки будетъ только смѣяться надъ этой гостиндворской замашкой автора превозносить собственные издѣлія, которыми онъ не умѣетъ придать никакихъ дѣствительныхъ достоинствъ. — На стр. 340 мы читаемъ отрывки изъ дневника Инны: 15 іюня она находитъ въ Русановѣ «дикія понятія»; 17 іюня — честныя, «славныя понятія»; 19 іюня — «я перестаю надовать ему руку»; 29 іюня — «этотъ человѣкъ — загадка». — Такъ нагло до сихъ поръ еще ни одинъ писатель не насмѣхался надъ публикой. Мы рѣшительно не знаемъ, какими сужденіями или поступками Русановъ производилъ на Инну тѣ противорѣчивыя впечатлѣнія, которыя она занесла въ свой дневникъ. Этотъ дневникъ составляетъ для насъ тарабарскую грамоту; это еще одно проявленіе усерднаго, но чрезвычайно неискускаго и неудачнаго шарлатанства.

## VII.

Прибавлю еще одно короткое замѣчаніе. Ключниковъ вводитъ насъ въ губернскую гимназію и, бредя ощупью, натывается тамъ на педагогическій вопросъ. Гимназисты распушены до нелѣзя, дурачатся, не хотятъ учиться и лѣзутъ въ политику. Приѣзжаетъ изъ Петербурга новый инспекторъ Разгоняевъ. Онъ собираетъ учителей на педагогическій совѣтъ и спрашиваетъ, какъ они намѣрены вести воспитаніе юношества. Одинъ изъ педагоговъ говоритъ, что у нихъ мальчишки «все такой народъ — аховый». Другой говоритъ: «кто съ борку, кто съ сосенки». А со-

вый характеръ и древесное происхожденіе мальчишекъ доказываютъ ясно, что противъ нихъ надо дѣйствовать *аховыми* и древесными средствами. Нѣмецъ говоритъ, что «нужно... розга». Молодой учитель математики объясняетъ беспорядки въ классѣ тѣмъ, что учительскія и надзирательскія обязанности соединяются въ одномъ лицѣ. По его мнѣнію, необходимо, чтобы въ классѣ сидѣлъ надзиратель. Однако самъ Ключниковъ быстро уличаетъ этого учителя во враньѣ; беспорядки происходятъ въ дортуарахъ, гдѣ постоянно торчитъ надзиратель. Инспекторъ совѣтуетъ учителямъ обходиться съ воспитанниками помягче и представлять ему немедленно о всякомъ наказаніи. Но вскорѣ этотъ инспекторъ, по добнѣ Инны, попадаетъ подъ влияніе злыхъ людей, и беспорядки въ гимназіи не прекращаются. А Ключниковъ по своему обыкновенію, наткнувшись на мудреный вопросъ, оставилъ его неразрѣшеннымъ и представилъ такіе факты, которые ведутъ за собой неблагоприятныя заключенія. Какими же мѣрами можно усмирить свирѣпость *аховаго* народа? «Драть или не драть? вотъ въ чемъ вопросъ». — Ключникову хочется повидимому рѣшить этотъ гамлетовскій вопросъ въ томъ смыслѣ, что драть не годится, а носѣкать не мѣшаетъ. А «Русскій Вѣстникъ» рѣшить вѣроятно этотъ вопросъ такъ: въ филологическихъ гимназіяхъ давать воспитанникамъ развѣ по 25 розогъ; въ реальныхъ же — по крайней мѣрѣ вдвое, потому что естественныя науки развиваютъ въ юношахъ *аховое* направленіе, которое нуждается въ столь же *аховомъ* противодѣйствіи. — Убѣдительно прошу мыслящую часть русской публики извинить меня, что я такъ долго возился съ романомъ «Марево».

## ПРОГУЛКА ПО САДАМЪ РОССІЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.

## I.

Въ прошломъ году (1864) умеръ послѣдній крупный представитель россійскаго идеализма. Друзья и сотрудники покойника превознесли его похвалами, которымъ я нисколько не намѣренъ противорѣчить. Возвеличивая отдѣльную личность, эти похвалы убиваютъ наповалъ тотъ принципъ, за который эта личность сражалась. Читатель быть-можетъ уже догадался, что я говорю объ Аполлонѣ Григорьевѣ, умершемъ въ положеніи прошедшаго года и воспѣтомъ въ «Эпохѣ» Страховымъ и Достоевскимъ. Въ своихъ «Воспоминаніяхъ объ А. А. Григорьевѣ» Страховъ говоритъ объ умершемъ дѣятелѣ почти съ благоговѣніемъ; онъ называетъ его своимъ учителемъ, говоритъ, что Григорьевъ былъ «зрячѣе и чутче другихъ»,

что Григорьевъ имѣлъ полное право принимать «въ журналѣ» тонъ человѣка, власть имущаго, «что письма Григорьева читались въ редакціи «Времени» вслухъ для общаго назиданія, что сочиненія Григорьева, собранныя въ полномъ изданіи, «представляютъ цѣлыя громады мыслей», дадутъ «неистощимую пищу», и такъ далѣе, и такъ далѣе. Кромѣ того въ той-же статьѣ Страхова разсыпано множество похвалъ искренности Григорьева, и въ этомъ послѣднемъ свойствѣ покойнаго идеалиста дѣйствительно не могутъ усомниться ни друзья его, ни враги. Читая всѣ эти похвалы, я улыбаюсь, потираю себѣ руки и говорю про себя: «прекрасно! превосходно! Хвалите больше, господа! Чѣмъ выше вы поднимете личность Григорьева, тѣмъ глубже и

безвозвратнѣ вы зароете въ могилу все ваше литературное направленіе. Статья Страхова есть нѣкоторымъ образомъ литературное самоубійство. Разсмотрѣть ее съ этой стороны будетъ очень любопытно и увеселительно, потому что этой статьёй посягаетъ на свою убогую жизнь не только цѣлый журналъ, но даже цѣлый строй понятій, — весь тотъ строй, который, прикрываясь различными фирмами и вывѣсками, старается задуть и истребить всё проявленія нашего повседневнаго реализма. Въ самомъ дѣлѣ, если Григорьевъ «былъ человѣкъ, власть имущій», если онъ былъ «зрячѣе и чутче другихъ», если эти другіе тотчасъ послѣ его смерти находятъ необходимымъ печатать — вѣроятно «для всеобщаго назиданія» — частную переписку покойника, и притомъ печатать съ такой скрупулезной точностью, что обозначаютъ даже точками тѣ мѣста, гдѣ Григорьевъ ругается непечатными словами, если, говорю я, Григорьева признаютъ такимъ образомъ великимъ вождемъ цѣлаго направленія, — то, разумѣется, мы имѣемъ полное право принимать за наличную монету тѣ сужденія, которыми этотъ вождь самъ произноситъ о своемъ направленіи. Кажется, господа почвенники, идеалисты и эстетики не могутъ упрекнуть насъ въ недостаткѣ великодушія, если мы, вступая съ ними въ литературное состязаніе, будемъ опираться на авторитетъ того писателя, которому они поклоняются. Хорошо. Посмотримъ-же, что изъ этого маневра произойдетъ. — Спрашивается, вѣрилъ-ли самъ Григорьевъ въ побѣдоносную силу тѣхъ идей, за которыя онъ неутомимо боролся? Письма Григорьева, изданныя Страховымъ, даютъ на этотъ основной вопросъ совершенно отрицательный отвѣтъ. Григорьевъ любилъ свои идеи неистребимой любовью, онъ былъ имъ фанатически преданъ, онъ не могъ имъ измѣнить, онъ боролся за нихъ съ мужествомъ отчаянныя и въ то-же время онъ понималъ съ мучительной ясностью, что эти идеи отжили свой вѣкъ, что у нихъ нѣтъ будущаго и что онъ врядъ-ли когда-нибудь воскреснутъ. Всѣ письма его пропитаны глубокимъ уныніемъ, вытекающимъ не изъ личныхъ огорченій, а изъ страданія за умирающую идею. Какъ человѣкъ, который былъ «зрячѣе и чутче другихъ», Григорьевъ понималъ то, чего эти другіе не понимали. Онъ видѣлъ ясно, что все бесполезно и что никакими медоточивыми рѣчами невозможно увлечь отрезвляющееся общество въ старую область эстетики и мистицизма. Когда *другіе*, менѣе зрячіе и чуткіе люди стали издавать эстетико-мистическій журналъ съ примѣсью планетныхъ жителей и французскихъ уголовныхъ процессовъ, тогда Григорьевъ не отказалъ имъ въ своемъ содѣйствіи, но въ душѣ его постоянно сохранялось то безотрадное убѣжденіе, что

«Какъ не садитесь,  
А все въ музыканты не годитесь»,

потому что музыкантѣ новые люди, такъ называемые теоретики, которыхъ всё слушаютъ и съ которыми эстетическіе разводы и мистическіе туманы никакъ не могутъ тягаться. Григорьевъ называлъ себя «однимъ изъ ненужныхъ людей» и говорилъ своимъ друзьямъ, какъ свидѣтельствуемъ Страховъ, «что онъ дѣйствительно человѣкъ ненужный въ настоящее время, что ему нѣтъ мѣста для дѣйствительности, что духъ времени слишкомъ враждебенъ къ людямъ такого рода, какъ онъ». Григорьевъ сознается передъ своими друзьями, что только чудо можетъ воскресить его идеи и повернуть общество назадъ, къ старымъ идеаламъ. «А этого, — пишетъ онъ, — Богъ знаетъ, дождемся-ли мы! — Шутка — чего я жду! Я жду того стиха, который-бы

«Ударилъ по сердцамъ съ невѣдомою силой»,

— того упоенія, чтобы «журчаніе этихъ стиховъ наполняло окружающій насъ воздухъ... Шутка! Вѣдь это — вѣра, любовь, порывъ, лиризмъ!...» Изъ этихъ словъ ясно видно, что Григорьевъ ожидалъ спасенія только отъ чуда, и что, несмотря на весь свой мистицизмъ, онъ самъ плохо вѣрилъ въ возможность такого чуда. Дѣйствительно, хоть наше общество и очень простодушно, но все-таки оно въ послѣднее десятилѣтіе успѣло поумнѣть настолько, что «ударить по сердцамъ съ невѣдомою силой» можетъ въ настоящее время никакъ не стихи, а развѣ только какое-нибудь великое историческое событіе или какое-нибудь колоссальное научное открытіе. Тогда пожалуй отъ полноты души и стихи посыпятся, и общество станетъ ихъ слушать съ удовольствіемъ; но сила очевидно будетъ все-таки заключаться не въ стихахъ, а въ той общей причинѣ, которая ихъ вызывала.

Какъ человѣкъ, неизлечимо влюбленный въ отжившую идею, — Григорьевъ постоянно съ болѣзненно напряженнымъ вниманіемъ ловилъ въ каждомъ мельчайшемъ событіи текущаго времени какіе-нибудь проблески несбыточной надежды; онъ съ глубокимъ отчаяніемъ въ душѣ все-таки не смѣлъ произнести надъ своимъ міросозерцаніемъ рѣшительный, смертный приговоръ; онъ все ждалъ, не шевельнется ли его отжившая идея, не поднимется-ли изъ могилы его мертвая красавица. «Извѣстіе, сообщенное «Сѣверной Пчелой», — пишетъ онъ, — объ окончаніи Островскимъ «Кузмы Минина», — вотъ это событіе. Тутъ вотъ прямое *быть или не быть* положительному представленію народности — можетъ быть такой толчокъ *впередъ*, какого еще и не предвидѣлось.» «Кузьма Мининъ» вышелъ въ свѣтъ, и Россія его не замѣтила, несмотря на то, что онъ былъ напечатанъ на самомъ видномъ мѣстѣ, въ самомъ любимомъ журналѣ. Григорьевъ упивался «Кузьмой» и даже врачевалъ имъ свои душевные недуги, но не могъ-же Григорьевъ не видѣть, что никакого «событія» не

произошло и никакого толчка ни впередъ, ни назадъ не получилось. Почти въ одно время съ «Кузьмой» вышелъ въ свѣтъ романъ Тургенева, отъ котораго Григорьевъ «не ждалъ многого въ отношеніи къ содержанію», и этотъ романъ поднималъ цѣлую бурю въ литературѣ и въ обществѣ, несмотря на то, что самый сильный и любимый журналъ старался убить и похоронить его тотчасъ послѣ его появленія. Очевидно все развитіе нашей умственной жизни шло въ разрывъ съ симпатіями и стремленіями Григорьева.

Насколько этотъ разладъ былъ глубоко и радикаленъ, — это обнаружилось совершенно ясно въ 1863 году. Если когда-нибудь мертвая красавица Григорьева могла воскреснуть, то именно въ этомъ году. Для теоретиковъ этотъ годъ былъ невыносимо тяжелъ. Разныя совершенно нелитературныя обстоятельства привлекали вниманіе общества къ такимъ предметамъ, которые не поддавались спокойному анализу. Лирическіе восторги были въ полномъ ходу. Можно было ожидать тѣхъ-же дифирамбовъ, какіе мы слышали во времена Синопа и Башъ-Кадыкъ - Лара. Повидимому «Кузьма Мининъ» необходимо долженъ былъ въ такое время вернуться во всемъ величіи своей красоты. Не тутъ-то было. «Кузьма» продолжалъ оставаться незамѣченнымъ, несмотря на всѣ выгоды, предоставленныя ему данной минутой. И этого мало. Чтобы окончательно огоршить Григорьева, безжалостная и насмѣшливая судьба взяла на себя трудъ устроить обратное испытаніе. Ты видишь, о Григорьевъ, говоритъ судьба, что твои собственныя идеи совершенно безсильны, даже при самыхъ выгодныхъ условіяхъ. Посмотримъ-же мы съ тобой теперь, каковы силы твоихъ противниковъ, при самыхъ невыгодныхъ для нихъ условіяхъ. — И посмотрѣли. Весной 1863 года появилось въ свѣтъ то, что Григорьевъ весьма игриво называлъ «эпопеей о бѣлой Арапіи». Говорятъ, что тѣ книжки («Современника», въ которыхъ напечатана эта бѣлая Арапія, обратились теперь въ библиографическую рѣдкость \*).

Но зачѣмъ ссылаться на неопредѣленные слухи? Гораздо основательнѣе будетъ указать на то, что говорятъ печатно о «Бѣлой Арапіи» ея неутомимые противники. Весьма враждебная намъ, но чрезвычайно наивная «Эпоха» даетъ намъ въ этомъ случаѣ самые подходящіе материалы. Въ ноябрьской книжкѣ этого журнала помѣщена небольшая статья М. Ва. «Литературныя впечатлѣнія новопріѣзжаго». Авторъ этой статьи говоритъ, что онъ почти два съ половиною года прожилъ за-границей и совсемъ отсталъ отъ того движенія мысли, которое совершалось въ это время въ Россіи. И

какіе-же факты приводитъ онъ въ доказательство своей отсталости? Миѣ придется выписать подлинныя слова этого господина, и я это сдѣлаю безъ зазрѣнія совѣсти, несмотря на то, что въ этихъ словахъ упоминается моя собственная фамилія. «Ибо тотъ фактъ, что я отсталъ, — говоритъ М. Ва., — для меня не подлежитъ никакому сомнѣнію. Я не только не читалъ «талантливыхъ статей» \*) г. Писарева, но я, къ собственному ужасу, долженъ признаться, что не читалъ даже «Что дѣлать?». Вы поймете конечно, сколько побужденій къ стыду и отчаянью таилось въ этомъ фактѣ.» — Слова: «талантливыхъ,» «къ собственному ужасу,» «къ стыду и отчаянью» употреблены, разумѣется, ради ироніи; но тутъ дѣло не въ томъ, какъ смотреть на теоретиковъ самъ М. Ва. Тутъ важно его откровенное признаніе, что вся русская литература заключается именно въ теоретикахъ. Отстать отъ литературы — значитъ, по его собственнымъ словамъ, не читать того, что пишутъ теоретики. Человѣкъ пріѣзжаетъ изъ за-границы и спрашиваетъ у своихъ знакомыхъ: «что новаго дѣлается въ нашей литературѣ?» — Ему на этотъ вопросъ не говорятъ, что Блюшниковъ написалъ романъ «Марево», что Воборыкинъ кончаетъ романъ «Въ путь-дорогу!», что возникъ новый журналъ «Эпоха», что сдается, подъ господствомъ новой редакціи, старая газета «Московскія Вѣдомости». Нѣтъ! Ему говорятъ, какъ о самой крупной новости. о романѣ «Что дѣлать?» и о другихъ работахъ теоретическаго лагеря. Скажите на милость, есть-ли возможность болѣе чистосердечно признать превосходство теоретиковъ надъ всеми остальными направленіями русской мысли? И это говорятъ наши враги! И это говорится о тѣхъ двухъ годахъ, когда мы находились въ самомъ невыгодномъ положеніи! Послѣ подобныхъ признаній, какой-же смыслъ имѣть известная фраза: «Славянофилы побѣдили»? Можно, пожалуй, сказать только, что славянофилы еще не совсемъ побѣждены и что они возвышаютъ голосъ тогда, когда общество, испуганное историческими обстоятельствами, кидается на короткое время въ бессмысленную сантиментальность и въ позорную мыслебоязнь. Но побѣдить они никогда не могутъ, потому что ихъ полная умственная несостоятельность обнаружится въ ту самую минуту, когда они привлекутъ на себя вниманіе общества.

Такимъ образомъ жестокая судьба весьма наглядно показала Григорьеву, что онъ нисколь-

\*) Эпопея о бѣлой Арапіи А. Григорьевъ называлъ романъ Н. Г. Чернышевскаго «Что дѣлать?».

ко не ошибается, называя себя человекомъ ненужнымъ. Письма Григорьева къ Страхову повѣствуютъ еще объ одномъ очень любопытномъ разочарованіи покойнаго идеалиста. Въ концѣ 1861 года была напечатана въ «Отечественныхъ Запискахъ» статья Щапова «Велико-рускія области во времена междоусобицы». Въ календарѣ на 1862 годъ была напечатана статья профессора Павлова «Тысячелѣтіе Россіи». Эти двѣ статьи привели Григорьева въ восторгъ. На этотъ разъ ему показалось, что его мертвая красавица сію минуту раскроетъ глазки и что нѣкій стихъ немедленно

Ударить по сердцамъ съ невѣдомою силой.

«Вотъ эта статья, да статья Павлова въ новомъ календарѣ, — восклицаетъ Григорьевъ, — эпохи, а не... повѣствованіе въ водяныхъ стихахъ о «чувствіяхъ!» Тутъ, въ этихъ статьяхъ, новымъ въѣтъ и пахнетъ. Оно идетъ, это новое — и въ этихъ статьяхъ, и можетъ-быть въ «Миниѣ» Островскаго, — идетъ на конечное истребленіе б... словія «Вѣстника», празднословія западникова, суесловія «Дня», хохлословія Костомарова и бусловія «Современника». — Подъ именемъ «повѣствованія въ водяныхъ стихахъ о чувствіяхъ» подразумѣвается, какъ видно изъ другихъ мѣстъ тѣхъ-же самоубійственныхъ «воспоминаній», поэма Полонскаго, то «Свѣжее преданіе», въ которомъ редакція «Времени» усматривала великое событіе въ исторіи русской литературы. Съ особеннымъ удовольствіемъ я отмѣчаю то обстоятельство, что Григорьевъ награждаетъ это «повѣствованіе» какимъ-то такимъ эпитетомъ, котораго даже невозможно было изобразить печатно. Пріятно также замѣтить, что «Русскій Вѣстникъ» обвиняется въ какомъ-то б... словіи, то-есть въ чемъ-то столь неблагозвучномъ, что даже и сказать нельзя. И все это говоритъ не озорникъ, не теоретикъ, не нигилистъ! Не правъ-ли я былъ, когда я называлъ «Воспоминанія объ А. А. Григорьевѣ» литературнымъ самоубійствомъ цѣлаго направленія? Почвенники стараются поставить своего учителя какъ можно выше, чтобы удары его, падая сверху, поражали ихъ самихъ какъ можно больнѣе. Намъ остается только радоваться этому добросовѣстному самозабвенію. То «новое», которое, по мнѣнію Григорьева, шло «на конечное истребленіе» разныхъ непріятныхъ вещей, — повернуло однако совсѣмъ не туда, куда желалъ его направить пылкій идеалистъ. Одинъ изъ представителей «новаго», нашъ сотрудникъ Щаповъ, совершенно обманулъ ожиданія Григорьева. Въмѣсто того чтобы воскрешать мертвую красавицу, Щаповъ принялся изучать Либиха, Дарвина, Ляйбеля, Карла Фохта и другихъ, столь-же вредныхъ и легкомысленныхъ негодяевъ. Эти безнравственныя занятія, разумѣется, привели его прямымъ путемъ въ «Рус-

ское Слово». Какъ только Григорьевъ почувствовалъ въ статьяхъ Щапова струю естественнаго, такъ, разумѣется, онъ съ негодованіемъ отвернулся отъ этихъ статей, потому что онъ, какъ вѣрный, но несчастный рыцарь жертвой красавицы, ненавидѣлъ естественныя науки по крайней мѣрѣ такъ-же сильно, какъ ненавидѣлъ ихъ въ настоящее время знаменитые русскіе натуралисты: Страховъ, Игдєвъ, Аверкіевъ и Николай Соловьевъ. Разочарованіе Григорьева въ Щаповѣ изображено имъ, какъ замѣчаетъ самъ Страховъ, въ послѣдней его критической статьѣ, помѣщенной въ іюльской книжкѣ «Эпохи». Такимъ образомъ «Кузьма» не вывезъ, Щаповъ перебѣжалъ въ непріятельскій лагерь, и Григорьеву оставалось только, обращаясь къ Страхову, повторить слова Сенеки на счетъ того, что «вѣтеръ крѣпкій

Потопитъ насъ среди зыбей,  
Какъ обесмысленныя щепки  
Побѣдоносныхъ кораблей.»

И прекрасно, господа, могу я прибавить отъ себя. Туда вамъ и дорога. Каковы-бы ни были выскія достоинства вашихъ *личностей*, во всякомъ случаѣ достовѣрно то, что ваши идеи негодны для общества, потому что онѣ дѣйствуютъ на него, какъ опиумъ или гашишъ. Онѣ быть-можетъ доставляютъ обществу очаровательныя видѣнія, но дѣйствительная жизнь представляетъ собой мерзость запустѣнія въ тѣ счастливыя эпохи, когда рифмованныя строчки лупятъ по сердцамъ съ невѣдомою силой. А что Григорьевъ относился равнодушно и съ грубѣйшимъ непониманіемъ къ самымъ великимъ и грознымъ запросамъ дѣйствительной жизни, это обнаруживается съ достаточной ясностью все въ тѣхъ-же самоубійственныхъ «воспоминаніяхъ». Какъ вамъ нравится напримѣръ слѣдующія строки? Мнѣ кажется, достаточно однихъ этихъ строкъ, чтобы навсегда отбить у общества охоту стремиться къ григорьевскимъ идеаламъ. «Есть, — пишетъ необузданный идеалистъ, — вопросъ и глубже, и обширнѣе по своему значенію всѣхъ нашихъ вопросовъ, — и вопроса (каковъ цинизмъ?) \*) о крѣпостномъ состояніи, и вопроса (о, ужасъ!) о политической свободѣ. Это вопросъ о нашей умственной и нравственной *самостоятельности*. Въ допотопныхъ формахъ этотъ вопросъ явился только въ покойникѣ «Москвитинѣ» 50-хъ годовъ, — явился молодой, смѣлый, пьяный, но честный и блестящій дарованіемъ (Островскій, Нисемскій и т. д.). О, какъ мы тогда пламенно вѣрили въ свое дѣло, какія высокія пророческія рѣчи лились бывало на попойкахъ изъ устъ Островскаго, какъ безбоязненно принималъ тогда старикъ Погодинъ отвѣтственность за сую молодежь, какъ созна-

\*) Слова въ скобкахъ принадлежатъ самому Григорьеву.

тельно, несмотря на пьянство и безобразіе, шли мы всё тогда къ великой и честной цѣли!» Ну-съ! И благополучно вы изволили дойти? И къ чему-же васъ привело ваше сознательное хожденіе къ великой и честной цѣли? — Григорьевъ самъ немедленно отвѣчаетъ на этотъ вопросъ. «Пуста и гола жизнь послѣ этого сна», говоритъ онъ. — Значить, вашъ «молодой, смѣлый, пьяный, но честный и блестящій дарованіи» вопросъ «о нашей умственной и нравственной самостоятельности» былъ только сонъ. Значить, весь этотъ *глубокій и обширный* вопросъ исчерпался въ юношескихъ попойкахъ и не оставилъ послѣ себя никакихъ результатовъ, кромѣ тяжелаго похмелья. И между тѣмъ этотъ *сонъ* оказывается «глубже и обпирнѣе по своему значенію» вопроса о крѣпостномъ состояніи и политической свободѣ. И это говорятъ обожатели русскаго народа! Правда, что эти обожатели — идеалисты, и что они слѣдовательно любятъ свой предметъ платонической любовью. До конкретнаго русскаго мужика, который можетъ чувствовать боль и удивленіе, имъ нѣтъ никакого дѣла. Для нихъ драгоценна только *идея* о русскомъ мужикѣ, и поэтому «высокія пророческія рѣчи, изливаемые на попойкахъ», кажутся имъ важнѣе тѣхъ вопросовъ, которые своимъ разумнымъ разрѣшеніемъ могутъ создать экономическое благосостояніе цѣлыхъ милліоновъ. Что прикажете думать о такихъ курьезныхъ заявленіяхъ? Въ нихъ, разумѣется, нѣтъ ни *цинизма*, ни *ужаса*. Въ нихъ есть только изумительное невѣжество, которое съ своей всегдашней наивностью принимаетъ себя за проявленіе величайшей мудрости доступной только немногимъ избраннымъ. Всѣ идеалисты хромаютъ на эту ногу, и, комментируя приведенный мною отрывокъ, я обращался не къ личности покойнаго Григорьева, а ко всему лагерю нашихъ пѣвчихъ противниковъ.

## II.

Глубокое уныніе, которымъ проникнуты всѣ письма и вся дѣятельность Григорьева, тяготеетъ надъ всей нашей литературой, кромѣ такъ называемаго теоретическаго лагеря. У Григорьева, какъ у человѣка, глубоко преданнаго отжившимъ идеямъ, была по крайней мѣрѣ неопредѣленная надежда на какой-то чудодѣйственный стихъ, который ударитъ и т. д. Онъ чего-то страстно желалъ и потому онъ не могъ относиться къ будущему совершенно враждебно. Это обстоятельство ставитъ его гораздо выше всѣхъ остальныхъ дѣятелей отжившихъ наравлений. У этихъ остальныхъ дѣятелей, то есть почти у всѣхъ русскихъ людей, пишущихъ и печатающихъ стихи, романы, повѣсти, драмы, критическія, ученые и политическія статьи, — нѣтъ никакихъ завѣтныхъ надеждъ, никакихъ опредѣленныхъ желаній. У нихъ нѣтъ ничего,

кромѣ тупой ненависти и безотчетнаго страха къ будущему. Имъ-бы хотѣлось ничего не видѣть, ничего не слышать, ни о чемъ не думать и только повторять тѣ уроки, которые они заучили въ дѣтствѣ или въ крайней молодости. И, разумѣется, имъ хотѣлось-бы еще получать отъ благодарныхъ соотечественниковъ за повтореніе этихъ уроковъ большія деньги и большіе лавровые вѣнки. Это не консерваторы, это даже не реакціонеры, — это египетскія муміи, вынутыя изъ пирамидъ и приведенныя въ движеніе какимъ-то необыкновеннымъ гальваническимъ аппаратомъ. Консерваторы и реакціонеры политическаго міра понятны; мудроно имъ сочувствовать, но по крайней мѣрѣ можно отдать себѣ отчетъ въ томъ, чего они хотятъ и почему именно они хотятъ того, а не другого.

Но консерваторы въ мірѣ идей составляли-бы для меня навсегда неразрѣшимую загадку, если-бы я долженъ былъ смотрѣть на нихъ, какъ на людей, которые дѣйствительно чего-нибудь хотятъ и которые пишутъ и печатаютъ для того, чтобы въ чемъ-нибудь убѣдить своихъ читателей. Бояться движенія мысли, смотрѣть съ ужасомъ на все, что еще не обратилось въ избитую фразу, и въ то-же время быть писателемъ, то-есть фабрикантомъ идей, — это такое смѣшное внутреннее противорѣчіе, которое можетъ объясниться только тѣмъ предположеніемъ, что наши писатели смотрятъ на литературу такъ, какъ старые титулярные совѣтники смотрятъ на свою службу. Даль-бы, дескать, намъ только Господь Богъ умереть спокойно на тѣхъ теплыхъ мѣстахъ, которыя мы занимаемъ. Повышенія намъ никакого ожидать невозможно, а, напротивъ того, можетъ случиться какая-нибудь непріятность, вродѣ сокращенія штатовъ. Вотъ поэтому-то мы и боимся всякаго движенія мысли; поэтому-то мы сами ежмисъ и отплеываемся всякій разъ, какъ только мы слышимъ какой-нибудь свѣжій и энергическій голосъ. Именно такъ разсуждаютъ про себя тѣ писатели, которые декламируютъ громко и торжественно противъ поспѣшности и неосмотрительности такъ называемыхъ теоретиковъ. Иногда они сами проговариваются чрезвычайно наивно. Напримѣръ Писемскій, написавши очень хорошій разсказъ «Батька», пускается подъ конецъ въ размышленія, начинается тосковать о несовершенствахъ жизни и вдругъ изумляетъ читателя слѣдующей руладой: «о, если-бы, — говоритъ онъ, — можно было забыть прошедшее и не понимать будущаго!» Не знаю, удалось-ли Писемскому забыть прошедшее, но вторая половина его желанія, относящаяся къ будущему, исполнена въ наилучшемъ видѣ. Онъ дѣйствительно не понимаетъ будущаго, и даже счелъ долгомъ торжественно заявить свое непониманіе въ своемъ знаменитомъ романѣ, доказывающемъ очень убѣдительно необходимость мертваго застоя. Послѣ



«Взбаломученнаго Моря» Писемскому оставалось только превратиться въ веселаго рассказчика смѣхотворныхъ анекдотовъ, и это превращеніе дѣйствительно произведено имъ на страницахъ «Отечественныхъ Записокъ», въ которыхъ онъ описываетъ въ настоящее время «Русскихъ лгуновъ». Эти рассказы могли-бы съ большимъ успѣхомъ фигурировать даже въ московскомъ «Развлеченіи», и я не теряю надежды на то, что Писемскій, вымолвившій себѣ непониманіе будущаго, когда-нибудь дѣйствительно пойдетъ оканчивать свою литературную карьеру въ какой-нибудь столь-же мизерной газеткѣ. Далеко не все наши пишущіе рутинеры высказываютъ свои задушевные желанія такъ откровенно, какъ высказалъ Писемскій, но эти желанія обнаруживаются у нихъ въ выборѣ и разработкѣ сюжетовъ. Все они трусливо и злобно отвертываются отъ будущаго, но отвертываются въ разныя стороны, смотря по своимъ личнымъ наклонностямъ и смотря по обстоятельствамъ. Одни, самые бойкіе и задорные, стараются увѣрить себя и другихъ, что будущее совсѣмъ не существуетъ, что это все одна фантазмагорія, что стоитъ только топнуть ногой и крикнуть: «аминь, аминь, разсыпся!» для того, чтобы все это проклятое будущее исчезло безъ малѣйшаго слѣда, и для того, чтобы скверные мальчишки, осмѣливающіеся размышлять, тотчасъ превратились въ милыхъ попугаевъ, повторяющихъ заданные уроки. Эти бойкіе и задорные, но въ сущности трусливые и тупоумные ненавистники будущаго пишутъ истребительные романы и повѣсти вроде «Взбаломученнаго Моря», «Марева» и «Некуда». — Долго толковать объ этой категоріи писателей не стоитъ, тѣмъ болѣе, что въ статьѣ моей «Сердитое безсиліе» я достаточно охарактеризовалъ одного изъ такихъ истребителей. Не могу однако пройти молчаніемъ одну любопытную замѣтку, помѣщенную въ декабрьской книжкѣ «Библіотеки для Чтенія» Стебницкимъ, авторомъ истребительнаго романа «Некуда». Находя вѣроятно, что онъ еще недостаточно уронилъ себя своимъ романомъ, Стебницкій пожелалъ еще довершить это дѣло особымъ «объясненіемъ», напечатаннымъ въ томъ-же журналѣ, который такъ любовно усыновилъ романъ «Некуда».

Въ этомъ объясненіи доблестный Стебницкій говоритъ, что «многимъ петербургскимъ литераторамъ крайне не нравится направленіе романа», и что вслѣдствіе этого «антрепренерами литературныхъ труппъ, лицедѣйствующихъ въ либеральныхъ комедіяхъ, на редакцію Библіотеки для Чтенія были спущены вѣрные люди». Но, разумѣется, Стебницкому нечего было бояться «вѣрныхъ людей». «Нападати на меня прямо, — говоритъ онъ, — за направленіе романа было неудобно по многимъ существующимъ положеніямъ, а простить этого на

правленія мнѣ не могли, и придрались къ по-дысканному кѣмъ-то *внѣшнему* сходству нѣкоторыхъ лицъ романа съ лицами живыми изъ литературнаго міра, — и пошли писать.»

Съ небольшимъ три года тому назадъ, въ самомъ концѣ 1861 года, въ петербургскихъ литературныхъ кружкахъ разнесся слухъ, что профессоръ Чичеринъ, написавшій тогда какую-то статью, сдѣлался почему-то лицомъ неприкосновеннымъ для литературной критики. Этотъ слухъ вскорѣ дошелъ до Москвы, и «Русскій Вѣстникъ» съ горячимъ негодованіемъ сталъ опровергать этотъ слухъ, какъ вздорную сплетню, пущенную въ ходъ для того, чтобы набросить тѣнь на личность профессора Чичерина. Искусственная неприкосновенность считалась, стало-быть, три года тому назадъ весьма незавиднымъ подаркомъ фортуны. Теперь, когда сформировался типъ истребителей, литературные нравы повидимому измѣнились. Теперь люди насильно врываются въ журналъ для того, чтобы заявить передъ читающей публикой, что нападать на нихъ прямо никакъ невозможно. Впрочемъ я полагаю, что авторское самолюбие ослѣпляетъ Стебницкаго. На него не нападали прямо за направленіе совсѣмъ не потому, что это было неудобно, а потому, что это было бесполезно. На такихъ джентльменовъ, какъ Писемскій, Ключниковъ и Стебницкій, все здравомыслящія люди смотрятъ, какъ на людей отпѣтыхъ. Съ ними не разсуждаютъ о направленіяхъ; ихъ обходятъ съ той осторожностью, съ какой благоразумный путникъ обходитъ очень топкое болото. Нападенія нѣкоторыхъ критиковъ на «*внѣшнее* сходство» нисколько не были придрками, и оправданія, которыя представляетъ Стебницкій, доказываютъ всего лучше, что эти обвиненія были въ высшей степени основательны. Начало оправданія заключается въ томъ, что Стебницкій пашетъ курсивомъ слово *внѣшнее*. Онъ не отрицаетъ сходства, а доказываетъ только, что оно было чисто *внѣшнее*. Онъ ссылается на примѣры нѣкоторыхъ извѣстныхъ писателей. Привожу цѣликомъ его ссылку на Писемскаго: «съ выходомъ *Взбаломученнаго Моря*, все, читавшіе этотъ романъ въ Петербургѣ, въ одно слово говорили, что Галкинъ Писемскаго есть извѣстное въ столичномъ коммерческомъ мірѣ лицо, и опять, безъ дальнихъ обиняковъ, называли это лицо прямо по имени. Но никто-же на основаніи этого сходства не сталъ требовать опознаваемое живущее лицо къ отвѣту за убійство, совершенное въ романѣ по инициативѣ Галкина, и Писемскаго не обязывали къ представленію юридическихъ уликъ въ доказательство этого, конечно вымышленнаго имъ, преступленія.» Заручившись ссылками на авторитеты, Стебницкій бросается на своихъ критиковъ и, подобно маленькому, но очень сердитому вулкану, изливаетъ на нихъ потоки не лавы, а грязи. Тутъ-то

и встрѣчаются тѣ «многочисленные намеки», которые сконфузили редакцію *Библиотеки*. Но стыдливость ея тутъ неумѣстна. Если редакція, печатая сотни страницъ такого романа, какъ «Некуда», пожелала слизнуть пѣнку съ этого ароматическаго напитка, то отчего-же ей не проглотить и подонки?—Произведя изверженіе, вулканчикъ продолжаетъ свое разсужденіе о сходствѣ. «Ссылаюсь,—говоритъ онъ,—на безпристрастный судъкаждаго, кто прочтетъ эти строки: могутъ-ли идти въ только слегка помѣченные мною поступки въ параллель съ тѣмъ, что въ одномъ изъ лицъ или въ нѣсколькихъ лицахъ романа встрѣчается какое-то чисто виѣшнее сходство съ живущими людьми, которые (въ чемъ не можетъ быть никакого сомнѣнія) *никогда не дѣлали ничего такого, что дѣлаютъ дѣйствующія лица въ романахъ*, и слѣдовательно не могутъ нести ни похвалы, ни упрековъ за эти *вымышленныя* дѣйствія?»

Этими краткими выписками я изчерпалъ все внутреннее содержаніе замѣтки. Посмотримъ, насколько убѣдительно оправдательные аргументы Стебницкаго. Замѣтьте, во-первыхъ, что онъ постоянно говоритъ о *виѣшнемъ*, о чисто виѣшнемъ сходствѣ, и что онъ ни разу не употребляетъ слова «случайное сходство»,—того единственнаго слова, которое сразу могло-бы совершенно оправдать его. Еслибы Стебницкій сказалъ: «что вы ко мнѣ пристааете! Я никогда въ глаза не видалъ тѣхъ людей, которыхъ вы узнаете въ моемъ романѣ; сходство вышло случайное.»—Еслибы онъ это сказалъ, говорю я, критикамъ его оставалось-бы только развести руками. Но онъ этого не сказалъ; значитъ, по всей вѣроятности *не могъ* сказать; то-есть онъ не имѣлъ возможности отречься печатно отъ знакомства съ тѣми живыми людьми, которые оказались нарисованными во весь ростъ въ его романѣ. Итакъ, для насъ не подлежитъ сомнѣнію тотъ фактъ, что Стебницкій нарисовать своихъ знакомыхъ. Спрашивается теперь: если-ли возможность нарисовать портреты своего знакомаго *нечаянно*? Разумѣется, нѣтъ. Значитъ, знакомые были нарисованы съ *умысломъ*. Н. Стебницкій говоритъ, что эти нарисованные знакомые «*никогда не дѣлали ничего такого, что дѣлаютъ дѣйствующія лица въ романахъ*». Фраза очевидно бессмысленная! Въ романахъ дѣйствующія лица ѣдятъ, пьютъ, ходятъ, сидятъ, думаютъ, чувствуютъ, разсуждаютъ. Неужели Стебницкій твердо увѣренъ въ томъ, что его знакомые «*никогда не дѣлали ничего такого*», то-есть никогда не ѣли, не пили, не ходили, не сидѣли, не думали, не чувствовали и не разсуждали? Но простимъ Стебницкому его безграмотность. Онъ очевидно говоритъ совсѣмъ не то, что хочетъ сказать. Онъ хочетъ сказать, что его знакомые не произносили тѣхъ неблагонамѣренныхъ словъ и не

позволяли себѣ тѣхъ предосудительныхъ или нелѣпыхъ поступковъ, которые онъ приписываетъ дѣйствующимъ лицамъ своего романа. Прекрасно! Но тѣмъ хуже для Стебницкаго. Еслибы онъ рисовалъ своихъ шалопаевъ съ такихъ жавыхъ оригиналовъ, которые шалопайствуютъ въ дѣйствительной жизни, то онъ воздалъ-бы каждому по его заслугамъ. Но вы представьте себѣ слѣдующую шутку: Стебницкій записываетъ ваши примѣты, особенности вашего костюма и вашей походки, ваши привычки, ваши поговорки; онъ изучаетъ васъ во всѣхъ подробностяхъ и потомъ создаетъ въ своемъ романѣ отъявленнаго мошенника, который во всѣхъ *виѣшнихъ* признакахъ похожъ на васъ, какъ двѣ капли воды. А между тѣмъ вы—честнѣйшій человекъ и провинились только тѣмъ, что пустили къ себѣ въ домъ этого подслушивающаго и подсматривающаго господина. А между тѣмъ всѣ ваши знакомые узнаютъ васъ въ изображенномъ мошенникѣ и съ изумленіемъ разспрашиваютъ другъ друга о томъ, есть-ли какая-нибудь доля правды въ томъ, что о васъ написано. Начинаются догадки, предположенія и сплетни. Какъ вы находите, пріятно ваше положеніе или нѣтъ? Къ суду васъ никто не потянетъ, но это именно и скверно. Въ судѣ вы могли-бы оправдаться, но противъ сплетенъ, возбужденныхъ наглою мистификаціей Стебницкаго, вы оказываетесь совершенно беззащитнымъ. Въ «Ревизорѣ» давно уже было сказано: «хорошо если мошенникъ, а что, если еще того хуже?» Въ романѣ Стебницкаго выведены именно не мошенники, а «еще того хуже», такъ что попасть въ разрядъ этихъ людей «еще того хуже»—можетъ-быть гораздо опаснѣе, чѣмъ прослыть мошенникомъ.

Ссылка на Писемскаго, разумѣется, ничего не доказываетъ. Если прототипъ Галкина не слѣлалъ никакого преступленія, то со стороны Писемскаго было въ высшей степени скверно накладывать на честнаго человека темное пятно, отъ котораго этотъ господинъ не имѣетъ никакой возможности отмыться. Такія продѣлки называются именно бросаніемъ камней и грязь *изъ-за уха*. Косвенная инсинуація неизмѣримо хуже прямого доноса, именно потому, что составитель инсинуаціи не обязанъ представлять никакихъ доказательствъ и всегда имѣетъ полную возможность увернуться въ сторону, ссылаясь на свободную игру своей фантазіи.

Спрашивается, съ какимъ-же умысломъ Стебницкій превратилъ своихъ знакомыхъ въ не турчишковъ, съ которыхъ онъ копировалъ наружность своихъ «еще того хуже»? Если Стебницкій скажетъ, что это была пріятельская шутка, то ему на это возражать, что эго шутка глупая, плоская и дерзкая. Всего интереснѣе то, что самъ-же Стебницкій въ концѣ своего романа произноситъ приговоръ надъ подобной

шуткой. Извольте послушать: «Да, говорить одна барыня, представьте себѣ, у нихъ живописцы работали. Ну, она на воротахъ назначила нарисовать страшный судъ—картину. Ну, мой внукъ, разумеется, мальчикъ молодой... знаете, скучно, онъ и далъ живописцу двадцать рублей, чтобы тотъ въ аду нарисовалъ и Агнію, и всѣхъ ея главныхъ помощницъ...» — «Все это было-бы смѣшно, когда-бы не было такъ глупо, сказалъ за стуломъ Евгений Петровичъ Розановъ.» «Вѣстимо, отвѣчала хозяйка.» При этомъ надо замѣтить, что Розановъ и Евгения Петровна—любимцы автора. Изъ за чего-же Стебницкій влямывался въ журналъ съ своимъ «объясненіемъ»? Зачѣмъ онъ оправдывался, когда онъ самъ произнесъ надъ собой приговоръ? Ну да, именно. «Все это было-бы смѣшно, когда-бы не было такъ глупо». Хорошо! Но что если рисование знакомыхъ было совершенно затѣмъ, чтобы напакостить ближнему, чтобы «отомстить за оскорбленіе или чтобы доставить плохому роману тотъ успѣхъ, который называется *un succès de scandale*? Что тогда?—Тогда, чего добраго, изреченіе Розанова придется передѣлать такъ: «все это было-бы смѣшно, когда-бы не было такъ грязно». — Меня очень интересуютъ слѣдующія два вопроса: 1) Найдется-ли теперь въ Россіи—кромѣ «Русскаго Вѣстника» —хоть одинъ журналъ, который осмѣлился-бы напечатать на своихъ страницахъ что-нибудь выходящее изъ подъ пера Стебницкаго и подписанное его фамиліей? 2) Найдется-ли въ Россіи хоть одинъ честный писатель, который будетъ настолько неостороженъ и равнодушенъ къ своей репутаціи, что согласится работать въ журналъ, украшающемъ себя повѣстями и романами Стебницкаго? — Вопросы эти очень интересны для психологической оцѣнки нашего литературнаго міра \*).

### III.

Отъ свирѣпыхъ истребителей будущаго я перехожу къ тѣмъ болѣе кроткимъ людямъ, которые, не видя для себя впереди ничего привлекательнаго, уходятъ всеми своими помыслами въ темную глубину давнопрошедшаго. Съ легкой руки Островскаго, воспѣваго «Козьму Минина» въ какомъ-то странномъ произведеніи, несколько не похожемъ на драму,—историческія трагедіи, драмы и комедіи начинаютъ плодиться въ нашей литературѣ. Въ прошломъ году Чаевъ напечаталъ въ «Библиотекѣ» трагедію «Князь Александръ Михайловичъ Тверской»; въ томъ-же году Аверкіевъ—тотъ самый, который терпѣть не можетъ популяризаторовъ вообще и Карла Фохта въ особенности, — помѣстилъ въ «Эпохѣ» драму: «Мамаево побоище». Наконецъ

въ нынѣшнемъ году Островскій нагрузилъ январьскую книжку несчастнаго «Современника» комедіею «Воевода», изображающей нравы XVII столѣтія. «Князь Тверской» занимаетъ 84 страницы, «Мамаево побоище» —136. «Воевода» —135. Итого — 355. «Князь Тверской», отличающійся похвальной скромностью въ отношеніи къ объему, отличается еще другимъ важнымъ достоинствомъ: онъ написанъ прозой и въ немъ есть одна не совершенъ плохая сцена; именно, 2-я сцена 2-го дѣйствія, та—гдѣ псковичи, отстаивая Александра Михайловича, сажаютъ его къ себѣ на княженіе и разрываютъ свою связь съ Новгородомъ и съ Иваномъ Калитой. Вслѣдствіе этого я оставляю въ покоѣ «Князя Тверского», надѣясь на то, что Чаевъ, какъ писатель начинающій, можетъ еще обратиться на путь истины и уразумѣть всю суетность историческаго драматизма. Аверкіевъ—дѣло другое; онъ уже съ головой окунулся въ мутную премудрость «Эпохи» и въ своихъ многочисленныхъ критическихъ статьяхъ заплатилъ уже такую обильную дань духу мракобѣсія и сикофанства \*), что навсегда отрѣзалъ себѣ дорогу въ прямой литературной дѣятельности. Его «Мамаево побоище» есть тенденціозный панегирикъ прошедшему, которое, разумеется, должно казаться Аверкіеву очень привлекательнымъ, потому что въ XIV столѣтіи еще не было людей, способныхъ выводить на свѣжую воду литературныхъ шарлатановъ. Впрочемъ легко можетъ быть, что и шарлатановъ было тогда поменьше, чѣмъ теперь.

«Мамаево побоище», написанное стихами, снабжено предисловіемъ, въ которомъ почтенный авторъ объясняетъ, что главная цѣль его произведенія—«изобразить въ картинахъ прошлую жизнь съ возможно-большаго числа сторонъ». Въ этомъ-же предисловіи Аверкіевъ даетъ нѣсколько совѣтовъ относительно сценической постановки пьесы; первый изъ этихъ совѣтовъ показываетъ намъ наглядно, что Аверкіевъ умѣетъ понимать слова лѣтописей совершенно наизуотъ. Полюбуетесь остроуміемъ и проницательностью писателя, взявшагося «изобразить прошлую жизнь съ возможно-большаго числа сторонъ». —Должна быть ярко изображена противоположность между дворами московскимъ и рязанскимъ. При первомъ господствуетъ своеобразная вѣжливость и утонченность нравовъ; при второмъ—отношенія болѣе простыя и грубыя. Не даромъ-же москвичи говорили, что «рязанцы—люди суровые, свирѣпые, высокоумные, гордые, чаятельные, вознеслись умомъ и возгордившись величаніемъ, помислили въ высокоуміи своемъ, полоумные люди, какъ чудища».

\*) И журналовъ, и писателей такихъ оказалось въ изобиліи...  
Изд.

\*) Сикофантами назывались въ Аѳинахъ клеветники и наушники.

Кто былъ грубѣе, рязанцы или москвичи, — этого я не знаю. Я русскихъ лѣтописей не читалъ и никогда не буду читать. Можетъ — быть Аверкіевъ дѣйствительно правъ, но неподражаемымъ комизмомъ дышетъ тотъ фактъ, что въ подтвержденіе своей мысли Аверкіевъ приводитъ такіа слова, которые ее опровергаютъ. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ изъ отзыва москвичей о рязанцахъ тожно заключить, что москвичи смотрѣли на рязанцевъ сверху внизъ, какъ цивилизованные люди смотрятъ на полудикарей? Совсѣмъ напротивъ. Слова, приведенныя Аверкіевымъ, можно было-бы безъ малѣйшаго измѣненія вложить въ уста какого-нибудь мелкопомѣстнаго дворянина, отзывающагося съ горькой завистью и съ чувствомъ оскорбленнаго самолюбія о богатохъ и гордыхъ сесѣдѣхъ. *«Вознесишсь умомъ и возгордишишсь величаніемъ»* — не правда-ли, какъ ясно указываютъ эти слова на *«отношенія болѣе простыя и грубыя»*? Посѣтивши Константинополь и насмотрѣвшись на тамошнія придворныя церемоніи, русскій чело-вѣкъ XIV столѣтія навѣрное сказалъ-бы также, что византійцы — *«вознесишсь умомъ и возгордишишсь величаніемъ»*, а Аверкіевъ съ свойственнымъ ему остроуміемъ навѣрное вывелъ-бы то заключеніе, что при византійскомъ дворѣ господствовали *«отношенія болѣе простыя и грубыя»*, чѣмъ при московскомъ. Если я напомину публикѣ то обстоятельство, что авторъ *«Мамаева побоища»*, такъ успѣшно понимающій на выворотъ слова лѣтописей, вступилъ въ состязаніе съ Н. Костомаровымъ, — то, разумѣется, надъ злополучнымъ Аверкіевымъ засмѣются не только всѣ читатели, но даже всѣ куры и цыплята великой, малой и бѣлой Россіи.

Посуливши намъ *«изобразить прошлую жизнь съ возможно-большаго числа сторонъ»*, Аверкіевъ на самомъ дѣлѣ изображаетъ только безконечно-растянутые и удивительно безцвѣтные разговоры между князьями и боярами. Есть правда двѣ-три сцены яко-бы простонародныя; но эти сцены состоятъ исключительно въ томъ, что мужики, уходя на войну, говорятъ: *«мы ихъ, такихъ-сякихъ, шапками закидаемъ»*; а бабы ревуть и говорятъ: *«дай вамъ, Господи, добраго здоровья.»* Вотъ вамъ и вся *«прошлая жизнь»*, и все *«возможно-большее число сторонъ»*.

Но удовольствуемся тѣмъ, что даетъ намъ авторъ. Посмотримъ по крайней мѣрѣ, какъ обрисованы князья и бояре. Что Аверкіевъ желалъ представить ихъ въ самомъ привлекательномъ видѣ, — это намъ доподлинно извѣстно, потому что Аверкіевъ сражался съ Костомаровымъ именно изъ за того, что сей послѣдній недостаточно благоговѣлъ передъ доблестями древнихъ москвичей вообще и Дмитрія Донскаго въ особенностн. Но Аверкіевъ, подобно всѣмъ

писателямъ, удрученнымъ бездарностью и честолюбіемъ, совершенно равнымъ его бездарности, всегда оказываетъ медвѣжьи услуги тѣмъ лицамъ и принципамъ, которые онъ принима-етъ подъ свое просвѣщенное покровительство. Дмитрій Донской и его сподвижники представ-лены у Аверкіева такими чудачами, что даже мѣхъ чело-вѣку, не питающему ни малѣйшей нѣжности къ людямъ XIV столѣтія, придется защищать этихъ людей противъ ихъ остроумнаго панегириста. Всѣ дѣйствующія лица *«Мамаева побоища»* безъ исключенія одержимы неизлечимымъ пристрастіемъ къ риторическому размазыванію; то, что можно выразить въ трехъ словахъ, растягивается ими по меньшей мѣрѣ на десять строкъ. Съ точки зрѣнія литературнаго гонорара, такая наклонность куликовскихъ героев очень понятна и даже извинительна, потому что Аверкіеву, разумѣется, пріятнѣе было помѣстить въ журналѣ 136 страницъ, чѣмъ помѣстить только 40 или 50. Но такъ какъ Аверкіевъ корчитъ изъ себя патріота и такъ какъ онъ даже приста-етъ къ другимъ русскимъ писателямъ съ упреками въ недостаткѣ патріотизма, то я полагаю, что при воспѣваніи куликовскихъ героев Аверкіеву не мѣшало-бы думать поменьше объ умноженіи печатныхъ строчекъ и побольше о достоинствѣ тѣхъ историческихъ личностей, которыя по его милости превращены въ болтуновъ.

Великая княгиня, жена Дмитрія, совѣтуетъ мужу сходить передъ выступленіемъ противъ Мамаю къ игумну Сергію. Кажется, дѣло очень простое и естественное; совѣтъ хорошъ; онъ доказываетъ, что княгиня — женщина благочестивая; но такъ какъ въ XIV столѣтіи всѣ русскіе люди были очень благочестивы, то въ этомъ хорошемъ совѣтѣ нѣтъ ничего особенно новаго и удивительнаго; Дмитрій пошелъ-бы къ игумну по собственному влеченію, безъ всякихъ постороннихъ внушеній. Посмотрите-же теперь, что тутъ дѣлаетъ Аверкіевъ:

княгиня.

Послушай, княже, моего совѣта  
И къ Сергію игумну сходи.  
Со всѣхъ сторонъ народъ къ нему стремится,  
Печальные идутъ со всѣхъ концовъ.  
Несутъ къ нему тяжелую кручину,  
А отъ него идутъ съ веселой душой,  
Веселымъ сердцемъ славословятъ Бога.  
Сходи къ нему къ своему великомъ горѣ,  
Повѣдай тяжкую свою печаль;  
Съ словомъ Божиимъ тебя утѣшитъ,  
Разумною бесѣдой ободритъ.

Итого *одиннадцать* строкъ, чтобы сказать: *«сходи къ Сергію!»* Но въ-дѣ это еще далеко не всѣ. Князю надобно теперь благодарить княгиню за ея краснорѣчіе, хотя впрочемъ за это краснорѣчіе платятъ деньги не Дмитрію Донскому, а Дмитрію Аверкіеву.

в. князь.

Спасибо, милая моя голубка!  
Самъ думалъ я объ эгомъ, самъ хотѣлъ  
Сходить въ игумену.

Кажется, тема исчерпана, и разговоръ долженъ прекратиться или принять другое направленіе. — Ничуть на бывало! Вы не знаете изобрѣтательности Аверкіева. Княгиня продолжаетъ долбить своего мужа:

княгиня.

Да, милый княже,  
Сходи къ нему; сходи ты безпрѣмѣнно.

в. князь.

Вотъ, какъ управляясь, такъ сейчасъ схожу. Но княгиня наладила свою нѣсню и непремѣнно желаетъ доставить Аверкіеву еще нѣсколько копѣекъ:

княгиня.

Не отлагай ты дѣла въ долгій ящикъ;  
Еще успѣшь разослать гонцовъ,  
Собрать полки еще успѣшь, княже,  
А главное—ты къ Сергію сходи.

в. князь.

Схожу, голубушка.

Когда остроумная княгиня такимъ образомъ окончательно убѣдила Дмитрія, что разсылать гонцовъ и собирать полки — самое пустое и вздорное занятіе, тогда читатель начинаетъ думать, что дѣло о хожденіи къ Сергію наконецъ рѣшено и что о немъ не будутъ больше толковать. Въѣд и то ужъ Аверкіевъ сколотилъ себѣ на эту тему *двадцать два* строчки. Можно-бы, кажется, удовлетвориться. Нетуть-то было. Разговоръ о хожденіи къ Сергію, угасши на страницѣ 17, возгорается съ новой силой на страницѣ 30, когда княгиня узнаетъ, что совѣщаніе князя съ боярами окончилось.

княгиня.

Ну, слава Богу! Только знаешь, Дмитрій,  
Не отъ людей—отъ Господа удача;  
Ты къ Сергію игумену сходи,  
У Троицы усердно помолись.

Можно было ожидать, что Дмитрію надоѣдятъ наконецъ эти безконечныя повторенія, и что онъ скажетъ княгинѣ: «ахъ, матушка, да оставь же ты меня въ покоѣ! Что я, нехристь, что-ли, какой-нибудь? Не знаю я, что-ли, когда и гдѣ мнѣ нужно молиться?» — Но Дмитрій, сотворенный Аверкіевымъ, этого не говорятъ. Онъ даже приходится въ какой-то совершенно непонятный восторгъ, точно будто княгиня подала ему совершенно новую мысль, которая безъ ея помощи ни за что не пришла-бы ему въ голову.

в. князь.

О, милая голубка, дорогая!  
Совѣтовъ много слышала я сегодня:  
Свою повѣдали мнѣ братья думу,  
И молвили свое бояре слово.

Но твой совѣтъ—дороже всѣхъ совѣтовъ,  
Разумный всѣхъ твоя простая дума;  
Какъ солнце, слово милое горитъ,  
Горитъ оно и путь мнѣ указываетъ,  
Надежный путь къ обители Господней,  
Къ честнымъ вратамъ монастыря святого.

Глядишь: еще *четырнадцать* стиховъ набѣжало. *Двадцать два* да *четырнадцать* — выходитъ *тридцать шесть*. При такихъ условіяхъ патріотизмъ оказывается очень хорошей оброчной статьей.

Желая оживить свою драму комической струей, Аверкіевъ считаетъ необходимымъ устроить дѣло такъ, чтобы Дмитрій въ думѣ обругалъ одного изъ бояръ «дуракомъ». Что-жъ? Эффектъ придуманъ не дурно, и для Аверкіева не безвыгодно, потому что на подготовленіе и произнесеніе двухсложнаго слова «дуракъ», въ которомъ заключается вся соль сцены, потрачено *двадцать пять* строкъ. — На другую, столь-же комическую сцену, основанную на томъ, что бояринъ, получившій «дурака», труситъ и старается отдѣлаться отъ похода, отговариваясь болѣзнью, — израсходовано *пятьдесятъ пять* строкъ, хотя эта сцена, протекшая только между двумя совершенно второстепенными лицами, не рисуетъ ни «прошлой жизни», ни «возможно-большаго числа сторонъ». На прощаніе Боброва съ женой отпущено *семьдесятъ три* строки, хотя прощаются они такъ, какъ и въ такое время могутъ прощаться супруги. Характернаго въ этой сценѣ нѣтъ ровно ничего, кромѣ явственной непомѣрной растянутости, которая впрочемъ характеризуетъ собой не XIV столѣтіе, а Аверкіева. Какія глушости городать князья и бояре на военномъ совѣтѣ за два дня до рѣшительной битвы, — такъ это просто уши вянуть. Въмѣсто того, чтобы разсуждать о планѣ сраженія, о движеніи и расположеніи войскъ, они упражняются въ литературномъ изливаніи похвальныхъ чувствъ, точно будто они восптананы на критическихъ статьяхъ Аверкіева и Николая Соловьева. Вотъ вамъ образчики.

к. дм. ольгердовичъ.

Что было тамъ за Пяной,—я не знаю;  
Ты, можетъ, былъ; тебѣ и книги въ руки.  
А я читалъ другія, какъ князь Игорь  
Шеломомъ зачерпнулъ воды изъ Дона,  
Какъ наполнилъ кони струей донскою,  
Какъ рыскала хорабрая дружина,  
Что волки сѣрые, по чисту полю,  
Себѣ искали чести, князю—славы.

Это называется подавать свое мнѣніе на военномъ совѣтѣ. — Другой Ольгердовичъ, Андрей, соревнуя своему брату, желаетъ также сказать нѣсколько глупостей и, разумѣется, исполняетъ свое желаніе:

кн. анд. ольгердовичъ.

И за Донъ перейдемъ, да побѣдимъ,  
Коль есть на то Господня воля; нѣтъ,—  
Такъ отъ бѣды и здѣсь не уберечься.

А мысль моя такая, княже Дмитрій Ивановичъ: коль ты пришелъ на дѣло, Коль крѣпкаго гы бою хочешь, Сегодня-же вели перевозиться. И у кого на мысли ворочаться, Пусть эту мысль отбросить; пусть никто Не думать спасется отъ смерти; бьется Съ погаными безъ хитрости, и смерти Пусть съ часу на часъ ждетъ. А говорятъ, Что сила велика у нихъ, то что На эго намъ смогрѣть. Не въ силѣ Богъ, А въ правдѣ.

В. князь.

Ай да, князь Андрей, спасибо!  
Такія рѣчи, право, люблю слушать.

Скажите, пожалуйста, не правду-ли я говорилъ, что мнѣ придется защищать куликовскихъ героевъ противъ ихъ усерднаго, по крайне ограниченнаго панегириста? Надо переходить за Донъ, говоритъ Андрей Ольгердовичъ, на томъ основаніи, что Богъ не въ силѣ, а въ правдѣ. А Дмитрій Донской благодаритъ и находитъ, что такіе рѣчи пріятно слушать.

Желая расписать самыми яркими красками благочестіе нашихъ предковъ, Аверкіевъ очевидно хватилъ черезъ край, возвелъ русское «авось» въ религиозный догматъ и навязалъ несчастнымъ сподвижникамъ Дмитрія чистѣйшій магометанскій фатализмъ, противъ котораго всегда возмущался здравый смыслъ всѣхъ европейскихъ народностей. Аверкіевъ до самого конца остается вѣренъ себѣ: послѣ побѣды Дмитрій три раза подъ рядъ благодаритъ войско въ самыхъ витиеватыхъ выраженіяхъ, а войско отвѣчаетъ ему на разные манеры: «рады стараться». На эти взаимные комплименты уходитъ сто строкъ. — И эго, по мнѣнію Аверкіева, называется «изобразить пропашую жизнь съ возможнымъ большаго числа сторонъ»?

#### IV.

Къ «Воеводѣ» Островскаго не приложено никакого предисловія, и это очень жаль, потому что было-бы желательно, чтобы къ этой комедіи было приложено два предисловія: одно — отъ автора, другое — отъ редакціи «Современника». Въ первомъ — авторъ долженъ былъ объяснить русской публикѣ, что такое онъ хотѣлъ выразить своимъ новымъ произведеніемъ и съ какой стати онъ его написалъ. Сама комедія на эти вопросы не даетъ рѣшительно никакого отвѣта. Во второмъ предисловіи редакція «Современника» должна объяснить, съ какой точки зрѣнія она находитъ комедію Островскаго интересной или полезной вообще и для подписчиковъ «Современника» въ особенности. Упорство, съ которымъ «Современникъ» держится за увядшій талантъ Островскаго, составляетъ для меня необъяснимую загадку, тѣмъ болѣе, что тотъ-же «Современникъ» не разъ ставилъ себѣ въ особенную заслугу ту стоическую твердость, съ которой онъ отвернулся отъ Тургенева, какъ только замѣ-

тилъ въ немъ фальшивыя ноты. Тургеневъ при всѣхъ своихъ немощахъ несравненно свѣжѣе Островскаго, и было-бы несравненно приличнѣе для «Современника» напечатать даже «Призраки», чѣмъ печатать «Воеводу». Островскій былъ дорогъ для «Современника», какъ изобрѣтатель «Темнаго царства», но о «Темномъ царствѣ» Островскій давно произнесъ свое послѣднее слово, и теперь онъ странствуетъ по такимъ пустынямъ и дебрямъ, въ которыхъ онъ можетъ встрѣтиться только съ Кохановской, съ Аксаковымъ, Юркевичемъ, а никакъ не съ мыслящими реалистами нашего времени.

Сюжетъ «Воеводы» изумляетъ читателя своей несообразностью. Въ одномъ приволжскомъ городѣ господствуетъ въ половинѣ XVII столѣтія старый воевода Шалыгинъ, зашекотавшій до смерти двухъ своихъ женъ и желающій на старости лѣтъ жениться еще разъ для того, чтобы зашекотать третью. Онъ дѣлаетъ предложеніе одной красивой дѣвицѣ, Прасковѣ, дочери богатаго посадскаго, Власа Дюжого. Его предложеніе принимаютъ съ радостью, и будущая его теща, Настасья, уже заранѣе обнаруживаетъ свою гордость тѣмъ, что, идя по улицѣ, ни съ того, ни съ сего, кричитъ на всѣхъ прохожихъ: «фу! смерды». Но прохожіе, съ своей стороны, обнаруживаютъ свою самостоятельность, отвѣчая ей такъ: «шире народъ, навозъ плыветъ». Еслибы Островскій снабдилъ свою комедію объяснительнымъ предисловіемъ, то изъ этого предисловія мы узнали-бы навѣрное, для чего созданы діалогъ между гордой Настасьей и самостоятельными прохожими: для того-ли, чтобы очертить нравы XVII столѣтія, или-же для того, чтобы въ XIX столѣтіи породить хохотъ и рукоплесканія въ райкѣ Александринскаго театра. Теперь-же, за неимѣніемъ предисловія, мы недоумѣваемъ. — Придя съ визитомъ къ Власу Дюжому, воевода случайно сталкивается съ Марьей, младшей сестрой Прасковьи, и тотчасъ рѣшаетъ, что лучше жениться на Марьѣ, чѣмъ на Прасковѣ. Марья влюблена въ молодого помѣщика Бастрюкова, котораго отецъ, поссорившись съ Шалыгинымъ, поѣхалъ въ Москву жаловаться на воеводу отъ лица цѣлаго города. Молодой Бастрюковъ хочетъ похитить Марью, но шутъ воеводы подкарауливаетъ ихъ и разстраиваетъ ихъ планъ. Воевода, чтобы уберечь Марью отъ ея поклонника, перевозитъ ее въ одинъ изъ своихъ теремовъ еще до свадьбы. Самъ-же онъ уѣзжаетъ на нѣсколько дней за городъ по дѣламъ. Въ одной избѣ онъ видитъ пророческіе сны: будто молодой Бастрюковъ похищаетъ Марью; потомъ будто старый Бастрюковъ пожаловался на него, Шалыгина, въ Москвѣ, и будто ѣдетъ на воеводство дворянинъ Поджарый. Встревоженный снами, онъ возвращается въ городъ, захватываетъ Марью въ ту самую минуту, когда она совсѣмъ собралась бѣжать, и начинается се щекотать; но въ



это время является на сцену новый воевода, Поджарый, и Марья, избавленная отъ щекотанія, находитъ себѣ счастье въ объятіяхъ Бастрюкова.

Вотъ вамъ и комедія вся. Комедія, разумеется, изобилуетъ вводными лицами; тутъ есть и пустынный, размышляющій о суетности земного величія; и разбойникъ, смахивающій на Карла Моора; и старая нянька Недвига, рассказывающая сказки; и корыстолюбивая вдова Ульяна, исполняющая при особѣ Марьи роль дуэньки; и колдунъ Мизгирь, появляющійся на сценѣ въ оковахъ; есть даже и домовый, настоящій домовый, который ходитъ по сценѣ съ фонаремъ, декламируетъ стихи и спихиваетъ пыль съ головы спящей Недвижки. Но Островскій и этимъ не удовлетворился: для большей фантастичности онъ устроилъ такъ, что пророческіе сны воеводы разыгрываются передъ глазами всѣхъ зрителей. Воевода лежитъ на сценѣ и спитъ, а въ это время на заднемъ планѣ открывается новая сцена, на которой изображается въ лицахъ то, что воевода видитъ во снѣ. Черезъ это комедія начинается смахивать на волшебную оперетку и получаетъ для райка удвоенную занимательность. Но мыслящій читатель, наткнувшись на домового и на пророческіе сны, болѣе чѣмъ когда-либо, начинаетъ чувствовать необходимость тѣхъ двухъ предисловіи, о которыхъ я говорилъ выше. Возникаетъ вопросъ: вѣрить или не вѣрить Островскій въ существованіе домовыхъ и въ пророческія свойства сновидѣній? Что люди XVII столѣтія вѣрили въ то и въ другое, это, разумеется, не подлежитъ сомнѣнію. Но тутъ дѣло не въ томъ. Домовой ходитъ по сценѣ и говоритъ; значитъ, его видятъ и слышатъ не только дѣйствующія лица комедіи, а кромѣ того еще всѣ зрители, то-есть люди XIX вѣка. Собственно говоря, онъ даже приходитъ на сцену только для зрителей, потому что дѣйствующія лица всѣ спятъ въ минуту его появленія и просыпаются только послѣ его ухода. — Такое же реальное существованіе имѣютъ для зрителей пророческіе сны Шалыгина. Зрители видятъ и слышатъ все ясно, что грезится воеводѣ; и потомъ тѣ-же зрители видятъ и слышатъ также ясно, что всѣ эти грезы осуществляются съ буквальной точностью. Что-же это въ самомъ дѣлѣ значитъ? Если Островскій вѣрить во всякую чертовщину, то чего-же смотреть редакція «Современника»? Если Островскій, не вѣря въ чертовщину, считаетъ своей обязанностью поддѣлываться подъ народное міросозерцаніе и *смиряться передъ народной правдой* до признанія домовыхъ и пророческихъ сновъ включительно, — то опять-таки, чего-же смотреть редакція «Современника»? Если наконецъ Островскій, отложивъ попеченіе о какомъ-бы то ни было серьезномъ взглядѣ на литературу, наполняетъ свои досуги сочиненіемъ козико-маги-

ческихъ оперетокъ, то и въ этомъ случаѣ мы въ крайнемъ недоумѣніи повторяемъ тотъ-же самый вопросъ: чего-же смотреть редакція «Современника», — та самая редакція, которая ведетъ непримиримую войну съ Тургеневымъ?

Безъ двухъ предисловіи съ «Воеводой» невозможно справиться.

## V.

Яростные романы, вроде «Марева» и «Некуда», очень скоро набиваютъ публикѣ оскомину; археологическія драмы, вроде «Кузмы Минина» и «Мамаева побоища», всегда нагоняютъ на читателей истерическую зѣвоту. Поэтому писатели, желающіе систематически усыплять общественное самосознаніе, должны пускаться въ ходъ какое-нибудь другое, болѣе тонкое и привлекательное наркотическое вещество. Къ счастью для этихъ писателей, такое наркотическое вещество изобрѣтено съ незапамятныхъ временъ. Чтобы отвлекать людей отъ серьезныхъ размышленій, чтобы отводить имъ глаза отъ крупныхъ и мелкихъ нелѣпостей жизни, чтобы скрывать отъ нихъ пасущія потребности вѣка и народа, — писатель долженъ уводить своихъ читателей въ брошечный мірокъ чисто личныхъ радостей и чисто-личныхъ огорченій; онъ долженъ рисовать имъ миловидныя картинки любовныхъ томленій и любовнаго восторга; онъ долженъ обставлять свои рассказы очаровательными описаніями лунныхъ ночей, лѣтнихъ вечеровъ, страстныхъ замираній и роскошныхъ бюстовъ; и при этомъ — самое главное — онъ долженъ тщательно маскировать отъ читателя ту неразрывную связь, которая существуетъ между участіемъ отдѣльной личности и положеніемъ цѣлаго общества. Если всѣ эти условія будутъ соблюдены, то простодушный читатель разнѣжится, замечается и повѣритъ хитрому усыпителю, что человѣкъ прежде всего долженъ отыскать себѣ родственную душу, а потомъ втеченіи всей своей жизни упиваться пріемомъ соловья, восходомъ солнца и блескомъ луны. Разумеется, одинъ пріемъ такого наркотическаго вещества усыпляетъ и расслабляетъ человѣка не надолго, но когда пріемы быстро слѣдуютъ одинъ за другимъ, когда вся литература переполнена гашишемъ платоническихъ и аяквеонтическихъ сладостей, когда ни откуда вѣтъ отпора этимъ пошлостямъ, тогда самыя здоровыя головы тупѣютъ и теряютъ способность мыслить.

Западный романтизмъ вначалѣ нынѣшняго столѣтія сбился съ толку и изуродовалъ по меньшей мѣрѣ два поколѣнія французовъ и нѣмцевъ. Мы въ настоящее время довольно прочно застрахованы противъ подобной опасности; драматическій романтизмъ смѣшонъ и гадокъ для нашей здоровой молодежи, но тѣмъ не менѣе романъ существуетъ, какъ въ беллетристикѣ, такъ и въ критикѣ нашихъ рутинныхъ журна-

ловъ. Въ этомъ отношеніи особенно любопытны тѣ повѣсти, которыми украшаетъ себя «Русскій Вѣстникъ». Всѣ онѣ очень недалеко уѣхали отъ «Бѣдной Лизы» Карамзина и отъ «Барышни Крестянки» Пушкина. Всѣ онѣ стремятся къ тому, чтобы терзать чувствительныя сердца *кисейныхъ двушекъ*, совершенно неспособныхъ обороняться отъ глупыхъ людей и отъ глупыхъ книгъ. — Въ концѣ прошлаго года, начиная съ сентября, «Русскій Вѣстникъ», отложивъ въ сторону бранныя досѣхи, ударился въ буколическое направленіе и поднесъ своимъ читателямъ нѣсколько повѣстей, такихъ сладостныхъ и усыпительныхъ, какія рѣдко можно встрѣтить въ нашемъ желѣзномъ и тревожномъ вѣкѣ. — Въ сентябрьской книжкѣ помѣщена повѣсть г. Н. О «Гдѣ же счастье?» Вся повѣсть состоитъ изъ пилсемъ. Замужняя сестра, Наталья, пишетъ своей незамужней сестрѣ, Екатеринѣ, что она чрезвычайно счастлива. Счастье наводитъ Наталью на самыя удивительныя размышленія. «Вѣтъ два часа. Я люблю эту ночную тишину; одна вода все клокочетъ, бѣется и шумитъ на мельницѣ, подъ горой, и какъ будто тоже бесѣдуетъ о моемъ блаженствѣ съ незримымъ духомъ, подающимъ жизнь всему живущему.» Блаженство Натальи, о которомъ бесѣдуетъ вода на мельницѣ, состоитъ въ томъ, что мужъ ея, Валерьянъ, восемь лѣтъ подъ рядъ говорить ей сладости и цѣлуетъ ея руки. Вотъ образчикъ ея блаженства «Какой-то подрядчикъ досадилъ мужу; онъ разсердился на него и презлой пришелъ къ обѣду сталъ придирается, ворчать. Я вижу, что онъ раздраженъ чѣмъ-то и молчу. Онъ кричитъ, шумитъ и уже мнѣ говоритъ дерзости; я уткнулась въ работу и ни слова. Вижу: человекъ дурно на строень—ну, что-жь съ этимъ дѣлать? Валерьянъ посердился и опять убѣждалъ на стройку. Вечеромъ... какъ-бы ты думала? возвратился до того сконфуженъ, что смѣшно смотрѣть; не смѣетъ глазъ на меня поднять, совѣтится, проситъ прощенія; но, видя, что я улыбаюсь, опускается передо мной на колѣни. И тутъ послѣдовалъ взрывъ горячаго раскаянія, пламенной любви восторга... Ну, точъ-въ-точъ какъ будто ему 18 лѣтъ! Да, истинная любовь съ лѣтами какъ будто юнѣетъ до того, что превращается наконецъ въ какую-то дѣтскую привязанность. Я слухала, слушала его и потомъ съ гордостью эоіопской царицы протянула ему руку, сказавъ: «держай слабый смертный!» Повѣришь-ли, онъ и тутъ еще не увидѣлъ шутки, не разглядѣлъ комизма, а серьезно превозносилъ мою кротость, уступчивость, благоразуміе и тысячу другихъ добродѣтелей. Ей Богу, боюсь, Катя, онъ меня совсѣмъ избалуетъ. Я, пожалуй, зазнаюсь.» Но вдругъ мрачная туча набѣгаетъ на тотъ эдемъ, въ которомъ истинная любовь превращается въ дѣтскую привязанность, въ которомъ слабый смертный ползаетъ на колѣняхъ передъ

эоіопской царицей и въ которомъ вода бесѣдуетъ съ незримымъ духомъ о блаженствѣ Натальи Николаевны Голубинцевой. Мрачная туча эта является въ видѣ коварной женщины, Клеопатры Александровны, которая своимъ преступнымъ кокетствомъ разрушаетъ дѣтскую привязанность и отвлекаетъ слабого смертнаго отъ эоіопской царицы. Эоіопская царица начинаетъ рвать и метать и доводитъ себя разными глупостями до того, что рождаетъ раньше срока мертвого ребенка.

Вотъ напримѣръ исторія одной кавалькады, происходившей въ эдемѣ послѣ водворенія въ немъ мрачной тучи. «Я чувствовала себя опять очень дурно и рѣшила было остаться дома; но когда увидѣла изъ окна, что Клеопатра Александровна въ изыщной амазонкѣ, съ хлыстикомъ въ рукѣ, вышла на крыльцо въ ожиданіи верховой лошади, а Валерьянъ готовился сопровождать ее верхомъ... вся кровь закипѣла въ моихъ жилахъ и прилила къ сердцу съ такой силой, что, забывъ все на свѣтѣ, я объявила Валерьяну, что поѣду съ нимъ въ кабріолетѣ. Это его озадачило: онъ пробовалъ меня убѣждать; но я на-отрѣзъ сказала ему, что, если онъ не сдѣлаетъ по моему, я... не пощажу никого!» — Угроза подѣйствовала. Эоіопскую царицу повезли въ кабріолетѣ, но мрачная туча посылаетъ слабому смертному такой взоръ, въ которомъ скрывалось «что-то повелительно-насмѣшливое» и который «и ласкалъ, и кололъ въ одно и то же время». Не выдержавши долѣе «этой пытки», беременный Отелло начинаетъ бунить, такъ что Валерьянъ говоритъ: «помиловосердуй, Наташа!» Но свирѣпая Наташа нисколько не милосердуетъ, а, напротивъ того, поднимаетъ въ кабріолетѣ лютовую возню, чтобы отнять у мужа какую-то желтенькую записку, случайно выглянувшую изъ его раскрывшейся сигарочки. Неумѣстная возня кончается тѣмъ, что кабріолетъ опрокидывается и что воинственную царицу Эоіопіи, лежащую въ обморокѣ, отвозятъ домой. Поздно вечеромъ, оправившись отъ испуга, она подходитъ къ окну и тутъ при свѣтѣ молніи видитъ такую картину, которая очевидно должна разодрать на части всѣ чувствительныя сердца кисейныхъ двушекъ. «Вдругъ молнія широко раскинулась, освѣтивъ флигель; на стеклѣ итальянскаго окна ясно нарисовались двѣ фигуры. Но что это? Игра воображенія?... или ужасающая дѣйствительность?... Опять все стемнѣло... Сердце такъ сильно билось въ моей груди, что мѣшало дышать свободно. Вотъ еще блеснула молнія... И на этотъ разъ я ясно увидѣла... Это онъ! Это она! Какъ страстно прижалъ онъ ее къ своему сердцу! Какъ нѣжно обвила рука ея около его шеи!... Голова ея покоится у него на груди... Я обомлѣла... Выснулась въ окно, таращу глаза, хочу убѣдиться еще разъ въ потрясающей истинѣ, но вся природа погрузилась въ страш-

ный мракъ, и съ шумомъ полилъ дождь.» Надо полагать, что на этотъ разъ дождевая вода ни съ кѣмъ не бесѣдовала о блаженствѣ Натальи Николаевны, которая къ утру родила мертвого ребенка. — Затѣмъ слабый смертный съ своей супругой ѣдетъ въ Москву, но и тамъ продолжаетъ свои амурсы съ Клеопатрой, которой безправственность нисколько не должна изумлять читателей, потому что «о, не даромъ у нея мать—полька», говоритъ Наталья Николаевна. — Далѣе Наталья Николаевна уѣзжаетъ отъ мужа въ Дрезденъ, гдѣ и умираетъ черезъ два года отъ разбитости своего любящаго сердца и отъ пустоты своей убогой головы. Еще далѣе коварная дѣчь полки ризбиваетъ сердце Валерьяна; она выходитъ за стараго князя Бахрушинскаго и прерываетъ всѣ сношенія съ своимъ бывшимъ любовникомъ. — Еще того далѣе Валерьянъ, который такъ-же глупъ, какъ его покойная супруга, впадаетъ въ помѣшательство и умираетъ. Вся повѣсть заканчивается тѣмъ, что толстый и добродѣтельный кузень покойнаго Валерьяна, Василій фонъ-Лембахъ, въ письмѣ къ Екатеринѣ Николаевнѣ, подобно здравосуду старинныхъ комедій, произноситъ правоученіе. Онъ говоритъ, что внятія Бахрушинская очень безпощадно умянится, очень «низко вырѣзываетъ свои лифы» и очень «безъ ума» отъ молодого гусара «съ рыжими усами и съ нахальнымъ видомъ». Изъ этихъ данныхъ глубокомысленный фонъ Лембахъ выводитъ то заключеніе, что порокъ непременно будетъ наказанъ или, какъ онъ выражается, что «перстъ Божій близокъ». Кромѣ того тотъ-же мыслитель утверждаетъ, что «дни бѣгутъ, новые люди тѣсняются въ жизнь, а мы все не хотимъ сомкнуться». Надо полагать, что когда эти «мы» сомкнутся, тогда дни перестанутъ бѣжать, и новымъ людямъ будетъ строго воспрещено тѣсниться въ жизнь.

Въ ноябрьской книжкѣ «Русскаго Вѣстника» напечатана повѣсть «Нѣмая» В. К—ова. Тутъ даже и усладительнаго нѣтъ ничего. Одинъ юноша, богатый помѣщикъ, влюбляется въ нѣмую красавицу неизвѣстнаго происхожденія, усыновленную дворовымъ человѣкомъ и воспитанную въ барскомъ домѣ. Нѣмая отвѣчаетъ ему взаимностью, и влюбленные проводятъ нѣсколько недѣль въ самыхъ идиллическихъ увеселеніяхъ. «Миѣ,—разсказываетъ юноша,—доставляло безконечное удовольствіе, гуляя съ Леттой,—учиться у нея деревенскимъ лакомствамъ, вродѣ пущирей, просвирки и т. п. Она показывала миѣ, какъ дѣлаются *копѣшники* изъ березовой коры для собиранія земляники; найдя крупную ягоду и радуясь, какъ ребенокъ, она жестомъ требовала, чтобъ я подставилъ ей губы, и осторожно, будто выкармливая молодую птичку, опускала миѣ ее въ ротъ». — Разумѣется, юношу очень скоро одоѣла скука, и всѣ деревенскія лакомства вмѣстѣ съ самой Леттой надобли ему, какъ горькая

рѣдка. Порхая, подобно мотыльку, съ цвѣтка на цвѣтокъ, юноша влюбился въ Лисхенъ, дочь своего новаго управляющаго. Онъ поѣхалъ съ ней въ Петербургъ и хотѣлъ на ней жениться, но ему пришлось убѣдиться въ томъ, что Лисхенъ—продѣвная шельма. За нѣсколько дней до свадьбы онъ подслушалъ слѣдующій разговоръ между купцами, у которыхъ Лисхенъ дѣлала различныя заказы. — «За Fräulein тепло,—говорилъ одинъ:—она своихъ не выдаетъ; вотъ напримѣръ я дѣлаю карету: миѣ она стоитъ пятьсотъ, а въ счетѣ тысяча слипкомъ; профитъ пополамъ съ ней. S'ist rand, Kamerad? A? —Хе-хе! Мы всѣ очень довольны,—отвѣтилъ другой.—Давай Богъ здоровья!» — Юноша возмущенъ и, разорвавъ всякія сношенія съ коварной Лисхенъ, хочетъ возвратиться къ добродѣтельной, но безсловесной Леттѣ. Но оказывается, что возвращаться уже не къ кому, потому что покинутая Летта, предавшись безутѣшной тоскѣ, умерла отъ чахотки. Юноша, сокрушенный всѣми этими ударами судьбы, уѣзжаетъ на Кавказъ, а потомъ возвращается назадъ и завѣряетъ читателей «Русскаго Вѣстника», «что двойная фальшь—чувственной вспышки и головного чувства,—не прошла ему даромъ». — «Я сталъ неспособенъ,—продолжаетъ онъ,—къ истинному, живому чувству и не думаю, чтобъ оно когда-нибудь пробудилось во миѣ.» Это какъ вамъ угодно будетъ, скажутъ читатели.

Въ декабрьской книжкѣ «Русскаго Вѣстника» напечатана «Скромная доля», повѣсть Л. Я. Черкасовой. Эта повѣсть гораздо проще всѣхъ предыдущихъ, но зато гораздо скучнѣе и безсвязнѣе ихъ. У помѣщика Луговскаго умираетъ молодая жена. Сцена смерти написана по возможности раздирательно. Луговскій съ гори хочетъ пойти въ монастырь. Его не пускаетъ Надежда Николаевна, сестра покойницы. При помощи Надежды Николаевны Луговскій принимается за хозяйственные заботы и за воспитаніе своихъ осиротѣвшихъ дѣтей. Сосѣди распускаютъ сплетни на счетъ Луговскаго и Надежды Николаевны. Надежда Николаевна не обращаетъ на нихъ вниманія. Ей дѣлаетъ предложеніе богатый помѣщикъ Гребенской. Она ему отказывается. Потомъ прѣзжаетъ въ имѣніе Луговскаго молодой докторъ, Ланинъ, приглашенный для управленія вновь устроенной крестьянской больницей. Надежда Николаевна влюбляется въ Ланина, но Ланинъ, уже влюбившись въ нее, говоритъ какія-то глупости о томъ, что онъ долженъ посвятить себя наукѣ, что любовь—роскошь, которую не смѣетъ себѣ позволить бѣднякъ, и что онъ никогда не женится. Это называется *moral restraint* по всѣмъ правиламъ мальтузіанской политической экономіи. Но потомъ оказывается, что все это — пустой разговоръ. Происходятъ нѣжныя объятія; Ланинъ женится на Надеждѣ Николаевнѣ, и «Скромная доля» оканчивается, захва-

тивши собой ровно *пятьдесятъ* страницъ.

Теперь будемъ подводить итоги.

# VI.

Многимъ читателямъ по всей вѣроятности уже давно хочется предложить мнѣ вопросъ: «на чѣмъ-же плохи рассказанныя вами повѣсти? И почему вы рассказывали ихъ насмѣшливымъ и даже презрительнымъ тономъ?»—А тѣмъ онѣ плохи, отвѣчу я, что онѣ совершенно безпользны. И рассказывалъ я ихъ съ оттѣнкомъ насмѣшливаго презрѣнія потому, что нѣтъ никакой возможности сочувствовать радостямъ и страданіямъ тѣхъ фигуръ, которыя въ нихъ дѣйствуютъ. Я не говорю, что эти фигуры вымышлены авторами и не встрѣчаются въ дѣйствительной жизни, — нѣтъ. Напротивъ того. Дѣйствительная жизнь переполнена такими фигурами, но до ихъ радостей и страданій здравомыслящему человѣку всетаки не можетъ быть никакого дѣла, потому что всѣ эти радости и страданія—не что иное, какъ естественный результатъ хроническаго тунеядства. Когда человѣкъ не трудится совершенно серьезно, то-есть, когда онъ не зарабатываетъ себѣ собственнымъ трудомъ того куска хлѣба, которымъ онъ питается,—тогда онъ не можетъ быть счастливъ, тогда онъ скучаетъ, блажитъ, фантазируетъ, диллетантствуетъ, донжуанствуетъ, разстраиваетъ себѣ нервную систему глупыми чувствами, глупыми мыслями, глупыми желаніями и глупыми поступками, тиранитъ самого себя, тиранитъ другихъ, все чего-то ищетъ и никогда не находитъ того, что ему необходимо. При такихъ условіяхъ каждая радость оказывается непрочной и быстро ведетъ за собой пресыщеніе, а каждое горе становится невыносимымъ, потому что не встрѣчается себѣ никакого отпора. При такихъ условіяхъ человѣку не остается того, что придаетъ огромную силу мыслящему работнику; ему не достаетъ нравственной связи съ тѣмъ обществомъ, среди котораго онъ живетъ; его гнететъ чувство его собственной безцѣльности и ненужности; и это чувство не искоряется никакими филантропическими подвигами; надо быть работникомъ, вполне работникомъ, съ головы до ногъ, съ утра до вечера, или-же надо помириться со всѣми печальми тунеядства, подобно тому, какъ старый подагрикъ понесолѣ мирится съ своей неизлечимой болѣзнію.

Всѣ три повѣсти «Русскаго Вѣстника» изображаютъ жизнь такихъ людей, которые живутъ на всемъ готовомъ и которые съ самой ранней молодости, чтобы не умереть во цѣлѣ тѣлѣ отъ невыносимой скуки, должны были искусственно наполнять свою жизнь разными хитрыми развлеченіями. Тутъ подоспѣваютъ къ нимъ на помощь и утонченное обжорство, и обжорженное пьянство, и высокое искусство, которое всегда обиваетъ пороги у всѣхъ богатыхъ

тунеядцевъ, и азартная игра, и псовая охота, и швейцарскія горы, и итальянское небо, и парижскія лоретки, и наконецъ любовь въ своихъ безчисленныхъ варіаціяхъ и модуляціяхъ. Любовь, разумѣется, оказывается обыкновенно занимательнѣе и пріятнѣе всѣхъ остальныхъ развлеченій, потому что любовь вытекаетъ изъ естественной, неистребимой и чрезвычайно сильной потребности животнаго организма. Но тунеядецъ и въ любви является несчастнымъ человѣкомъ. Чѣмъ искреннѣе и сильнѣе онъ любитъ, тѣмъ хуже для него. Онъ видитъ весь міръ въ любви, весь смыслъ въ жизни сосредоточивается для него въ одномъ чувствѣ; онъ поится въ этомъ чувствѣ, какъ съ какой-нибудь неземной драгоценностью; онъ разсматриваетъ его съ самымъ напряженнымъ вниманіемъ и, разумѣется, открываетъ въ немъ кое-какія пятнышки, которыхъ благоразумный работникъ не замѣтилъ-бы и не захотѣлъ-бы замѣчать, но которыя для несчастнаго тунеядца становятся обильнымъ источникомъ глупѣйшихъ сомнѣній и страданій. Эти сомнѣнія и страданія приводятъ за собой или тотъ результатъ, что тунеядецъ, надѣвши своему предмету нелѣпой придиричностью, позорно изгоняется изъ эдема, или-же тотъ—что тунеядецъ по собственной охотѣ мѣняетъ старый эдемъ на новый, который издала кажется ему болѣе привлекательнымъ и безукоризненнымъ. Въ томъ и въ другомъ случаѣ происходитъ разбитіе какого-нибудь тунеядческаго сердца, мужскаго или женскаго. Это разбитіе можетъ быть очень эффектно изображено въ повѣсти или въ романѣ. Но всѣ подобные романы и повѣсти, какъ-бы ни были они талантливо написаны, непременно фальшивы въ основномъ взглядѣ автора на предметъ. Герои или героини оказываются трогательными жертвами необъяснимой случайности. Это—чистый вздоръ, сохраняющій внѣшній видъ правдоподобія только потому, что авторъ не умѣетъ или не желаетъ показать намъ тѣ уродливыя отношенія, которыя существуютъ между героемъ и всей массой общественнаго организма. Еслибы эти отношенія были обрисованы, то герои оказались-бы гнилыми на-ростами на общественномъ тѣлѣ, и тогда читатель понялъ-бы, что эти герои носятъ въ себѣ съ самаго ранняго дѣтства зародышъ разложенія и что они страдаютъ именно отъ этого зародыша, воспитаннаго въ нихъ всѣмъ направленіемъ ихъ праздної жизни, а вовсе не отъ того, что ихъ одурачила какая-нибудь коварная кокетка. Еслибы отношенія между обществомъ и праздношатающимся героемъ были ясно поняты и вѣрно очерчены авторомъ, то герой навѣрное былъ-бы разжалованъ изъ героевъ; все сочувствіе автора было-бы перенесено на сторону общества, а для героя не осталось-бы ничего, кромѣ презрительнаго состраданія; вдумываясь въ отношенія тунеядца къ обществу, авторъ разгля-

дѣлъ-бы въ обществѣ столько серьезнаго страданія, столько глубокаго и реальнаго горя, столько неподдѣльнаго и громаднаго трагизма, что какія-нибудь трогательныя разбитія паршивыхъ тунейдческихъ сердецъ показались-бы ему приличнымъ сюжетомъ развѣ только для водевилчика съ переодѣваньями.

Позвоительно-ли сокрушаться надъ любовными неудачами и надъ измѣнами въ такихъ обществахъ, гдѣ сплошь и рядомъ свирѣпствуютъ надъ живыми людьми голодъ, холодъ, суевѣріе, невѣжество, самодурство и разныя другія столь же ощутительныя неудобства? Какая-нибудь несчастная любовь кажется горемъ только тогда, когда вы изолируете ее отъ всего остального міра, когда вы вносите ее въ оранжерею и ставите ее подъ стеклянный колпакъ. А попробуйте вынести ее изъ теплицы на открытый воздухъ, въ суровую атмосферу дѣйствительной, трудовой жизни, — въ тотъ міръ, гдѣ «стонъ раздается надъ великой русской рѣкой», — ничего отъ нея и не останется. Плюнуть не на что будетъ, не только что сокрушаться и сочувствовать. Поэтому писатель, заглянувшій серьезно въ самую глубину общественной жизни и общественного горя, никогда не будетъ въ состояніи тратить свое чувство и свою наблюдательность на изображеніе *слабыхъ смертныхъ и эгоистическихъ царицъ*, изнывающихъ подъ бременемъ несчастной любви. Для него эти страданія будутъ стоять на ряду со страданіями несчастнаго гастронома, испортившаго себѣ аппетитъ. Имѣя всегда въ виду интересы общественного организма, писатель пойметъ, что всякіе тунейдцы — будь они гастронумы, азартныегроики или несчастные любовники, — составляютъ для общества отрѣзанный ломоть, который не можетъ и даже не желаетъ прилѣпиться обратно къ хлѣбу. Писатель пойметъ, что общество не можетъ получить отъ всѣхъ этихъ дряблыхъ страдалцевъ никакой пользы, и что вслѣдствіе этого оно само не можетъ предложить имъ ни малѣйшаго утѣшенія. Усвоивши себѣ эти очевидныя истины, писатель навсегда отвернется отъ всѣхъ коптителей неба и займется изученіемъ того настоящаго горя, которое дѣйствительно требуетъ себѣ облегченія, которое дѣйствительно можетъ быть облегчено, когда оно обратитъ на себя вниманіе и сочувствіе общественныхъ дѣятелей. И начнетъ этотъ писатель изображать съ одной стороны *«бѣдность, да бѣдность, да несовершенства нашей жизни»*, а съ другой стороны — тѣ проблески самосознанія и энергии, которые даютъ намъ право рассчитывать въ будущемъ на облегченіе нашего общественнаго горя, то-есть на постепенное обузданіе голода, холода, суевѣрія, невѣжества и самодурства.

Теперь читатель мой по всей вѣроятности понимаетъ, почему я осмѣялъ четыре повѣсти, помѣщенные въ прошлагодишнѣмъ «Русскомъ Вѣст-

никѣ». Смѣшно въ этихъ повѣстяхъ именно то, что ихъ авторы относятся серьезно къ такимъ радостямъ и огорченіямъ, которые не стоятъ выдѣннаго яйца. Смѣшно то, что авторы обращаются съ вѣчными недорослями, какъ съ взрослыми людьми, и съ полоумными существами, какъ съ особами совершенно здравомыслящими.

## VII.

Отмѣтивъ жалкія и смѣшныя стороны нашей беллетристики, я обращаюсь къ тому, что исправляетъ должность критики въ нашихъ филистерскихъ журналахъ. Здѣсь уметственное безсиліе нашего пишущаго филистерства проявляется съ особенной яркостью. «Русскій Вѣстникъ», стоящій выше всѣхъ остальныхъ филистерскихъ журналовъ по своему влиянію на общественное мнѣніе, выбралъ себѣ благую часть. Онъ совершенно отказался отъ критики, и это самое лучшее, что только можно было придумать, находясь въ его положеніи. Съ тѣхъ поръ, какъ Добролюбовъ создалъ реальную критику, филистерская критика сдѣлалась невозможной. Съ тѣхъ поръ, какъ ясно обозначилось въ нашей литературѣ строго-опредѣленное міросозерцаніе такъ называемаго теоретическаго лагеря, каждый пишущій человекъ долженъ непремѣнно или примыкать къ этому міросозерцанію, или-же противопоставлять ему какое-нибудь другое міросозерцаніе, совершенно самостоятельное и такъ-же строго-опредѣленное. Постоянное и послѣдовательное проведеніе того или другого міросозерцанія въ оцѣнкѣ всѣхъ текущихъ явленій жизни, науки и литературы называется въ наше время критикой. У нашихъ филистеровъ нѣтъ и не можетъ быть своей критики, потому что у нихъ нѣтъ и не можетъ быть міросозерцанія, нѣтъ и не можетъ быть такихъ принциповъ, которые они выдеживали и проводили-бы до конца съ непреклонной энергіей и съ неутомимымъ постоянствомъ. Что такое принципы «Русскаго Вѣстника»? Этихъ вопросовъ похожъ назлую насмѣшку, потому что у нихъ нѣтъ никакихъ принциповъ. У нихъ есть журнальная сноровка, тактика или политика, но руководящихъ идей, основныхъ взглядовъ нѣтъ и быть не можетъ.

Наши филистеры всѣ безъ исключенія — электики, то-есть люди, наполнившіе свою голову такими идеями, которыя взаимно уничтожаютъ другъ друга и никакими средствами не могутъ быть примирены между собою. Съ одной стороны у нихъ множество предразсудковъ, отъ которыхъ они не желаютъ отдѣлаться; съ другой стороны у нихъ множество отрывочныхъ знаній, которыми они очень сильно гордятся; повидимому должно было-бы произойти одно изъ двухъ: или предразсудки должны были исчезнуть, или знанія должны были подвергнуться изгнанію, какъ вредныя заблужденія. Но у филистера дѣло идетъ

не такъ: и предразсудки, и знанія живутъ тихо и смиренно рядомъ въ одной и той-же головѣ, потому что эта голова разгорюжена на нѣсколько отдѣльных клѣтокъ, не имѣющихъ между собой никакого сообщенія. Въ одной клѣткѣ лежить у филистера политическая экономія; въ другой—нравственная философія; въ третьей—эстетика; въ четвертой—уголовное право; въ пятой—физиологія; въ шестой—исторія, и такъ далѣе. Ключами отъ всѣхъ этихъ клѣтокъ завѣдуетъ самородная чичиковщина, которая знаетъ очень хорошо, что въ однихъ случаяхъ слѣдуетъ выпускать на свѣтъ политическую экономію, въ другихъ—нравственную философію, и такъ далѣе. Разумѣется, перегородки между клѣтками могутъ возникнуть и окрѣпнуть только въ такой головѣ, для которой процессъ мышленія никогда не былъ серьезнымъ дѣломъ, поглощающимъ и увлекающимъ всего человѣка. Тяжелыя сомнѣнія, умственные бури, умственные страданія и умственные перевороты, хорошо знакомые всѣмъ людямъ, мыслившимъ честно и безстрашно, переломали-бы въ головѣ всякія перегородки и не уснокоились-бы до тѣхъ поръ, пока не уничтожилось-бы безъ остатка послѣднее внутреннее противорѣчіе. Но филистеры представляютъ это тревожное и стремительное мышленіе такъ называемымъ теоретикамъ; филистеры сами мыслятъ умѣренно и аккуратно, берутъ себѣ съ идей удовлетворительные доходы и никогда не привязываются къ идеямъ настолько, чтобы изъ за идей сѣсть на мель или налетѣть на подводный камень. Пока въ обществѣ не было людей, искренно мыслящихъ, или пока эти люди не были въ состояніи высказаться, до тѣхъ поръ филистеры или эксплуататоры идей могли находить себѣ слушателей и могли передъ этими слушателями выкладывать, съ тупымъ самодовольствомъ, разнохарактерное содержаніе своихъ клѣтокъ. Это выкладываніе называлось критикой. Но людямъ свойственно любить неподдѣльную силу и нерасчетливую искренность человѣческой мысли. Какъ только слышались въ литературѣ голоса, проникнутые искреннимъ воодушевленіемъ, какъ только выразились цѣльныя и опредѣленные убѣжденія, такъ филистерское фокусничество тотчасъ было оцѣнено по достоинству. Противъ такихъ фанатиковъ идеи, какъ Добролюбовъ, могли выступить съ нѣкоторой надеждой на успѣхъ только фанатики противоположнаго направленія.

Чистымъ и честнымъ фанатикомъ отжившаго романтическаго міросозерцанія былъ Григорьевъ. Григорьева должны были носить на рукахъ, какъ священный палладіумъ, всѣ литературные враги добролюбовской школы. Но именно въ судьбѣ Григорьева выразилось все трусливое безсіліе нашего филистерства. Ненавидя Добролюбова, филистеры въ то-же время боялись Григорьева, какъ человѣка, смѣло идущаго въ самый вопію-

щій обскурантизмъ. Добролюбовъ былъ для филистеровъ непримиримымъ врагомъ; но Григорьевъ, неспособный лавировать и дипломатизировать, былъ для тѣхъ-же филистеровъ слишкомъ опаснымъ союзникомъ. Вслѣдствіе этого Григорьевъ, единственный человѣкъ, способный выдвинуть какое-нибудь міросозерцаніе противъ нашего міросозерцанія, постоянно принужденъ былъ скитаться изъ журнала въ журналъ, вездѣ попадалъ подъ опеку такихъ людей, которые въ умственномъ отношеніи приходились ему по колѣно, и нигдѣ не могъ довести до конца того, что онъ хотѣлъ высказать.

Проклиная Добролюбова и почтительно сторонясь отъ Григорьева, филистеры очевидно обречали себя на полное ничтожество въ области мысли. Изъ этого затруднительнаго положенія оберъ-филистеръ «Русскій Вѣстникъ» выпутался съ замѣчательной находчивостью. Подобно лисицѣ, разсуждающей о незрѣлости винограда, онъ смѣлъ относиться съ презрительнымъ равнодушіемъ ко всему, что было ему недоступно, то есть ко всему тому, что имѣло общій интересъ для всѣхъ образованныхъ людей вообще. Всякія размышленія объ основахъ житейства, общества, нравственности «Русскій Вѣстникъ» называлъ бесплодной болтовней. Всякую мысль, педящую въ глубину разбираемаго вопроса, онъ отталкивалъ съ негодованіемъ. Достаточно вспомнить напримѣръ его разсужденія о женихнахъ въ мартовской книжкѣ 1861 года. Не имѣя ни малѣйшей возможности дѣйствовать на общечеловѣческія убѣжденія своихъ читателей, «Русскій Вѣстникъ» постоянно наполнялъ себя такими статьями, которыя были интересны только для людей извѣстной профессіи. Такъ напримѣръ, одна статья была занимательна для золотопромышленниковъ, другая—для преподавателей латинскаго языка, третья—для лѣсоводовъ, четвертая—для юристовъ, пятая—для винокуровъ, и такъ далѣе. Искусство редакціи состояло въ томъ, чтобы изъ множества односторонностей составлять какое-то подобіе разносторонности и общезанимательности. Редактированіе журнала превратилось при такихъ условіяхъ въ ловкое сшиваніе специальныхъ статей, не имѣющихъ и не могущихъ имѣть между собой ни малѣйшей солидарности. Если назначеніе литературы состоитъ въ томъ, чтобы быть самосознаніемъ общества, чтобы связывать единствомъ общихъ руководящихъ идей разрозненные умы отдѣльныхъ личностей, чтобы превращать всѣхъ золотопромышленниковъ, преподавателей, лѣсоводовъ, юристовъ и винокуровъ въ мыслящихъ членовъ одного общества, то, разумѣется, «Русскій Вѣстникъ» всегда стоялъ и всегда будетъ стоять въ литературѣ. Изъ отрывочныхъ клочковъ специальныхъ знаній невозможно сложить общее міросозерцаніе, но зато этими клочками можно приманить къ журналу



вамую разнообразную публику. Эта цѣль дѣйствительно была достигнута, и такимъ образомъ внутренняя слабость журнала была очень удачно замаскирована.

Но эта внутренняя слабость обнаруживается каждый разъ, когда «Русскому Вѣстнику» приходится рѣшать какой-нибудь вопросъ, выходящій изъ сферы узкой специальности и требующій самостоятельнаго сужденія. Такъ напримѣръ, въ последнее время «Московскія Вѣдомости», находящіяся, какъ извѣстно, въ самомъ тѣсномъ родствѣ съ «Русскимъ Вѣстникомъ», разсуждали очень много о превосходствѣ классическаго образованія надъ реальнымъ и столько же много негодовали противъ дерзкихъ защитниковъ реального образованія. Чтобы разгромить своихъ противниковъ и чтобы убѣдить своихъ читателей, «Московскія Вѣдомости» очевидно должны были доказать, что изученіе латинскаго и греческаго языковъ приносить огромную пользу умамъ учащагося юношества, и что это изученіе не можетъ быть замѣнено съ пользою для воспитанниковъ никакимъ другимъ учебнымъ занятіемъ. Еслибы «Московскія Вѣдомости» поступили такимъ образомъ, то вопросъ о сравнительномъ достоинствѣ классическаго и реального образованія оказался-бы совершенно исчерпаннымъ и окончательно рѣшеннымъ въ ту или въ другую сторону. Но «Московскія Вѣдомости» распорядились совсѣмъ не такъ; онѣ даже не коснулись основного вопроса; о вліяніи классическихъ занятій на умы юношества не сказано ни слова; въ пользу этого вліянія не представлено ни одного аргумента; всѣ разсужденія ограничиваются ссылками на авторитеты. *Всѣмъ извѣстно, да всѣмъ признано, да вся Европа такъ дѣлаетъ*—вотъ и все, что «Московскія Вѣдомости» съумѣли сказать въ пользу классическаго образованія. *Вся Европа*—это, разумѣется, авторитетъ очень почтенный, но не мѣшаетъ помнить, что *вся Европа* сжигала еретиковъ и колдуновъ, что *вся Европа* считала пытку и мучительныя казни необходимой принадлежностью уголовнаго процесса. *Вся Европа* дѣлала очень много глупостей, и если она могла дѣлать капитальныя глупости въ XVII и XVIII вѣкѣ, то почему-же мы должны быть несокрушимо увѣрены въ томъ, что она не дѣлаетъ въ XIX столѣтіи рѣшительно никакихъ глупостей? Русскому писателю конечно очень позволительно ошибиться вмѣстѣ со *всей Европой*, но позволительно только въ томъ случаѣ, когда онъ ошибается по собственному, добросовѣстно составленному убѣжденію. Если-же онъ рѣшаетъ вопросы съ чужого голоса, не давая себѣ труда всмотрѣться и вдуматься въ ихъ настоящій смыслъ, то его умственная пассивность не можетъ быть оправдана никакими ссылками на примѣръ *всей Европы*. Никакой авторитетъ въ мірѣ не можетъ снять съ насъ нравственную

обязанность обсуживать каждый вопросъ силами нашего собственнаго ума. «Русскій Вѣстникъ» и «Московскія Вѣдомости» не знаютъ или, вѣрнѣе, не хотятъ знать этой простой истины.

### VIII.

Трудно составить себѣ понятіе о томъ плачевномъ положеніи, въ которомъ находится критика филистерскихъ журналовъ, не послѣдовавшихъ примѣру «Русскаго Вѣстника». Зачѣмъ пишутся ихъ критическія статьи и чѣмъ онѣ наполняются—это просто уму непостижимо. Слезливыя жалобы на «нашу журналистику» и безсильныя попытки сказать теоретикамъ какую-нибудь непріятность составляютъ все содержаніе этихъ несчастныхъ статей. Слово «наша журналистика» всегда обозначаетъ собой только два журнала: «Современникъ» и «Русское Слово». Изъ этого обстоятельства не трудно вывести то заключеніе, что «Эпоха», «Отечественныя Записки» и «Библіотека для Чтенія» не считаютъ себя за журналистику. Мы, съ своей стороны, можемъ только поощрительно кивнуть имъ головой за эту похвальную и совершенно основательную скромность. Вотъ напримѣръ отзывъ «Библіотеки» о Дмитріевѣ. «Онъ стоитъ внѣ этихъ направлений, и если напоминаетъ кого-нибудь по своему приему и поэтическому вѣянію страницъ, то развѣ Фета,—ну, а извѣстно, что въ глазахъ нашей журналистики Фетъ есть уже явленіе прошедшее». Вы видите, что критикъ проговорился совершенно неумышленно. Въ чьихъ-же глазахъ Фетъ есть явленіе прошедшее? «Библіотека» и «Русскій Вѣстникъ» до настоящей минуты печатаютъ стихотворенія Фета. «Эпоха» и «Отечественныя Записки» ни разу не отзывались о немъ съ пренебреженіемъ. Значитъ, «наша журналистика» = «Русское Слово» + «Современникъ». Все-же остальное, по приговору самихъ филистеровъ,—не журналистика, а торричелліева пустота. И такихъ нечаянныхъ признаній можно было-бы набрать довольно много. На эту тему пишутся даже очень злобныя стихотворенія. Напримѣръ, въ той-же книжкѣ «Библіотеки» Бабиковъ изливаетъ свои страданія въ слѣдующихъ звукахъ, имѣющихъ самое непосредственное отношеніе къ «Русскому Слову» и къ «Современнику»:

«Теперь мы жалки и смѣшны,  
Обломки прошлыхъ поколѣній;  
Въ борьбѣ за святость убѣжденій—  
Увы!—мы всѣ побѣждены.»

Позвольте, г. Бабиковъ! кому-же это вы жалки и смѣшны? «Библіотекѣ» вы не жалки и не смѣшны, потому что она васъ печатаетъ. «Эпохѣ» вы также не жалки и не смѣшны, потому что она не только печатаетъ ваши стихи и ваши романы, но даже хвалится вами въ своемъ объявленіи, какъ постояннымъ сотрудникомъ. «Рус-

скому Вѣстнику» и «Отечественнымъ Запискамъ» вы также не жалки и несмѣшны, потому что эти два журнала очень дорожатъ всякими обломками прошлыхъ поколѣній. Легко можетъ быть, что «Русскому Слову» и «Современнику» вы дѣйствительно жалки и смѣшны, но и объ этомъ вамъ можно только догадываться, потому что до сихъ поръ ни «Современникъ», ни «Русское Слово» не говорили о васъ ни одного слова, ни прямо, ни косвенно. Но еслибы даже и въ самомъ дѣлѣ вы были жалки и смѣшны въ глазахъ этихъ двухъ послѣднихъ журналовъ, то стоитъ-ли объ этомъ сокрушаться? Почти вся масса литературы на вашей сторонѣ, а литература, какъ вамъ извѣстно, считается выраженіемъ общественнаго самосознанія; значить, все или почти все общество сочувствуетъ вамъ, а вы хотите насъ увѣрить, будто вы всѣ побѣждены въ борьбѣ за святость убѣжденій. Какъ-же это такъ случилось, что *васъ есть* побѣдила небольшая кучка писателей, и побѣдила въ такомъ великомъ дѣлѣ, какъ борьба за святость убѣжденій? Что-то не вѣрится. Еслибы ваши убѣждения были дѣйствительно святы, и еслибы вы сами горячо вѣрили въ ихъ святость, то вы продолжали-бы за нихъ бороться вмѣсто того, чтобы писать себѣ заживо надгробное слово четырехстопными ямбами:

Намъ говорятъ: пора заснуть,  
Намъ дѣла нѣтъ въ той жизни новой,  
Въ которой новые бойцы  
Идутъ на бой со зломъ упорнымъ.

А вольно-жъ вамъ вѣрить тѣмъ людямъ, которые вамъ это говорятъ. Вамъ говорятъ: «пора заснуть», а вы отвѣчайте: «нѣтъ, я гулять хочу». Вамъ говорятъ, что вамъ нѣтъ дѣла *въ той жизни новой*, а вы отвѣчайте: «ну, это мы еще посмотримъ». Если-же вы сами опускаете руки и отказываетесь отъ работы *въ той жизни новой*, то ужъ позволяете винить вашу собственную дряблость и трусость, а никакъ не *новыхъ бойцовъ*, которые рѣшительно ни въ чемъ не виноваты. — Но Бабиковъ этого не принимаетъ въ соображеніе и въ пылу негодованія пророчить намъ, что въ заблужденіяхъ своихъ мы кончимъ безславнo свой вѣкъ. Что-жъ? Это правда. Отъ того, что вы называете нашими заблужденіями, мы не откажемся никогда, а на счетъ славы мы можемъ вамъ объяснить, что мы за нею не гонимся. Но Бабиковъ такъ на насъ сердитъ, что добирается даже до нашихъ будущихъ гробовъ:

Ни чья слеза не упадетъ  
На ваши сумрачные гробы,—  
За то, что полны вы лишь злобы,  
За то, что злоба лишь кланетъ.

Бабиковъ очевидно находитъ, что самъ онъ — *полонъ лишь любви*, и что, фантазируя о какихъ-то *сумрачныхъ* гробахъ, онъ нисколько не *кланетъ новыхъ бойцовъ*, а, напротивъ того, благословляетъ ихъ на великіе подвиги и

желаетъ имъ всякаго благополучія. Впрочемъ если Бабиковъ дѣйствительно желаетъ обидѣть и запугать *новыхъ бойцовъ*, то я совѣтую ему придумать какія-нибудь проклятія болѣе страшныя, потому что—скажу ему по секрету—*новые бойцы* вовсе не интересуются вопросомъ: упадутъ или не упадутъ чьи-нибудь слезы на ихъ могилы.

Я остановился на стихотвореніи Бабикова единственно потому, что оно выражаетъ очень вѣрно то общее настроеніе, которое уже лѣтъ семь или восемь господствуетъ въ нашей филистерской журналистикѣ. Уныніе, озлобленіе, мелкая придирчивость и поразительное безсиліе характеризуютъ нашихъ пишущихъ филистеровъ. Вотъ напримѣръ Аверкіеву, сотруднику «Эпохи», захотѣлось уличить реалистовъ въ непамяти народной жизни, въ заносчивости, въ версоголдовствѣ и во многихъ другихъ преступленіяхъ. Несчастный почвеппникъ напрягаетъ всѣ силы своего ума и достигаетъ только того результата, что самъ попадаетъ въ просакъ, да еще въ какой просакъ-то. Жертвой своего обличенія онъ выбираетъ разсказъ Рѣшетникова «Подлиповцы», напечатанный въ «Современникѣ». Выписывается изъ этого разсказа слѣдующій эпизодъ, относящійся къ бурлакамъ. «Пила купилъ пекарскую булку. Разломивъ ее на четыре части, *они съѣли чуть не разомъ* \*). — Ито? говоритъ Пила. — Давай иппо, просить бысойко. — Они купили еще и съѣли, и все-таки *не наѣлись*». — Выписавши еще нѣсколько строкъ, Аверкіевъ начинаетъ свое обличеніе. «Какое глубокое знаніе быта!—вослицается онъ. — Какой языкъ! И интересно, какъ бурлакамъ *ѣсть хотѣлось*,—двѣ булки съѣли, одну *чуть не разомъ* вчетверомъ, и еще *ѣсть хотѣли*! Глубоко замѣчено, и главное—естественно!»

Вся соль и даже весь осязательный смыслъ обличенія заключаются очевидно въ томъ, что Аверкіевъ принялъ *пекарскую булку* за одну изъ тѣхъ *французскихъ* трехкопѣечныхъ булокъ, которыя продаются въ петербургскихъ булочныхъ. Увлекаясь желаніемъ обличить Рѣшетникова, критикъ «Эпохи» не замѣтилъ, что его обличеніе становится совершенно неправдоподобнымъ. Допустимъ на минуту, что Рѣшетниковъ не знаетъ народнаго быта; предположимъ даже, что онъ никогда не видалъ бурлаковъ и писалъ свой очеркъ, сидя въ Петербургѣ и произвольно выдумывая разныя подробности бурлацкой жизни. Но если Рѣшетниковъ, какъ петербургскій житель, не знаетъ бурлаковъ, то во всякомъ случаѣ французскія булки онъ долженъ знать какъ нельзя лучше. Онъ долженъ знать по собственному ежедневному опыту, что *одинъ* человекъ можетъ безъ малѣйшаго труда съѣсть сразу цѣлую французскую булку. Стало-быть, Рѣшетни-

\*) Курсивъ употребленъ Аверкіевымъ.

ковъ ни подъ какимъ видомъ не можетъ выдумать, что *четверо* бурлаковъ съѣли *чуть не разомъ* французскую булку. Возможное-ли дѣло, чтобы Рѣшетниковъ сталъ приписывать своимъ вымышленнымъ бурлакомъ аппетитъ, равняющийся только четвертой доль нашего обыкновеннаго аппетита? Стараясь навязать Рѣшетникову такую невозможную нелѣпость, Аверкиевъ обнаруживаетъ только свое смѣшное озлобленіе и свою изумительную недогадливость. Не трудно было, кажется, понять изъ общей связи разсказа, что пекарская булка должна быть чѣмъ-то вроде очень большого каравая, фунтовъ въ десять или въ двѣнадцать вѣсомъ. И кто-же оказался человѣкомъ, незнающимъ быта? Кто приѣхалъ петербургскія понятія къ явленіямъ бурлацкой жизни? Именно самъ обличитель, самъ сотрудникъ почтеннаго журнала. Что-же касается до Рѣшетникова, то его, пожалуй, можно упрекнуть въ нѣкоторой сухости изложенія, но о незнаніи быта не можетъ быть и рѣчи. Кто прочелъ хоть одинъ изъ его разсказовъ, тотъ долженъ былъ убѣдиться въ томъ, что Рѣшетниковъ описываетъ только такія явленія, которыя онъ видѣлъ очень близко, изучилъ очень внимательно или даже испыталъ на своей собственной осбѣ.

Другой писатель «Эпохи», Николай Соловьевъ, взявши себѣ за правило скурнаться и скрежетать зубами по поводу каждой изъ моихъ критическихъ статей, далеко превосходитъ Аверкиева въ дѣлѣ носообразности. Чтобы дать читателю понятіе о томъ, до какихъ размѣровъ могутъ доходить человѣческое тупоуміе и человѣческая безсовѣстность, я выпишу и разберу здѣсь нѣкоторыя разсужденія Соловьева изъ его статьи «Женщинамъ», помѣщенной въ декабрьской книжкѣ «Эпохи» за прошлый годъ. Я долженъ признаться, что ничего подобнаго этой статьѣ я никогда не встрѣчалъ въ печати. Читая одну фразу за другой, я рѣшительно не могъ отдать себѣ отчета въ томъ, какимъ образомъ отдаленныя мысли или, вѣрнѣе, клочки отдаленныхъ мыслей связываются между собой въ головѣ этого пѣлаго критика. Соловьевъ объявляетъ, что онъ намѣренъ поговорить о «женщинахъ, затронутыхъ литературой и чреватыхъ современными идеями». Онъ говоритъ, что «есть эмансипаторы слишкомъ преувеличивающіе мнѣніе о готовности женщинъ на всякое дѣло: готовность эта безъ всякихъ слѣдовъ самостоятельности». Въ этой фразѣ Соловьева, какъ и во всѣхъ его остальныхъ фразахъ, нѣтъ никакого осязательнаго смысла, а есть только безсильное желаніе облить и оклеветать какихъ-то эмансипаторовъ. Въ какихъ это эмансипаторахъ Соловьевъ усмотрѣлъ «есть»? Какіе это эмансипаторы говорятъ «о готовности женщинъ на всякое дѣло»? И что такое значитъ «готовность на всякое дѣло»? Значить-ли это, что женщина уже всему на свѣтѣ выучилась и можетъ принять на себя исполне-

ніе всякихъ общественныхъ обязанностей? Или же это значитъ, что женщина почувствовала желаніе учиться и готова взяться за книгу и пойдти на лекцію?—Что женщина всему выучилась—объ этомъ наши эмансипаторы никогда не говорили ни слова. Они повторяли и повторяютъ до сихъ поръ, что женщины почти ничему не учатся и почти ничего не знаютъ, но что сами женщины въ этомъ нисколько не виноваты. А что женщины, затронутыя литературой, желаютъ учиться и трудиться—это правда. Стало-быть, въ чемъ-же состоитъ лезть эмансипаторовъ и что такое они преувеличиваютъ? Соловьевъ очевидно самъ не знаетъ, что онъ хотѣлъ сказать. Онъ даже ровно ничего не хотѣлъ сказать. Написалось что-то, а что имеемо, объ этомъ вы его не спрашивайте. «Говорятъ,—продолжаетъ Соловьевъ, напримѣръ ей, что она должна жить безъ предразсудковъ—и она живетъ.» Отъ какихъ-же это предразсудковъ эмансипаторы стараются избавить женщину? А вотъ послушайте. «Женщина,—поучаетъ насъ Соловьевъ, отнюдь не должна трусить въ любви; но трусливость со слезами и стыдливостью съ прихотями—свойства, зависящія не отъ воспитанія или привычки, а отъ того, что женщины дѣйствительно есть чего трусить, есть о чемъ плакать и есть кого стыдиться.» Безграмотность этой фразы я оставляю безъ вниманія; посмотримъ, есть-ли тутъ какой нибудь смыслъ. Женщина не должна трусить въ любви—это, по мнѣнію Соловьева, говорятъ эмансипаторы. Если выразить ту-же мысль яснѣе, то не трусить въ любви—значить отдаваться, омертвляя голову, первому встрѣчному. И это, извольте видѣть, говорятъ какіе-то эмансипаторы! Любопытно узнать, въ какой это овощной лавочкѣ или въ какомъ распивочномъ заведеніи Соловьевъ собиралъ свѣдѣнія объ эмансипаторахъ? Въ одномъ мѣстѣ своей статьи онъ самъ очень наивно сознается, что изучалъ женскій вопросъ въ петербургскихъ танцкласссахъ. Онъ съ сокрушеніемъ объявляетъ провинціаламъ, что въ этихъ безнравственныхъ собраніяхъ бывають «и люди чиновные, и люди ученые. А жизни все ждетъ своихъ дѣятелей, а наука—служителей; силы тратятся, а женщина надаетъ все ниже и ниже». Въ будущемъ Соловьевъ предвидитъ еще болѣе ужасныя вещи: «танцующіе будутъ разсуждать о разныхъ вопросахъ, а женскій бытъ-можетъ и совсѣмъ порѣшатъ». Изъ всѣхъ этихъ воплей вы имѣете полное право вывести то заключеніе, что въ мукомольномъ заведеніи, которое изъ вѣжливости мы назовемъ головой Соловьева, царствуетъ невообразимый хаосъ: танцклассы смѣшались съ женскимъ вопросомъ: люди чиновные и ученые, отхватывающіе канканъ, оказываются эмансипаторами; камеліи становятся рядомъ съ женщинами, затронутыми литературой. А редакція «Эпохи» печатаетъ и одобряетъ. Но даже самое крайнее слабоуміе редакціи и ея со-

трудниковъ не можетъ оправдать ту грязную клевету, которую позволяетъ себѣ Соловьевъ въ слѣдующихъ строкахъ: «Любящій обыкновенно думаетъ о глубинѣ чувства, о силѣ страсти, о первыхъ дняхъ блаженства; все-же прочее, какъ напримѣръ тяжесть беременности, презрѣніе общества, адскія муки родовъ и несчастное вѣдѣніе материнства, — оставляетъ безъ вниманія. Всякаго, задумывающагося надъ такимъ положеніемъ, мужнины побойчѣ называютъ даже трипкой; несчастныя послѣдствія оправдываютъ необходимостью природы. Случаи эти составляютъ пестящія тѣмы для повѣстей. Авторы-же, одаренные сильнымъ половымъ влеченіемъ, больше ни о чемъ и не пишутъ; а критики нѣкоторые даже допускаютъ въ любви обманъ.»

Что есть негодяи, соблазняющіе неопытныхъ дѣвушекъ и бросающіе ихъ на произволъ судьбы въ самую критическую минуту ихъ жизни, — это мы знаемъ очень хорошо безъ указаній Соловьева. Что есть другіе негодяи, одобряющіе подобныя поступки, это также не подлежитъ сомнѣнію. Но, во-первыхъ, говоря о такихъ мерзавцахъ, не зачѣмъ употреблять слово «*любящій*», а во-вторыхъ, что общаго имѣютъ эти мерзавцы съ авторами повѣстей и критическими статьями? Какіе это авторы и критики оправдывали въ своихъ произведеніяхъ поруганіе беззащитныхъ и довѣрчивыхъ дѣвушекъ? Въ какихъ это авторахъ Соловьевъ подмѣтилъ сильное половое влеченіе и въ какихъ критическихъ статьяхъ онъ вычиталъ допущеніе любовнаго обмана? Повѣсти и критическія статьи совсѣмъ не то, что неопредѣленные слухи и толки. Пока Соловьевъ разсуждалъ о томъ, что говорятъ какіе-то эмансипаторы, до тѣхъ поръ мы не имѣли возможности требовать отъ него фактическихъ доказательствъ. Соловьевъ могъ сослаться на разговоры *людей чиновныхъ и ученыхъ*, посѣщающихъ петербургскіе танцклассы, и мы остались бы ни съ чѣмъ; мы не могли-бы изслѣдовать вопросъ: какіе *люди чиновные и ученые* бесѣдовали съ Соловьевымъ, и что именно они ему говорили, и въ какой степени эти собесѣдники заслуживаютъ названіе эмансипаторовъ. Но повѣсти и критическія статьи — это печатные документы, которые точно такъ могутъ уличить во лжи безсовѣстнаго шарлатана. Тутъ ужъ невозможно пустить въ ходъ безтолковыя фразы и уклончивыя отговорки. Вопросъ поставленъ просто и ясно: есть-ли въ русской литературѣ такія повѣсти и такія критическія статьи, которыя оправдываютъ оболъщеніе женщинъ и которыя совѣтуютъ соблазнительямъ бросать любовницъ, когда онѣ забеременѣютъ? Соловьевъ говоритъ: есть. А я говорю, что такихъ повѣстей и критическихъ статей въ русской литературѣ никогда не было и нѣтъ до сихъ поръ, и что Соловьевъ солгалъ самымъ безсовѣстнымъ образомъ. Если-же Соловьевъ не согласенъ съ моимъ

мнѣніемъ, то онъ долженъ привести заглавія тѣхъ повѣстей и статей, которыя оправдываютъ оболъщеніе. Онъ долженъ указать на тѣ журнальныя книжки, въ которыхъ эти повѣсти и статьи напечатаны. И кромѣ того онъ долженъ доказать подробнымъ разборомъ названныхъ повѣстей и статей, что въ нихъ дѣйствительно заключается тотъ грязный смыслъ, который онъ имъ приписываетъ.

Любопытно будетъ посмотрѣть, какимъ манеромъ тупоумный сотрудникъ «Эпохи» вывернется изъ своего затруднительнаго положенія. Любопытно будетъ также посмотрѣть, какими аргументами редація «Эпохи» будетъ оправдывать грязную клевету, пущенную въ свѣтъ ея убогимъ сотрудникомъ.

## IX.

Свѣжая волна новой мысли плеснула недавно на сухія страницы «Отечественныхъ Записокъ», и филистерская редація, изнывающая отъ скуки въ аравійской пустынѣ своего собственнаго журнала, встрѣтила эту волну съ величайшимъ восторгомъ и даже не замѣтила, что эта коварная волна несетъ съ собой совершенно все подходящія идеи такъ называемаго теоретическаго лагерь.

Въ двухъ книжкахъ «Отечественныхъ Записокъ» (январь № 2 и февраль № 1) напечатаны критическія этюды Маркова: «Народные типы въ нашей литературѣ», и редація сдѣлала отъ себя примѣчаніе, въ которомъ говоритъ, что «*съ удовольствіемъ*» помѣщаетъ «*этотъ превосходный этюдъ*», хотя въ журналѣ уже была напечатана статья Евгенинъ Туръ о томъ-же предметѣ... и хотя, прибавлю я отъ себя, Марковъ очень остроумно осмѣиваетъ эту самую статью Туръ. *Этотъ превосходный этюдъ* дѣйствительно очень недуренъ, но я замѣчу только редація «Отечественныхъ Записокъ», что, помѣщая въ своемъ журналѣ и превознося такіе этюды, она отнимаетъ у себя всякое право глумиться надъ тѣми писателями, которые допускаютъ вліяніе чая и кофе на развитіе историческихъ событій. Если-же редація продолжаетъ глумиться, — что мы дѣйствительно видимъ на страницахъ первой январской книжки, — то она подобными выходками доказываетъ только свою неспособность къ связному мышленію.

Чтобы дать читателямъ понятіе о томъ, какія идеи преобладаютъ въ *превосходномъ этюдѣ* Маркова, я выпишу изъ него нѣсколько очень выразительныхъ строкъ. «Жизнь кабана и буйволицы показались графу Толстому отрадною и выше жизни какихъ-нибудь губернскихъ барышень. И онъ съ чистотой душевной, съ прямою древнихъ германцевъ плюетъ на нашихъ франтовъ и барышень и указываетъ намъ на Ершкю, говорящаго кабана, на Марьянку — красивую, молоденькую буйволицу съ горячими гла-

зами. Онъ не прячется за преувеличеніями и украшеніями, не пытается дѣлать никакихъ натяжекъ. «*Человѣкъ есмь, и ничто человѣческое мнѣ не чуждо*» у него просто на просто передѣлывается въ «*скотъ есмь, и ничто скотское мнѣ не чуждо*», и этотъ зоологическій языкъ графъ Л. Толстой откровенно прибавляетъ надъ главнымъ входомъ въ свой романъ, чтобы всё сразу видѣли, — кто живетъ и какъ живетъ. (февр. № 1, стр. 470.) Тотъ-же самый зоологическій ярлыкъ прибѣтъ также откровенно надъ главнымъ входомъ въ *превосходный этюдъ*, но редакция «Отечественныхъ Записокъ» все-таки не счужбля разглядѣть, *кто живетъ и какъ живетъ въ превосходномъ этюдѣ*.

Одобряя зоологическій языкъ, я конечно не могу одобрить разсужденій Маркова объ искусствѣ. Марковъ въ концѣ своего этюда нападаетъ на отрицателей чистаго искусства и такимъ образомъ платитъ дань старому филистерству, но мнѣ кажется, что позиція Маркова въ этомъ пунктѣ очень слаба и ненадежна. Мнѣ кажется даже, что авторъ *превосходнаго этюда* самъ чувствовала шаткость своего положенія. Вотъ что онъ говоритъ объ отрицателяхъ: «Эти люди, сами того не замѣчая, дѣлаются врагами общества. Они не умѣютъ смотрѣть на него, какъ на живой организмъ, въ которомъ хотя каждый органъ функционируетъ сообразно своему характеру, но всё органы безъ исключенія служатъ общей жизни. Остановить дѣятельность высшихъ сторонъ чловѣческаго духа на томъ основаніи, что массы еще не удовлетворены въ насущныхъ своихъ потребностяхъ, — это все равно, что прекратить дѣятельность молодого мозга подъ тѣмъ предлогомъ, что не всё еще хрящи скелета успѣли окостенѣть.»

Въ словахъ Маркова очевидно уже начинается пробиваться утилитарный взглядъ на искусство. Онъ смотритъ на общество, какъ на живой организмъ. Мы смотримъ на общество точно такъ-же. Онъ говоритъ, что каждый органъ долженъ функционировать сообразно своему характеру! Мы и съ этимъ положеніемъ совершенно согласны. Мы никогда не говорили и не скажемъ, что Дарвинъ и Либихъ должны служить обществу посредствомъ паханія земли. Марковъ утверждаетъ далѣе, что «всѣ органы безъ исключенія служатъ общей жизни». Что всѣ органы должны служить общей жизни или, говоря яснѣе, что всѣ члены общества *должны* каждый на своемъ мѣстѣ приносить пользу обществу, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Но что всѣ органы *дѣйствительно служатъ* общей жизни и что они никогда не могутъ уклоняться отъ этого служенія — это такая очевидная нелѣпость, которую Марковъ конечно не рѣшится поддерживать. Это значило-бы утверждать, что въ обществѣ нѣтъ и никогда не можетъ быть ни тунеядцевъ, ни паразитовъ, ни

эксплуататоровъ. Такимъ образомъ Марковъ, уподобивъ общество живому организму, не сдѣлалъ еще ровно ничего для реабилитаціи искусства. Разсматривая художника, какъ члена извѣстнаго общества, онъ наложилъ на него обязанность — приносить пользу этому обществу. Пусть художникъ *функционируетъ сообразно своему характеру*, но пусть онъ этимъ *функционированіемъ* приносить пользу. Это и мы говоримъ то-же самое.

Теперь Марковъ долженъ доказать, что этотъ *функционирующий* художникъ дѣйствительно приносить пользу. Тутъ ужъ общія сентенціи ничего не сдѣлаютъ. Каждый отдѣльный случай долженъ быть разобранъ самъ по себѣ. Метафора на счетъ мозга и хрящей также совершенно бесполезна. Противъ нея можно выдвинуть другую метафору, которая докажетъ совершенно противное. Можно напрямѣръ напомнить Маркову, что обуздывать половую дѣятельность несложившагося отроческаго организма не только полезно, но даже необходимо, потому что слишкомъ раннее развитіе половой системы расслабляетъ организмъ вмѣсто того, чтобы служить общей жизни. Значить, метафоры надо отложить въ сторону и надо просто и серьезно анализировать вопросы: полезна-ли музыка, полезна-ли скульптура, полезна-ли живопись? и т. д. Если вы докажете осязательно, что онѣ полезны, то мы съ величайшимъ уваженіемъ преклонимся передъ ихъ величіемъ. Но, взявшись доказывать ихъ пользу, вы сами уже превратились въ реалиста, потому что поклонникъ чистаго искусства нико да не позволилъ-бы себѣ даже завести рѣчь о полезности своего кумира. Пушкинъ восклицаетъ объ Аполлонѣ Бельведерскомъ, что «мраморъ сей есть богъ», а вы должны будете доказывать, что мраморъ сей есть тотъ-же печной горшокъ, но что онъ только *функционируетъ сообразно своему характеру*.

Далѣе мы видимъ, что Марковъ самъ, ставши на точку зрѣнія реализма, плохо вѣруетъ въ полезность искусства. «Исторія, — говоритъ онъ — убѣждаетъ насъ, что образованіе, несмотря на постоянное обвиненіе его въ непрактичности, почти исключительно одно работало съ пользой для счастья чловѣчества.» — Позвольте, позвольте, г. Марковъ! Зачѣмъ-же вы подмѣнили слово *искусство* словомъ *образованіе*? Вѣдь *искусство* и *образованіе* — двѣ вещи разные. Доказывать полезность образованія черезчуръ легко. Искусство только тѣмъ и держится въ общественномъ мнѣніи, что постоянно выдаетъ себя за родную сестру науки. А на повѣрку оказывается, что эти двѣ родныя сестры такъ непохожи другъ на друга и такъ враждебны другъ другу по своимъ тенденціямъ, что очень многіе историческіе дѣятели, систематически давившіе науку, также систематически покровительствовали развитію искусства.

Наука была опаснѣйшимъ врагомъ ихъ могущества въ то время, когда искусство было ихъ роболѣннымъ союзникомъ.

Итакъ: г. Марковъ, если вы точно хотите побѣдить отрицателей искусства, — потрудитесь отдѣлить искусство отъ науки и доказывайте намъ историческими и всякими другими аргументами пользу *искусства*, а не пользу *образованія*. Въ пользу образованія никто изъ насъ не сомнѣвается. Но мнѣ кажется, что Марковъ недолго удержится на той точкѣ зрѣнія, которую онъ занимаетъ въ настоящую минуту. Года черезъ два, а можетъ-быть и раньше, онъ по всей вѣроятности разорветъ послѣднія связи съ филистерской рутиной и примкнетъ окончательно — даже по вопросу объ искусствѣ — къ міросозерцанію послѣдовательныхъ реалистовъ. — Я не теряю надежды встрѣтиться когда-нибудь съ Марковымъ въ редакціи «Русскаго Слова». Поэтому говорю ему: до свиданья!

## X.

Во второй, февральской, книжкѣ «Отчужденныхъ Записокъ» помѣщена критическая статья подъ слѣдующимъ длиннымъ заглавіемъ: «Предисловіе къ литературному обзорѣ. О качествѣ и количествѣ прогресса въ новѣйшемъ движеніи нашей литературы.». Подписано: «Incognito». Эта статья представляетъ собой опустошительный набѣгъ на «Русское Слово» и преимущественно на «Нерѣшенный Вопросъ», который, какъ извѣстно, уже почти полгода волнуетъ мятежное сердце нашего пріятеля, Посторонняго Сатирика. Посторонній Сатирикъ и «Incognito», вполне сходящіеся между собой въ чувствѣ ненависти къ «Нерѣшенному Вопросу»\*), совершенно непохожи другъ на друга по своимъ полемическимъ приемамъ. Incognito можетъ сдѣлать своимъ девизомъ извѣстный стихъ Пушкина: «Я ѣду-ѣду не—свищу», а Посторонній Сатирикъ, напротивъ того, долженъ будетъ вернуть этотъ стихъ наизуанку и приложить его къ своимъ полемическимъ подвигамъ въ слѣдующемъ видѣ: «свищу-свищу — ине ѣду». Дѣйствительно, Incognito ни слова не говорилъ о «Нерѣшенномъ Вопросѣ» и потомъ вдругъ, въ одинъ прекрасный день, разобралъ его по косточкамъ и доказалъ, что онъ весь составленъ изъ внутреннихъ противорѣчій. Это значитъ — набѣжалъ и не снулъ. Посторонній Сатирикъ, напротивъ того, все собирается разгромить «Нерѣшенный Вопросъ», и все никакъ не можетъ собраться съ силами, такъ что я начинаю думать, что онъ никогда на меня не набѣдетъ. Впрочемъ съ Постороннимъ Сатирикомъ мы еще поговоримъ впослѣдствіи, а теперь мнѣ надо отра-

жать тѣ жестокіе удары, которые наносить мнѣ Incognito.

Когда я повѣствовалъ читателю о томъ, что голова филистера разгорожена на множество отдѣльныхъ клѣтокъ, тогда я не имѣлъ въ виду голову Incognito. Теперь-же, всматриваясь въ статью этого писателя, я замѣчаю съ особеннымъ удовольствіемъ, что моя теорія головныхъ клѣтокъ получаетъ себѣ блистательное оправданіе на отдѣльномъ примѣрѣ. Incognito не только самъ обладаетъ головой, разгороженной на множество несообщающихся между собой клѣтокъ, но онъ даже настоятельно требуетъ, чтобы всѣ другіе люди обладали точно такими-же разгороженными головами. Отсутствіе общаго міросозерцанія вмѣняется въ непремѣнную обязанность каждому человѣку, каждому мыслителю и каждому писателю. Incognito съ горькой ироніей задаетъ читателю слѣдующій вопросъ: «изъ всѣхъ литературно критическихъ статей, въ такомъ обиліи посвященныхъ передовымъ движеніямъ, «Отцамъ и Дѣтямъ» или вызванныхъ «Взбаламученнымъ Моремъ» и постоянно вызываемыхъ болѣе мелкими явленіями текущей литературы, случилось-ли ему (читателю) прочесть хоть одну, которая при своей чисто-литературной матеріи не касалась-бы или философскаго ученія о свободѣ человѣческой воли, или теоріи Дарвина о происхожденіи видовъ, или воззрѣніи Бюкля на развитіе цивилизаціи въ человѣческомъ родѣ, или вообще не стремилась-бы установить истиннаго взгляда на сущность всѣхъ вещей и ихъ отношенія между собой? Читатель не можетъ сказать, чтобы ему случилось и это». Incognito очевидно не нравится то, что литературный критикъ позволяетъ себѣ говорить о такихъ вопросахъ, которые не входятъ въ курсъ риторики и пѣтики, иначе говоря, находится въ различныхъ перегородкахъ головы Incognito. Онъ даже категорически выражаетъ свою жалобу на отсутствіе перегородокъ. «Этому-то недостаточному разграниченію различныхъ областей человѣческаго духа мы безъ сомнѣнія и обязаны тѣмъ фактомъ, печальнымъ даже для насъ самихъ, что, говоря о нашемъ движеніи, какую-бы фактическую нелѣпость мы ни приписали ему, она все-таки можетъ быть подтверждена примѣромъ.»

Достаточное разграниченіе, котораго требуетъ Incognito, клонится очевидно къ тому, чтобы ни одинъ человѣкъ въ мірѣ не смѣлъ задавать себѣ вопроса объ отношеніи отдѣльныхъ отраслей человѣческой дѣятельности къ общей жизни человѣчества и народа. Короче сказать, ни одинъ человѣкъ въ мірѣ никогда не долженъ быть ни человѣкомъ, ни гражданиномъ. Представьте себѣ, что вы взяли очень дорогой билетъ въ итальянскую оперу; съ той минуты, какъ вы вошли въ театральную залу, вы должны превратиться въ меломана; вы имѣете право радоваться только тому, что Тамберликъ беретъ *ut-dièse*.

\*) Статья эта помѣщена въ настоящемъ томѣ подъ своимъ первоначальнымъ заглавіемъ «Реалисты».



и огорчаться только тѣмъ, что Полонини деретъ уши. На другой день послѣ оперы вы узнаете, что въ Вологодской губерніи начался сильный голодъ; тутъ вы тотчасъ должны превратиться въ филантропа и устремить всѣ силы вашего духа на то, чтобы помочь страждущимъ братьямъ. Потомъ вы приходите домой, и ваша супруга говорить вамъ, что для вашего сына необходимо нанять гувернера; тутъ вы должны немедленно превратиться въ чадолюбиваго отца и погрузиться въ семейные интересы. Вслѣдъ затѣмъ вы отправляетесь въ какое-нибудь ученое общество, и вамъ объявляютъ ваши товарищи, что снаряжается ученая экспедиція для отысканія верховьевъ Нила; тутъ вы должны превратиться въ воплощенную любознательность и употребить всѣ усилія на то, чтобы экспедиція состоялась. — Но позвольте же однако: духъ бодръ, а плоть немощна; кошелекъ же, который долженъ оплачивать и меломанію, и филантропію, и чадолубіе, и любознательность, — еще немощнѣе всякой плоти. Для того, чтобы свести концы съ концами, то-есть для того, чтобы *ut-dièse* не отбѣлъ хлѣба у вологжанъ или вологжане не съѣли гувернера, или африканская экспедиція не поглотила гувернера, вологжанъ и *ut-dièse*, для того, чтобы всѣ эти издержки уживались мирно другъ возлѣ друга, необходимо-же, чтобы явился какой-нибудь общій регуляторъ, поддерживающій между ними нѣкоторое равновѣсіе. Необходимо, чтобы вы сами были не только поочередно меломаномъ, филантропомъ, чадолубивымъ отцомъ и любознательнымъ ученымъ, но еще кромѣ того постоянно благоразумнымъ человѣкомъ и расчетливымъ хозяиномъ, соображающимъ отдѣльныя цифры расхода съ общей цифрой дохода. Иначе выйдетъ кутерьма и банкротство. И такая-же кутерьма, и такое-же банкротство, только менѣе быстрыя и менѣе очевидныя, получаютъ тогда, когда цѣлое общество, увлекаясь ежеминутно частными впечатлѣніями и мимолетными интересами, никогда не задаетъ себѣ вопроса о томъ, въ какой связи находятся эти впечатлѣнія и интересы съ его постоянными жизненными потребностями. Если-же вы допустите, что общество должно возвышаться до самосознанія и до всеобъемлющаго взгляда на свою собственную жизнь, то вы должны также признать необходимость такихъ людей, которые при встрѣчѣ съ каждымъ отдѣльнымъ явленіемъ жизни, науки или искусства тотчасъ стараются рассмотреть отношеніе этого частнаго явленія ко всей совокупности жизненныхъ отправленій общественнаго организма. Я вовсе не думаю утверждать, что мы, именно мы, то-есть «Русское Слово» и «Современникъ», выполняемъ эту громадную задачу удовлетворительно. Я вовсе не утверждаю, что мы — вполне достойные органы общественнаго самосознанія. Я только констатирую тотъ фактъ, что общественное самосозна-

ніе необходимо, что оно въ настоящее время стремится создать себѣ достойныхъ выразителей, что мы изображаемъ собой первыя, слабыя и робкія попытки общества на этомъ новомъ для него пути, и что филистеры, требующіе вмѣстѣ съ Incognito достаточнаго разграниченія различныхъ областей человѣческаго духа, совершенно не понимаютъ смысла и необходимости того умственного движенія, изъ котораго должно выработаться общественное самосознаніе.

Incognito обвиняетъ насъ въ противорѣчіяхъ именно потому, что не умѣетъ подняться на нашу точку зрѣнія. Вы, говоритъ онъ, отрицаете поэзію и въ то-же время восхищаетесь стихами Гейне; вы относитесь съ пренебреженіемъ къ великимъ поэтамъ Шиллеру и Пушкину, и въ то-же время посвящаете цѣлый рядъ статей роману второстепеннаго художника Тургенева.

Гдѣ-же тутъ противорѣчія? спрашиваю я. Можно находить, что война — великое зло, и въ то-же время можно глубоко уважать такого воина, какъ Вашингтонъ, и можно съ величайшимъ сочувствіемъ слѣдить за военными подвигами Гарибальди. Можно находить, что алхимія — пустая мечта, и въ то-же время можно глубоко уважать алхимика Джафара, открывшаго тѣ кислоты, безъ которыхъ химическій анализъ былъ бы невозможенъ. Все дѣло въ томъ, что подвиги Гарибальди и Вашингтона клонятся къ истребленію войны, и что открытія Джафара клонятся къ разсвѣтанію того мрака, который поощрялъ своимъ существованіемъ развитіе алхимическихъ бредней. — Стихотворенія Гейне не отклоняютъ, а отрезвляютъ читателя; поэтъ самъ разрушаетъ вредное обаяніе поэзіи; поэтъ осмѣиваетъ то, чему поклоняются другіе поэты; на этомъ основанъ и всѣ отрицатели поэзіи считаютъ Гейне своимъ естественнымъ и чрезвычайно полезнымъ союзникомъ. — Что-же касается до цѣлаго ряда статей, посвященныхъ роману Тургенева, то, мнѣ кажется, нетрудно понять, что этотъ рядъ статей клонится не къ прославленію романа, а къ пориженію тупыхъ филистеровъ, подобныхъ Дудышкину, и близорукихъ реалистовъ, подобныхъ Антоновичу. Смотрите на это чудовище, заговорили филистеры, указывая юнымъ нигилистамъ на фигуру Базарова, только-что появившагося въ печати. Ваши идеи приведутъ васъ прямымъ путемъ къ этому ужасному результату, поэгому отрекайтесь тотчасъ отъ вашихъ заблужденій. Близорукіе и робкіе реалисты, подъ преследовательствомъ Антоновича, дѣйствительно приняли Базарова за чудовище и стали доказывать, путаясь и сбиваясь въ своихъ разсужденіяхъ, что ихъ идеи никогда не могутъ привести ихъ къ ужасному результату, избрѣтенному Тургеневымъ. На этой позиціи реалистамъ грозило неизбѣжное пораженіе, потому что филистеры могли доказать, какъ дважды-два — четыре, что Базаровъ — не клевета, не карикатура, а со-

вершенно вѣрный итогъ реалистическихъ тенденцій. Поэтому надо было повернуть вопросъ иначе; надо было доказать, что Базаровъ — не чудовище, а мыслящій работникъ и превосходный человекъ. Эту задачу я постарался выполнить, и мнѣ кажется, что я могу считать мою цѣль достигнутой, потому что до сихъ поръ ни филистеры, ни «Современникъ» не представили ни одного возраженія противъ моего взгляда на личность Базарова. Филистеры нападаютъ на разные частности «Нерѣшеннаго Вопроса», не касаясь анализа базаровскаго типа, а «Современникъ» не производитъ до сихъ поръ ничего, кромѣ угрожающихъ демонстрацій. Если же наша литература принуждена будетъ признать умственные и нравственные достоинства Базарова, то вмѣстѣ съ тѣмъ она принуждена будетъ отказаться отъ всѣхъ своихъ нелѣпыхъ предубѣжденій противъ нашего реализма. Значитъ, рядъ статей о Базаровѣ былъ написанъ затѣмъ, чтобы защитить и разъяснить весь строй нашихъ понятій, а не за тѣмъ, чтобы выставить напоказъ красоты тургеневскаго романа. Въ такомъ чинѣ состоитъ Тургеневъ на службѣ у Апеллона, до этого мнѣ нѣтъ никакого дѣла; если вы мнѣ скажете, что Тургеневъ — второстепенный поэтъ, а Пушкинъ — первоклассный гений, я съ вами даже и спорить не буду, потому что этотъ вопросъ меня нисколько не интересуетъ. Я вамъ скажу только, что Тургеневу посчастливилось поднять въ нашей умственной жизни такой вопросъ, какого никогда не поднималъ и не могъ поднять Пушкинъ. Поэтому о Тургеневѣ я писалъ для того, чтобы разъяснить поднятый имъ вопросъ; о Пушкинѣ же я буду писать только за тѣмъ, чтобы образумить суевѣрныхъ обожателей этого устарѣлаго кумира. Въ томъ и другомъ случаѣ я имѣю въ виду только то количество пользы, которое могутъ доставить данному обществу, въ данную минуту, тѣ или другія идеи. Идеи Базарова я считаю полезными — поэтому я говорю о нихъ съ уваженіемъ; идеи Пушкина я считаю бесполезными, — поэтому я говорю о нихъ съ пренебреженіемъ. Спрашивается: гдѣ же тутъ внутреннее противорѣчіе?

Само собою разумѣется, что Incognito не можетъ допустить той мысли, что произведенія Пушкина въ настоящую минуту устарѣли и сдѣлались бесполезными. Онъ старается доказать, что Пушкинъ полезенъ: «Фактъ состоитъ въ томъ, — разсуждаетъ Incognito, — что если, благодаря стихамъ Пушкина, сотни тысячъ русскихъ умовъ, сотни тысячъ сердецъ, сотни тысячъ воображеній, въ одно-ли время, или въ разные времена, поражаются и будутъ поражать одними и тѣми-же представленіями, то между этими сотнями тысячъ образуется духовное родство, образуется связь, которая дѣлаетъ русскихъ боже людьми одного племени и одной земли, то-есть связь, которая составляетъ ту самую, если не

общечеловѣческую, то общерусскую солидарность, которая въ устахъ критика отдается только мертвымъ звукомъ простой вокабулы.»

Какъ видите, вопросъ о стихахъ Пушкина отождествляется съ вопросомъ о существованіи русской литературы. Это — тактика Маркова, подмѣняющаго слово *искусство* словомъ *образование*. Incognito ставитъ вопросъ такъ: что лучше — читать Пушкина, или совсѣмъ не читать? — Но русскимъ людямъ совсѣмъ не предстоитъ такая трагическая альтернатива, и, стало-быть, нѣтъ никакого разумнаго основанія предлагать такіе поразительные вопросы. Отказываясь отъ Пушкина, сотни тысячъ русскихъ умовъ, сердецъ и воображеній вовсе не утратятъ своего «духовнаго родства», потому что эти сотни тысячъ попрежнему будутъ поражаться одними и тѣми-же представленіями, но только не тѣми, которыми они поражались въ былое время. Прежде они поражались представленіями «Бахчисарайскаго Фонтана» и «Кавказскаго Плятника», а теперь они будутъ поражаться представленіями «Параднаго Подъѣзда», «Молотова» и романа «Что дѣлать?». Значитъ, со стороны духовнаго родства вы можете быть совершенно спокойны, и если вы хотите доказать полезность и необходимость Пушкина, то вы должны доказать, что представленія «Бахчисарайскаго Фонтана» и «Кавказскаго Плятника» дѣйствуютъ на сотни тысячъ умовъ, сердецъ и воображеній *болѣе* благотворнымъ образомъ, чѣмъ представленія «Параднаго Подъѣзда», «Молотова» и «Что дѣлать?». Если же вы этого не докажете, то ваше дѣло передъ судомъ русской читающей публики будетъ проиграно.

Съ апрѣльской книжки я начну рядъ статей о Пушкинѣ \*), обѣщанный мною въ прошломъ году, и тогда господамъ обожателямъ Пушкина представится удобный случай выдвинуть впередъ все, что имѣется у нихъ въ запасѣ по части защитительныхъ аргументовъ. Предупреждаю только заранѣе моихъ будущихъ оппонентовъ, что я совершенно устранию въ вопросѣ о Пушкинѣ историческую точку зрѣнія. Я очень хорошо знаю, что «Евгеній Онѣгинъ» гораздо лучше «Фелицы» Державина и что «Капитанская Дочка» стоитъ во всѣхъ отношеніяхъ выше «Бѣдной Лизы» Карамзина. Я нисколько не обвиняю Пушкина въ томъ, что онъ не былъ проникнутъ тѣми идеями, которыя въ его время не существовали или не могли быть ему доступны. Я задамъ себѣ и рѣшу только одинъ вопросъ, слѣдуетъ-ли намъ читать Пушкина въ настоящую минуту, или же мы можемъ поставить его на полку, подобно тому, какъ мы уже это сдѣлали съ Ломоносовымъ, Державинимъ, Карамзинымъ и Жуковскимъ?

Защитивъ по своему Пушкина, то-есть, не за-

\*) Статья Писарева «Пушкинъ и Бѣлинскій» помѣщена въ 5-мъ томѣ его «Сочиненій». Изд.

щитивъ его нисколько, Incognito обращается ко мнѣ съ слѣдующимъ вопросомъ: «полагаетъ-ли онъ, что слѣдуетъ издать такой органическій законъ, которымъ бы повелѣвалось писать однимъ только Шекспирамъ, а всѣмъ прочимъ было-бы приказано молчать до самаго второго пришествія Шекспира и послѣ?» — Смѣшной и безтолковый вопросъ! Нисколько я этого не полагаю. Я полагаю, что литература можетъ и должна всегда управляться сама собой безъ всякихъ органическихъ законовъ. Пускай пишетъ всякій все, что ему угодно; пусть пишутъ Феть, Майковъ и Полонскій; пусть пишутъ Боборыкинъ, Аверкеевъ и Дудышкинъ; пусть пишутъ даже Блюшниковъ, Стебницкій и Николай Соловьевъ; пусть пишетъ и печатаетъ всякая тварь, умѣющая держать перо въ рукахъ и имѣющая желаніе и возможность оплатить типографскіе расходы. Мы нисколько не желаемъ имъ въ томъ препятствовать; мы только будемъ читать и осмѣивать ихъ произведенія, если они покажутся намъ смѣшными; если смѣхъ нашъ будетъ разуменъ и честенъ, то публика насъ послушаетъ и отвернется отъ осмѣяннаго писателя; если смѣхъ нашъ будетъ нелѣпъ или пристрастенъ, то публика назоветъ насъ дураками или негодаями и отвернется отъ насъ самихъ, какъ отъ бездарныхъ и завистливыхъ злодѣевъ.

Видите, г. Incognito, что дѣло можетъ обойтись безъ всякихъ органическихъ законовъ. Намъ даже нѣтъ ни малѣйшаго основанія желать такихъ законовъ, потому что и безъ ихъ содѣйствія наши идеи, какъ свидѣлствуютъ о томъ самъ Incognito, прививаются довольно успѣшно къ общественному сознанію. По словамъ Incognito, «наши выступанія беллетристы» уже проникнуты «новѣйшимъ» реализмомъ; «они съ голоса передовыхъ критиковъ и не хуже ихъ самихъ наперерывъ стремятся показать, какъ сильно въ нихъ желаніе заявить себя тоже «новѣйшими» реалистами, какъ диаметрально-противоположными эстетиками.» Ну, вотъ и чудесно! Какого-же намъ еще органическаго закона желать, когда мы и безъ того уже сформировали цѣлую школу беллетристовъ и когда старая школа вопитъ устами Бабикова: «увы! мы всѣ побѣждены». Если кто-нибудь изъ пишущихъ людей желаетъ какихъ-нибудь не литературныхъ и анти-литературныхъ органическихъ законовъ, то ужъ во всякомъ случаѣ къ этимъ желающимъ невозможно причислить новѣйшихъ реалистовъ.

Incognito утверждаетъ, что я прикидываю къ продуктамъ человѣческой дѣятельности мѣрку моихъ собственныхъ потребностей и что изящное не подходитъ подъ эту мѣрку. «Но опять, — продолжаетъ онъ, — для того, чтобы оно подходило подъ нее, не слѣдуетъ-ли ему расширить кругъ этихъ потребностей, не ограничивая его стрижениемъ ногтей, пережвѣной бѣля

и тому подобными обыденностями? — Именно слѣдуетъ.» То-есть, если я въ настоящую минуту могу обходиться безъ итальянской оперы, безъ балета, безъ концертовъ, безъ картинъ и статуй, то, по мнѣнію Incognito, мнѣ слѣдуетъ втиснуться въ эти наслажденія и привыкнуть къ нимъ настолько, чтобы они сдѣлались для меня необходимостями. Положимъ, что я исполнилъ содѣйствіе Incognito: втиснулся. Что-же изъ этого выйдетъ? Выходитъ то, что я, расширивъ кругъ моихъ потребностей, оказываюсь очень доволенъ собой и жизнью. Результатъ прекрасный, но къ сожалѣнію я долженъ объявить Incognito, что я и теперь, до расширенія круга, очень доволенъ собой и жизнью. Стало-быть, что-же я выиграю? Очень мало или совсѣмъ ничего. Между тѣмъ, расширивъ кругъ моихъ потребностей, я гораздо больше, чѣмъ теперь, буду зависѣть отъ вѣшнихъ обстоятельствъ. Кромѣ того — и это самое важное — мое содержаніе будетъ обходиться обществу гораздо дороже, чѣмъ оно обходится теперь. Опера, балетъ, концерты, картины, статуи — все это стоитъ денегъ, а деньги, какъ извѣстно всѣмъ и каждому, изображаютъ собой видоизмѣненный продуктъ тяжелаго народнаго труда. — «Расширяйте ваши потребности», говоритъ мнѣ Incognito. — Я спрашиваю: «зачѣмъ?» — «Зачѣмъ, чтобы поглощать какъ можно больше продуктовъ народнаго труда.» — Я опять спрашиваю: «зачѣмъ?» — «Зачѣмъ, чтобы у васъ были очень широкія потребности.» — Въ той-же книжкѣ «Огнечественныхъ Записокъ», въ которой Incognito рекомендуетъ мнѣ оперу и балетъ, сообщены слѣдующія подробности о частной жизни Прудона. «Когда онъ издавалъ газету *Народный Голосъ*, то получалъ много денегъ: газета расхищалась нарастающимъ, но себѣ онъ оставлялъ изъ прибыли лишь 5 фр. въ день, остальное отдавалъ бѣднымъ. Случались дни, когда газета продавалась въ числѣ ста тысячъ экземпляровъ, но и тогда Прудонъ не оставлялъ себѣ болѣе пяти франковъ.» Любопытно мнѣ было-бы узнать, что думаетъ Incognito о такомъ чудакѣ, какъ Прудонъ; еслибы Incognito умѣлъ быть послѣдовательнымъ, то-есть, еслибы его филистерская голова не была разгорожена на отдѣльныя клѣтки, — онъ долженъ былъ-бы смотрѣть на Прудона съ сострадательнымъ презрѣніемъ, потому что очевидно при ежедневномъ расходѣ въ 5 франковъ (1 р. 25 к. с.) кругъ личныхъ потребностей Прудона не могъ быть широкимъ и не могъ вмѣщать въ себя ни оперы, ни балета, ни разныхъ другихъ проявленій изящнаго. Меня Incognito долженъ уважать несравненно болѣе, чѣмъ Прудона, потому что кругъ моихъ потребностей гораздо шире.

Впрочемъ сущность моего возраженія состоитъ не въ томъ, что человѣкъ долженъ употреблять на подвиги частной благотворительности всѣ деньги, остающіяся у него въ рукахъ послѣ

покрытія необходимыхъ издержекъ. Бла отвори- тельность всегда будетъ и всегда должна быть свободнымъ дѣломъ личной наклонности. Но во- просъ въ томъ: долженъ или не долженъ чело- вѣкъ своимъ образомъ жизни поощрять въ обще- ствѣ развитіе непроеизводительныхъ отраслей тру- да? Вопросъ въ томъ, какой челоѣкъ полезнѣе: тотъ-ли, который покупаетъ у художниковъ кар- тины и статуи, или тотъ, который на свои день- ги заводитъ фермы и фабрики, а полученные ба- рыши употребляетъ на заведеніе новыхъ, фермъ и фабрикъ? По разсужденіямъ Incognito выхо- дитъ, что первый полезнѣе второго, или по край- ней мѣрѣ, что второй есть существо низшаго разряда въ сравненіи съ первымъ. Если-жъ Incog- nito отречется отъ этого заключенія, тогда онъ долженъ будетъ снять съ меня обязанность втя- гиваться въ оперу и въ балетъ. И тогда отъ его аргументація не останется камня на камнѣ.

Incognito старается поддержать изящное историческими аргументами. Онъ говоритъ, что сознательная челоѣческая исторія «началась съ плясовыхъ пѣсенъ, съ хороводныхъ круженій вокругъ камней и чурбановъ, съ воспѣванія сла- вы солнцу на небѣ высокому»—словомъ, со все- го того, чего никакъ не могло быть, еслибы оно не вызывалось потребностями челоѣческой природы». Эта историческая аргумента- ція доказываетъ слишкомъ много и вслѣдствіе этого не доказываетъ ровно ничего. Если при- нять эту аргументацію во всемъ ея объемѣ, то придется оправдать и рабство, и войну, и чело- вѣческія жертвоприношенія, и содомскій грѣхъ, и проституцію, потому что всѣ эти явленія по- вторяются у всѣхъ историческихъ народовъ и вызываются всѣ безъ исключенія различными потребностями челоѣческой природы. Весь во- просъ состоитъ въ томъ, какъ удовлетворяются существующія потребности челоѣческой приро- ды; такъ-ли, что отъ этого удовлетворенія не страдаетъ ни одно челоѣческое существо, или же такъ, что, удовлетворяя своимъ потребно- стямъ, одна группа людей обездоливаетъ другую группу? Если у васъ есть потребность слушать пѣніе, и если вы удовлетворяете эту потребность вашими собственными средствами, то никто не имѣетъ права возражать противъ этого удо- влетворенія: пойте или мурлыкайте, сколько ду- шѣ вашей будетъ угодно. Но если вы для удо- влетворенія вашей потребности формируете себѣ цѣлую школу пѣвцовъ, которыхъ содержаніе ложится на плечи трудящихся людей, то всякій мыслящій челоѣкъ имѣетъ право вамъ замѣ- тить, что вы отнимаете у работниковъ необходи- мое для того, чтобы доставить себѣ такое раз- влеченіе, безъ котораго вы легко можете обой- тись. Историческій прогрессъ состоитъ преимуще- ственно въ томъ, чтобы понемногу возвра- щать трудящимся массамъ тотъ насущный хлѣбъ, который въ темныя времена насилія и невѣ-

жества былъ у нихъ отнятъ на нерасчетливое удовлетвореніе слишкомъ широко развернувших- ся потребностей. Поэтому до-историческое су- ществованіе плясовыхъ пѣсенъ и хороводныхъ круженій нисколько не можетъ служить оправ- даніемъ современной оперы и новѣйшаго балета.

Въ пользу живописи Incognito приводитъ тотъ аргументъ, что новѣйшій реалистъ можетъ «пожелать когда нибудь, по какому-нибудь слу- чаю, имѣть портретъ своей вышеозначенной тру- долюбивой и начитанной подружки». Въ пользу живописи я самъ въ третьей части «Нерѣшен- наго Вѣщаго» привелъ гораздо болѣе сильный ар- гументъ, именно тотъ, что въ учебникахъ и въ популярныхъ, а также и въ ученыхъ сочинені- яхъ по многимъ отраслямъ знанія необходимы хорошіе рисунки. Что-же касается до портретовъ «трудолюбивой и начитанной подружки», то мнѣ кажется, что обществу нѣтъ никакой надобности заботиться о ихъ изготавленіи. Бѣды не будетъ никакой, если новѣйшій реалистъ останется безъ портрета, тѣмъ болѣе, что очень многіе люди остаются по недостатку матеріальныхъ средствъ не только безъ изящнаго портрета, но да- же и безъ оригинала, то-есть безъ «трудолюби- вой и начитанной подружки». А есть и такіе лю- ди, которые остаются не только безъ подружки, но даже безъ теплаго платья и безъ куска хлѣ- ба. При такихъ условіяхъ сокрушаться объ изящ- ныхъ портретахъ по меньшей мѣрѣ смѣшно.

Впрочемъ я считаю своей обязанностью упо- минать Incognito и всѣхъ добродушныхъ людей, полагающихъ, что реалистическая критика стре- мится къ конечному истребленію всѣхъ живо- писцевъ, музыкантовъ, скульпторовъ и другихъ эксплуататоровъ челоѣческой наивности. Реа- листическая критика очень хорошо понимаетъ, что такая цѣль недостижима; поэтому она и не задаетъ себѣ этой задачи. Чего-же она хочетъ? А вотъ чего. Въ Россіи каждый годъ нѣсколько десятковъ тысячъ юношей средняго сословія за- даютъ себѣ вопросъ: куда мы пойдѣмъ? за ка- кое дѣло мы возьмемся? Какимъ ремесломъ мы будемъ зарабатывать себѣ насущный хлѣбъ? Въ тѣ дни, когда гремѣли имена великаго Брюл- ова, великаго Глинки, великаго Мочалова, въ тѣ дни, когда наша критика стояла на колѣняхъ передъ святымъ искусствомъ вообще и передъ Пушкинымъ въ особенности, сотни, а можетъ- быть тысячи легковѣрныхъ юношей тянулись всѣми своими помысленіями къ лавровому вѣн- ку художника. Нарисуетъ юноша двѣ березы въ альбомѣ своей кузины и вообразитъ себѣ, что у него непреодолимая страсть къ живописи, что онъ обязанъ развивать свой талантъ, что онъ поѣдетъ сначала въ Петербургъ, потомъ въ Ита- лію, а потомъ въ храмъ славы, гдѣ признатель- ное челоѣчество увѣнчиваетъ своихъ вродно- венныхъ благодѣтелей. — Подыщеть юноша му- зыку къ какому-нибудь водевилному куплету-

ку, и сейчас уразумѣть, что онъ музыкантъ, что ему необходимо отростить длинные волосы, напустить на лицо задумчивое выраженіе и отказать навсегда отъ всякой полезной работы, потому что

Не для жигейскаго волненья,  
Не для корысти, не для битвы  
Мы рождены—для вдохновенья,  
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Сыграетъ юноша безъ особеннаго посрамленія роль водевильнаго *jeune premier* на домашнемъ спектаклѣ и въ одну минуту сообразить, что ему невозможно не идти по слѣдамъ Мочалова. И почнетъ онъ колотить себя въ грудь и выводить нараспѣвъ монологи изъ «Гамлета», который однако, по его мнѣнію, далеко не такъ забористъ, какъ «Уголино» Полевого или «Джудіо Мости» Кукольника.

Что вы о всемъ этомъ скажете, гг. эстетика? Хороша была вся эта катавасія? Хорошо это было, что неглупые молодые люди, способные сдѣлаться хорошими хозяевами, честными конторщиками,мышленными машинистами, изображали своими особами лягушку, желающую раздуться до разбѣровъ вода? Хорошо это было, что эти несчастные недоросли, обманутые въ своихъ нелѣпыхъ надеждахъ, сбивались съ круга, объѣдали своихъ родственниковъ и превращались въ огъявленныхъ мерзавцевъ или во всякомъ случаѣ въ праздношатающихся шелопаевъ? Хорошо это было, что самые счастливые изъ этихъ юношей, сдѣлавшись посредственными актерами, посредственными музыкантами, посредственными живописцами, лебезили передъ откупщиками, чтобы отобѣдать у нихъ на даровщинку, или чтобы всучить имъ за выгодную цѣну картину, билетъ на концертъ или ложу на бенефисъ? Если положить на одну чашку вѣсовъ великаго Брюллова, великаго Глинку, великаго Мочалова, а на другую—многія тысячи несчастныхъ лягушекъ, соблазненныхъ славой воловъ и лопнувшихъ во время нелѣпыхъ попытокъ—дорости до ихъ величія, то—какъ выдумаете, гг. эстетики,—которая изъ двухъ чашекъ перетянетъ? Или другими словами, стоитъ ли овчинка выдѣлки? Стоитъ ли уродовать *тысячи* человѣческихъ существованій для того, чтобы добыть *одну* бесплодную знаменитость?—Реалистическая критика думаетъ, что *не стоитъ*, и вслѣдствіе этого своего глубокаго убѣжденія она старается на мѣсто именъ великаго Брюллова, великаго Глинки, великаго Мочалова подставить имена великаго Дарвина, великаго Либиха, великаго Клода Бернара. Критика Бѣлинскаго стояла на колыбеляхъ передъ святымъ искусствомъ. Реалистическая критика стоитъ на колыбеляхъ передъ святой наукой. Стремясь по слѣдамъ Глинки, Брюллова и Мочалова, довѣрчивые юноши не приобрѣтали ничего, кромѣ печальной привычки къ тупеядству и къ сивухѣ. Выбирая себѣ въ образцы и въ руководители

Дарвина, Либиха, Бернара и другихъ, довѣрчивые юноши приобрѣтаютъ и будутъ приобрѣтать себѣ знанія, привычку къ труду и уваженіе къ силѣ человѣческаго разума, то-есть такіа сокровища, которыя пригодятся имъ на всякомъ жигейскомъ поприщѣ. До Бернара не дорастетъ быть можетъ ни одинъ изъ десяти тысячъ, но зато общество обогатится многими хорошими уѣздными лекарями. Либихомъ не сдѣлается ни одинъ изъ десяти тысячъ, но зато общество обогатится многими дѣльными агрономами.

Посредственнымъ художникъ, даже по мнѣнію эстетиковъ, есть отрицательная величина; посредственный ученый, напротивъ того, можетъ быть очень полезенъ, несмотря на свою посредственность. Что-же касается до гениальныхъ натуръ, то ихъ не остановить и не собьютъ съ толку никакая реалистическая критика. Гениальныя натуры преодолеваютъ самыя серьезныя препятствія; онѣ борются съ деспотической волей родителей, съ предрассудками общества, съ бѣдностью, съ невѣжествомъ, и все-таки, несмотря ни на что, идутъ туда, куда ихъ тянетъ преобладающая страсть. Если у насъ народится какой-нибудь Рафаэль или Моцартъ, то онъ ни за какія коврижки не пойдетъ въ машинисты или въ медики, и наплюетъ на всякія реалистическія проповѣди. Значитъ, реалистическая критика не давить великихъ талантовъ, потому что ихъ задавить невозможно. Она только кормитъ здоровой умственной пищей ту толпу, которую эстетики опанвали дурманомъ.

## XI.

Дерзкій авторъ «Нерѣшеннаго Вѣснаго» осмѣлился уподобить *лукошку* того великаго Антоновича, который считаетъ себя въ настоящую минуту единственнымъ представителемъ реальной критики и единственнымъ законнымъ преемникомъ Добролюбова. Великій Антоновичъ, какъ человѣкъ неглупый, не обратилъ никакого вниманія на непочтительную выходку такъ называемаго *enfant terrible*. Но Посторонній Сатирикъ, какъ человѣкъ очень раздражительный и очень ограниченный, огорчился *лукошкомъ* до глубины души и началъ изливать свои страданія въ горячихъ и безтолковыхъ полемическихъ статьяхъ. Надо полагать, что *лукошко* дѣйствуетъ подобно испанской мушкетѣ, сохраняя притомъ свою раздражающую силу вѣченіи многихъ мѣсяцевъ. Съ каждымъ мѣсяцемъ страданія Посторонній Сатирика становятся невыносимѣе, такъ что наконецъ въ яварской книжкѣ «Современника» несчастный Донъ-Кихоть, удрученный *лукошкомъ*, впадаетъ въ горячечный бредъ и съ болѣзненной странностью принимаетъ свои видѣнія за существующіе факты. Ему мерещится какой-то призракъ, который онъ называетъ «Русскимъ Словомъ»; ему кажется, что этотъ «призракъ» отлыниваетъ отъ его вопросовъ и увертывается отъ прямыхъ объясне-

ий съ нимъ; ему кажется, что онъ, Посторонній Сатирикъ, бѣжитъ за этимъ призракомъ, снѣтываетъ его, окружаетъ его силошной стѣной занумерованныхъ «тезисовъ и вопросовъ», гычетъ его носомъ «на померз, не получившии ответа или объясненій», разбиваетъ его на на всѣхъ пунктахъ и заставляетъ его «раскалывать кашу», которую онъ, призракъ, заварилъ «Нерѣшеннымъ Вопросомъ». Бѣдный страдалецъ обращается къ своему призраку съ слѣдующимъ монологомъ: «я непременно выведу васъ на турниръ, и вы непременно будете отвѣчать мнѣ; я заставляю васъ отвѣчать и вашими же отвѣтами доведу васъ до молчанія. Вы уже предчувствуете, какая участь ожидаетъ васъ на турнирѣ; вы видите предъ собой прахъ поверженнаго мною Косицы и начинаете дрожать за себя. Не бойтесь, съ вами я не поступлю такъ жестоко, какъ съ нимъ; васъ я не обращаю пока въ прахъ; по все-таки побѣду надъ вами отпраздную торжественно.» Всѣ эти разговоры можно вести только съ призракомъ, а никакъ не съ «Русскимъ Словомъ», потому что настоящее, реальное «Русское Слово» говорить и молчить, когда ему угодно, не тревожится никакими предчувствиями, не дрожитъ даже предъ великимъ Антоновичемъ и не разсыпется въ прахъ даже отъ поразительныхъ карикатуръ всеусыпляющаго «Будильника». Между тѣмъ боль отъ *лукошки* усиливается и галлюцинація становится еще безсвязнѣе; Постороннему Сатирику представляется, что Зайцевъ и Благосвѣтловъ превратились въ два *буттерброта*; это видѣніе по всей вѣроятности выражаетъ собой желаніе пациента съѣсть живьемъ Зайцева и Благосвѣтлова; однако Постороннему Сатирику не суждено насладиться полнымъ блаженствомъ даже въ области горячечныхъ видѣній; буттерброты минуютъ его зияющую пасть; одинъ изъ буттербротовъ заключаетъ союзъ съ американскими пинаторами, другой—обижаетъ Воронова; сердце Посторонняго Сатирика изнываетъ за негровъ, изнываетъ за бѣдствующаго литератора, недописавшаго повѣсть «Тяжелые Годы», изнываетъ за покойнаго А. Григорьева, обворованнаго Писаревымъ, изнываетъ за «одно лицо», обиженное призракомъ, изнываетъ за Антоновича, увѣчаннаго «*лукошкой*», изнываетъ за Шпенгауэра, искаженнаго Зайцевымъ,—и не изнываетъ только за «Современникъ», который безконечно позорится всѣми этими безсмысленными изнываніями.

Я до сихъ поръ говорилъ о подвигахъ Посторонняго Сатирика шутивымъ тономъ, потому что о нихъ по настоящему не стоитъ говорить серьезно; но такъ какъ Сатирикъ, по своему безграничному самолюбію, можетъ принять мой шутиливый тонъ за неспособность опровергнуть его болтовню серьезными аргументами, то я дамъ ему небольшой образчикъ моего полемическаго искусства. Во-первыхъ, позвольте вамъ замѣ-

тить, г. Посторонній Сатирикъ, что «Русское Слово» ни отъ чего не отлыниваетъ; тотъ отвѣтъ, котораго вы требовали отъ «Русскаго Слова» на счетъ «Нерѣшеннаго Вопроса», былъ вамъ данъ въ октябрьской книжкѣ; этотъ отвѣтъ, совершенно ясный и опредѣлительный самъ по себѣ, былъ подкрѣпленъ тѣмъ обстоятельствомъ, что «Русское Слово» продолжало печатать «Нерѣшенный Вопросъ» до самаго конца, несмотря на всѣ ваши восклицанія и несмотря на то, что вы въ октябрьской книжкѣ «Современника», замѣтили совершенно основательно, будто «Нерѣшенный Вопросъ» могъ быть напечатанъ съ большимъ удобствомъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» или въ «Эпохѣ». Неосновательность этого послѣдняго замѣчанія доказывается какъ нельзя лучше тѣмъ обстоятельствомъ, что «Отечественныя Записки» напечатали именно *противъ* «Нерѣшеннаго Вопроса» статью Incognito, а «Эпоха» напечатала также *противъ* «Нерѣшеннаго Вопроса» двѣ статьи Николая Соловьева. («Теорія пользы и выгоды» и «Безплодная плодовитость».) Изъ этого факта вы можете вывести для себя одно изъ двухъ заключеній: или то, что вы не понимаете тенденціи тѣхъ журналовъ, о которыхъ беретесь разсуждать, или то, что вы желали оклеветать «Нерѣшенный Вопросъ», отбрасывая его въ категорію тѣхъ статей, которыя могутъ быть напечатаны въ филистерскихъ журналахъ.

Итакъ, «Русское Слово» отвѣчало вамъ совершенно ясно и въ то-же время очень умѣренно, что оне не видитъ никакой надобности отказываться отъ солидарности съ «Нерѣшеннымъ Вопросомъ». Послѣ этого отвѣта всякія предварительныя объясненія съ вашей стороны были бесполезны. Вы должны были прямо приступить къ разгромленію той статьи, которая вамъ не нравилась. Если-же вы не приступали, то въ этомъ вы должны винить исключительно самого себя. Если вы медлили вслѣдствіе великодушнаго состраданія къ заблуждающимся грѣшникамъ, то я долженъ вамъ замѣтить, что ваше милосердіе было совершенно неумѣстно. Ваше долготерпѣніе никого не обратило на путь истины. Вы имѣете дѣло съ людьми неблагодарными, закоснѣлыми во грѣхъ и чрезвычайно недовѣрчивыми. Эти люди думали и думаютъ до сихъ поръ, что ваше великодушіе есть не что иное, какъ замаскированная пустота. У васъ нѣтъ доводовъ противъ «Нерѣшеннаго Вопроса», у васъ нѣтъ самостоятельнаго міросозерцанія, которое вы могли-бы противопоставить нашимъ идеямъ, у васъ нѣтъ даже щедринской веселости, которая умѣла осмѣивать и оплевывать то, чего она не понимала \*),—у васъ нѣтъ ничего, кромѣ грошова-

\*) См. разсказъ Щедрина «Новый Нарциссъ» въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1868 г.



го самолюбія, а между тѣмъ вы стоите на виду, вы — первый атлетъ «Современника», на вашихъ плечахъ лежитъ фирма журнала, за вами «Полемиическія красоты», все это вы должны поддерживать, каждая ваша ошибка будетъ замѣчена и осмѣяна вашими многочисленными противниками, и все это вы понимаете вполне. И поневолѣ, по инстинктивному чувству самосохраненія, вы стараетесь отдалить ту неприятную минуту, когда ваше безсиліе обнаружится во всей своей наготѣ. Вы придираетесь къ мелочамъ, вы валите съ большой головы на здоровую, вы кидаетесь по сторонамъ, вы хватаетесь то за негровъ, то за Воронова, вы собираете сплетни, вы выдумываете небывлицы и въ то-же время притворяетесь неустрашимымъ бойцомъ и великодушнымъ героемъ. Но когда-нибудь вся эта плоская комедія должна-же кончиться. Положимъ, вы наполните еще пять-шесть книжекъ «Современника» *предварительными объясненіями*, — ну, а потомъ что будетъ? Съ «Нерѣшеннымъ Вопросомъ» вы все-таки ничего не сдѣлаете; а между тѣмъ у васъ не хватитъ честности и мужества на то, чтобы откровенно отказаться отъ «Асмодея нашего времени», какъ отъ грубой, но извинительной ошибки. Стараясь защитить проигранное дѣло, вы окончательно запутаетесь въ софизмахъ и заведете критику «Современника» въ тѣ дебри, въ которыхъ гнѣздятся наше филистерство. Я васъ предостерегаю заранее, но вы, разумѣется, меня не послушаете и будете по прежнему сыпать цѣлыми лукошками самаго неблагоприятнаго глганья и наконецъ такъ уроните вашъ журналъ, что васъ не выручатъ никакія добролюбовскія преданія. Во всякомъ случаѣ вы видите теперь, что вамъ больше не зачѣмъ великодушничать и что всякія дальнѣйшія промедленія выставятъ васъ въ глазахъ вашихъ читателей въ самомъ жалкомъ и смѣшномъ видѣ. Поэтому или принимайтесь за «Нерѣшенный Вопросъ», или признавайтесь на чистоту, что вы до сихъ поръ говорили о Базаровѣ пустяки, и что «Асмодей нашего времени» написанъ великимъ критикомъ по неопытности.

Кстати объ «Асмодеѣ». Посторонній Сатирикъ совершенно напрасно проводитъ ту мысль, что отвѣтственность за эту статью лежитъ на томъ лицѣ, которое въ то время заведывало редакціей «Современника». Еслибы въ статьѣ Антоновича заключались очевидныя нелѣпости или глупости, тогда конечно эта статья составляла-бы пятно на совѣсти редактора, потому что добросовѣстный редакторъ долженъ читать все, что онъ помѣщаетъ въ своемъ журналѣ. Но для того, чтобы увидѣть несостоятельность «Асмодея», редакторъ долженъ былъ прочесть сначала — и прочесть очень внимательно — самый романъ Тургенева. «Асмодей» былъ напечатанъ въ мартовской книжкѣ «Современника», а романъ Тургенева — въ

февральской книжкѣ «Русскаго Вѣстника». Значитъ, антрактъ между напечатаніемъ романа и напечатаніемъ статьи былъ такъ не великъ, что редакторъ, какъ человекъ, заваленный работой, имѣлъ полное право не прочитать романа во время этого антракта. Редакторъ обязанъ читать все, что пишутъ его сотрудники для журнала, но онъ нисколько не обязанъ читать все, что читаютъ его сотрудники. Въ январьской книжкѣ «Русскаго Слова» помѣщена на примѣръ статья Шапова, биткомъ набитая ссылками на Лепехина, на Кастрена, на Палласа, на Миддендорфа и еще чортъ знаетъ на какіе мудреные источники и пособія. Неужели-же редакторъ «Русскаго Слова» обязанъ провѣрить всѣ эти ссылки и перечитывать все, что прочиталъ Шаповъ? Ничуть не бывало. Отвѣтственность за основную мысль, за ея направленіе лежитъ на авторѣ и на редакторѣ. Но отвѣтственность за вѣрность сообщаемыхъ фактовъ лежитъ *исключительно на одномъ авторѣ*. Еслибы кто-нибудь доказалъ, что Шаповъ искажилъ слово лѣтописей или путешественниковъ, то одному Шапову и пришлось-бы за это развѣдываться съ критикомъ. И еслибы какой-нибудь озорникъ поднесъ Шапову *лукошко*, то ни одна частица этого *лукошка* не досталась-бы редактору «Русскаго Слова». Печатавъ статью Антоновича, редакторъ «Современника» имѣлъ полное право довѣряться Антоновичу настолько, чтобы не заподозрѣвать его въ злонамѣренномъ искаженіи или въ неумышленномъ непониманіи разбираемыхъ фактовъ. Если оказывается теперь, что Антоновичъ обманулъ это довѣріе, то вся вина ложится цѣликомъ на одного Антоновича.

Статья Посторонняго Сатирика, помѣщенная въ январьской книжкѣ «Современника», даетъ мнѣ превосходный примѣръ для подтвержденія этой мысли. Въ этой статьѣ мы читаемъ слѣдующія поучительныя строки: «я утверждалъ и утверждаю, что взгляды Писарева на Катерину, какъ свѣтлое явленіе русской жизни, несогласенъ со взглядомъ Добролюбова, а согласенъ со взглядомъ А. Григорьева, который высказалъ свой взглядъ прежде Писарева; слѣдовательно, взглядъ этотъ принадлежитъ А. Григорьеву, а не Писареву. Ужели-же это не правда, и есть только мое изобрѣтеніе?» На оберткѣ январьской книжки написано: «редакторъ Н. Некрасовъ». Но я никакъ не рѣшусь утверждать, что ложное обвиненіе въ литературномъ воровствѣ возведено на меня по милости Некрасова. Некрасовъ тутъ ни въ чемъ не виноватъ. Онъ не обязанъ помнить наизусть всѣ критическія статьи, напечатанныя въ русскихъ журналахъ. Онъ не обязанъ знать, что Писаревъ никогда ни въ чемъ не сходилъ съ Григорьевымъ. Когда человекъ говоритъ «я утверждалъ и утверждаю», тогда ни одному честному человеку въ голову не придетъ подумать, что это я *утверждаю и утверждаетъ* чистѣйшую ложь, неоснован-

ную рѣшительно ни на чемъ. Помѣщая въ своемъ журналѣ клевету Посторонняго Сатирика, Некрасовъ былъ навѣрное глубоко убѣжденъ въ томъ, что печатаетъ святую истину. А между тѣмъ, это—*клевета*, и Посторонній Сатирикъ самъ долженъ будетъ признать себя *клеветникомъ*, если не представитъ въ подтвержденіе своихъ словъ фактическихъ доказательствъ, то—есть, если не укажетъ печатно на тогъ номеръ журнала, въ которомъ были изложены взгляды Григорьева, совпадающіе съ моими взглядами на Катерину. Но за статью «Денежное несчастье съ Благосвѣтловымъ» отвѣтственность падаетъ на редактора, потому что тутъ дѣло не въ фактахъ, а въ тенденціи. Некрасовъ долженъ былъ сообразить, что, печатая эту статью, онъ возстаетъ противъ принципа гласности, когда этотъ принципъ прилагается къ отношеніямъ литераторовъ между собой. Кто громитъ Лохвицкаго, тому возставать противъ гласности не приходится.—Затѣмъ прощайте, господа. *Dominus vobiscum!*

## ПЕРЕЛОМЪ ВЪ УМСТВЕННОЙ ЖИЗНИ СРЕДНЕВѢКОВОЙ ЕВРОПЫ,

### I.

Въ средневѣковыхъ государствахъ господствовала такая путаница политическихъ элементовъ, о которой человекъ XIX столѣтія съ трудомъ можетъ составить себѣ ясное и отчетливое понятіе. О разграниченіи судебныхъ, административныхъ и законодательныхъ властей нечего было и думать. Невозможно даже опредѣлить, гдѣ кончается господство церковной іерархіи и гдѣ начинается дѣятельность свѣтской власти. Все зависѣло отъ частныхъ обстоятельствъ, мѣста и времени. Все обуславливалось наклонностями, дарованіями и минутными интересами отдѣльных личностей, державшихъ въ своихъ рукахъ ту или другую отрасль общественной власти. Разумѣется, хаосъ былъ всего сильнѣе въ первые вѣка послѣ великаго переселенія народовъ. Всѣ умные правители, начиная отъ Теодориха Великаго, старались распутывать и приводить въ порядокъ нестройные элементы общественной жизни. Но хаосъ на всѣхъ пунктахъ упорно отстаивалъ свое нелѣпое существованіе. То, что называется духомъ времени—именно мысли, чувство и страсти тогдашнихъ людей,—шло въ разрѣзъ съ самыми умными и добросовѣстными привычками организаторовъ. Чтѣ сильнѣй и геніальнѣй человекъ устраивалъ втеченіи цѣлой жизни съ изумительной настойчивостью и съ громадными усиліями, то разваливалось послѣ его смерти само-собой или разстроивалось въ какое-нибудь десятилѣтіе слабыми и глупыми преемниками безъ малѣйшаго труда. Личныя страсти, неукротенныя образованіемъ, рвали и ломали всѣ рамки общественной жизни. Чтобы эти страсти улеглись и подчинились контролю разума, необходима была не желѣзная воля какой-нибудь одной, хотя-бы и геніальной личности, а долговременное, постоянное, глухое, но неотразимое вліяніе цѣлыхъ

вѣковъ. Надо было, чтобы дикари переродились въ гражданъ, а всякія перерожденія органическихъ существъ совершаются въ природѣ съ такою невыносимой медленностью, которая всегда приводитъ въ отчаяніе всѣхъ историческихъ дѣятелей, успѣвшихъ переродиться раньше своихъ современниковъ.

Для католической іерархіи средневѣковая путаница общественныхъ отношеній была очень выгодна. Пользуясь хаосомъ понятій и учреждений, іерархія захватила въ свои руки всю жизнь средневѣковаго общества и начала диктаторскимъ тономъ произносить свои приговоры въ такихъ дѣлахъ, которыя никакое благоустроенное государство въ мірѣ никогда не рѣшится отдать въ распоряженіе церкви. Конечно европейскіе дикари были совсѣмъ не такіе люди, чтобы безусловно подчиняться кому-бы то ни было, когда это подчиненіе было чрезчуръ невыгодно или стѣснительно. Въ самые золотые вѣка римскаго владычества личныя страсти сплошь и рядомъ брали вверхъ надъ суевѣріемъ. Полудикій баронъ или рыцарь, избитый какимъ-нибудь чрезчуръ задорнымъ аббатомъ или епископомъ, садился на коня, бралъ въ руки какое-нибудь дрекольѣ, колотилъ крестьянъ своего обидчика, вытаптывалъ ихъ поля, при случаѣ захватывалъ въ плѣнъ неприкосновенную личность самаго церковнослужителя, прикасался къ этой личности очень безцеремонно и, закусивши такіе образцы удила, не смирялся даже передъ проклятыми соборами и папой. Но церковь все-таки одерживала верхъ. Дикіе феодалы умѣли только драться, а представители церкви умѣли кромѣ того интриговать, аргументировать, опутывать своихъ противниковъ клеветными трактатами, подблуживать старинные документы и, что всего важнѣе, вести общими силами стройную и послѣдовательную политику тамъ, гдѣ

ихъ свѣтскіе и безграмотные противники дѣйствовали въ разсыпную, безъ всякаго плана, по внушенію личной страсти или подъ вліяніемъ ближайшаго, мелкаго и мимолетнаго интереса.— На средневѣковомъ латинскомъ языкѣ слово «clericus» имѣло два значенія: во-первыхъ,—церковникъ, причетникъ; во-вторыхъ,—грамотный человѣкъ. Соединеніе этихъ двухъ значеній въ одномъ словѣ показываетъ ясно, что было время, когда всѣ грамотные люди входили въ составъ духовенства. Вмѣстѣ съ грамотностью духовенство удерживало въ своей средѣ и скудные остатки классической образованности. Это обстоятельство, разумѣется, давало духовенству огромный перевѣсъ надъ представителями свѣтской власти. Духовныя лица занимали важнѣйшія государственныя должности и, пользуясь самымъ высокимъ положеніемъ, поддерживали съ нетерпимой энергіей всѣ интересы своего сословія и всѣ неумѣреннѣйшія требованія церковной іерархіи. Когда грамотность начала распространяться между свѣтскими людьми, когда свѣтскіе люди начали составлять себѣ общія понятія о теченіи государственныхъ дѣлъ, тогда они увидѣли, что церковь захватила все, и что императоры, короли, герцоги и всѣ прочіе владетели земли превращены *de jure*, если не *de facto*, въ крѣпостныхъ работниковъ римскаго первосвященника. Тогда началась борьба, не такая, какую вели прежде разрозненные бунты, а борьба систематическая, въ которой уже обѣ стороны—папство и свѣтская власть—стали драться и оружіемъ, и аргументами, и насилиемъ, и надувательствомъ, и ссылками на вымышленные или подложные историческіе документы.

Разсмагивать причины или предлоги каждой отдѣльной схватки я конечно не буду. Причина въ сущности была всегда одна и та-же: обѣимъ властямъ хотѣлось развернуться пошире, а предлогъ найти было ужъ очень нетрудно при тогдашней неопредѣленности всѣхъ правъ, обязанностей и отношеній. Гораздо интереснѣе будетъ бросить бѣглый взглядъ на приемы, употреблявшіеся въ этой борьбѣ обѣими сторонами. Любопытно посмотрѣть, на какія общественныя силы опирались съ одной стороны—папа, съ другой стороны—императоръ и короли. Не мѣшаетъ также взвѣсить и измѣрить количество той добросовѣстности и деликатности, которую обнаруживали обѣ стороны въ выборѣ и употребленіи политическихъ средствъ.

Для достиженія этихъ двухъ цѣлей всего удобнѣе будетъ разсказать нѣсколько наиболѣе замѣчательныхъ эпизодовъ изъ этой драматической борьбы. Разказы эти покажутъ читателю, въ чемъ заключалось вліяніе этой борьбы на умственную жизнь средневѣковой Европы. Я начну съ XIII вѣка, потому что фізіономія предыдущихъ столѣтій была уже очерчена мною въ статьѣ

«Историческое развитіе Европейской мысли», помѣщенной въ 3 томѣ моихъ «Сочиненій».

## II.

Въ 1198 году на папскій престолъ вступилъ, поѣхъ именемъ Иннокентія III, тридцати-семилѣтній умный и энергическій итальянецъ, графъ Сеньи. Онъ тотчасъ началъ борьбу противъ свѣтской власти въ самомъ Римѣ, въ Италіи и во всей Европѣ. Онъ повторилъ и поддерживалъ втеченіи всей своей жизни всѣ требованія Григорія VI, подчинившаго папской власти, по крайней мѣрѣ въ теоріи, всѣхъ государей католическаго міра. Прежде всего онъ разбѣшилъ жителей Рима и другихъ городовъ папской области отъ присяги императору; всѣхъ чиповниковъ, назначенныхъ императоромъ, онъ или смѣнилъ, или подчинилъ себѣ. Чтобы навсегда загородить нѣмцамъ путь въ среднюю Италію, онъ убѣдилъ тосканскіе города составить федерацію, подобную той, которая уже давно существовала въ Ломбардіи и которая уже не разъ дѣлала императорамъ много хлопотъ и непріятностей. Работая такимъ образомъ противъ свѣтской власти, папа поневолѣ принужденъ былъ опираться на республиканскій и демократическій элементъ. Но такъ какъ этотъ элементъ былъ опасной игрушкой въ рукахъ римскаго первосвященника, то Иннокентій избралъ другое оружіе для борьбы съ свѣтской властью, а именно—интригу и обманъ одного властителя и съчетъ другого, смотря по надобности. Соперники зорко слѣдили другъ за другомъ, подсиживали одинъ другого и пользовались всѣмъ, что могло ослабить или опрокинуть оплошавшаго врага. И мнѣ еще не разъ придется замѣтить, что, взаимно подкапывая другъ друга, представители двухъ враждующихъ принциповъ оказывали, помимо собственнаго желанія, драгоцѣннѣйшія и незамѣнимыя услуги развитію народной свободы и прогрессивному движенію европейской мысли.

Въ первыя двѣнадцать лѣтъ своего царствованія неумолимый Иннокентій III успѣлъ перессориться со всѣми сильнѣйшими государями католическаго міра. Въ 1199 году онъ отлучилъ отъ церкви Филиппа-Августа французскаго; въ 1208—Іоанна Безземельнаго англійскаго; въ 1210—Оттона IV германскаго. Проклятая государей, Иннокентій въ то-же самое время вытягивалъ изъ ихъ государствъ людей и деньги. Въ двѣнадцать лѣтъ онъ успѣлъ напавать въ разныя стороны три крестовые похода: одинъ—въ Палестину, другой—въ Испанію противъ мавровъ, третій—въ южную Францію противъ еретиковъ. Эти подвиги Иннокентія тѣмъ болѣе замѣчательны, что крестовые походы въ это время уже потеряли прелесть новизны; они продолжались уже цѣлое столѣтіе; Европа была утомлена пожертвованіями и неудачами; надежда слабѣла, энтузіазмъ угасалъ; рождалось не-

чальное подозрѣніе, что деньги расходятся по карманамъ итальянскихъ прелатовъ; подозрѣніе это высказывалось даже такъ громко, что Иннокентій, приказавши духовенству проповѣдывать новый крестовый походъ, былъ принужденъ сдѣлать особенное распоряженіе. «Онъ объявилъ, — говоритъ Шлоссеръ, — что жертвуетъ на крестовый походъ десятую часть своихъ доходовъ, и обложилъ все духовенство западной церкви сборомъ на это предпріятіе по полтора процента со всѣхъ церковныхъ доходовъ; когда же стали говорить, что онъ возьметъ эти деньги себѣ, Иннокентій приказалъ, чтобы каждый епископъ при содѣйствіи одного іюнита и одного тамплиера раздавалъ собранныя суммы крестоносцамъ своей епархіи.»

Хотѣлъ ли не хотѣлъ Иннокентій зажить по жертвованію благочестивыхъ католиковъ, это — дѣло его личной совѣсти, которой приходилось рѣшать много подобныхъ вопросовъ. Для историка же чрезвычайно важенъ и интересенъ тотъ фактъ, что уже въ началѣ XIII вѣка общественное мнѣніе такъ или иначе контролировало поведеніе папъ, и что даже такой желѣзный человѣкъ, какъ Иннокентій III, не могъ оставаться совершенно равнодушнымъ къ неопредѣленному говору толпы. Чтобы снова поднять на ноги утомленную Европу, Иннокентій употреблялъ всѣ средства; въ циркулярахъ своихъ онъ повторялъ съ дикой энергіей насмѣшки магометанъ надъ безспіемъ христіанской религіи. «Гдѣ, — говорилъ онъ отъ лица магометанъ, — гдѣ вашъ Богъ, когда Онъ не можетъ избавить васъ отъ нашихъ рукъ? Смотрите! мы осквернили ваши святилища, мы простерли впередъ наши руки, мы взяли съ перваго приступа, мы держимъ въ обиду вамъ эти ваши желанныя мѣста, въ которыхъ зародилось ваше суевѣріе. дѣже вашъ Богъ! Пускай подвигнется! Пусть придетъ спасать васъ и самого Себя! — Если ты въ самомъ дѣлѣ Сынъ божій, защити себя, если можешь: вырви изъ нашихъ рукъ страну, въ которой Ты родился. Возврати поклонникамъ креста твой крестъ, который мы захватили.»

Этотъ риторическій пріемъ Иннокентія имѣетъ конечно свои достоинства; онъ могъ подѣйствовать, какъ испанская мушка или какъ хорошій ударъ кнута на чувство утомленныхъ, но искреннихъ католиковъ. Онъ могъ вызвать еще нѣсколько судорожныхъ усилій; но нельзя не замѣтить, что, пуская въ ходъ такое краснорѣчіе, папа ставилъ на карту отчаянно-крупный кушъ. Онъ самъ ревностно распространялъ въ массѣ католическаго населенія ту чрезвычайно-опасную и соблазнительную мысль, что истинность и достоинство религіи могутъ и даже должны измѣряться успѣхомъ чисто-земного предпріятія. И эта мысль прививалась особенно легко къ умамъ тогдашнихъ европейцевъ. Ордалии и судебный исединокъ считались въ то время превосходны-

ми юридическими доказательствами. Если какой-нибудь Иванъ обвинялъ какую-нибудь Марью въ томъ, что она завела себѣ любовника, то Марья не зачѣмъ было оправдываться фактическими и логическими аргументами: надо было только, чтобы ея любовникъ, или какой-нибудь другой человѣкъ убилъ или изувѣчилъ Ивана въ назначенное время на опредѣленномъ мѣстѣ и при законныхъ свидѣтеляхъ; тогда Ивана объявляли подлымъ клеветникомъ, а Марью — целомудренной женщиной. Если приводили въ судъ старуху, обвиненную въ колдовствѣ, то судья не зачѣмъ было разбирать вопроса, дѣйствительно-ли она совершила взведенное на нее преступленіе и возможно-ли такое преступленіе вообще? — «Бросить старуху въ прудъ», командовалъ судья. — Старуху раздѣвали и бросали; если она шла ко дну, ее вытаскивали и отправляли домой; если она оставалась на поверхности воды, ее сжигали, потому что тогда уже невозможно было сомнѣваться въ томъ, что она дѣйствительно — колдунья и любовница сатаны. — Въ одномъ народномъ собраніи германцевъ возникъ вопросъ: должны-ли дѣти вступать во владѣніе отцовскимъ наслѣдствомъ при жизни своего отца? Одни говорили въ пользу дѣтей, другіе поддерживали права дѣда. Голоса раздѣлялись поровну; тогда положено было рѣшить спорный вопросъ судомъ божьимъ. Каждая сторона выдвинула одинаковое число бойцовъ. Партія дѣтей побѣдила, и законъ былъ составленъ въ ихъ пользу. Гражданскія тяжбы, уголовные процессы и законодательные вопросы съ одинаковымъ успѣхомъ рѣшались испытаніемъ или поединкомъ, немѣющимъ ничего общаго съ внутреннимъ смысломъ разбиремаго дѣла.

Понятно, что простые и недалеконвидные люди были не прочь отъ того, чтобы прикладывать тотъ же самый привычный масштабъ къ религиознымъ вопросамъ. Простодушный фанатикъ Францискъ, основаній съ разрѣшенія Иннокентія III орденъ нищенствующихъ монаховъ францисканцевъ, вздумалъ проповѣдывать христіанство египетскому султану и при этомъ дошелъ до такого пагуба, что предложилъ испытать посредствомъ суда божія, которая изъ двухъ религій лучше, — христіанство или магометанство. «Прикажи, — говорилъ онъ, — зажечь два костра: на одинъ я брошусь, а на другой пусть бросится кто-нибудь изъ твоихъ имамовъ: кто изъ насъ останется живъ и здоровъ тотъ и правъ.» Султану это предложеніе показалось остроумнымъ, но неисполнимымъ. «Нашихъ имамовъ, — замѣтилъ онъ, — на эту шутку не поймаетъ: они знаютъ безъ всякихъ испытаній, что человѣку неудобно лежать въ огнѣ.» Но единовѣрцамъ Франциска это предложеніе вовсе не казалось забавнымъ; они были твердо увѣрены въ томъ, что Богъ непременно долженъ творить по первому

востребованію чуда для своих усердныхъ и незаблудающихся поклонниковъ.

Римская іерархія старалась поддерживать и эксплуатировать эту увѣренность во всѣхъ мелкихъ случаяхъ вседневной жизни. Въ мелкихъ случаяхъ эта тактика была дѣйствительно очень удобна, потому что мелкое чудо можно было поддѣлать разными дешевыми средствами. Такъ оно и дѣлалось. Но во всемъ надо знать мѣру. Не слѣдуетъ уподобляться глупому скрягѣ, зарѣзавшему золотоносную курицу. Католическіе іерархи ни подъ какимъ видомъ не должны были выходить изъ безопасной области мелкаго чудотворенія. Подвергать свой принципъ такому испытанію, которое по своей міровой колоссальности не допускало никакой подтасовки, — значитъ ставить на карту основной капиталъ, съ котораго можно было постоянно получать самые приличные проценты. Многимъ отдѣльнымъ папамъ, епископамъ и монахамъ крестовые походы доставили много денегъ, почета и могущества, но для теократическаго принципа они были губительны. Всѣ проповѣдники крестовыхъ походовъ говорили въ сущности то-же самое, что говорилъ Иннокентій III, хотя быть-можетъ въ ихъ выраженіяхъ было меньше горечи и энергіи. Всѣ они такъ или иначе возбуждали въ своихъ простодушныхъ слушателяхъ страстную надежду и фанатическую увѣренность, что самъ Богъ поведетъ крестоносное воинство къ желанной цѣли и поразитъ нечестивыхъ враговъ истинной религіи. «Того хочетъ Богъ! того хочетъ Богъ!» кричали на Клермонтскомъ соборѣ тысячи народа, выслушавъ рѣчи Петра Пустынника и папы Урбана II; и эти тысячи кинулись въ крестовый походъ совершенно слѣпо, безъ денегъ, безъ провіанту, почти безъ оружія и безъ малѣйшаго понятія о томъ, гдѣ лежитъ Святая земля и далеко-ли до нея, и какія встрѣчаются на пути трудности и опасности. Взрывъ религіознаго чувства былъ очень грандіозенъ, но зато и реакція была ужасно сильна. Извѣстно, что безнорядочныя массы, пошедшія за Петромъ Пустынникомъ, за Вальтеромъ Голякомъ и за Готшалкомъ, погибли, большей частью даже не добравшись до Малой Азіи. А массы эти были очень значительны; въ нихъ было слишкомъ 250,000 человекъ; и эти люди принадлежали къ самымъ низшимъ слоямъ народонаселенія. Легко представить себѣ, какое глубокое и неизгладимое впечатлѣніе долженъ былъ произвести трагическій исходъ великаго предпріятія навсѣхъ родственниковъ, друзей и сосѣдей погибшихъ фанатиковъ. Эти родственники, друзья и сосѣды были такъ неразвиты и такъ задавлены трудомъ, бѣдностью и притѣсненіями, что имъ было невозможно слѣдить за событіями политическаго и религіознаго міра; что-бы ни дѣлали папы и прелаты, императоры и короли, — эти простые люди все-таки не пустились-бы въ критическія

размышленія. Но тутъ, когда всемірная исторія проникла въ каждую бѣднѣйшую хижину, когда колоссальная борьба двухъ религій дала себя почувствовать каждому отдѣльному семейству, когда католическая политика отняла мужа у жены, брата у сестры, сына у матери, отца у малолѣтнихъ дѣтей, тогда поневолѣ вся Европа, отъ мала до велика, призадумалась надъ своими утратами и стала задавать себѣ вопросы: ведутъ-ли къ чему-нибудь всѣ эти пожертвованія? И дѣйствительно-ли того хочетъ Богъ?

То воодушевленіе, которое обнаружилось на Клермонтскомъ соборѣ, не повторилось больше никогда. Такіе порывы усердія обходятся слишкомъ дорого и вслѣдствіе этого ведутъ за собой горькое разочарованіе. Послѣ перваго крестоваго похода религіозная температура Европы вдругъ понизилась на значительное число градусовъ. Европу пришлось подогрѣвать искусственными средствами, и всѣ эти подогрѣванія, всѣ проповѣди Бернара изъ Клерво, Фулька изъ Нельси и другихъ монаховъ, всѣ циркуляры папъ производили только частичное, мѣстное вліяніе. Время общаго, свѣжаго, естественнаго энтузіазма прошло безвозвратно. Теперь спрашивается: умѣстно-ли, олагоразумно-ли, политично-ли было писать такіе неистовыя воззванія, какія пускалъ въ ходъ Иннокентій III? Одно изъ двухъ: или народы католической Европы могли слѣпо повѣрить словамъ папы, или-же они могли отнестись къ нимъ съ сомнѣніемъ. Второй случай крайне неудобенъ для теократическаго принципа, потому что папа, которому не вѣрить на слово, превращается въ простаго смертнаго; но этотъ второй случай все-таки лучше перваго, потому что, если-бы католики повѣрили Иннокентію совершенно слѣпо, если-бы они рѣшились испытать достоинство католицизма посредствомъ судебного поединка, произведеннаго въ громаднѣхъ размѣрахъ, то Иннокентій навѣрное оказался-бы послѣднимъ паной. Судебный поединокъ кончился-бы для католицизма полнѣйшимъ пораженіемъ, а тотъ крестовый походъ, который былъ устроенъ самимъ Иннокентіемъ, оказался не въ примѣръ скандальнѣе, безобразнѣе и неудачнѣе всѣхъ остальныхъ. Крестоносцы попали въ кабалу къ венеціанскимъ купцамъ, которые заставили ихъ платить натурой и притомъ впередъ за провозъ въ Палестину. Плата натурой состояла въ томъ, что крестоносное воинство принуждено было сдѣлать для венеціанцевъ нѣсколько завоеваній въ Далмаціи. Когда кончилась эта работа, тогда явилась вдругъ совершенно непредвидѣнная необходимость вѣшаться въ дѣла дряхлой Византійской имперіи. Крестоносцы взяли Константинополь, разграбили его, раздѣлили между собой провинціи покореннаго государства, основали такъ называемую Латинскую имперію и, удививши весь міръ совершенно не крестоноснымъ характеромъ своихъ подвиговъ, сочли свое

дѣло оконченнымъ, хотя они даже издали не видали не только стѣнъ Иерусалима, но даже береговъ Обѣтованной земли.

Другой крестовый походъ, затѣянный также Иннокентіемъ и направленный противъ еретиковъ южной Франціи, оказался несравненно удачнѣе палестинскаго предпріятія. Въ южную Францію сбѣжалась со всѣхъ сторонъ такая огромная толпа вооруженной сволочи, что еретики были совершенно задавлены и истреблены, несмотря на свое отчаянное сопротивление.

Неуспѣхъ палестинскаго похода, предпринятаго въ 1202 году, и успѣхъ альбигойской войны, начавшейся въ томъ-же десятилѣтіи, именно въ 1208 году, составляютъ, вмѣстѣ взятые, важное барометрическое указаніе для мыслящаго историка. Въ палестинскомъ походѣ религіозный мотивъ долженъ былъ стоять на первомъ планѣ. Путь былъ далекъ; трудности и опасности значительны; добыча совершенно ничтожна, потому что уже въ XIII столѣтіи можно было сказать о Палестинѣ:

Вотъ у ногъ Иерусалима,  
Богомъ сожжена,  
Безглагольна, недвижима  
Мертвая страна.

Значить, для успѣха предпріятія требовалось непременно религіозное воодушевленіе. Напротивъ того, въ альбигойской войнѣ можно было покончить все дѣло безъ дальнѣйшаго подогрѣванія католическихъ сердецъ. Театръ войны лежалъ подъ руками; дорога была отовсюду легкая и открытая; страна, «обреченная мечу и пожарамъ», была богата и привлекательна во всѣхъ отношеніяхъ; значить, надо было только найти добрыхъ людей, способныхъ рѣзать, жечь, грабить и безчинствовать. Такихъ людей въ тогдѣшней Европѣ было слишкомъ достаточно. Эти люди были очень невѣжественны и влѣдствие этого, разумѣется, довольно суевѣрны. Когда этимъ людямъ указали на легкую добычу, тогда они кинулись на нее съ величайшими удовольствіемъ. Когда же за любезное для нихъ дѣло разбоя и безчинства имъ посулили отпущеніе грѣховъ, тогда, разумѣется, они охотно повѣрили этому обѣщанію и еще усерднѣе принялись за свою работу. Герои альбигойской войны вѣрили всему, что имъ говорили аббаты и монахи, но вѣрили преимущественно потому, что еще не выучились ни въ чемъ сомнѣваться. Стремительная сила религіознаго чувства, воодушевляющаго людей XI вѣка, уже значительно ослабѣла въ XIII столѣтіи. Массы еще ни въ чемъ не сомнѣвались сознательно, но ко многому относились уже очень спокойно и дѣйствовали усердно въ пользу католицизма только тамъ и тогда, гдѣ и когда интересы католицизма совпадали съ ихъ собственными, личными наклонностями и матеріальными выгодами. Мнѣ кажется, что конецъ XI вѣка, именно время

Клермонтскаго собора и перваго крестоваго похода, составляетъ верховный пунктъ религіознаго энтузіазма въ католическомъ мірѣ. Послѣ этого начинается довольно быстрое пониженіе. Въ XIII столѣтіи горячій и поэтический элементъ католическаго фанатизма уже въ значительной степени успѣлъ улетучиться. Дальновидные защитники клерикальных принциповъ начинаютъ тревожиться и суетиться, имъ уже чего-то недостаетъ. Иннокентій III мечется во всѣ стороны, ругается, проклинаетъ, интригуетъ, учреждаетъ ордена нищихъ монаховъ и вообще показываетъ исторіи своей изумительной дѣятельностью и подвижностью, что вліяніе папства на умы уже требуетъ ремонта и что чувства католиковъ уже нуждаются въ подогрѣваніи.

### III.

Ссоры Иннокентія III съ королями французскимъ и английскимъ показываютъ очень наглядно, что папскія проклятія начинаютъ понижаться въ цѣнѣ. Въ 1193 году французскій король Филиппъ-Августъ, страда безденежьемъ—хронической и наследственной болѣзнью всѣхъ королевскихъ династій прекрасной Франціи,—предложилъ руку и сердце сестрѣ датскаго короля, Ингеборгъ, у которой наличныхъ денегъ было очень много. Бракосочетаніе совершилось въ августѣ 1193 года. На другой день послѣ свадьбы, когда новая королева должна была короноваться, супругъ ея объявилъ совершенно неожиданно, что никакъ не можетъ жить съ нею, потому что чувствуетъ къ ней непреодолимое отвращеніе. Къ деньгамъ-же ея Филиппъ чувствовалъ, на-противъ того, непреодолимую нѣжность и потому, разумѣется, никакъ не могъ разстаться съ ними. Поправивъ на нѣкоторое время свои денежные обстоятельства и озадачивъ Ингеборгу такимъ неожиданнымъ оборотомъ дѣла, Филиппъ весело и спокойно началъ составлять новые планы брачнаго союза, точно будто эпизодъ съ Ингеборгой никогда не существовалъ. Французскіе епископы по приказанію короля объявили его бракъ недействительнымъ и подали Ингеборгъ добродушный совѣтъ удалиться обратно въ Данію или поселиться въ какомъ-нибудь французскомъ монастырѣ. Ингеборга не соглашалась ни на то, ни на другое, но ея согласія никто не спрашивалъ, и Филиппъ безъ дальнѣйшихъ разсужденій посадилъ ее въ монастырь, гдѣ съ ней, какъ говоритъ Шлоссеръ, «обходились чрезвычайно дурно».

Тогдѣшній папа, дряхлый старикъ Целестинъ III, нашелъ всю эту процедуру не совсѣмъ правильной и передалъ это дѣло на разсмотрѣніе собора французскаго духовенства. Но между французскими прелатами нашлось мало охотниковъ ссориться съ Филиппомъ. «Епископы вели себя, — по выраженію одного современнаго писателя, —



какъ нѣмцы собаки, которыя, боясь за свою шкуру, не смѣли лаять» (Шлоссеръ, т. VII, стр. 115). Въ 1196 году Филиппъ, совершенно игнорируя Ингеборгу, продолжавшую сидѣть въ монастырѣ, женился на Маріи-Агнесѣ, дочери герцога Меранскаго, владѣвшаго обширными землями въ Германіи и находившагося въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ съ императоромъ Генрихомъ VI. Впродолженіи двухъ лѣтъ ничто не нарушало счастья обоихъ супруговъ. Но Иннокентій III, сдѣлавшись папой, поднялъ всю старую исторію Ингеборги съ самаго начала. Увидѣвъ со стороны Филиппа непобѣдимое упорство, онъ въ 1199 году наложилъ на Францію интердиктъ, то-есть запретилъ французскому духовенству совершать богослуженіе и церковныя требы. Ударъ былъ хорошъ, но коса нашла на камень. Сразившись съ Филиппомъ, Иннокентій встрѣтилъ себѣ такого противника, который не усталъ ему ни въ энергіи, ни въ изобрѣтательности. Папскій интердиктъ сдѣлался для короля новымъ источникомъ доходовъ. Чуть только какой-нибудь епископъ или аббатъ обнаруживалъ наклонность повиноваться папскому приказанію, Филиппъ тотчасъ отрѣшалъ его отъ должности и бралъ въ казну его имѣніе; такъ же крѣпо поступалъ онъ и съ баронами, которые, опираясь на папскій указъ, перестали считать короля своимъ сюзереномъ; если какой-нибудь городской магистратъ держалъ сторону папы, Филиппъ облагалъ городъ огромнымъ налогомъ. Папа принужденъ былъ уступить; онъ призналъ разводъ Филиппа и приказалъ своему легату созвать соборъ французскаго духовенства для того, чтобы придать всему дѣлу наружный видъ благообразія и законности. Но Филиппъ не согласился на этотъ послѣдній компромиссъ. Не обращая никакого вниманія на то, что происходитъ въ соборѣ, онъ взялъ Ингеборгу къ себѣ во дворецъ и сталъ жить открыто съ двумя женами. А Иннокентій въ 1201 году даже призналъ законными обоихъ дѣтей Маріи-Агнесы.

Во всей этой исторіи Филиппъ, какъ частный человѣкъ, поступалъ безсовѣстно, но, какъ политическій дѣятель, онъ держалъ себя превосходно. Папа заступился за оскорбленную и ограбленную женщину. Это очень похвально и великодушно съ его стороны; но *какъ* онъ заступился? Онъ положилъ интердиктъ на Францію; если бы его приказаніе было выполнено въ точности, то вѣтчевиіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, а можетъ-быть и лѣтъ, на всемъ пространствѣ французской территоріи новорожденные дѣти оставались-бы некрещеными, женихи и невѣсты — необвѣчанными, больные умирали-бы безъ исповѣди и причастія и мертвецы зарывались-бы въ землю безъ отпѣванія. Когда папское слово обладало такой силой, которая мгновенно могла парализовать дѣйствія духовенства въ цѣломъ королевствѣ, тогда, разумѣется, жители этого королевства вѣровали горячо и искренно въ непогрѣши-

мость папы. Стало-быть, когда интердиктъ не былъ пустымъ словомъ, тогда онъ былъ жестокимъ наказаніемъ. А на кого падало это наказаніе? на массу народа, на толпу простодушныхъ бѣдняковъ; и съ особенной тяжестью ложилось оно именно на ревностѣйшихъ защитниковъ папы, на его лучшихъ друзей, на самыхъ искреннихъ и усердныхъ католиковъ. Чтобы насолить сильному врагу, папа билъ въ самое чувствительное мѣсто своихъ слабыхъ и бѣдныхъ друзей. Интердиктъ клонился всегда къ той цѣли, чтобы возбудить въ государствѣ волненія и посредствомъ этихъ волнений довести провинившагося государя до необходимости покориться волѣ папы. Штука придумана недурно, но посмотрите, что изъ этого выходитъ. Положимъ, что цѣль интердикта достигнута; волненіе произошло; король смирился передъ папой; папа простилъ короля; миръ заключенъ къ обоюдному удовольствію высокихъ особъ; а потомъ что? Потомъ, разумѣется, король, успокоивши и обезпечивши себя со стороны духовнаго начальства, принимается очень серьезно и совсѣмъ не ласково за тѣхъ подданныхъ, которые своей непокорностью заставили его смириться передъ папой. Происходитъ въ грандіозныхъ размѣрахъ та сцена изъ «Ревизора», когда городничій, послѣ отъѣзда Хлестакова, бесѣдуетъ съ купцами: «А, самоварники! жаловаться?» — Непріятно было положеніе самоварниковъ, но положеніе возмущавшихся подданныхъ было еще гораздо неудобнѣе. Размѣры всей сцены были грандіозны; начинались нытки, вѣшанія, колесованія, четвертованія. И на кого сыпались всѣ эти несправедливости? Именно на самыхъ лучшихъ католиковъ, — на тѣхъ, которые шли безтрепетно на самую опасную борьбу, лишь бы только избавиться отъ невыносимаго для нихъ интердикта. А папа чего смотрѣлъ? Да папѣ до этого дѣла никакого не было; до него можетъ-быть и слухи объ этихъ казняхъ не доходили; великая важность, что два-три десятка неспокойныхъ людей отправятся на плаху, на висѣлицу, въ застѣнокъ и на колесо; въ средніе вѣка на подобныя мелочи ни одинъ порядочный человѣкъ не обращалъ никакого вниманія. Да и не могъ-же папа требовать отъ короля, чтобы онъ остановилъ въ своихъ владѣніяхъ правильный ходъ уголовнаго правосудія. Мятежниковъ слѣдуетъ наказывать, и церковь можетъ только напутствовать ихъ своими молитвами. Вотъ настоящее значеніе того механизма, который назывался интердиктомъ и который не разъ пускался въ ходъ съ самымъ полнымъ успѣхомъ въ цвѣтущія времена клерикальнаго абсолютизма.

Теперь не трудно будетъ понять, почему я замѣтилъ выше, что Филиппъ-Августъ дѣйствовалъ, въ ссорѣ своей съ папой, какъ превосходный политическій дѣятель. Папа по обыкновенію смотрѣлъ на массу народа, какъ на средство, какъ на *chair à canon*, какъ на подножіе своего

святительскаго престола. Ему не было дѣла до того, что народъ будетъ страдать отъ прекращенія богослуженія, что онъ будетъ волноваться и что за эти волненія его будутъ бить и разорять. Такъ оно и должно быть, думалъ папа; народъ на то и созданъ, чтобы держать на своихъ плечахъ все бремя моего могущества. Въ мирное время онъ долженъ давать мнѣ свои деньги, въ военное время—свою кровь. Безъ этого и папой быть не стоитъ, да и невозможно. Но Филиппъ-Августъ поставилъ вопросъ иначе. Ты, святой отецъ, думалъ онъ, на кого сердиться? На меня? Прекрасно. За что? За то, что я на двухъ женахъ женатъ? Превосходно. Вотъ ты и ухитрись наказать меня, именно меня, преступнаго двоеженца. Попробуй достать меня, если руки не коротки. А французовъ моихъ не трогай. Они тутъ ни при чемъ. Имъ отъ моихъ двухъ бракосочетаній не досталось ни денегъ, ни удовольствій. А кто вздумаетъ исполнять твое глупое приказаніе и тиранить моихъ подданныхъ, отказывая имъ въ томъ, что для нихъ составляетъ глубочайшую потребность, съ тѣмъ я сумѣю распорядиться по-своему. Ужъ и твердость Филиппа сдѣлала то, что грозный интердиктъ остался для Франціи мертвой буквой. Не было ни безтолковыхъ волненій, ни безиллоныхъ казней.

Глубокій и роковой трагизмъ того положенія, въ которомъ уже съ XIII вѣка находилась римская теократія, заключается именно въ томъ, что самыя энергическія мѣры, предпринимаемыя для возвышенія и укрѣпленія папскаго авторитета, обращались неизбѣжно во вредъ тому дряхлѣющему принципу, который они должны были поддерживать. Разумѣется, папство въ XIII вѣкѣ было еще очень сильно, но оно уже не могло ни подниматься вверхъ, ни даже остановиться на той высотѣ, которую оно занимало. Оно неизбѣжно должно было спускаться внизъ, и никакія усилія даровитыхъ личностей, подобныхъ Иннокентію III, могущественныхъ корпорацій, подобныхъ монашескимъ орденамъ, и специальныхъ учрежденій, подобныхъ инквизиціи, не могли остановить этого необходимаго паденія. Чего-чего только не придумывалъ Иннокентій, и все шло совсѣмъ не туда и не такъ, куда и какъ сдѣлало-бы идти по его клерикальнымъ соображеніямъ. Поднялъ крестовый походъ—вышелъ европейскій скандалъ, крестоносцы осрамились; ѣхали они въ Палестину, а пріѣхали въ Константинополь. Вступился за угнетенную женщину, захотѣлъ пострадать безсовѣстнаго супруга,—вышла ничтожнѣйшая демонстрація, отъ которой потомъ самому пришлось отказываться. Супругъ попрежнему остался безсовѣстнымъ, и папѣ пришлось поощрять двоеженство, признавая законность дѣтей, родившихся отъ второй жены при жизни первой. Наступали тяжелыя времена.

#### IV.

Тенденціи XIII вѣка воплотились съ особенной

силой въ личности и дѣятельности германскаго императора Фридриха II, того самаго Фридриха, который въ дѣтствѣ своемъ, будучи королемъ сицилійскимъ, находился подъ опекой Иннокентія III. — Фридрихъ былъ во всѣхъ отношеніяхъ передовымъ человѣкомъ своего времени. Но, произнося о немъ такое сужденіе, мы должны твердо помнить, что передовые люди XIII вѣка нисколько не похожи на передовыхъ людей XIX столѣтія. Въ наше время передовой человѣкъ долженъ быть непременно умнымъ, честнымъ и гуманнымъ человѣкомъ; онъ долженъ работать всѣми своими силами на пользу своихъ согражданъ и современниковъ, долженъ любить свою полезную дѣятельность больше всего на свѣтѣ и долженъ понимать совершенно сознательно, къ чему клонятся всѣ его труды и жертвованія. Но въ XIII вѣкѣ *такихъ* передовыхъ людей не было и не могло быть. А были *другіе* передовые люди, и самымъ крупнымъ изъ этихъ другихъ, какъ по положенію, такъ и по личнымъ талантамъ, былъ императоръ Фридрихъ II.

Сильный умъ составляетъ необходимое условіе для всѣхъ передовыхъ людей, къ какому-бы вѣку они ни принадлежали. Передовые люди отпочаляются отъ массы своихъ современниковъ именно тѣмъ, что прямо, смѣло и сознательно ихъ ставятъ и рѣшаютъ общіе вопросы, вытекающіе изъ данныхъ обстоятельствъ мѣста и времени. Гдѣ масса бредетъ ошупью, робѣя и спотыкаясь на каждомъ шагѣ, тамъ передовой человекъ идетъ твердой и развязной походкой. Для такой твердости и развязности очевидно необходима природная сила ума, укрѣпленная возможно лучшимъ образованіемъ. Но честность, гуманность, сознательное стремленіе къ общей пользѣ, разныя другія хорошія качества, переплеленныя мною выше, вовсе не составляютъ во *всякое время* необходимыхъ атрибутовъ передового человѣка. Напротивъ того, бывають такія историческія эпохи, когда эти качества именно въ передовомъ человѣкѣ совершенно невозможны и немыслимы. Бывають такія эпохи, когда передовые люди, то-есть умнѣйшіе, неизбѣжно дѣлаются безчестными, жестокими и свекорыстными личностями. Отсталые-же люди въ это самое время могутъ блистать самыми трогательными и возвышенными добродѣтелями. XIII вѣкъ представляетъ намъ одну изъ такихъ трагическихъ эпохъ.

Чтобы убѣдиться въ справедливости моего замѣчанія, стоитъ только сравнить передового человѣка Фридриха II съ отсталымъ человѣкомъ Людовикомъ IX. У перваго безсовѣстность была возведена въ принципъ, второй никогда въ жизни не измѣнялъ данному слову. Еслибы Фридрихъ II и Людовикъ IX оба были живы теперь, то, разумѣется, я-бы вамъ сказалъ: держите ухо остро съ первымъ и смѣло довѣряйте второму

ваши деньги, вашу честь, вашу сестру, жену или дочь, словомъ все, что хотите. Но въѣдъ достовѣрно извѣстно, что оба они скончались; поэтому и разсуждать о нихъ слѣдуетъ совсѣмъ не такъ, какъ мы разсуждаемъ о живыхъ людяхъ, способныхъ насъ обокрасть, зарѣзать или ошельмовать. Когда мы становимся на всемірно-историческую точку зрѣнія, то-есть когда мы задаемъ себѣ вопросъ: какиимъ путемъ шло человечество къ своему теперешнему положенію?—тогда всѣ отдаленныя личности, Фридрихи, Людовики, Иннокентіи, Колумбы, Лютеры, Гуттенберги, становятся для насъ отвлеченными величинами. Встрѣчаясь съ какиимъ-нибудь собственнымъ именемъ, мы прежде всего задаемъ ему вопросъ: ты что такое? Ты—плюсъ или минусъ? То-есть, другими словами: куда ты толкалъ людей—впередъ или назадъ? А чѣмъ толкалъ—добродѣтелями или пороками, умомъ или глупостью, дѣятельностью или праздностью?—Это вопросы, которые мы задаемъ себѣ не для того, чтобы хвалить или порицать толкавшую личность, а для того, чтобы изучить въ подробностяхъ самый механизмъ толканія. Поэтому, встрѣчаясь съ Фридрихомъ II, мы говоримъ: это—плюсъ; это—передовой челоѣкъ, который шибко толкалъ людей впередъ. А чѣмъ толкалъ?—Умомъ и безсовѣстностью. Встрѣчаясь съ Людовикомъ IX, мы говоримъ: это—минусъ; это—отсталый челоѣкъ; онъ упорно тянулъ людей назадъ. А чѣмъ?—Тупоуміемъ.

Спрашивается теперь, почему-же въ политическомъ мірѣ XIII вѣка умъ и добросовѣстность взаимно исключали другъ друга? То-есть почему передовой политическій дѣятель того времени и настоящій двигатель общечеловѣческаго прогресса никакъ не могъ быть честнымъ челоѣкомъ? А вотъ видите-ли: бываютъ въ исторіи эпохи органическія и эпохи критическія, или, другими словами, эпохи положительныя и эпохи отрицательныя. Во время эпохъ органическихъ или положительныхъ система вѣрованій, идей и бытовыхъ формъ складывается, растетъ и укрѣпляется. Во время эпохъ критическихъ или отрицательныхъ готовая система дряхлѣетъ и разрушается. Въ XII вѣкѣ закончилась органическая эпоха католицизма. Съ XIII вѣка уже ясно начиналась для него критическая эпоха. Въ IX, въ X и въ XI вѣкѣ умнѣйшіе европейцы были еще искренними католиками. Умнѣйшіе европейцы XIII вѣка оказываются уже индифферентистами и скептиками. И еслибы въ умахъ тогдашнихъ европейцевъ не совершился этотъ поворотъ, то на земномъ шарѣ до настоящей минуты не было-бы ни желѣзныхъ дорогъ, ни электрическихъ телеграфовъ, ни телескопа, ни микроскопа, ни химіи, ни фізіологіи, ни медицины. Папская власть систематически давила-бы всѣ зародыши научнаго изслѣдованія. Всякому же извѣстенъ тотъ фактъ, что римская инкви-

зиція осудила Галилея за астрономическія открытія, и что въ училищахъ Церковной Области будутъ отрицать движеніе земли до тѣхъ поръ, пока Викторъ-Эммануиль или его преемники не овладѣютъ Римомъ. Стало-быть, кто дорожитъ приобрѣтеніями европейской науки и произведеніями европейской промышленности, тотъ долженъ сказать прямо, что индифферентизмъ къ папскому принципу XIII-го и слѣдующихъ вѣковъ былъ безусловно необходимъ для нашего теперешняго благосостоянія. Но индифферентистъ очевидно не можетъ обладать тѣми симпатичными качествами характера, которыми отличается мечтатель и энтузіастъ. Но само собой разумѣется, чистый типъ энтузіаста, какъ и все чистое, бываетъ во всякое время чрезвычайно рѣдокъ. Въ эпохи похвального энтузіазма обыкновенный челоѣкъ всегда бываетъ только *немножко* энтузіастомъ, и это *немножко* пламеетъ въ его натурѣ на значительномъ количествѣ бездревесныхъ, чичиковскихъ, плушкинскихъ или какихъ-нибудь другихъ пошевъ такого-же высокаго достоинства. Эти пѣгіе энтузіасты, разумѣется, любятъ другъ друга немножко, а грызутъ другъ друга много, потому что поступки ихъ опредѣляются преимущественно ихъ личной грязью, а не общимъ ихъ воодушевленіемъ. Если хотите взглянуть на чистаго энтузіаста, возьмите Людовика IX. Чище его вы не найдете, да и врядъ-ли найдете другого такого челоѣка между политическими дѣятелями католическаго міра. Но этотъ поборникъ папскаго принципа могъ развернуть свои силы съ пользой для челоѣчества въ VI или въ VII вѣкѣ, а никакъ не въ XIII. Ему надо было жить во времена Григорія I и дѣйствовать заодно съ миссіонеромъ Бонифаціемъ, обращавшимъ въ христіанство прирейнскихъ германцевъ и погибшимъ смертью мученика въ землѣ дикихъ фризцовъ. При такихъ условіяхъ Людовикъ былъ-бы передовымъ и полезнымъ челоѣкомъ, потому что во времена миссіонера Бонифація историческая задача, стоявшая на очереди, заключалась въ томъ, чтобы связать единствомъ какой-нибудь высшей идеи разрозненныя племена европейскихъ дикарей. Но въ XIII вѣкѣ стояла на очереди совсѣмъ другая историческая задача. Надо было во что-бы то ни стало поколебать силу папства. А кто могъ въ то время сражаться съ папствомъ и одерживать надъ нимъ побѣды? Разумѣется, не теоретики, не ученые, не мыслители. На всѣ аргументы этихъ людей папство отвѣчало-бы тѣми неопровержимыми доводами, которыми оно побѣдило вольнодумцевъ южной Франціи. Мудрено аргументировать противъ такого принципа, который отстаиваетъ свою неприкосновенность огнемъ и желѣзомъ. Бороться съ папствомъ могли въ XIII вѣкѣ только тѣ люди, которые сами держали въ рукахъ огонь и желѣзо.

Но какія побудительныя причины должны бы-

ли вовлечь свѣтскую власть въ борьбу съ папствомъ? За какую-нибудь идею свѣтская власть бороться не могла; энтузіазма невозможно ожидать отъ ея представителей. Въ XIII столѣтіи не зарождались еще идеи сознательнаго человѣколюбія и безконечнаго прогресса XVIII вѣка. Столкновеніе между папствомъ и свѣтской властью могло произойти только изъ личныхъ, узкихъ и мелкихъ интересовъ. Деньги и господство — вотъ яблоко раздора между клерикалами и феодалами. Властолюбіе и корыстолюбіе — вотъ двигатели важнѣйшихъ историческихъ событій, колебавшихъ зданіе папства. Въровать въ не погрѣшимость папы умные политики XIII вѣка уже не могли; любить людей и работать для общаго блага они еще не умѣли. Стало-быть, имъ оставалось только жить по возможности въ собственное удовольствіе, копить или тратить на грабленныя деньги, вести опустошительныя войны и безсовѣстные интриги единственно для того, чтобы наслаждаться ощущеніемъ собственнаго могущества, физическаго и умственнаго. И чѣмъ умнѣе былъ политическій дѣятель того времени, тѣмъ безграничнѣе была его безсовѣстность. А выработать себѣ новыя идеи онъ все-таки былъ не въ состояніи, какъ-бы ни былъ онъ гениаленъ. Въ той жизни, которая его окружала, не было еще никакихъ матеріаловъ для выработки этихъ новыхъ идей. И поэтому для умнаго политика XIII вѣка существовало только одно нравственное правило: не зѣвай, то-есть умѣй всегда, какими бы то ни было средствами, устраивать такъ, чтобы матеріальная сила была на твоей сторонѣ. Такими передовыми людьми XIII столѣтіе было очень богато; и такіе люди, похожіе на хищныхъ звѣрей, опасные для союзниковъ и для враговъ, оказали своей дѣятельностью незаменимую услугу развитію европейскаго ума. Ихъ дрянныя страсти, ихъ полнѣйшая безсовѣстность, ихъ неукротимая энергія и ихъ изворотливый умъ, взятые вмѣстѣ и соединенные притомъ съ матеріальной силой, сдѣлали ихъ такими опасными бойцами, противъ которыхъ никакъ не могло устоять папское могущество, еслибы оно рѣшилось держать въ отношеніи къ нимъ строгооборонительную тактику. А когда дрянныя страсти властолюбивыхъ и корыстолюбивыхъ политиковъ расшатали папское зданіе, тогда явилась для европейцевъ возможность наблюдать, размышлять, учиться, дѣлать открытія и распространять знанія въ обществѣ.

Теперь мы можемъ обратиться къ біографіи Фридриха II, умнѣйшаго и безсовѣстнѣйшаго изъ передовыхъ людей XIII вѣка. Это — Филиппъ-Августъ въ болѣе крупныхъ размѣрахъ.

## V.

Сицилійское королевство Фридриха II, лежащее по обѣ стороны Мессинскаго пролива, было самымъ промышленнымъ, самымъ бога-

тымъ и самымъ образованнымъ государствомъ тогдашней Европы. Сицилія и южная Італія были наполнены арабами и евреями; какъ и вездѣ, эти двѣ народности, отличаясь трудолюбіемъ, предприимчивостью и смысленностью, дали сильнѣйшій толчокъ экономическому и умственному развитію страны. Земледѣліе, фабричная промышленность и торговля Сицилійскаго королевства находились въ цвѣтущемъ состояніи. Умственная жизнь страны сосредоточивалась въ трехъ знаменитыхъ училищахъ, привлекавшихъ въ предѣлы государства тысячи любознательныхъ иностранцевъ. Въ Салерно славилась школа медицины и естественныхъ наукъ; преподавателями были арабы и евреи; благодаря ихъ усиліямъ, скептическая философія арабовъ, отрѣшившихся въ то время отъ поклоненія корану, пускала корни въ умы разноплеменныхъ слушателей, которые потомъ распространяли тѣ-же идеи во всѣхъ концахъ католической Европы. Другая школа, въ Амальфіи, формировала юристовъ, смотрѣвшихъ на государственныя учрежденія совершенно не такъ, какъ того желали клерикалы. Эти средневѣковые законовѣды во всѣхъ столкновеніяхъ церкви съ свѣтской властью поддерживали послѣднюю всеми правдами и неправдами утонченной юридической діалектики. Тутъ безсовѣстность облекалась всегда въ приличныя и величественныя формы. Третья школа, въ Неаполѣ, была также посвящена правовѣднѣю.

Роскошный климатъ Сициліи и блестящая обстановка богатаго двора развили въ молодомъ Фридрихѣ наклонность къ чувственнымъ наслажденіямъ. Сдѣлавшись королемъ на третьемъ году жизни и выросши безъ отца и безъ матери среди придворныхъ льстецовъ, онъ остался до самой смерти страстнымъ и непреклоннымъ властолюбцемъ. Получивши блестящее образованіе, онъ смотрѣлъ на поэзію, на искусства и на науки очень благосклонно, какъ на хорошее средство украшать и разнообразить жизнь различныхъ меценатовъ, подобныхъ ему самому. Онъ любилъ держать при своемъ дворѣ мыслителей и поэтовъ; онъ даже самъ въ свободныя минуты занимался римоплеетствомъ вмѣстѣ съ своимъ канцлеромъ и другомъ, Петромъ а-Винсисъ. Арабы, евреи, поэты, мыслители, придворные, все, что окружало молодого Фридриха, все было насквозь пропитано скептицизмомъ, не слыхомъ глубокимъ, но очень заразительнымъ. Двусмысленныя распоряженія королевскаго опекуна, Иннокентія III, запуская безъ церемоній свою клерикальную лапу въ сундуки сицилійскаго казначейства, давали ежедневно новую пищу остроумію дворцовыхъ скептиковъ, и Фридрихъ, рано начавшій тяготиться непрощенной и убыточной опекой, по всей вѣроятности слушалъ съ удовольствіемъ и поощрялъ насмѣшки своихъ приближенныхъ надъ политикой римскаго іерарха. Такимъ образомъ вырабатывался изъ

даровитаго мальчика, сидѣвшаго на сицилійскомъ престолѣ, — образованный эпикуреецъ, суровый владетель и совершенный космополитъ въ дѣлѣ религіи. Фридриху нравились обычаи магометанъ: онъ любилъ носить ихъ костюмъ; онъ держалъ въ своемъ дворцѣ роскошный гаремъ, составленный большей частью изъ магометанокъ; онъ находился въ постоянныхъ дипломатическихъ сношеніяхъ съ магометанскими государями Европы, Азіи и Африки; онъ обмѣнивался съ ними подарками и пользовался ихъ уваженіемъ; но къ ученію корана онъ относился равнодушно, насмѣшливо и даже презрительно. При его дворѣ жили сыновья знаменитаго арабскаго ученаго Аверроэса, открыто смѣявшагося надъ Магометомъ. «Однѣ свиньи, — говорилъ Аверроэсъ, — могутъ считать ученіе этого человѣка разумнымъ, единственно потому, что магометъ принялъ свиней подъ свое покровительство, запретивъ людямъ употреблять въ пищу свиное мясо». — Фридрихъ рано возмужалъ: ему было всего пятнадцать лѣтъ, когда у него родился первый законный сынъ, Генрихъ; незаконныя дѣти рождались быть — можетъ еще раньше. Двадцати лѣтъ отъ роду, въ 1215 году, онъ принялъ въ Ахенѣ корону германскаго короля и вслѣдствіе этого три года воевалъ съ императоромъ Оттономъ IV. Война эта кончилась смертью Оттона, въ 1218 году. Фридрихъ два раза обманулъ папу, чтобы привлечь его на свою сторону. Во первыхъ, онъ обѣщалъ ему, что сицилійская корона никогда не будетъ соединена съ германской. Сицилію онъ обязался отдать своему старшему сыну Генриху, отказываясь за него отъ всякихъ притязаній на Германію и на императорскую корону. Поступилъ-же онъ какъ разъ наоборотъ. Онъ оставилъ за собой и Сицилію, и Германію и сталъ употреблять всѣ усилія, чтобы имперскіе князья выбрали Генриха его преемникомъ. Онъ вполне достигъ своей цѣли и тогда написалъ къ папѣ, что государственные чины выбрали его сына безъ его вѣдома. Къ счастью для Фридриха, папой былъ уже не Иннокентій, а Гонорій III, которого не трудно было успокоить выдумками и обѣщаніями. Вторая уловка Фридриха состояла въ томъ, что онъ при своемъ коронованіи далъ торжественную клятву отправиться въ крестовый походъ. Ему, отъявленному скептику и другу магометанъ, было, разумѣется, очень смѣшно говорить торжественно о религіозной войнѣ и о благочестивой ненависти къ невѣрнымъ. Однако онъ выдержалъ свою роль превосходно, повторилъ обѣщаніе въ Римѣ, принимая изъ рукъ папы въ 1220 году императорскую корону, и втеченіи тринадцати лѣтъ, (1215 — 1228) морочилъ всю Европу, показывая видъ, будто дѣлаетъ колоссальныя приготовленія для завоеванія Палестины.

Благонамѣренная маска крестоносца была полезна для Фридриха въ двухъ отношеніяхъ: во-

первыхъ, она задобрила папу въ то время, когда Оттонъ былъ еще живъ и когда Фридрихъ еще не былъ императоромъ; а во-вторыхъ, она втеченіи многихъ лѣтъ давала Фридриху возможность вооружаться и собирать вокругъ себя рыцарей, не возбуждая никакихъ подозрѣній въ тѣхъ людяхъ, противъ которыхъ вооруженное рыцарство должно было направиться. Вся политика Фридриха клонилась преимущественно къ одной главной цѣли: ему хотѣлось, во что-бы то ни стало, стереть съ лица земли федерацію ломбардскихъ городовъ и утвердить навсегда императорскую власть въ сѣверной Италіи. Не трудно понять, почему ломбардскіе города сосредоточивали на себѣ все вниманіе Фридриха. Независимая федерація этихъ городовъ разрывала пополамъ его владѣнія; сверхъ того только эта федерація, державшая въ своихъ рукахъ ключи альпійскихъ проходовъ, могла сколько-нибудь обезпечить самостоятельность папы. Еслибы Фридриху, господствовавшему въ Германіи и владѣвшему южной Италіей, удалось завоевать Ломбардію, то папа мгновенно превратился-бы въ императорскаго чиновника. Возобновились-бы тогда времена Карла Великаго и Оттоновъ. Во избѣжаніе такихъ неудобствъ, папы временъ Фридриха II поддерживали постоянно самый тѣсный союзъ съ ломбардскою демократіей; за нападеніе на эти города папа всегда гнѣвался, бранился и мстилъ, какъ за личное оскорбленіе. Запнимаясь интригами и мелкими войнами въ сѣверной Италіи, путешествуя постоянно изъ Германіи въ Сицилію и обратно, Фридрихъ въ то-же время нѣсколько разъ распускалъ слухи, что въ такой-то день, въ такомъ-то приморскомъ городѣ онъ непременно сядетъ на корабль и поплыветъ въ Палестину. Кораблей у него, какъ у короля сицилійскаго, всегда было достаточно, и онъ дѣйствительно держалъ ихъ наготовѣ, такъ что слухи оказывались чрезвычайно правдоподобными. Имъ вѣрили и папа, и европейскіе государи, и тѣ благочестивые авантюристы, которые стремились загладить свои прегрѣшенія войной съ невѣрными.

Въ 1217 году въ Палестину отправилось многочисленное и чрезвычайно разноплеменное крестоносное воинство, подъ пачальствомъ многихъ отдѣльныхъ вождей. Не сдѣлавъ ничего путнаго въ Палестинѣ, многіе изъ этихъ крестоносцевъ вернулись домой, другіе отправились воевать въ Египетъ. Фридрихъ въ это время по своему обыкновенію дѣлалъ видъ, что собирается выступить въ походъ противъ невѣрныхъ. При этомъ онъ постоянно поддерживалъ тайныя дипломатическія сношенія съ магометанскими государями. Разумѣется, походъ его не состоялся, и онъ жестоко повредилъ успѣху всего предпріятія именно тѣмъ, что обѣщалъ принять въ немъ участіе и обнаруживалъ притворную готовность исполнить свое обѣщаніе. Крестоносцы, отправившіеся въ

Египетъ, ожидали его со дня на день и въ этихъ безплодныхъ ожиданіяхъ провели цѣлый годъ; когда-же они наконецъ рѣшились дѣйствовать безъ Фридриха, то благопріятная минута оказалась упущенной; магометане, успѣвши уладить свои домашнія дѣла, встрѣтили христіанъ съ такимъ единодушіемъ, что весь крестовый походъ кончился мирнымъ договоромъ, по которому крестоносцы получили позволеніе уйти изъ Египта по добру, по-здорову. Фридрихъ отъ души смѣялся со своими приближенными надъ неудачнымъ исходомъ священной войны и для поддержанія своей благочестивой роли отправилъ къ берегамъ Египта сорокъ галеръ тогда, когда эти галеры не могли принести крестоносцамъ ни малѣйшей пользы. Разумѣется, эти галеры прогулялись по Средиземному морю и вернулись назадъ, а Фридрихъ сталъ писать къ папѣ раздражительныя письма о бѣдственномъ положеніи святой земли, обмѣниваясь въ то-же время дружескими комплиментами съ египетскимъ султаномъ. Въ 1223 году Фридрихъ повидался съ папой, наговорилъ ему несмѣтное множество хорошихъ словъ, показалъ себя усерднѣйшимъ изъ крестоносцевъ и взялъ себѣ только двухлѣтнюю отсрочку, доказывая неопровержимо, что такая отсрочка должна непремѣнно обезпечить успѣхъ всего предпріятія. Для большей убѣдительности Фридрихъ тогда-же обручился съ Іолантой, дочерью іерусалимскаго короля, Іоанна Бріенскаго. Прошло два года, и Фридрихъ, разумѣется, не тронулся съ мѣста. Но чтобы еще разъ показать свое крестоносное усердіе, онъ въ 1225 году женился на Іолантѣ или, «правильнѣе, — какъ говоритъ Шлоссеръ, — взялъ ее въ свой гаремъ, къ другимъ женамъ». Совершивъ такой великій подвигъ, Фридрихъ почувствовалъ необходимость отдохнуть и потребовалъ себѣ отъ папы новую двухлѣтнюю отсрочку, объявивъ торжественно, что если и черезъ два года онъ не разгромитъ магометанъ, то пусть отлучаютъ его отъ церкви. Женившись на Іолантѣ, Фридрихъ принялъ титулъ и приобрѣлъ права іерусалимскаго короля; «права-же эти, — по словамъ Шлоссера, — были ему полезны тѣмъ, что давали возможность еще въ большей мѣрѣ, чѣмъ прежде, усиливать флотъ и войско на суммы, жертвуемыя благочестивыми людьми для религіозныхъ цѣлей.» Желая показать, что онъ смотритъ серьезно на свой новый титулъ, Фридрихъ послалъ въ Палестину епископа амальфійскаго съ порученіемъ принять отъ іерусалимскихъ бароновъ присягу. — Наступилъ новый срокъ, торжественно назначенный самимъ Фридрихомъ. Нѣсколько тысячъ крестоносцевъ собралось къ этому времени въ южной Италіи; другіе отправились впередъ въ Палестину. Разумѣется, всѣ эти ожиданія оказались совершенно напрасными; крестоносцамъ пришлось разѣхаться по домамъ, но большая часть изъ нихъ умерла въ Апуліи отъ жаркаго климата. Осенью 1227 года

преемникъ папы Гоноріа III, Григорій IX, произнесъ надъ Фридрихомъ отлученіе отъ церкви.

Еслибы Фридрихъ просто уклонился отъ крестоваго похода, то папа врядъ-ли рѣшился-бы на такую энергическую мѣру. Отсрочка слѣдовала-бы за отсрочкой, и дѣло понемногу заглохло-бы само собой. Но Фридрихъ въ послѣднее время слишкомъ усердно хлопоталъ о завоеваніи Ломбардіи, и тогда папа изъ чувства самосохраненія принужденъ былъ пустить въ ходъ противъ предпримчиваго императора всю тяжелую артиллерию напескихъ ругательствъ и проклятій. Къ сожалѣнію Фридриха было очень мудрено запугать какимъ-бы то ни было оружіемъ, свѣтскимъ или духовнымъ. На проклятія папы онъ отвѣчалъ рѣзкими манифестами. Въ то-же время онъ такъ успѣшно велъ противъ папы сложныя и запутанныя интриги, что въ пасху 1228 года римскій народъ выгналъ папу изъ Рима. И въ это-же самое время онъ доказывалъ въ своихъ циркулярахъ, что онъ — покорный сынъ церкви и угнетенная невинность, а папа — жестокосердый тиранъ, терзающій и проклинаящій, по своимъ личнымъ разсчетамъ, самыхъ усердныхъ защитниковъ католицизма. И циркуляры были написаны такъ убѣдительно, факты были подобраны и освѣщены такъ искусно, что Европа поневолѣ изумлялась и върила. Осенью 1228 года Европѣ пришлось изумиться особенно сильно: Фридрихъ поѣхалъ въ Палестину по приглашенію египетскаго султана Камеля и приобрѣлъ отъ него Іерусалимъ и другія святыя мѣста, не проливши ни одной капли крови. Дѣло въ томъ, что Камель искалъ себѣ въ Фридрихѣ надежнаго союзника противъ своихъ единовѣрцевъ и ближайшихъ родственниковъ. Камель, подобно Фридриху, держался того правила, что въ государственныхъ дѣлахъ слѣдуетъ руководствоваться не религіознымъ чувствомъ, а политическимъ разсчетомъ. Весной 1229 года, заключивъ съ Камелемъ мирный договоръ, Фридрихъ вступилъ въ Іерусалимъ, самъ надѣлъ на себя корону въ церкви святого гроба и вслѣдъ затѣмъ возвратился въ Европу. Въ это время папа навербовалъ себѣ солдатъ и опустошалъ южную Италію, пользуясь отсутствіемъ Фридриха. Тотчасъ послѣ своего возвращенія въ Европу Фридрихъ разогналъ шайки бандитовъ и немедленно заявилъ всѣмъ правительствамъ католическаго міра, что папа ограбилъ его владѣнія въ то время, когда онъ, Фридрихъ, совершалъ въ Палестинѣ богоугодныя дѣла. Папа, съ своей стороны, старался доказать, что эти дѣла совершилъ не богоугодный, и что Фридрихъ заключилъ въ Палестинѣ союзъ съ дьяволомъ, то-есть съ Камелемъ; но общественное мнѣніе Европы рѣшительно склонилось на сторону императора, и Григорій IX въ 1230 году принужденъ былъ снять съ него отлученіе отъ церкви.



## VI.

Въ 1231 году Фридрихъ обнародовалъ для своего Сицилійскаго королевства новый сводъ законовъ, составленный его канцлеромъ, Петромъ а-Винисъ. Чтобы господствовать въ Германіи, чтобы раздавить ломбардскую федерацію, чтобы окончательно смирить папу, Фридриху необходимо было располагать постоянно огромными суммами денегъ. Поэтому финансы составляли центръ всей системы его управленія. Онъ вмѣстѣ съ своимъ канцлеромъ старался разрѣшить слѣдующую политическую задачу: брать съ подданныхъ какъ можно больше денегъ, но такъ, чтобы самые источники государственныхъ доходовъ не истощались, то-есть чтобы основной капиталъ народа не уменьшался. Для этого очевидно надо было устроить такъ, чтобы по возможности всѣ деньги, собираемыя съ народа, поступали въ государственное казначейство, и чтобы какъ можно меньше народныхъ денегъ уходило въ карманы частныхъ лицъ и корпорацій; кромѣ того надо было по возможности устранить все то, что мѣшало народу трудиться, промышленяты, торговать и совершенствоваться въ различныхъ отрасляхъ ремесленной, фабричной, художественной и научной дѣятельности.

Фридрихъ II и его канцлеръ поняли свою задачу именно такимъ образомъ: оба они смотрѣли на Сицилійское королевство такъ, какъ дѣльные хозяева смотрятъ на доходныя имѣнія. Народъ былъ для нихъ оброчной статьёй, по крайней мѣрѣ оба они, какъ люди очень умные, понимали довольно вѣрно тѣ условія, при которыхъ эта оброчная статья можетъ постоянно приносить значительные доходы. Этого правильного пониманія было совершенно достаточно для того, чтобы поставить законодательство и администрацію Фридриха неизмѣримо выше всей теоріи и практики его современниковъ. Въ новомъ кодексѣ было много постановленій, ограждавшихъ права короля и народа отъ неумѣренныхъ притязаній духовенства; еврейскія и магометанскія предоставлялась полная религіозная свобода; церковныя помѣстья облагались податью наравнѣ съ другими землями; духовныя лица должны были подчиняться гражданскимъ законамъ наравнѣ со всѣми остальными подданными; всѣмъ сицилійцамъ запрещалось продавать или дарить родовыя имѣнія церквамъ, монастырямъ и монастырскимъ рыцарскимъ орденамъ. Ордали, то-есть различныя судебныя испытанія водой, желѣзомъ, огнемъ, совершенно отмигались; судебный поединокъ допускался только въ очень немногихъ случаяхъ; говоря о судебныхъ поединкахъ, кодексъ Фридриха открыто выражаетъ ту мысль, очень смѣлую для XIII вѣка, что побѣда зависитъ отъ силы и ловкости бойца, а не отъ правоты его дѣла. «Свидѣтельствуя объ обширномъ, независимомъ умѣ Фридриха,—говоритъ Шлосеръ,—этотъ кодексъ вмѣстѣ съ тѣмъ слу-

жить доказательствомъ, что въ Италіи общественная жизнь въ то время была болѣе развита, чѣмъ гдѣ-либо; это видно между прочимъ изъ того, что Фридрихъ счелъ нужнымъ опредѣлить, какую часть съ цѣнности предмета процесса имѣлъ право адвокатъ требовать отъ кліента. Слѣдовательно, юридическая защита въ судахъ уже была тогда необходима. То-же самое доказывается и постановленіями о медицинской полиціи: въ нихъ точно опредѣлялись обязанности врача, плата за посѣщеніе больныхъ, и все, касающееся аптекъ; а отъ всякаго, желающаго практиковать, медика, требовался строгій экзаменъ и указывалось, какъ приобрести необходимыя свѣдѣнія.»

Медицинская школа, находившаяся въ Салерно, пользовалась постояннымъ покровительствомъ Фридриха; ученые могли спокойно заниматься своимъ дѣломъ, не боясь ежеминутно, что ихъ обвинятъ въ безбожии или въ колдовствѣ. Изъ ненависти къ верхне-итальянскимъ городамъ Фридрихъ основалъ въ Неаполѣ превосходный университетъ. Студентамъ неаполитанскаго университета были предоставлены такія права и привилегіи, какими никогда и нигдѣ еще не пользовались средневѣковые студенты. Фридрихъ довѣлъ свою внимательность къ учащейся молодежи до такихъ неслыханныхъ размѣровъ, что особымъ эдиктомъ гарантировалъ иностранцамъ, желавшимъ учиться въ Неаполѣ, безопасность дороги, дешвинизу жизни и полную свободу во время всего пребыванія ихъ въ предѣлахъ Сицилійскаго королевства. Въ этомъ эдиктѣ были даже опубликованы цѣны квартиръ и объявлялось кромѣ того, что правительство заботится о кредитѣ для учащихся и о хорошемъ качествѣ помѣщеній. Еслибы Фридрихъ издавалъ такіе необыкновенные эдикты изъ безкорыстной любви къ просвѣщенію, то его смѣло можно было бы поставить рядомъ съ Элоизой, родившей на свѣтъ сына и не нашедшей для него лучшаго имени, какъ Астролябія. Покровительствовать просвѣщенію — дѣло прекрасное; но когда правитель обширнаго государства публикуетъ въ своихъ эдиктахъ цѣны студенческихъ квартиръ и гарантируетъ своевластно кредитъ для учащихся юношей, тогда очевидно любовь къ наукѣ превращается у этого правителя въ мономанію, которая можетъ имѣть самыя печальныя послѣдствія для всѣхъ важнѣйшихъ отраслей государственнаго хозяйства. Но ясный, глубокий и холодный умъ Фридриха былъ совершенно обезпеченъ противъ всякой мономаніи. Необыкновенный эдиктъ о квартирахъ и о кредитѣ былъ вызванъ не любовью императора къ наукѣ и къ студентамъ, а его враждебными отношеніями къ городамъ верхней Италіи, и преимущественно къ Болоньей, которая была богата и сильна, единственно благодаря своему знаменитому университету, привлекавшему ежегодно болѣе двѣнадцати тысячъ иностранцевъ. Этихъ иностранцевъ

Фридриху желательно было перетянуть въ Неаполь для того, чтобы купцы, ремесленники и домохозяева Болоньи остались на бобахъ и заскрежетали зубами.

Разоряя обывателей города Болоньи, новый неаполитанскій университетъ кромѣ того сохранилъ также самымъ чувствительнымъ образомъ всегдѣшнему благопріятелю Фридриха, папѣ. Болонскій университетъ находился подъ покровительствомъ папы и, проводя въ своемъ преподаваніи теократическія тенденціи, распространялъ клерикальныя идеи по всей католической Европѣ, посредствомъ тѣхъ двѣнадцати тысячъ иностранцевъ, которые ежегодно упивались болонской премудростью. Въ Неаполѣ же любознательнымъ иностранцамъ предлагалась вмѣстѣ съ кредитомъ и дешевыми квартирами премудрость совсѣмъ другого сорта. Въ неаполитанскомъ университетѣ господствовала философія Аристотеля въ совершенно неискаженномъ видѣ. Многія важнѣйшія каѳедры были заняты арабами и евреями; скептическое направленіе преподаванія нисколько не считалось предосудительнымъ; при такихъ условіяхъ рьяный католицизмъ былъ очевидно немыслимъ. По приказанію Фридриха, ученые неаполитанскаго университета въ первый разъ перевели всѣ сочиненія Аристотеля прямо съ греческаго языка на латинскій; до того времени Европа знала Аристотеля только по переводамъ, сдѣланнымъ изъ вторыхъ рукъ, съ арабскихъ переводовъ. Новый, настоящій Аристотель быстро распространился по всѣмъ тогдашнимъ университетамъ; клерикалы, и во главѣ ихъ самъ папа, старались остановить это умственное движеніе. Григорій IX въ 1231 году запретилъ католикамъ читать сочиненія Аристотеля о философіи природы до тѣхъ поръ, пока эти книги не будутъ исправлены и очищены учеными богословами. Запрещеніе это ни къ чему не повело; Аристотель остался неочищеннымъ, и студенты всѣхъ націй продолжали читать его съ неизмѣнной жадностью.

Всматриваясь въ такіе факты, какъ основаніе неаполитанскаго университета и переводъ Аристотеля, мы поневолѣ должны изумляться дальновидности Фридриха II. Этотъ властолюбивый эпикуреецъ, невѣрившій въ безсмертіе души и презиравшій судъ исторіи, умѣлъ однако, подобно всѣмъ гениальнымъ людямъ, смотрѣть впередъ, въ далекое будущее, и, независимо отъ своей собственной воли, по непосредственной гениальности своего ума, выбиралъ противъ своихъ враговъ такія средства, которыя подрывали ихъ могущество въ основномъ принципѣ и которыя дѣйствовали на многія поколѣнія, дѣйствовали тогда, когда уже и самъ Фридрихъ, и всѣ его личные враги давнымъ давно лежали въ могилахъ

тѣмъ же управленіемъ Сицилійскаго королевства, Фридрихъ II съ 1236 года сосредоточилъ все свое вниманіе на покореніи Ломбардіи. Ломбардцы защищались отчаянно. Къ нимъ примкнули морскія державы Италіи: Генуя и Венеція. Папа старался сперва урезонить властолюбиваго императора, но Фридрихъ попросилъ его разъ навсегда не вмѣшиваться въ свѣтскія дѣла. Тогда папа, вовсе не желая исполнить эту нескромную просьбу, открыто присоединился къ союзу верхне-итальянскихъ городовъ и въ 1239 году снова отлучилъ отъ церкви своего стариннаго врага. Съ этой минуты до самой смерти Фридриха, то-есть до 1250 года, борьба его съ папствомъ уже не прекращалась. Воюющія стороны осыпали другъ друга проклятіями, ругательствами и публичными обвиненіями. Фридрихъ писалъ ко всѣмъ европейскимъ правительствамъ, что папа — воръ, пьяница и развратникъ. Григорій IX объявилъ съ своей стороны, что императоръ — негодяй, еретикъ и безбожникъ, невѣрующій въ Христа и осмѣивающій таинства религіи. — «Недостойный намѣстникъ Христа, — писалъ Фридрихъ, — сидитъ въ своемъ дворцѣ, какъ купецъ въ лавкѣ, и за золото продаетъ отпущеніе грѣховъ, пишетъ и подписываетъ векселя и пересчитываетъ деньги. Онъ только потому и преслѣдуетъ меня своей ненавистью, что я не согласился женить на его племянницѣ моего побочнаго сына Энціо, теперешняго короля Сардиніи... Среди церкви, — продолжаетъ онъ, — возсѣдаетъ бѣснующійся кудесникъ, человѣкъ лжи, святи-тель, оскверненный преступленіями и развратомъ... Онъ пьяница, и хмельной, называетъ себя повелителемъ неба и земли.» — Григорій, разумѣется, не оставался въ долгу и отвѣчалъ блистательными ругательствами на обличительное краснорѣчіе Фридриха. — «Изъ волнъ морскихъ — возвѣщаетъ папа — вышелъ звѣрь, на которомъ написано крупными буквами его имя: «богохульство». — Оказывается, что этотъ звѣрь не что иное, какъ самъ Фридрихъ II. — Онъ (то-есть звѣрь или Фридрихъ) утверждаетъ ложно, что я возбѣшенъ по поводу несостоявшагося брака между моей племянницей и его побочнымъ сыномъ. Онъ лжетъ еще болѣе безсовѣстнымъ образомъ, утверждая, что я продалъ мою вѣру ломбардцамъ.»

Доминиканцы, бывшіе постоянно самыми твердыми защитниками папства, неутомимо проповѣдывали противъ Фридриха въ самыхъ низшихъ слояхъ европейскаго народонаселенія; любимой темой ихъ проповѣдей были извѣстныя сношенія Фридриха съ магометанскими правителями: при этомъ не забывались, разумѣется, и тѣ права, которыми пользовались въ Сицилійскомъ королевствѣ евреи и арабы. Изъ всѣхъ этихъ неопровержимыхъ и совершенно достоверныхъ фактовъ усердные монахи выводили то очень натянутое заключеніе, что Фридрихъ со-

вершенно отказался отъ христіанства и старается истребить его оружіемъ, учеными сочиненіями и дерзкими насмѣшками. Для большей убѣдительности и для красоты слога проповѣдники приписывали Фридриху разныя нелѣпыя кощунства, которыхъ, разумѣется, никогда не позволялъ бы себѣ при постороннихъ свидѣтеляхъ умный и осторожный правитель, особенно если принять въ соображеніе, что этому правителю было уже слишкомъ сорокъ лѣтъ, и что онъ съ самой ранней молодости выучился владѣть собой и обманывать всю Европу своимъ лицемѣріемъ. Ходили, правда, какіе-то темныя слухи о какой-то таинственной книгѣ, говорили, что эта книга наполнена дерзкими выходками противъ христіанства и что ее написалъ самъ Фридрихъ или по крайней мѣрѣ его канцлеръ, Петръ а-Винсисъ; но книга эта до насъ не дошла; извѣстія о ней чрезвычайно отрывочны и смутны; ссылаются на эту книгу злѣйшіе враги Фридриха II; а на самомъ дѣлѣ очень трудно повѣрить тому, чтобы серьезные государственные люди, заваленные разнообразнѣйшими заботами по всеѣмъ отраслямъ законодательства, дипломатіи, судопроизводства, финансовой и гражданской администраціи, вздумали сочинять нелѣпый памфлетъ, отъ котораго они не могли ожидать себѣ ничего, кромѣ хлопотъ и непріятностей. Всего правдоподобнѣе, что вся эта книга есть чистый мифъ, созданный епископами и монахами Сицилійскаго королевства. Само-собой разумѣется, что всѣ клерикалы южной Италіи и Сициліи были озлоблены до глубины души законодательной и административной дѣятельностью Фридриха, которому постоянно помогалъ его канцлеръ. Выразиться въ возмущенномъ возстаніи это озлобленіе не могло, потому что Фридрихъ былъ очень бдителенъ и поступалъ очень круто съ нарушителями общественнаго спокойствія. Значить, надо было мстить осторожно, посредствомъ клеветы; а клевету всего удобнѣе было направить противъ той стороны въ личности Фридриха и его канцлера, которая дѣйствительно вызывала въ народѣ толки и сомнѣнія. Императоръ ведетъ дружбу съ невѣрными—чего-же лучше? Сейчасъ можно прицѣпить къ этому обстоятельству обвиненіе въ отступничествѣ, въ безбожьи, въ насмѣшки надъ святыней. И, разумѣется, не зачѣмъ было останавливаться на неопредѣленныхъ толкахъ; можно было сочинить цѣлые рассказы съ именами дѣйствующихъ лицъ, съ указаніемъ мѣста и времени, съ приведеніемъ фантастическихъ заглавій, принадлежащихъ несуществующимъ сочиненіямъ.

Въ то время, когда Фридрихъ, отлученный отъ церкви, ругался съ папой передъ лицомъ всей католической Европы, въ то время, когда доминиканцы громили его въ своихъ проповѣдяхъ,—францисканцы стояли за негогорой и распростра-

няли въ народѣ разныя слухи, невыгодные для папства. Генераль францисканскаго ордена, Ілія, непосредственный преемникъ святого Франциска, былъ однимъ изъ самыхъ ревностныхъ приверженцевъ Фридриха. Этотъ глубокий раздоръ клерикаловъ между собой показываетъ особенно наглядно ветхость католицизма. Если можно было оставаться католикомъ, монахомъ и проповѣдникомъ, поддерживая заклятыхъ враговъ папы, людей, отлученныхъ отъ церкви и обвиненныхъ въ безбожьи, то очевидно католицизмъ переставалъ быть дѣломъ искренняго убѣжденія и превращался въ мертвую массу условныхъ формальностей даже для тѣхъ людей, которые по своему officialному положенію были обязаны проводить и поддерживать словомъ и примѣромъ католическія идеи. Впрочемъ Фридрихъ съ своей стороны старался по возможности, разными подвигами (благочестія, облегчать трудную задачу услужливыхъ францисканцевъ, взявшихъ на себя его защиту. Чтобы доказать католической Европѣ, что онъ не совсѣмъ пропащій человекъ и что лютые доминиканцы взводятъ на него чистѣйшую напраслину, Фридрихъ преслѣдовалъ, пыталъ и сжигалъ въ верхней Италіи тѣхъ самыхъ еретиковъ, которыхъ папа со времени альбигонской войны безпощадно истреблялъ въ южной Франціи. По Григорій IX ни за что не хотѣлъ уступить Фридриху въ двуличности. Григорій принялъ итальянскихъ еретиковъ подъ свое покровительство и сталъ проклинать Фридриха за его жестокость въ то самое время, когда папскіе легаты и доминиканскіе инквизиторы продолжали свирѣпствовать противъ еретиковъ южной Франціи. Одинъ мучилъ и казнилъ такихъ людей, которыхъ онъ очевидно считалъ совершенно невинными; а другой изъ несправедливости къ первому оплакивалъ этихъ несчастныхъ, которыхъ онъ самъ въ другое время охотно изжарилъ-бы на медленномъ огнѣ. И оба усерднѣйшимъ образомъ выводили другъ друга на свѣжую воду; оба вмѣстѣ всевозможными средствами старались убѣдить Европу въ томъ, что папа и императоръ рѣшительно никуда не годятся. Мудрено ли, что Европа, прислушиваясь къ ихъ скандальнымъ словамъ и присматриваясь къ ихъ безсовѣстному поведению, понемногу начала терять довѣріе, какъ въ папство, такъ и въ священную римскую имперію.

Изаимно истребляя другъ друга, папство и священная римская имперія оказали Европѣ незабвенную услугу, тѣмъ болѣе важную, что ея не могла оказать никакая третья, посторонняя сила. Освобожденіе европейской мысли могло возникнуть только изъ роковой сшибки двухъ величайшихъ авторитетовъ. Жизнь Фридриха II наполнена самыми черными преступленіями; всѣ мрачныя стороны его неукротимой личности выдвинулись впередъ и обрисовались особенно рельефно во время его послѣдней, продолжительной,

ожесточенной и совершенно безуспѣшной борьбы съ городами верхней Италіи. Раздраженный непобѣдимымъ сопротивленіемъ свободныхъ итальянцевъ, непреклонный деспотъ превратился въ отчаяннаго игрока, для котораго исчезли всякія соображенія, не относящіяся къ начатой игрѣ. Монголы угрожали Германіи съ Востока, неаполитанцы и сицилійцы роптали противъ невыносимыхъ налоговъ, ухидившихъ на военные расходы, ломбардцы просили мира и предлагали выгодныя условія, но Фридрихъ, какъ страстный игрокъ, не обращалъ вниманія ни на что. Онъ требовалъ безусловной покорности и, приводя своихъ враговъ въ отчаяніе неумѣренностью этого требованія, продолжалъ безнощадную и безплодную войну, разорялъ своихъ подданныхъ, разорялъ своихъ враговъ и позволялъ монголамъ опустошать Венгрію и тревожить восточныя области Германской имперіи. И между тѣмъ этотъ безсовѣстѣйшій человѣкъ, не отступавшій ни передъ грабежомъ, ни передъ насиліемъ, ни передъ юридическимъ убійствомъ, до такой степени соответствовалъ требованіямъ своего вѣка и своего народа, что народъ долго любилъ и помнилъ его энергическую личность. Нѣмцы воспѣли и прославили въ немъ именно ту черту его дѣятельности, что онъ не давалъ простыхъ людей въ обиду духовенству. Фридрихъ тотчасъ послѣ своей смерти сдѣлался героемъ народныхъ легендъ, и этотъ легендарный образъ, очищенный фантазіей отъ всякой грязной примѣси, надѣлалъ много хлопотъ одному изъ лучшихъ преемниковъ Фридриха, Рудольфу Габсбургскому.

«Какъ ни благотѣльно было управленіе Рудольфа, — говоритъ Шлоссеръ, — но память о Гогенштауфенахъ жила еще въ народѣ. Было даже повѣрье, что Фридрихъ II воскреснетъ и преобразуетъ испорченную религію; вслѣдствіе того въ Германіи появлялось множество самозванцевъ. Изъ 20 или 30 подобныхъ людей одинъ пріобрѣлъ такое значеніе, что Рудольфъ долженъ былъ лично выступить противъ него, но и тутъ онъ дѣйствовалъ съ обычнымъ хладнокровіемъ, умомъ и умѣренностью. Этотъ самозванецъ, Тиле Колуач или Деревянный Башмакъ, былъ простой крестьянинъ изъ окрестностей Кельна, но счумѣлъ такъ повести дѣло, что привлекъ къ себѣ все населеніе отъ Кельна до Майнца и даже многихъ рыцарей. Ему охотно вѣрили вслѣдствіе общаго ожесточенія противъ духовенства и потому, что были еще живы многіе солдаты Фридриха, оогагившіеся въ итальянскихъ походахъ. Рудольфъ долженъ былъ приступить къ Майнцу, гдѣ находился Тиле, но жители отказались его выдать, такъ что императору пришлось начать осаду. Желая кончить дѣло мирнымъ путемъ, онъ послалъ въ городъ бургграфа Нюренбергскаго и графа фонъ-Катцелленбогена, которые доказали народу, по возрасту Тиле, что онъ не можетъ быть Фридрихомъ II. Тогда Тиле бѣжалъ въ Веттерау

и попалъ въ плѣнъ; его осудили за чародѣйство и сожгли, но предварительно имперскій маршалъ выгналъ изъ него волшебную силу.»

Такимъ образомъ уже во второй половинѣ XIII вѣка нѣмецкій народъ размышлялъ или, вѣрнѣе, мечталъ о преобразованіи испорченной религіи. И трудъ этого преобразованія онъ поручалъ въ своихъ мечтахъ не какому-нибудь святому отшельнику, а, напротивъ того, знаменитому государственному человѣку и отъявленному врагу папы.

### VIII.

Доминиканцы были постоянно самыми надежными орудіями клерикальнаго деспотизма, но орденъ францисканцевъ вскорѣ послѣ своего основанія примкнулъ къ врагамъ панства и даже заразился еретическими доктринами, чрезвычайно опасными для римской теократіи. Въ концѣ XII вѣка была написана какимъ-то неизвѣстнымъ лицомъ странная книга, носившая названіе «вѣчнаго евангелія». Эта книга произвела на своихъ первыхъ читателей такое сильное впечатлѣніе, что о ней тотчасъ составила легенда. Стали рассказывать, что подлинникъ этого сочиненія, написанный на мѣдныхъ доскахъ, былъ принесенъ съ неба ангеломъ и врученъ священнику Кириллу, который передалъ его аббату Іоахиму. Этотъ Іоахимъ былъ извѣстенъ въ католическомъ мірѣ безукоризненной чистотой своей жизни и глубокой искренностью своего благочестія; когда онъ былъ живъ, его считали угодникомъ божьимъ и пророкомъ; послѣ его смерти римская церковь причислила его къ лику своихъ святыхъ. Ясно, стало-быть, что имя Іоахима пользовалось между клерикалами сильнымъ авторитетомъ. Лѣтъ черезъ пятьдесятъ послѣ его смерти книга «вѣчное евангеліе» стала распространяться въ монастыряхъ францисканскаго ордена; къ этой книгѣ было уже въ это время придѣлано введеніе, объяснявшее ея смыслъ и написанное Іоанномъ Пармскимъ, генераломъ францисканцевъ. Въ этомъ введеніи Іоаннъ доказывалъ, что угодникъ и пророкъ Іоахимъ, проникнувшись идеями «вѣчнаго евангелія», считалъ дѣло римской церкви совершенно оконченнымъ и предсказалъ ей неизбежное паденіе. Далѣе, введеніе Іоанна раскрывало значеніе мистическихъ образовъ, наполнявшихъ эту таинственную книгу, и давало имъ такія толкованія, которыя никакъ не могли понравиться панству. Іоаннъ говорилъ, что божественный Промыслъ ведетъ человечество черезъ различныя эпохи или періоды; во время ветхозавѣтнаго или еврейскаго періода міръ находился подъ непосредственнымъ господствомъ Бога-Отца; во время христіанскаго періода надъ міромъ господствовалъ Богъ-Сынъ; теперь-же, говоритъ онъ, наступаетъ царство Бога-Духа Святого. Въ этомъ новомъ

царствѣ вѣра перестанетъ быть необходимой, потому что все будетъ совершаться по законамъ разума и мудрости. Эти законы заключаются, по его словамъ, въ «вѣчномъ евангеліи», которое должно замѣнить собой новый завѣтъ, подобно тому, какъ новый завѣтъ сталъ на мѣсто ветхаго завѣта.

Папа Александръ IV проклялъ еретическую книгу и сталъ преслѣдовать ея адептовъ. Доминиканцы, облеченные никвизиторской властью, съ особеннымъ удовольствіемъ принимали ловить, пытать и жечь своихъ соперниковъ, францисканцевъ. Много еретиковъ, называвшихъ себя *спиритуалистами*, и много экземпляровъ опасной книги погибло отъ руки палача. Гониміе произвели свое обыкновенное дѣйствіе. Броженіе умовъ усиливалось и число фанатиковъ, готовыхъ терпѣть мученіе и смерть за «новое ученіе», стало быстро увеличиваться. Въ орденѣ францисканцевъ произошло странное раздвоеніе: нѣкоторые монастыри измѣнили обѣту нищенства и втянулись въ роскошь; другіе продолжали вести воздержный и суровый образъ жизни, заставляя своихъ монаховъ ходить по городамъ и селамъ, пасться подаяніемъ и постоянно говорить проповѣди простому народу. Эти нѣшіе проповѣдники, настоящіе духовные дѣти святого Франциска, могли сильно дѣйствовать на умъ и чувство простыхъ людей; но именно эти суровые ненавистники всякой роскоши заразились до мозга костей идеями «новаго ученія». Они проповѣдывали неутомимо, но для папства было бы гораздо лучше, если бы они не говорили ни слова. Ихъ проповѣди только усиливали и осмысливали то негодованіе, съ которымъ простые люди давно уже смотрѣли на эпикурейскую жизнь епископовъ, аббатовъ и монаховъ.

Въ концѣ XIII вѣка одинъ изъ обожателей «вѣчнаго евангелія» написалъ истолкованіе апокалипсиса и раздѣлилъ въ этомъ сочиненіи христіанскую эпоху на семь отдѣльных періодовъ: первый—проповѣдь апостоловъ; второй—страданія мучениковъ; третій—борьба съ еретиками; четвертый—подвиги отшельниковъ; пятый—господство монастырской системы; шестой—низверженіе антихриста; седьмой—наступленіе блаженнаго тысячелѣтія (Millenium). Авторъ истолкованія утверждалъ, что его современники живутъ въ шестомъ періодѣ, что настало время низвергнуть антихриста и что подъ этимъ послѣднимъ именемъ слѣдуетъ подразумѣвать папу. Римскую церковь онъ называлъ блудницей, облеченной въ пурпуръ; онъ говорилъ, что вся ея іерархія сдѣлалась излишней и ни на что негодной, что ихъ дѣло сдѣлано и что «ихъ приговоръ запечатанъ послѣдней печатью». Идеи этого писателя были подхвачены на лету тысячами нищенствующихъ монаховъ и пробрались съ ужасающей быстротой въ низшіе слои евро-

пейскаго народонаселенія. Францисканскіе фанатики проповѣдывали публично, что духовенство развращено, что папа—антихристъ и чловѣкъ грѣха, что церковныя таинства потеряли свою спасительную силу, что пришла пора покаяться и начать новую жизнь. У нѣкоторыхъ францисканскихъ общинъ оппозиція противъ господствующей церкви дошла даже до такихъ колоссальныхъ размѣровъ, что онѣ поставили своего патрона, Франциска, выше самого Спасителя.

Все это совершалось за двѣсти лѣтъ до Лютера. Въ это тревожное и зазорное время, въ самомъ концѣ XIII и въ самомъ началѣ XIV вѣка, на папскомъ престолѣ сидѣлъ страстный и взыбаломный чловѣкъ, Бонифаций VIII, усердный, но неудавшійся подражатель Григорія VII и Иннокентія III. Притязанія Бонифация были безгранично широки; онъ говорилъ съ королями католической Европы тономъ полновластнаго диктатора; но зато, кромѣ властолюбія и корыстолюбія, у этого задорнаго паны не было никакихъ политическихъ дарованій; перевѣсъ матеріальной, денежной и даже умственной силы былъ на сторонѣ его противниковъ; Бонифаций умѣлъ только раздражать своихъ враговъ ругательствами и проклятіями; никто изъ нихъ не чувствовалъ къ нему ни страха, ни уваженія; смѣшная безтактность его диктаторскихъ замашекъ втянула его въ жестокую борьбу съ свѣтской властью, которая, собравши вокругъ себя всѣхъ многочисленныхъ противниковъ папства, воспользовалась этимъ удобнымъ случаемъ, чтобы нанести смертельный ударъ теократическому принципу римской клерикальной политики. Послѣ Бонифация папство стало превращаться въ блестящій анахронизмъ, опасный только для скромныхъ кабинетныхъ мыслителей и совершенно безвредный для политическихъ дѣятелей.

Главнымъ противникомъ и счастливымъ побѣдителемъ неосторожнаго Бонифация былъ французскій король, Филиппъ IV Красивый, одинъ изъ крупныхъ представителей того типа, въ которомъ я познакомилъ моихъ читателей въ характеристикѣ императора Фридриха II. Споръ между двумя властями возникъ, разумѣется, изъ-за денегъ. Обѣ стороны съ одинаковымъ усердіемъ старались молотить рожъ на обухѣ. Филиппъ чеканилъ фальшивую монету, огранилъ всѣхъ евреевъ своего королевства и наконецъ подѣхалъ съ самыми хищными намѣреніями къ имуществамъ церкви и монастырей, неплатившихъ никакихъ податей. Бонифаций, съ своей стороны, торговалъ епископскими должностями и кардинальскими шапками, отбиралъ деньги у нищенствующихъ монаховъ, доказывая имъ очень убѣдительно, что они должны нищенствовать, а не богатѣть,—и наконецъ придумалъ устроить въ 1300 году юбилейный

годъ, то-есть объявилъ, что всѣ люди, желающіе получить полное отпущеніе грѣховъ, должны втеченіи этого года побывать въ Римѣ на богомольѣ.

Само-собой разумѣется, что два виртуоза, подобные Филиппу и Бонифацію, непремѣнно должны были столкнуться между собой на тернистомъ пути систематическаго обирания. Бонифацій не умѣлъ уступать и не понималъ необходимости дѣйствовать осторожно; а Филиппъ видѣлъ, что ему выгодно унижить папу и что ему не зачѣмъ съ нимъ церемониться. Передъ глазами Филиппа находился очень поучительный примѣръ: его современникъ и ближайшій сосѣдь, англійскій король Эдуардъ I, безъ всякаго шума и кровопролитія, принудилъ свое духовенство нести часть государственныхъ повинностей. Англійскіе епископы и аббаты долго отказывались платить подати, но Эдуардъ приказалъ судьямъ всего королевства выслушивать всѣ жалобы, поступающія въ суды противъ духовенства, и въ то-же время отвергать безъ разбора всѣ жалобы, подаваемые самими духовными. «Кто не платитъ налоговъ», — говорилъ Эдуардъ, — тотъ не имѣетъ права пользоваться покровительствомъ законовъ». При такомъ порядкѣ вещей англійскимъ епископамъ и аббатамъ пришлось такъ жутко, что они очень скоро покорились и согласились платить подати наравнѣ со свѣтскими землевладѣльцами. Этотъ примѣръ былъ очень соблазнителенъ для Филиппа тѣмъ болѣе, что у него также находились подъ руками опытные юристы, готовые по первому его приказанію рѣшить въ ту или другую сторону, съ соблюденіемъ всѣхъ точайшихъ приличій, самые запутанные вопросы гражданскаго, уголовнаго, каноническаго, государственнаго и всякаго другаго, естественнаго или неестественнаго права. Въ 1226 году Бонифацій издалъ буллу «Clericis laicos», въ которой онъ запретилъ духовенству платить подати свѣтской власти. Въ отвѣтъ на эту буллу Филиппъ запретилъ вывозить изъ Франціи драгоцѣнные металлы, оружіе и лошадей. Вслѣдствіе этого Бонифацій потерялъ значительную часть своихъ доходовъ; кромѣ того всѣ итальянскіе купцы начали кричать, что папа своими глупыми выдумками подрываетъ ихъ торговлю. Бонифацій попробовалъ запугать Филиппа новой буллой, еще болѣе рѣзкой, но Филиппъ въ своихъ манифестахъ заговорилъ объ изнѣженности духовенства и высказалъ такъ много горькихъ истинъ, что папа смягчился и началъ извиняться, говоря, что буллы его совсѣмъ не относятся къ Франціи. Полемика между королемъ и папой прекратилась, но Бонифацій долго помнилъ данный ему урокъ. Въ 1301 году, поссорившись съ Филиппомъ изъ за одного епископа, онъ объявилъ въ буллѣ «Ausculta fili», что папѣ принадлежитъ верховный судъ не только въ духовныхъ, но и въ

свѣтскихъ дѣлахъ. Филиппъ, окруженный умными, учеными, хитрыми и опытными совѣтниками изъ юристовъ, тотчасъ съумѣлъ дать своей новой ссорѣ съ Бонифаціемъ такой характеръ, что она превратилась въ дѣло всего французскаго народа. Король сказалъ, что, защищая по своей обязанности національную независимость и честь Франціи, онъ отвергаетъ торжественно всѣ беззаконныя притязанія римскаго первосвященника. Папская булла была публично сожжена въ Парижѣ. Вслѣдъ затѣмъ Филиппъ созвалъ депутатовъ дворянства, духовенства и городовъ, и въ этомъ собраніи государственныхъ чиновъ (états généraux), несмотря на робкую оппозицію клерикаловъ, требованія Бонифація были объявлены совершенно безразсудными. Бонифацій издавалъ новыя буллы, созывалъ въ Римѣ соборы, ругалъ и проклиналъ короля и его совѣтниковъ, наконецъ отлучилъ Филиппа отъ церкви; но всѣ эти рѣзкія мѣры не наносили ни малѣйшаго вреда никому, кромѣ самого папы. Общественное мнѣніе Франціи было обработано такъ ловко, съ одной стороны учеными юристами, съ другой стороны нищенствующими монахами, ругавшими богатое духовенство на всѣхъ перекресткахъ, что весь народъ смотрѣлъ на своего корыстолюбиваго короля, какъ на естественнаго защитника французской чести и самостоятельности.

Понимая свою силу, юристы Филиппа быстро перешли изъ оборонительнаго положенія въ наступательное. Въ 1303 году совѣтники короля, и во главѣ ихъ Вильгельмъ Ногаре, показали новому собранію государственныхъ чиновъ, что Бонифацій VIII незаконнымъ образомъ присвоилъ себѣ папскую тиару, что онъ торгуетъ церковными должностями, предается распутству, не вѣруетъ въ Бога, отрицаетъ безсмертіе души, глумится надъ величайшими таинствами религіи. Въ этомъ обвиненіи, какъ и во всѣхъ средневѣковыхъ обвиненіяхъ, несомнѣнныя истины были перемѣшаны съ недѣйственными выдумками. Взвѣда на Бонифація всѣ преступленія, когда-либо совершенныя на земномъ шарѣ, усердные обвинители пришли къ тому заключенію, что такого отъявленнаго негодяя слѣдуетъ низложить, арестовать и предать суду вселенскаго собора. Собраніе согласилось съ мнѣніемъ обвинителей, и въ томъ-же 1303 году Филиппъ, не желая болѣе тратить время на безплодные перебранки, отправилъ Вильгельма Ногаре въ Италію съ большими денежными суммами и векселями. Ловкій агентъ французскаго короля соединился съ римскою фамиліей Колонны, которая уже давно старалась погубить Бонифація. Нанявши толпу вооруженныхъ людей, искусные и смѣлые союзники захватили папу въ плѣнъ, и при этомъ случаѣ французскій чиновникъ Вильгельмъ Ногаре далъ преемнику Григорію VII и Иннокентію III ту



знаменитую пощечину, которая на вѣчныя времена записана въ исторію. Бонифаций умеръ въ томъ-же 1303 году, такъ что судъ надъ нимъ не состоялся.

Слѣдующій папа, Бенедиктъ IX, прожилъ всего нѣсколько мѣсяцевъ, а преемникъ Бенедикта, французъ Бертранъ, архіепископъ бордосскій, принявшій имя Климента V, сдѣлался папой по милости Филиппа Красиваго и оставался подъ его вліяніемъ втеченіи всей своей жизни. По требованію Филиппа онъ перенесъ свою резиденцію изъ Рима въ южную Францію, въ городъ Авиньонъ. вмѣстѣ съ Филиппомъ онъ засудилъ и ограбилъ богатыхъ тамплиеровъ. Самый орденъ тамплиеровъ былъ уничтоженъ, имѣнія его раздѣлены между папой и королемъ, а рыцари, обвиненные во многихъ чрезвычайно неправдоподобныхъ и грязныхъ преступленіяхъ, были измучены тюремнымъ заключеніемъ и пытками, а потомъ, какъ водится, сожжены. Въ Авиньонѣ папы жили весело и роскошно почти семьдесятъ лѣтъ. Въ концѣ четырнадцатаго столѣтія ихъ вавилонское плѣненіе окончилось; Григорій XI воротился въ Римъ, но величіе и правдивое могущество папства оказались невозвратными. На папскія проклятія почти никто уже не обращалъ вниманія: миланскій герцогъ Варнава Висконти, получивъ папскую буллу, отлучавшую его отъ церкви, заставилъ кардиналовъ, вручившихъ ему это грозное посланіе, съѣсть цѣликомъ весь пергаментъ, на которомъ оно было написано, вмѣстѣ съ свинцовой печатью и съ шелковымъ спуркомъ. Въ Англіи уже проповѣдывали въ это время ученый мыслитель Виклефъ и неукротимый фанатикъ Джонъ Буль. Одинъ дѣйствовалъ на высшіе классы общества, другой волновалъ народныя массы; оба съ одинаковой силой возставали противъ злоупотребленій римской іерархіи, осуждали роскошь духовенства и старались возстановить чистоту и простоту первобытнаго христіанства. Идеи Виклефа перелетѣли на материкъ; въ Богеміи заговорилъ, въ началѣ XV вѣка, неустранимый проповѣдникъ Іоаннъ Гуссъ. Въ то время, когда старое зданіе католицизма трещало и разваливалось повсемѣстно, кардиналы ухитрились выбрать двухъ папъ, которые начали ругать и проклинать другъ друга. Соборъ, созданный кардиналами въ Пізѣ, низложилъ обоихъ папъ и выбралъ третьяго. Но низложенные папы не признавали компетентности собора; на его приговоры они отвѣчали проклятіями, и такимъ образомъ, къ изумленію всѣхъ католиковъ, сохранившихъ еще средневѣковую наивность міросозерцанія, оказалось разомъ три папы, и взаимная брань дошла до послѣднихъ предѣловъ неприличія.

Въ 1416 году Константиискій соборъ, подъ председательствомъ императора Сигизмунда, положилъ копецъ этимъ безпорядкамъ и, для воз-

становленія древняго благочестія, осудилъ Іоанна Гусса на смертную казнь, несмотря на охранную грамоту, данную ему тѣмъ-же самымъ Сигизмундомъ. Гуссъ сгорѣлъ на кострѣ, но цѣль осталась недостигнутой, древнее благочестіе не возстановилось, и въ половинѣ XV вѣка ученый и умный католикъ, Эней Сильвій, говоритъ съ холоднымъ отчаяніемъ: «вѣра умерла; католическій міръ превратился въ тѣло безъ головы, въ республику, не имѣющую ни правительства, ни законовъ. Папа и императоръ могутъ блистать величіемъ своихъ титуловъ и пышностью своихъ костюмовъ; но они не въ силахъ повелѣвать, и никто не расположенъ имъ повиноваться.» Начинается новая жизнь. Европейская мысль старается заявить свою несостоятельность и полноправность повсемъ отраслямъ научной и практической дѣятельности. Корабль Колумба причаливаетъ къ берегамъ новаго міра. Телескопъ Галилея открываетъ тысячи невиданныхъ звѣздъ. Типографскій станокъ создаетъ на развалинахъ римской духовной власти небывалую общественную силу. Тяжелый средневѣковый кризисъ оканчивается блистательнымъ выздоровленіемъ.

## IX.

Въ XIII столѣтіи блаженный Рихальмъ, аббатъ шентальскаго монастыря, написалъ очень любопытное изслѣдованіе «о козняхъ и коварствахъ демоновъ противъ людей». Книга Рихальма была выпущена въ свѣтъ послѣ смерти автора и разошлась во многихъ спискахъ по тогдашнимъ монастырямъ. Издатель этой книги — монахъ, которому Рихальмъ диктовалъ результаты своихъ наблюденій, — зналъ хорошо умственные потребности своихъ будущихъ читателей и умѣлъ оцѣнить высокія достоинства издаваемого сочиненія. «Это очень печальное обстоятельство, — говоритъ издатель въ предисловіи къ труду Рихальма, — что мы не знаемъ ничего или знаемъ такъ мало подробностей о продолжкахъ нашихъ невидимыхъ враговъ. Я хотю теперь обнародовать открытія аббата, который занимался втеченіи всей своей жизни наблюденіями надъ демонами, который ихъ видѣлъ и слышалъ, который зналъ всѣ ихъ ухищренія.»

Аббатъ Рихальмъ занимался своимъ дѣломъ, какъ добросовѣстный ученый изслѣдователь, и умѣлъ съ замѣчательной ясностью передавать свои наблюденія читателямъ. «Думаютъ вообще, — пишетъ онъ, — что каждый человѣкъ искушается и терзается демономъ. Это — грубое заблужденіе. Вообразите себѣ, что вы погружены въ воду совсѣмъ съ головой. Вода давитъ васъ сверху, давитъ снизу, давитъ справа и слева: вотъ наглядное изображеніе зловредныхъ духовъ, которые окружаютъ и смущаютъ васъ со всѣхъ сторонъ; они безчисленны, какъ пы-

линии,носящіяся въ солнечномъ лучѣ, и даже еще безчисленнѣе; воздухъ—не что иное, какъ туча демоновъ.» — «Человѣкъ,—продолжаетъ нашъ изслѣдователь,—не можетъ ни говорить, ни думать, ни дѣйствовать безъ того, чтобы его не искушали черти. Они привязавъ къ намъ такъ тѣсно, что почти отождествляются съ нами: ихъ тѣло простирается надъ нашимъ тѣломъ; оно испытывается въ наше тѣло, оно сливается съ нашимъ тѣломъ; вотъ почему они говорятъ нашими устами и дѣйствуютъ нашими членами.» Послѣ этого ясно, что самыя простыя отклоненія нашей физической жизни оказываются продуктами дьявольскаго коварства. Такъ на примѣръ, кашель есть «голосъ одного демона, призывающаго къ себѣ на помощь своихъ товарищей». Высказавъ эту новую истину, Рихальмъ самъ дивится своему открытію. «Кто бы могъ это подумать!» восклицаетъ онъ. Почтенный аббатъ боится даже, что читатели примутъ его не за дурака, а за чародѣя. Само собой разумѣется, что всѣ мелчайшія проявленія зла составляютъ проказы неутомимыхъ чертей. «Укушенія блохъ и вшей,—говоритъ аббатъ,—производятся демонами. Еслибы кто нибудь сказалъ мнѣ прежде такую штуку, я-бы назвалъ его полоумнымъ; но теперь я знаю это навѣрное по моему собственному долготѣльному опыту.» Черти искушаютъ и тиранятъ всѣхъ людей; но по своему неисчерпаемому коварству они привязываются съ особеннымъ ожесточеніемъ къ тѣмъ избраннымъ личностямъ католическаго міра, которыя стремятся достигнуть нравственнаго совершенства. Разумѣется, монахи терпятъ отъ демоновъ больше, чѣмъ міряне. Въ монастыряхъ ухищреніямъ дьявольскимъ нѣтъ числа. Ночью демоны мѣшаютъ спать монахамъ для того, чтобы монахи спали днемъ, когда надо работать или молиться. Когда монастырскій колоколъ призываетъ монаховъ въ церковь, тогда всѣ черти поднимаютъ величайшую возню и тревогу; всѣ черти собираются въ кучу, и самыя ретивые подзадориваютъ лѣнивыхъ и вялыхъ. «Что вы, дармоѣды, здѣсь дѣлаете? зачѣмъ вы не идете въ церковь? Вѣгивте, торопитесь, не мѣшайте!» Тогда они врываются въ капеллу вслѣдъ за монахами, и цѣлая армія бѣсовъ бросается тѣмъчасъ въ глаза аббату, такъ что тотъ поневолѣ смыкаетъ отяжелѣвшія вѣки. Въ это время другіе лиходѣи создаютъ искусственный мракъ, и бѣдный аббатъ уносится въ царство сновидѣній. А когда спитъ аббатъ, тогда ужъ о простыхъ монахахъ нечего и спрашивать: вся церковь наполняется ихъ храпѣніемъ, и бѣсы торжествуютъ побѣду.

Рихальмъ много разъ испыталъ на самомъ себѣ, что черти терпѣть не могутъ душеспасительныхъ книгъ; какъ только Рихальмъ принимался за душеспасительное чтеніе, черти тотчасъ заставляли его зѣвать и нагоняли на него

глубокій сонъ; но Рихальмъ, какъ человѣкъ опытный, умѣлъ обороняться противъ ихъ коварства искусственными мѣрами; онъ обнажалъ свою руку, чтобы холодъ отгонялъ отъ него сонъ; тогда черти производили въ этой рукѣ невыносимый зудъ, подобный укушенію многихъ блохъ; Рихальмъ убиралъ руку подъ рясу; рука согрѣвалась, и тогда уже не оставалось никакой возможности бодрствовать и читать; аббатъ закрывалъ глаза, сознавая свое человѣческое безсиліе и неутомимость вражескихъ козней. Работа также не нравится дьяволу; когда монахи трудятся, черти стѣсняють ихъ дыханіе или бросаются къ нимъ на ноги и на руки и такимъ образомъ ежеминутно возбуждаютъ въ нихъ желаніе опочить отъ трудовъ. Когда однажды Рихальмъ вмѣстѣ съ монахами носилъ камни въ монастырскомъ саду для построения ограды, одинъ изъ мѣстныхъ чертей сталъ декламировать во всеуслышаніе стихи Горация, прославлявшіе прелести праздной и изыщенной жизни. «Кто это сказалъ,—прибавилъ искушитель,—тотъ былъ человѣкъ не глупый. Вамъ-бы слѣдовало устроить себѣ жизнь по примѣру Горация; невозможно долго выдержать тяжелую работу, къ которой васъ приневоливаютъ.» — Когда монахи садятся за столъ, черти дѣлають имъ всякія пакости; иной разъ они отнимають у монаховъ аппетитъ, чтобы довести ихъ до разслабленія; чаще всего они заставляютъ ихъ ѣсть такъ много, что у нихъ раздувается животъ и начинается тошнота. Когда въ большіе праздники подается къ столу хорошее вино, тогда прибѣгаютъ стаи чертей и напиваются монаховъ до положенія ризъ. А когда монаху необходимо пить вино, тогда тѣ-же черти внушаютъ ему къ вину непобѣдимое отвращеніе. Такое несчастіе испыталъ на себѣ самъ Рихальмъ, которому вино было необходимо для поддержанія здоровья.

Вся наука Рихальма основана на непосредственномъ наблюденіи; онъ говорилъ съ демонами, слышалъ рѣчи и проникалъ во всѣ тайны ихъ разговоровъ и злоумышленій. Въ своей способности слышать и понимать языкъ чертей, недоступный для большинства смертныхъ, аббатъ шпентальскій видѣлъ проявленіе особеннаго вдохновенія. Онъ боялся, что этотъ даръ возбудитъ въ душѣ его пагубную гордость, и во избѣжаніе этого зла распорядился такъ, что его изслѣдованіе осталось неизданнымъ до самой его смерти. Опасенія скромнаго Рихальма были основательны: твореніе опытнаго демонолога вошло въ славу, и монахи XIII вѣка выразили о немъ ту мысль, что оно «должно сдѣлаться настольной книгой для философовъ, теологовъ и аскетовъ». Въ этомъ сужденіи нѣтъ ничего удивительнаго. Величайшіе средневѣковые мыслители, Альбертъ Кельнскій, Рожеръ Бэконъ, Фома Аквинскій, Бонавентура, Петръ

Достопочтенный, Жерсонъ, всё безъ исключенія, по всемъ правиламъ аристотелевской логики, съ величайшей добросовѣстностью ломали себѣ головы надъ мудреными и очень специальными вопросами, касавшимися до нечистой силы и до ея разнообразныхъ сношеній съ людьми. Аристотелевская логика давала этимъ людямъ возможность вводить въ свое изслѣдованіе тончайшія подраздѣленія и разграниченія понятій; но никакая логика въ мірѣ не можетъ отвѣтить ни да, ни нѣтъ на вопросъ о томъ: соответствуютъ-ли разбираемымъ понятіямъ какия-нибудь явленія живой дѣйствительности? Логика помогала средневѣковымъ философамъ превосходно анализировать галлюцинаціи; логика выводила изъ этихъ галлюцинацій все, что можно было изъ нихъ вывести; но такъ какъ исходная точка всего изслѣдованія была выбрана неудачно, то и заключенія оказывались чрезвычайно странными и дикими даже у такихъ людей, которые были гораздо умнѣе простодушнаго Рихальма. Лютеръ считается великимъ историческимъ дѣятелемъ, и его дѣйствительно невозможно выкинуть изъ исторіи человѣческаго ума, а между тѣмъ этотъ самый Лютеръ имѣлъ несчастье неоднократно видѣть чорта собственными глазами и пускать ему въ физиономію собственную чернильницу. Лютеръ утверждалъ, не хуже Рихальма, что хлѣбъ, который мы ѣдимъ, вода, которую мы пьемъ, воздухъ, которымъ мы дышемъ, платье, которое мы носимъ, — словомъ, все, что составляетъ нашу жизнь, — принадлежитъ дьяволу и безчисленнымъ его бѣсенатамъ. Онъ былъ твердо увѣренъ въ томъ, что всё наши болѣзни производятся лукавыми продѣлками чертей, и что на этомъ основаніи люди должны лечиться не лекарствами, а психическими средствами.

Пока человѣческій умъ усиливался проникнуть въ ту вышнюю и таинственную область, которая навсегда останется для него недоступной, — до тѣхъ поръ лучшія умственные силы гениальныхъ мыслителей тратились постоянно на собраніе и комментированіе разныхъ галлюцинацій, подобныхъ изслѣдованіямъ аббата Рихальма. Люди хотѣли понять то, что само по себѣ непостижимо, и, разслабляя свой умъ въ этой непосильной и невозможной работѣ, теряли способность отличать истину отъ нелѣпости и дѣйствительность отъ горячечнаго бреда. Романтики и реакціонеры западной Европы стараются увѣрить всѣхъ и каждаго въ томъ, что средніе вѣка были золотымъ временемъ истиннаго благочестія. Эти господа морочатъ себя и свою довѣрчивую публику. На самомъ дѣлѣ въ средневѣковой жизни не было ни настоящей религіи, ни настоящей науки, а была какая-то очень безобразная смѣсь тѣхъ элементовъ, изъ которыхъ при благоприятныхъ условіяхъ можетъ выработаться то и другое.

Область религіи, въ которой должно господствовать чувство, была загромождена нелѣпыми тонкостями схоластической діалектики. Монахи и священники католической Европы диспутировали о догматахъ, вмѣсто того чтобы проводить въ жизнь истины религіознаго ученія. Область чистаго знанія была завалена неразрѣшимыми вопросами и фантастическими представленіями. Средневѣковые ученые, то-есть тѣ-же монахи и священники, диспутировали о высокихъ матеріяхъ, вмѣсто того чтобы скромно изучать видимыя явленія. Для умственного и нравственнаго совершенствованія человѣчества, для спасенія европейскихъ мозговъ отъ галлюцинацій аббатовъ Рихальмовъ было необходимо отдѣлать навсегда область положительнаго знанія отъ области схоластическихъ умствованій, сосредоточенныхъ въ католическихъ монастыряхъ. Здѣсь я постараюсь показать въ общихъ чертахъ, какимъ образомъ и при какихъ условіяхъ совершалось это необходимое размежеваніе двухъ существенно различныхъ отраслей человѣческой дѣятельности.

## Х.

Начиная съ XII вѣка, а быть-можетъ и гораздо раньше, мы замѣчаемъ постоянно возрастающій разладъ между клириками и мірянами, между католической церковью и гражданскимъ обществомъ. Свѣтская власть ведетъ ожесточенную борьбу противъ іерархіи и наконецъ въ началѣ XIV столѣтія одерживаетъ надъ ней рѣшительную побѣду. Представители католицизма уступаютъ напору физической силы, но въ теоріи продолжаютъ поддерживать свои притязанія во всей ихъ средневѣковой неумѣренности. Папы XIV столѣтія живутъ въ Авиньонѣ и чувствуютъ на себѣ всю тяжесть французскаго вліянія, но въ то-же время они всѣми силами стараются увѣрить себя и другихъ, что они попрежнему располагаютъ судьбой царей и народовъ, казня и милуя по своему благоусмотрѣнію всѣхъ сильныхъ и великихъ міра. Папы этого періода разсыпаютъ свои буллы во всѣ концы католической Европы боясь повидимому, что безъ этой предосторожности ихъ легкомысленная паства совсѣмъ забудетъ о ихъ существованіи. Шумная литературная дѣятельность авиньонскихъ папъ, обширность ихъ претензій, совершенно не соответствующая размѣрамъ ихъ наличныхъ силъ, возбуждаютъ въ догдалыхъ католикахъ насмѣшливое презрѣніе, котораго они даже вовсе не желаютъ скрывать. — Странствующие рыцари XIV вѣка при удобномъ случаѣ совершенно безразлично грабятъ самого папу наравнѣ со всѣми остальными смертными. «По дорогѣ въ Испанію, — говоритъ Шлоссеръ, — Бертранъ провелъ свои дикія орды черезъ Авиньонъ и другія мѣстности южной Франціи, чтобы

доставить имъ случай поживиться на счетъ тамошняго населенія и паны. Въмѣсто потребованной ими огромной суммы денегъ, Урбанъ V предложилъ имъ разрѣшеніе церкви грабить, жечь и убивать; но хищники насмѣшливо отвѣтили ему, что безъ его разрѣшенія они обойдутся, а безъ денегъ никакъ. Папа былъ вынужденъ уплатить имъ 200,000 золотыхъ флориновъ и вознаградилъ себя за этотъ убытокъ налогомъ на французское духовенство.»

Но если папа былъ безсиленъ и беззащитенъ, то и вся масса католическаго духовенства находилась въ такомъ же печальномъ положеніи. Свѣтская власть, въ лицѣ всѣхъ крупныхъ и мелкихъ представителей, непременно хотѣла сравнять права клириковъ съ правами мірянъ, а клирики, разумѣется, считали это неслыханное стремленіе такой тяжкой обидой, послѣ которой и на свѣтѣ жить не стоить. Набравши себѣ несмѣтное количество земель и капиталовъ, епископы и аббаты очень убѣдительно доказывали королямъ, баронамъ и юристамъ, что религія строго запрещаетъ духовенству платить подати, налагаемыя свѣтской властью. «Это не наше имущество, — говорили клирики: — это все принадлежитъ нищимъ и убогимъ, вдовицамъ и сиротамъ. Смѣемъ ли мы расхищать на суетныя предпріятія вопіющихъ и жестокихъ правителей то, что вручено намъ для облегченія человѣческихъ страданій?» — На эту аргументацію, подкрѣпленную почтеннымъ количествомъ почтенныхъ цитатъ, короли и бароны отвѣчали обыкновенно насильственнымъ захватываніемъ того, чего имъ не давали добровольно. Народъ обыкновенно глубоко сочувствовалъ такому насилію, и, надо сказать правду, свѣтская власть была поставлена всѣмъ теченіемъ прежнихъ историческихъ событій въ такое безвыходное положеніе, при которомъ насиліе было безусловно необходимо.

Клерикалы, пользуясь невѣжествомъ и суевѣріемъ мірянъ, дѣйствуя своими увѣщаніями на полоумныхъ стариковъ или слабыхъ женщинъ втеченіи многихъ вѣковъ, успѣли добыть въ свою пользу громадную массу завѣщаній и дарственныхъ записей. Приобрѣтая постоянно, они никогда не выпускали и не могли выпустить законнымъ путемъ изъ своихъ рукъ ни одного клочка земли. Что попадало въ церковь, то оставалось на вѣчныя времена церковнымъ достояніемъ. Личности умирають, фамиліи и династіи исчезаютъ безъ слѣда, но корпораціи безсмертны. Еслибы короли и бароны не выжимали иногда силой то, что было захвачено въ пользу церкви хитростью, то духовенство сдѣлалось бы наконецъ единственнымъ собственникомъ, владѣтелемъ всей западной Европы; а мірянамъ, всѣмъ безъ исключенія, пришлось бы превратиться въ тѣхъ ни-

соч. д. и. писарева, т. iv.

щихъ, которымъ католическіе монахи раздають утромъ и вечеромъ, у монастырскихъ воротъ, даровыя порціи супа и хлѣба. Народу вовсе не нравилась подобная перспектива, и поэтому народъ очень добросовѣстно поддерживалъ правительство, когда оно, нуждаясь до зарѣзу въ деньгахъ, принималось выжимать сокъ изъ зажиточныхъ монсиньоровъ. Такія выжиманія облекались иногда въ очень оригинальныя формы. Въ 1118 году правитель или подеста итальянскаго города Фано потребовалъ отъ мѣстнаго епископа, чтобы онъ, пользуясь безопасностью за городскими стѣнами, выисалъ извѣстную сумму денегъ на ремонтъ этихъ спасительныхъ стѣнъ. Епископъ, разумѣется, поддержалъ достоинство своего званія, то-есть отказался на отрѣзъ и разразился приличнымъ количествомъ цитатъ и аргументовъ. Но подестѣ хотѣлось получить деньги, а не проповѣдь. Чтобы смягчить сердце и развязать кошелькъ его преподобія, подеста запретилъ всѣмъ горожанамъ и пріезжимъ продавать епископу съестные припасы, и несчастные итальянцы выполнили эту инструкцію съ такимъ неподдѣльнымъ усердіемъ и съ такой буквальной точностью, что почтенный прелатъ, скрежеща зубами, принужденъ былъ дорогой цѣной откупиться отъ голодной смерти.

Маневръ итальянскаго подесты повторился въ нѣкоторыхъ усовершенствованіяхъ во Франціи. Въ 1159 году графъ ангулемскій отлучилъ отъ гражданскаго общества все духовенство своего города. Онъ запретилъ всѣмъ горожанамъ вступать съ клириками въ какия-бы то ни было торговыя сношенія; кромѣ того онъ запретилъ клирикамъ пользоваться водой городскихъ фонтановъ и колодцевъ. Разумѣется, никакая полиція въ мірѣ не могла бы услѣдить за точнымъ исполненіемъ этихъ удивительныхъ предписаній. Но сами горожане сочувствовала распоряженіямъ грознаго феодала, и духовенству пришлось такъ круто, что оно, гонимое голодомъ и жаждой, принуждено было выселиться изъ Ангулема.

Отказываясь платить налоги, клирики не хотѣли также подчиняться дѣйствию общихъ уголовныхъ законовъ. У нихъ былъ свой собственный судъ, при которомъ они могли безбоязненно нарушать всѣ права остальныхъ гражданъ. Папа Целестинъ III, царствовавшій въ самомъ концѣ XII вѣка, установилъ для духовенства слѣдующую таксу наказаній: за воровство или убійство клирикъ лишается духовнаго званія; за вторичное преступленіе его отлучаютъ отъ церкви; за третье — его порицають самымъ тяжкимъ проклятіемъ; наконецъ, за четвертое — неисправимаго и закоснѣлаго гѣшника предають въ руки свѣтскаго правосудія, которое, разумѣется, немедленно исправляетъ виновнаго висѣлицей, колесомъ или на-

кими-нибудь другими, столь же назидательными средствами.

Такимъ образомъ глава католической церкви торжественно обязался три раза укрывать своихъ преступныхъ подчиненныхъ отъ преслѣдованій свѣтскихъ трибуналовъ; только третье убійство уравнивало клирика съ простыми смертными и только четвертое подводило его подъ общій уголовный законъ. Португальскій король донъ-Педро Правосудный нагляднымъ образомъ показалъ неудовлетворительность этого церковнаго постановленія. Одинъ португальскій священникъ совершилъ убійство; за это церковный судья отнялъ у него священство. Педро велѣлъ одному каменщику убить разжалованнаго преступника и велѣлъ затѣмъ за сдѣланное убійство отнять у этого каменщика право тесать камни. Духовенству вовсе не понравилось это распоряженіе. Не давая, съ своей стороны, обществу никакихъ гарантій, клирики желали въ то-же время, чтобы общество самыми строгими мѣрами гарантировало ему полную неприкосновенность личности и имущества. Такія несправедливыя требованія, разумѣется, были несовмѣстны съ развитіемъ общественной жизни и всегда возмущали нравственное чувство народныхъ массъ. Когда католическое духовенство было сильно и когда оно дѣйствительно пользовалось своими естественными привилегіями, тогда оно возбуждало противъ себя въ обществѣ зависть и ненависть. Когда-же духовенство, сдѣлавшись слабымъ, продолжало заявлять слезливымъ тономъ свои чудовищныя притязанія, тогда на него посыпались со всѣхъ сторонъ презрительныя насмѣшки и грубыя оскорбленія. Раздраженное общество мстило жестоко за многолѣтнее поруганіе своихъ разумныхъ правъ.

Къ ужасу и негодованію клириковъ, юристы или, по тогдашнему, легисты сформулировали и привели въ систему требованія свѣтской власти и общественнаго мнѣнія. Тутъ коса нашла на камень; теорія напала на теорію; ученость сразилась съ ученостью; крюкотворство и пронырство встрѣтились лицомъ къ лицу съ пронырствомъ и крюкотворствомъ. Равняясь съ своими противниками въ нравственной неразборчивости, легисты имѣли на своей сторонѣ то огромное преимущество, что они все-таки, добросовѣстно или недобросовѣстно, сражались за правое дѣло. Они говорили клирикамъ: вы извращаете смыслъ текстовъ, вы искажаете исторію, вы подрываете основанія общества, вы ссылаетесь на подложные документы; и всѣ эти суровыя обвиненія были справедливы. Представители свѣтской власти ревностно старались придавать этимъ обвиненіямъ самую обширную гласность, а народные массы съ восторгомъ подхватывали на лету эти официальные выраженія тѣхъ мыслей и желаній, которыя вслѣ-

новали всѣ умы и давно искали себѣ возможности вырваться на свободу.

## XI.

Праздность, богатство и отсутствіе отвѣтственности развращаютъ обыкновенно какъ отдѣльную личность, такъ и цѣлыя сословія или корпораціи. Католическое духовенство, долго господствовавшее надъ умами и кошельками средневѣковыхъ европейцевъ, пропиталось насильемъ всѣми пороками, составлявшими естественное и необходимое слѣдствіе его привилегированнаго положенія. Въмѣсто того, чтобы служить мѣрянамъ примѣромъ безукоризненной нравственности, клирики развращали ихъ своимъ влеченіемъ. Уже въ XII столѣтіи еретики отличались отъ католиковъ преимущественно скромностью и цѣломудріемъ. Кто не пьянствовалъ и не развратничалъ, того католическое начальство брало на замѣчаніе, какъ подозрительнаго человѣка. Если, чего Боже сохрани, оказывалось, что этотъ воздержный человѣкъ осмѣливался читать въ своемъ домѣ Библію, — участь этого лиходѣя была рѣшена. Читаетъ Библію — значитъ еретикъ, и притомъ самый опасный, потому что онъ посягаетъ на право духовенства, которое очевидно не можетъ позволить никому простому смертному изучать и понимать во своему священному писанію. На такого человѣка необходимо подать доносъ, а за доносами у клириковъ никогда не останавливалось дѣло. Доносить и клеветать — значило, по ихъ мнѣнію, жить и дѣйствовать. «Около 1170 года, — говоритъ Лоранъ, — одинъ реймскій клирикъ, встрѣтивъ одну молодую дѣвушку, гулявшую безъ провожатаго, захотѣлъ ее соблазнить; она отклонила его любезности, говоря, что на вѣки погубитъ свою душу, если когда-нибудь лишится дѣвственности. Ревностный клирикъ понялъ изъ этого суроваго отвѣта, что дѣвушка принадлежитъ къ богомерзкой сектѣ манихеевъ. Пылая усердіемъ, онъ составилъ доносъ противъ той, которая отказалась удовлетворить его сластолюбію. Дѣвушку эту сожгли; входя на костеръ, она не произнесла ни одной жалобы и не прелила ни одной слезы.» («La Réforme».)

Желая возвысить свою власть въ глазахъ мѣрянь, Григорій VII обрекъ все католическое духовенство на самую строгую одинокую жизнь. Великій папа не сообразилъ только того простого обстоятельства, что кукомъ пергамента невозможно пересоздать человѣческую природу. Плоды соборнаго рѣшенія и папскаго декрета о безбрачій духовенства далеко не соответствовали намѣреніямъ Григорія VII и его совѣтниковъ. Плоды получились вотъ какіе. «Архіепископъ Кентерберійскій, — говоритъ Шлоссеръ, — также былъ публично осмѣянъ, когда вздумалъ прасѣгнуть къ высшей духовной вла-

сти, и городская полиція жестоко отмстила духовенству, арестовавъ его любовницъ и выставивъ ихъ на позоръ, какъ публичныхъ женщинъ.» Еще непочтительнѣе поступилъ съ чешскимъ духовенствомъ императоръ Венцеславъ: «онъ вытребовалъ однажды, — говоритъ Шлоссеръ, — всѣхъ любовницъ пражскаго духовенства и выставилъ ихъ къ позорному столбу вмѣстѣ съ прелатами, у которыхъ онѣ жили». Эти печальныя событія происходили въ концѣ XIV столѣтія, а въ XIII столѣтіи произошелъ случай еще болѣе замѣчательный. Датчане и фризцы потребовали отъ своихъ клириковъ, чтобы они взяли себѣ любовницъ, лишь бы только «не осквернили ложе другихъ людей». (Raumer, «Geschichte der Hohenstaufen».)

Всѣ монашескіе ордена безъ исключенія были увлечены въ тотъ-же омутъ безнравственности, въ которой тонула вся масса католическаго духовенства. Въ каждомъ вѣкѣ было нѣсколько чистыхъ и энергическихъ личностей, добросовѣстно стремившихся къ аскетическому совершенству и смотрѣвшихъ съ ужасомъ и отвращеніемъ на гадости современной дѣйствительности. Эти люди проповѣдывали противъ пороковъ словомъ и примѣромъ, увлекали за собой многихъ послѣдователей, давали монастырямъ строгіе уставы, оживляли на короткое время фанатическія страсти мечтателей, основывали новые ордена и умирали съ той простодушной надеждой, что спасли навсегда честь и достоинство католическаго монашества. Но само собой разумѣется, что сила обстоятельствъ была свое, несмотря ни на какіе подвиги Бернарда, Нетрова Достопочтенныхъ, Доминиковъ и Францисковъ Ассизскихъ. Въ два-три десятилѣтія новые ордена такъ ловко успѣвали потускнѣть и загрязниться, что ихъ никто въ мірѣ не счумѣлъ-бы отличить отъ самыхъ старыхъ. Чѣмъ строже были требованія новыхъ уставовъ, тѣмъ сильнѣе развивалось лицемеріе и тѣмъ искуснѣе оказывались монахи въ пріисканіи себѣ разныхъ лазѣкъ, увертокъ и кляузныхъ оправданій. Прикрываясь благовиднѣйшими предлогами, монахи дѣлали какъ разъ все то, что строго запрещено было уставами ордена. Всѣмъ монахамъ безъ исключенія предписывалось отречься отъ міра и отъ всѣхъ его суетныхъ интересовъ. Но уже съ XII вѣка монахи взялись за изученіе права и стали заниматься адвокатурой. Множество соборовъ дѣлали имъ за это суетное стремленіе строгія замѣчанія; имъ запрещали изучать законы, но запрещенія эти были безсильны; ихъ стыдили и бранили, они выслушивали брань и пропускали ее мимо ушей.

«Пламя жадности, — говоритъ одинъ соборъ въ 1131 году, — возжигаетъ сребролюбіе монаховъ; они смѣшиваютъ правду съ неправдой, чтобы пріобрѣсти себѣ какъ можно больше де-

негъ.» — «Не стыдно-ли для монаховъ, — говорить другой соборъ, въ 1269 году, — гоняться за суетнымъ блескомъ судебного враспорѣчія? Эти болтуны думали сравняться съ Цицерономъ! Они были скорѣе похожи на квакающихъ лягушекъ.» А монахи все-таки продолжали суетничать и, когда начальство подступало къ нимъ слишкомъ близко, оправдывались тѣмъ, что они хлопочутъ не изъ за денегъ и не изъ жестилюбія, а для того, чтобы защитить отъ притѣсненій сильнаго и богатаго вдовъ и сиротъ, убогихъ и неимущихъ. Начальство наконецъ утомилось и махнуло рукой на монашествующихъ юристовъ. — Пріобрѣтая себѣ репутацію ловкихъ дѣльцовъ, соперники Цицерона выдвигались впередъ и поступали на государственную службу. Монахъ становился чиновникомъ. Соборы гремѣли противъ этихъ поразительныхъ нарушеній монастырскаго устава, но монахи не унимались, а свѣтская власть вербовала себѣ опытныхъ законовѣдовъ, не обращая вниманія на покрой ихъ одежды. — Монахи изучали медицину и хирургію и лечили людей ланцетомъ и микстурами, между тѣмъ какъ католическіе уставы допускали, въ случаѣ болѣзни, только постъ и молитву. Монахи пускались въ коммерческія предпріятія; монахи отдавали деньги въ ростъ; монахи занимались банкирскими спекуляціями. Тутъ благочестивымъ людямъ оставалось только ахать и разводить руками. «Деньги, — пишетъ строгій францисканецъ, св. Бонавентура, — этотъ смертельный врагъ нашего ордена, возбуждаютъ въ нашихъ братьяхъ такую алчность, что прохвѣи боятся съ ними встрѣчаться и бѣгутъ отъ нихъ, какъ отъ наглыхъ грабителей. Наша бѣдность есть ужаснѣйшая ложь. Мы просимъ милостыню, какъ бѣдняки, и плаваемъ въ роскоши.»

Усердно поклоняясь золотому тельцу, клирики всѣхъ сортовъ неутомимо грызлись между собой за барыши. Ссорамъ, сплетнямъ, взаимнымъ попрекамъ и скандальнымъ выдумкамъ не было конца. «Францисканцы и доминиканцы вырывали другъ у друга щедроты вѣрующихъ, ссорились между собой изъ за собиранія милостыни, переманивали другъ у друга adeptовъ и взаимно воровали другъ у друга даже проповѣди; они проповѣдывали одни противъ другихъ и публично, на церковной каведрѣ, читали скандальную хронику враждебнаго ордена. Эти взаимныя обвиненія засвидѣтельствованы въ особомъ мирномъ договорѣ, заключенномъ между обоими орденами въ 1255 году и возобновленномъ въ 1278 году.» («La Réforme».) Если мы припомнимъ, что основатели этихъ орденовъ, Доминикъ и Францискъ, умерли — первый въ 1221 году, а второй въ 1226 году, то увидимъ ясно, съ какою неудержимой быстротой развращались до мозга костей самыя



строгія общины католическихъ монаховъ. Ненавидя другъ друга, нищенствующіе ордена презирали всѣхъ остальныхъ монаховъ; бѣлыхъ бенедиктинцевъ они называли неучами и полумірянами, а черныхъ — гордецами и эпикурейцами. «Одна обѣдня нищенствующаго монаха, — говорили они, — стоитъ четырехъ обѣдней простого священника.» Бѣлые и черные монахи также вели между собой ожесточенную войну и старались уронить другъ друга во мнѣніи свѣтскаго общества. «Я часто видалъ, — пишетъ Петръ Достопочтенный, — какъ черный монахъ, встрѣчаясь съ бѣлымъ, смѣялся надъ нимъ, точно будто онъ видѣлъ въ немъ какое-нибудь странное чудовище, кентавра или химеру. Отчего эти монахи, имѣющіе одного общаго отца, до такой степени ненавидятъ другъ друга? Причина ихъ вражды заключается въ гордости. Черные монахи, имѣющіе за себя свою древность, не могутъ простить бѣлымъ того, что послѣдніе отбили у нихъ уваженіе народа, а бѣлые, съ своей стороны, гордятся тѣмъ, что обновили орденъ св. Бенедикта.» — «Клирики, — жалуется генераль францисканцевъ-миноритовъ, св. Бонавентура, — ненавидятъ насъ хуже, чѣмъ жидовъ, за то, что мы знаемъ ихъ пороки. Подавленные своимъ невѣжествомъ, они завидуютъ намъ, потому что мы больше ихъ нравимся вѣрующимъ; наконецъ они боятся, что убавятся ихъ доходы вълѣдствіе той милостыни, которую мы собираемъ; тутъ и есть главная причина ихъ жестокой ненависти, потому что они гораздо больше заботятся о грязномъ барышѣ, чѣмъ о спасеніи человеческихъ душъ.»

Втеченіи цѣлыхъ столѣтій католическое духовенство старалось такимъ образомъ всѣми силами подрывать свое вліяніе на умы народныхъ массъ, и, несмотря на безпредѣльное простодушіе и долготерпѣніе средневѣковой публики, эти добросовѣстные и неутомимыя старанія увѣнчались наконецъ вождѣлѣннымъ успѣхомъ. Уже съ XIII вѣка вплоть до самой реформации, то есть до XVI столѣтія, всѣ западные европейцы, знатные и простые, ученые и неученые, умные и глупые всѣ въ одинъ голосъ кричать, поютъ и пишутъ, что духовенство нигде не годится. Народу нравились въ это время всего больше тѣ пѣсни, сказки или романы, которые смѣлае и рѣзче другихъ осмѣивали и позорили іерархію. Въ XII вѣкѣ появилась латинская поэма сатирическая «Reinardus Vulpes» (Рейнаркъ-Лиса), въ которой неизвѣстный авторъ продергивалъ съ беспощадной рѣзкостью властолюбіе и жадность римскаго первосвященника. Поэма эта произвела фуроръ; ее передѣляли на старо-французскій языкъ и на старо-нѣмецкій; ее учили наизусть; картины изъ этой поэмы составляли любимое украшеніе комнатъ; эти картины проникли даже въ монастыри и увеселяли собой спасающихся отшельниковъ. А въ поэмѣ встрѣчаютъ

ся между прочимъ такіе эпизоды: авторъ описываетъ аллегорическій корабль, составленный изъ всевозможныхъ грѣховъ. «Дно сдѣлано изъ дурныхъ мыслей; борты — изъ измѣны, сплочены гнусностью и постыдными дѣлами очень хорошо закрѣплены. Изъ плутовства сдѣлана мачта, якорь — изъ коварства и вѣроломства, корма выкована изъ подлости, изъ жестокости и изъ пронырства; корабль обложенъ сѣрымъ сукномъ, вытканнымъ изъ лицемерія, лѣности и развратной жизни.» И на этомъ кораблѣ, представляющемъ символъ всякаго зла, сидитъ въ чинѣ адмирала самъ папа, кардиналы его помощники, а экипажъ составленъ изъ католическихъ священниковъ и монаховъ.

Въ началѣ XV вѣка гусситы, какъ извѣстно, стали избивать католическихъ священниковъ и монаховъ, какъ дикихъ звѣрей. Эгогъ дурной примѣръ оказался соблазнительнымъ даже для самихъ католиковъ. «Постоянныя злоупотребленія и грабительства духовенства, — пишетъ кардиналъ Юлианъ Чизарини, — такъ озлобили нѣмцевъ, что, того и гляди, они, подобно гусситамъ, перебьютъ духовенство и сожгутъ монаховъ.» — Императоръ Сигизмундъ въ это-же самое время подробно развиваетъ ту-же неутихожительную мысль: «Я боюсь, — пишетъ онъ, — что нѣмецкіе горожане поступятъ съ іерархіей точно такъ-же, какъ чеха; уже городъ Магдебургъ выгналъ своего архіепископа вмѣстѣ со всѣми канониками, а, подобно гусситамъ, разграбилъ ихъ имущество; союзные же Магдебургу ганзейскіе города готовы послѣдовать этому примѣру; по слухамъ, и на Рейнѣ собирались тысячи мірянъ, чтобы заставить городъ Вормсъ выдать духовенство и евреевъ; насаусцы хотятъ взять приступомъ замки своихъ епископовъ, а бамбергцы ведутъ открытую войну съ духовенствомъ за привилегіи, данныя имъ королемъ.» Около этого-же времени папскій секретарь, Леонардо Аретино, обращается къ монахамъ съ слѣдующей непочтительной рѣчью: «Васъ, — говоритъ онъ, — называютъ комедіантами, и вамъ этимъ названіемъ дѣлаютъ слишкомъ много чести, потому что вы хуже канатныхъ плясунцовъ; тѣ надѣваютъ маску, чтобы забавлять зрителей, а вы носите маску добродѣтели, чтобы разорять вѣрующихъ; актеры разыгрываютъ свои фарсы въ несвященномъ мѣстѣ, вы-же оскверняете святилища храмовъ... Ваше лицемеріе возрастаетъ вмѣстѣ съ вашими притязаніями на совершенство; величайшими лицемерами въ вашей средѣ оказываются тѣ, которые прикидываются самыми добродѣтельными; гробы повапленные, они блещутъ снаружи; загляните подъ оболочку, — вы не найдете ничего, кромѣ гнили!... Посмотрите на этихъ смиренныхъ, съ потухшими взглагомъ, съ опущенными глазами, — вы-бы приняли ихъ за святыхъ угольниковъ; но если вы оскорбите ихъ въ ничтожнѣйшей мелочи, ихъ ярость

и ихъ гнѣвъ разразятся: они покажутся вамъ Агамемнонами, Ахиллами или какими-нибудь другими героями, еще болѣе вспыльчивыми и надменными.»

Чтобы оцѣнить все значеніе этой жестокой тирады, надо помнить, что это говоритъ не какой-нибудь легкомысленный поэтъ или ослобленный пролетарій, а солидный ученый, жившій при папскомъ дворѣ на готовыхъ и очень сытныхъ хлѣбахъ. Другіе знаменитые богословы и ученые XV и XVI столѣтій, Клемажи, д'Аллы, Жерсонъ, Эразмъ, повторяютъ тѣ же самыя упреки въ болѣе или менѣе рѣзкой формѣ. Изъ всѣхъ фактовъ и свидѣтельствъ, собранныхъ въ этой главѣ, не трудно вывести то заключеніе, что, начиная съ XII вѣка, нравственное могущество католической іерархіи постоянно ослабѣвало по мѣрѣ того, какъ утрачивалась его нравственная чистота. Къ началу XV вѣка духовенство сдѣлалось до такой степени грязнымъ, что всѣ стали его презирать, и до такой степени безсильнымъ, что всѣ могли безнаказанно наносить ему оскорбленія.

## XII.

Навлекая на себя ненависть и презрѣніе общества, католическое духовенство не только подтачивало свое собственное могущество, но еще кроме того, — что гораздо важнѣе, — порождало и воспитывало въ народныхъ массахъ равнодушіе, или даже враждебное чувство къ самой католической религіи. Въ цвѣтущія времена своего господства духовенство старалось и дѣйствительно сумѣло слить въ одно неразрывное цѣлое свои личные интересы съ интересами религіи. Выражаясь точнѣе, оно подставляло свои интересы на мѣсто интересовъ религіи, такъ что быть религіознымъ человѣкомъ на языкѣ простодушныхъ католиковъ — значило угождать во всемъ аббатамъ и монахамъ. Это было безъ сомнѣнія очень выгодно для духовенства, пока оно пользовалось всеобщимъ уваженіемъ невѣжественныхъ и суевѣрныхъ варваровъ; но какъ только духовенство опозорило себя своей безнравственностью въ глазахъ поумнѣвшаго средневѣковаго общества, такъ уже для него, то есть для духовенства, не осталось возможности ухватиться за принципъ и удержать себя такимъ образомъ отъ окончательнаго паденія. Массы понимали это какъ нельзя лучше и, отвертываясь отъ духовенства, отвертывались въ то же самое время и отъ католическаго принципа. Надо было быть очень ученымъ богословомъ, чтобы отдѣлить религіозную истину отъ глѣхъ произвольныхъ прибавокъ, украшеній и искаженій, которыя были пущены въ ходъ властолюбивымъ и корыстолюбивымъ духовенствомъ. Тутъ есть масса фактовъ, которые показываютъ, что духовенство было не по силамъ массы, и она быстрыми шагами шла отъ слѣпноты обожанія къ такому же слѣпному и неразборчивому отрицанію.

Такъ оно и было дѣйствительно въ XIV и въ XV столѣтіяхъ. Клерикальная политика и клерикальный обманъ, называвшіеся въ средніе вѣка благочестивой хитростью (*fraus-pia*), пропитали насквозь и переработали своимъ опшляющимъ вліяніемъ всѣ составныя части католическаго клира. Попы и монахи поддѣлывали легенды, поддѣлывали чудеса и наконецъ съ величайшимъ успѣхомъ поддѣлывали даже цѣлыя догматы. Святой Діонисій считался патрономъ Франціи, а св. Іаковъ Компостельскій — патрономъ Испаніи; о томъ и о другомъ существовало множество разказовъ, выдававшихся за неприкосновенную истину; въ этихъ разказахъ изображалось подробно, какъ св. Діонисій Арепатитъ прибылъ во Францію, св. апостолъ Іаковъ — въ Испанію, и какъ они тамъ жили, и что они тамъ дѣлали, и какъ они тамъ умерли. Между тѣмъ достовѣрно извѣстно, что первый изъ этихъ святыхъ никогда не былъ и не могъ быть во Франціи, а второй никогда не былъ и не могъ быть въ Испаніи. Сочинить святого съ цѣлою исторіей, съ мощами и съ чудесами ровно ничего не стоило средневѣковымъ клирикамъ. Вотъ какой случай разказываетъ лѣтописецъ Glaber Radulphus, монахъ XII вѣка. «Одинъ человѣкъ изъ престолярства, шарлатанъ отъявленный, занимался раскапываніемъ могилъ и продавалъ добываемыя кости, называя ихъ мощами. Совершивъ въ Галліи безчисленное множество плутней, онъ пришелъ въ одинъ англійскій городъ. Тамъ, по своему обыновенію, онъ собралъ кости перваго попавшаго покойника и сталъ утверждать, будто ангель открылъ ему, что это — мощи святого Юста. Вслѣдствіе этого слуха сбѣжалось невѣжественное населеніе сосѣднихъ деревень и тутъ-же, при помощи мелкихъ подарковъ, было совершено много чудесъ. Аббаты тотчасъ начали эксплуатировать эти чудеса и святого, сфабрикованнаго мошенникомъ, несмотря на то, что просвѣщенные люди, и въ томъ числѣ монахъ Laurent, открыли обманъ и обличили пройдоху.» (Laurent, «La Réforme».) Соорудить исторію мнимой святости было чрезвычайно легко, потому что отъ такой исторіи не требовалось ни малѣйшаго правдоподобія. Здѣсь господствовалъ во всемъ своемъ величіи знаменитый принципъ: «credo, quia absurdum» (вѣрю, потому что нелѣпно).

До какой дерзости доходили составители этихъ исторій, это ясно видно изъ двухъ легендъ: о святомъ кловѣ и о святой слезѣ. Вотъ какимъ образомъ извѣстный французскій эллинистъ, Генрихъ Этьеннъ, разказываетъ легенду святого клова, которую онъ совершенно справедливо ставитъ на одну доску съ самыми нелѣпными легендами со креста, онъ собралъ нѣсколько капель его крови въ палецъ своей перчатки, которыми онъ послѣ того сдѣлалъ нѣсколько ве-

ликихъ чудесъ. Вълѣдствіе этого, терпя преслѣдованія отъ іудеевъ, онъ разстался со своей реликвіей посредствомъ удивительно-замысловатой выдумки. Написавши на пергаментѣ всё чудеса и всю исторію этой святыни, онъ вложилъ кровь вмѣстѣ съ этимъ пергаментомъ въ большой птичій клювъ и, завязавши его какъ можно тщательно, бросилъ его въ море, поручая его милосердію Божію. Случилось-же такъ, что тысячу или тысячу двѣсти лѣтъ спустя этотъ святой клювъ, поплававши достаточно по всѣмъ морямъ Востока и Запада, прибылъ въ Нормандію. Тутъ его выбросило море въ прибрежные кусты. Одинъ нормандскій герцогъ въ этихъ мѣстахъ охотился за оленемъ, и вдругъ олень вмѣстѣ съ собаками куда-то пропалъ; оказалось, что олень стоитъ между кустами на колѣняхъ, а собаки—рядомъ съ нимъ, совсѣмъ смиренны и тоже на колѣняхъ. Это зрѣлище до такой степени умилило добраго герцога, что онъ приказалъ тотчасъ расчистить это мѣсто, гдѣ и нашелся святой клювъ. Тогда герцогъ основалъ на этомъ мѣстѣ аббатство, которое до сихъ поръ называется по этой причинѣ аббатствомъ Ключа; оно владѣетъ такими богатыми помѣстьями, что одинъ клювъ питаетъ очевидно множество животныхъ.» (Ibid.) Въ XVII столѣтіи бенедиктинскіе монахи напечатали книжку подъ слѣдующимъ заглавіемъ: «Истинная исторія святой слезы, пролитой нашимъ Спасителемъ надъ Лазаремъ: какъ и кѣмъ она была принесена въ монастырь Святой Троицы Вандомской. Кромѣ того многія превосходныя (beaux) и отмѣнныя (insignes) чудеса, случившіяся втеченіи 630 лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ она была чудеснымъ образомъ посвящена этому святому мѣсту». Въ этой книгѣ бенедиктинцы рассказываютъ безъ малѣйшаго смущенія, что когда Спаситель оплакивалъ смерть Лазаря, тогда Ангелъ подхватилъ одну слезу, вложилъ ее въ маленькій сосудъ, въ которомъ она сохраняется до сихъ поръ; потомъ вложилъ первый сосудъ во второй, побольше, и вручилъ все это Магдалинѣ. Магдалина привезла эту святыню во Францію, когда она, вмѣстѣ съ Лазаремъ, съ Мареею, со святымъ Максиминиомъ и со святымъ Келидоніемъ, прѣхала въ марсельскую гавань. Когда Магдалина почувствовала приближеніе смерти, она призвала къ себѣ епископа ахенскаго, Максимина, и отдала ему святую слезу, которую тотъ тщательно хранилъ втеченіи всей своей жизни. Потомъ святая слеза попадаетъ какимъ-то манеромъ въ Константинополь, потомъ въ 1040 году она появляется въ Вандомскомъ монастырѣ и начинается творить чудеса.

Легенды о святомъ клювѣ и о святой слезѣ любопытны, какъ образчики той безумной дерзости, съ которой корыстолюбивое католическое духовенство уродовало даже Евангеліе своими нелѣпостями. Такимъ образомъ клирики ворва-

лись первые со своими безнравственными тенденціями и безтолковыми фантазіями въ самую священную твердыню религіи. Мудрено-ли послѣ этого, что скептики, ободренные этимъ примѣромъ, пошли за клириками туда-же съ своей неумолимой критикой? Клерикальная фантазія была нестойка и неумолима: аббаты и монахи показывали католикамъ куски Ноева ковчега, рога Моисея, бороду Аарона, перья архангела Гавріила, святое сѣно, т.-е. сѣно, лежавшее въ ясляхъ, свѣчку, горѣвшую въ минуту рождества Христова. Колоссальные развѣры выдумки никогда не пугали изобрѣтателей; въ Кельнѣ до сихъ поръ лежатъ одиннадцать тысячъ дѣвъ, которыя совсѣмъ не были дѣвами и никогда не исповѣдывали христіанской религіи. Исторія этой груды костей очень поучительна. Легенда утверждаетъ, что въ Бретани жила одна принцесса, Урсула, и что какой-то языческій король попросилъ ея руки. Урсула, повинувшись внушенію свыше, потребовала себѣ острочки, собрала 11,000 дѣвъ и пустилась съ ними въ морское путешествіе. Три года продолжалось ихъ плаванье. Когда приблизился день, назначенный для свадьбы, тогда по молитвѣ Урсулы поднялась буря, которая перенесла на материкъ всю дѣвственную армію. Одиннадцать тысячъ дѣвъ ѣдутъ вверхъ по Рейну до Кельна, потомъ плывутъ въ Базель, оттуда идутъ пѣшкомъ въ Римъ, возвращаются назадъ по той-же дорогѣ и въ окрестностяхъ Кельна погибаютъ подъ ударами дикихъ гунновъ. Зачѣмъ ихъ было именно 11,000, зачѣмъ они плыли по морю и шлялись по матерiku—объ этомъ легенда, по своему простодушію, ни мало не заботится.

Легенда эта была составлена въ началѣ XII вѣка по тому случаю, что въ окрестностяхъ Кельна было найдено нѣсколько женскихъ скелетовъ. Въ 1123 году Норбертъ, основатель ордена премонстратовъ, нашелъ еще много скелетовъ; наконецъ въ 1155 году монахи напали на такую богатую массу костей, что ее пришлось разрабатывать втеченіи десятилѣтъ, подъ руководствомъ двухъ аббатовъ. Въ это время исторія 11,000 дѣвъ была уже сочинена и пущена въ ходъ. Но вдругъ вмѣстѣ съ женскими скелетами стали попадаться скелеты мужчинъ; монахи смутились, по кѣ счастью у одного изъ нихъ была сестра, Елизавета изъ Шенау, страдавшая галлюцинаціями, которыя считались въ то время видѣніями и откровеніями свыше; эта монахиня сгородила вмѣстѣ съ своимъ изобрѣтательнымъ братомъ новую кучу нелѣпостей для объясненія мужскихъ скелетовъ. Все это сошло за чистую монету, потому что Елизавету считали блаженной. Стали рыть дальше: нашли кости дѣтей. Это уже было совсѣмъ некстати, потому что бросало невыгодную тѣнь на репутацию дѣвственныхъ спутницъ Урсулы. Елиза-

веты въ это время уже не было на свѣтѣ. Обратились за совѣтомъ къ какому-то ученому монаху, и тотъ положилъ на легенду третій слой безсмыслицы, такъ что и дѣтскія кости оправдали свое существованіе. Спрашивается теперь, откуда-же взялась эта масса костей, съ которой монахи возились десятки лѣтъ, напрягая свои мускулы и изощряя свою фантазію?—Ларчикъ открывался очень просто. Тутъ было римское кладбище; вмѣстѣ съ костями находились саркофаги, латинскія надписи, оружіе, посуда—иещи, очень извѣстныя всѣмъ антикваріямъ и не оставляющія ни малѣйшаго сомнѣнія на счетъ того, кому принадлежать скелеты. Принадлежать они римскимъ язычникамъ различнаго пола и возраста. О дѣвственныхъ мученицахъ тутъ не можетъ быть и рѣчи. Къ довершенію комизма, новѣйшіе нѣмецкіе ученые доказали, что самая Урсула, считающаяся католической святой и покровительницей города Кельна, была языческой богиней. Все это нисколько не мѣшало вырытымъ костямъ приносить кельнскому духовенству обильные доходы. Механика была очень незамысловата. «Каждый день,—пишетъ одинъ правдивый монахъ XI столѣтія,—ходятъ отъ одной церкви къ другой разные бродяги, которые прикидываются слѣпыми, разслабленными или бѣсноватыми; они валяются по ступенькамъ храмовъ или по гробницамъ святыхъ, а потомъ увѣряютъ всѣхъ, что получили исцѣленіе; эта поддѣлка чудесъ производится для того, чтобы привлекать щедроты вѣрующихъ.»

Предпримчивость духовенства была такъ велика и изобрѣтательность его такъ роскошна, что даже многіе соборы считали необходимымъ сдерживать эту оргію клерикальнаго воображенія. Уже въ IX вѣкѣ ахенскій соборъ упрекаетъ епископовъ въ томъ, что они фабрикують чудеса для пріобрѣтенія денегъ. Въ 1215 году, при Иннокентіи III, Латеранскій соборъ говоритъ, что «въ очень многихъ мѣстахъ пускають въ ходъ ложныя легенды и ложные документы для того, чтобы обманывать вѣрующихъ и тянуть изъ нихъ деньги». Въ 1261 г. Майнцскій соборъ описываетъ подробно тѣ фокусы, посредствомъ которыхъ клирики морочили простой народъ. Такія-же точно обвиненія повторяются въ XIV и XV столѣтіяхъ.

### XIII.

Подчиняясь финансовымъ и политическимъ соображеніямъ, клирики поддѣлывали цѣлыя догматы и даже старались извратить нравственное чувство католической паствы. Духовенство самымъ наивнымъ образомъ боготворило себя, какъ отдѣльную корпорацію, стоящую безконечно выше гражданскаго общества. — «Мірянинъ,—говоритъ кардиналъ Даміанъ,—накъ-бы онъ былъ благочестивъ, не можетъ выдержатъ сравненія даже съ очень несовершеннымъ монахомъ; зс-

лото, даже нечистое, драгоцѣннѣе чистой мѣди.» Но и это показалось недостаточнымъ; въ XII вѣкѣ аббатъ монастыря св. Тьеріи сталъ доказывать, что монахи уподобляются самому Богу, потому что небо называется по-латыни *coelum*, а келья — *cellula*, и еще потому, что монастырская жизнь ничѣмъ не отличается отъ райскаго блаженства. Умные католики смотрѣли въ негодованіемъ на это идолопоклонство, ставившее святыхъ на мѣсто Бога. «Въ одномъ соборѣ этого королевства,—пишетъ Клеманжи, ученый богословъ XIV вѣка,—читаютъ отъ доски до доски подвиги святыхъ и въ то же время едва читають по нѣсколько строкъ изъ священнаго писанія.» Служеніе Богу исчезаетъ съ лица земли. Преступленія вѣрующихъ католиковъ составляли очевидно для духовенства важнѣйшій источникъ доходовъ. Чѣмъ крупнѣе и многочисленнѣе были грѣхи, тѣмъ трусливѣе становился грѣшникъ и тѣмъ сподручнѣе было обирать его въ пользу церкви.

Это обстоятельство даетъ намъ право предположить *a priori*, что католическая мораль должна была не обуздывать, а, напротивъ того, поощрять порочныя наклонности средневѣковыхъ европейцевъ; вглядываясь въ историческія данныя, мы видимъ, что это предположеніе совершенно оправдывается дѣйствительными фактами. Вотъ на примѣръ какую легенду рассказываетъ кардиналъ Даміанъ, причисленный католической церковью къ лику святыхъ: «Одинъ человѣкъ, прожившій всю свою жизнь въ грѣхѣхъ, умираетъ внезапной смертью. Бѣсы и ангелы спорятъ между собой за его душу; ангелы начинаютъ уступать, видя слишкомъ ясныя доказательства виновности покойника, но въ это время появляется Пресвятая Дѣва. Сначала пораженные ужасомъ демоны оправляются и обращаются къ правосудію Мадонны. Марія отвѣчаетъ, что Іисусъ Христосъ не позволитъ сатанѣ захватить такого человѣка, который передъ своей смертью обратился съ молитвой къ Богоматери. Черти настаиваютъ на своемъ и говорятъ, что покойникъ совершилъ громадный грѣхъ, въ которомъ онъ не покаялся. Чтобы спасти виновнаго, Мадонна воскрешаетъ его и приказываетъ ему пойдти немедленно въ монастырь на исповѣдь. Монахи дали ему разрѣшеніе, и онъ тотчасъ вошелъ вслѣдъ за своей покровительницей въ царство небесное.»

Упитанные такими легендами, вѣрующіе католики были твердо убѣждены въ томъ, что «человѣкъ, читающій ежедневно молитвы, никогда не будетъ осужденъ на адскія мученія въ тотъ день, когда онъ успѣлъ ихъ произнести». Поэтому католическія легенды, какъ искусно разставленные ловушки, были очень полезны для денежнаго и политическаго могущества клерикаловъ. Я не стану утверждать, что клерикалы въ изобрѣтенія этихъ легендъ ру-

ководствовались дѣйствительно тѣмъ тонкимъ и глубокимъ психологическимъ расчетомъ, который указанъ въ предыдущихъ строкахъ. Какъ составлялись эти легенды — этого я не знаю. Но какъ онѣ дѣйствовали — это намъ достовѣрно извѣстно. Мы знаемъ какъ нельзя лучше, что средневѣковые люди грѣшили очень храбро, а потомъ, когда дѣло доходило до расплаты, ударялись въ самое подлое ханжество и платили за формальное отпущеніе грѣховъ самыя несообразныя цѣны. Важнѣйшій догматъ клерикальнѣйшей нравственности, знаменитый догматъ индульгенцій, весь построенъ на этой психологической особенности средневѣкового человечества. Когда оказалось въ обществѣ много охотниковъ покупать себѣ формальное отпущеніе грѣховъ, тогда изворотливымъ казуистамъ клерикальнаго лагеря было уже совсѣмъ не трудно отыскать приличное догматическое оправданіе для такихъ своеобразныхъ коммерческихъ оборотовъ. Сначала представители духовной власти отпускали грѣхи тѣмъ людямъ, которые, изъясняя сердечное раскаяніе, старались кромѣ того, по совѣту или по приказанію священника, загладить сдѣланное преступленіе добрыми дѣлами. Противъ этого трудно найти какое-нибудь основательное возраженіе: раскаяніе и серьезное исправленіе должны примирять преступника, какъ съ его собственной совѣстью, такъ и съ человѣческимъ обществомъ. Но такъ какъ отъ священника зависѣло назначить кающемуся грѣшнику ту программу, по которой онъ долженъ былъ совершать свои подвиги искупленія, то, разумѣется, клерикальному произволу открывался самый широкій просторъ. Такъ напримѣръ, поссорившись съ императоромъ Генрихомъ IV, папа Григорій VII объявлялъ отпущеніе грѣховъ всѣмъ грѣшникамъ, которые востанутъ противъ Генриха и примкнутъ къ его противнику Рудольфу. Съ политической точки зрѣнія этотъ маневръ былъ очень искусенъ, но куда-же дѣвалось при подобномъ распоряженіи необходимое раскаяніе, и почему-же нарушеніе присяги, участіе въ мятежѣ и злодѣяніе междоусобной войны превратились вдругъ въ добрыя дѣла, способныя мгновенно заглаживать самыя позорныя преступленія?

Когда начались крестовые походы, тогда папы укоренили въ народныхъ массахъ ту мысль, что переѣздъ въ Палестину очищаетъ крестоносца отъ всѣхъ прежнихъ грѣховъ. При такомъ гуртовомъ прощеніи очевидно не могло быть и рѣчи о дѣйствительномъ нравственномъ исправленіи и совершенствованіи каждой отдѣльной личности. Когда папы начали вести ожесточенную борьбу съ Гогенштауфенами, особенно съ Фридрихомъ II, тогда папамъ сдѣлались до зарѣзу необходимы очень значительныя суммы наличныхъ денегъ. Вотъ тутъ-то и началась

въ обширныхъ размѣрахъ продажа вѣчнаго блаженства за звонкую монету; и тутъ явилась необходимость подтасовать новый догматъ, который и былъ изобрѣтенъ великимъ казуистомъ схоластическаго богословія, доминиканцемъ Томой Аквинскимъ, прозваннымъ Doctor angelicus.

Томасъ утверждаетъ, что одинъ вѣрующій можетъ своими заслугами искупить грѣхи другого вѣрующаго, потому что вѣрующіе суть члены одного общаго духовнаго тѣла — церкви; стало-быть, если одинъ членъ церкви сдѣлалъ больше подвиговъ, чѣмъ сколько было нужно для его собственнаго спасенія, то излишекъ его заслугъ можетъ быть обращенъ въ пользу другихъ членовъ. Но этотъ избытокъ заслугъ не остается въ распоряженіи отдѣльной личности, а поступаетъ въ общую сокровищницу церкви, которая распределяетъ эти духовныя блага по своему благоусмотрѣнію. Актъ индульгенціи состоитъ именно въ томъ, что папа, какъ казначей духовнаго сокровища, вынимаетъ оттуда нѣкоторую долю запасныхъ заслугъ и отдаетъ эту долю тому человѣку, котораго онъ хочетъ спасти отъ адскихъ мученій или отъ чистилища. «Въ этомъ случаѣ, — говоритъ неустрашимый диалектикъ Томасъ, — нѣтъ надобности принимать въ соображеніе вѣру или дѣла того лица, которое получаетъ индульгенцію, тутъ имѣетъ значеніе только сокровище заслугъ, находящееся въ распоряженіи церкви; это сокровище неисчислимо, и церковь распределяетъ его какъ ей угодно и какъ того требуютъ ея интересы.» Томасъ ухитрился подчинить господству папы даже души умершихъ; онъ доказалъ очень убѣдительно, что папа можетъ давать индульгенціи тѣмъ душамъ, которыя уже находятся въ чистилищѣ: какъ только эта индульгенція выдана, такъ душа сію минуту переносится въ рай; папы воспользовались аргументаціей Томы и даже предоставили нѣкоторымъ церквямъ право вѣчныхъ индульгенцій; это значило, что за каждую обѣдную, отслуженную въ этой церкви, можно было выводить изъ чистилища по одной душѣ; само-собой разумѣется, что за эти особенныя обѣдніи и цѣна была совсѣмъ особенная; въ Римѣ было пять такихъ привилегированныхъ церквей, и на каждой изъ нихъ красовалась вывѣска, обращавшая вниманіе прохожихъ на спеціальныя достоинства предлагаемыхъ обѣдней.

Для продажи индульгенцій живымъ грѣшникамъ римскій дворъ устроилъ такую всѣхъ грѣховъ: маленькіе грѣхи были подешевле, большіе — подороже, а самый крупный и отборный товаръ по части грѣховъ былъ доступенъ только очень богатымъ людямъ. Но папы постоянно нуждались въ деньгахъ, и имъ пришлось вслѣдствіе этого не только понижать тарифъ этой духовной таможи, но даже рассылать во всѣ

концы Европы множество разносчиковъ, которые предлагали отпущеніе грѣховъ встрѣчнымъ и поперечнымъ за самую умѣренную цѣну. Дѣло дѣшло до того, что многіе искусѣншіе агенты и коммисіонеры папства стали продавать отпущеніе будущихъ грѣховъ. Тутъ клерикальная нравственность произнесла очевидно свое послѣднее слово. Дальше этого финансовая гениальность идти не можетъ. Тутъ даже самые близорукіе люди увидѣли ясно, что клирики систематически поощряютъ преступленіе съ тѣмъ, чтобы потомъ такъ-же систематически брать съ него взятки. Тутъ лопнуло терпѣніе обманутыхъ и обобранныхъ массъ, и всеобщее негодованіе выдвинуло впередъ Лютера.

#### XIV.

Какъ-бы ни были значительны клерикальныя злоупотребленія, однако надо замѣтить, что постепенное и неукротимое увиданіе католическихъ идей обусловливается преимущественно не злоупотребленіями, а другими, гораздо болѣе важными и глубокими причинами. Дѣло въ томъ, что свѣтское общество и католическая церковь всегда радикально расходились между собой въ своихъ взглядахъ на жизнь и на обязанности человѣка. Лучшіе представители католическаго принципа, люди «безукоризненной чистоты и незыблемой нравственности» ненавидѣли міръ, хотѣли увести за собой все человѣчество въ монастырь, терзали свое тѣло голодомъ и розгами и превращали совершенно сознательно свою жизнь въ медленное самоубійство. Міряне, напротивъ того, хотѣли жить въ свое удовольствіе и обыкновенно пропускали мимо ушей горячую проповѣдь самоистязанія. Кто былъ правъ—клирики или міряне,—этого я рѣшать не берусь, но достоверно извѣстно изъ исторіи то, что тенденціи мірскаго общества одержали рѣшительную побѣду. Массу всегда пугали строгія требованія искреннихъ аскетовъ, старавшихся своей проповѣдью разрушить всѣ связи, соединяющія человѣка съ другими людьми. Массы впродолженіи цѣлыхъ столѣтій склоняла голову передъ тѣми проклятіями, которыми клирики поражали всѣ проявленія жизни, чувства и мысли; но, не осмѣливаясь возражать противъ этихъ проклятій, масса продолжала любить все то, что проклиналось великими проповѣдниками. А проклиналось ими очень многое; весь міръ былъ, по ихъ мнѣнію, царствомъ сатаны, и спасеніе могло быть найдено только въ монастырѣ. Съ высоты своего клерикальнаго величія, св. Ансельмъ осуждаетъ даже крестовые походы, какъ суетное земное предпріятіе, отвлекающее людей отъ подвиговъ созерцательной жизни. Св. Бернаръ не находить словъ, чтобы выразить свою радость, когда ему удастся привлечь въ мона-

стырь новаго адепта. Когда-же родители или родственники удерживаютъ въ мірѣ молодыхъ фанатиковъ, тогда гнѣву св. Бернара нѣтъ предѣловъ. «Вы мнѣ не родители, — пишетъ онъ отъ имени одного юноши, — вы мои враги. Что я имѣю отъ васъ, кромѣ грѣха и бѣдствія?— Вамъ мало того, что вы, несчастные, бросили несчастнаго въ эту жизнь несчастія; вамъ мало того, что вы, грѣшники, родили грѣшника во грѣхъ; вы еще хотите изъ зависти отнять у меня божественную благодать, которая спасаетъ меня отъ смерти; вы стремитесь превратить меня въ добычу геенны.» Когда-же мірское вліяніе родителей одержало верхъ, тогда Бернаръ разразился проклятіями противъ самого юноши, покидающаго монастырское убѣжище. «Богъ призвалъ тебя къ себѣ, — писалъ онъ, — и вдругъ ты покидаешь Его, чтобы идти вслѣдъ за дьяволомъ. Твои родители ввергаютъ тебя въ пасть льва; они погружаютъ тебя въ бездну смерти; черти караулятъ тебя и готовы тотчасъ схватить свою добычу.»

Люди XII вѣка были вообще очень невѣжественны, но фанатики даже въ то время находили возможность проклинать зловредную науку. «Монахи, — говоритъ кардиналъ Даміанъ, — ставятъ духовныя упражненія, чтобы знакомиться съ глупостями земной науки. Не значить-ли это покидать цѣломудренную супругу, чтобы связываться съ блудницами театра?» «Они называютъ себя философами, — говоритъ Бернаръ, — а мы гораздо справедливѣе можемъ назвать ихъ любопытными и вздорными людьми: наука вѣка сего опьяняетъ, но не даетъ милосердія; она наполняетъ, но не питаетъ; она разсуждаетъ, но не поучаетъ; она засоряетъ умъ, но не укрѣпляетъ.» Такимъ-же тономъ говорить о наукѣ и всѣ другіе клерикалы, и въ числѣ этихъ другихъ мы встрѣчаемъ даже Петра Достопочтеннаго, того самого, который учился въ матаметанской Испаніи, переводилъ коранъ и укрѣпился въ своемъ аббатствѣ несчастнаго Абеяра, гонимаго соборами, папой и св. Бернаромъ. Наконецъ, въ XIII вѣкѣ, Доминикъ и Францискъ проклинали собственность и трудъ. Чтобы достигнуть совершенства, человѣкъ долженъ, по ихъ мнѣнію, нищенствовать, молиться, голодать и стегать себя почаще розгами или плетью. Противъ этого опаснаго обоготворенія нищеты и праздности возсталъ въ томъ-же XIII вѣкѣ парижскій университетъ, и во главѣ его ученый и здравомыслящій богословъ, Вильгельмъ de Sancto Amore, написавшій противъ нищенствующихъ монаховъ книгу подъ заглавіемъ: «De Periculis Ecclesiae» («Объ опасностяхъ церкви»). «Трудъ, — говоритъ Вильгельмъ, — есть назначеніе человѣка; это—законъ, который далъ ему Богъ, создавая его въ состояніи нравственнаго совершенства; это—обязанность, возложенная на него послѣ его грѣхопаденія. Мы



естественнымъ образомъ обязаны дѣлать то, что необходимо для существованія человѣчества; безъ труда человѣчество погибнетъ; стало быть, мы рождены для того, чтобы трудиться». — «Жизнь,—продолжаетъ онъ,— налагаетъ на насъ обязанности; мы должны дѣйствовать, развѣртывать по всемъ направленіямъ наши чело-вѣческія способности; трудъ на пользу общества стоитъ выше подвиговъ созерцательной жизни.» Съ точки зрѣнія политической экономіи, разсужденія Вильгельма безукоризненны, но средне-вѣковыхъ клириковъ подобныя разсужденія могли только привести въ негодованіе. Вильгельмъ говорилъ, что человѣчество погибнетъ, если никто не будетъ трудиться. А что за дѣло было клирикамъ до гибели человѣчества? По миѣнію св. Берзара, сынъ обязанъ проклинать своихъ родителей за то, что они, грѣшники, родили его, грѣшника, на свѣтъ во грѣхѣ. Такія проклятія направлены очевидно противъ самаго существованія человѣчества и слѣдовательно противъ всего того, что, такъ или иначе, поддерживаетъ это грѣховное существованіе. Поэтому нищенствующіе монахи утверждали совершенно послѣдовательно, что «трудъ есть преступленіе». Но, не рѣшаясь высказать прямо ту мысль, что они хотѣли истребить чело-вѣчество, они призывали себѣ на помощь логику супернатурализма и сулили своимъ слушателямъ, что «земля будетъ приносить плоды въ безпредѣльномъ изобиліи, когда всѣ люди, оставивъ полевые работы, посвятятъ всѣ свои силы молитвѣ».

Эти проповѣди были однако не опасны для Вильгельма, потому что народъ плохо вѣрилъ подобнымъ обѣщаніямъ и смотрѣлъ на нищенствующихъ монаховъ не столько съ сочувствіемъ, сколько съ недоумѣніемъ. Вѣрое духовенство враждовало съ новыми орденами; народные поэты, наприѣмъ, Rutebeuf и авторъ «Романа о розѣ» («Roman de la Rose»), относились къ доминиканцамъ и францисканцамъ недружелюбно и насмѣшливо. Словомъ, общественное миѣніе было на сторонѣ Вильгельма; его поддерживалъ парижскій университетъ; ему сочувствовало все умное сословіе тогдашней Франціи; но противъ него выступили два опасные противника, два знаменитые писателя XIII вѣка: за доминиканцевъ заговорилъ Тома Аквинскій; а за францисканцевъ—генераль ихъ ордена, Бонавентура. Надо сказать правду, эти діалектики, оставаясь на чисто теологической почвѣ, своими аргументами и цитатами разбили въ прахъ всю политическую экономію Вильгельма de Sancto Amore. Они даже не стали разбирать вопроса о томъ, что вредно и что полезно для человѣчества. Этотъ вопросъ не имѣлъ для нихъ ни малѣйшаго смысла. Они доказали только ссылами на высшіе авторитеты, что абсолютная бѣдность возведена уже очень давно въ идеалъ нравственного совер-

шенства. Утвердивши эту мысль на незыблемыхъ основаніяхъ, они совершенно справедливо назвали еретикомъ и врагомъ религіи того дерзкаго чело-вѣка, который осмѣливался осуждать нищенство монаховъ, какъ преступленіе противъ естественныхъ законовъ общества. Противники ихъ говорили, что міръ созданъ Богомъ, и что вслѣдствіе этого чело-вѣкъ не обязанъ ненавидѣть міръ. «Не вещи, созданныя Богомъ,—разсуждали они,—производить несовершенство, а производить его слабость чело-вѣка, неумѣющаго пользоваться благами жизни.» Этотъ аргументъ былъ пущенъ въ ходъ противъ нищенства, то-есть противъ абсолютнаго презрѣнія къ земнымъ благамъ и къ физическому труду. Бонавентура доказалъ неопровержимо, что надо сдѣлать одно изъ двухъ, или признать это разсужденіе несостоятельнымъ и противнымъ религіи, или же приложить его ко всемъ проявленіямъ католической нравственности. «Такъ какъ земныя блага созданы Богомъ,—говорилъ Бонавентура,—такъ какъ женщины созданы Богомъ, такъ какъ бракъ учрежденъ Богомъ, такъ какъ свободная воля дарована Богомъ,—то совершенство, стало-бытъ, состоитъ въ томъ, чтобы жить въ роскоши, жениться, пользоваться свободной волей.» — Противникамъ нищенствующихъ орденовъ поставлена такимъ образомъ безвыходная дилемма: или они должны оправдать нищенство, какъ стремленіе къ идеалу, или же они должны осудить всѣ монашескіе обѣты, какъ дерзкія попытки чело-вѣка навсегда отречься отъ того, что создано для него Богомъ.

Несмотря на сочувствіе общества, Вильгельмъ de Sancto Amore потерялъ въ официальномъ мірѣ полнѣйшее пораженіе. Папа осудилъ книгу «De Periculis», какъ «нечестивое, гнусное, отратительное» сочиненіе. Онъ приказалъ ее сжечь и объявилъ врагами церкви тѣхъ людей, которые осмѣяются защищать ее такъ или иначе. Онъ написалъ множество пасемъ къ французскому королю, къ архіепископамъ и епископамъ для того, чтобы добиться строжайшаго исполненія этого приказанія. Парижскій университетъ струсилъ и попытился назадъ; доктора, поддерживавшіе идеи Вильгельма, отказались отъ своихъ замуждений для того, чтобы сохранить свои должности. Но самъ Вильгельмъ остался непоколебимымъ и говорилъ даже не разъ,—какъ свидѣлствуютъ его враги,—что онъ готовъ идти на смерть за свои вѣрованія. Тѣ же враги обвиняютъ Вильгельма въ томъ, что онъ убѣждалъ своихъ слушателей твердо стоять за правое дѣло. Эти ужасныя обвиненія очень правдоподобны; Вильгельма отрѣшили отъ должности, Вильгельма выгнали изъ Парижа, а Вильгельмъ все-таки не изъявилъ ни малѣйшаго желанія раскаяться. Папа то грозилъ ему разными ужасами, то старался обратить его на путь истины кроткими совѣтами и обольстительными обѣщаніями, но

Вильгельмъ былъ такъ грубъ и непочтительнъ, что не обращалъ никакого вниманія на всѣ эти начальственныя демонстраціи. Тогда папа, съ сокрушеніемъ сердца, объявилъ во всеуслышаніе, что Вильгельмъ повергнутъ дьяволомъ въ «бездну упрямства». А Вильгельмъ заупрямился еще сильнѣе и даже осмѣлился апеллировать на рѣшеніе папы ко вселенскому собору. Апелляція эта осталась, разумѣется, безплодной тратой словъ, потому что вселенскаго собора въ то время не было, и неисправимый Вильгельмъ остался до самой своей смерти въ крайности, въ изгнаніи и въ «безднѣ упрямства». Вильгельмъ de Sancto Amore втеченіи нѣсколькихъ столѣтій считался очень опаснымъ писателемъ. Въ XVIII столѣтіи его сочиненія были напечатаны, но французское правительство, по просьбѣ доминиканцевъ, запретило продавать эти сочиненія подѣ страхомъ смертной казни.

Побѣда схоластиковъ надъ представителемъ утилитарнаго направленія была блистательна, но безплодна. Можно было согнать профессора съ кафедръ, можно было сжечь его сочиненія, не мудрено было даже и самого автора звать на костеръ, но уничтожить радикальное противорѣчіе между аскетическимъ идеаломъ и стремленіемъ живой дѣйствительности было совершенно невозможно. Жизнь не подчинилась католическому уставу; напротивъ того, она сама проникла въ монастыри и своимъ неотразимымъ вліяніемъ превратила въ мертвую букву самыя строгіе уставы. Монахи ѣли много, монахи развратничали, монахи занимались учеными изслѣдованіями и судебными процессами, монахи вели торговлю и наживали себѣ капиталы, — ясное дѣло, что дѣйствительная жизнь одерживала побѣду надъ требованіями идеала. Столкновеніе между живыми инстинктами человѣческой природы и монастырскими понятіями о нравственномъ совершенствѣ описаны очень наглядно и остроумно во многихъ произведеніяхъ средневѣковой поэзіи. — Утомившись шумомъ лагерной жизни и чувствуя приближеніе старости, герои рыцарскихъ романовъ часто удаляются въ монастырь, но они и въ монастырѣ хотятъ жить по своему, заявляя тамъ при каждомъ удобномъ случаѣ всю свою феодальную необузданность. Одинъ изъ такихъ героев, Ренуаръ, никогда въ жизни своей не бывалъ въ церкви; по какому-то особенному случаю онъ рѣшается поступить въ монастырь; его брѣютъ, постригаютъ, одѣваютъ въ монашеское платье; онъ ко всему этому церемониалу присматривается и молчитъ; превративши рыцаря въ монаха, аббатъ приказываетъ своему новому подчиненному поститься по четыре дня въ недѣлю, носить на голоѣ тѣлѣ власяницу и каждую ночь читать положенныя молитвы. Тутъ бывшій рыцарь выходитъ изъ себя; онъ кричитъ на весь монастырь, что аббатъ вретъ чепуху; потомъ онъ клянется самыми страшными клятвами, что

онъ во всякомъ случаѣ будетъ ѣсть жирныхъ каплуновъ и отличную дичь, будетъ пѣть, когда ему вздумается, и все, что ему будетъ угодно. — Другой рыцарь, Вильгельмъ Курносый, поступивши въ монахи, нагоняетъ страхъ на весь монастырь. Онъ ѣсть за шестерыхъ, пьетъ во все свое удовольствіе, и въ пьяномъ видѣ дѣлаетъ всѣмъ своимъ товарищамъ самыя чувствительныя непріятности. Однажды аббатъ посылаетъ его за рыбою и предупреждаетъ его, что ему придется идти черезъ лѣсъ и что тамъ водятся мошенники, которые по всей вѣроятности постараются отнять у него деньги или съѣстные припасы, закупленные для монастыря. — «Хорошо, отвѣчаетъ Вильгельмъ: со мной не сладить. Я возьму свое оружіе». — Нѣтъ, возражаетъ аббатъ, уставъ св. Бенедикта положительно запрещаетъ намъ употребленіе меча». — А если они на меня нападутъ! — Ты ихъ попросишь, сынъ мой, именемъ Бога, оставить тебя въ покоѣ» — «А если они захотятъ взять у меня шубу, рубашку, сапоги, чулки?» — Надо все отдать имъ, сынъ мой, отвѣчаетъ аббатъ. — «Правила рыцарства, по-моему, гораздо лучше, оретъ Вильгельмъ: рыцари сражаются съ турками и часто проливаютъ свою кровь, а вы только и дѣлаете, что пьете да ѣдите, и спите!»

Уже съ XIII вѣка поэты стали относиться враждебно не только къ клерикальнымъ злоупотребленіямъ, но даже къ основнымъ принципамъ католицизма. Одинъ нѣмецкій миннезингеръ въ пѣснѣ о возвращеніи Фридриха Барбароссы говоритъ, что императоръ уничтожитъ всѣ монастыри, что монахи женятся на монахиняхъ и что всѣ они вмѣстѣ примутся пахать землю и обрабатывать виноградники. Когда въ началѣ XIV вѣка папа Климентъ V уничтожилъ орденъ тамплиеровъ, одинъ англійскій поэтъ написалъ пѣсню о будущемъ уничтоженіи всѣхъ остальныхъ орденовъ. Какъ-бы мы ни относились къ этому историческому факту — благосклонно или недоброжелательно, — во всякомъ случаѣ самое существованіе факта не подлежитъ сомнѣнію: общество отталкивало прочь схоластическій идеалъ.

## ХV.

Разладъ между католической доктриной и свѣтскимъ обществомъ выразился съ особенной рѣзкостью въ ихъ взглядахъ на женщину. Трудно представить себѣ болѣе рѣшительную противоположность. Средневѣковые богословы постоянно стараются отзывать о женщинѣ самымъ оскорбительнымъ образомъ. «Женщина, — пишетъ Guigo de Sancto Victore, — есть причина зла, начало заблужденія, источникъ грѣха; она соблазнила челоѣка въ раю, она продолжаетъ соблазнять его на землѣ, и она-же увлечетъ его въ бездну ада.» — «Женщина, — говоритъ Винцентій изъ Бове, — есть сладкій ядъ, дающій вѣчную смерть; это — факелъ сатаны, дверь, черезъ

которую входить дьяволъ.» — Специалистъ по части демонологіи, епископъ Вильгельмъ Оверинскій, утверждаетъ, что черти являются всегда въ видѣ женщины. — Аристотель смотритъ на женщину презрительнѣе всѣхъ остальныхъ философовъ древности. «Природа, — говоритъ онъ, — всегда стремится создать мужчинъ; женщины же она создаетъ только по безсилію или случайно.» Тома Аквинскій, цитируя эти слова, совершенно соглашается съ ними и прибавляетъ отъ себя то замѣчаніе, что мужчина есть типъ совершенства, а женщина — типъ несовершенства. «Даже безъ грѣхопаденія, — продолжаетъ онъ, — женщина была-бы подчинена мужчинѣ, потому что у мужчины естественнымъ образомъ имѣется больше разсудка.» Повторяя мнѣнія Августина, Тома утверждаетъ, что женщина создана только для того, чтобы рождала дѣтей, «подобно тому, какъ земля необходима для того, чтобы сѣмена производили растенія.» «Въ самомъ дѣлѣ, — разсуждаютъ Августинъ и Тома, — женщина очевидно создана не за тѣмъ, чтобы помогать мужчинѣ въ его трудахъ, потому что, разумѣется, мужчина могъ-бы быть для мужчины болѣе полезнымъ помощникомъ. И конечно не за тѣмъ она создана, чтобы утѣшать мужчину: развѣ два друга мужескаго пола не были-бы счастливѣе вмѣстѣ, чѣмъ мужчина и женщина?»

При такомъ взглядѣ на женщину бракъ безъ сомнѣнія долженъ казаться зломъ. Такъ оно и было дѣйствительно. — Презрѣнными людьми оказываются такимъ образомъ, по приговору Вантадуръ, всѣ искренніе аскеты, потому что всѣ они отпаивались отъ любви, какъ отъ самаго лютаго изъ дьявольскихъ искушеній. Тутъ можно сдѣлать два предположенія, и оба они приводятъ насъ къ тому результату, что внутренняя, умственная связь между средневѣковымъ идеаломъ и обществомъ была чрезвычайно слаба даже въ то время, когда церковь господствовала надъ государствомъ. Одно изъ двухъ: или Вантадуръ сознательно направилъ свои слова противъ этого идеала, или же онъ написалъ эти слова безъ особеннаго умысла, увлекаясь воспѣваніемъ любви и стараясь какъ можно ярче выразить свое благоговѣніе къ этому чувству. Въ первомъ случаѣ мы видимъ смѣлую оппозицію; во второмъ — еще того хуже; во второмъ — мы видимъ, что поэтъ можетъ совершенно забывать, игнорировать и оставлять безъ вниманія тѣ идеи, которыми живутъ лучшіе представители его религіи. — Поэты были болѣе частью безукоризненными католиками и сами считали себя даже вѣрующими и ревностными католиками, но все ихъ міросозерцаніе, — всѣ ихъ симпатіи и тенденціи были радикально противоположны тѣмъ мыслямъ, чувствамъ и стремленіямъ, которыя вырабатывались въ настоящихъ твердыхъ католицизма лучшими представителями его. Значить, католицизмъ былъ всегда

для огромнаго числа западныхъ европейцевъ собраніемъ догматовъ, формулъ и обрядовъ, которыми они придавали очень важное значеніе, но изъ которыхъ они не извлекали никакихъ руководящихъ началъ для своей всѣдневной, практической и умственной жизни. Жизнь развивалась по своимъ собственнымъ, внутреннимъ законамъ, совершенно независимо отъ неподвижнаго принципа, и когда она дошла въ своемъ развитіи до яснаго самосознанія, тогда она начала разрываться даже ту чисто-внѣшнюю связь, которая соединяла ее съ католицизмомъ. Католическіе богословы утверждаютъ, что даже бракъ не оправдывается собой любви къ женщинѣ; поэты, напротивъ того, сказались такими пакистниками, что возвеличили и обоготворили свободную любовь. Это, разумѣется, было съ ихъ стороны очень дурно и безнравственно, но тутъ дѣло не въ томъ. Поэты высказывали только то, что въ данную минуту чувствовало и думало большинство ихъ современниковъ. Поэзія отражала въ себѣ дѣйствительную жизнь. Въ дѣйствительной жизни рыцарь становился на колѣни передъ женщиной, съ которой онъ не былъ связанъ брачнымъ союзомъ. Эта женщина брала его руки въ свои руки, подобно тому, какъ дѣлалъ это сюзеренъ, принимая отъ своего вассала присягу въ вѣрности. И рыцарь, стоя такимъ образомъ на колѣняхъ передъ посторонней женщиной, давалъ ей торжественную клятву обожать ее вѣчно и служить ей вѣрно до самой смерти. Дама принимала эту клятву, давала рыцарю кольцо и, поднимая его съ колѣнъ, цѣловала его въ губы. И рыцари были твердо убѣждены въ томъ, что супругъ нарушилъ-бы законы чести, еслибы вздумалъ обращаться съ своей законной супругой, какъ съ дамой своего сердца. Дамой сердца непремѣнно должна была быть посторонняя женщина, потому, какъ говорили поэты и рыцари, что жена зависитъ отъ мужа и ни въ чемъ не можетъ отказывать ему, а любовь должна быть совершенно свободна.

Все это очень непохвально, но я совсѣмъ не для того и распространяюсь объ этихъ обычаяхъ, чтобы восхвалять ихъ. Я хочу только обратить вниманіе читателя на то обстоятельство, что всѣ эти обычаи и понятія сформировались и окрѣпли именно въ то время, когда католическая церковь полновластно господствовала надъ обществомъ. Всѣ эти обычаи и понятія діаметрально противоположны католическимъ принципамъ, а между тѣмъ католическіе принципы позволили имъ развернуться и не могли ихъ подавить даже тогда, когда они, католическіе принципы, находились въ самой цвѣтущей порѣ своего могущества.

## XVI.

Католическое духовенство было испорчено; притязанія католической іерархіи были несовѣ-

стимы съ существованіемъ государства; догматы католицизма были изуродованы, поддѣланы и перетолкованы, сообразно съ узкими житейскими выгодами клерикальной корпораціи; наконецъ все католическое міросозерцаніе, какъ понимали его лучшіе представители католицизма, находилось въ непримиримомъ противорѣчій съ инстинктами и стремленіями свѣтскаго общества. Всѣ эти причины, взятые вмѣстѣ, объясняютъ намъ совершенно удовлетворительно полное историческое банкротство католическихъ идей. Равнодушіе къ нимъ стало обнаруживаться очень рано: уже въ половинѣ XII столѣтія одинъ соборъ говорить съ укоризной о такихъ людяхъ, которые презираютъ церковныя церемоніи. Съ XIII вѣка индифферентизмъ становится уже хронической болѣзнью католическихъ народовъ и постепенно превращается даже въ сознательное невѣріе. Соборы постоянно принимаютъ разные карательныя мѣры противъ тѣхъ людей, которые по воскресеньямъ не ходятъ въ церковь. Латеранскій соборъ, въ 1214 году, приказываетъ каждому католику причащаться по крайней мѣрѣ одинъ разъ въ годъ. Это приказаніе было вызвано тѣмъ фактомъ, что очень многіе католики не причащались совсѣмъ никогда. Простой народъ, по словамъ Альберта Великаго, жившаго въ XIII вѣкѣ, скучалъ въ церкви и считалъ для себя болѣе удобнымъ проводить воскресные дни въ кабакахъ. Во времена Альберта Великаго число индифферентистовъ было такъ значительно, что Альбертъ находилъ возможнымъ раздѣлить ихъ на нѣсколько разрядовъ. Одни, невѣрующіе, — ослѣплены руководствомъ дьявола и отвергаютъ спасительную силу религіи. Другіе, равнодушные, — заняты житейскими дѣлами, увлечены денежными оборотами и совсѣмъ не думаютъ о религіи. Третьи, нечестивые, — запятнаны преступленіями и, привязавшись къ своему гнусному образу жизни, не хотятъ очищать свою совѣсть молитвой и покаяніемъ.

Духовенство, разумѣется, было очень недоброжелательно къ католической паствѣ; принимались противъ религіознаго равнодушія самыя разнообразныя мѣры, но дѣло съ каждымъ десятилѣтіемъ шло все хуже да хуже. Въ XV вѣкѣ одинъ авиньонскій епископъ погрозилъ церковнымъ проклятіемъ тѣмъ авиньонскимъ католикамъ, которые отлынивали отъ богослуженія; но врядъ-ли проклятіе могло быть особенно страшно для тѣхъ легкомысленныхъ людей, которые были равнодушны къ религіи. Многіе соборы XIV вѣка пытались устроить особаго рода инквизицію для выслѣживанія тѣхъ людей, которые не исповѣдывались и не причащались. Другіе соборы, не зная, что дѣлать съ этими безчувственными людьми, запретили имъ входить въ церкви. Потомъ противъ индифферентистовъ была пущена въ ходъ система денеж-

ныхъ штрафовъ. Всѣ эти мѣры только раздражали общество, плодили доносчиковъ и лицемеровъ, превращали равнодушныхъ людей въ ненавистниковъ католицизма и вообще постоянно расширяли ту бездну, которая отдѣляла католическую церковь отъ католическихъ народовъ. Люди, отлученные отъ церкви, говорили открыто, что они попрежнему ѣдятъ и пьютъ съ великимъ удовольствіемъ, и что поля ихъ не перестаютъ приносить имъ обильныя жатвы. А иногда дѣло доходило до того, что отлученные міряне произвольно присвоивали себѣ духовныя должности и со всей надлежащей серьезностью служили обѣдни, какъ настоящіе священники.

Іерархія сама втеченіи многихъ столѣтій заботилась о томъ, чтобы превратить католицизмъ въ собраніе виѣшнихъ обрядовъ, на которые народъ долженъ былъ смотрѣть съ благоговѣніемъ. Іерархія сама мѣшала народу слушать или читать священное писаніе на родномъ языкѣ. Вслѣдствіе этого католикъ считалъ себя католикомъ единственно потому, что въ извѣстные дни ходилъ въ церковь и въ извѣстные времена года отказывался отъ мясной пищи. Когда католикъ выучивался презирать пьяныхъ и развратныхъ монаховъ, когда онъ начиналъ относиться равнодушно и насмѣшливо къ соблюденію виѣшнихъ формальностей, тогда разрывалась всякая связь между католической паствой и его частной жизнью, тогда ему ровно ничего не стоило жить и умирать совсѣмъ безъ религіи. Отрѣшившись отъ раболопнаго уваженія къ духовенству, католикъ, какъ ученикъ, вырвавшій на свободу, не зналъ границъ своей шаловливой радости, осмѣливалъ сплошь, безъ всякаго дальнѣйшаго разбора все, что онъ недавно уважалъ по приказанію строгаго учителя. «*Le Roman du Renard*» представляетъ въ цѣломъ своемъ составѣ очень яркій образчикъ такого сплошнаго осмѣянія; и этотъ образчикъ тѣмъ болѣе замѣчателенъ, что «Романъ о лисицѣ» былъ, какъ я замѣтилъ выше, любимой умственной пищей средневѣковыхъ читателей. Осмѣивая испорченность духовенства, авторъ этого романа осмѣиваетъ заодно католическую религію, во всѣхъ ея обрядахъ. Такъ напримѣръ, преступную лисицу отлучаютъ; эту церемонію исполняютъ оселъ. При этомъ описываются во всѣхъ подробностяхъ, — но, разумѣется, въ карикатурномъ видѣ, — всѣ обряды екскоммуникаціи. Но лисица не унываетъ. «Что мнѣ дѣлать? — восклицаетъ она съ насмѣшкой. — Меня отлучаютъ отъ церкви. Теперь мнѣ придется отказываться отъ пищи до тѣхъ поръ, пока я не почувствую голода или аппетита. Теперь супъ мой не будетъ кипѣть до тѣхъ поръ, пока подъ нимъ не разложатъ огня.» Словомъ, лисица находилъ, что сокрушаться не о чемъ, потому что все пойдетъ попрежнему. Надѣлавши множество грѣховъ, лисица отправляется на исповѣдь,

перечисляеть все свои преступленія, объявляеть прямо, что всебѣмъ не желаетъ исправляться, и получаетъ торжественное прощеніе. — Вся католическая обѣдня осмѣивается самымъ циническимъ образомъ. — Ложась спать, лисица молится Богу, проситъ себѣ заступничества, признаетъ двѣнадцать разъ *Pater noster* и поминаетъ въ своихъ молитвахъ «всѣхъ воровъ, всѣхъ мошенниковъ, всѣхъ подлецовъ и всѣхъ развратниковъ».

И все это читалось съ величайшимъ увлеченіемъ современниками Людовика Святого. Массы вели къ невѣрію чисто отрицательныя причины, то-есть несовершенства господствующей религіи. Но у мыслящихъ людей тогдашняго общества были и положительныя причины; на этихъ мыслящихъ людей дѣйствовали, съ неотразимой и постоянно возрастающей силой, два вліянія, въ высшей степени враждебныя католическимъ идеямъ, — вліяніе древней Греціи и вліяніе арабовъ. — Греція проникла даже въ тотъ лагерь, къ которому принадлежали самые ревностные защитники католицизма; вся схоластика была построена на диалектикѣ Аристотеля, и случилось не разъ, что Аристотель неотразимымъ обаяніемъ своей логической послѣдовательности увлекалъ какого-нибудь добросовѣстнаго католическаго богослова къ такимъ умозаключеніямъ, которыя никакъ не могли быть одобрены папой и соборами. Средневѣковые ученики Аристотеля страстно любили своего учителя и видѣли въ его книгахъ высшее проявленіе человѣческой мудрости. Нравственная философія Аристотеля читалась на ряду съ Евангеліемъ, или, точнѣе, нравственная философія пользовалась предпочтеніемъ. («*La Réforme*».) Эта преступная любовь католиковъ къ язычнику повела за собой самыя гибельныя послѣдствія. Ученикамъ захотѣлось, во что-бы то ни стало, спасти обожаемаго учителя отъ адскихъ мученій. Богословы написали нѣсколько книгъ «о спасеніи Аристотеля». Въ схоластическомъ мірѣ появилась опасная мысль, что языческіе философы получили вѣчное блаженство за чистоту своей нравственности и за благотворное вліяніе на развитіе человѣческой мысли. Дерзкіе умы стали разрабатывать эту идею: «если, — разсуждали они, — Платонъ и Аристотель попали въ рай, то, значить, вообще люди могутъ спастись во всякой религіи; индифферентизмъ былъ такимъ образомъ возведенъ на степень философской доктрины.

Этому систематизированію индифферентизма содѣйствовало въ значительной степени вліяніе арабскихъ скептиковъ и преимущественно Аверроэса, который не только презиралъ все, но даже отвергалъ безсмертіе души и, вмѣсто личнаго Бога, признавалъ только безличную совокупность вѣчныхъ законовъ природы. Средневѣковые католики называютъ Аверроэса «бѣшеной собакой, которая, увлекаясь отвратитель-

ной яростью, лаеетъ постоянно противъ Христа и противъ католической религіи». Въ XIII столѣтіи эта бѣшенная собака напала себѣ многихъ послѣдователей въ парижскомъ университетѣ и во всей католической Европѣ. Парижскій епископъ нѣсколько разъ предавалъ проклятію эти вредныя идеи; Альбертъ Великій и Тома Аквинскій писали противъ нихъ ученые трактаты; но авероизмъ продолжалъ дѣйствовать на умы и подорывать авторитетъ католицизма. Въ половинѣ XIII вѣка одинъ папскій легатъ запретилъ діалектикамъ заниматься богословіемъ, а богословамъ пускаться въ богословскія изслѣдованія, говоря, что смѣшеніе богословія съ философіей ежедневно порождаетъ новыя заблужденія. Все лукавыя волюдумцы съ радостью ухватились за это запрещеніе; они объявили, что не смѣютъ углубляться въ непостижимыя тайны богословія, и стали развивать такія философскія доктрины, которыя были совершенно противоположны установленнымъ догматамъ. Папа и парижскій соборъ съ величайшимъ негодованіемъ возстали противъ этой коварной тактики. «Нѣкоторые люди утверждаютъ, — писалъ папа, — что есть вещи истинныя по философіи, но не истинныя по религіи, точно будто могутъ существовать двѣ противоположныя истины, и точно будто истина, находясь въ противорѣчій съ Священнымъ Писаніемъ, можетъ заключаться въ книгахъ тѣхъ проклятыхъ язычниковъ, о которыхъ сказано: «я погублю мудрость мудрецовъ».

Запрещенныя мысли хитрили, вилили, принамали на себя различныя маски и все-таки прокладывали себѣ дорогу въ общество. Въ XIV вѣкѣ Петрарка говоритъ о множествѣ людей, систематически презиравшихъ католическую религію: «Еслибы казни уголовного правосудія не пугали ихъ гораздо больше, чѣмъ наказанія боями, — пишетъ онъ, — они осмѣлились-бы нападать не только на ученіе о сотвореніи міра, но даже на католическую религію и на священный догматъ Христа. Въ своихъ официальныхъ рѣчахъ они клянутся, что ихъ разсужденія не затрагиваютъ религіи; но въ частныхъ бесѣдахъ они позволяютъ себѣ всевозможныя богохульства, шутки и сарказмы, которые вызываютъ со стороны ихъ слушателей восторженные рукоплесканія. Разумѣется, эти преступныя насмѣшки не могли долго удовлетворять человѣческую мысль; отвергнувъ религію, дойдя до атеизма и до полнаго матеріализма, мыслители XV вѣка стали искать себѣ новой работы; богословіе уже потеряло для нихъ всякую занимательность; они не считали его больше за науку, и вслѣдствіе этого они принялись съ величайшимъ увлеченіемъ за изученіе природы и классической литературы. Паденіе Константинополя, переселеніе многихъ ученыхъ грековъ въ Италію, великія морскія открытія и изобрѣтеніе книго-

печатанія были тѣми выѣшными историческими событіями, которыя дали могущественное развитіе нсвому направленію умственной дѣятельности, одержавшему рѣшительную побѣду надъ средневѣковой схоластикой.

Въ XV столѣтіи побѣда была уже одержана: католическій богословъ, Петръ д'Аллы, жадуется, что богословіе забыто и что богословы занимаются исключительно свѣтскими науками. Правда, реформація снова, на цѣлыя два столѣтія, выдвинула впередъ безъисходные теологическіе

диспуты, но въ то время, когда Лютеръ и Кальвинъ диспутировали, было уже много мыслящихъ людей, занимавшихся серьезными научными изслѣдованіями. Математика, астрономія, физика, механика и анатомія развивались втихомолку въ то самое время, когда вся западная Европа была наполнена шумомъ протестантскихъ сектъ, интригами іезуитовъ и кровопролитными сценами религиозныхъ войнъ. — Положительная наука росла и укрѣплялась....

## МЫСЛИ ВИРХОВА О ВОСПИТАНІИ ЖЕНЩИНЪ.

### I.

Одинъ изъ замѣчательныхъ европейскихъ натуралистовъ нашего времени, Рудольфъ Вирховъ, высказалъ недавно нѣсколько очень свѣтлыхъ мыслей о воспитаніи женщинъ. Мысли эти важны не столько по своему прогрессивному характеру, сколько по своей практичности, безобидности и осуществимости. Прогрессивныхъ мечтаній по вопросу о женщинахъ было въ сказано чрезвычайно много. Еслибы человѣчество могло подвигаться впередъ посредствомъ рисованія блестящихъ идеаловъ, то всѣ эти мечтанія были бы чрезвычайно полезны. Къ сожалѣнію, это рисованіе идеаловъ составляетъ только самую легкую и самую незначительную часть той работы, которая должна вести человѣчество къ его будущему благосостоянію. Если вы рисовали идеалъ, то вы должны еще кромѣ того показать обществу, какимъ путемъ оно должно идти къ осуществленію этого идеала. Если вы сказали обществу: «вотъ чѣмъ *должна* быть женщина!», то на васъ лежитъ еще обязанность объяснить вашимъ современникамъ, какимъ образомъ она *можетъ* придти къ указанной вами цѣли. Принимаясь за эту вторую часть задачи, вы должны брать въ расчетъ не только отвлеченную возможность, но и реальную удобоисполнимость. Есть множество вещей, совершенно возможныхъ по законамъ природы и въ то же время совершенно неисполнимыхъ при данныхъ условіяхъ мѣста и времени. Данные условія, мѣшающія осуществленію прекрасныхъ идеаловъ, — это конечно штука очень недѣлая и несносная; но будете-ли вы ихъ проклинать, будете ли вы ихъ игнорировать — это рѣшительно все равно; ни ваши проклятія, ни ваше игнорированіе не сдвинутъ ихъ съ мѣста и не принесутъ ни малѣйшей пользы вашей любимой идеѣ; вы будете, въ счастливомъ невѣдѣніи матеріальныхъ препятствій, ублажать себя великолѣпными теоретическими

построеніями, а дѣйствительная жизнь будетъ попрежнему тащиться по своей колѣѣ.

Чтобы быть настоящимъ прогрессистомъ не на словахъ, а на самомъ дѣлѣ, чтобы быть реалистомъ, а не мечтателемъ, вы должны изучать данные условія, каковы бы они ни были. Вы должны постоянно принимать ихъ въ соображеніе, вы должны даже, скрѣпя сердце, поддаваться къ нимъ для того, чтобы передѣлывать ихъ по своему. Вы видите напримѣръ, что какая-нибудь любимая, высоко гуманная и прогрессивная идея ваша осмѣяна и оклеветана тѣми людьми, которые неспособны ее понять. Испытавши такое пораженіе, вы все-таки не должны останавливаться на томъ безотрадномъ заключеніи, что общество еще не доросло до пониманія своихъ собственныхъ выгодъ. Если общество, по своей неразвитости или по какимъ-нибудь другимъ выѣшнымъ обстоятельствамъ, неспособно воспользоваться вашей идеей въ той формѣ, въ которой вы ее предложили сначала, то вы должны измѣнить эту форму и повторить вашу попытку, и повторять эти попытки до тѣхъ поръ, пока не добьетесь успѣха. Каждая великая и плодотворная идея обладаетъ такой гибкостью, эластичностью и живучестью, которая рано или поздно должна побѣдить или пережить всѣ препятствія. Для каждой великой и плодотворной идеи можно придумать такое скромное приложеніе, которое не покажется предосудительнымъ даже самому отъявленному рутинеру.

Эти общія размышленія о великихъ и плодотворныхъ идеяхъ прилагаются въ частности съ величайшимъ удобствомъ къ великой и плодотворной идеѣ рациональнаго воспитанія женщинъ. Нѣкоторые умные и честные люди высказали въ нашей періодической литературѣ ту мысль, что женщина должна быть дѣятельнымъ и полезнымъ членомъ общества, что слѣдовательно она должна учиться и трудиться. Другіе возражали



на это, также въ нашей періодической литературѣ, что женщинѣ въ обществѣ нечего дѣлать, что ея мѣсто у семейнаго очага, что она должна быть исключительно женой, матерью и хозяйкой. Я называю этихъ возражателей людьми неуныными и нечестными, потому что они прикинулись защитниками очень почетныхъ вещей, на которыя никто не думалъ нападать. По поводу вопроса о серьезномъ научномъ образованіи женщинъ они защищали цѣломудріе дѣвушки, которое не подвергалось ни малѣйшей опасности. По поводу вопроса объ аргельномъ трудѣ они защищали семейныя добродѣтели супруги, противъ которыхъ также никто не говорилъ худого слова. Такими дешевыми средствами они ухитрились набросить на своихъ литературныхъ прививниковъ неблаговидную тѣнь и сѣмбили упрочить за собой репутацію зоркихъ и благонамѣренныхъ блюстителей общественной нравственности. Публика, при которой производились эти незамысловатые фокусы, по своему обыкновенію благодушествовала, хлопала глазами, развѣшивала уши. Женскій вопросъ при такихъ условіяхъ, разумѣется, сѣлъ на мель, и снимать его съ этой мели стало дѣломъ почти опаснымъ.

Мнѣ кажется однако, что вопросъ сѣлъ на мель собственно потому, что у нашихъ прогрессистовъ не хватило практической находчивости и изворотливости. Располагая нѣкоторой дозой этихъ драгоценныхъ качествъ, можно было извлечь изъ даннаго вопроса самую существенную пользу даже изъ возраженій; можно было совершенно неожиданно стать на точку зрѣнія этихъ софистовъ и разбить ихъ на голову ихъ собственнымъ оружіемъ. Эти благодѣтели нашего общества твердятъ безъ умолку, что женщина должна быть исключительно женой, матерью и хозяйкой. Прекрасно. Это очень хорошо, что они высказали свои желанія, и притомъ высказали ихъ такъ неоднократно, такъ громко и торжественно, что имъ уже невозможно отъ нихъ отпереться. Теперь остается только спросить у нихъ, желаютъ ли они, чтобы женщина была *хорошей* женой, *хорошей* матерью и *хорошей* хозяйкой? Если на этотъ вопросъ они отвѣтятъ *нѣтъ*, то можетъ быть даже наша благодушная публика перестанетъ пить шампанское за ихъ здоровье. Если же они, какъ и слѣдуетъ того ожидать, отвѣтятъ *да*, то прогрессисты могутъ считать свое дѣло выиграннымъ и могутъ прочесть мистификаторамъ очень блистательное и очень назидательное поученіе. «Послушайте вы, благодѣтели, — скажутъ прогрессисты: — знаете ли вы, что значитъ быть *хорошей* женой, *хорошей* матерью и *хорошей* хозяйкой? Знаете-ли вы, какія для этого требуются обширныя и основательныя свѣдѣнія? Знаете-ли вы, какое тутъ необходимо высокое развитіе? Знаете-ли вы, какія радикальныя преобразованія надо произвести во всей системѣ

женскаго воспитанія для того, чтобы это воспитаніе дѣйствительно давало обществу *хорошихъ* женъ, *хорошихъ* матерей и *хорошихъ* хозяекъ? Если вы этого не знаете, то вы — пустые фразеры. Если же вы это знаете, то вы, толкующіе безъ умолку о женахъ, матеряхъ и хозяйкахъ, должны дѣйствовать съ нами заодно и хлопотать еще усерднѣе насъ о серьезности и разносторонности женскаго образованія. А такъ какъ вы сами стараетесь помѣшать всему, что клонится къ образованію *хорошихъ* женъ, *хорошихъ* матерей и *хорошихъ* хозяекъ, то вы опять таки пустые фразеры и ничтожные мистификаторы. Тѣ люди, которымъ дѣйствительно дорого процвѣтаніе и совершенствованіе русскаго семейства и русскаго хозяйства, должны отвернуться отъ вашей лицемерной болтовни и прислушаться къ тому, что говорятъ честные граждане и мыслящіе наблюдатели общественной жизни.»

Такой филиппикой прогрессисты могли зажать ротъ непризнаннымъ оберегателямъ общественнаго цѣломудрія. Затѣмъ, вырвавъ изъ ихъ рукъ знамя семейныхъ добродѣтелей и убѣдивъ общество въ томъ, что эти добродѣтели не подвергаются ни малѣйшей опасности, прогрессисты могли развернуть программу того образованія, которое дѣйствительно формируетъ женъ, матерей и хозяекъ. Эта программа, силой своей очевидной разумности, привлекла-бы къ себѣ полное сочувствіе и полное довѣріе всѣхъ безпристрастныхъ и неразвращенныхъ людей нашего общества. Самые робкіе и недалковидные умы поняли бы безъ труда ея несомнѣнную прагматическую пользу, и великая идея женскаго образованія и женскаго труда привилась бы къ нашему обществу именно благодаря тому обстоятельству, что она явилась къ нему въ самой скромной, элементарной и неблестящей формѣ.

По вашему мнѣнію, господа филистеры, мыслящія женщины составляютъ вредную и опасную роскошь. Вы не знаете, что съ ними дѣлать. Вы повторяете стихи вашего милаго Пушкина о семинаристахъ въ желтой шали и объ академкахъ въ чепцѣ. Вамъ нужны только жены, матери и хозяйки. Прекрасно. Будемъ формировать добросовѣстно женъ, матерей и хозяекъ и не будемъ всезаботиться о формированіи мыслящихъ женщинъ. Вы, господа филистеры, останетесь спокойны и довольны, а мыслящія женщины придутъ сами собой, и когда онѣ придутъ, тогда вы будете знать, что съ ними дѣлать, и тогда вы забудете или осмѣете стихи вашего милаго Пушкина.

Всѣ эти размышленія вызваны публичной лекціей Вирхова, прочитанной 20 февраля 1865 года въ Берлинѣ, въ пользу общества домашняго и народнаго воспитанія. Эта лекція носитъ заглавіе: «О воспитаніи женщины для ея назначенія». Я передамъ изъ нея тѣ мѣста, которыя имѣютъ чисто практическій характеръ.

## II.

«При теперешнемъ положеніи общества,—говоритъ Виrhовъ,—вліяніе отца на дѣтей несравненно болѣе слабо, чѣмъ въ пренія времена, когда сословіе, занятія, ремесло отца заранѣе рѣшали вопросъ о томъ, къ какому сословию, къ какимъ занятіямъ, къ какому ремеслу будетъ принадлежать ребенокъ. Движеніе общества, становясь съ каждымъ днемъ болѣе свободнымъ, даетъ возможность даже ребенку простолюдина выбирать себѣ свое будущее назначеніе по собственному желанію; вслѣдствіе этого, на основаніи весьма понятныхъ психологическихъ причинъ, сила отцовскаго вліянія уменьшается; а съ другой стороны, постоянно возрастающее раздѣленіе труда и перенесеніе рабочихъ центровъ прочь отъ домашняго очага отнимаютъ также у отцовъ и физическую возможность слѣдить постоянно за воспитаніемъ дѣтей. Такимъ образомъ усиливается то вліяніе, которое сама природа отводитъ матерѣ, хозяйкѣ дома.»

Виrhовъ приходитъ къ тому общезвѣстному заключенію, что воспитаніе подрастающихъ поколѣній составляетъ высшее назначеніе женщины.

«Забота о мужѣ,—продолжаетъ онъ,—стоитъ уже на второмъ планѣ. Мужъ прежде всего долженъ заботиться самъ о себѣ, и подмога жены должна быть для него именно только подмогой. Въ общемъ домашнее хозяйство мужу принадлежать естественнымъ образомъ внѣшнія заботы, а женѣ—внутреннія. Обратный порядокъ вещей никогда не превратится въ общее правило, хотя въ отдѣльныхъ случаяхъ онъ возможенъ и даже совершенно законенъ. Но еслибы этотъ обратный порядокъ сдѣлался общимъ правиломъ, еслибы вообще люди попробовали осуществить ту *эманципацию женщины*, къ которой стремились нѣкоторые отдѣльные кружки со времени французской революціи,—то это могло бы произойти только въ ущербъ семейству. Этого никогда и не отрицали послѣдовательные мыслители, занимавшіеся этой задачей. Эманципация женщины, разрушеніе семейства, гуртовое воспитаніе дѣтей съ пеленокъ,—все это неизбежно идетъ одно къ одному. По странному смѣшенію понятій, это считалось послѣдовательнымъ проведеніемъ идеи свободы. Но тутъ надо помнить одно: все, что выигрываетъ при этомъ женщина, не столько въ свободѣ, сколько въ своеволіи, то теряетъ ребенокъ. Вся обезпеченность индивидуальнаго развитія, на которомъ основаны полное чувство личности и ответственности и всѣ ручательства независимости, порядка и свободы,—утратила бы совершенно при гуртовомъ воспитаніи дѣтей. Вся будущность человѣчества была бы поставлена на карту для того, чтобы осуществить произвольно-придуманную и притомъ все-таки только мнимую свободу женщины.»

Видите, господа филистеры, какой благодѣтельный человѣкъ Виrhовъ! Даже порицаетъ эманципацию женщинъ и даже за будущность человѣчества трепещетъ. И я нарочно привелъ вамъ все это мѣсто для того, чтобы вы возликовали, и для того, чтобы вслѣдъ за тѣмъ вы немедленно убѣдились въ преждевременности и неосновательности вашего ликованія. Вы поумайте только, *какую* эманципацию женщинъ осуждаетъ Виrhовъ? Развѣ ту, на которую на-

соч. д. и. писарева, т. IV.

падали вы? Нѣтъ-съ, извините совѣтъ не ту. О той эманципации женщинъ, которая находится въ ближайшей и непосредственной связи съ французскими мыслителями XVIII вѣка и ихъ послѣдователями нашего времени, у насъ не было никогда ни слуху, ни духу. Вспомните, что въ нашей журналистикѣ проводились по этому вопросу исключительно идеи чисто-англійскаго или англо-американскаго происхожденія. Вспомните, что краеугольнымъ камнемъ всѣхъ нашихъ прогрессивнѣйшихъ разсужденій о женщинѣ оказалась извѣстная статья солиднѣйшаго англійскаго ученаго, Джона Стюарта Милля, который такъ-же похожъ на сень-симониста или на фурьериста, какъ Катковъ—на В. Гюго. Вспомните, что самымъ крайнимъ выраженіемъ радикализма считается со стороны нашихъ женщинъ отрицаніе косы и кринолина. Вспомните, что самыя отиѣтыя изъ нашихъ озорницъ требуютъ себѣ только науки и труда. Вспомните все это—и тогда вы убѣдитесь въ томъ, что еслибы вы обратились къ Виrhову съ жалобой на нашихъ прогрессивистовъ и на нашихъ эманципированныхъ женщинъ и еслибы вы, въ подтвержденіе вашихъ жалобъ, представили ему самыя поразительныя факты изъ нашей жизни и изъ нашей печати, то Виrhовъ пришелъ-бы въ крайнее недоумѣніе и спросилъ-бы у васъ съ самымъ искреннимъ изумленіемъ: «Да на что-же вы жалуетесь? И что вы тутъ видите дурного? И гдѣ вы тутъ ухитрились откопать эманципацию женщинъ?»—Легко можете быть, что Виrhовъ съ самымъ неподдѣльнымъ соболѣзнованіемъ пощупалъ-бы даже вашъ пульсъ и освѣдомился-бы о вашемъ здоровьѣ.

Выгородивъ такимъ образомъ совершенно нашъ вопросъ о женскомъ образованіи и о женскомъ трудѣ, я могу теперь замѣтить изъ безкорыстной любви къ истинѣ, что трепетанье Виrhова за будущность челоѣчества составляетъ въ его лекціи такое ораторское украшеніе, которому самъ Виrhовъ, какъ очень умный человѣкъ, конечно не могъ придавать никакого серьезнаго значенія. Дѣйствительно, если эманципация женщинъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимали ее нѣкоторые французскіе мыслители, идетъ въ разрывъ съ естественными стремленіями челоѣческаго организма, то она останется навсегда неосуществимой мечтой, потому что всѣ эти французскіе мыслители не шли и никогда не будутъ имѣть въ своемъ распоряженіи для распространенія своихъ идей никакихъ средствъ, кромѣ словесной и печатной проповѣди. Въ такомъ случаѣ ихъ заблужденіе никому не опасно и ни для кого не заразительно; стало-быть, не зачѣмъ и трепетать за будущность челоѣчества.

Можно замѣтить вообще, что всендневная жизнь людей слагается всегда не по искусственнымъ теоріямъ, а по законамъ природы. Когда и что ѣсть, когда и какъ спать, какъ обращаться съ

женой и съ дѣтьми,—все это такіе вопросы, на которые огромное большинство людей никогда не согласится искать отвѣта въ той или другой книгѣ. Масса будетъ жить такъ, какъ она привыкла; привычки ея безъ сомнѣнія измѣняются, но ихъ измѣняютъ важныя историческія событія, а не книжныя теоріи. Введеніе картофеля, распространение желѣзныхъ дорогъ, примѣненіе химіи къ землѣдѣлю, развитіе машиннаго производства, вліяніе кооперативныхъ обществъ—вотъ нѣкоторыя изъ тѣхъ явленій жизни, которыя перевоспитываютъ массу, то-есть измѣняютъ ея основныя привычки иногда въ хорошую, а иногда и въ дурную сторону. Книжная теорія можетъ также подѣйствовать на массу, но не прямо, то-есть не такъ, что масса прочтетъ книгу и въ одинъ прекрасный день скажетъ: «давайте осуществлять теорію». Чтобы подѣйствовать на массу, книжная теорія должна сначала воплотиться въ жизни очень небольшого кружка самыхъ усердныхъ и вѣрующихъ адептовъ. Этотъ небольшой кружокъ сдѣлается зародышемъ чисто-практическаго движенія. Къ нему начнутъ примыкать понемногу новыя кружки, и члены этихъ кружковъ, подчиняясь указаніямъ теоріи въ своей всенедельной жизни, будутъ исподовлу приобѣтять себѣ новыя привычки. Войдя такимъ образомъ въ жизнь, какъ воспитательный элементъ, теорія передаетъ характеры и взаимныя отношенія своихъ адептовъ. Такъ поступили напримѣръ съ своими адептами теоріи квакерства и мормонизма. Если теорія такъ сильна по своимъ внутреннимъ достоинствамъ, что она можетъ подчинить своему господству цѣлое общество, то эти же самыя внутреннія достоинства, упрочившія за нею побѣду, устраняютъ также и тѣ второстепенныя неудобства, которыя могли-бы отравить ея благотворное вліяніе.

«Но меня спросятъ,—продолжаетъ Вирховъ,—неужели единственное назначеніе женщины состоятъ въ томъ, чтобы быть женой, матерью? Конечно нѣтъ. Многимъ женщинамъ совсѣмъ не суждено сдѣлаться супругами и матерями, и, разумѣется, о такихъ женщинахъ нельзя сказать, что призваніе ихъ—быть *старыми дѣвами*. Судьба человека и его призваніе—двѣ вещи разныя. Даже для супруги и для матери вся задача жизни вовсе не ограничивается тѣмъ, чтобы быть именно только супругой и матерью. Многимъ женщинамъ даны отъ природы самыя обширныя средства дѣйствовать на судьбу человѣчества, и я не имѣю ни малѣйшаго намѣренія сомнѣваться въ томъ, что женщина способна посвящать себя разрѣшенію такихъ болѣе общихъ задачъ. Пусть каждая отдѣльная личность сама обдумываетъ и рѣшаетъ, какая дѣятельность соответствуетъ размѣрамъ ея личныя силы. Современное общество отчасти уже выработало въ себѣ, отчасти еще выработаетъ, какъ естественный результатъ дальнѣйшаго развитія, ту степень индивидуальной свободы, которая необходима для того, чтобы и женскій полъ самодѣтельно (*selbstthätig*) принималъ надлежащее участіе въ разрѣшеніи общихъ задачъ человѣчества».

Да, *selbstthätig*! Я не даромъ выписывалъ это нѣмецкое слово, которое доказываетъ совершенно очевидно, что Вирховъ непремѣнно поощряетъ вашъ пульсъ, если вы пойдете жаловаться ему на русскую эманципацію женщинъ. Вы ужъ лучше и не ходите.

### III.

«Почти 200 лѣтъ тому назадъ,—говоритъ Вирховъ,—почтенный Фенелонъ написалъ слѣдующія слова: «женщину слѣдуетъ обучать тому, что составляетъ задачу жизни. Ей придется наблюдать за воспитаніемъ дѣтей,—сынovej до извѣстнаго возраста, дочерей—до ихъ замужества,—наблюдать за образомъ жизни, за нравственностью и за службой домохозяекъ, наблюдать за всѣмъ ходомъ хозяйства, за расходами и т. д. Въ этомъ заключается ея обязанность, и по этимъ предметамъ она должна обладать свѣдѣніями». — «Но, продолжаетъ Вирховъ,—эти слова окажутся благотѣльными желаніями, если мы сравнимъ ихъ съ общимъ состояніемъ женскихъ училищъ, какъ они существовали въ XVIII столѣтіи и какъ они существуютъ даже въ XIX-мъ. Ни высшія, ни низшія женскія школы не стремятся къ той цѣли, чтобы воспитывать *для жизни*. Онѣ могутъ-быть развертываютъ умственные способности воспитанницъ для впечатлѣній искусства и науки; онѣ могутъ-быть доставляютъ имъ обильный запасъ знаній, выучиваютъ ихъ разнымъ художествамъ, изощряютъ ихъ въ различныхъ отрасляхъ женскаго рукодѣлья; онѣ могутъ-быть приготавливаютъ даже хорошихъ учительницъ, но онѣ не образуютъ хозяекъ (*Hausfrauen*). Когда я говорю «хозяекъ», то, послѣ всего вышесказаннаго, я подразумеваю тутъ не только супругъ и матерей, но вообще такихъ женщинъ, которыя сознательно могутъ взять въ свои руки всѣ отрасли домашняго управленія,—такихъ женщинъ, которыя самостоятельно могутъ заниматься ухаживаніемъ за дѣтьми, попеченіями о больныхъ, кухней, садомъ. Поэтому я оставляю здѣсь совершенно въ сторонѣ специальный вопросъ о воспитаніи женщины *для мужа*; я также не буду касаться здѣсь вопроса о «воспитаніи женщины для общества». По моему мнѣнію, какъ первый, такъ и второй вопросы предполагаютъ непремѣнно *воспитаніе женщины для дома*. Но какъ должно быть ведено это воспитаніе? Мнѣ скажутъ, что подобное воспитаніе не составляетъ задачи женскихъ школъ и пансіоновъ. Да, я долженъ признать, что имъ не задавали этой задачи и что отъ нихъ даже несправедливо было-бы требовать ея разрѣшенія. Но тѣмъ не менѣе сама жизнь ставитъ эту задачу. Вѣдь навѣрное-же для большинства молодыхъ дѣвушекъ наступитъ когда нибудь такое время, когда имъ придется нанять дѣтей, ухаживать за больными, завѣдывать кухней, погребомъ или садомъ. Неужто въ самомъ дѣлѣ можно думать, что все это дѣлается само собою, что все это изучается въ одну минуту? (сколько горькихъ опытовъ приходится тутъ пережить, какъ много тяжелыхъ заботъ приходится перенести! Какое множество браковъ было-бы гораздо счастливѣе, еслибы время перваго ученія было пережито раньше свадьбы! Какъ часто случается, что положеніе супруги было бы гораздо самостоятельнѣе, еслибы она во время своей дѣвической жизни была лучше приготовлена къ супружеству! Много необходимыхъ свѣдѣній можно усвоить себѣ теоретически; ко многому можно приготовить посредствомъ теоріи; заботы объ этой теоретической части женскаго воспитанія

составляют конечно прямую обязанность женскихъ школъ.

Скажемъ сначала нѣсколько словъ о тѣлесномъ уходѣ, собственно о *hygiene*. Никому не придетъ въ голову та мысль, что суевѣрные примѣты, доходящія до насъ путемъ изустнаго преданія, рисуютъ намъ, хотя бы въ самыхъ грубыхъ очеркахъ, картину жизни здороваго и больного организма. Естественное, преподаваемое въ женскихъ школахъ, подрываетъ отчасти авторитетъ этого преданія, но оно не ставитъ на ея мѣсто ничего цѣлостнаго. Конечно анатомія и физиологія—такія науки, о которыхъ думали прежде, что онѣ не смѣютъ показываться въ хорошемъ обществѣ, и что молодыя дѣвушки по возможности не должны даже подозрѣвать ихъ существованія. Но то, что естественно, не всегда бываетъ опасно, даже въ томъ случаѣ, когда оно является въ полной наготѣ; опытъ научилъ насъ, что прикрываніе бываетъ часто гораздо опаснѣе. Кроме того, мы не настаиваемъ на томъ, чтобы въ женскихъ школахъ читался полный курсъ анатоміи и физиологіи, и конечно всегда найдется возможность выбрать изъ этихъ наукъ тѣ отдѣлы, которые не подѣлствуютъ возмущающимъ образомъ ни на какую душу.»

По тону Вирихова видно, что эту послѣднюю уступку онъ дѣлаетъ очень неохотно; и можно сказать рѣшительно, что онъ дѣлаетъ ее совершенно напрасно; онъ самъ высказалъ ту мысль, что знаніе естественнаго закона неопасно и что прикрываніе бываетъ опаснѣе наготы; эту мысль онъ долженъ былъ выдержать до конца и провести до самыхъ крайнихъ ея послѣдствій. Если только допустить систему утаиваній и закрываній, то невозможно будетъ опредѣлить заранѣе, гдѣ остановится маскирующая дѣятельность педагоговъ. Вѣдь тогда и о пищевареніи придется говорить съ деликатными выпусками; пока пища находится въ желудкѣ, тогда еще куда ни шло; но когда она попадетъ въ такое неприличное мѣсто, какъ кишечный каналъ, тогда стыдливому преподавателю конечно придется потерять ее изъ виду. А ужъ о прямой кишкѣ онъ даже и подумать не посовѣстится во время своего пребыванія въ стѣнахъ женской школы. Какъ поставить что-нибудь *цѣлостное* на мѣсто преданій народной медицины? И если преподавать анатомію и физиологію съ нѣкоторыми опушеніями, то зачѣмъ-же отзыватьсь съ насмѣшкой о тѣхъ временахъ, когда анатомія и физиологія не смѣли показываться въ хорошемъ обществѣ? Нѣтъ, нехорошо поступилъ тутъ Вириховъ. Онъ уже чересчуръ дружелюбно и ласково относится здѣсь къ предразсудкамъ, противъ которыхъ можетъ и долженъ сказать свое полное и откровенное слово такой авторитетъ науки, какъ Рудольфъ Вириховъ. Если такіе люди, какъ Вириховъ, будутъ церемониться и влиять хвостомъ передъ общественными предразсудками, то у кого-же хватитъ рѣшимости вступить съ ними въ борьбу и, самое главное, у кого хватитъ нравственнаго авторитета на то, чтобы заставить общество выслушать и принять разумное мнѣ-

ніе, идущее въ разрѣзъ съ господствующимъ заблужденіемъ?

«Чтобы завѣдывать кухней правильнаго хозяйства,—продолжаетъ Вириховъ,—надо же знать, что удобоваримо и что нѣтъ. Хозяйка обыкновенно усваиваетъ себѣ это знаніе втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ посредствомъ опыта. Для этого нѣсколько членовъ семейства должны сначала неоднократно испортить себѣ желудки. Но почему именно они себѣ испортили желудки, этого хозяйка все-таки не узнаетъ, и черезъ нѣсколько времени это происшествіе повторяется снова, и набирается такимъ образомъ запасъ опытныхъ знаній. Насколько этотъ родъ опытовъ недостаточенъ для того, чтобы на нихъ можно было основывать цѣлесообразное приготовленіе кушаній, это очень ясно видно изъ того обстоятельства, что во вседневной жизни считается удобоваримымъ все, что не производитъ боли въ желудкѣ или въ животѣ. А между тѣмъ удобоваримо только то, что дѣйствительно переваривается, т. е. растворяется и *входитъ въ кровь*. Удобоваримое можетъ сдѣлаться вреднымъ, а неудобоваримое можетъ только быть потрачено даромъ. А пища маленькихъ дѣтей,—какъ ошибоченъ бываетъ часто ея выборъ! И сколько кушаньевъ, которыя можно было-бы ѣсть безъ вреда, подаются на столъ совсемъ не въ томъ видѣ, въ какомъ бы это нужно было для успѣшнаго хода пищеваренія!»

За этотъ гениальный маневръ Вирихова читатель можетъ ему простить даже его разсужденіе о цѣломудренной анатоміи. Онъ попалъ въ слабую струну филистеровъ. Онъ понялъ, что на нихъ надо дѣйствовать желудочными аргументами. Хотя они обыкновенно прикидываются идеалистами, хотя они съ добродѣтельнымъ ужасомъ относятся къ реальному и утилитарному направленію, которое, по ихъ мнѣнію, включаетъ человѣка въ разрядъ безсловесныхъ скотовъ,—однако на самомъ дѣлѣ они живутъ исключительно въ желудокъ и въ немъ обрѣтаютъ себѣ весь смыслъ и всю поэзію человѣческаго существованія. Поэтому Вириховъ поражаетъ ихъ именно въ желудокъ. Смотрите, филистеры, говоритъ онъ имъ, учите вашихъ маленькихъ дочерей уму-разуму, а то у васъ на старости лѣтъ каждый день будетъ животъ болѣть по ихъ милости. Онѣ будутъ мстить вамъ за свое невѣжество самыми естественнымъ и, въ то-же время, жестокимъ образомъ. Онѣ будутъ учиться физиологіи надъ вашими почтенными особами. Онѣ будутъ производить химическіе опыты надъ вашими собственными животными. Нравится-ли вамъ такая мрачная перспектива? Пріятно-ли солидному гражданину и отцу семейства играть въ отношеніи къ собственной дочери ту пассивную роль, которую выполняютъ кролики и собаки на столѣ у профессора экспериментальной физиологіи? Надъ этимъ, господа, стоитъ вамъ призадуматься.

#### IV.

«Для того,—продолжаетъ Вириховъ,—чтобы судить объ этихъ простѣйшихъ вещахъ, надо-же по крайней мѣрѣ знать, какъ устроенъ желудокъ и какимъ манеромъ онъ ухитряется пере-

варить пищу и питье, и изъ каеихъ составныхъ частей состоятъ кушанья и напитки, и что дѣлается съ этими составными частями въ человѣческомъ тѣлѣ, и на что онѣ пригодны, и такъ далѣе. Для всего этого требуется не только кое-что изъ физиологій, но также кое что изъ химіи, изъ ботаники и многое другое. И это знаніе должно быть не вѣишимъ знаніемъ, не собраннымъ изъ отрывочныхъ доскуговъ, не такимъ, при которомъ надо было-бы долго размышлять, чтобы додуматься до того, какъ надо дѣйствовать; это знаніе должно быть цѣльнымъ и живымъ знаніемъ, такъ чтобы оно во всякую данную минуту было подъ руками и чтобы оно постоянно само собой поддерживало и направляло работу мысли. Въ такомъ-же точно положеніи находятся вопросы о согрѣваніи и опріиченіи въ холодъ, о вѣтлаци и объ одѣваніи и объ устройствѣ постели. Всѣ эти вопросы могутъ быть обработаны теоретически, и основные принципы ихъ могутъ быть изложены такъ просто, что самое посредственное пониманіе усвоитъ ихъ легко и запомнитъ ихъ отчетливо. Все это можно было бы преподавать въ каждой школѣ дѣвушкамъ старшаго возраста.»

Всѣ эти совѣты Вирхова замѣчательно хороши именно потому, что они одинаково убѣдительно, какъ для самыхъ трусливыхъ консерваторовъ, такъ и для самыхъ размахистыхъ прогрессистовъ. Консерваторы должны принять эти совѣты съ восторгомъ; женщину хотятъ готовить для семейства; изъ нея хотятъ сформировать образцовую хозяйку; чего же лучше? Вѣдь это завѣтный идеалъ консерваторовъ; вѣдь этимъ идеаломъ они постоянно поражаютъ всѣхъ своихъ противниковъ по женскому вопросу; вѣдь только за неприкосновенность этого идеала они и сражаются съ такъ-называемыми эмансипаторами женщины. Но, приводя въ восторгъ консерваторовъ, совѣты Вирхова въ то-же время совершенно удовлетворяютъ и прогрессистовъ. Въ своихъ надеждахъ и желаніяхъ, въ своихъ взглядахъ на будущее объ партіи остаются конечно въ непримиримомъ разногласіи. Одни надѣются, что женщина засядетъ въ кухнѣ и въ дѣтской и углубится въ научное штопанье, въ научное стиранье грязнаго бѣлья и въ столь-же научное приготовленіе превосходнѣйшихъ кулебякъ. Другіе питаютъ въ своихъ преступныхъ душахъ совсѣмъ другія надежды; они не отрицаютъ ни бѣлья, ни кулебякъ, но они осмѣливаются думать, что каждая умная и образованная женщина, поддерживая порядокъ въ своемъ домѣ, сѣумѣетъ оставить въ своей жизни очень просторное мѣсто для такихъ идей и дѣйствій, которыя не имѣютъ ничего общаго ни съ бѣльемъ, ни съ кулебякой. Но пусть каждая партія надѣется по своему; кто изъ нихъ угадывалъ вѣрно фizioномію будущаго и кто ошибался въ своихъ расчетахъ—это видно будетъ впоследствии; спорить и горячиться изъ-за надеждъ и желаній рѣшительно не стоитъ; стоило-бы спорить и горячиться только въ томъ случаѣ, если бы въ данную минуту существовали два проти-

воположныя мнѣнія на счетъ того, какъ надо поступать въ разбираемомъ вопросѣ. Но двухъ противоположныхъ мнѣній быть не можетъ. Рисуйте себѣ какой угодно идеалъ — образцовую хозяйку или мыслящую женщину—это все равно: въ данную минуту наша женщина стоитъ одинаково далеко какъ отъ перваго изъ этихъ идеаловъ, такъ и отъ втораго; чтобы сдвинуть ее съ мѣста и чтобы сколько-нибудь приблизить ее къ тому или къ другому идеалу, ей во всякомъ случаѣ надо дать образованіе. Вотъ это, значить, первый пунктъ, на которомъ должны согласиться между собой всѣ отѣнки мнѣній. Кроме того они сойдутся еще и на второмъ пунктѣ. Спрашивается: какое образованіе надо дать женщинѣ? Обожатели образцовой хозяйки скажутъ конечно, что ей надо дать такое образованіе, которое выучило-бы ее хозяйничать. А Вирховъ доказываетъ ясно, какъ дважды два — четыре, что благоразумное хозяйничаніе невозможно безъ основательной теоретической подготовки, и что эта подготовка должна состоять въ изученіи природы вообще и человѣческаго организма въ особенности. То-есть, другими словами: обожатели образцовой хозяйки, если у нихъ есть въ головѣ капля здраваго смысла, должны настоятельно требовать, чтобы женщинѣ было дано обширное, научное и притомъ реальное образованіе. Ну, и слава тебѣ Господи! Обожатели мыслящей женщины только этого въ данную минуту и желаютъ.

Программа Вирхова превосходна въ томъ отношеніи, что она соединяетъ въ себѣ всѣ преимущества общаго и спеціальнаго образованія, — такого, которое должно выпускать женщину прямо изъ школы въ жизнь, и такого, которое должно готовить ее для болѣе серьезныхъ научныхъ занятій. Пройдя черезъ школу, устроенную по идеѣ Вирхова, одиѣ дѣвушки, одаренныя обыкновенными умственными способностями, сдѣлаются хорошими хозяйками, а другія, болѣе даровитыя, получатъ такой толчокъ впередъ, что поймутъ ясно свое призваніе и, смотря по складу своего ума, сдѣлаются медиками, натуралистами, механиками, технологами, мыслительницами, писательницами, вообще чѣмъ угодно. Школа, готовившая ихъ преимущественно или даже исключительно для хозяйственной дѣятельности, заложитъ въ ихъ умныя головы, благодаря своему реальному направленію, такой прочный фундаментъ дѣльныхъ мыслей и основательныхъ знаній, который пригодится имъ на всякомъ житейскомъ поприщѣ и изощритъ ихъ умственные способности для всякой дальнѣйшей работы.

Спеціальное образованіе обыкновенно стѣсняетъ умственный кругозоръ учащагося и нерѣдко уродуетъ человѣка для того, чтобы сформировать искуснаго ремесленника. Но этотъ упрекъ совершенно неприменимъ къ тому спеціальному

образованію, которое Вирховъ рекомендуетъ женщинамъ. Такое специальное образованіе, которое цѣликомъ основано на изученіи природы, оказывается неизмѣримо выше всѣхъ возможныхъ общихъ образованій. Еслибы предложили умнѣйшему изъ прогрессистовъ составить такой планъ женскаго образованія, который, не внося ни къ какимъ специальнымъ цѣлямъ, долженъ былъ-бы направляться исключительно къ тому, чтобы развернуть и укрѣпить всѣ умственные способности ученицъ, — то прогрессистъ навѣрное пришелъ-бы къ тѣмъ самымъ практическимъ выводамъ, къ которымъ подошелъ Вирховъ съ другой стороны, посредствомъ анализа чисто-хозяйственныхъ потребностей, недомысловъ и недостатковъ. Та практическая тенденція, которую Вирховъ рекомендуетъ женскимъ школамъ, имѣетъ очень важное и очень полезное значеніе для общаго развитія умственныхъ способностей. То значеніе, которое усваивается для того, чтобы потомъ прикладываться къ дѣлу, должно быть непременно живымъ и цѣльнымъ знаніемъ. Химія, ботаника и физиологія, которыя должны каждый день являться на помощь къ будущей хозяйкѣ, стоящей передъ кухонной плитой, будутъ конечно изучаться не такъ, какъ изучаются теперь въ женскихъ и даже въ мужскихъ заведеніяхъ разныя науки, необходимыя только для того, чтобы придать блескъ выпускному экзамену и занять почетное мѣсто въ аттестатѣ или въ дипломѣ. Если только мысли Вирхова когда-нибудь найдутъ себѣ достойныхъ исполнителей, то во многихъ европейскихъ государствахъ молодые люди мужескаго пола принуждены будутъ завидовать тому образованію, которое будутъ получать прусскія дѣвушки.

### V.

«Но.—продолжаетъ Вирховъ,—и основные принципы *душевной гигиены*—преимущественно въ приложеніи къ дѣтямъ—могутъ безъ труда быть развиты въ общихъ чертахъ. Педагогическихъ образцовъ имѣется достаточно; ихъ быть можетъ даже больше, чѣмъ діатическихъ и гигиеническихъ образцовъ; и молодая мать стала бы смотрѣть съ большей смѣлостью и самоувѣренностью на своего перваго младенца, если бы она не принуждена была сознаваться самой себѣ, что онъ—*ей пробный ребенокъ*,—тотъ ребенокъ, надъ которымъ она болѣе или менѣе самостоятельно, по своимъ собственнымъ соображеніямъ, должна производить свои педагогическіе эксперименты. Не чего грѣха таить, наше домашнее воспитаніе стоитъ до сихъ поръ на томъ низкомъ уровнѣ развитія, на которомъ находилось въ прошедшемъ столѣтіи народное хозяйство. Это—чисто первобытное хозяйство. Задача нашего времени состоитъ въ томъ, чтобы ввести въ жизнь *науку воспитанія*, которая положила-бы конецъ производству безконечныхъ педагогическихъ экспериментовъ и воспитанію дѣтей по неопредѣленнымъ слухамъ.»

Такимъ образомъ Вирховъ вводитъ въ свою программу еще новую черту, которая оконча-

тельно устраняетъ съ нея всякій упрекъ въ односторонности. Изучая химию, ботанику, анатомію, физиологію и другія отрасли естествознанія, дѣвушки должны кромѣ того знакомиться съ тѣми законами, по которымъ развивается и крѣпнеть съ самаго ранняго дѣтства умъ и характеръ человѣка. Теоретическая часть *науки воспитанія*, какъ понимаетъ ее Вирховъ, должна конечно заключать въ себѣ свѣдѣніе о людяхъ, рисующій передъ ученицами полную и вѣрную картину тѣхъ психическихъ видоизмѣненій, черезъ которыя проходитъ ребенокъ, начиная отъ колыбели и кончая юношескимъ возрастомъ. Эта теоретическая часть должна быть направлена преимущественно къ тому, чтобы заставить молодую дѣвушку уважать въ ребенкѣ будущаго человѣка.

Одинъ изъ главныхъ недостатковъ нашего воспитанія состоитъ именно въ томъ, что мы слишкомъ легко и, смотря по нашему минутному настроенію, то слишкомъ игриво, то слишкомъ презрительно относимся къ мыслямъ, чувствамъ, желаніямъ и требованіямъ дѣтей. Намъ почти никогда не приходитъ въ голову, что ребенокъ есть человѣческая личность, не только имѣющая, но даже сознающая свои естественныя и неотъемлемыя права. Мы почти никогда не умѣемъ сообразить, что, легкомысленно нарушая законныя права ребенка, мы пріучаемъ его смотрѣть съ такимъ-же нахальнымъ легкомысліемъ на права другихъ людей, съ которыми ему впоследствии придется имѣть сношенія. Ежеминутно оскорбляя ребенка нашей невнимательностью къ его разумнымъ желаніямъ, требованіямъ и возраженіямъ, мы ежеминутно, ни къ чему, ни къ городу, подольщаемся къ нему то ласками, то поцѣлуями, то приниками. Такимъ образомъ мы какъ будто нарочно воспитываемъ въ ребенкѣ презрѣніе къ нашему уму и нашему характеру, а потомъ, когда плоды нашей педагогической безтолковщины начинаютъ созрѣвать, мы начинаемъ выть и орать, что злѣнаибѣренная журналистика выдумала молодое поглѣніе и посягала раздоръ между отцами и дѣтьми.

Всѣ эти печальныя явленія нашей вседневной жизни происходятъ преимущественно оттого, что наше домашнее воспитаніе есть *«чисто первобытное хозяйство»*, то-есть оттого, что мы не имѣемъ никакого понятія о самыхъ элементарныхъ истинахъ опытной психологіи. Мы знаемъ наприимѣръ очень хорошо, что пятилѣтній мальчикъ лѣтъ черезъ пятнадцать сдѣлается двадцати-лѣтнимъ юношей; но изъ этого положенія мы не умѣемъ вывести самыхъ естественныхъ и необходимыхъ послѣдствій; мы не умѣемъ понять, что въ первой системѣ пятилѣтняго мальчика заключается въ видѣ зародыша весь складъ ума, весь темпераментъ и весь характеръ будущаго мужчины, и что этотъ зарод-



дышъ разовьется правильно или уродливо, разцвѣтетъ или зачахнетъ, смотря потому, будемъ-ли мы своимъ вліяніемъ содѣйствовать или мѣшать его развитію, будемъ-ли мы охранять лабораторію молодой мысли отъ всякихъ постороннихъ посягательствъ, или же, напротивъ того, врываться въ эту лабораторію съ нашими глупыми фантазіями и съ нашимъ грубымъ самодурствомъ.

Для того, чтобы мы дѣйствительно проникнулись глубокимъ уваженіемъ къ тому живому матеріалу, который мы имѣемъ подъ руками въ дѣлѣ воспитанія, мы нуждаемся конечно не въ умилительныхъ наставленіяхъ о великой задачѣ воспитателя, не въ риторическихъ словизліяніяхъ объ отвѣтственности передъ обществомъ и передъ собственной совѣстью, а именно въ томъ, чтобы мыслящіе наблюдатели нарисовали намъ полную и вѣрную картину развитія отдѣльнаго человѣка. Глядя на эту картину, вдумываясь во всѣ ея подробности, замѣчая, что одна фаза вытекаетъ необходимо изъ другой, что всѣ эти фазы неразрывно связаны между собой, что онѣ взаимно объясняютъ другъ друга, и что взрослый юноша, вступающій въ дѣйствительную жизнь, есть не что иное, какъ продуктъ и результатъ впечатлѣній, пережитыхъ имъ въ родительскомъ домѣ и въ школѣ, — каждая мать семейства пойметъ, глубоко прочувствуетъ и навсегда запомнитъ ту великую истину, что во всей человѣческой жизни нѣтъ ни одной минуты, въ которую было-бы позволено относиться къ человѣку легкомысленно и безпечно, и что человѣкъ имѣетъ полное и неотъемлемое право на уваженіе своихъ ближнихъ съ самаго своего появленія на свѣтъ.

Любопытно замѣтить, что законодательство всѣхъ образованныхъ народовъ обогналовѣетъ томъ отношеніи нравы всеневной жизни. Во всѣхъ европейскихъ государствахъ жизнь и собственность грудного ребенка ограждены такъ-же прочно, какъ жизнь и собственность всѣхъ остальныхъ гражданъ. Законъ признаетъ права человѣка съ минуты его рожденія; но тамъ, гдѣ прекращается охранительное дѣйствіе закона, — тамъ начинается полный произволъ взрослыхъ; отецъ не смѣетъ ни убить, ни обобрать своего ребенка, но онъ нисколько не посовѣстится высѣчь его безвинно, прикрикнуть на него ни за что, ни про что, дать ему неисполнимое приказаніе и заставить его молчать, когда ребенокъ представляетъ ему дѣльные возраженія. А между тѣмъ всѣ эти проявленія родительской халатности ложатся грязными пятнами и безобразными рубцами на характеръ будущаго человѣка; всѣ они отзываются болѣзненно на самихъ-же родителяхъ; и всѣ они могли-бы найти себѣ крѣпкую узду въ основательномъ изученіи законовъ человѣческаго развитія.

Мы увидимъ сейчасъ, какъ серьезно пони-

жаетъ Вирховъ то преподаваніе педагогики, которое онъ рекомендуетъ женскимъ училищамъ.

«Конечно,—говоритъ онъ,—я не держусь того мнѣнія, что такая наука воспитанія окажется достаточной, если она будетъ преподаваться въ женскихъ школахъ только теоретически. Не думаю я также, чтобы слѣдовало предоставлять на произволъ судьбы изученіе педагогической практики, которая такимъ образомъ усвоилась-бы старшей сестрой только въ томъ случаѣ, если журавлю заабогоровсудитъ принести ей еще братца или сестрицу. Надо устроить такъ, чтобы педагогическая практика сдѣлалась одной изъ нормальныхъ составныхъ частей женскаго воспитанія.»

Разумѣется, Вирховъ не ограничивается однимъ голымъ заявленіемъ существующей потребности; онъ показываетъ, какимъ образомъ можно удовлетворить эту потребность. Эта часть его лекціи составляетъ ея лучшее украшеніе. Тутъ Вирховъ подаетъ мысль дѣйствительно новую, очень оригинальную и до такой степени простую и удобоисполнимую, что остается только удивляться тому, какимъ образомъ она могла оставаться до сихъ поръ новой и оригинальной въ Германіи, въ классической странѣ педагогики. Впрочемъ одна изъ характеристическихъ особенностей всѣхъ замѣчательныхъ умовъ состоитъ именно въ томъ, что они умѣютъ открывать новыя стороны въ такихъ предметахъ, которые всѣмъ давно извѣстны и всѣ давно успѣли намозолить глаза. А потомъ, когда замѣчательный умъ подаетъ новую мысль, тогда всѣ начинаютъ удивляться тому, какъ это они сами давнымъ-давно не додумались до такой простой и очевидной истины.



«Для того,—продолжаетъ Вирховъ,—чтобы большинство молодыхъ дѣвушекъ могло изучить практическую часть педагогики, надо воспользоваться тѣми учреждениями, которыя находятся подъ руками и которыя могутъ быть созданы повсемѣстно каждой общиной (Gemeinde) и каждымъ обществомъ (Verein). Я подразумеваю здѣсь заведенія для маленькихъ дѣтей (Kleinkinderbewahranstalten), такъ-называемыя ясли (Krippen) и дѣтскіе сады (Kindergärten). Они совершенно приспособлены къ тому, чтобы играть въ развитіи созрѣвающего женскаго поколѣнія ту роль, которую играютъ больница и клиника въ образованіи молодого медика. Они могутъ сдѣлаться образовательными заведеніями, въ которыхъ будетъ изучаться на практикѣ воспитаніе дѣтей, какъ съ физической, такъ и съ моральной стороны. Можно пользоваться и другими заведеніями тамъ, гдѣ они существуютъ, напримѣръ воспитательными домами (Findelhäuser) и сиротскими пріютами, но ужъ дѣтскіе сады и заведенія для храненія маленькихъ дѣтей можно имѣть почти повсемѣстно.»

Написавши эти слова Вирхова, я вспомнилъ, что очень недавно я встрѣтилъ въ одномъ журналѣ, кажется въ «Современникѣ», извѣстіе о первомъ дѣтскомъ садѣ, заведенномъ въ Петербургѣ госпожей Люгебиль. Въ самомъ прогрес-

сивномъ изъ русскихъ городовъ, въ Петербургѣ только-что начинается появляться то, что, по словамъ Вирхова, встрѣчается въ Пруссіи на каждомъ шагу, то-есть почти въ каждой деревнѣ и ужъ навѣрное въ каждомъ изъ самыхъ маленькихъ провинціальныхъ городковъ. Славянофилы наши имѣютъ полное основаніе порадоваться тому, что мы очень упорно сопротивляемся разлагающему вліянію тлетворнаго Запада.

«Всѣ эти заведенія,—говоритъ Вирховъ далѣе,—до сихъ поръ существовали только ради тѣхъ дѣтей, которые туда принимались, или ради ихъ родителей; иногда съ этими учрежденіями связывались также церковныя цѣли. До сихъ поръ было упущено изъ виду, что эти заведенія могутъ быть питомниками дѣятельной добродѣтели и основательнаго знанія для женской молодежи, семинаріями хорошихъ матерей и хозяекъ, если только воспользоваться ими для практическаго изученія педагогики подъ руководствомъ опытныхъ учителей или учительницъ. Такимъ образомъ въ готовому знанію присоединится готовое умѣнье. — Когда дѣвочка лежитъ еще въ люлькѣ, вы дае ей куклу, и она играетъ ею до тѣхъ поръ, пока подростетъ. Потомъ вы отдаете въ ея распоряженіе кукольную комнату и убираете эту комнату всѣми принадлежностями, какія вы только можете приобрести. Затѣмъ это дѣлается? Затѣмъ, чтобы въ играхъ ребенка подготовить будущую специальную дѣятельность женщины; затѣмъ, чтобы пробудить чувство женщины, чтобы приучить малытку къ заботамъ дѣтской комнаты. Очень хорошо! Но затѣмъ слѣдуетъ большой проблѣ. Куклу ставятъ въ уголокъ. Весь міръ появляется передъ дѣвшкой въ какомъ то замаскированномъ видѣ. Только въ лицѣ своего собственнаго ребенка молодая мать встрѣчается снова передъ собой реальнымъ предметъ. Неужели вы не чувствуете,

что здѣсь оказывается въ воспитаніи большая ошибка,—самая тяжелая изъ тѣхъ ошибокъ, въ которыя впадаетъ общество? Неужели вы не понимаете, что это грѣхъ — довѣрять живого ребенка такой матери, которая только въ кукольной комнатѣ приговаривалась къ исполненію своихъ серьезныхъ материнскихъ обязанностей? Да еще къ тому-же такой матери, которой приходится платить дань всѣмъ запутаннымъ условіямъ современной общественной жизни, переполненной суетными удовольствіями, искаженной странными модами, подавленной превратными и суевѣрными понятіями! Эту ошибку можно устранить только тѣмъ, чтобы вслѣдъ за кукольной комнатой вести теоретическую подготовку женской школы, а потомъ практическое образованіе дѣтскаго сада.»

Этими цитатами я исчерпалъ все содержаніе лекціи Вирхова. Собственно новой можетъ быть названа въ этой лекціи только мысль о практическомъ изученіи дѣтскихъ нравовъ въ дѣтскихъ садахъ и другихъ подобныхъ учрежденіяхъ. Но эта мысль очень плодотворна, потому что она въ высшей степени удобоисполнима. Кромѣ того вся лекція очень замѣчательна, какъ сжатая и дѣльная программа послѣдовательнаго реализма, примѣненнаго къ воспитанію женщины. Эту программу я въ самомъ началѣ этой статьи называлъ *безобидной* въ томъ смыслѣ, что она не испугаетъ никого изъ самыхъ безпачежныхъ фидлистеровъ. Это достоинство очень немаловажное, потому что многія превосходныя идеи остаются неосуществленными единственно по той причинѣ, что онѣ, благодаря своему яркому блеску, однимъ своимъ появленіемъ возбуждаютъ противъ себя оглушительное возраженіе. Программа Вирхова не возбудитъ противъ себя никакого негодованія.

## ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОФИЗМЫ.

### I.

Почти всѣмъ нашимъ журналистамъ чрезвычайно хочется быть законодателями и администраторами и чрезвычайно не хочется быть журналистами. Они очень любятъ говорить публичнѣ: надо поступить такъ-то, — и очень не любятъ объяснять ей, почему именно надо поступить такъ, а не иначе. Эти особенности нашихъ журналистовъ выразились недавно въ спорахъ о классическомъ и реальномъ образованіи. Защитники классицизма твердили на разные лады, что надо открыть повсемѣстно классическія гимназіи, и никто изъ этихъ защитниковъ не потрудился до сихъ поръ объяснить обществу, въ чемъ именно состоитъ превосходство классическаго образованія надъ реальнымъ. Защитники классицизма наивно убѣждены въ томъ, что все дѣло будетъ благополучно окончено, какъ только откроется

значительное число классическихъ гимназій. Понимаетъ-ли общество или не понимаетъ пользу этихъ заведеній, сочувствуетъ оно имъ или не сочувствуетъ—это, по ихъ мнѣнію, рѣшительно все равно, и не стоитъ тратить ни одной минуты времени и ни одной капли чернилъ на то, чтобы дать обществу то пониманіе и то сочувствіе, которыхъ у него нѣтъ въ настоящую минуту. — Особенно сильно проявляются эти законодательскія и администраторскія наклонности въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Считаю себя, подобно «Times», шестой великой державой, Катковъ очевидно можетъ объясняться только съ правительствами, а никакъ не съ обыкновенными читателями своей газеты.

«Родители,—говоритъ онъ съ величественнымъ презрѣніемъ,—мѣстныя общества, земскія собранія, въ которыхъ большинство никогда не слы-

хало ни о классическихъ, ни о реальныхъ гимназияхъ и едва-ли стѣмѣтъ правильно выговорить имя этихъ заведеній,—вотъ, кромѣ самихъ учениковъ-гимназистовъ, авторитеты, на которые указываютъ «Голосъ», «День», «Воронежскій Листокъ» и нѣкоторые другіе, подобные имъ, поборники петербургскихъ педагогическихъ фантазій, и имъ кажется, что они въ этомъ случаѣ дѣйствуютъ въ либеральномъ духѣ и обнаруживаютъ полное уваженіе къ потребностямъ общества.» («Моск. Вѣд.», № 71.)

Спрашивается, для кого пишутся и печатаются «Московскія Вѣдомости»? — Для разныхъ родителей и для членовъ разныхъ мѣстныхъ обществъ и разныхъ земскихъ собраній. Если эти родители, мѣстныя общества и земскія собранія никогда не слыхали о классическихъ и реальныхъ гимназияхъ, и если они не умѣютъ правильно выговорить имя этихъ заведеній, то, я думаю, прямая обязанность журналиста, распинаящагося за классицизмъ, состоитъ въ томъ, чтобы разсказать этимъ людямъ объ этихъ заведеніяхъ и научить ихъ правильно выговаривать мудренныя слова. *Шестая держава* поступила-бы весьма благоразумно, еслибы она, вмѣсто того чтобы законодательствовать, администраторствовать и глумиться надъ невѣжествомъ своихъ читателей, посвятила себя устраненію этого невѣжества. Подобно Петру Ивановичу Бобчинскому, Катковъ постоянно стремится вести знакомство съ великими міра и бѣжать за экипажемъ, хотъ пѣтушкомъ. Въ дѣлѣ классическихъ гимназій онъ очень много суетится, очень много гнѣбается и обличаетъ,—словомъ, дѣлаетъ множество смѣшныхъ эволюцій, никому и ни на что ненужныхъ, и не дѣлаетъ именно того, что онъ обязанъ дѣлать, то-есть не объясняетъ обществу пользы того образованія, за которое онъ стоитъ горой. Катковъ такъ недалъовиденъ, что не умѣетъ даже задать себѣ слѣдующаго вопроса: чьи дѣти будутъ учиться въ будущихъ классическихъ гимназіяхъ? Еслибы онъ сдумѣлъ задать себѣ этотъ вопросъ, и еслибы у него достало сообразительности отвѣтить на него, какъ слѣдуетъ, и потомъ изъ этого отвѣта вывести ближайшія слѣдствія, то онъ понялъ-бы, что вся судьба классицизма зависитъ оттого, какъ будутъ относиться къ нему тѣ родители, мѣстныя общества и земскія собранія, на которые онъ, Катковъ, смотритъ съ олимпійскимъ презрѣніемъ.

Тѣ люди, которые не умѣютъ выговорить имя заведенія, конечно не понимаютъ того, какую пользу можетъ принести ихъ дѣтямъ изученіе двухъ мертвыхъ языковъ. Дѣти этихъ людей поступаютъ въ такую гимназію, гдѣ преподаются эти языки. У этихъ дѣтей рождается естественнымъ образомъ вопросъ: зачѣмъ заставляютъ ихъ учить эти мудренныя склоненія, спряженія, исключенія и конструкторія? Дѣти обращаются съ этимъ вопросомъ къ родителямъ и къ родственникамъ, то-есть къ членамъ мѣстныхъ обществъ и земскихъ собраній. Родители и родственники не

отвѣчаютъ совѣмъ ничего или даютъ такіе уклончивые и неопредѣленные отвѣты, которые не могутъ удовлетворить пытливыхъ и умныхъ ребятъ. Ребята начинаютъ думать, что изученіе двухъ мертвыхъ и очень трудныхъ языковъ совершенно безцѣльно и бесполезно. Они продолжаютъ учиться, потому что такъ велѣно, но учатся неохотно, единственно для того, чтобы получить хорошій баллъ въ классѣ и на экзаменѣ. При такихъ условіяхъ уроки плохо идутъ въ голову и забываются тотчасъ послѣ того, какъ они сланы съ рукъ. Когда ученикъ принимается за свои учебныя занятія съ отвращеніемъ и съ предубѣжденіемъ, тогда эти занятія не развиваютъ, а, напротивъ того, притупляютъ его способности. Кромѣ того ученикъ съ самаго ранняго возраста пріобрѣтаетъ себѣ умѣнье служить не дѣлу, а лицамъ. Его равнодушіе къ самому предмету и его желаніе отличиться передъ учителемъ воспитываютъ въ немъ со школьной скамьи одного изъ тѣхъ общественныхъ дѣятелей, которые отъ дѣла не бѣгаютъ, а дѣла не дѣлаютъ. Это бываетъ обыкновенно съ тѣми учениками, которые считаются гордостью и украшеніемъ заведенія. Большинство учениковъ, натываясь на ненавистный предметъ, котораго польза для нихъ непонятна, выбираютъ себѣ другую дорогу. Они просто пренебрегаютъ этимъ предметомъ и учатся плохо, несмотря на дурныя баллы, выговоры и наказанія. Они сидятъ по нѣсколько лѣтъ въ одномъ классѣ и потомъ выходятъ изъ школы въ жизнь, ничему не выучившись и воспитавши въ себѣ глубокое отвращеніе къ наукѣ.

Ловкое шарлатанство такъ-называемыхъ лучшихъ учениковъ и пассивная оппозиція такъ-называемыхъ худшихъ составляютъ въ дѣлѣ распространенія прочныхъ знаній такое серьезное препятствіе, которое не можетъ быть устранено никакими внѣшними преобразованіями гимназическихъ уставовъ. Чтобы устранить это препятствіе, надо дѣйствовать убѣдительно и увлекательными доказательствами на сознание того общества, среди котораго растутъ будущіе гимназисты и изъ котораго эти гимназисты почерпаютъ себѣ свои первоначальныя попятія, наклонности и предубѣжденія. Пока само общество будетъ относиться вяло и пассивно, лѣнливо и равнодушно къ основнымъ принципамъ своего собственнаго образованія, до тѣхъ поръ самыя превосходныя уставы будутъ оставаться мертвой буквой. Воспитывать въ обществѣ ясное сознание его матеріальныхъ и умственныхъ потребностей, пробуждать и поддерживать въ немъ живое и дѣятельное сочувствіе ко всему, что можетъ принести ему пользу,—вотъ самая важная и даже единственная серьезная обязанность журналистики. Но для того, чтобы успѣшно выполнять эту обязанность, и даже для того, чтобы только понять и почувствовать всю ея важность, надо обладать совѣмъ не такими силами, какія

находятся въ распоряженіи нашей *шестой державы*. Шестая держава рѣшительно поворачивается спиной къ этой обязанности и не хочет замѣчать ее даже тогда, когда другіе люди настоятельно приглашаютъ ее обратиться на нее вниманіе. «Моск. Вѣд.», въ 71 №, выписываютъ изъ «Голоса» слѣдующія строки: «Многіе родители думаютъ, что греческимъ и латинскимъ языками ученики будутъ заниматься насильно.» Выписавъ эти слова, «Моск. Вѣдом.» начинаютъ разсуждать такъ: «и этотъ аргументъ кажется «Петербургской Газетѣ» достаточнымъ для того, чтобы въ нашихъ гимназіяхъ не было классическихъ языковъ, а преподавалось нѣчто такое, что, не требуя серьезнаго труда, приходилось-бы наиболѣе по вкусу ученикамъ гимназій».

Чтобы замаскировать свою несостоятельность въ дѣлѣ теоретической защиты классицизма, какъ принципа, «Московскія Вѣдомости» относятся съ полнымъ пренебреженіемъ къ наклонностямъ гимназистовъ и впадаютъ въ самую глупую психологическую ошибку. Онѣ утверждаютъ, что ученикамъ гимназій можетъ нравиться только то, что не требуетъ серьезнаго труда. Это—совершенная нелѣпость не только для гимназистовъ, но даже для самыхъ малолѣтнихъ дѣтей. Ребенку, какъ всякому человѣку вообще, противенъ и неспособенъ тотъ трудъ, въ которомъ онъ не видитъ никакой цѣли. Самое легкое занятіе можетъ быть невыносимо-скучнымъ и самый напряженный умственный трудъ можетъ быть въ высшей степени пріятнымъ. Все зависитъ отъ того, затрогиваетъ-ли этотъ трудъ умъ и чувство трудящагося человѣка, или оставляетъ ихъ неподвижными. Трудная работа и скучная работа—два понятія нисколько не равносильныя. Устранить изъ учебныхъ занятій элементъ серьезнаго труда нѣтъ никакой возможности и ни малѣйшей надобности, потому что серьезный трудъ закаляетъ умъ и формируетъ характеръ ученика. Но устранить изъ учебныхъ занятій элементъ скуки и принужденія—прямая обязанность рациональной педагогики, потому что скука, порождаемая безучастностью ученика къ труду, во всякомъ случаѣ дѣйствуетъ подавляющимъ образомъ на его умственные способности, а принужденіе, въ какой-бы утонченной и облагороженной формѣ оно ни выражалось, во всякомъ случаѣ развращаетъ ученика въ нравственномъ отношеніи. Что есть возможность устранить скуку и принужденіе—это доказала ясполянская школа. Въ томъ дѣлѣ, о которомъ я говорю теперь, для устранения скуки и принужденія требуется только одно условіе: пусть защитники классицизма растолкуютъ обществу пользу и необходимость двухъ мертвыхъ языковъ. Пусть они дадутъ ясный и вполнѣ удовлетворительный отвѣтъ на вопросъ: для чего русскому юношеству слѣдуетъ начинать свое школьное ученіе съ латинской и греческой грамматики? вмѣсто того

чтобы серьезно задуматься надъ этимъ вопросомъ, «Московскія Вѣдомости» эскамотируютъ его и кидаются по сторонамъ, то на «Голосъ», то на родителей, то на гимназистовъ, которые нисколько не виноваты въ томъ, что великій защитникъ классицизма не умѣетъ мыслить.

## II.

Когда «Московскія Вѣдомости», прекративъ свои набѣги на «Голосъ», на родителей и на гимназистовъ, стараются доказать превосходство классическаго образованія надъ всѣми другими возможными системами, тогда онѣ бѣдностью и безсвязностью своихъ доводовъ повергаютъ читателя въ сострадательное недоумѣніе. Между прочимъ ихъ классическая философія поучаетъ, что теорія и въ подметки не годится факту, именно потому, что она—теорія, т.-е. потому, что она, какъ новое произведеніе человѣческаго ума, еще не успѣла пустить корень въ жизнь. Когда въ XV вѣкѣ наплывъ чудаки, которые хотѣли печатать книги, вмѣсто того чтобы переписывать ихъ, тогда, по мнѣнію «Московскихъ Вѣдомостей», надо было отвѣчать имъ: «вы все врите! это—теорія; жизнь съ ея фактами говоритъ намъ, что книги должны непременно переписываться». Когда въ томъ-же XV вѣкѣ Колумбъ выпрашивалъ себѣ два корабля у испанскаго правительства, чтобы открыть цѣлый новый міръ, тогда надо было непременно отвѣтить ему, что жизнь съ ея фактами запрещаетъ открывать новыя земли. И такой отвѣтъ дѣйствительно былъ данъ ему многими почтенными представителями жизни и ея фактовъ. Когда въ концѣ XVI столѣтія Джордано Бруно своими сочиненіями и лекціями сталъ распространять систему Коперника, тогда ему доказали очень осязательно, что *иное дѣло—фактъ, иное дѣло—теорія*. Фактъ сначала посадилъ теорію въ тюрьму, а потомъ сжегъ ее на кострѣ. Въ XVII столѣтіи Галилей былъ теоріей, а папская инквизиція была фактомъ. Въ XVIII столѣтіи сочиненіе Беккарія противъ смертной казни было теоріей, а пытка, висѣлица и колесованіе—фактами. Въ времена Наполеона парходъ былъ теоріей, а парашюта Наполеона надъ парходомъ была фактомъ. Въ пятидесятыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія эманципация русскихъ крестьянъ была теоріей, а крѣпостное право было фактомъ. И откупъ, и закрытый судъ, и тѣлесныя наказанія въ свое время были также весьма почтенными фактами.

Но *иное дѣло—фактъ, иное дѣло—теорія*, твердятъ «Московскія Вѣдомости», и совершенно успокоиваются на этомъ величественномъ приговорѣ, составляя самымъ торжественнымъ категорическое признаніе собственной духовной нищеты и полнѣйшей неспособности анализировать или опровергать какую-бы то ни было теорію. Повторивши два раза свою бессмысленную фразу, «Московскія Вѣдомости» совершенно забы-

ваютъ о тѣхъ двухъ вопросахъ, съ которыхъ онѣ хотѣли было начать свое изслѣдованіе о достоинствахъ классицизма. Усыпленный пустословіемъ газетнаго болтуна, читатель также давно забылъ объ этихъ двухъ вопросахъ, и такимъ образомъ поднятое дѣло затихло, къ обоюдному удовольствію писателя и публики. Писатель почтительно раскланялся съ фактомъ, какъ съ важнымъ бариномъ, бросилъ презрительный взглядъ на теорію, какъ на искательницу приключеній, наполнилъ неизвѣстно чѣмъ нѣскольکو столбцовъ и успокоился на томъ усладительномъ сознаніи, что далеко подвинулъ впередъ дѣло классицизма въ Россіи. Читатели быть-можетъ не повѣрятъ мнѣ, если я имъ скажу, что я исчерпалъ все содержаніе передовыхъ статей, помѣщавшихся въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» въ защиту классицизма.

Такъ какъ я не могу и не хочу наполнять «Русское Слово» цитатами, въ которыхъ нѣтъ ничего кромѣ внутренней пустоты, то я приглашаю любопытнаго и недоувѣрчиваго читателя прочитать передовыя статьи въ №№ 43, 54 и 71. Скука, которую онъ испытаетъ, послужитъ ему достаточнымъ наказаніемъ за его недоувѣрчивость. Аргументовъ вы не найдете никакихъ, кромѣ уже извѣстной вамъ пѣсенки о томъ, что *иное дѣло — фактъ, иное дѣло — теорія*. Приводятся слова двухъ авторитетовъ, но эти слова не заключаютъ въ себѣ никакого аргумента. Оба авторитета заявляютъ только свою иѣжную любовь къ классическому образованію и утверждаютъ совершенно голословно, что молодые люди, прошедшіе черезъ классическую школу, оказываются гораздо дѣльнѣе тѣхъ, которые кончили курсъ въ реальныхъ училищахъ. Еслибы даже Александръ Гумбольдтъ и Чарльзъ Дарвинъ высказали эти мысли, то и тогда мы имѣли-бы полное право потребовать отъ нихъ подробныхъ фактическихъ доказательствъ. Что же касается до тѣхъ авторитетовъ, передъ которыми преклоняется публицистъ «Московскихъ Вѣдомостей», систематически презиравшій теорію, то имъ мы тѣмъ болѣе не имѣемъ ни малѣйшей надобности вѣрить на слово. Что классическое образованіе имѣетъ въ Европѣ очень многихъ вліятельныхъ и ученыхъ защитниковъ, — это мы знаемъ очень хорошо безъ всякихъ цитатъ. Еслибы этого не было, то классическое образованіе не могло бы существовать. Но что между людьми учеными и вліятельными есть очень много слѣпыхъ обожателей *факта* и столь-же слѣпыхъ гонителей *теоріи* — это мы также знаемъ какъ нельзя лучше. Нѣтъ того важнаго научнаго открытія, нѣтъ той плодотворной идеи, которыя не встрѣчали бы себѣ самыхъ ожесточенныхъ враговъ именно въ университетахъ и въ академіяхъ. Францискъ Бэконъ съ презрѣніемъ относился къ астрономическимъ открытіямъ Галилея; Риоланъ, знаменитѣйшій профессоръ медицины въ XVII вѣ-

кѣ, не хотѣлъ признавать кровообращенія, открытаго Гарвеемъ; знаменитѣйшіе палеонтологи тридцатыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія не обратили никакого вниманія на изслѣдованія Шмерлинга, доказывавшія одновременное существованіе челоуѣка съ такъ-называемыми допотопными животными. Предвзятыя мнѣнія вліятельныхъ ученыхъ людей бываютъ обыкновенно очень упорны, и потому слова генерала Морена и господина Шмидта, тѣхъ двухъ авторитетовъ, которыми хвастаются «Московскія Вѣдомости», доказываютъ только то, что генералъ Моренъ и господинъ Шмидтъ очень влюблены въ существующій фактъ. Мы не можемъ и не желаемъ имъ въ томъ пренятствовать, но влюбляться вслѣдъ за ними, потому только, что они — генералъ Моренъ и господинъ Шмидтъ, мы не видимъ до сихъ поръ никакого достаточнаго основанія.

### III.

«День» также стоитъ за классицизмъ и даже очень обижается тѣмъ, что «Московскія Вѣдомости», увлеченныя пылкостью своей фантазіи, причислили его къ любителямъ реального образованія. Въ 16 и въ 17-омъ номерахъ «Дня» напечатана статья Шаврова «Классическое и реальное воспитаніе». Эта статья стоитъ неизмѣнно выше фразерства «Московскихъ Вѣдомостей». Авторъ этой статьи обнаруживаетъ по крайней мѣрѣ похвальное желаніе размышлять о предметѣ собственнымъ умомъ, и читателю остается только пожалѣть о томъ, что такіе добросовѣстные люди, какъ Шавровъ, бываютъ часто чрезвычайно плохими мыслителями и кромѣ того не знаютъ азбуки того предмета, о которомъ они толкуютъ. Шавровъ беретъ слова: *классицизмъ* и *реализмъ* въ такомъ широкомъ и глубокомъ значеніи, что читатель даже перестаетъ видѣть въ этихъ двухъ словахъ какой-нибудь опредѣленный смыслъ. Какъ настоящій идеалистъ, какъ усердный ученикъ Хомякова, Кирилѣвскаго и другихъ подобныхъ мыслителей, Шавровъ совлекаетъ съ предмета все конечное, временное и случайное и посредствомъ этого совлеченія доводитъ дѣло до того, что классицизмъ и реализмъ становятся похожи другъ на друга, какъ двѣ капли воды. Выводы этого гениальнаго философскаго приема оказываются очень значительными. Сбросивъ съ себя оковы матеріи, Шавровъ можетъ называть классицизмъ реализмомъ, а реализмъ — классицизмомъ. Кромѣ того онъ, по вдохновенію, можетъ называть то классицизмомъ, то реализмомъ такія вещи, которыя съ нашей временной, конечной и случайной точки зрѣнія нисколько непохожи ни на то, ни на другое. Если ему угодно быть защитникомъ классицизма, — онъ можетъ называть всякое дурное воспитаніе реальнымъ, а всякое хорошее — классическимъ. Если-же ему угодно прославлять реализмъ, — то никто и ничто не

помѣшаютъ ему поступать какъ разъ наоборотъ. Неудобства этого гениальнаго приѣма состоятъ только въ томъ, что такимъ образомъ разбиваются въ прахъ и возносятся на пьедесталъ только слова; самыя-же явленія, противъ которыхъ или за которыя слѣдовало спорить, остаются совершенно незатронутыми.

Простодушный читатель конечно подчерпнетъ изъ статьи Шаврова то свѣдѣніе, что *классицизмъ* есть нѣчто прелестное, а *реализмъ*—нѣчто пакостное; но ни простодушный, ни проицательный, ни даже лукавый читатель не узнаютъ изъ этой статьи,—почему мертвые языки изучать слѣдуетъ, а естественныя науки изучать не годится. Въ самомъ началѣ своей статьи Шавровъ объясняетъ, что «подъ этими двумя названіями (то-есть подъ названіями классицизма и реализма) разумѣются два воспитательныя типа». — «Разберите—продолжаетъ Шавровъ тотчасъ-же,—внимательно воспитаніе, какое даетъ дикарь своему сыну или дочери, — вы непременно найдете въ этомъ воспитаніи который нибудь изъ двухъ типовъ, хотя и въ изуродованномъ видѣ.» Изъ этихъ словъ читатель замѣчаетъ съ ужасомъ, что Шавровъ хватается изумительно далеко и съ величайшей развязностью можетъ усмотрѣть классическое воспитаніе у готтентотовъ, а реальное — у папуасовъ. Поднявшись вмѣстѣ съ Шавровымъ сразу на такую высоту умозрѣнія, читатель начинаетъ краснѣть за свою недавнюю близорукость, въ видѣ которой онъ всю сущность вопроса видѣлъ въ томъ, что будутъ изучать наши гимназисты: греческую грамматику или физиологію? Читатель видитъ теперь, что для рѣшенія вопроса о греческой грамматикѣ необходимо сначала окунуть философскимъ взглядомъ всю исторію человечества. Нечего дѣлать, давайте окидывать. Впрочемъ, не желая изучать изуродованный классицизмъ готтентотовъ, Шавровъ приглашаетъ насъ обратиться вмѣстѣ съ нимъ «къ тѣмъ эпохамъ исторіи, когда эти типы проявлялись въ своемъ болѣе совершенномъ видѣ». Переносясь такимъ образомъ въ греко-римскій міръ, Шавровъ замѣчаетъ о немъ, что, «по своей отдаленности отъ насъ, онъ можетъ подвергаться и дѣйствительно очень часто подвергается разнаго рода перетолкованіямъ». Это замѣчаніе въ высшей степени справедливо, умѣстно и своевременно, потому что несчастный греко-римскій міръ, по своей отдаленности отъ Шаврова, *днѣсь* *видѣтельно* *подвергается* со стороны этого ученаго писателя такимъ *перетолкованіямъ*, отъ которыхъ волосы поднимутся дыбомъ на головахъ всѣхъ историковъ-эллинистовъ и латинистовъ нашего отечества.—До чего мы дожили! воскликнуть эти господа. Кто насъ защищаетъ? И какими аргументами? И съ какими знаніями? И это — *лучше* изъ нашихъ защитниковъ! — Шавровъ твердо убѣжденъ въ томъ, что аегняне

и римляне получали классическое образованіе. Онъ слышалъ, что греко-римскій міръ называется классическимъ, и, по своей отдаленности отъ этого міра, отважно умозаключилъ, что въ классическомъ мірѣ все должно быть классическое, и люди, и лошади, и собаки, и лягушки, и носы, и деревья, а, стало-быть, также и образованіе. По своей отдаленности отъ всякихъ историческихъ знаній, Шавровъ не сообразилъ, что греко-римскій міръ сталъ называться *классическимъ* только въ то время, когда онъ былъ уже мертвымъ міромъ и когда онъ послѣ возрожденія наукъ и искусствъ въ XV вѣкѣ сталъ изучаться въ школахъ или въ *классахъ*. Когда за древнимъ міромъ упрочилось названіе *классическаго* міра, тогда *классическимъ* стало называться то образованіе, которое было основано на изученіи этого міра. Но образованіе *классическаго* юношества и *классическое* образованіе юношества—двѣ вещи совершенно различныя. То-есть, молодые люди Греціи и Рима учились совсѣмъ не такъ и не тому, какъ и чему учились нѣмецкіе, итальянскіе, французскіе и англійскіе школьники XVI, XVII и слѣдующихъ вѣковъ. По всей вѣроятности юный римлянинъ не имѣлъ понятія о томъ, что значить разрѣшать конструкцію *Accusativus cum Infinitivo*, за которую пороли и порютъ до сихъ поръ школьниковъ новой Европы; по всей вѣроятности юный грекъ никогда не ломалъ себѣ голову надъ аористами и управлялся съ ними такъ-же легко, какъ мы теперь управляемся съ изумительной безалаберщиной нашего глагола, непостижимаго для иностранцевъ. Параллель между новѣйшими школьниками и древними юношами была-бы возможна только въ томъ случаѣ, еслибы греки и римляне изучали въ своихъ училищахъ языки санскритскій и египетскій, или вообще такіе языки, которые существовали-бы только въ школѣ и для школы. Но такъ какъ греки и римляне этого не дѣлали, то не зачѣмъ и обижать свободныхъ и веселыхъ юношей древняго міра сравненіемъ съ несчастными школьниками, выбивающимися изъ силъ надъ аористами и конструкціями.—*Отдаленность* Шаврова отъ историческихъ знаній нисколько не мѣшаетъ ему быть добрейшимъ человекомъ. «Древнихъ не учили,—объясняетъ онъ,—но они сами учились. Дѣло воспитателей и наставниковъ у нихъ состояло главнымъ образомъ въ томъ, чтобы быть хорошими собесѣдниками для питомцевъ, умѣющими поддержать въ нихъ умственную и нравственную энергію и живой интересъ къ предметамъ изученія, и опытными руководителями, способными давать должное и вѣрное направленіе уму и чувству питомцевъ. Но при этомъ они не стѣсняли и не подавляли ихъ самостоятельности и въ то-же время заботились о сохраненіи и укрѣпленіи полной гармоніи между умомъ и чувствомъ въ питомцахъ.» — Этими словами Шав-



ровъ очевидно обрисовываетъ памѣ свой собственный педагогическій идеалъ. Идеалъ недурень. Къ нему стремились всегда и вездѣ люди, отдававшіе себѣ болѣе или менѣе ясный отчетъ въ тѣхъ законахъ, по которымъ совершается умственное развитіе человѣка. Именно за то, что Шавровъ способенъ составить себѣ такой идеалъ, я ставлю этого писателя неизмѣримо выше того жалкаго фразера, который утверждаетъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», что гимназисты не могутъ заниматься серьезной работой безъ принужденія. Но, отдавая полную справедливость добросердечію Шаврова, я все-таки долженъ замѣтить, что его слова нисколько не характеризуютъ собой древняго міра, а только даютъ самый общій и неопредѣленный очеркъ той задачи, которую долженъ постоянно имѣть въ виду каждый умный воспитатель или учитель. Всѣ они должны поддерживать въ питомцахъ *умственную и нравственную энергію*, всѣ должны возбуждать въ нихъ *живой интересъ къ предметамъ изученія*, всѣ должны давать *вѣрное направление ихъ уму и чувству*. Всѣ должны, но не всѣ *могутъ и умѣютъ*. Бессиліе и неумѣнье происходятъ не оттого, что метода невѣрна, и не оттого, что предметы изученія нигкуда не годятся, а просто оттого, что между педагогами точно такъ-же, какъ и между людьми всѣхъ остальныхъ профессій, встрѣчается гораздо больше дюжинныхъ и ограниченныхъ субъектовъ, чѣмъ умныхъ и даровитыхъ личностей. Всякую науку, которая дѣйствительно достойна этого имени, можно преподавать и очень увлекательно, и очень усыпительно. Все зависитъ тутъ не отъ педагогической теоріи, а отъ живой личности преподавателя. Слова Шаврова выражаютъ именно тѣ требованія, которыя могутъ быть выполнены только педагогическимъ искусствомъ, то-есть личными дарованіями педагоговъ. Но такъ какъ въ древности были и хорошіе преподаватели, и посредственные, и совсѣмъ дрянные, то очевидно эти требованія выполнялись далеко не всегда, и когда они выполнялись, то характеризовали собой не древность, а только отдѣльные личности умныхъ и добросовѣстныхъ учителей.

«*Педагогика, педагогъ*» — эти два слова или названія, — продолжаетъ Шавровъ, — дошедшія до насъ отъ эпохи истинно классическаго образованія, хорошо опредѣляютъ его основную задачу.» — *Эти два слова или названія* опредѣляютъ только то, что Шавровъ слышалъ звонъ, да не знаетъ, гдѣ онъ. Онъ слышалъ, что слово *педагогъ* составлено изъ двухъ греческихъ словъ, изъ которыхъ одно (*Παις*) значитъ *ребенокъ*, а (*αγω*) значитъ *веду*, — и со свойственной ему отважностью умозаключилъ, что *педагоги* были въ древности *руководителями* юношества въ *умственномъ* и въ *нравственномъ* отношеніи. Но съ этой пріятной иллюзіей Шавровъ дол-

женъ разстаться. Педагогами назывались въ древности не тѣ люди, которые *ведутъ* юношество по пути добродѣтели и мудрости, а тѣ лакеи или рабы, которые, въ буквальный, а не въ переносномъ смыслѣ, *водили* дѣтей въ школу и при этомъ несли за ними книжки и письменныя принадлежности. Свое теперешнее, возвышенное значеніе *эти два слова или названія* получили совсѣмъ не въ эпоху того образованія, которое Шаврову угодно назвать *классическимъ*. Далѣе Шавровъ объясняетъ, что *педагоговъ въ классическомъ духѣ* одушевляли три мысли. *Первая* — «та, что человѣческая душа есть источникъ всего истиннаго, добраго и прекраснаго, а самопознаніе — путь къ этому обильному источнику.» Шавровъ не замѣчаетъ того, что этой первой мысли онъ никакъ не можетъ сочувствовать. Эта мысль — не что иное, какъ обоготвореніе человѣчества. Именно къ этой мысли пришла крайняя, лѣвая сторона гегельянской школы, и именно за эту мысль на нее сыпались всевозможныя обвиненія и проклятія. Что Шавровъ вовсе не желаетъ приходить къ такимъ результатамъ, въ этомъ я твердо убѣжденъ, во первыхъ потому, что онъ пишетъ въ «Дѣѣ», а во-вторыхъ потому, что онъ самъ сильно вооружается противъ какого-то *безчестнаго реализма*, который будто-бы старается *подорвать коренныя религиозныя вѣрованія* дѣтей. Но что Шавровъ самъ не знаетъ, что онъ пишетъ, это для меня совершенно очевидно изъ той первой мысли, которую онъ приписываетъ своимъ *педагогамъ въ классическомъ духѣ*. — Вторая мысль — «та, что лучшее средство къ образованію души и органическому ея развитію есть то-же самое ея самопознаніе.» Первая мысль состояла въ томъ, что «самопознаніе есть путь къ обильному источнику всего истиннаго, добраго и прекраснаго». Сличая эту первую мысль со второй, мы видимъ, что вторая ровно ничего не прибавляетъ къ первой, а только повторяетъ ее другими словами. — Третья мысль, «*не менѣе вѣрная и разумная, какъ и обѣ (?) первыйя*», заключается въ томъ, «что человѣкъ, съ юныхъ лѣтъ собственной самодѣтельностью достигшій самопознанія, никогда не оставитъ дѣла ученія». Въ подкрѣпленіе этой послѣдней мысли, Шавровъ приводитъ изреченіе: «наука обширна, а жизнь коротка», и утверждаетъ, что «это мудрое изреченіе или поговорка составила на почвѣ классическаго міра и отразила на себѣ искреннее убѣжденіе лицъ, дававшихъ и получавшихъ это образованіе». Здѣсь мы опять имѣемъ дѣло съ недослышаннымъ и непонятымъ звонкомъ. До Шаврова дошли какимъ-нибудь случайнымъ образомъ двѣ отрывочныя сентенціи — одна: «познавай самого себя», другая: «наука обширна, а жизнь коротка». Эти сентенціи очень понравились Шаврову, и изъ нихъ онъ немедленно склеилъ крошечную теорію, которую и

выдаетъ въ настоящее время публикѣ съ неподражаемымъ добродушіемъ за картину умственной жизни греко-римскаго міра. Онъ чисто-сердечно убѣжденъ въ томъ, что древніе греки постоянно погружены были въ самоизученіе и предавались этому пустому занятію втеченіи всей своей жизни. Но и съ этой иллюзіей онъ долженъ разстаться. Прежде всего я скажу ему, что совѣтъ познавать самого себя былъ высказанъ Сократомъ, и что большая часть философскихъ школъ, какъ до Сократа, такъ и послѣ него, занимались очень мало изученіемъ собственной души. Іонійская и элеатская школы занимались преимущественно размышленіями о мірѣ во вкусъ Кифы Мокиевича и судьи Липкина-Тяпкина; киренейская школа, эпикурейцы и циники имѣли преимущественно практическое направленіе; наконецъ Аристотель и александрийская школа создавали положительную науку, то-есть занимались математикой, астрономіей, физикой, химіей и медициной. Второе изреченіе насчетъ науки и жизни было произнесено Анаксагоромъ и отразило на себѣ не искреннее убѣжденіе въ необходимости вѣчно учиться, а, напротивъ того, искреннее отчаяніе гениальнаго человѣка, понимавшаго вполне, что его вѣкъ не создалъ такихъ орудій наблюденія, которыми можно было-бы вырвать у природы ея тайны. Въ своемъ необорванномъ и непереговоранномъ видѣ мысль Анаксагора выражается слѣдующимъ образомъ: умъ слабъ, чувства обманчивы, знаніе недостоверно, наука (то-есть область неизвѣстнаго) обширна, жизнь коротка. Если-же Шавровъ полагаетъ, что самоизученію предавались отроки, посѣщавшіе элементарныя школы, то и въ этомъ онъ ошибается. Отроки занимались грамматикой, математикой, музыкой и гимнастикой. Школа вела своихъ воспитанниковъ совсѣмъ не къ *обильному источнику всего истиннаго, добраго и прекраснаго*, а только къ обильному источнику гражданскихъ почестей. Она готовила изъ нихъ отличныхъ актеровъ; она учила ихъ хорошо говорить, деklamировать и дѣлать граціозныя жесты, чтобы водить за носъ глупую толпу, которая принимала ловкихъ балагуровъ и краснорѣчивъ за великихъ патріотовъ и за гениальныхъ администраторовъ.

#### IV.

Побожившись читателю въ томъ, что самоизученіе называется классическимъ образованіемъ, Шавровъ начинаеть расхваливать это образованіе. «Человѣкъ, — говоритъ онъ, — получившій классическое образованіе, не только самъ совершенно чуждъ всякаго рода иллюзій, всякой мечтательности и сантиментальности, но чувствуетъ какую-то антипатію къ этимъ недостаткамъ, встрѣчая ихъ въ другихъ». Я-бы могъ сказать точъ въ точъ то-же самое о человѣкѣ,

получившемъ реальное образованіе. Но такіе отзывы не имѣютъ рѣшительно никакого осязательнаго значенія. Что такое *иллюзіи*? Что такое *мечтательность* и *сантиментальность*? Надо сначала условиться въ томъ смыслѣ, который мы будемъ придавать этимъ выраженіямъ. Когда я читаю «День», то въ каждой строкѣ я вижу или *иллюзію*, или *мечтательность*, или *сантиментальность*. Когда Шавровъ читаетъ «Русское Слово», то онъ по всей вѣроятности не видитъ въ немъ ровно ничего, кромѣ *иллюзій*, *мечтательности* и *сантиментальности*. Спрашивается теперь, отъ какихъ иллюзій, отъ какой мечтательности, отъ какой сантиментальности избавляетъ человѣка классическое воспитаніе? Если это классическое образованіе оставляетъ нетронутыми всѣ иллюзіи, всю сантиментальность и всю мечтательность, которыя гнѣздятся въ самомъ Шавровѣ и которыя этотъ мыслитель считаетъ лучшимъ украшеніемъ человѣка, то можно сказать, что не стоитъ благодарности, потому что въ такомъ случаѣ окажется, что классическое образованіе совсѣмъ ничего не сдѣлало. «Съ другой стороны, — продолжаетъ Шавровъ, — онъ (человѣкъ, получившій классическое образованіе) отличается особенной зоркостью и проницательностью въ пониманіи всякаго рода фактовъ и явленій жизни, умѣнемъ понять ихъ въ собственномъ ихъ смыслѣ и какой-то ловкостью овладѣть ими, — качествами, которыя дѣлаютъ его способнымъ къ дѣятельной жизни». — Послѣ этого остается только напечатать въ газетахъ объявленіе: итъ болѣе дураковъ! или вѣрнѣйшее средство излечиваться греческой грамматикой отъ всѣхъ острыхъ и хроническихъ видовъ глупости, тупоумія и ограниченности. — Прочитавъ слова Шаврова о неизбѣжной зоркости, проницательности, ловкости всѣхъ классиковъ, читатель можетъ составить себѣ довольно отчетливое понятіе о томъ, насколько этотъ мыслитель способенъ разсуждать объ иллюзіяхъ и мечтательности, и насколько онъ способенъ цѣнить зоркость, проницательность и ловкость. Сдѣланъ-ли до сихъ поръ первый шагъ для того, чтобы построить сравнительную оцѣнку различныхъ системъ образованія на твердыхъ и положительныхъ *статистическихъ* данныхъ? Если вы хотите сравнивать между собой различныя системы образованія по тѣмъ результатамъ, которые отъ нихъ получаются, то вы должны принять величайшія предосторожности для того, чтобы имѣть дѣло дѣйствительно съ результатами образованія, а не съ результатами разныхъ другихъ, совершенно побочныхъ условій. Но, спрашивается, какимъ образомъ вы ухитритесь устранить эти побочныя условія? Какимъ образомъ вы напримѣръ убѣдитесь въ томъ, что зоркость, проницательность и ловкость даны человѣку вашей классической школой, а не получены имъ по наслѣд-

еству отъ родителей и не развиты въ немъ столкновеніями съ дѣйствительною жизнью послѣ его выхода изъ школы? Разумѣется, вопросъ о классическомъ и реальномъ образованіи былъ-бы порѣшенъ на вѣчныя времена, еслибы существовала какая-нибудь возможность воспользоваться въ этомъ случаѣ содѣйствіемъ статистики. Еслибы напримѣръ можно было доказать (доказать *цифрами*), что въ такомъ-то году поступило въ классическія и реальныя школы по пяти тысячъ мальчиковъ, одинаково умныхъ отъ природы, и что по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ пять тысячъ классиковъ оказались гораздо умнѣе и дѣльнѣе пяти тысячъ реалистовъ,—тогда приверженцы реализма могли-бы признавать себя побѣжденными. Но вѣдь стоитъ только поставить это требованіе, чтобы увидать въ ту же секунду, что оно неосуществимо. *А*—инженеръ, *Е*—профессоръ римскаго права, *В*—негоціантъ, *Г*—журналистъ, *Д*—мировой посредникъ—прошу покорно сравнивать ихъ между собой и оцѣнивать, который изъ нихъ дѣльнѣе. Это почти то-же самое, что складывать аршины съ фунтами или дѣлать ведра на минуты. Если-же вы хотите сравнивать между собой людей одной профессіи,—вы натываетесь на новое затрудненіе: одинъ могъ выбрать эту профессію по призванію, другой могъ взять ее по принужденію, подъ гнетомъ такихъ обстоятельствъ, съ которыми невозможно было справиться. На каждомъ шагѣ вы встрѣчаете побочныя условія и почти никогда вы не можете опредѣлять съ точностью, какую долю вліянія надо отвести каждому изъ этихъ условій въ томъ общемъ результатѣ, который вы должны занести въ вашу статистическую таблицу. Кромѣ того сравнительная оцѣнка двухъ системъ образованія совершенно невозможна уже и потому, что, по признанію самихъ классиковъ, во всей Европѣ господствовала до сихъ поръ *только одна система*, а другая стояла постоянно въ тѣни, на заднемъ планѣ, и не имѣла ни малѣйшей возможности вступить въ состязаніе съ первой. На сторонѣ господствующей системы находятся во-первыхъ, всѣ фактическія выгоды и, во вторыхъ, всѣ предубѣжденія тѣхъ людей, которые берутся сравнивать результаты обѣихъ системъ. Допустимъ даже, что генералъ Моренъ, Шмидтъ и Шавровъ говорятъ чистую истину; допустимъ, что въ настоящее время дѣйствительно воспитанники классическихъ гимназій умнѣе и дѣльнѣе юныхъ реалистовъ. Если даже это явленіе подмѣчено вѣрно,—за что никакъ нельзя поручиться,—то явленіе это объясняется очень легко и естественно именно тѣмъ обстоятельствомъ, что классическія гимназіи, какъ господствующая система, стоятъ высоко во мнѣніи общества: объ этихъ гимназіяхъ говорятъ въ обществѣ, что тамъ учиться очень трудно, но что зато и выучиться можно превосходно. Очень

естественно, что, постоянно слыша о нихъ такіе отзывы, родители помѣщаютъ своихъ дѣтей именно туда, если думаютъ, что ребенокъ, по своимъ дарованіямъ, выдержитъ успѣшно трудное ученье; по той-же самой причинѣ родители слабыхъ и вялыхъ мальчиковъ боятся помѣщать своихъ дѣтей въ такую школу, въ которой имъ предстоитъ непосильная работа. Такимъ образомъ все, что усиливѣе, потянется къ господствующей системѣ, то-есть къ классицизму, который еще болѣе усилится отъ этого притока свѣжаго матеріала; а все, что послабѣе, потянется къ второстепенной системѣ, то-есть къ реализму, который вслѣдствіе этого еще ниже упадетъ въ глазахъ генерала Морена, Шмидта и Шаврова. При такихъ условіяхъ удивительно не то, что вліятельные и ученые обожатели существующаго факта прославляютъ классицизмъ, какъ вѣрное лекарство противъ всякой умственной немощи, а то, что эти вліятельные и ученые люди еще принуждены аргументировать противъ реализма. Что реализмъ не одержалъ до сихъ поръ и еще долго не одержитъ побѣды надъ классицизмомъ—это очень естественно: мудро побѣдить такого врага, который слиткомъ три столѣтія тому назадъ воцарился надъ обществомъ; но что, несмотря на эти невыгодныя условія, реализмъ борется и дѣлаетъ успѣхи въ общественномъ мнѣніи,—это можетъ служить самымъ вѣрнымъ ручательствомъ за его внутреннія достоинства. Наполнивъ около двухъ столбцовъ голословными разсужденіями ва ту тему, что греческая грамматика радикально излечиваетъ всякое тупоуміе, Шавровъ объявляетъ, что «жизнь отдѣлывали челоѣка, или цѣлаго народа имѣть двѣ стороны, проистекающія изъ одной и той-же субстанции челоѣческаго духа». Наговоривъ разнаго вздора о субстанціи челоѣческаго духа, онъ далѣе открываетъ *цѣлый родникъ нетронутыхъ духовныхъ силъ*.

По соображеніямъ Шаврова оказывается, что путь въ *роднику* россійскихъ силъ лежитъ черезъ *рамматику* Востокова и *христоматику* Галахова. Указывая этотъ путь, Шавровъ по своему обыкновенію витаетъ въ возвышенныхъ сферахъ отвлеченнаго мышленія и не называетъ ни Востокова, ни Галахова; но я ловлю на лету мысль Шаврова, стаскиваю ее за крылья внизъ на землю, даю ей кровь и плоть и довожу ее до той степени опредѣленности, которая необходима для ея пракческаго осуществленія. За всѣ эти операціи Шавровъ долженъ питать ко мнѣ нѣжвѣйшую дружбу и глубочайшую признательность. Если-же за весь мой неблагодарный трудъ онъ заплатитъ мнѣ холоднымъ равнодушіемъ, то мнѣ останется только вздохнуть о томъ, что классическое образованіе, надѣлившее Шаврова *зоркостью, ироничательностью и логичностью* и украсившее его умъ множе-

ством блестящихъ историческихъ познаній, убило въ немъ, выѣсть съ *сантиментальностью и мечтательностью*, всё лучшія чувства человеческой души. «Есть матеріалъ, — говоритъ Шавровъ, указывая путь къ *роднику*, — который, обладая наглядностью, даже пластичностью, до того нѣженъ, гибокъ, даже духовенъ, что можетъ отражать на себѣ самыя неувомыя движенія человеческого духа и слѣдовательно полифе, чѣмъ что-нибудь другое, показывать, что такое духъ самъ въ себѣ, что такое онъ — въ своихъ внутреннѣйшихъ стремленіяхъ и сокровеннѣйшихъ направленіяхъ. Этотъ матеріалъ — человеческое слово, языкъ.» — Затѣмъ Шавровъ приводитъ выраженіе Бюффона: «въ слогѣ — весь человѣкъ» (*le style — c'est l'homme*), и полагаетъ, что этимъ выраженіемъ рѣшается безапелляціонно вопросъ о томъ, какъ узнать вполнѣ достоверно внутреннюю субстанцію тридцатилѣтняго человѣка и какъ угадать будущее назначеніе тысячелѣтней Россіи. Тридцатилѣтній человѣкъ сдѣлается для насъ совершенно понятенъ, если вы изучите, въ синтаксической точки зрѣнія, всё его писъма и записочки. А Россія немедленно раскроетъ передъ вами внутренній родникъ своихъ жизненныхъ силъ, если вы продумаете и прочувствуете достаточно глубоко грамматику Востокова, истоматию Галахова и еще для большей полноты «Историческіе очерки» Вуслаева. Эта теорія Шаврова очень блистательна, но для ея окончательнаго торжества необходимо, чтобы авторъ разрѣшилъ нѣкоторые недоумѣнія, способности поставить втуникъ грубыхъ эмпириковъ. Такъ напримѣръ, не мѣшало-бы ему доказать, что въ чистотѣ и изощреніи латинскомъ языкѣ (аллюстія Криспа отразился весь характеръ этого человѣка, который, какъ извѣстно, своимъ киводерствомъ, взяточничествомъ и корыстолюбіемъ поражалъ даже своихъ современниковъ, вовсе неотличавшихся кротостью, безкорыстіемъ и честностью. Недурно было-бы также, еслибы онъ объяснилъ намъ, какимъ образомъ языкъ Франциска Бэкона Веруламскаго *отразилъ на себѣ самыя неумолчанныя движенія его духа*, весьма склоннаго къ вѣроломству и всегда готоваго продаться за наличныя деньги. Анализируя рѣчи Мирабо, Шавровъ долженъ показать намъ, что этотъ человѣкъ былъ подкупленъ дворомъ. Изучая сочиненія Кювье, Шавровъ, по ихъ языку, долженъ угадать, что Кювье былъ мянній честолобецъ, превратившій себя въ послушное орудіе бурбонской реакціи. Потомъ, перейдя отъ отдѣльныхъ личностей къ цѣлымъ народамъ, Шавровъ долженъ объяснить раздѣлъ Польши несовершенствами польскаго синтаксиса, бѣдствія Ирландіи — особенностями кельтскихъ склоненій и спряженій, историческую ничтожность литовскаго племени — бѣдностью литовскаго языка, который однако, по единогласному мнѣнію

всѣхъ компетентныхъ знатоковъ сравнительной филоогіи, приближается богатствомъ своихъ грамматическихъ формъ къ санскритскому языку. Кромѣ того Шавровъ долженъ объяснить, по какому случаю самыя богатые и совершенные языки земного шара, — санскритскій, греческій и латинскій, — сдѣлались мертвыми языками, между тѣмъ какъ англійскій языкъ, неимѣющій почти никакой грамматики, живетъ и удовлетворяетъ собой во всѣхъ отношеніяхъ двѣ такія націи, въ сравненіи съ которыми греки и римляне оказываются недорослями и школьниками. Если въ языкѣ заключается *родникъ жизненныхъ силъ*, то какимъ-же образомъ этотъ родникъ не выручилъ грековъ и римлянъ ни тогда, когда на нихъ нападали германцы и славяне, у которыхъ родникъ былъ гораздо хуже, ни тогда, когда на Византійскую имперію напали турки, у которыхъ родникъ былъ уже совсѣмъ плохъ? Всѣ эти вопросы Шавровъ долженъ разрѣшить непременно, потому что если онъ берется читать въ грамматикѣ Востокова *будущую* судьбу Россіи, то тѣмъ болѣе, *à plus forte raison*, онъ обязанъ прочитать въ той-же самой книжкѣ все *прошедшее* нашего отечества. Если-же онъ объяснитъ посредствомъ русской грамматики всѣ событія русской исторіи, то по разнымъ другимъ грамматикамъ онъ прочитаетъ всѣ событія всемірной исторіи. — Особенность греко-римскаго образованія, по мнѣнію Шаврова, состояла именно въ томъ, что это образованіе погружало питомцевъ въ самый родникъ жизненныхъ силъ, то-есть вело ихъ къ самопознанію путемъ самаго тщательнаго изученія языка. «Развивая необыкновенную чуткость къ слову и всему выражаемому словомъ, направляя вниманіе главнѣйшимъ образомъ на живую связь между словомъ, мыслью и чувствомъ, оно (это изученіе) предохраняло древнихъ отъ всѣхъ злоупотребленій словомъ. Извѣстное изреченіе мудреца новѣйшихъ временъ и новѣйшаго образованія: «языкъ данъ человѣку для того, чтобы скрывать свои мысли», оправдываемое нерѣдко практикой нынѣшней жизни, въ древности показалося-бы величайшей бессмыслицей.» — Невѣжество и храбрость Шаврова рѣшительно приводятъ меня въ недоумѣніе. Я понять немогу, какимъ образомъ можно печатно разсуждать о древности, не прочитавши ни одного древняго историка. Еслибы Шаврову были извѣстны только первыя главы тацитовскихъ анналь, то и тогда-бы онъ воздержался отъ весьма многихъ нелѣпостей. Изреченіе новѣйшаго мудреца, Талейрана, какъ будто нарочно сказано для того, чтобы охарактеризовать поведеніе Тиверія послѣ смерти Августа. Тиверій постоянно пользовался языкомъ для того, чтобы скрывать свои мысли, и Тацитъ въ первыхъ главахъ своихъ анналь превосходно описываетъ ту продолжительную и тяжелую комедію, кото-

рую Тиверій игралъ съ сенаторами. Тиверій былъ великолѣпнымъ виртуозомъ притворства и лицемерія, но развѣ Тиверій былъ вырождаемъ, аномаліей, исключеніемъ изъ общаго правила? Напротивъ того, и Августъ, и Цезарь, и Сулла, и Циционы, и Перикль, и Пизистратъ, и всѣ лучшіе политики древности постоянно шли къ верховному господству путемъ систематическаго лицемерія; они постоянно выражали на словахъ глубочайшее уваженіе къ тѣмъ самымъ формамъ и законамъ, которые они же совершенно сознательно подкапывали своими поступками. Та-же самая ложь господствовала въ отношеніяхъ между сенаторомъ и народомъ, между патриціями и плебеями, между богачами и пролетаріями. То-же самое хроническое и организованное лицемеріе гнѣздилося въ дѣлахъ религіи; не вѣруя ни во что, образованные люди Греціи и Рима притворялись вѣрующими отчасти для того, чтобы не раздражать черни, отчасти для того, чтобы господствовать надъ этой чернью, эксплуатируя ея суевѣріе. Вольнодумцы принимали санъ первосвященниковъ, совершали жертвоприношенія, возвѣщали волю боговъ, гадали по полету птицъ и по внутренностямъ животныхъ. Почти всѣ философы древности говорятъ единогласно, что господствующая религія нигде не годится, но что ее слѣдуетъ поддерживать для народа.—Такъ какъ Шавровъ любитъ поговорки и анекдотическія мелочи, то я напому ему то извѣстное замѣчаніе, что авгуры, встрѣчаясь между собой, имѣли обыкновеніе опускать глаза, чтобы не расхохотаться, глядя другъ на друга. Спрашивается теперь, зачѣмъ былъ данъ языкъ всѣмъ этимъ лицемерамъ, — зачѣмъ-ли, чтобы высказывать свою мысль, или зачѣмъ, чтобы ее скрывать?—Можно сказать навѣрное, что выраженіе Талейрана никому изъ великихъ лицемеровъ древности не показалось-бы безсмыслицей. — «Знающіе греческій и латинскій языки, — продолжаетъ Шавровъ, — согласятся, что «болтать», т. е. говорить безъ мысли и безъ чувства, говорить для одного процесса говоренія — нѣтъ никакой возможности ни на томъ, ни на другомъ языкѣ». — Разумѣется, нѣтъ возможности, потому что нѣтъ привычки. Латинскимъ языкомъ пользуются обыкновенно люди серьезные, въ серьезныхъ случаяхъ; по латыни говорятъ между собой ученые во время диспутовъ и доктора у постели больного; когда-же этимъ господамъ хочется болтать, шутить и балагурить, тогда они конечно обращаются къ тому языку, на которомъ они привыкли думать, и который слѣдовательно своими формами нисколько не стѣсняетъ свободного теченія ихъ мыслей. Болтать на какомъ-нибудь языкѣ вообще гораздо труднѣе, чѣмъ диспутировать на немъ, потому что для болтовни, которая обыкновенно быстро перескакиваетъ съ одного предмета на другой, требуется самое полное и широкое совершенно практическое знаніе языка.

Что никто не болтаетъ по-гречески, это, мнѣ кажется, не очень удивительно, потому что если-бы какимъ-нибудь чудомъ народился на свѣтѣ такой своеобразный болтуны, то ему пришлось-бы проѣхать многія сотни верстъ или миль, чтобы отыскать себѣ равносильнаго собесѣдника. «Тѣмъ болѣе, — продолжаетъ Шавровъ, — это было невозможно, когда оба языка были живыми языками». — *Тѣмъ болѣе!* Какъ вамъ нравится это «тѣмъ болѣе»? Какое высокое понятіе можетъ дать одно это *тѣмъ болѣе* о мыслительныхъ способностяхъ добродушнаго Шаврова! Значить, онъ полагаетъ, что на мертвомъ языкѣ, существующемъ только въ школѣ и для школы, легче да и гораздо легче болтать, чѣмъ на живомъ языкѣ, распространенномъ во всѣхъ слояхъ общества. Значить, онъ полагаетъ, что греки и римляне никогда не болтали. Значить, молодой кутила древняго міра, распивая фалерское вино со своей любовницей, женщиной легкаго поведенія, разсуждалъ съ нею о Квинтилианѣ или объ атомистической теоріи міра. Значить, молодые римскіе денди, собираясь въ модную цирюльню или въ баню, рѣшали государственные вопросы. Значить, у этихъ денди никогда не было разговора о гетерахъ, о лошадяхъ, о собакахъ, о городскихъ сплетняхъ и скандалахъ, или-же всѣ эти разговоры, обыкновенно считающіеся болтовней, у нихъ были проникнуты мыслью и чувствомъ. Значить, Ювеналъ и Персій врутъ, упрекая тогдашнюю молодежь въ умственной пустотѣ и въ нравственной гнилости; и, значить, наконецъ всѣ комедіи Аристофана, Плавта и Теренція взяты не изъ греческой и не изъ римской жизни, а изъ бурятской и алеутской. Надо также полагать, что римская чернь никогда не болтала о гладиаторскихъ играхъ, а всегда разсуждала о нихъ съ мыслью и чувствомъ, точь въ точь такъ, какъ въ наше время диспутируютъ ученые и совѣщаются доктора. «Тогда, — продолжаетъ Шавровъ, — было чрезвычайно трудно и говорить на нихъ что-нибудь противное совѣсти и убѣжденіямъ говорящаго, и отсель-то произошла извѣстная поговорка: «только честный человѣкъ можетъ быть ораторомъ» (*nemo orator, nisi vir bonus*). — *Отсель* или *оттолъ* произошла эта поговорка — этого я не знаю, но осмѣлюсь замѣтить Шаврову, что его слабость къ поговоркамъ и его ребяческая манера строить на поговоркахъ цѣлыя теоріи ежеминутно заставляютъ его излагать печально самыя поразительныя нелѣпости. Если грекамъ и римлянамъ было *чрезвычайно трудно говорить что-нибудь противное совѣсти и убѣжденіямъ*, то во всякомъ случаѣ достоверно извѣстно, что они мужественно боролись съ этими трудностями и превозмогали ихъ съ величайшимъ успѣхомъ. Весь эффектъ, произведенный латинской поговоркой Шаврова, можетъ быть совершенно уничтоженъ однимъ сло-

вомъ: «софистъ». Извѣстно-ли Шаврову это слово? Оно перешло въ новые европейскіе языки изъ греческаго языка. То явленіе, которое обозначается этимъ словомъ, возникло въ греческой жизни. Софистами назывались такіе мыслители или, вѣрнѣе, такіе говоруны, которые совершенно отрицали существованіе объективной истины и которые утверждали, что можно доказать и опровергнуть одинаково сильными аргументами какую угодно мысль. Собирая вокругъ себя многочисленныхъ слушателей, увлекаемая за собой цѣлыя толпы учениковъ, софисты дѣйствительно доказывали и опровергали, что угодно, и передавали своимъ послѣдователямъ свое удивительное умѣнье поворачивать диалектическое оружіе, смотря по желанію или по обстоятельствамъ, то въ ту, то въ другую сторону. По всей вѣроятности историческія изслѣдованія Шаврова привели его къ тому убѣжденію, что софисты говорили не по-гречески, а по-китайски или по-готтентотски. Если-же Шавровъ еще не пришелъ къ этому результату и даже не надѣется придти къ нему впослѣдствіи, то онъ долженъ согласиться, что отъ всѣхъ его размышленій о «*родникѣ жизненныхъ силъ*» и о путешествіи къ этому роднику посредствомъ изученія языка не осталось въ настоящую минуту камня на камнѣ. «Такимъ образомъ слово, — продолжаетъ Шавровъ, — было своего рода гарантіей общественной честности.» Мы уже знаемъ теперь, какова была эта общественная честность, и потому можемъ составить себѣ достаточно ясное понятіе о томъ, какъ много пользы доставила древнимъ обществамъ эта *своего рода гарантія*, породившая и воспитавшая софистовъ и риторовъ, лицемѣровъ и льстецовъ, шарлатановъ и комедіантовъ политическаго міра. — Изъ моего анализа шавровскихъ теорій читатель по всей вѣроятности достаточно убѣдился въ томъ, что обожатель и защитникъ классицизма, Шавровъ, изучалъ самъ классическую древность по тѣмъ собраніямъ дѣтскихъ анекдотовъ, въ которыхъ повѣствуется о справедливости Аристиды, о безкорыстіи Фокіона, о патриотизмѣ Регула и о мужествѣ Муція Сцевола.

## V.

На предыдущихъ страницахъ я достаточно охарактеризовалъ какъ великую проникательность, такъ и глубокую ученость того бойца, котораго «День» выдвинулъ противъ реалистовъ. Чѣмъбы никто не могъ обвинить меня въ бездоказательности, я сдѣлалъ изъ статьи Шаврова очень много, даже слишкомъ много выписокъ. Теперь я могу подвигаться впередъ быстрѣе, поэтому я буду теперь резюмировать и опровергать только тѣ мнѣнія нашего просвѣщеннаго писателя, которыя или особенно замѣчательны по своей нелѣпости, или-же дадутъ мнѣ поводъ развить мои собственные мысли о разбираемыхъ вопросахъ.

соч. д. и. писарева, т. IV.

Шавровъ замѣчаетъ, что у новыхъ народовъ мы видимъ постоянную борьбу консерватизма и рьянаго, ослѣпленнаго прогрессизма, между тѣмъ какъ у грековъ и у римлянъ «не было ни консерваторовъ, ни прогрессистовъ, а всѣ были и консерваторы, и прогрессисты». При семъ удобномъ случаѣ Шавровъ дѣлаетъ подстрочное замѣчаніе: «изъ новыхъ народовъ англичане приближаются нѣсколько къ древнимъ въ этомъ отношеніи». — О, Господи! помереть можно со смѣху, читая такіе историко-философскія соображенія. По своимъ теоретическимъ убѣжденіямъ, всѣ мыслящіе греки и римляне были строгими и неумолимыми консерваторами. Величайше философы древняго міра, Платонъ и Аристотель, составляли планы идеальнаго государства, но эти планы, по ихъ мнѣнію, могли осуществляться не посредствомъ естественнаго и свободнаго развитія существующихъ народныхъ силъ, а только посредствомъ внезапнаго и насильственнаго вмѣшательства законодательной власти. Въ одинъ прекрасный день законодатели должны были объявить народу, что съ этой минуты начинается существованіе новой, идеальной республики, въ которой всебудетъ устроено такъ-то и такъ-то. Затѣмъ, послѣ утвержденія идеальнаго порядка, все должно было оставаться неподвижнымъ и неизмѣннымъ на вѣчныя времена. И Платонъ, и Аристотель признавали въ области политической жизни возможность абсолютнаго совершенства. Оба они и вмѣстѣ съ ними всѣ мыслящіе люди древности не имѣли ни малѣйшаго понятія о томъ, что идеи, чувства и желанія чело-вѣчества постоянно измѣняются, что каждое новое поколѣніе приноситъ съ собой новые требованія, что отношенія чело-вѣка къ силамъ неорганической и органической природы не остаются неподвижными, что распредѣленіе богатствъ между отдѣльными личностями и цѣлыми сословіями подвержено постояннымъ колебаніямъ, и что вслѣдствіе всѣхъ этихъ и многихъ другихъ причинъ всѣ политическія учрежденія могутъ имѣть только временное и мѣстное значеніе, то-есть, что эти учрежденія, порожденные силой извѣстныхъ обстоятельствъ, вмѣстѣ съ этими обстоятельствами живутъ, растутъ, видоизмѣняются, дряхлѣютъ и умираютъ. Причины этого строгаго теоретическаго консерватизма понять нетрудно. — Вся ремесленная и промышленная дѣятельность древняго міра находилась въ рукахъ рабовъ. Наука никогда не заглядывала ни на земледѣльческую плантацію, ни на скотный дворъ, ни въ мастерскую. Архимедъ прикладывалъ свои математическія знанія къ сооруженію военныхъ машинъ, но ему никогда не приходило въ голову придумать какой-нибудь новый плугъ или ручную мельницу, или верстакъ. Во все продолженіе греко-римскаго періода не было сдѣлано въ области промышленности ни одного такого открытія, которое зна-



чительно усилило-бы господство человѣка надъ природой и повело-бы за собой замѣтное сбереженіе человѣческаго труда. Промышленность развивалась такъ медленно и трудъ былъ постоянно такъ дешевъ, что древнему человѣку не было ни надобности, ни возможности думать о томъ, чтобы замѣнить рабочую силу раба какими-нибудь стихійными силами природы. Общество безъ рабовъ для древняго человѣка было немислимо, тѣмъ болѣе, что всѣ свободные люди глубоко презирали всякій производительный трудъ. Когда промышленность не совершенствуется и когда масса населенія обречена вѣчно исправлять должность вьючнаго скота, тогда очевидно прогрессъ общества можетъ состоять только въ томъ, что это общество будетъ обогащаться войной и грабежомъ и что отдѣльные члены этого общества будутъ драться между собой за добычу и за политическое господство. Очень понятно, что къ такому прогрессу мыслящіе люди древности относились въ теоріи совершенно отрицательно. Но этотъ строгій теоретическій консерватизмъ приводилъ грековъ и римлянъ только къ тому результату, что въ ихъ гражданскихъ обществахъ сталкивались и боролись между собой не идеи и убѣжденія, а страсти и интересы. Люди, невѣрующіе въ прогрессъ, подрывали основы общественнаго зданія, когда того требовали ихъ мелкія страсти и ихъ личныя выгоды. Какой общечеловѣческой или общенациональный смыслъ имѣютъ всѣ тѣ микроскопическіе перевороты, которыми наполнена исторія древне-греческихъ республикъ и въ которыхъ ежедневно проливалась по кашлямъ втеченіи нѣсколькихъ столѣтій кровь умнаго и даровитаго народа? То олигархи убьютъ тирана, то чернь передушитъ олигарховъ съ тѣмъ, чтобы превратить демагога въ новаго тирана; то метрополиі начать обижать колонію, то колоніа начнетъ грубить метрополиі; шума происходитъ очень много, кровь и капиталы тратятся на военные грабежи, а между тѣмъ общество нисколько не подвигается впередъ. Наконецъ, когда древнему міру приходится рѣшать дѣйствительно важные вопросы, тогда происходитъ въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ и въ самыхъ грубыхъ формахъ то столкновение *крайняго консерватизма и ослѣпленнаго прогрессизма*, которое Шавровъ предоставляет новѣйшей Европѣ въ исключительную собственность. Является напримѣръ вопросъ о римскомъ пролетаріатѣ, — вопросъ неотразимый, потому что дѣйствительно масса римскаго народа, повелителя вселенной, гнѣтъ въ физическомъ, умственномъ и въ нравственномъ отношеніи. Какъ-же рѣшается этотъ вопросъ? — Гракхи, одинъ за другимъ, предлагаютъ проекты законовъ, очень добродетельныхъ, но совершенно неспособныхъ устранить зло. Обоихъ Гракховъ можно назвать *ослѣпленными* прогрессистами, потому что у нихъ обоихъ было

много мужества и гражданской честности, но не было ни малѣйшей теоретической подготовки. Сенаторовъ-же и оптиматовъ, погубившихъ обоихъ реформаторовъ, можно совершенно основательно назвать *крайними* консерваторами, потому что они эскамотировали и задушили весь вопросъ, въ которомъ заключалась вся будущая судьба римскаго народа. Еще болѣе *ослѣпленными* прогрессистами можно назвать тѣхъ невольниковъ и гладиаторовъ, которые возмутились, въ числѣ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ, подъ предводительствомъ Спартака. Они были прогрессистами поневолѣ, — прогрессистами изъ животнаго чувства самосохраненія; они желали разрушить и перестроить то общество, въ которомъ имъ, разумѣется, невозможно и невыносимо было жить, потому что ихъ въ этомъ обществѣ били, увѣчили, распинали и высылали на арену для потѣхи зрителей. Но *какъ* разрушить и, особенно, *какъ* перестроить, — этого они, разумѣется, не знали, такъ точно, какъ бѣшеный быкъ, вырвавшійся изъ стойла, не знаетъ, куда и зачѣмъ онъ бѣжитъ. Стало-быть, названіе *ослѣпленныхъ прогрессистовъ* идетъ къ этимъ несчастнымъ людямъ несравненно болѣе, чѣмъ къ какимъ-бы то ни было яростнымъ радикаламъ и коммунистамъ новѣйшей Европы. Увѣрю васъ, г. Шавровъ, что эти люди своей *рьянствію* и своимъ *ослѣпленіемъ* превосходили даже всѣхъ ненавистныхъ вамъ сотрудинокъ «Русскаго Слова». — Но зато и Красса, побѣдившаго этихъ ослѣпленныхъ прогрессистовъ, можно назвать очень *крайнимъ* консерваторомъ. Крассъ распялъ на крестахъ десятки тысячъ нѣжныхъ митейниковъ, значитъ, *крайностію* своихъ консерваторовъ, *ослѣпленностію* своихъ прогрессистовъ древній міръ далеко превосходитъ новѣйшую Европу.

«Противники классическаго образованія, — говоритъ Шавровъ, — стараются заподозрить его значеніе, любятъ указывать на тотъ историческій фактъ, что древняя цивилизація и образованность была непродолжительна и слѣдовательно непрочна.» Но Шавровъ опровергаетъ это возраженіе слѣдующимъ образомъ: «Какъ-бы разумно и цѣлесообразно ни было воспитаніе со стороны своего на правленія и цѣлей, но, если будетъ узокъ кругъ идей и воззрѣній у народа, тѣмъ болѣе, если эти воззрѣнія будутъ не вполне истинны, — цивилизація и образованность народа не будутъ прочны и продолжительны.» Если перевести это разсужденіе Шаврова съ отвлеченнаго языка на конкретный, то окажется, что причиной паденія классической цивилизаціи Шавровъ считаетъ язычество. Положимъ, что это дѣйствительно такъ. Но Шавровъ забываетъ, что ни одинъ народъ на всемъ земномъ шарѣ не обошелся безъ язычества; ни одинъ не былъ христіанскимъ народомъ съ самаго начала своего существованія. Почему-же другіе народы могли совершить пе-

переходъ отъ язычества къ христіанству, а греки и римляне *не могли*? Почему для другихъ народовъ христіанство было обновляющимъ и укрѣпляющимъ элементомъ, а для греко-римскаго міра оно было смертельнымъ ударомъ? Неужели языческая религія виновата въ томъ, что Римская имперія не была въ состояніи отразить варваровъ? Послѣдніе императоры были христіанами, а между тѣмъ Аттила, Аларихъ, Гензерихъ, Радагайсъ, Одоакръ дѣлали свое дѣло попрежнему и разрывали старую имперію на части. — Жизненные силы Римской имперіи были истощены не язычествомъ, а тѣмъ уродливымъ социальнымъ устройствомъ, вслѣдствіе котораго производительный трудъ считался позоромъ для всякаго свободнаго человѣка. Когда въ предѣлы имперіи стали вторгаться варвары, тогда истощеніе силъ было уже такъ велико, что не оставалось ни малѣйшей возможности спасти древнюю цивилизацію. Но социальное устройство, погубившее классическій міръ, находилось въ самой тѣсной причинной связи съ той системой воспитанія, которую такъ добродушно и вежливо превозноситъ Шавровъ.

Шавровъ самъ сознается, что «древніе въ дѣлѣ образованія руководились духомъ узкаго аристократизма». — «Той простой истины, — продолжаетъ онъ, — что на образованіе имѣетъ право каждый человѣкъ и что чѣмъ больше разольется образованіе по массѣ народа, тѣмъ образованность его будетъ лучше и выше въ качественномъ отношеніи, — они не понимали, и только избранные, только люди изъ высшихъ и богатѣйшихъ классовъ получали у нихъ образованіе, между тѣмъ какъ большинство довольствовалось тѣмъ поверхностнымъ развитіемъ, какое могла доставить имъ общественная жизнь на площадяхъ, форумахъ, судилищахъ и проч.» — Большинство во всѣхъ древнихъ государствахъ составляли рабы, и это большинство не пользовалось даже тѣмъ поверхностнымъ развитіемъ, о которомъ вѣтствуетъ Шавровъ. Но меня кромѣ того изумляетъ неспособность Шаврова сдѣлать самое простое умозаключеніе изъ тѣхъ посылокъ, которыя содержатся въ его собственныхъ словахъ. Онъ самъ говоритъ, что, чѣмъ больше разливается образованіе въ массѣ народа, тѣмъ лучше и выше становится оно въ качественномъ отношеніи. Это положеніе онъ называетъ даже *простой истиной*. Онъ говоритъ, что древніе не понимали этой простой истины. Онъ говоритъ, что въ дѣлѣ образованія они руководились духомъ узкаго аристократизма. Значитъ, образованіе было мало разлито въ массѣ народа. А если оно было мало разлито, если большинство довольствовалось поверхностнымъ развитіемъ или, еще точнѣе, не получало совсѣмъ никакого развитія, то, прилагая къ дѣлу *простую истину* Шаврова, мы немедленно приходимъ къ тому неопровержимому выводу, что древнее образованіе было

*дурно и низко* въ качественномъ отношеніи. Если Шавровъ допускаетъ пропорцію: «чѣмъ больше разлито, тѣмъ лучше и выше», то онъ, по всѣмъ правиламъ здоровой человѣческой логики, долженъ допустить и обратную пропорцію: «чѣмъ меньше разлито, тѣмъ хуже и ниже». Но какъ только древнее образованіе стало-бы разливаться въ массу народа, какъ только оно проникнуло-бы въ глубину рабочаго населенія, такъ, становясь *лучше и выше въ качественномъ отношеніи*, оно подвергнулось-бы самому радикальному перерожденію и совершенно утратило-бы тотъ характеръ философскаго дилетантизма, которымъ восхищается добродушный Шавровъ. Дѣти *избранныхъ людей*, то-есть богатыхъ рабовладѣльцевъ, имѣли полную возможность безнаказанно тратить время на восхищеніе красотами Гомера и сокровищами отечественнаго языка. Отъ нечего дѣлать они даже, пожалуй, могли погружаться въ самоизученіе и отыскивать дорогу то къ *роднику жизненныхъ силъ*, то къ *источнику всего истиннаго, добраго и прекраснаго*. Но все это были барскія затѣи, совершенно недоступныя для такихъ людей, которые зарабатывали себѣ хлѣбъ собственнымъ трудомъ и которые вслѣдствіе этого, зная цѣну времени, были принуждены тратить его расчётливо. Такие люди поневолѣ внесли-бы въ школу утилитарныя цѣли, и притомъ совсѣмъ *не тѣ* утилитарныя цѣли, которыя внесли въ нее *избранные*. — Богатые рабовладѣльцы требовали отъ школы, чтобы она превратила ихъ въ хорошихъ говорунцовъ и чтобы такимъ образомъ она содѣйствовала ихъ успѣхамъ на политическомъ поприщѣ. Бѣдные люди, которымъ прежде политической карьеры надо думать еще о насущномъ пропитаніи, стали-бы требовать отъ школы, чтобы она готовила изъ нихъ дѣльныхъ работниковъ. Они стали-бы налегать преимущественно на математику, точно такъ, какъ *избранные* налегали преимущественно на словесность. Бѣдные люди развили-бы приложеніе математики къ техническому производству точно такъ, какъ избранные развили приложеніе грамматики и риторики къ систематическому надуванію народныхъ массъ. Когда совершилось-бы это *возвышеніе и улучшеніе образованія въ качественномъ отношеніи*, тогда Шаврову нечѣмъ было-бы восхищаться.

## VI.

Переходя къ характеристикѣ реальнаго образованія, Шавровъ объявляетъ намъ, что *для большей ясности* онъ будетъ *раскрывать дѣло исторически*. Историческое раскрываніе дѣла начинается съ того, что спартанское воспитаніе оказывается реальнымъ. Во-первыхъ, спартанцы преслѣдовали въ питомцахъ всѣ индивидуальныя особенности и старались пригонять питомцевъ къ *общей нормѣ или униформѣ*.

мъ. Во-вторыхъ, спартанцы ненавидѣли языкъ и требовали, чтобы человекъ выражалъ свою мысль какъ можно короче. Въ-третьихъ, они готовили своихъ дѣтей для военной жизни. Въ-четвертыхъ, они ихъ очень больно сѣкли. Послѣ этого очевидно не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что спартанцы были реалистами. Обыкновенный наблюдатель сказалъ-бы можетъ-быть, что они были просто дикарями. Но съ той высшей точки зрѣнія, на которой стоитъ Шавровъ, различіе между дикаремъ и реалистомъ становится незамѣтнымъ. Еслибы Шавровъ, какъ идеалистъ, не питалъ глубокаго презрѣнія ко всѣмъ млекопитающимъ, то онъ навѣрное съ своей высшей точки зрѣнія открылъ-бы міру ту удивительную истину, что лошади, которую гоняютъ на кордѣ и которую приучаютъ къ ружейному огню, получаютъ чисто-реальное образованіе. Это открытіе было-бы совершенно неизбѣжно, потому что воспитаніе древняго спартанца подходитъ гораздо ближе къ воспитанію лошади, чѣмъ къ современному реальному образованію.

Продолжая *«раскрывать дѣло исторически»*, Шавровъ находитъ, что «схоластика — другой образчикъ реального воспитанія». Затѣмъ гувернеры и гувернантки, заставляющіе дѣтей зубрить французскіе и нѣмецкіе вокабулы и діалоги, также оказываются педагогами-реалистами. Всѣ пансіоны, гимназіи и проч. учебныя заведенія, въ которыхъ преподается нестройная масса пестрыхъ и разнородныхъ знаній,—все это реальныя заведенія. *«Раскрывши»* такимъ образомъ *«дѣло исторически»*, то-есть побросавши въ одну кучу всѣ педагогическія нелѣпости и назвавши эту кучу *реализмомъ*, Шавровъ приглашаетъ читателя посмотреть на «питомцевъ въ реальномъ духѣ, пока они въ школѣ». Тутъ передъ читателемъ открывается картина печальная и даже мрачная. Воспитанники ненавидятъ науку, и эту ненависть къ наукѣ переносятъ и на тѣхъ людей, отъ которыхъ они получаютъ эту науку. Когда юные реалисты находятся въ веселомъ настроеніи духа, тогда они осмѣиваютъ и передразниваютъ своихъ наставниковъ; когда-же эти буйные потомки спартанцевъ и схоластики взволнованы и раздражены, тогда они возстаютъ противъ своихъ наставниковъ и даже оскорбляютъ ихъ. Читатель видитъ, что мрачныя краски этой картины очень хорошо подходятъ къ той бурѣ, которую описалъ Помяловскій. Поэтому надо полагать, что въ бурсацкой наукѣ Шавровъ видитъ также одно изъ многочисленныхъ проявленій россійскаго реализма. — Затѣмъ Шаврову желательно взглянуть на воспитанниковъ реальныхъ заведеній по ихъ выходѣ изъ школы. «Что въ нихъ нѣтъ живой любви къ наукѣ, — говоритъ онъ, — что въ нихъ нѣтъ основательности и глубины въ воззрѣніяхъ, что они шатки въ своихъ убѣжденіяхъ и мѣняютъ ихъ скоро и легко—

все это понятно, все это естественное слѣдствіе полученнаго ими образованія, которое не развивало ихъ душевныхъ силъ. Но вотъ странная особенность, которая больше или меньше замѣчается во всѣхъ людяхъ, получившихъ реальное образованіе: вялые, неустойчивые, измѣнчивые, когда нужно дѣйствовать положительно, проводить въ жизни какое-нибудь убѣжденіе, они чрезвычайно энергичны, чтобы дѣйствовать отрицательно, идти противъ установившагося строя жизни, противъ общепринятаго порядка. Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ они—прогрессисты въ пошломъ смыслѣ этого слова.»

Кисть Шаврова кладетъ краски густо и бойко; любопытно было-бы только узнать: съ кого именно писанъ этотъ портретъ, — съ древнихъ ли спартанцевъ, или съ средневѣковыхъ схоластиковъ, или наконецъ съ бывшихъ товарищей Помяловскаго, или-же просто съ какихъ-нибудь знакомыхъ автора, успѣвшихъ возбудить въ немъ противъ себя недоброжелательныя чувства? — Къ древнимъ спартанцамъ и къ средневѣковымъ схоластикамъ описаніе это врядъ-ли подходитъ; Шавровъ самъ говоритъ, что спартанская и схоластическая системы воспитанія были направлены именно къ тому, чтобы поддерживать *statu quo* спартанскаго государства и панской гегемоніи. Значитъ, мудрено себѣ представить, чтобы воспитанники спартанскихъ и схоластическихъ школъ по выходѣ въ жизнь обращали всю свою энергію на борьбу противъ общепринятаго порядка. А если такимъ образомъ основной признакъ того портрета, который рисуетъ Шавровъ, не подходитъ ни къ спартанцамъ, ни къ схоластикамъ, то, мнѣ кажется, нашъ талантливый портретистъ долженъ былъ-бы сообразить, что его *историческое раскрываніе дѣла* ни къ чему не ведетъ, ничего не раскрываетъ, ничего не объясняетъ и во всѣхъ отношеніяхъ оказывается безцѣльнымъ сопоставленіемъ фактовъ, не имѣющихъ между собой ни малѣйшаго сходства и ни малѣйшаго историческаго сродства. Далѣе, въ этомъ портретѣ, съ кого-бы онъ ни былъ писанъ, есть даже грубое внутреннее противорѣчіе, вслѣдствіе котораго этотъ портретъ не можетъ быть похожъ ни на кого въ цѣломъ мірѣ. Шавровъ утверждаетъ, что реалисты не умѣютъ проводить въ жизни никакого убѣжденія, и вслѣдъ затѣмъ тотчасъ-же говоритъ, что они *«чрезвычайно энергичны, чтобы дѣйствовать отрицательно»*. О, святая простота! Да развѣ можно безъ убѣжденія быть чрезвычайно энергичнымъ отрицателемъ? И развѣ дѣйствовать отрицательно съ чрезвычайной энергіей не значитъ проводить въ жизни убѣжденіе, именно то убѣжденіе, что отрицаемый предметъ дуренъ? — Что-же касается до слова *«прогрессистъ»*, то я еще не слыхалъ, чтобы это слово приобрѣло себѣ какой-нибудь пошлый смыслъ; но я знаю положительно, что всякое

хорошее слово можетъ быть опошлено; поэтому я считаю оченьъ правдоподобнымъ, что слово «*прогрессистъ*» становится пошлымъ словомъ, когда оно встрѣчается въ статьяхъ такихъ гениальныхъ мыслителей, какъ Шавровъ. Но обращать вниманіе на это временное и мѣстное опошленіе словъ нѣтъ никакой возможности, потому что иначе честнымъ и мыслящимъ русскимъ писателямъ пришлось-бы создавать себѣ цѣлый новый лексиконъ.

По соображеніямъ Шаврова оказывается, что въ отрицательной дѣятельности воспитанниковъ реальныхъ заведеній виноватъ духъ скептицизма, обуревающий реальныхъ училища. Здѣсь мы опять рѣшительно не знаемъ, о *какихъ* реальныхъ училищахъ толкуетъ Шавровъ. Онъ, какъ дельфійская Пифія, постоянно извергаетъ безсвязныя слова, предоставляя намъ, простымъ смертнымъ, отыскивать въ нихъ какой угодно смыслъ. Мы ищемъ, и ровно ничего не находимъ. Шавровъ утверждаетъ, что духъ сомніи полезенъ въ наукѣ, но нигуда не годится въ школѣ. «Скептикъ ученый — говорить онъ, — явленіе нормальное, но школѣ нигдѣ скептикъ — ужасная аномалія.» Изъ этихъ словъ видно, что нашъ мыслитель не имѣетъ ни каковаго понятія ни о томъ, что такое научный скептицизмъ, ни о томъ, что такое наука, ни о томъ чѣмъ должна быть школа. Спрашивается, *какого* скептицизмъ полезенъ въ наукѣ? Конечно не тотъ, который ухитряется посредствомъ разныхъ диалектическихъ тонкостей отрицать существованіе видимаго міра или собственной особы мыслящаго субъекта. Такой метафизическій скептицизмъ одинаково безобразенъ и одинаково бесплоденъ, какъ въ школѣ, такъ и въ наукѣ. Полезенъ въ наукѣ только тотъ благоразумный скептицизмъ, который не позволяетъ изслѣдователю успокаиваться на неполномъ или неточномъ объясненіи изучаемыхъ явленій. Этотъ скептицизмъ, составляющій естественный атрибутъ cadaго здравого и сильнаго ума, полезенъ вездѣ и всегда, и въ наукѣ, и въ политикѣ, и въ литературной критикѣ, и въ обыденной жизни. Вездѣ и всегда человѣкъ долженъ смотрѣть трезвыми глазами на самое явленіе, на голый фактъ, не обращая никакого вниманія на ту красивую или некрасивую формальную оболочку, въ которую нарядилось это явленіе по тѣмъ или другимъ обстоятельствамъ. Вездѣ и всегда человѣкъ долженъ говорить себѣ прямо и рѣшительно: «вотъ это я понимаю, а вотъ этого не понимаю». При этомъ онъ никогда не долженъ довольствоваться такимъ объясненіемъ, которое маскируетъ данный вопросъ, вмѣсто того чтобы дѣйствительно разрѣшать его. Эта умственная требовательность, эта превосходная способность строго различать знаніе и незнаніе, это презрѣніе къ самодовольному полу-знанію и полу-пониманію — все это такъ-же умѣстно и необходимо въ школѣ, какъ и во всякомъ дру-

гомъ мѣстѣ. Говоря о греко-римскомъ мірѣ, Шавровъ выражаетъ желаніе, чтобы образованіе развивало въ питомцахъ *умственную и нравственную самостоятельность* и чтобы преподаватели поддерживали въ ученикахъ *умственную и нравственную энергію и живой интересъ къ предметамъ изученія*. Прекрасное и похвальное желаніе! Но къ сожалѣнію я долженъ теперь замѣтить, что, выражая это прекрасное и похвальное желаніе, Шавровъ безсознательно лепеталъ такія рѣчи, которыхъ смыслъ для него самого непонятенъ. Защитникъ *умственной и нравственной самостоятельности* желаетъ теперь выгнать изъ школы тотъ скептицизмъ, который по его-же собственному замѣчанію полезенъ въ наукѣ. Въ чемъ-же, о, свѣтило «Дня», будетъ состоять *умственная и нравственная самостоятельность* ученика, въ чемъ будетъ проявляться его *умственная и нравственная энергія*, въ чемъ будетъ обнаруживаться его *живой интересъ къ предметамъ изученія*, если вамъ удастся отнять у него здоровый и естественный скептицизмъ, то-есть стремленіе понимать совершенно ясно и отчетливо изучаемый предметъ, — стремленіе успокаиваться только на такихъ доказательствахъ, которыя дѣйствительно имѣютъ для ума обязательную силу? Представьте себѣ напримѣръ, что учитель рассказываетъ ученикамъ исторію Персидскаго государства; по вашему выходитъ такъ, что ученики должны, подавивши въ себѣ духъ *ужасной аномаліи*, то-есть скептицизма, сидѣть, затаивъ дыханіе, слушаться напряженнымъ вниманіемъ и потомъ къ слѣдующему классу повторить своими словами весь рассказъ учителя. Такой результатъ привелъ-бы васъ въ восторгъ, и вы усмотрѣли-бы бездну *самостоятельности, энергіи и живого интереса* именно въ томъ крошечномъ фактѣ, что ученики излагаютъ урокъ *своими словами*. Дальше этого вашъ педагогическій либерализмъ не идетъ. Всѣ либералы, подобные вамъ, умѣютъ возставать только противъ розогъ, да противъ зубренія и воображаютъ себѣ, что этими куриными протестами они не-вѣсть какое благодѣяніе оказываютъ обществу и наукѣ. Такъ какъ я не имѣю чести принадлежать къ несмѣтному легіону этихъ смѣхотворныхъ либераловъ, то я осмѣливаюсь замѣтить, что съ точки зрѣнія *самодѣятельности, энергіи и живого интереса* было-бы очень недурно, еслибы кому-нибудь изъ учениковъ пришлось въ годовую перебѣть рассказъ учителя слѣдующей почтительной рѣчью: «позвольте васъ спросить, г. Н., какимъ образомъ до насъ дошло извѣстіе о вѣсѣхъ этихъ событіяхъ, совершившихся слишкомъ за двѣ тысячи лѣтъ до нашего времени?» Учителю пришлось-бы тогда заговорить о греческой исторіографіи, о сохраненіи рукописей во время среднихъ вѣковъ, объ

изученіи и изданіи этихъ рукописей въ эпоху Возрожденія и наконецъ о трудахъ изслѣдователей, очистившихъ историческую истину отъ легендарныхъ искаженій и примѣсей. Учителю пришлось-бы такимъ образомъ ввести любознательнаго ученика въ самую лабораторію исторіи, и ученикъ навѣрное проникнулся-бы глубокимъ уваженіемъ къ изучаемому предмету, когда объясненія учителя заставили-бы его задуматься надъ тѣмъ фактомъ, что *каждая строка* его учебника куплена трудами и бессонными ночами тѣхъ людей, которые составляютъ соль земли и цвѣтъ человечества. Вопросъ любознательнаго ученика очевидно былъ-бы вынужденъ ему тѣмъ самымъ духомъ скептицизма, который создалъ и усовершенствовалъ историческую критику. Между тѣмъ я осмѣливаюсь думать, что такой любознательный ученикъ представляетъ собой не *ужасную аномалію*, а, напротивъ того, отпадное исключеніе изъ очень сквернаго общаго правила. Я полагаю также, что каждый добросовѣстный и умный преподаватель очень желалъ-бы встрѣчать въ своемъ классѣ какъ можно больше такихъ *ужасныхъ аномалій*. Ходъ преподаванія значительно замедлялся-бы вопросами учениковъ и объясненіями учителя, но зато ученики не превращались-бы въ попугаевъ, излагающихъ *своими словами* чужія мысля, нисколько непереработанныя ихъ умами.

### VII.

Изъ всей утомительной болтовни Шаврова читатель не выноситъ никакого яснаго понятія о томъ, что такое классическое образованіе и что такое реальное, и чѣмъ первое выше послѣдняго. Тѣ резоны, которые представляетъ Шавровъ въ пользу изученія древности, рѣшительно оказываются бессмысленнымъ наборомъ словъ. «Если, — говоритъ онъ, — въ кругъ классическаго образованія входитъ изученіе древности (древнихъ языковъ, литературъ, древней жизни и пр., и пр.), то отнюдь не съ той цѣлью, чтобы сдѣлать всѣхъ воспитанниковъ греками и римлянами (А?! Неужели? А мы были увѣрены въ томъ, что древность изучается въ школахъ именно для того, чтобы воспитанники, окончивъ курсъ, отказались навсегда отъ фраговъ и сапоговъ и, облекшись въ тоги, подвязавъ подъ ноги сандалии, приносили-бы каждый день жертву Юпитеру Капитолійскому, Аполлону и Палладѣ-Аѳинѣ. Теперь, благодаря Шаврову, мы успокоиваемся и начинаемъ понимать, что фраги и сапоги не подвергаются ни малѣйшей опасности), а единственно съ той цѣлью, чтобы яснѣе и полнѣе понимали они настоящую, современную жизнь, которая, состоя въ связи, хотя и отдаленной, съ древней жизнью, во многихъ своихъ чертахъ будетъ и темна, и непонятна для нихъ безъ изученія послѣдней.» (Меня изумляетъ та скромная и солидная самоувѣренность,

съ которой Шавровъ говорить непроходимѣйшія пелѣности. Онъ увѣряетъ, что безъ изученія древности современная жизнь во многихъ своихъ чертахъ будетъ темна и непонятна.)

Далѣе, по мнѣнію Шаврова, воспитанникамъ необходимо изучать то, что находится *въ связи, хотя и отдаленной*, съ современной жизнью; это требованіе заставляетъ насъ предполагать, что воспитанники уже знаютъ вдоль и поперекъ современную жизнь. Но развѣ это предположеніе оправдывается фактами? Развѣ воспитанники дѣйствительно знаютъ современную жизнь? Они не знаютъ ни законовъ того государства, въ которомъ они живутъ, ни умственныхъ интересовъ того общества, съ которыми они связаны кровными узами, ни тенденцій той эпохи, къ которой они принадлежатъ. Куда-бы вы ни привели воспитанника гимназіи или даже студента университета — на фабрику, въ присутственное мѣсто, въ деревню, въ редакцію журнала, въ типографію, — вездѣ онъ окажется новичкомъ, вездѣ онъ встрѣтитъ цѣлый рядъ неизвѣстныхъ явленій, къ которымъ онъ долженъ будетъ присматриваться и привыкать. Въ этомъ незнаніи современной жизни нѣтъ даже рѣшительно ничего ненормальнаго. Та наука, которая должна заниматься изученіемъ общественной жизни, до такой степени многосложна, что она до сихъ поръ не могла даже вполне organizоваться. Занимать воспитанниковъ изученіемъ этой еще несложившейся и неопредѣлившейся науки, — значило-бы сбивать ихъ съ толку. Современная жизнь до сихъ поръ можетъ изучаться только посредствомъ житейской практики; что-же касается до школы, то она должна давать молодымъ умамъ не теорію современной жизни, а основательное знаніе тѣхъ простѣйшихъ наукъ, которыя уже окончательно сложились и опредѣлились. Въ ряду этихъ наукъ первое мѣсто занимаетъ математика; за нею слѣдуютъ астрономія, физика, химія и наконецъ вся семья біологическихъ наукъ, то-есть тѣхъ наукъ, которыя занимаются изученіемъ растительнаго и животнаго организма. Если-же нѣтъ надобности изучать въ школѣ современную жизнь, то нѣтъ никакой необходимости изучать то, что находится *въ связи, хотя и отдаленной*, съ современной жизнью.

И вотъ все, что Шавровъ умѣетъ сказать въ пользу изученія мертвыхъ языковъ. Я рѣшительно не знаю, какихъ несчастныхъ читателей онъ думаетъ убѣдить такими игрушечными аргументами.

### VIII.

Въ одномъ изъ мартовскихъ номеровъ «Сѣверной Почты» помѣщенъ отрывокъ изъ «Записки статсъ-секретаря Танѣева о мнѣніяхъ, высказанныхъ иностранными педагогами, разсматривавшими проектъ устройства нашихъ учеб-

ныхъ заведеній». — Иностранные педагоги склоняются рѣшительно въ пользу классицизма; надо полагать, что они въ этомъ случаѣ руководствуются какими-нибудь очень основательными соображеніями, но къ сожалѣнію ихъ мнѣнія изложены въ запискѣ Танъева такъ коротко, что причины ихъ наклонности къ классическимъ языкамъ остаются необъясненными. «Но вдаваясь во всѣ подробности обширныхъ соображеній, изложенныхъ по сему предмету, — говоритъ Танъевъ, — ограничусь одними главными доводами, приведенными иностранными рецензентами въ защиту изложенныхъ ими мнѣній. Въ числѣ таковыхъ доводовъ и доказательствъ они ссылаются на Англію, Германію, Францію, Бельгію и Сѣверо-Американскіе Штаты, гдѣ реальному образованію указано мѣсто второстепенное, тогда какъ образованіе классическое или гуманное, состоящее въ изученіи древнихъ языковъ, помѣщено на переднемъ планѣ и признано во всѣхъ сихъ государствахъ главнымъ двигателемъ просвѣщенія.»

До сихъ поръ мы видимъ не доказательства, а только ссылку на существующій фактъ. Иностранные педагоги стараются однако объяснить и оправдать существованіе этого факта. «Между прочимъ они говорятъ, что распространеніе знанія древнихъ языковъ имѣло постоянныя послѣдствіемъ возвышеніе уровня просвѣщенія и возрожденіе литературы и искусствъ.»

Было-бы очень недурно, если-бы гг. рецензенты объяснили подробно, что они называютъ *возвышеніемъ уровня просвѣщенія*. Въ какихъ именно явленіяхъ жизни выражалось это *возвышеніе уровня*? Еслибы рецензенты отбѣтили обстоятельно на этотъ вопросъ, то мы узнали-бы тогда, составляетъ-ли это *возвышеніе уровня* дѣйствительное благо, или-же оно оказывается оптическимъ обманомъ. Если наприимѣръ господа рецензенты видятъ *возвышеніе уровня* въ томъ явленіи, что лучшія умственные силы страны обращаются отъ различныхъ скринныхъ отраслей производительнаго труда къ блестящимъ занятіямъ поэзіей, живописью и скульптурой, то можетъ-быть позволительно будетъ усомниться въ томъ, чтобы такое *возвышеніе уровня* было дѣйствительно полезно и желательно для общества. Такъ какъ господа рецензенты рядомъ съ *возвышеніемъ уровня* ставятъ *возрожденіе литературы и искусствъ*, то легко можетъ быть, что они понимаютъ *возвышеніе уровня* именно въ томъ смыслѣ, который я указалъ въ предыдущихъ строкахъ.

«Вліяніе это объясняется, по ихъ мнѣнію, указанными выше преимуществами языковъ латинскаго и греческаго и кромѣ того непрерывнымъ воздѣйствіемъ на духовную жизнь новѣйшихъ обществъ духа и учреждений древняго міра, которыя безъ основательнаго знанія языковъ классическихъ, служащихъ живыми про-

водниками въ тайны давно минувшаго, но знаменательнаго времени, не могутъ быть ни оцѣнены, ни поняты и остаются нѣмыми, бездушными памятниками какой-то отдаленной старины.»

Указаннымъ выше преимуществамъ классическихъ языковъ нуждаются, какъ мы видѣли выше, въ подробныхъ разясненіяхъ и доказательствахъ. Безъ этихъ разясненій и доказательствъ нѣтъ никакой возможности понять, въ чемъ состоятъ эти преимущества. Что-же касается до *непрерывнаго воздѣйствія духа и учреждений древняго міра*, то желатъ было-бы узнать, какія именно стороны этого духа и этихъ учреждений могутъ, по мнѣнію господъ рецензентовъ, обнаруживать благотѣльное и плодотворное вліяніе на міросозерцаніе и на общественную жизнь современныхъ европейцевъ. Наука находилась тогда въ младенцествѣ; социальное устройство было ниже всякой критики; промышленность была ничтожна; религіей было грубое идолопоклонство; даже всѣ отрасли искусства, за исключеніемъ скульптуры, стояли на довольно низкой степени развитія. Спрашивается, слѣдовательно чему-же именно мы должны учиться у древнихъ и въ какія тайны давно-минувшаго времени классическіе языки должны служить намъ живыми проводниками? Въ какомъ отношеніи это *давно-минувшее время* считается особенно *знаменательнымъ*?

«Затѣмъ иностранные педагоги обращаются къ практическимъ, очевиднымъ и слѣдовательно вполне неоспоримымъ, по ихъ мнѣнію, результатамъ классическаго образованія.»

Мы сейчасъ увидимъ, что эти результаты оказываются очевидными и неоспоримыми именно только по ихъ мнѣнію, которое, въ данномъ случаѣ никакъ не можетъ быть признано безусловно-вѣрнымъ и неопровержимымъ.

«Они указываютъ на общественныхъ дѣятелей иностранныхъ государствъ, и прежде всего на англичанъ, которые достигли высокой степени образованія и приобрѣли знаменитость въ государственной жизни, будучи къ тому подготовлены путемъ изученія древнихъ языковъ.»

Господа иностранные педагоги дѣлаютъ въ своемъ умозаключеніи ту извѣстную ошибку, которая называется *post hoc, ergo propter hoc*. Англичанинъ изучаетъ въ школахъ древніе языки, потомъ этотъ-же самый англичанинъ приобретаетъ знаменитость въ государственной жизни. Подхитивъ совершенно вѣрно эти два факта, слѣдующіе одинъ за другимъ, господа педагоги умозаклучаютъ совершенно произвольно, что эти два факта находятся между собой въ необходимой причинной связи. Этотъ англичанинъ, размышляя о нихъ, приобрѣлъ знаменитость въ государственной жизни *потому*, что онъ изучалъ въ школахъ древніе языки. Это *потому* рѣшительно нигдѣ не оправдывается.



Изъ того факта, что англичанинъ, изучавшій въ школѣ древнѣе языки, приобрѣлъ знаменитость въ государственной жизни, можно вывести только то умозаключение, что изученіе древнихъ языковъ не составляетъ непреодолимаго препятствія въ дѣлѣ приобретѣнія знаменитости въ государственной жизни. Если-же иностранные педагоги, упоминая объ англичанахъ, хотятъ сослаться не на отдѣльныя личности, а на цѣлый народъ, котораго высшія и среднія сословія дѣйствительно получаютъ строго классическое образованіе, то и тогда имъ можно доказать, что ихъ умозаключение несостоятельно. Господа педагоги разсуждаютъ такъ: Англія процвѣтаетъ; въ Англіи господствуетъ классическое образованіе, слѣдовательно классическое образованіе содѣйствуетъ ея процвѣтанію. Подражая логическимъ приемамъ господъ педагоговъ, я строю слѣдующій силлогизмъ: Англія процвѣтаетъ; въ Англіи все тяжёбныя дѣла продолжаютъ обыкновенно чрезвычайно долго и всегда сопряжены съ громадными издержками, слѣдовательно такое устройство гражданскихъ судовъ, которое содѣйствуетъ продолжительности и дороговизнѣ тяжёбныхъ дѣлъ, возвышаетъ благосостояніе страны. Если анализъ сравнительнаго достоинства различныхъ образовательныхъ наукъ былъ произведенъ тѣми самими господами педагогами, которые считаютъ процвѣтаніе Англіи очевиднымъ и неоспоримымъ результатомъ классическаго образованія, то я осмѣливаюсь думать, что этотъ анализъ врядъ-ли можетъ похвалиться логикой защитниковъ классическаго образованія.

Затѣмъ господа педагоги разсматриваютъ тѣ «вредныя послѣдствія, которыя влечетъ за собой нерѣдко реальное образованіе».

«По ихъ мнѣнію, курсъ реальныхъ училищъ въ его прямомъ, настоящемъ смыслѣ имѣетъ предметомъ не окончательное, ученое изученіе реальныхъ предметовъ, а лишь энциклопедическое приготовленіе къ извѣстнымъ техническимъ отраслямъ. Такой энциклопедизмъ въ изученіи предметовъ весьма обширныхъ и весьма сложныхъ ведетъ къ болѣе или менѣе поверхностности познанія, и сужденія; а эта поверхностность въ дѣлѣ естествоиспытанія, составляющаго настоящій центръ тяжести всего реального курса, имѣетъ, по удостовѣренію рецензентовъ, обыкновеннымъ послѣдствіемъ уклоненіе ума отъ истины, безнравственность въ семейномъ и общественномъ быту и наконецъ скептицизмъ въ дѣлахъ вѣры или даже полное безвѣріе.»

Я никакъ не могу себѣ объяснить, какими образомъ изученіе латинскаго и греческаго языковъ можетъ спасти юношество отъ скептицизма и отъ безвѣрія. Исторія всехъ европейскихъ литературъ говоритъ намъ, что очень многіе скептики и атеисты знали превосходно древнѣе языки и древнѣе литературы, и что эти знанія нисколько не помѣшали имъ быть скептиками и ате-

стами. Ученые и поэты XV и XVI вѣковъ были страстно влюблены въ классическую древность; эта любовь была особенно сильна въ тогдашней Италіи, а между тѣмъ именно тогдашняя Италія была и рассадникомъ скептицизма, и даже полнаго безвѣрія. Опираясь на все эти соображенія, я полагаю, что господа иностранные педагоги напрасно приводятъ гимназическій реализмъ въ причинную связь съ духомъ скептицизма и даже полнаго безвѣрія. Гимназическій реализмъ—самъ по себѣ, а скептицизмъ и даже полное безвѣріе—тоже сами по себѣ. Между этими явленіями нѣтъ никакой взаимной зависимости. — Другое возраженіе господъ педагоговъ противъ реальныхъ гимназій я считаю совершенно основательнымъ. Поверхностный энциклопедизмъ дѣйствительно очень нехорошъ, не потому, что онъ ведетъ за собой будто-бы «безнравственность въ семейномъ и общественномъ быту», а потому, что онъ засоряетъ молодые умы грудами отрывочныхъ и слѣдовательно несмысленныхъ и неудобоваримыхъ знаній. Но эти неудобства поверхностнаго энциклопедизма говорятъ только противъ данной программы реальныхъ гимназій, а не противъ реализма вообще. Чтобы избавиться отъ этого поверхностнаго энциклопедизма, нѣтъ никакой необходимости хвататься за классическую древность, какъ за единственный якорь спасенія. Надо только составить новую реальную программу, въ которой преподаваніе было бы сосредоточено на математикѣ, на физикѣ, на космографіи и на химіи. «Если,—говоритъ «Сѣверная Почта»,—общество признаетъ реальные училища полезными, то безъ сомнѣнія устроить ихъ собственной инициативой, собственными средствами». Это мнѣніе «Сѣверной Почты» совершенно основательно. Если общество дѣйствительно дорожитъ реальнымъ образованіемъ, то оно не должно ожидать, чтобы это образованіе свалилось къ нему, какъ снѣгъ на голову, въ готовомъ видѣ. Пусть само общество выработаетъ себѣ тѣ формы реального образованія, которыя соответствуютъ его потребностямъ. Если оно сдумаетъ это сдѣлать, тогда, значить, оно дѣйствительно сознаетъ необходимость послѣдовательнаго реализма. Если же у него не хватитъ смѣтливости и энергіи на то, чтобы рѣшить эту задачу собственными силами, тогда нечего и жалѣть о томъ, что задача не рѣшена новымъ гимназическимъ уставомъ. О реальномъ образованіи и о той формѣ, которую оно должно принять въ нашемъ обществѣ, я поговорю впослѣдствіи. Что-же касается до классическаго образованія, то весь предшествующій анализъ приводитъ меня къ тому заключенію, что до сихъ поръ во всей нашей періодической литературѣ не было высказано ни одного убѣдительнаго аргумента въ пользу изученія мертвыхъ языковъ. Посмотримъ, что дастъ намъ въ этомъ отношеніи будущее.

# РАЗРУШЕНІЕ ЭСТЕТИКИ.

## I.

Когда какая-нибудь новая мысль только-что начинает прокладывать себѣ дорогу въ умы людей, тогда неизбежная борьба старыхъ и новыхъ понятій начинается обыкновенно съ того, что представители новой мысли подводятъ итоги всему запасу убѣждений, выработанныхъ прежними дѣятелями, превратившихся въ общее достояніе и господствующихъ надъ умами образованной массы. Это подведеніе итоговъ необходимо для того, чтобы строгій приговоръ, долженствующій поразить всю отжившую систему понятій, не показался обществу голословнымъ и бездоказательнымъ наборомъ смѣлыхъ парадоксовъ. Подводя итоги, представитель новой идеи принужденъ становиться на точку зрѣнія своихъ противниковъ, хотя онъ знаетъ очень хорошо, что эта точка зрѣнія никуда не годится. Онъ принужденъ поражать своихъ противниковъ ихъ собственнымъ оружіемъ, хотя онъ знаетъ очень хорошо, что тотчасъ послѣ своей побѣды онъ изломается и броситъ навсегда это старое и заржавленное оружіе. Еслибы представитель новой идеи поступилъ иначе, еслибы онъ, не обращая вниманія на старыя нелѣпости, прямо началъ проповѣдывать свою теорію, то защитники нелѣпости заговорили-бы громко и смѣло, что онъ ничего не знаетъ и не понимаетъ. Этотъ говоръ былъ-бы очень неоснователенъ, но такъ какъ численный перевѣсъ былъ-бы на сторонѣ защитниковъ нелѣпости, то общество повѣрило-бы неосновательному говору, и успѣхъ новой мысли былъ-бы въ значительной степени ослабленъ или замедленъ этимъ обстоятельствомъ. Значитъ, на первыхъ порахъ надо говорить съ филистерами на филистерскомъ языкѣ и надо подходить къ нимъ съ пѣкоторыми предосторожностями, потому что филистеры—народъ пугливый и всегда готовый поднять безтолковый и оглушительный гвалтъ, очень вредный для общества и для всякихъ новыхъ идей. Но когда филистеры поражены и доведены до молчанія, когда новая идея уже пустила корень въ обществѣ и начала развиваться, тогда всѣ предварительныя работы, произведенныя для посрамленія филистеровъ, уходятъ въ тихую область исторіи вмѣстѣ съ той старой системой, которую эти работы подкопали и разрушили. Случается иногда, что на эти предварительныя и неизбежно-эффемерныя работы уходитъ цѣлая жизнь очень замѣчательныхъ дѣятелей. Книга «Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности», написанная десять лѣтъ тому назадъ, совершенно устарѣла не потому, что ея авторъ былъ въ то время неспособенъ

написать что-нибудь болѣе долговѣчное, а именно потому, что автору надо было въ началѣ опровергать филистеровъ доводами, заимствованными изъ филистерскихъ арсеналовъ. Авторъ видѣлъ, что эстетика, порожденная умственной неподвижностью нашего общества, въ свою очередь поддерживала эту неподвижность. Чтобы двинуться съ мѣста, чтобы сказать обществу разумное слово, чтобы пробудить въ разслабленной литературѣ сознаніе ея высокихъ и серьезныхъ гражданскихъ обязанностей, надо было совершенно уничтожить эстетику, надо было отправить ее туда, куда отправлены алхимія и астрологія. Но, чтобы дѣйствительно опрокинуть вредную систему старыхъ заблужденій, надо приниматься за дѣло осторожно и расчетливо. Если сказать обществу прямо: «бросьте вы эти глупости; у васъ есть дѣла гораздо поважнѣе и интереснѣе»,—то общество изумится, испугается вашей дерзости, не повѣритъ вамъ и приметъ вашъ разумный совѣтъ за гаерскую выходку. Поэтому надо говорить съ обществомъ въ томъ тонѣ, къ которому оно привыкло. Надо говорить такъ: «вы, господа, уважаете эстетику. Ахъ, и я тоже уважаю эстетику. Займитесь-же вмѣстѣ съ нами эстетическими изслѣдованіями.»—Привлекши къ себѣ такимъ образомъ сердце довѣрчиваго читателя, лукавый послѣдователь новой идеи конечно займется своими эстетическими изслѣдованіями такъ успѣшно, что разобьетъ всю эстетику на мелкіе кусочки, потомъ всѣ эти мелкіе кусочки превратитъ по одиночкѣ въ мельчайшій порошокъ и наконецъ развѣетъ этотъ порошокъ на всѣ четыре стороны.—«Куда-жъ ты, озорникъ, дѣвалъ мою эстетику, которую ты уважаешь?»—спроситъ огорченный читатель, наказанный за свою довѣрчивость.—«Улетѣла твоя эстетика,—отвѣтитъ писатель,—и давно пора тебѣ забыть о ней, потому что не мало у тебя всякихъ другихъ заботъ».—И вздохнетъ читатель, и поневолѣ примется за социальную экономію, потому что эстетика дѣйствительно разлетѣлась на всѣ четыре стороны, благодаря эстетическимъ изслѣдованіямъ коварнаго писателя. Когда читатель будетъ такимъ образомъ обузданъ и посаженъ за работу, тогда, разумеется, эстетическія изслѣдованія, погубившія эстетику, потеряютъ всякій современный интересъ и останутся только любопытнымъ историческимъ памятникомъ авторскаго коварства.

## II.

Авторъ «Эстетическихъ Отношеній» уже на III страницѣ своего введенія показываетъ изда-

ли догадливому читателю тотъ результатъ, къ которому онъ желаетъ придти. «Уваженіе къ дѣйствительной жизни,—говоритъ онъ,—недовѣрчивость къ апіорическимъ, хотя-бы и приятнымъ для фантазій, гипотезамъ—вотъ характеръ направленія, господствующаго нынѣ въ наукѣ. Автору кажется, что необходимо привести къ этому знаменателю и наши эстетическія убѣжденія, если еще стоитъ говорить объ эстетикѣ». *Если еще стоитъ говорить объ эстетикѣ*—оговорка очень замѣчательная! Всякій немедленно пойметъ изъ этой оговорки, что вопросъ объ эстетикѣ былъ уже давно рѣшенъ въ умѣ этого писателя, когда онъ принимался за свою магистерскую диссертацию. Авторъ давно понимаетъ, что говорить объ эстетикѣ стоитъ только для того, чтобы радикально уничтожить ее и навсегда отрезвить тѣхъ людей, которыхъ морочитъ философствующее и тунеядствующее филистерство. Поэтому авторъ, раздумѣлся, имѣлъ въ виду не основаніе новой, а только истребленіе старой и вообще всякой эстетической теоріи.

Эстетика или наука о прекрасномъ имѣетъ разумное право существовать только въ томъ случаѣ, если *прекрасное* имѣетъ какое-нибудь самостоятельное значеніе, независимое отъ безконечнаго разнообразія личныхъ вкусовъ. Если же прекрасно только то, что нравится намъ, и если вслѣдствіе этого всѣ разнообразнѣйшія понятія о красотѣ оказываются одинаково законными, тогда эстетика разсыпается въ прахъ. У каждаго отдѣльнаго человѣка образуется своя собственная эстетика, и слѣдовательно общая эстетика, приводящая личные вкусы къ обязательному единству, становится невозможной. Авторъ «Эстетическихъ Отношеній» ведетъ своихъ читателей именно къ этому выводу, хотя и не высказываетъ его совершенно открыто. «Здоровый человѣкъ,—говоритъ авторъ,—встрѣчаетъ въ дѣйствительности очень много такихъ предметовъ и явленій, смотря на которые не приходится ему въ голову желать, чтобы они были не такъ, какъ есть, или были лучше. Мнѣніе, будто человѣку непремѣнно нужно «совершенство»,—мнѣніе фантастическое, если подѣ «совершенствомъ» понимать такой видъ предмета, который-бы совмѣщалъ всевозможныя достоинства и былъ чуждъ всѣхъ недостатковъ, какіе, отъ нечего дѣлать, можетъ отыскать въ предметѣ фантазія человѣка съ холоднымъ или пресыщеннымъ сердцемъ. «Совершенство для меня то, что для меня вполне удовлетворительно въ своемъ родѣ.» Такимъ образомъ «совершенство» для меня одно, для васъ—другое, для Ивана—третье, для Марьи—четвертое и такъ далѣе до безконечности, потому что каждая отдѣльная личность является единственнымъ и верховнымъ судьей въ вопросѣ о томъ, что для нея удовлетворительно. Развивать свой вкусъ для того, чтобы сдѣлать себя взыскательнымъ

и разборчивымъ,—авторъ считаетъ дѣломъ совершенно излишнимъ. Онъ называетъ «здоровымъ» того человѣка, который удовлетворяется легко; въ прихотливой строгости требованій онъ видитъ только вредныя послѣдствія праздности, холодности и пресыщенности.

Само собой разумѣется, что всѣ эти мнѣнія автора относятся къ области прекраснаго,—къ той области, въ которой недовольство дѣйствительностью не можетъ повести за собой ничего, кромѣ безплоднаго страданія. Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ, что созерцаніе рафаэлевскихъ картинъ и древнихъ статуй до такой степени воспламенило ваше воображеніе, что въ живыхъ женщины, съ которыми вы встрѣчаетесь, кажутся вамъ некрасивыми. Какая-же польза получится изъ вашего недовольства для васъ самихъ или для другихъ людей? Русскія женщины дѣйствительно не такъ красивы, какъ тѣ итальянки, которыхъ видѣлъ Рафаэль, или какъ тѣ гречанки, которыхъ знали древніе скульпторы; но какъ-бы ни было велико ваше недовольство, русскія женщины отъ него нисколько не похоронѣютъ, и вы со всѣмъ вашимъ недовольствомъ все-таки до скончанія вѣка не придумаете ничего такого, что могло-бы увеличить ихъ красоту. Значитъ, вы-же сами остаетесь въ чистомъ проигрышѣ, потому что будете совершенно безполезно хмуриться и тосковать тамъ, гдѣ другіе будутъ любоваться, влюбляться и наслаждаться. Недовольство дѣйствительностью, совершенно безплодное и нелѣпое, когда оно обращено на красоту, становится, напротивъ того, очень полезнымъ и уважительнымъ чувствомъ, когда оно направлено противъ житейскихъ неудобствъ, устроенныхъ руками и умами людей. Тутъ недовольство ведетъ за собой преобразовательную дѣятельность и слѣдовательно приноситъ очень реальныя и осязательныя результаты. Всякая эстетика, старая или новая, или новѣйшая, строится непременно на томъ основномъ предположеніи, что люди должны усиливать, очищать и совершенствовать въ себѣ свое врожденное стремленіе къ красотѣ. Кто отвергаетъ это основное предположеніе, тотъ отвергаетъ не какія-нибудь частныя ошибки той или другой эстетики, а самый принципъ, самый фундаментъ всякой эстетики вообще. Авторъ «Эстетическихъ Отношеній» поступаетъ именно такимъ образомъ. Видя, что здоровый человѣкъ удовлетворяется такими предметами и явленіями, въ которыхъ можно замѣтить и неправильности очертаній, и недостаточное богатство красокъ, и разныя другія шероховатости, авторъ становится безусловно на сторону этого здороваго человѣка и вовсе не требуетъ, чтобы этотъ здоровый человѣкъ отвернулся, во имя высшей красоты, отъ того, что доставляетъ ему безвредное и освѣжительное наслажденіе. Этотъ здоровый человѣкъ до-

воленъ тѣмъ, что онъ видитъ передъ собой; и прекрасно, больше ничего не нужно; не зачѣмъ мудрить надъ этимъ человѣкомъ; не зачѣмъ отравлять ему его естественное и законное наслаждение; чѣмъ скромнѣе его требованія, тѣмъ лучше для него и для всѣхъ, потому что тѣмъ больше у него будетъ шансовъ наслаждаться часто, не причиняя никому ни хлопотъ, ни непріятностей.

Вотъ процессъ мысли, скрытый въ тѣхъ словахъ автора, которыя я выписалъ выше; такъ какъ, по естественному развитію этихъ мыслей, каждый здоровый человѣкъ признаетъ и высшимъ авторитетомъ въ дѣлѣ эстетики, то очевидно эстетика, какъ наука, становится такой-же нелѣпностью, какой была-бы наприимѣръ наука о любви. Каждый любитъ по своему, не справляясь ни съ какими учеными книжками. И каждый наслаждается всѣми впечатлѣніями жизни также по своему, также не справляясь ни съ какими учеными книжками. Слѣдовательно, наука о томъ, какъ и чѣмъ должно наслаждаться, превращается въ бессмыслицу.

### III.

«Прекрасное—говоритъ авторъ,—есть жизнь; прекрасно то существо, въ которомъ видимъ мы жизнь такую, какова должна быть она по нашимъ понятіямъ; прекрасенъ тотъ предметъ, который выказываетъ въ себѣ жизнь или напоминаетъ намъ о жизни.»

Это опредѣленіе до такой степени широко, что въ немъ совершенно тонетъ и исчезаетъ то, что называется красотой въ обыкновенномъ разговорномъ языкѣ. Это опредѣленіе показываетъ ясно, что авторъ, какъ мыслящій человекъ, относится совершенно равнодушно къ прекрасному въ узкомъ и общепринятомъ смыслѣ этого слова. По этому опредѣленію всякій вполне здоровый и нормально развитый человѣкъ прекрасенъ; все, что не изуродовано въ большей или въ меньшей степени, то прекрасно. Это можетъ показаться парадоксомъ, а между тѣмъ это совершенно вѣрно. Когда дѣло идетъ наприимѣръ о человѣческой фізіономіи, то, разумѣется, вопросы о томъ, великъ или малъ ротъ, толстъ или тонокъ носъ, густы или жидки волосы, словомъ, всѣ вопросы, касающіеся собственно до такъ называемой писаной красоты, могутъ быть интересны только для гоголевской Агафьи Тихоновны и для людей обоего пола, стоящихъ на одномъ уровнѣ развитія съ этой прекрасной дѣвицей. Съ тѣхъ поръ, какъ солнце свѣтитъ и весь міръ стоитъ, ни толстый носъ, ни большой ротъ, ни жидкіе или рыжіе волосы не помѣшали никому сдѣлаться полезнымъ и великимъ человѣкомъ; кромѣ того они даже никому не помѣшали пользоваться всѣми наслажденіями взаимной любви. Чѣмъ дольше че-

ловѣчество живетъ на свѣтѣ и чѣмъ умнѣе оно становится, тѣмъ равнодушнѣе оно относится къ чистой красотѣ и тѣмъ сильнѣе оно дорожитъ тѣми атрибутами человѣческой личности, которые сами по себѣ составляютъ дѣятельную силу и реальное благо. Цвѣтущее здоровье и сильный умъ кладутъ свою печать на человѣческую фізіономію, жизнь мысли, чувства и страстей оставляетъ на ней свои слѣды; эта печать и эти слѣды заставляютъ каждого умнаго человѣка совершенно забыть о томъ, великъ-ли ротъ, толстъ-ли носъ и жидки-ли волосы. Но здоровье и умъ существуютъ не для того, чтобы класть свою печать на фізіономію; человѣкъ живетъ, мыслитъ, чувствуетъ и волеуетъ также не для того, чтобы приобретать себѣ то или другое выраженіе лица, печать здоровья и ума, и слѣды пережитыхъ впечатлѣній ложатся на лицо безъ нашего вѣдома и помимо нашего желанія; здоровье, умъ и впечатлѣнія жизни имѣютъ для насъ свое самостоятельное значеніе, совершенно независимое отъ того выраженія, которое они придаютъ нашимъ фізіономіямъ, и гораздо болѣе важное, чѣмъ это выраженіе. Когда мы видимъ по лицу человѣка, что онъ здоровъ, уменъ и много пережилъ на своемъ вѣку, то его лицо нравится намъ, не какъ красивая картинка, а какъ программа нашихъ будущихъ отношеній къ этому человѣку. Мы, судя по лицу, расположены сблизиться съ этимъ человѣкомъ, потому что его лицо говоритъ намъ то, чего не могъ-бы намъ сказать самый безукоризненный греческій профиль. Глядя на это лицо, мы невольно угадываемъ и предчувствуемъ въ его обладателѣ энергичнаго, твердаго, вѣрнаго, умнаго и полезнаго друга. Когда лицо нравится намъ такимъ образомъ, какъ намекъ на умъ, характеръ и біографію даннаго субъекта, тогда очевидно эстетика остается не причѣмъ. Мы смотримъ на лицо человѣка такъ, какъ при покупкѣ серебряной или золотой вещи мы смотримъ на пробу. Проба не придаетъ вещи никакой красоты; она только ручается за ея цѣнность. При томъ опредѣленіи прекраснаго, которое даетъ намъ авторъ, эстетика, къ нашему величайшему удовольствію, исчезаетъ въ фізіологіи и въ гигиенѣ.

Я не буду слѣдить за борьбой нашего автора съ нѣмецкимъ эстетикомъ Фишеромъ по вопросу о прекрасномъ въ дѣйствительности. Намъ нѣтъ дѣла до этой борьбы, потому что для насъ въ настоящую минуту не имѣютъ рѣшительно никакого значенія всѣ глубокомысленныя умозрѣнія Фишера и другихъ нѣмецкихъ идеалистовъ. Результатъ борьбы состоитъ въ томъ, что, по мнѣнію нашего автора: «прекрасное въ объективной дѣйствительности вполне прекрасно и совершенно удовлетворяетъ человѣка». А если это такъ, то, разумѣется, «искусство рождается вовсе не отъ потребности человѣка восполнить

недостатки прекраснаго въ дѣйствительности». Выражаясь, другими словами, цѣль искусства состоитъ не въ томъ, чтобы создать такое чудо красоты, котораго нѣтъ и не можетъ быть въ природѣ. Въ чемъ-же состоитъ цѣль искусства? Чтобы отвѣчать на этотъ вопросъ, авторъ перебираетъ всѣ различныя отрасли искусства, и на этомъ анализѣ я считаю излишнимъ останавливаться.

#### IV.

Авторъ начинаетъ свой анализъ съ архитектуры и съ перваго-же шага ставитъ господамъ эстетикамъ убійственную дилемму. По его мнѣнію, надо или выключить архитектуру изъ числа искусствъ, или причислить къ искусствамъ садоводство, мебельное, модное, ювелирное, лѣвное мастерство и вообще «всѣ отрасли промышленности, всѣ ремесла, имѣющія цѣлью удовлетворять вкусу или эстетическому чувству». Если какой-нибудь портикъ или палаццо есть произведение искусства на томъ основаніи, что онъ построенъ красиво и радуетъ глазъ правильностью своихъ формъ, то на такомъ-же точно основаніи надо будетъ назвать произведеніями искусства — аллею съ подстриженными деревьями и кресло съ рѣзной или точеной спинкой, и фарфоровый чайникъ съ закорюченной ручкой, и штуку обоевъ, расписанныхъ яркими красками, и дамскую шляпку, украшенную цвѣтами, перьями и блондой, и дамскую прическу, придуманную и исполненную какимъ-нибудь знаменитымъ *artiste en cheveux*. Мало того, даже вѣнчикъ, вылитый въ кухонную форму, оказывается также произведеніемъ искусства. Въ самомъ дѣлѣ, кувалда можно было-бы подать на столъ въ видѣ сплошной, безформенной массы, лежащей на блюдѣ; онъ былъ-бы точно также вкусенъ и удобоваримъ; но его подаютъ въ видѣ башни съ зубчиками и фестончиками, и это дѣлается именно потому, что человѣкъ не есть грубый скотъ; ему мало того, чтобы отправить кувалду въ желудокъ; ему хочется кромѣ того погрузиться въ созерцаніе зубчиковъ и фестончиковъ и, уничтожая эти фестончики и зубчики, умилаться душой надъ непрочностью земной красоты. Такимъ образомъ кувалда, вылитый въ форму, не только удовлетворяетъ эстетическому чувству обѣдающаго человѣка, но даже пробуждаетъ въ его отзывчивой душѣ высокія размышленія, точно такія-же размышленія, какія обыкновенно обуреваютъ впечатлительнаго путешественника, созерцающаго какой-нибудь обвалившійся портикъ временъ Септимія Севера или какой-нибудь опустѣлый палаццо венеціанскаго патриція. Значитъ, ясно, что архитектура не имѣетъ ни малѣйшаго права обитать въ такихъ хоромахъ, въ которые, по распоряженію непослѣдовательныхъ эстетиковъ, не допускаются ея родныя сестры и ближайшія род-

ственницы. Французы давно это поняли, и поэтому парикмахеры называются у нихъ *artistes en cheveux*, и нашъ знаменитый мебельный мастеръ, Туръ, навѣрное посмотрѣлъ-бы на васъ съ глубокимъ презрѣніемъ, еслибы вы вздумали осмѣливать у него право на титулъ художника. Такъ оно дѣйствительно и должно быть, если сущность, цѣль и оправданіе искусства заключаются въ его стремленіи къ красотѣ. Тогда и стапуха, которая бѣлится и румянится передъ зеркаломъ, окажется художникомъ, превращающимъ свою собственную особу въ художественное произведеніе. Всѣ отрасли промышленности, говоритъ нашъ авторъ, всѣ ремесла, имѣющія цѣлью удовлетворять вкусу или эстетическому чувству, мы признаемъ искусствами въ такой-же степени, какъ архитектуру, когда ихъ произведенія замышляются и исполняются подъ преобладающимъ вліяніемъ стремленія къ прекрасному и когда другія цѣли (которыя всегда имѣетъ архитектура) подчиняются этой главной цѣли.

Совершенно другой вопросъ о томъ, до какой степени достойны уваженія произведенія практической дѣятельности, задуманныя и исполненные подъ преобладающимъ стремленіемъ произвести не столько что-нибудь дѣйствительно нѣжное или полезное, сколько произвести прекрасное. Какъ рѣшить этотъ вопросъ, — не входитъ въ сферу нашего разсужденія; но какъ рѣшенъ будетъ онъ, точно такъ-же долженъ быть рѣшенъ вопросъ и о степени уваженія, которой заслуживаютъ созданія архитектуры въ значеніи чистаго искусства, а не практической дѣятельности. Какими глазами смотреть мыслитель на кашемировую шаль, стоящую 10,000 франковъ, на столовые часы, стоящіе 10,000 франковъ, такими-же глазами долженъ смотрѣть онъ и на изящный кіоскъ, стоящій 10000 фр. Быть-можетъ онъ скажетъ, что всѣ эти вещи — произведенія не столько искусства, сколько роскоши; быть-можетъ онъ скажетъ, что истинное искусство чуждается роскоши, потому что существеннѣйшій характеръ прекраснаго — простота».

Мыслитель будетъ совершенно правъ, если посмотритъ съ презрѣніемъ на шаль, на часы и на кіоскъ, но онъ будетъ совершенно неправъ, когда начнетъ утверждать, что *истинное искусство чуждается роскоши*. Истинному искусству нѣтъ рѣшительно никакого дѣла до экономическихъ соображеній. Истинное искусство есть чуждаемое растеніе, которое постоянно питается соками человѣческой роскоши. Являясь всегдѣ и вездѣ неразлучнымъ спутникомъ роскоши, оно никакъ не можетъ ея чуждаться. И Микель Анджело, и Рафаэль расписывали своими фресками потолки и простѣнки папскаго дворца, подобно тому, какъ различные московскіе художники украшаютъ «пукетами и аму-

рами» стѣны тѣхъ апартаментовъ, въ которыхъ Лазарь Елизарычъ Подхалюзинъ наслаждается радостями семейной жизни съ своей супругой, Олимпиадой Самсоновой, урожденной Большовой. Фрески Рафаэля, по мнѣнію такого чистокровнаго и даровитаго эстетика, какъ Анри Тень, не имѣютъ почти никакого самостоятельнаго значенія. Онѣ составляютъ просто дополненіе архитектуры. «Въ самомъ дѣлѣ, — разсуждаетъ Тень, — отчего же фрескамъ и не быть дополненіемъ архитектуры? Не ошибочно-ли разсматривать ихъ отдѣльно? Чтобы понимать идеи живописца, надо становиться на его точку зрѣнія. А Рафаэль, разумѣется, смотрѣлъ на всю задачу именно такимъ образомъ. *Пожаръ въ Борго* составляетъ украшеніе арки, которую ему поручено было чѣмъ-нибудь наполнить. *Парнасъ* и *Освобожденіе св. Петра* украшаютъ простѣнки надъ дверью и надъ окномъ, и ихъ мѣсто обязываетъ ихъ принять извѣстную форму. Эти картины не приставлены къ стѣнамъ зданія; онѣ сами составляютъ часть зданія; онѣ облачаютъ зданіе такъ, какъ кожа облачаетъ тѣло. Если онѣ принадлежатъ къ архитектурѣ, то какъ-же имъ не подчиняться архитектурнымъ требованіямъ?...» «Вотъ, — объясняетъ онъ далѣе, — арка окна выгибается величественно и просто; линія этой арки благородна (noble!) и бордюра изъ лѣпныхъ украшеній сопровождаетъ ее прекрасную округлость, но мѣста по бокамъ и наверху остаются пустыми; надо ихъ наполнить, а для этого годятся только фигуры, неуступающія архитектурѣ въ полнотѣ и серьезности; лица, предающіяся увлеченію страсти, составили бы диссонансъ; здѣсь не можетъ быть мѣста беспорядку естественныхъ группъ. Надо, чтобы дѣйствующія лица выравнивались сообразно съ высотой простѣнка; наверху арки должны стоять маленькія дѣти или согнувшіяся фигуры, а по бокамъ — большія, вытянутыя во весь ростъ» \*).

А вѣдь мы право не умѣемъ цѣнить достоинствъ нашей отечественной литературы; вѣдь у насъ даже въ эстетическомъ «Эпохѣ» или въ столь-же эстетическомъ «Атенѣ» были немыслимы словоизверженія о томъ, что «la, ligne est noble» и что «les personnages s'etagent selon la hauteur du panneau». А у французовъ это, — сплошь и рядомъ, такъ что даже самый ревностный реалистъ начинаетъ конфузиться за автора только тогда, когда ему по какому-нибудь странному случаю приводится переводить эти деликатесы на русскій языкъ.

Какъ-бы то ни было, а изъ словъ Тена все-таки видно очень ясно, что истинное искусство съ величайшей готовностью превращало себя въ лакея роскоши. Художникъ подчинялся всѣмъ требованіямъ роскоши такъ рабски, что со-

глашался уродовать въ угоду имъ свои картины, соглашался разставлять группы по ражюру, — словомъ, весьма охотно проститупровалъ свою творческую мысль. Можесть-ли мыслитель сказать послѣ этого, что *истинное искусство чуждается роскоши*? Если-же мыслитель рѣшится выгнать изъ храма *истиннаго искусства* Рафаэля Санціо, то, спрашивается, кто-же останется въ этомъ храмѣ послѣ изгнанія главнаго жреца? И спрашивается еще, не превратится-ли тогда этотъ храмъ *истиннаго искусства* въ мастерскую человѣческой мысли, въ которой изслѣдователи, писатели и рисовальщики, каждый по своему, будутъ стремиться къ одной великой цѣли — къ искорененію бѣдности и невѣжества?

Въ умѣ автора «Эстетическихъ Отношеній» это превращеніе совершилось давнымъ-давно; но въ 1855 году наше общество было еще совершенно не приготовлено къ пониманію такихъ плодотворныхъ идей; поэтому автору и приходится до поры до времени оставлять въ неприкосновенности какой-то призракъ *истиннаго искусства*, въ существованіе котораго онъ, человѣкъ осмѣлившійся заговорить въ эстетическомъ трактатѣ о 10,000 франкахъ, уже никакъ не вѣритъ.

## У.

Выбрасывая архитектуру изъ храма *истиннаго искусства*, авторъ «Эстетическихъ Отношеній» не считаетъ нужнымъ даже упомянуть мимоходомъ о томъ безбрежномъ морѣ фразъ, которое изливаютъ насчетъ архитектурныхъ памятниковъ разные туристы и дилетанты, считающіе себя любителями и цѣнителями изящнаго во всѣхъ его проявленіяхъ. Авторъ совершенно правъ въ своемъ спокойномъ презрѣніи къ этимъ фразамъ; возражать противъ нихъ серьезно нѣтъ никакой возможности, а смѣяться надъ ними очень неудобно въ такомъ трудѣ, который долженъ былъ подвергнуться суду ученаго ареопага. Но такъ какъ литературные враги автора могутъ прикинуться, будто они принимаютъ его презрительное молчаніе за доказательство его невѣдѣнія или его неумѣнія опровергнуть фразерство дилетантовъ, — то я брошу здѣсь бѣглый взглядъ на несостоятельность этого фразерства.

Каждому читателю случалось конечно не разъ слышать и читать возгласы о томъ, что архитектура такого-то вѣка и такого-то народа воплотила въ себѣ всю жизнь, все міросозерцаніе, всѣ духовныя стремленія этого вѣка и этого народа. Французскіе историки и туристы особенно бойко и самоувѣренно умѣютъ читать исторію и мысли отжившихъ народовъ въ каменныхъ сводахъ, колоннахъ, портикахъ, капителяхъ, фронтонахъ и разныхъ другихъ архитектурныхъ украшеніяхъ. У этихъ господъ на

\*) «L'Italie et la vie italienne», («Revue des deux Mondes», 1865, 1 janvier.)



каждомъ шагѣ встрѣчаются выраженія: «гранитная поэма», «эпопея изъ мрамора»; эти выраженія прикладываются ими къ очень большимъ зданіямъ, вродѣ Колизея, Ватикана или собора св. Петра; еслибы они были послѣдовательны, то маленькія строенія, съ претензіями на элегантность, должны были-бы называться на ихъ фигурномъ языкѣ мадригалами изъ кирпичика или сонетами изъ дуба.

Если повѣрить этимъ господамъ на слово, то окажется, что имъ для основательнаго изученія прошедшаго совѣмъ не нужны письменные документы; они берутся угадать и рассказать вамъ всю подноготную на основаніи мраморныхъ поэмъ и гранитныхъ эпопей. Приведите такого господина въ древній греческій храмъ и предупредите его заранѣе, что это—точно греческій храмъ, вашъ господинъ сію минуту начнетъ вамъ объяснять, что во всемъ характеръ и во всѣхъ отдѣльныхъ подробностяхъ архитектуры отразилась свѣтлая и гармоническая полнота греческаго духа. И столь усладительно начнетъ онъ вамъ повѣствовать о греческомъ духѣ и такую элегическую грусть онъ на себя напустить по тому случаю, что древніе греки всё померли, и такую онъ передъ вами развернетъ картину олимпійскихъ игръ или элевзинскихъ таинствъ, что вы совѣмъ растаете и припишете все его краснорѣчіе чудотворному вліянію греческаго духа, замурованного въ стѣны, въ колонны и въ своды древняго храма. Приведите этого господина въ Алгамбру и скажите ему, что она была построена въ такомъ-то вѣкѣ такимъ-то калифомъ,—сію минуту полостью увлекусь рѣчи о пылкости арабской фантазіи. А въ готическій соборъ лучше ужъ совѣмъ не водите вашего словоохотливаго туриста,—тутъ ужъ конца не будетъ чтенію гранитныхъ поэмъ; въ каждомъ стрѣльчатомъ окошкѣ онъ будетъ усматривать выраженіе средневѣковаго идеализма, стремившагося оторваться отъ земли и улетѣть въ пространство эира. Словомъ, туристъ всегда будетъ угадывать вѣрно по той простой причинѣ, что онъ, какъ человѣкъ довольно начитанный, будетъ всегда знать заранѣе, что именно въ данномъ случаѣ должно быть угадано. Если мы знаемъ заранѣе, что такое-то зданіе было построено тогда-то, такимъ-то человѣкомъ, для такого-то употребленія, то, разумѣется, входя въ это зданіе, мы невольно вспоминаемъ о томъ, какъ жилъ этотъ человѣкъ, что онъ дѣлалъ, что онъ думалъ. А такъ какъ большинство людей не умѣетъ анализировать свои собственные впечатлѣнія, то этимъ людямъ и кажется, что ихъ воспоминація расшевеливаются въ нихъ именно самой *формой* зданія, и что слѣдовательно эта форма находится въ необходимой внутренней связи съ жизнью, съ дѣятельностью и съ образомъ мыслей того человѣка, о которомъ приходится вспоминать.

Несостоятельность этого мнѣнія можетъ быть доказана совершенно очевидно и осязательно посредствомъ анализа нѣкоторыхъ другихъ, совершенно аналогическихъ процессовъ нашей мысли. Показываютъ вамъ напримѣръ картину, на которой нарисовано нѣсколько мужчинъ и нѣсколько женщинъ; фیزیономіи у нихъ очень молодыя, но волосы — бѣлые, какъ снѣгъ; вы конечно тотчасъ соображаете, что они напудрены, и мысль ваша немедленно переносится въ XVIII столѣтіе. Пудра и XVIII столѣтіе — два представленія, неразрывно связанные между собой въ нашемъ умѣ; мы знаемъ, что мода эта существовала именно тогда; мы знаемъ, что она не существовала ни въ какое другое время; мы видѣли множество картинъ и портретовъ, на которыхъ люди XVIII вѣка представлены съ напудренными головами, и такимъ образомъ мы совершенно незамѣтно и нечувствительно привыкли къ той мысли, что пудра дѣйствительно характеризуетъ собой XVIII столѣтіе. Но кто же въ самомъ дѣлѣ рѣшится утверждать, что эта странная мода находится въ необходимой внутренней связи съ жизнью, съ дѣятельностью и съ образомъ мыслей тогдашнихъ людей? Въ этой модѣ есть конечно одна черта, характеризующая собой тогдашнее общество; но эту черту мы находимъ во многихъ другихъ модахъ; эта черта заключается въ искусственности и вычурности этой моды; эта искусственность и вычурность показываютъ намъ, что преобладающимъ значеніемъ пользовалось въ тогдашней Европѣ сословіе совершенно праздное, которое отъ нечего дѣлать принимало съ восторгомъ самыя нелѣпыя выдумки парикмахеровъ и другихъ законодателей моды. Но почему искусственность и вычурность проявились при Людовикѣ XV въ посыпаніи головы бѣлымъ порошкомъ; а при Людовикѣ XIV—въ ношеніи огромныхъ париковъ,—этого ни одинъ мыслитель въ мірѣ не объяснитъ намъ общими причинами, заключавшимися въ духѣ времени и народа. Конечно и пудра, и парики имѣютъ свою причину, но причину такую мелкую, частную и случайную, которая можетъ быть интересною только для собирателя историческихъ анекдотовъ.

То-же самое можно сказать и объ архитектурныхъ памятникахъ. То обстоятельство, что въ данное время строилось въ данной странѣ значительное количество бесполезныхъ и великолѣпныхъ зданій, доказываетъ конечно, что въ данной странѣ были въ данное время такіе люди, которые сосредоточивали въ своихъ рукахъ огромные капиталы или по какимъ-нибудь другимъ причинамъ могли располагать по своему благоусмотрѣнію громадными массами дешеваго труда. А по этой канвѣ политической и социальной безалаберщины пылкая фантазія архитекторовъ и декораторовъ, подогрѣваемая хорошимъ жалованіемъ или страхомъ наказанія,

конечно должна была вышивать самые величественные и самые пестрые узоры; но видѣть въ этихъ узорахъ проявленіе народнаго міросозерцанія, а не индивидуальной фантазіи, — позволительно только тѣмъ туристамъ, которые серьезно разсуждаютъ о благородствѣ круглой арки или о возвышенности стрѣльчатого окна.

## VI.

Бросивъ бѣглый взглядъ на скульптуру и на живопись, авторъ «Эстетическихъ отношеній» переходитъ къ тому выводу, что «произведенія того и другаго искусства, по многимъ и существеннѣйшимъ элементамъ (по красотѣ очертаній, по абсолютному совершенству исполненія, по выразительности и т. д.), неизмѣримо ниже природы и жизни». Доказательства въ пользу этого положенія авторъ беретъ отчасти изъ личныхъ впечатлѣній, отчасти изъ анализъ тѣхъ необходимыхъ отношеній, которыя существуютъ между идеаломъ художника и живою действительностью. «Мы должны сказать, — говоритъ авторъ, — что въ Петербургѣ нѣтъ ни одной статуи, которая по красотѣ очертаній лица не была-бы гораздо ниже безчисленнаго множества живыхъ людей, и что надобно только пройти по какой-нибудь многолюдной улицѣ, чтобы встрѣтить нѣсколько такихъ лицъ. Въ этомъ согласится большая часть тѣхъ, которые привыкли думать самостоятельно.»

Такъ какъ авторъ сказалъ уже въ самомъ началѣ своего разсужденія, что «прекрасно есть жизнь», и такъ какъ красота статуй заключается не въ жизни, то-есть не въ выраженіи лица, а въ строгой правильности очертаній и въ совершенной соразмѣрности частей, то, разумѣется, каждое неизуродованное и умное лицо живого человѣка оказывается гораздо красивѣе всевозможныхъ мраморныхъ или мѣдныхъ лицъ. Только въ этомъ смыслѣ и могутъ быть поняты слова автора, потому что иначе трудно было-бы себѣ представить, какимъ образомъ въ Петербургѣ, который, какъ извѣстно, вовсе не славится красотой своихъ обитателей, могутъ встрѣчаться на каждой многолюдной улицѣ по нѣсколько лицъ, болѣе прекрасныхъ, чѣмъ лица статуй Кановы. Мое предположеніе подтверждается тѣмъ обстоятельствомъ, что авторъ говоритъ о «красотѣ очертаній», а не о «правильности». Очевидно, что *правильность* не имѣетъ въ его глазахъ почти никакого значенія. Обидѣлъ скульптора авторъ говорить, что онъ «никакъ не можетъ быть по красотѣ выше тѣхъ живыхъ людей, которыхъ имѣлъ случай видѣть художникъ. Силы творческой фантазіи очень ограничены: она можетъ только комбинировать впечатлѣнія, полученные изъ опыта.»

Противъ этой очевидной истины могутъ спорить только неисправимые идеалисты, способ-

ные до сихъ поръ принимать за чистую монету разсказы о томъ, что «художники, какъ боги, входятъ въ зевсовы чертоги и, читая мысль его, видятъ въ вѣчныхъ идеалахъ то, что смертнымъ въ доляхъ малыхъ открываетъ божество». Кто не вѣритъ въ прогулки художниковъ по чертогамъ Зевса и кто не признаетъ существованія врожденныхъ идей, тотъ конечно долженъ согласиться, что художникъ, подобно всѣмъ остальнымъ смертнымъ, почерпаетъ изъ опыта все свое внутреннее содержаніе и слѣдовательно всѣ мотивы своихъ художественныхъ произведеній.

Говоря о живописи, авторъ обращаетъ вниманіе на несовершенство ея техническихъ средствъ. «Краски ея, — говоритъ онъ, — въ сравненіи съ цвѣтомъ тѣла и лица — грубое, жалкое подражаніе; вмѣсто нѣжнаго тѣла, она рисуетъ что-то зеленоватое или красноватое.» «Руки человѣческія грубы, — говоритъ онъ далѣе, — и въ состояніи удовлетворительно сдѣлать только то, для чего не требуется слишкомъ удовлетворительной отдѣлки; «топорная работа» — вотъ настоящее имя всѣхъ пластическихъ искусствъ, какъ скоро сравнимъ ихъ съ природой.» Къ ландшафтной живописи авторъ также относится безъ малѣйшаго благоговѣнія. Онъ сомнѣвается въ томъ, чтобы живопись могла лучше самой природы сгруппировать пейзажъ, и говоритъ, что «человѣкъ съ неиспорченнымъ эстетическимъ чувствомъ наслаждается природой въполнѣ, не находитъ недостатковъ въ ея красотѣ.»

Говоря о музыкѣ, авторъ прежде всего отдѣляетъ вокальную музыку отъ инструментальной. Потомъ, разсматривая вокальную музыку или пѣніе, онъ отдѣляетъ естественное пѣніе отъ искусственнаго. Естественнымъ онъ называетъ то пѣніе, которое возникаетъ у человѣка само собой, въ минуту радости или грусти, изъ потребности излить накопившееся чувство, а вовсе не изъ стремленія къ прекрасному. Это естественное пѣніе авторъ считаетъ произведеніемъ практической жизни, а не произведеніемъ искусства. Искусственное пѣніе, по мнѣнію автора, прекрасно въ той мѣрѣ, въ какой оно приближается къ естественному. А инструментальная музыка въ свою очередь прекрасна настолько, насколько она приближается къ вокальной. «Послѣ того, — говоритъ авторъ, — мы имѣемъ право сказать, что въ музыкѣ искусство есть только слабое воспроизведеніе явленій жизни, независимыхъ отъ стремленія нашего къ искусству.»

Въ поэзіи авторъ находитъ тотъ неизбѣжный недостатокъ, что ея образы всегда оказываются блѣдными и неопредѣленными, когда мы начинаемъ ихъ сравнивать съ живыми явлениями. «Образъ въ поэтическомъ произведеніи, — говоритъ авторъ, — точно такъ-же относится къ действительному, живому образу, какъ слово

относится къ дѣйствительному предмету, имъ обозначаемому, — это не болѣе, какъ блѣдный и общій, неопредѣленный намекъ на дѣйствительность.»

Кто усомнится въ вѣрности этой мысли, тому я могу предложить слѣдующее доказательство. Извѣстно, что высшій родъ поэзіи — драма; извѣстно, что лучшія драмы въ мірѣ написаны Шекспиромъ; вышѣ шекспировскихъ драмъ въ поэзіи нѣтъ ничего; стало-быть, если образы шекспировскихъ драмъ окажутся блѣдными и неопредѣленными намеками на дѣйствительность, то о всѣхъ остальныхъ поэтическихъ произведеніяхъ нечего будетъ и говорить. Но всякій знаетъ, что всѣ драмы, въ томъ числѣ и драмы Шекспира, достигаютъ нѣкоторой опредѣленности, приближающей ихъ къ дѣйствительности, только тогда, когда онѣ играются на сценѣ; всякій знаетъ далѣе, что играть удовлетворительнымъ образомъ шекспировскія роли могутъ только замѣчательные актеры; значитъ, необходима цѣлая новая отрасль искусства для того, чтобы придать поэтическимъ образамъ нѣкоторую опредѣленность; значитъ, необходимы умъ, талантъ и образованіе для того, чтобы понимать, комментировать *блѣдные и неопредѣленные намеки на дѣйствительность*. Это пониманіе и комментированіе составляютъ всю задачу талантливаго актера, и удовлетворительнымъ рѣшеніемъ этой задачи актеръ пріобрѣтаетъ себѣ всемірную извѣстность. Стало-быть, задача дѣйствительно очень трудна и намеки дѣйствительно *блѣдны и неопредѣленны*. Но это еще не все. Всякому извѣстно, что одна и та-же роль играется различными актерами совершенно различно и между тѣмъ одинаково удовлетворительно. Одинъ понимаетъ характеръ дѣйствующаго лица такъ, другой — иначе, третій — опять по своему, и если всѣ они одинаково талантливы, то самый внимательный и требовательный зритель останется совершенно доволенъ; значитъ, всѣ понимаютъ вѣрно и, значитъ, поэтический образъ уподобляется неопредѣленному уравненію, которое, какъ извѣстно, допускаетъ множество различныхъ рѣшеній. Послѣ этого, мнѣ кажется, трудно сомнѣваться въ томъ, что поэзія по самой сущности своей можетъ давать только блѣдные и неопредѣленные намеки на дѣйствительность.

Перебравъ такимъ образомъ всѣ искусства, авторъ приходитъ къ тому общему заключенію, что прекрасное въ живой дѣйствительности всегда стоитъ выше прекраснаго въ искусствѣ. Если слѣдовательно искусство не можетъ создавать такихъ чудесъ красоты, какихъ не бываетъ въ дѣйствительности, то, спрашивается, что же оно должно дѣлать? Оно должно по мѣрѣ своихъ силъ воспроизводить дѣйствительность. — Что именно оно должно воспроиз-

дѣять? — Все, что есть *интереснаго* для человѣка въ жизни. — Для чего нужно это воспроизведеніе? — На этотъ послѣдній вопросъ авторъ отвѣчаетъ такъ: «потребность, рождающая искусство, въ эстетическомъ смыслѣ слова (изящныя искусства), есть та-же самая, которая очень ясно высказывается въ портретной живописи. Портретъ пишется не потому, чтобы черты живого человѣка не удовлетворяли насъ, а для того, чтобы помочь нашему воспоминанію о живомъ человѣкѣ, когда его нѣтъ передъ нашими глазами, и дать о немъ нѣкоторое понятіе тѣмъ людямъ, которые не имѣли случая его видѣть. Искусство только напоминаетъ намъ своими воспроизведеніями о томъ, что интересно для насъ въ жизни, и старается до нѣкоторой степени познакомить насъ съ тѣми интересными сторонами жизни, которыхъ не имѣли мы случая испытать или наблюдать въ дѣйствительности.»

Если художникъ долженъ знакомить насъ съ *интересными* сторонами жизни, то очевидно онъ самъ долженъ быть настолько мыслящимъ и развитымъ человѣкомъ, чтобы уметь отдѣлать интересное отъ неинтереснаго. Въ противномъ случаѣ онъ потратитъ весь свой талантъ на рисованіе такихъ мелочей, въ которыхъ нѣтъ никакого живого смысла, и всѣ мыслящіе люди отнесутся къ его произведенію съ улыбкой состраданія, хотя-бы даже мелочи, выбранныя художникомъ, были воспроизведены превосходно. «Содержаніе, — говоритъ авторъ, — достойное вниманія мыслящаго человѣка, одно только въ состояніи избавить искусство отъ упрека, будго оно — пустая забава, чѣмъ оно и дѣйствительно бываетъ чрезвычайно часто: художественная форма не спасетъ отъ презрѣнія или сострадательной улыбки произведеніе искусства, если оно важностью своей идеи не въ состояніи дать отвѣта на вопросъ: да стоило ли трудиться надъ подобными пустяками? Безполезное не имѣетъ права на уваженіе. Человѣкъ — самъ себѣ цѣль; но дѣла человѣка должны имѣть цѣль въ потребностяхъ человѣка, а не въ самихъ себѣ.» Напирая на ту мысль, что искусство воспроизводитъ и должно воспроизводить не только прекрасное, но вообще интересное, авторъ со справедливымъ негодованіемъ отзывается о томъ ложномъ розовомъ освѣщеніи, въ которомъ является дѣйствительная жизнь у поэтовъ, подчиняющихся предписаніямъ старой эстетики и усердно наполняющихъ свои произведенія разными *прекрасными* картинами, то-есть описаніями природы и сценами любви. «Привѣчка изображать любовъ, любовь и вѣчно любовь, — говоритъ авторъ, — заставляетъ поэтовъ забывать, что жизнь имѣетъ другія стороны, гораздо болѣе интересующія человѣка; вообще вся поэзія и вся изображаемая въ ней жизнь принимаютъ какой-то

сантиментальный, розовый колоритъ; вмѣсто серьезнаго изображенія человѣческой жизни, произведенія искусства представляютъ какой то слишкомъ юный (чтобы удержаться отъ болѣе точныхъ эпитетовъ) взглядъ на жизнь, и поэтъ является обыкновенно молодымъ, очень молодымъ юношей, котораго рассказы интересны только для людей того же нравственнаго или физиологическаго возраста.»

Весь смыслъ и вся тенденція «Эстетическихъ Отношеній» концентрируются въ слѣдующихъ превосходныхъ словахъ автора: «наука не думаетъ быть выше дѣйствительности; это не стыдъ для нея. Искусство также не должно думать быть выше дѣйствительности; это не унижительно для него. Наука не стыдится говорить, что цѣль ея—понять и объяснить дѣйствительность, потомъ примѣнить къ пользѣ человѣка свои объясненія; пусть искусство не стыдится признаться, что цѣль его: для вознагражденія человѣка, въ случаѣ отсутствія политическаго эстетическаго наслажденія, доставляемаго дѣйствительностью,—воспроизвести, помѣръ силъ, эту драгоценную дѣйствительность и ко благу человѣка объяснить ее. Пусть искусство довольствуется своимъ высокимъ, прекраснымъ назначеніемъ: въ случаѣ отсутствія дѣйствительности—быть въ которой замѣной ея и быть для человѣка учебникомъ жизни.»

## VII.

Познакомившись съ содержаніемъ «Эстетическихъ Отношеній», мы посмотримъ теперь, какое направленіе должна была принять критика, построенная на тѣхъ теоретическихъ основаніяхъ, которыя заключаетъ въ себѣ эта книга. «Эстетическія Отношенія» говорятъ, что искусство ни въ какомъ случаѣ не можетъ создавать свой собственный міръ, и что оно всегда принуждено ограничиваться воспроизведеніемъ того міра, который существуетъ въ дѣйствительности. Это основное положеніе обязываетъ критика разсматривать каждое художественное произведеніе непременно въ связи съ той жизнью, среди которой и для которой оно возникло. Налагая на критика эту обязанность, «Эстетическія Отношенія» ограждаютъ его отъ опасности забрести въ пустыню стариннаго идеализма. Замѣтъ «Эстетическія Отношенія» предоставляютъ критику политическую свободу. Роль критика, проникнутаго мыслями «Эстетическихъ Отношеній», состоитъ совсѣмъ не въ томъ, чтобы прикладывать къ художественнымъ произведеніямъ различные статьи готоваго эстетическаго кодекса. Вмѣсто того чтобы исправлять должность безличнаго и безпристрастнаго блюстителя неподвижнаго закона, критикъ превращается въ живого человѣка, который вноситъ и обязанъ вносить въ свою дѣятельность все свое личное міросозерцаніе, весь свой индивидуальный харак-

теръ, весь свой образъ мыслей, всю совокупность своихъ человѣческихъ и гражданскихъ убѣжденій, надеждъ и желаній. «Искусство, — говоритъ авторъ, — воспроизводитъ все, что есть интереснаго для человѣка въ жизни.» Но что именно интересно и что не интересно? Этотъ вопросъ не рѣшенъ въ «Эстетическихъ Отношеніяхъ», и онъ ни подъ какимъ видомъ не можетъ быть рѣшенъ разъ навсегда; каждый критикъ долженъ рѣшать его по своему, и будетъ рѣшать его такъ или иначе, смотря по тому, чего онъ требуетъ отъ жизни и какимъ образомъ онъ понимаетъ характеръ и потребности своего времени. «Содержаніе, — говоритъ авторъ, — достойное вниманія мыслящаго человѣка, одно только въ состояніи избавить искусство отъ упрека, будто-бы оно — пустая забава». — Что такое мыслящій человѣкъ? Что именно достойно вниманія мыслящаго человѣка? Эти вопросы опять-таки должны рѣшаться каждымъ отдѣльнымъ критикомъ. А между тѣмъ отъ рѣшенія этихъ вопросовъ зависитъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, приговоръ критика надъ художественнымъ произведеніемъ. Рѣшивши, что содержаніе неинтересно или, другими словами, недостойно вниманія мыслящаго человѣка, критикъ, основываясь на подлинныхъ словахъ автора «Эстетическихъ Отношеній», имѣетъ полное право посмотреть на данное произведеніе искусства съ презрѣніемъ или съ сострадательной улыбкой. Положимъ теперь, что одинъ критикъ посмотритъ на художественное произведеніе съ презрѣніемъ, а другой — съ восхищеніемъ. Столкнувшись такимъ образомъ въ своихъ сужденіяхъ, они затѣваютъ между собой споръ. Одинъ говоритъ: содержаніе неинтересно и недостойно вниманія мыслящаго человѣка. Другой говоритъ: интересно и достойно. Само собой разумѣется, что споръ между этими двумя критиками съ самаго начала будетъ происходить совсѣмъ не на эстетической почвѣ. Они будутъ спорить между собой о томъ, что такое — мыслящій человѣкъ, что долженъ этотъ человѣкъ находить достойнымъ своего вниманія, какъ долженъ онъ смотрѣть на природу и на общественную жизнь, какъ долженъ онъ думать и дѣйствовать. Въ этомъ спорѣ они принуждены будутъ развернуть все свое міросозерцаніе; имъ придется заглянуть и въ естествознаніе, и въ исторію, и въ социальную науку, и въ политику, и въ нравственную философію, но объ искусствѣ между ними не будетъ сказано ни одного слова, потому что смыслъ всего спора будетъ заключаться въ *содержаніи*, а не въ *формѣ* художественнаго произведенія. Именно потому, что оба критика будутъ спорить между собой не о формѣ, а о содержаніи, именно потому, что они такимъ образомъ будутъ оба признавать, что содержаніе важнѣе формы, — именно поэтому они оба спаянутся адентами то-

го учения, которое изложено въ «Эстетическихъ Отношеніяхъ». И ни одинъ изъ обоихъ критиковъ не будетъ имѣть права упрекать своего противника въ отступничество отъ основныхъ истинъ этого учения; оба они будутъ стоять одинаково твердо на почвѣ общей доктрины и будутъ расходиться между собой въ тѣхъ именно вопросахъ, которые эта доктрина сознательно и систематически предоставляетъ въ полное распоряженіе каждой отдѣльной личности.

Доктрина «Эстетическихъ Отношеній» именно тѣмъ и замѣчательна, что, разбивая оковы старыхъ эстетическихъ теорій, она совсѣмъ не замѣняетъ ихъ новыми оковами. Эта доктрина говоритъ прямо и рѣшительно, что право произносить окончательный приговоръ надъ художественными произведеніями принадлежитъ не эстетикѣ, который можетъ судить только

о формѣ, а мыслящему человѣку, который судитъ о содержаніи, то-есть о явленіяхъ жизни. О томъ, каковъ долженъ быть мыслящій человѣкъ, «Эстетическія Отношенія», разумѣется, не говорятъ и не могутъ сказать ни одного слова, потому что этотъ вопросъ совершенно выходитъ изъ предѣловъ той задачи, которую они рѣшаютъ. Стало-быть, расходясь между собой въ вопросѣ о мыслящемъ человѣкѣ, критики имѣютъ ни малѣйшаго основанія ссылаться на «Эстетическія Отношенія». Это было-бы также остроумно, какъ еслибы кто-нибудь въ спорѣ о косвенныхъ налогахъ сталъ ссылаться на учебникъ математической географіи. Математическая географія — наука очень почтенная, но въ рѣшеніи социальныхъ вопросовъ она совершенно некомпетентна.

## ШКОЛА И ЖИЗНЬ.

### I.

Представьте себѣ, что вы входите въ москотильную лавку и требуете какого-нибудь снадобья для истребленія таракановъ и клоповъ; вамъ подаютъ стеклянку, наполненную жидкостью неопредѣленного цвѣта; вы спрашиваете, какъ употребляется эта жидкость? «Надо, — отвѣчаетъ вамъ купецъ, — поймать таракана или клопа и капнуть ему изъ этой стеклянки на голову. Черезъ полчаса послѣ этой операции онъ непременно издохнетъ». — Выслушавъ эту инструкцію, вы вѣроятно подумаете, что купецъ принимаетъ васъ за идіота и смѣется надъ вами въ глаза. Вы вѣроятно сообразно, что жидкость, дѣйствующая такимъ образомъ, совершенно безполезна, потому что когда тараканъ пойманъ, тогда его можно истребить безо всякой жидкости. — Не знаю, существуютъ-ли на свѣтѣ москотильщики, способные давать своимъ покупателямъ подобныя наставленія, но знаю навѣрное, что очень многіе добродушные писатели, стремящіеся обновить и возродить общество силой великихъ идей, предлагаютъ своимъ читателямъ точъ-въ-точъ такіе совѣты касательно этого будущаго обновленія и возрожденія. Если вы хотите провести въ жизнь ваши плодотворныя идеи, говорятъ эти писатели, старайтесь реформировать воспитаніе; если хотите искоренить въ обществѣ вредные предрассудки, старайтесь прежде всего охранить отъ этихъ предрассудковъ подрастающее поколѣніе. Словомъ, дѣйствуйте на школу для того, чтобы подѣйствовать на жизнь. Именно такъ: поймайте таракана, облейте ему голову вашей жидкостью, и тогда онъ навѣрное издохнетъ черезъ

полчаса. Добродушные писатели, мечтающіе о торжествѣ новыхъ идей посредствомъ школы, выпускаютъ изъ виду только одно крошечное обстоятельство, именно то, что школа вездѣ и всегда составляетъ самую крѣпкую и неприступную цитадель всевозможныхъ традицій и предрассудковъ, мѣшающихъ обществу мыслить и жить сообразно съ его дѣйствительными потребностями. Всѣ члены общества, питающіе искреннюю или притворную нѣжность къ традиціямъ и къ предрассудкамъ, охраняютъ школу отъ вліянія новыхъ идей такъ-же старательно, какъ старая нянька охраняетъ своего питомца отъ дурного глаза. Всѣ безкорыстные или корыстные приверженцы укоренившихся заблужденій понимаютъ какъ нельзя лучше, что если новая идея заберется въ школу и успѣетъ въ ней утвердиться, тогда эта новая идея по простествіи двухъ-трехъ десятилѣтій, а можетъ-быть и раньше, охватитъ своимъ вліяніемъ всѣ жизненныя отправления и стремленія общества. Этому они, разумѣется, будутъ сопротивляться всѣми силами, и ихъ сопротивленіе будетъ необходимо до тѣхъ поръ, пока численный перевѣсъ будетъ на ихъ сторонѣ, то-есть пока пассивное и безгласное большинство будетъ по старой привычкѣ считать ихъ софизмы за выраженія чистѣйшей истины. Такимъ образомъ не трудно понять, что овладѣть школой и перестроить воспитаніе можетъ только та идея, которая давно перешла въ наступательное положеніе и одержала рѣшительную побѣду въ сознаніи самого общества, а совсѣмъ не та идея, которая, по своей крайней молодости, принуждена еще бороться

ся за свое собственное существование. Когда уже школа, тогда борьба кончена, победа упрочена, тараканъ пойманъ... Взятие школы составляетъ важнейшій результатъ и драгоценнѣйшій плодъ победы, а никакъ не первыи актъ борьбы. Взять школу — значитъ упрочить господство своей идеи надъ обществомъ. Но мечтать о томъ, чтобы черезъ школу пробить себѣ дорогу въ жизнь, — черезъ воспитаніе пересоздать общество, — это значитъ принимать окончательный результатъ за вспомогательное средство, компрометировать свою идею безтактными попытками, обречь самого себя на вѣчное безсиліе и тратить жизнь на маниловскія фантазіи о великолѣпныхъ мостахъ съ каменными лавками. Это еще нелѣпе, чѣмъ истреблять таракановъ по рецепту моего вымышленнаго москотильщика. Поймать таракана все-таки возможно, хотя и нелѣпо ловить его для того, чтобы мочить ему голову; а перестраивать воспитаніе, не передѣлавши предварительно основныя понятія общества, — нѣтъ даже ни малѣйшей возможности.

Само собой разумѣется, что со временемъ послѣдовательный реализмъ, то-есть строго-научный и совершенно трезвый взглядъ на природу, на человѣка и на общество, силой своей собственной разумности одержитъ непремѣнную рѣшительную победу надъ всѣми произвольными построениями празднои фантазіи. Фантастическій элементъ, вытѣсненный изъ жизни и міросозерцанія общества, конечно не удержится и въ школѣ. Система воспитанія сложится по тому же принципу, которымъ будутъ проникнуты всѣ остальные отправления общественной жизни. Съ такому порядку вещей идетъ вся образованная Европа; вслѣдъ за нашими европейскими учителями, мы также волей или неволей тянемся къ тому же самому результату, по извѣстной пословицѣ: «куда конь съ копытомъ, туда и ракъ съ клешней». Этотъ окончательный результатъ неизбеженъ, но мы придемъ къ нему еще не очень скоро. Невѣжество, умственная робость, неповоротливость и вялость нашихъ такъ называемыхъ образованныхъ, соотечественниковъ окружаютъ насъ со всѣхъ сторонъ такими непроницаемыми дѣвственными лѣсами, въ которыхъ могутъ гнѣздиться совершенно безпрепятственно втеченіи цѣлаго столѣтія всевозможныя фантастическія нелѣпости. При существованіи этихъ нетронутыхъ лѣсовъ, въ которые не заглядывалъ до сихъ поръ ни одинъ лучъ строго-научнаго, положительнаго мышленія, нечего и думать о томъ, чтобы проводить въ общественное воспитаніе принципъ послѣдовательнаго реализма. Еслибы даже само правительство, при всѣхъ своихъ громадныхъ средствахъ дѣйствовать на общество, взялось за эту задачу, то и тогда задача оказалась-бы неразрѣшимой. Попавши въ наши учебныя за-

веденія, послѣдовательный реализмъ быстро принялъ-бы въ себя такое множество нереальныхъ ингредиентов самаго сомнительнаго достоинства, что въ общемъ итогѣ получилась-бы такая же бессмысленная смѣсь *французскаго съ нижегородскимъ*, какая господствовала въ свѣтскихъ манерахъ высшаго общества «времена Очакова и покоревья Крыма». Второстепенныи и третестепенныи исполнители реальнѣйшихъ предписаній оказались-бы въ большей части случаевъ такъ-же хорошо приготовленными къ своей новой роли, какъ хорошо приготовлены чины земской полиціи къ собиранію статистическихъ матеріаловъ и къ засѣданію въ статистическихъ международныхъ конгрессахъ. Имѣя въ виду эти печальныя истины, въ которыхъ могутъ сомнѣваться только очень наивные оптимисты, «Русское Слово», какъ извѣстно нашимъ читателямъ, созерцало съ невозмутимымъ равнодушіемъ великую и славную борьбу нашихъ классиковъ съ нашими такъ называемыми реалистами, которыхъ «Русское Слово», по праву сказать, даже и не признаетъ за настоящихъ реалистовъ. Втеченіи послѣднихъ трехъ лѣтъ, когда эта борьба находилась въ самомъ разгарѣ, «Русское Слово» всего только два раза коснулось вопроса о нашемъ общественномъ образованіи: въ первый разъ въ 1863 году — посредствомъ статьи «Наша университетская наука»; во второй разъ въ 1865 году — посредствомъ статьи «Педагогическіе софизмы». Обѣ эти статьи держатся на чисто отрицательной точкѣ зрѣнія и посвящены систематическому разоблаченію педагогическаго шарлатанства и доморощенной бездарности. Обѣ влоняются не къ тому, чтобы исправить существующіе недостатки — такая наивная претензія заключала-бы въ себѣ слишкомъ много младенческой неопытности и самонадѣянности, — а къ тому, чтобы предостеречь отъ этихъ недостатковъ тѣхъ юныхъ и довѣрчивыхъ людей, которые способны восхищаться шарлатанами и благоговѣть передъ бездарностями.

Еще въ 1863 году «Русское Слово» выражало очень опредѣленнымъ образомъ то мнѣніе, что наши учебныя заведенія очень плохи и очень долго останутся еще въ своемъ неудовлетворительномъ положеніи, потому что ихъ недостатки зависятъ не отъ какихъ нибудь частныхъ несовершенствъ гимназическаго устава, а отъ невѣрности того основнаго понятія, которое общество составляетъ себѣ о цѣли общаго образованія. Въ послѣдніе два года это основнаго понятіе немогло измѣниться, и дѣйствительно насколько не измѣнилось. Поэтому и «Русское Слово» естественнымъ образомъ остается при своемъ прежнемъ убѣжденіи. Нисколько не сочувствуя классицизму, мы однако нисколько не сокрушаемся о томъ, что гимназическій уставъ рѣшилъ вопросъ о нашемъ общественномъ обра-



зованіи въ пользу классическихъ гимназій. Если-бы вопросъ былъ рѣшенъ въ пользу реальныхъ гимназій, то эти гимназіи во всякомъ случаѣ были-бы реальными только по своему названію, и ихъ реализмъ могъ-бы показаться вполне удовлетворительнымъ только для скромныхъ и невзыскательныхъ публицистовъ «Голоса». Намъ такой реализмъ нисколько не прельщаетъ; а такъ какъ реализмъ болѣе чистой пробы долго еще не проникнетъ въ наши школы, то мы считаемъ совершенно лишнимъ дѣломъ ратовать противъ неизбѣжнаго хода вещей, который можетъ быть исправленъ только дѣйствіемъ и добросовѣстной работой мысли, направленной не на специальный педагогическій вопросъ, а на общіе вопросы общественнаго міросозерцанія. Намъ очень жаль, что наша учащаяся молодежь можетъ тратить, пожалуй, непроизводительнымъ образомъ значительную часть того времени, которое она проводитъ въ школѣ или употребляетъ на заучиваніе уроковъ. Но съ этой тратой времени мы готовы помириться. Мы видимъ и знаемъ, что очень многіе молодые люди по окончаніи полного учебнаго курса принимаются очень серьезно за свое самообразование, начинаютъ свою работу, если не съ азбуки, то во всякомъ случаѣ съ ариметики, и, благодаря усиленнымъ трудамъ, успѣваютъ дѣлаться мыслящими людьми, послѣдовательными реалистами и полезными гражданами. Значитъ, заплативши въ своемъ отрочествѣ и въ своей первой молодости тяжелую дань неразвитому обществу, то-есть, истративъ лѣтъ десять на бесполезныя учебныя занятія, человекъ еще сохраняетъ въ себѣ достаточное количество энергии и умственной свѣжести на то, чтобы выработать себѣ самостоятельныя понятія о жизни. Значитъ, школа не убила въ человекѣ ни здраваго смысла, ни любознательности, ни трудолюбія. И за то спасибо. За неимѣніемъ лучшаго, и въ ожиданіи этого лучшаго съ существующими школами можно совершенно помириться на слѣдующемъ простомъ и скромномъ условіи: пусть школа поглощаетъ время воспитанниковъ, не давая имъ за это время прямо полезныхъ знаній, но пусть она по крайней мѣрѣ не посягаетъ на ихъ здоровье. — *Неприкосновенность здоровья* — вотъ, по моему мнѣнію, то единственное условіе, на исполненіи котораго есть возможность настаивать въ настоящее время, имѣя дѣло съ нашими учебными заведеніями. Пожалуй, можно было-бы придумать очень много другихъ требованій, но навѣрное можно сказать, что большая часть ихъ при нынѣшнихъ обстоятельствахъ можетъ остаться неисполнимой.

Вы смущены, мой читатель, и быть-можетъ даже разсержены. *Неприкосновенность здоровья* — это требованіе до такой степени кроткой и скромно, что вы даже никакъ не рѣшаетесь принять его за чистую монету. Въ моихъ кроткихъ и

скромныхъ словахъ вы подозреваете или дерзкую насмѣшку, или отчаянный парадоксъ, или вообще какую-нибудь затаенную пакость. Развѣ, размышляете вы съ негодованіемъ, теле-решнія школы посягаютъ на здоровье воспитанниковъ? И съ какой-же стати, продолжаете вы, ставить такое требованіе, которое и безъ того исполняется всеми школами безъ исключеній? Нѣтъ, рѣшаете вы, это не спраста. Тутъ что-нибудь да не такъ. Навѣрное тутъ какой-нибудь «крокодилъ на дѣлѣ лежитъ» \*).

Успокойтесь, читатель. Въ требованіи моемъ нѣтъ никакихъ злокачественныхъ фокусовъ, и требованіе это къ сожалѣнію не можетъ считаться анахронизмомъ не только у насъ, но даже и въ западной Европѣ. Выдвигая это требованіе на первый планъ, я повторяю только слова европейскихъ медиковъ. Мало того: напирая на эту мысль, я поддерживаю такія мнѣнія, которыя очень опредѣленнымъ образомъ были выражены даже въ нашей литературѣ, но которыя, по непростительной небрежности нашихъ толстыхъ журналовъ и ежедневныхъ газетъ, были оставлены до сихъ поръ безъ вниманія всеми наиболѣе распространенными органами нашей печати. «Давно уже, — пишутъ въ «Учителѣ», — замѣченъ тотъ фактъ, что школа имѣетъ на дѣтей особенное влияние, рѣзче вызывающееся въ физическомъ отношеніи. Вліяніе это выражается въ томъ, что прежняя свѣжесть, бодрость и цвѣтущее здоровье дѣтей смѣняются вялостью, истомленностью и болѣзненностью. Нѣкоторыя даже перестаютъ расти; большинство теряетъ свою прежнюю беззаботную веселость и смотритъ какъ-то угрюмо и боязливо. Вліяніе это нерѣдко отражается и въ умственномъ отношеніи: дѣти тупѣютъ, теряютъ прежнюю даровитость и взамѣстъ ея приоб-рѣтаютъ какую-то болѣзненную нервную раздражительность, признаки слабосилія. Поэтому не совсѣмъ неправы тѣ, которые говорятъ о вырожденіи человѣческаго рода подъ губительнымъ вліяніемъ школы и воспитанія.» («Учитель», 1865 г. № 9, стр. 316.)

Картина нарисована чрезвычайно вѣрно. Она пугаетъ насъ, когда мы встрѣчаемся съ ней въ книгѣ; но къ сожалѣнію въ дѣйствительной жизни мы такъ приглядѣлись къ ся уродливымъ подробностямъ, что почти совершенно потеряли способность чувствовать и понимать ее глубокую и возмутительную ненормальность. Случается очень часто, что рѣзвый и веселый ребенокъ, помѣщенный въ учебное заведеніе, скучается, тоскуетъ и плачетъ въ продолженіи нѣсколькихъ недѣль послѣ своего поступленія. Мы находимъ съ свойственнымъ намъ философскимъ глубокомысліемъ, что эта продолжительная грусть, противорѣчащая всему основному

\*) Стихъ Батюшкова.

характеру юнаго субъекта, совершенно естественна; мы говоримъ, что иначе и быть не можетъ, что ребенокъ тоскуетъ о своихъ родителяхъ, о своихъ ребяческихъ забавахъ, о всей обстановкѣ своей домашней жизни, съ которой ему во всякомъ случаѣ необходимо разстаться рано или поздно. Мы соображаемъ кромѣ того, что ребенокъ лѣнится, и что вслѣдствіе этого на его преступныя слезы не должно обращать ни малѣйшаго вниманія. Во время нашихъ глубокомысленныхъ соображеній насъ нисколько не смущаетъ то обстоятельство, что ребенокъ не былъ лѣнивъ въ родительскомъ домѣ, и что учебное заведеніе, приводящее ребенка въ соприкосновеніе съ дѣтьми его лѣтъ, должно было-бы, при нормальныхъ условіяхъ, пробуждать въ ребенкѣ соревнованіе, вмѣсто того чтобы погружать его въ плаксивую апатію. Философствуя о похвальныхъ или предосудительныхъ причинахъ дѣтскихъ слезъ, мы также не задаемъ себѣ вопроса о томъ, естественна ли со стороны ребенка упорная и продолжительная грусть, и можетъ-ли здоровый ребенокъ оставаться въ продолженіи нѣсколькихъ недѣль печальнымъ и неутѣшнымъ въ томъ случаѣ, если новая обстановка его жизни не принимаетъ ему тяжелыхъ ощущеній, постоянно и ежеминутно подновляющихъ въ немъ воспоминаніе о сдѣланной утратѣ. Само собой разумѣется, что наши глубокомысленныя соображенія не находятъ себѣ никакого отпора; на всѣ наши назидательныя внушенія ребенокъ отвѣчаетъ намъ молчаніемъ или слезами; этотъ послѣдній языкъ достаточно краснорѣчивъ, но краснорѣчивъ только для того, кто умѣетъ или желаетъ его понимать. Болѣе обстоятельныхъ объясненій мы не дождемся и не вправѣ требовать отъ ребенка. Во-первыхъ, ребенокъ не способенъ анализировать свои ощущенія; онъ чувствуетъ вообще, что ему скверно жить на свѣтѣ; но изъ какихъ отдѣльныхъ частей складается этотъ скверный итогъ, этого онъ, разумѣется, не знаетъ. Во-вторыхъ, ребенокъ видитъ очень хорошо, что мы относимся къ его страданіямъ недовѣрчиво и недоброжелательно, потому что усматриваемъ въ этихъ страданіяхъ симптомы его порочныхъ наклонностей къ праздности, знаменитой матери всѣхъ пороковъ. — Вслѣдствіе этого ребенокъ, разумѣется, старается отдѣлаться отъ нашихъ распросовъ, которые, какъ ему извѣстно по горькому опыту, не приводятъ за собой ничего, кромѣ утомительныхъ нравоученій и обидныхъ упрековъ. Наконецъ въ-третьихъ, еслибы намъ удалось возбудить въ ребенкѣ откровенность, которую мы систематически подавляемъ въ немъ нашими глупо-скептическими взглядами на его огорченія, и еслибы сверхъ того у ребенка достало умѣнья описать намъ подробно все, что онъ чувствуетъ, то и тогда наше постыдное невѣжество помѣшало бы намъ извлечь изъ откровеннаго

признанія несчастнаго ребенка какую-бы то ни было пользу. Ребенокъ объяснилъ бы намъ, что ему по утрамъ ужасно хочется спать, что его утомляютъ уроки, что безконечное сидѣніе въ классѣ наводитъ на него тоску, что ему хотѣлось-бы побѣгать и поиграть.

Спрашивается, какое заключеніе вывели-бы мы изъ этихъ словъ маленькаго страдальца? — Разумѣется, мы немедленно отдали-бы должную дань почтительнаго удивленія нашей собственной необыкновенной проникательности. Такъ и есть, сказали-бы мы; мы такъ и знали заранѣе. Ты, мальчуганъ, просто лѣнивъ, и это съ твоей стороны весьма непохвально. — Затѣмъ полились-бы изъ нашихъ устъ нравоученія и упреки, которые по всей вѣроятности внушили-бы безотвѣтной жертвѣ нашего краснорѣчія сильнѣйшее желаніе исправиться навсегда отъ неумѣстной откровенности со взрослыми.

Въ естественныхъ требованіяхъ дѣтскаго организма, по нашему остроумію и по совершенному отсутствію самыхъ элементарныхъ филологическихъ познаній, мы видимъ обыкновенно порочныя наклонности, съ которыми необходимо вести упорную, истребительную войну. Дѣйствительно, эта курьезная война ведется неутомимо и добросовѣстно; въ большей части случаевъ наши воинственные усилія увѣнчиваются полными успѣхомъ, потому что обезсилить, изломать и изуродовать нѣжный организмъ ребенка вовсе не трудно. Но, — странно-дѣло! — наша блестящая побѣда надъ дѣтскимъ организмомъ нисколько не удовлетворяетъ и не радуетъ насъ. Созерцая прямые результаты нашихъ систематическихъ трудовъ, мы даже вовсе не замѣчаемъ того, что мы дѣйствительно одержали побѣду; напротивъ того, мы въ подобныхъ случаяхъ готовы даже признать себя побѣжденными. Когда мы смотримъ на слабаго, блѣднаго, вялаго и притупленнаго юношу, мы имѣемъ полное право сказать съ законной гордостью: вотъ дѣло рукъ нашихъ. Мы заставляли его учиться, когда ему хотѣлось спать; мы заставляли его сидѣть на мѣстѣ, когда ему хотѣлось бѣгать; мы держали его въ четырехъ стѣнахъ, когда ему необходимо было дышать чистымъ воздухомъ; мы мужественно боролись со всѣми естественными стремленіями этого строптиватаго организма и, какъ видите, мы достигли того, что этотъ организмъ, утративъ всю свою строптивость, въ настоящую минуту не стремится рѣшительно ни къ чему.

Вотъ что мы имѣемъ право сказать; но обыкновенно мы говоримъ совсѣмъ не то. Почти всегда мы чувствуемъ себя чѣмъ-то обиженными; мы думаемъ и говоримъ, что получилось совсѣмъ не то, чего мы желали; намъ кажется, что какой-то враждебный и неумолимый рокъ уничтожилъ всѣ плоды нашихъ усилій; мы погружаемся въ сантиментальную задумчивость, произносимъ какой-нибудь безсмысленно-покорный афо-

ризмъ и потомъ, не вынеся изъ полученнаго результата никакого практическаго урока для будущаго, съ удвоеннымъ усердіемъ принимаемся истреблять порочныя наклонности слѣдующаго поколѣнія, которое также имѣетъ дерзость ненавидѣть длинные уроки и любить крѣпкій сонъ, веселую бѣготню и чистый воздухъ.

«Педагоги, — говоритъ «Учитель», — болѣе частью пропитанные неизлечимымъ спиритуализмомъ, видѣли въ ученикѣ только духъ; а вѣдь духъ, — говорили они, — безконеченъ; онъ неисчислимы въ своихъ силахъ; устаютъ только тѣло, а тѣло что такое? тѣло просто дрянь, нестоющая вниманія. На этомъ основаніи почтенныя педагоги считали священной обязанностью своей безпрестанно понукать, подгонять и подстрекать ученика, не давая ему времени на отдыхъ; самая мысль объ отдыхѣ почиталась чѣмъ-то постыднымъ, какъ недостойная духа». (№ 9, стр. 316.)

Если исходная точка понукательной системы заключается въ спиритуализмѣ, то надо будетъ сознаться, что спиритуализмъ *почтенныхъ педагоговъ* никакъ не выдержитъ сравненія съ спиритуализмомъ ломовыхъ извозчиковъ. Эта послѣдняя категорія граждан заходитъ въ своемъ спиритуализмѣ такъ далеко, что даже къ бесловесной твари примѣняютъ педагогическое ученіе о неисчислимыхъ силахъ духа и дряньность тѣла. Эти крайніе спиритуалисты также считаютъ своей обязанностью безпрестанно *подстрекать* своихъ четвероногихъ учениковъ, смотря по обстоятельствамъ, то сапогомъ по мордѣ, то веревочными возжами по снѣжѣ. Такъ какъ не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что общій уровень образованія въ средѣ ломовыхъ извозчиковъ стоитъ даже еще ниже, чѣмъ въ средѣ *почтенныхъ педагоговъ* понукательной школы, то не трудно будетъ додуматься до того заключенія, что необузданный спиритуализмъ составляетъ естественный и неизбежный продуктъ глубокаго невѣжества. Чѣмъ глубже невѣжество, тѣмъ чище и самоувѣреннѣе спиритуализмъ. Можно, разумѣется, умозаключать столь-же безошибочно и наоборотъ: чѣмъ чище и самоувѣреннѣе спиритуализмъ, тѣмъ глубже невѣжество. Кто желаетъ повѣрить это правило на отдѣльныхъ примѣрахъ, тому я предлагаю заняться изученіемъ нашихъ великихъ спиритуалистовъ, гг. Николая Соловьева, Каткова, Аверкіева, Юркевича, Страхова, Incognito \*), Косицы и многихъ другихъ, имъ подобныхъ, ученыхъ мыслителей.

Понукательная система, выработанная въковой дѣятельностью педагогическаго *спиритуализма*, пустила такіе глубокие корни во всѣ отрасли общественнаго преподаванія, что уничтожить эту систему могутъ только самыя радикальныя реформы, далеко превышающія силу

единичныхъ дѣятелей педагогическаго міра. Вредное вліяніе школы на здоровье воспитанниковъ обуславливается не излишней строгостью начальствующихъ лицъ, не придирчивостью отдѣльныхъ учителей или надзирателей, не частными и мелкими злоупотребленіями недобросовѣстныхъ экономовъ. Это все — второстепенныя неудобства; это — произвольныя уклоненія отъ основнаго принципа, — уклоненія, за которыми отвѣтственность падаетъ на отдѣльныя личности наставителей, и которыя будутъ постоянно становиться болѣе рѣдкими и случайными, по мѣрѣ того, какъ общество будетъ обращать больше и больше вниманія на свои собственные интересы. Героическій періодъ кровопролитнаго сѣненія, педагогическихъ зуботычинъ, нетопленныхъ дортуаровъ и гнилой пищи очевидно приходитъ и былъ-можетъ даже пришелъ къ концу. Но остается другой источникъ вреднаго вліянія, — источникъ, гораздо болѣе глубокой, который никакъ не можетъ изжить самъ собой, и передъ которымъ окажутся безсильными самыя блестящія умственныя качества и самыя трогательныя нравственныя совершенства новѣйшихъ педагоговъ, не увлекающихся *спиритуализмомъ* ломовыхъ извозчиковъ. Ни учитель, ни инспекторъ, ни директоръ не могутъ измѣнить основную программы заведенія: число учебныхъ часовъ для нихъ неприкосновенно; а это число чрезвычайно велико и совершенно несообразно съ физическими и умственными силами малолѣтнихъ учениковъ. «Стоитъ только взглянуть, — говоритъ «Учитель», — на недѣльную роспись учебныхъ часовъ любого учебнаго заведенія нашего времени, чтобы убѣдиться, что педагоги далеко еще не отстали отъ своей привычки гнать учениковъ, какъ почтовыхъ лошадей. Эта недѣльная роспись для семи классовъ какой-нибудь гимназіи представила-бы намъ сверхъ того много еще другихъ любопытныхъ вещей. Такъ напр., наши педагоги воображаютъ, что въ этомъ отношеніи нѣтъ никакой разницы между одиннадцатилѣтнимъ мальчикомъ и семнадцатилѣтнимъ юношей, и что отъ одного можно требовать столь-же продолжительнаго умственнаго напряженія, какъ и отъ другого. Четыре часа въ сутки (по моему разсчету выходитъ больше: отъ 9 до 2½ — пять съ половиною часовъ; полчаса уходитъ на завтракъ, отъ 12 до 12½; итого остается на классныя занятія *пять часовъ*) на классныя занятія положено одинаково во всѣхъ семи классахъ нашихъ гимназій, какъ въ первомъ, такъ и въ послѣднемъ, т.-е. въ седьмомъ. Вѣроятно тѣ, которые составляли программу классныхъ занятій, руководились здѣсь началомъ симметріи. Для учениковъ седьмого класса, то-есть для молодыхъ людей лѣтъ 17 и 18, разсуждали они, насколько не тяжело будетъ просидѣть въ классѣ какіе-нибудь четыре часа въ день (причемъ имъ приходило въ голову, что люди въ разныхъ кан-

\*) Заринъ.

целяряхъ сидятъ и больше). А если такъ, то необходимо и для всѣхъ другихъ классовъ назначить столько-же: иначе выйдетъ разнокалиберщина, путаница; а главное—такъ на бумагѣ выходить какъ-то красивѣе, аккуратнѣе, когда во всѣхъ классахъ одинаковое число уроковъ. Но по настоящему слѣдовало-бы разсуждать со всѣмъ иначе, именно вотъ какъ: если для перваго класса, то есть для дѣтей 11 лѣтъ, кладу въ день 4 часа на занятія, то сколько же придется положить для взрослыхъ, 17-лѣтнихъ юношей седьмого класса? По крайней мѣрѣ 16 часовъ. А сколько придется назначить часовъ на слушаніе лекцій студентамъ, —людямъ, въ которыхъ еще болѣе предполагается силы выдерживать продолжительное умственное напряженіе? Уже никакъ не меньше 24 часовъ въ сутки. Дойдя до этого, можно-бы было убѣдиться, какъ неудобно назначать 4 часа въ сутки на классныя занятія, и что кромѣ того у тѣхъ-же дѣтей бываютъ каждый день занятія внѣ класса (то-есть приготовленіе уроковъ), которыя и отнимаютъ у нихъ почти цѣлый день. Тутъ мы уже окончательно падаемъ ницъ передъ нашей педагогической практикой, ибо совершенно не понимаемъ ея. Какъ? До поступленія въ училище дитя ничему не учится, или учится, какъ извѣстно, очень мало; и вдругъ, поступивъ въ школу, оно должно цѣлый день сидѣть за книгою! Гдѣ-же тутъ знаніе дѣла, за которое берутся педагоги-практики?? («Учитель», № 9, стр. 317 и 318.)

Еслибы русскіе журналисты сколько-нибудь понимали свои обязанности въ отношеніи къ русскому обществу, они непременно удостоили-бы этотъ фактъ своего вниманія. Но нашимъ пишущимъ и печатающимъ *спиритуалистамъ* нѣкогда заниматься такимъ пичтожнымъ предметомъ, какъ здоровье подрастающихъ поколѣній. Имъ, этимъ великимъ спиритуалистамъ, надо подавать законодательной власти драгоценныя совѣты на счетъ особаго представительства крупной поземельной собственности; имъ надо воевать за русскую народность, которую безъ нихъ непременно обидѣли-бы полтора рижскіе булочника и три съ половиной ревельскіе шаманика; имъ надо собирать билетны всѣхъ уѣздныхъ старухъ о причинѣ часовыхъ пожаровъ; имъ надо прислушиваться, не заговорилъ ли какой-нибудь обыватель Черниговской или Полтавской губерніи на малороссійскомъ нарѣчій. При такомъ множествѣ разнообразныхъ занятій, достойныхъ трудолюбивой маршутки, наши спиритуалисты, которымъ кромѣ того приходится еще отстаивать чистое искусство и классическую древность, не имѣютъ, разумеется, ни малѣйшей возможности сказать родителямъ и опекунамъ серьезное слово о томъ, что подрываетъ и губитъ несложившіяся силы ихъ дѣтей и питомцевъ.

### III.

Извѣстно, что лучшіе изъ современныхъ медиковъ ненавидятъ медицину въ узкомъ смыслѣ этого слова; они чувствуютъ глубокое недовѣріе къ разнымъ декоктамъ, микстурамъ, пилюлямъ и всякимъ другимъ героическимъ средствамъ такъ-называемой латинской кухни; они полагаютъ, что леченіе во всякомъ случаѣ составляетъ зло, и что всѣ усилія благоразумнаго человѣка должны направляться не къ тому, чтобы чинить и коноштить своей организмъ, какъ утлую и дырявую ладью, а къ тому, чтобы устроить себѣ такой раціональный образъ жизни, при которомъ организмъ какъ можно рѣже приходилъ-бы въ разстроенное положеніе и слѣдовательно какъ можно рѣже нуждался-бы въ починкѣ. Гигіена или изученіе тѣхъ условій, которыя необходимы для сохраненія здоровья, приобретаетъ себѣ въ настоящее время преобладающее значеніе въ глазахъ каждаго мыслящаго и свѣдущаго человѣка. Совершенное игнорированіе гигиены съ каждымъ годомъ становится менѣе возможнымъ для всѣхъ разнообразныхъ отраслей государственнаго хозяйства. Медики совершенно основательно призаиваютъ себя совѣщательный голосъ во всѣхъ вопросахъ, относящихся до народнаго продовольствія, до производства общественныхъ работъ, до устройства мастерскихъ, фабрикъ и разныхъ другихъ промышленныхъ заведеній. Само собой разумеется, что и школа не можетъ увернуться изъ подъ контроля медиковъ-гигиенистовъ; зародыши очень многихъ тяжелыхъ, мучительныхъ и отчасти даже неизлечимыхъ болѣзней прививаются къ организму во время дѣтства, отрочества и первой молодости; чтобы разъяснить себѣ причины этихъ болѣзней и чтобы открыть противъ нихъ раціональныя предохранительныя средства, медики очевидно должны были подвергнуть самому тщательному анализу всю жизнь ребенка, отъ самаго его рожденія до его окончательной эманципаціи изъ подъ власти родителей, опекуновъ, воспитателей и учителей.

Мнѣнія гигиенистовъ на счетъ школьнаго обученія оказались въ высшей степени единодушными. Всѣ свѣдущіе медики безъ исключенія твердятъ въ одинъ голосъ, на пространствѣ всей цивилизованной Европы, что заботливые педагоги начинаютъ учить своихъ питомцевъ слишкомъ рано и учатъ ихъ слишкомъ много. Пока эти мысли медиковъ формируются въ общихъ выраженіяхъ, до тѣхъ поръ существуетъ еще нѣкоторая возможность пропускать ихъ мимо ушей и видѣть въ нихъ маловажные проявленія излишней медицинской мнительности. Но что вы станете говорить тогда, когда медикъ начнетъ выставлять вамъ статистическіе факты, и когда онъ перечислитъ вамъ по пальцамъ цѣлый рядъ специфическихъ болѣзней, развивающихся именно въ школѣ, именно вслѣдствіе неестественной

продолжительности классных занятий? Что вы скажете, когда медик заговорит съ вами объ искривленіи позвоночнаго столба, о школьномъ зобѣ, о хронической головной боли, о периодическомъ кровотеченіи изъ носа, о разстройствѣ пищеваренія, о неизлечимомъ притупленіи всѣхъ умственныхъ способностей?—Чѣмъ отразите вы аргументы медика, когда онъ начнетъ объяснять вамъ процессъ происхожденія и развитія всѣхъ этихъ болѣзней такъ наглядно и осязательно, что вы, профанъ въ анатоміи и въ физиологіи, несмотря на все ваше невѣжество, выкинувъ и вдумавшись въ его объясненія, поймете вполне роковую связь этихъ болѣзней съ тѣми условіями, въ которыя вы ставите вашихъ дѣтей и воспитанниковъ?

Угодно вамъ знать напримѣръ, почему продолжительность классныхъ занятий искривляетъ позвоночный хребетъ? Извольте. Докторъ Вильдбергеръ, специально изучившій эти искривленія, немедленно удовлетворитъ вашу любознательность. Когда человѣкъ сидитъ, тогда онъ не находится въ положеніи полного покоя; туловище его поддерживается въ равновѣсіи мускулами спины, а голова—мускулами затылка; напряженіе тѣхъ и другихъ мускуловъ довольно значительно, и черезъ нѣсколько времени даетъ себя знать ломотой въ спинѣ и въ шеѣ даже взрослому человѣку, которому приходится сидѣть на одномъ мѣстѣ втеченіи трехъ или четырехъ часовъ. Ребенокъ, у котораго кости тонки и мягки, а мускулы слабы, въ этомъ отношеніи, какъ и во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, утомляется гораздо скорѣе взрослого. Что же дѣлаетъ утомленный ребенокъ? Онъ или отваливается назадъ, или прислоняется грудью къ столу, или сгорбливается, или кладетъ локоть на столъ и подпираетъ голову рукой. Первый случай сравнительно безвреденъ, но онъ не всегда возможенъ, потому что многіе остроумные педагоги усердно заботятся о сидѣніи на вытяжку, нарочно устранивая скамейки такъ, чтобы ученику не къ чему было прислониться. Такимъ образомъ педагоги, въ простотѣ души своей, насильно заставляютъ несчастнаго ребенка принять одну изъ тѣхъ позъ, которыя непременно поведутъ за собой вредныя послѣдствія для его здоровья. Прислоняясь грудью къ столу, ребенокъ сдавить себѣ грудную кѣтку и разстроить себѣ органы дыханія, то-есть наживетъ себѣ грудную боль, одышку, кровохарканіе и можетъ-быть чахотку. Сгорбливаясь, ребенокъ приобретаетъ себѣ сутуловатость; это искривленіе позвоночнаго столба подѣйствуетъ на ребра и, приведя ихъ въ ненормальное положеніе, повредитъ всѣмъ органамъ, лежащимъ въ полости груди и живота. Такъ какъ правая рука почти у всѣхъ людей развита болѣе лѣвой, то, подпирая голову рукой, ребенокъ обыкновенно будетъ класть на столъ правый локоть и будетъ при

этомъ выворачивать наружу весь правый бокъ. Вслѣдствіе этого получится со временемъ искривленіе позвоночнаго столба въ правую сторону. Вильдбергеръ замѣтилъ, что на двадцать случаевъ искривленія позвоночнаго столба въ правую сторону приходится только одинъ случай искривленія въ лѣвую сторону, и эти послѣдніе, исключительные случаи встрѣчаются у тѣхъ людей, которые называются *лѣвшами*. Значитъ, искривленіе находится въ тѣсной связи съ тѣми обычными позами, которыя обуславливаются преобладающимъ развитіемъ той или другой руки. Но само-собой разумѣется, что ребенку не предстояло бы ни малѣйшей надобности принимать эти уродующія позы, еслибы усердные педагоги не измучивали его слишкомъ продолжительнымъ сидѣніемъ.

Теперь вы можете-быть желаете узнать, что такое *школьный зобъ*?—Докторъ Гильюмъ объяснитъ вамъ, что это—застой крови въ щитовидной железнѣ, находящейся въ нижней части шеи; этотъ застой крови происходитъ отъ продолжительнаго вертикальнаго положенія головы. сопровождаемаго утомленіемъ мускуловъ; эта болѣзнь поражаетъ именно тѣхъ учениковъ, которые радуютъ сердца педагоговъ безукоризненнымъ сидѣніемъ на вытяжку; такимъ образомъ ученикамъ представляется пріятная альтернатива: или искривленіе позвоночнаго столба, какъ наказаніе за противозаконныя позы, или школьный зобъ въ видѣ награды за примѣрное повиновеніе всѣмъ законамъ педагогическаго этикета. — Гильюмъ производилъ свои наблюденія въ Нефшательѣ, гдѣ масса населенія вовсе не страдаетъ зобомъ; оказалось, что въ нефшательскомъ Collège municipal изъ 731 ученика 414 успѣли отрастить себѣ очень замѣтные школьные зобы. — Вы скажете можетъ-быть, что въ Россіи ничего не слышно о школьномъ зобѣ; я отвѣчу вамъ, что вы совершенно правы; дѣйствительно ничего не слышно; но я осмѣлюсь предложить вамъ вопросъ: въ какомъ положеніи находится наша медицинская статистика? Существуетъ-ли она? Кажется мнѣ, что объ ней слышно такъ-же мало, какъ и о школьномъ зобѣ. Кромѣ школьнаго зоба, продолжительное сидѣніе въ классѣ производитъ еще хроническія головныя боли, происходящія отъ приливовъ крови къ головѣ. Эти приливы крови ведутъ за собой частыя кровотеченія изъ носа, которыя доставляютъ пациенту минутное облегченіе, но которыя во всякомъ случаѣ расслабляютъ его организмъ, и расслабляютъ именно въ то время, когда онъ еще растетъ и слѣдовательно нуждается во всѣхъ своихъ силахъ. Наблюденія Гильюма надъ учениками Collège municipal дали ему слѣдующія цифры:

Всѣхъ учениковъ 731.

Искривленій позвоночнаго столба. . . 218  
Школьныхъ зобовъ . . . . . 414

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Хроническая головная боль . . . . .   | 296  |
| Периодическія кровотеченія . . . . .  | 155  |
| Итого болѣзненныхъ случаевъ . . . . . | 1033 |

Еслибы раздѣлить эти болѣзни поровну между всѣми учениками Collège municipal то на каждого пришлось-бы почти полторы болѣзни. Результатъ недурень, особенно если принять въ соображеніе, что всѣ эти болѣзни привиты въ дѣтямъ именно господствующей педагогической системой, и, замѣтите, — не злоупотребленіями, не нарушеніями принципа, не небрежностью воспитателей, а именно безукоризненнымъ усердіемъ, примѣрной добросовѣстностью и неусыпной бдительностью. Какъ вы думаете, что сказалъ-бы древній грекъ, еслибы вы привели его въ этотъ великолѣпный разсадникъ слѣпыхъ, хромыхъ, калѣкъ и чающихъ движенія воды? — Вообразивши себѣ изумленіе и негодованіе этого древняго грека, вы можете составить себѣ легкое понятіе о томъ, какъ глубоко наши педагоги вникаютъ въ духъ той классической древности, которой они начиняютъ головы своихъ изуродованныхъ питомцевъ.

Чтобы положить конецъ этому непростительному поруганію человѣческаго образа, чтобы предохранить образованнѣйшую часть человѣчества отъ неминуемаго вырожденія, докторъ Гейеръ считаетъ необходимымъ обуздать пламенное усердіе педагоговъ слѣдующей нормой учебныхъ занятій:

Для дѣтей отъ 7 до 9 лѣтъ. До обѣда — 2 часа занятій. Послѣ обѣда — ничего.

Для дѣтей отъ 9 до 12 лѣтъ. До обѣда — 3 часа. Послѣ обѣда — ничего.

Отъ 12 до 15 лѣтъ. До обѣда — 3 часа. Послѣ обѣда — 2 часа.

Отъ 15 до 18 лѣтъ. До обѣда — 4 часа. Послѣ обѣда — отъ 3 до 4 часовъ.

Въ это расписаніе, способное привести въ неописанный ужасъ ревностныхъ педагоговъ, включены не только классныя занятія, но и тѣ часы, которые ученики должны употреблять на приготовленіе заданныхъ уроковъ. Такъ какъ приговлѣніе уроковъ происходитъ всегда послѣ обѣда, то изъ расписанія Гейера видно, что онъ допускаетъ уровни, только начиная съ 12 лѣтъ, т. е. только съ третьяго класса нашихъ гимназій. Раньше этого возраста всѣ учебныя занятія должны происходить исключительно въ классѣ подъ руководствомъ самого учителя. Другой спеціалистъ, докторъ Шреберъ, идетъ въ этомъ отношеніи еще дальше Гейера. Онъ требуетъ, чтобы дѣти до десятилѣтняго возраста учились въ сутки не болѣе 2-хъ часовъ, а послѣ 10 лѣтъ — не болѣе 3-хъ часовъ. Кромѣ того онъ замѣчаетъ, что ни одно дитя, какого-бы возраста оно ни было, не должно сидѣть въ школѣ болѣе двухъ часовъ сряду. По истеченіи двухъ часовъ ученія долженъ непременно и во всякомъ случаѣ слѣдовать антрактъ по крайней мѣрѣ

въ полчаса. Кто желаетъ подробнѣе познакомиться съ идеями и наблюденіями Вильдбергера, Гильома, Гейера и Шребера, тому предлагаю прочитать въ 9, 10 и 11 номерахъ «Учителя» статьи подъ заглавіемъ: «Гигіеническія условія воспитанія».

#### IV.

Пока вышеозначенные факты лежали тихо и мирно въ брошюрахъ нѣмецкихъ и французскихъ медиковъ, до тѣхъ поръ наши журнальные и газетные мудрецы имѣли полное право не знать о ихъ существованіи. Гдѣ-же въ самомъ дѣлѣ намъ добираться собственнымъ умомъ до спеціальныхъ изслѣдованій? — Когда эти факты перѣѣхали изъ французскихъ и нѣмецкихъ брошюръ въ столбцы «Учителя», тогда наши мудрецы все еще не утратили возможности игнорировать и отмалчиваться. — «Учитель» — не что иное, какъ скромный, спеціально-педагогическій журналъ, въ который по всей вѣроятности никогда не заглядываютъ журнальные и газетные исполы, постоянно витающіе въ эмпирияхъ высшихъ политическихъ и полицейскихъ соображеній. Но теперь я перенесъ интересные факты на страницы «Русскаго Слова», и съ этой минуты всякое игнорированіе становится невозможнымъ и бессмысленнымъ. «Русское Слово» одарено такимъ значительнымъ количествомъ пишущихъ и печатающихъ враговъ; оно пользуется такой единодушной и пламенной ненавистью журнальных и газетныхъ мудрецовъ; оно читается этими мудрецами такъ пристально и внимательно, что черезъ недѣлю послѣ выхода каждой новой книжки «Русскаго Слова» всѣ изложенныя въ ней мысли и даже всѣ отдѣльныя выраженія уже сочтены, измѣрены, взвѣшены, обиханы, прочувствованы и приняты къ свѣдѣнію.

Принимая въ расчетъ это обстоятельство, которое не можетъ подлежать сомнѣнію ни для кого изъ читателей русскихъ журналовъ и газетъ, я могу сказать въ настоящую минуту, что вопросъ о вредномъ вліяніи школы на здоровье подрастающихъ поколѣній поставленъ на очередь, и что всѣ тѣ журнальные и газетные дѣтели, которые будутъ теперь попрежнему отвертываться и отмалчиваться отъ этого вопроса, обнаружатъ, передъ лицомъ всей читающей публики свое позорное, вполне сознательное и во всѣхъ отношеніяхъ непростительное равнодушіе къ самымъ важнымъ и существеннымъ интересамъ общества. Въ этомъ вопросѣ нѣтъ мѣста ни для личнаго самолюбія, ни для вражды литературныхъ или какихъ-бы то ни было другихъ партій. Я-ли, другой-ли поддерживалъ и воспроизвелъ мысль «Учителя», это рѣшительно все равно; если эта мысль въ настоящее время имѣетъ практическое значеніе, то ея всеобщимъ обсужденіемъ и повсемѣстнымъ распро-



страненіемъ обязаны, положительно обязаны заняться всѣ органы русской печати. О борьбѣ противоположныхъ общественныхъ тенденцій здѣсь также не можетъ быть рѣчи. Къ чему-бы вы ни предназначали людей нашихъ подрастающихъ поколѣній, къ какой-бы дѣятельности вы ихъ ни готовили, какія бы различныя понятія вы ни составляли себѣ о ихъ будущихъ чело-вѣческихъ и гражданскихъ обязанностяхъ и интересахъ,—во всякомъ случаѣ вы всѣ, консерваторы и прогрессисты, радикалы и ретрограды, должны желать одинаково сильно, чтобы эти будущіе русскіе люди были здоровыми, свѣжими и сильными людьми. Въ этомъ послѣднемъ пунктѣ разногласіе, кажется, невозможно и нелепимо. Но было бы въ высшей степени смѣшно и нелѣпо надѣяться, что этотъ послѣдній пунктъ уже совершенно обезпеченъ въ настоящее время, или что онъ достанется намъ самъ собой, не требуя съ нашей стороны никакихъ трудовъ и усилій. Мы знаемъ, въ какомъ положеніи находится наша педагогическая практика; мы знаемъ, какъ рѣзко противорѣчитъ она самымъ элементарнымъ началамъ гигиенической науки; мы знаемъ, какіе плоды приносятъ за-границей совершенно такія-же нарушенія гигиеническихъ предписаній; не трудно, кажется, умозаключить, что точно такіе-же плоды постоянно развиваются и ежеминутно созрѣваютъ и у насъ на родинѣ.

Скажите, пожалуйста, что можете вы противопоставить этому неотразимому умозаключенію? Кажется, ровно ничего, кромѣ вашего непохвального невѣжества, вашей непробудной апатіи да извѣстной и остроумной поговорки: «что русскому здорово, то нѣмцу смерть». Эта поговорка состоитъ въ самомъ близкомъ родствѣ съ столь-же остроумнымъ изреченіемъ на счетъ закидыванія нашихъ враговъ шапками, которыя однако оказались, какъ извѣстно, весьма неудовлетворительнымъ оружіемъ въ сравненіи съ цилиндрическими пулями и штуцерами Манье. Не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что первая поговорка каждый день играетъ съ нами по мелочамъ такую-же скверную шутку, какую вторая поговорка сыграла съ нами гуртомъ во время крымской войны. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только обратить вниманіе на такіе факты, которые каждому извѣстны и бросаются въ глаза. Подумайте напримѣръ, много-ли вы найдете въ высшихъ и среднихъ классахъ общества молодыхъ людей, которые уже къ двадцати пяти годамъ не страдали-бы отъ гемороя. Это такое обыкновенное явленіе, что оно даже перестало считаться болѣзною. У насъ и даже у нашихъ медиковъ составилось убѣжденіе, что геморой есть неизбѣжное слѣдствіе нашего климата. Легко можетъ быть, что климатъ сѣверной и средней Россіи дѣйствительно предрасполагаетъ человѣка къ геморю; но согласитесь сами, что разсуждать о непреодолимомъ

дѣйствіи климата мы имѣли бы право только въ томъ случаѣ, когда-бы мы съ своей стороны, всѣмъ образомъ нашей жизни, старались-бы проводить дѣйствовать развитію этой болѣзни. А мы что дѣлаемъ? Мы являемся самими постоянными и добросовѣстными союзниками того вреднаго климата, на который мы ежеминутно жалуемся и очень часто клеветаемъ. Мы воспитываемъ геморой всевозможными искусственными средствами; мы лелѣемъ его и въ нашихъ канцеляріяхъ, и дома за письменнымъ столомъ, и въ гостяхъ за пультками преферанса, и въ оперѣ, и въ балетѣ, и въ концертѣ, за высокими наслажденіями глазъ, ушей и души. Эго все еще куда ни шло. Наши канцеляріи необходимы для процвѣтанія государства и для воплощенія идеи справедливости; наши письменные столы обогащаютъ міръ великими истинами. Пулька преферанса подаетъ поводъ къ гениальнымъ комбинаціямъ и порождаетъ въ духѣ партнеровъ трепетное волненіе; опера, балетъ и концертъ представляютъ собой «нѣкоторую игру благороднаго вкуса». Кто способенъ предаваться такимъ возвышеннымъ помысламъ и ощущеніямъ, тому ни почемъ идти на встрѣчу геморю, ибо тотъ способенъ стойчески презирать страданія бреннаго тѣла. Но наше усердіе въ воздѣлываніи гемороя этимъ не ограничивается. Мы самымъ систематическимъ образомъ вводимъ его въ наши школы; мы обрекаемъ на служеніе геморю десятилѣтнихъ мальчишекъ, которые, по своей совершенной незрѣлости, еще не способны заниматься ни воплощеніемъ идеи справедливости, ни гениальными комбинаціями преферанса, ни даже «нѣкоторой игрой облагороженнаго вкуса». Мы насильно тянемъ этихъ безответныхъ страдальцевъ туда, куда они совсѣмъ не хотятъ идти и куда имъ совсѣмъ не слѣдуетъ идти. Потомъ, продѣлавши великое множество систематическихъ глупостей надъ собою и надъ ними, мы вмѣстѣ съ ними начинаемъ жаловаться на климатъ. А когда знающіе люди говорятъ намъ, что значительная доля этого такъ-называемаго климата составляетъ дѣло нашихъ собственныхъ неуклюжихъ рукъ и нашего собственного неразвитаго ума, тогда мы отмалчиваемся отъ этихъ неслетныхъ рѣчей или отвѣчаемъ на нихъ съ самодовольной улыбкой, которая вѣроятно также обязана своимъ происхожденіемъ мѣстному климату, что все это—нѣмецкія теоріи, не имѣющія для нашей русской жизни никакого практическаго значенія.

Мы можемъ взять еще другой примѣръ: поговорите съ любымъ психіатромъ, и вы услышите отъ него, что количество людей, лишающихся разсудка, съ каждымъ годомъ быстро увеличивается, какъ въ западной Европѣ, такъ и въ тѣхъ мѣстахъ Россіи, гдѣ существуютъ по этому предмету какія-нибудь статистическія наблюденія. Это увеличеніе оказывается, по своей

быстротѣ, совершенно несоразмѣрнымъ съ ежегодной прибылью народонаселенія. Возрастающая цифра ежегодныхъ самоубійствъ наводитъ насъ также на довольно поучительныя размышленія о крайней неудовлетворительности общественнаго здоровья. Многіе медики сильно сомнѣваются въ томъ, чтобы вполне здоровыи человѣкъ могъ побѣдить въ себѣ чувство самосохраненія. Конечно было-бы въ высшей степени несправедливо и вѣрно сваливать на школу всю вину этихъ печальныхъ проявленій физической дряблости. Самая значительная доля ответственности падаетъ, разумѣется, на жизнь, которая идетъ за предѣлами школы. Собственно говоря, даже вся ответственность должна обрушиться на эту жизнь, потому что школа составляетъ ея пассивный продуктъ; школа не имѣетъ безъ нея никакого самостоятельнаго значенія, и школа во всякую данную минуту можетъ быть совершенно обновлена и переформирована во всѣхъ своихъ частяхъ благотворнымъ влияніемъ развивающейся жизни. Но какъ пассивный продуктъ, созданный и сформированный дѣйствіемъ извѣстныхъ житейскихъ обстоятельствъ, школа все-таки изъ году въ годъ вноситъ свою вовсе не ничтожную лепту въ общую сумму кривизны физическаго и умственнаго ослабленія: кости, мускулы и нервы, высота роста и физическая сила, красота и живучесть, смѣлость и веселость, умъ и характеръ—все это съжимается, вянетъ, линяетъ и искажается отъ мертвящаго, притупляющаго, обезцвѣчивающаго и обезсиливающаго прикосновенія теперешней школы.

И что же даетъ намъ школа взамѣнъ вѣхъ этихъ тяжелыхъ утратъ?—Обширныя знанія? Широкое умственное развитіе?—Да гдѣ жь она, наша широкая и смѣлая умственная дѣятельность? Покажите ее. Вѣдь это не такая незамѣтная вещица, которую надо искать днемъ съ огнемъ, если она дѣйствительно существуетъ въ данномъ обществѣ. И развѣ жь могутъ обширныя и дѣйствительно плодотворныя знанія уложиться въ такомъ мозгу, котораго естественное и здоровое развитіе нарушено вышаташествомъ понукательной педагогикѣ? Развѣ способна къ широкой и упорной умственной дѣятельности такая голова, которая сидитъ на изнеможенномъ туловищѣ и ежеминутно страдаетъ то приливами, то отливами крови?

Наша школа не можетъ похвалиться громкими именами тѣхъ дѣателей, которыхъ она до сихъ поръ подарила нашему обществу; но если-бы даже наша школа могла доказать, что изъ каждой сотни ея бывшихъ учениковъ формировалось по десяти Ньютоновъ, то весь этотъ рядъ блестящихъ именъ не могъ-бы убѣдить безпристрастнаго наблюдателя въ томъ, что наше общественное воспитаніе устроено рационально. Геній людей, подобныхъ Ньютону, рождается вмѣ-

стѣ съ этими людьми: онъ, разумѣется, зависитъ не отъ школы, а отъ счастливаго стеченія благоприятныхъ условій эмбриологическаго развитія и самаго первоначальнаго, чисто физическаго воспитанія. Но для того, чтобы Ньютонъ дѣйствительно сдѣлался Ньютономъ, то-есть для того, чтобы онъ совершилъ въ области мысли всѣ тѣ великіе подвиги, до которыхъ могъ возвыситься его геній, для этого ему необходимо было имѣть въ своемъ распоряженіи значительную массу времени, то-есть, необходимо было прожить очень долго. Геніальность безъ долговѣчности возбуждаетъ много блестящихъ надеждъ и вслѣдъ затѣмъ еще больше страстныхъ сожалѣній; но она даетъ людямъ мало существенной пользы. Такіе геніи, которые, подобно Паскалю и Бяша, умираютъ въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ, не могутъ сдѣлаться великими преобразователями ни въ области знанія, ни въ области общественной жизни. Если-же мы зададимъ себѣ вопросъ: какимъ образомъ дѣйствуетъ школа на долговѣчность своихъ питомцевъ?—то, разумѣется, отвѣтъ получится самый неутѣшительный. Ослабляя здоровье воспитанниковъ, школа конечно сокращаетъ ихъ жизнь, то-есть, во-первыхъ, приближаетъ минуту ихъ смерти, а во-вторыхъ, заставляя ихъ тратить много времени на леченіе различныхъ благопріобрѣтенныхъ немощей, значительно уменьшаетъ то число дней и часовъ, которое можетъ быть употреблено на полезный трудъ или на здоровое наслажденіе жизнью.

Медицинская статистика до сихъ поръ собрала еще немного матеріаловъ, относящихся къ учебнымъ заведеніямъ; но, несмотря на то, въ подтвержденіе моихъ словъ, я могу привести изъ книги Мишеля Леви «*Traité d'hygiène publique et privée*» слѣдующія цифры, заимствованныя этимъ извѣстнымъ гигиенистомъ изъ архивовъ политехнической школы. Втеченіи 1850, 1851 и 1852 годовъ въ политехнической школѣ пребывало 586 воспитанниковъ.—Изъ этого общаго числа лечилось въ лазаретѣ 425 человѣкъ, то-есть почти 72½ процента.—А нездоровыми чувствовали себя продолженіи этихъ трехъ лѣтъ, не имѣя надобности лечиться въ лазаретѣ, 650 человѣкъ, то-есть—111 процентовъ; или другими словами, всѣ 586 воспитанниковъ прихворнули слегка по одному разу, а человѣкъ 60 изъ нихъ—даже по два раза. Умершихъ втеченіи этихъ трехъ лѣтъ оказалось трое. «Такъ какъ гигиеническія условія соблюдены въ политехнической школѣ превосходно,—прибавляетъ Леви,—то эти результаты выражаютъ собой только: во-первыхъ,—вліеніе индивидуальных особенностей тѣлосложенія у молодыхъ людей, слабыхъ отъ природы и изнеможенныхъ свои силы предварительными работами; и во-вторыхъ,—вліеніе школьных занятій.» («*Traité d'hygiène*». Tome II.,

р. 874.) Если школьные занятия действуют так сильно даже на взрослых студентов политехнической школы, то не трудно понять, что эти занятия должны действовать еще гораздо разрушительнее на детей, которым воздух и движение необходимы для здоровья и для полного развития физических сил.

## V.

Съ одной стороны, гигиена запрещаетъ школъ обременять дѣтей непосильными учебными занятиями; съ другой стороны, общество совершенно справедливо требуетъ отъ школы, чтобы она выпускала въ жизнь не слуховъ, а образованных и развитыхъ людей, способныхъ и желающихъ сдѣлаться полезными работниками. Школа, разумѣется, обязана мнить требованія общества съ предписаніями гигиены; это—задача очень трудная; но нѣтъ ни малѣйшаго основанія считать эту задачу неисполнимой. До сихъ поръ школа думала только о томъ, чтобы угодить обществу, и вслѣдствіе этого общество было постоянно недовольно школой, которая, увлекаясь порывами своего усердія, постоянно выпускала въ жизнь вялыхъ и дряблыхъ людей, лишенныхъ всякой энергіи и проникнутыхъ глубокимъ отвращеніемъ къ полезному труду. Видя безуспѣшность ея усилій, общество дѣлало школъ строжайшій выговоръ; сздаченная этими выговорами, школа удваивала свои губительныя старанія, и, разумѣется, результаты оказывались вдвое хуже прежняго по той простой причинѣ, что гигиеническая сторона воспитательнаго дѣла тѣмъ сильнѣе и рѣшительнѣе отбрасывалась на задній планъ, чѣмъ напряженнѣе становились добросовѣстные усилія заблуждающихся педагоговъ. Этотъ рядъ неудачъ, возростающихъ вмѣстѣ съ усиліями, доказалъ наконецъ тѣмъ людямъ, которые способны чему-нибудь научиться изъ опыта, что задача воспитанія не допускаетъ одностороннихъ рѣшеній, и что ученіе, въ которомъ школа старается развить умственные способности въ ущербъ физическому здоровью, оказывается обыкновенно не только болѣзненнымъ человѣкомъ, но еще кромѣ того очень плохимъ мыслителемъ.

Въ теоріи между современными педагогами не существуетъ уже разногласія насчетъ того пункта, что гигиеническая точка зрѣнія имѣетъ преобладающую важность въ дѣлѣ воспитанія. Но когда дѣло доходитъ до примѣненія теоретическихъ началъ къ жизни, тогда начинаются ежеминутныя отступленія отъ гигиеническихъ правилъ,—отступленія, которые или извиняются существующими потребностями общества, данными обстоятельствами мѣста и времени, или даже ничѣмъ не извиняются, потому что гигиеническая точка зрѣнія обыкновенно забывается тотчасъ послѣ того, какъ ея существенная

необходимость оказалась прилично оговоренной въ теоретическомъ вступленіи.

Эти нерѣшительныя отношенія педагогики къ гигиенѣ и вообще практической рутины къ разумной теоріи кладутъ свою печать на все устройство современной школы. Слѣды этихъ нерѣшительныхъ отношеній можно найти въ новомъ уставѣ гимназій и прогимназій. Такъ напримѣръ, обязанности гимназическаго врача опредѣляются слѣдующимъ образомъ въ § 36 этого устава. «Обязанности врача, кромѣ названія воспитанниковъ и постоянной заботливости объ ихъ здоровьѣ, заключаются въ наблюденіи: а) чтобы въ гимназію и прогимназію не поступали воспитанники, имѣющіе тѣлесныя недостатки или болѣзни, препятствующіе вступленію въ общественное заведеніе; б) чтобы въ помѣщеніи учебнаго заведенія и въ распредѣленіи времени занятій воспитанниковъ соблюдалась по возможности гигиеническія условія, и в) чтобы упражненія воспитанниковъ въ гимнастикѣ соображались съ требованіями правильного развитія и укрѣпленія физическихъ силъ множества. Врачъ обязанъ замѣчанія свои по всемъ предметамъ представлять начальству учебнаго заведенія и предъавлять оныя педагогическому совѣту для обсужденія и внесенія въ протоколъ его засѣданій.»

Этотъ параграфъ имѣетъ очевидно чисто-теоретическое значеніе, подобно всѣмъ остальнымъ статьямъ закона, опредѣляющимъ обязанности различныхъ должностныхъ лицъ. Чтобы оцѣнить практическую силу подобныхъ статей, надо посмотрѣть, насколько и какимъ образомъ онѣ приводятся въ исполненіе. Хорошо или дурно гимназическіе врачи будутъ исполнять свои обязанности—этого, разумѣется, никто не можетъ знать заранее; это такой вопросъ, котораго рѣшеніе всегда будетъ зависѣть въ очень значительной степени отъ личныхъ особенностей того или другого врача; но, совершенно оставляя въ сторонѣ личные особенности будущихъ исполнителей, мы на основаніи текста самого устава можемъ высказать то предположеніе, что § 36 врядъ-ли гдѣ-нибудь и когда-нибудь будетъ исполняться совершенно удовлетворительно. Мы заглядываемъ въ штаты гимназій и прогимназій и находимъ тамъ, что врачу полагается 300 рублей годового содержанія. Эта цифра доказываетъ очевидно, что законъ обязываетъ гимназическаго врача заниматься посторонней практикой и изъ этой практики извлекать себѣ самую значительную часть своего годового дохода. Можно сказать навѣрное, что порядочный медикъ, живущій въ столицѣ или въ губернскомъ городѣ, захочетъ получать въ годъ по меньшей мѣрѣ — 1500 рублей. Слѣдовательно, къ 300 рублямъ, получаемымъ изъ гимназіи, ему придется еще присоединить 1200 рублей изъ различныхъ постороннихъ источни-

ковъ; а чтобы заработать эти 1200 рублей практикой, ему надо будетъ втеченіи года сдѣлать не менѣе 400 визитовъ. Кромѣ того порядочный медикъ долженъ непремѣнно употреблять очень много времени на серьезное чтеніе для того, чтобы постоянно слѣдить за быстрыми успѣхами различныхъ медицинскихъ наукъ. При такихъ условіяхъ гимназическій врачъ, ниѣющей на рукахъ значительную городскую практику, будетъ, разумѣется, заглядывать въ гимназію въ видѣ любезнаго гостя, и *постоянная заботливость* оздоровѣвъ воспитанниковъ, которую вмѣняетъ ему въ обязанность буква устава, будетъ существовать только на бумагѣ. При такихъ условіяхъ врачъ конечно не сдѣлается регуляторомъ всей внутренней жизни учебнаго заведенія; врачъ останется тѣмъ, чѣмъ онъ былъ до сихъ поръ: онъ будетъ щупать пульсы, осматривать бѣлые языки и прописывать микстуры и промывательныя; собственно гигиеническое его значеніе едва-ли можетъ сдѣлаться полнымъ; намекъ на это послѣднее обстоятельство мы видимъ даже въ томъ самомъ 36-мъ параграфѣ, который опредѣляетъ обязанности врача. Мы читаемъ въ этомъ параграфѣ: «б) чтобы въ помѣщеніи учебнаго заведенія и въ распределеніи времени занятій воспитанниковъ соблюдалась по возможности гигиеническія условія».

Слова *по возможности* составляютъ чрезвычайно сильное и выразительное ограниченіе. Законъ не знаетъ и не допускаетъ такихъ ограниченій въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ признаетъ необходимымъ то или другое распоряженіе. Законъ не говоритъ папримѣръ, что виновные въ такомъ-то проступкѣ сажаются *по возможности* подъ арестъ; онъ просто приказываетъ сажать ихъ подъ арестъ непремѣнный, потому что тутъ не можетъ быть и не предполагается никакихъ невозможностей; значить, если въ дѣлѣ гигиеническихъ соображеній употреблена оговорка «*по возможности*», то ее слѣдуетъ понимать въ томъ смыслѣ, что гигиеническая точка зрѣнія считается умѣстной только тогда, когда она не противорѣчитъ педагогическимъ или хозяйственнымъ, или вообще какому-нибудь другимъ, высшимъ и болѣе важнымъ расчетамъ. Эта ограничительная оговорка даетъ директору гимназіи вѣрнѣйшее средство довести врача до молчанія всякій разъ, какъ только замѣчанія врача покажутся ему почему-нибудь неприятными или неумѣстными. Врачъ говоритъ директору: «въ такомъ-то дортуарѣ не соблюдены гигиеническія условія». — «Милостивый государь, — отвѣчаетъ ему директоръ, они соблюдены *по возможности*. Стало быть, по закону мы съ вами оба правы: вы правы потому, что замѣтили существующій недостатокъ, а я — потому, что соблюдаю гигиеническія условія... не вполнѣ, но *по возможности*». Въ *распределеніи времени занятій воспитанниковъ* врачъ по всей вѣроятности совѣзъ не

будетъ вмѣшиваться. Если этотъ врачъ одаренъ кротостью нрава и придерживается похвальнаго правила: отъ дѣла не бѣгай, а дѣла не дѣлай, то онъ будетъ ограничиваться смотрѣніемъ бѣлыхъ языковъ во избѣжаніе всякихъ неприятныхъ столкновеній съ педагогическими властями. Если же онъ дѣйствительно знаетъ и любить свое дѣло, то онъ также не будетъ ни во что вмѣшиваться, потому что увидитъ тотчасъ свое совершенное безсиліе. Онъ увидитъ, что уроковъ слишкомъ много, что число ихъ неприкосновенно не только для него, но даже и для директора, и что слѣдовательно какъ ихъ ни распределяй, а все-таки будетъ чрезчуръ много, и правила гигиены все-таки скажутся нарушенными. Размысливъ такимъ образомъ, несчастный врачъ вздохнетъ, пожметъ плечами и поневолѣ приметъ каждый день чинить аптечными снадобьями молодые организмы, которые каждый день будутъ скрипѣть и расклевываться.

Вліяніе врача на гимнастическія упражненія воспитанниковъ конечно могло-бы принести очень много пользы, еслибы врачъ былъ въ состояніи изучитъ внимательно индивидуальную организацію каждаго отдѣльнаго воспитанника, и еслибы онъ имѣлъ возможность присутствовать каждый день при гимнастическихъ упражненіяхъ. Тогда врачъ назначилъ-бы каждому воспитаннику такой комплектъ гимнастическихъ движеній, который совершенно соотвѣтствовалъ-бы его тѣлосложенію и въ должныхъ размѣрахъ упражнял и развивалъ-бы его силы по всемъ направленіямъ. Тогда врачъ могъ-бы подмѣтить въ самомъ зародышѣ всякую ненормальность тѣлосложенія и могъ-бы совершенно успѣшно противодѣйствовать развитію этой ненормальности цѣлесообразнымъ устройствомъ гимнастическихъ упражненій. Но такъ какъ врачу очевидно нѣкогда будетъ заниматься специальнымъ изученіемъ гимназистовъ, то, разумѣется, его вліяніе на гимнастику ограничится тѣмъ, что онъ посоветуетъ въ общихъ выраженіяхъ учителю этого предмета избѣгать такихъ движеній, при которыхъ воспитанники могутъ переломать себѣ руки и ноги или свихнуть себѣ шею. Кромѣ того гимнастика не можетъ имѣть серьезнаго вліянія на здоровье воспитанниковъ уже и потому, что она не обязательна. Къ § 40 присоединено въ уставѣ слѣдующее примѣчаніе: «къ числу учебныхъ предметовъ принадлежатъ также пѣніе и гимнастика для желающихъ». Гимнастика поставлена такимъ образомъ на одну доску съ пѣніемъ, которое предполагается въ учащемся присутствіе особеннаго таланта, которое не можетъ имѣть никакого серьезнаго гигиеническаго значенія и которое слѣдовательно никакъ не можетъ считаться необходимымъ для всѣхъ. Приведенное мною примѣчаніе позволяетъ уклоняться отъ гимнастики всѣмъ тѣмъ вос-

питаниямъ, которые, обладая флегматическимъ тѣлосложеніемъ, чувствуютъ расположеніе къ сидячей жизни и непремѣнно превратятся къ 25-ти-лѣтнему возрасту въ Обломовыхъ, если только рациональное физическое воспитаніе не будетъ сильно и постоянно противодействовать развитію ихъ вѣтвистическихъ наклонностей. Мы видимъ такимъ образомъ, что въ теоріи новый уставъ выражаетъ очень строгія гигиеническія требованія, но что въ практическихъ подробностяхъ того-же устава гигиена по прежнему занимаетъ очень скромное мѣсто. Къ тому-же самому заключенію приводитъ насъ исторія новаго устава, изложенная довольно подробно въ прошлогодней декабрьской книжкѣ «Журнала министерства народнаго просвѣщенія».

Уставъ вырабатывался специалистами педагогическаго дѣла въ продолженіи восьми лѣтъ; онъ прошелъ черезъ четыре редакціи: каждая изъ этихъ редакцій печаталась и подвергалась самому разностороннему обсужденію, какъ въ педагогическихъ совѣтахъ, такъ и въ періодической литературѣ; вторая редакція была переведена на англійскій, французскій и нѣмецкій языки и отправлена за границу на разсмотрѣніе извѣстнѣйшимъ иностраннымъ педагогамъ и ученымъ. Всѣ замѣчанія, полученныя министерствомъ какъ отъ нашихъ, такъ и отъ иностранныхъ педагоговъ, были собраны и изданы въ нѣсколькихъ объемахъ въ сборникахъ. Одинъ изъ этихъ сборниковъ былъ разосланъ «въ учебныя заведенія и къ разнымъ лицамъ» въ числѣ 2,200 экземпляровъ; другой—въ числѣ 658 экземпляровъ; третій—въ числѣ 1,912 экземпляровъ; четвертый—въ числѣ 1,943 экземпляровъ. Министерство очевидно не жалѣло ни времени, ни денегъ, ни трудовъ на то, чтобы довести проектъ устава до возможной степени зрѣлости и всесторонняго совершенства. Мы не можемъ отказать гг. составителямъ устава въ глубокомъ уваженіи къ добросовѣстности и неутомимости ихъ усилій; но мы не можемъ также не отмѣтить того факта, который бросается въ глаза безпристрастному наблюдателю: въ составленіи новаго устава не участвовала и не имѣла даже совѣщательнаго голоса наука о физической природѣ и о нормальныхъ потребностяхъ человѣческаго организма. Составителями и судьями министерскихъ проектовъ были преимущественно и почти исключительно педагоги, то-есть такіе дѣятели, которые, превосходно умѣя водворять и поддерживать въ учебныхъ заведеніяхъ благопріятіе и прилежаніе учащихся, въ то-же время обладаютъ очень недостаточными свѣдѣніями касательно ихъ условій, при которыхъ сохраняется и укрѣпляется человѣческое здоровье. Проекты не посылались на разсмотрѣніе физиологамъ, медикамъ и гигиенистамъ, и отсутствіе ихъ вліянія даетъ себя чувствовать во всѣхъ частяхъ

и подробностяхъ новаго устава. «У насъ-же,—говоритъ «Журналъ министерства народнаго просвѣщенія»—физическое развитіе учащихся до сихъ поръ было въ полномъ пренебреженіи.» (1864 декабрь, стр. 44.) Съ этой мыслью я совершенно согласенъ; но я рѣшительно не понимаю, какимъ образомъ новый уставъ можетъ произвести въ этомъ отношеніи какую-нибудь существенную перемѣну?

## VI.

Въ реальныхъ гимназіяхъ новый уставъ опредѣляетъ слѣдующимъ образомъ число еженедѣльныхъ уроковъ:

| Предметы.                                                   | КЛАССЫ. |     |      |     |    |     |      | Всего недѣльныхъ уроковъ по часу съ 15 минутъ. |
|-------------------------------------------------------------|---------|-----|------|-----|----|-----|------|------------------------------------------------|
|                                                             | I.      | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |                                                |
| Законъ Божій. . .                                           | 2       | 2   | 2    | 2   | 2  | 2   | 2    | 14                                             |
| Русскій языкъ съ церковнославянскимъ и словесность. . . . . | 4       | 4   | 4    | 4   | 3  | 3   | 3    | 25                                             |
| Французскій языкъ . . . . .                                 | 3       | 3   | 3    | 4   | 3  | 3   | 3    | 22                                             |
| Нѣмецкій языкъ. . . . .                                     | 3       | 3   | 3    | 3   | 4  | 4   | 4    | 24                                             |
| Математика. . . . .                                         | 3       | 4   | 4    | 4   | 4  | 3   | 3    | 25                                             |
| Исторія . . . . .                                           | —       | —   | 2    | 3   | 3  | 3   | 3    | 14                                             |
| Географія. . . . .                                          | 2       | 2   | 2    | 2   | —  | —   | —    | 8                                              |
| Естественная исторія и химія. . . . .                       | 3       | 3   | 3    | 3   | 3  | 4   | 4    | 23                                             |
| Физика и космографія. . . . .                               | —       | —   | —    | —   | 3  | 3   | 3    | 9                                              |
| Числосчисленіе, рисованіе и черченіе. . . . .               | 4       | 4   | 4    | 2   | 2  | 2   | 2    | 20                                             |
| Итого. . . . .                                              | 24      | 25  | 27   | 27  | 27 | 27  | 27   | 184                                            |

Замѣчаніе «Учителя» на счетъ того, что педагоги, составляя росписанія учебныхъ занятій, руководствуются началомъ симметріи,—очевидно совершенно непримѣнимо къ приведенной мною таблицѣ новаго устава. Симметрія нарушена въ двухъ отношеніяхъ: во-первыхъ, число уроковъ въ различныхъ классахъ не одинаково, а во-вторыхъ, во всѣхъ классахъ, кромѣ перваго, положено въ недѣлю такое число уроковъ, которое не дѣлится на цифру дней, то-есть на шесть. Вслѣдствіе этого у воспитанниковъ втораго класса на пять дней въ недѣлю приходится по четыре урока, а на шестой день—пять уроковъ; у остальныхъ-же пяти классовъ, начиная съ третьяго, приходится на три дня по четыре урока и на три дня по пяти. Но отступая такимъ образомъ отъ безплодной симметріи прежнихъ росписаній, новый уставъ нисколько не приближается къ требованіямъ гигиены. — Въ первомъ классѣ десятилѣтніе мальчики должны будутъ учиться по пяти часовъ въ день, не считая того времени, которое имъ придется употреблять на выучиваніе заданныхъ уроковъ и на разныя письменныя работы. — Во второмъ классѣ одиннадцатилѣтніе мальчики должны будутъ одинъ

разъ въ недѣлю просиживать за ученіемъ шесть часовъ съ четвертью. Начиная съ третьяго класса, то-есть для двѣнадцатилѣтнихъ мальчиковъ эти сеансы въ шесть часовъ съ четвертью будутъ повторяться уже по три раза въ недѣлю. Посмотримъ, насколько расходятся между собой, съ одной стороны, предписанія новаго устава, а съ другой стороны, — гигиеническія требованія доктора Гейера.

По уставу, ученики I класса будутъ учиться въ недѣлю 30 часовъ.

По Гейеру, они должны учиться 3 часа въ день, то-есть въ недѣлю 18 часовъ. Разница 12 часовъ.

По уставу, ученики II класса будутъ учиться въ недѣлю  $31\frac{1}{4}$  часа.

По Гейеру, они должны учиться въ недѣлю 18 часовъ. Разница  $13\frac{1}{4}$  часа.

По уставу, ученики III класса будутъ учиться въ недѣлю  $33\frac{3}{4}$  часа.

По Гейеру, они должны учиться въ недѣлю 18 часовъ. Разница  $15\frac{3}{4}$  часа.

По уставу, ученики IV класса будутъ учиться въ недѣлю  $33\frac{3}{4}$  часа.

По Гейеру, они должны учиться въ недѣлю 18 часовъ. Разница  $15\frac{3}{4}$  часа.

По уставу, ученики V класса будутъ учиться въ недѣлю  $33\frac{3}{4}$  часа.

По Гейеру, они должны учиться въ недѣлю 18 часовъ. Разница  $15\frac{3}{4}$  часа.

По уставу, ученики VI класса будутъ учиться въ недѣлю  $33\frac{3}{4}$  часа.

По Гейеру, они должны учиться въ недѣлю 24 часа. Разница  $9\frac{3}{4}$  часа.

По уставу, ученики VII класса будутъ учиться въ недѣлю  $33\frac{3}{4}$  часа.

По Гейеру, они должны учиться въ недѣлю 24 часа. Разница  $9\frac{3}{4}$  часа.

Складываю всѣ разницы и получаю:

$$12 + 13\frac{1}{4} + 15\frac{3}{4} + 15\frac{3}{4} + 15\frac{3}{4} + 9\frac{3}{4} + 9\frac{3}{4} = 92.$$

То-есть уставъ и Гейеръ расходятся между собой на 92 часа. Уставъ требуетъ для осуществленія своей программы по 230 часовъ въ недѣлю, а Гейеръ отпускаетъ на классныя занятія только 138 часовъ въ недѣлю. Читателю можетъ показаться страннымъ, что цифра 18 повторяется у Гейера, начиная отъ I класса и кончая V-ымъ, и что такимъ образомъ десятилѣтніа дѣти уравниваются съ пятнадцатилѣтними отроками. Я напоминаю читателю, что это уравниваніе относится только къ класснымъ занятіямъ, то-есть къ ученію до обѣда. Для десятилѣтнихъ и одиннадцатилѣтнихъ дѣтей Гейеръ не допускаетъ никакихъ занятій внѣ класса; а начиная съ двѣнадцати лѣтъ, онъ отводитъ имъ послѣ обѣда по два часа на приготовленіе заданныхъ уроковъ. Это обстоятельство

составляетъ замѣтную раздѣлительную черту между учениками первыхъ двухъ классовъ и трехъ слѣдующихъ.

Такъ какъ я разбираю разницу между уставомъ и Гейеромъ, а не между нашей педагогической практикой и Гейеромъ, то я допустилъ для первыхъ двухъ классовъ то предположеніе, что преподаватели не задаютъ никакихъ уроковъ. Еслибы не было этого предположенія, то, разумѣется, разница вышла-бы еще гораздо значительнѣе. Однако и теперь, какъ-же намъ управиться съ разницей въ 92 часа? Есть-ли возможность соблюсти требованія гигиены и въ то-же время выпустить изъ гимназіи дѣльныхъ и развитыхъ молодыхъ людей? Я полагаю, что возможность есть; но, разумѣется, нечего и думать о томъ, чтобы въ 138 часовъ сдѣлать точь-въ-точь ту работу, на которую положено по уставу 230 часовъ. Если держаться той основной программы, которую даетъ уставъ, тогда конечно надо будетъ плевать на Гейера и на всю его гигиену; до сихъ поръ мы такъ и дѣлали, и нельзя сказать, чтобы такой смѣлый образъ дѣйствій доставлялъ намъ, въ какомъ-бы то ни было отношеніи, особенно большія выгоды и удобства.

Такимъ образомъ мы видимъ, что основная программа должна быть измѣнена не во имя чихихъ нибудь вѣчныхъ предубѣждений въ пользу классицизма или реализма, а просто во имя нашей общей и единодушной заботливости о здоровьѣ учащихся поколѣній.

Измѣнить основную программу можно двоякимъ образомъ. Во-первыхъ, можно оставить неприкосновенными всѣ учебные предметы, но проходить каждый изъ нихъ въ сокращенномъ объемѣ. Во-вторыхъ, можно совершенно выкинуть нѣсколько учебныхъ предметовъ. Второй методъ, по моему мнѣнію, во всѣхъ отношеніяхъ лучше перваго. Гимназическій курсъ и безъ того уже даетъ намъ только жалкіе остовы многихъ разнородныхъ предметовъ. Мы домогаемся въ гимназіи слегка до всего и не изучаемъ основательно ровно ничего. Новый уставъ направленъ именно противъ этого недостатка нашего гимназическаго образованія; но мнѣ кажется, что онъ съ болѣею пользою для дѣла могъ-бы пойти въ этомъ направленіи гораздо дальше. Система сокращенія и упрощенія курсовъ нигуда не годится. Если мы изъ краткихъ гимназическихъ учебниковъ составимъ учебники еще болѣе краткіе, то, разумѣется, въ этихъ жалкихъ экстрактахъ не останется рѣшительно никакой образовательной силы. Надо, напротивъ того, сосредоточить вниманіе учениковъ на самомъ незначительномъ числѣ предметовъ настолько глубокимъ и основательнымъ, насколько это возможно безъ нарушенія гигиеническихъ условій. Какъ это сдѣлать? спрашиваетъ любопытный и недовѣрчивый читатель. Въ отвѣтъ



на этотъ вопросъ я представляю слѣдующую таблицу еженедѣльных уроковъ.

| Предметы.                          | КЛАССЫ. |     |      |     |    |     |      | Всего недѣль-<br>ныхъ уроковъ<br>по часу на<br>каждый |
|------------------------------------|---------|-----|------|-----|----|-----|------|-------------------------------------------------------|
|                                    | I.      | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |                                                       |
| Законъ Божій. . . .                | 2       | 2   | 2    | 2   | 2  | 2   | 2    | 14                                                    |
| Математика. . . . .                | 6       | 6   | 6    | 6   | 6  | 6   | 6    | 42                                                    |
| Русскій языкъ. . . .               | 4       | 4   | 4    | 4   | 4  | 6   | 6    | 32                                                    |
| Французскій языкъ .                | 2       | 2   | 2    | 3   | 2  | 2   | 2    | 15                                                    |
| Нѣмецкій языкъ. . .                | 2       | 2   | 2    | 3   | 2  | 2   | 2    | 15                                                    |
| Числосчисаніе. . . .               | 2       | 2   | 2    | —   | —  | —   | —    | 6                                                     |
| Физика и космо-<br>графія. . . . . | —       | —   | —    | —   | 2  | 6   | 6    | 14                                                    |
| Итого. . . . .                     | 18      | 18  | 18   | 18  | 18 | 24  | 24   | 138                                                   |

Эта таблица требуетъ конечно очень мно-гихъ комментаріевъ.—Преподаваніе Закона Бо-жія, какъ предмета совершенно неприкосновен-наго, оставлено въ томъ самомъ объемѣ, въ ка-комъ оно опредѣлено уставомъ. Преподаваніе ма-тематики усилено на 17 уроковъ, преподаваніе русскаго языка—на 7 уроковъ и преподаваніе физики и космографіи—на 5 уроковъ. Зато фран-цузскій и нѣмецкій языки ослаблены, первый—на 7, а второй—на 9 уроковъ. Числосчисаніе, ко-торое по уставу соединяется съ рисованіемъ и черченіемъ, сведено съ 20 уроковъ на 6, причѣмъ разумѣется, рисованіе и черченіе откинута прочь. Наконецъ,—о ужасъ, о позоръ!—четыре пред-мета подвергнуты полному изгнанію. И какіе-жъ предметы, Боже мой, какіе очаровательные пред-меты?! Отправлены въ изгнаніе исторія, геогра-фія, химія и естественная исторія.

Такъ какъ мои мысли подвергаются очень часто различнымъ печатымъ перетолкованіямъ и искаженіямъ, то я точнѣе слѣдуетъ говорить, что, исключая исторію, географію, химію и естественную исторію изъ гимназическаго кур-са, я вовсе не думаю подвергать сомнѣнію не-обходимость этихъ предметовъ въ кругу знаній всякаго образованнаго человѣка. Я только твер-до увѣренъ въ томъ, что ни гимназія, ни уни-верситетъ, ни какое-либо другое учебное заве-деніе не могутъ и никогда не будутъ въ состоя-ніи выпускать въ свѣтъ совершенно образован-ныхъ людей, то-есть такихъ людей, которымъ больше незначѣмъ было-бы трудиться надъ соб-ственнымъ развитіемъ и пріобрѣтать новыя зна-нія собственными усиліями. Полное банкротство всѣхъ существующихъ системъ общественнаго воспитанія объясняется въ значительной сте-пени тѣмъ обстоятельствомъ, что изобрѣтатели и распространители этихъ системъ желали и надѣялись рѣшить посредствомъ упорной, про-должительной и сознательной работы каждой от-дѣльной уже созрѣвшей и возмужалой личности надъ своимъ собственнымъ образованіемъ. Ко-гда школа хочетъ замѣнить человѣку самообра-зованіе, тогда она берется совсѣмъ не за свое дѣло и, стараясь сдѣлать для учащагося юноше-

ства чрезчуръ много, не дѣлаетъ даже и того, что составляетъ ея прямую и естественную обя-занность.

Самообразованіе составляетъ необходимую и въ высшей степени законную фазу здороваго человѣческаго развитія. Школа должна стре-миться не къ тому, чтобы избавить человѣка отъ трудовъ самообразованія, а къ тому чтобы сдѣлать эти труды возможными и плодотвор-ными. Школа должна, во-первыхъ, разбудить въ человѣкѣ любознательность, и во-вторыхъ, развернуть и укрѣпить силы его ума настолько, чтобы человѣкъ, выходя изъ школы въ жизнь, могъ безъ постороннихъ руководителей искать и находить разумное удовлетвореніе для своей пробудившейся любознательности. Если школа имѣетъ какое-нибудь специально-практическое значеніе, то, разумѣется, она должна кромѣ то-го научить своихъ воспитанниковъ тому реме-слу, ради котораго она сама существуетъ.

Науки, преподающіяся въ каждой школѣ, можно такимъ образомъ раздѣлить на два раз-ряда: 1) науки образовательныя, и 2) науки прикладныя. Тѣ предметы, которые не входятъ ни въ тотъ, ни въ другой разрядъ, можно смѣ-ло считать совершенно бесполезными.—Что ни химія, ни географія, ни естественная исторія, ни всеобщая исторія не могутъ сдѣлаться для гимназистовъ прикладными науками, въ этомъ, вѣрюсь, не можетъ быть никакого сомнѣнія. На химію основаны конечно очень многія, въ высшей степени важныя отрасли заводской про-мышленности; но для того, чтобы приступить къ которой-нибудь изъ этихъ отраслей, надо, ра-зумѣется, знать химію въдесятеро подробнѣе и основательнѣе, чѣмъ будутъ знать ее воспитан-ники реальныхъ гимназій.

Посмотримъ теперь, можно-ли приписать этимъ наукамъ образовательное значеніе при тѣхъ условіяхъ, которыми неизбѣжно будетъ оставлено ихъ преподаваніе въ гимназіяхъ. На химію вмѣстѣ съ естественной исторіей по-ложено по уставу 23 урока. Подъ именемъ есте-ственной исторіи здѣсь подразумѣвается цѣлая, обширная группа наукъ; сюда входятъ минера-логія, ботаника, зоологія, анатомія и физиоло-гія; быть-можетъ сюда придется еще присоеди-нить геологію и палеонтологію; такимъ обра-зомъ гимназистамъ предстоитъ обнять, посред-ствомъ 23 недѣльных уроковъ, шесть, а мож-етъ быть и восемь громадныхъ и сложныхъ наукъ. На каждую науку приходится въ пер-вомъ случаѣ немного меньше *четыре*хъ, а во второмъ—немного меньше *трехъ* еженедѣль-ныхъ уроковъ. Всѣ же шесть или восемь наукъ, въ своей совокупности, считаются немного труд-нѣе французскаго и немного легче нѣмецкаго языка; это послѣднее заключеніе вытекаетъ изъ того обстоятельства, что уставъ опредѣляетъ на изученіе французскаго 22 урока, на изученіе

шести или восьми естественных наук—23, а на изучение немецкого—24 урока.

Эта изумительная быстрота и легкость изучения составляет первый из тех подводных камней, на которых разобьется предполагаемое образовательное значение естественной истории и химии. Второй подводный камень можно усмотреть в томъ, что преподавание естественной истории начинается съ первого класса. Скажите, пожалуйста, какого рода естественную историю можно преподавать десятилѣтнимъ ребятамъ? Одно изъ двухъ: или суровый учитель заставить ихъ зубрить классификацію, или же добродушный учитель станетъ увеселять ихъ разсказами о смысленности животныхъ, о вѣрныхъ собачкахъ, о хитрыхъ лисичкахъ и о трудолюбивыхъ пчелкахъ. Въ томъ и другомъ случаѣ овчинки не будутъ стоить выдѣлки, т.-е. образовательное влияние такой естественной истории будетъ равняться нулю, и дѣти будутъ совершенно напрасно просиживать въ классѣ ежедневно по  $3\frac{3}{4}$  часа, которые они съ громадной пользой для своего здоровья и физическаго развитія могли бы истратить на гимнастическія упражненія, на бѣганіе, на прыганіе, и вообще на всякія игры, свойственныя и необходимыя ихъ возрасту.

Образовательное влияние всѣхъ естественныхъ наукъ состоитъ исключительно въ томъ, что онѣ укореняють въ человѣкѣ понятіе о вѣчныхъ и неизбѣжныхъ законахъ, управляющихъ всѣмъ мірозданіемъ и господствующихъ съ одинаковою силой надъ всѣми явленіями, доступными нашему изученію, начиная отъ самыхъ простыхъ и кончая самыми сложными. Это понятіе о вѣчныхъ и неизбѣжныхъ законахъ очевидно можетъ имѣть интересъ и значеніе только для зрѣлаго или по крайней мѣрѣ для созрѣвающаго человѣка, въ умѣ котораго уже шевелятся вопросы и тревожныя сомнѣнія; кому еще ни разу не случалось вглядываться и вдумываться въ явленія окружающей природы, кого никогда не волновалъ и не мучилъ нелѣпый разладъ между смысломъ естественныхъ явленій и фантастическими понятіями немыслимаго большинства, — тому еще незачѣмъ открывать книги естествознанія, и для того слова: *законъ и произволъ, необходимость и личная воля, естественное развитіе и необъяснимая катастрофа* оказываются еще одинаково пустыми и безцвѣтными словами, которыя ничего не затрагивають, ничему не противорѣчатъ, ни съ чѣмъ не гармонизируютъ и ни на что не даютъ отвѣта. Чтобы возвыситься до понятія о *законѣ* надо пожить хоть немного жизнью мысли и чувства, надо выдти изъ того міра непосредственныхъ ощущеній, въ которомъ прозябаетъ ребенокъ, и надо наконецъ серьезно и основательно познакомиться съ тѣмъ порядкомъ явленій, въ которомъ естественные законы обнаружи-

ваются въ самой простой и элементарной формѣ. Свойства чиселъ, свойства величинъ, линий, плоскостей и тѣлъ—вотъ тѣ естественныя явленія, на которыхъ прежде всего должны сосредоточиваться и изощряться умственные способности ребенка.

Математика есть лучшее и даже единственное возможное введеніе къ изученію природы. Безъ геометріи и алгебры невозможно изученіе механики; безъ геометріи, алгебры и механики невозможно изученіе астрономіи; безъ геометріи, алгебры, механики и астрономіи невозможно изученіе физики и физической географіи; безъ физики нельзя взяться за химию; безъ физики и химии нѣтъ возможности приступить къ физиологіи животныхъ и растений. Разумное и плодотворное изученіе природы возможно только при соблюденіи самой строгой постепенности; надо непремѣнно начинать съ самаго начала и переходить къ сложнымъ явленіямъ только тогда, когда уже вполне усвоено знаніе всѣхъ, болѣе простыхъ явленій; прыгнуть разомъ на высшую ступеньку естествознанія, не побывавъ предварительно на всѣхъ низшихъ, нѣтъ никакой возможности, и всякая попытка нарушить такимъ образомъ естественный порядокъ изученія ведетъ за собой только размноженіе фразеровъ и верхоглядовъ. Поэтому тѣ люди, которымъ дорого распространеніе реальныхъ знаній въ Россіи, должны желать особенно сильно, чтобы естественная история вытѣснъ съ химіей была совершенно исключена изъ гимназическаго курса, и чтобы изученіе математики въ гимназіяхъ было доведено именно до тѣхъ колоссальныхъ размѣровъ, которые опредѣлены для нея въ моей таблицѣ.

Неумѣстность естественной истории въ гимназическомъ курсѣ обнаруживается особенно ярко въ томъ обстоятельствѣ, что многія, чрезвычайно важныя подробности изъ жизни растений и животныхъ совершенно умалчиваются учебниками и преподавателями, потому что считаются неприличными и вредными для нравственности и даже для здоровья учащагося юношества. Всѣ половыя отношенія органическаго міра, всѣ факты эмбриологіи и дѣторожденія блистають своимъ отсутствіемъ; вслѣдствіе этого въ знаніяхъ ученика оказывается огромный пробѣлъ, котораго онъ самъ конечно не можетъ не замѣтить и который однимъ голымъ фактомъ своего существованія непремѣнно будетъ направлять его нескромную любознательность именно туда, куда по соображенію педагоговъ эта нескромная любознательность совсѣмъ не должна заглядывать. Кромѣ того что цѣлая масса фактовъ выкидывается такимъ образомъ изъ преподаванія, даже то, что остается на мѣстѣ, оказывается во многихъ отношеніяхъ изуродованнымъ и обезсмысленнымъ. Известно напримѣръ, что самой рациональной

классификаціею животнаго царства считается въ настоящее время классификація по эмбриологическимъ даннымъ; но такъ какъ эмбриологія составляетъ для гимназистовъ слишкомъ скромное кушанье, то, разумѣется, и раціональная классификація становится невозможной.

Но и это еще не все. Преподавая малолѣтнимъ ребятамъ жалкія лохмотья великой науки, учитель въ большей части случаевъ будетъ еще располагать и подрашивать эти лохмотья такъ, чтобы они дѣйствовали на чувство и на воображеніе учениковъ именно съ той стороны, съ которой желательно на нихъ подѣйствовать. То, что должно было по буквѣ устава быть изученіемъ природы, превратится такимъ образомъ въ штабробіановскія и ламартиновскія сахарно-слезливый медитаціи. Образовательнаго вліянія нечего ожидать отъ этихъ медитацій, потому что, какъ-бы онѣ ни были умилительны, однако можно поручиться за то, что ученики отнесутся къ нимъ недоувѣрчиво и насмѣшливо, — такъ, какъ обыкновенно относятся дѣтико всякой хитрой и замысловатой мистификаціи, направляемой противъ нихъ тенденціозной педагогикой. Математика не требуетъ никакихъ цѣломудренныхъ умолчаній и не допускаетъ никакихъ благонравныхъ тенденціозностей. Эти важныя преимущества еще болѣе упрочиваются за математикой ту роль, которую она по своему естественному положенію въ ряду другихъ наукъ неизбѣжно должна занимать въ первоначальномъ образованіи юношества. — Для естественной же исторіи подобная роль немислима.

## VII.

Если естественная исторія и химія не годятся для гимназическаго курса, то тѣмъ болѣе неумѣстны въ немъ политическая географія и всеобщая исторія. Научное значеніе политической географіи очевидно состоитъ въ изслѣдованіи той связи, которая существуетъ между землею и человѣкомъ. Научное значеніе всеобщей исторіи также очевидно состоитъ въ изслѣдованіи тѣхъ законовъ, по которымъ живутъ, развиваются и дѣйствуютъ другъ на друга идеи и учрежденія различныхъ человѣческихъ обществъ. Достаточно взглянуть внимательно на эти два опредѣленія для того, чтобы совершенно убѣдиться, до какой степени изученіе всеобщей исторіи и политической географіи не соответствуетъ ни умственнымъ силамъ, ни предпріятельноприобрѣтенымъ знаніямъ нашихъ гимназистовъ.

Преподаваніе политической географіи начинается по уставу въ первомъ классѣ и оканчивается въ четвертомъ, между тѣмъ какъ преподаваніе физики и космографіи начинается съ пятаго класса; гимназистамъ приходится такимъ образомъ разсматривать вліяніе земли на человѣка въ то время, когда они не имѣютъ

еще ни малѣйшаго понятія о различныхъ свойствахъ и особенностяхъ земли, какъ физическаго тѣла. Такъ какъ это разсматриваніе при такихъ условіяхъ совершенно невозможно, то политическая географія, преподаваемая въ гимназіяхъ, неизбѣжно должна превратиться, и дѣйствительно всегда превращалась до сихъ поръ, или въ каталогъ государствъ, городовъ, рѣкъ, горъ и всякихъ достопримѣчательностей, или въ собраніе нравоучительныхъ разсказовъ о лапландцахъ и о сѣверномъ оленѣ, о бедуинахъ и о верблюдѣ, съ англичанахъ и о паровой машинѣ.

Каталогъ собственныхъ именъ и цифръ окончательно подвергнуть опалѣ всѣми современными педагогами; къ нравоучительнымъ — же разсказамъ педагоги, напротивъ того, питаютъ до сихъ поръ и вѣроятно долго еще будутъ питать глубокую нѣжность. Въ этихъ нравоучительныхъ разсказахъ дѣйствительно нѣтъ ничего особенно вреднаго; дѣтямъ не мѣшаетъ читать подсные разсказы, когда у нихъ пробуждается охота къ чтенію и когда гигіеническаго соображенія не заставляютъ взрослыхъ противоудѣйствовать этой пробудившейся наклонности. Но держать дѣтей въ классѣ и сидѣть передъ ними на кафедрѣ для того, чтобы разсвязывать имъ, какимъ образомъ бедуины ѣздятъ верхомъ на верблюдахъ, значитъ превращать невинное развлеченіе въ важную и серьезную работу, которая однако, несмотря на всю торжественность обстановки, неспособна дать никакихъ важныхъ и серьезныхъ результатовъ. Когда учитель превращается въ разсказчика, тогда онъ немедленно становится бесполезнымъ, потому что роль разсказчика можетъ съ величайшимъ удобствомъ играть хорошая книга, написанная яснымъ и правильнымъ языкомъ и незагроможденная мудрыми научными терминами. Обязанность учителя состоитъ совсѣмъ не въ томъ, чтобы разсказывать ученику тѣ факты, которые ученикъ долженъ запомнить, а въ томъ, чтобы постоянно укрѣплять и развивать умственные способности ученика такими упражненіями, которыя во всякую данную минуту соответствовали-бы размѣрамъ его наличныхъ силъ и которыя съ теченіемъ времени становились-бы постоянно болѣе трудными и болѣе сложными.

Ни въ географіи, ни въ исторіи нѣтъ мѣста для подобныхъ упражненій. Въ этихъ предметахъ, насколько они доступны гимназистамъ, нечего понимать; въ нихъ надо рѣшительно все запоминать; поэтому работа учителя становится въ нихъ совершенно излишней, и усвоеніе тѣхъ историческихъ и географическихъ фактовъ, которыхъ знаніе необходимо для образованнаго человѣка, можетъ быть цѣликомъ предоставлено личной и самостоятельной дѣятельности каждаго отдѣльнаго ученика.

Куда какъ все это хорошо! замѣтить огромное большинство моихъ читателей. Ученикъ выйдетъ изъ гимназіи и не будетъ имѣть понятія о томъ, кто былъ Наполеонъ I; онъ не будетъ знать, что Рейнъ течетъ въ Германіи; услышавъ въ разговорѣ слово *Европа*, онъ будетъ спрашивать, что это за штука. На что-же это въ самомъ дѣлѣ похоже! Въдѣ въ этихъ словахъ сформулировано самое сильное возраженіе, какое только можетъ быть придумано противъ моихъ размышленій о необходимости исключить изъ гимназическаго курса исторію и географію.

Это возраженіе нисколько не кажется мнѣ неопровержимымъ. Я полагаю, что если молодой человѣкъ, выпедивъ изъ гимназіи, чувствуетъ очень глубоко, ежеминутно и на каждомъ шагу, крайнюю недостаточность своихъ знаній и поразительную незаконченность своего образованія—это не совсѣмъ пріятное ощущеніе не можетъ принести этому молодому человѣку ничего, кромѣ самой существенной пользы. Въ восемнадцатилѣтнему возрасту образованіе человѣка никакимъ образомъ не можетъ и даже не должно быть закончено; восемнадцатилѣтній юноша еще растетъ, какъ въ физическомъ, такъ и въ умственномъ отношеніи, и было-бы въ высшей степени не нормально и даже вредно, еслибы постоянно расширяющійся и усиливающійся умъ былъ принужденъ пробавляться той пищей, которая была имъ усвоена и удовлетворяла его потребностямъ во время одной изъ предыдущихъ фазъ его развитія. Новыя растущія силы требуютъ себѣ новой работы. Гимназическое образованіе, по самой сущности своего назначенія, должно быть непременно неполнымъ и незаконченнымъ; эта неполнота и незаконченность нисколько не составляютъ для него недостатка, и всякія заботы объ устраненіи этихъ необходимыхъ и естественныхъ свойствъ гимназическаго образованія оказываются совершенно безплодными или даже наносятъ школѣ существенный вредъ.

Если неполнота и незаконченность составляютъ нормальное свойство гимназическаго образованія, то спрашивается теперь, что лучше для молодого человѣка, окончившаго курсъ въ гимназіи: чтобы онъ ясно понималъ и глубоко чувствовалъ недостаточность своихъ знаній или же, чтобы эта недостаточность была искусно и тщательно замаскирована отъ него самого и отъ окружающаго общества разными обманчивыми подобіями знаній? Само собой разумѣется, что первое несравненно лучше второго, потому что человѣку всегда выгодно и полезно имѣть ясное и вѣрное понятіе о своемъ положеніи, какъ-бы ни было это положеніе хорошо или дурно, утѣшительно или безотраднo. Если я бѣденъ, то никакъ не долженъ считать себя богачемъ, потому что въ такомъ случаѣ я за-

путаюсь въ долгахъ и доведу себя до окончательнаго разоренія.

Если я—недоучившійся школьникъ, то отнюдь не долженъ принимать себя за образованнаго человѣка, потому что въ такомъ случаѣ я рискую успокоиться на лаврахъ моего невѣжества и сохранить при себѣ это невѣжество до конца моей жизни. Воспитанники нашихъ теперешнихъ гимназій знаютъ, что Наполеонъ I былъ французскимъ императоромъ, что Рейнъ течетъ по Швейцаріи, по Германіи и по Голландіи, что Европой называется та часть свѣта, въ которой мы живемъ; они знаютъ кромѣ того множество другихъ собственныхъ именъ и отрывочныхъ фактовъ; они не осрамятся въ обществѣ какимъ-нибудь поразительнымъ проявленіемъ невѣжества; но развѣ-же можно въ самомъ дѣлѣ сказать о нихъ, что они знаютъ всеобщую исторію и политическую географію? Развѣ въ самомъ дѣлѣ позволительно оставаться по этимъ предметамъ на всю жизнь съ тѣми знаніями, которыхъ не могутъ сообщить даже превосходные гимназическіе учебники? А между тѣмъ именно то полужнаніе, которое спасаетъ молодого человѣка отъ полезнаго посрамленія, именно это полужнаніе, говорю я, и даетъ юношѣ возможность обходиться въ жизни безъ серьезнаго чтенія и останавливаться въ своихъ знаніяхъ и въ своемъ развитіи на той скромной ступени, на которую поставила его ферула школьнаго учителя. Напротивъ того, кто не выпесъ изъ школы даже элементарныхъ понятій о Наполеонѣ, о Рейнѣ и о Европѣ, тотъ рѣшительно не можетъ обойтись безъ чтенія; пробѣлы его образованія такъ очевидны, что они пугаютъ его и не даютъ ему покоя до тѣхъ поръ, пока онъ ихъ не наполнитъ результатами собственныхъ занятій. А для наполненія этихъ ужасныхъ пробѣловъ опъ возьмется конечно не за гимназическіе учебники, а за научныя сочиненія по той простой причинѣ, что для взрослого молодого человѣка гораздо легче и пріятнѣе прочитать десять толстыхъ томовъ серьезной книги, чѣмъ одинъ томъ учебника.

— Однако это оригинально!—возразитъ мнѣ читатель. — По нашему мнѣнію, задача школы состоитъ въ томъ, чтобы *не давать* своимъ питомцамъ знаній и чтобы подвергать этихъ питомцевъ *полезнымъ*, какъ вы говорите, посрамленіямъ. Тогда лучше всего совсѣмъ уничтожить всѣ школы; тогда ужъ навѣрное растущія поколѣнія не будутъ получать никакихъ знаній; *полезное* посрамленіе ихъ будетъ самое полное, и гигиена окончательно восторжествуетъ, потому что дѣти будутъ бѣгать и кувыркаться съ утра до вечера.

Еслибы я самъ не привелъ противъ себя этого остроумнаго возраженія, то его навѣрное измыслилъ-бы противъ меня кто-нибудь изъ

наших остроумныхъ журналистовъ, хоть-бы наприѣмъ кто-нибудь изъ атлетовъ, подвижающихся въ «Отечественныхъ Запискахъ». Я отвѣчу на это возраженіе, что школа должна давать своимъ воспитанникамъ такія знанія, которыя она можетъ сообщить имъ въ полномъ объемѣ, которыя развиваютъ и укрѣпляютъ ихъ умы, и которыя притомъ воспитанникамъ было-бы трудно пріобрѣсти собственными усиліями, безъ содѣйствія и руководства преподавателя. По моей программѣ школа даетъ ученикамъ основательное знаніе математики и умѣнье превосходно владѣть отечественнымъ языкомъ. Кто пріобрѣлъ навыкъ обращаться легко и свободно со всевозможными алгебраическими и геометрическими выкладками и кто кромѣ того пріобрѣлъ умѣнье выражать всѣ отбѣнки своихъ мыслей яснымъ и точнымъ языкомъ, тотъ можетъ смѣло взяться за какую угодно отрасль самостоятельныхъ занятій. Фактическихъ знаній у него не много, но фактическія знанія усвоятся очень легко такимъ человекомъ, у котораго умъ развитъ и закаленъ въ строгой школѣ математическаго образованія. Значитъ, я требую отъ школы, чтобы она давала своимъ питомцамъ *основательныя* знанія, и чтобы, оставивъ окончательно заботы о разносторонности и обширности своей программы, она направляла всѣ силы воспитанниковъ на глубокое и добросовѣстное изученіе немногихъ, но строго и рационально подобранныхъ предметовъ. Подумайте въ самомъ дѣлѣ, давали-ли наши гимназіи до сихъ поръ основательныя знанія по какому-бы то ни было предмету? Нѣтъ, не давали, — отвѣтитъ вамъ каждый знающій человекъ, и правительство отвѣчаетъ на этотъ вопросъ точно такъ-же, потому что оно признаетъ необходимымъ произвести въ гимназіяхъ полное преобразование. — Почему не давали? — Потому, — отвѣтитъ вамъ каждый знающій человекъ, — что за всѣмъ хотѣла угоняться. — Стало-быть, что-же надо сдѣлать? — Надо ограничить претензіи гимназій, надо точнѣе опредѣлить ихъ назначеніе и избавить ихъ программу отъ вредной и безплодной многосторонности.

Именно такъ разсуждаютъ наши классики, и въ основномъ принципѣ, въ области чистой отвлеченности, я съ ними совершенно согласенъ. Но когда они хватаются за древніе языки, какъ за волшебный талисманъ, тогда я рѣшительно перестаю ихъ понимать. Ихъ нѣжность къ древнимъ языкамъ, при всей своей громадности, все-таки не внушаетъ имъ такой храбрости, которая побудила-бы ихъ отказаться отъ русскаго языка, отъ математики, отъ физики, отъ новыхъ языковъ, отъ исторіи и отъ географіи. Всѣ эти предметы оказываются, по ихъ мнѣнію, необходимыми, и кромѣ того необходимы еще языки латинскій и греческій. Та-

кимъ образомъ вмѣсто того, чтобы избавиться отъ многопредметности, которую они сами ежeminутно проклинаютъ, наши классики своими усиліями только увеличиваютъ эту многопредметность, ведущую за собой непрѣменно безплодную трату силъ и умственную деморализацію учащейся молодежи. Кто хочетъ дѣйствительно устранить вредную многопредметность, тотъ долженъ выбрать изъ массы гимназическихъ предметовъ самые необходимые и на этихъ необходимыхъ предметахъ сосредоточить все преподаваніе. Какіе-же предметы — самые необходимые? Я думаю, отвѣчать не трудно: математика и отечественный языкъ. На этихъ двухъ предметахъ и слѣдуетъ сосредоточиться. Чѣмъ меньше будетъ посторонней примѣси, тѣмъ усиѣннѣе пойдетъ умственное развитіе учащихся. Я осмѣливаюсь думать, что въ моей программѣ посторонняя примѣсь доведена до возможнаго minimum'a. Кромѣ того я напомню читателю, что общій итогъ и распредѣленіе учебныхъ часовъ соотвѣтствуетъ буквально гигиеническимъ требованіямъ доктора Гейера.

### VIII.

Программа моя можетъ вызвать еще нѣсколько возраженій, на которыя я постараюсь отвѣтить заранее.

1) Читатель можетъ изумиться и ужаснуться тому случаю, что русская исторія исключается повидимому изъ гимназій вмѣстѣ со всеобщей. Русская исторія въ настоящее время считается такимъ необходимымъ предметомъ, что она преподается даже въ уѣздныхъ училищахъ и чуть-ли даже не въ приходскихъ. Съ легкой руки «Московскихъ Вѣдомостей», люди, неспособные размышлять собственнымъ умомъ, усвоили себѣ даже тотъ странный предрасудокъ, будто-бы преподаваніе русской исторіи можетъ имѣть важное политическое значеніе, и будто оно совершенно необходимо для поддержки и укрѣпленія нашего патріотизма.

Еслибы этотъ предрасудокъ не былъ результатомъ самой безотвѣтной наивности, то онъ былъ-бы въ высшей степени оскорбителенъ для нашей національной чести, не говоря уже о томъ, что онъ находится въ самомъ вопіющемъ разладѣ съ самыми очевидными и знаменательными фактами нашей-же собственной исторіи. Въ самомъ дѣлѣ, хорошъ былъ-бы тотъ народъ, котораго патріотизмъ нуждался-бы въ искусственнымъ подогрѣваніи и основывался-бы на изученіи архивныхъ документовъ. Патріотизмъ для народа есть то-же самое, что инстинктъ самосохраненія для отдѣльной личности; человеку свойственно любить и защищать собственное тѣло; точно также ему свойственно любить и защищать тѣхъ людей, ту землю, тотъ складъ жизни и понятій, къ которымъ онъ привыкъ и привязался съ первыхъ дней своего дѣтства. Это стрем-

ление любить и защищать совокупность тѣхъ предметовъ, которые составляютъ родину, — слабѣть и даже совершенно исчезаетъ только въ тѣхъ сравнительно рѣдкихъ случаяхъ, когда человѣку нѣтъ никакой возможности привыкнуть и привязаться къ тому, что его окружаетъ. Эта невозможность привыкнуть и привязаться является очевидно тогда, когда сумма страданій постоянно и въ очень значительной степени превѣшиваетъ сумму пріятныхъ ощущенийъ. Тогда, разумѣется, вмѣсто привязанности развивается, смотря по обстоятельствамъ и по особенностямъ народнаго характера, или тупое равнодушіе, или затаенная ненависть къ даннымъ условіямъ жизни. Для рабовъ и для народовъ, притупленныхъ долговременнымъ угнетеніемъ, не существуетъ отечества и не можетъ быть патріотизма, потому что человѣкъ не можетъ любить то, что отравляетъ его жизнь ежедневными физическими или нравственными мученіями. Впрочемъ надо замѣтить, что природа человѣка чрезвычайно невысказательна въ этомъ отношеніи и умѣетъ мириться съ такими условіями существованія, которыя въ глазахъ безпристрастнаго наблюдателя оказываются непрерывной цѣпью лишений, неблагоприятныхъ трудовъ и тяжелыхъ страданій. Со временъ Бориса Годунова наприѣмъ въ положеніе нашихъ крестьянъ, прикрѣпленныхъ къ землѣ и превращенныхъ въ собственность, было конечно такъ плохо, что трудно даже представить себѣ что-нибудь худшее, а между тѣмъ эти-же самые крестьяне съ величайшимъ воодушевленіемъ поднимались два раза на защиту гого отечества, которое такъ неудовлетворительно исполняло въ отношеніи къ нимъ свои священные обязанности. Крестьяне ходили съ Мининымъ подъ Москву, крестьяне шли толпами въ ополченіе 1812 года; конечно ихъ воодушевленіе поддерживалось не учебниками русской исторіи и конечно было-бы въ высшей степени безразсудно, и несправедливо ожидать, чтобы внутреннія психологическія причины этого воодушевленія утратили свою силу теперь, когда положеніе крестьянъ улучшилось во многихъ отношеніяхъ.

Чѣмъ легче и вольнѣе живется на свѣтѣ какому-нибудь народу, тѣмъ сильнѣе любить онъ свою родину и свои учрежденія. Единственное средство усилить патріотизмъ состоитъ въ томъ, чтобы содѣйствовать правильному, здоровому и успѣшному развитію народныхъ силъ и народной производительной дѣятельности. Школа конечно можетъ принести въ этомъ отношеніи значительную долю пользы; но для этого она должна превращать своихъ воспитанниковъ въ здоровыхъ и мыслящихъ людей, а не въ говорунівъ, почерпающихъ свой патріотизмъ изъ параграфовъ историческаго учебника. Мыслящій человѣкъ, выбравшій себѣ какую-нибудь отрасль труда и пристрастившійся къ своей дѣятельно-

сти, любить свою родину особенно сильно потому, что чувствуетъ себя полезнымъ для нея и лишнимъ во всякой другой странѣ. Трудъ составляетъ самую крѣпкую и надежную связь между тѣмъ человѣкомъ, который трудится, и тѣмъ обществомъ, на пользу котораго направленъ этотъ трудъ. Поэтому, развивая въ своихъ воспитанникахъ рабочія силы и любовь къ труду, школа готовитъ изъ нихъ превосходныхъ патріотовъ, хотя-бы даже эти патріоты не имѣли никакого понятія о томъ, кто такой былъ Рюрикъ и что такое онъ сдѣлалъ 1000 лѣтъ тому назадъ.

Впрочемъ даже эта послѣдняя опасность устраняется сама собой. Я замѣтилъ уже въ самомъ началѣ этой главы, что русская исторія исключена изъ моей программы только *повидимому*. На самомъ-же дѣлѣ преподаваніе этого предмета только соединено съ преподаваніемъ словесности, и это соединеніе въ высшей степени выгодно для обоихъ предметовъ. Когда исторія и словесность преподаются отдѣльно, тогда преподаваніе того и другого предмета рискуетъ впасть въ дѣйствительно впасть очень часто въ односторонность, свойственную каждому изъ этихъ двухъ предметовъ. Исторія въ подобныхъ случаяхъ сосредоточивается на вѣнечной сторонѣ событій и, упуская изъ виду умственную жизнь народа, превращается въ перечень битвъ, осадъ, мирныхъ договоровъ и смертныхъ случаевъ; исторія словесности въ свою очередь переполняется или мелкими біографическими фактами, неимѣющими никакого общаго интереса, или туманными эстетическими разсужденіями, неимѣющими въ себѣ никакого осязательнаго смысла. Соединеніе обоихъ предметовъ естественнымъ образомъ предохраняетъ преподавателя отъ этихъ недѣлныхъ и печальныхъ крайностей; въ случаѣ соединенія, преподаватель долженъ будетъ сосредоточить все свое вниманіе на тѣхъ сторонахъ и проявленіяхъ народной жизни, посредствомъ которыхъ исторія и словесность соприкасаются между собой и дѣйствуютъ другъ на друга. Изъ исторіи преподаватель принужденъ будетъ выбирать только такіе факты, которые такъ или иначе видоизмѣняли собой народную жизнь и вслѣдствіе этого налагали свою печать на словесныя и письменныя выраженія общественнаго самознания.

Такимъ образомъ факты внутренней жизни отбѣсняютъ далеко на задній планъ утомительныя и безплодныя перечисленія войнъ, трактатовъ, собственныхъ именъ, личныхъ пороковъ и личныхъ достоинствъ. Съ другой стороны, изъ груди литературныхъ памятниковъ преподаватель принужденъ будетъ выбирать только такія произведенія, которыя отражаютъ на себѣ умственную фizioномію своей эпохи. При такихъ условіяхъ, имѣя постоянно въ виду историческое значеніе разбираемыхъ произведеній, препода-



ватель очевидно не может удариться ни въ біографическую анекдотичность, ни въ эстетическую туманность. При такомъ методѣ преподаванія ученики узнаютъ изъ русской исторіи немногіе важнѣйшіе моменты, но узнаютъ ихъ по сырымъ матеріаламъ, во всей ихъ типической неподкрашенности; изъ словесныхъ памятниковъ они прочитаютъ также только кое-что; но зато въ этихъ немногихъ памятникахъ они найдутъ ключъ къ пониманію цѣлыхъ историческихъ эпохъ. Главная же цѣль всѣхъ этихъ чтеній и историческихъ толкованій будетъ конечно заключаться въ томъ, чтобы овладѣть вполне всѣми богатствами русскаго языка. Знаніе нашего языка для насъ безусловно необходимо; мы до сихъ поръ очень скверно пишемъ и совсѣмъ не умѣемъ говорить. Наше неумѣнье говорить уже чувствуется теперь въ нашихъ земскихъ собраніяхъ и обнаружится во всей своей красотѣ въ нашихъ будущихъ гласныхъ судахъ. Гимназистамъ надо непремѣнно много читать и много писать по-русски. — Въмѣсто того чтобы читать какіе-нибудь пустяки и описывать «восходъ солнца» или «морскую бурю», имъ конечно всего лучше читать и комментировать письменно такіе памятники, которые своей величественной исторической фізіономіей могутъ совершенно успокоить и умиротворить пылкія сердца самыхъ ревностныхъ патриотовъ.

2) Второе возраженіе относится къ географіи. — Въ нашихъ теперешнихъ гимназіяхъ, — разсуждаетъ читатель, — мальчикъ съ десяти лѣтъ выучивается обращаться съ географическими картами. Если-же онъ не будетъ учиться географіи, то легко можетъ быть, что онъ до самаго конца гимназическаго курса не увидитъ ни одной географической карты. Когда онъ приметъ за свое географическое самообразование, тогда это неумѣнье обращаться съ картами можетъ сдѣлаться для него серьезнымъ препятствіемъ. — При тѣхъ колоссальныхъ размѣрахъ, — отвѣчу я, — до которыхъ доведено въ моей программѣ преподаваніе математики, существуетъ полная возможность и даже настоятельная необходимость отвести въ этомъ преподаваніи очень видное мѣсто различнымъ практическимъ упражненіямъ. Въ числѣ этихъ упражненій должны играть довольно важную роль различныя геодезическія и топографическія операціи; ученикамъ высшихъ классовъ, начиная съ пятаго, было-бы очень полезно въ лѣтнее и въ осеннее время заниматься подъ руководствомъ учителя математики съемкой плановъ въ окрестностяхъ того города, въ которомъ находится гимназія. Вниманіе учителя должно здѣсь сосредоточиваться конечно не на красотѣ отдѣлки, а на вѣрности размѣровъ и контуровъ. Когда ученики выучатся наносить на планъ главные особенности небольшой мѣстности, тогда учителю уже не трудно будетъ объяснить имъ совершенно ося-

зательно, какимъ образомъ наносятся на планъ шлія обширныя земли и части свѣта, и какимъ образомъ на этихъ планахъ изображаются различныя мѣстныя особенности: моря, материки, острова, рѣки, озера, горы и города.

3) Третье возраженіе относится къ преподаванію новыхъ языковъ. Читатель можетъ замѣтить совершенно справедливо, что на нихъ отведено слишкомъ незначительное число уроковъ. Я сознаю вполне, что число уроковъ дѣйствительно недостаточно, но мнѣ кажется, что эта недостаточность не причинитъ ученикамъ чувствительнаго вреда. Знаніе иностранныхъ языковъ необходимо каждому, кто хочетъ серьезно заниматься какой-нибудь отраслью науки; въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія; но извѣстно также, что знаніе иностранныхъ языковъ полезно только тогда, когда оно даетъ возможность читать иностранныя книги легко и бѣгло, *à livre ouvert*. Кому приходится отыскивать въ лексиконѣ по пятидесяти словъ на каждую страницу, тотъ конечно не можетъ извлечь себѣ никакой пользы изъ своихъ лингвистическихъ знаній, потому что, читая въ день по пяти или по десяти страницъ, не скоро сдѣлаешься начитаннымъ и свѣдущимъ человекомъ. О людяхъ, читающихъ такимъ образомъ иностранныя книги, говорятъ даже обыкновенно, что они совсѣмъ не знаютъ языка, несмотря на то, что они бытъ-можетъ усвоили себѣ вполне всѣ грамматическія правила и даже исключенія.

Гимназіи наши до сихъ поръ давали обыкновенно, въ самыхъ лучшихъ случаяхъ, такое знаніе иностранныхъ языковъ, которое въ практическомъ отношеніи равняется отсутствію всякаго знанія. При выходѣ изъ гимназіи владѣютъ иностранными языками только тѣ ученики, которые выучились имъ дома и которые уже поступили въ гимназію, умѣя говорить на этихъ языкахъ. Конечно кто очень сильно желаетъ выучиться языку и кто понимаетъ вполне пользу такого знанія, тотъ можетъ выучиться и въ гимназіи, но, признаюсь, я не видалъ такихъ примѣровъ, и я полагаю, что они должны быть очень рѣдки, потому что обыкновенно ясное пониманіе собственной пользы пробуждается у молодыхъ людей довольно поздно, при первыхъ серьезныхъ столкновеніяхъ съ дѣйствительной жизнью. Итакъ, кто желаетъ выучиться, тотъ успѣетъ это сдѣлать и при 15 урокахъ, а кто не желаетъ, тому не помогутъ въ этомъ отношеніи лишніе 8 или 9 уроковъ. Но такъ какъ равнодушные или нежелающіе составляютъ огромное большинство, то, разумѣется, не мѣшало-бы придумать такое средство, которое влило-бы въ ихъ головы практическое знаніе языковъ помимо ихъ собственнаго желанія. Мнѣ кажется, что такое средство существуетъ, но только искать его слѣдуетъ не въ гимназіяхъ, а въ воспитаніи ребенка до его поступленія въ учебное заведеніе.

Маленькія дѣти, отъ 3 до 10 лѣтъ, съ изумительной легкостью запоминаютъ слова и обороты рѣчи; въ этомъ возрастѣ они могутъ въ полгода, много въ годъ, выучиться говорить на иностранномъ языкѣ. Поэтому ихъ слѣдуетъ учить языкамъ именно въ этомъ возрастѣ. Но какъ учить, когда нѣтъ средствъ нанять для ребенка французку или нѣмку, и когда сами родители не знаютъ языковъ? Мнѣ кажется, было-бы очень возможно и удобно воспользоваться для практическаго изученія языковъ дѣтскими садами, которые по всей вѣроятности будутъ размножаться у насъ довольно быстро. Въ одномъ саду пусть господствуетъ во всѣхъ играхъ дѣтей нѣмецкій языкъ, въ другомъ — англійскій, въ третьемъ — французскій. Устроить это господство языковъ очень не трудно, если дѣтскій садъ помѣщается въ большомъ городѣ. Для этого не нужно даже никакихъ принудительныхъ мѣръ, никакихъ приказаній говорить именно на томъ, а не на другомъ языкѣ. Кто хочетъ устроить наприимѣръ французскій садъ, тому надо для перваго начала отыскать подлужину маленькихъ французиковъ, которые не знали-бы никакого языка, кромѣ своего родного. Потомъ надо показывать этимъ французикамъ нѣсколько забавныхъ игръ, въ которыхъ необходимо вести нѣкоторые разговоры. Потомъ, когда эти игры будутъ въ полномъ разгарѣ, надо открыть пріемъ русскихъ дѣтей, но открывать надо не вдругъ; принимать дѣтей надо сначала по одиночкѣ для того, чтобы русскіе не могли завести своихъ отдѣльныхъ игръ, и для того, чтобы они, поневолѣ присоединяясь къ веселой компаніи французовъ, поневолѣ выучивались господствующему языку. Плата за посѣщеніе сада будетъ конечно вполне доступна даже и тѣмъ семействамъ, которые не въ состояніи нанимать иностранныхъ нянекъ или гувернанокъ. Когда-же дѣти выучатся говорить на томъ или другомъ иностранномъ языкѣ, тогда 15-ти гимназическихъ уроковъ въ недѣлю будетъ совершенно достаточно для того, чтобы поддерживать и систематизировать ихъ лингвистическія знанія, приобретенныя практическимъ путемъ.

## IX.

Общество наше плохо знаетъ математику и вовсе не желаетъ съ ней знакомиться, потому что питаетъ къ ней глубокое, хотя и почтительное отвращеніе. Увидѣвъ въ моей программѣ, что преподаваніе математики назначено каждый день втѣченіи всѣхъ семи лѣтъ гимназическаго курса, многіе читатели затрепещутъ отъ ужаса, подумаютъ, что я желаю превратить гимназію въ смиренное заведеніе, и возблагодарятъ Провидѣніе за то, что моя программа нисколько не похожа на росписаніе уроковъ, принятое новымъ гимназическимъ уставомъ. — Каждый день математика, — размышляетъ читатель; — это не толь-

ко ужасно и безчеловѣчно, это даже просто невозможно. Это значить насилловать умственные способности несчастныхъ дѣтей, и ученики навѣрное будутъ учиться изъ рукъ вонъ плохо, потому что математика, появляющаяся передъ ними каждый день, будетъ наводить на нихъ жесточайшую скуку. — Ужъ не думаете-ли вы, — спроситъ читатель въ заключеніе своей филиппики, — что вамъ удастся сдѣлать преподаваніе математики интереснымъ и увлекательнымъ?

Нѣтъ, читатель, — отвѣчу я, — этого я не думаю. Математика всегда, несмотря на всевозможныя усовершенствованія въ методѣ преподаванія, останется для учениковъ трудной работой; она никогда не будетъ давать никакой пищи ни чувству, ни воображенію, и поэтому ея преподаваніе никогда не сдѣлается интереснымъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ вы называете интересными романы Диккенса или зоологическіе рассказы Одюбона и Брема. Но, во-первыхъ, одна изъ важнѣйшихъ обязанностей школы состоитъ въ томъ, чтобы приучить учениковъ къ серьезному и упорному труду, а эта обязанность очевидно останется неисполненной и окажется даже неисполнимой, если въ постоянно, въ продолженіи всего гимназическаго курса, будете продовольствовать учениковъ исключительно интересными разсказами. Выслушивать или прочитывать интересные разсказы значить не трудиться, а сибаритничать. Предаваясь этому пріятному и несправедливому занятію, можно невольно и нечаянно усвоить себѣ множество фактическихъ и даже полезныхъ знаній, но нѣтъ ни малѣйшей возможности придать своему уму необходимую крѣпость и гибкость, сформировать и закалить свой характеръ, и вообще приготовить себя къ столкновенію съ тѣми суровыми и серьезными сторонами умственной работы, безъ которыхъ не обходится и не можетъ обойтись никакая трудовая дѣятельность, достойная развитого человѣка и честнаго гражданина. Во-вторыхъ, хотя математика и не можетъ сдѣлаться эстетически-привлекательной наукой, однако при искусномъ преподаваніи она можетъ постоянно доставлять ученикамъ, начиная съ самыхъ младшихъ классовъ, самыя чистыя и высокія наслажденія, особенно плодотворныя въ томъ отношеніи, что они заставляютъ учениковъ пристраститься къ голому процессу труда, не смягченнаго и не украшеннаго никакими посторонними ингредиентами.

Всякому человѣку хочется быть сильнымъ, красивымъ, ловкимъ, смелымъ, остроумнымъ и изобрѣтательнымъ. Всякому человѣку свойственно во всякомъ занятіи стремиться къ возможному совершенству и радоваться, когда мало по малу эта желанная виртуозность дѣйствительно пріобрѣтается. Что математика при сколько-нибудь разумномъ преподаваніи имѣетъ высокую образовательную силу, что она развѣтываетъ и упражняетъ превосходно умственныя

способности учащихся, въ этомъ не сомнѣвался еще никто изъ самыхъ заклятыхъ ненавистниковъ этой ужасной и неприступной науки. Смысленность учениковъ растетъ постоянно во время ихъ математическихъ занятій, это такъ-же вѣрно и неизбежно, какъ то, что мускулы человѣка крѣпнутъ и ловкость его увеличивается, когда онъ занимается гимнастическими упражненіями. Съумѣйте-же расположить и вести ваше математическое преподаваніе такъ, чтобы ученики сами замѣчали тотъ процессъ созрѣванія, который совершается въ ихъ головахъ. Какъ только ученики почувствуютъ и поймутъ совершенно отчетливо, что они съ каждымъ мѣсяцемъ, даже съ каждой недѣлей становятся умнѣе и расторопнѣе; какъ только дѣйствительное существованіе этого отраднаго психическаго факта сдѣлается для нихъ осязательнымъ и несомнѣннымъ; какъ только они сравнятъ свое недавнее прошедшее съ своимъ настоящимъ и увидятъ въ послѣднемъ значительный шагъ впередъ, — такъ они непременно пристрастятся къ тѣмъ умственнымъ занятіямъ, которыя дали имъ возможность сдѣлать надъ собственными особами такія пріятныя и лестныя наблюденія. Il faut souffrir pour être belle, говорятъ кокетки, и онѣ дѣйствительно съ великой стойкостью выносятъ боль отъ узкихъ башмаковъ, отъ узкихъ перчатокъ и вообще отъ всѣхъ тѣхъ предметовъ, которые такъ или иначе приближаютъ ихъ къ условному идеалу красоты. Не исковерканные съ дѣтства представители обоихъ половъ по крайней мѣрѣ такъ-же сильно дорожатъ своими умственными достоинствами, какъ глухія и слѣпые женщины дорожатъ тонкостью своей талии или малыи размѣрами рукъ и ногъ. Если послѣднія соглашаются страдать, терпѣть боль для соблюденія красоты, то какое-же можетъ быть сомнѣніе въ томъ, что первые будутъ съ удовольствіемъ заниматься скучными и трудными работами, когда они увидятъ, что умъ ихъ дѣйствительно крѣпнетъ и совершенствуется въ этихъ работахъ?

Но само собой разумѣется, что самобытное, свободное и сильное влеченіе къ трудной и утомительной работѣ пробудится въ ученикахъ только тогда, когда они *сами почувствуютъ, сами подмѣтятъ* развивающее дѣйствіе этихъ работъ, а не тогда, когда учитель будетъ краснорѣчиво описывать имъ это развивающее дѣйствіе. Искусство учителя именно въ томъ и должно состоять, чтобы всѣ занятія были расположены по такому плану, который естественнымъ образомъ наводилъ-бы учениковъ на эти полезныя размышленія. При хорошемъ преподаваніи ученики должны полюбить математическія занятія по той-же самой психической причинѣ, по которой они любятъ различныя игры, дающія имъ возможность обнаружить передъ собой и передъ другими отвагу, силу и ловкость. Математика вся сплошь составлена изъ такихъ трудностей, кото-

рыя учащійся долженъ преодолевать силой своего ума и постояннымъ, упорнымъ и энергическимъ напряженіемъ вниманія. Эти трудности приводятъ въ ужасъ несвѣдущихъ людей, но именно этими-то трудностями хорошій преподаватель и можетъ воспользоваться для того, чтобы внушить ученикамъ сильное влеченіе къ математическимъ занятіямъ. Надо, чтобы каждый шагъ впередъ доставался ученику послѣ тяжелой борьбы, и чтобы въ то-же время эта тяжелая борьба никогда не превышала размѣровъ его наличныхъ умственныхъ силъ. При такихъ условіяхъ математическія занятія будутъ давать ученикамъ всѣ обаятельныя ощущенія настоящей борьбы; ученикъ будетъ смѣло подходить къ каждой новой трудности, будетъ съ воодушевленіемъ работать надъ ея усвоеніемъ и, одержавши надъ ней побѣду, будетъ выносить изъ этой побѣды новый запасъ силы и веселой энергіи. Поступая такимъ образомъ, ученикъ съ молодыхъ лѣтъ выучится понимать и чувствовать ту великую истину, что суровый и утомительный трудъ доставляетъ человѣку высокое наслажденіе, если только онъ не доходитъ до такихъ крайнихъ размѣровъ, при которыхъ онъ можетъ подрывать физическія и умственные силы человѣческаго организма. Когда ученику удастся отыскать обаятельную сторону даже въ рѣшеніи алгебраическихъ и геометрическихъ задачъ, тогда можно будетъ сказать навѣрное, что этотъ ученикъ вполне способенъ принять на себя и довести до конца всякій умственный трудъ, какъ-бы ни былъ онъ сухъ и утомителенъ. Обаятельная сторона, отысканная ученикомъ, заключается въ томъ, что эти задачи упражняютъ умъ и энергію, а такъ какъ эта обаятельная сторона отыщется непременно во всякомъ умственномъ, то есть не машинальномъ трудѣ, то и оказывается въ концѣ концовъ, что для ученика, воспитаннаго на математикѣ, всякій умственный трудъ будетъ привлекателенъ или по крайней мѣрѣ сносенъ. Такимъ образомъ математика сдѣлается для ученика превосходной школой не только въ умственномъ, но и въ нравственномъ отношеніи. Математика не только приготовитъ ученика къ изученію естественныхъ наукъ; она не только выучитъ его мыслить правильно и послѣдовательно; она еще кромѣ того воспитаетъ въ немъ неустрашимаго работника, для котораго *трудъ и скука* окажутся двумя взаимно исключаящими другъ друга понятіями.

Для окончательнаго же успокоенія тѣхъ мнительныхъ людей, которые думаютъ, что гимназисты будутъ непременно ненавидѣть и презирать ужасную математику, я предлагаю дать каждому классу слѣдующую организацію, направленную къ тому, чтобы усилить и регулировать соревнованіе. Положимъ, что въ первый классъ поступило 50 человѣкъ учениковъ. Въ продолженіи двухъ или трехъ мѣсяцевъ препода-

даватели изучают размѣры ихъ индивидуальных способностей. По прошествіи этого времени преподаватели находятъ, что 7 учениковъ обладаютъ очень хорошими способностями, 29 — посредственными и 14 — слабыми. Тогда они раздѣляютъ классъ на 7 группъ, наблюдая притомъ, чтобы эти группы были равносильны между собой по общей массѣ входящихъ въ нихъ индивидуальных способностей. На каждую группу придется такимъ образомъ по одному даровитому ученику, по два слабыхъ и по четыре посредственности. Въ одной изъ группъ окажется одна лишняя посредственность, но влияние ея будетъ совершенно нечувствительно; она не доставитъ ей того перевѣса надъ другими группами, который далъ-бы ей лишній даровитый ученикъ, и не послужитъ ей также тѣмъ бременемъ, которымъ оказалась-бы для нея одна лишняя бездарность. Затѣмъ, когда это раздѣленіе устроено, остается только въ концѣ каждаго мѣсяца выводить для каждой группы средній баллъ по всемъ предметамъ и объявлять классу, что такая-то группа оказалась первой, а такая-то второй —, и такъ далѣе. Этого будетъ совершенно достаточно; и можно поручиться за то, что при этой системѣ всякія награды за лѣность и всякія награды за прилежаніе сдѣлаются совершенно излишними.

Въ настоящее время во всѣхъ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ дѣйствуетъ болѣе или менѣе сильно начало личнаго соревнованія. Пожалуй, и это недурно; во всякомъ случаѣ лучше дѣйствовать на дѣтей посредствомъ личнаго соревнованія, чѣмъ посредствомъ физической боли. Но нетрудно замѣтить въ системѣ личнаго соревнованія нѣсколько серьезныхъ недостатковъ. Во-первыхъ, эта система совершенно изолируетъ интересы каждой отдѣльной личности; даровитому ученику невыгодно тратить время на то, чтобы помогать бездарному; если онъ это дѣлаетъ, то онъ чувствуетъ самъ, что приноситъ жертву и оказываетъ товарищу благодѣяніе. Словомъ, эта система направляется къ тому, чтобы формировать близорукихъ эгоистовъ или сантиментальныхъ филантроповъ, но никакъ не къ тому, чтобы развивать въ ученикахъ чувство солидарности между отдѣльными людьми и личными интересами. Придерживаясь этой системы, школа совершенно забываетъ свою обязанность готовить хорошихъ гражданъ. Во-вторыхъ, личное соревнованіе дѣйствуетъ сильно только на самыхъ лучшихъ учениковъ; для массы оно не можетъ имѣть никакого значенія. Подъ влияніемъ личнаго соревнованія идетъ ожесточенная борьба только за первыя мѣста въ классѣ, а такъ какъ эта борьба доступна только для самаго ничтожнаго меньшинства, всего для какихъ-нибудь пяти-шести учениковъ, то весь остальной классъ присутствуетъ при этой борьбѣ въ качествѣ постороннихъ и лично-незаинтересованныхъ зри-

телей. Между первымъ и вторымъ мѣстомъ въ классѣ есть для ученика замѣтная разница; между вторымъ и третьимъ — тоже; между первыми тремя и остальной массой — тоже; но кто попадетъ въ безразличную массу и сидитъ въ ней безвыходно, для того уже рѣшительно все равно, перейти-ли изъ класса въ классъ семнадцатымъ, или двадцать шестымъ, или тридцать третьимъ. Эти отбѣнки становятся совершенно нечувствительными, и о нихъ нисколько не заботятся ни начальство, ни общественное мнѣніе школьнаго товарищества. — Въ третьихъ, господствующая система личнаго соревнованія не хороша тѣмъ, что на практикѣ она обыкновенно приправляется различными наградами, которыя дѣйствуютъ или на тщеславіе воспитанниковъ, или на инстинктъ стяжанія, подготавливая такимъ образомъ для жизни усердныхъ искателей теплыхъ мѣстъ и видимыхъ знаковъ отличія.

Всѣ эти неудобства устраняются системой коллективнаго соревнованія. Для каждаго изъ членовъ группы одинаково важно, чтобы весь его товарищи по группѣ учились хорошо; дурные баллы, получаемые слабыми учениками, тянутъ назадъ всю группу; поэтому лучшіе ученики будутъ непременно помогать слабымъ, и будутъ помогать имъ не изъ филантропіи, а изъ желанія поддержать общее дѣло и не дать себя въ обиду другимъ группамъ. Такимъ образомъ, въ ученикахъ будутъ незамѣтно и нечувствительно вырабатываться здоровые общественные инстинкты. Слабые ученики съ своей стороны будутъ напрягать всѣ свои силы, чтобы не сдѣлаться для своихъ ближайшихъ товарищей невыносимымъ бременемъ и причиной позорныхъ поражений. Словомъ, всѣ — слабые, посредственные и сильные — будутъ дѣлать столько, сколько могутъ; всѣ они будутъ находиться подъ контролемъ товарищей, а этотъ контроль, разумеется, оказывается всегда неизмѣримо бдительнѣй и строже всякой начальственной инспекціи. Такъ какъ этотъ контроль будетъ одинаково строгъ для всѣхъ, какъ сильныхъ, такъ и слабыхъ, то, разумеется, при этой системѣ вовсе не окажется той безразличной и неподвижной массы, къ которой относится огромное большинство класса, при системѣ личнаго соревнованія. Наградъ не требуется никакихъ; соперничество между группами установится само собой, и начально будетъ только ежемѣсячно сообщать этимъ группамъ простой статистическій фактъ, къ которому нѣтъ никакой надобности прибавлять какіе-бы то ни было хвалительные или порицательные комментаріи.

— Почему-же вы однако думаете, — спроситъ читатель, — что соперничество дѣйствительно установится? — Потому, — отвѣчу, — что ребята очень любятъ хвастаться другъ передъ другомъ силой, ловкостью, храбростью, смѣливостью. Какъ только познакомятся между собой два мальчика,

неизуродованные чопорнымъ воспитаніемъ, такъ они непремѣнно начнутъ бороться или бѣгать взапуски, и вообще постараются превзойти другъ друга въ томъ или другомъ воинственномъ упражненіи. А борьба между группами еще гораздо занимательнѣе, чѣмъ борьба между отдѣльными личностями. Тутъ есть и союзники, и противники, и безпристрастные судьи, спокойно и хладнокровно читающіе ежемѣсячный статистическій отчетъ, пробуждающій во всѣхъ сгруппированныхъ сердцахъ цѣлыя бури разнообразныхъ, но чистыхъ и полезныхъ страстей. Система, которую я предлагаю здѣсь, уже дѣйствуетъ въ парижской ремесленной школѣ (*école professionnelle*), и г-жа Маршевъ-Жиаръ въ книгѣ своей: «*Des facultés humaines et de leur développement par l'éducation*», говорить, что полезные результаты, добываемые при помощи этого дѣленія на группы, далеко превзошли самыя смѣлыя ея ожиданія.

## X.

Кромѣ всѣхъ своихъ вышеисчисленныхъ достоинствъ, моя программа имѣетъ еще достоинство дешевизны. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только сравнить штатъ реальной гимназій со штатомъ такого училища, которое было-бы устроено по моей программѣ. Выписываю изъ штата реальныхъ гимназій тѣ статьи, которыя относятся собственно къ учителямъ:

|                               | Недѣльн. уроки. | Жал.      |
|-------------------------------|-----------------|-----------|
| 1 Законоучителю полагается за | 14              | 1,020 р.  |
| 2 Учителямъ русскаго языка »  | 25              | 1,860 »   |
| 2 » математики . . »          | 28              | 2,040 »   |
| 2 » естеств. ист. . . »       | 29              | 2,100 »   |
| 1 » ист. и геогр. . . »       | 22              | 1,500 »   |
| 2 » нѣмецк. яз. . . »         | 24              | 1,800 »   |
| 2 » франц. яз. . . »          | 22              | 1,650 »   |
| 1 » чистописанія . . »        | 20              | 880 »     |
| Итого за                      | 184             | 12,850 р. |

При назначеніи жалованья учителямъ уставъ держится слѣдующаго правила: когда учитель имѣетъ 12 недѣльных уроковъ или менѣе, то ему полагается за каждый урокъ по 75 р. въ годъ. Если же учитель имѣетъ больше 12 уроковъ, то за каждый урокъ сверхъ 12-ти онъ получаетъ въ годъ по 60 р. Такъ напр., законоучитель за 12 уроковъ получаетъ  $12 \times 75 = 900$  рублей, а за два урока сверхъ 12-ти,  $2 \times 60 = 120$  рублей. Всего 1,020 рублей. Прилагая тотъ же самый расчетъ къ моей программѣ, я получаю слѣдующіе результаты:

|                              | Уроки. | Жал.     |
|------------------------------|--------|----------|
| 1 Законоучителю . . . . . за | 14     | 1,020 р. |
| 2 Учителямъ русскаго языка » | 32     | 2,280 »  |
| 2 » математики . . »         | 42     | 3,060 »  |
| 1 Учителю физики . . . . »   | 14     | 1,020 »  |
| 1 » нѣмецк. яз. . . . »      | 15     | 1,080 »  |
| 1 » франц. яз. . . . »       | 15     | 1,080 »  |
| 1 » чистописанія . . »       | 6      | *) 300 » |
| Итого за                     | 138    | 9,840 р. |

\*) Учителю чистописанія уставъ назначаетъ

Вычитаю 9,840 изъ 12,850 руб. и получаю 3,010 рублей экономіи. Эту экономію было-бы полезно употребить слѣдующимъ образомъ:

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| На жалованье гимназическому врачу . . . . .             | 1,200 руб. |
| На ученическую бібліотеку . . . . .                     | 810 »      |
| На содержаніе токарной и столярной мастерской . . . . . | 1,000 »    |
| Итого . . . . .                                         | 3,010 руб. |

Врачъ получалъ-бы тогда всего 1,500 рублей. Тогда можно было-бы вѣнчать ему въ обязанность, чтобы онъ присутствовалъ постоянно при гимназическихъ упражненіяхъ воспитанниковъ, чтобы онъ строго наблюдалъ за надлежащей вентиляціей классныхъ комнатъ и дортуаровъ, чтобы онъ изучалъ комплекцію и температурнѣ отдѣльныхъ воспитанниковъ, и чтобы наконецъ онъ представлялъ ежегодно медико-статистическіе отчеты по вѣренному ему заведенію. Тогда врачъ дѣйствительно могъ-бы сдѣлаться по крайней мѣрѣ до нѣкоторой степени регуляторомъ внутренней жизни въ гимназій. При этомъ само собой разумѣется, что онъ, подобно директору, инспектору и воспитателямъ, долженъ имѣть квартиру въ самомъ заведеніи, и что каждое опредѣленіе педагогическаго совѣта должно подписываться врачомъ для того, чтобы получать законную силу.

Брайняя бѣдность гимназическихъ бібліотекъ уже давно обращаетъ на себя вниманіе учебнаго начальства. Такъ - называемыя фундаментальныя бібліотеки, заключающія въ себѣ ученыя сочиненія, необходимыя для преподавателей, не отличаясь богатствомъ и удовлетворительностью своего состава, могутъ однако до нѣкоторой степени выполнять свое назначеніе. Что же касается до такъ называемыхъ ученическихъ бібліотекъ, предназначенныхъ для чтенія воспитанникамъ, то онѣ при многихъ гимназійхъ вовсе не существуютъ, а при другихъ *находятся*, по выраженію попечителя казанскаго округа, *только въ зачаткѣ*. Въ казанскомъ округѣ имѣется 12 гимназій; изъ нихъ снабжены ученическими бібліотеками только 7 гимназій; но читатель никакъ не долженъ думать, что эти счастливыя 7 гимназій дѣйствительно могутъ предложить своимъ воспитанникамъ богатый запасъ разнообразнаго чтенія. Самая богатая изъ этихъ счастливыхъ семи гимназій, Екатеринбургская, имѣетъ въ своей ученической бібліотекѣ 505 томовъ; самая же бѣдная, Пермская, имѣетъ въ своемъ распоряженіи 77 томовъ, такъ что вся бібліотека можетъ вѣроятно уместиться на двухъ не очень большихъ полкахъ. Впрочемъ легко можетъ быть, что вятская бібліо-

меннеее жалованье на томъ основаніи, что отъ него не требуется прохожденія университетскаго курса. Я для равнаго счета назначилъ ему по 50 руб. за урокъ, немного больше, чѣмъ назначаетъ ему уставъ.

тека еще бѣдиѣ пермской. Въ отчетѣ попечителя цифра вятскихъ книгъ не показана, но сдѣлано замѣчаніе, что «особенно нуждаются въ пополненіи полезными для чтенія учениковъ книгами бібліотеки вятская и пермская». — Показана-же цифра книгъ въ пяти бібліотекахъ, и изъ этихъ пяти показаній мы получаемъ средний выводъ: 394. Сама по себѣ эта цифра не очень печальна; ученику некогда прочитать въ семь лѣтъ 394 тома; онъ читаетъ въ свободныя минуты, а свободныхъ минутъ у него не очень много, потому что большая часть того времени, которое не проводится въ классѣ и не употребляется на ученіе уроковъ, должна быть посвящена гимнастическимъ упражненіямъ и различнымъ играмъ, требующимъ физическаго движенія. Въ первые два или даже три года ученику вовсе не слѣдовало-бы читать; если-же мы распредѣлимъ чтеніе 394 томовъ на послѣдніе четыре года, то на годъ придется по  $98\frac{1}{2}$  тома, а на мѣсяцъ — слишкомъ по 8 томовъ; то-есть ученику придется прочитывать по одному тому въ три съ половиной дня. Стало-быть, еслибы книги ученическихъ бібліотекъ были удовлетворительны по своему содержанію, то ученикамъ не пришлось-бы терпѣть умственного голода. Но удовлетворительны-ли онѣ на самомъ дѣлѣ? Попечитель казанскаго округа не сообщаетъ намъ никакихъ подробностей о составѣ ученическихъ бібліотекъ, но мы имѣемъ основаніе думать, что онѣ очень плохи въ качественномъ отношеніи; на эту мысль наводитъ меня слѣдующее замѣчаніе въ отчетѣ попечителя. «Между тѣмъ, имѣя огромное значеніе въ отношеніи развитія умственного и знаній учащихся, ученическія бібліотеки не имѣютъ никакихъ постоянныхъ средствъ, которыя могли-бы служить гарантіей ихъ улучшенія, такъ какъ частная благотворительность—весьма ненадежный источникъ и нигдѣ кромѣ того она проявляется съ одинаковой щедростью. Поэтому совершенно необходимо, въ видѣ постоянного улучшенія и пополненія ученическихъ бібліотекъ, назначить опредѣленную сумму на ихъ содержаніе, хотя-бы напримѣръ въ количествѣ 100 руб. въ гимназіяхъ и третью или четверть этой суммы въ уѣздныхъ училищахъ.» Мы видимъ такимъ образомъ, что объ улучшеніи и пополненіи ученическихъ бібліотекъ заботилась до сихъ поръ исключительно частная благотворительность. Но такъ какъ наша частная благотворительность обращалась до сихъ поръ преимущественно на монастыри и на остроги и проявлялась обыкновенно въ раздаваніи полушекъ на церковной паперти, или въ одѣленіи арестантовъ черствыми калачами, то надо полагать, что на украшеніе ученическихъ бібліотекъ эта благотворительность устремлялась только тогда, когда благотворителю доставалось по наслѣдству отъ какого-нибудь стараго дядюшки нѣсколько десятковъ античныхъ

книгъ, совершенно негодныхъ для личнаго употребленія. Что прикажете дѣлать съ такой коллекціей? Толкучагорынка въ провинціи не пѣется; на оклейку комнатъ подъ обои эти книги не годятся, если онѣ переплетены; чердаки и кладовыя и безъ того биткомъ набиты всякой рухлядью; очевидно остается только навалить эти книги на телѣгу и отправить ихъ въ мѣстный храмъ наукъ, чтобы получить такимъ образомъ за весьма дешевую цѣну репутацію благотворителя и губернскаго мецената.

— Вотъ прекрасно! — возражаетъ читатель. — Развѣ допустить гимназическое начальство, чтобы ученическая бібліотека сдѣлалась складочнымъ мѣстомъ всякаго стараго хлама? — Читатель мой, — отвѣчу я, — хламъ — выраженіе условное и эластическое. Если въ числѣ старыхъ книгъ, не нужныхъ для самого благотворителя, окажутся «La Pucelle» Вольтера, «Les bijoux indiscrets» Дидро, «Декамеронъ» Боккаччо, «Justine» маркиза де-Садъ, и разныя другія столь-же веселыя произведенія, то легко можетъ случиться, что гимназическое начальство съ негодованіемъ отрѣжетъ имъ доступъ въ ученическую бібліотеку, въ которой подобныя приносы дѣйствительно неумѣстны. Но представьте себѣ, что благотворитель присылаетъ въ гимназію сочиненія Сумарокова, Тредьяковского, Хераскова, Аблесимова, Бострова, Поповскаго, Озерова, Мерзлякова. Спрашивается: хламъ-ли это, или не хламъ? Вы скажете быть-можетъ, что это хламъ, и я съ вами не стану спорить, но гимназическое начальство не будетъ имѣть ни малѣйшаго основанія на то, чтобы исключать подобныя книги изъ ученической бібліотеки. Все это — орамы русскаго парнаса, и гимназическое начальство не имѣетъ никакого права отгонять русскаго юношество отъ живительныхъ струй нашей отечественной Гиппоклены. Начальство навѣрное поставитъ полученные книги въ шкафъ, отмѣтитъ у себя въ каталогѣ, что ученическая бібліотека обогатилась такимъ-то количествомъ томовъ, и воздастъ приличную благодарность усердному жертвователю. Но такъ какъ можно поручиться головой, что ни одинъ гимназистъ не прочитаетъ во всѣ семь лѣтъ своего пребыванія въ гимназіи ни одного тома Сумарокова или Хераскова, то очевидно, что изъ средней цифры 394 приходится вычесть всю массу тѣхъ книгъ, которыя по своей занимательности и поучительности равняются произведеніямъ этихъ двухъ великихъ представителей русской поэзіи. Легко можетъ быть, что послѣ этого вычитанія мы вмѣсто 394 томовъ получимъ чистый нуль. Очень правдоподобно, что въ ученическихъ бібліотекахъ мы не найдемъ ни одного порядочнаго кругосвѣтнаго путешествія, ни одной дѣльной исторической книги и ни одного произведенія Тургенева, Гончарова, Достоевскаго, Писемскаго, Толстого, Помяловскаго, Островскаго и другихъ но-



вѣйшихъ писателей, безъ которыхъ невозможно даже составить себѣ ясное понятіе о современномъ положеніи русскаго языка.

Попечитель казанскаго округа желаетъ, какъ мы видѣли выше, чтобы ежегодно отпускалось на комплектованіе ученической библіотеки по 100 рублей. Скромность этого желанія доказываетъ ясно, что ученическія библіотеки не избалованы въ прошедшемъ, и что даже въ ближайшемъ будущемъ мудро предсказывать имъ роскошное и блистательное развитіе. Положеніе фундаментальныхъ библіотекъ въ настоящее время гораздо болѣе утѣшительно. Между тѣмъ какъ для ученическихъ библіотекъ годовой бюджетъ въ 100 рублей составляетъ еще отдаленную цѣль смѣлыхъ желаній, фундаментальныя библіотеки казанскаго округа израсходовали на выписку въ 1863 году среднимъ числомъ по 259 рублей. Больше всѣхъ истратила 2-я Казанская гимназія, именно 381 р., а меньше всѣхъ—Нижегородскій институтъ, именно 145 р. Какъ видите, даже этотъ minimum почти въ полтора раза больше той суммы, которую попечитель проситъ для комплектованія ученическихъ библіотекъ.

Если мы представимъ себѣ учебное заведеніе, устроенное по моей программѣ, то въ этомъ заведеніи отношенія между фундаментальной библіотекой и ученической будутъ установлены совсѣмъ не такъ, какъ они сложились въ теперешнихъ гимназіяхъ. Съ одной стороны, фундаментальная библіотека будетъ почти совершенно поглощена ученической. Съ другой стороны, ученическая библіотека будетъ состояться изъ такихъ книгъ, которые интересны и поучительны не только для учениковъ, но и вообще для всѣхъ людей, способныхъ читать и понимать литературныя произведенія и популярно-научныя книги. Въ чисто-ученыхъ сочиненіяхъ преподаватели моего воображаемаго заведенія будутъ нуждаться очень мало. Трое изъ нихъ преподаютъ математику, двое—русскій языкъ, двое—новые языки и одинъ—физику. Собственно говоря, только одинъ преподаватель физики будетъ постоянно нуждаться въ новыхъ, строго и рационально-ученыхъ сочиненіяхъ по своему предмету. Математики могутъ быть превосходными преподавателями, вовсе не заботясь о тѣхъ мелкихъ математическихъ мемуарахъ, которые представляются каждый годъ трудолюбивыми учеными въ различныхъ европейскихъ академіи. Можно сказать навѣрное, что время великихъ открытій и радикальныхъ переворотовъ окончательно миновало для математики, что теперешнее положеніе этой науки въ существенныхъ чертахъ своихъ останется непоколебимо-твердымъ на вѣчныя времена, что мелкіе мемуары современныхъ геометровъ не разрушаютъ въ этой наукѣ ничего стараго и не строятъ въ ней почти ничего новаго, и что вслѣдствіе всѣхъ этихъ об-

стоятельствъ добросовѣстный учитель математики ни въ какомъ случаѣ не рискуетъ оказаться отсталымъ по предмету своей специальности. Со стороны гимназическихъ математиковъ было-бы даже гораздо благоразумнѣе, еслибы они заботились о расширеніи своего общаго образованія, вмѣсто того чтобы ловить на лету и изучать отъ доски до доски незначительныя математическіе мемуары. А для общаго образованія имъ будетъ всего удобнѣе обращаться къ ученической библіотекѣ, которая должна быть направлена именно къ этой послѣдней цѣли. Преподавателямъ русскаго языка необходимо слѣдить за современнымъ развитіемъ русскаго языка, но въ этомъ отношеніи ученическая библіотека должна удовлетворять всѣмъ ихъ требованіямъ, потому что эта библіотека непременно должна выписывать лучшіе литературные журналы и приобретать себѣ всѣ замѣчательныя произведенія современной словесности. Кромѣ того преподавателямъ русскаго языка придется изрѣдка выписывать книги по исторіи литературы, вроде «Историческихъ очерковъ» Буслаева, или «Памятниковъ» Костомарова, или «Обзора славянскихъ литературъ» Спасовича и Пыпина; но такія книги выходятъ вообще такъ рѣдко, что врядъ-ли придется на этотъ предметъ тратить изъ года въ годъ больше десяти или пятнадцати рублей. Для нѣмца и француза даже и того не придется истратить, потому что гимназистамъ нужно знаніе языка, а не литературы.

Итакъ, фундаментальная библіотека будетъ состоять почти исключительно изъ сочиненій по физикѣ и еще изъ лучшихъ произведеній по педагогической части. За развитіемъ педагогики, какъ науки и какъ искусства, за всѣми усовершенствованіями въ методахъ преподаванія все гимназическое начальство и весь педагогическій совѣтъ должны слѣдить пристально и неутомимо. Гимназіи должны выписывать непременно всѣ лучшіе педагогическіе журналы и трактаты, какъ русскіе, такъ и заграничные; недостатка въ денежныхъ средствахъ оказаться не можетъ, напротивъ того, должна даже оказаться значительная экономія. Уставъ опредѣляетъ для реальныхъ гимназій на учебныя пособія 800 рублей. На эти деньги по уставу должны содержаться и ремонтироваться: 1) фундаментальная библіотека, 2) ученическая библіотека, 3) физическій кабинетъ, 4) зоологическія, ботаническія и минералогическія коллекціи, 5) химическая лабораторія, 6) географическія карты, глобусы, чертежи, рисунки и модели для рисованія, 7) музыкальныя ноты.—По моей программѣ всѣ эти статьи расхода уничтожаются, кромѣ *первой* и *третьей*, то-есть на эти 800 рублей придется ремонтировать только фундаментальную библіотеку и физическій кабинетъ. Ученическая библіотека будетъ имѣть, какъ мы видѣли выше, свой особенный годовой бюджетъ въ 810 рублей,

составленный изъ жалованья упраздненных преподавателей; а всѣ остальные предметы: коллекціи, лабораторія, рисунки, модели, ноты, окажутся просто ненужными по основнымъ условіямъ программы. Ясно, стало-быть, что можно будетъ выписывать множество педагогическихъ сочиненій и обставить физическій кабинетъ самымъ блистательнымъ образомъ.

## XI.

Такъ какъ малолѣтнимъ ребятамъ первыхъ трехъ классовъ гораздо полезнѣе въ свободное время бѣгать, играть и возиться, чѣмъ сидѣть смиренно и читать правоучительныя исторійки, то ученическая библіотека должна быть составлена вовсе не изъ дѣтскихъ, а изъ общезанимательныхъ и общедоступныхъ книгъ. Специально-дѣтская литература всегда и вездѣ составляетъ и будетъ составлять одну изъ самыхъ жалкихъ, самыхъ ложныхъ и самыхъ ненужныхъ отраслей общей литературы. Развитие дѣтской литературы и запросъ на дѣтскія книги, несомнѣнно существующій во всѣхъ современныхъ обществахъ, объясняются просто и легко разными уродливыми особенностями, укоренившимися, во-первыхъ, въ господствующихъ системахъ первоначальнаго воспитанія и, во-вторыхъ, въ нашихъ собственныхъ нравственныхъ привычкахъ. Не умѣя развивать правильнымъ образомъ физическія силы ребенка, совершенно забывая о томъ, что ребенокъ для укрѣпленія своего организма долженъ дѣлать какъ можно больше движенія, мы съ первыхъ лѣтъ жизни прививаемъ ребенку наклонность къ старческой усидчивости и радуемся, глядя на нашего питомца, который не шумитъ, не кричитъ, не топчетъ ногами по комнатѣ, а сидитъ себѣ за какимъ-нибудь благонравнымъ занятіемъ, вродѣ разсматриванія картинокъ или рисованія разныхъ каракулекъ. У такого ребенка, приученнаго уже къ сидячей жизни и взирающаго на бѣганіе и прыганіе, какъ на занятія безсмысленныя и вовсе не комфортабельныя, у такого ребенка, — говорю я, — очень не трудно развить неестественную и преждевременную охоту къ чтенію.

Неестественность и преждевременность этой охоты обнаружится для насъ совершенно очевидно, какъ только мы серьезно зададимъ себѣ вопросъ о томъ, что такое чтеніе или по крайней мѣрѣ чѣмъ оно по настоящему должно быть для человѣка? — Чтеніе есть тотъ актъ, посредствомъ котораго отдѣльная личность, чувствуя свое безсиліе передъ осаждающими ее вопросами, обращается къ коллективному уму человѣчества, къ лучшимъ представителямъ этого ума, чтобы отъ нихъ добыть себѣ отвѣтъ на эти вопросы, неразрѣшимые для индивидуальныхъ силъ. — Только такое чтеніе имѣетъ смыслъ и приносить пользу какъ самому читателю, такъ и обществу, пожинающему рано или поздно плоды

этого разумнаго и цѣлесообразнаго чтенія. Но развѣ семи-восьми-десяти и даже двѣнадцати-лѣтніе пузыри могутъ читать такимъ образомъ? Развѣ ихъ осаждаютъ какіе-нибудь вопросы? Развѣ они ищутъ какихъ-нибудь отвѣтовъ? Развѣ имъ есть какое-нибудь дѣло до коллективнаго ума человѣчества? — Они съ великой радостью промѣняють весь этотъ коллективный умъ се всѣми его отвѣтами на арабскія сказки Шехеразады. Они читаютъ просто для того, чтобы убить время, читаютъ для того-же самаго, для чего предаются чтенію всѣ любители романовъ Польде-Кока и обоихъ Дюма, père et fils. Это чтеніе безобразно и безнравственно, какъ гнусный продуктъ позорной праздности. И это убиваніе времени вдвойнѣ безобразно и безнравственно, когда дѣйствующими лицами являются дѣти. Если взрослый болванъ читаетъ для процесса чтенія, то на него уже можно махнуть рукой. Кто сдѣлался совершеннолѣтнимъ человѣкомъ, не выучившись цѣнить время, тотъ можетъ уже заниматься чѣмъ ему угодно, потому что во всякомъ случаѣ не займется ничѣмъ путнымъ. Ребенокъ, напротивъ того, только-что втягивается въ искусство убивать время, и поэтому безцѣльное чтеніе, — эта профанція и проституція мысли, — имѣетъ еще для него развращающее значеніе, котораго оно уже больше не можетъ имѣть для окончательно-развращеннаго и кретинизированнаго взрослого. Поэтому я огоршу читателя тѣмъ неожиданнымъ для него заключеніемъ, что такъ-называемыя хорошія дѣтскія книги гораздо безнравственнѣе и, по своему вліянію на общество, гораздо вреднѣе самыхъ грязныхъ и пустыхъ романовъ французской фабрикаціи. Читатель закричитъ конечно, что это вопіющій парадоксъ, но я попрошу его взглянуть въ тотъ общеизвѣстный и очевидный фактъ, что мы вообще относимся чрезвычайно легкомысленно къ чтенію и вслѣдствіе этого также и къ литературѣ, и къ наукѣ, и ко всему, что можетъ расширить кругъ нашихъ идей и возвысить насъ надъ грязнымъ уровнемъ нашихъ узкихъ, мелкихъ, копѣчныхъ и ложно-понимаемыхъ интересовъ. Пусть читатель взглянетъ въ этотъ фактъ и пусть онъ подумаетъ, не находится-ли этотъ фактъ въ тѣсной причинной связи съ тѣмъ другимъ, столь-же общеизвѣстнымъ и очевиднымъ фактомъ, что мы начинаемъ читать слишкомъ рано и что вслѣдствіе нашей крайней молодости и умственной незрѣлости мы поневолѣ приучаемся видѣть забаву въ томъ процессѣ, который по настоящему долженъ быть серьезной и глубокообдуманной бесѣдой человѣка съ человѣчествомъ.

Другая причина существованія дѣтскихъ книгъ заключается въ полнѣйшей дрянности тѣхъ взрослыхъ людей, среди которыхъ дѣтямъ приходится расти и развиваться. Эта дрянность имѣетъ свою положительную и свою отрицательную сто-

рону, то-есть распространенію дѣтскихъ книгъ содѣйствуютъ, во-первыхъ, нѣкоторыя дурныя качества взрослыхъ и, во-вторыхъ, отсутствіе у тѣхъ-же взрослыхъ нѣкоторыхъ хорошихъ качествъ.

Защитники специально-дѣтской литературы прежде всего приведутъ въ ея пользу то разсужденіе, что тринадцати или четырнадцати лѣтъ субъекты дѣйствительно нуждаются въ чтеніи, и что между тѣмъ имъ невозможно давать тѣ книги, которыя читаются взрослыми. Обѣ части этого разсужденія довольно вѣрны; дѣйствительно, у тринадцатилѣтнихъ дѣтей уже начинается пробуждающаяся серьезная любознательность, требующая себѣ удовлетворенія; и дѣйствительно, дрянныя книги, читаемыя взрослыми, могутъ разстроить здоровье молодыхъ людей, приближающихся къ критическому возрасту половой зрѣлости. Но развѣ-же это хорошо и нормально, что взрослые читаютъ съ наслажденіемъ пакостныя книги? Развѣ же эти пакостныя книги полезны и необходимы для самихъ взрослыхъ? Развѣ было-бы возможно такое извращеніе общественнаго вкуса въ такомъ обществѣ, въ которомъ не было-бы мѣста для праздности, для умственной пустоты, для тупеядства и для разнообразѣйшихъ проявленій экономической эксплуатаціи?

Здоровое общество всегда порождаетъ здоровую литературу, а здоровая литература одинаково полезна для всѣхъ грамотныхъ людей, безъ различія пола, возраста и состоянія. Необходимость отдѣльной дѣтской литературы указываетъ прямо на существованіе общественныхъ болѣзней, съ которыми мы свыклись и которыя мы стараемся удержатъ и сохранить, какъ величайшую драгоценность и какъ источникъ любимѣйшихъ нашихъ наслажденій. Эта милая способность любить и лелѣять болѣзнь случается въ исторіи у очень многихъ народовъ: такимъ образомъ римляне любили гладиаторскія игры, испанцы—инквизицію, французы—централизацию, англичане—свою *happy constitution*, южные плантаторы—невольничество. Такъ точно и мы любимъ дѣтскую литературу, которая позволяетъ намъ, взрослымъ, оставаться пустоголовыми селадонами и относиться къ чтенію съ точки зрѣнія пріятныхъ возбуждательныхъ спецій.

Другой аргументъ въ пользу дѣтской литературы и даже въ пользу книгъ, написанныхъ для шести-и восьмилѣтнихъ ребятъ, состоитъ въ томъ, что надо приучать дѣтей къ чтенію и вообще къ умственнымъ занятіямъ съ самаго ранняго возраста, потому что въпослѣдствіи эти привычки приобрѣтаются съ большимъ трудомъ; если оставлять ребенка безъ книгъ до тѣхъ поръ, пока въ немъ пробудится любознательность,—разсуждаютъ многіе родители и педагоги,—то легко можетъ случиться, что эта желанная любознательность не пробудится въ немъ никогда; имен-

но книги-то и содѣйствуютъ пробужденію его любознательности. Факты, на которыхъ построено это разсужденіе, подмѣнены совершенно вѣрно. Дѣйствительно можетъ случиться, что ребенокъ до четырнадцати лѣтъ будетъ играть въ бабки и въ лошадки, а послѣ четырнадцати лѣтъ, взявъ нѣсколько уроковъ у танцмейстера, начнетъ блистать сначала на дѣтскихъ вечерахъ, потомъ—на настоящихъ балахъ. Любознательность дѣйствительно не обнаружится ни въ эпоху бабокъ и лошадокъ, ни въ періодъ балльных похожденій. Но такая атрофія любознательности возможна только тогда, когда всѣ взрослые люди, окружающіе ребенка, неимѣютъ въ головѣ ни одной дѣльной мысли, неспособны ни на одно глубокое чувство и не поставили себѣ въ жизни никакой серьезной цѣли. Если отецъ ребенка обратилъ всѣ свои способности на поющую охоту, дядя—на азартную игру, старшій братъ—на преслѣдованіе хорошенькихъ горничныхъ, мамаша—на куафюры и бурнусы, сестра—на усовершенствованіе цвѣта своего лица, то, разумѣется, и пробуждающаяся любознательность ребенка будетъ также тратиться вся безъ остатка на усвоеніе элементарныхъ свѣдѣній по тѣмъ предметамъ, которыми интересуются его ближайшіе родственники. Вотъ тутъ-то и выдвигается дѣтская литература, какъ противодѣйствіе той умственной пустотѣ и деморализаціи, которая постигла-бы ребенка, еслибы онъ съ малыхъ лѣтъ почерпалъ всѣ свои мысли и чувства исключительно изъ своихъ всеневныхъ сношеній съ взрослыми родственниками. Это противодѣйствіе въ настоящее время полезно и даже необходимо, именно такъ, какъ полезенъ и необходимъ ядъ меркуріальнаго лекарства, нестребляющій ядъ сифилитической болѣзни. Искусственность того книжнаго міра, въ который мы вводимъ ребенка, во всякомъ случаѣ есть зло; но пустота дѣйствительной жизни оказывается еще худшимъ зломъ, объ устраненіи котораго мы и можемъ только помечтать. Изъ двухъ золъ мы выбираемъ меньшее и по нашему обыкновенію довольствуемся жалкими палліативами въ такомъ дѣлѣ, гдѣ требуются радикальные перевороты. Мы пицаемъ дѣтей добродѣтельными книжками и успокаиваемся на той надеждѣ, что эти книжки замѣнятъ имъ благотворное вліяніе честной трудовой жизни, въ которую мы не умѣемъ или не желаемъ вводить ихъ съ ранней молодости.

Итакъ, дѣтская литература есть жалкая, ложная и совершенно искусственная отрасль общей литературы. Въ ученическихъ библіотекахъ дѣтскія книги совершенно неумѣстны. Ученическая библіотека должна открываться для учениковъ только тогда, когда они уже будутъ въ состояніи понимать и читать съ удовольствіемъ книги, написанныя для взрослыхъ, разумѣется, не для тѣхъ взрослыхъ, которые ищутъ въ книгѣ

скромныхъ описаній. Какія-же книги должны входить въ составъ ученической библіотеки?—Произведенія лучшихъ беллетристовъ и критиковъ, русскихъ, французскихъ и нѣмецкихъ, описанія замѣчательныхъ путешествій, историческія сочиненія и популярныя книги по всѣмъ отраслямъ естествознанія. Если тратить каждый годъ сполна всѣ 810 рублей, назначенныя на комплектованіе библіотеки, то, разумѣется, въ короткое время эта библіотека будетъ заключать около пяти тысячъ томовъ. Такія библіотеки будутъ конечно очень полезны воспитанникамъ во время ихъ пребыванія въ гимназіи, но онѣ могутъ принести имъ еще гораздо больше пользы послѣ ихъ выхода изъ заведенія. Если гимназистъ мало читаетъ или даже совсѣмъ ничего не читаетъ, это еще не очень большая бѣда, его время впереди: передъ нимъ лежитъ еще университетъ, который можетъ разбудить и направить къ полезному труду его дремлющія умственные силы; но когда молодой человѣкъ уже кончилъ курсъ своего ученія и когда обстоятельства забросили его въ сонное царство провинціальной благой жизни, тогда хорошая библіотека можетъ рѣшить для него навсегда гамлетовскій вопросъ: «быть или не быть», то есть думать или пить, запоемъ, учиться или благодушествовать за преферансомъ и за стуколкой. Каждый годъ сотни неслухихъ и небезчестныхъ молодыхъ людей, попавши въ кружокъ мелкаго провинціального чиновничества или мѣстной землевладѣтельской аристократіи, глупѣютъ и развращаются именно потому, что нѣтъ ни человѣка, съ которымъ можно было-бы отвести душу, ни книги, которая освѣтила-бы въ памяти идеи, чувства и порывы свѣтлой и чистой студенческой юности. Поэтому было-бы необходимо, чтобы каждая гимназія предоставляла своимъ воспитанникамъ право пользоваться ученическими библіотеками до конца жизни.

На это мнѣ возразятъ, разумѣется, что это право въ большей части случаевъ оказалось бы ни на что ненужнымъ, потому что воспитанникъ Костромской гимназіи можетъ попасть куда-нибудь въ Могилевъ, а могилевскій—въ Саратовъ, и такъ далѣе. Какъ-же онъ изъ Могилева будетъ пользоваться костромской или изъ Саратова могилевской библіотекой? Очень просто, отвѣчу я. Для этого надо только, чтобы между всѣми ученическими библіотеками существовали отношенія взаимности. То-есть, выходя изъ гимназіи, ученикъ выѣзжаетъ съ аттестатомъ получаетъ билетъ, который даетъ ему право пользоваться бесплатно всѣми ученическими библіотеками на всемъ пространствѣ Россійской Имперіи. Могилевскій гимназистъ будетъ читать книги въ саратовской библіотекѣ, саратовскій — гдѣ-нибудь въ вологодской, вологодскій — опять въ могилевской, и такъ далѣе. При этомъ кругомъ обмѣнъ услугъ окажется, что всѣ гимназіи

даютъ чужимъ воспитанникамъ столько, сколько ихъ воспитанники получаютъ отъ чужихъ гимназій. Общество при такомъ порядкѣ вещей останется въ чистыхъ барышахъ, потому что многіе изъ мелкихъ чиновниковъ, приказчиковъ, конторщиковъ и т. д., окончившихъ курсъ въ гимназіяхъ, будутъ читать хорошія книги вмѣсто того, чтобы пьянствовать, играть въ карты и безобразничать.

Въ настоящее время мѣста преподавателей въ гимназіяхъ отдаленныхъ губерній внушаютъ очень естественный ужасъ тѣмъ молодымъ людямъ, которымъ они предлагаются. Заѣдешь туда въ эту глушь, думаютъ молодые кандидаты, мохомъ обростешь, отупѣешь, отстанешь отъ научныхъ занятій, бросишь чтеніе, оскотишься, а пить начнешь... Нѣтъ, ужъ лучше жить въ Петербургѣ или въ университетскомъ городѣ гдѣ-нибудь на чердакѣ, перебиваясь изо дня въ день грошовыми уроками, переводами или даже частной перепиской. Вълѣдствіе такихъ разсужденій молодыхъ кандидатовъ многія провинціальныя гимназіи, подобно ирландскихъ ланд-лордовъ, жестоко страдаютъ абсентизмомъ. Мѣста учителей остаются незанятыми въ продолженіи цѣлыхъ десятковъ лѣтъ, такъ что многія поколѣнія учениковъ проходятъ черезъ гимназію, не получая даже смутныхъ понятій о нѣкоторыхъ предметахъ, которые однако продолжаютъ красоваться въ программѣ и на росписаніи еженедѣльныхъ уроковъ. — Десятки лѣтъ! восклицаетъ читатель. Быть не можетъ! — А? Быть не можетъ? Такъ вотъ-же вамъ выписка изъ «Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія». — «Бывали случаи, что учительскія мѣста въ гимназіяхъ оставались незамѣщенными цѣлые годы и даже десятки лѣтъ: такъ напр., въ Астраханской гимназіи математика, русскій языкъ, исторія и географія не преподавались по пяти лѣтъ, по невозможности пріискать учителей; нѣмецкій языкъ по той-же причинѣ не преподавался 27 лѣтъ, французскій—17 лѣтъ и латинскій—13 лѣтъ. Въ Архангельской гимназіи географія не преподавалась 8 лѣтъ, французскій языкъ—15 лѣтъ и англійскій—11 лѣтъ, и т. д.» (1864 г. декабрь. По поводу новаго устава гимназій и прогимназій. Стр. 91.) «Отчетъ по управленію Казанскимъ учебнымъ округомъ на 1863 годъ» показываетъ намъ, что такіе случаи не только бывали, но и *бываютъ* до настоящей минуты. Во всѣхъ 12 гимназіяхъ Казанскаго округа существуютъ незанятые вакансии; всѣхъ учительскихъ ваканцій имѣлось въ 1863 году 28, такъ что на каждую гимназію приходится по 2 1/3 вакантныхъ мѣста; въ Симбирской гимназіи напримѣръ не замѣщены четыре каедръ: по русской словесности, по математикѣ, по естественной исторіи и по французскому языку; а въ Пензенской—пять каедръ: законовѣдніе, русская словесность, математи-

ка, французскій и нѣмецкій. Есть основаніе думать, что удовлетворительное положеніе ученическихъ библіотекъ, которыя конечно не будутъ составлять запретнаго плода для преподавателей, въ значительной степени ослабило-бы бѣдствія этого учительскаго абсентизма. Какія-нибудь Вятка, Пермь или Уфа потеряютъ для молодого кандидата половину своего устрашающаго и отталкивающаго вида, когда онъ узнаетъ, что въ каждомъ изъ этихъ ужасныхъ городовъ есть порядочная библіотека, которая не премѣнно каждый годъ выписываетъ нѣсколько литературныхъ журналовъ и по двѣ или по три сотни томовъ новѣйшихъ сочиненій по самымъ интереснымъ отраслямъ человѣческаго знанія. Тогда не будетъ уже для молодого человѣка опасности заглохнуть и поглупѣть, и не будетъ слѣдовательно необходимости отказываться отъ учительскаго мѣста по чувству нравственнаго самосохраненія.

## XII.

Въ началѣ X-ой главы я назначилъ изъ ежегодной экономіи по 1000 рублей въ годъ на содержаніе при гимназіи столярной и токарной мастерской. Я полагаю, что каждому человѣку, на какой-бы ступени общественной дѣятельности онъ ни находился, необходимо во многихъ отношеніяхъ знать по крайней мѣрѣ одно ручное ремесло. Слѣдующія слова Руссо, которыя я беру изъ III-ей книги *«Эмиля»*, останутся на вѣчныя времена великой истиной:

«Помните, — говоритъ онъ, — что я требую отъ васъ не таланта; мнѣ нужно ремесло, настоящее ремесло, искусство чисто механическое, въ которомъ руки работаютъ больше головы и которое не ведетъ къ богатству, но при которомъ можно безъ него обойтись. Я видѣлъ, что въ семействахъ, вовсе не подвергавшихся опасности остаться безъ хлѣба, отцы, для предотвращенія всякихъ случайностей, давали своимъ дѣтямъ, кромѣ общаго образованія, такія свѣдѣнія, посредствомъ которыхъ можно было-бы зарабатывать себѣ пропитаніе. Эти предусмотрительные отцы думаютъ сдѣлать много и не дѣлаютъ ничего, потому что тѣ средства, которыми они разсчитываютъ обезпечить своихъ дѣтей, зависятъ отъ того самаго богатства, выше котораго они стараются ихъ поставить. Обладатель всѣхъ этихъ прекрасныхъ талантовъ, попавши въ такую обстановку, которая не благоприятствуетъ ихъ проявленію, погибнетъ отъ бѣдности такъ точно, какъ будто-бы у него не было ни одного таланта. Когда дѣло идетъ о происпакъ и объ интригахъ, тогда можно пожалуй направить ихъ на то, чтобы удержать за собой богатство вмѣсто того, чтобы при ихъ содѣйствіи выбиваться потомъ изъ бѣдности по прежнему благосостоянію. Если вы занимаетесь искусствами, которыхъ успѣхъ зависитъ отъ репутаціи художника, если вы пріобрѣтаете себѣ способность исправлять такія должности, которыя получаютъ только по протекціи, — то къ чему послужить вамъ все это, когда, получивши справедливое отвращеніе къ свѣтскому обществу, вы съ презрѣніемъ будете смотрѣть на тѣ средства, безъ которыхъ невозможно добиться успѣха?» — Вы изучили полигиду и интересы государей: это очень хорошо;

но что вы будете дѣлать съ этими знаніями, если вы не умѣете отыскать дороги къ министрамъ, къ придворнымъ женщинамъ, къ начальникамъ департаментовъ, если вы не обладаете тайной правителствъ, если всѣ не найдутъ въ васъ тѣхъ качествъ, которые для нихъ годятся? — Вы — архитекторъ или живописецъ: согласенъ; но надо доставить вашему таланту извѣстность. Развѣ вы думаете, что ваша работа ни съ того, ни съ сего попадетъ тотчасъ на публичную выставку? О, нѣтъ! дѣло идетъ совсѣмъ не такъ. Надо числиться въ академіи, надо даже пользоваться тамъ протекціей, чтобы добыть себѣ въ какомъ-нибудь уголѣ теплое мѣстечко. Огложите въ сторону линейку и кисть. Наймите извозчика и отправляйтесь стучаться то въ ту, то въ другую дверь: знаменитость пріобрѣтается именно этимъ послѣднимъ средствомъ. Но вы должны знать, что у всѣхъ этихъ могущественныхъ дверей есть швейцары или привратники, которые понимаютъ только мишуру и которыхъ уши находятся въ рукахъ. Хотите вы давать уроки по тѣмъ предметамъ, которые вы изучали, хотите сдѣлаться учителемъ географіи или математики, или языковъ, или музыки, или рисованія? Даже и для этого надо найти себѣ учениковъ, то-есть прежде всего надо завѣрбовать хвалителей. Знайте впередъ, что главное дѣло заключается не въ искусствѣ, а въ шарлатанствѣ, и что вы всегда будете считаться невѣждой, если будете знать только вашу специальность. — Посмотрите-же, какъ всѣ эти блестящіе подпорья непрочны и какъ много вспомогательныхъ средствъ необходимо для того, чтобы извлечь изъ нихъ пользу. И кромѣ того, что съ вами сдѣлается въ этомъ позорномъ униженіи? Бѣдствія ополчатъ васъ, ничему васъ не научая; сдѣлавшись, болѣе чѣмъ когда-либо, игрушкой общественнаго мнѣнія, какимъ-же образомъ подниметесь вы выше тѣхъ предрассудковъ, которые будутъ располагать самовластно вашей участію? Какимъ образомъ станете вы презирать низость и пороки, въ которыхъ вы нуждаетесь, какъ въ источникъ пропитанія? Прежде вы зависѣли только отъ богатства, а теперь вы зависите отъ богатыхъ: вы только ухудшили ваше рабство и обременили его вашей бѣдностью; вы теперь бѣдны и при этомъ все-таки не свободны: это самое скверное изъ всѣхъ возможныхъ человѣческихъ положеній. Но если въ случаѣ нужды вы обращаетесь для добыванія насущнаго хлѣба не къ тѣмъ возвышеннымъ знаніямъ, которыя питаютъ душу, не заботясь о тѣлѣ, а къ вашимъ собственнымъ рукамъ и къ тому, что вы умѣете ими дѣлать, тогда всѣ затрудненія исчезаютъ, всѣ происки становятся безцѣльными, средство всегда готово въ ту минуту, когда надо имъ пользоваться; честность и нравственная самостоятельность не перестаютъ быть поихами въ жизни: вамъ нѣтъ болѣе надобности подличать и лгать передъ вельможами, извиняться и ползать передъ мошенниками, угождать всѣмъ и каждому, занимать деньги или воровать, что почти равносильно, когда у васъ нѣтъ ничего за душой: мнѣніе другихъ людей до васъ не касается; никому вы не обязаны кланяться; вамъ не зачѣмъ лѣстить дураку, за добривать швейцара, подкупать и преносносить похвалами продажную женщину. Пускай мошенники заправляютъ крупными дѣлами, вамъ до этого нѣтъ дѣла; это не помѣшаетъ вамъ въ вашей скромной жизни быть честнымъ человѣкомъ и имѣть кусокъ хлѣба. Вы вводите въ первую попавшуюся лавку того ремесла, которому вы учились. — Хозяинъ, мнѣ нужна работа. — Товарищъ, садитесь, работайте. Прежде чѣмъ наступитъ часъ обѣда, вы заработаете вашъ обѣдъ. Если

вы трудолюбивы и умѣренны, то не пройдетъ недѣли, какъ вы уже обезпечите вашимъ трудомъ ваше существованіе на слѣдующую недѣлю; и втеченіи всего времени вы будете оставаться свободнымъ, здоровымъ, трудолюбивымъ и честнымъ человекомъ. Жить такимъ образомъ не значитъ терять время по пустому.»

Немного вѣлѣрчиво, немного восторженно, немного чересчуръ пропитано мелодраматическимъ презрѣніемъ къ богатству, и столь же мелодраматической нѣжностью къ отвлеченной *vertu*, которую такъ любилъ въ послѣдствіи покойникъ Робеспьеръ, но въ сущности, въ основной идеѣ, совершенно вѣрно. Правственная самостоятельность дѣйствительно невозможна, когда человекъ прикрѣпленъ наглухо къ извѣстной профессіи, и кгда ему некуда отступитъ назадъ въ случаѣ какихъ-нибудь несправедливыхъ преслѣдованій или неисполнимыхъ требованій со стороны тѣхъ лицъ или общественныхъ кружковъ, отъ которыхъ онъ зависитъ въ условіяхъ своего существованія. Всякій умѣренный трудъ можетъ поставить человека въ такое положеніе, въ которомъ ему приходится выбирать одно изъ двухъ: или ренегатство, или *choix*, то-есть вынужденное прекращеніе работы, и слѣдовательно непріятный манеръ: *зубы на полку*. Такъ какъ на свѣтѣ мало такихъ героевъ, которые изъ любви къ своимъ убѣжденіямъ готовы смотрѣть въ глаза голодной смерти, и такъ какъ возможность отступить назадъ къ безопасному ручному ремеслу не существуетъ почти ни для кого, то, разумеется, ренегаты растутъ какъ грибы по всѣмъ отраслямъ умственной дѣятельности. Такая перспектива способна запугать самыхъ храбрыхъ и расположить къ уступчивости самыхъ упрямыхъ. Но такая перспектива была бы очевидно невозможна, еслибы каждый членъ образованнаго сословія выносилъ изъ школы вмѣстѣ съ умственнымъ развитіемъ и съ научными свѣдѣніями основательное и совершенно практическое знаніе какого-нибудь ручнаго ремесла.

Ручное ремесло необходимо кромѣ того по своему важному и несомнѣнному вліянію на общій складъ умственнаго развитія. Источникъ всего нашего богатства, основаніе всей нашей цивилизаціи и настоящій двигатель всемірной исторіи заключаются конечно въ физическомъ трудѣ человека, въ прямомъ и непосредственномъ дѣйствіи человека на природу. Кто смотритъ на физическій трудъ издали и со стороны, кто не имѣетъ никакого понятія о томъ, что значитъ собственноручно побѣждать сопротивленіе неодушевленной матеріи, тотъ по всей вѣроятности останется навсегда въ отношеніи къ самымъ важнымъ вопросамъ общественной жизни поверхностнымъ теоретикомъ и неискуснымъ, хотя и запосчивымъ, регламентаторомъ. Бюрократы приобрѣли себѣ съ этой стороны всемірную и весьма печальную знаменитость,

а въ сущности, что такое бюрократъ? Бюрократъ есть именно человекъ, смотрящій на физическій трудъ издали и со стороны и наваливающий часто, по своему очень естественному незнанію, на чужія плечи такія тяжести, которыя превышаютъ размѣры человѣческихъ силъ. Поэтому вѣрнѣйшее средство положить конецъ дальнѣйшему размноженію бюрократовъ, которыхъ неудовлетворительность чувствуютъ въ настоящее время всѣ европейскія правительства, заключается въ томъ, чтобы сдѣлать физическій трудъ необходимой составной частью общественнаго воспитанія.

Въ настоящее время вся историческая будущность западной Европы зависитъ отъ того, какимъ образомъ разрѣшится рабочій вопросъ, то-есть какимъ образомъ упрочится и обезпечится матеріальное существованіе рабочихъ населеній. Разрѣшимъ-ли самъ по себѣ этотъ вопросъ или нѣтъ, объ этомъ можно высказывать разнородныя или даже противоположныя мнѣнія; но врядъ-ли возможно малѣйшее сомнѣніе на счетъ того пункта, что если этотъ вопросъ можетъ быть разрѣшенъ самъ по себѣ, то онъ разрѣшится не какими-нибудь посторонними благодѣтелями и покровителями, а только самими работниками, когда къ ихъ рабочей силѣ, практической смѣтливости и трудолюбію присоединится ясное пониманіе междучеловѣческихъ отношеній и умѣнье возвышаться отъ единичныхъ наблюденій до общихъ выводовъ и широкихъ умозаключеній. Поэтому одна изъ важнѣйшихъ задачъ настоящаго времени состоитъ въ томъ, чтобы совмѣстить въ однихъ и тѣхъ-же личностяхъ научное развитіе и физическій трудъ, между которыми лежала до сихъ поръ широкая и непроходимая бездна. Только такіе люди, которые умѣютъ въ одно и то-же время работать и мыслить, окажутся способными разрѣшить вопросъ о разумной организаціи труда,—вопросъ, котораго названіе показываетъ ясно, что тутъ необходимо совокупное дѣйствіе мысли и рабочей силы. Благодаря младенческому состоянію нашей промышленности, рабочій вопросъ находится у насъ въ зародышѣ и вѣроятно долго еще не приметъ въ русской жизни тѣхъ колоссальныхъ и грозныхъ размѣровъ, которые характеризуютъ его въ западной Европѣ; но съ нашей стороны было-бы очень неосновательно думать, что эта чаша пройдетъ мимо насъ, и что наша общественная жизнь въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи никогда не наткнется на эту мудреную задачу. Поэтому, глядя на нашихъ западныхъ сосѣдей и вдумываясь въ ихъ поучительныя ошибки и страданія, мы должны заранѣе припасать тѣ матеріалы, которые требуются для удовлетворительнаго разрѣшенія этого неизбѣжнаго и неотвратимаго вопроса. Къ числу этихъ матеріаловъ должно отнести организацію прочной нравственной и умственной связи ме-



жду лабораторіей ученаго специалиста и мастерской простого ремесленника. Сближеніе образованнаго общества съ чернымъ народомъ, то сближеніе, о которомъ такъ уморительно и безтолково разсуждали наши умолкнувшіе *почвенники*, конечно необходимо, но только оно должно состоять не въ туномъ уваженіи къ народной мудрости, которую совершенно справедливо осмѣиваетъ и отвергаетъ положительная наука, а въ разумной, полной, искренней и дѣятельной реабилитаціи физическаго труда, которому всѣ мы на словахъ свидѣтельствуемъ наше нижайшее почтеніе, и отъ котораго однако на дѣлѣ всѣ мы тщательно отстраняемся сами и отстраняемъ нашихъ возлюбленныхъ дѣтей. Если только физическій трудъ будетъ наравнѣ съ научными занятіями вѣнненъ въ обязанности воспитанникамъ всѣхъ учебныхъ заведеній, то можно будетъ ручаться за то, что изъ этихъ заведеній будутъ выходить такіе люди, которые легко и свободно будутъ сближаться съ простымъ народомъ, и на которыхъ народъ не будетъ смотрѣть, какъ на чужихъ людей, неспособныхъ сознательно сочувствовать его интересамъ. Простой народъ всегда и вездѣ дѣлитъ все человѣчество на такихъ людей, которые работаютъ сами, и на такихъ, за которыхъ работаютъ другіе; первыхъ онъ считаетъ своими, а вторыхъ—чужими. Кто упускаетъ изъ виду эту простую истину, тому нечего и мечтать о сближеніи съ народомъ. Ничто, кромѣ физическаго труда, не ведетъ къ искреннему сближенію.

### XIII.

Вводи физическій трудъ въ учебное заведеніе, надо, разумеется, постоянно имѣть въ виду требованія гигиены. Поэтому очевидно, что въ учебномъ заведеніи совершенно неумѣстны такіе ремесла, которыя вредятъ здоровью работника, или такіа, которымъ надо заниматься сидя. Неудобными оказываются также тѣ работы, при которыхъ необходимо имѣть дѣло съ огнемъ или съ химическими кислотами. Ни булочниковъ, ни красильщиковъ, ни ткачей, ни кузнецовъ, ни слесарей, ни портныхъ, ни сапожниковъ нельзя формировать въ учебныхъ заведеніяхъ. Я совершенно соглашаюсь съ Руссо, выбравшимъ для своего Эмиля столярное ремесло; дѣйствительно, трудно найти другую отрасль физическаго труда, которая соединяла бы въ себѣ такъ много удобствъ и преимуществъ, какъ съ гигиенической, такъ и съ педагогической точки зрѣнія. Столяръ работаетъ большей частью стоя и дѣлаетъ руками сильныя и разнообразныя движенія, которыя могутъ служить превосходнымъ дополненіемъ гимнастики. Столяръ имѣетъ дѣло съ такимъ чистымъ матеріаломъ, который не даетъ отъ себя ни тяжелаго запаха, ни пыли, вредной для дыхательныхъ органовъ. Наконецъ столяръ, ме-

нѣ всякаго другого ремесленника, рискуетъ одурѣть и сдѣлаться автоматомъ. Столяру приходится постоянно разсмѣрять и соображать, упражнять вѣрность глаза и вѣрность руки, дѣйствовать циркулемъ и наугольникомъ, словомъ, прикладывать къ практическому дѣлу истины элементарной геометріи.

Принимая въ разсчетъ всѣ эти обстоятельства, я полагаю, что воспитанникамъ каждаго учебнаго заведенія было-бы очень полезно во всѣхъ отношеніяхъ заниматься ежедневно, въ продолженіи трехъ или четырехъ часовъ, столярнымъ и токарнымъ ремесломъ. Мнѣ кажется, что назначенная мною сумма 1,000 рублей совершенно покрыла-бы всѣ издержки, необходимыя для содержанія мастерской, покрыла-бы ихъ даже въ первые два или три года, когда неопытные работники портили-бы матеріалъ и инструменты въ самомъ значительномъ количествѣ. Возьмемъ самыя невыгодныя условія: положимъ, что въ зданіи гимназіи нѣтъ мѣста для устройства мастерской, которая конечно требуетъ довольно просторнаго помѣщенія. Тогда надо будетъ нанять возлѣ гимназіи особую квартиру; положимъ на наемъ квартиры 500 рублей; за эту цѣну можно нанять комнатъ нять или шесть даже въ Петербургѣ, а въ губернскомъ городѣ можно будетъ нанять цѣлый большой домъ. На жалованье того столяра, который будетъ управлять работами гимназистовъ, положимъ 300 рублей. На порчу матеріала остается 200 рублей. Неужели гимназисты испортятъ дерева больше чѣмъ на 200 рублей? и неужели мастерская въ первый годъ не сработаетъ на одной такой доски, ни одного такого простого ящика, которые могли-бы пойти въ продажу? Правда, что обученіе тѣхъ мальчиковъ, которые отдаются на выучку къ хозяевамъ, продолжается очень долго, года по четыре и больше, но вѣдь это происходитъ не отъ того, что ремесло дѣйствительно трудно и головоломно, а отъ того, что первые годы ученія тратятся мальчикомъ обыкновенно на исполненіе разныхъ мелкихъ комиссій, которыя даютъ ему хозяинъ и подмастерья и которыя, развивая быстроту его ногъ, въ то-же время насколько не знакомятъ его съ техническими тайнами мастерской. Такъ какъ воспитанники гимназіи ни одного дня не будутъ состоять на посылкахъ, то по всей вѣроятности усвоеніе мастерства пойдетъ у нихъ несравненно скорѣе, такъ что на третій или на четвертый годъ своего существованія мастерская будетъ содержаться своими собственными средствами, и управлять работами будетъ не наемный столяръ, а ремесленный комитетъ, составленный изъ опытныхъ и свѣдущихъ гимназистовъ старшихъ классовъ.

Въ гимназіяхъ, возражаетъ мнѣ читатель, учатся преимущественно приходящіе ученики, а время столярныхъ занятій будетъ назначено

по всей вѣроятности послѣ обѣда, потому что утромъ происходитъ классное ученіе; стало-быть, ученикамъ придется ходить въ гимназію по два раза въ день. Это неудобно. Особенно неудобно тутъ нѣтъ ничего, отвѣчу я. Послѣобѣденные классы бывали во многихъ провинціальныхъ гимназіяхъ. Пройти лишній разъ по улицѣ не велика бѣда для здоровыхъ ребятъ. А для тѣхъ, которые живутъ отъ гимназіи слишкомъ далеко, можно устроить завтракъ и обѣдъ въ гимназіи за особенную плату. Ученики, ночующіе дома, но пользующіеся завтракомъ и обѣдомъ въ стѣнахъ заведенія, существуютъ въ настоящее время и называются *полупансионерами*. О нихъ упоминается и въ новомъ уставѣ, въ § 83.

Въ гимназіи, возражаетъ далѣе читатель, бываетъ иногда до 300 учениковъ, иногда даже того больше. Если вы всю эту ватагу поведете въ мастерскую и отдадите подъ руководство одному мастеру, то вѣдь это выйдетъ столпотвореніе вавилонское. Чтѣ-жъ онъ одинъ съ ними сдѣлаетъ? Тутъ нужно по меньшей мѣрѣ человѣкъ тридцать учителей. —И прекрасно! отвѣчу я. Если нужно тридцать учителей, то ихъ и будетъ тридцать. А понадобится шестьдесятъ, и шестьдесятъ найдемъ. Устроить это очень не трудно. Никто вамъ не говоритъ, что съ перваго-же дня послѣ открытія мастерской надо сразу напустить туда цѣлый легіонъ учениковъ, неимѣющихъ понятія о столярномъ ремеслѣ. Это было-бы вѣрнѣйшее средство сразу испортить все дѣло такъ, что потомъ трудно было бы и поправить. Сначала надо выбрать изъ всей гимназіи человѣкъ десять, и потомъ ждать, пока эти десять не выучатся настолько, чтобы быть помощниками мастера при управленіи работами. Когда эти десять будутъ готовы, тогда можно каждому изъ нихъ поручить по три ученика. Такимъ образомъ въ мастерской окажется уже сорокъ работниковъ. Черезъ нѣсколько времени къ этимъ сорока можно будетъ присоединить еще сорокъ, потомъ къ этимъ восьмидесяти—еще восемьдесятъ, и такъ далѣе, до тѣхъ поръ, пока вся гимназія не акклиматизируется въ мастерской. Сколько времени требуется на акклиматизацію, этого я, разумеется, не знаю. Это видно будетъ изъ опыта, и я могу только замѣтить, что въ этомъ дѣлѣ слѣдуетъ тщательно избѣгать излишней торопливости, которая можетъ все перепутать, даже дискредитировать въ глазахъ общества основную идею. Само собой разумеется, что первые десять учениковъ должны быть выбраны изъ четырехъ младшихъ классовъ для того, чтобы они успѣли выучиться сами и выучить другихъ до выхода своего изъ гимназіи. Понятно также, что эти десять должны быть взяты въ мастерскую не насильно, а по собственной охотѣ, и что ихъ слѣдуетъ выбрать изъ лучшихъ учениковъ для

того, чтобы право работать въ мастерской считалось въ обществѣ воспианниковъ за особенную честь. Всѣ эти предосторожности необходимы только въ самомъ началѣ дѣла для того, чтобы у воспитанниковъ не возникло предубѣжденія противъ физическаго труда, какъ противъ излишняго бремени, наложеннаго на нихъ по прихоти начальства. Когда же занятія въ мастерской обратятся въ общую привычку, тогда конечно всякое различіе между лучшими и худшими учениками должно будетъ совершенно сгладиться. Легко можетъ быть, и даже правдоподобно, что многіе молодые люди, очень мало расположенные къ научнымъ занятіямъ, окажутся превосходными ремесленниками и найдутъ себѣ свое настоящее мѣсто за токарнымъ станкомъ или за верстакомъ столяра.

А какимъ образомъ будетъ устроена промышленная часть мастерской? Кто будетъ принимать заказы, продавать готовые издѣлія и производить закупку матеріала? Высшій контроль по всѣмъ этимъ дѣламъ долженъ конечно принадлежать директору гимназіи вмѣстѣ съ инспекторомъ и педагогическимъ совѣтомъ. Контроль этотъ долженъ однако имѣть чисто охранительное значеніе; онъ долженъ только заботиться о томъ, чтобы не было самовольной и недобросовѣстной растраты суммъ. Что же касается до чисто промышленныхъ подробностей дѣла, то онѣ должны находиться сначала въ рукахъ нанятаго столяра, а потомъ, когда этотъ столяръ окажется излишнимъ, въ рукахъ старшихъ и благонадежныхъ воспитанниковъ, достаточно ознакомившихся со всѣмъ механизмомъ этого дѣла. Выручаемые деньги должны употребляться прежде всего на содержаніе мастерской, которая впоследствии по всей вѣроятности будетъ поддерживать себя своими собственными средствами. Что же касается до чистыхъ барышей, то, разумеется, они должны дѣлиться между работниками по общему соглашенію, въ которое начальство совсемъ не должно вмѣшиваться.

Многіе изъ моихъ читателей давно уже начали улыбаться саркастической улыбкой, и теперь конечно, дойдя до того мѣста, гдѣ гимназисты превращаются въ промышленниковъ и дѣлятъ между собой барыши, эти насмѣшливые читатели помираютъ со смѣху и называютъ меня наивнѣйшимъ строителемъ воздушныхъ замковъ. На эти насмѣшки и на этотъ самодовольный хохотъ я не буду отвѣчать рѣшительно ни слова. Я знаю очень хорошо, что очень многіе солидные люди видятъ воздушные замки и нелѣпыя утопіи въ каждой идеѣ, не выполнѣ согласной съ общимъ строемъ ихъ закоренѣлыхъ привычекъ и неистребимыхъ предрасудковъ. Я знаю также, что этихъ почтенныхъ людей не проймешь логическими доказательствами, и что отъ нихъ не дождешься обстоятельныхъ возраженій. Совѣтую этимъ почтеннымъ людямъ

углубяться въ благоговѣйное чтеніе «Московскихъ Вѣдомостей», а я пойду дальше, не обращая вниманія на ихъ остроумныя насмѣшки и восклицанія.

#### XIV.

Реформа гимназій, произведенная по вышеуказанному плану, естественнымъ образомъ влечетъ за собой столь-же радикальную реформу университетовъ. Въ настоящее время нѣкоторые факультеты университетовъ замѣтно пустѣютъ, а нѣкоторые другіе наполняются студентами вслѣдствіе чистаго недоразумѣнія, то-есть благодаря тому очень печальному обстоятельству, что большинство молодыхъ людей поступаетъ въ университетъ, не зная ни своихъ собственныхъ наклонностей, способностей и умственныхъ потребностей, ни общаго значенія тѣхъ наукъ, за изученіе которыхъ они принимаются. Къ пустѣющимъ факультетамъ относятся историко-филологическій и факультетъ восточныхъ языковъ. Около 1856 года по историко-филологическому факультету въ Петербургскомъ университетѣ кончилъ курсъ *одинъ* студентъ. Это фактъ вполне достовѣрный; онъ извѣстенъ всѣмъ студентамъ того времени, и я до сихъ поръ запомнилъ даже фамилію того молодого человѣка, который въ продолженіи цѣлаго года составлялъ своей особой весь четвертый курсъ историко-филологическаго факультета. Что этотъ единственный студентъ кончилъ курсъ *первымъ* кандидатомъ, въ этомъ мои читатели вѣроятно не усомнятся. На факультетѣ восточныхъ языковъ, если не ошибаюсь, число профессоровъ превышаетъ число слудентовъ, несмотря на то, что этотъ факультетъ существуетъ только при двухъ университетахъ, и что слѣдовательно въ нихъ должны стекаться со всей Россіи всѣ молодые люди, желающіе обогатить свой умъ и развить свое эстетическое чувство изученіемъ арабской, турецкой, татарской, калмыцкой и многихъ другихъ столь-же богатыхъ и просвѣтительныхъ литературъ. Умственное тяготѣніе Россіи къ Востоку съ одной стороны и къ классической древности съ другой стороны оказывается очевидно очень слабымъ, и я осмѣливаюсь думать, что оно съ каждымъ годомъ будетъ становиться все слабѣе и слабѣе, если только московскимъ публицистамъ не удастся придумать какой-нибудь особенный снарядъ для искусственнаго оживленія этихъ угасающихъ симпатій.

Къ числу факультетовъ, наполняющихся по недоразумѣнію, относятся безъ всякаго сомнѣнія факультеты юридическій и камеральный. Оба эти факультета переполнены слушателями, и это обстоятельство показываетъ намъ особенно наглядно, до какой степени поверхностными и безсознательными остаются до настоящаго времени отношенія нашего общества къ наукѣ. Наука служить нашему обществу даже не дойной ко-

ровой, а просто благообразной вывѣской, за которой скрывается въ совершенной безопасности старое непочатое невѣжество. — Юридическій факультетъ готовить или по крайней мѣрѣ старается готовить чиновниковъ; камеральный факультетъ старается избѣгнуть, и дѣйствительно избѣгаетъ съ полнымъ успѣхомъ всякой научной спеціальности и дѣятельности. Первый — однимъ своимъ названіемъ пробуждаетъ въ честолюбивыхъ родительскихъ душахъ обаятельныя грезы о блестящихъ бюрократическихъ карьерахъ; второй — изображаетъ собою дилетантизмъ, возведенный въ систему.

Именно въ этихъ особенностяхъ обоихъ факультетовъ заключается вся ихъ притягательная сила. Гдѣ люди, которые ко всякой наукѣ относятся такъ-же отрицательно, какъ относился къ ней Фамусовъ, — въ то-же время чувствуютъ самую глубокую нѣжность ко всякимъ аттестатамъ и дипломамъ и поэтому очень желаютъ снабдить своихъ дѣтей такими документами, въ которыхъ было-бы засвидѣтельствовано ихъ примѣрное прилежаніе. Какъ-же это сдѣлать? Какъ приобрести благообразный документъ, не отдавая благовоспитанныхъ дѣтей на жертву скучнымъ и совершенно бесполезнымъ наукамъ? Благовоспитанное дитя должно непремѣнно сдѣлаться кандидатомъ университета, но оно ни подъ какимъ видомъ не должно вдаваться въ ученость. Оно рождено для того, чтобы блистать въ свѣтѣ и купаться въ сливкахъ высшаго общества. Если оно измѣнитъ своему назначенію, если оно вздумаетъ погрузиться въ книжную пыль и запереться въ своемъ кабинетѣ, то его осмѣютъ его блестящіе сверстники, и тогда сердца его родителей будутъ непрестанно обливаться кровью. Какъ-же устроить дѣло такъ, чтобы благовоспитанное дитя имѣло при себѣ кандидатскій дипломъ и чтобы оно въ то-же время не утратило охоты и способности блистать наравнѣ со своими сверстниками? — Надо помѣстить благовоспитанное дитя на юридическій или камеральный факультетъ. Тамъ оно навѣрное ни къ какой наукѣ не пристрастится и тамъ оно приобрететъ себѣ желанный дипломъ посредствомъ усерднаго зубренія профессорскихъ записокъ во время приготовленія къ переходнымъ и къ выпускному экзаменамъ. Если благовоспитанное дитя не принадлежитъ къ разряду безнадежныхъ идиотовъ или самыхъ отчаянныхъ лѣнтяевъ, то конечно оно завоевываетъ себѣ кандидатскій дипломъ и отплевывается, куда слѣдуетъ, служить и блистать.

Но гдѣ возникаетъ вопросъ: зачѣмъ это дитя появилось въ университетѣ? На этотъ вопросъ приходится отвѣчать, что дитя было жертвой смѣшного и печальнаго недоразумѣнія, вслѣдствіе котораго люди, глубоко презирающіе науку, съ навной жадностью хватаются за ея вышніе знаки и атрибуты. Много лѣтъ тому назадъ

правительство, желая приохотить наших соотечественниковъ къ высшему образованію, предоставило по службѣ нѣкоторыя права и преимущества кандидатамъ и дѣйствительнымъ студентамъ университетовъ. Распоряженіе это, очевидно клонившееся къ тому, чтобы обогатить Россію развитыми и мыслящими людьми, послужило поводомъ къ громадному недоразумѣнію, которое не прекратилось до настоящей минуты. Наши университеты наполнились искателями правъ и преимуществъ, совершенно равнодушными къ знанію и способными только сдавать экзамены; наши присутственныя мѣста наполнились счастливыми обладателями дипломовъ, не усвоившими себѣ въ университетѣ ни практической опытности, ни теоретическаго развитія, ни даже твердыхъ нравственныхъ убѣжденій; а между тѣмъ наше общество, въ лицѣ самыхъ вліятельныхъ своихъ представителей, смотрѣло съ умиленіемъ на этихъ патентованныхъ недорослей и ласкало себя той увѣренностью, что чѣмъ больше оно наплодитъ такихъ кандидатовъ и дѣйствительныхъ студентовъ, тѣмъ сильнѣе и успѣшнѣе разовьется оно въ себѣ самое блестящее образованіе. Для огромнаго большинства нашихъ учащихся юной четырехлѣтнее пребываніе въ университетѣ превратилось въ обрядъ, который заканчивался полученіемъ диплома и потомъ дѣйствовалъ на всю дальнѣйшую жизнь бывшего студента именно только посредствомъ правъ и преимуществъ, связанныхъ съ дипломомъ, а никакъ непосредствомъ какихъ-нибудь руководящихъ идей, воспринятыхъ въ университетѣ и развивающихся въ житейской практикѣ. Такъ какъ вся сила образованія заключается по мнѣнію нашего общества, въ дипломѣ, а не въ идеяхъ, и такъ какъ всѣ факультеты университета даютъ своимъ слушателямъ равносильные дипломы, то, разумѣется, наше общество, неспособное и не желающее обсуживать образовательное значеніе различныхъ наукъ, предпочитаетъ юридическій факультетъ, какъ преддверіе гражданской службы, и камеральный, какъ разсадникъ милыхъ свѣтскихъ юношей, не углубляющихся ни во что, но имѣющихъ легкое понятіе обо всемъ.

Еслибы сегодня были отмѣнены права и преимущества, предоставленныя кандидатамъ и дѣйствительнымъ студентамъ, то на завтрашній-же день число слушателей во всѣхъ нашихъ университетахъ убавилось-бы по крайней мѣрѣ на половину, и почти всѣ наши юристы и камералисты переселились-бы изъ университетскихъ аудиторій въ различныя канцеляріи или-же преобразились-бы въ кавалерійскихъ и пѣхотныхъ юнкеровъ. Факультеты юридическій и камеральный опустѣли бы почти совершенно, между тѣмъ какъ на остальные факультеты отмѣна правъ и преимуществъ не произвела-бы никакого замѣтнаго вліянія.

Почему обнаружилось-бы между факультетами

такое рѣзкое различіе—понять не трудно. Кто хочетъ сдѣлаться учителемъ математики—тотъ *дѣйствительно* нуждается въ математическихъ знаніяхъ. Кто хочетъ сдѣлаться натуралистомъ, тотъ *дѣйствительно* нуждается въ основательныхъ свѣдѣніяхъ по различнымъ отраслямъ естествознанія. Кто хочетъ сдѣлаться медикомъ, тому *дѣйствительно* необходимы профессорскія лекціи, анатомическій театръ и клиника. Для всѣхъ этихъ людей знанія составляютъ въ жизни рабочій инструментъ, и за этимъ рабочимъ инструментомъ они и отправляются въ университетъ. Въмѣстѣ съ инструментомъ имъ дадутъ въ университетѣ дипломъ; они берутъ и дипломъ, потому что, во-первыхъ, нѣтъ причины не брать, а во-вторыхъ, нѣтъ возможности отказаться, еслибы даже и явилась подобная фантазія. Но если выдача дипломовъ прекратится, то притокъ людей, идущихъ въ университетъ за рабочимъ инструментомъ, нисколько не ослабѣетъ, именно потому, что эти люди добываютъ себѣ въ университетѣ не дипломъ, а рабочій инструментъ, который очевидно будетъ выдаваться имъ попрежнему.

У юристовъ и камералистовъ, напротивъ того, вопросъ ставится совсѣмъ иначе. Кто хочетъ сдѣлаться чиновникомъ, тотъ *дѣйствительно* нуждается только въ знаніи русскаго языка, въ умѣнн обращаться за справками къ своду законовъ и въ служебномъ навыкѣ. Русскій языкъ изучается въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, а практическое знакомство со сводомъ законовъ и съ служебной процедурой пріобрѣтается на самой службѣ по французской пословицѣ: «à force de forger on devient forgeron.» Въ университетѣ не имѣется такого рабочаго инструмента, который былъ-бы приложимъ къ канцелярской служебной дѣятельности, и поэтому теперешніе юристы и камералисты послѣ отмѣны правъ и преимуществъ сообразятъ немедленно, что имъ гораздо выгоднѣе употребить на усвоеніе служебнаго навыка тѣ четыре года, которые въ университетскихъ аудиторияхъ потрагались-бы на философію права и на поучительный анализъ различныхъ юридическихъ фикцій, не имѣющихъ ни малѣйшаго отношенія къ скромнымъ обязанностямъ столоначальника и его помощниковъ.

Думаете-ли вы, читатель, что русская наука и русская жизнь потеряли-бы что-нибудь вслѣдствіе этого основательнаго размышленія нашихъ юристовъ и камералистовъ? Если вы это думаете, то вамъ не мѣшало-бы въ этомъ разувѣриться. Значительная убыль въ общемъ числѣ русскихъ студентовъ и совершенное упраздненіе двухъ самыхъ многочисленныхъ факультетовъ—разсѣяли-бы только тотъ долговременный оптический обманъ, который до сихъ поръ скрываетъ отъ нашихъ добродушныхъ оптимистовъ нану крайнюю умственную нищету. На самомъ-же

дѣла не произошло-бы ни малѣйшей перемѣны къ худшему. Кто работаетъ, тотъ продолжалъ-бы работать попрежнему, а кто джентльмэнствуетъ, тотъ попрежнему продолжалъ-бы джентльмэнствовать, только безъ университетскаго диплома. Васъ, читатель мой, конечно сокрушаетъ то обстоятельство, что тогда значительно убавилось-бы число чиновниковъ, получившихъ университетское образованіе. Это обстоятельство перестанетъ сокрушать васъ, какъ только вы убѣдитесь въ томъ, что вы до сихъ поръ любовались призраками и удовлетворялись милыми, но пустыми звуками. Вы привыкли давать общее имя университетскаго образованія семи совершенно различнымъ системамъ образованія, которыя никакъ не могутъ взаимно уравновѣшивать другъ друга. Одинъ студентъ занимается дифференціальнымъ исчисленіемъ и астрономіей, другой—зоологіей и ботаникой, третій—хирургіей и терапіей, четвертый—славянскими древностями и трагедіями Софокла, пятый—калмыцкой грамматикой и стихотвореніями Гафиза Фирдуси, шестой—Русской Правдой и пандектами Юстиніана; седьмой хватаетъ всего по немногу, то-есть слушаетъ однѣ лекціи съ юристами, другія—съ натуралистами, третьи—съ филологами. Пока эти семь человѣкъ носятъ одинаковой формы сюртукъ съ свѣтлыми пуговицами и съ синими воротничкомъ, до тѣхъ поръ вы всѣхъ ихъ называете студентами. Потомъ, когда они показываютъ вамъ большой пергаментный листъ съ большой печатью, вы всѣхъ ихъ называете кандидатами (впрочемъ нѣтъ, одного изъ нихъ вы называете лекаремъ). Въ томъ и другомъ случаѣ всѣ они въ вашихъ глазахъ совершенно равны между собой; одинаково-синіе воротники и одинаково-величественные дипломы сглаживаютъ между ними всякое различіе; оказывается такимъ образомъ, что калмыцкая грамматика и дифференціальное исчисленіе, пандекты Юстиніана и зоологія, *всего по немножку* и медицина въ вашихъ глазахъ совершенно уравновѣшиваютъ другъ друга.

Не трудно понять однако, что образовательное вліяніе этихъ предметовъ вовсе не одинаково,—что мыслительныя способности семи разсматриваемыхъ субъектовъ развернутся далеко неравномѣрно и что ихъ міросозерцанія окажутся совершенно не сходными. Если вы это понимаете, то потрудитесь объяснить мнѣ, которое изъ данныхъ семи образованій вы предпочитаете всѣмъ остальнымъ? Если-же вы этого не понимаете и если всѣ семь различныхъ образованій сливаются для васъ въ одну неопредѣленную массу, къ которой вы питаете безотчетную нѣжность, то позвольте мнѣ объяснить вамъ, что васъ прельщаютъ просто непонятныя для васъ слова «образованіе» и «университетъ», и что еслибы при университетѣ былъ учрежденъ завтра какой-нибудь восьмой факультетъ, на примѣръ геральди-

ческій,—для изученія гербовъ, то вы и на этотъ восьмой факультетъ распространили-бы вашу всеобъемлющую и расплывающуюся нѣжность. Когда вы вдумаетесь въ это обстоятельство, то вы вѣроятно согласитесь сами, что при теоретическомъ обсужденіи серьезнаго дѣла на вашу безсознательную нѣжность къ плѣнительнымъ словамъ не стоитъ обращать ни малѣйшаго вниманія. Если чиновники наши не будутъ знакомы съ пандектами Юстиніана и съ философіей права Гегеля, то они отъ этого нисколько не сдѣлаются хуже теперешняго. Общество-же наше останется тогда въ чистомъ выигрышѣ, потому что оно яснѣе теперешняго будетъ понимать свои собственные отношенія къ наукѣ и не будетъ называть наукою безплодную и мертвую юридическую метафизику, которую завѣщали намъ римляне и средневѣковые схоластики въбѣтъ со многими другими столь-же драгоценными сокровищами.

#### XV.

Чтобы опредѣлить тѣ основанія, на которыхъ должны быть перестроены за-ново наши университеты, надо прежде всего отдать себѣ ясный отчетъ въ томъ, что такое общее образованіе, на что оно нужно, чѣмъ оно полезно, въ чемъ должно состоять его вліяніе на жизнь и дѣятельность образованнаго человѣка. Мнѣ кажется, что общее образованіе есть скрѣпленіе и осмысленіе той естественной связи, которая существуетъ между отдѣльной личностью и чело-вѣчествомъ. Общее образованіе выводитъ васъ изъ тѣснаго круга вашихъ непосредственныхъ личныхъ интересовъ, разъясняетъ вамъ ваши отношенія къ окружающей природѣ, описываетъ вамъ то мѣсто, которое вы, какъ человѣкъ, занимаете въ ряду другихъ органическихъ существъ, характеризуетъ вамъ потребности и стремленія того народа, среди котораго мы родились и опредѣляетъ вамъ значеніе и направленіе тѣхъ историческихъ силъ и культурныхъ элементовъ, которые накладываютъ свою печать на вашу жизнь, личность и дѣятельность. Давая вамъ возможность интересоваться тѣми вопросамъ науки и жизни, которые занимаютъ лучшихъ и умнѣйшихъ людей вашего времени, общее образованіе обогащаетъ ваше существованіе такими тревогами и наслажденіями, которыя совершенно непонятны и недоступны вашимъ не образованнымъ современникамъ и соотечественникамъ. Польза общаго образованія и его живительное вліяніе на отдѣльную личность заключаются именно въ этихъ тревогахъ и наслажденіяхъ, въ которыхъ выражается способность понимать все и сочувствовать всему, что въ данную минуту волнуетъ и радуется весь образованный міръ. Слѣдя съ напряженнымъ вниманіемъ за общими интересами современнаго чело-вѣчества, подмѣчая и обсуживая каждую новую по-

бѣду разума надъ инерціей природы и надъ рутиной тупыхъ и близорукихъ людей, стараясь по мѣрѣ силъ упрочить и расширить вліяніе этой побѣды въ вашемъ собственномъ кругу, вы постоянно вносите въ вашу личную жизнь все величіе и всю чистоту тѣхъ непобѣдимыхъ и неистребимыхъ идей, за воплощеніе и осуществленіе которыхъ борются, страдаютъ и умираютъ лучшіе изъ вашихъ современниковъ.

Привязывая такимъ образомъ, по выраженію Некрасова, вашу лодку къ кормѣ большого корабля, вы навсегда застраховываете себя отъ нравственнаго измельченія и опошленія; умѣя понимать и любить все, что подвигаетъ впередъ дѣло человѣческаго благосостоянія и умственнаго совершенствованія, умѣя направлять свои мысли и симпатіи въ такія земли, гдѣ вы никогда не бывали, и даже въ такую даль будущаго, до которой вы не доживете, — вы развиваете въ себѣ способность смотрѣть со стороны или, такъ сказать, à vol d'oiseau на тѣ мелкія препятствія, неудачи, утраты и непріятности, изъ которыхъ обыкновенно складывается наша всенедневная жизнь, и которыя ежеминутно заставляютъ неравнотѣльныхъ людей охать, плакать, рвать на себѣ волосы и выражать разными другими, столь же плоскими манерами крайнюю растрепанность своихъ чувствъ. Вы счастливы и спокойны въ то самое время, когда ваши знакомые считаютъ своимъ долгомъ сожалѣть о васъ, какъ о несчастнѣйшемъ страдальцѣ. Вы счастливы и спокойны, потому что видите, что *большой корабль* величественно и ровно подвигается впередъ, и что ваша маленькая лодка, привязанная къ нему крѣпкимъ канатомъ, легко и свободно слѣдуетъ за всѣми его движеніями. Чистая красота и постоянно возрастающее богатство вашего умственнаго міра съ избыткомъ вознаграждаютъ васъ за тѣ внѣшнія неудобства, которыя на гиперболическомъ языкѣ вашихъ знакомыхъ называются огорченіями, несчастіями и страданіями. Впрочемъ, наслаждаясь гармоніей вашего умственнаго міра, въ которомъ находить себѣ отзвукъ всѣ великіе интересы современной дѣйствительности, вы вслѣдствіе этого нисколько не теряете способности устроить основательно и благоразумно ваши собственные личные или семейныя дѣла. Напротивъ того, умѣя смотрѣть à vol d'oiseau на неизбѣжныя житейскія передрыгива, вы именно вслѣдствіе этого умѣнья сохраняете полное хладнокровіе и совершенное присутствіе духа, которыя и помогаютъ вамъ выпутаться изъ этихъ передрыгивъ быстро, дешево и успѣшно, между тѣмъ какъ другіе люди, называвшіе васъ мечтателями и считавшіе самихъ себя за образцовыхъ практиковъ, въ такихъ же точно передрыгивахъ унываютъ, теряются, запутываются и доводятъ себя со всей своей практичностью до безвыходнаго положенія.

Итакъ, общее образованіе даетъ всей жизни человѣка извѣстный колоритъ, извѣстный смыслъ и извѣстное направленіе; оно проникаетъ собою весь его характеръ и образъ мыслей. Общее и специальное образованіе взаимно дополняютъ другъ друга: специальное даетъ человѣку въ руки рабочей инструментъ, а общее образованіе заставляетъ человѣка пристроить свою рабочую силу такъ, чтобы она содѣйствовала общему движенію *большого корабля*. Чтобы удовлетворительнымъ образомъ исполнить свое назначеніе, общее образованіе очевидно должно снабдить человѣка такими знаніями, которыя позволяли-бы ему понимать труды и тенденціи передовыхъ мыслителей и дѣятелей данной эпохи. Такъ какъ смыслъ этихъ трудовъ и тенденцій въ различныхъ историческихъ эпохи бываетъ различнымъ, то не трудно понять, что и общее образованіе должно постоянно видоизмѣняться вмѣстѣ съ потребностями и обстоятельствами даннаго времени. Такъ напримѣръ, въ XVI столѣтіи общее образованіе должно было заключаться преимущественно въ тщательномъ изученіи латинскаго и греческаго языковъ, потому что въ это время философія и поэзія языческой древности производили полный переворотъ въ идеяхъ и въ чувствахъ образованныхъ европейцевъ. Безъ древнихъ языковъ въ то время не было возможности привязать лодку отдѣльной личности къ *большому кораблю* мыслящаго человечества. Въ настоящее время вопросъ ставится иначе. Умственное движеніе нашей эпохи совершается конечно не въ области классической филологіи. Въ эту опустѣвшую область стараются затянуть насильно наше юношество именно тѣ достойные публицисты, которые систематически поворачиваются спиной къ умственному движенію нашего времени. Всѣ великія открытія, всѣ одушевленные споры и разсужденія нашего времени относятся или къ области естествознанія, или къ различнымъ отдѣламъ создающейся социальной науки. Поэтому въ наше время естествознание составляетъ настоящій центръ общаго образованія. Кто знаетъ естественныя науки, тотъ знаетъ все, что долженъ знать современно-образованный человѣкъ, тѣмъ болѣе, что естественныя науки даютъ человѣку ту подготовку, при помощи которой онъ уже безъ руководителя можетъ слѣдить, втеченіи всей своей жизни, за развитіемъ и разработкой различныхъ социальныхъ вопросовъ.

Основаніе изученію природы было положено въ гимназіяхъ посредствомъ тѣхъ усилённыхъ математическихъ занятій, которыя составляютъ существенный смыслъ этой программы. Университетъ очевидно долженъ строить дальше на томъ фундаментѣ, который заложенъ гимназіей. Университетъ долженъ давать *высшее общее* образованіе, и поэтому раздѣленіе на факультеты совершенно бесполезно. Общее образованіе



въ каждую данную эпоху можетъ быть только одно; дробить его на части не слѣдуетъ и невозможно; а соединять въ одномъ заведеніи общее образование и нѣсколько специальныхъ — значить сбивать съ толку такое общество, которое и безъ того не отличается своей толковостью.

Уничтоженіе факультетовъ конечно кажется читателю чрезвычайно радикальной и даже дерзкой мыслью; но есть основаніе думать, что это уничтоженіе совершится естественнымъ образомъ. Факультеты историко-филологическій и восточный по всей вѣроятности скончаются естественной смертью, не дожидаясь даже отмены правъ. Факультеты юридическій и камеральный опустѣютъ немедленно, какъ только дипломы потеряютъ свою магическую силу; даже гласное судоустройство не удержитъ студентовъ на этихъ факультетахъ, если только университетскій дипломъ не сдѣлается необходимымъ *формальнымъ* условіемъ для каждого практикующаго адвоката. Если можно будетъ заниматься адвокатурой безъ университетскаго диплома, то молодые люди, желающіе сдѣлаться адвокатами, будутъ поступать на нѣсколько времени въ ученики къ опытнымъ практикамъ, такъ точно, какъ это дѣлается въ Англіи.

Такимъ образомъ въ университетѣ останутся математики, натуралисты и медики. Каждый медицинскій факультетъ, какъ чисто-спеціальное училище, можетъ съ величайшимъ удобствомъ отдѣлиться отъ университета и превратиться въ медицинскую академію. Затѣмъ останутся только математики и натуралисты, то-есть два отдѣленія одного физико-математическаго факультета. Такъ какъ преподаваніе математики въ гимназіяхъ по моему плану значительно усилено, то въ гимназіяхъ будутъ проходить многія изъ тѣхъ частей чистой математики, которыя теперь читаются въ университетѣ. Аналитическую геометрію можно будетъ цѣликомъ перенести въ гимназію. Что касается до дифференціальнаго и интегральнаго исчисленія, то его, разумѣется, надо будетъ оставить въ университетѣ, если оно окажется слишкомъ мудренымъ для шестнадцати и семнадцатилѣтнихъ гимназистовъ. — Два оставшіеся факультета, математическій и естественный, сольются въ одинъ факультетъ, пожертвовавши при этомъ сліяніи тѣми отдѣльными науками, въ которыхъ въ настоящее время выражается ихъ специализмъ. Послѣ этого сліянія университетскій курсъ расположится по слѣдующему плану, вполнѣ соответствующему тѣмъ требованіямъ, которымъ въ настоящее время должно удовлетворять общее образованіе.

### I курсъ.

- 1) Дифференціальное и интегральное исчисленіе.
- 2) Теоретическая механика.
- 3) Астрономія.

### II курсъ.

- 1) Высшая физика.
- 2) Неорганическая химія.
- 3) Органическая химія.

### III курсъ.

- 1) Сравнительная анатомія растений и животныхъ.
- 2) Сравнительная физиологія растений и животныхыхъ.
- 3) Гигіена.

### IV курсъ.

- 1) Геологія.
- 2) Географія.
- 3) Исторія.

## XVI.

Въ предлагаемой программѣ я прошу читателя обратить вниманіе на два обстоятельства; во первыхъ, на то, что науки расположены въ ней сообразно съ ихъ возрастающей сложностью, и во-вторыхъ, что вниманіе студентовъ въ теченіи каждаго курса будетъ постоянно сосредоточиваться на очень незначительномъ количествѣ наукъ, которыя вслѣдствіе этого конечно будутъ изучаться основательнѣе, чѣмъ онѣ изучаются теперь, — затѣмъ я сдѣлаю еще нѣсколько частныхъ примѣчаній и поясненій къ моей программѣ.

Высшей физикой я называю тѣ части этой науки, которыя не были пройдены въ гимназіи или были пройдены слегка и поверхностно, по недостатку времени или же вслѣдствіе того, что воспитанники не были еще знакомы съ нѣкоторыми частями высшей математики. Читатель вѣроятно удивится тому, что въ моей программѣ совсѣмъ нѣтъ зоологіи и ботаники. Я полагаю, что сравнительная анатомія и сравнительная физиологія совершенно достаточно ознакомляютъ студентовъ съ устройствомъ и съ отпавленіемъ растительныхъ и животныхыхъ организмовъ, а также и съ главными видоизмѣненіями, которымъ подвергаются это устройство и эти отпавленія на различныхъ ступеняхъ органической лѣстницы. При этомъ, разумѣется, студенты узнаютъ также основныя черты зоологической и ботанической классификаціи; что же касается до мелкихъ подробностей этой классификаціи, то, во первыхъ, онѣ важны и интересны только для записныхъ натуралистовъ, а во-вторыхъ, изученіе теперешней классификаціи по всей вѣроятности окажется скоро напрасной тратой времени, потому что идеи Дарвина навѣрное произведутъ въ ней очень глубокія измѣненія. Основательное изученіе гигиены я считаю необходимымъ, во-первыхъ, для всендневной жизни, гдѣ польза этой науки не можетъ подлежать сомнѣнію, и во-вторыхъ, для яснаго пониманія многихъ социальныхъ вопросовъ, въ которыхъ гигиеническая точка зрѣнія съ каждымъ годомъ становится болѣе

важной и неизбежной. Вопросы о школах, о тюрьмах, о фабриках, о народном продовольствии, о рабочей платѣ, о числѣ рабочих часовъ, о народных увеселеніяхъ и предрассудкахъ только тогда выступаютъ передъ нашими глазами во всей громадности своего общественнаго значенія, когда мы умѣемъ всматриваться и вдумываться въ ихъ гигиеническую сторону. Исторія, по моему мнѣнію, должна преподаваться студентамъ, уже совершенно созрѣвшимъ въ умственномъ отношеніи и основательно ознакомившимся съ общими строемъ физическихъ, химическихъ и физиологическихъ законовъ природы. Исторія человечества должна преподаваться въ ближайшей и тѣснѣйшей связи съ геологіей, т.-е. съ исторіей нашей планеты, и съ географіей, т.-е. съ описаніемъ той сцены и тѣхъ разнообразныхъ вліяній, среди которыхъ развертывается физическая и умственная жизнь человеческихъ обществъ. Цѣль преподаванія исторіи должна заключаться въ томъ, чтобы объяснить всю цѣпь извѣстныхъ намъ событий и переворотовъ коренными свойствами человеческого организма, подвергающагося разнообразнымъ вліяніямъ окружающей природы. Вниманіе профессора должно сосредоточиваться преимущественно на преобладаніи различныхъ формъ народнаго труда, на колебаніяхъ народнаго богатства, и на филіаціи тѣхъ идей и учреждений, которыя накладываютъ на экономическій бытъ народа печать своего полезнаго или вреднаго вліянія. Не знаю, много-ли найдется профессоровъ, способныхъ читать исторію по такой непривычной программѣ, но знаю навѣрное, что молодые люди, прошедшіе черезъ тустроую школу положительной науки, которой планъ представленъ въ этой статьѣ, — ни за что не станутъ слушать тѣхъ пріятныхъ рассказчиковъ, которые, получивши легкое литературное образованіе, по своему трогательному простодушію считаютъ себя въ настоящее время замѣчательными профессорами исторіи.

Конечно было - бы желательно, чтобы то общее образованіе, котораго программѣ я здѣсь предлагаю, усвоивалось предварительно всѣми молодыми людьми, посвящающими себя той или другой спеціальной дѣятельности. Говоря другими словами, было-бы желательно, чтобы молодые люди принимались за изученіе спеціальности не раньше, какъ послѣ выхода изъ университета, перестроеннаго на вышеизложенныхъ основаніяхъ. Но, разумѣется, желаніе это въ полномъ своемъ объемѣ такъ-же несуществуемо, какъ другое еще болѣе смѣлое и завѣтное желаніе, чтобы общее образованіе, построенное на строго реальныхъ основахъ, сдѣлалось достояніемъ всей народной массы, безъ различія пола и состоянія. Многіе молодые люди, имѣющіе возможность дотянуть до конца гимназическаго курса, не имѣютъ возможности

поступить въ университетъ, т.-е. еще на четыре года отложить свое превращеніе въ экономическихъ производителей. Надо заботиться о насущномъ пропитаніи, надо поскорѣ приниматься за хлѣбное ремесло: та-же самая причина, которая въ бѣднѣйшихъ классахъ отрываетъ шестилѣтняго ребенка отъ азбуки, мѣшаетъ въ среднемъ сословіи пятнадцатилѣтнимъ юношамъ изучать физику или астрономію. Многимъ молодымъ людямъ придется конечно поступать въ спеціальныя училища или приниматься за практическую дѣятельность до окончанія полнаго университетскаго курса. Въ этихъ случаяхъ, которые конечно будутъ очень многочисленны, молодымъ людямъ надо будетъ оставаться въ обще-образовательныхъ училищахъ до тѣхъ поръ, пока они не усвоятъ себѣ всѣхъ знаній, находящихся въ связи съ ихъ спеціальностью.

Рядъ примѣровъ тотчасъ пояснить вполне эту послѣднюю мысль. Представьте себѣ, что въ гимназіи учатся нѣсколько юношей, которымъ домашнія обстоятельства не позволяютъ истратить одиннадцать лѣтъ (семь въ гимназіи и четыре въ университетѣ) на общее образованіе. (Одинъ изъ этихъ юношей хочетъ сдѣлаться чиновникомъ, другой — армейскимъ офицеромъ, третій — морякомъ, четвертый — машинистомъ, пятый — сахароваромъ, шестой — агрономомъ, седьмой — медикомъ, восьмой — профессоромъ какой-нибудь отрасли естествознанія. Будущій чиновникъ и будущій офицеръ могутъ опредѣлиться на службу тотчасъ по выходѣ изъ гимназіи; они даже должны поступить такимъ образомъ, если имѣютъ въ виду исключительно экономію времени. Во всемъ университетскомъ курсѣ они не найдутъ ни одного предмета, который-бы имѣлъ прямое отношеніе къ ихъ будущимъ практическимъ занятіямъ. Собственно говоря, они могли бы, даже безъ ущерба для своей практической дѣятельности, выйти изъ пятого класса гимназіи, усвоивши себѣ въ первыхъ пяти классахъ основательное знаніе отечественнаго языка и развивши свои умственные способности математическими упражненіями настолько, что имъ уже не придется стать втупикъ надъ нехитрыми логическими соображеніями, которыхъ потребуетъ отъ нихъ ихъ будущая практическая дѣятельность. Напротивъ того, третій гимназистъ, готовящій себя въ моряки, поступитъ нерасчетливо, если сойдетъ съ общепроизводительной дороги тотчасъ послѣ окончанія гимназическаго курса. Моряку понадобятся астрономія, и дифференціалы, и механика. Значитъ ему слѣдуетъ прослушать первый курсъ университета и потомъ свернуть въ сторону въ спеціальное училище. Будущій машинистъ долженъ поступить точно такъ-же. И такъ-же точно должны поступить будущій архитекторъ, будущій военный инженеръ, будущій кораблестро-

тель. Но сахаровару слѣдуетъ идти дальше, прослушать полный курсъ химіи и потомъ уже свернуть на специальную тропинку. Точно такъ же слѣдуетъ поступить тому юношѣ, который хочетъ сдѣлаться горнымъ инженеромъ или литейщикомъ, или винокуромъ. Медіку и агроному слѣдуетъ прослушать еще и третій курсъ. Наконецъ будущему профессору какой-бы то ни было науки необходимо пройти весь университетскій курсъ до конца и уже потомъ, бросивъ такимъ образомъ общій взглядъ на все поле реального знанія, вполне сознательно отмежевать себя въ этомъ полѣ отдѣльный участокъ, никогда не упуская при этомъ совершенно изъ виду всѣхъ остальныхъ участковъ, на которыхъ трудятся другіе специалисты.

Такимъ образомъ вся совокупность общаго и специальнаго образованія представляется намъ въ видѣ большой дороги, отъ которой уходятъ съ различныхъ пунктовъ въ разныя стороны многія мелкія тропинки. Каждый юный путникъ идетъ сначала по большой дороги, идетъ по ней до тѣхъ поръ, пока позволяютъ обстоятельства, потомъ, проголодавшись, свертываетъ на одну изъ боковыхъ тропинокъ, которая все ведетъ къ какому-нибудь хлѣбному ремеслу. Эта система сворачиваній съ одной общей дороги имѣетъ два важныя преимущества сравнительно съ той системой, при которой различныя спеціальныя образованія представляются въ видѣ многихъ самостоятельныхъ, параллельныхъ дорогъ, неимѣющихъ никакого правильнаго сообщенія съ главной, столбовой дорогой общаго образованія. Первое преимущество состоитъ въ томъ, что педагогическое дѣло страны недробится на множество замкнутыхъ и независимыхъ другъ отъ друга операций. Между всѣми частями педагогическаго цѣлаго существуетъ живое сообщеніе и неизбежное взаимное вліяніе. Когда все мелкіе спеціальныя каналы почерпаютъ все свое содержаніе изъ одного общаго большого русла, и когда они такимъ образомъ получаютъ матеріалъ, испытавшій уже значительную переработку и окрѣпшій въ этой переработкѣ, тогда конечно все они принуждены въ своей дальнѣйшей образовательной дѣятельности подчиняться тѣмъ руководящимъ идеямъ, которыя господствуютъ въ главномъ руслѣ. А такъ какъ въ главномъ руслѣ, по самому его устройству, будетъ господствовать чистѣйшій реализмъ, безъ всякой посторонней примѣси, то этотъ-же самый безукоризненный реализмъ разольется также и по всѣмъ развѣтвленіямъ мелкихъ каналовъ. Второе важное преимущество моей системы состоитъ въ томъ, что она позволяетъ молодымъ людямъ выбирать себя спеціальность довольно поздно, по крайней мѣрѣ гораздо позднѣе, чѣмъ того требуетъ отъ нихъ господствующая система. Это преимущество обуславливается, во-первыхъ, строгимъ отдѣленіемъ общеобразовательныхъ наукъ отъ

спеціальныхъ, и во вторыхъ—строго-дѣловымъ характеромъ того общаго образованія, которое я рекомендую.

Курсъ спеціальныхъ училищъ долженъ ограничиваться чисто-прикладными науками, такъ чтобы молодому человѣку приходилось дѣлать рѣшительный шагъ, то-есть поступать въ спеціальное училище, именно въ ту минуту, когда онъ по своимъ общимъ знаніямъ и по своему умственному развитію способенъ прямо приниматься за изученіе выбраннаго ремесла. Но, разумѣется, это откладываніе рѣшительнаго шага до послѣдней минуты можетъ производиться безъ вредной потери времени только при такомъ общемъ образованіи, которое знакомитъ юношу съ настоящими науками, необходимыми на всякомъ дѣловомъ поприщѣ, а не съ какими-нибудь пріятными бездѣлушками, вроде разсказовъ о царѣ Гоголѣ, поэмѣ Гомера и Виргилія и анекдотовъ о смыслености животныхъ. А почему именно молодымъ людямъ полезно дѣлать рѣшительный шагъ какъ можно позднѣе—это я думаю, очень понятно. Чтобы человѣкъ былъ хорошимъ работникомъ, ему необходимо любить свое ремесло; а любимъ мы только то, что соотвѣтствуетъ нашимъ способностямъ и наклонностямъ; а способности и наклонности наши выясняются постепенно по мѣрѣ того, какъ растутъ и крѣпнеть вся наша личность. Кто выбираетъ себя ремесло тогда, когда способности и наклонности его еще не обозначились, тотъ дѣйствуетъ на авось и слѣдовательно рискуетъ ошибиться. Когда ошибка становится понятной самому субъекту, тогда начинается для него пора мучительнаго раздумья, сомнѣній и колебаній; потомъ, въ лучшемъ случаѣ, происходитъ торопливое перепрыгиваніе на какую-нибудь другую спеціальность, которую быть-можетъ придется перемѣнить на третью, а въ худшемъ случаѣ являются безплодныя усилія помириться съ ненавистнымъ ремесломъ, сознание невозможности этого примиренія и позорная рѣшимость тянуть лямку какъ и работать спустя рукава. Все это, какъ видите, очень убыточно, какъ для отдѣльной личности, такъ и для цѣлаго общества: тратится время, тратятся молодые силы, и въ результатѣ получаютъ или плохіе работники, или разочарованные тунеядцы, вроде Гамлета Щигровскаго уѣзда. При позднемъ выборѣ спеціальности, шансы ошибиться въ значительной степени ослабѣваютъ, и вълѣдствіе этого все неудобства, вытекающія изъ ошибки, должны сдѣлаться гораздо рѣже. Всѣмъ извѣстно, что въ былое время у насъ готовили воиновъ, дипломатовъ, юристовъ, моряковъ, итакъ далѣе, чуть-ли не съ восьмилѣтнаго возраста; всѣмъ извѣстно также, что теперь правительство старается прогнѣивать этому преждевременному втириванію челоуѣческой личности въ спеціальную форму; желательно было-бы, чтобы въ этомъ

последнемъ противодѣйствующемъ направленіи мы подвигались впередъ гораздо быстрее и рѣшительнѣе.

### XVII.

— Къ чему вы написали всю эту статью?— спрашиваетъ меня читатель.— Неужели вы думаете, что вашу программу примутъ и осуществятъ?— Нѣтъ, читатель. Ни одной минуты не потратилъ я на такія несбыточные мечтанія. Мнѣ хотѣлось только представить ясно и осязательно до послѣдней степени тотъ воспитательный идеалъ, во имя котораго мы относимся отрицательно къ нашей педагогической дѣйствительности. Ясность и осязательность доведены, какъ видите, до такихъ размѣровъ, что статья украсилась выкладками, цифрами и таблицами. Если выкинуть изъ статьи объяснительныя разсужденія, и если разбить ее на параграфы, то изъ нея выйдетъ дѣловой проэктъ, совершенно исполнимый во всѣхъ своихъ частяхъ и подробно-стяхъ. Послѣ этого, я полагаю, нашимъ литературнымъ противникамъ трудно будетъ обвинять насъ въ томъ, что мы отрицаемъ для про-

цесса отрицанія, и что мы не съумѣли-бы ничего построить на томъ мѣстѣ, которое намъ удалось бы очистить отъ существующихъ зданій готической архитектуры.

Эта статья, совершенно бесполезная въ практическомъ отношеніи, можетъ служить образчикомъ тѣхъ *положительныхъ* плановъ, которые имѣются у насъ въ запасѣ. Главныя достоинства изложеннаго мною воспитательнаго плана заключаются въ слѣдующихъ его чертахъ: 1) Гигіеническія правила соблюдены строжайшимъ образомъ. 2) Вниманіе учащихся сосредоточено на самомъ незначительномъ количествѣ предметовъ, имѣющихъ дѣйствительную образовательную силу. 3) Физическій трудъ введенъ въ составъ общаго образованія. 4) Общее образованіе поставлено въ уровень съ умственнымъ движеніемъ нашего времени. 5) Между общимъ образованіемъ и спеціальностями проведена ясная пограничная черта. 6) Спеціальности подчинены господствующему направленію общаго образованія. Приглашаю нашихъ противниковъ доказать несостоятельность этихъ основныхъ идей.

КОНЕЦЪ ЧЕТВЕРГАГО ТОМА.

Съ осени 1890 года издается задуманная Ф. Павленковымъ биографическая библіотека подъ заглавіемъ:

## ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

Въ составъ библіотеки войдутъ біографіи 200 лицъ. Каждому изъ нихъ посвящается особая книжка, объемомъ отъ 80 до 100 и болѣе страницъ, снабженная портретомъ. Къ біографіямъ путешественниковъ, художниковъ и музыкантовъ прилагаются кромѣ того карты, снимки съ картинъ и ноты. Ежемѣсячно выпускается 4 книжки.

Цѣна каждой книжки отдѣльно—25 к.

До 1 апрѣля 1894 г. вышли отдѣльными книжками 146 біографій слѣдующихъ лицъ:

*Протопопа Авакума, Андерсена, Аристотеля, Байрона, Баха, Бентама и Беккариа, Берне, Бэкона, Бѣлинскаго, Карла Бэра, Беранже, Бетховена, Богдана Хмельницкаго, Боккачіо, Бомарше, Боткина, Джіордано Бруно, Рихарда Вагнера, Леонардо да Винчи, Волкова (основателя русск. театра), Вольтера, Воронцовыхъ, Галилея, Гарвея, Гарибальди, Гаррика, Гегеля, Гейне, Гете, Гладстона, Глинки, Говарда, Гоголя, Гробошдова, Григорія VII, А. Гумбольдта, Гуса, Гутенберга, Гюго, Дагерра и Ніэпса, Даламбера, Данте, Дарвина, Даргомыжскаго, кн. Дашковой, Демидовыхъ, Державина, Дефо, Дженнера, Диккенса, Достоевскаго, Жоржъ-Зандъ, Жуковскаго, Иванова, Іоанна Грознаго, Кальвина, Канкринъ, Канта, Кантемира, Каразина (основателя харк. университета), Карлейля, Кеплера, Ковалевской, Колумба, Конфуція, Колюцова, Коперника, барона Н. А. Корфа, Крамского, Кромвеля, Крылова, Кювье, Лавуазье, Лапласа и Эйлера, Лейбница, Лермонтова, Лесепса, Лессинга, Ливингстона, Линкольна, Линнея, Лойолы, Локка, Ломоносова, Ляйбелля, Маколея, Мейербергера, Микель-Анджело, Милля, Мильтона, Мирабо, Мицкевича, Мольера, Монтеスキе, Томаса Мора, Моцарта, Никитина, Никона, Новикова, Ньютона, Роберта Оуэна, Паскаля, Песталоцци, Перова, Пирогова, Писарева, Писемскаго, Потемкина, Пржевальскаго, Прудона, Пушкина, Рабле, Рафаэля, Рипшелъе, Сакка-Муни (Будда), Салтыкова, Савонаролы, Свифта, Сенковскаго, В. Скотта, Адама Смита, Сперанскаго, Стефенсона и Фюльтона, С. Соловьева, Струве, Стэнли, Стрובה, Теккерей, Торквемады, Уатта, Ушинскаго, Фарадея, Фонвизина, Франклина, Цвингли, Шевченко, Шиллера, Шопенгауэра, Шопена, Шумана, Щепкина, Эдисона и Морзе, Джорджъ-Эліота, Юма, Огедотова.*

Приготавливаются къ печати біографіи слѣдующихъ лицъ:

*Аксакова, Александра II, Бальзака, Бизмарка, Бокля, Вашингтона, В. В. Вережанина, Вирхова, Гайдна, Гончарова, Гракковъ, Грановскаго, Декарта, Дидро, Добролюбова, Екатерины II, Карамзина, Аммоса Коменскаго, Кондорсе, Конта, Н. И. Костомарова, Кука, Лобачевскаго, Лютера, Магомета, Макіавелли, Менишкова, Меттерниха, Мольтке, Т. Мюнцера, Наполеона I, Некрасова, Островскаго, Пастера, Петра Великаго, Платона, Н. Полевого, Радищева, Рембрандта, Ренана, Рикардо, Ротшильдъ, Руссо, Сенеки, Сервантеса, Сократа, Спенсера, Спинозы, Станкевича, Суворова, Льва Толстого, Тургенева, Успенскаго, Франциска Ассизскаго, Фридриха II, Цицерона, Чайковскаго, Шекспира, А. Н. Энгельгардта, и др.*

Курсивными буквами обозначены имена русскихъ дѣятелей.

Изданія Ф. Павленкова продаются во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Главный складъ въ книжномъ магазинѣ П. Луковникова. (Спб. Лештуковъ пер. № 2.)